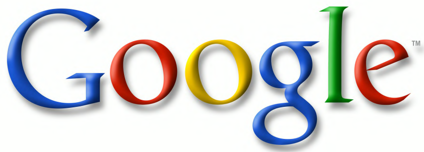


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

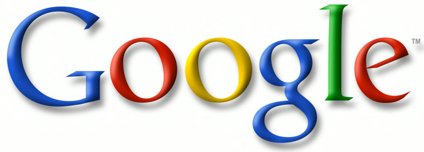
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4120.6

Slav. 4120.6
A



Harvard College Library

THE GIFT OF

FREDERICK ATHERN LANE,

OF NEW YORK, N. Y.

(Class of 1849.)

13 July, 1898.

UCHBINDEREI
T HAGER

10307

ИСТОРІЯ

НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИСТОРІЯ

НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1848—1892 гг.

Aleksandr Mikhailovitch Skabitchevski.

А. М. Скабичевскаго

ТРЕТЬЕ ИЗДАНІЕ

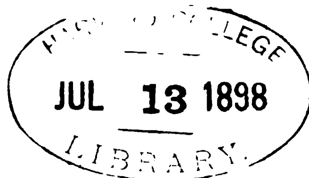
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Съ 52 портретами въ текстѣ.

Цѣна 2 рубля

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Изданіе Ф. Павленкова.
1897.

Slav 4120.6



Рисунки дозволены цензурою. С.-Петербургъ, 30 октября 1896 г.

Типогр. Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза", Б. Подъяч., 39.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

I. Общій обзоръ литературнаго движенія въ разсматриваемую эпоху и исторія критики.

II. Школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

III. Беллетристы-народники.

IV. Беллетристы-публицисты.

V. Историческая беллетристика.

VI. Беллетристы восьмидесятыхъ годовъ.

VII. Драма и комедія.

VIII. Поэзія.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I. Установленіе граней послѣдняго періода нашей литературы. — II. Картина старыхъ литературныхъ нравовъ.—III. Московскіе философскіе кружки тридцатыхъ годовъ и внесеніе ими новыхъ литературныхъ нравовъ. — IV. Типъ умственнаго развитія стараго періода. —V. Новый типъ умственнаго развитія. — VI. Народность, какъ основная идея новаго періода литературы.

I.

Литературный періодъ, съ которымъ намъ придется имѣть дѣло въ этой книгѣ, считается гоголевскимъ; прямо и непосредственно ведутъ его отъ Гоголя, который, произведя полный переворотъ въ нашей беллетристикѣ и создавши «натуральную школу», устремилъ русскую литературу на новый путь, по которому она идетъ будто-бы и донынѣ.

Мнѣніе это возникло вполнѣ естественно. Когда произведенія Гоголя привлекли всеобщее вниманіе, и молодежь подъ вліяніемъ Бѣлинскаго зачитывалась ими, въ числѣ ея находились и тѣ будущіе писатели, которые явились на литературное поприще втеченіе сороковыхъ годовъ. То новое, что̀ эти писатели впослѣдствіи внесли въ нашу литературу, конечно въ то время еще не существовало, и никто его не предвидѣлъ. Произведенія Гоголя представлялись послѣднимъ словомъ литературы. Образы ихъ потрясали юныя сердца своею геніальностью и вмѣстѣ съ тѣмъ исключительною отрицательностью вполнѣ гармонировали съ мрачнымъ колоритомъ времени. Въ то-же время Бѣлинскій не переставалъ твердить, что съ Гоголя начинается новая эпоха нашей литературы, рѣшительный ея поворотъ на путь натурализма. И вотъ молодое поколѣніе сороковыхъ годовъ привыкло смотрѣть на Гоголя, какъ на своего учителя, которому оно обязано всѣмъ литературнымъ достояніемъ.

Но если мы постараемся уяснить себѣ болѣе точно и опредѣленно, чѣмъ-же собственно писатели сороковыхъ годовъ и послѣдующихъ были обязаны Гоголю, то мы должны будемъ придти къ заключенію, что вліяніе Гоголя на послѣдующую литературу далеко не было такимъ всеобъемлющимъ, какъ мы привыкли думать.

Если мы будемъ считать Гоголя родоначальникомъ послѣдующей литературы съ одной эстетической точки зрѣнія, то и такое мнѣніе крайне условно. Натурализмъ явился въ русской литературѣ вовсе не въ видѣ coup d'état, внезап-

HO

10307

ИСТОРІЯ

НОВѢЙШЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

отношеніе къ нимъ поражало или дѣтскою незрѣлостью, или легкостью поверхностнаго диллетантизма!

Мы нисколько не ставимъ въ вину этого недостатка нашимъ классикамъ тридцатыхъ годовъ. Онъ ни мало не мѣшалъ имъ стоять во главѣ русскаго общества, имѣть большое образовательное вліяніе на массу русскихъ читателей, младенчески-чуждыхъ всякаго умственнаго развитія и образованія и еще болѣе далекихъ отъ европейскаго движенія идей. Наконецъ, никогда потомство не забудетъ той великой и неоцѣненной заслуги, какую оказали эти литературные корифеи, создавъ литературный языкъ, формы и, наконецъ, поставивши литературу на почву самобытности и реальности. Однимъ словомъ, они завѣщали своему потомству великолѣпный инструментъ, отлично приспособленный для разъигрыванія на немъ какихъ угодно величественныхъ и глубокомысленныхъ классическихъ симфоній. Недоставало только музыкантовъ, которые были-бы способны умѣло и разумно воспользоваться этимъ инструментомъ. Музыканты эти не замедлили явиться, и съ нихъ-то собственно и начинается совершенно новая эпоха въ нашей литературѣ.

II.

И дѣйствительно, передъ нами является эпоха до такой степени новая, представляющая такой полный переворотъ во всѣхъ литературныхъ сферахъ, что мы видимъ не одно только внесеніе новаго содержанія въ художественныя произведенія, но полное измѣненіе самыхъ литературныхъ нравовъ.

Старые литературные нравы отражали до извѣстной степени патріархальныя понятія, господствовавшія въ обществѣ нашемъ въ XVIII и до половины XIX столѣтій. Вплоть до пятидесятыхъ годовъ въ литературномъ мірѣ существовала своя табель о рангахъ, свое мѣстничество и ревностное чинопочитаніе. Во главѣ литературы господствовалъ особеннаго рода Олимпъ, на которомъ возсѣдали въ видѣ литературныхъ боговъ писатели первой величины, каждый со своею свитой. Затѣмъ слѣдовали писатели второстепенные, третьестепенные и т. д., вплоть до журнальнаго плебса, пресмыкающаго въ самомъ низу, пишущаго ради презрѣнныхъ денегъ, корыстныхъ барышей, и чуждаго поэтому того высшаго литературнаго благородства и безкорыстія, которыя казались свойственны лишь особаго рода избранникамъ.

Но, съ презрѣніемъ смотря на честно заработанныя литературнымъ трудомъ деньги, олимпійцы въ то-же время были очень падки на подачки свыше. Всѣ они, вплоть до Гоголя включительно, упорно держались стараго покровительственнаго режима, и поэтому старались вращаться въ великосвѣтскихъ кругахъ, проникать по-возможности въ придворныя сферы и всячески заискивать у сильныхъ міра, добиваясь то пенсіи, то уплаты долговъ, то какой-либо льготы. Это обязывало, и олимпійцы лишь къ маленькимъ смертнымъ вопіяли:

«Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ?»

Что-же касается меценатовъ, то конечно къ нимъ подобныя гордыя восклицанія не могли относиться. Напротивъ того, приходилось быть тише воды, ниже травы.

Въ литературномъ отношеніи олимпійцы составляли особенное общество, негласное и неорганизованное, но все-таки представлявшее изъ себя нѣчто вродѣ академіи изящной словесности. Всѣ они были связаны другъ съ другомъ узами болѣе или менѣе короткой дружбы. Старшіе покровительствовали младшимъ, поощряли ихъ и споспѣшествовали ихъ успѣхамъ мудрыми старческими совѣтами, оказывали имъ протекціи въ высшихъ сферахъ; младшіе благоговѣли передъ старшими, поклонялись имъ, внимали ихъ наставленіямъ и ликовали, когда старшіе пріобщали ихъ къ своему олимпійскому сонму. И дѣйствительно, тутъ было изъ-за чего ликовать: пока олимпійцы не приближали къ себѣ писателя и не возвышали до себя, нечего было и думать попасть въ число олимпійцевъ. Журналы могли сколько угодно расхваливать какого-нибудь своего любимца и признавать въ немъ хотя всемірнаго генія, какъ напримѣръ Сенковскій сдѣлалъ это съ Кукольникомъ. Писатели вродѣ Загоскина и Марлинскаго могли пріобрѣтать самую огромную популярность, но всего этого было недостаточно, чтобы писатель становился въ глазахъ публики олимпійцемъ, пока послѣдніе сами не провозглашали его своимъ. И наоборотъ, разъ избранникъ удостоивался этой чести, никакіе критическіе перуны не могли поколебать его репутаціи: олимпіецъ былъ неуязвимъ. Надеждинъ могъ писать какіе угодно злые памфлеты на Пушкина; на Гоголя могла ополчиться цѣлая рать критиковъ, начиная съ братьевъ Полевыхъ и кончая Сенковскимъ и Булгаринымъ, это нимало не вело къ уменьшенію литературнаго величія Пушкина или Гоголя.

Нельзя сказать, чтобы въ литературѣ того времени не было направленій, лагерей, партій, стремившихся проводить тѣ или другіе литературные принципы и вступавшихъ изъ-за нихъ въ ожесточенную борьбу. Такъ, карамзинисты боролись съ шишковистами, романтики—съ классиками. Но вся эта борьба велась преимущественно въ средѣ журнальнаго плебса. Олимпійцы если и принимали въ ней участіе, то лишь въ молодые годы, платя дань юности; впослѣдствіи же, съ лѣтами, они обыкновенно каялись въ своихъ полемическихъ подвигахъ, какъ въ грѣхахъ молодости, и все болѣе и болѣе замыкались въ гордыхъ снѣжныхъ вершинахъ своего недоступнаго Олимпа. Одинъ только Пушкинъ, слишкомъ живой и горячій для такой замкнутости, постоянно нарушалъ святость Олимпа, то разражался злою эпиграммой на какого-нибудь Булгарина, то вдругъ предпринялъ изданіе *Современника*, т. е. рѣшился вмѣшаться въ толпу журнальной черни, хотя, по правдѣ сказать, журналъ вышелъ вполнѣ олимпійскій, какъ по своей великосвѣтской чопорности и сухости, такъ и по самой цѣли *возвратить критику снова въ руки малаго избраннаго кружка писателей, уже облаченнаго уваженіемъ и довѣренностью публики.*

Въ этой цѣли *Современника* мы видимъ стремленіе олимпійцевъ снова взять въ свои руки критическое законодательство, которое нѣкогда главнымъ образомъ сосредоточивалось на Олимпѣ, въ тридцатые-же годы начало замѣтно выскальзывать изъ рукъ его небожителей. Но послѣдніе не подозрѣвали, что часъ ихъ пробилъ. Они ратовали главнымъ образомъ противъ той безпутной, пристрастной и гаерской критики, которая воцарилась тогда въ петербургской журналистикѣ и преимущественно на страницахъ *Библіотеки для Чтенія*, но въ то-же время и не замѣчали, какъ совершенно въ сторонѣ отъ нихъ и внѣ ихъ вѣдѣнія росла огромная сила, готовившаяся упразднить ихъ гордый Олимпъ, и росла эта сила въ тѣхъ самыхъ утлыхъ и жалкихъ по внѣшнему виду московскихъ журнальчикахъ. каковы были *Телескопъ* и *Молва*, о которыхъ Гоголь въ

своей передовой критической статьѣ въ № 1 *Современника* (*О движеніи журнальной литературы въ 1834 и 1835 годахъ*) отозвался съ чисто-олимпійскимъ пренебреженіемъ.

III.

Эта новая грядущая сила представлялась втеченіе тридцатыхъ годовъ въ видѣ никому невѣдомыхъ трехъ философскихъ кружковъ молодежи: кружка Герцена, Станкевича и Кирѣевскихъ. Кружки эти то сходились, то расходились между собою и наконецъ къ началу сороковыхъ годовъ слились въ два окончательно сплотившіеся лагеря—петербургскій лагерь западниковъ, группировавшійся вокругъ Бѣлинскаго, и лагерь московскихъ славянофиловъ, во главѣ которыхъ стояли братья Кирѣевскіе, Аксаковы и Хомяковъ.

Кружки эти, собственно говоря, и не думали враждовать съ олимпійцами, подкапываться подъ ихъ авторитетъ. Напротивъ того, критики ихъ относились съ большимъ уваженіемъ къ корифеямъ русской литературы, особенно къ Пушкину и Гоголю. Послѣдній, какъ мы выше говорили, былъ поставленъ даже во главѣ новаго литературнаго движенія. Но самымъ своимъ существованіемъ кружки водворяли совершенно новые и небывалые въ литературѣ порядки. Они вполнѣ уподоблялись тѣмъ молодымъ побѣгамъ, которые растутъ сами по себѣ, не ломая и не уничтожая старыхъ сучьевъ, но въ то-же время невольно, въ силу своей молодой энергіи, стягиваютъ къ себѣ всѣ соки дерева, и старымъ сучьямъ остается только сохнуть и отпадать отъ ствола. Такъ точно и новые литературные кружки начали притягивать къ себѣ всѣ молодыя силы. Начиная съ сороковыхъ годовъ, всѣ вновь появлявшіеся сильные таланты (а какъ много появилось ихъ втеченіе сороковыхъ годовъ) уже не заискиваютъ знакомства у оставшихся въ живыхъ олимпійцевъ: Жуковскаго, Крылова, Гоголя,—не стремятся сблизиться съ ними, не нуждаются въ ихъ совѣтахъ, не добиваются отъ нихъ посвященія въ олимпійцы, и лишь при встрѣчахъ издали наблюдаютъ ихъ, какъ оставшіеся еще въ живыхъ рѣдкіе экземпляры вымирающей породы, вродѣ какихъ-нибудь зубровъ Бѣловѣжской пущи,—и между тѣмъ какъ эти зубры сходятъ одинъ за другимъ въ могилы, молодые писатели ищутъ литературныхъ связей въ сближеніи съ представителями тѣхъ или другихъ журнальныхъ кружковъ. Вмѣсто прежняго іерархическаго порядка, литературный міръ начинаетъ представлять собою теперь федерацію литературныхъ лагерей. Литературныя силы группируются вокругъ журналовъ, которые стремятся быть не одними уже альбомами первостепенныхъ произведеній или сборниками энциклопедическихъ свѣдѣній, а проводятъ то или другое направленіе. Замѣчательно, что и публика съ своей стороны начинаетъ требовать отъ журналовъ направленія: по крайней мѣрѣ журналы безъ направленія или съ направленіемъ непопулярнымъ теряютъ возможность имѣть много подписчиковъ, какіе-бы беллетристическіе шедевры ни помѣщали они на своихъ страницахъ. Такъ, послѣ смерти Пушкина печально влачилъ существованіе безжизненный и вялый *Современникъ* подъ редакціею Плетнева и конечно постепенно угасъ-бы, если-бы Некрасовъ въ 1847 году не взялъ его въ свои руки. *Библіотека для Чтенія*, послѣ своего эфемернаго успѣха въ тридцатыхъ годахъ, втеченіе сороковыхъ и пятидесятыхъ существовала на счетъ горсти привычныхъ подписчиковъ, которые съ каждымъ годомъ отставали одинъ за другимъ. *Отечественныя Записки* пер-

венствовали впродолженіе всѣхъ сороковыхъ годовъ, благодаря тому, что вокругъ этого журнала группировался наиболѣе вліятельный и популярный кружокъ Бѣлинскаго, сосредоточивавшій въ себѣ все передовое движеніе сороковыхъ годовъ.

Въ то-же время литература сдѣлалась теперь силою вполнѣ самостоятельною и независимою. Ее могли сдерживать, подавлять, но утратилась всякая возможность пользоваться мало-мальски талантливыми и вліятельными представителями ея, привлекая ихъ на свою сторону соблазнами земныхъ благъ. Гоголь былъ послѣднимъ могиканомъ, послѣ котораго покровительственный режимъ окончательно рушился. Каждый мало-мальски дорожащій своею репутаціей писатель началъ считать главною основой литературной чести ничего не получать за свои произведенія, кромѣ полистной журнальной платы и выручки изъ продажи отдѣльныхъ изданій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ писателей начали цѣнить не по одной даровитости, но также и по вѣрности своему знамени. Въ двадцатые годы не было и слѣда чего-либо подобнаго. Были писатели, уважаемые за таланты или личныя качества: образованность, умъ, доброту; были—презираемые за противуположныя свойства. Но даже и такіе, которые очень горячо увлекались политикой своего времени, рѣзко отдѣляли эти увлеченія отъ литературнаго дѣла и въ литературѣ были скромными служителями музъ, и не только не требовали, чтобы ихъ литературные собратья раздѣляли ихъ политическія убѣжденія, но доходили до такой неразборчивости, что допускали въ свой кругъ людей столь сомнительныхъ, какъ Гречъ, Булгаринъ и т. п.

Полевой въ своемъ *Московскомъ Телеграфѣ* представилъ первые задатки оцѣнки писателей, принимая въ соображеніе не одну степень талантливости, и эстетическія достоинства произведеній, но также и политическую репутацію. Такъ, при всѣхъ похвалахъ, расточаемыхъ Пушкину, онъ, насколько возможно, довольно прозрачно проводилъ ту мысль, что Пушкинъ уже не тотъ, чтò былъ, и, нападая на его стремленія къ великосвѣтскости, намекалъ ясно на тѣ новыя оффиціальныя связи, которыя завязались у Пушкина послѣ 1826 года.

Впродолженіе тридцатыхъ годовъ былъ тоже довольно рѣзкій примѣръ всеобщей ненависти и презрѣнія, которыя питало большинство мало-мальски порядочныхъ литераторовъ къ Гречу и Булгарину, но ненавидѣли и презирали ихъ не какъ политическихъ враговъ, не за ихъ направленіе, а за пресмыкательство и наушничество, — качества чисто-нравственныя. Какъ мало люди стараго воспитанія и закала думали о честности и вѣрности своему знамени, можно судить по тому, что тотъ-же Полевой, который нападалъ на Пушкина, впослѣдствіи не считалъ для себя постыднымъ якшаться съ Гречемъ и Булгаринымъ, да еще удивлялся, что Бѣлинскій негодуетъ на его литературное поведеніе.

Совсѣмъ не то мы видимъ съ наступленіемъ сороковыхъ годовъ: литературная честность и вѣрность убѣжденіямъ вмѣняются въ такую священную обязанность каждому мало-мальски порядочному литератору, что безъ нихъ немыслимою дѣлается литературная репутація.

IV.

Это радикальное измѣненіе всѣхъ литературныхъ нравовъ и отношеній въ сороковые годы зависѣло отъ того новаго духа, новыхъ идей и литературныхъ требованій, какіе внесли въ литературу философскіе кружки тридцатыхъ годовъ.

Но, чтобы уразумѣть то новое идейное содержаніе, какимъ преисполнились люди сороковыхъ годовъ, надо заглянуть назадъ и посмотрѣть, что̀ представляли собою въ умственномъ отношеніи люди прежнихъ поколѣній, подобно тому, какъ то-же самое мы сдѣлали въ предыдущемъ параграфѣ съ литературными нравами.

Сказать, чтобы люди прежнихъ поколѣній были необразованные и круглые невѣжды и чтобы мысль ихъ непробудно спала, было-бы большимъ заблужденіемъ. И въ прежніе годы, во вторую половину XVIII вѣка и первыя три десятилѣтія XIX, встрѣчались люди очень образованные, стоявшіе повидимому въ одномъ уровнѣ съ передовыми умами Европы; и тамъ вы встрѣтите и консерваторовъ, и либераловъ, и скептиковъ, и мистиковъ; стоитъ вспомнить только такія личности, какъ Радищевъ, Мордвиновъ, Тургеневъ, Муравьевъ, кн. Одоевскій, вспомнить молодые годы Пушкина и его друзей. Можно даже сказать, что по своей начитанности люди конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтій превышали всѣ позднѣйшія поколѣнія вплоть до нашихъ дней. Въ то время не искали еще умственной пищи исключительно въ однихъ журналахъ и газетахъ, какъ это многіе дѣлаютъ нынѣ, и потому въ каждой большой помѣщичьей усадьбѣ встрѣчалась обширная библіотека, заключающая въ себѣ всю мудрость XVIII вѣка. Между тѣмъ какъ старики, люди временъ очаковскихъ и покоренья Крыма, собирали эти библіотеки, молодежь вплоть до пушкинскаго поколѣнія училась по книгамъ, какія въ этихъ старинныхъ дѣдовскихъ книгохранилищахъ находила. Такимъ образомъ до самыхъ тридцатыхъ годовъ главная основа образованія у передовыхъ людей нашего отечества заключалась во французской философіи эпохи энциклопедистовъ. И дѣйствительно, со временъ Фонвизина и до Пушкина включительно вы видите броженіе однѣхъ и тѣхъ-же идей, одинъ и тотъ-же характеръ и типъ мышленія: поверхностный скептицизмъ, основанный на остроуміи вольтеровскаго характера, сенсуализмъ, какъ послѣднее слово морали, и болѣе или менѣе ярый либерализмъ, въ видѣ неопредѣленныхъ, туманныхъ и совершенно безпочвенныхъ порываній къ свободѣ. Впослѣдствіи ко всему этому присоединился байронизмъ, расцвѣтшій на почвѣ того-же раціонализма XVIII вѣка, какъ антитезъ его, въ видѣ разочарованія въ томъ необузданномъ восторгѣ, съ какимъ въ XVIII столѣтіи праздновалось торжество человѣческаго разума.

Но, какъ-бы ни оказался несостоятельнымъ раціонализмъ прошлаго столѣтія, всетаки на Западѣ, на своей родной почвѣ, онъ имѣлъ то важное преимущество, что былъ почтеннымъ результатомъ трехсотлѣтней тяжкой работы европейской мысли, упорно стремившейся свергнуть съ себя средневѣковыя традиціи, и это было дѣйствительно торжество разума, хотя и не такое безусловное, какъ это казалось современникамъ Вольтера и Руссо.

У насъ тѣ-же самыя идеи являлись не результатомъ самостоятельныхъ ум-

ственныхъ процессовъ, а принимались на вѣру въ видѣ готовыхъ модныхъ, отвлеченныхъ формулъ, которыми болѣе забавлялись, какъ дѣти, и щеголяли, какъ дэнди, чѣмъ заботились о примѣненіи ихъ къ жизни. Поэтому такъ легко и разставались съ ними наши передовые люди, съ лѣтами переходившіе обыкновенно къ убѣжденію, что все это болѣе ничего, какъ молодыя бредни. Но не одни лѣта играли здѣсь роль; достаточно бывало малѣйшаго толчка въ жизни, чтобы идеи, болтавшіяся въ головѣ безъ всякой органической, а часто и логической связи, сразу выскакивали изъ нея, и тогда обнажался дѣтскій умъ, совершенно не привыкшій къ самостоятельному философско-научному анализу, пробавлявшійся готовыми традиціонными формами. На мѣсто скептицизма являлись фантастическое ханжество и погруженіе въ суевѣрія, вплоть до наивной вѣры въ домовыхъ и лѣшихъ и въ перебѣжавшаго дорогу зайца. Сенсуализмъ смѣнялся суровымъ аскетизмомъ или домостроевскою моралью, а красный задоръ уступалъ мѣсто кичливому самодовольству квасного патріотизма. Карамзинъ такимъ образомъ изъ поклонника Руссо превращался въ приверженца крѣпостного права, свободолюбивый Пушкинъ писалъ *Бородинскую годовщину*, *Клеветникамъ Россіи* и доказывалъ, что русскимъ крѣпостнымъ живется несравненно лучше, чѣмъ англійскимъ рабочимъ. Многіе изъ самыхъ смѣлыхъ либераловъ двадцатыхъ годовъ подъ старость сдѣлались святошами или-же, возвысившись по лѣстницѣ почестей, обратились въ свирѣпыхъ и безпощадныхъ гонителей малѣйшихъ признаковъ свободомыслія.

V.

Совершенно иное видимъ мы въ философскихъ кружкахъ тридцатыхъ годовъ. Нѣмецкія метафизическія системы, явившіяся въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтій, имѣли то преимущество, что представляли собою новые процессы свѣжихъ умовъ, сильно возбужденныхъ предшествовавшимъ движеніемъ и устремившихся къ освобожденію отъ средневѣковыхъ традицій. Нѣмецкая метафизика была какъ нельзя болѣе по плечу нашимъ соотечественникамъ, такъ какъ исподволь, освобождая ихъ дѣвственные умы отъ традицій, безъ всякихъ рискованныхъ скачковъ и крутыхъ спусковъ, въ то-же время пріучала ихъ къ самостоятельной работѣ. Метафизическія системы нельзя было принять въ видѣ опредѣленныхъ афоризмовъ. Надъ однимъ усвоеніемъ ихъ надо было поломать голову. Но и вполнѣ усвоившіе ихъ имѣли дѣло не съ какими-либо готовыми аксіомами и формулами, а, собственно говоря, съ орудіями мысли, посредствомъ которыхъ предлагалось обсуждать и анализировать окружающую жизнь.

Но какъ ни благотворно было это увлеченіе юнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ нѣмецкою философіей, само по себѣ оно было далеко еще не достаточно. Съ одною нѣмецкою философіей умамъ нашихъ передовыхъ людей долго пришлось-бы бродить по метафизическимъ лабиринтамъ, и самое большее, чего они могли-бы добиться, это—выхода въ концѣ-концовъ на свѣтъ и свѣжій воздухъ реальнаго, положительнаго мышленія, обоснованнаго естественно-научными знаніями. Конечно такой выходъ не замедлилъ-бы открыться подъ вліяніемъ такихъ могучихъ западно-европейскихъ умовъ, каковы Контъ, Милль, Бокль, Дарвинъ и пр., какъ это и произошло на самомъ

дѣлѣ въ шестидесятые годы, но во всякомъ случаѣ это движеніе страдало-бы крайнею односторонностью. Наши передовые люди сороковыхъ годовъ и послѣдующихъ, при всѣхъ успѣхахъ ихъ въ общемъ міросозерцаніи, рисковали-бы остаться индифферентными въ вопросахъ общественныхъ, что мы и нынѣ замѣчаемъ у нѣкоторыхъ естествоиспытателей и мыслителей Западной Европы.

Но рядомъ съ нѣмецко-философскимъ неотразимо дѣйствовало на юное поколѣніе сороковыхъ годовъ другое движеніе, господствовавшее преимущественно на французской почвѣ и имѣвшее характеръ исключительно общественный. Это была полная и радикальная переработка тѣхъ раціоналистическихъ политическихъ формулъ, какія были завѣщаны XVIII столѣтіемъ. Формулы эти, хотя и представлялись идеально-совершенными и логически-неопровержимыми, тѣмъ не менѣе были крайне отвлеченными, и потому разбились при первомъ столкновеніи съ суровою дѣйствительностью, которая оказалась слишкомъ неподатливою, чтобы сразу уложиться въ нихъ. Розовая мечта XVIII вѣка объ основаніи раціональныхъ общественныхъ связей на свободныхъ договорахъ исчезла, какъ дымъ. Оказалось, что какіе ни изобрѣтай прекрасные договоры и какъ ихъ ни усовершенствуй, независимо отъ нихъ и часто совершенно вопреки имъ, жизнь продолжаетъ течь въ издревле проложенныхъ руслахъ, слѣпо повинуясь историческимъ традиціямъ.

Это сознаніе, явившееся результатомъ тяжкихъ опытовъ и разочарованій, привело къ убѣжденію, что недостаточно однѣхъ внѣшнихъ реформъ, допускающихъ подъ блестящею наружностью все ту-же отжившую ветошь; небходимо, чтобы всѣ общественныя отношенія были переработаны въ основаніяхъ. И вотъ начался тщательный, кропотливый анализъ всѣхъ основъ общественной и индивидуальной жизни, — безпощадный, разлагающій, философско-научный анализъ, о которомъ и не мечталъ XVIII вѣкъ. Возникъ рядъ роковыхъ и существенныхъ вопросовъ, рѣшеніе которыхъ оказалось тождественно гамлетовскому *быть или не быть*. Таковы были вопросы: дѣтскій—о воспитаніи здороваго и сильнаго поколѣнія; семейный — объ основаніи семьи на началахъ любви и довѣріи, вмѣсто прежнихъ страха, принужденія и самодурства; женскій—объ освобожденіи женщинъ отъ гражданскаго и имущественнаго безправія; а надъ всѣми этими вопросами господствовалъ вопросъ объ увеличеніи народнаго благосостоянія.

Всѣ умы Европы до такой степени были поглощены этими вопросами, что разрѣшенія ихъ начали требовать не только отъ административныхъ сферъ, политическихъ трибунъ, университетскихъ каѳедръ и ученыхъ кабинетовъ, но и отъ художественныхъ студій. Требованіе, чтобы искусство участвовало въ общей работѣ вѣка, отвѣчая на всѣ животрепещущіе вопросы жизни, возникло въ Европѣ не въ видѣ какой-либо отвлеченной и праздной теоріи, принадлежавшей представителямъ юной Германіи или французскимъ романтикамъ школы Виктора Гюго. Оно одновременно возникаетъ во всей Европѣ и прежде всего осуществляется практически, а затѣмъ уже возводится въ теорію тенденціознаго искусства. Въ самомъ дѣлѣ, возьмите всѣхъ выдающихся писателей XIX вѣка: Шатобріана, Ламартина, Беранже, В. Гюго, Жоржъ Зандъ, Гейне, Гуцкова, Ауэрбаха, Шпильгагена, Байрона, Шелли, Диккенса, Теккерея, Джоржа Элліота и пр.,—всѣ они являются тенденціозными, и каждое произведеніе ихъ глубоко проникнуто тревожными вопросами вѣка.

VI.

Могло-ли это всеобщее и могучее движеніе, охватившее всю Европу, остаться безъ вліянія на умы нашей интеллигенціи, теперь уже въ достаточной мѣрѣ подготовленной философскимъ развитіемъ къ серьезному проникновенію вопросами, увлекавшими Европу? Къ тому-же наши передовые и мыслящіе люди имѣли ту особенность, что въ то время, какъ въ Европѣ давно уже были рѣшены многіе элементарные вопросы гражданской жизни, и Европа, словно къ стѣнѣ, подошла къ такому роковому вопросу, рѣшеніе котораго зависитъ не отъ ума и воли какихъ-бы то ни было геніальныхъ личностей, а отъ трудовъ и усилій многихъ поколѣній, у насъ стояла на очереди масса вопросовъ, вполнѣ элементарныхъ и практически легко осуществимыхъ, каковы вопросы о крѣпостномъ правѣ, закрытыхъ судахъ, винныхъ откупахъ и пр.

Философо-научный анализъ при такихъ условіяхъ принялъ въ передовыхъ кружкахъ нашего общества еще болѣе интенсивный, логически послѣдовательный и вмѣстѣ съ тѣмъ практически реальный характеръ, чѣмъ на Западѣ. Это въ значительной степени окрыляло энергію и энтузіазмъ нашихъ интеллигентныхъ классовъ. И вотъ началась такая переработка всѣхъ идеаловъ, такое могущественное стремленіе отрѣшиться отъ романтическихъ иллюзій, какими жили тридцатые годы, такое въ то-же время горячее проникновеніе идеями народнаго блага, такое искреннее, слезное покаяніе въ вѣковыхъ неправдахъ, лежавшихъ на совѣсти русскаго человѣка, что по-истинѣ ничего подобнаго до сихъ поръ не представляла еще исторія человѣческаго рода.

Все это движеніе и весь этотъ анализъ со всѣми тревожными вопросами, которые были подняты въ сороковые годы, укладываются въ одно слово, вполнѣ опредѣляющее ихъ во всей ихъ сложности и внутреннемъ духѣ. Слово это — *народность*.

И дѣйствительно, слова *народность*, *народъ*, *народное благо*, *народные идеалы* въ концѣ сороковыхъ годовъ сдѣлались самыми популярными въ литературѣ и начали употребляться на каждомъ шагу не однимъ какимъ-либо кружкомъ, а всѣми литературными лагерями. Правда, каждый кружокъ по-своему понималъ народные идеалы и по-своему стремился къ нимъ, но во всякомъ случаѣ считалъ это святою обязанностью. Явились даже и такіе писатели, которые безсознательно подчинялись духу времени и невольно выражали въ своихъ произведеніяхъ идеи, которыя волновали ихъ современниковъ, сами не отдавая себѣ въ этомъ отчета. Въ то-же время степенью проникновенія этими идеями начало опредѣляться достоинство писателей: тѣ изъ нихъ, которые оставались чужды общему теченію или шли противъ него умышленно, теряли всякое значеніе и вліяніе, не пользовались ни малѣйшимъ уваженіемъ, или-же встрѣчали общее враждебное отношеніе къ себѣ.

При этомъ всеобщемъ увлеченіи вопросами жизни конечно не могло быть и рѣчи о чистомъ искусствѣ. Уже въ 1842 году Бѣлинскій торжественно провозгласилъ:

«Духъ нашего времени таковъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится «птичьимъ пѣніемъ», создастъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ исторической и философской дѣйствительностью современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея таинственныхъ ясновидѣній и поэтиче-

скихъ созерцаній. Произведенія такой творческой силы, какъ бы ни громадна была она, не войдутъ въ жизнь, не возбудятъ восторга и сочувствія ни въ современникахъ, ни въ потомствѣ... Съ однимъ естественнымъ талантомъ недалеко уйдешь; талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ для того, чтобы не погаснуть... *Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности: для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями*; для этого нужны симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отдѣляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни...

Изъ тирады этой вы можете ясно видѣть, что дѣло шло вовсе не о подчиненіи литературы какимъ-либо узкимъ партіоннымъ тенденціямъ. И свобода творчества, и художественныя требованія оставались неприкосновенными. Бѣлинскій требовалъ лишь, чтобы русская литература была естественно и непроизвольно преисполнена живого, *философско-научнаго содержанія*, то есть требовалъ именно того, чего русской литературѣ до той поры недоставало.

Заявленіе подобнаго требованія въ 1842 году мы можемъ считать сигналомъ ко вступленію нашей литературы въ новый періодъ ея развитія. Начались сороковые годы, въ которые новое литературное движеніе втеченіе какихъ-нибудь 7—8 лѣтъ совершило такое быстрое развитіе и такъ укоренилось, что его не могли уже заглушить и уничтожить мрачные годы послѣдующей реакціи. Въ концѣ сороковыхъ годовъ мы видимъ, что русская мысль окончательно начинаетъ выходить изъ метафизическихъ сумерекъ на свѣтъ и свѣжій воздухъ реализма, что еще болѣе осмысливаетъ и усиливаетъ и анализъ общественной жизни, и проникновеніе народными интересами. Появляется рядъ молодыхъ талантливыхъ беллетристовъ, проникнутыхъ совершенно новымъ духомъ. Публицистика и критика въ свою очередь совершаютъ первыя попытки пойти далѣе по новому пути: являются политико-экономическія статьи В. Милютина въ передовыхъ журналахъ и критическія—В. Майкова. Въ литературныхъ обозрѣніяхъ начинаютъ раздаваться многозначительные возгласы вродѣ нижеслѣдующихъ:

«Самое важное характеристическое явленіе современной жизни заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человѣка занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, повсюдное довольство — вотъ главный вопросъ, вопіющая забота нашего вѣка. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась; вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отвлеченности философскихъ системъ; первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ, интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и застрахованы обществомъ, и главная задача науки показать законы равномѣрнаго распредѣленія блага по всѣмъ классамъ, опредѣлить разумныя начала, постоянныя правила общественнаго богатства. При такомъ движеніи ума не остается праздною и неподвижною и критика. Она измѣняетъ свою точку зрѣнія сообразно своему расположенію или непріязни; съ чисто-эстетической арены она ступила въ другія пространства, не стѣсняясь одною сферой художественнаго творчества, но имѣя дѣло съ цѣлымъ твореніемъ жизни; вмѣнила себѣ въ обязанность смотрѣть на произведенія словесныя съ той стороны, которою они соприкасаются съ общественнымъ бытомъ; ея цѣль—оцѣнить литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ.»

Все это вы найдете въ январьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* за 1848 годъ, но уже въ февралѣ журналъ этотъ сразу получаетъ иной характеръ, иное содержаніе. Вышеприведенная тирада была какъ-бы предсмертнымъ завѣщаніемъ исходящихъ сороковыхъ годовъ, которое передали они грядущему десятилѣтію. Но не скоро пятидесятымъ годамъ пришлось исполнить это завѣщаніе. Движеніе, такъ быстро и широко раскинувшееся, было сразу парализовано и остановлено на многіе годы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I. Общая картина реакціи пятидесятыхъ годовъ и давленіе ея на литературу. Безцвѣтность и безхарактерность всѣхъ органовъ печати. Исчезновеніе направленій. Кочующіе писатели. Преобладаніе въ журналахъ спеціальныхъ научныхъ статей и мелочныхъ библіографическихъ изысканій.—II. Сказочная великосвѣтская беллетристика. В. А. Вонлярлярскій. Е. В. Сальясъ де-Турнемиръ. Евд. Як. Панаева (Н. Станицкая). Барышническая полемика.—III. Бюрократическіе оппортунисты въ литературѣ, ихъ идеалы и преобладаніе въ журналистикѣ пятидесятыхъ годовъ.—IV. Петербургскіе критики пятидесятыхъ годовъ: Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ, какъ представители оппортунистовъ. Общій характеръ этой критики. Выдержки изъ статей Дружинина и Анненкова. V. Забвеніе всѣхъ завѣтовъ сороковыхъ годовъ. Отрицаніе критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Культъ Пушкина. Возвращеніе къ теоріи чистаго искусства.

I.

Послѣ бурнаго 1848 года мрачная реакція безразсвѣтною ночью на многіе годы воцарилась надъ Европой и въ особенности надъ Россіей. Въ то время какъ въ Европѣ реакція эта была прямымъ результатомъ разочарованія въ возможности сразу переработать жизнь на тѣхъ разумныхъ и справедливыхъ основаніяхъ, о которыхъ мечтали впродолженіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ Россіи, гдѣ никакихъ попытокъ къ подобной переработкѣ не предпринималось, реакція получила характеръ слѣпого ретроградства и панической свѣтобоязни, которая въ каждой самостоятельной и свѣжей мысли начала подозрѣвать опасное покушеніе на разрушеніе всѣхъ основъ.

Такъ какъ мы имѣемъ дѣло съ исторіею не Россіи вообще, а лишь литературнаго движенія ея, то намъ не для чего останавливаться на всѣхъ подробностяхъ этой реакціи, и мы считаемъ достаточнымъ ограничиться однѣми общими и крупными чертами, необходимыми для уясненія характера, который приняла къ это время литература.

Это было гоненіе не на какую-либо партію, ученіе, а на мысль вообще, на всякое движеніе ея. Кромѣ оффиціально утвержденныхъ идей и понятій, все остальное отрицалось огуломъ и безъ разбора. Съ этою цѣлью были закрыты философскія каѳедры во всѣхъ университетахъ, остальные предметы были подвергнуты самому строгому контролю, причемъ отъ профессоровъ начали требовать не только того, чтобы они ни слова не произносили сверхъ установленныхъ программъ, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ были самыми усердными проводниками оффиціальныхъ идей и взглядовъ. Въ то же время было крайне ограничено и доведено до послѣдняго минимума число учащихся въ университетахъ.

Надъ литературою нависла цѣлая сѣть цензуръ. Кромѣ общихъ цензурныхъ комитетовъ, каждое министерство цензировало статьи, касающіяся предметовъ его вѣдѣнія. А надъ всѣми этими цензурами возвышался грозный бутурлинскій комитетъ, который наблюдалъ за дѣйствіями всѣхъ прочихъ цензуръ и каралъ не только новыя прегрѣшенія, но и инквизиторски изслѣдовалъ старыя, совершенныя Богъ вѣсть когда, въ опасеніи, какъ-бы не были допущены новыя изданія вредныхъ книгъ, давно уже пропущенныхъ цензорами, и въ прежніе годы не отличавшимися снисходительностью.

Сдавленная въ самыхъ тѣсныхъ тискахъ этихъ цензуръ, обязанныхъ, не ограничиваясь явнымъ смысломъ статей, проникать въ тайныя намѣренія авторовъ и докладывать объ этихъ намѣреніяхъ высшему начальству, литература сразу утратила богатое идейное содержаніе, какое мы видѣли въ концѣ сороковыхъ годовъ, совершенно обезцвѣтилась и обезличилась. Словно по какой-то безпощадно-злой ироніи судьбы, едва было провозглашено на страницахъ журналовъ, что первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ и что критика должна оцѣнивать литературную дѣятельность въ отношеніи къ общественнымъ вопросамъ, именно общественныхъ-то вопросовъ и было запрещено касаться литературѣ, хотя бы мелькомъ и косвенно. Дошло до того, что не допускали не только критическаго отношенія къ общественнымъ порядкамъ или правительственнымъ распоряженіямъ, но не дозволяли толковать обо всемъ этомъ хотя-бы въ самомъ одобрительномъ и хвалебномъ духѣ.

Это безусловное запрещеніе публицистики особенно сильно отразилось на газетной прессѣ, которая едва влачила существованіе въ видѣ жалкихъ сѣренькихъ листочковъ *Сѣверной Пчелы* Ѳ. Булгарина, *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* Очкина, *Полицейскихъ Вѣдомостей*, *Русскаго Инвалида* и *Московскихъ Вѣдомостей* Захарова. Газеты выходили безъ передовыхъ статей и политическихъ корреспонденцій, довольствуясь сообщеніемъ опубликованныхъ правительственныхъ распоряженій, безцвѣтными фельетонами, трактующими о кондитерскихъ, гуляньяхъ, и извѣстіями объ экстраординарныхъ случаяхъ обыденной жизни, вродѣ бабы, разрѣшившейся тройнями.

Столь же измѣнились и журналы—и *Отечественныя Записки* Краевскаго, и *Современникъ* Некрасова, и *Библіотека для Чтенія* Сенковскаго, и славянофильскій *Москвитянинъ*, и пр. Въ предыдущей главѣ мы указали, какъ на одну изъ существенныхъ особенностей новаго періода литературы, на образованіе литературныхъ лагерей и требованіе отъ журналовъ направленія. Но въ пятидесятые годы журналы вновь принимаютъ характеръ безцвѣтныхъ и безхарактерныхъ сборниковъ, ничѣмъ почти не отличаясь одинъ отъ другого, тѣмъ болѣе, что многіе изъ сотрудниковъ являются у нихъ общіе. Прежде всего конечно беллетристы и поэты: Григоровичъ, Писемскій, Потѣхинъ, Полонскій, Фетъ, Щербина и пр., начали печататься разомъ во всѣхъ органахъ, не обнаруживая ни малѣйшаго пристрастія ни къ одному изъ нихъ. Но не одни беллетристы и поэты, всегда отличавшіеся до извѣстной степени индифферентизмомъ къ журнальнымъ направленіямъ, перекочевывали изъ одного журнала въ другой,—примѣру ихъ слѣдовали и критики, несмотря на то, что, по самой профессіи своей, являясь представителями того или другого литературнаго лагеря, они должны были бы сосредоточивать свою дѣятельность въ одномъ какомъ-либо органѣ; такъ, мы видимъ, что выдающіеся критики того времени: Дружининъ, Анненковъ, Ап. Григорьевъ—постоянно кочуютъ изъ одного органа въ другой или же участвуютъ разомъ въ нѣсколькихъ.

Приведеніе всѣхъ органовъ печати къ уровню безцвѣтныхъ сборниковъ зависѣло конечно прежде всего отъ удаленія съ литературной арены наиболѣе выдававшихся и сильныхъ мыслью и талантами дѣятелей, которые стояли во главѣ движенія сороковыхъ годовъ. Бѣлинскій лежалъ въ могилѣ и самое имя его не допускала цензура упоминать въ печати; Герценъ былъ за-границей; Грановскій то хандрилъ и путался въ туманныхъ фило-

софскихъ рефлексіяхъ, то мирился съ жизнью путемъ разныхъ компромиссовъ; В. Милютинъ ушелъ въ сферу чистой науки. Изъ молодыхъ писателей въ свою очередь весьма многіе выбыли изъ строя, едва успѣвъ выступить на литературное поприще, и притомъ такія могучія силы, какъ Щедринъ, Ѳ. Достоевскій. Но самая главная причина безцвѣтности журналовъ лежала конечно въ полной невозможности обсудить мало-мальски животрепещущій вопросъ и провести свѣжую мысль.

Поневолѣ, вмѣсто живыхъ публицистическихъ статей, журналы начали наполняться необъятно-длинными, сухими и спеціальнѣйшими учеными трактатами, мѣсто которыхъ не въ литературныхъ, а въ спеціальныхъ органахъ. Это называлось тогда придавать органу дѣловую и научную солидность. Всѣ журналы старались перещеголять одинъ другой этой тяжеловѣсною солидностью. Наиболѣе тщеславились своею научностью *Отечественныя Записки*, на страницамъ которыхъ помѣщались такія ученѣйшія вещи, какъ: *Домашній бытъ русскихъ царей* Забѣлина; *Сибирскія лѣтописи XVI и XVII столѣтій*; *филологическій разборъ перевода Жуковскаго «Одиссеи» съ приложеніемъ греческаго текста, или разборъ латинскаго руководства Греча профессора Фрейтага* и пр. Но и *Современникъ*, на который редакція *Отечественныхъ Записокъ* смотрѣла свысока, какъ на журналъ легковѣснаго диллетантизма, не уступалъ въ помѣщеніи спеціальнѣйшихъ научныхъ статей, вродѣ отрывковъ изъ исторіи Соловьева, трактата о рыболовствѣ, критическихъ статей по поводу химической диссертаціи «о вѣсѣ пая висмута» и т. п.

Въ критическихъ сферахъ въ свою очередь на первый планъ выступала библіографія, начались кропотливыя изслѣдованія мелкихъ фактиковъ жизни давно сошедшихъ въ могилу писателей, вродѣ Тредьяковскаго или Богдановича. Вотъ какъ характеризуетъ эту библіографоманію Добролюбовъ:

«Начали дорожить каждымъ малѣйшимъ фактомъ біографіи и даже библіографіи. Гдѣ первоначально были помѣщены такіе-то стихи, какія въ нихъ были опечатки, какъ онѣ измѣнены при послѣднихъ изданіяхъ, кому принадлежитъ подпись А. или В. въ такомъ-то журналѣ или альманахѣ, въ какомъ домѣ бывалъ извѣстный писатель, съ кѣмъ онъ встрѣчался, какой табакъ курилъ, какіе носилъ сапоги, какія книги переводилъ по заказу книгопродавцевъ, на которомъ году написалъ первое стихотвореніе,— вотъ важнѣйшія задачи современной критики, вотъ любопытные предметы ея изслѣдованій, споровъ, сожалѣній... Цѣлыми годами труда самаго кропотливаго не добывалось ровно никакихъ результатовъ; публику душили ссылками на №№ и страницы журналовъ, давно отжившихъ свой вѣкъ, а она часто и не знала даже, о чемъ идетъ дѣло. Мы помнимъ, какъ лѣтъ пять тому назадъ двое ученыхъ—старый и молодой—ожесточенно ратовали другъ противъ друга за то, какъ нужно произнести одинъ стихъ Пушкина: на четыре *стóроны* или *сторóны*; помнимъ, какъ двое молодыхъ ученыхъ глумились другъ надъ другомъ изъ-за одного вздорнаго стихотворенія съ подписью Д—гъ, не зная, кому приписать его: Дельвигу или Дальбергу. Да мало-ли что можно вспомнить изъ того времени, въ томъ-же безвредномъ родѣ, какъ будто вызванномъ отчаяніемъ скуки. И ничего не вышло изъ этихъ споровъ, изслѣдованій и открытій.»

Такою плодотворною дѣятельностью занимались въ то время Н. М. Лонгиновъ, Геннади, В. П. Гаевскій, А. А. Галаховъ, П. В. Анненковъ.

II.

Беллетристика въ свою очередь значительно спала съ тона и далеко не оправдывала ожиданій, возлагавшихся на нее въ концѣ сороковыхъ годовъ. Писатели, составлявшіе основу этихъ ожиданій (Тургеневъ, Гончаровъ, Пи-

семскій), рѣдко дарили въ это время публику своими произведеніями. Не эти произведенія стояли на первомъ планѣ въ журналахъ пятидесятыхъ годовъ; не они возбуждали сенсацію и дѣлали подписку, а совершенно особеннаго рода беллетристика, исключительно принадлежавшая этому времени и вполнѣ его характеризующая. Это были безконечно длинные романы, съ сложными, запутанными и сказочными сюжетами. Главные герои ихъ являлись великолѣпными представителями бо-монда, отличались изящными манерами, модными костюмами, гордою и мрачною душой à la Печоринъ и непреклонною энергіею въ покореніи женскихъ сердецъ. Во всемъ этомъ сказывалось съ одной стороны вліяніе французской беллетристики, преимущественно Александра Дюма-отца и Евгенія Сю; съ другой-же—традиція тридцатыхъ годовъ, марлиновщина и соллогубовщина, подавленныя на время критикой Бѣлинскаго и теперь возродившіяся въ обновленномъ видѣ сообразно измѣнившимся требованіямъ времени.

Главнымъ представителемъ и героемъ этой беллетристики является Василій Александровичъ Вонлярлярскій, романы котораго пользовались большою популярностью и успѣхомъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ. В. А. Вонлярлярскій родился въ Смоленскѣ 12-го апрѣля 1814 года и начальное образованіе получилъ въ провинціи, въ домѣ родителей, принадлежавшихъ къ старинному дворянскому роду и проживавшихъ въ своемъ родовомъ имѣніи. Затѣмъ онъ отвезенъ былъ въ благородный пансіонъ при Петербургскомъ университетѣ, а окончилъ образованіе въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ, гдѣ онъ былъ однокашникомъ Лермонтова, соперничалъ съ нимъ въ импровизаціи разсказовъ, увлекавшихъ юнкеровъ, сохранялъ дружбу съ творцомъ «Демона» и по выходѣ изъ училища, хотя поступили они въ разные полки: Вонлярлярскій—въ конно-піонерный эскадронъ гвардіи. Служилъ онъ впрочемъ не долго и, выйдя въ отставку, женился на замѣчательной красавицѣ m-lle Фридебургъ, умершей въ первый-же годъ супружества.

Среди свѣтскихъ развлеченій Вонлярлярскій, подобно диллетантамъ его среды, увлекался то музыкой, то живописью, то ваяніемъ, то поэзіею, и только въ 1850 году принялся за прозу и выступилъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ произведеніемъ *Поѣздка на Марсельскомъ пароходѣ*. Въ слѣдующемъ, 1851 году были помѣщены *Воспоминанія о Захарѣ Ивановичѣ*—и съ этого произведенія началась извѣстность Вонлярлярскаго. Успѣхъ его былъ такъ великъ, что издатели наперерывъ печатали его романы и повѣсти, а публика зачитывалась ими нарасхватъ. Литературная дѣятельность его продолжалась всего лишь два года,—въ 1852 году 30 сентября онъ умеръ въ Москвѣ отъ продолжительной и тяжкой болѣзни,—и въ эти два года онъ успѣлъ написать до двадцати произведеній: четыре большихъ романа, восемь повѣстей и нѣсколько драматическихъ пьесъ. Этой необыкновенной плодовитости своей онъ былъ обязанъ тому, что произведенія свои онъ импровизировалъ, писалъ ихъ не перечитывая и не поправляя, однимъ махомъ, по вдохновенію, не думая ни объ обработкѣ сюжетовъ, ни объ отдѣлкѣ деталей. Нѣкоторыя мелкія вещи онъ начиналъ и оканчивалъ втеченіе одной ночи. Двухъ вечеровъ было достаточно, чтобы онъ создалъ двѣ драматическія пьесы: *Преферансъ съ тибельками* и *Графъ Дерби*. Въ этой торопливости и плодовитости сказывалось желаніе походить на Александра Дюма даже и въ этомъ отношеніи.— Можно-ли было и ожидать чего-либо солиднаго и дѣльнаго отъ такого рода

диллетантскаго творчества. Тѣмъ не менѣе большимъ успѣхомъ пользовались въ свое время такіе романы его, какъ: *Силуэтъ*, *Ночь на 28-е сентября*, *Магистръ*, *Двѣ сестры*, *Сосѣдъ*, *Большая барыня* и масса мелкихъ вещей, которыя печатались въ *Отечественныхъ Запискахъ*, въ *Современникѣ*, въ *Библіотекѣ для Чтенія* и пр. Но такова была легковѣсность всѣхъ этихъ произведеній, что отъ нихъ, какъ отъ блестящаго фейерверка, не осталось и слѣда, и въ настоящее время врядъ-ли отыщется грамотный человѣкъ, который былъ-бы знакомъ хотя бы съ однимъ романомъ Вонлярлярскаго.

Усердною поставщицею великосвѣтскихъ романовъ была также пользовавшаяся большою популярностью втеченіе всѣхъ пятидесятыхъ годовъ графиня Елизавета Васильевна Сальясъ-де-Турнемиръ, болѣе извѣстная въ литературѣ подъ псевдонимомъ Евгеніи Туръ. Она родилась въ Москвѣ 12-го авг. 1815 г. и была одною изъ дочерей генерала В. Сухово-Кобылина. Воспитаніе ея, хотя и домашнее, было блестяще. Въ совершенствѣ изучила она, подъ руководствомъ опытныхъ гувернантокъ, иностранные языки, а научное образованіе было ввѣрено извѣстнымъ московскимъ педагогамъ: исторію преподавалъ ей проф. Ѳ. Л. Марошкинъ, литературу—поэтъ С. Э. Раичъ, физику—проф. М. А. Максимовичъ. Домъ Сухово-Кобылиныхъ въ тридцатые годы представлялъ собою одинъ изъ интеллигентныхъ салоновъ, куда въ опредѣленные дни собирались писатели и профессора Московскаго университета. Тамъ между прочимъ часто присутствовалъ Н. И. Надеждинъ. Среди этихъ представителей русской науки и литературы постоянно находилась молодая Сухово-Кобылина, пока не уѣхала съ родными за-границу, гдѣ и вышла замужъ за французскаго графа Сальясъ-де-Турнемиръ.

По возвращеніи въ Россію въ концѣ сороковыхъ годовъ, она выступила на литературное поприще, подъ псевдонимомъ Евгеніи Туръ, повѣстью *Ошибка*, напечатанною въ *Современникѣ* 1849 г. № 10. Затѣмъ послѣдовалъ романъ *Племянница*, повѣсти: *Очагъ*, *Первое апрѣля*, *Двѣ сестры*, *Чужая душа потемки*, романъ *Три поры жизни*, повѣсти: *Заколдованный кругъ*, *Старушка*, *На рубежѣ*.

Повѣстью *На рубежѣ*, напечатанною въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1857 г. кн. 20, заканчивается беллетристическая дѣятельность Евг. Туръ. Съ 1856 года она приняла дѣятельное участіе въ редакціи *Русскаго Вѣстника*, гдѣ она завѣдывала отдѣломъ беллетристики, и въ то-же время начала помѣщать въ *Русскомъ-же Вѣстникѣ* рядъ критическихъ и біографическихъ этюдовъ, посвященныхъ жизни или произведеніямъ иностранныхъ писателей.—Въ 1861—1862 годахъ Евг. Туръ была издательницею своего собственнаго журнала *Русская рѣчь*, по прекращеніи котораго перенесла свою дѣятельность въ петербургскія изданія. Послѣдній-же періодъ ея жизни былъ посвященъ дѣтской литературѣ. Изъ дѣтскихъ книгъ ея особеннымъ успѣхомъ пользуются: *Катакомбы*, повѣсть изъ первыхъ временъ христіанства, сказки: *Жемчужное ожерелье*, *Хрустальное сердце*, *Мученики Колизея*. Она умерла 15-го марта 1892 года въ Варшавѣ и похоронена въ Тихоновой пустыни, близъ Калуги.

Примѣру Евгеніи Туръ послѣдовала извѣстная поэтесса сороковыхъ годовъ, графиня Евг. И. Растопчина (род. 1811 г., умерла 1858 г.). Переживъ свою поэтическую славу, она въ свою очередь принялась за романы изъ великосвѣтской жизни, и втеченіе 50-ти годовъ они помѣщались въ различныхъ журналахъ. Изъ нихъ особенно выдаются романы: *Счастливая женщина*, напе-

чатанный въ *Москвитянинѣ* въ 1851 году, и *У пристани*, появившійся въ *Библіотекѣ для дачъ* въ 1857 г. и жестоко осмѣянный Добролюбовымъ.

До какой степени обширные романы съ сказочными темами были въ то время въ модѣ, мы можемъ судить по тому, что не только въ *Отечественныхъ Запискахъ*, гдѣ вслѣдъ за романами Вонлярлярскаго нѣсколько лѣтъ тянулся безконечный романъ В. Р. Зотова *Старый домъ*, дѣйствіе котораго, начинаясь съ петровскихъ временъ, черезъ рядъ поколѣній постепенно достигаетъ современности, но и *Современникъ* не могъ обойтись безъ подобнаго-же рода лубочной беллетристики. Прискорбнѣе всего то, что поставщикомъ ея явился самъ издатель — Н. А. Некрасовъ, принявшійся за стряпню ея въ сотрудничествѣ съ писательницею, выступившею на литературное поприще въ 1848 году, подъ псевдонимомъ Н. Станицкой, повѣстью *Семейство Тальниковыхъ*, которая обнаруживала въ авторѣ недюжинный и многообѣщающій талантъ. Это была дочь извѣстнаго актера Брянскаго, супруга соиздателя *Современника*, Авдотья Яковлевна Панаева, а впослѣдствіи Головачева.—Втеченіе пятидесятыхъ годовъ въ сотрудничествѣ съ Некрасовымъ были написаны ею два громадные романа: *Три страны свѣта* и *Мертвое озеро*. Напечатанные въ *Современникѣ*, романы эти читались съ большимъ интересомъ любителями сказочной беллетристики, но конечно послужили не къ развитію, а къ гибели молодого и свѣжаго таланта Н. Станицкой.

Наконецъ слѣдуетъ отмѣтить еще одну особенность журналистики того времени: журналы, утратившіе почти всякое различіе одинъ отъ другого, сплошь наполненные сухими, квази-научными статьями и безконечными сказочными романами, лишенные всякой возможности проводить какое-бы то ни было направленіе, тѣмъ не менѣе вели между собою ожесточенную полемику, причемъ особенная вражда господствовала между *Отечественными Записками* и *Современникомъ*, равно какъ между петербургскими органами въ качествѣ западниковъ и *Москвитяниномъ*, выразителемъ славянофильскаго лагеря. Но вся эта полемика не имѣла и тѣни идейнаго содержанія. Это было одно безсодержательное зубоскальство и хихиканье, полное слѣпого пристрастія и беззастѣнчиво-открытаго барышничества. Все дѣло заключалось въ томъ, чтобы переманить другъ отъ друга подписчиковъ. Это называлось на журнальномъ языкѣ того времени *осенній походъ*, заключавшійся въ томъ, что около подписныхъ мѣсяцевъ каждый журналъ начиналъ пересмѣивать недостатки своего соперника и выставлять свои преимущества, причемъ выставлялись на видъ такія погрѣшности противниковъ, какъ неправильныя выраженія, плохой переводъ, опечатки и т. п.

III.

Но было-бы ошибочно предполагать, что измельчаніе литературы зависѣло исключительно отъ однихъ цензурныхъ условій. Въ самомъ обществѣ было достаточное количество реакціонныхъ элементовъ, и когда люди, сильные духомъ, смѣлые и послѣдовательные мыслью, сошли съ литературнаго поприща, литературу заполонили особеннаго рода оппортунисты, словно спеціально созданные реакціей для того уровня, къ которому была приведена журналистика. Оппортунисты эти не только не тяготились тяжелымъ положеніемъ печати, а,

напротивъ того, какъ сыръ въ маслѣ, катались при установившихся порядкахъ; въ послѣдовавшемъ-же движеніи литературы и мысли представляли собою не малый тормазъ. Это были люди, пропитанные до мозга костей духомъ петербургскаго бюрократизма. Повидимому они представляли изъ себя безукоризненно передовыхъ прогрессистовъ и либераловъ, западниковъ, гонявшихся за послѣднимъ словомъ европейской цивилизаціи, и реалистовъ, ратовавшихъ за трезвую мысль, основанную на положительныхъ началахъ. Но либерализмъ ихъ не шелъ далѣе поверхностнаго англоманства; увлеченіе западнымъ прогрессомъ—далѣе восхищенія чудесами европейской промышленности въ видѣ желѣзныхъ дорогъ, электрическихъ телеграфовъ и сельско-хозяйственныхъ машинъ; реализмъ ихъ вполнѣ осуществлялся въ практической философіи дядюшки Адуева, въ отрицаніи на ряду съ романтическими фантазіями и порывами какихъ-бы то ни было безкорыстныхъ увлеченій. Весь идеалъ ихъ заключался въ умѣньѣ къ 50-ти годамъ нажить кругленькій капитальчикъ, въ комфортѣ, умѣренности, аккуратности и солидности во всѣхъ жизненныхъ отправленіяхъ и чопорной великосвѣтскости, а иногда и хлыщеватаго дэндизма подъ личиною развитія чувства изящнаго. Идеалъ этотъ вы можете встрѣтить въ массѣ беллетристическихъ произведеній того времени, въ видѣ тщеславящагося своею честностью администратора, неподкупнаго ревизора и слѣдователя во фракѣ съ иголочки, съ безукоризненно-свѣтскими, изящными манерами и нѣжнымъ сердцемъ, наклоннымъ пылать неизмѣнною страстью. Но и въ самомъ разгарѣ ея подобный герой оказывался неспособенъ выйти изъ границъ великосвѣтской чопорности и допустить какой-нибудь необузданный порывъ. Таковъ напримѣръ герой повѣсти Дружинина *Поленька Саксъ*.

«Часто думаю я,—говоритъ о немъ героиня,—любитъ-ли кого нибудь этотъ человѣкъ? Ни до свадьбы, ни послѣ не сказалъ онъ мнѣ открыто, что онъ хоть сколько-нибудь въ меня влюбленъ. «Любовь моя не на словахъ, а въ жизни»,—говаривалъ онъ нѣсколько разъ. Чтобъ онъ сталъ цѣловать мои руки, чтобъ онъ становился на колѣни... fi donc!—отъ этого изомнется рубашка на груди, запачкается платье. Является онъ ко мнѣ не иначе, какъ во фракѣ или сюртукѣ,—tiré a quatre épingles,—верхъ дерзости, если онъ осмѣлится надѣть лѣтнее пальто, вмѣсто фрака!»

Еще ниже въ той-же повѣсти мы видимъ, что Константинъ Саксъ даже и такія служебныя обязанности, которыя вовсе не требуютъ парада, исполняетъ не иначе, какъ во фракѣ (и конечно ужъ и въ бѣломъ галстукѣ, прибавимъ мы отъ себя), заставляя просителей и подчиненныхъ подолгу дожидаться, пока совершаетъ онъ свой туалетъ.

Вотъ этой-то средѣ бюрократическаго оппортунизма и обязана была журналистика пятидесятыхъ годовъ и педантически-сухою ученостью, и библіографическою мелочностью, и безъидейностью. Литераторы подобнаго рода увлекались въ своей дѣятельности единственнымъ побужденіемъ составить литературную карьеру и побольше написать, чтобы побольше получить.

Въ предыдущей главѣ мы говорили, что въ основѣ новаго литературнаго періода лежала идея возвращенія къ народу, демократизаціи русской мысли и жизни. Все это было предано полному забвенію оппортунистами съ ихъ узкобуржуазными и бюрократическими идеалами. Между тѣмъ они господствовали въ петербургской литературѣ, давали тонъ всему и были главными судьями новой беллетристической школы, и если только не совратили съ пути, на который направилъ ее Бѣлинскій, то благодаря лишь тому, что среди нихъ не было ни одного критика настолько талантливаго, чтобы онъ могъ подчинить белле-

тристовъ своему вліянію. Но если критики, созданные петербургскою литературною средой того времени, и не отличались ни сильными талантами, ни вліяніемъ, тѣмъ не менѣе они представляютъ такой своеобразный характеръ, что мы считаемъ не лишнимъ закончить эту главу ознакомленіемъ съ ихъ взглядами и критическими критеріумами.

IV.

Наиболѣе сильнымъ авторитетомъ въ то время въ критикѣ петербургскихъ журналовъ пользовались Александръ Васильевичъ Дружининъ и Павелъ Васильевичъ Анненковъ.



А. В. Дружининъ.

А. В. Дружининъ родился въ 1825 г.; воспитывался въ Пажескомъ корпусѣ, откуда былъ выпущенъ въ лейбъ-гвардіи финляндскій полкъ прапорщикомъ. Съ 1847 г. онъ служилъ въ канцеляріи военнаго министра, а въ 1851 г. вы-

шелъ въ отставку. Первая повѣсть его, обратившая на себя общее вниманіе,—*Поленька Саксъ*, была напечатана въ № 12 *Современника* 1847 г. Затѣмъ потянулся въ *Современникѣ* рядъ его разсказовъ, каковы: *Разсказъ Алексѣя Дмитріевича*, *Повѣсть Жюля*, *Докторъ и паціентъ* и пр. Одновременно съ этимъ Дружининъ приступилъ къ печатанію галлереи замѣчательныхъ романовъ старыхъ и новыхъ временъ съ біографическими свѣдѣніями объ авторахъ и выступилъ въ *Современникѣ* въ качествѣ фельетониста, подъ псевдонимомъ Ивана Чернокнижникова. Подъ тѣмъ-же псевдонимомъ онъ писалъ впослѣдствіи въ *Библіотекѣ для Чтенія* и *Вѣкѣ*.

Въ *Библіотекѣ для Чтенія* Дружининъ помѣстилъ въ 1851—52 гг. рядъ статей подъ заглавіемъ *Джонсонъ и Босвелъ*, *Картины британскихъ литературныхъ нравовъ во второй половинѣ XVIII вѣка*. Въ *Современникѣ* впродолженіе всей первой половины пятидесятыхъ годовъ онъ велъ критическій фельетонъ подъ заглавіемъ *Письма иногородняго подписчика о русской журналистикѣ*. а съ появленіемъ съ 1856 года въ *Современникѣ* новыхъ сотрудниковъ тѣ-же фельетоны онъ перенесъ въ *Библіотеку для Чтенія*, гдѣ съ тѣхъ поръ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и редакторомъ. Изъ прочихъ трудовъ его замѣчательны: переводъ трагедій Шекспира: *Король Лиръ*, *Коріоланъ* и *Ричардъ III*, статьи его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1861—1862 гг.: *Изъ дневника мирового посредника*, подъ псевдонимомъ Безвѣстнаго.

Въ 1859 г. Дружининъ ознаменовалъ свою жизнь инціативою вопроса объ основаніи «Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ» и принималъ горячее участіе въ учрежденіи его. Неутомимая дѣятельность, подточивъ его силы, привела его къ преждевременной смерти; въ исходѣ 1863 г. онъ слегъ, а 19-го января 1864 г. умеръ въ Петербургѣ отъ чахотки на 39 году жизни.

Павелъ Васильевичъ Анненковъ родился въ Москвѣ 19-го іюня 1813 года. Отецъ его былъ богатый помѣщикъ Симбирской губерніи. Учился онъ сначала въ Горномъ Институтѣ, гдѣ дошелъ до спеціальныхъ классовъ; затѣмъ долгое время былъ вольнослушателемъ на историко-филологическомъ факультетѣ въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Въ 1833 г. онъ поступилъ было въ канцелярію министерства финансовъ, но вскорѣ бросилъ службу и въ 1840 г. уѣхалъ за-границу, откуда началъ присылать письма, которыя печатались Бѣлинскимъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1840 – 42 гг. Сороковые годы онъ проводилъ по большей части за-границей, рѣдко наѣзжалъ въ Россію и ограничивался нѣсколькими посредственными разсказами и корреспонденціями. Въ пятидесятыхъ годахъ литературная дѣятельность Анненкова принимаетъ характеръ болѣе энергическій; онъ выдвигается на первый планъ и, до половины шестидесятыхъ годовъ, занимаетъ мѣсто перваго критика рядомъ съ А. В. Дружининымъ. Но особенно прославился онъ какъ библіографъ, и по этой отрасли оставилъ по себѣ весьма почтенную память такими трудами, какъ полное собраніе сочиненій Пушкина съ *матеріалами* для біографіи его въ 1856 году, и изданіемъ переписки и біографіи Станкевича въ 1867 г.

Одновременно съ этимъ помѣщались въ различныхъ журналахъ критическіе этюды, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны слѣдующіе: *И. С. Тургеневъ и Л. Н. Толстой* (1854 г.), *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности* (1855 г.), *С. Т. Аксаковъ и его «Семейная хроника»* (1856 г.), *Литературный типъ слабаго человѣка* по поводу *«Аси»* *Тургенева* (1858 г.), *Дѣловой*

романъ въ нашей литературѣ: «Тысяча Душъ», романъ А. Писемскаго (1859 г.), *Наше общество въ «Дворянскомъ Гнѣздѣ» Тургенева* (1859 г.), *«Гроза» Островскаго и критическая буря* (1860 г.), и проч.

Послѣднія 20 лѣтъ своей жизни Анненковъ проживалъ большею частью заграницей, лишь изрѣдка наѣзжая въ Россію. Наиболѣе замѣчательными его трудами этого періода представляются его воспоминанія о движеніи русской



П. В. Анненковъ.

мысли и литературныхъ дѣятеляхъ сороковыхъ годовъ, которыя онъ печаталъ на страницахъ *Вѣстника Европы*, таковы: *Замѣчательное десятилѣтіе*, *Идеалисты 30-хъ годовъ*, *Молодость И. С. Тургенева*, *Художникъ и простой человѣкъ* (*А. Ѳ. Писемскій*), и проч.

Умеръ Анненковъ 8-го марта 1887 г. въ Дрезденѣ.

Читая статьи и фельетоны этихъ критиковъ, особенно Дружинина, тщетно вы будете искать въ нихъ какіе-либо руководящіе принципы и критеріи; между тѣмъ, еще разъ повторяемъ, статьи эти имѣютъ вполнѣ опредѣленный и свое-

образный характеръ, благодаря которому онѣ должны были очень нравиться петербургскимъ бюрократическимъ оппортунистамъ, представителями которыхъ являлись онѣ въ литературѣ.

Въ самомъ дѣлѣ: представьте себѣ петербургскаго либеральнаго администратора, который вечеромъ, въ свободный часъ отъ служебныхъ обязанностей и преферансной пульки, въ комфортабельномъ кабинетѣ, полулежа у пылающаго камина, занимался перелистываніемъ послѣднихъ книжекъ журналовъ и пробѣгалъ беллетристическія новости. Изъ каждой прочитанной повѣсти онъ выносилъ свои сужденія, не лишенныя иногда остроумія, и мѣткости, и здраваго смысла Но развѣ эти сужденія касались внутренняго смысла, который таился въ прочитанномъ произведеніи, духа, который его проникалъ? Ничуть не бывало: вся критика ограничивалась замѣчаніями о выдержанности или невыдержанности характера героя, сѣтованіями на недостатокъ внѣшней занимательности, чѣмъ такъ отличаются французскіе романисты и до чего русскимъ далеко, или же насмѣшками надъ претензіей беллетриста выводить свѣтскихъ людей, не имѣя ни малѣйшаго понятія объ истинной свѣтскости, и т. п. Именно подобнаго рода сужденіями отличаются критическія статьи и фельетоны того времени, и особенно Дружинина.

Возьмемъ для примѣра двѣ-три выдержки. Въ 1850 году была напечатана въ апрѣльской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* повѣсть Тургенева *Дневникъ лишняго человѣка*. Казалось бы, на какія серьезныя и важныя размышленія должна была вызвать мало-мальски живого критика эта повѣсть въ общемъ мрачномъ колоритѣ того времени, и вдругъ мы читаемъ слѣдующій отзывъ Дружинина въ его четырнадцатомъ письмѣ:

«Повѣсть эта принадлежитъ къ *самымъ слабымъ* произведеніямъ автора *Записокъ Охотника*. Эго одна изъ тѣхъ повѣстей, *которыя никогда не дочитываются до конца* и о которыхъ два-три любителя выражаются съ глубокомысленнымъ видомъ: «это собственно не повѣсть, а психологическое развитіе». Г. Тургеневъ слишкомъ уменъ, чтобы написать вещь совершенно скучную, и человѣкъ, со вниманіемъ прочитавшій его послѣднее произведеніе, найдетъ въ немъ нѣсколько мыслей, живописныхъ описаній, но не болѣе. Мы въ послѣднее время такъ уже привыкли къ психологическимъ развитіямъ, къ разсказамъ «темныхъ», «праздныхъ», «лишнихъ» людей, къ запискамъ мечтателей и ипохондриковъ, мы такъ часто съ разными болѣе или менѣе искусными нувелистами заглядывали въ душу героевъ больныхъ, робкихъ, загнанныхъ, огорченныхъ, вялыхъ, что наши потребности совершенно измѣнились. Мы не хотимъ тоски, не желаемъ произведеній, основанныхъ на болѣзненномъ настроеніи духа; если-бы самъ авторъ *Обермана* воскресъ и написалъ намъ новый романъ въ этомъ родѣ, сомнѣваюсь, чтобы такой романъ былъ дочитанъ до конца... даже до конца первой главы Г. Тургеневъ, владѣя замѣчательною способностью къ психологическому анализу, любитъ подмѣчать въ каждомъ изъ своихъ героевъ стороны слабыя, раздражительныя, болѣзненныя. Эга особенность, употребленная въ мѣру, помогла ему обрисовать прекрасный характеръ Вилицкаго въ *Холостякѣ* и очень эффектно проявилась въ одномъ изъ *Разсказовъ охотника*, если не ошибаюсь, въ *Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда*. *Дневникъ лишняго человѣка* построенъ весь на этой особенности, и оттого повѣсть слаба, однообразна, утомительна».

Затѣмъ, разсказавъ содержаніе повѣсти, Дружининъ приходитъ къ слѣдующему выводу:

«Прочитавъ съ довольно унылымъ чувствомъ повѣсть г. Тургенева, я задумался надъ этою повѣстью одного изъ любимыхъ моихъ писателей. Мнѣ захотѣлось разгадать одну изъ главныхъ причинъ той мелочности, въ которую впала наша беллетристика за послѣднія пять или шесть лѣтъ,—мелочности, непонятной въ то самое время, когда наша ученая словесность быстро движется впередъ и когда каждый изъ русскихъ журналовъ каждый мѣсяцъ представляетъ своимъ читателямъ по одной, по двѣ замѣчательныхъ статей серьезнаго содержанія (sic). Думая о причинахъ этой мелочности, я пришелъ къ двумъ убѣ-

жденіямъ: первое, что сатирическій элементъ, какъ-бы блистателенъ онъ ни былъ, не способенъ быть преобладающимъ элементомъ въ изящной словесности, и второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами изъ современной жизни».

Дикость такихъ сужденій не должна насъ удивлять: всѣ петербургскіе администраторы того времени, начиная съ надворныхъ и кончая дѣйствительными тайными совѣтниками, повторяли буквально тѣ-же изреченія: и что надоѣли имъ всѣ эти иппохондрики въ нашей беллетристикѣ, и что мы не хотимъ тоски, и что беллетристика измельчала, и что причина этому — преобладаніе сатиры и погоня за современными сюжетами, и т. п.

Въ томъ-же году въ № 21 *Москвитянина* была напечатана не менѣе многознаменательная повѣсть Писемскаго *Тюфякъ*. Къ этой повѣсти Дружининъ отнесся гораздо благосклоннѣе, причемъ особенно понравился ему языкъ дѣйствующихъ лицъ, обладающій, по его мнѣнію, «той бойкостью и оригинальностью, которая такъ очаровательна въ романахъ г. Вельтмана». Въ заключеніе-же довольно поверхностнаго и казеннаго разбора Дружининъ замѣчаетъ вдругъ, на этотъ разъ въ угоду даже не самимъ надворнымъ совѣтникамъ, а ихъ женамъ и дочерямъ, что въ повѣсти Писемскаго мало внѣшней занимательности, и это онъ ставитъ въ вину автору. «Беллетристу,— говоритъ онъ,— какъ бы талантливъ онъ ни былъ, нечего бѣгать отъ живыхъ сценъ, движенія, *даже таинственности и эффектовъ*: онъ пишетъ не для однихъ диллетантовъ, уже охлажденныхъ къ романамъ и при чтеніи занимательнаго разсказа говорящихъ: «лучше «Монте-Кристо» не выдумаешь, любезный другъ!» и т. д.

V.

Однимъ словомъ, всѣ великіе завѣты Бѣлинскаго были забыты. Точно какъ будто этихъ самыхъ будущихъ критиковъ, своихъ преемниковъ, подразумѣвалъ Бѣлинскій, когда въ своемъ литературномъ обозрѣніи за 1847 годъ заставилъ изнѣженнаго сибарита съ пренебреженіемъ бросить книгу, заключающую въ себѣ повѣсть въ духѣ натуральной школы, и воскликнулъ: «Книга должна пріятно развлекать; я безъ того знаю, что въ жизни много тяжелаго и мрачнаго, и если читаю, такъ для того, чтобы забыть это!» — «Такъ,—отвѣчаетъ Бѣлинскій на это восклицаніе,—милый, добрый сибаритъ, для твоего спокойствія и книги должны лгать, и бѣдный забывать свое горе, голодный — свой голодъ, стоны, страданія должны долетать до тебя музыкальными звуками, чтобы не испортился твой аппетитъ, не нарушился твой сонъ».

Эти пророческія слова Бѣлинскаго исполнились буква въ букву: критики-сибариты, о которыхъ мы говоримъ, не замедлили воздвигнуть цѣлый походъ противъ натуральной школы и создали особенный культъ поэзіи Пушкина не ради величія этой поэзіи самой по себѣ и неоцѣненныхъ заслугъ Пушкина, а въ видѣ противодѣйствія гоголевскому вліянію, какъ заявляли они въ своихъ статьяхъ, съ цѣлью возвращенія нашей литературы къ свѣтлому взгляду на жизнь и дѣйствительность.

Такъ, Дружининъ въ своей статьѣ по поводу изданія сочиненій Пушкина, въ *Библіотекѣ для Чтенія* въ 1858 году, между прочимъ говоритъ:

«Одинъ изъ современныхъ литераторовъ выразился очень хорошо, говоря о сущности дарованія Александра Сергѣевича. «Если-бы Пушкинъ прожилъ до нашего времени,—выразился онъ,—его творенія составили-бы противудѣйствіе гоголевскому направленію, ко-

торое, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, нуждается въ такомъ противудѣйствіи». Отзывъ совершенно справедливый и весьма примѣнимый къ дѣлу. И въ настоящее время, и черезъ столько лѣтъ послѣ смерти Пушкина, его творенія должны сдѣлать свое дѣло. Изучая прозу Пушкина, его *Онѣгина*, гдѣ изображенъ вседневный бытъ нашъ какъ городской, такъ и деревенскій, его стихотворенія, внушенныя сельскими картинами, сельскимъ бытомъ, мы придемъ къ началу того противодѣйствія, той реакціи, которая такъ нужна въ текущей словесности. Что-бы ни говорили пламенные поклонники Гоголя (и мы сами причисляемъ себя не къ холоднымъ его читателямъ), нельзя всей словесности жить на однѣхъ *Мертвыхъ Душахъ*. Намъ нужна поэзія. Поэзіи мало въ послѣдователяхъ Гоголя, поэзіи нѣтъ въ излишне-реальномъ направленіи многихъ новѣйшихъ дѣятелей. Самое это направленіе не можетъ назваться натуральнымъ, ибо изученіе одной стороны жизни не есть еще натура. Скажемъ нашу мысль безъ обиняковъ: наша текущая словесность изнурена, ослаблена своимъ сатирическимъ направленіемъ. Противъ такого сатирическаго направленія, къ которому привело насъ неумѣренное подражаніе Гоголю, поэзія Пушкина можетъ служить лучшимъ орудіемъ. Очи наши проясняются, дыханіе становится свободнымъ: мы переносимся изъ одного міра въ другой, отъ искусственнаго освѣщенія къ простому дневному свѣту, который лучше всякаго яркаго освѣщенія, хотя и освѣщеніе въ свое время, имѣетъ свою пріятность. Передъ нами тотъ-же бытъ, тѣ же люди, но какъ все это глядитъ тихо, спокойно и радостно!»

Отъ требованій, чтобы искусство тихо, спокойно и радостно смотрѣло на жизнь, одинъ шагъ до теоріи чистаго искусства, а разъ наши критики-оппортунисты встали на эту почву, имъ только и оставалось – мало того, что забыть всѣ завѣты Бѣлинскаго, но придти къ полному его отрицанію, и они не замедлили вступить на этотъ путь, причемъ послѣдовательнѣе и откровеннѣе всѣхъ оказался Дружининъ, который въ своей статьѣ «*Очерки изъ крестьянскаго быта А. Ѳ. Писемскаго*» въ «*Библіотекѣ для Чтенія*» 1856 года прямо отрицаетъ критику Бѣлинскаго и указываетъ даже на вредное ея вліяніе:

«Большая часть пишущихъ людей,—говоритъ онъ,—понимала необходимость жизни и примиренія съ жизнью, сознавала необходимость всего того, отъ чего ее отвращала новая критика, то-есть необходимость свѣтлаго взгляда на вещи, веселаго простодушнаго смѣха, необходимость беззлобнаго отношенія къ дѣйствительности, необходимость любящаго симпатическаго взгляда на людей и на дѣла людскія. Потому-то даже годы полнаго торжества дидактической критики принесли нашему искусству вредъ скорѣе отрицательный, чѣмъ положительный. Критика сороковыхъ годовъ скорѣе мѣшала развитію писателей существующихъ, нежели содѣйствовала къ появленію новыхъ писателей-дидактиковъ. На литераторовъ, уже составившихъ себѣ имя и вновь появляющихся, критика Бѣлинскаго налагала стѣснительныя узы, но художниковъ, собственно созданныхъ ею, она не имѣла. Своихъ поэтовъ, своихъ литературныхъ адептовъ она не создала; эти послѣдніе, побѣгавшіе самое короткое время на дидактической кордѣ, исчезали съ лица земли и гибли вслѣдствіе своего собственнаго безсилія. Всюду кипѣли свѣжія, молодыя силы, всюду являлось сдержанное противорѣчіе узкимъ дидактическимъ требованіямъ господствующей критики. Чуть замолкъ голосъ Бѣлинскаго, чуть его поэтическое слово перестало служить самымъ непоэтическимъ изъ всѣхъ цѣлей, въ ряду русскихъ критиковъ даже не нашлось человѣка, желающаго продолжать дѣло. При всемъ уваженіи къ критикѣ гоголевскаго періода, при всей личной симпатіи къ ея главнымъ дѣятелямъ, каждый поэтъ и каждый прозаикъ, воспитанный на ея теоріяхъ, почувствовалъ, что, наконецъ, пришло время отрѣшиться отъ всей мертвенной, рутинной стороны сказанныхъ теорій. Несмотря на полное господство дидактическихъ преданій въ искусствѣ, движеніе нашей изящной словесности шло шире и всестороннѣе».

Трудно представить себѣ бо́льшее извращеніе всѣхъ историко-литературныхъ данныхъ. Бѣлинскій, всегда ратовавшій противъ дидактизма въ искусствѣ и требовавшій отъ писателей лишь живого, естественнаго проникновенія общественными вопросами, попалъ вдругъ въ дидактики, оказалось, что онъ не создалъ ни одного писателя, а тѣ, которые подчинялись его требованіямъ, исчезали и гибли вслѣдствіе своего безсилія. Вотъ до чего договорились критики-оппор-

тунисты! Замѣчательно, что подобный походъ противъ завѣтовъ Бѣлинскаго имѣлъ мѣсто не на однѣхъ страницахъ *Библіотеки для Чтенія*, гдѣ онъ былъ умѣстенъ, сообразно традиціямъ этого журнала, всегда ратовавшаго противъ критики Бѣлинскаго и натуральной школы. Не уступалъ въ этомъ отношеніи и *Современникъ*, и около того же времени, именно въ 1855 году, въ немъ была помѣщена критическая статья П. В. Анненкова: *О мысли въ произведеніяхъ изящной словесности*, въ которой Анненковъ въ свою очередь весьма рѣшительно возсталъ противъ требованія отъ изящныхъ произведеній мысли, поученія. Постоянныя хлопоты о мысли, которыми занята не одна публика, но и критика, сообщаютъ, по его мнѣнію, педагогическій характеръ изящной литературѣ вообще, какъ это мы видимъ не только въ нашемъ прошломъ, но и въ настоящемъ:

«Съ одной стороны,—говоритъ Анненковъ, — кругъ дѣйствія литературы отъ этого, можетъ быть, и расширяется, но, съ другой стороны, онъ утрачиваетъ бо́льшую часть самыхъ дорогихъ и существенныхъ качествъ своихъ—свѣжесть пониманія явленій, простодушіе во взглядѣ на предметы, смѣлость обращенія съ ними. Тамъ, гдѣ опредѣляется относительное достоинство произведеній по количеству мысли и цѣнность его по вѣсу и качеству идеи, тамъ рѣдко является близкое созерцаніе природы и характеровъ, а всегда почти философствованіе и нѣкоторое лукавство. Не говоримъ уже о томъ, что на основаніи *мысли* легко быть судьею литературнаго произведенія всякому, кто признаетъ въ себѣ мысли (а кто же не признаетъ ихъ въ себѣ?), а на основаніи эстетическихъ условій это тяжелѣе. Не говоримъ также, что по существу критикъ, ищущихъ предпочтительно мысли, вся лучшая сторона произведенія, именно его постройка, остается почти всегда безъ оцѣнки и опредѣленія, но скажемъ, что обыкновенно и не тѣхъ мыслей требуютъ отъ искусства, какія оно призвано и способно распространять въ своей сферѣ... Требуютъ мысли не художнической, а философской или педагогической. Извѣстно, что каждый изъ отдѣловъ изящнаго имѣетъ свой кругъ идей, нисколько несходныхъ съ идеями, какія можетъ производить до безконечности способность разсужденія вообще. Такъ, есть музыкальная, скульптурная, архитектурная и также литературная мысль. Всѣ онѣ самостоятельны и не могутъ быть перенесенными, чтобы перемѣщенная мысль не сдѣлалась, вмѣсто истины, парадоксомъ и чудовищностью. Какого же рода циклъ идей принадлежитъ повѣствованію и въ чемъ сущность его? Развитіе психологическихъ сторонъ лица или многихъ составляетъ основу всякаго повѣствованія, которое почерпаетъ жизнь и силу въ наблюденіи душевныхъ оттѣнковъ, тонкихъ характерныхъ отличій, игры безчисленныхъ волненій человѣческаго нравственнаго существа въ соприкосновеніи съ другими людьми. Гдѣ есть въ разсказѣ присутствіе психологическаго факта и вѣрное развитіе его, тамъ есть настоящая и глубокая мысль. Взамѣнъ, если повѣствованіе основано на чистой мысли, но выраженной, какъ всегда выражается такая мысль, посредствомъ невозможнаго или противуэстетическаго душевнаго настроенія, то мысль уже не спасетъ разсказа, какъ бы сама по себѣ ни была свѣтла и благородна. Произведеніе останется все таки плохимъ, впечатлѣніе, произведенное имъ, будетъ слабо и вліяніе совершенно ничтожно».

Это отрицаніе философскихъ и всякихъ другихъ мыслей въ изящныхъ произведеніяхъ, кромѣ одной психологической правды, и требованіе, чтобы критика на первомъ планѣ ставила чисто-эстетическую оцѣнку, въ свою очередь шли совершенно въ разрѣзъ и съ духомъ времени, и съ существеннымъ значеніемъ новой литературной школы. Мы нарочно сдѣлали эту цитату изъ статьи Анненкова, чтобы показать, какъ къ концу реакціоннаго періода литераторы-оппортунисты въ такой степени успѣли проникнуть всюду и перемѣшать всѣ карты, что на страницахъ *Современника* могли встрѣчаться тѣ-же самые взгляды, какіе развивались и въ *Библіотекѣ для Чтенія*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но 1855 г. былъ послѣднимъ годомъ господства оппортунистовъ. Въ слѣдующіе годы они принуждены были сосредоточиться въ двухъ журналахъ: *Отечественныхъ Запискахъ* и *Библіотекѣ для Чтенія*,— и слѣпо, вяло и безсмысленно ратуя противъ могучаго теченія вновь проснувшейся

жизни, *Библіотеку для Чтенія* они совсѣмъ погребли, а *Отечественныя Записки* къ концу шестидесятыхъ годовъ довели почти до издыханія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I. Московская оппозиція: изданіе *Пропилеевъ* и возникновеніе славянофильства. Біографическія свѣдѣнія о жизни И. и П. Кирѣевскихъ, А. С. Хомякова, К. и И. Аксаковыхъ.— II. Религіозные и философо историческіе взгляды первыхъ славянофиловъ.—III. Общественныя ихъ доктрины и демократическія тенденціи.—IV. Погромы, испытанные ими.—V. Литературныя заслуги славянофиловъ и ихъ критическіе взгляды.—VI. Почвенники и ихъ ученіе. Критики почвенниковъ: А. Григорьевъ и Н. Страховъ. Точки соприкосновенія почвенниковъ съ петербургскими оппортунистами.—VII. Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ.

I.

Вслѣдствіе ли отдаленности Москвы отъ центральнаго пункта реакціи, оттого ли, что она была очагомъ и колыбелью новаго литературнаго движенія, или по какимъ-либо инымъ причинамъ, но въ пятидесятые года Москва далеко не представляла такого литературнаго запустѣнія, какъ Петербургъ. Въ ней шевелилась кое-какая самостоятельная жизнь и даже замѣчался призракъ чего-то вродѣ оппозиціи.

Таково напримѣръ было изданіе Катковымъ и Леонтьевымъ (съ 1851 и по 1857 гг.) пяти томовъ сборниковъ статей по классической древности, подъ заглавіемъ *Пропилеи*. Въ сборникахъ этихъ помѣщались ученыя статьи по древнему міру и переводы классиковъ какъ самихъ издателей, такъ и Грановскаго, Кудрявцева, М. Куторги и прочихъ спеціалистовъ по исторіи и древностямъ. И хотя содержаніе этихъ сборниковъ было строго научное, при полномъ отсутствіи чего-либо тенденціознаго и будирующаго, но самое періодическое изданіе статей по классической древности было уже оппозиціей противъ слѣпого гоненія на все классическое, воздвигнутаго въ то время въ административныхъ сферахъ въ видѣ уничтоженія преподаванія греческаго языка въ гимназіяхъ и крайняго стѣсненія въ университетахъ программъ по древней исторіи.

Еще больше жизни и движенія замѣчалось въ то время въ славянофильскомъ лагерѣ. По истинѣ можно сказать, что подъ свистками и хихиканьями петербургскихъ оппортунистовъ славянофилы переживали въ то время самыя свѣтлыя и доблестныя страницы своей исторіи, въ ихъ честныхъ и высоко идеальныхъ кружкахъ сохранялись тѣ лучшія традиціи сороковыхъ годовъ, которыя были столь постыдно забыты хлыщевато-бюрократическими журналистами Петербурга.

На славянофиловъ привыкли у насъ смотрѣть, какъ на реакціонеровъ, смѣшивая ихъ въ одну категорію съ квасными патріотами 30-хъ годовъ вродѣ Шевырева и Погодина. Другіе шли еще дальше, искали начала славянофильской партіи въ раскольникахъ и стрѣльцахъ эпохи Петра, и затѣмъ, открывая въ каждомъ послѣдующемъ поколѣніи аналогичныя явленія, ближай-

шимъ предшественникомъ славянофиловъ считали адмирала Шишкова съ его ратованіями за старый слогъ.

Но въ то время какъ Шишковъ ничего не представлялъ собою, кромѣ слѣпого изувѣрства и узкаго педантизма, славянофилы сороковыхъ годовъ были образованнѣйшими людьми своего времени и читали тѣ-же книжки, по какимъ учились и Герценъ, и Бѣлинскій, и Грановскій, что мы и увидимъ сейчасъ изъ фактовъ жизни первыхъ вождей славянофильства,—братьевъ Ивана и Петра Васильевичей Кирѣевскихъ, Алексѣя Степановича Хомякова, Константина и Ивана Сергѣевичей Аксаковыхъ.

Отецъ братьевъ Кирѣевскихъ, Василій Ивановичъ, происходилъ изъ стариннаго дворянскаго рода, владѣвшаго въ Бѣлевскомъ уѣздѣ многими имѣніями, между прочимъ селомъ Долбино въ 7 верстахъ отъ Бѣлева. Онъ былъ человѣкъ замѣчательно просвѣщенный, зналъ пять языковъ; въ молодости самъ занимался литературою; по преимуществу любилъ естественныя науки, особенно физику, химію и медицину. Отъ жены его, урожденной Авд. Петр. Юшковой, у него родилось трое дѣтей: сынъ Иванъ, въ Москвѣ 1806 г., сынъ Петръ, въ Долбинѣ 1808 г. 11-го февраля, и дочь Марія. По смерти его въ 1812 году, вдова возвратилась съ дѣтьми въ Долбино. Воспитаніе мальчиковъ шло сначала подъ вліяніемъ поэта В. А. Жуковскаго, родственника Кирѣевской, затѣмъ подъ руководствомъ второго мужа ея, А. А. Елагина. Особенно счастливыми способностями отличался Иванъ Кирѣевскій. Быстро развиваясь, уже въ деревнѣ онъ усвоилъ французскій и нѣмецкій языки, познакомился съ литературами этихъ языковъ, перечелъ много историческихъ книгъ, основательно выучился математикѣ, познакомился и съ философіею Локка, Гельвеція, Канта и Шеллинга.

Въ 1822 году Елагины переѣхали въ Москву для дальнѣйшаго воспитанія дѣтей, и здѣсь Кирѣевскіе начали учиться по-латыни и по-гречески, брали уроки у Снегирева, Мерзлякова, Цвѣтаева, Чумакова и другихъ профессоровъ Московскаго университета, слушали публичныя лекціи Павлова и выучились по-англійски. Въ 1824 году И. Кирѣевскій поступилъ въ Московскій главный архивъ иностранной коллегіи, гдѣ сблизился со всѣми такъ называемыми «архивными юношами»—Веневитиновыми, В. П. Титовымъ, С. П. Шевыревымъ и пр. Въ началѣ 1827 года князь Вяземскій успѣлъ взять съ него слово написать что-нибудь для прочтенія на литературныхъ вечерахъ у княгини З. А. Волконской, и онъ написалъ *Царицинскую ночь*. Это былъ первый литературный опытъ Кирѣевскаго, сдѣлавшійся извѣстнымъ многочисленному кругу слушателей. Въ 1828 году онъ написалъ для *Московскаго Вѣстника* статью: *Нѣчто о характерѣ поэзіи Пушкина*. Статья была напечатана безъ подписи его имени и только съ цифрами 9 и 11. Тогда же и Петръ Кирѣевскій напечаталъ въ «Вѣстникѣ» отрывокъ изъ Кальдерона, переведенный имъ съ испанскаго, издалъ особою книжкою переводъ Байроновской повѣсти «Вампиръ». Въ 1829 году Петръ Кирѣевскій отправился за-границу для слушанія лекцій въ германскихъ университетахъ, а въ началѣ 1830 года уѣхалъ вслѣдъ за нимъ и И. Кирѣевскій. За-границей братья слушали лучшихъ профессоровъ того времени, между прочимъ Шеллинга и Гегеля. По возвращеніи же изъ-за-границы осенью 1831 года И. Кирѣевскій приступилъ къ изданію журнала *Европеецъ*. Ревностными сотрудниками *Европейца* были: Языковъ, Баратынскій, Хомяковъ, Жуковскій, кн. Вяземскій,

А. И. Тургеневъ и кн. Одоевскій. Но журналъ былъ запрещенъ 22-го февраля 1832 года за статью И. Кирѣевскаго: *XIX вѣкъ*. Цензоръ С. Т. Аксаковъ былъ отставленъ, а Кирѣевскому угрожало удаленіе изъ столицы, и лишь заступничество В. А. Жуковскаго спасло его.

Запрещеніе журнала такъ подѣйствовало на И. Кирѣевскаго, что впродолженіе 12 лѣтъ онъ почти не брался за перо. Въ этотъ періодъ времени онъ и превратился изъ яраго западника въ такого же крайняго славянофила. Этимъ превращеніемъ онъ былъ обязанъ главнымъ образомъ своему брату Петру. Послѣдній говорилъ и писалъ на семи языкахъ; свѣдѣнія его были громадны, хотя способности были менѣе блестящи, чѣмъ у брата,—онъ не былъ такъ краснорѣчивъ и писалъ съ большимъ трудомъ. Единственная статья его была написана для *Москвитянина* 1845 года; изъ переводовъ его молодости осталось въ рукописи нѣсколько оконченныхъ трагедій Кальдерона и Шекспира. Его переводъ «Исторіи Магомета», Вашингтона Ирвинга, былъ напечатанъ послѣ его смерти (въ 1856 г.). Свой подвигъ собиранія народныхъ пѣсенъ, наиболѣе его прославившій, онъ началъ лѣтомъ 1831 года.

Разномысліе братьевъ вело къ ежедневнымъ горячимъ спорамъ, подъ вліяніемъ которыхъ И. Кирѣевскій и превратился изъ западника въ славянофила. Не мало вліянія на этотъ переворотъ оказало и знакомство со схимникомъ Новоспасскаго монастыря, старцемъ Филаретомъ, бесѣды котораго очень цѣнилъ И. Кирѣевскій; во время предсмертной болѣзни старца онъ ходилъ за нимъ съ заботливостью преданнаго сына и цѣлыя ночи просиживалъ въ его кельѣ надъ постелью умирающаго.

Въ 1834 году И. Кирѣевскій женился на Нат. Петр. Арбениной, которую давно уже любилъ. Съ 1839 года И. Кирѣевскій былъ почетнымъ смотрителемъ Бѣлевскаго уѣзднаго училища. Въ началѣ 40-хъ годовъ онъ хлопоталъ о полученіи въ Московскомъ университетѣ вакантной каѳедры логики, но подозрѣніе въ политической неблагонадежности, тяготѣвшее надъ нимъ со времени запрещенія *Европейца*, воспрепятствовало этому. Въ 1845 году онъ принималъ горячее участіе въ изданіи *Москвитянина*; три первыя книжки за этотъ годъ были изданы подъ его редакціей; но невозможность издавать журналъ, не будучи его полнымъ хозяиномъ и оффиціальнымъ издателемъ, заставила его отказаться отъ редакторства. Лѣтомъ 1845 года Кирѣевскій переѣхалъ въ свое Долбино и оставался здѣсь до осени 1846 года. Годъ этотъ былъ однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ въ его жизни. Въ этотъ годъ онъ похоронилъ свою маленькую дочь и лишился многихъ друзей. Въ началѣ 1854 г. Кирѣевскій написалъ свое извѣстное письмо къ гр. Комаровскому: *О характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніе къ просвѣщенію Россіи*. Статья эта была написана для *Московскаго Сборника* и напечатана въ первой книгѣ. Крушеніе второго тома «Сборника» такъ подѣйствовало на Кирѣевскаго, что онъ перестал ъ совсѣмъ писать для печати. Лишь когда послѣ Крымской войны повѣяло новою жизнью, и въ 1856 г. въ Москвѣ основался журналъ *Русская Бесѣда* подъ редакціей Кошелева, съ участіемъ всѣхъ друзей и единомышленниковъ Кирѣевскаго, онъ рѣшился прервать молчаніе и въ февралѣ прислалъ въ Москву свою статью: *О возможности и необходимости новыхъ началъ для философіи*. Но статьѣ этой было суждено играть роль лебединой пѣсни И. Кирѣевскаго: 10-го іюля 1856 года онъ занемогъ холе-

рою и 11-го скончался. Тѣло его было перевезено въ Оптину пустынь и положено близъ соборной церкви.

Алексѣй Степановичъ Хомяковъ родился въ Москвѣ на Ордынкѣ 1804 года 1-го мая. По отцу и матери (урожденной Кирѣевской) Хомяковъ принадлежалъ къ старинному дворянскому роду. Когда Хомяковъ кончилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ, отецъ его весною 1822 года привезъ своего сына въ Новоархангельскъ, Херсонской губерніи, для опредѣленія на службу въ кирасирскій полкъ и поручилъ его командиру этого полка, гр. Д. Е. Остенъ-Сакену, который принялъ юношу, какъ сына. Вотъ какъ свидѣтельствуетъ о Хомяковѣ Остенъ-Сакенъ:

«Въ физическомъ, нравственномъ и духовномъ воспитаніи Хомяковъ былъ едва-ли не единица. Образованіе его было поразительно превосходно, и я во всю жизнь свою не встрѣчалъ ничего подобнаго въ юношескомъ возрастѣ. Какое возвышенное направленіе имѣла его поэзія! Онъ не увлекался направленіемъ вѣка къ поэзіи чувственной. У него все нравственно, духовно, возвышенно. Ѣздилъ верхомъ отлично. Прыгалъ черезъ препятствія въ вышину человѣка. На эспадронахъ дрался превосходно. Обладалъ силою воли, не какъ юноша, но какъ мужъ, искушенный опытомъ. Строго исполнялъ всѣ посты по уставу православной церкви, и въ праздничные и воскресные дни посѣщалъ всѣ богослуженія. Въ то время было уже значительное число вольнодумцевъ, деистовъ, и многіе глумились надъ исполненіемъ уставовъ церкви, утверждая, что они установлены для черни. Но Хомяковъ внушалъ къ себѣ такую любовь и уваженіе, что никто не позволялъ себѣ коснуться его вѣрованія. Онъ не позволялъ себѣ внѣ службы употреблять одежду изъ тонкаго сукна, даже дома, и отвергнулъ позволеніе носить жестяныя кирассы вмѣсто желѣзныхъ полупудоваго вѣса, не смотря на малый ростъ и съ виду слабое сложеніе. Относительно терпѣнія и перенесенія физической боли обладалъ онъ въ высшей степени спартанскими качествами.»

Прослуживъ не болѣе года подъ начальствомъ гр. Остенъ-Сакена, Хомяковъ былъ переведенъ въ лейбъ-гвардіи конный полкъ; 1821 и 26 годы онъ провелъ въ путешествіяхъ по чужимъ краямъ. Движеніе, овладѣвшее въ то время петербургскою военною молодежью, прошло мимо Хомякова. Онъ жилъ долго и уединенно въ Парижѣ, занимался живописью и писалъ трагедію *Ермакъ*. Военную службу онъ продолжалъ до окончанія войны съ Турціею, 1829 г.; затѣмъ онъ вышелъ въ отставку и всю жизнь посвятилъ научнымъ и литературнымъ занятіямъ, примкнувъ къ кружку славянофиловъ. Съ тридцатыхъ годовъ начали появляться въ московскихъ журналахъ статьи Хомякова по философіи, исторіи и богословіи, проникнутыя ультра-славянофильскимъ духомъ. Такимъ же духомъ преисполнены и его трагедіи въ стихахъ: *Ермакъ* и *Дмитрій Самозванецъ*, а также и масса лирическихъ стихотвореній, дышащихъ горячимъ патріотизмомъ. Неустанная дѣятельность его предолжалась до 1860 года, когда преждевременная смерть отъ холеры свела его въ могилу.

Константинъ Сергѣевичъ Аксаковъ, старшій сынъ извѣстнаго писателя С. Т. Аксакова и жены его Ольги Семеновны Заплатиной, родился 29-го марта 1817 г. въ селѣ Аксаковѣ, Бугурусланскаго уѣзда, Оренбургской губерніи. Здѣсь К. Аксаковъ прожилъ до девяти лѣтъ, находясь въ постоянномъ общеніи съ крестьянами, что конечно сильно повліяло на ту любовь къ народу, какую онъ обнаруживалъ впослѣдствіи, и на его взгляды о преимуществахъ нравственныхъ свойствъ народа передъ интеллигенціей. Съ 1826 года К. Аксаковъ поселяется съ отцомъ въ Москвѣ и живетъ въ ней безвыѣздно втеченіе всей почти жизни. Первымъ наставникомъ и воспитателемъ К. Аксакова былъ отецъ его, развившій въ немъ рано страсть къ литературѣ. Въ 1839 г., пятнадцати

лѣтъ, К. Аксаковъ поступилъ уже въ Московскій университетъ на словесный факультетъ; здѣсь онъ вошелъ въ скоромъ времени въ среду знаменитаго кружка Станкевича и сдѣлался однимъ изъ энергическихъ его членовъ на поприщѣ увлеченія Гегелемъ и всѣми тѣми нравственно философскими вопросами, какими волновался кружокъ. Вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ онъ сотрудничалъ подъ псевдонимомъ Волшебника въ *Телескопѣ*, *Молвѣ*, *Московскомъ Наблю-*



К. С. Аксаковъ.

дателѣ, помѣщая въ этихъ журналахъ рецензіи и стихи, преимущественно переводы изъ Шиллера и Гёте. Въ 1838 г. К. Аксаковъ поѣхалъ за-границу, но пробылъ тамъ не болѣе пяти мѣсяцевъ, не въ силахъ будучи долѣе жить вдали отъ родныхъ и внѣ домашней обстановки. Послѣ отъѣзда въ 1839 году Бѣлинскаго въ Петербургъ, у К. Аксакова, при сближеніи его съ Хомяковымъ, Кирѣевскимъ и Самаринымъ, начался поворотъ къ славянофильству, произведшій разрывъ его съ Бѣлинскимъ и прочими членами кружка. Втеченіе сороковыхъ годовъ К. Аксаковъ успѣлъ настолько увлечься славянофильскими

идеями, что сдѣлался однимъ изъ вождей этой партіи. Такъ, въ *Московскомъ Сборникѣ*, изданномъ славянофильскимъ кружкомъ въ 1847 г., онъ выступилъ подъ псевдонимомъ *Имрека* съ тремя критическими статьями въ крайне-славянофильскомъ духѣ, въ которыхъ досталось за оторванность отъ народа не только кн. Одоевскому и Тургеневу, но и Ѳ. Достоевскому. Въ 1847 году К. Аксаковъ защищалъ диссертацію о Ломоносовѣ, представленную имъ для полученія степени магистра русской словесности, причемъ книгу пришлось перепечатать вслѣдствіе нѣкоторыхъ рѣзкихъ выраженій о Петрѣ и петербургскомъ періодѣ. Въ декабрѣ 1850 г. К. Аксаковъ поставилъ въ бенефисъ Леонидова свою драму: *Освобожденіе Москвы*, но она была снята со сцены на слѣдующій же день послѣ бенефиса.

Въ книгѣ *Московскаго Сборника* 1852 г. была напечатана статья К. Аксакова: *О родовомъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ частности.* Второй же выпускъ сборника 1853 г. былъ задержанъ цензурою между прочимъ за статью К. Аксакова: *О богатыряхъ князя Владиміра*. Когда «Сборникъ» былъ запрещенъ, К. Аксаковъ, вмѣстѣ съ прочими его главными сотрудниками, былъ отданъ подъ полицейскій надзоръ и лишенъ права печатать свои статьи иначе, какъ проведя ихъ черезъ главное управленіе цензуры въ Петербургѣ.

Только съ наступленіемъ новаго царствованія К. Аксаковъ могъ снова отдаться литературной дѣятельности. Такъ, онъ принялъ энергическое участіе въ начавшей выходить съ 1856 года *Русской Бесѣдѣ*, а въ 1857 году самъ редактировалъ еженедѣльную газету *Молва*, гдѣ помѣстилъ множество мелкихъ статей. Кромѣ того въ концѣ пятидесятыхъ годовъ онъ напечаталъ двѣ драмы: *Князь Руковицкій* и *Олегъ подъ Константинополемъ*, начало своей русской грамматики и пр.

Вся эта энергическая дѣятельность была прервана со смертью отца К. Аксакова, Сергѣя Тимофеевича. Смерть эта такъ подѣйствовала на нѣжно любящаго сына, что онъ впалъ въ отчаяніе, потерялъ сонъ, аппетитъ, въ короткое время изъ атлета сдѣлался человѣкомъ болѣзненнымъ и хилымъ, впалъ въ злую чахотку и черезъ полтора года—6-го дек. 1860 г.—умеръ на островѣ Зантѣ.

Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ, младшій сынъ Сергѣя Тимофеевича, родился 16-го сент. 1823 г., въ селѣ Надеждинѣ, Белебеевскаго уѣзда, Уфимской губерніи. Трехъ лѣтъ онъ переѣхалъ съ семействомъ въ Москву. Учился онъ въ Училищѣ Правовѣдѣнія и, кончивши курсъ въ 1824 г., поступилъ на службу въ Московскій сенатъ. Затѣмъ онъ служилъ въ калужской и астраханской уголовныхъ палатахъ, а въ 1848 году перешелъ въ министерство внутреннихъ дѣлъ чиновникомъ особыхъ порученій; ѣздилъ по раскольничьимъ дѣламъ въ Бессарабію и въ Ярославскую губернію для ревизіи городского управленія, для введенія единовѣрія и изученія секты бѣгуновъ, результатомъ чего былъ объемистый трудъ его о бѣгунахъ, часть котораго была напечатана въ *Русскомъ Архивѣ* 70-хъ годовъ.

Выйдя въ отставку въ 1852 г., И. Аксаковъ посвятилъ себя журнальной дѣятельности, былъ редакторомъ *Московскаго Сборника*, и при погромѣ послѣдняго на него было обращено особенное вниманіе: сверхъ предписанія представлять сочиненія въ Главное Правленіе, онъ былъ лишенъ права когда-бы то ни было быть издателемъ или редакторомъ журнала. Послѣ этого онъ

принялъ на себя порученіе Географическаго общества изучить торговлю на Украинскихъ ярмаркахъ. Въ концѣ 1853 года онъ уѣхалъ съ этою цѣлью въ Малороссію и полтора года употребилъ на изученіе малороссійской торговли, что дало ему возможность изучить русскую торговлю вообще и завести тѣсныя связи съ купечествомъ, которыя впослѣдствіи доставили ему доходное мѣсто предсѣдателя Московскаго общества взаимнаго кредита. Результатомъ командировки И. Аксакова являлось объемистое *Изслѣдованіе о торговлѣ на Украинскихъ ярмаркахъ*, появившееся въ свѣтъ въ 1859 г., встрѣченное единодушными похвалами всей печати и удостоившееся почетныхъ наградъ: Географическое Общество, издавшее *Изслѣдованіе*, присудило автору большую Констатиновскую медаль, а Академія Наукъ—половинную Демидовскую премію.


Иванъ Аксаковъ.

Въ 1858 году И. Аксаковъ былъ негласнымъ редакторомъ *Русской Бесѣды*. Въ 1859 году ему послѣ долгихъ хлопотъ удалось снискать разрѣшеніе на еженедѣльную газету *Парусъ*, но она была запрещена на второмъ номерѣ.

Послѣ смерти отца, 30 апр. 1859 г., И. Аксаковъ принужденъ былъ оставить редакцію *Русской Бесѣды* и ѣхать съ больнымъ братомъ Константиномъ, при которомъ и находился неотлучно до самой смерти его на островѣ Зантѣ. Пребываніемъ за-границею И. Аксаковъ воспользовался для ознакомленія съ западнымъ и южнымъ славянствомъ, посѣтилъ главнѣйшіе центры европейскаго славянства и завязалъ личныя знакомства со многими изъ наиболѣе видныхъ представителей его. Какъ члена только-что основаннаго тогда въ Москвѣ Славянскаго благотворительнаго комитета, его вездѣ встрѣчали очень тепло, и особенно въ Бѣлградѣ.

По возвращеніи домой И. Аксаковъ началъ хлопотать объ изданіи еженедѣльной газеты *День*. Разрѣшеніе было ему дано, но съ тѣмъ, чтобы въ газетѣ не было политическаго отдѣла. Кромѣ того цензурѣ было предписано имѣть за газетою особенно бдительное наблюденіе. Изданіе *Дня* продолжалось съ конца 1861 года до конца 1865 г., когда И. Аксаковъ прекратилъ изданіе въ силу обстоятельствъ личнаго свойства.

Черезъ годъ—съ 1-го января 1867 г. И. Аксаковъ предпринялъ изданіе новой ежедневной газеты *Москва*, но газетѣ этой не посчастливилось на почвѣ новаго цензурнаго устава: она существовала всего 22 мѣсяца,—по 21-е окт. 1868 года, и въ этотъ короткій періодъ получила девять предостереженій, причемъ три раза была пріостановлена: въ первый разъ на три, второй —на четыре, третій—на шесть мѣсяцевъ. Во время этихъ пріостановокъ *Москву*

замѣнялъ *Москвичъ*, выходившій правда подъ номинальною редакціею другого лица, но фактически редактировавшійся И. Аксаковымъ и даже внѣшнимъ видомъ вполнѣ сходный съ *Москвою*.

Женившись въ концѣ шестидесятыхъ годовъ на дочери поэта Тютчева, фрейлинѣ Аннѣ Ѳедоровнѣ, И. Аксаковъ поступилъ на службу во 2-е Московское общество взаимнаго кредита на мѣсто предсѣдателя совѣта.

Но эта служебно-практическая дѣятельность не поглотила всѣхъ силъ и всего времени И. Аксакова, и онъ не переставалъ быть вождемъ своей партіи, ознаменовавши послѣдніе годы своей жизни и какъ блестящій ораторъ, и какъ публицистъ. Въ качествѣ оратора И. Аксакову пришлось подвизаться въ званіи предсѣдателя Славянскаго комитета, причемъ самыми горячими годами этого рода дѣятельности была эпоха сербскаго движенія и турецкой войны, начиная съ 1875 по 1878 годы. Каждое слово его въ то время являлось политическимъ событіемъ. О каждой рѣчи летѣли телеграммы во всѣ концы міра, и западная печать судила по нимъ о предстоящихъ шагахъ русской политики. Особенно-же много шума надѣлала горячая и полная негодованія рѣчь его, сказанная въ засѣданіи московскаго Славянскаго комитета 22-го іюня 1878 года по поводу берлинскаго трактата. Результатомъ этой рѣчи было то, что московскій Славянскій комитетъ былъ закрытъ, а Аксаковъ долженъ былъ оставить Москву, и лишь въ декабрѣ 1878 г. ему было дозволено вновь вернуться въ столицу.

Въ качествѣ публициста онъ выступилъ въ концѣ жизни издателемъ новой еженедѣльной газеты *Русь*, которую онъ издавалъ съ 1880 г. до самой смерти своей, 27-го янв. 1886 года, приключившейся отъ болѣзни сердца.

Сверхъ своего преобладающаго значенія въ качествѣ публициста и оратора И. Аксаковъ извѣстенъ въ нашей литературѣ и какъ поэтъ славянофильства. Начиная съ 1845 г., стихи его печатались во всѣхъ славянофильскихъ изданіяхъ; отдѣльнымъ-же сборникомъ вышли лишь послѣ смерти его. Поэтическую дѣятельность И. Аксаковъ оставилъ совсѣмъ въ началѣ 60-хъ годовъ, «убѣдившись, какъ онъ самъ потомъ говорилъ, что при всемъ лиризмѣ, свойственномъ его натурѣ, при всей чуткости пониманія красотъ поэзіи, онъ не обладаетъ ни художественнымъ творчествомъ, ни граціей, ни образностью, ни музыкальностью рѣчи, и онъ перешелъ къ прозѣ, которую можетъ быть иногда портитъ, наоборотъ, излишнею примѣсью поэтическаго элемента».

II.

Чтобы понять, что̀ такое было славянофильство въ сильныхъ и слабыхъ сторонахъ, слѣдуетъ представить себѣ людей, которые едва успѣли получить могучій умственный толчокъ, выведшій ихъ изъ круга мыслей, раздѣляемыхъ темною толпою. До того времени они были беззавѣтно вѣрующими людьми, слѣпо преданными традиціямъ; страстно любили родину, воображая, что лучше ея нѣтъ страны въ мірѣ; наконецъ привыкли на всѣ ея учрежденія смотрѣть, какъ на нѣчто въ высшей степени совершенное и священное. Однимъ словомъ, подобно любому простолюдину, они смѣшивали понятія о религіи, отечествѣ и его учрежденіяхъ въ нѣчто совершенно безраздѣльное, въ равной степени неприкосновенно божественное и одно безъ другого немыслимое.

Но вотъ мысль ихъ увлеклась новыми философскими системами и филантропо-демократическими идеями. Къ чему-жё должна она была устремиться? Конечно прежде всего къ тому, чтобы отдать отчетъ въ прежнихъ своихъ вѣрованіяхъ и осмыслить ихъ на основаніи новыхъ данныхъ. Такими данными были метафизическія системы Шеллинга и Гегеля. Одна учила, что каждая народность осуществляетъ какую-нибудь идею. Но есть идеи частныя, мелкія, и есть крупныя, всемірно-историческія. Сообразно чему и народы дѣлятся на всемірно-историческіе, первостепенные и второстепенные, неисторическіе. Гегель въ свою очередь училъ, что большинство народностей выражаетъ собою тѣ односторонности и крайности, на которыя распадается идея въ процессѣ своего діалектическаго развитія, но есть великія націи-избранники, которымъ суждено примирять односторонности въ высшемъ возсоединяющемъ синтезѣ. Гегель полагалъ, что столь гигантская роль въ современной исторіи принадлежитъ конечно ужъ Германіи.

Если, стоявшій во главѣ европейской философіи Гегель былъ способенъ на такое патріотическое пристрастіе, то тѣмъ болѣе свойственно было нашимъ юнымъ московскимъ мыслителямъ, привыкшимъ съ дѣтства смотрѣть на родину, какъ на соединеніе всѣхъ совершенствъ, возмнить, что именно ей предназначено осуществить собою тотъ возсоединяющій синтезъ, какой Гегель приписывалъ своей возлюбленной Германіи.

Въ чемъ-же долженъ былъ заключаться этотъ синтезъ? Конечно въ осуществленіи тѣхъ самыхъ гуманныхъ, демократическихъ идей, которыя Европа тщетно пытается осуществить, не въ силахъ будучи отрѣшиться отъ своего историческаго прошлаго. Роль такого осуществленія принадлежитъ Россіи.

Таковъ былъ первоначальный ходъ мышленія, господствовавшій въ кружкѣ Станкевича, принадлежа безразлично какъ будущимъ славянофиламъ, такъ и западникамъ. Но далѣе затѣмъ представился вопросъ: почему-же именно на долю Россіи выпала подобная великая роль? Этотъ вопросъ именно и раздѣлилъ московскихъ мыслителей на два лагеря, такъ какъ онъ допускаетъ возможность двухъ діаметрально противоположныхъ рѣшеній: Россіи можетъ быть свойственна ея великая роль и потому, что она представляетъ собою tabula rasa, не имѣя никакихъ историческихъ традицій, которыя мѣшали-бы ей, какъ это мы видимъ на Западѣ, осуществленію великихъ идей, или-же, наоборотъ, она имѣетъ въ свою очередь очень прочныя традиціи, но такія, которыя нисколько не мѣшаютъ осуществленію великихъ идей, такъ какъ вполнѣ имъ соотвѣтствуютъ. За первое рѣшеніе ухватились люди, наиболѣе отрѣшившіеся отъ традицій; второе же было свойственно тѣмъ, которымъ съ традиціями разстаться было жалко. Таково было происхожденіе раздѣленія славянофиловъ и западниковъ.

И дѣйствительно, въ первыхъ славянофилахъ прежде всего васъ поражаетъ ультра-религіозное міросозерцаніе, покоющееся на традиціонныхъ началахъ. Такъ, А. С. Хомяковъ является передъ нами писателемъ попреимуществу богословскимъ, причемъ какъ научныя его статьи, такъ и стихотворенія проникнуты религіознымъ экстазомъ. И. Кирѣевскій, какъ мы видѣли, изъ рьянаго западника превратился въ славянофила между прочимъ подъ вліяніемъ схимника Новоспасскаго монастыря, старца Филарета, за которымъ ухаживалъ при его смерти. К. Аксаковъ самъ былъ особеннаго рода свѣтскимъ схимникомъ, оставаясь, по словамъ И. Панаева, «въ житейскомъ,

практическомъ смыслѣ, до сорока лѣтъ, т. е. до самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно всю жизнь провелъ подъ домашнимъ кровомъ и приросъ къ нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возможности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Внѣ своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій, онъ не имѣлъ никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедшая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ перенести этой потери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже дѣвственникомъ».

Въ то-же время славянофилы очень строго соблюдали посты и всѣ религіозные обряды; самые-же ревностные изъ нихъ не только снимали шапки и набожно крестились передъ каждою церковью, но, и приходя въ гости, прежде чѣмъ раскланяться съ хозяевами, крестились и кланялись по народному обычаю образамъ.

Въ основѣ славянофильскаго ученія лежитъ идея вполнѣ религіозная. Западъ, по мнѣнію славянофиловъ, пришелъ къ печальному разочарованію, и ему грозитъ гибель разложенія, потому что онъ воспринялъ отъ древняго Рима цивилизацію, основанную на одностороннемъ началѣ разсудочности, механической государственности. Когда христіанство сломило язычество, императоръ Ѳеодосій провозгласилъ его государственною религіей, и это, по мнѣнію Хомякова, была роковая ошибка, поведшая къ гибельнымъ послѣдствіямъ. «Вѣдь не то государство,—говоритъ онъ въ своихъ *Запискахъ о всемірной исторіи*,—есть христіанское, которое признаетъ христіанство, но то, которое признается христіанствомъ: ибо не церковь благословляется государствомъ, но государство церковью». Ревность великаго императора ввела его, по мнѣнію Хомякова, въ ошибку, къ несчастію отзывающуюся черезъ 14 вѣковъ вплоть до нашего времени и заключающуюся въ томъ, что Западъ понялъ христіанство въ духѣ римской государственности, вслѣдствіе чего церковь находилась сперва въ полной зависимости отъ государства, потомъ-же, когда, стремясь къ независимости, она стала мало-по малу пріобрѣтать и силу, и власть, то поставила себѣ цѣлью сдѣлаться самой государствомъ съ папой—самодержавнымъ властелиномъ народовъ во главѣ—и съ духовенствомъ, послушнымъ орудіемъ его воли. Между тѣмъ идеалъ человѣчества заключается въ совсѣмъ противоположномъ, ибо не церковь должна имѣть подобіе государства, но государство должно преобразоваться въ церковь.

Россія прежде всего тѣмъ отличается отъ Запада, что приняла христіанство не изъ Рима, а отъ Византіи, Исторія-же Византіи, по мнѣнію Хомякова, представляетъ продолженіе древней греческой. Греція-же искони была богата умственною самобытною дѣятельностью. Востокъ чуждъ былъ римской централизаціи, и каждая восточная церковь сохранила свою особенность и свободу, полагая единеніе во вселенскихъ соборахъ, и такимъ образомъ здѣсь былъ разрѣшенъ вопросъ, неразрѣшимый на Западѣ: сочетаніе въ церкви единства со свободою. Въ то-же время вѣра основывалась здѣсь не на одной разсудочности, не только мыслилась, но и чувствовалась,—была не однимъ познаніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и жизнью, въ чемъ и заключалась восточная цѣльность сравнительно съ западною односторонностью. Поэтому и въ Россіи православная церковь, управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, никогда не имѣла притязанія насильственно управлять ихъ волею, пріобрѣтая власть

свѣтскую, не стремилась быть государствомъ, какъ и государство въ свою очередь, смиренно сознавая свое мірское назначеніе, никогда не сознавало себя «святымъ» въ смыслѣ сопроницанія церковности и свѣтскости, какъ «Священная римская имперія».

До сихъ поръ мы имѣли дѣло съ самой слабой стороной славянофильскаго ученія. Не говоря уже о томъ, что здѣсь мы находимъ массу доктринерства въ видѣ подогнанія во что-бы то ни стало историческихъ фактовъ подъ теорію, построенную на метафизической почвѣ, не говоря о явномъ патріотическомъ пристрастіи, сквозящемъ въ каждомъ камнѣ этой фантастической постройки, не мало отпугивали отъ славянофиловъ ихъ прославленіе византійства и слишкомъ ужъ усердное подливаніе всюду деревяннаго маслица. Это была со стороны славянофиловъ чисто донкихотская борьба противъ всеобщаго теченія и духа времени.

Теперь мы обратимся къ болѣе свѣтлымъ сторонамъ этого ученія, которыми славянофилы были обязаны преимущественно историческимъ трудамъ К. Аксакова. И здѣсь вы найдете не мало и доктринерства, и мечтательнаго идеализма, но сквозь всѣ эти недостатки, свойственные людямъ, находящимся на метафизической почвѣ, проглядываютъ истины, добытыя путемъ серьезныхъ научныхъ изысканій, и вмѣстѣ съ тѣмъ горячее увлеченіе великими идеями, движущими современнымъ человѣчествомъ.

III.

Въ то время, какъ западныя государства, по мнѣнію славянофиловъ, сложились путемъ завоеванія, насилія, вражды, русское государство было основано добровольнымъ признаніемъ власти. При такихъ условіяхъ не нужна оказалась никакая гарантія; она есть зло; гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра. Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ внутренняго на это желанія. Вся сила—въ нравственномъ убѣжденіи. Такимъ образомъ русское государство—это основанный на довѣренности союзъ народа съ властью, земли съ государствомъ. Народъ пахалъ, промышлялъ, торговалъ, поддерживая государство деньгами, въ случаѣ нужды становясь подъ знамена. Государь являлся первымъ хранителемъ земли. Въ основѣ этого порядка стоялъ общинный бытъ народа, что составляло рѣзкое отличіе отъ Запада, гдѣ въ основѣ лежалъ родовой бытъ, который повелъ къ созданію всюду сильныхъ и полномочныхъ аристократій. Въ Россіи-же аристократіи не было и не могло быть, ибо боярство не было наслѣдственно: это было сословіе служилое, составлявшее дружину государеву и пользовавшееся за свою службу помѣстьями и вотчинами. Общины-же представляли собой союзъ людей, отказывавшихся отъ своего эгоизма; личность здѣсь не теряется, но, отказываясь отъ своей исключительности для согласія общаго, она находитъ себя въ высшемъ, очищенномъ видѣ, въ согласіи равномѣрно самоотверженныхъ личностей. Выраженіе совокупной нравственной дѣятельности общины есть совѣщаніе, имѣющее цѣлью общее согласіе; отсюда вытекаетъ начало единогласія при рѣшеніяхъ общины, противоположное началу большинства, насильственному, обладающему лишь физическимъ преимуществомъ.

Но подъ общинами К. Аксаковъ разумѣлъ не одну только сельскую общину

въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Онъ полагалъ общинное начало и въ древнихъ городахъ съ ихъ вѣчами, и въ областяхъ, составлявшихъ удѣльныя княжества, а позже все Московское царство составляло одну обширную общину, добровольно покорявшуюся государямъ и заявлявшую свое мнѣніе въ земскихъ соборахъ, причемъ мнѣніе это никогда не имѣло законодательной принудительной силы, а было лишь свободнымъ проявленіемъ общественнаго разума: наша мысль такова, а тамъ какъ угодно будетъ государю.

Изъ всего этого прямо вытекаетъ отрицательный взглядъ славянофиловъ на реформы Петра и на весь такъ называемый петербургскій періодъ. Они обвиняли Петра не только въ томъ, что онъ перекраивалъ русскую жизнь по чуждымъ ей началамъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ нарушилъ союзъ земли съ государствомъ, пересталъ слушать голосъ земства, а совершалъ свои реформы насильственно, деспотически.

Во всемъ этомъ безспорно много утопическаго и фантастическаго. Конечно допетровская Русь далеко не представляла собою такого идиллическаго рая, какой рисуютъ славянофилы. Только крайнее ослѣпленіе отвлеченною доктриной могло отрицать на Западѣ всякое проявленіе альтруистическихъ стремленій, а въ русской жизни не видѣть проявленій той-же холодной и мертвящей разсудочности и формализма. Но все-таки слѣдуетъ отдать справедливость въ великихъ заслугахъ, которыя оказали славянофилы своему отечеству, какъ въ научномъ отношеніи, такъ и соціально-нравственномъ. Какъ бы ни заблуждались они, воображая русскій народъ богоизбраннымъ, предназначеннымъ совершить великій подвигъ возрожденія Европы, все-таки слѣдуетъ воздать имъ честь, что эту богоизбранность они полагали въ очень хорошихъ вещахъ, и все ученіе ихъ было проникнуто великими и гуманными идеями, которыя носились въ воздухѣ и готовились обновить русскую жизнь.

Такъ, отрицаніе аристократизма въ древней Руси не было у нихъ одною сухою научною формулой. Все ученіе ихъ было проникнуто живымъ демократическимъ духомъ. Выше всего въ славянскомъ племени ставили они миролюбіе, пристрастіе къ земледѣлію и отвращеніе къ воинственнымъ набѣгамъ и, какъ результатъ всего этого, выставляли смиреніе, скромность, стремленіе къ простотѣ и правдѣ въ жизни при полномъ отсутствіи кичливости, рисовки и наружнаго блеска.

«Если братство народовъ,—разсуждалъ Хомяковъ,—если чувства правды и добра—не призракъ, но сила животворная и вѣчная, то нравственное главенство въ будущемъ принадлежитъ не германцамъ—завоевателямъ и аристократамъ, но славянамъ—земледѣльцамъ и разночинцамъ».

А вотъ что говоритъ И. Кирѣевскій въ своей статьѣ: *О характерѣ просвѣщенія Европы*:

«На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности; ее могли порицать духовные, въ противность обычнымъ понятіямъ, но въ общемъ мнѣніи она была почти добродѣтелью. Ей не уступали, какъ слабости, но, напротивъ, гордились ею, какъ завиднымъ преимуществомъ. Въ средніе вѣка народъ съ уваженіемъ смотрѣлъ на наружный блескъ, окружающій человѣка, и свое понятіе объ этомъ наружномъ блескѣ благоговѣйно сливалъ въ одно чувство съ понятіемъ о самомъ достоинствѣ человѣка. Русскій человѣкъ больше золотой парчи придворнаго уважалъ лохмотья юродиваго. Роскошь проникла въ Россію, но какъ зараза отъ сосѣдей. Въ ней извинялись, ей поддавались, какъ пороку, всегда чувствуя ея незаконность, не только религіозную, но и нравственную, и общественную».

Въ свою очередь и К. Аксаковъ говоритъ въ своей статьѣ о русской исторіи:

«Русская исторія въ сравненіи съ исторіей Запада Европы отличается такою простотой, что приведетъ въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ. *Руській* народъ не любитъ становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной фразы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе небольшую роль; принадлежность личности необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго щегольского драматизма страстей».

Въ то-же время изъ того положенія славянофильскаго ученія, что въ союзѣ земли съ властью землѣ принадлежитъ неотъемлемое право свободнаго выраженія мнѣнія, прямо проистекала горячая приверженность славянофиловъ къ свободѣ слова устнаго и печатнаго, и они при каждомъ удобномъ случаѣ смѣло и самоотверженно отстаивали эту свободу, платясь за это запрещеніями ихъ изданій и другими невзгодами.

Что они далеко не были слѣпыми приверженцами status quo, объ этомъ можно судить по знаменитой запискѣ К. Аксакова: *О внутреннемъ состояніи Россіи*, поданной въ 1855 году черезъ гр. Блудова только-что вступившему тогда на престолъ Императору Александру II.

Въ запискѣ этой, излагая все то-же свое ученіе о добровольномъ союзѣ власти съ землею, Аксаковъ между прочимъ заявляетъ:

«Начала русскаго гражданскаго устройства не были нарушены со стороны народа (ибо это его коренныя народныя начала), но были нарушены со стороны правительства. То-есть правительство вмѣшалось въ нравственную свободу народа, стѣснило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло такимъ образомъ въ душевредный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человѣческое достоинство народа и наконецъ обозначившійся упадкомъ нравственныхъ силъ въ Россіи и общественнымъ развращеніемъ. Впереди-же этотъ деспотизмъ угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и паденіемъ Россіи на радость враговъ ея, или-же искаженіемъ русскихъ началъ въ самомъ народѣ, который, не находя свободы нравственной, захочетъ наконецъ свободы политической, прибѣгнетъ къ революціи и оставитъ свой истинный путь. И тотъ, и другой исходы—ужасны, ибо тотъ и другой—гибельны: одинъ—въ матеріальномъ и нравственномъ, другой—въ одномъ нравственномъ отношеніи».

Но не одну свободу слова отстаивали славянофилы; съ одинаково горячимъ сочувствіемъ и участіемъ относились они и ко всѣмъ реформамъ прошлаго царствованія, начиная съ крестьянской и кончая вопросомъ о свободѣ женщинъ. Замѣчательно, что согласно своему ученію женскій вопросъ они въ свою очередь поставили на традиціонную почву. Такъ, въ статьѣ своей о былинахъ Владимірова цикла К. Аксаковъ между прочимъ говоритъ:

«Женщины былинъ часто носятъ кулаки, панцыри, кольчуги, также выѣзжаютъ въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ никогда не уступаетъ мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросиньи Королевишны, супруги великаго князя Владиміра, отличавшейся влюбчивымъ сердцемъ. Такова жена Ставра боярина, Василиса Микулишна. Прибавимъ въ дополненіе къ этой мужественности женщинъ образъ совершенно русскій Царь-Дѣвицы; вспомнимъ преданія объ Амазонкахъ, о чешской Властѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиной независимость и равныя права съ мужчиною даже въ ратномъ дѣлѣ, совершенно уничтожаетъ тѣмъ самымъ всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у славянъ».

Наконецъ не мѣшаетъ обратить вниманіе еще на одну черту славянофиловъ,—правда мелкую и нѣсколько даже комическую, но которую исторія конечно не забудетъ поставить на видъ,—именно ту самую страсть наряжаться въ національные костюмы, надъ которою такъ потѣшались петербургскіе оппор-

тунисты, что даже славянофильская мурмолка вошла въ пословицу. Не нужно забывать, что страсть эта проявлялась въ такое время строгаго бородобритія, общей затянутости и подтянутости, когда малѣйшее отступленіе отъ общепринятой формы возбуждало не только презрѣніе со стороны чопорныхъ хранителей свѣтскости, какъ mauvais ton, но и вниманіе полиціи, какъ нѣчто подозрительное. Много нужно было мужества, чтобы въ тѣ времена являться среди московскихъ улицъ и салоновъ въ охабняхъ, высокихъ шапкахъ и съ пушистыми бородами, несмотря на всѣ толки, насмѣшки и полицейскія внушенія. Люди, проводящіе неуклонно свои принципы въ жизни до мелочей, всегда возбуждали сочувствіе въ каждомъ мыслящемъ человѣкѣ, и особенно заслуживаютъ этого сочувствія славянофилы, которые въ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ одни только дерзали проявлять хотя какую-нибудь самостоятельность въ области мысли и въ жизни.

IV.

Славянофиламъ не удалось выставить такихъ талантливыхъ и блестящихъ критиковъ, какихъ мы находимъ въ западническомъ лагерѣ, но нельзя отрицать ихъ вліянія на ходъ развитія нашей изящной литературы. Изъ славянофильскаго лагеря пошли первые піонеры въ народъ собирать пѣсни, сказки, пословицы, изучать обряды, повѣрья, міросозерцаніе и идеалы народа. Въ то-же время славянофилы первые возстали на то поверхностное, высокомѣрно-барское отношеніе къ народу, какое господствовало въ литературѣ нашей въ пятидесятыхъ годахъ. Такъ, К. Аксаковъ въ *Московскомъ Сборникѣ* 1847 г. вотъ что говоритъ по поводу повѣсти кн. Одоевскаго изъ народной жизни *Сиротинка*:

«Всегда съ невольнымъ горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто-бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа,—когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ заговоритъ снисходительно о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненно-великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ передъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимися. Писатель не трудится надъ тѣмъ, чтобъ узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стоитъ только снизойти написать о немъ. Противно видѣть, когда онъ, для вѣрнѣйшаго изображенія, прибѣгаетъ къ народному будто-бы оттѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха черезъ переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая поддѣлка, особенно, когда пишутъ для народа, — оскорбительны».

Не говоря уже о такихъ писателяхъ, какъ Островскій и Писемскій, начавшихъ свое поприще на страницахъ *Москвитянина*, и потому, можно сказать, вышедшихъ прямо изъ славянофильскаго лагеря, но и всѣ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, не исключая такихъ западниковъ, какъ Некрасовъ и Тургеневъ, не миновали хотя бы косвеннаго вліянія славянофильской критики, въ видѣ стремленія къ самобытности и народности. Такъ напримѣръ, конечно славянофиламъ обязанъ былъ Тургеневъ своимъ сужденіемъ о Рудинѣ, которое онъ высказываетъ словами Лежнева:

«Несчастіе Рудина состоитъ въ томъ, что онъ Россіи не знаетъ, и это точно большое несчастіе. Россія безъ каждаго изъ насъ обойтись можетъ, но никто изъ насъ безъ нея не можетъ обойтись. Горе тому, кто это думаетъ,—двойное горе тому, кто дѣйствительно безъ нея обходится! Космополитизмъ — чепуха, космополитъ — нуль, хуже нуля; внѣ народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нѣтъ. Безъ физіономіи нѣтъ даже идеальнаго лица; только пошлое лицо возможно безъ физіономіи».

Въ то же время въ эстетическомъ отношеніи славянофилы одни только втеченіе пятидесятыхъ годовъ строго блюли завѣтъ конца сороковыхъ годовъ, постоянно ратуя за идейность въ искусствѣ, требуя, чтобы художники были въ то-же время пророками, обличителями и проповѣдниками высшихъ идеаловъ своего времени. Это требованіе осуществляли они и на практикѣ, являясь во всѣхъ своихъ художественныхъ произведеніяхъ, стихотвореніяхъ, драмахъ и повѣстяхъ, неизмѣнными пропагандистами своихъ излюбленныхъ ученій; то-же самое проповѣдывали и въ теоріи—со своею обычною прямотой и рѣзкостью. Такъ, К. Аксаковъ въ одной изъ своихъ критическихъ статей категорически заявляетъ:

«Въ наше время поэтическое произведеніе, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе, спросилъ: *что этимъ доказывается?* Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ даже поэтическомъ произведеніи является вопросъ: что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдованій, трудныя эпохи постиженія и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха».

На этомъ основаніи К. Аксаковъ, привѣтствуя *Губернскіе очерки* Щедрина, между прочимъ говорилъ:

«И въ добрый часъ! Намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣютъ общественный интересъ—и вотъ главная причина ихъ успѣха! Мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементъ въ Россіи, и то, что *это—существенный элементъ литературы нашей*. Законное негодованіе, съ которымъ представлены всѣ общественныя искаженія, слышное даже тамъ, гдѣ авторъ повидимому въ сторонѣ, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ, и успѣхъ *Губернскихъ очерковъ* есть утѣшительное явленіе».

Еще замѣчательнѣе въ этомъ отношеніи рѣчь Хомякова, сказанная имъ на засѣданіи Общества любителей русскаго слова 4-го февраля 1859 года, въ отвѣтъ на вступительное слово графа Льва Толстого, который въ то время высказывалъ взгляды на искусство, діаметрально противуположные нынѣшнимъ, и былъ рьяный приверженецъ теоріи чистаго искусства. Считаемъ нелишнимъ привести рѣчь Хомякова цѣликомъ:

«Общество любителей русской словесности, включивъ васъ, графъ Левъ Николаевичъ, въ число своихъ дѣйствительныхъ членовъ, съ радостью привѣтствуетъ васъ, какъ дѣятеля чисто-художественной литературы. Это чисто художественное направленіе защищаете вы въ своей рѣчи, ставя его высоко надъ всѣми другими временными и случайными направленіями словесной дѣятельности. Странно было-бы, еслибъ общество вамъ не сочувствовало въ этомъ; но позвольте мнѣ сказать, что правота вашего мнѣнія, вами столь искусно изложеннаго, далеко не устраняетъ правъ временнаго и случайнаго въ области слова. То, что неизмѣнно, какъ самые коренные законы души, то безъ сомнѣнія занимаетъ и должно занимать первое мѣсто въ мысляхъ, побужденіяхъ и слѣдовательно въ рѣчи человѣка. Оно, и оно одно, передается поколѣніемъ поколѣнію, народомъ народу, какъ дорогое наслѣдіе, всегда множимое и никогда не забываемое. Но съ другой стороны есть, какъ я имѣлъ уже честь сказать, постоянное требованіе самообличенія въ природѣ человѣка и въ природѣ общества, есть минуты, и минуты важныя въ исторіи, когда это самообличеніе получаетъ особенныя, неопровержимыя права и выступаетъ въ общественномъ словѣ съ большею опредѣленностью и съ большею рѣзкостью. Случайное и временное въ историческомъ ходѣ народной жизни получаетъ значеніе всеобщаго, всечеловѣческаго уже и потому, что всѣ поколѣнія, всѣ народы могутъ понимать и понимаютъ болѣзненные стоны и болѣзненную исповѣдь одного какого-нибудь поколѣнія или народа. Права словесности, служительницы вѣчной красоты, не уничтожаютъ правъ словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся цѣлительницею общественныхъ язвъ. Есть безконечная красота въ невозмутимой правдѣ и гармоніи души,

но есть истинная, высокая красота и въ покаяніи, возстановляющемъ правду и стремящемъ человѣка или общество къ нравственному совершенству».

«Позвольте мнѣ прибавить, что я не могу раздѣлить мнѣнія, какъ мнѣ кажется односторонняго, германской эстетики. Конечно художество вполнѣ свободно: въ самомъ себѣ оно находитъ оправданіе и цѣль. Но свобода художества, отвлеченно понятаго, нисколько не относится къ внутренней жизни самого художника. Художникъ—не теорія, не область мысли и мысленной дѣятельности: онъ—человѣкъ, всегда человѣкъ своего времени, обыкновенно лучшій его представитель, весь проникнутый его духомъ и его опредѣлившимися или зарождающимися стремленіями. По самой впечатлимости своей организаціи, безъ которой онъ не могъ-бы быть художникомъ, онъ принимаетъ въ себя и болѣе другихъ людей всѣ болѣзненныя, такъ-же какъ и радостныя ощущенія общества, въ которомъ онъ родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, онъ невольно, словомъ, складомъ мысли и воображенія, отражаетъ современное въ его смѣси правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ея гармоническое спокойствіе. Такъ сливаются двѣ области, два отдѣла литературы, о которыхъ мы говорили; такъ, писатель, служитель чистаго художества, дѣлается иногда обличителемъ даже безъ сознанія, безъ собственной воли и иногда противъ воли. Васъ самихъ, графъ, позволю я привести въ примѣръ. Вы идете вѣрно и неуклонно по сознанному и опредѣленному пути; но неужели вы вполнѣ чужды тому направленію, которое назвали обличительною словесностью? Неужели хотя бы въ качествѣ чахоточнаго ямщика, умирающаго на печкѣ, въ толпѣ товарищей, повидимому равнодушныхъ къ его страданіямъ, вы не обличали какой-нибудь общественной болѣзни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали отъ этой мозолистой безчувственности добрыхъ, но не пробужденныхъ душъ человѣческихъ? Да, и вы были, и вы будете обличителемъ. Идите съ Богомъ по тому прекрасному пути, который вы избрали,—идите съ тѣмъ-же успѣхомъ, которымъ вы увѣнчались до сихъ поръ, или еще съ большимъ, ибо вашъ даръ не есть преходящій и скоро исчерпываемый: повѣрьте, что въ словесности вѣчное и художественное постоянно принимаетъ въ себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что всѣ разнообразныя отрасли человѣческаго слова безпрестанно сливаются въ одно гармоническое цѣлое».

Согласитесь, что болѣе горячаго и краснорѣчиваго защитника теоріи искусства для жизни не было въ русской литературѣ. Понятно, что группировавшійся вокругъ *Современника* кружокъ литераторовъ во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ находилъ себя болѣе солидарнымъ съ славянофилами, чѣмъ съ петербургскими оппортунистами того времени. Такъ, въ Современникѣ 1857 г., въ т. LXVI, въ *Замѣткахъ о журналахъ*, которыя въ то время велъ Чернышевскій, мы читаемъ слѣдующее сужденіе о славянофилахъ:

«Читатели, зная нашъ образъ мыслей, не могутъ конечно предполагать въ насъ особеннаго расположенія къ тѣмъ примѣсямъ славянофильской системы, которыя находятся въ противорѣчіи и съ идеями, выработанными современною наукою, и съ характеромъ нашего времени. Но мы повторяемъ, что выше этихъ заблужденій есть въ славянофильствѣ элементы здоровые, вѣрные, заслуживающіе сочувствія. И если уже должно дѣлать выборъ, то лучше славянофильство, нежели та умственная дремота, то отрицаніе современныхъ убѣжденій, которое часто покрывается эгидой вѣрности западной цивилизаціи, причемъ подъ западною цивилизаціею понимаются чаще всего системы, уже отвергнутыя западною наукой, и факты, наиболѣе прискорбные въ западной дѣйствительности, не говоря уже о замѣненіи общинной поземельной собственности полновластною, личною».

V.

Но славянофильство подобно западничеству не могло остаться въ томъ чистомъ видѣ, въ какомъ мы видѣли его въ ученіи первыхъ славянофиловъ. Реакція пятидесятыхъ годовъ не замедлила и его подвергнуть своему растлѣвающему вліянію. Изъ него выдѣлился своего рода оппортунизмъ, такой-же безхарактерный, мутный и двуличный, какъ и петербургскій, и даже, какъ уви-

димъ ниже, вступившій съ нимъ въ союзъ. Такова была славянофильская фракція, носившая первоначально прозвище *почвенниковъ*, а впослѣдствіи, въ шестидесятые годы, получившая кличку *стрижей*.

Фракція эта въ пятидесятые годы группировалась вокругъ *Москвитянина*; впослѣдствіи-же, въ шестидесятые годы, она имѣла въ своемъ распоряженіи два петербургскіе журнала: *Время*, издававшееся съ 1861 по 1863 г., и *Эпоху*—съ 1864 по 1865 годъ. Оба журнала издавались Мих. Достоевскимъ въ сообществѣ съ братомъ его Ѳед. Достоевскимъ.

Желая плыть по теченію, что и составляетъ суть всякаго оппортунизма, почвенники отказались отъ тѣхъ послѣдовательныхъ выводовъ, которые, дѣлая славянофильство непопулярнымъ, тѣмъ не менѣе составляли всю оригинальность и, такъ сказать, цвѣтъ этого ученія. Такъ, они перестали выдвигать на первый планъ византійство и, продолжая считать православіе существеннымъ элементомъ русской самобытности, въ то-же время не выставляли на первый планъ требованія, чтобы государство превратилось въ церковь. Вмѣстѣ съ тѣмъ они отказались отъ основного положенія славянофиловъ, именно отъ предположенія просвѣтительной роли Россіи въ будущемъ, какъ осуществительницы великихъ гуманныхъ идей, какія тщетно пытается осуществить Западная Европа. Вмѣсто этой грандіозной миссіи, построенной на основахъ гегелевской философіи, они, опираясь якобы на новыя положительныя данныя, начали проповѣдывать, что каждая народность съ самаго начала своего существованія слагается въ особенный типъ вродѣ родовъ и видовъ животнаго царства, и подобно тому, какъ курица не можетъ превратиться въ гуся, такъ и народность не въ состояніи отдѣлаться отъ своихъ особенностей. Такимъ образомъ по самому существу ученіе почвенниковъ, въ отличіе отъ славянофильскаго, предвидѣвшаго въ будущемъ всемірно историческій прогрессъ, является фаталистически-консервативнымъ. Всякая солидарность народностей отрицается. Каждая народность развиваетъ свои самобытныя начала, отказаться отъ которыхъ не въ состояніи и передать не можетъ, и единственнымъ отношеніемъ между народами является вѣчная борьба не на-животъ, а на-смерть различныхъ враждебныхъ началъ. Такова борьба Запада Европы съ Востокомъ, германскаго міра съ славянскимъ, которая должна кончиться лишь полнымъ уничтоженіемъ одного изъ этихъ двухъ враждующихъ міровъ.

Въ такомъ видѣ является это мрачное ученіе въ сочиненіяхъ главныхъ представителей его: Н. Я. Данилевскаго—*Россія и Европа* и Н. Страхова—*Борьба съ Западомъ въ русской литературѣ*, и проч. Нужно только вспомнить обстоятельства того времени, когда возникло это ученіе, эпоху всеобщаго разочарованія послѣ 1848 года и мрачной реакціи, подъ гнетомъ которой и подъ флагомъ національзма таился глубокій раздоръ, разъѣдавшій всю Европу; наконецъ слѣдуетъ принять во вниманіе только-что разгоравшуюся крымскую войну, и вы поймете, какъ подъ вліяніемъ и впечатлѣніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ идеалистическое и гуманное славянофильство переродилось въ человѣконенавистническое ученіе почвенниковъ.

Но, направивъ по теченію свои взгляды въ общихъ ихъ основаніяхъ, почвенники и въ частностяхъ не замедляли поступиться смѣлыми славянофильскими крайностями въ пользу господствовавшей реакціи. Основное положеніе ихъ ученія, гласящее, что народъ не въ силахъ освободиться отъ своихъ особенностей, дало имъ возможность подъ внѣшнимъ слоемъ нанесенныхъ вліяній

искать эти особенности и въ личности Петра со всѣми его реформами, и въ послѣдующемъ развитіи интеллигенціи, и въ литературныхъ произведеніяхъ, начиная съ Кантемира и кончая беллетристами сороковыхъ годовъ. Такимъ образомъ и волки оказались сыты, и овцы цѣлы. Здѣсь уже мы не видимъ того радикальнаго отрицанія всего петербургскаго періода и оторванной отъ народа интеллигенціи, которое такъ пугало администрацію въ славянофилахъ. Всему воздается своя доля справедливости, и выходитъ въ концѣ-концовъ нѣчто крайне туманное, темное и противорѣчивое.

Главнымъ, наиболѣе талантливымъ и виднымъ критикомъ почвенниковъ былъ А. Григорьевъ (р. въ 1822 г., ум. въ 1864 г.), хотя онъ нѣсколько отличался отъ позднѣйшихъ своихъ собратьевъ: Н. Страхова, Данилевскаго и пр., въ томъ отношеніи, что стоялъ несравненно ближе къ славянофиламъ, чѣмъ они. Родомъ москвичъ (отецъ его былъ чиновникомъ Московскаго магистрата), кончившій курсъ Московскаго университета въ 1842 году по юридическому факультету, онъ до 1847 года служилъ въ Петербургѣ въ сенатѣ, а затѣмъ переселился въ Москву въ 1847 годуи жилъ въ ней безвыѣздно до 1857 года, преподавая законовѣдѣніе въ 1-й Московской гимназіи и принимая близкое участіе въ редакціи *Москвитянина*. При такихъ условіяхъ жизни онъ имѣлъ возможность близко сойтись съ кружкомъ славянофиловъ и подчиниться ихъ вліянію.

И дѣйствительно, мы видимъ во всѣхъ его критическихъ статьяхъ то присутствіе живого демократическаго духа, которымъ были преисполнены лучшіе люди сороковыхъ годовъ и котораго тщетно будете вы искать у его послѣдователей. Это былъ человѣкъ, по самой натурѣ своей, честныхъ, гуманныхъ и вполнѣ народныхъ инстинктовъ; всѣ пороки интеллигенціи, развившіеся на почвѣ крѣпостничества, какъ-то: самодурство, праздность, высокомѣріе, изнѣженность, нервность, рисовка, всяческая ложь, распущенность, извращенность имѣли въ немъ заклятаго врага. И напротивъ того, идеалами его были: искренность, простота, непосредственность, цѣльность и полнота всякаго жизненнаго явленія, *органическаго*, какъ онъ любилъ выражаться. Погоня его за народными идеалами доходила у него порою до комическаго донкихотства. Никогда конечно не забудется тотъ восторгъ, который заставилъ его при появленіи на сценѣ Любима Торцова разразиться въ *Москвитянинѣ* нескладными стихами, воспѣвающими этого героя, который

Стоитъ съ поднятой головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но съ русской чистою душой.

Въ то-же время, какъ извѣстно, всѣ изображаемые въ произведеніяхъ словесности типы онъ дѣлилъ на два разряда: хищные и кроткіе, причемъ въ хищныхъ типахъ онъ видѣлъ отступленіе отъ живыхъ и естественныхъ народныхъ идеаловъ, нѣчто наносное, плодъ чуждыхъ, западныхъ вліяній, между тѣмъ какъ въ кроткихъ типахъ полагалъ воплощеніе чисто-русской души, преисполненной любви и смиренія. Поэтому онъ не совсѣмъ долюбливалъ Лермонтова за его Печорина и въ то-же время преклонялся передъ «Повѣстями Бѣлкина», видя въ этомъ Бѣлкинѣ олицетвореніе кроткаго типа и побѣду

надъ всѣми прежними хищными идеалами, которыми Пушкинъ увлекался подъ вліяніемъ Байрона. Впослѣдствіи эту погоню за кроткими идеалами А. Григорьевъ простеръ до такой смѣлости, что, когда вышелъ въ свѣтъ *Обломовъ* Гончарова, и всѣ увлекались героинею его Ольгою, видя въ женитьбѣ Обломова на Агаѳьѣ Ѳедосѣевнѣ нравственное паденіе, А. Григорьевъ одинъ изъ всѣхъ тогдашнихъ критиковъ дерзнулъ выступить съ глубокою правдой, которая конечно въ то время показалась всѣмъ верхомъ комическаго юродства. Такъ, въ его статьѣ по поводу *Дворянскаго Гнѣзда*, въ *Русскомъ Словѣ* 1859 года, мы читаемъ слѣдующія замѣчательныя строки:

«Герои нашей эпохи не Штольцъ Гончарова и не его Петръ Ивановичъ Адуевъ, да и героини нашей эпохи тоже не его Ольга, изъ которой подъ старость, если она точно такова, какою вопреки многимъ грандіознымъ сторонамъ ея натуры показываетъ намъ авторъ, выйдетъ преотвратительная барыня съ вѣчною и безцѣльною нервною тревожностью, истинная мучительница всего окружающаго, одна изъ жертвъ, Богъ знаетъ, чего-то. Я почти увѣренъ, что она будетъ умирать, какъ барыня въ *Трехъ Смертяхъ* Толстого. Ужъ если между женскими лицами г. Гончарова придется выбирать непремѣнно героиню, безпристрастный и незатемненный теоріями умъ выберетъ, какъ выбралъ Обломовъ, Агафью Ѳедосѣевну, не потому, что у нея локти соблазнительны и что она хорошо готовитъ пироги, а потому что она гораздо болѣе женщина, чѣмъ Ольга».

Эта-же самая демократическая жилка, подъ вліяніемъ славянофиловъ, привела его къ глубокой ненависти къ петербургскимъ оппортунистамъ и поклонникамъ чистаго искусства, которыхъ онъ называлъ диллетантами и ставилъ ниже даже всякаго рода нежалуемыхъ имъ теоретиковъ. Такъ, въ *Русскомъ Мірѣ* 1860 г., въ статьѣ *Послѣ «Грозы» Островскаго*, онъ между прочимъ говоритъ:

«Нельзя въ наше время отказать въ уваженіи и сочувствіи никакой честной теоріи, т. е. теоріи, родившейся вслѣдствіе честнаго анализа общественныхъ отношеній и вопросовъ, и весьма трудно оправдать чѣмъ-либо диллетантское равнодушіе къ жизни и ея вопросамъ, прикрывающее себя служеніемъ какому-то чистому искусству. Съ теоретиками можно спорить, съ диллетантами —нельзя, да и не надобно. Теоретики рѣжутъ жизнь для своихъ идоло-жертвенныхъ требъ, но это имъ, можетъ быть, многаго стоитъ. Диллетанты тѣшатъ только плоть свою, и какъ имъ въ сущности ни до кого и не до чего нѣтъ дѣла, такъ и до нихъ тоже никому не можетъ быть въ сущности никакого дѣла. Жизнь требуетъ порѣшеній своихъ жгучихъ вопросовъ, кричитъ разными своими голосами, — голосами почвъ, мѣстностей, народностей, построеній нравственныхъ, въ созданіяхъ искусствъ, а они себѣ тянутъ вѣчную пѣсенку про бѣлаго бычка, про искусство для искусства, и принимаютъ чадъ мысли и фантазіи въ смыслѣ какого-то безчлодія. Они готовы закидать грязью Занда за неприличную тревожность ея созданій и манерою фламандской школы оправдывать пустоту и низменность чиновническаго взгляда на жизнь. То и другое имъ ровно ничего не стоитъ! Нѣтъ, я не вѣрю въ ихъ искусство для искусства не только въ нашу эпоху, — въ какую угодно *истинную* эпоху искусства. Ни фанатическій гибеллинъ Дантъ, ни честный англійскій мѣщанинъ Шекспиръ, столь ненавистный пуританамъ всѣхъ странъ и вѣковъ до сего дня, ни мрачный инквизиторъ Кальдеронъ не были художниками въ томъ смыслѣ, какой хотятъ придать этому званію диллетанты. Понятіе объ искусствѣ для искусства является въ эпохи упадка, въ эпохи разъединенія сознанія немногихъ лицъ, утонченнаго чувства диллетантовъ, съ народнымъ сознаніемъ, съ чувствомъ массъ. Истинное искусство было и будетъ всегда народное, демократическое, въ философскомъ смыслѣ этого слова. Поэты суть голоса массъ, народностей, мѣстностей, глашатаи великихъ истинъ и великихъ тайнъ жизни, носители словъ, которыя служатъ ключами къ уразумѣнію эпохъ — организмовъ во времени и народовъ—организмовъ въ пространствѣ».

Но, примыкая всѣми лучшими сторонами своего мышленія къ славянофиламъ, А. Григорьевъ значительно отступаетъ отъ нихъ, и эти-то вотъ отступленія и составляютъ самые слабые пункты его взглядовъ; они-то и повели къ развитію ученія почвенниковъ и въ то-же время приблизили А. Григорьева

и особенно его послѣдователей къ петербургскимъ оппортунистамъ, которыхъ онъ такъ ненавидѣлъ, называя ихъ диллетантами.

Великое несчастіе А. Григорьева заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ увлекся нѣмецкою метафизикой, заблудился въ ея лабиринтахъ и остался въ нихъ навсегда, причемъ всѣ его неотъемлемо прекрасные инстинкты затемнились и расплылись въ мышленіи его въ туманныя, абстрактныя и противорѣчивыя формулы. Въ этомъ отношеніи судьба зло и ехидно подсмѣялась надъ нимъ: не обидно ли было, что онъ, всю жизнь непрестанно ратовавшій за самостоятельность русской мысли и русскаго искусства, всю жизнь оставался подавленнымъ тяжелымъ гнетомъ неперевареннаго нѣмецкаго гелертерства: онъ, преклонявшійся передъ простотою и ясностью русской мысли, окончательно утратилъ это драгоцѣнное качество русскаго ума и сдѣлался способенъ писать не иначе, какъ темными, туманными абстрактно-философскими, безконечно-длинными періодами на нѣмецкій образецъ, въ которыхъ порою трудно добраться до какого-бы то ни было смысла, и изобрѣталъ къ тому же новые, неудачные и курьезные термины, вродѣ напримѣръ *допотопныхъ талантовъ*, возбуждая этими терминами общій хохотъ въ литературѣ?



Аполлонъ Григорьевъ.

Исходя изъ философіи Шеллинга, А. Григорьевъ искусство ставилъ выше всѣхъ прочихъ отраслей человѣческой дѣятельности, считая его лучшимъ изъ всѣхъ земныхъ дѣлъ, давалъ ему руководящую роль въ движеніи человѣчества, признавалъ за нимъ однимъ право и способность сказать «новое слово». Идеалъ души человѣческой по его ученію всегда и вездѣ остается неизмѣненъ; но въ чистомъ и общемъ видѣ онъ не можетъ ни воплотиться, ни быть познаваемъ. Въ этомъ отношеніи намъ доступна только *цвѣтная* истина, какъ выражался А. Григорьевъ; ея выраженіе есть художество: отвлеченная, голо-логическая мысль всегда понимаетъ и судитъ жизнь уже, одно-

стороннѣе. Только художествомъ могутъ быть вѣрно изображены, только созерцаніемъ и чувствомъ вполнѣ поняты проявленія одного и того-же идеала въ различныхъ формахъ историческихъ эпохъ и народностей.

Такимъ образомъ искусство по самой сущности *народно*. Творчество заключается главнымъ образомъ въ созданіи *типовъ*, т. е. образовъ, представляющихъ опредѣленный, органически-цѣльный складъ душевной жизни, носящій на себѣ печать извѣстной народности. Истинная критика должна опредѣлять, разъяснять это типическое народное выраженіе идеаловъ въ искусствѣ. Связывая художественное произведеніе съ почвою, на которой оно родилось, усматривая положительное или отрицательное отношеніе художника къ жизни, она углубляется въ самый жизненный вопросъ, и такую критику А. Григорьевъ называлъ *органическою* въ отличіе отъ *исторической* критики Бѣлинскаго, для которой искусство есть результатъ жизни, а не выраженіе идеаловъ, которыми управляется жизнь, и отъ *эстетической*, совершенно отвлеченной отъ жизни.

Такой идеалистическій взглядъ на искусство, видящій въ немъ высшую человѣческую дѣятельность, придающій ему руководящую роль выраженія народныхъ идеаловъ, казалось-бы, совершенно согласовался съ теоріей искусства для жизни и шелъ въ разрѣзъ съ теоретиками чистаго искусства. Тѣмъ не менѣе, какъ это ни странно, онъ-то именно и привелъ почвенниковъ ко взглядамъ, во многихъ отношеніяхъ соприкасающимся со взглядами петербургскихъ оппортунистовъ-западниковъ, приверженцевъ чистаго искусства.

Требованіе, чтобы искусство олицетворяло идеалы жизни въ ихъ типическихъ народныхъ проявленіяхъ, прежде всего прямо отстраняетъ художниковъ отъ увлеченія какими-либо злобами дня; они должны проникать въ глубь народной жизни, отыскивая въ ней существенныя явленія, а не увлекаться преходящими вѣяніями времени. Но этого мало: воплощая народные идеалы, искусство должно примирять насъ съ жизнью. Поэтому высшее призваніе его заключается во всестороннемъ, объективно-безпристрастномъ и любовномъ изображеніи жизни. До такой высоты поэзія именно и достигаетъ въ художникахъ-геніяхъ, каковы Шекспиръ, Гёте, Пушкинъ. Всякое-же одностороннее изображеніе жизни, исключительно положительныхъ или отрицательныхъ ея элементовъ, есть уже отступленіе отъ истинной нормы искусства, уродство, фальшь. А. Григорьевъ не успѣлъ еще дойти до крайнихъ выводовъ этой теоріи и всякими философскими ухищреніями старался оправдать и пессимизмъ Байрона, и хищничество Лермонтова. Но позднѣйшіе почвенники, и особенно Н. Страховъ, дошли до полнаго отрицанія въ области искусства ироніи, сатиры и какого-бы то ни было отрицательнаго взгляда на жизнь и людей.

Такъ, въ своей статьѣ *Русская Литература* (*Русскій Вѣстникъ* 1875 г., № 6), Н. Страховъ прямо говоритъ:

«Оно (т. е. искусство) можетъ употреблять иронію, можетъ достигать въ этомъ пріемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на ироніи оно не можетъ. Гоголь, задумавъ въ *Мертвыхъ Душахъ* изобразить полную картину русской жизни, конечно не имѣлъ никогда и въ мысляхъ ограничиться одною ироніей; его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части *Мертвыхъ Душъ*) постепенно смягчить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серьезнымъ разсказомъ. Гоголь былъ человѣкъ восторженный, пламенно, кровно любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностью, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни. Гоголь, какъ извѣстно, не справился съ задачею, за которую

взялся съ такимъ воодушевленіемъ и увѣренностью. Онъ погибъ, мучительно усиливаясь взять другой тонъ и создать новыя лица..

«Но прямое отношеніе къ предметамъ,—говоритъ далѣе Н. Страховъ,—которое началось съ ироніи Гоголя, не только однако-же не исчезло въ нашей литературѣ, а напротивъ продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалилась отъ предмета; все больше и больше усиливая свое выраженіе, писатели стали безпрерывно употреблять иронію гиперболическую, въ которой уже нѣтъ заботы о реальномъ изображеніи, а напротивъ вся потѣха заключается въ *искаженіи* реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается наконецъ до того, что переходитъ въ чистое *глумленіе*, то-есть въ рѣчи совершенно безсмысленныя и самою своею безсодержательностью выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. Вмѣсто ироніи явилось, такъ сказать, нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говоритъ. Такой пріемъ представляютъ произведенія Щедрина и Некрасова. Ихъ пріемы пришлись очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ, которые вообще не любятъ прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ середины между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественной мѣрой свойства предметовъ, имъ кажется скучною и даже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присыпка перцу, что-нибудь язвительное или надрывающее. Поэтому они сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно иронизируютъ и сыплютъ ироническими выраженіями безъ малѣйшаго повода».

Но въ предыдущей главѣ мы видѣли, что петербургскіе западники-оппортунисты съ своихъ эстетически-эпикурейскихъ точекъ зрѣнія пришли къ тѣмъ-же требованіямъ отъ искусства успокоивающаго и примиряющаго дѣйствія, безпристрастнаго и всесторонняго изображенія жизни, представляя образцомъ такой поэзіи того-же Пушкина. Послѣ этого вполнѣ понятно, что почвенники могли очень легко мириться съ петербургскими оппортунистами и появляться въ однихъ органахъ. Такъ напримѣръ, А. Григорьевъ помѣщалъ свои статьи не въ однихъ славянофильскихъ и почвенныхъ органахъ, а также въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библіотекѣ для Чтенія*, *Русскомъ Словѣ*, гдѣ онъ былъ въ числѣ трехъ первоначальныхъ редакторовъ этого журнала; то-же слѣдуетъ сказать и о Страховѣ.

VI.

Совершенно въ сторонѣ отъ почвенниковъ стоитъ Орестъ Ѳедоровичъ Миллеръ, этотъ наиболѣе вѣрный послѣдователь славянофильскихъ первоучителей. О. Ѳ. Миллеръ родился 4-го авг. 1834 г. у чиновника таможеннаго вѣдомства Фридриха Миллера, проживавшаго въ Гапсалѣ. Рано потерявъ родителей, Миллеръ былъ воспитанъ въ домѣ дяди Ивана Петровича Миллера и тетки Екатерины Николаевны, съ которою Миллеръ прожилъ до самой ея смерти, въ 1884 году. Воспитаніе получилъ онъ блестящее, много путешествовалъ съ родными и по Россіи, и заграницей. Къ сожалѣнію юноша былъ совершенно изолированъ отъ той струи жизни, по какой плыла вся молодежь того времени, развитіе его носило идеалистически-отвлеченный характеръ и къ тому-же въ немъ слишкомъ ужъ много было религіознаго элемента, въ видѣ бесѣдъ благочестивой тетушки, странниковъ и богомолокъ, посѣщавшихъ часто домъ Миллера, впечатлѣній католическихъ процессій, которыя поражали воображеніе ребенка во время странствія его съ родными по юго-западнымъ городамъ, особенно въ Вильнѣ, наконецъ вліянія бывавшихъ въ домѣ его родныхъ — виленскаго митрополита, бывшаго тогда архимандритомъ, Пла-

тона и архіепископа литовскаго Іосифа. Особенно привязался мальчикъ къ Платону и подъ обаяніемъ этой привязанности развилось у него желаніе пріобщиться къ православію, которое исповѣдовала обожаемая имъ «матушка», какъ называлъ онъ свою тетку, что и произошло въ 1848 г., когда Миллеру было пятнадцать лѣтъ.

Въ 1851 году Миллеръ поступилъ въ С.-Петербургскій университетъ на филологическій факультетъ. Это было самое глухое время въ русской жизни, и развитіе юноши въ университетскіе годы продолжало носить столь-же односторонній характеръ. «Мы не знали ни кутежей, ни какихъ-либо романическихъ приключеній,—вспоминалъ впослѣдствіи о своихъ университетскихъ годахъ Миллеръ,—насъ въ университетѣ занимали только наука, литература и искусство, понимаемыя пожалуй слишкомъ отвлеченно, помимо непосредственной связи съ исторіей»...

Носясь такимъ образомъ постоянно въ сферѣ духовно-христіанскихъ идеаловъ, Миллеръ изъ всѣхъ русскихъ писателей наибольшую приверженность питалъ къ Жуковскому, написалъ даже стихи на его смерть и посвятилъ ему патріотическую драму *Подвигъ Матери*, которая въ 1854 году была поставлена имъ на сценѣ Михайловскаго театра. Въ 1852 году Миллеръ удостоился полученія золотой медали за сочиненіе о комедіяхъ Сумарокова, Фонвизина, Княжнина и Шаховского, а въ 1855 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, сталъ готовиться, по предложенію проф. Никитенко, къ магистерскому экзамену, выдержавши который, онъ выступилъ въ свѣтъ въ 1858 году съ своей магистерской диссертаціей *О нравственной стихіи въ поэзіи*.

Диссертація эта, разсматривавшая памятники поэзіи всѣхъ народовъ исключительно съ духовно-нравственной стороны, насколько они соотвѣтствуютъ христіанскимъ идеаламъ любви, кротости, смиренія и возвышенія духа надъ грѣшною плотью, появилась со своимъ ультра-религіознымъ духомъ какъ разъ въ моментъ, когда вся литература находилась въ воинственномъ настроеніи, когда въ проповѣди самоотверженія и кротости готовы были видѣть нѣчто вродѣ оправданія крѣпостного права, а въ смиреніи—молчалинство, и понятно, что всѣ критики встали на-дыбы противъ злополучной диссертаціи; авторъ былъ сопричисленъ къ отсталымъ ретроградамъ такимъ властителемъ думъ того времени, какъ Добролюбовъ, въ *Современникѣ*, а вслѣдъ затѣмъ не менѣе сурово отнесся къ Миллеру въ *Атенеѣ* Котляревскій.

Впечатлѣніе, произведенное этими рецензіями, было такъ сильно, что Миллеръ сдѣлался положительно опальнымъ человѣкомъ. Двери всѣхъ редакцій были для него закрыты, и на него точно легла печать литературнаго отверженія. Не только отвѣтъ Котляревскому, но и никакая другая статья его втеченіе трехъ лѣтъ не принималась ни одною редакціею. Даже при личныхъ встрѣчахъ съ нѣкоторыми представителями тогдашняго литературнаго міра отъ него просто отворачивались. Онъ до того началъ бояться своего имени, что, когда по поводу столѣтняго юбилея Шиллера ему пришлось прочесть пять публичныхъ лекцій въ залѣ второй гимназіи, на входныхъ билетахъ было просто обозначено: «лекціи о Шиллерѣ», безъ объявленія имени лектора. И даже впослѣдствіи, въ ноябрѣ 1863 г., приступивъ къ чтенію лекцій объ изученіи народной словесности въ Петербургскомъ университетѣ въ качествѣ приватъ-доцента, Миллеръ все еще опасался враждебной демонстраціи студентовъ.

Но всѣ эти опасенія были совершенно напрасны. Лекціи о Шиллерѣ прошли благополучно, публика встрѣтила оратора благосклонно, и онъ имѣлъ успѣхъ. Точно также все обошлось благополучно и при началѣ университетскаго курса, и между Миллеромъ и студентами сразу установились добрыя отношенія, которыя, укрѣпляясь съ каждымъ годомъ, сдѣлали его любимцемъ молодежи и самымъ популярнымъ профессоромъ въ университетѣ, благодаря его высокимъ нравственнымъ качествамъ, цѣльности его душевнаго склада, непоколебимой и нелицепріятной вѣрности идеаламъ, гуманности въ отношеніи къ своимъ молодымъ слушателямъ, которымъ онъ никогда не отказывалъ ни въ добромъ совѣтѣ, ни въ посильной помощи.

Къ тому-же къ началу университетскаго курса Миллеръ значительно отрѣшился уже отъ своихъ ультра-мистическихъ взглядовъ на литературу; онъ успѣлъ къ этому времени познакомиться съ русскимъ народнымъ эпосомъ и съ сочиненіями славянофиловъ, въ ученіи которыхъ онъ увлекся самыми свѣтлыми ихъ сторонами, — именно народно-демократическими идеалами. Онъ пошелъ даже далѣе славянофиловъ, совершенно послѣдовательно рѣшивъ, что если становиться на почву отрицанія чуждыхъ и наносныхъ вліяній и требовать вполнѣ самостоятельнаго развитія, исходящаго изъ глубины народнаго духа, то слѣдуетъ отрицать благотворность и византійскаго вліянія. Нетерпимость, доходящая до фанатизма, мертвенность, предпочтеніе «буквы» «духу» закона, аскетизмъ, схоластика и цезаре-папизмъ,—все это, по его словамъ, тѣ теченія, которыя римско-языческая, разлагающаяся Византія, съ ея претензіей на міро-владычество, съ ея проповѣдью о подчиненіи божьяго Кесарю, обильною струею вливала въ свѣжіе мѣхи русской жизни, заражая ихъ міазмами и наполняя началами, чуждыми славянской народности.

«Изъ Византіи,—говоритъ Миллеръ, — все болѣе и болѣе проникалъ къ намъ тотъ крайній аскетизмъ, который со своимъ рѣшительнымъ безучастіемъ въ текущей жизни вполнѣ объяснялся въ ней тѣмъ, что именно лучшіе люди могли совершенно отчаяваться въ возможности совладать съ общественными недугами. Перенесенный въ нашу скорѣе непочатую, чѣмъ испорченную почву, на которой была, стало быть, вполнѣ возможна борьба со зломъ,—аскетизмъ, не имѣя жизненныхъ основаній, дошелъ однако-же подражательно до такого крайняго развитія личности въ религіозной сферѣ, до такой, можно сказать, эгоистически утилитарной заботливости собственно о своей душѣ, что это ужъ прямо подавляющимъ образомъ дѣйствовало на славянскую общинность и скорѣе совпадало съ западно-европейскимъ заслуживаніемъ леновъ на небѣ».

Главными трудами Миллера считаются его докторская диссертація, появившаяся въ 1870 году, подъ заглавіемъ: *Сравнительно-критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго русскаго эпоса. Илья Муромецъ и богатырство кіевское*, и вышедшая въ 1874 г. первымъ изданіемъ книга *Русскіе писатели послѣ Гоголя*, содержащая въ себѣ десять публичныхъ лекцій, читанныхъ Миллеромъ въ ноябрѣ 1874 года въ С.-Петербургскомъ собраніи художниковъ, съ цѣлью усиленія средствъ общества вспомоществованія студентамъ С.-Петербургскаго университета, въ которомъ онъ состоялъ тогда товарищемъ предсѣдателя.

Въ книгѣ о былинахъ Миллеръ сосредоточилъ около Илья Муромца изслѣдованіе всѣхъ кіевскихъ былинъ. По массѣ собраннаго матеріала и сдѣланныхъ выводовъ ничего еще не появлялось у насъ равнаго по объему книгѣ Миллера, которая по праву можетъ считаться единственнымъ до сихъ поръ полнымъ изслѣдованіемъ русскаго былевого эпоса. То обстоятельство, что, выйдя изъ народа, Муромецъ рисуется въ самомъ идеальномъ свѣтѣ,

дало Миллеру основаніе назвать нашъ эпосъ *простонароднымъ* и отмѣтить какъ достояніе преимущественно простого народа. Отсюда вытекло у него положеніе о необходимости обновленія изъ народа.

«Самъ собой,—говоритъ онъ въ послѣдней главѣ,—работою собственнаго ума народъ выработалъ ученіе о взаимной помощи и братской любви и, храня его въ своихъ сказкахъ подъ прозвищемъ *глупости*, внесетъ его и въ литературу, и въ науку историческую, когда наконецъ наступитъ *его* пора».И далѣе:«новымъ,здоровымъ и трезвымъ, изъ жизни выходящимъ идеализмомъ литература наша проникнется лишь тогда, когда въ ней проявятся связи съ народомъ, т. е. когда она изучитъ его глубоко, какъ онъ есть, безъ всякихъ предвзятыхъ мыслей, а онъ получитъ возможность вносить въ нее свѣжіе соки, выдвигая изъ собственныхъ своихъ нѣдръ писателей, которые могли бы развить далѣе, перелить въ новыя, современнѣйшія, просвѣщенныя формы тѣ задатки глубокихъ и самобытныхъ идей, какія таитъ онъ въ своемъ безыскусственномъ эпосѣ».

Эти самыя идеи лежатъ въ основѣ и второго его труда—*Русскіе писатели послѣ Гоголя*. Все развитіе русской литературы со временъ Петра онъ полагаетъ исключительно въ стремленіи освободиться отъ подчиненія западнымъ вліяніямъ и встать на самобытную народную почву, и въ степени этого освобожденія полагаетъ относительное достоинство произведеній русской словесности. Такъ напримѣръ, сравнивая Пушкина съ Лермонтовымъ, Миллеръ замѣчаетъ:

«У Пушкина борьба своего собственнаго съ навѣяннымъ чужимъ успѣла завершиться, и національные элементы его поэзіи приняли широкое міровое значеніе; у Лермонтова-же, въ силу его преждевременной смерти, борьба осталась незавершившеюся. До конца жизни мы видимъ у Лермонтова два перекрещивающіяся направленія: съ одной стороны онъ сильно подвергся вліянію Байрона, которое выразилось у него гораздо глубже, рѣшительнѣе, властнѣе, чѣмъ у Пушкина; но съ другой стороны съ этимъ противнымъ боролось нѣчто другое - самобытное. Ошибочно мнѣніе тѣхъ, которые, не допуская въ Лермонтовѣ самобытности, говорятъ, что смерть постигла его во-время. Мы-же, принимая во вниманіе силу его таланта, смѣемъ предположить, что самобытныя стороны взяли-бы верхъ надъ чужимъ».

Вотъ съ этой точки зрѣнія народной самобытности и разсматривалъ Миллеръ всѣхъ русскихъ писателей. Лекціи въ С.-Петербургскомъ университетѣ онъ читалъ до конца 1887 г., когда былъ уволенъ отъ занимаемой имъ каѳедры, съ назначеніемъ пенсіи въ 2,500 р. Въ 1889 г. 1-го іюня онъ умеръ скоропостижно.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I. Одичаніе общества и забвеніе идей сороковыхъ годовъ въ половинѣ пятидесятыхъ. Статья Пирогова: *Вопросы жизни*, какъ образецъ этого одичанія.—II. Характеръ оживленія общества послѣ крымской кампаніи. Три теченія въ шестидесятые годы и два періода этой эпохи.—III. Движеніе эстетическихъ идей послѣ смерти Бѣлинскаго. Теорія В. Майкова.—IV. Біографическія данныя о жизни Николая Гавриловича Чернышевскаго.—V. Диссертація его: *Объ отношеніи искусства къ дѣйствительности.*

I.

Не болѣе семи лѣтъ продолжалась реакція пятидесятыхъ годовъ, а тѣмъ не менѣе общество успѣло въ этотъ короткій періодъ времени совершенно одичать. Какъ-то не вѣрилось, чтобы это было то самое общество, которое такъ недавно еще увлекалось критическими статьями Бѣлинскаго, лекціями Грановскаго и философскими трактатами Искандера. Сороковые годы казались чѣмъ-то такимъ уже отдаленнымъ, что приходилось въ памяти людей, такъ

*

недавно еще переживавшихъ эти годы, воскрешать ихъ путемъ историческихъ статей, какъ отдаленнѣйшую эпоху нашей исторіи.

Такой историческій характеръ носятъ статьи Н. Г. Чернышевскаго, печатавшіяся въ *Современникѣ* въ 1855 и 56-мъ годахъ, подъ заглавіемъ: *Очерки гоголевскаго періода*. Желая познакомить публику съ Бѣлинскимъ и съ его значеніемъ въ русской литературѣ и въ то-же время не осмѣливаясь назвать его по имени, а именуя глухо авторомъ статей о Пушкинѣ, «критикомъ гоголевскаго періода», Чернышевскій дѣлаетъ массу выписокъ изъ Бѣлинскаго, словно имѣя дѣло не съ знаменитымъ критикомъ, умершимъ всего семь лѣтъ назадъ, а съ мало извѣстнымъ писателемъ, жившимъ за сто лѣтъ до того времени.

Изъ всего движенія сороковыхъ годовъ сохранились въ обществѣ одни смутныя и неопредѣленныя понятія о гуманности, гражданской честности и неподкупности; и въ то время, какъ старшее поколѣніе, допуская въ своей жизни массу компромиссовъ, держалось утонченнаго эстетическаго эпикуреизма, младшее ударялось въ суровый, аскетическій идеализмъ мистическаго, средневѣковаго характера.

До какой степени общество отставало въ то время отъ движенія европейской мысли, мы можемъ судить по статьѣ Н. И. Пирогова: *Вопросы жизни*, напечатанной въ *Морскомъ Сборникѣ*, въ 23-мъ т. 1856 года, и произведшей такую всеобщую и шумную сенсацію, что всѣ журналы наперерывъ прославляли эту статью, почти цѣликомъ ее перепечатывали, и ни одного голоса не послышалось, который рѣшился-бы обсудить ее критически и безпристрастно. Н. И. Пироговъ послѣ этой статьи сдѣлался въ глазахъ всѣхъ однимъ изъ представителей новаго движенія, изъ хирурга превратился въ педагога и былъ сдѣланъ попечителемъ сначала одесскаго, а потомъ кіевскаго округовъ.

Правда, сенсація, какую произвела статья Пирогова, обусловливалась тѣмъ, что она была напечатана въ оффиціальномъ органѣ и представлялась какъ-бы новою правительственною программою воспитанія, шедшею совершенно въ разрѣзъ съ прежнею. Но восхищались ею не за одну только эту новую программу, а въ каждой строкѣ видѣли бездну премудрости, нѣчто крайне передовое и выходящее изъ ряда вонъ. И вдругъ что-же мы находимъ въ этой статьѣ?

Правда, въ основѣ ея лежала мысль, которая въ то время носилась въ воздухѣ, именно, что воспитаніе должно заключаться не въ узко-утилитарныхъ цѣляхъ, не въ томъ, чтобы приготовлять чиновниковъ, моряковъ, докторовъ, невѣстъ, а чтобы прежде всего приготовить *человѣка*. Но подъ этимъ многознаменательнымъ словомъ скрывалась въ статьѣ Пирогова идея, вполнѣ средневѣковая, аскетическая. Изъ дальнѣйшаго развитія статьи оказывалось, что узко-утилитарный характеръ воспитанія зависѣлъ отъ того, что въ обществѣ преобладало стремленіе къ земному счастью, и оно въ этомъ отношеніи все еще находилось на степени язычества.

«Вспомнимъ еще разъ, — говорилъ Пироговъ въ своей статьѣ,—что мы — христіане, и слѣдовательно главною основою нашего воспитанія служитъ и должно служить Откровеніе. Всѣ мы съ дѣтства не напрасно-же ознакомились съ мыслью о загробной жизни, всѣ мы не напрасно-же должны считать настоящее приготовленіемъ къ будущему. Вникая-же въ существующее направленіе нашего общества, мы не находимъ въ его дѣйствіяхъ ни малѣйшаго слѣда этой мысли. Во всѣхъ обнаруживаніяхъ по крайней мѣрѣ жизни прак-

тической, и даже отчасти и умственной, мы находимъ рѣзко выраженное матеріальное, почти торговое стремленіе, основаніемъ которому служитъ идея о счастіи и наслажденіяхъ въ жизни земной».

Чтобы вывести общество наше изъ того опаснаго состоянія, какимъ представляется стремленіе къ земному счастью, существуетъ, по мнѣнію Пирогова, единственный путь: «приготовить насъ воспитаніемъ къ *внутренней* борьбѣ, неминуемой и роковой, доставивъ намъ всѣ способы и всю энергію выдерживать неравный бой».

«Каковъ долженъ быть юный атлетъ, приготовляющійся къ этой роковой борьбѣ? — спрашиваетъ Пироговъ и затѣмъ отвѣчаетъ: — первое условіе: онъ долженъ имѣть отъ природы хотя какое-нибудь притязаніе на умъ и чувство. Пользуйтесь этими благими дарами Творца, но не дѣлайте одаренныхъ безсмысленными поклонниками мертвой буквы, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета, суемудрыми приверженцами грубаго матеріализма, восторженными расточителями чувства и воли и холодными адептами разума.

«Все, что есть высокаго, прекраснаго на свѣтѣ, — замѣчаетъ Пироговъ въ другомъ мѣстѣ, — искусство, вдохновеніе, наука, — не должно слишкомъ сродняться со вседневною жизнью; оно утратитъ свою первобытную чистоту, выродится и запылится прахомъ».

Заботясь о томъ, чтобы юноши не сдѣлались суемудрыми приверженцами грубаго матеріализма, дерзновенными противниками необходимаго на землѣ авторитета и холодными адептами разума, Пироговъ вмѣстѣ съ тѣмъ оберегаетъ и женщинъ отъ ложныхъ шаговъ на гибельномъ пути эмансипаціи:

«Воспитаніе,—говоритъ онъ,—наряжая, выставляетъ ее (т. е. женщину) на-показъ для зѣвакъ, обставляетъ кулисами и заставляетъ ее дѣйствовать на пружинахъ такъ, какъ ему хочется. Ржавчина съѣдаетъ эти пружины, а черезъ щели истертыхъ и изорванныхъ кулисъ она начинаетъ высматривать то, что отъ нея такъ бережно скрывали. Мудрено-ли, что ей тогда приходитъ на мысль пробовать самой, какъ ходятъ люди. Эмансипація—вотъ эта мысль. Паденіе — вотъ первый шагъ. Пусть многое останется ей неизвѣстнымъ. Она должна гордиться тѣмъ, что многаго не знаетъ. Не всякій—врачъ. Не всякій долженъ безъ нужды смотрѣть на язвы общества... Если женскіе педанты, толкуя объ эмансипаціи, разумѣютъ одно воспитаніе женщины,—они правы. Если же они разумѣютъ эмансипацію общественныхъ правъ женщины, то они сами не знаютъ, чего хотятъ».

Мы нарочно сдѣлали всѣ эти выдержки изъ статьи Пирогова, чтобы показать, какъ въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ мыслилъ одинъ изъ самыхъ передовыхъ вождей общества,—человѣкъ, пользовавшійся всеобщимъ поклоненіемъ за необыкновенную чуткость и свѣтлость своихъ взглядовъ. Чего-же можно было требовать въ то время отъ темной и полуобразованной массы?

II.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что общество было застигнуто эпохою реформъ совершенно врасплохъ, не будучи ни мало подготовлено къ ней. Ни у кого не было никакихъ опредѣленныхъ и сознательныхъ стремленій, никакой выработанной программы дѣйствій. Это было чисто стихійное возбужденіе съ одной стороны пессимистическаго характера, съ другой - напротивъ того, исполненное восторженнаго оптимизма. Пессимизмъ былъ слѣдствіемъ неудачъ крымской кампаніи и сознанія общей расшатанности и разстройства всей государственной машины; оптимизмъ же возбуждался ежедневно не только предвкушеніемъ великихъ историческихъ событій, которыя готовились переживать, вродѣ освобожденія крестьянъ, земской и судебной реформъ, широкаго открытія университетскихъ дверей для людей всѣхъ сословій, но и въ виду такихъ мелочей,

какъ дозволеніе курить на улицахъ, упрощеніе или полное уничтоженіе разнаго рода униформъ, допущеніе ношенія бородъ и т. п. Каждый день приносилъ слухи о новыхъ реформахъ и преобразованіяхъ, иногда самые фантастическіе и нелѣпые. То начинали толковать объ уничтоженіи чиновъ и орденовъ; на другой день переносили столицу изъ Петербурга въ Москву; на третій — готовились къ измѣненію стараго стиля на новый, и т. п. Всѣ эти слухи и толки сильно электризовали толпу; и старъ, и младъ, убѣленные сѣдинами генералы наравнѣ со студентами наперерывъ либеральничали другъ передъ другомъ, проникались гуманностью и неудержимымъ стремленіемъ къ прогрессу. Каждый день устраивались какія-нибудь многолюдныя сборища, то въ видѣ обсужденія преподаванія въ воскресныхъ школахъ, то студенческихъ сходокъ въ стѣнахъ университета, то ученыхъ юридическихъ диспутовъ, вродѣ напримѣръ преній Костомарова съ Погодинымъ о происхожденіи Руси, и рѣдкое такое собраніе обходилось безъ шумныхъ манифестацій и протестовъ.

Оживленіе это не замедлило отразиться и въ литературѣ. Она въ свою очередь исполнилась животрепещущаго содержанія. Журналы снова первымъ условіемъ существованія начали считать твердое и неуклонное проведеніе опредѣленнаго направленія. Правда, они всѣ наперерывъ либеральничали, увлекаемые общимъ духомъ времени; въ равной степени были преисполнены обличеніями взяточничества, административныхъ злоупотребленій и публицистическими статьями, смѣло обсуждавшими предстоявшія реформы и поднимавшими новые вопросы; тѣмъ не менѣе каждый изъ крупныхъ органовъ проводилъ теперь какія-нибудь излюбленныя тенденціи. Такъ, вновь возникшій въ 1856 году *Русскій Вѣстникъ*, подъ редакціею Каткова и Леонтьева, съ самаго начала своего существованія и до 1862 года былъ приверженцемъ аристократическаго представительства въ англійскомъ духѣ; *Современникъ* проповѣдывалъ демократическія идеи; *Отечественныя Записки*, подъ редакціею Краевскаго и Дудышкина, равно какъ и угасавшая *Библіотека для Чтенія* продолжали проводить бюрократо-оппортунистическіе принципы. Славянофилы выпускали свои органы въ видѣ *Русской Бесѣды* и газеты *День*; наконецъ нѣсколько позже возникли органы оппортунистовъ-почвенниковъ: *Время* и *Эпоха*.

Что касается до газетъ, то онѣ значительно позже, лишь послѣ польскаго возстанія, съ 1863 года, въ свою очередь сдѣлались органами различныхъ направленій; до этого-же времени пользовались наибольшею популярностью лишь тѣ, которыя давали болѣе всякаго рода разнообразныхъ свѣдѣній, каковы были: *С.-Петербургскія Вѣдомости*, *Сѣверная Пчела*, *Московскія Вѣдомости*, *Сынъ Отечества*.

Но одними политическими вопросами, въ виду совершившихся великихъ реформъ, далеко не исчерпывается движеніе шестидесятыхъ годовъ. Здѣсь встрѣтились и слились въ одинъ потокъ три различныя движенія, чѣмъ и обусловливается необыкновенная бурность и смутность этой эпохи.

Такъ, рядомъ съ движеніемъ политическимъ и съ проникновеніемъ народными демократическими идеалами мы видимъ философское движеніе въ видѣ воскресенія идей сороковыхъ годовъ и окончательнаго перехода мысли передового общества на реальную почву. Наконецъ въ то-же время при быстромъ распространеніи образованности въ среднихъ и бѣдныхъ слояхъ общества

началось перемѣщеніе центра тяжести общественнаго движенія изъ дворянскихъ слоевъ общества въ разночинныя, и вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ появленіе новыхъ идеаловъ, соотвѣтственныхъ этой средѣ, полную переработку всѣхъ этическихъ вопросовъ объ отношеніи личности къ семьѣ и къ обществу.

Эти три теченія такъ тѣсно и неразрывно переплетались и такъ вліяли одно на другое, что присутствіе ихъ мы видимъ во всѣхъ событіяхъ и фактахъ того времени. Такъ, философское движеніе принесло съ собою увлеченіе естественными науками и создало огромную переводную литературу, причемъ общество наше впервые ознакомилось съ твореніями такихъ великихъ умовъ Европы, какъ Маколей, Бокль, Спенсеръ, Дарвинъ, Льюисъ, Молешоттъ и пр., и пр., и это вело за собою освобожденіе мысли отъ традиціонныхъ авторитетовъ, возбуждало критическое отношеніе ко всему, чтò до того времени казалось неприкосновеннымъ и неподлежащимъ сомнѣнію, — а тѣмъ самымъ содѣйствовало свободной и раціональной переработкѣ всѣхъ общественныхъ и личныхъ идеаловъ. Въ то-же время увлеченіе вопросами о народномъ благѣ, ведя за собою изученіе народной жизни и народныхъ идеаловъ, придавало демократическій характеръ не только стремленіямъ къ общественнымъ преобразованіямъ, но и выработкѣ личныхъ нравственныхъ идеаловъ.

Но какъ ни тѣсно было соприкосновеніе этихъ трехъ теченій и взаимное вліяніе ихъ другъ на друга, тѣмъ не менѣе, приглядываясь ближе и пристальнѣе къ жизни того времени, вы всегда будете въ состояніи отличить ихъ одно отъ другого. Такъ, среди массы общественныхъ и литературныхъ дѣятелей того времени вамъ ничего не стоитъ усмотрѣть, что одни, оставаясь метафизиками, наиболѣе увлекались политическими вопросами своего времени; другіе ставили на первый планъ вопросы философскіе, увлекались естествознаніемъ и славили наступленіе господства реализма; наконецъ третьи болѣе всего увлекались вопросами этическими и моральными.

Но болѣе всего при этомъ заслуживаетъ вниманія то обстоятельство, что вся эпоха такъ называемыхъ шестидесятыхъ годовъ, занимающая собою десятилѣтіе, начиная съ 1855 года и по 1866-й, рѣзко распадается на два періода, гранью между которыми представляется освобожденіе крестьянъ. Такъ, мы видимъ, что до 1861 года движеніе имѣетъ характеръ преимущественно политическій. Все общество является увлеченнымъ вопросами общественнаго характера, во главѣ которыхъ стоитъ конечно освобожденіе крестьянъ. Въ литературныхъ сферахъ въ этотъ періодъ замѣчается рѣдкое единодушіе и солидарность. Демократы *Современника*, аристократы *Русскаго Вѣстника*, оппортунисты *Отечественныхъ Записокъ* хотя и вступаютъ нерѣдко въ споры по разнымъ животрепещущимъ вопросамъ жизни, вродѣ напримѣръ спора *Современника* съ *Экономическимъ Указателемъ* и *Русскимъ Вѣстникомъ* объ общинѣ; хотя сатирическіе бичи, въ видѣ *Искры* или *Свистка* въ *Современникѣ*, хлещутъ направо и налѣво, тѣмъ не менѣе вы не видите еще въ литературныхъ сферахъ того антагонизма и непримиримой розни, какіе возникли съ 1862 года. Совсѣмъ иной характеръ представляетъ эпоха шестидесятыхъ годовъ во второмъ своемъ періодѣ. Несмотря на то, что реформы продолжаются (земская, судебная), на первый планъ выступаютъ теперь вопросы философскіе и моральные, начинается выработка новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ. Въ обществѣ въ то-же время съ каждымъ годомъ развиваются все бòльшая и бòльшая рознь и антагонизмъ. Дѣлятся не только

ужъ на партіи, враждебныя въ политическомъ отношеніи (причемъ *Русскій Вѣстникъ* и *Московскія Вѣдомости* рѣшительно выступаютъ на реакціонный путь), но начинаютъ враждовать по философскимъ и моральнымъ вопросамъ.

Эти два періода шестидесятыхъ годовъ имѣли каждый своего представителя въ журналистикѣ и критикѣ. Вокругъ этихъ представителей группировались литературныя силы, и самые періоды носятъ ихъ названіе. Такъ, первый періодъ называютъ добролюбовскимъ; второй — писаревскимъ. И дѣйствительно, Добролюбовъ и Писаревъ являются какъ-бы фокусами, въ которыхъ наиболѣе ярко сосредоточиваются духъ и характеръ обоихъ періодовъ. На этихъ двухъ представителяхъ критики шестидесятыхъ годовъ мы съ особеннымъ вниманіемъ остановимся.

III.

Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ дѣятельности Добролюбова, считаемъ не лишнимъ сдѣлать бѣглый обзоръ тѣхъ измѣненій критико-эстетическихъ взглядовъ и теорій, которыя совершились со смерти Бѣлинскаго и до начала дѣятельности Добролюбова.

Дѣло въ томъ, что какъ ни силенъ былъ разрывъ съ лучшими традиціями сороковыхъ годовъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, какъ ни велико было забвеніе этихъ традицій при полномъ господствѣ оппортунистической критики съ ея возвращеніемъ къ теоріи чистаго искусства,—все-таки не прекращалась нѣкоторая маленькая живая струйка, журчащая втихомолку; оставались люди, которые не только ничего не забыли, но напротивъ того: имъ удалось значительно измѣнить эстетическіе взгляды и теоріи, господствовавшіе въ концѣ сороковыхъ годовъ, пересадить ихъ на почву положительнаго, реальнаго мышленія и такимъ образомъ подготовить дѣятельность Добролюбова.

Такая переработка эстетическихъ воззрѣній началась уже при жизни Бѣлинскаго, въ 1846 году, и первымъ новаторомъ является Валеріанъ Николаевичъ Майковъ.

Вал. Ник. Майковъ, род. 28 авг. 1823 г., въ той же семьѣ художника Ник. Ап. Майкова, изъ которой вышелъ и поэтъ Аполлонъ Майковъ. Получивъ прекрасное домашнее воспитаніе, Майковъ поступилъ на юридическій факультетъ Спб. университета и въ 19 л. окончилъ курсъ кандидатомъ. Опредѣлившись на службу, въ д-тъ сельскаго хозяйства, онъ не долго оставался тамъ и вышелъ въ отставку по слабости здоровья, причемъ отправился на полгода за границу, въ Германію, Францію и Италію. Возвратясь въ Петербургъ, онъ началъ свою литературную дѣятельность, сначала участвовалъ въ составленіи «Карманнаго словаря иностранныхъ словъ» Н. С. Кириллова; затѣмъ сталъ во главѣ основаннаго въ 1845 г. Ѳ. К. Дженау «Финскаго Вѣстника». Въ теченіи 1846 и начала 1847 гг. онъ завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» Краевскаго. Въ 1841 году началъ сотрудничать и въ «Современникѣ». Но преждевременная смерть неожиданно прервала эту развертывающуюся литературную дѣятельность Майкова: 15 Іюля 1847 г. Майковъ, гостя въ Петергофскомъ уѣздѣ, разгоряченный купался и умеръ во время купанья отъ удара.

Мы видѣли, что уже Бѣлинскій установилъ въ критикѣ принципъ «искусства для жизни», но этотъ принципъ въ статьяхъ великаго критика словно

висѣлъ въ воздухѣ, такъ какъ въ эстетическихъ воззрѣніяхъ своихъ Бѣлинскій продолжалъ держаться старыхъ метафизическихъ теорій, не замѣчая, что онѣ по самому существу своему находились въ полномъ разладѣ съ новымъ принципомъ.

Въ самомъ дѣлѣ: сообразно этимъ теоріямъ, искусство имѣетъ совершенно особенную, свою самостоятельную область, вполнѣ исчерпывающую все его значеніе. Область эта—*прекрасное*. Какъ-бы мы затѣмъ ни опредѣляли, что̀ такое *прекрасное*, сообразно различнымъ философскимъ системамъ, и каково отношеніе творчества поэта къ этому прекрасному, находится-ли прекрасное въ душѣ поэта, и поэтъ силою творчества облекаетъ прекрасное въ матеріальные образы, идеализируя дѣйствительность, или-же прекрасное лежитъ въ самой дѣйствительности, заключается въ осуществленіи идеи въ чуственныхъ образахъ, и творчество поэта ограничивается лишь непосредственнымъ воззрѣніемъ, раскрытіемъ прекраснаго въ природѣ и жизни,—во всякомъ случаѣ утилитарный принципъ является въ полномъ противорѣчіи со всѣми этими опредѣленіями. Съ ихъ точки зрѣнія вполнѣ естественно кажется, будто онъ выводитъ искусство изъ его родной стихіи и навязываетъ ему совершенно чуждую роль, насилуетъ его, стремясь обратить въ нѣчто разсудочно-преднамѣренное, процессъ творчества, по самому существу непосредственный и непроизвольный.



Валеріанъ Майковъ.

Бѣлинскій не обращалъ вниманія на это противорѣчіе старыхъ эстетическихъ теорій и утилитарнаго принципа; не замѣчалъ онъ и того, что эти старыя теоріи, вполнѣ соотвѣтствовавшія прежнимъ эстетическимъ требованіямъ отъ искусства въ эпоху романтическихъ школъ, совершенно расходились съ новыми требованіями реальнаго искусства. Область искусства до такой степени успѣла къ тому времени раздвинуться, что требовались неимовѣрныя діалектическія натяжки, чтобы подвести подъ излюбленную идею прекраснаго многое, что̀ производилось современнымъ искусствомъ, не говоря уже о томъ, что самое понятіе о прекрасномъ совершенно измѣнилось на почвѣ реальнаго мышленія.

Въ самомъ дѣлѣ, разъ рушилось прежнее метафизическое воззрѣніе, что все существующее есть не что иное какъ діалектическое развитіе безусловной идеи, должно было рушиться и воззрѣніе на *прекрасное*, какъ на соотвѣтствіе идеи и формы, но тогда что̀-же такое *прекрасное?* А съ другой стороны—исчерпывается-ли этимъ *прекраснымъ* область искусства? Какъ подвести подъ идею прекраснаго изображенія вродѣ Чичикова или Ноздрева? А если *прекрасное* далеко не исчерпываетъ всего, что̀ творитъ искусство, что въ чемъ-же заключается роль послѣдняго? Отражать, списывать дѣйствительность во всемъ ея разнообразіи, добромъ и зломъ, прекрасномъ и безобразномъ? Но зачѣмъ?

Таковы вопросы, представившіеся всѣмъ умамъ, разставшимся съ прежними метафизическими теоріями и вступившими на реальную почву. Въ отвѣтъ на эти вопросы мы и видимъ въ литературѣ нашей первыя попытки пересадить эстетическія понятія на реальную почву и вмѣстѣ съ тѣмъ согласовать утилитарный принципъ искусства съ эстетическими воззрѣніями, вывести его прямо изъ нихъ. Валеріану Майкову принадлежитъ первая такая попытка. Суть его эстетическихъ воззрѣній, полнѣе всего выраженныхъ въ статьяхъ его о стихотвореніяхъ Кольцова (*От. Зап.* 1846 г., т. 49) и о романахъ В. Скотта (*От. Зап.* 1847 г., т. 51), заключается въ слѣдующемъ:

Когда мы наблюдаемъ окружающую насъ дѣйствительность, все, что̀ мы видимъ, мы сравниваемъ съ собою, и все то, въ чемъ мы не усматриваемъ ни малѣйшаго сходства съ собою, что̀ намъ поэтому совершенно ново, чуждо и непонятно, все это для насъ *занимательно*, мы стремимся *изучить* это невѣдомое, усвоить его, найти въ немъ общее съ нами; а разъ этого мы достигаемъ, предметъ открывается намъ съ другой своей стороны—*симпатичной*, т. е. все то, что̀ мы находимъ въ немъ общаго съ нами, возбуждаетъ въ насъ сочувствіе.

«Поэтому,—говоритъ Майковъ,—каждый предметъ, доступный нашему познанію, необходимо раздѣляется нами на двѣ половины: къ первой относимъ мы все то, что̀ нисколько не напоминаетъ намъ о собственной нашей природѣ—это сторона любопытная, подстрекающая одну любознательность; ко второй—все то, что̀ въ немъ есть общаго съ нами, человѣкомъ; это—сторона *симпатическая*, возбуждающая въ насъ *любовь*, сердечное, кровное сочувствіе. Количественное различіе впечатлѣній, произведенныхъ на насъ тою и другою, заключается въ томъ, что любопытное владѣетъ нами только въ силу своей новости и дѣлается безразличнымъ тотчасъ-же по усвоеніи, между тѣмъ какъ симпатическое (назовите его какъ угодно) вѣчно будетъ имѣть для насъ интересъ, если мы только сами не теряемъ способности чувствовать и сочувствовать».

Изъ этого отличія занимательнаго отъ симпатичнаго проистекаетъ отличіе науки отъ искусства. Все, что̀ не возбуждаетъ въ насъ никакихъ эмоцій, а только одно любопытство, входитъ въ область науки; все-же симпатичное, въ чемъ мы находимъ частичку себя, все, что̀ такъ или иначе относится къ намъ, что̀ насъ волнуетъ, радуетъ, приводитъ въ негодованіе или пугаетъ, все это входитъ въ область искусства. Такимъ образомъ «художественная мысль, по словамъ Майкова, зарождается въ формѣ любви или негодованія, *и тайна творчества—въ способности вѣрно изображать дѣйствительность съ ея симпатичной стороны*. Иными словами, *художественное творчество есть пересозданіе дѣйствительности, совершаемое не измѣненіемъ ея формъ, а возведеніемъ ихъ въ міръ человѣческихъ интересовъ* (*въ поэзію*)».

Такова эстетическая теорія В. Майкова. Первое ея достоинство заключается въ томъ, что она стоитъ вполнѣ на реальной почвѣ и въ то-же время значительно расширяетъ сферу искусства согласно новымъ требованіямъ: со-

образно ей сфера искусства заключается не въ одномъ только *прекрасномъ*, а въ изображеніи всего, что какъ-бы то ни было относится къ намъ и возбуждаетъ въ насъ какія-бы то ни было эмоціи. Въ то-же время и принципъ утилитаризма не только не стоитъ въ противорѣчіи съ этою теоріею, а прямо вытекаетъ изъ нея. Искусство сообразно теоріи Майкова является не безцѣльнымъ списываніемъ дѣйствительности, а возведеніемъ ея въ міръ человѣческихъ интересовъ. Интересы-же бываютъ различные: узко-эгоистичные, грубо-матеріальные, низменные и высокіе-общечеловѣческіе, альтруистическіе. Спору не можетъ быть, что съ какими-бы интересами ни имѣло дѣло искусство, оно остается искусствомъ, но неоспоримо и то, что тѣмъ оно выше, достойнѣе и благотворнѣе, чѣмъ выше тѣ интересы, которымъ оно служитъ.

Къ сожалѣнію В. Майковъ не успѣлъ развить свою замѣчательную теорію вполнѣ обстоятельно и всесторонне. Онъ умеръ раньше Бѣлинскаго, лѣтомъ въ 1847 году, купаясь въ прудѣ въ одной изъ окрестностей Петербурга. Но мысли, брошенныя имъ въ немногихъ, оставшихся послѣ него статьяхъ, не затерялись во мглѣ послѣдовавшей реакціи и не замедлили принести свои плоды.

Но прежде, чѣмъ мы приступимъ къ дальнѣйшимъ попыткамъ перенести эстетическія воззрѣнія на реальную почву, припомнимъ еще одинъ эпизодъ, относящійся къ концу сороковыхъ годовъ и имѣющій безъ сомнѣнія тѣсное сродство съ этими попытками. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1847 года, въ 53 т., была помѣщена статья, посвященная разбору перевода В. Модестова курса эстетики Гегеля. Статья эта, неизвѣстно кому принадлежащая, написана очень тяжелымъ философскимъ языкомъ и отличается крайнею темнотою и сбивчивостью изложенія, простирающеюся до того, что во многихъ мѣстахъ вы не разберете даже, говоритъ-ли авторъ отъ себя или онъ приводитъ слова какого-либо нѣмецкаго эстетика, гдѣ кончаетъ цитату и начинаетъ свои собственныя сужденія. Между прочимъ вы находите въ статьѣ слѣдующее мѣсто, весьма замѣчательное по отношенію къ новой эстетической теоріи, о которой будетъ рѣчь ниже:

«Точка зрѣнія умозрительной эстетики — по преимуществу практическая: искусство существуетъ только потому, что въ природѣ нѣтъ истинно-прекраснаго. Капитолійская и медичейская Венеры должны быть идеалами женской красоты; ландшафтная живопись должна очистить ландшафтъ отъ всего случайнаго. Между тѣмъ искусство далеко не превосходитъ природу: вездѣ уступаетъ оно ей въ свѣжести и полнотѣ жизни. Въ этомъ-то смыслѣ, говоритъ Гёте, всѣ формы искусства имѣютъ въ себѣ нѣчто ложное, даже самыя вѣрныя, самыя прочувствованныя. Пусть спроситъ себя каждый, не обращались-ли невольно его глаза въ трибунѣ во Флоренціи отъ Венеры медичейской на живыя, одушевленныя формы прекрасныхъ женщинъ, разсматривавшихъ статую, на ихъ прелести—застѣнчивую улыбку; или, если это кажется слишкомъ грѣшнымъ для нѣкоторыхъ набожныхъ душъ, спрашиваю, не лучше-ли во-сто разъ, не гармоничнѣе-ли всякой прекраснѣйшей картины отзывается въ нашей душѣ Неаполитанскій заливъ въ своей очаровательной дѣйствительности? Но цѣль искусства и не заключается совсѣмъ въ такомъ неровномъ соперничествѣ. *Оно есть языкъ, ни что болѣе, какъ языкъ, чувственное выраженіе нашихъ чувственныхъ мыслей, ощущеній и созерцаній* *). И только по той причинѣ, что это индивидуально-чувственное содержаніе не можетъ быть выражено никакимъ другимъ способомъ, какъ въ этихъ чувственныхъ формахъ природы и жизни, только потому и говоритъ ими искусство».

Въ 1847 году, когда появилась эта статья, на второмъ курсѣ филологическаго факультета С.-Петербургскаго университета учился будущій видный дѣятель русской литературы, Николай Гавриловичъ Чернышевскій. Мы не имѣемъ

*) Курсивъ въ подлинникѣ.

никакихъ свѣдѣній о томъ, когда началъ онъ сотрудничать въ разныхъ журналахъ, и могла-ли статья эта принадлежать ему. Во всякомъ случаѣ насъ поражаетъ представленная нами выдержка изъ статьи тѣмъ, что мысли, выраженныя въ ней, во многомъ сходятся съ идеями, приведенными въ извѣстной диссертаціи Н. Г. Чернышевскаго: *Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности.* Диссертація эта составляетъ важный шагъ въ развитіи эстетическихъ идей въ разсматриваемый нами періодъ. Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ ней, сообщимъ краткія свѣдѣнія о жизни Н. Г. Чернышевскаго.

IV.

Николай Гавриловичъ Чернышевскій родился въ Саратовѣ 19-го іюня 1828 г. Отецъ его, Гавріилъ Ивановичъ, занимавшій сначала должность инспектора въ мѣстномъ духовномъ училищѣ, затѣмъ былъ священникомъ, еще съ конца тридцатыхъ годовъ избраннымъ въ санъ благочиннаго, а съ 1856 г. занялъ мѣсто каѳедральнаго протоіерея. Отлично зная языки греческій, латинскій и французскій, онъ обладалъ обширнымъ умомъ и добросовѣстнымъ отношеніемъ къ каждому дѣлу; честностью и сердечностью онъ снискалъ всеобщую любовь не только прихожанъ, но и всѣхъ, кому доводилось сталкиваться съ нимъ въ жизни.

Какъ единственнаго сына, ребенка холили, нѣжили и осыпали всевозможными ласками и попеченіями. Въ благочестивой, мирной и скромной семьѣ онъ жилъ счастливо и беззаботно въ условіяхъ самыхъ благопріятныхъ для умственнаго развитія. Сверхъ отца и матери, болѣзненной женщины, Чернышевскій особенно привязанъ былъ къ своей двоюродной сестрѣ, Любови Николаевнѣ. Страстная любительница чтенія, она читала и для себя, и для него, разсказывала ему, играла съ нимъ; онъ слушалъ ее съ увлеченіемъ и засыпалъ вопросами. Ей-же былъ обязанъ Чернышевскій и обученію грамотѣ; увлекла его Любовь Николаевна и музыкой: воспріимчивый мальчикъ выучился отъ нея играть на фортепіано.

Выучившись читать, онъ весь углубился въ чтеніе, употребляя на него всѣ свободные отъ ученья и отъ игръ съ товарищами часы. У отца его, какъ любителя чтенія, была значительная по тому времени библіотека, къ которой съ почтеніемъ относился даже Н. И. Костомаровъ, въ бытность свою въ Саратовѣ. Кромѣ того Чернышевскій пользовался книгами изъ библіотеки сосѣдей-помѣщиковъ, съ дѣтьми которыхъ былъ въ дружественныхъ отношеніяхъ. Онъ бралъ книги, гдѣ только можно, и читалъ ихъ съ жадностью, нерѣдко выписывая изъ нихъ въ тетрадки, которыхъ у него было много. До какой степени въ немъ съ самыхъ первыхъ лѣтъ дѣтства была развита страсть къ чтенію, можно заключить изъ того, что онъ не разставался съ книгою и продолжалъ читать, сидя за обѣдомъ или ужиномъ, и эту привычку сохранилъ до смерти: впослѣдствіи во время обѣда онъ обыкновенно читалъ газеты и журналы.

Считая излишнимъ отдавать сына въ духовное училище, Гавріилъ Ивановичъ самъ приготовилъ его къ поступленію въ семинарію, причемъ особенно налегалъ на древніе языки, такъ что Чернышевскій еще до поступленія въ семинарію могъ переводить нѣкоторыхъ классиковъ. Въ 1842 г. Чернышевскій былъ принятъ въ Саратовскую семинарію, въ классъ реторики, на пятнадца-

томъ году отъ рожденія. Въ это время, по словамъ товарища его, А. И. Розанова, онъ былъ нѣсколько болѣе средняго роста, съ необыкновенно нѣжнымъ, женственнымъ лицомъ; волосы его были свѣтло-желтые, но волнистые, мягкіе и красивые; голосъ тихій; рѣчь пріятная; вообще это былъ юноша, какъ самая скромная, симпатичная и невольно располагающая къ себѣ дѣвушка. Къ несчастью онъ былъ крайне близорукъ; книгу или тетрадь держалъ всегда у самыхъ глазъ, а писалъ, наклонившись къ самому столу.

Бойкій, рѣзвый и разговорчивый съ близкими знакомыми и сверстниками, Чернышевскій былъ застѣнчивъ съ людьми мало знакомыми; въ гости его брали противъ желанія, и онъ обыкновенно сидѣлъ бирюкомъ, храня глубокое молчаніе.

Поступивши въ семинарію, Чернышевскій, будучи обязанъ по уставу обучаться одному живому языку, изъявилъ желаніе изучать два: французскій и татарскій. Къ изученію послѣдняго мальчикъ былъ увлеченъ извѣстнымъ оріенталистомъ, нумизматомъ и археологомъ Г. С. Саблуковымъ, который преподавалъ исторію въ Саратовской семинаріи и былъ вхожъ въ домъ Гавріила Ивановича. Сверхъ того Чернышевскій занимался арабскимъ и еврейскимъ языками, знаніе которыхъ было необязательно для учениковъ семинаріи.

Въ семинаріи Чернышевскій, будучи застѣнчивымъ, тихимъ и смирнымъ, ни съ кѣмъ не рѣшался заговорить первымъ. Товарищи прозвали его дворянчикомъ, такъ какъ онъ и одѣтъ былъ лучше другихъ, и былъ сынъ извѣстнаго протоіерея, котораго уважало не только семинарское начальство, но даже архіерей, и учителя считали за честь бывать у него въ домѣ. Кромѣ того Чернышевскій очень часто ѣздилъ въ семинарію на лошади, что въ то время въ Саратовѣ считалось аристократизмомъ; поэтому чуть-ли не цѣлый годъ товарищи чуждались его и не рѣшались вступать съ нимъ въ разговоръ, и онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ только съ однимъ ученикомъ, М. Левицкимъ, который, какъ лучшій по классу, сидѣлъ съ нимъ рядомъ. Нравились Чернышевскому споры и разсказы Левицкаго. Но дружба эта ограничивалась стѣнами семинаріи, и какъ Чернышевскій ни просилъ Левицкаго къ себѣ въ гости, бѣдный, неотесанный бурсакъ не рѣшался идти къ нему, отговариваясь тѣмъ, что и одежда у него плохая, и онъ не умѣетъ обращаться въ обществѣ, въ особенности въ домѣ такого высокопоставленнаго лица, какимъ былъ отецъ Чернышевскаго. Вообще товарищи неохотно посѣщали Чернышевскаго, и если нѣкоторые изрѣдка рѣшались зайти къ нему, долго не засиживались. Между тѣмъ Чернышевскій желалъ сблизиться съ лучшими учениками и быть съ ними въ дружественныхъ отношеніяхъ. Жизнь семинаристовъ того времени была груба; но Чернышевскій не обращалъ на это никакого вниманія: для него дороги были бесѣды съ умными товарищами. Желая окончить о чемъ нибудь разговоръ, Чернышевскій заходилъ иногда съ товарищами, любившими выпить, въ кабачекъ, гдѣ велъ съ ними дружескую бесѣду, отказываясь отъ водки, которою угощали его товарищи. Не найдя себѣ друга между семинаристами, Чернышевскій, будучи на четыре года старше своего двоюроднаго брата, А. Н. Пыпина, сдѣлался его другомъ, руководителемъ и воспитателемъ, передавая ему всѣ свои обширныя знанія.

Не уступая товарищамъ въ физической силѣ, которую Чернышевскій успѣлъ развить съ дѣтства, играя съ дѣтьми по цѣлымъ часамъ на берегу

Волги, онъ однако-же мало участвовалъ въ играхъ семинаристовъ, вѣчно чѣмъ нибудь занимался, и даже во время перемѣнъ никогда не видѣли его гуляющимъ по двору или корридору. Передъ нимъ постоянно на столѣ лежало нѣсколько тетрадокъ. Однѣ были записки преподавателей, въ другія онъ писалъ какія-нибудь замѣтки или выписки изъ книгъ, такъ напримѣръ выписалъ изъ лексикона Кронеберга цѣлыя фразы изъ Овидія и другихъ писателей. Когда-же товарищи обращались къ нему за разъясненіемъ фразы, онъ бросалъ свои занятія и принимался переводить и объяснять грамматическія правила, весь погружаясь въ свои объясненія, причемъ прочитывалъ иногда наизусть цѣлыя главы Лактанція или другихъ классиковъ.

«Научныя свѣдѣнія его, по словамъ товарища Розанова, были необыкновенно велики: онъ зналъ языки латинскій, греческій, еврейскій, французскій, нѣмецкій, польскій и англійскій. Начитанность была необыкновенная. Между нашими преподавателями былъ нѣкто Г. С. Воскресенскій... Это былъ человѣкъ жестокій до звѣрства, но какъ преподаватель лучшій въ семинаріи... Заговоритъ бывало о чемъ-нибудь и спроситъ: не читалъ-ли кто-нибудь объ этомъ?—всѣ или молчатъ, или отвѣтятъ, что не читали. «Ну, а вы, Чернышевскій, читали?»—спроситъ онъ. Въ то время, какъ Воскресенскій говорилъ и спрашивалъ, Чернышевскій по обыкновенію писалъ что нибудь. Во время класса при наставникахъ онъ всегда дѣлалъ выписки изъ лексиконовъ,—это было его обыкновенное и непремѣнное занятіе. Пишетъ Чернышевскій, учитель спроситъ его и не повторяетъ вопроса; тотъ встаетъ и начинаетъ: «германскій писатель NN говоритъ объ этомъ... французскій... англійскій...» Слушаешь, бывало, и не можешь понять, откуда человѣкъ набралъ столько свѣдѣній? И такъ всегда: коль скоро о чемъ-нибудь не знаетъ никто, то и берутся за Чернышевскаго, а тотъ знаетъ ужъ непремѣнно. Многосторонностью знаній и обширностью свѣдѣній по св. писанію, всеобщей гражданской исторіи, логикѣ, психологіи, литературѣ, исторіи, философіи и проч. онъ поражалъ всѣхъ насъ. Наставники наши считали удовольствіемъ поговорить съ нимъ, какъ съ человѣкомъ, вполнѣ уже развитымъ».

Рѣзко выдѣляясь изъ среды учениковъ и познаніями, и поведеніемъ, Чернышевскій въ 1843 г. аттестованъ былъ такъ: «способностей отличныхъ, прилежанія ревностнаго, успѣховъ отличныхъ, поведенія весьма скромнаго». Учителя были отъ него въ восторгѣ, особенно учитель словесности, который входилъ съ рапортомъ въ семинарское правленіе, донося ему о сочиненіяхъ Чернышевскаго, какъ о замѣчательныхъ и образцовыхъ.

Чернышевскій мечталъ изъ семинаріи поѣхать въ духовную академію и кончить тамъ курсъ со степенью баккалавра, но, по совѣту одного родственника, рѣшился поступить въ университетъ и въ ноябрѣ 1844 г. вышелъ изъ семинаріи. Инспекторъ семинаріи, Тихонъ, встрѣтивши мать его у кого-то въ гостяхъ, спросилъ ее:

— Что вы вздумали взять вашего сына изъ семинаріи? Развѣ вы не расположены къ духовному званію?

На это Евгенія Егоровна отвѣчала:

— Сами знаете, какъ унижено духовное званіе: мы съ мужемъ и порѣшили отдать его въ университетъ.

— Напрасно вы лишаете духовенство такого свѣтила, сказалъ ей инспекторъ.

Два года готовился Чернышевскій дома ко вступительному экзамену въ университетъ, упражняясь въ это время въ нѣмецкомъ языкѣ, при содѣйствіи нѣкоего колониста Б. Х. Грефа, который тоже готовился въ университетъ, и Чернышевскій въ свою очередь помогалъ ему въ изученіи латинскаго языка.

Мать сама отвезла нѣжно любимаго сына въ Петербургъ въ 1846 г., устроила его на квартирѣ, и Чернышевскій выдержалъ вступительный экзаменъ, получивъ изъ всѣхъ предметовъ по полному баллу и лишь по географіи тройку.

Втеченіе университетскаго курса Чернышевскій серьезно занимался древними языками, общею словесностью и изученіемъ славянскихъ нарѣчій, слушая лекціи И. И. Срезневскаго, который приблизилъ его къ себѣ, очень полюбилъ, и подъ его руководствомъ Чернышевскій составилъ словарь къ Ипатіевской лѣтописи, напечатанный въ прибавленіяхъ къ «Изв. II отд. Акад. Наукъ» 1853 г.

Въ 1850 году Чернышевскій былъ выпущенъ 11-мъ кандидатомъ и оставленъ для занятій при университетѣ. Но въ 1851 году онъ уѣхалъ въ Саратовъ, куда тянула его любовь къ родителямъ. Тамъ онъ занялъ мѣсто учителя въ гимназіи. Жизнь впродолженіе всего пребыванія въ Саратовѣ онъ велъ замкнутую, имѣя единственными друзьями отца съ матерью да книги. Къ этому времени относится сближеніе его съ Н. И. Костомаровымъ, который проживалъ тогда въ Саратовѣ.

Схоронивъ мать и затѣмъ женившись, Чернышевскій въ январѣ 1854 года былъ перемѣщенъ въ Петербургъ во 2-й корпусъ, на должность учителя 3-го рода. Но педагогическая дѣятельность его продолжалась не долго, не болѣе трехъ, пяти лѣтъ, а затѣмъ Чернышевскій весь предался литературѣ. Литературныя связи онъ успѣлъ завязать на университетской скамьѣ, сблизившись черезъ Срезневскаго съ Иринархомъ Ив. Введенскимъ и посѣщая его среды. Но принималъ-ли онъ участіе въ журналистикѣ и писалъ-ли что-нибудь для печати въ университетскіе годы, мы не знаемъ. Въ 1853 году начали появляться его библіографическія статейки сначала въ *Отечественныхъ Запискахъ*, потомъ—въ *Современникѣ*; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ занимался и переводами романовъ. Такъ, въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1854 года былъ помѣщенъ въ его переводѣ романъ Чарльза Ливера: *Семейство Доддовъ*.

Работая безъ устали, Чернышевскій въ то-же время готовилъ магистерскую диссертацію, которая хотя и была одобрена совѣтомъ университета, но, не утвержденная министромъ народнаго просвѣщенія, А. С. Норовымъ, была конфискована, и такимъ образомъ Чернышевскій, уже сдавшій магистерскій экзаменъ (1855 г.) и очень удачно защищавшій диссертацію на диспутѣ, не былъ удостоенъ степени магистра.

Вскорѣ послѣ этого эпизода съ диссертаціей Чернышевскій сблизился съ редакціей *Современника* и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ этого журнала. Одно время, въ 1858 году, онъ былъ редакторомъ *Военнаго Сборника*, но это редакторство продолжалось недолго.

Дѣятельность его въ *Современникѣ* распадается на два періода. Первый простирается до 1858 года. Въ это время Чернышевскій завѣдывалъ критическимъ отдѣломъ журнала, велъ журнальныя замѣтки и сверхъ ряда критическихъ статей по текущей литературѣ помѣстилъ на страницахъ *Современника* два крупныхъ трактата: *Очерки гоголевскаго періода* и *Лессингъ и его время*. Первый трактатъ посвященъ, какъ извѣстно, характеристикѣ Бѣлинскаго. Но и во второмъ трактатѣ, опредѣляя значеніе знаменитаго германскаго критика, Чернышевскій сравниваетъ съ нимъ аналогическое значеніе для насъ все того-же Бѣлинскаго.

Со вступленіемъ въ *Современникъ* Добролюбова, Чернышевскій предоставилъ ему вести критику въ журналѣ, а самъ принялся за публицистику. Въ ноябрьской и декабрьской книжкахъ *Современника* за 1858 годъ были напечатаны статьи: *Критика философскихъ предубѣжденій противъ общиннаго владѣнія* и *О необходимости держаться умѣренныхъ цифръ при опредѣленіи величины выкупа*, вызвавшія оживленную полемику современныхъ экономистовъ. Въ 1859 г. Чернышевскій напечаталъ статьи: *Экономическая дѣятельность и государство* и *По поводу «Очерковъ Англіи и Франціи» Чичерина*. Слѣдующій, 1860, годъ ознаменовался обширною статьею: *Капиталъ и Трудъ*, и въ томъ же году онъ приступилъ къ печатанію перевода *Основаній политической экономіи* Милля съ пространными примѣчаніями, снискавшими ему громкую общеевропейскую извѣстность. Рядъ политико-экономическихъ статей и очерковъ, вызванныхъ текущими финансовыми и экономическими реформами и мѣропріятіями, печатался въ *Современникѣ* въ 1861 и 1862 годахъ.

Вмѣстѣ съ этимъ Чернышевскій съ самаго начала своего участія въ *Современникѣ* удѣлялъ время для историческихъ переводовъ, компиляцій и оригинальныхъ статей. Такъ, въ 1856—57 годахъ въ *Современникѣ* былъ напечатанъ рядъ статей подъ заглавіемъ: *Разсказы изъ исторіи Англіи* (по Маколею). Съ начала шестидесятыхъ годовъ подъ редакціею Чернышевскаго началъ выходить переводъ *Всемірной исторіи* Ф. Шлоссера, издававшійся Серно-Соловьевичемъ. Кромѣ того перу Чернышевскаго принадлежитъ нѣсколько историко-публицистическихъ очерковъ и разсужденій: *Борьба партій во Франціи при Людовикѣ XVIII и Карлѣ X* (1858 г.), *Кавеньякъ* (1858 г.), *Іюльская монархія* (60 г.), *Антропологическій принципъ въ философіи* (60 г.), *О причинахъ паденія Рима* (61 г.) и друг.

Съ 1864 года литературная дѣятельность Чернышевскаго, какъ извѣстно, надолго прерывается. Лишь по возвращеніи на родину въ 1883 году онъ получилъ возможность снова заняться литературой и началъ третій періодъ своей дѣятельности. Понятно, онъ уже не могъ занять прежняго мѣста въ литературѣ и отдался почти всецѣло переводу на русскій языкъ *Всеобщей исторіи* Вебера. Изъ этого обширнаго сочиненія въ 15 томовъ, по 1000 страницъ въ каждомъ томѣ, Чернышевскій успѣлъ перевести, а Солдатенковъ напечатать — 11 томовъ; двѣ трети 12-го тома также переведены Чернышевскимъ, причемъ къ послѣднимъ томамъ Чернышевскій въ формѣ введеній прикладывалъ оригинальные очерки по исторіи, а во 2-мъ изданіи 1-го тома помѣстилъ: *Очеркъ научныхъ понятій о возникновеніи обстановки человѣческой жизни и о ходѣ развитія человѣчества въ до-историческія времена*.

При такомъ гигантскомъ трудѣ Чернышевскій нашелъ еще время помѣстить въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* обширную научную статью подъ заглавіемъ: *Характеръ человѣческаго знанія* и сверхъ того напечаталъ въ *Русской Мысли*: *Гимнъ Дѣвѣ неба*, стихотвореніе подъ псевдонимомъ «Андреевъ» (1885 г. № 7); *Происхожденіе теоріи благотворности борьбы за жизнь*, подписанное «Трансформистъ» (1888 г., № 9); *Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова*, сообщенные Андреевымъ, 1889 г., №№ 1, 2. Въ цѣломъ видѣ, въ отдѣльномъ изданіи эти матеріалы вышли уже послѣ смерти Чернышевскаго.

Жизнь, по словамъ саратовскихъ газетъ, въ это время Чернышевскій велъ замкнутую, уединенную; весь былъ погруженъ въ литературныя занятія, хотя въ обществѣ знакомыхъ отличался рѣдкимъ одушевленіемъ и говорливостью.

Страдалъ Чернышевскій давнишнимъ недугомъ—катарромъ желудка. Передъ смертью онъ лишился сознанія, долго и много бредилъ, иногда диктуя изъ Вебера. Кровоизліяніе въ мозгу положило конецъ его существованію. Къ величайшему утѣшенію родныхъ и самого покойнаго, послѣдніе мѣсяцы своей жизни ему пришлось провести въ родномъ Саратовѣ, куда онъ переселился какъ разъ въ годъ смерти. Смерть послѣдовала въ 12 ч. 35 м. ночи, съ 16-го на 17-е октября 1889 г.

V.

Минуя публицистическую дѣятельность Чернышевскаго, какъ не входящую въ составъ нашего обозрѣнія, мы ограничимся лишь критическими статьями и начнемъ съ диссертаціи, знакомящей насъ съ его эстетическими воззрѣніями.

Цѣль диссертаціи заключается въ томъ, чтобы окончательно разрушить устарѣлыя эстетическія теоріи, построенныя на метафизическихъ основаніяхъ, и на мѣсто ихъ водворить новыя, реальныя. Поэтому авторъ прямо начинаетъ съ тщательнаго анализа идеи *прекраснаго*. Опровергая одно за другимъ старыя опредѣленія вродѣ тѣхъ, что «прекраснымъ называется полное проявленіе идеи въ отдѣльномъ предметѣ» или что «прекрасное есть единство идеи и образа», Чернышевскій вмѣсто нихъ ставитъ свое, основанное на реальныхъ данныхъ.

«Ощущеніе,—говоритъ онъ,—производимое въ человѣкѣ прекраснымъ,—свѣтлая радость, похожая на ту, какою наполняетъ насъ присутствіе милаго для насъ существа. Мы безкорыстно *любимъ* прекрасное, мы любуемся, радуемся на него, какъ радуемся на милаго намъ человѣка. Изъ этого слѣдуетъ, что въ прекрасномъ есть что-то милое, дорогое нашему сердцу. Но это «что-то» должно быть нѣчто чрезвычайно многообъемлющее, нѣчто способное принимать самыя разнообразныя формы, нѣчто чрезвычайно общее, потому что прекрасными кажутся намъ предметы чрезвычайно разнообразные, существа, совершенно непохожія другъ на друга

«Самое общее изъ того, что мило человѣку, и самое милое ему на свѣтѣ - *жизнь*; ближайшимъ образомъ такая жизнь, какую хотѣлось-бы ему вести, какую любитъ онъ; потомъ и всякая жизнь, потому что все-таки лучше жить: все живое уже по самой природѣ своей ужасается погибели, небытія и любитъ жизнь. И кажется, что опредѣленіе: *«прекрасное есть жизнь»; прекрасно то существо, въ которомъ видимъ мы жизнь такую, какова должна быть она по нашимъ понятіямъ; прекрасенъ тотъ предметъ, который выказываетъ въ себѣ жизнь или напоминаетъ намъ о жизни»*,—кажется, что это опредѣленіе удовлетворительно объясняетъ всѣ случаи, возбуждающіе въ насъ чувство прекраснаго».

Изъ такого опредѣленія прекраснаго прямо вытекаетъ выводъ, что прекрасное въ сферѣ искусства должно всегда уступать прекрасному въ жизни. Въ самомъ дѣлѣ, разъ прекрасное есть все то, въ чемъ наиболѣе проявляется жизнь, то можетъ-ли отраженіе этой жизни, какъ-бы оно ни было близко къ подлиннику, равняться съ оригиналомъ? Бо́льшая часть диссертаціи и посвящена опроверженію старыхъ эстетическихъ теорій, утверждавшихъ, будто «идея прекраснаго, не осуществляемая дѣйствительностью, осуществляется произведеніями искусства». Чернышевскій доказываетъ, что нѣтъ, это—неправда; прекрасное искусства всегда уступаетъ прекрасному дѣйствительности,—и это самая лучшая и наиболѣе обстоятельная часть диссертаціи.

Далѣе затѣмъ естественно возникаетъ вопросъ, въ чемъ-же заключается назначеніе искусства, если оно оказывается совершенно безсильно и несостоятельно въ томъ, въ чемъ до тѣхъ поръ видѣли главное его призваніе,

именно въ осуществленіи идеи прекраснаго?—Но тутъ Чернышевскій высказываетъ поразительное непониманіе цѣлей и значенія искусства, полное отсутствіе эстетической жилки, вслѣдствіе чего сбивается на совершенно ложный путь.

Такъ, по его мнѣнію, ближайшая цѣль искусства — воспроизводить дѣйствительность, но не для того, чтобы превосходить ее или хотя-бы равняться съ нею, но чтобы нѣсколько напоминать намъ о ней, помогать нашей памяти. Не всѣ могутъ каждый часъ любоваться моремъ: между тѣмъ фантазія слаба, ей нужна поддержка, напоминаніе,— и чтобы оживить свои воспоминанія о морѣ, чтобы яснѣе представить его въ своемъ воображеніи, смотрятъ на картину, изображающую море.

Но подобное опредѣленіе искусства не только не объясняетъ намъ творческихъ процессовъ художника, но и эстетическихъ наслажденій простыхъ смертныхъ. Неужели Айвазовскій рисуетъ морскіе пейзажи съ тою-же холодною утилитарною цѣлью знакомить насъ съ моремъ и напоминать о немъ, съ какой ученый показываетъ свои туманныя картины допотопной флоры и геологическихъ формацій? Неужели мы идемъ въ картинную галлерею словно въ какой-нибудь музей, съ единственною цѣлью знакомиться съ чуждыми намъ предметами или-же припоминать давно невиданные? Какую-же роль играетъ тотъ творческій экстазъ, который побуждаетъ художника творить, и та сильная, доходящая порою до нервной дрожи и слезъ эмоція, которую мы ощущаемъ, когда любуемся изображеніемъ дѣйствительности, мимо которой не разъ проходили совершенно равнодушно?

Далѣе затѣмъ Чернышевскій выходитъ повидимому на широкую дорогу, когда слѣдующимъ образомъ раздвигаетъ область искусства:

«Обыкновенно говорятъ, что содержаніе искусства есть прекрасное; но этимъ слишкомъ стѣсняется сфера искусства. Если даже согласиться, что возвышенное и комическое—моменты прекраснаго, то множество произведеній искусства не подойдетъ по содержанію подъ эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое. Въ живописи не подходятъ подъ эти подраздѣленія картины домашней жизни, въ которыхъ нѣтъ ни одного прекраснаго или смѣшного лица, изображеніе старика или старухи, не отличающихся особенною старческою красотою, и т. д. Въ музыкѣ еще труднѣе провести обыкновенныя подраздѣленія: если отнесемъ марши, патетическія пьесы и т. д. къ отдѣлу величественнаго; если пьесы, дышащія любовью или веселостью, причислимъ къ отдѣлу прекраснаго; если отыщемъ много комическихъ пѣсенъ, то у насъ еще остается огромное количество пьесъ, которыя по своему содержанію не могутъ быть безъ натяжки причислены къ одному изъ этихъ родовъ: куда отнести грустные мотивы? неужели къ возвышенному, какъ страданіе? или къ прекрасному, какъ нѣжныя мечты? Но изъ всѣхъ искусствъ наиболѣе противится подведенію своего содержанія подъ тѣсныя рубрики прекраснаго и его моментовъ—поэзія. Область ея—вся область жизни и природы; точки зрѣнія поэта на жизнь въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ также разнообразны, какъ понятія мысли объ этихъ разнохарактерныхъ явленіяхъ; а мыслитель находитъ въ дѣйствительности очень многое, кромѣ прекраснаго, возвышеннаго и комическаго. Не всякое горе доходитъ до трагизма; не всякая радость граціозна или комична. Что содержаніе поэзіи не исчерпывается тремя извѣстными элементами, внѣшнимъ образомъ видимъ изъ того, что ея произведенія перестали вмѣщаться въ рамки старыхъ подраздѣленій. Что драматическая поэзія изображаетъ не одно трагическое или комическое, доказывается тѣмъ, что кромѣ комедіи и трагедіи должна была явиться драма. Вмѣсто эпоса, по преимуществу возвышеннаго, явился романъ съ безчисленными своими родами. Для большей части нынѣшнихъ лирическихъ пьесъ не отыскивается въ старыхъ подраздѣленіяхъ заглавія, которое могло-бы обозначить характеръ содержанія: недостаточны сотни рубрикъ, тѣмъ менѣе можно сомнѣваться, что не могутъ всего обнять три рубрики (мы говоримъ о характерѣ содержанія, не о формѣ, которая всегда должна быть прекрасна)».

Все это какъ нельзя болѣе справедливо. Но далѣе затѣмъ Чернышевскій снова сходитъ съ правильной дороги. Повидимому онъ очень близко подходитъ къ В. Майкову въ своемъ дальнѣйшемъ и окончательномъ опредѣленіи искусства. Сфера искусства, по его словамъ, не ограничиваясь однимъ прекраснымъ, обнимаетъ собою все, что въ дѣйствительности (въ природѣ и жизни) интересуетъ человѣка, не какъ ученаго, а просто какъ человѣка; общеинтересное въ жизни—вотъ содержаніе искусства.

Но Майковъ рѣзко разграничивалъ сферу интереснаго, въ смыслѣ *занимательнаго*, отъ интереснаго, въ смыслѣ *симпатичнаго*, близко касающагося насъ и возбуждающаго въ насъ различныя эмоціи, и на этомъ основаніи утверждалъ существенное различіе между наукою и искусствомъ. Чернышевскій-же не сдѣлалъ этого различія, слово *интересное* употребилъ въ общемъ и неопредѣленномъ смыслѣ, и въ результатѣ такого безразличія получилось тождество искусства съ наукою. Искусство, по мнѣнію автора, имѣетъ еще другое значеніе—объясненіе жизни, и въ этомъ смыслѣ оно ничѣмъ не отличается отъ ученаго трактата о предметѣ; различіе только въ томъ, что искусство вѣрнѣе достигаетъ своей цѣли, чѣмъ ученый трактатъ: подъ формою жизни мы легче знакомимся съ предметомъ, нежели когда находимъ сухое указаніе на предметъ. Романы Купера болѣе, нежели этнографическіе разсказы и разсужденія о важности изученія быта дикарей, познакомили общество съ ихъ жизнью.

Но если искусство тождественно съ наукою и играетъ по отношенію къ ней лишь служебную роль иллюстрированія изучаемаго, въ такомъ случаѣ какую-же роль должна играть такъ называемая *творческая фантазія?* Изъ длиннаго опредѣленія этой роли на стр. 98, 99 и 100 мы видимъ, что Чернышевскій ничѣмъ не отличаетъ ее отъ способности угадыванія, наведенія, комбинированія фактовъ и изолированія изображаемаго предмета отъ всего излишняго и ненужнаго, присущей каждому талантливому ученому, который иногда по одной найденной челюсти опредѣляетъ цѣлый скелетъ животнаго. Но если мы и допустимъ, что подобная способность необходима для художественнаго творчества въ равной степени, какъ и для научныхъ изслѣдованій, то можно-ли все-таки сказать, чтобы въ ней одной заключалось все творчество? Но Чернышевскій словно чувствуетъ, что онъ всталъ на какую-то шаткую и колеблющуюся подъ нимъ почву и спѣшитъ оговориться, что предметъ его изслѣдованія—искусство, какъ объективное произведеніе, а не субъективная дѣятельность поэта, потому было-бы неумѣстно вдаваться въ исчисленіе различныхъ отношеній поэта къ матеріаламъ его произведенія.

Это отождествленіе искусства съ наукою и приданіе ему служебной роли иллюстрированія научныхъ, философскихъ и публицистическихъ изысканій вывело критику изъ роли цѣнительницы художественныхъ произведеній, которую она исполняла въ эпоху Бѣлинскаго. Совсѣмъ иныя требованія для критики вытекаютъ изъ теоріи Чернышевскаго. Здѣсь критикъ, смотря на произведеніе, какъ на служебную иллюстрацію жизни, прежде всего опредѣляетъ, вѣрна-ли иллюстрація. Если не вѣрна, онъ ее отбрасываетъ въ сторону, не считая нужнымъ иногда и заикаться о такомъ произведеніи. Если-же иллюстрація вѣрна, онъ тотчасъ-же принимается по ней анализировать самые факты жизни, такъ что въ концѣ-концовъ критика является рядомъ моральныхъ, этическихъ, публицистическихъ трактатовъ, изученіемъ жизни по художествен-

*

нымъ произведеніямъ, совершенно подобно тому, какъ анатомію и географію учатъ по атласамъ.

Такъ какъ вслѣдъ затѣмъ наступила бурная эпоха реформъ и поднятія цѣлаго ряда вопросовъ, то подобная критика пришлась какъ нельзя болѣе ко времени и кстати, и была осуществлена въ блестящей дѣятельности Добролюбова.

Что касается до Чернышевскаго, то онъ первый подалъ примѣръ публицистической критики, которая вытекала изъ его теоріи. По правдѣ сказать, критическія статьи его далеко уступаютъ статьямъ Добролюбова. Прежде всего вы видите въ нихъ отсутствіе того-же, чѣмъ хромаетъ и диссертація, т. е. эстетическаго чутья, и этотъ недостатокъ повелъ за собою рядъ вопіющихъ промаховъ. Такъ напримѣръ, Чернышевскій очень пренебрежительно и враждебно отнесся къ драмѣ Островскаго *Бѣдность не порокъ*, изъ чисто партійной вражды, заподозривъ въ Островскомъ славянофила, и въ то-же время съ большимъ восторгомъ привѣтствовалъ появленіе разсказовъ Николая Успенскаго, усмотрѣвъ въ нихъ конецъ сентиментальной идеализаціи народа и начало реальнаго и трезваго отношенія къ нему, не замѣтивши въ то-же время всю грубость шаржей Николая Успенскаго.

Болѣе удачными критическими статьями Чернышевскаго являются или историко-литературнаго содержанія, каковы о Лессингѣ, *Очерки гоголевскаго періода*, характеристики Пушкина и Гоголя, или-же тѣ, въ которыхъ онъ, вѣрный своей теоріи, является не столько критикомъ, сколько публицистомъ. Такова напримѣръ статья его въ *Современникѣ* 1857 года, въ т. LXIII: *О губернскихъ очеркахъ Щедрина*, проводящая ту мысль, что нравственность человѣка зависитъ отъ общественныхъ порядковъ. Самою-же лучшею въ этомъ родѣ безспорно является статья въ *Атенеѣ* 1858 г., № 3, *Русскій человѣкъ на rendez-vous*, по поводу повѣсти Тургенева *Ася*. Статья, по справедливости слѣдуетъ сказать, блестящая; но это не столько критика, сколько аллегорія, скрывающая подъ личиною разбора повѣсти Тургенева воззваніе о скорѣйшемъ освобожденіи крестьянъ.

Чернышевскій является такимъ образомъ прямымъ предшественникомъ Добролюбова. Онъ не только внушилъ послѣднему свои эстетическія воззрѣнія, но и практически началъ то, что блистательно довершилъ Добролюбовъ. Послѣдній затмилъ учителя, и учитель смиренно уступилъ ему мѣсто, переставши писать критическія статьи и выступивши на поприще публицистики и политической экономіи, болѣе свойственное характеру его таланта и качествамъ его холоднаго, діалектическаго и математическаго ума.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I. Дѣтство и семинарскіе годы Николая Александровича Добролюбова.—II. Пребываніе его въ Педагогическомъ институтѣ и остальная жизнь его.—III. Философскіе и моральные взгляды Добролюбова.—IV. Эстетическія теоріи Добролюбова. Сѣмена отрицанія искусства. Вопросъ о народности литературы.—V. Публицистическій характеръ критики Добролюбова.—VI. Двѣ категоріи его взглядовъ.—VII. Противорѣчія Добролюбова, обусловливаемыя двойственностью эпохи. Разносторонность литературной дѣятельности Добролюбова.

I.

Ни одинъ изъ литературныхъ дѣятелей шестидесятыхъ годовъ не представляетъ собою такого полнаго, цѣльнаго и, можно сказать, идеальнаго

типа молодого поколѣнія конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ, какъ Николай Александровичъ Добролюбовъ. Въ немъ по-истинѣ, можно сказать, воплотился его замѣчательный вѣкъ.

Родился Н. А. Добролюбовъ въ Нижнемъ-Новгородѣ 24-го января 1836 г. Отецъ его былъ священникъ нижегородской Николаевской церкви. Достатки у него были, судя по всему, очень скудные, а семейство большое: состояло изъ пяти дочерей и трехъ сыновей. Приходилось жизнь вести самую скромную, стѣсняясь во всемъ, и это отражалось конечно на бытѣ семьи. Поэтому картина дѣтства Добролюбова носитъ довольно мрачный колоритъ: монотонное, однообразное существованіе день за день въ полной замкнутости; томительная скука, особенно въ праздничные дни. Дома слушаніе вѣчныхъ жалобъ на безденежье, всеобщую подлость, прижимку и обиду; брань и попреки суроваго отца, срывавшаго на родныхъ свои невзгоды, а внѣ семьи чувство обиднаго отчужденія и высокомѣрнаго презрѣнія со стороны свѣтскаго провинціальнаго общества. Все это въ самомъ юномъ возрастѣ успѣло наложить на чело будущаго критика печать суроваго и мрачнаго взгляда на жизнь.

Къ отцу Добролюбовъ былъ холоденъ и чувствовалъ невольное отчужденіе отъ него вслѣдствіе его строптивости; зато къ матери былъ привязанъ всею душою. «Отъ нея,—писалъ онъ въ 1854 году, послѣ ея смерти,—получилъ я свои лучшія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ дней моего дѣтства; къ ней летѣло мое сердце, гдѣ бы я ни былъ, для нея было все, все, что я ни дѣлалъ».

Матери былъ обязанъ Добролюбовъ и первыми шагами своего развитія. Уже трехъ лѣтъ съ ея словъ онъ заучилъ нѣсколько басенъ Крылова и прекрасно произносилъ ихъ передъ домашними и чужими. Мать-же выучила его и читать, и писать азбуку. Когда ему минуло 8 лѣтъ, для занятія съ нимъ были приглашены семинаристы, сначала Садовскій, потомъ Костровъ, и послѣдній занимался съ нимъ три года столь толково и успѣшно, что одиннадцати лѣтъ Добролюбовъ былъ отданъ въ духовное училище, а черезъ годъ успѣлъ попасть въ четвертый, послѣдній классъ этого училища.

Здѣсь онъ съ перваго-же года обратилъ на себя общее вниманіе. Робкій, застѣнчивый мальчикъ, нѣжный, барской наружности, съ мягкими руками, въ то-же время онъ поразилъ всѣхъ бойкостью и находчивостью отвѣтовъ и начитанностью, необыкновенною для 12-ти-лѣтняго ребенка. Въ 1848 году онъ перешелъ въ семинарію и тамъ, чуждаясь товарищей, весь ушелъ въ книги, читалъ русскихъ авторовъ, ученыя сочиненія, журналы и дома, и въ классахъ. Въ его упражненіяхъ по классу реторики и піитики постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителемъ словесности. Въ немногихъ упражненіяхъ, какія были по исторіи всеобщей, была видна тоже начитанность. Въ среднемъ отдѣленіи семинаріи Добролюбовъ поражалъ громадными сочиненіями въ 30, 40, 160 писчихъ листовъ по философскимъ темамъ, особенно объ ученіи отцовъ церкви и по русской церковной исторіи. Въ то же время уже на 14 году онъ началъ писать стихи и между прочимъ переводилъ Горація.

Внутренній міръ Добролюбова обусловливался впечатлѣніями всего, что приходилось читать юношѣ, всѣми обстоятельствами его жизни. Такъ, подъ вліяніемъ русскихъ классиковъ, онъ, по собственнымъ словамъ, «хотѣлъ походить на Печорина и Тамарина, затѣмъ толковать, какъ Чацкій», и въ тоже время, смотря съ презрѣніемъ и ненавистью на окружающую его губерн-

скую жизнь, восклицалъ въ своемъ дневникѣ въ романтическомъ порывѣ: «все пошло, глупо, мелко, ничто не удовлетворяетъ порывовъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца». . Вмѣстѣ съ тѣмъ подъ вліяніемъ тягостныхъ условій домашней обстановки и преобладанія религіознаго содержанія въ духовной школѣ, наконецъ и общественныхъ вѣяній, располагавшихъ молодежь того времени къ мистическимъ экзальтаціямъ, Добролюбовъ впалъ въ аскетизмъ и піэтизмъ, выразившіеся въ безпощадныхъ нравственныхъ самобичеваніяхъ. Онъ ежедневно велъ въ дневникѣ своемъ списокъ грѣховъ съ благочестивыми укоризнами себѣ, обѣщаніями строго наблюдать за собою и исправляться и оканчивалъ эти сокрушенія словами: «Господи, спаси мя, не остави мене погибающа!»

Къ концу семинарскаго курса романтическіе порывы мало-по-малу исчезли. Юноша взглянулъ вокругъ себя трезвымъ взглядомъ холодной и разсчетливой положительности, сознальъ, что только упорнымъ трудомъ, разсчитывая каждую минуту, онъ можетъ чего нибудь достигнуть, хотя закалъ его характера оставался тотъ-же самый и въ основѣ его лежалъ тотъ-же суровый аскетизмъ, перенесенный только съ романтико-религіозной на положительную и практическую почву. Такъ, юноша еще болѣе ушелъ въ научный трудъ. Выйдя изъ семинаріи за два года до окончанія курса, въ августѣ 1853 года, онъ отправился въ Петербургъ держать пріемный экзаменъ въ С.-Петербургскую духовную академію, такъ какъ въ университетѣ, несмотря на все свое желаніе, онъ не могъ учиться по невозможности родителей содержать его. Но въ Петербургѣ онъ узналъ о возможности поступить въ Педагогическій институтъ на казенный счетъ и воспользовался ею, удовлетворивъ такимъ образомъ до нѣкоторой степени своему желанію пройти курсъ свѣтскаго высшаго заведенія.

II.

Въ институтѣ онъ снова погрузился въ книги. «Онъ читалъ, читалъ всегда и вездѣ, по временамъ внося содержаніе прочитаннаго (хотя онъ и безъ того хорошо помнилъ) въ имѣвшуюся у него толстую въ алфавитномъ порядкѣ библіографическую тетрадь,—говорилъ одинъ товарищъ Добролюбова въ своихъ воспоминаніяхъ объ институтскихъ годахъ его;—въ столѣ у него было столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыя въ первое время онъ зарабатывалъ себѣ копѣйку, въ шкафѣ столько книгъ, что ящикъ въ столѣ и полки въ шкафѣ ломились».

Но не въ одномъ этомъ погруженіи въ книги сказался аскетизмъ Добролюбова. Въ то-же время въ письмахъ къ товарищамъ онъ выказалъ полное невниманіе къ красотамъ столицы и отказался описывать ихъ, чѣмъ возбудилъ въ товарищахъ упреки въ гордости, невнимательности, въ томъ, что онъ корчитъ изъ себя очень умнаго человѣка, на котораго не дѣйствуетъ внѣшность. Вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на свои 18 лѣтъ, онъ гналъ отъ себя и преслѣдовалъ въ другихъ все радостное, свѣтлое, малѣйшее проявленіе безхитростнаго и беззавѣтнаго молодого веселья. «Странное дѣло,—пишетъ онъ въ дневникѣ своемъ,—нѣсколько дней тому назадъ я почувствовалъ въ себѣ возможность влюбиться, а вчера ни съ того, ни съ сего вдругъ мнѣ пришла охота учиться танцовать. Чортъ знаетъ, что это такое. Какъ бы то ни было,

а это означаетъ во мнѣ начало примиренія съ обществомъ. Но я надѣюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сдѣлать что-нибудь, я долженъ не убаюкивать себя, не дѣлать уступки обществу, а напротивъ держаться отъ него дальше, питать желчь свою...»

Въ этой выдержкѣ изъ дневника проглядываетъ не одинъ только аскетизмъ, но и нѣкоторое ожесточеніе, и это ожесточеніе усилилось въ молодомъ человѣкѣ, когда на него обрушилось нѣсколько тяжкихъ ударовъ судьбы. Не прошло и года со времени поступленія его въ институтъ, какъ умерла у него мать. Не успѣлъ онъ оправиться отъ этой дорогой и незамѣнимой утраты, какъ вслѣдъ за нею пошелъ въ могилу и отецъ, оставивши семейство въ крайней нищетѣ и къ тому-же обремененное долгами. На рукахъ Добролюбова осталась семья изъ пяти сестеръ и двухъ братьевъ. Въ отчаяніи онъ намѣревался уже бросить институтъ и искать мѣсто уѣзднаго учителя на родинѣ, и едва отклонили его близкіе люди отъ этого намѣренія, представивши тѣ резоны, что все равно на скудное жалованье уѣзднаго учителя семью ему не прокормить, сестры же и братья могутъ жить пока у родственниковъ и у нѣкоторыхъ прихожанъ, уважавшихъ его отца. Но Добролюбовъ былъ слишкомъ гордъ и не могъ допустить, чтобы родные его жили милостью другихъ, и вотъ, сверхъ своихъ институтскихъ занятій, онъ началъ давать уроки, доставать переводы и такимъ образомъ пріобрѣталъ деньги на содержаніе сестеръ и братьевъ. Эти занятія сверхъ силъ очень вредно вліяли какъ на здоровье, такъ и на расположеніе духа юноши. Сдержанное, холодное и тѣмъ болѣе мрачное ожесточеніе окончательно овладѣло имъ. Такъ, когда товарищъ встрѣтилъ его на желѣзной дорогѣ и спросилъ, что у него новаго, Добролюбовъ отвѣчалъ: «Отецъ умеръ», и, по словамъ товарища, въ холодномъ тонѣ отвѣта, сказаннаго Добролюбовымъ съ язвительною улыбкою, послышалось проклятіе, посланное судьбѣ. Онъ смѣялся, сообщая эту грустную новость, но такъ смѣялся, что товарища его покоробило.

Таковъ былъ Добролюбовъ при началѣ своего литературнаго поприща; такимъ-же остался онъ и впродолженіе всей своей недолгой жизни. Тотъ-же идеализмъ, не допускавшій ни малѣйшихъ уступокъ и примиреній, тотъ-же суровый ригоризмъ, отвергавшій всякое безцѣльное и беззавѣтное наслажденіе и требовавшій, чтобы всѣ помышленія человѣка были направлены въ сторону общественной пользы, та-же холодная, язвительная и безпощадная иронія—проникаютъ всю дѣятельность Добролюбова до самой послѣдней статьи его. Созданный обстоятельствами личной жизни и духомъ времени, онъ сразу является передъ вами во весь свой ростъ, словно отчеканенный, и такимъ-же сходитъ въ могилу безъ малѣйшихъ измѣненій въ убѣжденіяхъ, взглядахъ и требованіяхъ.

Уже въ началѣ 1855 года познакомился онъ и вошелъ въ сношеніе съ Н. Г. Чернышевскимъ, къ которому отправился съ тенденціозною повѣстью, изображавшею параллель воспитанія и жизни изнѣженнаго барченка и закаленнаго лишеніями бѣдняка. Чернышевскій прямо и положительно сказалъ Добролюбову, чтобы онъ не совался въ беллетристику, что онъ пишетъ не повѣсть, а критику на сцены, имъ самимъ придуманныя. Этотъ приговоръ окончательно направилъ Добролюбова на путь критики, и въ 1856 году, за годъ до окончанія курса въ Педагогическомъ институтѣ, были напечатаны въ *Современникѣ* первыя статьи его о *Собесѣдникѣ любителей русскаго слова*

и разборъ *Акта главнаго Педагогическаго института.* Статьи эти сразу обратили на себя вниманіе начитанностью автора, усвоеніемъ духа и всѣхъ результатовъ движенія сороковыхъ годовъ, и наконецъ сдержанною, холодною ироніею, которую трудно было ожидать отъ 19-ти-лѣтняго юноши. Но имя его пока оставалось неизвѣстнымъ, во избѣжаніе какихъ либо непріятностей въ институтѣ. Онъ долженъ былъ даже отложить свое сотрудничество въ *Современникѣ* до окончанія курса, ограничившись послѣдній годъ пребыванія своего въ институтѣ помѣщеніемъ нѣсколькихъ педагогическихъ статей въ журналѣ Чумикова и Паульсона. И лишь по окончаніи курса, въ половинѣ 1857 года, началъ онъ свое постоянное сотрудничество въ *Современникѣ*, а въ концѣ 1858 года принялъ въ свое завѣдываніе отдѣлъ критики и библіографіи въ этомъ журналѣ.

Дальнѣйшая жизнь Добролюбова, продолжавшаяся всего лишь три года, представляетъ собою одинъ неусыпный трудъ, прерываемый лишь нѣсколькими часами необходимаго отдыха, причемъ о Добролюбовѣ буквально можно сказать, что отъ письменнаго стола онъ не отрывался. Стоитъ взглянуть на количество написаннаго Добролюбовымъ въ эти три года, на четыре увѣсистые тома его сочиненій, чтобы понять, что̀ это была за неимовѣрная работа. Нѣтъ ничего удивительнаго, что силъ молодого человѣка едва хватило на три года, причемъ въ послѣдній годъ своей жизни онъ принужденъ былъ часто отрываться отъ работы, борясь съ одолѣвавшею его болѣзнью, предпринявъ съ этою цѣлью путешествіе за-границу. Такимъ образомъ количество времени, въ которое написаны четыре тома его сочиненій, этимъ еще болѣе сокращается. 17-го ноября 1861 года его уже не стало. Непреклонно-суровый сподвижникъ нашего времени, онъ быстро сгорѣлъ, принеся свою молодую жизнь и всѣ свои силы на алтарь своего отечества и не вынеся изъ своего короткаго существованія ни одной живой радости, ни малѣйшаго проблеска счастія.

III.

Что касается до міросозерцанія Добролюбова, до его общихъ философскихъ взглядовъ, то къ сожалѣнію мы не можемъ привести ни одного мѣста въ его сочиненіяхъ, въ которыхъ взгляды эти выражались-бы съ полнотою и опредѣленностью. Живя въ такой моментъ, въ который все вниманіе людей было поглощено общественными вопросами, Добролюбовъ рѣдко вдавался въ общія и отвлеченныя философскія разсужденія, и мы можемъ указать на весьма немногія его статьи, которыя могутъ дать приблизительныя понятія о его міросозерцаніи. Таковы: *Жизнь Магомета, соч. Вашингтона Ирвинга* (С. Д., т. I, стр. 614); *Буддизмъ, его догматы, исторія и литература, соч. Васильева* (С. Д., т. II, стр. 321). Обѣ эти статьи знакомятъ насъ съ религіозными воззрѣніями Добролюбова. Еще опредѣленнѣе выражается его реальное міросозерцаніе въ статьѣ *Органическое развитіе человѣка въ связи съ его умственною и нравственною дѣятельностью* (С. Д., т. II, ст. 21). Что касается индивидуально-нравственныхъ вопросовъ, которыми немало занимался Добролюбовъ, то въ основѣ его моральныхъ воззрѣній замѣчались всѣ тѣ противорѣчія, какія лежали въ духѣ времени и условіяхъ его воспитанія. Такъ, съ одной стороны онъ повидимому строго держался той нравственной теоріи, ко-

торая требуетъ, чтобы поступки человѣка не были однимъ лишь пассивнымъ послушаніемъ правиламъ морали, а выходили изъ глубины самаго духа человѣка, чтобы правила морали проникали всего человѣка, были его второю натурою и исполненіе ихъ было для него наслажденіемъ, а не одною тягостью исполненія долга. Такъ, въ статьѣ о Станкевичѣ онъ говоритъ:

«У насъ очень часто превозносятъ добродѣтельнаго человѣка тѣмъ всестороннѣе, чѣмъ болѣе онъ принуждаетъ себя къ добродѣтели. Но, по нашему мнѣнію, холодные послѣдователи добродѣтели, исполняющіе предписанія долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь къ добру,—такіе люди не совсѣмъ достойны пламенныхъ восхваленій. Эти люди жалки сами по себѣ. Ихъ чувства постоянно представляютъ имъ счастіе не въ исполненіи долга, а въ нарушеніи его; но они жертвуютъ своимъ благомъ, какъ они его понимаютъ, отвлеченному принципу, который принимаютъ безъ внутренняго, сердечнаго участія. Поэтому они всегда несчастны отъ своей добродѣтели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчиваютъ тѣмъ, что ожесточаются противъ всего на свѣтѣ.

«Кажется, не того можно назвать истинно нравственнымъ, кто только терпитъ надъ собою велѣнія долга, какъ какое-то тяжелое иго, какъ «нравственныя вериги», а именно того, *кто заботится слить требованія долга съ потребностями внутренняго существа своего, кто старается переработать ихъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія, такъ чтобы они не только сдѣлались настоятельно необходимыми, но и составляли внутреннее наслажденіе...*

«Скажутъ, что въ подобномъ направленіи выражается очень сильно собственный эгоизмъ человѣка, и этому эгоизму какъ будто подчиняются всѣ другія, высшія чувствованія. Но мы спросимъ: кто-же когда-нибудь могъ освободиться отъ дѣйствія эгоизма, и какое наше дѣйствіе не имѣетъ эгоизма своимъ главнымъ источникомъ? Мы всѣ ищемъ себѣ лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямъ, стараемся добиться счастія. Разница только въ томъ, кто какъ понимаетъ это счастіе. Есть конечно грубые эгоисты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимаютъ свое счастье въ грубыхъ наслажденіяхъ чувственности, въ униженіи передъ собою других и т. п. Но вѣдь есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся успѣхамъ своихъ дѣтей, —тоже эгоистъ; гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ,—тоже эгоистъ; вѣдь вотъ *онъ*, именно *онъ* самъ, чувствуетъ удовольствіе при этомъ; вѣдь онъ не отрекся отъ себя, радуясь радости другихъ. Даже, если человѣкъ жертвуетъ чѣмъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгоизмъ не оставляетъ его. Онъ отдаетъ бѣдняку деньги, приготовленныя на прихоть; это значитъ, что онъ развился до того, что помощь бѣдняку доставляетъ ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что слѣдуетъ предписанію долга? Въ этомъ случаѣ эгоизмъ скрывается глубже, потому что тутъ уже дѣйствіе — не свободное, а принужденное, но и здѣсь все-таки есть эгоизмъ. Почему нибудь человѣкъ предпочитаетъ-же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ нѣтъ любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушеніе долга повлечетъ за собою наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя послѣдствія; за исполненіе-же онъ надѣется награды, доброй славы и т. п. При внимательномъ разсмотрѣніи и окажется, что пробужденіемъ дѣйствій формально-добродѣтельнаго человѣка служитъ эгоизмъ очень мелкій, называемый проще тщеславіемъ, малодушіемъ и т. п. Право, хвалить за это нечего».

Но рядомъ съ этими требованіями, чтобы нравственность естественно и непринужденно вытекала изъ глубины самаго человѣческаго духа, вы видите въ самомъ Добролюбовѣ не малые задатки той самой доктринерской нравственности, противъ которой онъ столь горячо ратовалъ. Такъ, въ дневникѣ его мы читаемъ слѣдующія строки:

«Дѣлать то, что мнѣ противно, я не люблю. Если даже разумъ убѣдитъ меня, что то, къ чему имѣю я отвращеніе, благородно и нужно, и тогда я сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, придать болѣе интереса для себя этому дѣлу—словомъ, *развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютною справедливостью, не были противны и моему личному чувству*. Иначе, если я примусь за дѣло, для котораго я еще недовольно развитъ, и слѣдовательно не гожусь, то, во-первыхъ, выйдетъ изъ

него—«не дѣло, только мука», а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумѣ столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственною личностью отвлеченному понятію, за которое бьешься».

Повидимому Добролюбовъ и въ этихъ словахъ ратуетъ все противъ тойже доктринерской нравственности. Но это лишь повидимому; по крайней мѣрѣ въ стремленіи *развить себя до того, чтобы поступки, согласные съ абсолютною справедливостью, не были противны и личному чувству, если человѣкъ чувствуетъ отвращеніе къ тому, что благородно и нужно*,—намъ представляется нѣчто, заключающее въ себѣ весьма доктринерское. Благородное и нужное должно проистекать инстинктивно и непосредственно изъ глубины человѣческой природы, а не быть продуктомъ какого-то искусственнаго развитія. И къ тому же гдѣ-же положите вы грань между развитіемъ себя до благороднаго и нужнаго—и приневоливаніемъ?

Въ другомъ-же мѣстѣ дневника вы ясно замѣчаете струю, вполнѣ уже доктринерскую:

«Жизнь,—пишетъ Добролюбовъ,—меня тянетъ къ себѣ, тянетъ неотразимо—бѣда, если я встрѣчу теперь хорошенькую дѣвушку, съ которою близко сойдусь,—влюблюсь непремѣнно и сойду съума на нѣкоторое время... Итакъ, вотъ она начинается жизнь-то... Вотъ время для разгула и власти страстей... А я, дурачокъ, думалъ въ своей педагогической и метафизической отвлеченности, въ своей книжной сосредоточенности, что уже я «пережилъ свои желанья и разлюбилъ свои мечты». *Я думалъ, что выйду на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то вродѣ Катона безстрастнаго или Зенона стоика. Но вѣрно жизнь возьметъ свое*».

Изъ какихъ-бы прекрасныхъ идеаловъ ни вытекало это аскетическое бѣгство отъ жизни изъ боязни, чтобы она не взяла свое, во всякомъ случаѣ вся приведенная тирада поражаетъ васъ своимъ доктринерствомъ. Что-же касается до *развитія себя* до благородныхъ и высокихъ стремленій, то это говорилось не спроста. Этими словами Добролюбовъ платилъ особенную дань своему времени. Но объ этомъ мы поговоримъ еще ниже.

IV.

Эстетическія воззрѣнія Добролюбова не представляли чего-либо оригинальнаго. Въ большей степени они сходились со взглядами Бѣлинскаго; отчасти-же Добролюбовъ подчинялся и воззрѣніямъ Чернышевскаго. Такъ, подобно Бѣлинскому, онъ стоялъ за теорію искусства для жизни и отрицалъ эстетическую критику, прямо говоря въ своей статьѣ о *Наканунѣ*, что эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень и что малому знакомству съ чувствительными барышнями онъ одолженъ тѣмъ, что не умѣетъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ; но, подобно Бѣлинскому, онъ отрицалъ въ то-же время и тенденціозное, надуманное творчество, требуя отъ него полной естественности и непроизвольности. Такъ, въ началѣ статьи своей *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ* онъ прямо говоритъ:

«Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подъ вліяніемъ извѣстной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь-бы талантъ его былъ чутокъ въ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи не потому, что авторъ задался этою идеей при его созданіи, а потому что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собою. Такимъ образомъ напримѣръ философія Сократа и ко-

медія Аристофана въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ служатъ выраженіемъ одной и той-же идеи разрушенія древнихъ вѣрованій; но вовсе нѣтъ надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себѣ именно эту цѣль для своихъ комедій: она достигается у него просто картиной нравовъ того времени. Изъ его комедій мы рѣшительно убѣждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой миѳологіи уже прошло; т. е. онъ практически приводитъ насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ доказываютъ философскимъ образомъ».

Но этимъ и ограничивается тождество взглядовъ на искусство Добролюбова и Бѣлинскаго. Далѣе мы видимъ вліяніе Чернышевскаго. Такъ, Добролюбовъ, подобно Чернышевскому, разницу между художникомъ и мыслителемъ полагаетъ лишь ту, что одинъ мыслитъ конкретными образами, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формулѣ. Существенной-же разницы между истиннымъ знаніемъ и истинною поэзіею, по мнѣнію Добролюбова, быть не можетъ.

Отсюда Добролюбовъ, подобно Чернышевскому, выводитъ второстепенное, служебное значеніе искусства. «По существу своему,—говоритъ онъ въ статьѣ *Свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ*, — литература не имѣетъ дѣятельнаго значенія, она только или предлагаетъ то, что̀ нужно сдѣлать или изображаетъ то, что̀ дѣлается и сдѣлано. Въ первомъ случаѣ она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ—изъ самыхъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ, вообще говоря, литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что̀ и какъ она пропагандируетъ».

Добролюбовъ выдѣляетъ нѣсколько геніальныхъ поэтовъ, вродѣ Шекспира, Данте, Гёте и Байрона, которые, служа полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ извѣстную эпоху и съ этой стороны обозрѣвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, возвышались надъ служебною ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ дѣятелей, способствовавшихъ человѣчеству въ яснѣйшемъ сознаніи его живыхъ силъ и естественныхъ наклонностей, а затѣмъ говоритъ: «что-же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невѣдомаго, не намѣчая новыхъ путей въ развитіи человѣчества, не двигая его даже и на принятомъ пути, они должны ограничиваться болѣе частнымъ спеціальнымъ служеніемъ: они проводятъ въ сознаніе массъ то, что̀ открыто передовыми дѣятелями человѣчества, раскрываютъ и проясняютъ людямъ то, что̀ въ нихъ живетъ еще смутно и неопредѣленно»...

Проводя далѣе все ту-же извѣстную намъ параллель между наукой и искусствомъ, Добролюбовъ прибавляетъ: «результатъ одинъ, и значеніе двухъ дѣятелей было-бы одно и то-же; но исторія литературы показываетъ намъ, что за немногими исключеніями литераторы обыкновенно опаздываютъ, подмѣчаютъ и рисуютъ возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно. Зато впрочемъ они ближе къ понятіямъ массы и больше имѣютъ въ ней успѣха; они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется, между тѣмъ какъ метеорологo-астрономическихъ выкладокъ никто не хочетъ знать. Такимъ образомъ,—говоритъ Добролюбовъ въ заключеніе,—признавая за литературою главное значеніе пропаганды, мы требуемъ отъ нея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, именно «правды».

Въ этихъ опредѣленіяхъ роли и значенія литературы вы видите уже задатки того полнаго отрицанія искусства вмѣстѣ съ совѣтомъ беллетристамъ и поэтамъ заняться популяризаціею естественныхъ наукъ, какое послѣдовало позже со стороны Писарева.

На болѣе твердой и самостоятельной почвѣ стоитъ Добролюбовъ, когда въ своихъ рѣчахъ о ничтожномъ вліяніи литературы онъ отправляется не отъ общихъ эстетическихъ основаній, а отъ общественныхъ условій русской жизни, въ видѣ хотя-бы безграмотности и необезпеченности массъ. Здѣсь онъ являлся въ свое время вполнѣ новаторомъ, произнося слѣдующія слова въ своей статьѣ *О степени участія народности въ развитіи литературы* (С. Д., т. I, стр. 563):

«Напрасно у насъ и громкое названіе *народныхъ* писателей: народу, къ сожалѣнію, вовсе нѣтъ дѣла до художественности Пушкина, до плѣнительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ пареній Державина и т. д. Скажемъ больше даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотѣ выучился; онъ долженъ заботиться о томъ, какъ-бы дать средства полмилльону читающаго люда прокормить себя и еще тысячу людей, которые пишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не малая! Она-то и служитъ причиною того, что литература доселѣ имѣетъ такой ограниченный кругъ дѣйствія... Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы дѣйствуемъ и пишемъ за немногими исключеніями въ интересахъ кружка, болѣе или менѣе незначительнаго: оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всѣ понятія и сочувствія носятъ характеръ парціальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные, то трактуются опять не съ обще-справедливой, не съ человѣческой, не съ народной точки зрѣнія, а непремѣнно въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партіи, того или другого класса»...

Въ этихъ словахъ вы слышите голосъ вѣка съ его неодолимою тягою къ народу; въ нихъ выражается впервые возникшее горькое сознаніе по-истинѣ жалкаго значенія литературы, существующей для ничтожной интеллигентной горсти, которая утопаетъ въ несмѣтныхъ массахъ темнаго люда, борящагося съ нищетою и невѣжествомъ. Изъ этого-же великаго сознанія естественно вытекла мысль, что даже и Пушкина нельзя назвать вполнѣ народнымъ писателемъ.

«Народность,—говоритъ Добролюбовъ (т. I, стр. 599),—понимаемъ мы не только какъ умѣнье изобразить красоты природы мѣстной, употребить мѣткое выраженіе, подслушанное у народа, вѣрно представить обряды, обычаи и т. п. Все это есть у Пушкина, лучшимъ доказательствомъ служитъ его *Русалка. Но чтобы быть поэтомъ истинно-народнымъ, надо больше: надо проникнуться народнымъ духомъ, прожить его жизнію, стать вровень съ нимъ, отбросить всѣ предразсудки сословій, книжнаго ученія и пр., прочувствовать тѣмъ простымъ чувствомъ, какимъ обладаетъ народъ,—этого Пушкину не доставало*».

Подобное опредѣленіе народнаго писателя представляетъ собою самое вѣщее и великое откровеніе столь славной эпохи, какъ конецъ пятидесятыхъ годовъ, и такого лучшаго представителя этой эпохи, какимъ былъ Добролюбовъ.

V.

Изъ всѣхъ этихъ эстетическихъ взглядовъ Добролюбовъ и выводилъ критеріи своей критики, которую онъ называлъ *реальною*, но которая въ сущности была чисто публицистическая, имѣя дѣло съ анализомъ не самихъ произведеній, а тѣхъ фактовъ жизни, которые въ произведеніяхъ изображаются.

Реальная критика, по мнѣнію Добролюбова, должна относиться къ произведенію художника такъ-же, какъ къ явленіямъ дѣйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты; передъ ея судомъ стоятъ лица, созданныя авторомъ, и ихъ дѣйствія; она должна сказать, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинить автора только за то, ежели впечатлѣніе



Н. А. Добролюбовъ.

это неполно, неясно, двумысленно. Какъ скоро въ писателѣ-художникѣ признается талантъ, т. е. умѣнье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркой для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообъятны тѣ образы, которые имъ созданы. Для критики, по мнѣнію Добролюбова, тѣ только произведенія и важны, въ ко-

торыхъ жизнь сказалась сама собой, а не по заранѣе придуманной авторомъ программѣ. Такъ, о *Тысячѣ Душъ* Писемскаго Добролюбовъ ничего не говорилъ, потому что, по его мнѣнію, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранѣе сочиненной идеѣ и положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ невозможно, потому что отношеніе къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво.

Подобные критеріи съуживали задачи критика, предоставляя ему не обращать вниманія на значительное большинство выходящихъ ежегодно произведеній и ограничиваться разсмотрѣніемъ лишь небольшого числа такихъ, на вѣрность изображеній которыхъ можно положиться; за то для публициста открывалась широкая дорога анализировать жизнь и проводить свои общественныя идеи на основаніи произведеній первоклассныхъ художниковъ, а въ такихъ не было въ то время недостатка.

Добролюбовъ такъ и дѣлалъ, и лучшіе его критическіе этюды, каковы: *Темное царство*, *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*, *Что такое обломовщина? Когда-же придетъ настоящій день?*—заключаютъ въ себѣ не что иное, какъ глубокій и всесторонній анализъ существенныхъ сторонъ русской жизни.

Взгляды, проводимые Добролюбовымъ, можно раздѣлить на двѣ категоріи. Одни выходятъ изъ анализа тѣхъ патріархальныхъ отношеній, какія перешли къ намъ по наслѣдію отъ до-петровской старины и сохранялись во многихъ явленіяхъ и семейнаго, и общественнаго быта. Анализируя различные степени и виды общественной деморализаціи. Добролюбовъ ставилъ въ противоположность старымъ, отжившимъ началамъ новыя.

Въ этомъ отношеніи выдающіяся статьи его представляютъ не одинъ только анализъ художественныхъ образовъ, фактовъ и взглядовъ, какіе авторъ находитъ въ разбираемыхъ произведеніяхъ. Содержаніе подобныхъ этюдовъ совершенно выходитъ изъ рамокъ критики въ тѣсномъ смыслѣ этого слова.

Что касается до самихъ авторовъ и ихъ произведеній, то они разсматриваются крайне односторонне: многое, что̀ Добролюбову было не нужно въ его публицистическихъ видахъ, онъ смѣло опускалъ, другое подгонялъ искусственно къ проводимымъ имъ идеямъ. Все это ставилось ему неоднократно на видъ и въ укоръ, и совершенно справедливо, если смотрѣть на Добролюбова, какъ на критика. Но въ томъ именно и дѣло, что это былъ вовсе не критикъ, а публицистъ.

VI.

Въ то время, какъ въ первой категоріи взглядовъ Добролюбовъ сталъ на почвѣ культурно-исторической, во второй категоріи—онъ анализировалъ жизнь еще глубже, становясь на экономическую почву, разбирая жизнь со стороны отношенія труда къ капиталу, людей, закаленныхъ тяжкою борьбою за существованіе, къ людямъ, изнѣженнымъ и обезволеннымъ тунеядствомъ и праздностью, наконецъ—интеллигенціи къ народу.

Наиболѣе рѣзко и ярко взгляды эти выражаются въ статьѣ *Что такое обломовщина?* Произведя въ ней анализъ героя романа Гончарова, какъ помѣщичій типъ, возросшій на почвѣ крѣпостного права, Добролюбовъ вслѣдъ затѣмъ приводитъ поразившую своею смѣлостью аналогію между Обломовымъ и цѣлымъ рядомъ героевъ своего времени—Онѣгинымъ, Печоринымъ, Бель-

товымъ, Рудинымъ. Конечно, если разсматривать всѣхъ этихъ героевъ, какъ художественные типы, принадлежавшіе къ различнымъ эпохамъ, вы увидите между ними болѣе различія, чѣмъ сходства. Но такъ какъ они всѣ принадлежатъ къ одной средѣ, развившейся на почвѣ крѣпостного права и деморализованной имъ, то понятно, что они должны сходиться между собою въ нѣкоторыхъ чертахъ, составляющихъ характеристическую особенность этой среды. «Обломовка,—говоритъ Добролюбовъ,—есть наша прямая родина, ея владѣльцы—наши воспитатели, ея триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ значительная часть Обломова, и еще рано писать намъ надгробное слово (Обломовкѣ)». Приравнивая такимъ образомъ всю русскую интеллигенцію къ обломовскому типу, Добролюбовъ говоритъ:

«Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человѣчества и о необходимости развитія личности,—я уже съ первыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

«Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обременительность дѣлопроизводства, онъ—Обломовъ.

«Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность парадовъ и смѣлыя разсужденія о безполезности *тихаго шага* и т. п., я не сомнѣваюсь, что онъ—Обломовъ.

«Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдѣлано то, чего мы давно надѣялись и желали,—я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

«Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и втеченіе многихъ лѣтъ съ неуменьшающимъ жаромъ разсказывающихъ все тѣ-же самые (а иногда и новые) анекдоты о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода,—я невольно чувствую, что я перенесенъ въ старую Обломовку...

«Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствованіи и скажите: «вы говорите, что не хорошо то и то; что-же нужно дѣлать?» Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство,—они скажутъ: «да какъ-же это такъ вдругъ». Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ... Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: «что-же вы намѣрены дѣлать?»—Они вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: «что дѣлать? Разумѣется, покоряться судьбѣ! Что-же дѣлать? Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыносимо, но посудите сами»... и пр. Больше отъ нихъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ нихъ лежитъ печать Обломовщины».

Это мѣсто статьи Добролюбова даетъ намъ ключъ къ тому крайне скептическому отрицательному взгляду, какой постоянно проводилъ онъ впродолженіе всей своей литературной дѣятельности,—на всеобщее возбужденіе и радужное настроеніе, замѣчаемое имъ въ обществѣ. Онъ постоянно указывалъ на непрочность и эфемерность движенія, возникшаго въ средѣ, которая, по самому существу своему, инертна и неспособна къ мало-мальски серьезному отношенію къ жизни.

«Всмотритесь,—говоритъ онъ постоянно,—въ характеръ обличеній,—вы безъ особеннаго труда замѣтите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тѣхъ достойныхъ друзей, одинъ изъ которыхъ у Гоголя мечтаетъ о томъ, какъ «высшее начальство, узнавъ объ ихъ дружбѣ, пожаловало ихъ генералами». «Конечно, это плохо, это гадко, безумно, отвратительно»,—говорятъ всѣ обличители, не скупясь на сильные эпитеты,—и вы думаете: вотъ молодцы-то, вотъ энергическіе-то дѣятели!.. Погодите немножко: это въ нихъ говоритъ Собакевичъ, но Маниловъ не замедлитъ вступить въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится и мостикъ черезъ рѣчку, и огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видѣть даже Москву».

Въ противовѣсъ этимъ отрицательнымъ качествамъ интеллигенціи Добролюбовъ постоянно выставлялъ народъ, въ которомъ одномъ видѣлъ воплощеніе всѣхъ своихъ высшихъ нравственныхъ идеаловъ и полагалъ единственную

надежду на возрожденіе общества. Такъ, въ статьѣ *Черты для характеристики русскаго простонародья* (т. 3, стр. 154) мы читаемъ слѣдующее многозначительное мѣсто:

«Общее разслабленіе, болѣзненность, неспособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризуютъ если не всѣхъ, то *большинство* нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они -такъ, что жить безъ того не могутъ, и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они—такъ, что умереть лучше, и живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простого человѣка: онъ или игнорируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужъ не толкуетъ о своихъ желаніяхъ, или ужъ если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически, сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно желаннаго и глубоко задуманнаго. Если ужъ нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется сложа руки; по малой мѣрѣ онъ измѣнитъ все свое положеніе, весь образъ своей жизни, убѣжитъ, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто естественнымъ образомъ не переживетъ неудачи въ достиженія цѣли, которая уже проникла въ существо его и сдѣлалась ему необходима въ жизни; если-же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазіи, онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служитъ для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простого, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, безполезная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды,—жизнь, подобная той, какую проводятъ, напримѣръ, игрушечкины господа и многіе другіе»...

Но не одну индивидуальную нравственность народа превозносилъ Добролюбовъ при каждомъ удобномъ случаѣ и не одну цѣльность и мощность натуры простого человѣка противополагалъ онъ дряблости, развинченности интеллигентныхъ людей. Переходя отъ отдѣльныхъ личностей къ народнымъ массамъ, онъ постоянно видѣлъ въ нихъ единственную могучую стихійную силу, на которую можетъ всегда положиться безсильная и ничтожная сама по себѣ интеллигенція. Онъ вѣрилъ, что эта необъятная сила можетъ воспрянуть вслѣдствіе однихъ жизненныхъ опытовъ и переполненія числа страданій. Такъ, въ статьѣ *Народное дѣло* (т. 4, стр. 71) онъ говоритъ:

«Говоря о народѣ, у насъ сожалѣютъ обыкновенно о томъ, что къ нему почти не проникаютъ лучи просвѣщенія, и что онъ поэтому не имѣетъ средствъ возвысить себя нравственно, сознать права личности, приготовить себя къ гражданской дѣятельности, и проч. Сожалѣнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не даютъ намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчаяться въ ихъ дальнѣйшей участи. Не одно скромное ученье подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болѣе или менѣе фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь—путь жизненныхъ фактовъ, никогда не пропадающихъ безслѣдно, но всегда влекущихъ событіе за событіемъ, неизбѣжно, неотразимо. Факты жизни не пропускаютъ никого мимо; они дѣйствуютъ и на безграмотнаго крестьянскаго парня, и на отупѣвшаго отъ фухтелей кантониста, какъ дѣйствуютъ на студента университета... Дѣйствительный фактъ, отразившись въ практической жизни дѣятельнаго, рабочаго человѣка, породитъ тоже дѣйствительный фактъ, тогда какъ книжныя теоріи и предположенія образованныхъ людей можетъ быть такъ и останутся только теоретическими предположеніями».

Нужно ли и говорить о томъ, что во всѣхъ подобныхъ сужденіяхъ Добролюбовъ является наиболѣе всего выразителемъ демократическихъ стремленій своей эпохи.

VII.

Но какъ ни сильна была логика Добролюбова и какою строгою послѣдовательностью ни отличались его взгляды, случалось и ему иногда впадать

въ невольныя противорѣчія, повинуюясь все тому же духу своего вѣка. Мы ставили уже на видъ въ предыдущей главѣ, что движеніе шестидесятыхъ годовъ имѣло двойственный характеръ, что рядомъ съ движеніемъ политическимъ шло движеніе философское, въ видѣ перехода мысли передовыхъ людей съ метафизической почвы на реальную, стремленія къ умственному развитію и обогащенію знаніями. Въ умственномъ развитіи, просвѣщеніи видѣли въ то же время такую же панацею отъ всѣхъ общественныхъ и нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, какъ и въ реформахъ. Мы переживали почти ту же самую безграничную вѣру въ царство разума, какою былъ преисполненъ XVIII вѣкъ, и Добролюбовъ, при всемъ своемъ скептическомъ отношеніи къ интеллигенціи съ ея отвлеченнымъ и мишурнымъ образованіемъ и при всей вѣрѣ въ непосредственныя силы народа, невольно подчинялся общему поклоненію разуму.

И вотъ, рядомъ съ приравненіемъ всей интеллигенціи къ обломовскому типу, убѣдительнѣйшими доказательствами, что типъ Инсарова до сихъ поръ еще невозможенъ въ нашей жизни, такъ какъ «наша общественная среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову», мы видимъ въ статьѣ *Литературныя мелочи прошлаго года* первое выставленіе молодого поколѣнія противъ стараго, какъ новый общественный типъ *людей реальныхъ съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ.* Появленіе этого новаго типа объясняется Добролюбовымъ не въ связи съ улучшеніемъ общественныхъ порядковъ, какъ этого можно было бы ожидать сообразно основнымъ взглядамъ его на зависимость нравственности людей отъ условій быта, а однимъ только измѣненіемъ философскихъ идей. Такъ, по его мнѣнію, молодые люди съ крѣпкими нервами и здоровымъ воображеніемъ потому отличаются спокойствіемъ и тихою твердостью, что «они спустились изъ безграничныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣйствительною жизнью. Отвлеченныя понятія замѣнились у нихъ живыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовались ярче и отняли много силы у общихъ опредѣленій. Люди новаго времени не только поняли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мірѣ ничего нѣтъ, а все имѣетъ только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными напримѣръ слѣдующимъ: «pereat mundus, fiat justicia»; «лучше умереть, нежели солгать хоть разъ въ жизни»; «лучше убить свое сердце, чѣмъ измѣнить хоть однажды долгу супружескому, или сыновнему, или гражданскому», и т. д. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ мало имѣетъ значенія. На первомъ планѣ всегда стоитъ у нихъ человѣкъ и его прямое существенное благо; эта точка зрѣнія отражается во всѣхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живого родства съ человѣчествомъ, полное разумѣніе солидарности всѣхъ человѣческихъ отношеній между собою—вотъ тѣ внутренніе возбудители, которые занимаютъ у нихъ мѣсто *принципа*. Ихъ послѣдняя цѣль—не совершенная, рабская вѣрность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесеніе возможно большей пользы человѣчеству»...

Въ теоретической сферѣ все это конечно имѣло мѣсто; но можно ли было полагать, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ и въ практической сферѣ послѣдовали аналогическія измѣненія въ томъ смыслѣ, что молодое поколѣніе эпохи Добролюбова «не умѣло блестѣть и шумѣть», чтобы «въ его голосѣ не было кричащихъ

нотъ, а раздавались одни сильные и твердые звуки»? «Нынѣшніе молодые люди,—говоритъ Добролюбовъ,—хотятъ вести правильную, серьезную игру, и потому считаютъ вовсе ненужнымъ съ перваго же раза выводить слона и ферезь, чтобы на третьемъ ходѣ дать шахъ и матъ королю. Они навѣрное разсчитываютъ, что это только повредитъ ихъ игрѣ, и потому подвигаются понемножку, заранѣе обдумавъ планъ аттаки и безпрестанно слѣдя за всѣми движеніями противника. Они также добьются своего шаха и мата; но ихъ образъ дѣйствія вѣрнѣе, хотя вначалѣ игра и не представляетъ ничего блестящаго и поразительнаго».

Дѣйствительность въ скоромъ времени совершенно опровергла эти слова Добролюбова, и поколѣніе его отличилось именно тѣмъ, что вознамѣрилось кончить игру даже не на третьемъ, а сразу на первомъ ходѣ. И въ самомъ дѣлѣ, какъ ни казалась непроходимою пропасть между старымъ и молодымъ поколѣніями на почвѣ философскаго міровоззрѣнія, не было причины существовать такой же пропасти и въ практическихъ сферахъ сообразно теоріямъ Добролюбова и по пословицѣ—яблочко отъ яблони далеко не падаетъ. Тѣмъ не менѣе вся эта тирада Добролюбова очень многознаменательна, такъ какъ служитъ прототипомъ того возвеличенія базаровскаго типа, какой послѣдовалъ нѣсколько лѣтъ спустя.

Такого же рода противорѣчія встрѣтите вы и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ сочиненій Добролюбова. Такъ, въ IV главѣ статьи *Темное царство* онъ говоритъ между прочимъ: «Самодурство и образованіе—вещи сами по себѣ противоположныя, и потому столкновеніе между ними очевидно должно кончиться подчиненіемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образованіе сдѣлаетъ слугою своей прихоти, причемъ, разумѣется, останется прежнимъ невѣждою».

Но разъ мы признали, что самодурство обусловливается извѣстнымъ порядкомъ жизни, какъ это явствуетъ изъ статьи Добролюбова, то нѣтъ никакого основанія полагать, чтобы оно могло быть сломлено путемъ одного образованія и чтобы самодуръ могъ перестать быть самодуромъ только потому, что проникнется началами образованности. Образованность, смягчая нравы, можетъ придать самодурству лишь болѣе утонченныя формы, какъ это мы и видимъ въ интеллигентныхъ классахъ и у насъ, и даже въ Западной Европѣ, но уничтожить самодурство очевидно можно, лишь вырвавши это растеніе съ корнемъ и вспахавши потомъ тщательно землю, на которой оно произросло.

Такое же противорѣчіе мы видимъ въ 1-й главѣ той-же статьи, гдѣ Добролюбовъ сомнѣвается, чтобы Бородкинъ могъ великодушно простить измѣну любимой дѣвушки, и видитъ въ этомъ натяжку со стороны Островскаго на томъ основаніи, что «во всей пьесѣ Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по старинному, послѣдній же поступокъ его вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородкинъ». Здѣсь очевидно подразумѣвается опять все то-же «развитіе», «образованность», которыя одни только, какъ думали въ то время, могутъ дѣлать людей способными къ столь великодушнымъ поступкамъ, какъ женитьба на обезчещенной дѣвушкѣ. Но въ такомъ случаѣ, какое же значеніе имѣютъ всѣ рѣчи Добролюбова о преимуществѣ народа передъ интеллигентными людьми отно-

сительно силы, чистоты и деликатности чувствъ простыхъ людей, способныхъ и любить, и ненавидѣть, и прощать съ большею непосредственностью и беззавѣтностью, чѣмъ интеллигентные люди?

Послѣ всего этого намъ должно быть вполнѣ понятнымъ то вышеприведенное мѣсто изъ дневника Добролюбова, гдѣ онъ говоритъ о *развитіи себя* до благородныхъ и высокихъ стремленій. Этими словами Добролюбовъ платилъ дань своему вѣку, воображая, что благородныя и высокія стремленія суть исключительный продуктъ умственнаго развитія, образованности, и люди темные, какъ скоты безсловесные, лишены высокихъ и безкорыстно-честныхъ побужденій.

Но подобныя отступленія отъ преобладающихъ взглядовъ такъ мимолетны, что едва замѣтны, и принимать ихъ въ разсчетъ не стоитъ, опредѣляя значеніе и характеръ дѣятельности Добролюбова, которая все-таки остается преимущественно публицистическая, и все-таки на первомъ планѣ во всѣхъ его статьяхъ стоитъ анализъ вліянія на личность общественной среды. Въ то-же время, если мы примемъ въ соображеніе разнохарактерность дѣятельности Добролюбова, то можно задать вопросъ, правильно ли опредѣляется роль его въ русской литературѣ, какъ критика? Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ только прочесть перечень его статей, чтобы убѣдиться, что это былъ писатель самый разносторонній. Рядомъ съ критическими статьями вы найдете у него и педагогическія (*О значеніи авторитета въ воспитаніи*; *Собраніе литературныхъ статей Н. И. Пирогова; Рѣчи и отчетъ, читанные въ торжественномъ собраніи Московской практической академіи коммерческихъ наукъ; Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами; Отъ дождя да въ воду*), и по внутреннимъ вопросамъ (*Литературныя мелочи прошлаго года; Народное дѣло; Любопытный пассажъ въ исторіи русской словесности*), и по внѣшней политикѣ (*По поводу одной очень обыкновенной исторіи*; *Непостижимая странность*; *Изъ Турина; Отецъ Александръ Гавацци и его проповѣди*), и статьи полемическаго характера, стихотворенія элегическія, юмористическія, народныя и даже повѣсти (напр. его разсказъ *Дѣлецъ* въ *Современникѣ* 1858 г., т. LIX).

Въ качествѣ сатирика, въ особенномъ отдѣлѣ *Современника*, *Свисткѣ*, онъ былъ безпощаднымъ обличителемъ и грозою всякой словесной мишуры, фразистости, напускного либерализма, скрывающаго подъ блестящею внѣшностью грубое азіатское варварство и закорузлое невѣжество. Бичъ его съ равною безпощадностью обрушался какъ на жрецовъ чистаго искусства, вродѣ Фета или Тютчева, такъ и на тенденціозныхъ поэтовъ, вродѣ Розенгейма, съ паѳосомъ мнимой гражданской скорби обличавшихъ мелкихъ чиновниковъ за гривенникъ, взятый ими съ просителя. Строгій приверженецъ во всѣхъ сферахъ жизни естественности, искренности и простоты, при глубокомъ и страстномъ проникновеніи стремленіями къ общественной пользѣ, онъ требовалъ и отъ литературы тѣхъ-же качествъ. Таковъ былъ наиболѣе типическій и яркій представитель конца пятидесятыхъ годовъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

I. Индивидуально-нравственный характеръ движенія во второй періодъ шестидесятыхъ годовъ. Два полюса этого движенія.—II. Значеніе. *Русскаго Слова* и характеръ его сотрудниковъ.—III. Дмитрій Ивановичъ Писаревъ. Характеристика личности. Дѣтство.—IV Гимназическіе и студенческіе годы Писарева.—V. Послѣдній періодъ его жизни.

I.

Мы говорили уже въ предыдущихъ главахъ, что движеніе шестидесятыхъ годовъ распадается на два періода рѣзкою гранью, въ видѣ такого колоссальнаго событія, какъ освобожденіе крестьянъ: до 19-го февраля 1861 года характеръ движенія былъ исключительно-политическій, а затѣмъ оно принимаетъ характеръ индивидуально-нравственный и философскій. Рука объ руку съ разрушеніемъ послѣднихъ остатковъ метафизическаго міровоззрѣнія и съ установленіемъ новаго реальнаго мышленія идетъ выработка новыхъ нравственныхъ идеаловъ. Интеллигентное общество начинаетъ дѣлиться на партіи не только по тѣмъ или другимъ политическимъ взглядамъ и общественнымъ стремленіямъ, но и по философскимъ и этическимъ воззрѣніямъ. Такъ, возникаетъ пресловутая рознь между старымъ поколѣніемъ и юнымъ, отцами и дѣтьми, причемъ вы напрасно стали-бы искать источника этой вражды въ какихъ-либо политическихъ несогласіяхъ, вродѣ того хотя бы, что молодое поколѣніе отстаивало-бы реформы, а старое имъ противодѣйствовало. Напротивъ того, всѣ совершившіяся реформы шестидесятыхъ годовъ и въ предначертаніи ихъ, и въ исполненіи были дѣломъ людей сороковыхъ годовъ,— отцовъ, которые мечтали о нихъ въ своей юности и приняли горячее участіе въ ихъ осуществленіи. Споръ-же между поколѣніями шелъ объ идеализмѣ и реализмѣ, о старой системѣ семейной и личной нравственности, основанной на традиціяхъ, и о новой, проистекающей изъ новаго, реальнаго міровоззрѣнія и потребностей вѣка. Вслѣдствіе этого новаторы получили клички не какія-либо политическія, а чисто философскія. Сами себя они называли реалистами, противники-же окрестили ихъ нигилистами.

Этотъ нравственно-философскій характеръ движенія второго періода шестидесятыхъ годовъ обусловливается двумя причинами. Первая причина заключалась въ томъ, что масса интеллигенціи, коснѣвшая до того времени въ сферѣ традиціонныхъ взглядовъ, метафизико-идеалистическихъ порывовъ и аскетическихъ идеаловъ, теперь, благодаря усилившейся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ переводческой дѣятельности, сразу познакомилась съ цѣлымъ рядомъ передовыхъ мыслителей Европы новаго реальнаго міровоззрѣнія, каковы: Ог. Контъ, Милль, Бокль, Льюисъ, Бюхнеръ, Молешоттъ и пр. и пр. Любого изъ этихъ столповъ европейской науки и мысли было достаточно, чтобы произвести переворотъ въ умахъ людей того времени. И вотъ началось сильное броженіе въ видѣ переработки всѣхъ философскихъ и моральныхъ взглядовъ, увлеченія реализмомъ, естественными науками и такими этическими вопросами, какъ педагогическій, семейный, женскій и пр.

Вторая причина была общественно-экономическая. Освобожденіе крестьянъ совершенно измѣнило нравы интеллигентнаго круга. Въ то время, какъ съ быстрымъ распространеніемъ образованности въ ряды интеллигенціи вошла масса разночинцевъ, мѣщанъ и вообще неимущаго люда, сами дворяне, особенно мелкопомѣстные, разоренные эмансипаціею, увидѣли себя въ безпомощномъ положеніи, гораздо худшемъ, чѣмъ положеніе привыкшихъ къ труду и лишеніямъ разночинцевъ. Такимъ образомъ создалась почти не существовавшая до того времени обширная среда интеллигентнаго пролетаріата, которая, сосредоточивая въ своихъ нѣдрахъ умственное движеніе своего времени, по самымъ условіямъ своего существованія должна была выставить совершенно новые индивидуально-нравственные идеалы, въ видѣ апоѳеоза труда, какъ основы нравственности въ оппозицію высокомѣрно-презрительному взгляду на трудъ, утвердившемуся на почвѣ крѣпостного права; въ видѣ утвержденія семьи на началахъ любви, солидарности, равноправности членовъ—вмѣсто принципа власти и безусловнаго подчиненія, составлявшаго основу прежней патріархальной семьи.

Замѣчательно, что здѣсь, т. е. на почвѣ выработки новыхъ индивидуально-нравственныхъ идеаловъ, мы видимъ два совершенно противоположные полюса, находившіеся по отношенію другъ къ другу въ полномъ антагонизмѣ. Такъ, съ одной стороны мы слышимъ раздающійся изъ разночинской среды протестъ противъ распущенности нравовъ на почвѣ крѣпостного права, ведущій къ строгому обузданію личности во всѣхъ ея низменныхъ прихотяхъ и похотяхъ. Стремленіе это, начало котораго мы замѣтили уже въ нѣкоторыхъ воззрѣніяхъ Добролюбова, породило новый аскетизмъ подъ кличкою «ригоризма» и, ударяясь въ крайность, доходило до отрицаній самыхъ естественныхъ требованій человѣческой природы, подъ стать средневѣковому аскетизму.

Съ другой-же стороны мы видимъ напротивъ того развитіе сенсуализма, который стремился освободить личность отъ всѣхъ средневѣковыхъ традицій по нравственнымъ вопросамъ, проповѣдывалъ полную свободу чувствъ и страстей и подчинялъ личность однимъ только разумнымъ требованіямъ личной и общественной пользы.

Нужно-ли говорить о томъ, что въ то время, какъ аскетическое теченіе выходило изъ разночинско-мѣщанской среды людей, самимъ гнетомъ скудной жизни пріученныхъ ко всякаго рода самообузданіямъ, проповѣдь-же свободы чувствъ и страстей напротивъ того была болѣе свойственна людямъ, воспитавшимся на почвѣ крѣпостного права, съ молокомъ матери воспринявшимъ наклонность къ легкимъ и свободнымъ нравамъ и привыкшимъ ни въ чемъ себѣ не отказывать.

II.

Весьма естественно, что распущенность нравовъ, возникшая на почвѣ крѣпостного права, не могла сразу исчезнуть вмѣстѣ съ освобожденіемъ крестьянъ, а долго еще должна была заявлять о своемъ существованіи въ средѣ людей, вышедшихъ изъ помѣщичьихъ усадьбъ, изнѣженныхъ стариннымъ барскимъ воспитаніемъ и не привыкшихъ въ чемъ-либо себѣ отказывать. Людямъ этимъ очень легко было найти оправданіе своей распущенности въ тѣхъ новыхъ освободительныхъ теоріяхъ нравственности, которыя стояли въ оппозиціи съ тра-

диціонною, подавляющею природу человѣка моралью. Такимъ образомъ и возникъ сенсуализмъ, очень похожій на сенсуализмъ восемнадцатаго вѣка. Подобно тому, какъ во Франціи въ эпоху регентства версальскіе щеголи, маркизы и виконты взапуски щеголяли другъ передъ другомъ новизной своихъ идей, зачитывались Вольтеромъ и энциклопедистами и находили въ ихъ сочиненіяхъ полное оправданіе легкомысленнаго поведенія, ведшаго ихъ къ крайнему разоренію, а затѣмъ и подъ ножъ гильотины—нѣчто подобное видимъ мы и у насъ въ шестидесятые годы, съ тою разницею, что Вольтера замѣняли Фейербахъ и Бюхнеръ, а энциклопедистовъ—Бокль, Льюисъ, Фохтъ, Молешоттъ и проч. Точно такъ-же масса барскихъ сынковъ, заявляя себя новыми людьми, все новаторство выказывали въ цитатахъ изъ любимыхъ авторовъ, эффектномъ отрицаніи такъ называемыхъ «авторитетовъ», пренебреженіи къ свѣтскимъ обычаямъ и приличіямъ и въ полной разнузданности какихъ-бы то ни было похотей и прихотей. Пожилые люди, воспитанные въ духѣ старыхъ понятій и традицій, съ ужасомъ внимали мнимымъ новымъ людямъ и видѣли въ нихъ опасныхъ отрицателей, не замѣчая, что они—плоть отъ плоти и кость отъ кости ихъ, что они болѣе ничего, какъ лишь щеголяютъ своими смѣлыми рѣчами, но въ то-же время не только не имѣютъ ровно никакихъ мало-мальски опредѣленныхъ и сознательныхъ политическихъ стремленій и общественныхъ цѣлей, а напротивъ того принципіально отрицаютъ всякое служеніе обществу и активное отношеніе къ его требованіямъ и нуждамъ, изолируя личность и замыкая ее въ самое себя, во имя безусловной свободы каждаго человѣка слѣдовать своимъ личнымъ стремленіямъ.

Вотъ на этой-то почвѣ и сложился новый идеалъ просвѣщеннаго реалиста, отъ котораго ничего не требовалось, кромѣ того, чтобы онъ, свободно слѣдуя внушеніямъ разума и сердца, устраивалъ личную жизнь и счастье на основаніи новѣйшихъ раціональныхъ данныхъ, послѣднихъ словъ науки, и увлекалъ другихъ слѣдовать его благому примѣру.

Въ литературѣ это теченіе выдвинуло рядъ писателей крайне легкомысленныхъ, легковѣсныхъ и поверхностныхъ, отличавшихся хлесткостью эффектныхъ фразъ и смѣлостью рискованныхъ выводовъ и парадоксовъ, при полномъ отсутствіи мало-мальски серьезнаго и добросовѣстнаго отношенія къ дѣлу.

Всѣ подобные писатели въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сгруппировались вокругъ *Русскаго Слова*, самое возникновеніе котораго было крайне знаменательно и характерно. Основатель его, покойный графъ Кушелевъ-Безбородко, послѣдняя отрасль знаменитаго аристократическаго рода, вполнѣ олицетворялъ собою типъ просвѣщеннаго мецената, вродѣ увлеченныхъ философскимъ движеніемъ маркизовъ восемнадцатаго вѣка. Не имѣя никакого опредѣленнаго міровоззрѣнія, не примыкая ни къ какой партіи, онъ принималъ на свои рауты литераторовъ всѣхъ существовавшихъ въ то время лагерей и направленій: у него сходились такіе, не имѣющіе ничего между собою общаго, писатели, какъ А. Григорьевъ, Гр. Ев. Благосвѣтловъ, Вс. Костомаровъ, Вас. и Ник. Курочкины, Вс. Крестовскій и пр. Такой-же калейдоскопъ самыхъ разнородныхъ именъ представляло измышленное графомъ Кушелевымъ *Русское Слово* въ первый годъ его изданія, въ 1860 г. Это былъ не столько журналъ съ опредѣленнымъ и строгимъ политико-литературнымъ направленіемъ, сколько періодически выходящій альбомъ разнокалиберныхъ писателей. Лишь во второй годъ своего существованія, попавши въ руки Григорія Евлампіевича Благосвѣт-

лова, *Русское Слово* пріобрѣло тотъ цвѣтъ и характеръ, которые придалъ журналу новый редакторъ, сгруппировавши вокругъ него юныхъ писателей именно того сенсуальнаго теченія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь.

Наиболѣе яркимъ послѣдователемъ и полнымъ выразителемъ сенсуальнаго теченія былъ, какъ мы говорили уже выше, Дмитрій Ивановичъ Писаревъ, олицетворившій въ своей личности эпоху шестидесятыхъ годовъ такъ-же совершенно, какъ Добролюбовъ олицетворялъ эпоху второй половины пятидесятыхъ годовъ.

III.

Люди, которые воображаютъ Писарева чѣмъ-то вродѣ Марка Волохова, лохматымъ нигилистомъ съ бурсацкою неуклюжестью, съ заносчивыми безцеремонно грубыми и дерзкими сарказмами, глубоко заблуждаются. Это былъ джентльменъ съ головы до ногъ, съ изящными манерами, безукоризненно и щеголевато одѣтый, владѣющій въ совершенствѣ иностранными языками. Въ любой великосвѣтской гостиной его приняли-бы за своего, какъ человѣка во всѣхъ отношеніяхъ comme il faut.

Утонченно вѣжливый по воспитанію, онъ и по натурѣ обладалъ мягкимъ, кроткимъ характеромъ, нѣжнымъ и любвеобильнымъ сердцемъ, простотою, тактомъ и отсутствіемъ малѣйшей аффектаціи и рисовки въ своемъ обращеніи съ людьми. Въ то-же время, при всей кажущейся сдержанности, которая была ни чѣмъ инымъ, какъ свѣтскою выправкою, онъ обладалъ такою прозрачною искренностью, что уже въ дѣтствѣ его прозвали хрустальной коробочкой, въ которой трудно утаить что-бы-то ни было. Однимъ словомъ, изъ двухъ героевъ знаменитаго романа Тургенева Писаревъ болѣе подходилъ къ типу Аркадія, чѣмъ Базарова; и единственно, что отличало его отъ Аркадія, это—тутъ гигантскій умственный аппаратъ, которымъ обладалъ Писаревъ, и главная сила котораго заключалась въ безпощадномъ анализѣ, съ какимъ относился онъ ко всему окружающему, равно и къ себѣ самому.

По обстоятельствамъ и складу жизни Д. И. Писаревъ представлялъ полную противоположность Добролюбову и прочимъ писателямъ изъ разночинцевъ. Въ то время, какъ тѣмъ каждый шагъ жизни давался не иначе какъ грудью, послѣ тяжелаго боя, и все, что окружало ихъ въ дѣтствѣ, ожесточало ихъ, дѣтство Писарева напротивъ того протекло тихо, мирно и радостно; все окружающее располагало къ безпрепятственному и полному развитію всѣхъ его силъ.

Родился онъ въ 1841 году на границѣ Орловской и Воронежской губерній, верстахъ въ 30 отъ Ельца и въ 8 или 10 отъ Задонска, въ имѣніи Знаменскомъ, гдѣ и провелъ первыя пять лѣтъ своей жизни. Дальнѣйшіе-же годы дѣтства его протекли въ Тульской губерніи, въ усадьбѣ Грунецъ, куда переселились родители его. Они принадлежали къ старому и зажиточному дворянскому роду. Семья была большая, состояла изъ множества дядей и тетокъ съ отцовской стороны. Дѣтей у Писаревыхъ было трое: сынъ Дмитрій и двѣ дочери, Вѣра и Екатерина. Домъ былъ какъ полная чаша; недостатка ни въ чемъ не было; гости не переводились, и жизнь въ домѣ Писаревыхъ текла такъ людно, шумно, весело и беззаботно, какъ и во всѣхъ зажиточныхъ помѣщичьихъ домахъ того времени. И въ свою очередь, какъ во всѣхъ подобныхъ домахъ, нравы семьи представляли удивительную смѣсь европеизма и азіатчины: на конюшняхъ шли

расправы съ крѣпостными, въ дѣвичьихъ—хлопали пощечины, зато въ гостиныхъ царилъ безукоризненный лоскъ свѣтскаго тона и чопорной порядочности. Впрочемъ слѣдуетъ отдать справедливость, что Писаревы были люди мягкіе и добродушные, и какихъ-либо выходящихъ изъ уровня свирѣпыхъ звѣрствъ Д. И. Писаревъ свидѣтелемъ не былъ. Воспитаніе шло подъ руководствомъ матери, Варвары Дмитріевны, женщины образованной и начитанной, но слишкомъ ужъ офранцузившейся. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что въ домѣ царилъ французскій языкъ, преобладали французскія книги. Дѣти подъ руководствомъ матери и иностранныхъ боннъ и гувернантокъ разомъ заговорили на трехъ языкахъ: русскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ, и до такой степени усвоили эти языки, что, даже играя, объяснялись другъ съ другомъ по-французски и по-нѣмецки.

Съ четырехъ лѣтъ Писаревъ уже читалъ на трехъ языкахъ; въ то-же время всѣ свободныя минуты, вродѣ прогулокъ или вечернихъ бесѣдъ, мать наполняла предметными объясненіями и вообще очень форсированно занималась умственнымъ развитіемъ дѣтей, такъ что, будучи шестилѣтнимъ мальчикомъ, Писаревъ разсуждалъ обо всемъ, какъ взрослый, и поражалъ своимъ резонерствомъ. Въ то-же время онъ не выказывалъ ни малѣйшей склонности къ бѣганью, лазанью и вообще подвижнымъ играмъ, былъ неповоротливъ, вялъ, апатиченъ, по цѣлымъ часамъ сидѣлъ за книжкой или за раскрашиваніемъ картинокъ.

Будучи единственнымъ сыномъ въ семьѣ, равно и вслѣдствіе рано развернувшихся богатыхъ умственныхъ способностей, поражавшихъ всѣхъ окружающихъ, Писаревъ игралъ въ домѣ роль маленькаго божка: всѣ его желанія тотчасъ исполнялись, всѣ его ласкали, занимали и восхищались имъ; словомъ, онъ былъ балованнымъ ребенкомъ.

Въ первоначальномъ обученіи Писарева, кромѣ матери и гувернантокъ, принималъ еще участіе дядя его со стороны матери, гостившій въ усадьбѣ у родныхъ и обучавшій мальчика исторіи, географіи, ариѳметикѣ и русской грамматикѣ; сынъ приходскаго священника подготовлялъ его въ древнихъ языкахъ, а деревенскій писарь обучалъ чистописанію и передалъ ему свой прекрасный почеркъ.

Память у мальчика была огромная, усваивалъ онъ очень легко и быстро, и одиннадцати лѣтъ былъ уже подготовленъ къ третьему классу гимназіи. Одинъ изъ его дядей, жившій въ Петербургѣ, человѣкъ съ большими средствами, связями и положеніемъ, согласился взять его жить въ свое семейство и платить за него въ гимназію, и вотъ въ декабрѣ 1851 года мальчикъ былъ привезенъ въ Петербургъ, водворенъ въ домъ дяди и опредѣленъ въ третью гимназію, которая, какъ извѣстно, была единственною классическою въ то время въ Петербургѣ.

Въ гимназіи Писаревъ былъ постоянно однимъ изъ первыхъ учениковъ, кончилъ курсъ съ медалью и въ то-же время поражалъ товарищей своею изящною внѣшностью: всегда тщательно и безукоризненно чисто одѣтый, розовенькій, румяный, гладко причесанный и припомаженный, онъ производилъ впечатлѣніе вербнаго херувимчика или переодѣтой дѣвочки, и таковъ-же былъ во всѣхъ своихъ привычкахъ: кроткій, тихій, солидный, не принималъ онъ участія ни въ какихъ шалостяхъ, держался постоянно ото всѣхъ въ сторонѣ, учебники его содержались всегда въ незапятнанной чистотѣ, каждая тетра-

дочка въ красивой радужной оберточкѣ была непремѣнно снабжена пунцовымъ клякс-папиромъ на розовой ленточкѣ. Онъ и самъ въ статьѣ своей *Наша университетская наука* о своихъ гимназическихъ годахъ говоритъ слѣдующее: «я принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ, я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменахъ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнныя достоинства былъ признанъ «преуспѣвающимъ».

IV.

Гимназическій курсъ кончилъ Писаревъ въ 1856 году, когда ему не было еще и шестнадцати лѣтъ. О принятіи его въ университетъ былъ поднятъ въ министерствѣ вопросъ, такъ какъ года его не выходили еще для поступленія въ высшее учебное заведеніе, между тѣмъ странно было-бы не принять юношу, кончившаго курсъ съ медалью, и его приняли на филологическій факультетъ, какъ исключеніе изъ постановленнаго правила.

Въ первомъ курсѣ университета Писаревъ продолжалъ быть все тѣмъ-же ребенкомъ: также былъ одѣтъ, какъ съ иголочки, припомаженъ, приглаженъ и лекціи записывалъ въ тѣхъ-же голубенькихъ или радужныхъ тетрадочкахъ съ клякс-папирчиками. Въ то-же время онъ поражалъ своихъ товарищей основательнымъ знаніемъ древнихъ языковъ, переводя и по-латыни, и по-гречески à livre ouvert безъ малѣйшихъ затрудненій.

Университетъ не замедлилъ переработать ту дѣвственную неприкосновенность и ребячество, какія обнаруживалъ Писаревъ въ первый годъ своего курса. Подъ вліяніемъ университетской науки, сближенія съ новыми товарищами и въ то-же время увлекаемый начинавшимся общественнымъ движеніемъ, Писаревъ черезъ годъ сдѣлался неузнаваемъ. Онъ возмужалъ, развернулся; съ одной стороны окунулся въ университетскую науку и, по указанію одного изъ профессоровъ филологическаго факультета, началъ читать Штейнталя и Гайма, съ цѣлью приготовить статью о Вильгельмѣ Гумбольдтѣ для *Студенческаго Сборника*. Въ то же время бушевалъ на студенческихъ сходкахъ и исторіяхъ и принималъ горячее участіе въ товарищескихъ спорахъ ночи напролетъ о самыхъ конечно важныхъ матеріяхъ.

Жить въ чопорномъ, великосвѣтскомъ домѣ своего дяди Писареву сдѣлалось стѣснительно, и онъ зимою въ 1857 году переселился къ своему другу Т., съ которымъ не задолго передъ тѣмъ сблизился. Но не легко дался Писареву полный умственный и нравственный переворотъ, который пришлось ему переживать во время студенческихъ лѣтъ, съ 1857 года и по 1861-й. Трудность эта въ особенности обусловливалась тѣмъ обстоятельствомъ, что въ кружкѣ, въ который вошелъ Писаревъ, царилъ духъ, ни мало не соотвѣтствовавшій складу его характера. Проведя дѣтство среди живописной природы, въ полномъ довольствѣ и холѣ, онъ привыкъ свободно отдаваться каждому своему влеченію и чтобы каждое желаніе его тотчасъ же удовлетворялось. И вдругъ нѣкоторыя изъ самыхъ его завѣтныхъ желаній оказались неисполнимыми; онъ встрѣтилъ людей, которые далеко не относились къ нему съ тѣми поклоненіемъ и угожденіями, какими онъ постоянно былъ окруженъ въ родительскомъ домѣ; каждый поступокъ его подвергался строгой критикѣ. Онъ съ дѣтства уже былъ влюбленъ въ одну свою родственницу, Р. К., которая воспитывалась въ ихъ домѣ,

и съ которою онъ вмѣстѣ выросъ; теперь эта страсть окончательно созрѣла въ немъ, но въ дѣвушкѣ онъ не нашелъ отвѣта, и она предложила ему одну холодную родственную дружбу. Нѣкоторые изъ его товарищей, наклонные къ аскетическому ригоризму, порицали его за то, что онъ увлекается суетными и пустыми удовольствіями, вродѣ билліарда, картъ и т. п.

Не менѣе того донималъ Писарева отецъ товарища, въ домѣ котораго онъ поселился, старикъ Тр. Сильный духомъ, получившій въ жизни своей суровую спартанскую выправку, исходившій когда-то пѣшкомъ всю Россію отъ Петербурга до Кавказа нарочно ради прогулки и любознательности, чуждавшійся свѣта и людей и съ презрѣніемъ смотрѣвшій на людскія слабости, старикъ не могъ выносить легкаго, свѣтскаго лоска, который Писаревъ вынесъ изъ прежней обстановки. Каждый шагъ Писарева казался старику легкомысленнымъ, каждое слово—поверхностнымъ и необдуманнымъ, и Писареву приходилось выдерживать цѣлый градъ сарказмовъ, иногда очень мѣткихъ и злыхъ, потому что старикъ обладалъ недюжиннымъ умомъ.

Но болѣе всего доставалось Писареву отъ товарищей сокурсниковъ его, строгихъ спеціалистовъ и адептовъ чистой науки. Это были черствые педанты, которыми былъ наполненъ филологическій факультетъ, мрачные затворники, не признававшіе ничего, кромѣ своей науки, на все смотрѣвшіе свысока и съ презрѣніемъ относившіеся ко всей современной журналистикѣ, публицистикѣ и беллетристикѣ, какъ къ легкомысленному диллетантизму.

Писаревъ не мало снискалъ ироническихъ порицаній и укоровъ уже и тогда, когда, желая сравниться со своими учеными товарищами, въ сокрушеніи, тщетно искалъ спеціальности и перебѣгалъ отъ одной филологической науки къ другой. Но эти порицанія обратились едва не въ проклятія, когда Писаревъ въ началѣ зимы 1858 года нашелъ литературную работу въ журналѣ для дѣвицъ, издававшемся Кремпинымъ и носившемъ заглавіе *Разсвѣтъ*. Писареву было поручено вести въ этомъ журналѣ библіографическій отдѣлъ, причемъ статейки его оплачивались по 30 р. за листъ, что доставляло ему въ мѣсяцъ рублей до 70. Писаревъ съ жаромъ принялся за эту работу и убѣдился вскорѣ, что въ ней—главное его призваніе.

«Я писалъ, — говоритъ онъ въ своей статьѣ *Наша унив. наука*, — свои жиденькія и невинныя статейки съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіею Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ передъ собою близкую и вполнѣ доступную цѣль этого всматриванья и вдумыванья. Мнѣ было пріятно разбивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполнѣ понималъ, что я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался объяснить или доказать...»

Вмѣстѣ съ тѣмъ ему пришлось для журнальной работы перечитать много разнообразныхъ книгъ и статей: Маколея, Прескотта, Мотлея, нѣсколько педагогическихъ разсужденій, нѣсколько путешествій (напр. *Фрегатъ Паллада* Гончарова, по Америкѣ—Лакіера, по Африкѣ—Ливингстона), нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ (напр *Химія вседневной жизни* Джонстона, *Исторія земной коры* Куторги, *Физическая географія* Гюйо, *Громъ и молнія* Араго).

Товарищи цѣлый крестовый походъ подняли противъ Писарева, доказывая ему, что не слѣдуетъ увлекаться журнальной работой, которая отводитъ человѣка отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и въ пагубный диллетантизмъ. По словамъ-же Писарева, одинъ годъ журнальной работы принесъ больше пользы его

умственному развитію, чѣмъ два года усиленныхъ занятій въ университетѣ и библіотекѣ. Лѣто 1859 года было для него временемъ умственнаго кризиса. Всѣ понятія, остававшіяся въ умѣ его съ дѣтства, всѣ готовыя сужденія, всѣ гипотезы, имѣющія тираническое вліяніе на мысли и поступки людей,—все это заколыхалось и стало обнаруживать свою несостоятельность! Осенью 1859 года Писаревъ пріѣхалъ съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. «Опрокинувъ,—говоритъ онъ,—въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ какимъ-то Титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь; я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли».

Въ этомъ увлеченіи, «олимпійскомъ сіяніи», какъ называли въ то время товарищи восторженное состояніе духа Писарева, онъ замыслилъ изслѣдовать миѳъ о древнегреческой *мойрѣ*, напередъ рѣшивъ, что греческая *судьба*, которой подчинены были высшіе олимпійскіе боги, по всей вѣроятности—не что иное, какъ неизвѣстная сила законовъ природы. Мѣсяца два онъ работалъ неутомимо; прочелъ восемь пѣсенъ «Иліады» въ подлинникѣ, сдѣлалъ массу выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о миѳологическихъ понятіяхъ Гомера. Но за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія, апатіи, разрѣшившейся полнымъ умственнымъ разстройствомъ, принявшимъ характеръ маніи преслѣдованія. «Я дошелъ до послѣднихъ предѣловъ нелѣпости,—повѣствуетъ Писаревъ о своей болѣзни,—и сталъ воображать себѣ, что меня измучаютъ, убьютъ или живого зароютъ въ землю. Скептицизмъ мой вышелъ изъ границъ и началъ отрицать существованіе дня и ночи. Все, что̀ мнѣ говорили, все, что̀ я видѣлъ, даже все, что̀ я ѣлъ, встрѣчало во мнѣ непобѣдимое недовѣріе. Я все считалъ искусственнымъ и приготовленнымъ нарочно для того, чтобы обмануть и погубить меня. Даже свѣтъ и темнота, луна и солнце на небѣ казались мнѣ декораціями и входили въ составъ общей громадной мистификаціи».

Писарева помѣстили въ лечебницу доктора Штейна, гдѣ онъ пробылъ четыре мѣсяца. По выздоровленіи онъ провелъ лѣто 1860 года въ деревнѣ и, набравшись новыхъ силъ, воротился осенью въ столицу оканчивать университетскій курсъ. Въ этотъ годъ была задана студентамъ филологическаго факультета тема на соисканіе медалей *Объ Аполлоніи Тіанскомъ*. Писаревъ задумалъ писать на эту тему. Мѣсяцъ былъ употребленъ имъ на чтеніе и выписки; въ ноябрѣ онъ началъ писать, а къ началу января кончилъ свой трудъ, разросшійся до пятнадцати печатныхъ листовъ и приведшій въ изумленіе профессора исторіи Касторскаго, когда тотъ узналъ, что диссертація писалась прямо набѣло, безъ малѣйшихъ помарокъ.

Писареву была присуждена за его трудъ серебряная медаль. Не ограничившись этимъ, онъ помѣстилъ диссертацію свою въ *Русскомъ Словѣ* лѣтомъ 1861 года и получилъ за нее до шестисотъ рублей. Это былъ первый выходъ его въ толстомъ журналѣ. Съ этихъ поръ онъ оставилъ *Разсвѣтъ* Кремпина и сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Русскаго Слова*.

V.

Уже на послѣднемъ курсѣ университета, вмѣстѣ съ довершеніемъ полнаго нравственнаго и умственнаго переворота, измѣнилась и внѣшняя жизнь Писа-

рева. Со всѣми прежними товарищами онъ разорвалъ. Онъ тогда уже началъ проповѣдывать свою излюбленную теорію эгоизма и доказывать, что человѣкъ долженъ свободно и безотчетно отдаваться всѣмъ своимъ естественнымъ влеченіямъ, и весь ушелъ въ журнальную работу, находя въ ней одной все свое призваніе и цѣль жизни. Товарищи въ его теоріи эгоизма увидѣли оправданіе всякихъ злодѣяній и, убѣдившись, что онъ навсегда покинулъ святую науку, предали его анаѳемѣ и отвернулись отъ него.

Онъ жилъ теперь уже не у Тр., а въ квартирѣ, занимаемой нѣсколькими студентами въ складчину. Въ квартирѣ этой несмолкаемо днемъ и ночью шелъ дымъ коромысломъ отъ безконечной оргіи, сопровождаемой хоровыми пѣснями, карточными спорами и пьяными скандалами. И среди этого шума и гама Писаревъ писалъ свои первыя статьи для *Русскаго Слова*, подтягивая въ то-же время поющимъ товарищамъ или урезонивая другихъ играть восемь въ червяхъ, а не семь. Дни и ночи, не разгибая спины, сидѣлъ онъ съ своими критическими работами: но эта кипучая дѣятельность, сопровождаемая столь-же кипучимъ разгуломъ, продолжалась недолго. Наступилъ 1862 годъ, мрачный для всѣхъ, роковой для многихъ, въ который и надъ Писаревымъ разразилась неожиданная гроза.

Нужно замѣтить, что передъ наступленіемъ этой грозы состояніе духа Писарева снова крайне омрачилось. Дѣвушка, которую онъ продолжалъ любить, начала было склоняться на его мольбы и подавать ему такія надежды, что онъ полагалъ себя вправѣ считаться женихомъ ея, и вдругъ она вновь охладѣла къ нему и отказала ему въ своей рукѣ. Съ закрытіемъ *Русскаго Слова* вмѣстѣ съ *Современникомъ*, въ томъ-же году, Писаревъ остался безъ работы и безъ денегъ. Все это повергло его въ такое отчаянное настроеніе, въ которомъ человѣкъ ищетъ какихъ-либо сильныхъ ощущеній и бываетъ готовъ на все. Ни по складу своихъ убѣжденій, ни по своей мягкой и кроткой натурѣ, Писаревъ, эта хрустальная коробочка, неспособная ничего утаивать, никогда не былъ расположенъ къ конспиративной дѣятельности. Это былъ писатель до мозга костей, учившій общество, но не замыкавшійся отъ него и не объявлявшій ему войны. Онъ не разъ выражался о себѣ и подобныхъ ему писателяхъ одного съ нимъ лагеря: «Мы—безумные дровосѣки, которые подпиливаемъ тотъ сукъ, на которомъ сами-же сидимъ. Ну, и конечно, когда кончимъ свою работу, первые-же и полетимъ съ нимъ вмѣстѣ».

Въ апрѣлѣ 1862 года вышла брошюра Шедо-Ферoти, содержащая въ себѣ разборъ письма Герцена къ русскому лондонскому посланнику. Брошюра, крайне благонамѣренная, была допущена цензурою къ продажѣ. Писаревъ, въ качествѣ критика *Русскаго Слова*, написалъ рецензію на нее, но послѣдняя не была пропущена цензурою и валялась у Писарева на письменномъ столѣ. Однажды къ нему пришелъ товарищъ по университету Баллодъ, человѣкъ мало ему знакомый, и, разговаривая съ нимъ, увидѣлъ рецензійку и заинтересовался ею. Узнавъ-же, что она не была допущена цензурою, Баллодъ объявилъ Писареву, что у него имѣется тайная типографія, и очень было-бы желательно напечатать въ ней статейку Писарева. Въ другое время Писаревъ, можетъ быть, и отклонилъ-бы подобное предложеніе мало знакомаго человѣка, не захотѣлъ-бы подвергаться риску изъ-за такихъ пустяковъ. Но, какъ мы сказали уже, онъ былъ въ такомъ отчаянномъ настроеніи духа, въ которомъ не дорожилъ ни жизнью, ни настоящимъ, ни будущимъ, и нуждался въ какомъ-

нибудь сильномъ нервномъ потрясеніи. И вотъ онъ обѣщался Баллоду написать другой разборъ брошюры Шедо-Фероти, болѣе соотвѣтственный подпольной печати, что онъ и исполнилъ. Разборъ былъ напечатанъ; но вскорѣ затѣмъ Баллодъ былъ арестованъ вмѣстѣ со своею типографіей, а 3-го іюля былъ арестованъ и Писаревъ.

Послѣдствія этого ареста извѣстны. Писаревъ былъ присужденъ къ пятилѣтнему заключенію въ крѣпости, но срокъ этотъ впослѣдствіи былъ нѣсколько сокращенъ, и Писаревъ былъ освобожденъ въ 1866 году. Четыре года, проведенные въ заключеніи, были годами большей части его литературной дѣятельности. До того времени онъ только-что успѣлъ выступить на литературное поприще и лишь расправлялъ свои крылья; послѣ заключенія, въ послѣдніе два года своей жизни, онъ писалъ мало и не писалъ ничего замѣчательнаго; такъ что изъ Петропавловской крѣпости вышло все, чѣмъ Писаревъ прославился и въ чемъ выразилось его значеніе въ русской литературѣ.

По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ вскорѣ разошелся съ Благосвѣтловымъ, предпринявшимъ послѣ закрытія *Русскаго Слова* журналъ *Дѣло*,—и началъ сотрудничать въ обновленныхъ Некрасовымъ *Отечественныхъ Запискахъ* съ 1868 года. Но дни его были сочтены. Лѣтомъ 1868 года онъ поселился вмѣстѣ съ своею родственницею, Марьею Александровною Марковичъ (Марко-Вовчокъ), на дачѣ въ Дубельнѣ, съ цѣлью укрѣпить нервы морскими купаньями. И вотъ 4-го іюля, купаясь, онъ внезапно утонулъ отъ неизвѣстной причины, несмотря на то, что былъ отличнымъ пловцомъ. Трупъ его, привезенный въ Петербургъ, былъ похороненъ на Волковомъ кладбищѣ 29-го іюля.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

I. Четыре стороны литературной дѣятельности Писарева. Эстетическіе взгляды Писарева.— II. Отрицаніе Пушкина.—III. Нравственный идеалъ Писарева въ образѣ Базаровскаго типа.—IV. Признаніе естественныхъ наукъ панацеею общественнаго прогресса и сведеніе всего къ этой точкѣ зрѣнія.—V. Максимъ Алексѣевичъ Антоновичъ.—VI. Николай Константиновичъ Михайловскій.

I.

Литературная дѣятельность Писарева не ограничивается какимъ-либо опредѣленнымъ и однороднымъ характеромъ. Она такъ разнородна, что мы будемъ разсматривать ее съ слѣдующихъ четырехъ сторонъ. Во-первыхъ Писаревъ является передъ нами выразителемъ тѣхъ парадоксальныхъ крайностей, до которыхъ послѣдовательно дошли люди шестидесятыхъ годовъ въ своихъ эстетическихъ взглядахъ, полемизируя съ метафизическими эстетиками и оппортунистами пятидесятыхъ годовъ. Во-вторыхъ тотъ-же самый Писаревъ является проповѣдникомъ, въ образѣ Базаровскаго типа, именно того новаго идеала прогрессивныхъ реалистовъ, какой возникъ, какъ мы выше говорили, на почвѣ сенсуальнаго теченія. Въ-третьихъ Писаревъ, какъ самъ олицетворяющій въ себѣ этотъ идеалъ, является блестящимъ популяризаторомъ по части естественныхъ наукъ и всякихъ реальныхъ знаній. И наконецъ, въ-четвер-

тыхъ онъ отличается поразительно глубокимъ и безпощадно-ѣдкимъ анализомъ какъ разбираемыхъ имъ произведеній, такъ въ особенности и изображаемой ими дѣйствительности.

Что касается до эстетическихъ воззрѣній Писарева, то, надо правду сказать, крайности, въ которыхъ обвиняется онъ, нѣсколько преувеличены его врагами. Прежде всего половину отвѣтственности за нихъ слѣдуетъ снять съ него, принявши во вниманіе, что у предшествовавшихъ ему критиковъ, у Чернышевскаго и у Добролюбова, мы видѣли уже задатки отрицательнаго отношенія къ искусству. Критики эти, подъ непосредственнымъ вліяніемъ которыхъ развивался Писаревъ, не ограничивались требованіемъ, чтобы писатели проникались общественными интересами и въ своихъ произведеніяхъ проводили идеи вѣка; по ихъ мнѣнію, искусство, по самому существу своему, играетъ второстепенную, низшую, служебную роль вспомогательнаго средства для памяти, имѣетъ, по отношенію къ публицистикѣ, психологіи или философіи, такое-же иллюстраціонное значеніе, какъ какіе-нибудь анатомическіе или географическіе атласы

Отъ такого воззрѣнія на искусство былъ одинъ шагъ до полнаго его отрицанія, что̀ и совершилъ Писаревъ послѣдовательно и логично въ своей знаменитой статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора*, въ которой, какъ извѣстно, доказывая, что̀ Щедринъ—ничего болѣе, какъ веселый и остроумный балагуръ и слѣдовательно поэтъ чистаго искусства, онъ совѣтуетъ ему заняться естествознаніемъ: «пусть молъ читаетъ, размышляетъ, переводитъ, компилируетъ, и тогда онъ будетъ дѣйствительно полезнымъ писателемъ. При его умѣньѣ владѣть русскимъ языкомъ и писать живо и весело, онъ можетъ быть очень хорошимъ популяризаторомъ, а Глуповъ давно пора бросить».

«Не знаю, какъ другіе,—говоритъ Писаревъ въ той-же статьѣ,—а я радуюсь увяданію нашей беллетристики и вижу въ ней очень хорошіе симптомы для будущей судьбы нашего умственнаго развитія. Поэзія въ смыслѣ стиходѣланія стала клониться къ упадку со времени Пушкина; при Гоголѣ романисты или вообще прозаики заняли въ литературѣ то высшее мѣсто, которое занимали поэты; съ этого времени стихотворцы сдѣлались чѣмъ-то вродѣ литературныхъ башибузуковъ, плохо вооруженныхъ, безсильныхъ и неспособныхъ оказать регулярному войску никакого серьезнаго содѣйствія; теперь стиходѣланіе находится при послѣднемъ издыханіи, и конечно этому слѣдуетъ радоваться, потому что есть надежда, что ужъ ни одинъ дѣйствительно умный и даровитый человѣкъ нашего поколѣнія не истратитъ своей жизни на пронизываніе чувствительныхъ сердецъ убійственными ямбами и анапестами. А кто знаетъ, какое великое дѣло—экономія человѣческихъ силъ, тотъ пойметъ, какъ важно для благосостоянія всего общества, чтобы всѣ его умные люди сберегли себя въ цѣлости и пристроили всѣ свои прекрасныя способности къ полезной работѣ. — Но одержавши побѣду надъ стиходѣланіемъ, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство въ литературѣ; первый ударъ нанесъ этому господству Бѣлинскій; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть знаменитымъ писателемъ, не сочинивши ни поэмы, ни романа, ни драмы. Это было великимъ шагомъ впередъ, потому что добрые земляки наши выучились читать критическія статьи и понемногу приготовились такимъ образомъ понимать разсужденія по вопросамъ науки и общественной жизни. Когда эти разсужденія сдѣлались возможными, тогда Добролюбовъ и Чернышевскій стали продолжать дѣло Бѣлинскаго...»

«Теперь оттѣсненіе на задній планъ беллетристики и искусства вообще произведено: въ послѣднее пятилѣтіе не было рѣшительно ни одного чисто литературнаго успѣха; чтобы не упасть, беллетристика принуждена была прислониться къ текущимъ интересамъ дня, часа и минуты; всѣ беллетристическія произведенія, обращавшія на себя вниманіе общества, возбуждали говоръ единственно потому, что касались какихъ-нибудь интересныхъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Вотъ вамъ примѣръ: *Подводный камень*, романъ, стоящій по своему литературному достоинству ниже всякой критики, имѣетъ громкій успѣхъ, а *Дѣтство, отрочество и юность* графа Л. Толстого, вещь замѣчательно хорошая по тон-

кости и вѣрности психологическаго анализа, читается холодно и проходитъ почти не замѣченною. Теперь пора бы сдѣлать еще шагъ впередъ: недурно было бы понять, что серьезное изслѣдованіе, написанное ясно и увлекательно, освѣщаетъ всякій интересный вопросъ гораздо лучше и полнѣе, чѣмъ разсказъ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбѣжными уклоненіями отъ главнаго сюжета. Впрочемъ этотъ шагъ сдѣлается самъ собою и, можетъ быть, онъ уже на половину сдѣланъ...»

Но подобное крайнее и рѣшительное отрицаніе искусства по существу у самого Писарева вы найдете лишь въ одной вышеозначенной статьѣ, да и въ ней не болѣе двухъ, трехъ мѣстъ, отличающихся такою же рѣзкостью.



Д. И. Писаревъ.

Эта статья представляетъ собою кульминаціонную точку отрицанія искусства не только въ литературѣ шестидесятыхъ годовъ вообще, но и въ воззрѣніяхъ самого Писарева, и ему самому такъ трудно было удержаться въ этой точкѣ, на самомъ, такъ сказать, остріѣ шпиля, что въ той же самой статьѣ уже онъ тотчасъ-же отступаетъ назадъ, скользитъ внизъ и дѣлаетъ уступку въ пользу искусства:

«Разумѣется,—говоритъ онъ,—здѣсь, какъ и вездѣ, не слѣдуетъ увлекаться педантическимъ ригоризмомъ: если въ самомъ дѣлѣ есть такіе человѣческіе организмы, для которыхъ легче и удобнѣе выразить свои мысли въ образахъ, если въ романѣ или въ поэмѣ они умѣютъ выразить новую идею, которую они не съумѣли бы развить съ надле-

жащею полнотою и ясностью въ теоретической статьѣ, тогда пусть дѣлаютъ такъ, какъ имъ удобнѣе; критика съумѣетъ отъискать, а общество съумѣетъ принять и оцѣнить плодотворную идею, въ какой бы формѣ она ни была выражена. Если Некрасовъ можетъ высказываться только въ стихахъ, пусть пишетъ стихи; если Тургеневъ умѣетъ только изобразить, а не объяснить Базарова, пусть изображаетъ; если Чернышевскому удобно писать романъ, а не трактатъ по физіологіи общества, пусть пишетъ романъ; этимъ людямъ есть что высказать, и потому общество слушаетъ ихъ со вниманіемъ и не остается въ накладѣ. Это даже хорошо, если такіе люди излагаютъ свои идеи въ беллетристической формѣ, потому что окончательный шагъ все-таки еще не сдѣланъ, искусство для нѣкоторыхъ читателей и особенно читательницъ все еще сохраняетъ кое-какіе блѣдные лучи своего ложнаго ореола...»

Въ статьѣ-же своей *Нерѣшенный вопросъ* или *Реалисты* (какъ названа статья въ отдѣльномъ изданіи сочиненій Писарева) онъ дѣлаетъ еще шагъ назадъ и уже не условно, какъ въ только-что приведенной цитатѣ, а прямо отказывается отъ полнаго отрицанія искусства:

«Послѣдовательный реализмъ, — говоритъ онъ, — безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ его навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту: «шей сапоги», или историку: «пеки кулебяки», но мы требуемъ непремѣнно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили, каждый въ своей спеціальности, *дѣйствительную* пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны человѣческой жизни, которыя намъ необходимо знать для того, чтобы размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и упадка отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширить предѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою или дрянною книгою, не обращая вниманія на то, написана ли она прозою или стихами; и автору такой книги мы всегда, съ искреннимъ доброжелательствомъ, готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки..»

И ниже въ той-же статьѣ мы встрѣчаемъ слѣдующее опредѣленіе, что такое истинный полезный поэтъ, уже не подлежащій тому безусловному отрицанію, какому подверглись въ статьѣ *Цвѣты невиннаго юмора* всѣ поэты безъ исключеній:

«Истинный полезный поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ лучшихъ, самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ представителей его вѣка и его народа. Понимая вполнѣ глубокій смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій смыслъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе, — говоритъ Берне, — я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тому слѣдуетъ шить сапоги и печь кулебяки...»

Представляя далѣе характеристики Гёте и Гейне для того, чтобы показать, что такое истинные полезные поэты, Писаревъ затѣмъ весьма естественно чувствуетъ необходимость затушевать свое отступленіе и примирить эти опредѣленія съ прежнимъ безусловнымъ отрицаніемъ искусства, и вотъ какъ производитъ онъ это примиреніе:

«Литературные противники нашего реализма,— говоритъ онъ,—простодушно убѣждены въ томъ, что мы затвердили нѣсколько филантропическихъ фразъ и во имя этихъ афоризмовъ отрицаемъ все то, изъ чего нельзя изготовить обѣдъ, сшить платье или выстроить

жилище голоднымъ и прозябшимъ людямъ. Понимая насъ такимъ образомъ, они конечно должны были ожидать, что мои размышленія о наукѣ и искусствѣ будутъ заключать въ себѣ безконечные упреки Шекспиру, Гёте Гейне, и другимъ подобнымъ негодяямъ за трату драгоцѣннаго времени на непроизводительныя занятія. Они ожидали вѣроятно, что я такъ и пойду косить безъ разбору: Шекспиръ не Шекспиръ, Гёте не Гёте, чортъ мнѣ — не братъ, всѣ дураки, и знать никого не хочу. Такому направленію умозрѣній они были бы несказанно рады, потому что, разумѣется, подобная премудрость не поколебала бы въ умахъ читателей ни одной буквы изъ стараго эстетическаго кодекса. Теперь, когда они увидятъ, что я взялся за дѣло совсѣмъ не такимъ косолапымъ маперомъ, — имъ сдѣлается очень досадно, и они на нутъ звонить въ своихъ журналахъ, что реалисты доврались до чортиковъ и теперь поневолѣ поворачиваютъ оглобли назадъ.

«И все это будетъ съ ихъ стороны голая выдумка. Всѣ мысли, высказанныя мною въ этой статьѣ, совершенно послѣдовательно вытекаютъ изъ того, что я говорилъ во всѣхъ моихъ предыдущихъ статьяхъ. Ни малѣйшаго поворота назадъ не случилось, и мнѣ не приходится раскаяваться ни въ одномъ словѣ, сказанномъ мною прежде. Я совѣтовалъ г. Щедрину заняться компиляціями по естественнымъ наукамъ и говорилъ по этому поводу, что меня радуетъ увяданіе нашей беллетристики, какъ символъ возростающей зрѣлости нашего ума. Я и теперь повторяю то же самое, и изъ этого сужденія о нашихъ домашнихъ дѣлахъ все-таки никакъ не вытекаетъ для меня обязанность ругать Шекспира, Гёте Гейне и другихъ подобныхъ негодяевъ. Эти негодяи были прежде всего чрезвычайно умные люди, *а я и теперь, и прежде, и всегда былъ глубоко убѣжденъ въ томъ, что мысль, и только мысль можетъ передѣлать и обновить весь строй человѣческой жизни; все то безусловно полезно, что заставляетъ насъ задумываться и что помогаетъ намъ мыслить...*»

II.

Мы напечатали курсивомъ послѣднія слова только-что приведенной цитаты, потому что въ нихъ таится ключъ ко всѣмъ сужденіямъ Писарева о современныхъ и прежнихъ русскихъ писателяхъ. Ключъ этотъ заключается не въ чемъ иномъ, какъ именно въ той существенной задачѣ, которою обусловливается различіе новаго періода нашей литературы отъ стараго. Задача эта въ томъ именно и заключалась, чтобы поставить русское искусство, въ томъ числѣ и поэзію, на одной высотѣ съ западнымъ не по одной только художественности, но и по идейному содержанію. Объ этомъ мечталъ Бѣлинскій, хлопоталъ Добролюбовъ и это-же самое выставляетъ на первый планъ Писаревъ, характеризуя, какъ истинныхъ полезныхъ поэтовъ Гёте и Гейне,—писателей, дѣйствительно наиболѣе всего богатыхъ идейнымъ содержаніемъ своихъ произведеній.

Изъ этого-же прямо и послѣдовательно проистекалъ и отрицательный взглядъ Писарева на Пушкина. Взглядъ этотъ лежалъ всецѣло въ духѣ вѣка, опять-таки въ тѣхъ-же требованіяхъ отъ искусства серьезнаго идейнаго содержанія, которымъ не могъ удовлетворить Пушкинъ, какъ представитель стараго періода русской литературы,—періода выработки формъ и чистой художественности. Задатки отрицательнаго отношенія къ Пушкину мы видимъ уже у Бѣлинскаго, этого перваго провозгласителя новаго періода русской литературы. Такъ, въ самомъ началѣ своихъ статей о Пушкинѣ онъ говоритъ:

«По мѣрѣ того, какъ зарождались въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя надежды, порожденныя совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни,—всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія, какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремле-

нія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видѣ: это уже не поэтъ, безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ и для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣетъ значеніе артистическое и значеніе историческое, словомъ,—поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и будущему, которыя, болѣе или менѣе, удовлетворяются и будутъ удовлетворяться имъ, а другою, большею и значительнѣйшею стороною вполнѣ удовлетворившій своему настоящему, которое онъ вполнѣ выразилъ и которое для насъ—уже прошедшее...»

Еще болѣе рѣзкое и опредѣленное сужденіе объ утратѣ Пушкинымъ значенія для опередившаго его времени въ виду новыхъ требованій отъ искусства вы встрѣтите въ пятой статьѣ Бѣлинскаго о Пушкинѣ въ слѣдующихъ словахъ:

«Какъ-бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая уже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлалось теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго».

Очень можетъ быть, что и Писаревъ не пошелъ-бы далѣе подобныхъ относительныхъ взглядовъ на значеніе Пушкина, которые онъ кое-гдѣ и высказывалъ, соглашаясь съ Бѣлинскимъ, что Пушкинъ все-таки имѣлъ историческое значеніе, такъ какъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *пивной кружкѣ* и о *бобровомъ воротникѣ*, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о *фіалахъ* и *хламидахъ*. Но тутъ замѣшалась одно обстоятельство, которое именно и вывело Писарева далеко изъ этихъ предѣловъ историческаго безпристрастія. Обстоятельство это заключалось въ томъ, что оппортунисты пятидесятыхъ годовъ и теоретики чистаго искусства въ свою очередь были чужды мало-мальски объективно-спокойнаго и безпристрастнаго взгляда на значеніе поэзіи Пушкина. Они относились къ Пушкину не такъ какъ къ прочимъ поэтамъ прежняго времени, ставили его внѣ какой-бы то ни было исторической оцѣнки и придавали ему безусловное значеніе, какъ своего рода богу поэзіи. Ему молились и вмѣстѣ съ тѣмъ его выставляли какъ знамя партіи, причемъ наиболѣе высоко прославлялись именно такія стороны поэзіи Пушкина, которыя были менѣе всего симпатичны и за которыя именно и считалъ Пушкина отжившимъ уже Бѣлинскій. Онѣ ставились въ укоръ всѣмъ послѣдовавшимъ писателямъ новой натуральной школы.

Вотъ этотъ именно пристрастный, вышедшій изъ всѣхъ границъ здраваго смысла культъ Пушкина и обращеніе великаго поэта въ боевой таранъ въ борьбѣ со всѣми новыми литературными вѣяніями и вызвали стой-же крайнюю и слѣпую оппозицію. Уже задолго до статьи Писарева *Пушкинъ* и *Бѣлинскій*, произведшей такую сенсацію, замѣчалось въ молодомъ поколѣніи охлажденіе къ Пушкину, выражавшееся въ предпочтеніи ему Лермонтова. Писаревъ раздѣлялъ со своими сверстниками это охлажденіе и по своей увлекающейся натурѣ перелилъ въ своей статьѣ черезъ край. Главная ошибка статьи этой заключалась въ полномъ отсутствіи исторической перспективы какъ при разборѣ различныхъ произведеній Пушкина, особенно *Евгенія Онѣгина*, такъ и при оцѣнкѣ общаго значенія поэзіи Пушкина. Произведенія великаго поэта разсматриваются въ ней такъ, какъ будто они вышли только-что вчера, и кри-

тика имѣла право предъявлять къ нимъ современныя требованія. Но еще разъ повторяемъ, ошибка эта зависѣла отъ того, что и противники въ свою очередь толковали о значеніи Пушкина не историческомъ, для его времени, а по отношенію къ ихъ современности, унижая и топча въ грязь во имя Пушкина, съ его пресловутою художественною объективностью и елейностью, всю современную литературу.

III.

Въ качествѣ моралиста и проповѣдника новыхъ идеаловъ Писаревъ, какъ мы сказали уже, является представителемъ сенсуальнаго теченія шестидесятыхъ годовъ. Съ самыхъ первыхъ статей своихъ онъ всегда оставался чистопробнымъ индивидуалистомъ, выставляя на первый планъ прогрессъ личности путемъ самосовершенствованія, причемъ прогрессъ этотъ онъ ставилъ въ зависимость отъ двухъ условій: во-первыхъ, чтобы личность была безгранично свободна въ стремленіяхъ и страстяхъ, повинуясь лишь влеченіямъ ума и сердца, и во-вторыхъ, чтобы она развивалась въ духѣ реальнаго мышленія путемъ изученія естественныхъ наукъ о пріобрѣтеніи положительныхъ знаній.

Мы видѣли, что и Добролюбовъ, и Чернышевскій выводили нравственность изъ эгоизма и ратовали противъ насильственнаго подчиненія человѣка нравственному долгу. Но тѣмъ не менѣе высшимъ нравственнымъ идеаломъ все-таки они считали самопожертвованіе личности общей пользѣ, требуя лишь, чтобы это самопожертвованіе проистекало изъ свободнаго стремленія къ нему чаловѣка, безъ приневоливаній.

У Писарева-же, какъ сенсуалиста, на первомъ планѣ стоитъ стремленіе къ наслажденію, къ тому, чтобы провести жизнь какъ можно пріятнѣе, въ чемъ онъ и полагаетъ свою теорію эгоизма. Такъ, въ одной изъ первыхъ статей своихъ: *Стоячая вода*, онъ такъ опредѣляетъ эгоизмъ:

«Эгоизмъ, т. е. любовь къ собственной личности, ставитъ цѣлью жизни наслажденіе, но не ограничиваетъ выбора наслажденія тѣмъ или другимъ кругомъ предметовъ. Я наслаждаюсь тѣмъ, чтó мнѣ пріятно, а чтó пріятно—это уже подсказываютъ каждому его наклонность, его личный вкусъ. Стало быть, внутри понятія *эгоистъ* открывается необъятный просторъ личнымъ особенностямъ и стремленіямъ. Эгоистами могутъ быть и хорошіе, и дурные люди; эгоистъ—человѣкъ свободный въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, онъ дѣлаетъ только то, чтó ему пріятно: ему пріятно то, чего ему хочется, слѣдовательно онъ дѣлаетъ только то, чего ему хочется, или, другими словами, остается самимъ собою во всякую данную минуту и не насилуетъ себя ни изъ угожденія къ окружающему обществу, ни изъ благоговѣнія передъ призракомъ нравственнаго долга. Чтó ему пріятно—въ этомъ весь вопросъ, и тутъ начинается нескончаемое разнообразіе, и ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права подводить это естественное и живое разнообразіе подъ какую-нибудь придуманную имъ или наслѣдованную откуда-нибудь норму. Отсутствіе нравственнаго принужденія—вотъ единственный существенный признакъ эгоизма»...

Вмѣстѣ съ освобожденіемъ отъ внутренняго насильственнаго подчиненія нравственному долгу, личность должна позаботиться освободиться и отъ внѣшнихъ насилій со стороны общества. Гнетъ общества, по мнѣнію Писарева, надъ личностью такъ-же вреденъ, какъ гнетъ личности надъ обществомъ; если-бы всякій умѣлъ быть свободенъ, не стѣсняя свободы своихъ сосѣдей и членовъ своего семейства, тогда конечно были-бы устранены причины многихъ несчастій и страданій.

И Добролюбовъ, и Чернышевскій проповѣдывали освобожденіе личности

изъ-подъ внѣшняго гнета, но гнетъ этотъ они видѣли въ дурныхъ общественныхъ условіяхъ, и освобожденіе личности полагали въ переработкѣ этихъ условій общими дружными усиліями. Писаревъ-же подъ гнетомъ подразумѣвалъ различные предразсудки, устарѣлые свѣтскіе обычаи и приличія; свобожденіе-же отъ нихъ возлагалъ исключительно на одну энергію и волю отдѣльной личности.

«Тѣ условія,—говоритъ онъ въ той-же статьѣ,—при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить свою жизнь дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ, не давать имъ надъ собою никакого вліянія, не дѣлать имъ ни малѣйшей уступки. Какъ вы попробуете на чемъ-нибудь помириться, такъ вы уже теряете вашу свободу; общество не удовлетворится уступками; оно вмѣшается въ ваши дѣла, въ вашу семейную жизнь, будетъ предписывать вамъ законы, будетъ налагать на васъ стѣсненія, пересуживать ваши поступки, отгадывать ваши мысли и побужденія Каждый шагъ вашъ будетъ опредѣляться не вашею доброю волею, а разными общественными условіями и отношеніями; нарушеніе этихъ условій будетъ постоянно возбуждать толки, которые, доходя до васъ, будутъ досаждать вамъ, какъ жужжаніе сотни мошекъ и комаровъ. Если-же вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукою на пресловутое общественное мнѣніе, которое слагается у насъ изъ очень неблаговидныхъ матеріаловъ, то васъ право скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подивятся или даже ужаснутся, но потомъ, видя, что вы на это не обращаете вниманія, и что эксцентричности ваши идутъ себѣ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься, сочтетъ васъ за погибшаго человѣка и такъ или иначе оставитъ васъ въ покоѣ, перенеся на кого-нибудь другого свое милостивое вниманіе»...

Итакъ, вотъ основа нравственнаго идеала, выставляемаго Писаревымъ: это—личность, самоосвободившаяся отъ всѣхъ нравственныхъ законовъ и принциповъ и свободно отдавшаяся своимъ страстямъ и похотямъ, съ цѣлью извлечь изъ жизни такое количество разумныхъ наслажденій, какое только можетъ вмѣстить человѣческая природа. Именно этотъ самый идеалъ усматриваетъ Писаревъ въ тургеневскомъ Базаровѣ и прославляетъ его за это.

«Итакъ,—говоритъ онъ въ своей статьѣ *Базаровъ*,—Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ и удобнымъ. Имъ управляетъ только личная прихоть или личные разсчеты. *Ни надъ собой, ни внѣ себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокаго помысла,* и при всемъ этомъ—силы огромныя.—«Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ!»—слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодѣй, уродъ! браните больше, преслѣдуйте его сатирой и эпиграммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, кострами инквизиціи и топорами палачей; и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенной публикѣ. Если базаровщина—болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно—это ваше дѣло; а остановить—не остановите; это—та-же холера»...

Какъ истому сенсуалисту, одно только не нравится Писареву въ Базаровѣ: зачѣмъ онъ отрицаетъ обаяніе красотъ природы и тѣмъ уменьшаетъ количество наслажденій въ жизни человѣка. Писаревъ видитъ въ этомъ своего рода идеализмъ и аскетизмъ.

«Вооружаясь противъ идеализма,—говоритъ онъ,—и разбивая его воздушные замки, Базаровъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться и къ какой мѣркѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природою—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій».

IV

Но одною свободою отъ всѣхъ внутреннихъ и внѣшнихъ стѣсненій не исчерпывается еще идеалъ Писарева. Вторымъ условіемъ личнаго самосовершенствованія Писаревъ ставитъ, какъ мы говорили выше, умственное развитіе въ духѣ реализма путемъ пріобрѣтенія естественно-научныхъ, положительныхъ знаній. Въ этомъ отношеніи Писаревъ выказываетъ строгую послѣдовательность до конца, полагая единственное спасеніе міра въ распространеніи базаровскаго типа свободомыслящихъ и просвѣщенныхъ реалистовъ и отрицая все, что̀ къ этому типу не подходитъ. Въ послѣдовательности этой онъ доходитъ до такой смѣлости, что не останавливается передъ отрицаніемъ даже нравственныхъ или умственныхъ достоинствъ того самаго народа, передъ которымъ въ то время преклонялись всѣ безъ исключеній:

«Реалистъ — мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ,— говоритъ онъ въ своей статьѣ *Реалисты*. Изъ этого опредѣленія читатель видитъ ясно, что реалисты могутъ быть въ настоящее время только представители умственнаго труда. При теперешнемъ устройствѣ матеріальнаго труда, при теперешнемъ положеніи чернорабочаго класса во всемъ образованномъ мірѣ, эти люди не что иное, какъ машины, отличающіяся отъ деревянныхъ и желѣзныхъ машинъ невыгодными способностями чувствовать утомленіе, голодъ и боль. Въ настоящее время эти люди совершенно справедливо ненавидятъ свой трудъ и совсѣмъ не занимаются размышленіями. Они составляютъ пассивный матеріалъ, надъ которымъ друзьямъ человѣчества приходится много работать, но который самъ помогаетъ имъ очень мало и не принимаетъ до сихъ поръ никакой опредѣленной формы. Это—туманное пятно, изъ котораго выработаются новые міры, но о которомъ до сихъ поръ рѣшительно нечего говорить. Заниматься съ любовью матеріальнымъ трудомъ—это въ настоящее время почти немыслимо, а въ Россіи, при нашихъ допотопныхъ пріемахъ и орудіяхъ работы, еще болѣе немыслимо, чѣмъ во всякомъ другомъ цивилизованномъ обществѣ.

«Такимъ образомъ самый реальный трудъ, приносящій самую осязательную и неоспоримую пользу, остается внѣ области реализма, внѣ области практическаго разума, въ тѣхъ подвалахъ общественнаго зданія, куда не проникаетъ ни одинъ лучъ общечеловѣческой мысли. Что-жъ намъ дѣлать съ этими подвалами? Покуда приходится оставить ихъ въ покоѣ и обратиться къ явленіямъ умственнаго труда, который только въ томъ случаѣ можетъ считаться позволительнымъ и полезнымъ, когда онъ прямо или косвенно клонится къ созиданію новыхъ міровъ изъ первобытнаго тумана, наполняющаго грязные подвалы».

При такомъ презрительномъ, барскомъ воззрѣніи на народъ, какъ безсмысленный агломератъ живыхъ машинъ, чуждыхъ всякой умственной и нравственной жизни, понятно, что Писаревъ не могъ не отнестись отрицательно къ статьѣ Добролюбова *Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ*. Возвеличеніе Катерины Добролюбовымъ должно было показаться Писареву неосновательнымъ. Какой-же лучъ свѣта въ темномъ царствѣ можно предполагать въ невѣжественной суевѣрной героинѣ *Грозы*, дрожавшей передъ каждымъ мало-мальски свободнымъ и самостоятельнымъ шагомъ и не съумѣвшей найти никакого исхода изъ своей неволи, какъ лишь въ волнахъ Волги.—Развѣ таковы бываютъ настоящіе «лучи»?

«Умная и развитая личность,— говоритъ Писаревъ,— сама того не замѣчая, дѣйствуетъ на все, что̀ къ ней прикасается; ея мысли, ея занятія, ея гуманное обращеніе, ея спокойная твердость,—все это шевелитъ вокругъ нея стоячую воду человѣческой рутины; кто уже не въ силахъ развиваться, тотъ по крайней мѣрѣ уважаетъ въ умной и развитой личности хорошаго человѣка,—а людямъ очень полезно уважать то, что̀ дѣйствительно заслуживаетъ уваженія; но кто молодъ, кто способенъ любить идею, кто ищетъ

возможности развернуть силы своего свѣжаго ума, тотъ, сблизившись съ умною и развитою личностью, можетъ быть, начнетъ новую жизнь, полную обаятельнаго труда и неистощимаго наслажденія. Если предполагаемая свѣтлая личность дастъ такимъ образомъ обществу двухъ трехъ молодыхъ работниковъ, если они внушатъ двумъ-тремъ старикамъ невольное уваженіе къ тому, что они прежде осмѣивали и притѣсняли,—то неужели вы скажете, что такая личность ровно ничего не сдѣлала для облегченія перехода къ лучшимъ идеямъ и къ болѣе сноснымъ условіямъ жизни? Мнѣ кажется, что она сдѣлала въ малыхъ размѣрахъ то, что дѣлаютъ въ большихъ размѣрахъ величайшія историческія личности. Разница между ними заключается только въ количествѣ ихъ, и потому оцѣнивать ихъ дѣятельность можно и должно посредствомъ одинаковыхъ пріемовъ. Такъ вотъ какіе должны быть «лучи свѣта»—не Катеринѣ чета».

Наконецъ мы замѣчаемъ у Писарева характеристическую черту, которая отличаетъ всѣхъ моралистовъ-индивидуалистовъ: именно, ставя на первый планъ самосовершенствованіе личности, они затѣмъ и общественный прогрессъ выводятъ прямо изъ этого личнаго самосовершенствованія, такъ что общественный прогрессъ сводится у нихъ къ простому количественному размноженію носителей ихъ идеала. Подобно тому, какъ Гоголь полагалъ, что крѣпостное право само собою парализируется по мѣрѣ того, какъ всѣ помѣщики проникнутся духомъ благочестія, какое онъ проповѣдывалъ, подобно тому, какъ гр. Л. Толстой мечтаетъ о воцареніи царства небеснаго на землѣ, какъ только каждый человѣкъ постигнетъ евангельскую истину, такъ и Писаревъ былъ убѣжденъ, что на землѣ не замедлитъ воцариться рай, какъ только всѣ люди обратятся въ трезвыхъ реалистовъ базаровскаго типа.

«Если естествознаніе обогатитъ наше общество мыслящими людьми,—говоритъ онъ въ заключеніе статьи *Цвѣты невиннаго юмора*,—если наши агрономы, фабриканты и всякаго рода капиталисты выучатся мыслить, то эти люди вмѣстѣ съ тѣмъ выучатся понимать какъ свою собственную пользу, такъ и потребности того міра, который ихъ окружаетъ. Тогда они поймутъ, что эта польза и эти потребности совершенно сливаются между собою; поймутъ, что выгоднѣе и пріятнѣе увеличивать общее богатство страны, чѣмъ выманивать или выдавливать послѣдніе гроши изъ худыхъ кармановъ производителей и потребителей. Тогда капиталы наши не будутъ уходить за-границу, не будутъ тратиться на безумную роскошь, не будутъ ухлопываться на безполезныя сооруженія, а будутъ прилагаться именно къ тѣмъ отраслямъ народной промышленности, которыя нуждаются въ ихъ содѣйствіи. Это будетъ дѣлаться такъ потому, что капиталисты во-первыхъ будутъ правильно понимать свою выгоду, а во вторыхъ будутъ находить наслажденіе въ полезной работѣ. Это предположеніе можетъ показаться идиллическимъ, но утверждать, что оно неосуществимо, значитъ утверждать, что капиталистъ—не человѣкъ и даже никогда не можетъ сдѣлаться человѣкомъ. Что касается до меня, то я рѣшительно не вижу резона, почему сынъ капиталиста не могъ-бы сдѣлаться Базаровымъ или Лопуховымъ, точно такъже какъ сынъ богатаго помѣщика сдѣлался Рахметовымъ. Для того, чтобы подобныя превращенія были возможны и даже обыкновенны, необходимо только, чтобы въ нашемъ обществѣ постоянно поддерживалась та свѣжая струя живой мысли, которую вноситъ къ намъ зарождающееся естествознаніе. Если всѣ наши капиталы, если всѣ умственныя силы нашихъ образованныхъ людей обратятся на тѣ отрасли производства, которыя полезны для общаго дѣла, тогда, разумѣется, дѣятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будетъ возрастать постоянно и качество его мозга будетъ улучшаться съ каждымъ десятилѣтіемъ. А если народъ будетъ дѣятеленъ, богатъ и уменъ, то что можетъ помѣшать ему сдѣлаться счастливымъ во всѣхъ отношеніяхъ»...

Въ этихъ *идиллическихъ предположеніяхъ*, какъ выражается самъ Писаревъ, онъ не былъ одинокимъ, а представлялся выразителемъ тысячъ людей одного съ нимъ типа, которые лишь на видъ казались такими страшными отрицателями, а на самомъ дѣлѣ ни къ чему не стремились, какъ лишь къ мирному прогрессу путемъ распространенія естественно-научныхъ знаній.

Увлекаясь естественными науками и видя въ распространеніи естественнонаучныхъ знаній панацею отъ всѣхъ общественныхъ золъ, Писаревъ есте-

ственно изъ всѣхъ литературныхъ и журнальныхъ отраслей особенно высоко ставилъ популяризацію наукъ. Мы видѣли, что даже Щедрину онъ совѣтовалъ бросить писать сатиры и сдѣлаться популяризаторомъ. И смѣемъ думать, что это не была со стороны Писарева одна иронія и полемическая выходка. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ совершенно серьезно популяризацію естественно-научныхъ знаній ставилъ неизмѣримо выше какихъ бы то ни было беллетристическихъ произведеній и искренно вѣрилъ, что въ будущемъ искусство сдѣлается ничѣмъ инымъ, какъ именно популяризаціей науки. Такъ, въ концѣ своей статьи *Реалисты*, распространяясь о великомъ значеніи популяризаціи, онъ прямо говоритъ:

«Популяризаторъ непремѣнно долженъ быть художникомъ слова, и высшая, прекраснѣйшая, самая человѣческая задача искусства состоитъ именно въ томъ, чтобы слиться съ наукою и посредствомъ этого сліянія дать наукѣ такое практическое могущество, котораго она не могла-бы пріобрѣсти исключительно своими собственными средствами. Наука даетъ матеріалъ художественному произведенію, въ которомъ все—правда и все—красота; самая смѣлая фантазія не можетъ ничего подобнаго придумать. Такія художественныя произведенія человѣкъ создастъ еще впослѣдствіи, когда онъ много поумнѣетъ и еще очень многому выучится; но робкія попытки, превосходныя для нашего времени, существуютъ въ этомъ родѣ и теперь»...

И далѣе затѣмъ онъ излагалъ по пунктамъ правила, которыя долженъ соблюдать хорошій популяризаторъ, желающій принести своими популярными статьями истинную пользу. Правила эти столь замѣчательны, что до сихъ поръ они должны служить руководствомъ для каждаго, кто занимается популяризаціей какихъ-либо знаній.

Не ограничиваясь однимъ восхваленіемъ популяризаціи знаній и предписаніемъ правилъ для нея, Писаревъ, какъ извѣстно, и самъ усердно послужилъ этому дѣлу, и втеченіе своей литературной дѣятельности представилъ цѣлый рядъ блестящихъ популярныхъ статей по естествознанію и исторіи, которыя и теперь еще читаются молодежью съ увлеченіемъ.

Но всѣмъ этимъ не исчерпывается значеніе Писарева въ нашей литературѣ. Своими эстетическими отрицаніями, проповѣдью базаровскаго типа и популяризацією естественно-научныхъ знаній онъ выразилъ лишь тотъ историческій моментъ, въ который развернулась его литературная дѣятельность. Все это были молодыя. преходящія увлеченія, и если-бы ими одними исчерпывалась дѣятельность Писарева, то сочиненія его, кромѣ нѣсколькихъ популярныхъ компилятивныхъ статей, конечно давно были-бы забыты. Но въ его критическихъ статьяхъ вы найдете нѣчто стоящее неизмѣримо выше его молодыхъ увлеченій и что никогда не потеряетъ свою цѣну. Это именно—блестящій и чуткій критическій талантъ, вооруженный могучимъ, смѣлымъ и безпощаднымъ анализомъ. Этотъ анализъ стоитъ, по нашему мнѣнію, на одной высотѣ съ добролюбовскимъ и составляетъ главное достоинство критическихъ статей Писарева. Онъ будитъ молодой умъ, заставляетъ вглядываться вокругъ себя пытливымъ взоромъ, сразу раскрываетъ передъ неопытными глазами массу лжи, дѣланности и возмутительнаго зла въ такихъ явленіяхъ жизни, которыя примелькались, и не только не отвращаютъ отъ себя, но кажутся даже чѣмъ-то похвальнымъ и доблестнымъ, и, въ концѣ концовъ, критикъ вполнѣ разрушаетъ всѣ дѣтскія радужныя иллюзіи. Таковы статьи его: *Стоячая вода*, *Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ*, *Женскіе типы въ романахъ и повѣстяхъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова*, *Романъ кисейной барышни*, *Подростающая гуманность*, *Погибшіе и погибающіе*, *Борьба за жизнь*, *Старое барство*, и пр.

Статьи эти до сихъ поръ читаются съ большимъ увлеченіемъ и несомнѣнною пользою и долго еще не будутъ забыты.

V.

Подъ вліяніемъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева русская критика передового лагеря движенія до сихъ поръ сохраняетъ публицистическій характеръ: разсматриваетъ художественныя произведенія съ точки зрѣнія ихъ общественно-политическаго значенія и анализируетъ ихъ образы съ цѣлью рѣшенія общественныхъ вопросовъ или проведенія различныхъ политическихъ идей. Какъ на наиболѣе выдающихся по своей талантливости и занимавшихъ въ различное время первое мѣсто въ передовой журналистикѣ изъ всѣхъ послѣдовавшихъ по смерти Добролюбова и Писарева критиковъ, мы считаемъ необходимымъ обратить вниманіе на двухъ: Максима Алексѣевича Антоновича и Николая Константиновича Михайловскаго.

М. А. Антоновичъ родился 27-го апрѣля 1835 г. въ Бѣлопольѣ, Харьковской губерніи. Онъ былъ сынъ дьячка. Учился въ Харьковской семинаріи, гдѣ кончилъ курсъ въ 1855 году, и поступилъ въ Петербургскую духовную академію, откуда вышелъ въ 1859 году кандидатомъ богословія. Изъ сообщенныхъ Антоновичемъ автобіографическихъ свѣдѣній, напечатанныхъ въ словарѣ С. А. Венгерова, мы видимъ, что «главнымъ образомъ духовная жизнь студентовъ слагалась подъ вліяніемъ текущей журналистики. Новыя вѣянія, широкою волною хлынувшія на все русское студенчество вообще, захватили и студенчество академическое. Будущіе богословы не только зачитывались *Современникомъ*, они проникали тайкомъ въ Публичную Библіотеку и тамъ добывали *Stoff und Kraft* Бюхнера и даже *Жизнь Іисуса* Давида Штрауса. Выпускъ 1859 года, къ которому принадлежалъ Антоновичъ, не далъ ни одного монаха»

Будучи на 4-мъ курсѣ, Антоновичъ отнесъ въ *Современникъ* статью, подобравши въ ней коллекцію современныхъ проповѣдей, въ которыхъ только и можно было найти, что «восплачемте, братія», «плачьте, люди, день и ночь», «рыдайте, грѣшники» и т. д. Статья была сдана на просмотръ Добролюбову; онъ нашелъ сюжетъ мало-интереснымъ, но изложеніе ему понравилось, и онъ предложилъ Антоновичу написать что-нибудь хотя-бы тоже изъ знакомой ему церковной сферы, но вмѣстѣ съ тѣмъ любопытное и для всей публики. Результатомъ этого предложенія явилась неподписанная статья о книгѣ Щапова *Расколъ старообрядчества* (*Совр.* 1859 г., № 10), въ которой начало придѣлано Добролюбовымъ. Съ тѣхъ поръ Антоновичъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ *Современника*; сначала писалъ статьи о книгахъ философскаго содержанія, со смертью-же Добролюбова, въ 1861 г., перешелъ на критическій отдѣлъ, а съ 1863 г., послѣ ареста Чернышевскаго, ему было предоставлено редактированіе этого отдѣла.

Уже въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, при Добролюбовѣ и Чернышевскомъ, Антоновичъ обратилъ на себя вниманіе философскими статьями, каковы: *Современная философія* (по поводу философскаго лексикона Гогоцкаго), *Два типа современныхъ философовъ* (по поводу *Трехъ бесѣдъ о современномъ значеніи философіи* П. Л. Лаврова), *О гегелевской философіи* (по поводу книги Тайна *Гегель и его время*), *Современная физіологія и философія* (о *Физіологіи обыден-*

ной жизни Льюиса); но наибольшее впечатлѣніе произвелъ онъ своею критикою *Отцовъ и дѣтей* Тургенева въ № 3 *Современника* за 1862 годъ, подъ заглавіемъ *Асмодей нашего времени*. Статья эта конечно далеко не удовлетворитъ насъ, если мы будемъ смотрѣть на нее съ точки зрѣнія идеала истинной художественной критики и искать въ ней всесторонняго разбора романа Тургенева. Она носитъ полемическій характеръ, и сравненіе романа Тургенева съ *Асмодеемъ* Аскоченскаго конечно сдѣлано не въ-серьезъ, а есть лишь рѣзкій полемическій пріемъ, имѣющій цѣлью повалить врага однимъ ударомъ. Но статья Антоновича вѣдь и написана была не для изслѣдователей таланта Тургенева, учителей словесности и ихъ учениковъ и не для потомства; это была боевая статья, требуемая обстоятельствами времени, и она достигла своей цѣли. Нужно взять во вниманіе ту вредную сенсацію, какую произвелъ романъ Тургенева въ русскомъ обществѣ, восторгъ реакціонеровъ, поднявшихъ головы послѣ появленія романа, въ которомъ передовое молодое поколѣніе, жаждущее свѣта и блага, было изображено въ видѣ нигилистовъ, отрицающихъ все и вся, на каждомъ шагу сами себѣ противорѣчащихъ и попадающихъ въ глупые просаки. Обиднѣе всего было то, что значительная часть самого молодого поколѣнія не поняла пощечины, какая ей была дана Тургеневымъ, и начала искать своего идеала въ образѣ Базарова, и въ числѣ такихъ не раскусившихъ оскорбленія было свѣтило молодой критики въ лицѣ Писарева, начавшаго носиться съ базаровскимъ типомъ. Статья Антоновича, въ виду всѣхъ этихъ обстоятельствъ, была необходимымъ отпоромъ противъ восторженныхъ овацій оперявшейся реакціи. Разобравши всѣ несообразности романа Тургенева и доказавши, что Базаровъ—клевета на молодое поколѣніе, Антоновичъ умѣрилъ восторги противниковъ и открылъ глаза тѣмъ изъ своихъ единомышленниковъ, которые желали видѣть.

Вмѣстѣ съ тѣмъ статья Антоновича впервые ясно опредѣлила тотъ антагонизмъ, какой таился въ средѣ прогрессивнаго лагеря между фракціею народниковъ *Современника* и естественниковъ *Русскаго Слова*. Между обоими журналами возникаетъ съ этого момента ожесточенная полемика, которая велась не изъ одной только вражды двухъ конкурирующихъ журналовъ и была не однимъ лишь личнымъ турниромъ Антоновича съ Писаревымъ и Зайцевымъ изъ-за того, кому занимать первое мѣсто въ критикѣ,—а борьбою двухъ фракцій; вся молодежь того времени раздѣлилась на два лагеря—на приверженцевъ *Современника* и *Русскаго Слова*. Полемическіе фельетоны Антоновича, подписанные *Постороннимъ Сатирикомъ*, читались точно такъ-же на-расхватъ, какъ и отвѣты на нихъ сотрудниковъ *Русскаго Слова*. Въ ожесточеніи борьбы много было сказано излишняго съ обѣихъ сторонъ; противники доходили до такого самозабвенія, что принципіальную полемику замѣняли площадною руганью не совсѣмъ хорошаго тона. Но приверженцы обѣихъ фракцій прощали всѣ излишества, отлично понимая, что не въ нихъ суть.

Во всякомъ случаѣ борьба *Современника* съ *Русскимъ Словомъ* имѣетъ значеніе въ русской литературѣ вовсе не такое маловажное, какъ это кажется многимъ, и она ждетъ еще своей исторіи. Прекращеніе обоихъ журналовъ: *Современника* и *Русскаго Слова* въ 1866 году положило конецъ этой борьбѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ положило конецъ и обаянію ея героевъ. Вообще 1866 годъ былъ кризисомъ, послѣ котораго прежніе представители критики и полемики сходятъ со сцены, а на сцену выступаютъ новые. Писаревъ сразу какъ-то стушевался,

войдя въ обновленныя *Отечественныя Записки*, и вскорѣ умеръ, а Антоновичъ, разорвавъ съ Некрасовымъ, въ свою очередь потерялъ свой прежній престижъ.

Разрывъ Антоновича съ Некрасовымъ—явленіе сложное, обусловливается разными причинами, и не пришло еще время для всесторонняго историческаго разсмотрѣнія его. Мы обратимъ вниманіе лишь вотъ на какое бросающееся въ глаза обстоятельство, составляющее, по нашему мнѣнію, внутреннюю философію этого факта. Замѣчательно здѣсь то странное противорѣчіе, что тотъ-же Антоновичъ, который нападалъ на «вислоухихъ» *Слова* преимущественно за ихъ политическій индифферентизмъ и индивидуально-нравственные идеалы, самъ въ своей распрѣ съ Некрасовымъ всталъ на ту-же индивидуально-нравственную почву. Съ своей точки зрѣнія онъ былъ вполнѣ правъ, такъ какъ дѣйствительно послѣ всего того, что̀ онъ писалъ о Краевскомъ въ *Современникѣ*, входить съ нимъ въ какія-бы ни было сдѣлки и тѣмъ болѣе сотрудничать въ издаваемомъ имъ журналѣ—могло нравственно претить Антоновичу, казаться ему и постыднымъ, и унизительнымъ. Правъ онъ былъ передъ своею совѣстью и въ томъ отношеніи, что, разъ усвоивъ идеалъ кооперативнаго труда, онъ не соглашался вступать въ какой-либо журналъ, иначе какъ на правахъ полномочнаго соиздателя. Но онъ не принялъ при этомъ во вниманіе политическихъ условій даннаго момента и не сообразилъ, что еслибы всѣ прочіе сотрудники *Современника* подобно ему заботились лишь о нравственной чистотѣ и вѣрности своимъ идеаламъ, партія была бы лишена всякой возможности имѣть свой органъ, и общество гораздо болѣе выиграло отъ перехода *Отечественныхъ Записокъ* къ Некрасову, чѣмъ еслибы среди него осталось нѣсколько талантливыхъ писателей безъ дѣла, и имъ только и оставалось-бы, что въ сознаніи своего нравственнаго совершенства вертѣть палецъ вокругъ пальца.

Замѣчательно, что, разъ вступивъ на индивидуально-нравственную почву, Антоновичъ въ самой жизни своей не замедлилъ послѣдовательно осуществить тотъ самый базаровскій типъ, который нѣкогда проповѣдывалъ Писаревъ и надъ которымъ критикъ *Современника* такъ безпощадно потѣшался:—онъ весь ушелъ въ занятія естественными науками, увлекшись геологіею и изучивши эту науку до такой спеціальности, что въ 1871 г. ему удалось сдѣлать довольно важное открытіе.

Участіе-же его въ различныхъ литературныхъ органахъ было послѣ 1866 г. очень рѣдко, случайно и мимолетно.

VI.

Послѣ Антоновича, вмѣстѣ съ переходомъ *Отечественныхъ Записокъ* подъ редакцію Некрасова, первое мѣсто въ критикѣ занялъ Николай Константиновичъ Михайловскій.

Михайловскій родился въ 1842 г. 15-го ноября въ Мещовскѣ, Калужской губерніи, въ бѣдной дворянской семьѣ. Образованіе получилъ въ Костромской гимназіи, затѣмъ въ Горномъ институтѣ. И въ гимназіи, и въ институтѣ онъ отличался сочиненіями на заданныя и самостоятельно выбранныя темы, составляя ихъ для себя и для другихъ. Въ 1860 году въ первый разъ выступилъ онъ печатно въ журналѣ Кремпина *Разсвѣтъ*, гдѣ была помѣщена кри-

тическая статейка его о появившемся въ *Современникѣ* отрывкѣ изъ романа Гончарова *Обрывъ,—Софія Николаевна Бѣловодова.*

Въ 1861 году Михайловскій принужденъ былъ выйти изъ Горнаго института по случаю школьной исторіи. Мечтая объ адвокатскомъ поприщѣ, онъ началъ было посѣщать лекціи перваго курса юридическаго факультета въ С.-Петербургскомъ университетѣ, но скоро пересталъ, бросивъ свои мечты объ адвокатствѣ и рѣшивши прожить и безъ диплома.

До 1865 года участіе Михайловскаго въ литературѣ было рѣдко и случайно. Изрѣдка пописывалъ онъ сначала въ *Современномъ Словѣ* Писаревскаго; затѣмъ въ *Якорѣ* Шульгина. Съ 1865-же года онъ посвятилъ себя всего литературѣ, принявъ постоянное участіе въ *Книжномъ Вѣстникѣ*, редактировавшемся Н. Ст. Курочкинымъ. По прекращеніи *Книжнаго Вѣстника* Михайловскому пришлось бѣдствовать, тщетно стараясь пристроиться къ *Дѣлу* Благосвѣтлова, къ *Гласному Суду* Артоболевскаго, *Современному Обозрѣнію* Тиблена и *Невскому Сборнику* Вл. Курочкина. Въ 1868 году Михайловскій принималъ участіе въ *Недѣлѣ*, редактировавшейся П. К. Конради, и лишь съ 1869 года, съ начала сотрудничества его въ *Отечественныхъ Запискахъ*, положеніе его упрочилось, особенно со смертью Некрасова, въ 1877 году, когда онъ вошелъ вмѣстѣ съ Елисѣевымъ и Салтыковымъ въ число соарендаторовъ *Отечественныхъ Записокъ.*



Н. К. Михайловскій.

Въ *Отечественныхъ Запискахъ* дебютировалъ онъ статьями: *Что такое прогрессъ* (Герб. Спенсеръ, Собраніе сочиненій), въ №№ 2, 9 и 11 1869 года, *По поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ* въ № 4 и 5 того-же года, *Аналогическій методъ въ общественной наукѣ* № 7, и пр. Изъ философо-публицистическихъ статей его позднѣйшаго времени упомянемъ, какъ наиболѣе замѣчательныя: *Теорія Дарвина и общественная наука* (*От. З.* 1870 г., №№ 1, 3, и 1871 г., № 1), *Органъ, недѣлимое, общество* (*От. З.* 1870, № 12), *Замѣтки о*

дарвинизмъ (*От. З.* 1871, № 12), *Что такое счастье?* (*От. З.* 1872, №№ 3, 4), *Борьба за индивидуальность, соціологическіе очерки* (*От. З.* 1875, № 10, 1876 г., №№ 1, 3, 6), *Вольница и подвижники, историческія параллели* (*От. З.* 1877, № 1), *Герои и толпа* (*От. З.* 1882, №№ 1, 2, 5). Изъ литературно-критическихъ статей его наиболѣе выдаются: *Суздальцы* и *Суздальская критика* (*От. З.* 1870, № 4), *Десница и шуйца гр. Л. Толстого* (*От. З.* 1875, №№ 5, 6, 9), *Жестокій талантъ* (о Ѳ. Достоевскомъ) (*От. З.* 1882, № 10), *О Тургеневѣ* (*От. З.* 1883, № 9), *О Глѣбѣ Успенскомъ* (*От. З.* 1883, № 12, и передовая статья къ полному собранію сочиненій Гл. Успенскаго, изд. Ф. Павленкова), *О Щедринѣ* (въ *Русск. Вѣд.* 1889 г.), *Ник. Вас. Шелгуновъ*—вступительная статья къ собранію «Сочиненій Н. Шелгунова» (изд. Ф. Павленкова 1890 г.), и проч. Сверхъ того рядъ критико-литературныхъ фельетоновъ въ *От. Запискахъ* и *Сѣв. Вѣстникѣ*, подъ псевдонимами: Профанъ, Иванъ Непомнящій, Темкинъ.

Чтобы понять значеніе Михайловскаго какъ философа, публициста и критика, нужно взять во вниманіе тотъ моментъ, въ который онъ выдвинулся,—конецъ шестидесятыхъ годовъ. Это было время, въ которое мы вступали въ новую фазу современной эпохи. Реформы шестидесятыхъ годовъ были почти всѣ уже совершены, и въ общественной жизни наступилъ моментъ полнаго затишья. Бойцы, нѣкогда ожесточенно боровшіеся, хотя и продолжали смотрѣть другъ на друга враждебно, ограничивались рѣдкою, вялою перестрѣлкою, считали убитыхъ и раненыхъ, отдавали отчетъ въ занятыхъ и потерянныхъ позиціяхъ и отдыхали. Въ обществѣ чувствовалось тяжелое изнеможеніе; хотя всѣми ощущался смутный страхъ при видѣ надвигающейся реакціи, но самый этотъ страхъ былъ вялый и апатичный, да и самая реакція была въ неопредѣленномъ состояніи, пугливо оглядывалась вокругъ въ нерѣшимости дѣлать или не дѣлать новые шаги назадъ. Но подъ наружнымъ затишьемъ общественной жизни таилось сильное умственное броженіе, явившееся результатомъ всего пережитаго. Все старое міросозерцаніе, начиная съ патріархальныхъ взглядовъ на міръ Божій нашихъ предковъ и кончая метафизическими умствованіями сороковыхъ годовъ, было расшатано, повержено, и приверженцы этого міросозерцанія отгрызались уже не научными или философскими доводами, а лишь грязными инсинуаціями криминальнаго свойства: не въ силахъ будучи возражать, они только и дѣлали, что кричали караулъ, сваливая въ одну груду вмѣстѣ съ молодыми, здоровыми и свѣжими отпрысками новыхъ идей всевозможныя заблужденія, возникавшія ежеминутно на почвѣ умственной незрѣлости и нравственной распущенности нашего общества. Сами приверженцы новаго міросозерцанія безразлично сваливали въ одну груду все, въ чемъ замѣчалась хотя тѣнь протеста противъ гнилого и отжившаго, будь этотъ протестъ вполнѣ лишенъ всякой осмысленности. Однимъ словомъ, это была эпоха полной умственной анархіи. Новыя реальныя идеи проповѣдывались и принимались по большей части въ видѣ прекрасныхъ, но отрывочныхъ афоризмовъ, безо всякой систематической связи и зрѣлой философской выработки. Каждый такой афоризмъ принимался съ громкими рукоплесканіями съ одной стороны, и съ криками ужаса—съ другой, и чѣмъ круче и смѣлѣе онъ ставился, тѣмъ болѣе возбуждалъ шума, а подъ конецъ дѣло дошло до того, что въ этомъ хаосѣ нельзя уже было ничего разобрать—истинно прогрессивнаго отъ ложнаго, пшеницы отъ плевелъ, и въ са-

момъ прогрессивномъ лагерѣ началось кулачное право, присущее каждой анархіи, въ которомъ, какъ это всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, своя своихъ не познаша и побиша. Полемика *Современника* съ *Русскимъ Словомъ*, Антоновича съ Писаревымъ, Зайцевымъ и Благосвѣтловымъ—была однимъ изъ яркихъ проявленій этого кулачнаго права. Конечно не ругательствами, площадною бранью и усиліями повергнуть другъ друга въ грязь можно было распутать всю эту путаницу взаимныхъ недоразумѣній. Здѣсь прежде всего былъ необходимъ свѣтъ знанія и философско-систематической мысли. Въ подобное-то смутное время какъ нельзя болѣе кстати было появленіе въ лицѣ Михайловскаго публициста, который обладалъ умомъ сильнымъ, свѣтлымъ, философски развитымъ и снабженнымъ богатою начитанностью, и принялъ на себя трудную и неблагодарную обязанность расчистить хаотическую груду отъ всего накопившагося въ ней мусора, собрать все, что было въ ней драгоцѣннаго, и облечь его въ стройную философскую систему.

На Михайловскаго часто сѣтовали за преобладаніе въ его статьяхъ философскаго элемента, за то, что онъ дѣйствуетъ болѣе на развитіе ума, чѣмъ на возбужденіе сердца и воли, что онъ—человѣкъ кабинетной мысли, а не практическаго дѣла, философствуетъ и обсуждаетъ, вмѣсто того чтобы встать во главѣ движенія практическимъ руководителемъ, и пр., и пр. Но всѣ подобныя сѣтованія совершенно излишни и обнаруживаютъ лишь непониманіе ни характера, ни потребностей времени, въ которое началась литературная дѣятельность Михайловскаго. Во главѣ какого практическаго движенія могъ встать Михайловскій въ такое время, когда не представлялось вокругъ ничего ни побуждающаго, ни допускающаго двигаться, а между тѣмъ въ виду была очень почтенная и необходимая работа систематизаціи новыхъ идей,—работа, отъ которой зависѣла вся будущность лагеря, къ которому Михайловскій принадлежалъ. И вотъ онъ принялся за эту работу, и въ первыхъ-же своихъ статьяхъ обнаружилъ въ себѣ человѣка, способнаго по всѣмъ своимъ какъ умственнымъ, такъ и нравственнымъ качествамъ совершить ее.

Главная сила таланта Михайловскаго заключается именно въ философски-воспитанномъ умѣ, обладающемъ при богатой эрудиціи непреоборимою діалектикою, всеразлагающимъ анализомъ и своеобразнымъ остроуміемъ, отличающимся не мишурнымъ блескомъ какихъ-либо кунстштюковъ и каламбурцевъ, основанныхъ на внѣшней игрѣ словъ, а на способности выставлять нелѣпости и безобразія во всемъ ихъ абсурдѣ. Убійственный огонь критическихъ и полемическихъ статей Михайловскаго вскорѣ послѣ появленія почтеннаго публициста на литературномъ поприщѣ сдѣлался страшнымъ не для однихъ записныхъ и заклятыхъ враговъ его лагеря, но и для многихъ мнимыхъ друзей, которые были въ глазахъ Михайловскаго вреднѣе самихъ враговъ въ томъ отношеніи, что портили дѣло, запутывали умы, и безъ того не твердые въ мышленіи, и подъ знаменемъ прогрессивныхъ идей и передовыхъ западныхъ авторитетовъ подносили русской публикѣ всякое гнилье. Желая очистить лагерь отъ этихъ мнимыхъ друго-враговъ (какъ выразился въ одной своей статьѣ Михайловскій), онъ, не ограничиваясь ими, предалъ глубокому анализу и западные авторитеты, чтобы и въ нихъ очистить пшеницу отъ плевелъ и научить русскую публику обращаться къ нимъ критически, не принимая каждое ихъ слово на вѣру. Его статьи о Спенсерѣ, о Дарвинѣ и вообще по соціологіи представляютъ цѣнный вкладъ въ науку,

и если-бы ихъ перевести на одинъ изъ иностранныхъ языковъ, онѣ не замедлили-бы доставить автору общеевропейскую извѣстность.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

I. Общая характеристика школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ; ея отношеніе къ вѣку и значеніе.—II. Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ, какъ глава этой школы; происхожденіе Тургенева; его родители.—III. Дѣтство; университетское образованіе; путешествіе за-границу послѣ университета.—IV. Первые шаги на литературномъ поприщѣ. Стихотворенія и первыя антиромантическія повѣсти.—V. *Записки Охотника*. Ссылка. Дальнѣйшіе факты жизни Тургенева до его смерти.—VI. Характеристика самаго цвѣтущаго періода дѣятельности Тургенева.—VII. Романъ *Отцы и Дѣти* и характеристика четвертаго, послѣдняго, періода дѣятельности Тургенева.—VIII. Общее значеніе Тургенева какъ художника. Его политическія и эстетическія воззрѣнія.

I.

Самымъ крупнымъ явленіемъ въ области изящной литературы въ разсматриваемую нами эпоху является безъ сомнѣнія школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Школа эта, представляющая цѣлую плеяду могучихъ талантовъ, обогатившихъ русскую литературу несмѣтнымъ количествомъ первостепенныхъ произведеній, безспорно является замѣчательнѣйшимъ явленіемъ не только въ русской жизни, но и въ обще-европейской. Нѣтъ ничего удивительнаго, что Европа въ настоящее время взапуски переводитъ на всѣ свои языки произведенія этой школы, и чѣмъ болѣе ихъ переводитъ, тѣмъ болѣе удивляется ихъ совершенству, восхищается ихъ художественностью, проникается ихъ идейнымъ содержаніемъ, подражаетъ имъ,—и вообще ставитъ ихъ въ ряду высшихъ проявленій европейскаго искусства. Въ произведеніяхъ этихъ Европа увидѣла уже не одинъ младенческій лепетъ пробуждающагося генія, не одно талантливое отраженіе ея европейскихъ думъ, чувствъ и образовъ, а нѣчто зрѣлое, самостоятельно пережитое, органически произросшее на родной почвѣ и къ тому-же глубоко проникнутое такими высокими и гуманными идеями, которыя представляются завѣтною святынею всего человѣчества.

Этими своими достоинствами школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ и все великое, обязана тому, что она представляетъ собою явленіе сложное,—соединеніе въ одномъ всепоглощающемъ синтезѣ нѣсколькихъ теченій, которыя до того времени текли врозь и каждое само по себѣ страдало односторонностью.

Такъ, прежде всего въ этой школѣ какъ нельзя болѣе органически и счастливо соединились два теченія того времени: съ одной стороны пушкинская объективность, художественная созерцательность всего, что было въ русской жизни поэтичнаго, съ другой—отрицательно-сатирическая струя натуральной гоголевской школы, обращавшей главное вниманіе на несовершенства русской жизни. Каждое изъ этихъ теченій само по себѣ страдало односторонностью. Пушкинская художественная созерцательность, которой такъ восхищались

наши оппортунисты, могла обогатить русскую литературу рядомъ произведеній въ духѣ чистаго искусства, художественныхъ и поэтичныхъ, но имъ не доставало-бы того живого общественнаго значенія, которое имѣютъ произведенія беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Въ свою очередь отрицательно-сатирическое теченіе натуральной школы лишило-бы эти произведенія ихъ чарующихъ художественныхъ красотъ, придало-бы имъ тотъ слишкомъ сухой, черствый характеръ, какой имѣетъ обличительная литература конца пятидесятыхъ годовъ. Соединеніе-же обоихъ теченій повело за собою тотъ прекрасный результатъ, что русская жизнь въ этихъ произведеніяхъ рисуется всесторонне, во всѣхъ ея какъ мрачныхъ и отрицательныхъ явленіяхъ, такъ и въ прекрасныхъ и поэтичныхъ. При всемъ различіи въ индивидуальныхъ качествахъ и характерахъ беллетристовъ этой школы, произведенія ихъ имѣютъ много сходнаго между собою въ томъ отношеніи, что отъ большинства ихъ въ одинаковой степени пахнетъ деревней, благоуханіемъ широкихъ луговъ, пашенъ и тѣнистыхъ садовъ, окружавшихъ старинныя помѣщичьи усадьбы; во всѣхъ нихъ вы найдете массы ландшафтовъ сельской природы и цѣлую галлерею женскихъ типовъ,—одинъ другого плѣнительнѣе и граціознѣе; большинство ихъ преисполнено вмѣстѣ съ тѣмъ юмора, иногда саркастически горькаго, большею-же частью добродушно-веселаго, вполнѣ народнаго.

Но этимъ соединеніемъ двухъ теченій русской поэзіи не ограничилась школа беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Въ ней не замедлило отразиться и то соціально-нравственное движеніе, то броженіе идей, какое мы видѣли въ передовыхъ интеллигентныхъ слояхъ нашего общества въ сороковые и пятидесятые годы. Такъ какъ движеніе это совершалось подъ вліяніемъ французской литературы тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, въ послѣдней-же наиболѣе всего передовыя идеи вѣка выражались въ школѣ романтиковъ, во главѣ которыхъ стояли Викторъ Гюго и Жоржъ Зандъ, то эти два писателя наибольшее вліяніе оказали на беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но необходимо поставить на видъ, что вліяніе это было чисто умственное и нравственное, а отнюдь не художественное; беллетристы сороковыхъ годовъ прониклись лишь тѣми гуманными и демократическими идеями, которыя проповѣдывали любимые ихъ беллетристы; но въ то-же время остались чужды того восторженнаго идеализма, которымъ проникнуты произведенія французскихъ романтиковъ, и избѣгли воплощеній новыхъ идеаловъ въ фантастическіе образы, какіе мы находимъ въ произведеніяхъ Виктора Гюго и Жоржъ Зандъ. Здѣсь вліяли съ одной стороны врожденныя сѣвернымъ народамъ трезвость мысли и наклонность къ натурализму; съ другой—то реальное направленіе, по которому безвозвратно пошла русская литература подъ вліяніемъ Пушкина и Гоголя. При такихъ условіяхъ вліяніе французскихъ романтиковъ на нашихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ выразилось въ томъ, что, проникшись ихъ идеалами, они, на основаніи этихъ идеаловъ, приступили къ анализу русской жизни, который и составляетъ главную силу и достоинство школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ.

Мы уже говорили выше, что анализъ основъ современныхъ обществъ, который составляетъ преобладающее явленіе XIX вѣка во всей Европѣ, по необходимости долженъ былъ въ нашей литературѣ принять наиболѣе рѣшительный, интенсивный характеръ, такъ какъ намъ нечего было жалѣть, сохранять, не передъ чѣмъ останавливаться; дѣйствительность была слишкомъ мрачна, бросаясь въ глаза массою безобразныхъ явленій. А тутъ еще присоединилась

реакція пятидесятыхъ годовъ, когда эти безобразныя явленія усилились и количественно, и качественно; въ то-же время по всей Европѣ водворилась безпросвѣтная мгла, которой не видѣли исхода.

При такихъ условіяхъ анализъ отрицательныхъ сторонъ русской жизни принялъ въ произведеніяхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ мрачный и разъѣдающій характеръ. Они утратили ту бодрость духа и жизнерадостность, какая отличаетъ многія первыя ихъ произведенія, писанныя до 1848 года, и усвоили скептическій взглядъ на жизнь и людей подъ-часъ вполнѣ пессимистическаго характера. Привычка анализировать, разлагать явленія жизни и обращать главное вниманіе на отрицательныя ихъ стороны дошла до того, что, подобно Гоголю, беллетристы сороковыхъ годовъ утратили способность изображать идеальные типы. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что всѣ попытки ихъ въ этомъ родѣ (Инсаровъ, Штольцъ) отличаются одинаковой неудачей: идеальные типы выходятъ у нихъ не живыми людьми, а отвлеченными фигурами, натянутыми, безжизненными и неестественными. Это-же преобладаніе въ беллетристахъ сороковыхъ годовъ скептическаго анализа и отрицательнаго отношенія къ жизни повело къ тому, что въ шестидесятые годы, когда наступила эпоха новыхъ людей, новыхъ идей и идеаловъ, когда восторженные послѣдователи этого движенія ожидали отъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, что они не замедлятъ встать во главѣ его, облекутъ въ величественные и блестящіе образы новые идеалы, беллетристы обманули общія ожиданія: они отнеслись и къ новому движенію, и къ новымъ людямъ съ тѣмъ-же скептическимъ отрицаніемъ, съ какимъ привыкли относиться ко всѣмъ явленіямъ жизни.

Всѣ они были вслѣдствіе этого обвинены въ измѣнѣ, ренегатствѣ, но это совершенно неправильно и напрасно. На самомъ дѣлѣ измѣнилось время, измѣнились требованія; беллетристы-же сороковыхъ годовъ оттого именно и встали въ разладъ съ движеніемъ, что ни мало не измѣнились, а остались тѣми-же, чѣмъ были и прежде. Здѣсь произошло удивительное qui-pro-quo въ томъ отношеніи, что неисправимые скептики и отрицатели бросили обвиненіе въ отрицаніи и нигилизмѣ горячимъ энтузіастамъ, требовавшимъ положительнаго и восторженнаго отношенія къ ихъ идеямъ, стремленіямъ и дѣйствіямъ.

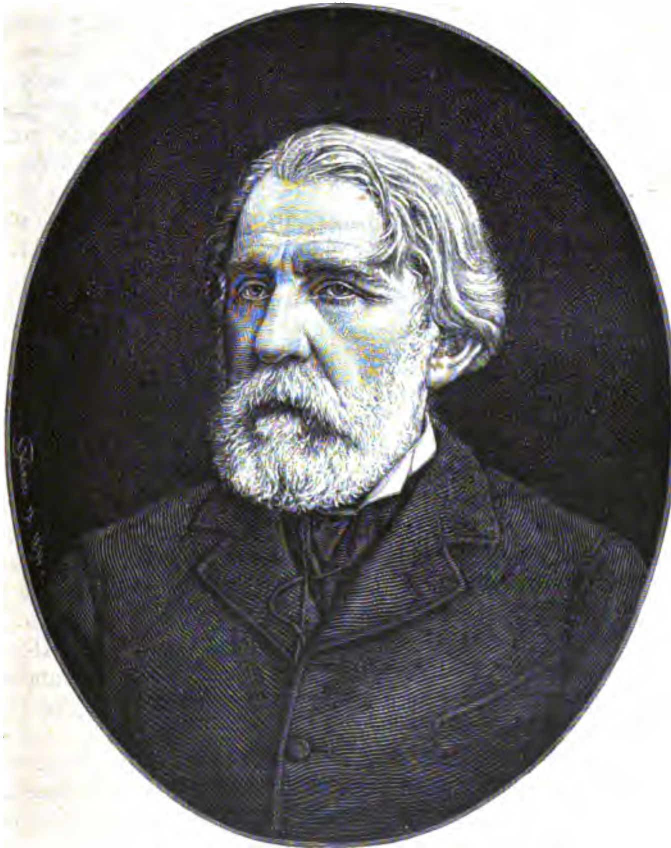
Беллетристы сороковыхъ годовъ въ этомъ отношеніи заслуживаютъ тѣмъ бо̀льшаго снисхожденія, что ихъ скептически-отрицательное отношеніе къ жизни имѣло отнюдь не отвлеченно-безцѣльный характеръ отрицанія ради отрицанія, а напротивъ того глубокій, гражданскій, демократическій смыслъ. Главнымъ образомъ они обрушивались на тѣ пороки и слабости русской интеллигенціи, какіе развились на почвѣ крѣпостного права и паразитной жизни на счетъ труда крестьянъ. При этомъ они бичевали не одни только варварскія и звѣрскія злоупотребленія крѣпостнымъ правомъ, но осмѣивали постоянно нравственное растлѣніе въ видѣ безхарактерности, нервной развинченности, разлада словъ и дѣлъ, сластолюбія, тщеславія, рисовки—въ лучшихъ передовыхъ и гуманныхъ представителяхъ помѣщичьей среды. Въ этомъ отношеніи безпощадный анализъ ихъ, имѣя громадное значеніе во всемъ ходѣ общественнаго движенія шестидесятыхъ годовъ, въ то-же время поражаетъ васъ глубокою и безпримѣрною въ исторіи искренностью самобичеванія. Можно сказать, что цѣлый слой общества, передовой и господствовавшій въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей,—беллетристовъ сороковыхъ годовъ,—всенародно покаялся въ своихъ праотческихъ грѣхахъ и наслѣдственныхъ порокахъ и пре-

далъ себя полному отрицанію, и, повторяя мѣткое выраженіе Писарева, беллетристы сороковыхъ годовъ болѣе, чѣмъ кто-либо изъ современныхъ имъ писателей, уподоблялись дровосѣкамъ, безстрашно подпиливавшимъ сукъ, на которомъ сами сидѣли.

Этимъ своимъ подвигомъ они безспорно заслужили ту всемірную славу, какой нынѣ пользуются.

II.

Во главѣ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ по всѣмъ правамъ,—по обширности таланта, по высотѣ философскаго образованія, по широтѣ захвата



И. С. Тургеневъ.

русской жизни, по разнообразію содержанія своихъ произведеній, по ихъ общественному значенію, наконецъ по высотѣ чарующей художественности,—ставится Иванъ Сергѣевичъ Тургеневъ.

И. С. Тургеневъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду, вышедшему

изъ Золотой Орды и нерѣдко упоминаемому въ исторіи съ XVI-го вѣка. Отецъ Тургенева, Сергѣй Николаевичъ, служилъ въ Елисаветградскомъ кирасирскомъ полку и женился въ Орлѣ на дочери богатаго помѣщика, Варварѣ Петровнѣ Лутовиновой. Первымъ плодомъ этого брака былъ старшій братъ Тургенева, Николай; вторымъ былъ Иванъ, родившійся черезъ два года послѣ старшаго, 28-го октября 1818 года, въ Орлѣ, гдѣ стоялъ полкъ его отца.

Вскорѣ послѣ рожденія сына Ивана отецъ вышелъ въ отставку съ чиномъ полковника и поселился въ имѣніи жены, селѣ Спасскомъ-Лутовиновѣ, въ десяти верстахъ отъ Мценска, Орловской губерніи. Тамъ провелъ Тургеневъ первые годы своего дѣтства. Но мало свѣтлыхъ впечатлѣній вынесъ онъ изъ дѣтскихъ лѣтъ. Семейство Тургеневыхъ представляло собою весьма рѣзко выраженный типъ старинныхъ помѣщичьихъ нравовъ. Ни одна нѣжная, сердечная черта не смягчала суровости этихъ нравовъ, всецѣло основанныхъ на строгомъ и безпощадномъ деспотизмѣ, тяготѣвшемъ не только надъ крѣпостными слугами, но и надъ младшими членами семьи. Всѣ ежеминутно трепетали въ домѣ, и каждый день, каждый часъ ждали какой-нибудь жестокой расправы. Прибавьте къ этому, что и въ самыхъ нѣдрахъ семьи таился непримиримый разладъ: отецъ Тургенева, типъ котораго изображенъ въ романѣ *Первая любовь*, не любилъ жены, будучи значительно моложе ея и женившись по разсчету. «Матушка моя,—повѣствуетъ Тургеневъ въ этомъ романѣ,—вела печальную жизнь: безпрестанно волновалась, ревновала, сердилась, но не въ присутствіи отца; она очень его боялась, а онъ держался строго, холодно, отдаленно. Я не видалъ человѣка болѣе изысканно-спокойнаго, самоувѣреннаго и самовластнаго! Къ тому-же онъ отличался атлетическою фигурою и медвѣжьей силою».

Что касается матери Тургенева, то портретъ ея въ свою очередь изображенъ имъ въ повѣсти *Пунинъ и Бабуринъ*. Она была очень несчастна въ дѣтствѣ и юности. Сначала въ домѣ матери она терпѣла отъ отчима, который ненавидѣлъ ее, заставлялъ подчиняться своимъ капризамъ, билъ ее, унижалъ и срывалъ на ней свой буйный хмель. Когда-же ей минуло 16 лѣтъ, онъ началъ преслѣдовать ее иначе, грозясь подвергнуть жестокому истязанію въ случаѣ неблагосклонности; во избѣжаніе позора Варвара Петровна должна была бѣжать изъ дома отчима и искать пріюта въ домѣ дяди. Но и здѣсь ей было не легче: дядя былъ человѣкъ суровый и скупой, держалъ ее въ ежевыхъ рукавицахъ, и она жила почти взаперти въ Спасскомъ. Послѣ смерти его она вышла за мужъ, будучи уже за тридцать лѣтъ, и не нашла въ мужѣ ни любви, ни нѣжности; онъ внушалъ ей одинъ страхъ и мучительную ревность вслѣдствіе частыхъ измѣнъ.

Когда онъ умеръ, она осталась единственною наслѣдницею огромнаго имущества, и, какъ это часто бываетъ съ натурами, долго находившимися подъ гнетомъ, она почувствовала жажду власти, начала проявлять ее на всемъ вольномъ просторѣ и обратилась въ неукротимую самодурку съ развинченными нервами, вѣчными капризами и фантастическими причудами. Всѣ ходили передъ нею на цыпочкахъ и трепетали. Стукъ ножей или ключей въ сосѣдней комнатѣ выводилъ ее изъ себя, и при малѣйшемъ возраженіи она впадала въ истерику. Самодурство ея доходило до того, что однажды она запретила домашнимъ праздновать пасху и не велѣла звонить въ церкви въ колокола. Можно представить себѣ, какъ терпѣли отъ нея слуги и крестьяне, когда даже сыно-

вей своихъ она вооружила противъ себя своимъ деспотизмомъ. Только съ совершеннолѣтіемъ они эмансипировались изъ-подъ ея ига, встали на ноги и потребовали полнаго освобожденія изъ-подъ ея опеки не только нравственнаго, но и матеріальнаго. Но и тутъ, желая все-таки удержать колеблющуюся власть надъ сыновьями, она прибѣгла къ грубому обману: подарила имъ по имѣнію и въ то-же время отдала тайный приказъ вывезти изъ имѣній весь хлѣбъ и тѣмъ обезцѣнить ихъ. И дошло дѣло до того, что ея любимецъ, которымъ она наиболѣе гордилась, баловала и души не чаяла, Иванъ Сергѣевичъ, обратился къ ней со словами страшнаго приговора:—«Кого ты не мучаешь? Всѣхъ!—говорилъ онъ.—Кто возлѣ тебя свободно дышетъ? Кто возлѣ тебя счастливъ? Вспомни только Полякова, Агафью... всѣхъ, кого ты преслѣдовала, ссылала, всѣ они могли-бы любить тебя, всѣ бы готовы были жизнь за тебя отдать, если-бы... а ты всѣхъ дѣлаешь несчастными!..»

Вотъ какія вынесъ Тургеневъ изъ своего дѣтства впечатлѣнія, сдѣлавшія его непримиримымъ врагомъ крѣпостного права. Рисуя въ *Запискахъ Охотника* самодурства помѣщиковъ надъ безотвѣтными крѣпостными, Тургеневъ могъ писать прямо на основаніи собственныхъ воспоминаній о людяхъ ему близкихъ; такъ, въ повѣсти *Муму* разсказанъ эпизодъ, случившійся въ родительскомъ домѣ Тургенева.

III.

Воспитаніе Тургенева шло по обычаю того времени подъ присмотромъ безпрестанно мѣнявшихся гувернеровъ и учителей—швейцарцевъ и нѣмцевъ, дядекъ и мамокъ. Въ воспитаніи главную роль играли языки французскій и нѣмецкій, которымъ Тургеневъ научился въ раннемъ дѣтствѣ. На русскій языкъ обращали мало вниманія. Учителемъ, который впервые заинтересовалъ мальчика произведеніемъ русской литературы, былъ крѣпостной камердинеръ его матери, читавшій ему украдкой гдѣ-нибудь въ саду или въ дальней комнатѣ *Россіаду* Хераскова, подобно Пунину, повторяя каждый стихъ сначала «на-черно» скороговоркою, а потомъ «на-бѣло» громогласно, съ необыкновенною торжественностью.

Въ началѣ 1827 года Тургеневы, въ видахъ дальнѣйшаго воспитанія дѣтей, переселились въ Москву, гдѣ купили себѣ домъ на Самотекѣ. Тургеневъ былъ отданъ сначала въ частный пансіонъ Вейденгамера, а потомъ жилъ одно время пансіонеромъ-же у директора Лазаревскаго института, Краузе, который училъ его англійскому языку. Кромѣ того къ университетскому экзамену готовилъ Тургенева извѣстный поэтъ Иванъ Петровичъ Клюшниковъ, въ то время еще молодой студентъ.

Въ 1833 году, будучи всего 15-ти лѣтъ отъ роду, Тургеневъ поступилъ на словесный факультетъ Московскаго университета. Но здѣсь онъ пробылъ всего одинъ годъ. Старшій его братъ поступилъ на службу въ гвардейскую артиллерію въ Петербургѣ; туда-же переѣхала и вся сёмья, такъ что и Тургеневу пришлось перейти въ Петербургскій университетъ въ 1834 году; въ томъ-же году скончался его отецъ.

Не много вынесъ Тургеневъ изъ Петербургскаго университета, гдѣ лучшимъ профессоромъ въ то время считался М. С. Куторга, а затѣмъ изъ наиболѣе выдающихся были: П. А. Плетневъ, А. В. Никитенко и А. А. Фишеръ.

Живя въ Петербургѣ и посѣщая университетскія лекціи, Тургеневъ вмѣстѣ съ тѣмъ бралъ и частные уроки по древнимъ языкамъ у преподавателя Петропавловской школы Вальтера, который впродолженіе двухъ лѣтъ (1835—37) читалъ съ нимъ Горація, Тацита, Ѳукидида, Софокла и другихъ классиковъ. По свидѣтельству Вальтера, молодой Тургеневъ былъ необыкновенно прилежнымъ ученикомъ. Онъ ревностно писалъ задаваемыя ему сочиненія и работалъ съ усердіемъ настоящаго нѣмецкаго студента. Уроки давались съ необыкновенною аккуратностью: одно только могло прервать ихъ,—это охота, къ которой Тургеневъ съ молодости сильно пристратился, и впродолженіе многихъ десятковъ лѣтъ она была для него любимымъ развлеченіемъ.

Въ 1836 году Тургеневъ кончилъ университетскій курсъ съ званіемъ дѣйствительнаго студента (курсъ въ то время былъ трехлѣтній), а въ слѣдующемъ, 1837 году, выдержалъ экзаменъ на степень кандидата. Уже на III курсѣ университета Тургеневъ началъ производить первые опыты по изящной словесности, конечно сначала стихами. Такъ, онъ написалъ фантастическую драму пятистопными ямбами, подъ заглавіемъ *Стеніо*, — произведеніе, по отзыву самого Тургенева, «совершенно нелѣпое, въ которомъ съ дѣтскою неумѣлостью выражалось рабское подражаніе байроновскому *Манфреду*». Тургеневъ представилъ свою пьесу на разсмотрѣніе Плетневу; тотъ отечески побранилъ студента, что онъ тратитъ время на такіе пустяки; но все-таки замѣтилъ, что въ молодомъ авторѣ «что-то есть», обласкалъ его и пригласилъ на свои литературные вечера. Обрадованный юноша отдалъ Плетневу нѣсколько стихотвореній, изъ которыхъ тотъ выбралъ два и, годъ спустя (1838), напечаталъ безъ подписи автора въ пушкинскомъ *Современникѣ*. Въ первомъ изъ нихъ воспѣвался старый дубъ: «это—первая моя вещь, явившаяся въ печати»—говоритъ Тургеневъ въ *Воспоминаніяхъ*.

Окончивъ университетскій курсъ, Тургеневъ весною 1838 года отправился въ Берлинъ «доучиваться». Онъ ѣхалъ, какъ всѣ ѣздили въ то время за-границу, моремъ въ Штетинъ на пароходѣ «Николай I», который сгорѣлъ въ виду Травемюнде, причемъ жизнь Тургенева подверглась опасности. Вотъ что говоритъ онъ въ своихъ *Воспоминаніяхъ* о пребываніи въ Берлинѣ:

«Окончивъ курсъ по филологическому факультету С.-Петербургскаго университета въ 1837 году, я весною 1838 г. отправился доучиваться въ Берлинъ. Мнѣ было всего 19 лѣтъ; объ этой поѣздкѣ я мечталъ давно. Я былъ убѣжденъ, что въ Россіи возможно только набраться нѣкоторыхъ приготовительныхъ свѣдѣній, но что источникъ настоящаго знанія находится за-границей. Изъ числа тогдашнихъ преподавателей С.-Петербургскаго университета не было ни одного, который-бы могъ поколебать во мнѣ это убѣжденіе; впрочемъ они сами были имъ проникнуты; его придерживалось и министерство, во главѣ котораго стоялъ графъ Уваровъ,—посылавшее на свой счетъ молодыхъ людей въ нѣмецкіе университеты. Въ Берлинѣ я прожилъ (въ два періода) около двухъ лѣтъ. Изъ числа русскихъ, слушавшихъ университетскія лекціи, назову: втеченіе перваго года—Н. Станкевича, Грановскаго, Фролова; втеченіе второго—столь извѣстнаго впослѣдствіи М. Бакунина. Я занимался философіей, древними языками, исторіей и съ особеннымъ рвеніемъ изучалъ Гегеля подъ руководствомъ Вердера. Въ доказательство того, какъ недостаточно было образованіе, полученное въ то время въ нашихъ высшихъ заведеніяхъ, приведу слѣдующій фактъ: я слушалъ въ Берлинѣ латинскія древности у Цумпта, исторію греческой литературы—у Бока, а на дому принужденъ былъ зубрить латинскую грамматику и греческую, которыя зналъ плохо. И я былъ не изъ худшихъ кандидатовъ».

Къ этой эпохѣ относится выработка какъ міросозерцанія вообще, такъ и политическихъ убѣжденій Тургенева. Масса новыхъ живыхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ поѣздки за-границу, нѣмецкая наука и сближеніе съ такими

людьми, какъ Бакунинъ, Станкевичъ, Грановскій, не могли не содѣйствовать духовному перевороту, который изъ молодого барчука, преданнаго всѣмъ традиціямъ дѣтства, сдѣлалъ борца за свободу. Вотъ какъ характеризуетъ самъ Тургеневъ этотъ многознаменательный переворотъ:

«Тотъ бытъ, та среда, и особенно та полоса ея, если можно такъ выразиться, къ которой я принадлежалъ, полоса помѣщичья, крѣпостная, не представляли ничего такого, что могло-бы удержать меня. Напротивъ, почти все, что̀ я видѣлъ вокругъ себя, возбуждало во мнѣ чувства смущенія, негодованія, отвращенія наконецъ. Долго колебаться я не могъ. Надобно было либо покориться и смиренно побрести общей колеей по избитой дорогѣ, либо отвернуться разомъ, оттолкнуть отъ себя «всѣхъ и вся», даже рискуя потерять многое, что̀ было дорого и близко моему сердцу. Я такъ и сдѣлалъ.. Я бросился внизъ головою въ «нѣмецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконецъ вынырнулъ изъ его волнъ, — я все-таки очутился «западникомъ» и остался имъ навсегда.

«Мнѣ и въ голову не можетъ придти осуждать тѣхъ изъ моихъ сверстниковъ, которые другимъ, болѣе отрицательнымъ, путемъ достигли той свободы, того сознанія, къ которымъ я стремился. Я хочу только заявить, что я другого пути предъ собою не видѣлъ. Я не могъ дышать однимъ воздухомъ, оставаться рядомъ съ тѣмъ, что я возненавидѣлъ; для этого у меня вѣроятно недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мнѣ необходимо нужно было удалиться отъ моего врага затѣмъ, чтобы изъ самой моей дали сильнѣе напасть на него. Въ моихъ глазахъ врагъ этотъ имѣлъ опредѣленный образъ, носилъ извѣстное имя: врагъ этотъ былъ—крѣпостное право. Подъ этимъ именемъ я собралъ и сосредоточилъ все, противъ чего я рѣшился бороться до конца, съ чѣмъ я поклялся никогда не примиряться. Это была моя аннибалловская клятва; и не я одинъ далъ ее себѣ тогда. Я и на Западъ ушелъ для того, чтобы лучше ее исполнить»...

IV.

Въ 1841 году, вернувшись изъ за-границы, Тургеневъ поѣхалъ въ Москву держать экзаменъ на магистра философіи, но это оказалось невозможнымъ, такъ какъ каѳедры философіи въ Москвѣ не было. Не оставляя мыслей объ ученой карьерѣ, Тургеневъ поѣхалъ въ Петербургъ, но здѣсь ему пришлось неожиданно махнуть рукой на свои мечты и поступить (1842 г.) чиновникомъ особыхъ порученій въ канцелярію министра внутреннихъ дѣлъ, Л. А. Перовскаго. Это произошло вслѣдствіе размолвки съ матерью, весьма ограничившей средства къ его существованію.

Въ канцеляріи Тургеневъ занимался не столько службою, сколько чтеніемъ романовъ Жоржъ Занда и писаніемъ стиховъ. Это былъ романтическій періодъ жизни Тургенева: корча изъ себя байроновскаго героя и заслуживъ за это отъ Герцена прозвище «позера», онъ удивлялъ петербургское общество эксцентричными выходками и необузданно-смѣлыми рѣчами. Въ это-же время въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали являться мелкія стихотворенія его, а въ началѣ 1843 года Тургеневъ напечаталъ отдѣльною книжкою поэму *Параша*, подписавъ ее буквами Т. Л. (Тургеневъ-Лутовиновъ).

Параша обратила на себя вниманіе публики, и Бѣлинскій посвятилъ ей статью, въ которой призналъ въ Тургеневѣ необыкновенный поэтическій талантъ, вѣрную наблюдательность, глубокую мысль, изящную и тонкую иронію, а что̀ наиболѣе знаменательно—*призналъ сына нашего времени, носящаго въ груди своей всѣ скорби и вопросы его.*

И дѣйствительно, несмотря на увлеченія автора романтическими идеалами, васъ поражаетъ въ *Парашѣ* реальное чутье русской жизни, и поэма является

развѣнчаніемъ тѣхъ самыхъ романтическихъ идеаловъ, которымъ Тургеневъ поклонялся. Судя по поэтическому началу поэмы, особенно-же плѣнительному образу героини, о которой самъ авторъ говоритъ, что, какъ ему казалось, *«ей суждено страданій въ жизни испытать не мало»*, можно было думать, что авторъ изобразитъ рядъ ужасныхъ романтическихъ страданій. Ожиданія эти еще болѣе подтверждались встрѣчей Параши сь героемъ при необыкновенныхъ романтическихъ обстоятельствахъ, и къ тому-же герой обѣщалъ оказаться чѣмъ-то вродѣ Печорина или Евгенія Онѣгина. И вдругъ поэма кончается самымъ прозаическимъ сватовствомъ и помѣщичьимъ бракомъ, и когда авторъ встрѣтилъ своихъ героевъ четыре года спустя, онъ нашелъ, что романтическій герой «какъ-то странно потолстѣлъ», а идеальная Параша въ свою очередь обратилась въ самую прозаическую Прасковью Николаевну, и жизнь ея катилась, «какъ ручеекъ извилистый и плавный», и разочарованный авторъ иронически восклицаетъ:

Но—Боже! То-ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмого обожанья,
Ея душѣ я предрекалъ года
Святого, благороднаго страданья!
Съ надеждами разставшись навсегда,
Свыкался я съ суровымъ отчужденьемъ,
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ
Глядѣлъ, какъ на любимую звѣзду...
И что-жъ? Я былъ обманутъ такъ невинно,
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,
Что въ истинѣ своихъ желаній я
Сталъ сомнѣваться, милые друзья...

Вотъ въ этой именно ироніи, въ этомъ сведеніи поэтически-романтическихъ образовъ къ пошлой прозѣ помѣщичьяго прозябанія и ожирѣнія на даровыхъ хлѣбахъ и заключалось то новое, что́ дѣлало Тургенева «сыномъ своего времени, носящимъ въ груди своей всѣ скорби и вопросы его».

Такими-же новыми вѣяніями исполнены и всѣ прочія произведенія Тургенева этого времени. Такъ, въ поэмѣ *Разговоръ* (1845 года) Тургеневъ изобразилъ свое поколѣніе, людей сороковыхъ годовъ въ сопоставленіи съ людьми поколѣнія двадцатыхъ годовъ. Здѣсь мы видимъ уже то самое раздѣленіе людей на Донъ-Кихотовъ и Гамлетовъ, которое проходитъ черезъ всѣ произведенія Тургенева и впослѣдствіи было формулировано имъ въ публичной лекціи, читанной имъ въ Петербургѣ въ 1860 году. Поколѣніе двадцатыхъ годовъ, съ его жаждой кипучей дѣятельности и непосредственной отдачею страстямъ и стремленіямъ, представляется передъ нами въ полномъ контрастѣ съ людьми сороковыхъ годовъ, изъѣденными горькими рефлексіями, исполненными сомнѣній и холоднаго отчаянія.

Наконецъ въ поэмѣ *Андрей* (1845 г.), лишь по стихотворной формѣ отличающейся отъ мелкихъ повѣстей Тургенева вродѣ хотя-бы *Фауста*, авторъ затрогиваетъ впервые ту тему отношенія свободной любви къ семейному долгу, къ которой такъ часто обращались беллетристы сороковыхъ годовъ.

Что касается мелкихъ стихотвореній, появившихся втеченіе сороковыхъ годовъ, то большинство ихъ представляетъ тѣ картины природы, которыми такъ славился Тургеневъ впродолженіе всей своей дѣятельности. Въ стихотворной формѣ эти картины получаютъ еще бо́льшую силу, прелесть и колоритность.

Вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ *Параши* Тургеневъ сошелся съ Бѣлинскимъ, поразивъ его оригинальностью и независимостью своихъ воззрѣній, и оказалъ ему большое содѣйствіе въ уясненіи философіи Гегеля; съ другой стороны вліяніе Бѣлинскаго, о которомъ Тургеневъ до самой смерти сохранялъ благоговѣйную память, окончательно опредѣлило дальнѣйшее направленіе дѣятельности Тургенева. Въ то-же время сошелся Тургеневъ и съ молодыми литераторами, группировавшимися вокругъ Бѣлинскаго,—К. Д. Кавелинымъ, Н. А. Некрасовымъ, И. А. Гончаровымъ, Д. В. Григоровичемъ, И. И. Панаевымъ, П. В. Анненковымъ и пр.

Первымъ появившимся въ свѣтъ прозаическимъ произведеніемъ Тургенева былъ драматическій очеркъ въ одномъ дѣйствіи изъ испанской жизни, подъ заглавіемъ *Неосторожность* (*От. Зап.* 1843 г., № 10). Въ слѣдующемъ году тамъ-же была напечатана первая повѣсть его *Андрей Колосовъ.* Въ *Петербургскомъ Сборникѣ*, издаваемомъ Некрасовымъ (1846), кромѣ юмористической поэмы въ стихахъ *Помѣщикъ*, была помѣщена повѣсть *Три портрета*; въ первой-же книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* 1847 г., появилась повѣсть *Бретеръ.*

Въ повѣсти *Андрей Колосовъ* Тургеневъ значительно шагнулъ впередъ отъ своего вѣка, изобразивши въ своемъ «необыкновенномъ» героѣ разночинца съ непосредственною и свободною отдачею страсти, скорѣе подъ-стать шестидесятымъ годамъ, чѣмъ сороковымъ. Оттого, можетъ быть, повѣсть эта и прошла почти незамѣченною въ свое время.

Въ остальныхъ-же двухъ повѣстяхъ мы видимъ то-же стремленіе изъ-подъ мишурной оболочки романтическаго типа обнаружить печальную и убогую русскую дѣйствительность. Такъ напримѣръ, чѣмъ не герой въ байроновскомъ духѣ Лучиновъ, одаренный необыкновенной силой воли, страстный и разсчетливый, терпѣливый и смѣлый, скрытный до чрезвычайности и очаровательно, обаятельно любезный? Но при всѣхъ этихъ эффектныхъ качествахъ, вы видите вдругъ такой мелкій и черствый эгоизмъ и такую душевную низость, какіе никакъ не пристали къ романтическимъ героямъ. Въ самомъ дѣлѣ, свойственно-ли такимъ героямъ воровство отцовскихъ денегъ или сваливаніе на ближняго своего грѣха обольщенія сироты и затѣмъ убійство на дуэли почти безоружнаго человѣка ради прикрытія семейнаго позора. Сквозь романтическую оболочку такъ и сквозитъ здѣсь низкій нравственный уровень русской дворянской среды XVIII вѣка.

О *Бретерѣ* и говорить нечего. Проливающій кровь изъ-за пустяковъ въ своихъ безпрерывныхъ дуэляхъ, хищный герой этой повѣсти съ первой-же страницы и до послѣдней обнаруживаетъ мелко самолюбивую, грубо циническую и дрянную душонку армейскаго бурбона.

V.

Эти первые опыты не удовлетворяли Тургенева, и онъ готовъ былъ бросить писательство и самую Россію, какъ вдругъ общее вниманіе публики было привлечено небольшимъ разсказомъ *Хорь и Калинычь*, напечатанномъ въ первой книжкѣ возобновленнаго Некрасовымъ *Современника* въ 1847 году, въ очень скромномъ отдѣлѣ *Смѣси.* Всѣ заговорили о талантливомъ, проникнутомъ

глубокою симпатіею къ мужику, разсказѣ неизвѣстнаго автора; каждый старался узнать имя писателя, скрывавшагося подъ таинственными иниціалами Т. Л.

Этотъ неожиданный успѣхъ возвратилъ Тургенева къ литературѣ и побудилъ его продолжать *Записки Охотника*, и вотъ, начиная съ 1847 года по 1851 г., слѣдуетъ въ *Современникѣ* рядъ разсказовъ, извѣстныхъ подъ этимъ заглавіемъ и вышедшихъ въ началѣ 1852 года отдѣльнымъ изданіемъ. Писаны *Записки Охотника* за-границею, куда Тургеневъ уѣхалъ въ 1848 г., послѣ смерти Бѣлинскаго, чтобы никогда болѣе не возвращаться на родину,—такое мрачное впечатлѣніе производила на Тургенева тогдашняя русская дѣйствительность.

Въ *Запискахъ Охотника* Тургеневъ повернулъ на новую дорогу и приступилъ къ исполненію своей аннибаловской клятвы. Не говоря уже о художественномъ значеніи *Записокъ Охотника*,—онѣ представляютъ замѣчательный историческій памятникъ своего времени и въ смыслѣ протеста противъ крѣпостного права. Конечно нечего искать въ *Запискахъ Охотника* ни рѣзкаго и страстнаго политическаго памфлета, какимъ представляется *Путешествіе* Радищева, ни хотя-бы саркастическаго тона сатиръ Щедрина. Это было-бы совершенно не въ характерѣ тургеневскаго творчества, въ которомъ всегда преобладали мягкіе, кроткіе и нѣжные тоны, да и къ тому же мало-мальски рѣзкій и громкій протестъ былъ немыслимъ при той строгости, до какой дошла русская цензура послѣ 1848 года. *Записки Охотника* представляются какъ-бы продолженіемъ *Мертвыхъ Душъ* Гоголя; это—эпопея, не имѣющая повидимому никакой иной предвзятой цѣли, какъ лишь развернуть передъ вами широкую картину русской провинціальной жизни, преимущественно помѣщиковъ и крестьянъ, съ одной стороны—въ массѣ мелкихъ, повседневныхъ, будничныхъ ея явленій, съ другой—въ поэтическихъ мотивахъ и образахъ. Тутъ вы найдете на каждомъ шагу тѣ очаровательныя описанія русской природы, какими всегда славился Тургеневъ, рядъ эпизодовъ, неимѣющихъ никакихъ отношеній къ крѣпостному праву, каковы напр.: *Уѣздный лѣкарь*, *Мой сосѣдъ Радиловъ*, *Однодворецъ Овсяниковъ*, *Татьяна Борисовна и ея племянникъ*, *Гамлетъ Щигровскаго уѣзда*, и проч.

Тѣмъ не менѣе отъ *Записокъ Охотника* повѣяло на читателей совершенно новымъ духомъ, которымъ проникнуты онѣ отъ первой страницы до послѣдней.—Это былъ духъ гуманности и искренней любви къ угнетенному мужику. Въ то время какъ у большинства помѣщиковъ, изображенныхъ въ *Запискахъ*, преобладаютъ отрицательныя черты, крестьяне напротивъ того представляютъ рядъ весьма симпатичныхъ типовъ. Выводя такія личности, какъ Хорь и Калинычъ, Ермолай и Мельничиха, Касьянъ съ Красивой мечи, Бирюкъ, Яковъ-турокъ въ *Пѣвцахъ*, наконецъ хотя-бы и крестьянскія дѣти въ *Бѣжиномъ лугѣ*,—авторъ тѣмъ уже протестовалъ противъ крѣпостного права, что, заглядывая въ душу всѣхъ этихъ дѣтей народа, находилъ въ ней тѣ-же радости и страданія, что и у всѣхъ прочихъ людей, и вмѣстѣ съ тѣмъ выводилъ ихъ не въ примѣръ симпатичнѣе и цѣльнѣе стоящихъ тутъ-же рядомъ съ ними помѣщиковъ. Въ этомъ отношеніи даже и *Бѣжинъ лугъ*, эта чисто-художественная картинка ночной бесѣды деревенскихъ дѣтей въ табунѣ лошадей, производилъ на читателей то-же впечатлѣніе отрицанія крѣпостного права: прочтя эту картинку, читатель всею душою привязывался къ изображеннымъ въ ней дѣтямъ

и ему жутко становилось при мысли, что въ этихъ симпатичныхъ деревенскихъ ребятахъ растутъ будущіе рабы, вся жизнь которыхъ могла быть изломана по прихоти какого-нибудь Пѣночкина. Однимъ словомъ, читая *Записки Охотника*, русскіе читатели впервые видѣли въ мужикахъ не двуногое рабочее стадо, а живыхъ людей, братій своихъ по человѣчеству и пріучались любить этихъ братій и принимать горячее участіе въ ихъ участи.

Не даромъ выходъ *Записокъ* отдѣльнымъ изданіемъ возбудилъ сильное неудовольствіе въ оффиціальныхъ сферахъ, которыя въ то время были проникнуты крѣпостничествомъ. Въ литературныхъ кружкахъ ходилъ въ то время слухъ, будто московскій цензоръ, князь Львовъ, былъ отставленъ отъ должности именно за то, что пропустилъ отдѣльное изданіе *Записокъ Охотника*. Начальство косилось уже на Тургенева за долговременное пребываніе за-границей, особенно въ Парижѣ, и къ тому же въ 1848 году, а также и за его близкія отношенія къ лицамъ, которыя были на дурномъ счету. *Записки Охотника* подлили масла въ огонь, и незначительный случай послужилъ каплей, переполнившей чашу. Въ мартѣ 1852 года появилось въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо Тургенева по случаю смерти Гоголя, не пропущенное передъ тѣмъ петербургскою цензурою, и вотъ, по жалобѣ Мусинъ-Пушкина, Тургеневъ былъ посаженъ на мѣсяцъ «на съѣзжую». Тургеневу угрожало очень печальное заточеніе, если-бы судьба не послала ему спасительницъ въ лицѣ двухъ дочерей надзиравшаго за нимъ пристава, оказавшихся почитательницами его таланта. Онѣ обрадовались случаю лично съ нимъ познакомиться и упросили отца дать узнику пріютъ въ ихъ квартирѣ. Здѣсь Тургеневъ и провелъ время своего ареста, написавши на досугѣ *Муму*,—и такимъ образомъ повѣсть, по своему содержанію представляющая самый рѣзкій протестъ Тургенева противъ крѣпостного права, оказалась написанною на «съѣзжей».

По освобожденіи отъ ареста, Тургеневъ былъ высланъ административнымъ порядкомъ на жительство въ деревню Спасское,—«безъ права выѣзда». Изъ наиболѣе замѣчательныхъ произведеній, написанныхъ имъ въ деревнѣ, были: *Два пріятеля* и *Затишье*.

Въ концѣ 1854 года Тургеневъ былъ освобожденъ отъ своей ссылки при содѣйствіи А. К. Толстого и А. О. Смирновой, и въ 1855 г. уѣхалъ за-границу. Еще въ 1845 году онъ познакомился въ Петербургѣ съ знаменитой уже тогда артисткой Полиной Віардо-Гарсіа, и съ тѣхъ поръ до самой смерти оставался въ близкихъ дружескихъ отношеніяхъ съ ея семействомъ. Послѣ временной разлуки вслѣдствіе ссылки онъ снова поспѣшилъ къ нимъ. Выражаясь собственными его словами, онъ «прикрѣпился» къ этимъ людямъ и, навсегда оставшись холостякомъ, прожилъ съ ними половину своей жизни.

Мы не будемъ далѣе подробно вдаваться во внѣшнія подробности жизни Тургенева, такъ какъ съ этой поры жизнь его вполнѣ сложилась въ опредѣленное русло и не представляетъ выдающихся фактовъ. Зиму проводилъ онъ обыкновенно въ Парижѣ, а лѣто частью въ Орловской губерніи, въ своемъ имѣніи, частью въ Баденъ-Баденѣ, гдѣ въ Тиргартенталѣ находилась вилла Віардо, и гдѣ Тургеневъ въ 1865 г. построилъ свою собственную виллу и жилъ въ ней до половины 1870 года. Подъ конецъ-же своей жизни онъ проводилъ лѣто въ Буживалѣ, близъ Парижа, на собственной дачѣ рядомъ съ дачею Віардо. Изъ его посѣщеній Россіи, подъ конецъ жизни очень рѣдкихъ, наиболѣе замѣчателенъ пріѣздъ его въ Россію въ концѣ февраля 1879 года съ

цѣлью, какъ самъ шутя говорилъ: «мириться съ русской публикой и молодежью». Тургеневъ встрѣтилъ тогда рядъ восторженныхъ овацій въ Москвѣ и Петербургѣ со стороны публики на цѣломъ рядѣ публичныхъ чтеній, на которыхъ онъ участвовалъ, читая преимущественно *Записки Охотника*. Второй замѣчательный его пріѣздъ былъ въ іюнѣ 1880 года на открытіе пушкинскаго памятника въ Москвѣ. Здѣсь на долю Тургенева выпали такія почести и оваціи, которыя далеко оставили за собою чествованіе его въ 1879 году. Московскій университетъ, въ торжественномъ засѣданіи въ день открытія памятника Пушкину, избралъ Тургенева въ число своихъ почетныхъ членовъ; въ собраніи общества любителей русской словесности и на литературныхъ чтеніяхъ Тургенева встрѣчали бурными, долго неумолкаемыми рукоплесканіями. Такъ-же восторженно была встрѣчена и привѣтствована его рѣчь о Пушкинѣ на торжествѣ открытія памятника. Нѣтъ сомнѣнія, что эти дни были лучшими въ его жизни. Онъ и самъ сознавалъ это, выбирая для чтенія на литературномъ вечерѣ стихотворенія: *Опять на родинѣ* и *Послѣдняя туча разсѣянной бури*...

Пріѣздъ Тургенева въ Россію въ 1881 году былъ послѣднимъ въ его жизни. Уже съ этого года стали появляться первые симптомы мучительной болѣзни, которая свела его въ могилу. Болѣзнь эта, какъ потомъ оказалось, была ракомъ въ позвоночномъ хребтѣ. Не поддаваясь діагнозу первыхъ знаменитостей парижскаго медицинскаго міра, она развивалась медленно, но непрерывно, и причиняла Тургеневу такія страданія, которыя онъ могъ выносить только благодаря атлетическому сложенію и наркотическимъ средствамъ, которыя приходилось употреблять чаще и чаще. Нужно удивляться тому мужеству, съ какимъ Тургеневъ, пригвожденный къ смертному одру, вынося адскія муки, въ промежуткахъ минутныхъ облегченій не переставалъ писать послѣднія предсмертныя произведенія. Въ понедѣльникъ 22-го августа 1883 года, въ 2 часа пополудни, его не стало.

Черезъ два дня послѣ смерти тѣло Тургенева было перевезено изъ Буживаля въ Парижъ, гдѣ 24-го августа въ русской церкви происходило отпѣваніе, на которомъ присутствовало большинство бывшихъ въ то время русскихъ: посолъ кн. Н. В. Орловъ, члены посольства, литераторы, художники, какъ русскіе, такъ и иностранные, и учащаяся въ Парижѣ молодежь. 19-го сентября тѣло Тургенева было отправлено въ Россію и прибыло въ Петербургъ 27-го. Тотчасъ-же по прибытіи тѣла послѣдовала процессія перенесенія его на Волково кладбище и погребенія тамъ на счетъ города,—процессія, по своей грандіозной торжественности, представлявшая нѣчто небывалое въ лѣтописяхъ петербургской жизни.

VI.

Разсматривая литературную дѣятельность Тургенева, мы остановились на 1855 годѣ, когда онъ уѣхалъ послѣ ссылки за-границу. Съ этого года начинается, какъ извѣстно, возрожденіе русской жизни, эпоха реформъ и либеральнаго движенія. Съ этого-же года можно считать эпоху полнаго расцвѣта литературной дѣятельности Тургенева. Въ этотъ періодъ талантъ Тургенева достигъ своего зенита, и онъ создалъ все самое замѣчательное и наиболѣе его прославившее. Такъ, въ 1855 году появилась повѣсть его *Яковъ Пасынковъ*, въ

1856—*Рудинъ* и *Фаустъ*, въ 1858—*Ася*, въ 1859—*Дворянское Гнѣздо*, въ 1860—*Наканунѣ* и *Первая любовь*. Въ томъ-же 1860 г. въ 1-й книжкѣ *Современника* была напечатана знаменитая статья его *Гамлетъ* и *Донъ-Кихотъ*, бросающая яркій свѣтъ на характеръ всѣхъ его типовъ и на внутреннія пружины фабулъ его повѣстей и романовъ. Наконецъ, въ началѣ 1862 года въ *Русскомъ Вѣстникѣ* былъ напечатанъ знаменитый романъ его *Отцы и Дѣти*.

Перечисливши эти произведенія, мы обозначили все, чѣмъ наиболѣе увѣковѣчилъ Тургеневъ свою литературную дѣятельность. Однихъ только этихъ произведеній было-бы вполнѣ достаточно для славы, которою онъ пользовался при жизни, и высокой памяти, которую онъ оставилъ по себѣ. Каждое изъ этихъ произведеній было откровеніемъ основъ тогдашней русской жизни. Различіе ихъ отъ произведеній перваго періода дѣятельности Тургенева (*Записокъ Охотника*) заключалось въ томъ, что прежде онъ главное вниманіе обращалъ на народъ, относительно-же интеллигенціи ограничивался развѣнчаніемъ романтическихъ типовъ или-же отношеніями помѣщиковъ къ крѣпостнымъ; теперь-же онъ занялся изображеніемъ нравственныхъ недуговъ интеллигенціи, произведенныхъ вліяніемъ крѣпостного права. Ключъ къ пониманію внутреннихъ пружинъ этихъ произведеній кроется, какъ мы выше сказали, въ рѣчи Тургенева о Гамлетѣ и Донъ-Кихотѣ. Въ этой рѣчи Тургеневъ прямо говоритъ, что «въ этихъ двухъ типахъ воплощены двѣ коренныя противоположныя особенности человѣческой природы – оба конца той оси, на которой она вертится, что «всѣ люди принадлежатъ болѣе или менѣе къ одному изъ этихъ двухъ типовъ, что почти каждый изъ насъ сбивается либо на Донъ-Кихота, либо на Гамлета». «Правда,—прибавляетъ къ этому Тургеневъ,—въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ, но и Донъ-Кихоты не перевелись».

Различіе-же этихъ двухъ типовъ, какъ явствуетъ изъ статьи, заключается въ томъ, что Донъ-Кихотъ выражаетъ собою вѣру, преданность идеалу, энтузіазмъ самопожертвованія, тогда какъ Гамлетъ—представитель анализа; анализъ-же, по мнѣнію Тургенева, прежде всего—эгоизмъ, а потому—безвѣріе. Сомнѣваясь во всемъ, Гамлетъ не щадитъ и себя; сознаетъ свою слабость, но всякое самосознаніе есть сила—отсюда проистекаетъ его иронія, въ противоположность энтузіазму Донъ-Кихота,—отсюда же его слабохарактерность, нерѣшительность въ дѣйствіяхъ, неспособность беззавѣтно отдаваться своимъ влеченіямъ.

Вѣкъ сороковыхъ годовъ—вѣкъ по-преимуществу анализа, былъ по самому своему существу вѣкъ Гамлетовъ, не говоря уже о растлѣвающемъ вліяніи крѣпостного права. Не даромъ Тургеневъ сказалъ: что «въ наше время Гамлетовъ стало гораздо болѣе, чѣмъ Донъ-Кихотовъ». И дѣйствительно, передъ нами проходятъ въ произведеніяхъ Тургенева рядъ Гамлетовъ, начиная съ юноши, олицетворяющаго собою сороковые годы въ поэмѣ *Разговоръ*, *Гамлета Щигровскаго уѣзда* и Веретьева въ *Затишьѣ*,—этой талантливой натуры, погубившей свою молодость и жизнь въ пьянствѣ и безпутномъ, праздномъ шатаньѣ. Таковъ Рудинъ, этотъ центральный типъ сороковыхъ годовъ,—человѣкъ, котораго все призваніе заключается въ сѣяніи просвѣтительныхъ идей, но оказывающій въ то-же время полную несостоятельность во всѣхъ своихъ попыткахъ осуществленія этихъ идей на дѣлѣ и постыдное малодушіе передъ каждымъ мало-мальски рѣшительнымъ шагомъ,—человѣкъ одной головы, не

способный ничего сдѣлать самъ, потому что въ немъ натуры, крови не было.— Таковъ Лаврецкій—этотъ въ свою очередь центральный типъ не только лучшаго человѣка помѣщичьей среды, но и вообще интеллигентнаго славянина,—человѣкъ, въ высшей степени симпатичный, исполненный кротости, нѣжной гуманности и добродушія, но въ то-же время не вносящій въ жизнь ни малѣйшей активности, пассивно отдающійся обстоятельствамъ, какъ щепка, носимая бурнымъ потокомъ.

Таково и большинство послѣдующихъ героевъ Тургенева, начиная съ героя *Аси* и кончая Санинымъ въ *Вешнихъ водахъ* и Литвиновымъ въ *Дымѣ*. Недаромъ Тургеневъ въ *Наканунѣ* заставляетъ воскликнуть Шубина: «нѣтъ еще у насъ никого, нѣтъ людей, куда ни посмотри. Все—либо мелюзга, грызуны, гамлетики, самоѣды, либо темнота и глушь подземная, либо толкачи, изъ пустого въ порожнее переливатели да палки барабанныя! А то вотъ еще какіе бываютъ: до позорной тонкости самихъ себя изучили, щупаютъ безпрестанно пульсъ каждому своему ощущенію и докладываютъ самимъ себѣ: вотъ чтò я молъ чувствую, вотъ чтò я думаю. Полезное, дѣльное занятіе!».

«Но и Донъ-Кихоты не перевелись»,—говоритъ Тургеневъ въ вышеназванной рѣчи. Встрѣчаете вы въ его произведеніяхъ и нѣсколько Донъ-Кихотовъ, хотя очень мало.—Тургеневскихъ Донъ-Кихотовъ можно раздѣлить на два разряда: одни изъ нихъ взяты непосредственно изъ русской жизни;—это такіе Донъ-Кихоты, какихъ только могла выработать русская жизнь, таковы: Андрей Колосовъ, Яковъ Пасынковъ, Пунинъ и нѣсколько типовъ, непосредственно выросшихъ изъ русской почвы и тѣсно съ нею сливающихся,—«черноземныхъ силъ», какъ называетъ ихъ Тургеневъ; таковы: Волынцевъ и Уваръ Ивановичъ (въ *Наканунѣ*).

Къ другого рода Донъ-Кихотамъ принадлежатъ типы, сочиненные Тургеневымъ a priori, по соображеніямъ, съ предвзятою цѣлью изобразить Донъ-Кихотовъ въ противоположность Гамлетамъ, и подобные типы страдаютъ искусственностью, неестественностью, нѣкоторою даже отвлеченностью. Таковъ Инсаровъ въ *Наканунѣ*, знакомясь съ которымъ, читатель принужденъ лишь на-слово вѣрить автору, что онъ—человѣкъ дѣла; между тѣмъ все геройство его въ романѣ проявляется лишь въ грубой траги-комической сценѣ съ нѣмцемъ, хотя Тургеневъ въ своей автобіографіи увѣряетъ, что сюжетъ для *Наканунѣ* онъ взялъ изъ жизни, приводитъ даже фактъ, какъ ему досталась тетрадка нѣкоего помѣщика Каратѣева, въ которой было изложено истинное происшествіе, совершенно подобное разсказанному въ *Наканунѣ*, причемъ роль Инсарова игралъ болгаринъ Катрановъ,—лицо, нѣкогда весьма извѣстное и до сихъ поръ не забытое на родинѣ. Но это все еще болѣе подтверждаетъ апріорное созданіе Тургеневымъ типа Инсарова, тѣмъ болѣе, что и самъ онъ говоритъ, что въ тетрадкѣ лишь бѣглыми штрихами было намѣчено то, чтò составило потомъ содержаніе *Наканунѣ*, и что исторія была въ ней передана искренно, хотя неумѣло.

Въ такой-же мѣрѣ искусственъ и неестественъ и Соломинъ въ *Нови* съ его практическою оппортунистическою прогрессивностью.

VII.

Мы приблизились къ роковому кризису въ литературной дѣятельности Тургенева, ознаменовавшемуся появленіемъ его въ 1862 году романа *Отцы и*

Дѣти. Надо замѣтить, что уже въ 1860 году Тургеневъ разошелся съ Некрасовымъ и со всѣмъ кружкомъ литераторовъ, группировавшихся вокругъ *Современника*, находя взгляды ихъ слишкомъ крайними, а въ 6-й книжкѣ *Современника* 1860 г. редакція сочла нужнымъ сдѣлать слѣдующее заявленіе: «Нашъ образъ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что онъ пересталъ одобрять его. Намъ стало казаться, что послѣднія повѣсти г. Тургенева не такъ близко соотвѣтствуютъ нашему взгляду на вещи, какъ прежде, когда и его направленіе не было такъ ясно для насъ, да и наши взгляды не были такъ ясны для него. Мы разошлись. Такъ-ли? — ссылаемся на самого г. Тургенева».

Вслѣдствіе этого разрыва романъ *Наканунѣ* былъ уже напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и тамъ-же въ февральской книжкѣ 1862 года появился романъ *Отцы и Дѣти.*

И въ своихъ воспоминаніяхъ, и въ своихъ письмахъ Тургеневъ стоитъ на томъ, что въ лицѣ Базарова онъ и не думалъ писать каррикатуру на молодое поколѣніе и относиться къ нему отрицательно. Такъ, въ письмѣ къ г. Случевскому 14-го апрѣля 1862 г. онъ прямо говоритъ:

«Базаровъ все-таки подавляетъ всѣ остальныя лица романа (Катковъ находилъ, что я въ немъ представилъ апоѳеозъ *Современника*). Приданныя ему качества—не случайныя. Я хотѣлъ сдѣлать изъ него лицо трагическое—тутъ было не до нѣжностей. *Онъ честенъ, правдивъ и демократъ до мозга костей.* А вы не находите въ немъ *хорошихъ* сторонъ. *Stoff und Kraft* онъ рекомендуетъ именно какъ популярную, т. е. пустую книгу; дуэль съ П. П. именно введена для нагляднаго доказательства пустоты элегантно-дворянскаго рыцарства, выставленнаго почти преувеличенно-комически; а какъ бы онъ отказался отъ нея: вѣдь П. П. его побилъ-бы.— Базаровъ, по моему, постоянно разбиваетъ П. П., а не наоборотъ, и если онъ называется нигилистомъ, то надо читать: революціонеромъ. То, что сказано объ Аркадіи, о реабилитированіи отцовъ и т. д., показываетъ только — виноватъ!—что меня не поняли. *Вся моя повѣсть направлена противъ дворянства, какъ передового класса.* Вглядитесь въ лица Н. И., П. П. и Аркадія. Слабость и вялость, и ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно *хорошихъ* представителей дворянства, чтобы тѣмъ вѣрнѣе доказать мою тему: если сливки плохи, что же молоко?»

И дѣйствительно, нельзя отрицать въ Базаровѣ положительныхъ качествъ, которыми и увлекся Писаревъ, найдя въ Базаровѣ полное олицетвореніе молодого поколѣнія. Тѣмъ не менѣе все-таки отношеніе Тургенева къ Базарову далеко не такое, какого ожидали и требовали люди, увлеченные движеніемъ шестидесятыхъ годовъ; только выведя идеальную личность вродѣ Инсарова, Тургеневъ могъ удовлетворить этимъ требованіямъ; романъ-же былъ преисполненъ ироніи и скептицизма, съ какими относился Тургеневъ и прежде ко всѣмъ выводимымъ героямъ, начиная съ Рудина. Въ этомъ заключалась главная вина его передъ вѣкомъ, какъ онъ и самъ въ этомъ сознается въ статьѣ по поводу *Отцовъ и Дѣтей*:

«Вся причина недоразумѣній,—говоритъ онъ,—вся, какъ говорится, «бѣда» состояла въ томъ, что воспроизведенный мною базаровскій типъ не успѣлъ пройти чрезъ постепенные фазисы, черезъ которые обыкновенно проходятъ литературные типы. На его долю не пришлось—какъ на долю Онѣгина или Печорина—эпохи идеализаціи, сочувственнаго вознесенія. Въ самый моментъ появленія *новаго* человѣка—Базарова—авторъ отнесся къ нему критически и объективно. Это многихъ сбило съ толку—и кто знаетъ! въ этомъ была, быть можетъ, если не ошибка, то несправедливость. Базаровскій типъ имѣлъ по крайней мѣрѣ столько-же права на идеализацію, какъ предшествовавшіе ему типы».

Вмѣстѣ съ тѣмъ ошибка Тургенева заключалась и въ томъ еще, что онъ не призналъ въ новыхъ людяхъ, изображенныхъ въ лицѣ Базарова, энтузіастовъ со всѣми достоинствами и недостатками людей этого сорта; а на-

противъ того, они показались ему скептиками, отрицателями, и онъ окрестилъ ихъ *нигилистами*, изъ-за чего и загорѣлся весь сыръ-боръ, какъ онъ и говоритъ самъ объ этомъ въ той-же статьѣ:

«Выпущеннымъ мною словомъ «нигилистъ» воспользовались тогда многіе, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движеніе, овладѣвшее русскимъ обществомъ. Не въ видѣ укоризны, не съ цѣлью оскорбленія было употреблено мною это слово; но какъ точное и умѣстное выраженіе проявившагося историческаго факта: оно было превращено въ орудіе доноса, безповоротнаго осужденія—почти въ клеймо позора».

Главная-же причина всей этой роковой ошибки заключалась въ томъ, что, начиная съ 1855 года, Тургеневъ большею частью жилъ за-границею и бывалъ въ Россіи лишь урывками и на весьма непродолжительное время. Онъ слѣдилъ издали за движеніемъ шестидесятыхъ годовъ, но не переживалъ его непосредственно въ самомъ его руслѣ, и вотъ мало-по-малу онъ началъ утрачивать присущее ему чутье русской дѣйствительности. Всѣ лучшія произведенія его до романа *Наканунѣ* изображаютъ дореформенную Русь сороковыхъ годовъ, которую онъ изучилъ еще въ молодости. Когда-же русское общество начало быстро преобразовываться подъ вліяніемъ реформъ шестидесятыхъ годовъ, и нравы начали совершенно измѣняться, Тургеневъ не имѣлъ возможности слѣдить внимательно за этимъ измѣненіемъ, живя за-границею, и, вмѣсто того, чтобы творить, непосредственно беря изъ дѣйствительности свои образы, ему пришлось руководствоваться зачастую отвлеченными соображеніями, догадками. Главный недостатокъ *Отцовъ и Дѣтей* заключался въ томъ, что большинство молодежи не узнало себя въ Базаровѣ, исключая развѣ одного Писарева, да и тотъ, взявши тургеневскаго Базарова за исходную точку, создалъ своего собственнаго Базарова.

Это обстоятельство слѣдуетъ взять во вниманіе и при обозрѣніи послѣдующей дѣятельности Тургенева, которая съ каждымъ годомъ послѣ того все болѣе и болѣе теряла живую и непосредственную связь съ теченіемъ русской жизни, какую она имѣла въ сороковые и пятидесятые годы. Такъ, подъ живымъ впечатлѣніемъ fiasco, который потерпѣлъ романъ *Отцы и Дѣти*, Тургеневъ написалъ *Довольно* (1864), въ которомъ выразилъ всю обиду и горечь, причиненныя ему разладомъ съ русскимъ обществомъ. Но не одинъ капризъ обиженнаго художника слышится въ этомъ произведеніи. Оно преисполнено разочарованія жизнью въ общемъ ея смыслѣ, и въ немъ вы видите задатки того пессимистическаго настроенія, которое все болѣе и болѣе развивалось въ Тургеневѣ подъ конецъ жизни.

Это пессимистическое настроеніе еще съ большею силою выразилось въ романѣ *Дымъ* (1867), въ которомъ Тургеневъ смотритъ, какъ на дымъ и миражъ, на всю русскую жизнь, со всѣмъ ея движеніемъ, партіями, кружками; особенно-же достается въ этомъ романѣ русскимъ эмигрантамъ въ Лондонѣ, которыхъ Тургеневъ шаржируетъ до того открыто, что напримѣръ Огаревъ изображенъ подъ весьма прозрачнымъ псевдонимомъ Губарева.

Далѣе затѣмъ, въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Тургенева, наиболѣе выдаются *Вешнія воды* (1871),—повѣсть, въ которой Тургеневъ вновь воротился къ старой темѣ цвѣтущаго періода своей дѣятельности—къ изображенію безхарактернаго помѣщика, и романъ *Новь* (1876) — послѣдняя попытка встать au courant русской жизни, изобразивши движеніе семидесятыхъ годовъ; но попытка эта еще разъ показала всю невозможность изображать новые типы и явленія жизни, живя за-границею и не изучая ихъ непосредственными

наблюденіями. Какъ великій художникъ, Тургеневъ создалъ нѣчто весьма правдоподобное и живое, проведя въ то-же время въ романѣ свою излюбленную тенденцію гамлетства и донкихотства. Но молодые люди семидесятыхъ годовъ еще менѣе узнали себя въ выведенныхъ типахъ, чѣмъ поколѣніе шестидесятыхъ годовъ—въ Базаровѣ. Неуспѣхъ *Нови*, въ видѣ массы отрицательныхъ критическихъ отзывовъ, произвелъ на Тургенева снова весьма болѣзненное впечатлѣніе и еще болѣе омрачилъ духъ его.

Въ промежуткѣ между вышеупомянутыми произведеніями этого періода Тургеневъ написалъ массу мелкихъ разсказовъ: *Призраки* (1863), *Собаки* (1866), *Исторія лейтенанта Ергунова* (1866), *Бригадиръ* (1866), *Несчастная* (1868), *Странная исторія* (1869), *Степной король Лиръ* (1870), *Стукъ-стукъ-стукъ...* (1870), *Пегасъ* (1871), *Конецъ Чертопханова* (1872), *Пунинъ и Бабуринъ* (1874), *Живыя мощи* (1875), *Часы* (1875), *Стучатъ* (1875), *Сонъ* (1876), *Разсказъ отца Алексѣя* (1877). Наконецъ на смертномъ одрѣ онъ написалъ *Пѣснь торжествующей любви* (1881), *Клару Миличъ* (1882), *Стихотворенія въ прозѣ* (1882) и *Пожаръ на морѣ* (1883). Всѣ эти произведенія, въ художественномъ отношеніи болѣе или менѣе совершенныя, болѣе или менѣе напоминающія прежняго Тургенева, далеко не имѣютъ того значенія, какъ произведенія первыхъ трехъ періодовъ его дѣятельности. Въ нихъ Тургеневъ жилъ прошлымъ, тѣмъ запасомъ впечатлѣній, какой онъ успѣлъ собрать въ лучшіе годы жизни.

VIII.

Въ качествѣ художника Тургеневъ представляетъ собою безспорно первую величину среди беллетристовъ сороковыхъ годовъ и является достойнымъ преемникомъ Пушкина, ученикомъ котораго онъ всегда себя считалъ. Но ученикъ, при всемъ вліяніи учителя, съумѣлъ выработать свой самостоятельный тургеневскій стиль и въ свою очередь вызвалъ массу подражателей, оставивъ послѣ себя глубокій слѣдъ въ русской литературѣ. Тургеневъ, можно сказать, создалъ русскую художественную новеллу, доведя ее до крайняго совершенства по изяществу и стройности изложенія и расположенія частей, по безъискусственной простотѣ и реализму.

Своеобразность стиля Тургенева заключается въ необыкновенной мягкости и нѣжности тоновъ, при нѣкоторой туманности колорита, напоминающей воздухъ и небо средней полосы Россіи. Вы не найдете у Тургенева ни одной рѣзкой и крупной черты, ни одной яркой краски. Изображаемые предметы не вдругъ предстаютъ передъ вами во весь ихъ ростъ, а медленно вырисовываются въ массѣ мелкихъ деталей, со всѣми тончайшими оттѣнками. Наиболѣе прославился Тургеневъ въ художественномъ отношеніи своими ландшафтами, разсѣянными по всѣмъ его произведеніямъ, изображающими преимущественно природу его родины—средней Россіи.

Рядомъ съ этимъ,—не меньшимъ мастерствомъ и художественною прелестью отличался Тургеневъ при изображеніи и анализѣ разныхъ перипетій нѣжной страсти, и въ этомъ отношеніи онъ слылъ знатокомъ женскаго сердца. Ему придавали нерѣдко спеціальный эпитетъ «пѣвца любви». Наконецъ рядомъ съ мужскими типами произведенія Тургенева представляютъ цѣлую галлерею русскихъ женщинъ сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, изображенныхъ въ со-

вершенствѣ, по-истинѣ геніальномъ. Такіе типы, какъ Наташа въ *Рудинѣ*, Лиза въ *Дворянскомъ Гнѣздѣ*, Елена въ *Наканунѣ*, Ася, сдѣлались нарицательными кличками въ одномъ ряду съ Татьяною и Ольгою Пушкина. Замѣчательно, что, какъ и у всѣхъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, женщины въ произведеніяхъ Тургенева стоятъ неизмѣримо выше мужчинъ, и онѣ только однѣ представляютъ собою реальные положительные типы въ произведеніяхъ Тургенева. Очень часто героини словно нарочно для того и выводятся во всей своей нравственной высотѣ, чтобы оттѣнить ничтожество выводимыхъ рядомъ съ ними героевъ.

Но не въ одномъ художественномъ,—и въ умственномъ отношеніи Тургенева слѣдуетъ поставить во главѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Готовясь къ ученой карьерѣ, онъ умѣлъ встать во главѣ движенія въ качествѣ образованнѣйшаго человѣка сороковыхъ годовъ, усвоившаго обстоятельно гегелевскую философію, составлявшую тогда послѣднее слово европейскаго прогресса. И если онъ не успѣлъ впослѣдствіи усвоить новое, положительное міросозерцаніе, то во всякомъ случаѣ всегда оставался свободнымъ мыслителемъ, отрѣшившимся отъ всѣхъ предразсудковъ грубаго невѣжества.

Подъ конецъ жизни, съ начала шестидесятыхъ годовъ, впервые начали проявляться въ его произведеніяхъ задатки пессимизма. Такъ, уже въ *Наканунѣ* онъ поразилъ всѣхъ пессимистическою фразою вродѣ того, что имѣемъ-ли мы право на жизнь и не есть-ли уже то, что мы живемъ,—преступленіе, за которое мы должны нести наказаніе въ нашей жизни? Этотъ пессимизмъ окончательно выразился въ произведеніяхъ *Довольно* и затѣмъ въ *Стихотвореніяхъ въ прозѣ.* Источникъ этого пессимизма слѣдуетъ искать во всемъ прошломъ Тургенева, начиная съ отроческихъ впечатлѣній дѣтства, съ растлѣвающаго вліянія реакціи пятидесятыхъ годовъ и кончая всею массою жизненнаго опыта и тѣми литературными неудачами, какія потерпѣлъ Тургеневъ во второй половинѣ своей жизни. Не надо при этомъ забывать, что самый тотъ духъ анализа и скептицизма, какой проникаетъ школу беллетристовъ сороковыхъ годовъ, прямо ведетъ къ пессимизму, какъ и всякій скептицизмъ.

По общественнымъ убѣжденіямъ Тургеневъ всегда былъ и оставался свободомыслящимъ приверженцемъ мирнаго прогресса съ демократической тягой къ народу. Будучи западникомъ, онъ, подобно Герцену и многимъ другимъ людямъ сороковыхъ годовъ, проникался и нѣкоторыми идеями славянофильства, причемъ въ одинаковой степени постигалъ недостатки и крайности какъ западниковъ, такъ и славянофиловъ... «Я,—говоритъ Тургеневъ въ своей статьѣ о Базаровѣ, — коренной, неисправимый западникъ, и нисколько этого не скрывалъ и не скрываю; однако я, несмотря на это, съ особеннымъ удовольствіемъ вывелъ въ лицѣ Паншина (въ *Дворянскомъ Гнѣздѣ*) всѣ комическія и пошлыя стороны западничества и заставилъ славянофила Лаврецкаго «разбить его на всѣхъ пунктахъ». И, наоборотъ, въ *Дымѣ* вы найдете рядъ не менѣе сильныхъ филиппикъ противъ славянофиловъ.

Въ качествѣ эстетика Тургеневъ всегда былъ строгимъ реалистомъ. Такъ, въ статьѣ по поводу *Отцовъ и Дѣтей* онъ говоритъ: «Не однажды слышалъ я и читалъ въ критическихъ статьяхъ, что я въ моихъ произведеніяхъ «отправляюсь отъ идеи» или «провожу идею», иные меня за это хвалили, другіе, напротивъ, порицали; съ своей стороны я долженъ сознаться, что никогда не покушался «создавать образъ», если не имѣлъ исходною точкою не идею, а жи-

вое лицо, къ которому постепенно примѣшивались и прикладывались подходящіе элементы. Не обладая большою долею свободной изобрѣтательности, я всегда нуждался въ данной почвѣ, по которой я-бы могъ твердо ступать ногами»... И ниже въ той-же статьѣ, обращаясь къ молодымъ писателямъ со своими старческими совѣтами, онъ говоритъ: «Нужно постоянное общеніе съ средою, которую беремся воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неугомонная въ отношеніи къ собственнымъ ощущеніямъ; нужна свобода, полная свобода воззрѣній и понятій — и наконецъ нужна образованность, нужно знаніе!..»

Этими эстетическими взглядами объясняется и тотъ фактъ, что Тургеневъ въ шестидесятыхъ годахъ очень не жаловалъ французскую литературу въ лицѣ В. Гюго, Дюма, Бальзака; но десять лѣтъ спустя онъ является въ Парижѣ уже другомъ Флобера, Ожьэ, Додэ и Гонкуровъ, покровителемъ Золя и Мопассана и ставитъ французскую беллетристику на первомъ мѣстѣ въ современныхъ западноевропейскихъ литературахъ. Онъ нашелъ даже время и охоту перевести въ 1877 г. двѣ повѣсти Флобера. Такой поворотъ во мнѣніяхъ Тургенева о французской литературѣ объясняется воцареніемъ въ ней, съ конца шестидесятыхъ годовъ, натуралистической школы, родственной Тургеневу по всѣмъ его русскимъ традиціямъ, и распространенію которой во Франціи онъ много содѣйствовалъ и словомъ, и примѣромъ. Сами французскіе писатели новой школы признаютъ, что Тургеневъ имѣлъ на нихъ сильное вліяніе, и эстетическіе взгляды его были для нихъ своего рода откровеніемъ. Въ бесѣдахъ съ представителями новѣйшаго натурализма онъ доказывалъ имъ необходимость отказаться отъ устарѣлыхъ романтическихъ формъ, отъ романовъ съ придуманными фантастическими и сложными комбинаціями интригами и манекэнами, вмѣсто живыхъ людей, и требовалъ, чтобы писатели воспроизводили жизнь, ничего, кромѣ жизни. Романъ, говоритъ онъ, есть самая новѣйшая форма художественной литературы, и въ настоящее время, когда литературный вкусъ начинаетъ очищаться, слѣдуетъ отбросить всѣ пошлые пріемы, упростить и возвысить это искусство, которое должно быть *исторіей жизни*. Ложь, лицемѣріе, сентиментальность и трескучая риторика имѣли въ немъ рѣшительнаго противника; но, проповѣдуя натурализмъ, онъ никогда не переступалъ извѣстнаго предѣла, строго осуждая крайности, въ которыя впадаютъ французскіе натуралисты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

I. Родители и воспитатели Ивана Александровича Гончарова и его дѣтство.—II. Воспитаніе школьное и университетское. Служба. Первые литературные опыты. Знакомство съ литературными кружками. Выходъ въ свѣтъ *Обыкновенной Исторіи*.—III. Среда, вліявшая на умственное развитіе Гончарова и складъ его таланта. Различіе качествъ этого таланта отъ тургеневскаго.—IV. Дальнѣйшіе факты его жизни. Путешествіе вокругъ свѣта.—*Фрегатъ Паллада*.—V. *Обломовъ*.—VI. *Обрывъ* и остальныя его сочиненія.

I.

Какъ ни были общи всѣмъ беллетристамъ сороковыхъ годовъ обозначенныя нами въ началѣ предыдущей главы особенности, которыя связывали всѣхъ

этихъ писателей въ одну школу, эта общность не мѣшала каждому изъ нихъ имѣть свою опредѣленную индивидуальность, свое міросозерцаніе, идеалы, характеръ и пріемы творчества, однимъ словомъ, свою авторскую физіономію, не только не похожую на физіономіи сотоварищей, но представлявшую въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ полную съ ними противоположность. Поэтому, при изученіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ; большую пользу можетъ оказать сравненіе ихъ между собою, рельефно выставляющее особенности каждаго.

Такъ, прежде всего бросается намъ въ глаза противоположность между Тургеневымъ и Гончаровымъ. Но прежде чѣмъ мы приступимъ къ характеристикѣ литературной дѣятельности Ивана Александровича Гончарова, считаемъ необходимымъ сообщить выдающіеся факты жизни его.

Отецъ И. А. Гончарова былъ однимъ изъ зажиточныхъ симбирскихъ купцовъ. Семейство его проживало въ Симбирскѣ въ большомъ каменномъ домѣ, выходившемъ на три улицы.

«Домъ у насъ былъ,— говоритъ Гончаровъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—что называется полная чаша, какъ впрочемъ было почти у всѣхъ семейныхъ людей въ провинціи, имѣвшихъ по близости деревни. Большой дворъ, даже два двора, со многими постройками: людскими, конюшнями, хлѣвами, сараями, амбарами, птичникомъ и баней. Свои лошади, коровы, даже козы и бараны, куры и утки, все это населяло оба двора. Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разнаго пшена и всяческой провизіи для продовольствія нашего и обширной дворни. Словомъ, цѣлое имѣніе, деревня».

Вотъ среди этой благодати и родился И. А. Гончаровъ 6-го іюля 1812 года. Въ произведеніяхъ каждаго писателя, если вы и не найдете прямыхъ біографическихъ свѣдѣній, во всякомъ случаѣ до извѣстной степени отражаются духъ, характеръ и многія черты среды и обстановка дѣтскихъ лѣтъ писателя. Такъ, нѣтъ сомнѣнія, что въ *Снѣ Обломова* изображена жизнь, похожая на ту, какую наблюдалъ Гончаровъ въ дѣтствѣ въ родительскомъ домѣ. Онъ впрочемъ и самъ говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ:

«По пріѣздѣ домой, по окончаніи университетскаго курса, меня обдало той-же «обломовщиной», *какую я наблюдалъ въ дѣтствѣ*. Самая наружность родного города не представляла ничего другого, кромѣ картины сна и застоя. Тѣ-же большею частью деревянные, посѣрѣвшіе отъ времени дома и домишки, съ мезонинами, съ садиками, иногда съ колонками, окруженные канавками, густо заросшими полынью и крапивой, безконечные заборы; тѣ-же деревянные тротуары съ недостающими досками, та-же пустота и безмолвіе на улицахъ, покрытыхъ густыми узорами пыли. Вся улица слышитъ, когда за версту ѣдетъ телѣга или стучитъ сапогами по мосткамъ прохожій. Такъ и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонныя окна съ опущенными сторами и жалюзи, на сонныя физіономіи сидящихъ по домамъ или попадающіяся на улицѣ лица. «Намъ нечего дѣлать!»—зѣвая, думаетъ, кажется, всякое изъ этихъ лицъ, глядя лѣниво на васъ:—«мы не торопимся, живемъ—хлѣбъ жуемъ, да небо коптимъ».

Но конечно было-бы ошибочно предполагать, чтобы Гончаровъ свою Обломовку съ фотографическою точностью списалъ со своего родительскаго дома. Было въ немъ кое-что и не совсѣмъ обломовское.

Дѣтей у Гончаровыхъ было четверо: двое сыновей и двѣ дочери. Отца Гончаровъ лишился рано, когда ему было три года, но ему вполнѣ замѣнилъ родного отца крестный, отставной морякъ, поселившійся въ домѣ Гончаровыхъ и сжившійся съ ихъ семействомъ. Это былъ въ свое время передовой человѣкъ, масонъ, находившійся въ дружескихъ отношеніяхъ съ декабристами; умный, образованный, живой, онъ былъ въ Симбирскѣ предметомъ общей любви и уваженія, и около него собиралось лучшее симбирское общество.

«Якубовъ (какъ называетъ его въ своихъ воспоминаніяхъ Гончаровъ) былъ крестнымъ отцемъ насъ, четверыхъ дѣтей. По смерти нашего отца, онъ болѣе и болѣе привыкалъ къ

нашей семьѣ, потомъ принялъ участіе въ нашемъ воспитаніи. Это занимало его, наполняло его жизнь. Добрый морякъ окружилъ себя нами, принялъ насъ подъ свое крыло, а мы привязались къ нему дѣтскими сердцами, забыли о настоящемъ отцѣ. Онъ былъ лучшимъ совѣтникомъ нашей матери и руководителемъ нашего воспитанія. Якубовъ былъ вполнѣ просвѣщенный человѣкъ. Образованіе его не ограничивалось техническими познаніями въ морскомъ дѣлѣ, пріобрѣтенными въ морскомъ корпусѣ. Онъ дополнялъ его непрестаннымъ чтеніемъ по всѣмъ отраслямъ знанія, не жалѣлъ денегъ на выписку изъ столицъ журналовъ, книгъ, брошюръ. Какъ бывало прочитаетъ въ газетѣ объявленіе о книгѣ, которая по заглавію покажется ему интересною, сейчасъ посылаетъ требованіе въ столицу. Романовъ, и вообще беллетристики, онъ не читалъ и зналъ всѣхъ тогдашнихъ крупныхъ представителей литературы больше по наслышкѣ. Выписывалъ онъ книги историческаго, политическаго содержанія и газеты.

«Мать наша, благодарная ему за трудную часть взятыхъ на себя заботъ о нашемъ воспитаніи, взяла на себя всѣ заботы о его житьѣ-бытьѣ, о хозяйствѣ. Его дворня, повара, кучера слились съ нашей дворней подъ ея управленіемъ—и мы жили однимъ общимъ домомъ. Вся матеріальная часть пала на долю матери, отличной, опытной хозяйки. Интеллектуальныя заботы достались ему.

«Мать любила насъ не тою сентиментальною, животною любовью, которая изливается въ горячихъ ласкахъ, въ слабомъ потворствѣ и угодливости дѣтскимъ капризамъ и которая портитъ дѣтей. Она умно любила, слѣдя неослабно за каждымъ нашимъ шагомъ, и съ строгой справедливостью распредѣляла свою симпатію между всѣми нами четырьмя дѣтьми. Она была взыскательна и не пропускала безъ наказанія или замѣчанія ни одной шалости, особенно если въ шалости крылись зерна будущаго порока. Она была неумолима. Зато Петръ Андреевичъ Якубовъ, заступавшій намъ мѣсто отца, былъ отецъ-баловникъ... Бывало нашалишь что нибудь: влѣзешь на крышу, на дерево, увяжешься съ уличными мальчишками въ сосѣдній садъ, или съ братомъ заберешься на колокольню—она узнаетъ и пошлетъ человѣка привести шалуна къ себѣ. Вотъ тутъ-то и спасаешься въ благодѣтельный флигель, къ «крестному». Онъ уже знаетъ въ чемъ дѣло. Является человѣкъ или горничная съ зовомъ:—Пожалуйте къ маменькѣ!—«Пошелъ» или «пошла вонъ!»—лаконически командуетъ морякъ. Гнѣвъ матери между тѣмъ утихаетъ и дѣло ограничивается выговоромъ вмѣсто дранья ушей и стоянія на колѣняхъ, что было въ наше время весьма распространеннымъ средствомъ смирять и обращать шалуновъ на путь правый...

«По мѣрѣ того, какъ онъ старѣлся, а я приходилъ въ возрастъ, между мной и имъ установилась—съ его стороны передача, а съ моей—живая воспріимчивость его серьезныхъ техническихъ познаній въ чистой и прикладной математикѣ. Особенно ясны и неоцѣненны были для меня его бесѣды о математической и физической географіи, астрономіи, вообще космогоніи, потомъ навигаціи. Онъ познакомилъ меня съ картою звѣзднаго неба, наглядно объяснялъ движеніе планетъ, вращеніе земли, все то, чего не умѣли или не хотѣли сдѣлать мои школьные наставники. Я увидѣлъ ясно, что они были дѣти передъ нимъ въ этихъ техническихъ преподанныхъ мнѣ имъ урокахъ. У него были нѣкоторые морскіе инструменты: телескопъ, секстантъ, хронометръ. Между книгами у него оказались путешествія всѣхъ кругосвѣтныхъ плавателей съ Кука до послѣднихъ временъ.

«Я жадно поглощалъ его разсказы и зачитывался путешествіями. «Ахъ, еслибы ты сдѣлалъ хоть четыре морскихъ кампаніи (морскою кампаніею считается каждые полгода, проведенные въ морѣ), то-то бы порадовалъ меня!»—говаривалъ онъ часто въ заключеніе нашихъ бесѣдъ. Я задумывался въ отвѣтъ на это: меня тогда уже тянуло къ морю или по крайней мѣрѣ къ водѣ. Если-бы онъ предвидѣлъ, что со временемъ я сдѣлаю пять кампаній—да еще кругомъ свѣта!... Поддаваясь мистицизму, можно пожалуй подумать, что не одинъ случай только далъ мнѣ такого наставника для будущаго моего дальняго странствованія. Впрочемъ помимо этого меня нерѣдко манили куда-то въ даль широкіе разливы Волги со множествомъ плавающихъ, какъ лебеди, бѣлыхъ парусовъ. Я цѣлые часы мечтательно еще ребенкомъ вглядывался въ эту широкую пелену водъ.

«И по пріѣздѣ въ Петербургъ во мнѣ уживалась страсть къ водѣ. Разсказы ли «крестнаго» вмѣстѣ съ прочитанными путешествіями, или широкое раздолье волжскихъ водъ, не знаю что, но только страстишка къ морю жила у меня въ душѣ. Гуляя по Васильевскому острову, я съ наслажденіемъ заглядывался на иностранныя суда и нюхалъ запахъ смолы и пеньковыхъ канатовъ. Я прежде всего поспѣшилъ по пріѣздѣ въ Петербургъ посѣтить Кронштадтъ и осмотрѣть тамъ море и все морское».

Принимая во вниманіе это благотворное вліяніе просвѣщеннаго, гуманнаго

и передового человѣка на горячо любимаго имъ крестника, слѣдуетъ замѣтить и то очень важное обстоятельство дѣтскихъ лѣтъ Гончарова, что въ домѣ родителей его если и господствовали патріархальные нравы со всею ихъ освященною вѣками рутиною, но они далеко не имѣли такого мрачнаго и жестокаго характера, какой мы видѣли въ семьѣ Тургенева.

Крестнаго своего Гончаровъ рисуетъ человѣкомъ вспыльчивымъ, но никогда не исполнявшимъ угрозъ, которыя вырывались у него при вспышкахъ минутнаго гнѣва. Мать его, судя по всѣмъ даннымъ, въ свою очередь при всей строгости своей была женщина мягкая и добродушная. Однимъ словомъ, Гончаровъ не вынесъ изъ дѣтства такихъ тяжелыхъ, ожесточающихъ воспоминаній, какія вынесъ Тургеневъ, и это одно дѣлаетъ между ними очень важное и существенное различіе.

II.

Элементарное образованіе Гончаровъ получилъ въ городскихъ частныхъ пансіонахъ, между прочимъ у одного священника, жившаго по сосѣдству въ имѣніи княгини Хованской и содержавшаго особенный пансіонъ для дѣтей мѣстныхъ дворянъ. Это былъ человѣкъ образованный, окончившій курсъ въ Казанской духовной академіи, обладавшій щеголеватою внѣшностью и хорошими манерами. Женатъ онъ былъ на француженкѣ, которая преподавала воспитанникамъ мужа свой отечественный языкъ. При этомъ оригинальномъ пансіонѣ Гончаровъ нашелъ и небольшую разрозненную библіотеку, въ которой попались ему въ руки путешествія Кука и Крашенинникова, Мунго-Парка и Палласа, Карамзинъ и Голиковъ, Ролленъ и Милотъ, произведенія Нахимова и Расина, Ломоносова, Державина, Фонвизина и Тасса; дѣтскіе нравоучительные разсказы Беркэня, «Телемакъ,» Фенелона, мрачные романы Ратклифъ, *Саксонскій разбойникъ*, томикъ *Ключа къ таинствамъ природы* Эккартсгаузена, *Бова Королевичъ* и *Еруслань Лазаревичъ*. Все это было поглощено воспріимчивымъ умомъ ребенка огуломъ, и можно представить себѣ, какую путаницу все это водворило въ талантливой головкѣ мальчика.

Въ 1822 году, 10-ти лѣтъ отъ роду, его отвезли въ Москву для дальнѣйшаго образованія и помѣстили въ одно изъ среднихъ учебныхъ заведеній. Такимъ образомъ уже съ десятилѣтняго возраста началась для Гончарова жизнь внѣ семейнаго очага; домой съ этихъ поръ пріѣзжалъ онъ лишь на лѣто, остальное-же время проводилъ въ столицѣ. Продолжая среди ученья читать чтò ни попало, онъ успѣлъ до университета познакомиться съ французскими беллетристами, перевелъ даже на русскій языкъ романъ Ев. Сю—*Артагюль*, отрывокъ котораго былъ помѣщенъ въ *Телескопѣ* 1832 г.

Къ поступленію въ университетъ Гончаровъ былъ готовъ въ 1830 году, но такъ какъ въ этотъ годъ по случаю холеры университетъ былъ закрытъ, то ему пришлось держать вступительный экзаменъ въ 1831 году. По его словамъ, онъ въ это время зналъ порядочно по-французски, по-нѣмецки, отчасти по-англійски и по-латыни; переводилъ Корнелія Непота à livre ouvert. Не задолго до вступительнаго экзамена изъ министерства народнаго просвѣщенія получилось предписаніе требовать отъ вступающихъ въ словесное отдѣленіе знанія греческаго языка, чтò привело въ немалое смущеніе Гончарова. «Я и другіе,—говоритъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—кто поступалъ въ словесное отдѣ-

леніе, бросились на пеструю микроскопическую грамоту, наняли учителя и, отложивъ все прочее, напустились на грамматику и синтаксисъ, и съ этимъ скуднымъ, пріобрѣтеннымъ съ грѣхомъ по-поламъ, запасомъ явились на экзаменъ. Много воды подлилъ этотъ греческій языкъ въ мои теплыя надежды. Но все обошлось благополучно... Послѣ я услышалъ, что начальство не желало затруднять вступленіе въ университетъ изъ-за греческаго языка, и предоставило экзаменовать изъ послѣдняго снисходительно, такъ какъ его включили въ программу вступительнаго экзамена поздно»...

Въ университетѣ Гончаровъ пробылъ весь тогдашній трехъ-годичный курсъ, слѣдовательно до 1834 года, слушая Надеждина, Каченовскаго, Шевырева и пр. При общемъ составѣ профессоровъ филологическаго факультета въ Московскомъ университесѣ того времени, не много могъ вынести Гончаровъ изъ пройденнаго курса, и къ тому-же онъ не примкнулъ ни къ одному изъ студенческихъ кружковъ, бывшихъ въ Московскомъ университетѣ какъ разъ въ это время,—ни къ кружку Станкевича, ни къ кружку Герцена. Тѣмъ не менѣе университетскій курсъ все-таки прошелъ для Гончарова не безслѣдно, какъ онъ самъ объ этомъ замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ: «Университетскій оффиціальный курсъ кончился, но вліяніе университета продолжалось. Потерявъ изъ виду своихъ товарищей словесниковъ, я не забывалъ профессоровъ и ихъ указаній. Въ Петербургѣ, тщательно изучая иностранныя литературы, я уже регулировалъ свои занятія по тому методу и по тѣмъ указаніямъ, которые преподали намъ въ университетѣ наши вышеозначенные любимые профессора»...

Во время окончанія университетскаго курса въ 1834-мъ году Гончаровъ былъ конечно самымъ пламеннымъ и сентиментальнымъ романтикомъ. Это была эпоха наибольшаго развитія романтизма среди молодежи. Бѣлинскій какъ разъ въ этотъ самый годъ началъ свою литературную дѣятельность, и въ Москвѣ печатались первыя его статьи, исполненныя восторженнаго идеализма. Поклоненіе Пушкину дошло въ это время до своего апогея, и рядомъ съ этимъ молодежь носилась съ идеалами Шиллера, боготворила Гофмана, что не мѣшало ей зачитываться и Марлинскимъ.

По выходѣ изъ университета Гончаровъ поѣхалъ на родину, гдѣ сразу охватила его родная обломовщина. «Меня охватило,—говоритъ онъ, - какъ паромъ, домашнее баловство. Многіе изъ читателей конечно испытали сладость возвращенія послѣ долгой разлуки къ роднымъ и поймутъ, что я на первыхъ порахъ весь отдался сладкой нѣгѣ ухода, внимательности. Домашніе не даютъ пожелать чего нибудь: все давно готово, предусмотрѣно. Кромѣ семьи, старые слуги съ нянькой во главѣ смотрятъ въ глаза, припоминаютъ мои вкусы, привычки, гдѣ стоялъ мой письменный столъ, на какомъ креслѣ я всегда сидѣлъ, какъ постлать мнѣ постель. Поваръ припоминаетъ мои любимыя блюда—и всѣ не наглядятся на меня».

Цѣлый годъ прожилъ Гончаровъ на родинѣ, не совсѣмъ впрочемъ въ праздности, такъ какъ вскорѣ по пріѣздѣ былъ завербованъ на мѣсто секретаря въ губернаторскую канцелярію, и такъ какъ черезъ годъ губернаторъ былъ отозванъ въ Петербургъ, то и Гончаровъ поѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ туда (1835) со всею его канцеляріею.

Пріѣхавъ въ Петербургъ, Гончаровъ поступилъ на службу по министерству финансовъ въ департаментъ внѣшней торговли сначала переводчикомъ, потомъ

столоначальникомъ. Съ этихъ поръ начинается важный въ его жизни періодъ формировки его нравственнаго и умственнаго міра и развитія таланта. Къ сожалѣнію мы можемъ сообщить объ этомъ періодѣ лишь такія скудныя свѣдѣнія, что въ свободные отъ службы часы Гончаровъ занимался переводами изъ Шиллера, Гёте (проза), Винкельмана, а также англійскихъ романовъ. Писалъ-ли онъ что-либо оригинальное въ первыя пять лѣтъ своего пребыванія въ Петербургѣ, хотя-бы лишь для себя, въ видахъ развитія таланта, мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній. Но въ началѣ сороковыхъ годовъ, по его собственнымъ словамъ (въ статьѣ *Лучше поздно, чѣмъ никогда*), задумывался и писался романъ *Обыкновенная Исторія*. По содержанію-же этого романа мы можемъ судить, что къ началу сороковыхъ годовъ Петербургъ успѣлъ уже сдѣлать съ Гончаровымъ то-же, что сдѣлалъ онъ и съ героемъ романа Гончарова, Александромъ Адуевымъ, т. е. обломать крылья мечтательной фантазіи и взбалмошнаго, сентиментальнаго провинціальнаго романтика превратить въ реалиста черезчуръ уже, какъ увидимъ ниже, трезваго. Гончаровъ самъ въ статьѣ *Лучше поздно, чѣмъ никогда* такими словами связываетъ первый романъ со своею личностью:

«Когда я писалъ *Обыкновенную Исторію*, я конечно имѣлъ въ виду и себя, и многихъ подобныхъ мнѣ, учившихся дома или въ университетѣ, жившихъ по затишьямъ, подъ крыломъ добрыхъ матерей, и потомъ отрывавшихся отъ нѣги, отъ домашняго очага со слезами, съ проводами (какъ въ первыхъ главахъ *Обыкновенной Исторіи*) и являвшихся на главную арену дѣятельности, въ Петербургъ».

Когда писалась *Обыкновенная Исторія*, Гончаровъ вращался уже въ литературныхъ кружкахъ. Онъ сблизился съ семействомъ Майковыхъ и, по словамъ И. И. Панаева, много содѣйствовалъ въ развитіи таланта А. Майкова, будущаго поэта, тогда лишь подававшаго большія надежды подростка. Въ томъже семействѣ бывалъ нѣкто Солоницынъ, богатый и прекрасно образованный человѣкъ, занимавшійся воспитаніемъ Майковыхъ по искренней дружбѣ, связывавшей его съ семействомъ. Солоницынъ былъ страстнымъ охотникомъ до всякихъ домашнихъ торжествъ, предпріятій и затѣй, потому, желая поощрить своихъ юныхъ воспитанниковъ къ занятіямъ литературою, видя въ нихъ наклонность къ этому, онъ задумалъ издавать въ домашнемъ кружкѣ Майковыхъ небольшой журналъ, принявъ на себя переплетеніе и переписываніе его нумеровъ. Въ этомъ-же журнальцѣ появились и первые литературные опыты Гончарова въ видѣ двухъ небольшихъ, тщательно отдѣланныхъ эпизодическихъ разсказовъ юмористическаго содержанія.

Въ 1846 году Гончаровъ познакомился съ Бѣлинскимъ и кружкомъ молодыхъ литераторовъ, группировавшихся вокругъ него и въ слѣдующемъ году составившихъ редакцію *Современника*. И вотъ, въ 1847 году, въ первыхъ книжкахъ возобновленнаго *Современника* была напечатана *Обыкновенная Исторія*, сразу привлекшая общее вниманіе и снискавшая автору громадный успѣхъ среди читающей публики. Въ слѣдующемъ-же, 1848 году, тоже въ *Современникѣ* былъ напечатанъ небольшой очеркъ изъ чиновничьяго быта *Иванъ Поджабринъ*.

III.

Мы говорили выше, что Гончарову не удалось сойтись въ университетѣ ни съ однимъ изъ существовавшихъ въ то время кружковъ. Почти прямо со школьной скамьи пріѣхавши въ Петербургъ зеленымъ и прекраснодумнымъ роман-

тикомъ вродѣ Адуева, онъ, подобно герою своему, сразу окунулся въ чиновничій міръ холодныхъ и черствыхъ практическихъ дѣльцовъ въ духѣ дядюшки Петра Ивановича Адуева. Это была та самая среда бюрократическаго оппортунизма, о которой мы не разъ уже говорили въ этой книгѣ,—среда, не чуждая либерализма въ самой умѣренной дозѣ, ратовавшая противъ крѣпостного права и стремившаяся къ европейскому прогрессу на буржуазной основѣ и съ англійскими порядками. Героемъ этой среды и ея воплощеніемъ явился именно Петръ Ивановичъ Адуевъ, въ которомъ Гончаровъ видитъ «слабое мерцаніе сознанія необходимости труда настоящаго,не рутиннаго,а *живого дѣла* въ борьбѣ со всероссійскимъ застоемъ». Это «живое дѣло» заключалось въ томъ, что, достигши значительнаго положенія въ службѣ, Адуевъ, будучи директоромъ, тайнымъ совѣтникомъ, сдѣлался заводчикомъ. «Тогда,—замѣчаетъ Гончаровъ объ этомъ обстоятельствѣ,—отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ это была смѣлая новизна, чуть не *униженіе* (я не говорю о заводчикахъ-барахъ, у которыхъ заводы и фабрики входили въ число родовыхъ имѣній, были оброчныя статьи и которыми они сами не занимались). Тайные совѣтники мало рѣшались на это. Чинъ не позволялъ, а званіе купца не было лестно».

Итакъ, вотъ каковы были руководители Гончарова. Въ то время, какъ Тургеневъ, войдя въ кружокъ Бѣлинскаго, вмѣстѣ съ послѣднимъ отрѣшался отъ романтизма путемъ философскаго мышленія и усвоенія широкихъ общественныхъ идеаловъ, Гончаровъ тотъ-же самый процессъ совершалъ подъ вліяніемъ тайныхъ совѣтниковъ, дерзавшихъ дѣлаться заводчиками.

Это не замедлило отразиться какъ на міросозерцаніи Гончарова, такъ и на характерѣ его творчества. По міросозерцанію Гончаровъ рѣзко отличается отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, особенно отъ Тургенева, тѣмъ, что у него вы и тѣни не увидите того скептическаго взгляда на жизнь и людей, тѣхъ философскихъ «рефлексій», какими преисполнены всѣ прочіе беллетристы этой школы. Взгляды Гончарова напротивъ того отличаются средневѣковою непосредственностью, и въ этомъ отношеніи онъ болѣе всего приближается по своему міросозерцанію къ Гоголю. Онъ не столько анализируетъ жизнь, старается заглянуть въ глубь ея, сколько созерцаетъ ее во всемъ ея наружномъ, внѣшнемъ разнообразіи. Эта непосредственность созерцанія при полномъ отсутствіи анализа и была причиною того опредѣленія таланта Гончарова, которое сдѣлалъ Бѣлинскій при появленіи *Обыкновенной Исторіи*, что Гончаровъ—«поэтъ, художникъ и больше ничего», что «у него нѣтъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселятъ, не сердятъ, онъ не даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю; онъ какъ будто думаетъ: «кто въ бѣдѣ, тотъ и въ отвѣтѣ, а мое дѣло сторона», и что «изъ всѣхъ нынѣшнихъ писателей онъ одинъ приближается къ идеалу чистаго искусства, тогда какъ всѣ другіе отошли отъ него на неизмѣримое пространство—и тѣмъ самымъ успѣваютъ»...

Изъ этого непосредственнаго созерцанія жизни проистекаютъ два главныя свойства творчества Гончарова, отличающія его отъ Тургенева. Тургеневъ рѣдко вдается въ подробныя описанія внѣшнихъ аксессуаровъ жизни. Даже при изображеніи героевъ разсказовъ своихъ, онъ ограничивается обыкновенно самыми главными, наиболѣе выдающимися чертами и старается поскорѣе проникнуть въ глубь жизни, опредѣлить философскій внутренній смыслъ изображаемаго предмета или личности. У Гончарова-же напротивъ того преобла-

даетъ въ изображеніяхъ внѣшняя пластика, стремленіе обрисовывать предметы во всѣхъ ихъ разнообразныхъ и мелкихъ подробностяхъ. Этимъ своимъ качествомъ онъ опять-таки наиболѣе подходитъ къ Гоголю, который славился именно своею страстью вдаваться въ «фламандской кухни пестрый соръ» и въ тину мелочей и дрязгъ повседневной жизни.

Рядомъ съ этою особенностью мы видимъ другую, совершенно противоположную, которая въ свою очередь выходила изъ отсутствія анализа и которую Гончаровъ тоже раздѣлялъ съ Гоголемъ: именно страсть къ широкимъ обобщеніямъ.

Въ самомъ дѣлѣ, анализъ потому уже чуждъ бываетъ широкихъ обобщеній, что стремится разлагать жизнь на ея составные элементы. Поэтому образы Тургенева—конкретны. Вы не можете указать ни на одинъ изъ созданныхъ имъ типовъ интеллигентныхъ современниковъ, чтобы типъ вполнѣ и всесторонне обнималъ людей сороковыхъ годовъ. Для изученія этихъ людей вы должны взять цѣлый рядъ выведенныхъ Тургеневымъ характеровъ въ произведеніяхъ, писанныхъ въ различное время,—и Рудина, и Лаврецкаго, и Веретьева, и Литвинова, — и сами уже потрудиться найти нѣчто общее между всѣми этими героями. У Гончарова-же въ лицѣ Райскаго изображены люди сороковыхъ годовъ въ ихъ наиболѣе типическихъ особенностяхъ и чертахъ, и Райскій вполнѣ выражаетъ собою поколѣніе своего вѣка.

Въ *Обыкновенной Исторіи* уже успѣли ярко выступить всѣ эти качества творчества Гончарова. Здѣсь мы считаемъ не лишнимъ прежде всего указать вотъ на какое обстоятельство, ускользавшее до сихъ поръ отъ вниманія всѣхъ, писавшихъ объ этомъ романѣ Гончарова: именно - несмотря повидимому на вполнѣ органическое появленіе этого романа изъ вѣяній чисто русской жизни, замѣчается тѣмъ не менѣе нѣкоторое отдаленное сходство между этимъ романомъ и *Орасомъ* Жоржъ Зандъ. Примите при этомъ въ соображеніе то обстоятельство, что *Орасъ* появился въ свѣтъ въ 1841 г. и былъ новинкою какъ разъ въ то самое время, когда Гончаровъ задумалъ *Обыкновенную Исторію*. Нѣтъ ничего невѣроятнаго, что задуманъ былъ этотъ романъ подъ сильнымъ впечатлѣніемъ *Ораса*, и это впечатлѣніе сказалось въ немъ до извѣстной степени. Конечно между Орасомъ и Адуевымъ большая разница въ томъ отношеніи, что оба героя живутъ въ совершенно различной средѣ: одинъ—въ свободной странѣ, въ которой кипѣла политическая жизнь, другой—въ Россіи николаевской эпохи; одинъ вслѣдствіе этого могъ увлекаться политикою и биться на баррикадахъ, а другого только и занимали, что одни вещественные знаки невещественныхъ отношеній. Тѣмъ не менѣе между ними вы замѣчаете не мало родственныхъ чертъ. Романъ ЖоржъЗандъ имѣлъ въ свое время совершенно такое-же значеніе во французской жизни, какое *Обыкновенная Исторія* имѣла въ нашей. Онъ въ свою очередь въ лоскъ положилъ тѣхъ золотушныхъ и малокровныхъ юношей дворянской и бружуазной среды, которые являлись изъ провинцій въ столицы для устройства карьеры съ гордыми и высокими мечтами подъ вліяніемъ романтическихъ идеаловъ тридцатыхъ годовъ, облекались въ чайльдъ-гарольдовскій плащъ и мнили себя избранниками, имѣвшими право презирать все, стоящее вокругъ нихъ, но въ концѣ концовъ выказывали полную несостоятельность въ самыхъ простыхъ и элементарныхъ отношеніяхъ къ людямъ и мирились съ пошленькою дѣйствительностью, со всею ея грязью. Орасъ, сынъ небогатаго буржуазнаго

семейства, подобно Александру Адуеву, пріѣзжаетъ изъ провинціи учиться на послѣднія деньги, сколоченныя родителями изъ ихъ скромныхъ избытковъ, поступаетъ на юридическій факультетъ, мечтая сдѣлаться впослѣдствіи политическимъ дѣятелемъ, но мало занимается науками и вообще книгами, чувствуя себя слишкомъ великимъ героемъ для того, чтобы снизойти до такихъ низменностей, какъ зубреніе законовъ и изученіе крючкотворства. Послѣ длиннаго ряда пошлостей и глупостей, оказавшись плохимъ политикомъ, плохимъ товарищемъ и не менѣе плохимъ любовникомъ, онъ мирится на прозаической роли зауряднаго провинціальнаго адвоката и средней руки публициста въ рядахъ оппозиціи.

Сдѣлавши эру во Франціи, романъ Ж. Зандъ не могъ не подѣйствовать какъ своего рода пробуждающій и отрезвляющій ударъ и на нашего пламеннаго романтика въ лицѣ И. А. Гончарова. *Обыкновенная Исторія* и явилась выраженіемъ этого отрезвленія. — Вмѣстѣ со всѣми другими особенностями творчества Гончарова мы видимъ въ этомъ романѣ еще одну, которая неизмѣнно повторяется во всѣхъ послѣдующихъ произведеніяхъ его. Особенность эта въ свою очередь имѣетъ совершенно архаическій, средневѣковой характеръ. Подобно тому, какъ средневѣковой человѣкъ мыслилъ непремѣнно контрастами, рядомъ съ раемъ въ его воображеніи рисовался адъ, рядомъ съ свѣтлымъ ликомъ ангела — мрачный образъ сатаны, и этотъ дуализмъ отражался различнымъ образомъ въ средневѣковомъ искусствѣ; такъ и у Гончарова въ каждомъ романѣ вы встрѣтите на главномъ планѣ параллель двухъ противоположныхъ типовъ: рядомъ съ типомъ отрицательнымъ -- типъ положительный, составляющій его противовѣсъ и оттѣняющій его.—Такъ и въ *Обыкновенной Исторіи*, выведя на сцену, въ лицѣ взбалмошнаго романтика Александра Адуева, россійскаго Ораса, Гончаровъ въ противовѣсъ ему поставилъ трезваго и разсудительнаго реалиста, но при непосредственности своего міросозерцанія онъ не сталъ долго ломать голову надъ измышленіемъ положительнаго типа, какъ мучались надъ подобнымъ дѣломъ прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ, а взялъ перваго попавшагося подъ руку тайнаго совѣтника съ буржуазными наклонностями наживать капиталы коммерческими предпріятіями и состряпалъ изъ него положительный типъ «трезваго реалиста». Вотъ что̀ говоритъ самъ Гончаровъ о незатѣйливой философіи своего романа:

«Въ борьбѣ дяди съ племянникомъ отразилась и тогдашняя только что начинавшаяся ломка старыхъ понятій и нравовъ—сентиментальности,каррикатурнаго преувеличенія чувствъ дружбы и любви, поэзіи, праздности,—семейная и домашняя ложь напускныхъ, въ сущности небывалыхъ чувствъ (напримѣръ, любви *съ желтыми цвѣтами* старой дѣвы тетки и т. п.), пустая трата времени на визиты, на ненужное гостепріимство и т. д.

«Словомъ, вся праздная, мечтательная и аффектаціонная сторона старыхъ нравовъ, съ обычными порывами юности—къ высокому, великому, изящному, къ эффектамъ, съ жаждою высказать это въ трескучей прозѣ, всего болѣе въ стихахъ. Все это отживало, уходило: являлись слабые проблески новой зари, чего-то трезваго, дѣлового, нужнаго. Первое, т. е. старое, исчерпалось въ фигурѣ племянника—и оттого онъ вышелъ рельефнѣе, яснѣе. Второе, т. е. трезвое сознаніе необходимости дѣла, труда, знанія, выразилось въ дядѣ; но это сознаніе только нарождалось, показались первые симптомы, далеко было до полнаго развитія, и понятно, что начало могло выразиться слабо, неполно, только кое-гдѣ, въ отдѣльныхъ лицахъ и маленькихъ группахъ, и фигура дяди вышла блѣднѣе фигуры племянника...

«Адуевъ,—читаемъ мы ниже,—кончилъ, какъ большая часть тогда: послушался практической мудрости дяди, принялся работать въ службѣ, писалъ и въ журналахъ (но

уже не стихами) и, переживъ эпоху юношескихъ волненій, достигъ положительныхъ благъ, какъ большинство, занялъ въ службѣ прочное положеніе и выгодно женился; словомъ, обдѣлалъ свои дѣла. Въ этомъ и заключается «обыкновенная исторія»

IV.

Воздавши первымъ своимъ романомъ дань своей юности и осмѣявши ея романтическія увлеченія въ образѣ Александра Адуева, Гончаровъ принялся за другой романъ, далеко уже не столь субъективный и въ которомъ творчество его проявилось во всей могучей силѣ и въ полномъ расцвѣтѣ.—Надо впрочемъ замѣтить, что два остальные романа Гончарова: *Обломовъ* и *Обрывъ*, вышедшіе въ свѣтъ десять лѣтъ спустя одинъ послѣ другого, были задуманы и даже писались почти разомъ. Такъ, мы видимъ, что въ *Иллюстрированномъ Альбомѣ* при *Современникѣ* 1848—49 гг. былъ помѣщенъ уже *Сонъ Обломова*. Въ слѣдующемъ же 1849 году, задуманъ и *Обрывъ*, судя по словамъ самого Гончарова въ его воспоминаніяхъ.

«Романъ,—говоритъ онъ,—былъ задуманъ въ 1849 г., когда я, послѣ 14-ти-лѣтняго отсутствія, пріѣхалъ повидаться съ родственниками на Волгу. Тутъ толпой хлынули ко мнѣ старыя знакомыя лица, я увидѣлъ еще не отжившій тогда патріархальный битъ и вмѣстѣ новые побѣги, смѣсь молодого со старымъ. Сады, Волга, обрывы Поволжья, родной воздухъ, воспоминанія дѣтства — все это залегло мнѣ въ голову и почти мѣшало кончить *Обломова*, котораго была написана первая часть, а остальныя гнѣздились въ головѣ».

Въ 1852 году Гончаровъ, при посредствѣ А. С. Норова, получилъ предложеніе отъ морского министерства отправиться въ кругосвѣтное плаваніе, въ качествѣ секретаря при адмиралѣ Путятинѣ для заключенія торговаго трактата съ Японіей. Гончаровъ согласился на это предложеніе и отправился кругомъ свѣта на фрегатѣ «Паллада». Результатомъ долгаго и труднаго плаванія, сначала по морямъ кругомъ свѣта, потомъ черезъ всю Сибирь, были путевыя письма, адресованныя сослуживцамъ Н. Ф. Козловскому и А. А. Средину. Письма эти въ департаментѣ прочитывались, нумеровались и, когда Гончаровъ вернулся, были переданы ему для обработки. Въ 1856—57 годахъ они вышли въ свѣтъ подъ заглавіемъ *Фрегатъ Паллада*.

Путевыя письма не мѣшали Гончарову заниматься и обоими романами, которые онъ возилъ вокругъ свѣта, какъ онъ выражается, «въ головѣ и въ программѣ, небрежно написанной на клочкахъ,—и говорилъ, разсказывалъ, читалъ вслухъ всѣмъ, кому попало, радуясь своему запасу».

По изданіи *Фрегата Паллады*, Гончаровъ отправился за-границу и тамъ на водахъ, въ Маріенбадѣ, кончилъ въ 1857 году своего *Обломова*, и «тогда-же,—по его словамъ,—прямо изъ Маріенбада поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ засталъ двухъ-трехъ пріятелей изъ русскихъ литераторовъ, и прочелъ имъ только-что написанныя въ уединеніи на водахъ три послѣднія части *Обломова*, за исключеніемъ послѣднихъ главъ, которыя дописалъ въ Петербургѣ, и опять прочелъ ихъ уже тамъ тѣмъ-же лицамъ. Послѣ того весь отдался *Обрыву*, который извѣстенъ былъ тогда въ кружкѣ Гончарова просто подъ именемъ *Художника*».

Прежде всего скажемъ нѣсколько словъ о *Фрегатѣ Паллада*. Замѣтимъ здѣсь кстати, что при страсти, свойственной людямъ сороковыхъ годовъ, ко всякаго рода художественнымъ описаніямъ, особенно ландшафтамъ и бытовымъ картинамъ, никогда не процвѣтали у насъ въ такой степени путевые

очерки, письма и впечатлѣнія, какъ въ сороковые и пятидесятые годы. Изъ особенно выдающихся такого рода литературныхъ памятниковъ упомянемъ: *Письма объ Испаніи* В. Боткина, *Путевыя письма изъ Италіи* П. Ковалевскаго, печатавшіяся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Но во главѣ подобныхъ произведеній по художественному значенію слѣдуетъ поставить *Фрегатъ Паллада*. Здѣсь во всей своей силѣ проявилось лучшее качество таланта Гончарова, мастерство изобразительности, исполненной живой, осязательной пластичности и детальности.—Картины тропической природы, африканскихъ и индѣйскихъ портовъ, гдѣ останавливался фрегатъ и передъ наблюдательными взорами художника развертывалась яркая, пестрая жизнь, совершенно чуждая всему, къ чему привыкли его взоры, словно какъ-бы какого-то фантастически-сказочнаго характера,—все это представляетъ собою нѣчто единственное по своему совершенству и художественной высотѣ во всѣхъ европейскихъ литературахъ. Но какія волшебныя картины ни раскрываетъ передъ вами авторъ, онъ все-таки остается горячо любящимъ свою родину со всею бѣдностью и тусклостью ея сѣверной природы; ни на минуту не забываетъ онъ Россіи, и книга его полна остроумныхъ и мѣткихъ сравненій и сопоставленій картинъ или нравовъ чуждыхъ странъ съ родными. Въ то-же время ни на минуту не покидаетъ Гончарова его добродушный, веселый юморъ; чудеса тропическихъ странъ не мѣшаютъ ему наблюдать нравы окружающихъ его русскихъ моряковъ, раздѣлявшихъ съ нимъ плаванье, начиная съ высшихъ чиновъ до приставленнаго къ нему деньщикомъ Фаддеева; каждое изображенное лицо здѣсь мало того что живетъ и дышетъ передъ вами, но и является въ высшей степени типичнымъ, и повседневная жизнь фрегата рисуется передъ вами во всѣхъ ея деталяхъ.

Встрѣчаются въ книгѣ и такія страницы, которыя показываютъ, что при всѣхъ чудесахъ, какія представлялись глазамъ Гончарова во время его плаванія, голова его не переставала быть сильно занята путешествовавшимъ вмѣстѣ съ нимъ *Обломовымъ*. Такъ напримѣръ, въ первой-же главѣ *Фрегата Паллады* вы видите замѣчательную въ художественномъ отношеніи параллель англичанина и русскаго барина, въ которой рядомъ съ машино-образнымъ энергичнымъ джонъ-булемъ съ поразительною рельефностью рисуется передъ вами типъ рыхлаго, лѣниваго, безпечнаго, не дорожащаго ни временемъ, ни деньгами русскаго помѣщика.

V.

Наконецъ въ 1858 году былъ напечатанъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* *Обломовъ*. Нужно было жить въ то время, чтобы понять, какую сенсацію возбудилъ этотъ романъ въ публикѣ и какое потрясающее впечатлѣніе произвелъ онъ на все общество. Онъ, какъ бомба, упалъ въ интеллигентную среду какъ разъ во время самаго сильнаго общественнаго возбужденія, за три года до освобожденія крестьянъ, когда во всей литературѣ проповѣдывался крестовый походъ противъ сна, инерціи и застоя. Общество приглашалось бодро и энергично стремиться впередъ по пути прогресса, и романъ всѣми своими образами вторилъ этому призыву. Но въ немъ сразу прозрѣли и нѣчто бóльшее, чѣмъ одно служеніе злобѣ дня, нѣчто существенное и глубоко проникающее въ тайники русской жизни. Довольно сказать, что никто не могъ читать романъ, относясь

къ типу Обломова объективно, каждый непремѣнно тотчасъ-же примѣнялъ этотъ типъ къ себѣ и находилъ въ своей личности то тѣ, то другія обломовскія черты. Это происходило оттого, что въ романѣ даръ обобщеній дошелъ въ авторѣ до своего апогея. Въ Обломовѣ выразился не одинъ лишь развившійся на почвѣ крѣпостного права помѣщичій типъ,—это типъ племенной, захватывающій въ себѣ черты, свойственныя русскимъ людямъ безотносительно къ



И. А. Гончаровъ.

тому, къ какому они принадлежатъ сословію или званію. Добролюбовъ былъ какъ нельзя болѣе правъ, когда въ своей знаменитой статьѣ по поводу романа Гончарова приравнялъ къ Обломову всѣхъ героевъ времени, начиная съ Онѣгина и Печорина и кончая Бельтовымъ и Рудинымъ. Онъ могъ-бы еще и далѣе вести свою параллель и найти обломовскія черты во всѣхъ когда-либо выведенныхъ въ литературѣ характерахъ.

И въ самомъ дѣлѣ: рядомъ съ лѣнью, доходящею до того, что человѣкъ не въ силахъ не только дѣлать какое-либо дѣло, но даже и наслаждаться, рядомъ

съ барскою изнѣженностью, болѣзненною трусливостью и неспособностью къ мало-мальски энергическому шагу—всѣми этими чертами, обусловливающимися рабовладѣльческимъ растлѣніемъ,—вы видите въ Обломовѣ и такія качества, въ которыхъ не можете отказать всѣмъ русскимъ людямъ вообще, въ томъ числѣ и никогда крестьянами не владѣвшимъ. Таково напримѣръ полное отсутствіе инициативы, готовность слѣпо, безпрекословно и пассивно подчиниться первому энергическому призыву и натиску, голубиная кротость и мягкодушіе, исключающія мало-мальски энергическій отпоръ противъ покушеній на личныя наши свободу, счастіе и благосостояніе. Кто изъ насъ не надѣялся на русское авось, не выказывалъ беззавѣтную безпечность передъ неминуемою бѣдою, не пропускалъ счастія мимо рта, играя въ бирюльки въ то время, какъ слѣдовало ковать желѣзо, пока оно было горячо? Въ этомъ отношеніи типъ Обломова, еще разъ повторяю, далеко выходитъ изъ рамокъ барскихъ типовъ: это типъ племенной и, можно даже сказать, общечеловѣческій, одинъ изъ тѣхъ вѣковѣчныхъ типовъ, каковы напримѣръ Донъ-Кихотъ, Донъ-Жуанъ, Гамлетъ и т. п.

Но, возвысившись безсознательно, одною стихійною силою своего творчества до такой высоты, Гончаровъ въ то-же время въ качествѣ мыслителя остался все тѣмъ-же бюрократическимъ оппортунистомъ и средневѣковымъ дуалистомъ.—Ему непремѣнно нужно было въ противовѣсъ Обломову поставить энергическаго и дѣятельнаго человѣка. Художественное чутье подсказывало ему въ то-же время (подобно тому, какъ и Тургеневу въ его *Наканунѣ*), что искать такого человѣка въ русской жизни было-бы напрасно. Къ тому-же разъ въ типѣ Обломова обобщены всѣ русскіе люди, то какъ-же могли-бы они въ то-же самое время заключать въ себѣ черты, противуположныя обломовскимъ; это было-бы полное противорѣчіе, что̀ сознавалъ и самъ Гончаровъ. Такъ, въ своей статьѣ *Лучше поздно* онъ прямо говоритъ: «Изображая лѣнь и апатію во всей ея широтѣ и закоснѣлости, какъ стихійную русскую черту, и только одно это, я, выставивъ рядомъ русскаго-же, какъ образецъ энергіи, знанія, труда, вообще всякой силы, впалъ-бы въ нѣкоторое противорѣчіе съ самимъ собою, т. е. со своею задачей—изображать застой, сонъ, неподвижность. Я разбивалъ-бы цѣлость одной избранной мною для романа стороны русскаго характера».

И вотъ онъ избралъ нѣмца, руководствуясь при этомъ слѣдующими соображеніями: «Я взялъ родившагося здѣсь и обрусѣвшаго нѣмца и нѣмецкую систему неизнѣженнаго, бодраго и практическаго воспитанія. Обрусѣвшіе нѣмцы (напримѣръ остзейцы) сливаются, хотя туго и медленно, съ русскою жизнью и, нѣтъ сомнѣнія, сольются когда-нибудь совсѣмъ. Отрицать полезность этого притока посторонняго элемента къ русской жизни—и несправедливо, и нельзя. Они вносятъ во всѣ роды и виды дѣятельности прежде всего свое терпѣніе, persévérance своей расы, а затѣмъ и много другихъ качествъ, и гдѣ-бы ни было—въ арміи, во флотѣ, въ администраціи, въ наукѣ, словомъ, всюду—они служатъ съ Россіей и Россіи и большей частью становятся ея дѣтьми».

Созданный такимъ образомъ путемъ не стихійнаго творчества, подымавшаго всегда Гончарова на недосягаемую высоту, а логическихъ соображеній, Штольцъ вышелъ мертвеннымъ, дѣланнымъ, отвлеченнымъ, въ чемъ критика неоднократно упрекала Гончарова. Вмѣстѣ съ тѣмъ критика находила въ романѣ недостатокъ дѣйствія и вслѣдствіе этого растянутость. Дѣйствительно,

трудно придумать было-бы болѣе энергическое дѣйствіе въ романѣ, въ которомъ главный герой только и дѣлаетъ, что лежитъ на диванѣ и мечтаетъ, а другому, при всей энергичной натурѣ, только и остается, что выжидать, когда героиня Ольга разочаруется въ Обломовѣ и обратится къ нему.

Но важнѣе этой вялости въ развитіи дѣйствія то обстоятельство, что сюжетъ романа представляется неестественнымъ. Дѣло въ томъ, что Обломовъ своею широкою и яркою типичностью совершенно выступаетъ изъ рамокъ романа и разрушаетъ всю иллюзію сюжета. Съ самой первой страницы герой является передъ вами слишкомъ ужъ Обломовымъ, чтобы такая идеальная русская дѣвушка съ чуткою душою и страстными стремленіями къ дѣятельности, какъ Ольга, могла хоть на минуту увлечься имъ. Трудно допустить, чтобы какъ она, такъ и Штольцъ могли такъ долго возиться съ Обломовымъ и сразу не сообразили, что онъ безнадеженъ! Единственная женщина, вполнѣ подходящая къ Обломову, является во образѣ Агафіи Матвѣевны, и съ нею одной Обломовъ только и могъ сойтись. Въ такомъ случаѣ не было-бы романа. Но развѣ мыслимъ какой-бы то ни было романъ въ жизни Обломова? Подобно безсмертнымъ типамъ вродѣ Плюшкина, Собакевича или Ноздрева, Обломову слѣдовало стоять передъ читателями во весь свой ростъ въ видѣ вѣковѣчнаго портрета. Обломовъ-же въ качествѣ героя романа такой дѣвушки, какъ Ольга, является вопіющей натяжкой.

VI.

По возвращеніи изъ кругосвѣтнаго плаванія Гончаровъ снова поступилъ на государственную службу столоначальникомъ въ томъ-же департаментѣ внѣшней торговли, но вскорѣ, именно въ 1858 году, перешелъ въ министерство народнаго просвѣщенія въ цензурное вѣдомство. Въ 1862 году ему было поручено редактированіе оффиціальной газеты *Сѣверная Почта.* Въ 1873 году, дослужившись до полной пенсіи и генеральскаго чина, онъ вышелъ въ отставку и, проживши остальную жизнь преимущественно въ Петербургѣ, умеръ въ 1891 г. сентября 15-го отъ воспаленія легкихъ и былъ погребенъ 18-го сентября въ Невской лаврѣ.

Въ 1868 году появился наконецъ на страницахъ *Вѣстника Европы* послѣдній романъ Гончарова *Обрывъ.* Судя по всему, это было самое любимое дѣтище Гончарова. Задуманный почти въ одно время съ *Обломовымъ*, романъ этотъ писался и обрабатывался вдвое дольше, чѣмъ *Обломовъ*, т. е. почти двадцать лѣтъ, и въ своей статьѣ *Лучше поздно* авторъ посвящаетъ этому роману бо̀льшее число страницъ.

Но съ *Обрывомъ* произошло то, что̀ часто случается въ жизни: самое любимое и лелѣемое дѣтище не оказалось въ то-же время лучшимъ, и романъ далеко не произвелъ на публику того потрясающаго впечатлѣнія, какъ *Обломовъ*; напротивъ того, публика встрѣтила его холодно, а въ нѣкоторыхъ кружкахъ отнеслись къ нему и враждебно. Такъ какъ романъ былъ задуманъ двадцать лѣтъ тому назадъ и между его началомъ и концомъ протекла цѣлая эпоха полнаго переворота во всѣхъ взглядахъ и нравахъ общества, то нѣтъ ничего мудренаго, что романъ явился какъ-бы анахронизмомъ, никого не задѣвавшимъ за живое. Довольно сказать, что для того, чтобы ввести свое произведеніе хоть сколько нибудь въ струю современности, авторъ долженъ былъ совершенно

измѣнить и передѣлать одинъ изъ типовъ, но этимъ онъ испортилъ все дѣло. Безъ этой передѣлки передъ нами былъ-бы романъ въ духѣ сороковыхъ годовъ, лишь нѣсколько запоздалый своимъ появленіемъ; передѣлка-же исказила его содержаніе и всю фабулу.

Тѣмъ не менѣе въ романѣ вы все-таки найдете рядъ первостепенныхъ достоинствъ. Хотя въ немъ и нѣтъ ни одного такого колоссальнаго по своему захвату типа, какъ Обломовъ, тѣмъ не менѣе даръ обобщеній все-таки не покинулъ автора, и въ романѣ встрѣчаются нѣсколько типовъ во всякомъ случаѣ замѣчательныхъ. Таковъ прежде всего Райскій, въ лицѣ котораго изображены люди сороковыхъ годовъ такъ полно, всесторонне и рельефно, какъ нигдѣ въ литературѣ. Авторъ чувствовалъ и сознавалъ значеніе этого типа и потому болѣе всего распространился о немъ въ статьѣ *Лучше поздно*. Райскій, по его словамъ, «герой слѣдующей, т. е. переходной эпохи, это—проснувшійся Обломовъ... натура артистическая: онъ воспріимчивъ, впечатлителенъ, съ сильными задатками дарованій, но онъ все-таки сынъ Обломова:»

«Райскій талантливъ—но приготовительная школа для таланта трудная, требующая всего человѣка, для него, выросшаго еще въ періодъ обломовскаго сна, неодолима, и некогда ему было: новая эпоха застала его уже взрослымъ. Онъ бросается къ живописи, отъ живописи къ скульптурѣ, пишетъ романъ, неприготовленный техникой ни къ тому, ни къ другому изъ этихъ искусствъ. Новыя идеи кипятъ въ немъ: онъ предчувствуетъ грядущія реформы, сознаетъ правду новаго и порывается ратовать за всѣ тѣ большія и меньшія свободы, приближеніе которыхъ чуялось въ воздухѣ. Но только порывается... Онъ, если не спитъ по-обломовски, то едва лишь *проснулся*—и хотя знаетъ, что́ дѣлать, *но не дѣлаетъ*»...

Не менѣе типична вышла у Гончарова бабушка. Правда, претензіи у автора при изображеніи этого типа были очень велики. Вотъ что̀ говоритъ онъ объ этихъ претензіяхъ:

«Я писалъ съ русской старой, хорошей женщины или съ русскихъ старыхъ женщинъ стараго добраго времени—коллективно, не думая ни о какой параллели, должно быть, но она инстинктивно гнѣздилась въ моей головѣ, и когда я уже закончилъ фигуру, оглядѣлъ ее,—у меня, въ концѣ книги, вырвались послѣднія слова, которыми я и кончилъ романъ. Вотъ они: «За нимъ (Райскимъ, когда онъ былъ въ Италіи) все стояли и горячо звали къ себѣ его три фигуры: его Вѣра, его Мареинька и бабушка, а за ними стояла и сильнѣе ихъ влекла къ себѣ еще другая исполинская фигура, другая великая бабушка—Россія!»

«Вотъ что отразилось или, если я слабый художникъ и не одолѣлъ образа, то покрайней мѣрѣ вотъ что просилось отразиться въ моей старухѣ, какъ отражается солнце въ каплѣ воды: старая, консервативная русская жизнь!»

Такимъ образомъ, какъ видите, въ лицѣ бабушки авторъ мечталъ изобразить чуть-что не всю Россію или по крайней мѣрѣ «старую консервативную русскую жизнь». Но такое широкое и всеобъемлющее обобщеніе автору не удалось, изъ бабушки его вышла все-таки не болѣе какъ бабушка; тѣмъ не менѣе типъ этотъ во всякомъ случаѣ замѣчателенъ, какъ олицетвореніе лучшей старой женщины, какая только могла произрасти на почвѣ патріархальнаго быта. Она составляетъ въ этомъ отношеніи полную параллель съ дѣдушкою Багровымъ въ *Семейной хроникѣ* С. Аксакова.

Далѣе затѣмъ не менѣе замѣчательны типы Вѣры и Мареиньки, въ лицѣ которыхъ Гончаровъ, подражая Пушкину, изобразившему въ *Евгеніи Онѣгинѣ* два основные типа русскихъ женщинъ его времени, Татьяну и Ольгу, въ свою очередь вывелъ подобные-же два основные типа, возросшіе на почвѣ патріархальнаго помѣщичьяго быта,—Мареиньку съ ея пассивною натурою, слѣпо подчиняющуюся всѣмъ старымъ преданіямъ своей среды и живущую исключи-

тельно одною растительною жизнью, и Вѣру—натуру въ высшей степени активную, страстную, независимую, рвущуюся всѣми силами своей души изъ тенетъ стараго патріархальнаго гнета къ свѣту, на путь свободной и самостоятельной жизни.

Что касается до Софьи Бѣловодовой, то Гончаровъ самъ сознается въ ея несостоятельности.

«Здѣсь,—говоритъ онъ въ той-же статьѣ *Лучше поздно*,—я долженъ сознаться въ полной своей несостоятельности въ изображеніи фигуры Софьи Бѣловодовой. Я не зналъ тогда вовсе, и теперь мало знаю кругъ, гдѣ она жила, и тутъ критика вполнѣ права. Это скучное начало, изъ котораго вовсе нехудожественно выглядываетъ замыселъ, показало, какъ отразилось развитіе новыхъ идей на замкнутомъ кругѣ большого свѣта. И ничего кромѣ претензіи не вышло изъ этой затѣи».

Но еще болѣе несостоятельнымъ представляется типъ Марка Волохова своею грубою каррикатурностью и сочиненностью. Гончаровъ самъ признается, что когда онъ задумывалъ романъ, въ его воображеніи вмѣсто Марка Волохова мелькалъ другой образъ, вполнѣ соотвѣтствовавшій тому времени.

«Еще я долженъ сказать,—говоритъ онъ,—что въ первоначальномъ планѣ *Обрыва*, набросанномъ въ 1848 и 1850 годахъ, на мѣсто этого рѣзкаго типа, тогда еще не существовавшаго, у меня былъ предположенъ сосланный по неблагонадежности подъ присмотръ полиціи выключенный изъ службы или изъ школы либералъ за грубость, за неповиновеніе начальству, за то наконецъ, что споетъ какую-нибудь русскую марсельезу или проврется дерзко про власть. Такихъ бывало не мало лѣтъ тридцать тому назадъ.

«Но какъ романъ развивался вмѣстѣ со временемъ и новыми явленіями, то лица конечно принимали въ себя черты и духъ времени и событій. Отъ этого и предположенный зародышъ *неблагонадежнаго* превратился къ концу романа уже въ рѣзкую фигуру Волохова, которая появлялась кое-гдѣ въ обществѣ. Въ 1862 году, когда я ѣздилъ вновь по Волгѣ, прожилъ лѣто на родинѣ, былъ въ Москвѣ, мнѣ уже ясно опредѣлилось это лицо»..

И ниже Гончаровъ выражаетъ свое крайнее изумленіе, какъ молодое поколѣніе могло принять Волохова на свой счетъ. «Волоховъ,—восклицаетъ онъ,—будто-бы новое поколѣніе! То поколѣніе, которое бросилось навстрѣчу реформъ—и туда уложило всѣ силы! Даровитые дѣятели въ крестьянской реформѣ, въ земскихъ дѣлахъ, въ новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, гдѣ успѣли пріобрѣсти громкія имена: неужели это Волоховы?!» Новое поколѣніе, по мнѣнію Гончарова, олицетворяется въ его романѣ въ личности Тушина; Волоховъ-же представляетъ собою олицетвореніе «новой лжи».

«Волоховъ,—говоритъ онъ,- не соціалистъ, не доктринеръ, не демократъ. Онъ радикалъ и кандидатъ въ демагоги: онъ съ почвы праздной теоріи безусловнаго отрицанія готовъ перейти къ дѣйствію—и перешелъ-бы, если-бъ у насъ могла демагогія выразиться ярче и перейти къ дѣйствію, т. е. если-бы у насъ была возможна широкая пропаганда коммунизма, интернаціональная подземная работа и т. п. Онъ и пошелъ-бы на это поле работать—искренне, потому что я взялъ не авантюриста, бросающагося въ омутъ для выгоды ловить рыбу въ мутной водѣ, а—съ его точки зрѣнія—честнаго, т. е. искренняго человѣка, неглупаго, съ нѣкоторой силой характера. И въ этомъ—условіе успѣха. Не умышленная ложь, а его собственное искреннее заблужденіе только и могли вводить въ заблужденіе и Вѣру, и другихъ. Плута всѣ узнали-бы разомъ и отвернулись-бы отъ него»...

Но если допустить, что и въ самомъ дѣлѣ въ лицѣ Марка Волохова изображено не все молодое поколѣніе, а одни только, какъ выражается Гончаровъ, «демократы и демагоги», то и эти люди, какъ-бы они, по мнѣнію автора, ни заблуждались, какъ-бы ни были ложны ихъ ученія,—далеко не представляли изъ себя такихъ каррикатурныхъ квазимодо, какимъ парадируетъ въ романѣ Маркъ Волоховъ, и такимъ образомъ главный corpus delicti остается во всей своей силѣ: какъ могла влюбиться въ него Вѣра, гордая, тонкая, изящная?

Въ отвѣтъ на этотъ corpus delicti Гончаровъ говоритъ:

«Мнѣ дѣлали этотъ упрекъ *именно въ то самое* время, когда это явленіе, какъ холера, какъ тифозная горячка, выхватывало изъ нашихъ родныхъ или знакомыхъ семей жертву за жертвой и наводило почти панику на общество. Упрекаютъ за то, что я записалъ явленіе, явно совершавшееся, какъ будто небывальщину! Развѣ женщины пренебрегали сближеніемъ съ этими оторвавшимися отъ порядка, отъ общества, отъ семействъ, грубоватыми героями «новой силы», «новаго дѣла», идеала какого-то «громаднаго будущаго»? Развѣ многія изящныя красавицы не пошли за ними на ихъ чердаки, въ ихъ подвалы, бросивъ однѣ родителей, другія—мужей и—еще хуже—дѣтей? Сколько было слуховъ о какихъ-то фаланстеріяхъ, куда уходили гнѣздиться разныя Вѣры? Какія это женщины?—скажутъ мнѣ.—Всякія!—отвѣчу я. Не однѣ падшія или готовыя къ паденію бросились въ омутъ—нѣтъ. Кто изъ насъ не назоветъ примѣра такихъ эмиграцій—изъ почтенныхъ семействъ, отъ образованнаго круга,—на поиски новаго труда, новаго счастья, съ принесеніемъ въ жертву лучшихъ женскихъ качествъ, полученныхъ отъ природы и воспитанія, побѣговъ отъ прямого скромнаго дѣла, отъ трудныхъ семейныхъ обязанностей?»

Все это прекрасно. Но какъ ни были грубоваты герои, увлекавшіе Вѣръ на свои чердаки, между грубоватостью Базарова и грубою каррикатурностью Марка Волохова большое разстояніе. А главное дѣло въ томъ, что, по собственнымъ словамъ Гончарова, дѣйствительные герои *увлекали разныхъ Вѣръ на свои чердаки*, и увлекали не одною только силою чувственности, а и своими ученіями, которыя, какъ-бы ни казались ложными писателямъ сороковыхъ годовъ и въ томъ числѣ Гончарову, тѣмъ не менѣе обаятельно дѣйствовали на юныя сердца, и прежде чѣмъ Вѣра упала въ объятія Марка Волохова, у нея должны были-бы радикально измѣниться ея взгляды и на жизнь, и на отношенія къ окружающимъ людямъ. Такъ именно всегда происходило въ явленіяхъ, о которыхъ говоритъ Гончаровъ. Между тѣмъ въ романѣ этого нѣтъ, въ чемъ и заключается величайшая ошибка со стороны автора. Маркъ Волоховъ по отношенію къ Вѣрѣ является только обольстителемъ, не думая увлекать ее на какіе-либо чердаки, и въ этомъ отношеніи является вполнѣ вѣрнымъ первоначальному замыслу романа, когда на его мѣстѣ долженъ былъ парадировать «неблагонадежный» человѣкъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ конечно ужъ съ печоринскимъ пошибомъ, т. е. являвшійся Донъ-Жуаномъ, обольщавшимъ и бросавшимъ провинціальныхъ барышень, не внося въ ихъ головы никакого новаго содержанія. Но таковы-ли были люди шестидесятыхъ годовъ, даже хотя-бы и тѣ, которыхъ Гончаровъ именуетъ «представителями новой лжи»?

Но и Тушинъ, олицетворяющій въ романѣ лучшую часть молодого поколѣнія и являющійся представителемъ новой правды, нельзя сказать, чтобы былъ удаченъ. Онъ является такимъ-же дѣланнымъ, сочиненнымъ и мертвеннымъ, какъ и Штольцъ, такую-же и роль играетъ въ романѣ параллельнаго контраста.

Однимъ словомъ, какъ философія романа, такъ и всѣ выведенныя въ немъ новыя пореформенныя явленія русской жизни стоятъ ниже всякой критики, и романъ цѣненъ лишь картинами старой, дореформенной помѣщичьей жизни, въ которыхъ Гончаровъ является все тѣмъ-же крупнымъ художникомъ—съ одной стороны широкимъ обобщителемъ, съ другой—жанристомъ, исполненнымъ свойственнаго ему русскаго, добродушнаго юмора.

Характеристикою *Обрыва* мы можемъ покончить обозрѣніе литературной дѣятельности Гончарова. Все то немногое, что вышло въ свѣтъ въ послѣдніе годы его жизни, *Литературный вечеръ* (1877), *Милліонъ терзаній* (1881), *Замѣтки о личности Бѣлинскаго* (1884), *Лучше поздно, чѣмъ никогда*, *Воспоми-*

нанія, *Слуги*, заключая въ себѣ большія или меньшія достоинства, свойственныя таланту Гончарова, въ то же время ничего не прибавили къ славѣ его, не играли какой-либо роли въ русской литературѣ и не оставили въ ней рѣзкаго слѣда.

Значеніе Гончарова въ нашей литературѣ основывается лишь на трехъ его большихъ романахъ. Болѣе же всего Гончаровъ всегда будетъ чтиться въ нашей литературѣ какъ творецъ *Обломова*.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

I. Графъ Левъ Николаевичъ Толстой въ отличіи его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Дѣтскіе и юношескіе годы его до севастопольской кампаніи включительно.—II. Характеристика его произведеній этого періода его жизни.—III. Увлеченіе прогрессомъ конца пятидесятыхъ годовъ и первыя сомнѣнія въ немъ и въ европейской цивилизаціи вообще. Произведенія петербургскаго періода его жизни.—IV. Гр. Толстой въ деревнѣ. Его педагогическая дѣятельность; педагогическія статьи и начало полнаго отрицанія и скептицизма во всемъ окружающемъ.—V. Пятнадцать лѣтъ жизни послѣ женитьбы. Раздвоеніе. Романъ *Война и миръ*.—VI. Душевный переворотъ на пятидесятомъ году его жизни. Связь этого переворота съ прежнимъ теченіемъ мыслей гр. Толстого. Результаты переворота.—VII. Романъ *Анна Каренина*. Теолого-мистическія сочиненія гр. Толстого и прочія произведенія послѣднихъ лѣтъ его жизни.

I.

Въ то время, какъ въ Тургеневѣ мы видимъ западника и либерала съ нѣсколько краснымъ оттѣнкомъ, въ Гончаровѣ — представителя буржуазныхъ и оппортунистическихъ идеаловъ петербургскихъ дѣльцовъ и бюрократовъ, гр. Толстой отличается тѣмъ, что въ произведеніяхъ его глубже и сильнѣе, чѣмъ у всѣкъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, выразился духъ времени, такъ какъ ни у одного изъ писателей этой школы анализъ и скептицизмъ, присущіе ей, не доходили до такой безпощадной послѣдовательности, глубины и радикальности, и ни одинъ не приблизился въ такой степени къ демократическимъ и народнымъ идеаламъ. Тургеневъ съ рѣдкимъ безпристрастіемъ и прозорливостью ставилъ гр. Толстого цѣлою головою выше всѣхъ прочихъ своихъ сотоварищей, называлъ его слономъ и великимъ писателемъ земли русской. И дѣйствительно, гр. Толстой принадлежитъ къ числу тѣхъ геніальныхъ натуръ, въ душѣ которыхъ каждое впечатлѣніе жизни вызываетъ глубокій и неизгладимый слѣдъ. Малѣйшіе диссонансъ и противорѣчіе, мимо которыхъ мы проходимъ равнодушно, отзываются въ нихъ болѣзненною мукою. Пытливый и ни на минуту не успокоивающійся умъ ихъ постоянно стремится проникнуть въ сущность вещей. Вслѣдствіе этого въ глубинѣ ихъ души лежитъ постоянно тяжелая тоска, и вмѣстѣ съ тѣмъ мысль ихъ имѣетъ неудержимую наклонность погружаться въ мистическія бездны. Они словно нарочно бываютъ созданы для того, чтобы носить въ себѣ всѣ скорби своего вѣка и быть искупительными жертвами за своихъ современниковъ, хотя-бы въ томъ только отношеніи, что имъ приходится болѣть за нихъ своею вѣчно страждущею душою.

Но при всей геніальности гр. Толстой не былъ въ состояніи далеко уйти

отъ своего вѣка, среды и сверстниковъ.—Большая послѣдовательность въ скептицизмѣ и отрицаніи привела его лишь къ тому, что онъ не могъ ни съ чѣмъ помириться въ окружающей его жизни, ни на чемъ успокоиться, какъ мирились и успокоивались нѣкоторые изъ его современниковъ. Но въ то-же время онъ не въ силахъ былъ дойти до той высоты развитія, на которой онъ предвидѣлъ-бы обѣтованную землю впереди. И вотъ, будучи не въ силахъ долго оставаться въ торричелліевой пустотѣ скептицизма и отрицанія, не предугадывая ничего впереди, онъ бросился назадъ—искать идеаловъ и успокоенія въ вѣроученіяхъ древняго Востока. Тамъ онъ весьма естественно ничего не могъ найти, кромѣ однихъ личныхъ идеаловъ самосовершенствованія. Онъ не обратилъ вниманія, что человѣчество не даромъ прожило послѣ того около двухъ тысячъ лѣтъ и, хотя-бы въ лицѣ немногихъ передовыхъ людей, дошло до идей коллективизма, неизвѣстнаго мудрецамъ древняго Востока. Гр. Толстому тѣмъ естественнѣе было увлечься ветхими идеалами личнаго самосовершенствованія, что юность его протекла въ такую эпоху, когда идеалы личнаго самосовершенствованія стояли на первомъ планѣ и составляли суть русскаго прогресса. Въ этомъ и заключается ахиллесова пята гр. Толстого, которая привела его ко всѣмъ заблужденіямъ послѣднихъ лѣтъ его литературной дѣятельности.

Гр. Л. Н. Толстой родился въ 1828 году 28-го августа въ селѣ Ясная Поляна, Крапивенскаго уѣзда, Тульской губерніи. Мать свою, урожденную княжну Марью Николаевну Волконскую, онъ потерялъ, когда ему не было еще и двухъ лѣтъ, и первыми его воспитательницами и наставницами были Т. А. Ергольская, дальняя родственница Толстыхъ, и графиня А. И. Остенъ-Сакенъ, тетка его по отцу. Въ 1837 году, когда Толстому было девять лѣтъ, вся семья переѣхала въ Москву, и вскорѣ затѣмъ умеръ отецъ его, Николай Ильичъ. Послѣ смерти отца Толстой съ братомъ Дмитріемъ и сестрой Маріею снова переѣхали въ деревню, а братъ Николай остался при графинѣ А. И. Остенъ-Сакенъ и посѣщалъ Московскій университетъ. Черезъ три года, со смертью графини, опека перешла къ теткѣ по отцу гр. Толстого, П. И. Юшковой, жившей въ Казани, куда переселился и гр. Толстой. Въ 1843 г. онъ поступилъ въ Казанскій университетъ на филологическій факультетъ, но пробылъ на этомъ факультетѣ всего одинъ годъ, такъ какъ при переходѣ изъ перваго курса на второй былъ срѣзанъ профессоромъ русской исторіи, поссорившимся передъ тѣмъ съ его домашними, и сверхъ того получилъ единицу изъ нѣмецкаго, несмотря на то, что зналъ нѣмецкій языкъ лучше всѣхъ однокурсниковъ. Тогда онъ принужденъ былъ перейти на юридическій факультетъ, гдѣ пробылъ два года—и въ 1848 г. держалъ экзаменъ на кандидата въ С.-Петербургскомъ университетѣ. «Буквально ничего не зналъ,—сообщаетъ онъ въ своей статьѣ *Воспитаніе и образованіе* (см. Сочин. гр. Л. Н. Т., т. 4, стр. 134),— и буквально началъ готовиться за недѣлю до экзамена. Я не спалъ ночи и получилъ кандидатскіе баллы изъ гражданскаго и уголовнаго права, готовясь изъ каждаго предмета не болѣе недѣли».

Сдавши кандидатскій экзаменъ, гр. Толстой переѣхалъ въ Ясную Поляну и здѣсь прожилъ до 1851 года. Въ этомъ году онъ поступилъ юнкеромъ въ 44-ю батарею 20-й артиллерійской бригады. Батарея эта стояла на Терекѣ въ станицѣ Старо-Медовской. Здѣсь гр. Толстой пробылъ четыре года до начала турецкой войны.

По всѣмъ этимъ даннымъ вы можете судить, что онъ былъ вполнѣ дере-

венскимъ жителемъ. По крайней мѣрѣ изъ первыхъ двадцати трехъ лѣтъ своей жизни онъ провелъ въ городахъ не болѣе пяти лѣтъ, да и тѣ неполныя. А затѣмъ двадцати-трехъ лѣтъ, поступивши на службу, онъ перешелъ на лоно роскошной кавказской природы, и ему пришлось переживать всѣ тревоги и сильныя впечатлѣнія военной, боевой жизни. Надо полагать, что кавказская природа и боевая жизнь, полная приключеній и разнообразныхъ столкновеній съ людьми, дѣйствуя на воображеніе молодого человѣка, не мало способствовали развитію его таланта. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что четыре года пребыванія на Кавказѣ были годами пробужденія его творчества и первыхъ опытовъ, обратившихъ на него вниманіе печати и публики. Такъ, въ это время были написаны имъ: *Дѣтство*, *Набѣгъ*, *Отрочество*, *Утро помѣщика*, *Казаки*.

Во время турецкой кампаніи гр. Толстой былъ прикомандированъ къ штабу князя М. Д. Горчакова при дунайской арміи. Въ 1855 году получилъ командованіе горной батареей, принималъ участіе въ сраженіи при Черной 4-го августа, былъ при штурмѣ Севастополя 27-го августа; плодомъ этого участія въ севастопольской войнѣ явились военные разсказы: *Севастополь въ декабрѣ*, *Севастополь въ маѣ*, *Рубка лѣса* и *Севастополь въ августѣ* (1855—1856 гг.). Тогда-же появились шуточныя стихотворныя легенды Севастополя, которыя общій голосъ приписываетъ гр. Толстому.

II.

Уже въ первыхъ произведеніяхъ гр. Толстого вы видите задатки того разъѣдающаго анализа, которымъ отличаются позднѣйшія его произведенія. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя-бы *Дѣтство*, *Отрочество* (*Юность*, составляющая ихъ продолженіе, относится къ концу пятидесятыхъ годовъ). Какою юношескою свѣжестью вѣетъ отъ нихъ; сколько обаятельной, чарующей поэзіи находите вы въ описаніи красотъ природы, дѣтскихъ впечатлѣній, игръ, симпатій и антипатій ребенка! И тѣмъ не менѣе безпощадная иронія таится въ этихъ произведеніяхъ. Читая ихъ, вы видите, какъ шагъ за шагомъ изъ ребенка, исполненнаго прекрасныхъ задатковъ, вырабатывается пошлый, тщеславный фатъ и совершенно пустопорожній коптитель неба. Васъ поражаетъ здѣсь полная изолированность ребенка отъ жизни взрослыхъ, совершенная отчужденность его отъ интересовъ семьи. Онъ не участвуетъ ни въ какихъ трудахъ своихъ родныхъ, ихъ радостяхъ и печаляхъ. Передъ нимъ мать истаиваетъ въ слезахъ при видѣ легкомыслія мужа, губящаго семейство, и сходитъ въ могилу обманутая, униженная, оскорбленная, почти брошенная въ деревенскомъ захолустьѣ; все это остается совершенно незамѣченнымъ ребенкомъ, безъ малѣйшаго протеста или простого вопроса о томъ, чтó дѣлается вокругъ него.

Изолированный такимъ образомъ отъ жизни, ребенокъ предоставленъ полной умственной и нравственной праздности. У него возникаютъ на каждомъ шагу живые вопросы по поводу всего окружающаго, но никто не заботится дать на нихъ отвѣты; вмѣсто этого мальчика забиваютъ рутинною школьною дрессировкою, ученіемъ французскихъ и нѣмецкихъ вокабулъ, рѣкъ, городовъ и историческихъ фактовъ съ докучною хронологіей. Не находя пищи и содержанія извнѣ, умъ юноши начинаетъ пожирать самого себя, углубляется въ рядъ

отвлеченнѣйшихъ вопросовъ и строитъ гипотезы и теоріи въ духѣ стоицизма, эпикуреизма или-же путается въ безъисходномъ скептицизмѣ. Въ нравственномъ мірѣ героя вы видите тоже отвлеченное, фантастическое содержаніе за недостаткомъ реальнаго. Не пріученный ни къ какому труду, успѣшное совершеніе котораго удовлетворяло-бы его самолюбіе, юноша ищетъ этого удовлетворенія, воображая себя олицетвореніемъ разныхъ величественныхъ идеаловъ; но дѣйствительность на каждомъ шагу разрушаетъ его иллюзіи, и мальчикъ вдругъ начинаетъ чувствовать себя ничтожнымъ и жалкимъ, стыдится за каждое свое слово и движеніе.

Результатомъ подобнаго противоестественнаго воспитанія, которому подвергается большинство юношей привилегированныхъ классовъ, и является полное отсутствіе всякаго внутренняго содержанія, неудержимое стремленіе къ внѣшнему блеску и, вмѣсто какихъ-бы то ни было нравственныхъ основаній и правилъ, соблюденіе одного свѣтскаго комъ-иль-фотства при напыщенномъ презрѣніи и ненависти ко всему не комъ-иль-фотному. Иронія гр. Толстого съ особенною силою обнаруживается, когда онъ показываетъ, что даже такой религіозный актъ какъ говѣнье въ подобнаго рода героевъ не можетъ ограничиться однимъ безхитростнымъ чувствомъ благоговѣнія, а соединяется съ рисовкою и любованіемъ собою, и здѣсь гр. Толстой впервые поражаетъ насъ въ сценѣ съ извозчикомъ тѣмъ сопоставленіемъ извращеннаго умственно и нравственно, изолгавшагося барства съ простотою, цѣльностью и здравымъ смысломъ народа. Въ восклицаніи извозчика: «А что, баринъ, ваше дѣло господское!..»—вы видите уже передъ собою того самого гр. Толстого, величіе котораго впослѣдствіи заключалось главнымъ образомъ въ подобнаго рода сопоставленіяхъ.

Прочія произведенія гр. Толстого этого періода представляютъ собою изображеніе дальнѣйшей судьбы того самаго умственно и нравственно извращеннаго героя, воспитаніе котораго изображено въ *Дѣтствѣ*, *Отрочествѣ* и *Юности*. Такъ, на первомъ планѣ мы видимъ повѣсть *Утро помѣщика*, представляющуюся отрывкомъ изъ неоконченнаго романа *Русскій помѣщикъ*. Въ этой повѣсти впервые проявилось различіе гр. Толстого отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Какъ Тургеневъ, такъ и Гончаровъ выставляли обыкновенно безхарактерность героевъ помѣщичьей среды главнымъ образомъ по отношенію къ любимымъ женщинамъ, лишь вскользь и мимоходомъ упоминая о всѣхъ прочихъ фактахъ ихъ жизни. Въ то-же время они предполагали, что не всѣхъ поголовно развращаетъ среда, являются въ ней люди очень порядочные и полезные, вродѣ Волынцева, Лежнева, и даже возможны такіе идеальные герои, какъ Штольцъ и Тушинъ. Гр. Толстой въ своихъ первыхъ разсказахъ совсѣмъ не имѣетъ дѣла съ любовью и рисуетъ своихъ героевъ въ столкновеніи ихъ съ различными слоями общества, преимущественно-же съ народомъ, изображаетъ ихъ совершающими дѣло жизни. Въ то-же время онъ изображаетъ не одни только пороки и недостатки, свойственные людямъ помѣщичьей среды, а обращаетъ вниманіе на ложность самаго общественнаго положенія ихъ и показываетъ, что и при всѣхъ моральныхъ совершенствахъ, при всемъ энергическомъ стремленіи къ добру и пользѣ, условія ихъ жизни и отношенія къ людямъ столь ненормальны, что самыя почтенныя и энергическія усилія парализуются, или-же, что̀ еще хуже, превращаются въ попраніе человѣческихъ правъ, и вмѣсто добра и пользы получаются вредъ и зло.

Надо полагать, что и всѣ повѣсти этого времени: *Утро помѣщика*, *Ка-*

заки, равно и написанныя впослѣдствіи — *Альбертъ* и *Люцернъ*, если не заключаютъ въ себѣ въ буквальномъ смыслѣ автобіографическихъ фактовъ, во всякомъ случаѣ навѣяны не одними объективными наблюденіями, а личными тяжкими опытами; авторъ ихъ пережилъ и перестрадалъ.

Невольно чувствуется самъ гр. Толстой въ князѣ Нехлюдовѣ, пріѣхавшемъ изъ университета въ деревню на лѣтнія вакаціи и въ письмѣ къ теткѣ излагающемъ свои радужныя фантазіи о священныхъ обязанностяхъ заботиться о счастіи семисотъ человѣкъ, за которыхъ онъ долженъ будетъ отвѣчать Богу. Нужно было самому пережить, чтобы изобразить во всей ужасающей правдѣ все разочарованіе князя Нехлюдова, убѣдившагося, что онъ не только не способенъ оказать какую-либо пользу своимъ крестьянамъ, но всѣ его усилія обращаются въ ничто или приносятъ имъ одинъ вредъ. Развѣ не слышите вы душевныхъ стоновъ самого автора, напоминающихъ вамъ послѣдующую много лѣтъ спустя *Исповѣдь*, въ слѣдующихъ размышленіяхъ Нехлюдова:

«Гдѣ-же мои мечты! вотъ ужъ больше году, что я ищу счастья на этой дорогѣ, и чтò-жъ я нашелъ? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольнымъ собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нѣтъ, я просто недоволенъ собой! Я недоволенъ потому, что я здѣсь не знаю счастья, а желаю, стрáстно желаю счастья. Я, не испытавъ наслажденій, уже отрѣзалъ отъ себя все то, что даетъ ихъ. Зачѣмъ? за что? Кому отъ этого стало легко? Правду писала тетка, что легче самому найти счастье, чѣмъ дать его другимъ. Развѣ богаче стали мои мужики? Образовались или развились нравственно? Нисколько. Имъ стало не лучше, а мнѣ съ каждымъ днемъ становится тяжелѣе. Если-бъ я видѣлъ успѣхъ въ своемъ предпріятіи, если-бъ я видѣлъ благодарность... но нѣтъ, я вижу ложную рутину, порокъ, недовѣріе, безпомощность! Я даромъ трачу лучшіе годы жизни»...

Очень возможно, что самое отправленіе на Кавказъ и поступленіе тамъ на службу было прямымъ результатомъ подобнаго рода разочарованія самого автора. Но и здѣсь ждалъ его рядъ новыхъ разочарованій, изображенныхъ въ повѣсти *Казаки*. Герой этой повѣсти Оленинъ испыталъ цѣлый рядъ безплодныхъ порывовъ, причемъ и свѣтской жизни, и службѣ, и хозяйству, и музыкѣ, по словамъ Толстого, онъ отдавался настолько лишь, насколько они не связывали его, и спѣшилъ поскорѣе отдѣлываться отъ нихъ, какъ только начиналъ чуять приближеніе труда и мелочной борьбы съ жизнью. И вотъ, расточивъ половину имущества и надѣлавъ долговъ, въ одинъ прекрасный день вдругъ онъ пришелъ къ убѣжденію, что всякая окружающая его жизнь и собственная его искусственна, нелѣпа, исполнена призрачности и лжи, и что необходимо сразу разорвать съ нею и начать новую жизнь, простую, естественную, на лонѣ природы, въ средѣ ея дѣтей, непосредственно наивныхъ, цѣльныхъ и нерастлѣнныхъ цивилизаціею.—Съ этою цѣлью опредѣлился онъ юнкеромъ въ кавказскую армію.

«Уѣзжая изъ Москвы,—читаемъ мы въ повѣсти,—онъ находился въ томъ счастливомъ настроеніи духа, когда, сознавъ прежнія ошибки, юноша вдругъ скажетъ себѣ, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что онъ прежде не хотѣлъ жить *хорошенько*, но что теперь, съ выѣздомъ его изъ Москвы, начинается новая жизнь, въ которой уже не будетъ больше тѣхъ ошибокъ, не будетъ раскаянія, а навѣрное будетъ только одно счастье...

«Чѣмъ дальше,—читаемъ мы ниже,—уѣзжалъ Оленинъ отъ центра Россіи, тѣмъ дальше казались отъ него всѣ его воспоминанія, и чѣмъ ближе подъѣзжалъ къ Кавказу, тѣмъ отраднѣе становилось ему на душѣ. Уѣхать совсѣмъ и никогда не пріѣзжать назадъ, не показываться въ общество, приходило ему иногда въ голову. «А эти люди, которыхъ я здѣсь вижу,—*не люди*; никто изъ нихъ меня не знаетъ, и никто никогда не можетъ быть въ Москвѣ въ томъ обществѣ, гдѣ я былъ, и узнать о моемъ прошедшемъ». И совершенно новое для него чувство свободы отъ всего прошедшаго охватывало его

между этими грубыми существами, которыхъ онъ встрѣчалъ по дорогѣ и которыхъ не признавалъ людьми наравнѣ со своими московскими знакомыми. Чѣмъ грубѣе былъ народъ, чѣмъ меньше было признаковъ цивилизаціи, тѣмъ свободнѣе онъ чувствовалъ себя».

Окончательно отрѣзавъ себя отъ цивилизаціи, Оленинъ поселился на лонѣ роскошной, дѣвственной природы, въ казачьей станицѣ, среди народа въ одно и то-же время земледѣльческаго и грубо воинственнаго. Это были потомки раскольниковъ, бѣжавшихъ нѣкогда отъ преслѣдованій на берега Терека; они сохранили вѣру и языкъ предковъ, но въ нравахъ, понятіяхъ и обычаяхъ ничѣмъ не отличались отъ абрековъ, съ которыми постоянно дрались, что́ не мѣшало имъ скрещиваться съ врагами браками. Оленинъ проводилъ всѣ дни на охотѣ, въ бесѣдахъ съ старымъ казакомъ Ерошкою, и вдругъ на него нашло просіяніе весьма характерное, которое мы просимъ читателей внимательно прочесть отъ первой строки до послѣдней:

«И ему ясно стало, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а просто такой же комаръ или такой же фазанъ или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него:—«Такъ же, какъ они какъ дядя Ерошка, поживу, умру. И правду онъ говоритъ: только трава выростетъ».

«Да что же, что трава выростетъ? — думалъ онъ дальше:—все же надо жить, надо быть счастливымъ; потому что я только одного желаю—счастья. Все равно, что бы я ни былъ: такой же звѣрь какъ и всѣ, на которомъ трава выростетъ, и больше ничего, или я рамка, въ которой вставилась часть единаго Божества: все-таки надо жить наилучшимъ образомъ. Какъ же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и отчего я не былъ счастливъ прежде?» И онъ началъ вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Онъ самъ представился себѣ такимъ требовательнымъ эгоистомъ, тогда какъ въ сущности ему для себя ничего не было нужно. И все онъ смотрѣлъ вокругъ себя на просвѣчивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовалъ себя такимъ-же счастливымъ, какъ и прежде. «Отчего я счастливъ и зачѣмъ я жилъ прежде?»—подумалъ онъ.—«Какъ я былъ требователенъ для себя, какъ придумывалъ и ничего не сдѣлалъ себѣ кромѣ стыда и горя! А вотъ какъ мнѣ ничего не нужно для счастія!» И вдругъ ему какъ-будто открылся новый свѣтъ. «Счастье—вотъ что́!—сказалъ онъ самъ себѣ: — счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья; стало быть—она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе!» Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому бы сдѣлать добро, кого бы любить. «Вѣдь ничего для себя не нужно,—все думалъ онъ,—отчего же не жить для другихъ?»

Не правда-ли всѣ эти размышленія буквально тождественны съ тѣми «просіяніями» и «озареніями новымъ свѣтомъ», какія мы встрѣчаемъ въ сочиненіяхъ гр. Толстого послѣднихъ лѣтъ? Такимъ образомъ уже въ 1852 году бродили въ головѣ гр. Толстого тѣ самыя мысли, появленіе которыхъ онъ приписывалъ позднѣйшему періоду своей жизни. Впрочемъ находимъ мы здѣсь и весьма существенную разницу. Въ 1852 году онъ не думалъ, что стои́тъ только дойти до подобныхъ мыслей и проникнуться ими, чтобы и дѣйствительно возродиться къ новой жизни. Онъ понималъ еще тогда, что отъ прекрасныхъ мыслей и словъ до дѣла очень далеко, и что несостоятельность людей вродѣ Оленина зависѣла не отъ тѣхъ или другихъ взглядовъ на жизнь, а отъ самой ихъ натуры, искаженной условіями жизни, и поэтому Оленинъ, несмотря на всѣ свои «просіянія», остается все тѣмъ-же ветхимъ человѣкомъ, котораго носить въ себѣ, и приходитъ къ горькому опыту, что всѣ попытки его переродиться, слиться съ непосредственными дѣтьми народа, людьми труда и борьбы

и жить для другихъ—ничего не приносятъ этимъ людямъ, кромѣ вреда и горя. онъ совсѣмъ пасуетъ передъ ними при всемъ обширномъ образованіи, и ему остается идти своей натуральной дорогой, т. е. опредѣлиться въ штабъ, что онъ и дѣлаетъ въ заключеніе повѣсти.

Такую-же мрачную и безнадежную параллель между привилегированными людьми и дѣтьми народа проводитъ гр. Толстой и въ своихъ военныхъ разсказахъ. Здѣсь такъ-же, рядомъ съ напускною аффектаціею мишурнаго героизма, подъ внѣшнею оболочкою котораго скрывается часто самая негероическая трусость, рядомъ съ тщеславнымъ хвастовствомъ, съ какимъ мнимые герои разсказываютъ о своихъ небывалыхъ подвигахъ, васъ поражаетъ простое, непритворное, спокойное и въ то-же время степенно-серьезное отношеніе къ своему дѣлу нижнихъ чиновъ. Не напрашиваясь на героизмъ и не помышляя о немъ, они-то и являются истинными героями: отъ нихъ зависитъ исходъ каждаго сраженія, они всегда находятся ближе къ смерти, ихъ болѣе падаетъ, и въ то-же время они спокойнѣе самыхъ отчаянныхъ храбрецовъ встрѣчаютъ смерть и вмѣстѣ съ тѣмъ имъ не приходитъ и въ голову хвастаться и тщеславиться своимъ мужествомъ.

Очерки севастопольской войны имѣютъ и другое важное достоинство: они представляютъ первое вполнѣ реальное отношеніе искусства къ военнымъ дѣйствіямъ; послѣднія изображаются здѣсь во всей своей прозаичности, такъ, какъ они совершаются на самомъ дѣлѣ, разоблаченныя отъ того ореола бранныхъ ужасовъ и героическихъ аффектацій, въ какомъ эти дѣйствія представляются въ разсказахъ хвастливыхъ очевидцевъ и въ произведеніяхъ художниковъ романтическаго періода нашей литературы. Чтобы понять, какой громадный шагъ сдѣлало въ этомъ отношеніи искусство, слѣдуетъ рядомъ съ очерками гр. Толстого поставить хотя-бы описаніе *Полтавской битвы* Пушкина или *Бородино* Лермонтова. У Толстого вы не найдете и слѣда такихъ ужасающихъ батальныхъ картинъ, чтобы рука бойцовъ колоть устала и ядрамъ пролетать мѣшала гора кровавыхъ тѣлъ. Въ этомъ отношеніи гр. Толстой имѣлъ полное право сказать въ концѣ первыхъ своихъ очерковъ севастопольской войны:

«Гдѣ выраженіе зла, котораго должно избѣгать? Гдѣ выраженіе добра, которому должно подражать въ этой повѣсти? Кто злодѣй, кто герой ея? Всѣ хороши и всѣ дурны... Герой-же моей повѣсти, котораго я люблю всѣми силами души, котораго старался воспроизвести во всей красотѣ его и который всегда былъ есть и будетъ прекрасенъ—правда».

III.

Въ 1856 году, по окончаніи войны, гр. Толстой вышелъ въ отставку и пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ Петербургѣ въ этотъ годъ только-что начиналось то пробужденіе и оживленіе общества,которое предшествовало эпохѣ реформъ. Въ столицу въ это время съѣзжались со всѣхъ концовъ Россіи литераторы, словно разсѣянныя предшествовавшими бурями птицы. Восторженныя рѣчи, полныя свѣтлыхъ надеждъ, не смолкали. Въ этотъ хаосъ всеобщаго ликованія вмѣшался и гр. Толстой. Онъ явился въ столицу въ двойномъ ореолѣ—и какъ восходящее литературное свѣтило, и какъ севастопольскій герой. Онъ не за-

медлилъ познакомиться и подружиться съ передовыми литераторами того времени—Тургеневымъ, Гончаровымъ, Некрасовымъ, Островскимъ, Григоровичемъ, Дружининымъ и прочими. Они приняли его какъ своего, льстили, превознося его произведенія. Въ то-же время, по его словамъ (въ романѣ *Декабристы*), онъ «на себѣ испыталъ, какъ Россія умѣетъ вознаграждать истинныя заслуги. Сильные міра сего всѣ искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обѣды, настоятельно приглашали его къ себѣ для того, чтобы узнать отъ него подробности войны, разсказывали ему свои чувствованія».

Подъ этими впечатлѣніями и гр. Толстой не замедлилъ увлечься общими ликованіями и радужными надеждами.

«Мы всѣ тогда были убѣждены,—говоритъ онъ въ «Исповѣди»,—что намъ нужно говорить и говорить, писать, печатать—какъ можно скорѣе, какъ можно больше, что все это нужно для блага человѣчества. И тысячи насъ, отрицая, ругая одинъ другого, всѣ печатали, писали, поучая другихъ. И не замѣчая того, что мы ничего не знаемъ, что на самый простой вопросъ жизни: чтò хорошо, чтò дурно,—мы не знаемъ, чтò отвѣтить,— мы всѣ, не слушая другъ друга, всѣ вразъ говорили, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга съ тѣмъ, чтобъ и мнѣ потакали и меня хвалили, иногда-же раздражаясь другъ противъ друга точно такъ, какъ въ сумасшедшемъ домѣ.

«Тысячи работниковъ дни и ночи изъ послѣднихъ силъ работали, набирали, печатали милліоны словъ, и почта развозила ихъ по всей Россіи, и мы все еще больше учили и никакъ не успѣвали всему научить, и все сердились, что насъ мало слушаютъ.

«Ужасно странно, но теперь мнѣ понятно. Настоящимъ задушевнымъ разсужденіемъ нашимъ было то, что мы хотимъ какъ можно больше получать денегъ и похвалъ. Для достиженія этой цѣли мы ничего другого не умѣли дѣлать, какъ только писать книжки и газеты. Мы это и дѣлали. Но для того, чтобы намъ дѣлать столь безполезное дѣло и имѣть увѣренность, что мы—очень важные люди, намъ надо было еще разсужденіе, которое бы оправдало нашу дѣятельность. И вотъ у насъ придумано слѣдующее: все, чтó существуетъ, то разумно. Все же, чтó существуетъ, все развивается. Развивается все посредствомъ просвѣщенія. Просвѣщеніе-же измѣряется распространеніемъ книгъ, газетъ. А намъ платятъ деньги и насъ уважаютъ за то, что мы пишемъ книги и газеты, и потому мы — самые полезные и хорошіе люди».

Дѣйствительно, литература находилась въ то время въ большомъ почетѣ, писателямъ вездѣ было первое мѣсто, ихъ чуть не носили на рукахъ, и вѣра въ просвѣщеніе, прогрессъ были безграничны; у всѣхъ и каждаго эти слова безпрестанно были на устахъ. Выше-же всего ставилось и цѣнилось художественное творчество, на художниковъ смотрѣли какъ на пророковъ, каждое вѣщее слово которыхъ подвергалось безчисленнымъ критическимъ комментаріямъ во всѣхъ журналахъ. Что гр. Толстой и самъ раздѣлялъ эту вѣру, объ этомъ можно судить по его вступительной рѣчи 4-го февраля 1859 г. на засѣданіи *Общества любителей русскаго слова*, при принятіи его въ члены этого общества,—рѣчи, въ которой онъ защищалъ высоту, чистоту и неприкосновенность искусства отъ всѣхъ преходящихъ и суетныхъ злобъ дня и возбудилъ, какъ мы выше видѣли, громовый протестъ со стороны Хомякова.

Но надо полагать, что гр. Толстой жилъ въ это время раздвоенною жизнью. Увлекаясь вмѣстѣ съ обществомъ вѣрою въ прогрессъ и литературнымъ движеніемъ, въ глубинѣ души онъ оставался тѣмъ-же скептикомъ и пессимистомъ.— Въ *Исповѣди* онъ говоритъ, что уже «на второй и въ особенности на третій годъ онъ сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости своей вѣры въ прогрессъ и сталъ ее изслѣдовать». «Кромѣ того, — говоритъ онъ ниже, — усомнившись въ истинности самой вѣры писательской, я сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣдился, что почти всѣ жрецы этой вѣры, писатели, были люди безнравственные и въ большинствѣ люди плохіе, ничтожные по характерамъ,—

много ниже тѣхъ людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней разгульной и военной жизни,—но самоувѣренные и довольные собой, какъ только могутъ быть довольны люди совсѣмъ святые или такіе, которые и не знаютъ, что такое святость. Люди мнѣ опротивѣли, и самъ себѣ я опротивѣлъ, и я понялъ, что вѣра эта—обманъ».

Въ сочиненіяхъ-же гр. Толстого этого періода мы и слѣда не находимъ этой самой вѣры. Такъ, онъ продолжалъ казнить все того-же своего нравственно несостоятельнаго героя, князя Нехлюдова, и въ 1856 г. были написаны мрачныя *Записки Маркера*, гдѣ эта казнь является буквально смертною. Къ тому-же 1856 году относится и повѣсть *Два гусара*, не менѣе мрачная по своему содержанію, такъ какъ представляетъ параллель двухъ поколѣній графскаго рода, и вы видите то страшное нравственное вырожденіе въ дворянской средѣ, какое особенно сильно проявилось втеченіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ.

Въ слѣдующемъ, 1857, году гр. Толстой поѣхалъ за-границу, и зрѣлище европейскаго прогресса не только не привело его въ восторгъ, а, напротивъ того, еще болѣе омрачило духъ его. Онъ не замедлилъ предать этотъ прогрессъ своему разлагающему анализу, и отъ его пытливыхъ глазъ не укрылись тѣ страшныя противорѣчія, какія таились въ нѣдрахъ европейской цивилизаціи и смущали всѣхъ мыслящихъ людей: при успѣхахъ знанія и промышленности, при ослѣпительномъ наружномъ блескѣ,—масса нищеты, невѣжества, варварства и грубаго безчеловѣчія. Впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ этой первой поѣздки за-границу, были выражены въ произведеніи, относящемся къ этому году *Изъ записокъ князя Д. Нехлюдова—Люцернъ*. Князя Нехлюдова глубоко поразилъ тотъ фактъ, что седьмого іюля 1857 года въ Люцернѣ, передъ отелемъ Швейцергофомъ, въ которомъ останавливаются самые богатые люди, странствующій нищій пѣвецъ впродолженіе получаса пѣлъ пѣсни и игралъ на гитарѣ. Около ста человѣкъ слушали его. Пѣвецъ три раза просилъ дать ему что-нибудь. Ни одинъ человѣкъ не далъ ему ничего, и многіе смѣялись надъ нимъ.

«Вотъ событіе,—восклицаетъ онъ,—которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событіе значительное и серьезное и имѣетъ глубочайшій смыслъ, чѣмъ факты, записываемые въ газетахъ и исторіяхъ. Что англичане убили еще тысячу китайцевъ за то, что китайцы ничего не покупаютъ на деньги, а ихъ край поглощаетъ звонкую монету; что французы убили еще тысячу кабиловъ за то, что хлѣбъ хорошо родится въ Африкѣ, и что турецкій посланникъ въ Неаполѣ не можетъ быть жидъ и что императоръ Наполеонъ гуляетъ пѣшкомъ въ Plombières и печатно увѣряетъ народъ, что онъ царствуетъ только по волѣ своего народа,—это все слова, скрывающія или показывающія давно извѣстное; но событіе, происшедшее въ Люцернѣ 7-го іюля, мнѣ кажется, совершенно ново, странно и относится не къ вѣчнымъ дурнымъ сторонамъ человѣческой природы, но къ извѣстной эпохѣ развитія общества. Это фактъ не для исторіи дѣяній людскихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи.

«Отчего этотъ безчеловѣчный фактъ, невозможный ни въ какой деревнѣ нѣмецкой, французской или итальянской, возможенъ здѣсь, гдѣ цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени, гдѣ собираются путешествующіе, самые цивилизованные люди самыхъ цивилизованныхъ націй? Отчего эти развитые, гуманные люди, способные въ общемъ на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства на личное доброе дѣло? Отчего эти люди, въ своихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ горячо заботящіеся о состояніи безбрачныхъ китайцевъ въ Индіи, о распространеніи христіанства и образованія въ Африкѣ, о составленіи обществъ исправленія всего человѣчества, не находятъ въ душѣ своей простого первобытнаго чувства человѣка къ человѣку? Неужели нѣтъ этого чувства, и мѣсто его заняли тщеславіе, честолюбіе и корысть, руко-

водящія этихъ людей въ ихъ палатахъ, митингахъ и обществахъ? Неужели распространеніе разумной себялюбивой ассоціаціи людей, которую называютъ цивилизаціей, уничтожаетъ и противорѣчитъ потребности инстинктивной и любовной ассоціаціи? И неужели это то равенство, за которое пролито было столько невинной крови и столько совершено преступленій? Неужели народы, какъ дѣти, могутъ быть счастливы однимъ звукомъ слова равенство?»...

Такимъ образомъ вотъ уже когда въ гр. Толстомъ вѣра въ прогрессъ, цивилизацію начала сильно колебаться, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ вопросѣ: «отчего развитые гуманные люди, *способные въ общемъ* на всякое честное гуманное дѣло, не имѣютъ человѣческаго сердечнаго чувства *на личное доброе дѣло*?»— вы видите уже поворотъ на путь личнаго самосовершенствованія, на который впослѣдствіи окончательно выступилъ гр. Толстой. Въ то-же время онъ разочаровался и во всемъ шумномъ общественномъ движеніи, какимъ была преисполнена русская жизнь передъ реформами, уединился въ Ясной Полянѣ и занялся тамъ личнымъ самосовершенствованіемъ, лелѣя идеалъ просвѣщеннаго и гуманнаго барина-хозяина, чуждающагося свѣтской суеты и всѣхъ общественныхъ теченій, живущаго въ деревнѣ въ неусыпныхъ сельско-хозяйственныхъ трудахъ въ тѣсномъ общеніи съ народомъ. Идеалъ этотъ, вытекавшій изъ личнаго общественнаго положенія, равно какъ изъ всѣхъ его вкусовъ и наклонностей, онъ стремился осуществить впродолженіе всего средняго періода своей жизни, воплощая его впослѣдствіи въ типахъ Петра Безухова и Левина. Первое же воплощеніе мы видимъ въ относящемся въ 1859 году романѣ *Семейное счастье*, въ героѣ этого романа Сергѣѣ Михайловичѣ, который, въ объясненіи своемъ въ любви своей героинѣ, категорически выражаетъ этотъ идеалъ въ слѣдующихъ словахъ:

«Я прожилъ много, и мнѣ кажется, что нашелъ то, что нужно для счастья. Тихая уединенная жизнь въ нашей деревенской глуши съ возможностью дѣлать добро людямъ, которымъ такъ легко дѣлать добро, къ которому они не привыкли; потомъ трудъ, трудъ, который кажется, что приноситъ пользу, потомъ отдыхъ, природа, книга, музыка, любовь къ близкому человѣку—вотъ мое счастіе, выше котораго я не мечталъ А тутъ сверхъ всего этого другъ, семья можетъ быть, и все, что только можетъ желать человѣкъ».

Что касается до произведеній гр. Л. Толстого, относящихся къ этому времени, то, кромѣ вышеозначенныхъ, мы можемъ упомянуть еще слѣдующія. Къ 1856 году относится маленькій разсказъ *Метель*, въ 1857 году — *Альбертъ*. 1858 годъ почему-то представляетъ пробѣлъ въ художественной дѣятельности гр. Л. Толстого. За-то 1859 годъ ознаменовался, кромѣ разсказа *Три смерти*, романомъ *Семейное счастье*. Въ 1860 году была написана повѣсть изъ народнаго быта *Поликушка*, которою гр. Толстой заплатилъ дань какъ эмансипаціи, такъ и входившей въ то время въ моду беллетристикѣ изъ народнаго быта. Наконецъ къ 1861 году относится разсказъ *Холстомѣръ*.

IV.

Вообще нужно замѣтить, что какъ ни отрицательно относился гр. Толстой къ движенію своего времени, какъ ни запирался отъ него въ деревенскую глушь, чуткая, впечатлительная натура его никакъ не могла противостоять вѣяніямъ времени, и на каждое онъ отзывался. Такъ, въ то время, какъ все вниманіе общества устремилось на народъ, изучать его, сближаться съ нимъ,

учить его сдѣлалось кровною обязанностью всѣхъ и каждаго, обратилось въ повальную эпидемію, всюду начали заводиться воскресныя и сельскія школы, и гр. Толстой, въ свою очередь, увлекся этимъ общественнымъ движеніемъ. Съѣздилъ даже еще разъ заграницу съ цѣлью изучить школьное дѣло и, по возвращеніи въ Ясную Поляну, завелъ тамъ сельскую школу и началъ издавать педагогическій журналъ *Ясная Поляна*. Какъ методы преподаванія въ ясно-полянской школѣ, такъ и всѣ школьные порядки отличались оригинальностью и совершенно выходили изъ обычной школьной рутины; это возбуждало оживленную полемику въ педагогическихъ сферахъ, которую гр. Толстой поддерживалъ въ своемъ ясно-полянскомъ журналѣ, развивая свои взгляды на обученіе дѣтей и народа въ цѣломъ рядѣ педагогическихъ статей, каковы: *О народномъ образованіи*, *О методахъ обученія грамотѣ*, *Проектъ плана устройства народныхъ училищъ*, *Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ или намъ у крестьянскихъ ребятъ?* Во всѣхъ этихъ статьяхъ, рядомъ съ мыслями парадоксальными, вы встрѣчаете рядъ идей, поражающихъ васъ глубиною и самобытностью.

1862 годъ ознаменовался въ жизни гр. Толстого женитьбою на дочери московскаго доктора Берсъ, Софьѣ Андреевнѣ.

Между тѣмъ раздвоеніе, о которомъ мы выше говорили, не покидало гр. Толстого и въ ясно-полянскомъ уединеніи послѣ женитьбѣ. Съ одной стороны— мы видимъ живое отношеніе къ вѣяніямъ времени, сказавшееся въ стремленіи сближаться съ народомъ, въ ясно-полянской школѣ и въ статьѣ *Воспитаніе и образованіе*, вызванной студенческими безпорядками 1861 года. Въ статьѣ этой гр. Толстой становится на самую радикальную точку зрѣнія въ своихъ педагогическихъ воззрѣніяхъ; усматривая въ нравственномъ воспитаніи лишь насиліе одной личности надъ другою, онъ отрицаетъ всѣ существующія учебныя заведенія отъ низшихъ до высшихъ со всѣми ихъ программами и порядками и требуетъ полной свободы преподаванія въ видѣ школъ, въ которыхъ каждый, кому угодно, передавалъ-бы тѣ знанія, какія имѣетъ, или въ видѣ публичныхъ лекцій.

«Говорятъ,—читаемъ мы,—наука носитъ въ себѣ воспитательный элементъ (Erziehendes Element)—это справедливо и несправедливо, и въ этомъ положеніи лежитъ основная ошибка существующаго парадоксальнаго взгляда на воспитаніе. Наука есть наука, и ничего не носитъ въ себѣ. Воспитательный-же элементъ лежитъ въ преподаваніи наукъ, въ любви учителя къ своей наукѣ и въ любовной передачѣ ея, въ отношеніи учителя къ ученику. Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и ученики полюбятъ и тебя, и науку, и ты воспитаешь ихъ; но самъ не любишь ее, то сколько-бы ты ни заставлялъ учить, наука не произведетъ воспитательнаго вліянія. И тутъ опять одно мѣрило, одно спасенье, опять та-же свобода учениковъ слушать или не слушать учителя, воспринимать или не воспринимать его воспитательное вліяніе, то-есть имъ однимъ рѣшить, знаетъ-ли онъ и любитъ-ли свою науку».

Проповѣдуя такимъ образомъ полный переворотъ всего учебнаго дѣла и не оставляя въ немъ камня на камнѣ, казалось, гр. Толстой уже этимъ самымъ становился впереди всѣхъ самыхъ рьяныхъ прогрессистовъ. И вдругъ тотъ-же самый гр. Толстой въ своей полемикѣ съ Евг. Марковымъ: *Прогрессъ и опредѣленіе образованія*, на страницахъ *Русскаго Вѣстника* (1864 г. № 5), доходитъ до полнаго отрицанія прогресса, далеко въ этомъ отношеніи оставляя позади тѣ идеи, которыя онъ высказывалъ въ *Люцернѣ*. Общаго закона движенія впередъ человѣчества, по его мнѣнію, нѣтъ, какъ то намъ доказываютъ неподвижные восточные народы; $^{9}/_{10}$ того-же самаго европей-

скаго народа, будто-бы находящагося въ процессѣ прогресса, сознательно не-



Л. Н. Толстой.

навидятъ прогрессъ и всѣми средствами стараются противодѣйствовать ему. У насъ вѣрятъ въ прогрессъ образованное дворянство, образованное купече-

ство и чиновничество—классы незанятые, по выраженію Бокля; не вѣрятъ въ прогрессъ и враги его—мастеровые, фабричные, крестьяне, земледѣльцы и промышленники, люди занятые прямою физическою работою — классы занятые.

Утверждая далѣе, что всѣ блага прогресса, созданныя наукою, какъ электричество и пр., приносятъ пользу лишь небольшой горсти людей привилегированныхъ, девяти десятымъ-же человѣчества не только никакой пользы не приносятъ, но и служатъ прямо ко вреду, онъ и литературу относитъ къ той-же категоріи.

«Литература,—говоритъ онъ,—такъ-же, какъ и откупа, есть только искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и негодная для народа. Есть *Современникъ*, есть *Современное Слово*, есть *Современная Лѣтопись*, есть *Русское Слово*, *Русскій Міръ*, *Русскій Вѣстникъ*, есть *Время*, есть *Наше Время*, есть *Орелъ*, *Звѣздочка*, *Гирлянда*, есть *Грамотѣй*, *Народное Чтеніе* и *Чтеніе для народа*, есть извѣстныя слова въ извѣстныхъ сочетаніяхъ и перемѣщеніяхъ, какъ заглавія журналовъ и газетъ, и всѣ эти журналы твердо вѣрятъ, что они *проводятъ* какія-то мысли и направленія. Есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, несмотря на давность существованія, неизвѣстны, ненужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣлаемыхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе *Бориса Годунова* Пушкина или исторію Соловьева, надобно этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. Наша литература не прививается и не привьется народу, надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу, не усомнятся въ этомъ. Какое-же благо получаетъ народъ отъ литературы? Библій и святцевъ до сихъ поръ народъ не имѣетъ дешевыхъ. Другія-же книги, которыя западаютъ къ нему, только обличаютъ въ его глазахъ глупость и ничтожество ихъ составителей; деньги и работа его тратятся, а выгоды отъ книгопечатанія,—вотъ уже сколько времени прошло,—мы не видимъ ни малѣйшей для народа. Ни пахать, ни дѣлать квасъ, ни плесть лапти, ни рубить срубы, ни пѣть пѣсни, ни даже молиться не учится и не научится народъ изъ книгъ. Всякій добросовѣстный судья, неодержимый вѣрою прогресса, признается, что выгодъ книгопечатанія для народа не было»... и т. д.

Въ этомъ утвержденіи тщеты прогресса, существующаго для немногихъ во вредъ большинства, гр. Толстой сходится повидимому съ соціалистами, но только повидимому. Существенная разница заключается въ томъ, что соціалисты самаго прогресса не отрицали, а напротивъ того, указывая на фактъ неравнаго его распредѣленія, требовали, чтобы къ благамъ прогресса были допущены равномѣрно всѣ классы общества. Гр. Толстой-же вывелъ изъ того-же факта полное отрицаніе всякаго коллективнаго прогресса и допускаетъ одно личное самосовершенствованіе. «Общій вѣчный законъ, — говоритъ онъ:—написанъ въ душѣ всякаго человѣка и только вслѣдствіе заблужденія переносится въ исторію. Оставаясь личнымъ, этотъ законъ плодотворенъ и доступенъ каждому; перенесенный въ исторію, онъ дѣлается праздною, пустою болтовней, ведущей къ оправданію каждой безсмыслицы и фатализма».

Такимъ образомъ, какъ видите, уже въ 1862 году въ отрицаніи своемъ гр. Тотстой дошелъ до тѣхъ самыхъ геркулесовыхъ столповъ, въ какихъ онъ пребываетъ и днесь. Не доставало лишь положительныхъ идеаловъ въ духѣ древнихъ восточныхъ мудрецовъ.

V.

Спрашивается теперь, какъ-же могъ продолжать писать гр. Толстой, разъ

онъ додумался не только до безполезности, но даже и до вреда всей русской литературы? Это только и можно объяснить тѣмъ раздвоеніемъ, въ которомъ онъ въ то время находился. Вотъ что онъ говоритъ объ этомъ въ своей «Исповѣди»:

«Новыя условія счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ прошло еще пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками впродолженіе этихъ пятнадцати лѣтъ, я все-таки продолжалъ писать. Я вкусилъ уже соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей».

Тѣмъ не менѣе, благодаря этой непослѣдовательности гр. Толстого, Россія была обязана ему созданіемъ въ эти пятнадцать лѣтъ наиболѣе совершенныхъ и лучшихъ произведеній.

Такъ, вскорѣ послѣ женитьбѣ гр. Толстой задумалъ романъ *Декабристы*, но успѣлъ въ то время написать лишь три главы этого романа. Стараясь воссоздать время декабристовъ, онъ невольно переходилъ мысленно къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать,—семья, воспитаніе, общественныя условія избранныхъ ими лицъ; наконецъ онъ остановился на времени войнъ съ Наполеономъ, и изобразилъ его въ романѣ *Война и миръ*, въ концѣ котораго видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года.

Начатый въ 1864 году, романъ *Война и миръ* печатался въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ 1865 года и въ 1869 году явился въ свѣтъ въ полномъ своемъ составѣ. Въ произведеніи этомъ художественное творчество гр. Толстого дошло до своего апогея. *Война и миръ*—не столько романъ, сколько колоссальная эпопея, обнимающая русскую жизнь начала нынѣшняго столѣтія во всѣхъ ея проявленіяхъ, начиная съ такихъ крупныхъ историческихъ событій, какъ Лейпцигская битва и пожаръ Москвы, и кончая мелкими, повседневными фактами общественной, частной и семейной жизни. Къ сожалѣнію эта эпопея не имѣетъ такой строгой цѣлостности, которая могла-бы поставить ее на одномъ ряду съ высочайшими произведеніями искусства. Она распадается на три элемента, далеко не равнаго достоинства. Первый элементъ—самый высокій и безукоризненный,—непосредственно-художественный. Вездѣ, гдѣ гр. Толстой въ своемъ безсмертномъ произведеніи только живописуетъ, не проводя никакихъ философскихъ или моральныхъ идей, онъ доходитъ мѣстами до геніальнаго величія. Такія страницы романа, какъ пожаръ Москвы, Бородино, смерть Андрея Болконскаго, катанье на тройкахъ зимою въ деревнѣ, дѣтскіе романы—производятъ потрясающее впечатлѣніе; точно какъ будто передъ вами разстилаются безсмертныя полотна великихъ живописцевъ эпохи возрожденія и глядятъ на васъ съ этихъ полотенъ изображенныя на нихъ вѣковѣчныя фигуры, блестя божественною красотою. Не менѣе поражаетъ васъ рядъ типовъ, исчерпывающихъ все содержаніе великосвѣтской среды изображаемой эпохи. Поистинѣ, такіе характеры, какъ семейство Болконскихъ, Курагиныхъ, Ростовыхъ, Пьеръ Безухій, Долоховъ, Билибинъ и пр.,

нисколько не менѣе существенны, чѣмъ типы *Мертвыхъ Душъ*, и могутъ служить такими же кличками, какъ Чичиковъ, Маниловъ, Ноздревъ и пр. Типы эти изслѣдованы во всѣхъ основныхъ пружинахъ своей жизни и въ самыхъ мельчайшихъ психическихъ движеніяхъ. Всѣхъ ихъ можно раздѣлить на четыре разряда. Одни изъ нихъ, каковы Курагины, Долоховъ, представляютъ крайнюю степень растлѣнія; это римляне послѣдняго періода имперіи, приближаться къ которымъ опасно, потому что для нихъ ничего не стоитъ ради личныхъ выгодъ лишить васъ не только чести или обезпеченія, но и самой жизни. Самые страшные изъ нихъ тѣ, которые, при всей своей внутренней чудовищности, сохраняютъ извѣстную долю сдержанности, такта, изворотливости, умѣютъ даже надѣвать на себя личины различныхъ добродѣтелей, каковъ напримѣръ князь Курагинъ. Не менѣе ужасенъ и Долоховъ со своею отчаянною дерзостью, стальными нервами и обаяніемъ недюжинныхъ силъ. Въ лицѣ Долохова гр. Толстой окончательно развѣнчиваетъ демоническій типъ, который въ тридцатые и сороковые годы былъ въ такомъ ореолѣ. Долоховъ—это почти тотъ же Печоринъ, но вмѣсто удивленія возбуждающій подъ правдивымъ перомъ гр. Толстого одно отвращеніе. Бо̀льшаго снисхожденія заслуживаютъ типы вродѣ Анатолія Курагина и сестры его Елены Безухой, такъ какъ животные инстинкты до такой уже степени заглушаютъ въ нихъ и разсудокъ, и волю, что по большей части они дѣлаются жертвами своего разврата.

Ко второй категоріи принадлежатъ карьеристы, вродѣ Бориса Друбецкаго, Берга—выслуживающіеся и наживающіеся. Приглаженные, припомаженные, умѣренные въ своихъ страстяхъ и привычкахъ, сдержанные и почтительные, они имѣютъ видъ порядочныхъ людей, но въ сущности въ нихъ не болѣе человѣчности, чѣмъ и въ людяхъ первой категоріи. Они не сдѣлаютъ безъ нужды зла, но добра отъ нихъ не ждите. Ихъ дружба и любовь опредѣляются личными интересами; въ то-же время въ своихъ служебныхъ видахъ они предпочитаютъ забираться въ высшія сферы, гдѣ, низкопоклонничая и услуживая, втираются въ довѣріе, незамѣтно становятся на равную ногу и лѣзутъ еще выше.

Къ третьей категоріи относятся Ростовы. Это люди, у которыхъ вы найдете много человѣчности; они способны безкорыстно любить и увлекаться, способны подъ вліяніемъ минуты на высокій подвигъ, но въ то же время—это взрослыя дѣти съ безмятежными дѣтскими вѣрованіями и воззрѣніями на міръ, слѣпо отдающіяся настоящей минутѣ, вѣчно жаждующія широкаго веселья, счастія. Если жизнь иногда и угоститъ ихъ горькою минутою, стоитъ погладить ихъ по головкѣ и поднести имъ новую игрушку, они мигомъ утѣшаются и опять довольны и веселы. Если подвернутся обстоятельства, нарушающія неприкосновенность ихъ дѣтскихъ воззрѣній, они слѣпо гонятъ отъ себя прочь сомнѣнія и считаютъ какъ-бы преступленіемъ допустить въ себѣ малѣйшую самостоятельность мысли.

Къ четвертой категоріи относятся люди размышляющіе, читающіе, резонирующіе, развившіе въ себѣ умственныя и нравственныя стремленія. Таковы князья Болконскіе—отецъ, дочь Марія и сынъ Андрей, таковъ Пьеръ Безухій. Но такъ какъ они продолжаютъ стоять въ тѣхъ-же ненормальныхъ условіяхъ жизни, то цѣли, которыми они задаются, не вытекаютъ естественно изъ ихъ жизни и натуры, а искусственно придумываются, чтобы напол-

нить пустоту жизни, и какъ такія цѣли ни прекрасны въ теоріи, осуществленныя обращаются въ ничто, или вмѣсто добра приносятъ неожиданное зло. Однимъ словомъ, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тою-же нехлюдовщиною.—И какъ это мы находимъ въ прочихъ произведеніяхъ гр. Толстого, здѣсь точно также для болѣе рельефнаго представленія нравственной несостоятельности излюбленной нехлюдовщины гр. Толстой дѣлаетъ геніальныя сопоставленія героевъ съ людьми массъ, живущихъ непосредственною жизнью. Такъ мишурное геройство князя Андрея пасуетъ передъ истиннымъ и простымъ въ своемъ безсознательномъ величіи геройствомъ артиллериста Тушина, такъ всѣ отвлеченныя и мистическія философствованія Петра Безухова представляются безсмысленными и дрянными бреднями передъ свѣтлымъ міровоззрѣніемъ и здравымъ народнымъ смысломъ Каратаева.

Но однимъ художественнымъ элементомъ не ограничивается романъ гр. Л. Толстого. Мы видимъ въ немъ цѣлую философію исторіи, которая первоначально вплеталась въ самый текстъ романа, а затѣмъ была отдѣлена и составила вторую часть романа.

Здѣсь, какъ и во всѣхъ отвлеченныхъ разсужденіяхъ гр. Толстого, излагаемыхъ тяжелымъ языкомъ съ безпрестанными повтореніями и распространеніями,—мы встрѣчаемъ ту-же амальмагу глубокихъ и смѣлыхъ истинъ и рискованныхъ парадоксовъ, основанныхъ на произвольныхъ и спорныхъ категорическихъ афоризмахъ. Непривычка къ философскому мышленію ведетъ къ тому, что гр. Толстой не можетъ удержаться въ строго научныхъ и реальныхъ предѣлахъ, смѣшиваетъ причинность историческихъ событій съ цѣлесообразностью, и изъ всего изъ этого выходитъ у него теорія историческаго фатализма, причемъ онъ и самъ не замѣчаетъ, въ какое впадаетъ логическое противорѣчіе: считая отжившимъ взглядъ древнихъ на историческія событія, основывающійся на произвольномъ управленіи народами и царями волею божествъ, онъ проводитъ тотъ же взглядъ, замѣняя лишь личную волю человѣкообразныхъ божествъ древняго міра предопредѣленіями какихъ-то таинственныхъ безусловныхъ силъ, безличныхъ и между тѣмъ сознательно разумныхъ. «На вопросъ о томъ, чтò составляетъ причину историческихъ событій, говоритъ онъ, представляется другой отвѣтъ, заключающійся въ томъ, что ходъ міровыхъ событій предопредѣленъ свыше, зависитъ отъ совпаденія всѣхъ произволовъ людей, участвующихъ въ этихъ событіяхъ, и что вліяніе Наполеоновъ на ходъ этихъ событій есть только внѣшнее, фиктивное».

Третій элементъ, еще болѣе портящій романъ, заключается въ той мистической экзальтаціи, которая окончательно обуяла гр. Толстого въ половинѣ семидесятыхъ годовъ, но начало которой мы видимъ уже во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ, когда онъ дописывалъ свой романъ *Война и миръ*. Экзальтація эта особенно ярко выразилась въ эпизодѣ вліянія на Пьера Безухова Каратаева.

Увлеченіе Пьера простыми людьми послѣ бородинскаго сраженія стоитъ совершенно на реальной почвѣ. Вполнѣ естественно, что запутавшійся въ омутѣ свѣтской пустоты, разочарованный и нравственно надломленный Пьеръ могъ увлечься простыми и сильными людьми, смотрѣвшими въ глаза смерти съ невозмутимымъ спокойствіемъ, безъ хвастовства и напускного геройства. Понятно, что онъ долженъ былъ ясно почувствовать, въ сравненіи съ правдой, простотой и силой этихъ людей, ощущеніе своей ничтожности и лживости и

проникнуться стремленіемъ *войти въ эту общую жизнь всѣмъ существомъ, проникнуться тѣмъ, что дѣлаетъ ихъ такими*... Подобныя мысли и чувства мы видѣли уже и у другихъ героевъ Толстого, начиная съ Оленина въ *Казакахъ*.

Не менѣе естественно выведенъ и типъ Каратаева. Простой, гуманный, одаренный художественною натурою и теплымъ сердцемъ, много испытавшій въ жизни,—Каратаевъ самъ по себѣ являлся-бы весьма живою и удачно очерченною личностью въ романѣ, если-бы гр. Толстой не возвелъ его на пьедесталъ, представивъ въ немъ какого-то вдохновеннаго глашатая народной мудрости, исполненной неизреченныхъ глубинъ, чуть что не живое олицетвореніе божественной правды и благости. Вліяніе его на Пьера было столь сильно по словамъ автора, что Пьеръ совершенно переродился: онъ самъ исполнился кроткой терпимости и благодушія, подъ обаяніемъ которыхъ во всемъ сталъ видѣть Бога, все ему показалось ведущимъ ко благу, всѣ люди сдѣлались его друзьями и незамѣтно для самихъ себя почувствовали потребность повѣрить ему всѣ свои сокровенныя тайны. «Нѣтъ, говоритъ Пьеръ, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотнаго человѣка-дурачка».

И Оленинъ, какъ мы видѣли, получилъ подобное-же просіяніе и позналъ, въ чемъ заключается истинное счастье подъ вліяніемъ сближенія съ казаками. Но онъ не могъ переродиться вслѣдствіе одного этого сознанія и остался прежнимъ Оленинымъ, въ чемъ и заключается преимущество *Казаковъ* сравнительно съ послѣднею частью *Войны и мира*. Здѣсь авторъ утратилъ уже прежнее реальное чутье и представилъ своего героя способнымъ возродиться и переродиться вслѣдствіе одного лишь измѣненія строя мыслей въ головѣ.

VI.

По окончаніи *Войны и мира* гр. Толстой снова занялся педагогіей. Въ 1870 году были имъ написаны *Азбука* и нѣсколько книгъ для чтенія.

Въ 1873 году появилось въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо о самарскомъ голодѣ. Въ 1874 году надѣлала не мало шума статья *О народномъ образованіи*, напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ* и возбудившая горячую полемику въ педагогическихъ сферахъ, особенно со стороны приверженцевъ нѣмецкой педагогіи, противъ которыхъ наиболѣе ратуетъ гр. Толстой въ своей статьѣ.

Около того-же времени, въ 1873 году, гр. Толстой задумалъ романъ *Анну Каренину*, который печатался въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ 1875 по 1876 годъ.

Къ этому-же времени относитъ гр. Толстой въ своей *Исповѣди* и радикальный переворотъ въ своихъ мысляхъ, который обратилъ его изъ беллетриста въ автора богословскихъ трактатовъ. Но тутъ представляется намъ съ перваго взгляда совершенно непонятное и странное противорѣчіе между *Исповѣдью* и свидѣтельствомъ, находимымъ нами на страницахъ всѣхъ предыдущихъ сочиненій гр. Толстого.

Въ самомъ дѣлѣ: въ *Исповѣди* гр. Толстой говоритъ, что хотя вѣра въ прогрессъ была поколеблена въ немъ уже до женитьбы, но и послѣ женитьбы, впродолженіе 15 лѣтъ, т. е. почти до конца семидесятыхъ годовъ, онъ продол-

жалъ жить прежнею безпечною жизнью. Вся жизнь его сосредоточилась въ это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Не смотря на то, что онъ считалъ писательство пустяками впродолженіе этихъ 15 лѣтъ, онъ всетаки продолжалъ писать. «Я вкусилъ уже,—говоритъ онъ,—соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предался ему, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей».

И только по прошествіи пятнадцати лѣтъ начали вдругъ находить на него минуты недоумѣнія, остановокъ жизни, какъ будто онъ не зналъ, какъ ему жить, что дѣлать, началъ спрашивать,—зачѣмъ это? къ чему? а потомъ? а мнѣ что за дѣло? терялся и впадалъ въ недоумѣніе. Минуты эти, учащаясь, обратились наконецъ въ одно сплошное отчаянье: онъ почувствовалъ, что онъ не можетъ жить, началъ бояться жизни, у него возникло стремленіе избавиться отъ нея, и онъ едва удерживался отъ самоубійства.

Тогда онъ началъ искать смысла жизни въ наукахъ, въ философіи, въ вѣрованіяхъ окружавшихъ его свѣтскихъ людей, но нигдѣ не находилъ отвѣта. Наконецъ онъ сталъ сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ, неученыхъ людей, со странниками, монахами, раскольниками, мужиками и тутъ только уразумѣлъ, что если онъ хочетъ жить и понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла ему надо не у тѣхъ, которые его потеряли и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ отжившихъ и живущихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь.

«И чѣмъ болѣе я вникалъ въ ихъ жизнь,—говоритъ онъ,—тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ легче мнѣ самому становилось жить. Я жилъ такъ два года, и со мной случился переворотъ, *который давно готовился во мнѣ и задатки котораго всегда во мнѣ были.* Жизнь нашего круга не только стала противна мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши дѣйствія, разсужденія, науки и искусство—все это представилось мнѣ однимъ баловствомъ. Я понялъ, что искать смысла жизни въ этомъ нельзя. Дѣйствія же трудящагося народа, творящаго жизнь, представилась мнѣ единымъ настоящимъ дѣломъ. И я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и принялъ его... Я понялъ, что для того, чтобы понять смыслъ жизни и увидѣть въ ней добро, надо прежде всего, чтобы твоя собственная жизнь была не безсмысленна и зла, а потомъ уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе словомъ. Если думаешь и говоришь о жизни человѣческой, то надо говорить о жизни всего человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ паразитовъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ, не думать о себѣ, любить другихъ, — это одно средство, «чтобы жить и понимать жизнь, любить ее и считать добромъ...»

Въ такомъ видѣ изображаетъ гр. Л. Толстой въ *Исповѣди* переворотъ, происшедшій съ нимъ будто бы, когда ему было уже около пятидесяти лѣтъ. Между тѣмъ что-же показываютъ намъ его сочиненія? Уже въ *Казакахъ*,—повѣсти, написанной въ 1852 году, когда гр. Толстому было всего 24 года, онъ высказалъ буквально тѣ-же самыя мысли и въ тѣхъ-же выраженіяхъ относительно того, въ чемъ заключается истинное счастье, и далѣе затѣмъ эти-же самыя идеи, все болѣе и болѣе развивавшіяся и усложнявшіяся, мы видимъ и въ *Люцернѣ*, и въ педагогическихъ статьяхъ его, а въ *Войнѣ и мирѣ* переворотъ, пережитый Пьеромъ Безухимъ, совершенно аналогиченъ съ тѣмъ, который самъ гр. Толстой испыталъ десять лѣтъ спустя послѣ появленія *Войны и мира*. Правда, что въ *Исповѣди* гр. Толстой даетъ намъ какъ-бы ключъ къ объясненію этой загадки, говоря, что переворотъ давно уже готовился и задатки его всегда въ немъ были. Но только онъ, какъ намъ кажется, слишкомъ умаляетъ значеніе этихъ задатковъ и слишкомъ раздуваетъ самый перево-

*

ротъ. Не съ одними скромными задатками имѣли мы дѣло во всѣхъ вышеприведенныхъ цитатахъ изъ его сочиненій, а съ полнымъ выраженіемъ тѣхъ самыхъ идей, которыя гр. Толстой приписываетъ перевороту.

Судя по характеру этихъ идей, надо полагать, что онѣ были заронены въ него въ университетскіе еще годы тѣмъ броженіемъ соціальныхъ идей, которымъ ознаменовалась вторая половина сороковыхъ годовъ. Затѣмъ идеи эти безсознательно для самого Толстого зрѣли въ немъ вмѣстѣ съ вѣкомъ, найдя для своего развитія богатую почву въ геніальныхъ способностяхъ его и благопріятныя условія въ движеніи шестидесятыхъ годовъ. Идеи эти, приведя гр. Толстого къ полному отрицанію интеллигентной, паразитной жизни со всею европейскою цивилизаціею и прогрессомъ, и возбудили въ немъ стремленіе къ слитію съ народомъ. Но вѣдь таковъ именно и былъ результатъ всего движенія шестидесятыхъ годовъ. Къ нему склонялись всѣ мало-мальски послѣдовательные и смѣлые умы. Обратите вниманіе, что гр. Толстой относитъ свой переворотъ какъ разъ къ половинѣ семидесятыхъ годовъ, именно къ той эпохѣ, когда во всемъ русскомъ обществѣ началось эпидемическое стремленіе идти въ народъ, такъ что и этимъ своимъ переворотомъ гр. Толстой заплатилъ дань вліянію времени.

Изъ всего изъ этого ясно слѣдуетъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло вовсе не съ переворотомъ въ истинномъ смыслѣ этого слова. Это былъ особеннаго рода умственный и нравственный кризисъ, заключавшійся въ томъ, что между тѣмъ какъ гр. Толстой на склонѣ лѣтъ пресытился обезпеченною и счастливою жизнью со всѣми ея благами, идеи, которыя бродили въ немъ впродолженіе долгихъ лѣтъ, подъ вліяніемъ этого пресыщенія и вѣянія времени вдругъ выяснились, обострились, получили новую, яркую окраску; началось подведеніе итоговъ всей прожитой жизни; явилось сознаніе полнаго противорѣчія этой жизни съ идеями. Вмѣстѣ съ тѣмъ гр. Толстой почувствовалъ страшную душевную пустоту при видѣ полнаго ниспроверженія всѣхъ тѣхъ боговъ, которымъ онъ прежде молился, въ видѣ цивилизаціи, прогресса, культа истины и красоты,—боговъ, завѣщанныхъ ему сороковыми годами. Необходимо было чѣмъ-нибудь наполнить эту пустоту, замѣнить старыхъ боговъ новыми.

Но, заплативши дань вѣянію вѣка, гр. Толстой сразу сейчасъ-же и разошелся съ нимъ, какъ только зашелъ вопросъ о новыхъ положительныхъ идеалахъ. Казалось-бы, въ *Исповѣди* своей онъ вполнѣ ясно даетъ намъ разумѣть, что слиться съ народомъ и усвоить пониманіе его жизни и его вѣру въ жизнь можно только отрѣшившись отъ прежней паразитной жизни и начавши трудиться, какъ трудится народъ. Гр. Толстой не остановился на этомъ общемъ неоспоримомъ положеніи. Онъ пошелъ далѣе въ своемъ стремленіи слиться съ народомъ. Такъ какъ всѣ положительныя знанія развились на почвѣ паразитизма и не давали отвѣтовъ на вопросы о сущности жизни, то гр. Толстой началъ огуломъ отрицать всѣ ихъ поголовно, начиная съ астрономіи и кончая химіей и медициной. Такъ какъ народъ черпалъ всѣ свои познанія изъ единственныхъ источниковъ въ видѣ различныхъ ученій древнихъ восточныхъ мудрецовъ, то гр. Толстой, въ свою очередь, устремился къ изученію и толкованію этихъ самыхъ источниковъ, предполагая, что въ нихъ только и можно обрѣсти истинное познаніе смысла жизни. Наконецъ,—что всего прискорбнѣе,—въ немъ окончательно развились и утвердились тѣ задатки индивидуализма, какіе мы видѣли у него и прежде: отвергнувши коллективный общественный

прогрессъ, онъ пришелъ къ убѣжденію, что единственное развитіе и улучшеніе человѣческаго рода заключается въ нравственномъ самосовершенствованіи каждаго человѣка въ отдѣльности. Изъ этого положенія вытекли послѣдовательно и идея непротивленія злу насиліемъ, и отрицаніе какъ всякихъ общественныхъ реформъ, такъ и выработанныхъ исторіею общественныхъ функцій; наконецъ въ *Крейцеровой сонатѣ* мы видимъ отрицаніе послѣдняго общественнаго звена—семьи и проповѣдь безбрачія во что бы то ни стало, хотябы осуществленіе подобнаго противоестественнаго идеала грозило уничтоженіемъ человѣческаго рода.

VII.

Въ романѣ *Анна Каренина*, писанномъ какъ разъ во время кризиса, видите уже рѣзкое отраженіе его. На самой первой страницѣ поражаетъ васъ грозный эпиграфъ «Мнѣ отмщеніе—и Азъ воздамъ», придающій роману нравоучительно-теологическій характеръ. Правда, авторъ какъ-бы совсѣмъ забываетъ объ этомъ эпиграфѣ, когда начинаетъ излагать романъ. Въ немъ воскресаютъ художникъ и беллетристъ сороковыхъ годовъ, и, увлекаясь художественными цѣлями, онъ рисуетъ великосвѣтскую жизнь нашего времени во всѣхъ ея деталяхъ, выводя массу характеровъ и типовъ, подобно какъ и въ *Войнѣ и мирѣ*, исчерпывающихъ представителей большого свѣта до-тла. Правда и то, что въ развитіи сюжета авторъ совсѣмъ расходится съ своимъ эпиграфомъ, такъ какъ эпиграфъ этотъ, прилагаемый къ обыденному и мелкому свѣтскому адюльтеру, принимаетъ характеръ похода на муху съ обухомъ, и въ то-же время художникъ-реалистъ представляетъ намъ такую естественную и фатальную неотвратимость въ развитіи страсти своихъ героевъ, что у васъ невольно рождается мысль, за что-же воздавать тутъ какое-то отмщеніе?

Тѣмъ не менѣе романъ, стоящій на рубежѣ кризиса, отражаетъ въ себѣ какъ прежній, такъ и новый порядокъ мыслей гр. Толстого. Мы видѣли уже выше, что послѣ удаленія въ деревню и женитьбы до самаго кризиса гр. Толстой въ душѣ своей продолжалъ лелѣять соотвѣтственный его личной жизни и положенію въ обществѣ идеалъ культурнаго барина-хозяина, живущаго въ деревнѣ въ полной изолированности отъ всѣхъ общественныхъ вѣяній. Сообразно этому идеалу культурно-московскаго абсентизма онъ дѣлитъ и всѣхъ героевъ своего романа на правыхъ и лѣвыхъ, считая ихъ настолько устойчивѣе, положительнѣе, насколько крѣпче они стоятъ на культурной почвѣ и менѣе увлекаются суетными свѣтскими страстями и похотями или-же эфемерными вѣяніями дня. Такъ, направо стоятъ—Константинъ Дмитріевичъ Левинъ, семья князей Щербацкихъ и дворянинъ Свіяжскій; налѣво—всѣ прочія дѣйствующія лица. Здѣсь и Сергѣй Ивановичъ Кознышевъ, со своимъ искусственнымъ увлеченіемъ славянскимъ вопросомъ; и Метровъ, мѣряющій русскую жизнь на аршинъ западно-европейскихъ экономическихъ теорій; и Алексѣй Александровичъ Каренинъ—бюрократическая машина съ безцвѣтными оловянными глазами, свидѣтельствующими объ ограниченности умственныхъ способностей; и набожная графиня Лидія Ивановна, великосвѣтская сектантка съ черствымъ сердцемъ; и княжна Бетси Тверская со своимъ свѣтскимъ кругомъ, державшимся одною рукою за дворъ, чтобы не спуститься до полусвѣта; и князь Степанъ Аркадьевичъ Облонскій—эпикуреецъ и сластолюбецъ съ ногъ до го-

ловы, разоряющій семейство мотовствомъ и оскорбляющій жену невѣрностью. Здѣсь и Николай Левинъ съ безпутною жизнью сбившагося съ круга забулдыги; здѣсь наконецъ и преступный осквернитель чужого ложа—графъ Алексѣй Кирилловичъ Вронскій съ сообщницей по прелюбодѣянію, Анною Аркадьевною Карениною. Послѣдніе, какъ наиболѣе сошедшіе съ культурной почвы и отдавшіеся свѣтской суетѣ, и являются въ романѣ жертвами небеснаго отмщенія.

Но въ то время, какъ въ общемъ романъ проникнутъ воздухомъ старыхъ идеаловъ московскаго барскаго абсентизма, конецъ его носитъ яркіе слѣды того кризиса, который успѣлъ совершиться въ авторѣ къ этому времени. Такъ, гр. Толстой заставляетъ своего героя Левина, не довольствуясь уже своими прежними идеалами, пережить именно тотъ самый кризисъ, который совершился только-что въ немъ; и описанъ этотъ кризисъ гораздо обстоятельнѣе и подробнѣе, чѣмъ въ *Войнѣ и мирѣ* (съ Пьеромъ Безухимъ).

Послѣ романа *Анна Каренина* гр. Толстой сдѣлалъ еще попытку продолжать свою чисто-художественную дѣятельность въ видѣ возвращенія къ прежде задуманнымъ *Декабристамъ*, но онъ ограничился однимъ новымъ варіантомъ первыхъ двухъ главъ. Бродившія въ немъ мистико-теологическія идеи влекли его на новый путь, и вотъ онъ принимается за критику богословія, за переводъ и толкованіе *Евангелія*. Въ 1883 году появляется въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ* письмо о народной переписи. Далѣе слѣдуютъ: *Исповѣдь*, *Въ чемъ моя вѣра*, *Такъ что-жъ намъ дѣлать?* *Въ чемъ счастье?* *Изъ воспоминаній о переписи*, и пр.

Всѣ эти сочиненія, привлекшія гр. Толстому массу приверженцевъ и послѣдователей, образовавшихъ что-то вродѣ религіозной секты, привели въ немалое недоумѣніе и уныніе здравомыслящихъ почитателей таланта гр. Толстого, усматривавшихъ въ мистико-теологическихъ умствованіяхъ его паденіе и утрату великаго таланта земли русской. Сравнивали даже участь гр. Толстого съ участью Гоголя, хотя такая аналогія далеко не выдерживаетъ критики, такъ какъ у гр. Толстого рядомъ съ мыслями, въ которыхъ онъ отдаетъ долгъ обскурантизму и мракобѣсію нашего времени, вы встрѣчаете свѣтлыя идеи, которыя далеко опережиВаютъ нашъ вѣкъ своею смѣлою и послѣдовательною демократичностью.

Не ограничиваясь одними трактатами, излагающими его новыя идеи и новую вѣру, гр. Толстой въ послѣдніе годы, начиная съ 1881 г., написалъ цѣлый рядъ маленькихъ повѣстей для народа, напечатанныхъ фирмою *Посредникъ*, обществомъ для распространенія дешевыхъ народныхъ книгъ, учрежденнымъ друзьями и приверженцами гр. Толстого. Таковы: *Чѣмъ люди живы*, *Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ*, *Упустишь огонь—не потушишь*, *Свѣчка*, *Два старика*, *Гдѣ любовь, тамъ и Богъ*, комедія *Винокуръ* и пр. Разсказы эти, при всей простотѣ и прекрасномъ языкѣ, производятъ на васъ непріятное впечатлѣніе обиліемъ въ нихъ чудеснаго элемента, въ чемъ обнаруживается искусственная поддѣлка подъ народныя легенды и сказки. Предвзятость и тенденціозность сквозитъ въ нихъ изъ каждой строки.

Словно потухающая лампа, художественный талантъ гр. Толстого порою ярко вспыхиваетъ и въ послѣдніе годы его дѣятельности, т. е. втеченіе восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ. Такъ, къ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ относится разсказъ его *Смерть Ивана Ильича*. Въ 1887 году была напеча-

тана драма изъ народной жизни: *Власть тьмы, или ноготокъ увязъ—всей птичкѣ пропасть*. Въ 1895 году появился разсказъ его *Хозяинъ и работникъ*. Въ этихъ произведеніяхъ, при всей ихъ тенденціозности въ духѣ новаго ученія гр. Толстого, дивный талантъ его ярко прорывается и очаровываетъ насъ, какъ онъ очаровывалъ и въ прежнихъ, лучшихъ его твореніяхъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

I. Дѣтство и воспитаніе Ѳедора Михайловича Достоевскаго.— II. Жизнь до ссылки. — III. Ссылка. Женитьба. Возвращеніе. Изданіе журналовъ. — IV. Остальная жизнь до смерти. — V. Отличіе Достоевскаго отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ по міросозерцанію и характеру творчества. — VI. Сложность сюжетовъ. Психіатрическій анализъ. Жестокость. Преобладающіе типы.—VII. Два періода его литературной дѣятельности и характеръ каждаго періода. Проблески свѣта среди реакціоннаго мрака.

I.

Если въ каждомъ изъ разсмотрѣнныхъ нами беллетристовъ сороковыхъ годовъ мы нашли много индивидуальныхъ особенностей, то Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій, къ характеристикѣ котораго мы приступаемъ, еще рѣзче отличается отъ всѣхъ нихъ, почти совсѣмъ выходитъ изъ рамокъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ и занимаетъ свое особенное мѣсто въ литературѣ.

Главными причинами этого отличія представляется во-первыхъ то обстоятельство, что въ то время, какъ большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ, будучи выходцами изъ *деревень*, принадлежатъ къ рыхлому помѣщичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически-нервнымъ сыномъ *города*; а во-вторыхъ,—въ то время, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ ко вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата.

Отецъ Достоевскаго, Михаилъ Андреевичъ, штабъ-лекарь, служилъ въ московской Маріинской больницѣ. Мать, Марья Ѳедоровна, была дочь московскаго купца Нечаева. Семейство Михаила Андреевича состояло изъ семерыхъ дѣтей, причемъ Ѳ. М. Достоевскій, второй сынъ по старшинству, родился 30-го октября 1821 года.—Казенная квартира при больницѣ, въ которой Достоевскій родился и провелъ дѣтство, состояла всего изъ двухъ комнатъ, передней и кухни, и въ этой-то маленькой квартиркѣ ютилась вся многочисленная семья. Нравы царили въ ней строго-религіозные и патріархальные, но смягченные высшимъ образованіемъ главы семьи. Дѣтей не сѣкли, не били, и единственное наказаніе заключалось въ томъ, что отецъ вспылитъ и броситъ съ ними заниматься.

Не обошлось, правда, дѣтство Достоевскаго и безъ деревни. Въ 1831 году родители его пріобрѣли имѣньице въ Тульской губерніи, въ Каширскомъ уѣздѣ, въ 150 в. отъ Москвы. Въ эту деревню каждою раннею весною мать переселялась съ дѣтьми на все лѣто. Деревня, по словамъ самого Достоев-

скаго, «оставила въ немъ глубокое и сильное впечатлѣніе на всю потомъ жизнь», и все въ ней «было полно для него самыми дорогими воспоминаніями». Тѣмъ не менѣе все-таки впечатлѣнія городской жизни наиболѣе, какъ увидимъ ниже, опредѣлили характеръ творчества Достоевскаго и его произведеній.

Первоначальнымъ обученіемъ дѣтей занималась мать. Затѣмъ въ домъ ходили два учителя: дьяконъ изъ Елизаветинскаго института преподавалъ Законъ Божій; преподаватель того-же института Н. И. Сушардъ давалъ уроки французскаго языка. У Сушарда была приготовительная школа для приходящихъ. Туда были отданы два старшіе сына для приготовленія къ среднему заведенію; латинскимъ-же языкомъ занимался съ ними самъ отецъ.

Въ 1834 году Достоевскій вмѣстѣ съ старшимъ братомъ Михаиломъ былъ отданъ въ славившійся въ то время въ Москвѣ пансіонъ Л. И. Чермака. Это было закрытое заведеніе, изъ котораго дѣти отпускались лишь на праздники и каникулы. Оно отличалось раціонально-гуманнымъ отношеніемъ къ дѣтямъ и подборомъ преподавателей. Въ высшемъ классѣ здѣсь преподавали даже профессора университета—Д. М. Перевозчиковъ по математикѣ, И. И. Давыдовъ по словесности, и др.

У родителей Достоевскаго по вечерамъ часто устраивались семейныя чтенія, на которыхъ присутствовали и дѣти. Читались — *Исторія государства россійскаго Карамзина*, *Письма русскаго путешественника и повѣсти*, біографія Ломоносова Кс. Полевого, сочиненія Державина, Жуковскаго, романы Загоскина, Лажечникова, сказки казака Луганскаго и пр.

Съ поступленіемъ въ пансіонъ кругъ чтенія Достоевскаго расширился: братья начали доставать тамъ массу книгъ. Достоевскій болѣе всего предпочиталъ путешествія. Въ то-же время читалъ онъ Вальтеръ-Скотта, знакомился съ Пушкинымъ, зачитывался и романами Нарѣжнаго и Вельтмана.

Въ началѣ 1837 г. Достоевскій потерялъ мать. Въ томъ-же году отецъ повезъ двухъ старшихъ сыновей въ Петербургъ для помѣщенія ихъ въ Инженерное училище. Достоевскому было тогда 15 лѣтъ. Вотъ какъ въ *Дневникѣ Писателя* (1876 г. № 1) описываетъ онъ эту поѣздку и свое душевное состояніе въ то время.

«Былъ май мѣсяцъ, было жарко. Мы ѣхали на долгихъ, почти шагомъ и стояли на станціяхъ часа по-два, по-три. Помню, какъ надоѣло намъ наконецъ это путешествіе, продолжавшееся почти недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали о чемъ-то ужасно, обо всемъ «прекрасномъ и высокомъ»,—тогда это словечко было еще свѣжо и выговарилось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ прекрасныхъ словечекъ! Мы вѣрили чему-то страстно, и хотя мы оба отлично знали все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзіи и о поэтахъ. Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по-три, и даже дорогой, а я безпрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ венеціанской жизни. Тогда всего два мѣсяца передъ тѣмъ скончался Пушкинъ, и мы дорогой сговаривались съ братомъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, тотчасъ-же сходить на мѣсто поединка и пробраться въ бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидать ту комнату, въ которой онъ испустилъ духъ»...

По пріѣздѣ въ Петербургъ дѣтей помѣстили въ приготовительный пансіонъ К. Ф. Костомарова, и съ начала учебнаго года Достоевскій былъ зачисленъ въ Инженерное училище, но лишь одинъ: братъ его Михаилъ не былъ принятъ по болѣзненности.

Поступленіе въ спеціальное училище, въ которомъ преобладали прикладныя науки, на общее-же образованіе и развитіе мало обращалось вниманія,

оказало огромное вліяніе на всю жизнь Достоевскаго и на весь складъ его міросозерцанія. Безъ сомнѣнія, этому обстоятельству болѣе всего былъ онъ обязанъ тѣмъ упорствомъ, съ которымъ впродолженіе всей жизни сохранялъ свои дѣтскія вѣрованія.

При литературныхъ наклонностяхъ, обнаружившихся уже въ Достоевскомъ, понятно, не могъ онъ особенно усердно заниматься сухими предметами училища. Отбывая кое-какъ экзамены, въ 1838 г. онъ засѣлъ на второй годъ въ одномъ изъ курсовъ. Вѣчно замкнутый въ себя, задумчивый и угрюмый, мальчикъ мало сближался съ товарищами, дни и ночи просиживалъ за книгами и первыми своими литературными опытами. За-то втеченіе курса онъ успѣлъ познакомиться сверхъ русскихъ классиковъ съ Гёте, Шиллеромъ, Гофманомъ, В. Гюго, Ж. Зандъ, Бальзакомъ и пр. Подъ вліяніемъ Пушкина онъ принялся писать драму *Борисъ Годуновъ*. Сильное впечатлѣніе, произведенное на него нѣмецкою трагическою актрисою Лилли Леве въ драмѣ *Марія Стюартъ*, побудило Достоевскаго обработать эту трагическую тему по своему, для чего онъ тщательно принялся за приготовительное чтеніе и до 1842 г. ревностно занимался драмою, сдѣлавъ нѣсколько набросковъ ея.

Между тѣмъ отецъ Достоевскаго скончался въ 1839 г. Опекуномъ дѣтей сдѣлался мужъ сестры Достоевскаго, Карелинъ. Въ 1843 году Достоевскій кончилъ полный курсъ, былъ выпущенъ на дѣйствительную службу и зачисленъ при Санктъ-Петербургской инженерной командѣ съ употребленіемъ при чертежной Инженернаго департамента.

II.

По выходѣ изъ училища началась холостая, цыганская и полная лишеній жизнь Достоевскаго. Нельзя сказать, чтобъ онъ не былъ обезпеченъ. Вмѣстѣ съ казеннымъ жалованьемъ и высылками денегъ опекуномъ изъ Москвы, Достоевскій могъ располагать 5000 р. асс. въ годъ. Но онъ былъ крайне непрактиченъ, деньги уходили у него сквозь пальцы съ неимовѣрною быстротою, и онъ вѣчно сидѣлъ безъ гроша и кругомъ опутанный долгами. Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ чертой характера, проходящею сквозь всю его жизнь: вѣчно до гробовой доски онъ жаловался на безденежье, хлопоталъ о займахъ, авансахъ и никакъ не могъ свести концы съ концами. Это былъ человѣкъ увлекающійся, съ сильными страстями, не любившій ни въ чемъ себѣ отказывать; въ молодости-же сверхъ того имѣлъ пристрастіе къ игрѣ, особенно на билліардѣ.

Матеріальное положеніе Достоевскаго сдѣлалось еще хуже, когда въ 1844 году онъ вышелъ въ отставку, такъ какъ инженерная служба претила ему и совершенно расходилась съ литературными наклонностями. Пришлось замѣнить ее переводами Ж. Зандъ для издателей, съ платою по 25 р. асс. за листъ. По выходѣ въ отставку Достоевскій засѣлъ за свой первый романъ *Бѣдные люди*. Въ маѣ 1845 года романъ былъ окончательно написанъ и Достоевскій черезъ своего школьнаго товарища Григоровича передалъ его Некрасову, который собирался въ то время издавать сборникъ. Въ *Дневникѣ Писателя* (1877 г. № 1) Достоевскій подробно вспоминаетъ о томъ восторгѣ, съ которымъ Некрасовъ и Григоровичъ, прочитавши романъ его, прибѣжали къ нему ночью, и какъ потомъ Некрасовъ передалъ романъ Бѣлинскому съ

восклицаніемъ: «Новый Гоголь явился!», на что Бѣлинскій строго замѣтилъ: «У васъ Гоголи-то какъ грибы ростутъ», но когда прочиталъ самъ романъ, то въ волненіи воскликнулъ: «Приведите, приведите его скорѣе!..»

Романъ еще не выходилъ въ свѣтъ (онъ вышелъ въ началѣ 1846 года, будучи напечатанъ въ *Петербургскомъ сборникѣ* Некрасова), какъ Достоевскій успѣлъ уже пріобрѣсти лестную извѣстность въ литературныхъ кружкахъ.

«Ну, братъ,—пишетъ Достоевскій къ брату своему Михаилу 16-го іюля 1845 г., — никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до того апогея, какъ теперь. Всюду почтеніе неимовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездной народа самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить его своимъ посѣщеніемъ, а графъ Соллогубъ рветъ на себѣ волосы отъ отчаянія. Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. Соллогубъ обѣжалъ всѣхъ и, зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: «Кто этотъ Достоевскій? *Гдѣ мнѣ достать Достоевскаго?*» Краевскій, который никому въ усъ не дуетъ и рѣжетъ всѣхъ на-пропалую, отвѣчаетъ ему, что Достоевскій не захочетъ вамъ сдѣлать чести и осчастливить васъ своимъ посѣщеніемъ. Оно и дѣйствительно такъ: аристократишка теперь становится на ходули и думаетъ, что уничтожитъ меня величіемъ своей ласки. Всѣ меня принимаютъ, какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли, что Достоевскій то-то сказалъ, Достоевскій то-то хочетъ дѣлать. Бѣлинскій любитъ меня какъ нельзя болѣе. На-дняхъ воротился изъ Парижа поэтъ Тургеневъ (ты вѣрно слыхалъ) и съ перваго раза привязался ко мнѣ такою дружбой, что Бѣлинскій объясняетъ ее тѣмъ, что Тургеневъ влюбился въ меня»...

Изъ хвастливаго тона этого письма можно судить, какъ вскружилась голова у молодого писателя отъ быстраго успѣха. Какъ человѣкъ крайне увлекающійся, Достоевскій не могъ скрыть и сдержать въ должныхъ границахъ разыгравшагося самолюбія, впалъ въ заносчивость, вслѣдствіе чего отношенія его къ Бѣлинскому, Некрасову и всему кружку *Современника* сдѣлались натянутыми и испортились. Послѣ *Бѣдныхъ людей* лишь *Романъ въ девяти письмахъ* былъ напечатанъ въ № 1 *Современника* за 1847 г. и *Ползунковъ*—въ *Иллюстрированномъ альманахѣ*, изд. Некрасовымъ и Панаевымъ въ 1848 г. Остальныя-же произведенія перваго періода дѣятельности Достоевскаго (до ссылки) появились на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*: *Двойникъ* въ 44 т. 1846 г., *Господинъ Прохарчинъ* въ 48 т. 1846 г., *Хозяйка* въ тт. 54 и 55 1847 г., *Слабое сердце* въ 56 т. 1848 г., *Чужая жена* въ 56 т. 1848 г., *Ревнивый мужъ* въ 61 т. 1848 г., *Елка и свадьба* въ 60 т. 1848 г., *Бѣлыя ночи* въ 61 т. 1848 г., *Неточка Незванова* въ 62, 64 тт. 1849 г. и наконецъ *Маленькій герой*, написанный въ 1849 г., былъ помѣщенъ въ тѣхъ-же *Отечественныхъ Запискахъ* послѣ уже ссылки въ августѣ 1857 года.

Охлажденію къ кружку *Современника* не мало конечно способствовало и различіе въ убѣжденіяхъ, которое тогда уже начало обнаруживаться между Достоевскимъ и кружкомъ. Увлекшись вслѣдствіе своихъ бесѣдъ и споровъ съ Бѣлинскимъ политическими и соціальными идеями, господствовавшими въ кружкѣ, Достоевскій въ то-же время упорно отстаивалъ свои религіозные взгляды, и вслѣдствіе этого члены кружка начали смотрѣть на него, какъ на человѣка отсталаго. Этимъ разладомъ въ убѣжденіяхъ объясняется, что въ обозрѣніи русской литературы за 1847 годъ, съ безпощадною рѣзкостью напавшій на новую повѣсть Достоевскаго *Хозяйка*, найдя, что въ этой повѣсти, Достоевскій пытается помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, Бѣлинскій между прочимъ весьма многознаменательно смѣется надъ занятіемъ героя повѣсти, Ордынова, наукою. «Изъ словъ и дѣйствій Ордынова, — говоритъ онъ, — не

видно, чтобы онъ занимался какою-нибудь наукою, но можно догадываться изъ нихъ, что *онъ сильно занимался кабалистикой, чернокнижіемъ,—словомъ, чаромутіемъ. Но вѣдь это не наука, а сущій вздоръ; но тѣмъ не менѣе она положила на Ордынова свою печать, т. е. сдѣлала его похожимъ на поврежденнаго и помѣшаннаго.»*

Разойдясь съ кружкомъ *Современника*, Достоевскій сблизился съ Бекетовымъ и С. Д. Яновскимъ и, продолжая увлекаться соціализмомъ, поселился вмѣстѣ съ друзьями на общую квартиру на началахъ ассоціаціи. «Наконецъ,— пишетъ онъ брату, — я предложилъ жить вмѣстѣ. Нанялась квартира большая, и всѣ издержки по всѣмъ частямъ хозяйства, все не превышаетъ 1,200 р. ассигнаціями съ человѣка въ годъ... Такъ велики благодѣянія ассоціаціи».

Вскорѣ онъ вошелъ въ дуровскій кружокъ фурьеристовъ, самый умѣренный изъ всѣхъ кружковъ петрашевцевъ. По утвержденію Милюкова, въ кружкѣ этомъ «не было никакихъ чисто революціонныхъ замысловъ». Дуровцы возставали на строгость тогдашней цензуры, крѣпостное право, административныя злоупотребленія, но мало помышляли о перемѣнѣ формы правленія, слѣдуя въ этомъ отношеніи ученію Фурье и его послѣдователей, не придававшихъ никакого значенія политическимъ переворотамъ.

Впрочемъ, когда однажды зашелъ споръ о средствахъ освобожденія крестьянъ и на замѣчаніе Достоевскаго, что «народъ нашъ не пойдетъ по стопамъ европейскихъ революціонеровъ», кто-то возразилъ, «ну, а еслибы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе, какъ черезъ возстаніе?», то Достоевскій воскликнулъ: «такъ хотя бы черезъ возстаніе!...»

Но это запальчивое восклицаніе было лишь минутною экзальтаціей; въ общемъ-же Достоевскій былъ весьма далекъ отъ какихъ бы то ни было революціонныхъ замысловъ, восторженно декламировалъ стихи Пушкина о паденіи рабства «по мановенію царя» и настаивалъ на томъ, что всѣ соціалистическія теоріи не имѣютъ для насъ никакого значенія, что въ общинѣ, въ артели и круговой порукѣ давно уже существуютъ основы болѣе прочныя и нормальныя, чѣмъ всѣ мечтанія Сенъ-Симона и его школы, и что жизнь въ Икарійской коммунѣ и фаланстерѣ представляется ему ужаснѣе и противнѣе всякой каторги.

Тѣмъ не менѣе 23-го апрѣля 1849 года Достоевскій былъ арестованъ вмѣстѣ со всѣми прочими петрашевцами, заключенъ въ крѣпость и подвергся военно-полевому суду по обвиненію въ томъ, что онъ «принималъ участіе въ разговорахъ о строгости цензуры и на одномъ собраніи въ мартѣ 1849 г. прочелъ полученное изъ Москвы отъ Плещеева письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, потомъ читалъ его на собраніяхъ у Дурова и отдалъ для списанія копіи Момбелли. На собраніяхъ у Дурова слушалъ чтеніе статей, зналъ о предположеніи завести типографію и у Спѣшнева слушалъ чтеніе «Солдатской бесѣды».»

Военно-полевой судъ, какъ извѣстно, приговорилъ всѣхъ петрашевцевъ, въ томъ числѣ и Достоевскаго, къ казни чрезъ разстрѣляніе, и этотъ ужасный приговоръ былъ прочтенъ осужденнымъ 22-го декабря 1849 г., заставивши ихъ двадцать минутъ прожить подъ несомнѣннымъ убѣжденіемъ, что черезъ нѣсколько минутъ ихъ не станетъ. Но по высочайшему повелѣнію смертная казнь была отмѣнена, и участь осужденныхъ была смягчена въ различныхъ

степеняхъ. Относительно Достоевскаго окончательная резолюція заключалась въ ссылкѣ на каторгу на четыре года, а потомъ въ рядовые.

Въ рождественскій сочельникъ Достоевскій былъ отправленъ въ Сибирь. *Маленькій герой* было послѣднимъ произведеніемъ этого періода жизни Достоевскаго, написаннымъ уже въ крѣпости, и затѣмъ литературная дѣятельность его прервалась на многіе годы.

III.

Снабженный *Евангеліемъ*, подареннымъ ему женами декабристовъ, которыя въ Тобольскѣ посѣтили въ острогѣ петрашевцевъ и напутствовали ихъ своимъ благословеніемъ на предстоящую имъ каторгу, Достоевскій былъ водворенъ въ острогъ, гдѣ онъ и отбылъ всѣ четыре года наказанія. Въ *Запискахъ изъ мертваго дома* Достоевскій подробно описываетъ свою жизнь въ омскомъ острогѣ и всѣ ея впечатлѣнія. Мы считаемъ излишнимъ передавать ихъ. Замѣтимъ только, что на міросозерцаніе и мышленіе Достоевскаго каторга произвела крайне подавляющее и неблагопріятное впечатлѣніе. Правда, онъ имѣлъ возможность близко сойтись съ народомъ, изучить его, но вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ проникся и духомъ того мистицизма, который свойственъ темнымъ и безграмотнымъ людямъ. Его собственное міросозерцаніе, какъ мы говорили выше, стояло на степени дѣтскихъ вѣрованій. Каторга еще болѣе укрѣпила ихъ, пріучивъ его видѣть въ нихъ основу народнаго духа и русской жизни. Прибавьте ко всему этому полное отчужденіе отъ литературы; ни одной книжки не проникало въ острогъ. Впродолженіе трехъ лѣтъ Достоевскій ничего не имѣлъ въ рукахъ, кромѣ одной библіи, и, по его словамъ, «читая по необходимости одну библію, онъ яснѣе и глубже могъ понять смыслъ христіанства».

Лишь въ послѣдній годъ, при новомъ плацъ-маіорѣ, положеніе Достоевскаго улучшилось. «Въ городѣ,—говоритъ онъ,—между служащими военными у меня оказались знакомые и даже давнишніе школьные товарищи. Я возобновилъ съ ними сношенія. Черезъ нихъ я могъ имѣть больше денегъ, могъ писать на родину и даже имѣть книги. Трудно отдать отчетъ о томъ странномъ и вмѣстѣ волнующемъ впечатлѣніи, которая произвела во мнѣ первая прочитанная мною въ острогѣ книга. Это былъ нумеръ одного журнала. Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ... особенно бросился я на статью, подъ которой находилъ имя знакомаго, близкаго прежде человѣка... Но уже звучали и новыя имена... Я съ жадностью спѣшилъ съ ними познакомиться и досадовалъ, что у меня такъ мало книгъ въ виду... Прежде-же, при первомъ плацъ-маіорѣ, даже опасно было носить книги въ каторгу».

Вмѣстѣ съ тѣмъ и здоровье Достоевскаго значительно пошатнулось во время каторги. Онъ съ дѣтства страдалъ нервами, и передъ арестомъ нервы его были настолько уже расшатаны, что въ 1846 году онъ былъ близокъ къ душевной болѣзни, и лишь попеченіямъ друзей своихъ, Бекетова и Яновскаго, онъ приписываетъ излеченіе отъ нея. Уже тогда по ночамъ находилъ на него тотъ *мистическій ужасъ*, который онъ подробно описалъ въ романѣ *Униженные и оскорбленные*, появлялись изрѣдка и припадки эпилепсіи. Въ Сибири болѣзнь его окончательно развилась и дошла до такой степени, что не было уже возможности и ему самому не убѣдиться въ ея настоящемъ характерѣ.

По окончаніи срока каторги, 2-го марта 1854 года, Достоевскій былъ зачисленъ рядовымъ въ Сибирскій линейный № 7 батальонъ; 1-го же октября 1855 года былъ произведенъ въ прапорщики съ оставленіемъ при томъ же батальонѣ. Положеніе его значительно улучшилось съ прекращеніемъ каторги. Онъ былъ на свободѣ, безъ цѣпей, получилъ возможность имѣть уединеніе, отсутствіе котораго болѣе всего терзало его въ острогѣ; сталъ вести переписку съ родными и друзьями, принялся и за перо. Такъ, будучи въ Сибири, онъ написалъ *Дядюшкинъ сонъ* и *Село Степанчиково* и тогда уже задумалъ *Записки изъ мертваго дома*. Въ то же время ему пришлось пережить собственный романъ, очень измучившій его и нравственно, и физически, но кончившійся бракосочетаніемъ въ Кузнецкѣ 6-го марта 1856 г. со вдовою Маріей Дмитріевной Исаевой.

Наконецъ, послѣ большихъ и долговременныхъ хлопотъ и ходатайствъ, Достоевскій получилъ разрѣшеніе выѣхать изъ Сибири въ Европейскую Россію и поселиться въ Твери. Билетъ на проѣздъ выданъ былъ ему 30-го іюля 1859 года, и передъ осенью онъ былъ уже въ Твери; зимою же того-же года было ему разрѣшено жить въ столицахъ.

Получивши полную свободу, Достоевскій, увлекаемый общественнымъ движеніемъ, дошедшимъ въ то время до своего апогея, не могъ ограничиться одною беллетристикою, и въ слѣдующемъ же году, вмѣстѣ съ братомъ Михаиломъ, замыслилъ журналъ *Время*, который и началъ выходить съ начала 1861 года.

Какъ направленіе *Времени*, такъ и составъ сотрудниковъ (Ап. Григорьевъ, Страховъ и пр.) свидѣтельствуютъ достаточно о томъ строѣ міросозерцанія, который въ это время сложился у Достоевскаго и затѣмъ послѣдовательно развивался впродолженіе всей остальной жизни. Это было то полу-славянофильское, полу-западническое ученіе, адепты котораго носили названіе почвенниковъ, и которое, какъ мы видѣли уже въ III главѣ, впервые выражалось въ *Москвитянинѣ*, имѣя своимъ родоначальникомъ и первымъ представителемъ Ап. Григорьева. Теперь во главѣ этой партіи всталъ Достоевскій, и ему то именно и принадлежитъ кличка ея, такъ какъ выраженія: *мы оторвались отъ своей почвы*, намъ слѣдуетъ *искать своей почвы*, были любимыми оборотами Достоевскаго и встрѣчаются уже въ первой статьѣ его *Времени*.

Насколько горячее и дѣятельное участіе принялъ Достоевскій въ новомъ журналѣ, видно изъ того, что съ первой же книжки сталъ печататься романъ его *Униженные и оскорбленные*, и одновременно съ нимъ, втеченіе 1861 и 1862 годовъ, были напечатаны во *Времени*: *Записки изъ мертваго дома*. Сверхъ того, Достоевскій взялъ на себя критическій отдѣлъ, который открылъ статьею: *Рядъ статей о русской литературѣ, введеніе*. Кромѣ того, онъ принималъ участіе въ другихъ трудахъ по журналу, въ составленіи книжекъ, въ выборѣ и заказѣ статей, а въ первомъ нумерѣ взялъ на себя и фельетонъ, который порученъ былъ Минаеву, но не понравился Достоевскому, и онъ наскоро написалъ свою статью подъ заглавіемъ *Сновидѣнія въ стихахъ и прозѣ*, вставивъ въ нее всѣ стихотворенія, которыми былъ пересыпанъ фельетонъ Минаева. Такого труда не выдержалъ расшатанный организмъ Достоевскаго, и на третій мѣсяцъ онъ заболѣлъ.

За-то журналъ имѣлъ значительный по тому времени успѣхъ. Въ первомъ же 1861 г. у него было 2,300 подписчиковъ; на второй же годъ—болѣе 4,000.

Этотъ успѣхъ доставилъ Достоевскому возможность въ 1862 г. сдѣлать первую свою поѣздку за-границу, результатомъ которой были *Зимнія замѣтки о лѣтнихъ впечатлѣніяхъ*, напечатанныя въ №№ 2 и 3 *Времени* за 1863 годъ.

Но дни *Времени* были сочтены. Журналъ сгубила статья Страхова *Роковой вопросъ* въ № 4 *Времени*, написанная по поводу польскаго возстанія такъ неловко, безтактно и темно, что администрація поняла ее совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ, и журналъ былъ воспрещенъ тотчасъ-же по выходѣ № 4.

Этотъ погромъ не помѣшалъ Достоевскому лѣтомъ въ 1863 г. совершить вторичную поѣзду за-границу, далеко не столь удачную, какъ первая. Будучи отъ природы игрокомъ, онъ соблазнился рулеткою въ одномъ изъ германскихъ городковъ. Но въ то время, какъ въ первую поѣзду онъ выигралъ 11,000 франковъ, во вторую, напротивъ того, проигрался до тла и остался безъ гроша, такъ что друзья принуждены были занимать для него деньги въ счетъ будущей его работы въ редакціи *Библіотеки для Чтенія*. Въ воспоминаніе этого эпизода былъ написанъ имъ впослѣдствіи романъ *Игрокъ*.

Слѣдующій годъ былъ для Достоевскаго еще болѣе несчастенъ: во-первыхъ, онъ потерялъ двухъ самыхъ близкихъ ему людей: жену и брата Михаила, а во-вторыхъ, ему пришлось пережить прискорбную неудачу съ новымъ журналомъ, предпринятымъ вмѣсто *Времени*, *Эпохою*.

Журналу этому не повезло съ самаго начала. Разрѣшеніе его вышло такъ поздно, что объявленіе объ его изданіи могло появиться лишь 31-го января 1864 года. Достоевскій въ это время находился въ Москвѣ у постели умиравшей жены и самъ былъ боленъ, такъ что не успѣлъ ничего написать, всѣ сотрудники были въ разбродѣ. Братъ Достоевскаго, Михаилъ, дѣйствовалъ вяло, измученный предшествовавшими волненіями и снѣдаемый смертельною болѣзнію. И вотъ лишь къ началу апрѣля, когда подписка на періодическіе журналы давно кончилась, явилась *Эпоха*, въ видѣ двойной книжки за-разъ, январьской и февральской.

Такъ потянулась *Эпоха* и дальше: вяло, неопрятно, запаздывая книжками. Сверхъ того смерть Михаила Достоевскаго, 10-го іюня, принудила редакцію на два мѣсяца задержать изданіе до утвержденія цензурнымъ вѣдомствомъ новаго редактора въ лицѣ Ап. Ус. Порѣцкаго.

По смерти жены и брата, Достоевскій дѣятельно принялся за изданіе журнала, стараясь всячески вогнать книжки въ срокъ. Въ послѣдніе мѣсяцы 1864 года редакція выпускала по двѣ книжки въ мѣсяцъ, такъ что январь 1865 года вышелъ уже 13-го февраля, а февраль—въ мартѣ. Несмотря на это, въ первый годъ журналъ успѣлъ уже такъ плохо рекомендовать себя, что на 1865 г. едва набралось 1,300 подписчиковъ, — число, съ которымъ журналъ, обремененный сдѣланными затратами, выдержать не могъ. Послѣ февральской книжки въ редакціи не оказалось ни копѣйки денегъ, никакой возможности платить сотрудникамъ, за бумагу, въ типографію. Все разсыпалось и разлетѣлось; семейство Михаила Достоевскаго осталось безъ всякихъ средствъ, а на Достоевскомъ наросъ долгъ въ 15 тысячъ.

Этимъ фіаско съ *Эпохой* заканчивается періодъ журнальной дѣятельности Достоевскаго и начинается новая полоса созданія большихъ романовъ.

IV.

Лѣтомъ 1865 г., въ концѣ іюня, Достоевскій уѣхалъ за-границу, а осенью возвратился въ Петербургъ и оставался здѣсь весь 1866 годъ. Это было самое тяжелое время въ его жизни. Больной, одинокій, притѣсняемый кредиторами, обремененный заботами о семьѣ покойнаго брата, онъ долженъ былъ напрягать всѣ силы, чтобы вывернуться изъ тяжелаго финансоваго положенія, и очень можетъ быть, что плодомъ такихъ усилій и были романы такихъ большихъ размѣровъ, какихъ до того времени Достоевскій еще не создавалъ. Такъ, втеченіе 1865 и 1866 годовъ онъ написалъ лучшій свой романъ *Преступленіе и наказаніе*, который печатался въ *Русскомъ Вѣстникѣ* съ января 1866 года.

Въ томъ-же году, чтобы выпутаться изъ долговъ, Достоевскій запродалъ Стелловскому право на полное собраніе своихъ сочиненій за 3,000 рублей, съ помѣщеніемъ въ изданіе особаго ненапечатаннаго еще нигдѣ романа. Срокъ доставки этого романа былъ обозначенъ въ контрактѣ. Вотъ тогда Достоевскій и началъ писать задуманный еще въ 1863 году романъ *Игрокъ*. Но видя, что не поспѣетъ, если будетъ писать обыкновеннымъ порядкомъ, онъ пригласилъ къ себѣ стенографку. Къ нему явилась незнакомая дѣвушка, рекомендованная книгопродавцемъ П. М. Ольхинымъ, Анна Григорьевна Сниткина, которой суждено было стать его женою. Свадьба состоялась 15-го февраля 1867 г. Отъ этого брака было четверо дѣтей, изъ которыхъ въ живыхъ послѣ Достоевскаго осталось лишь двое: дочь Любовь и сынъ Ѳедоръ.

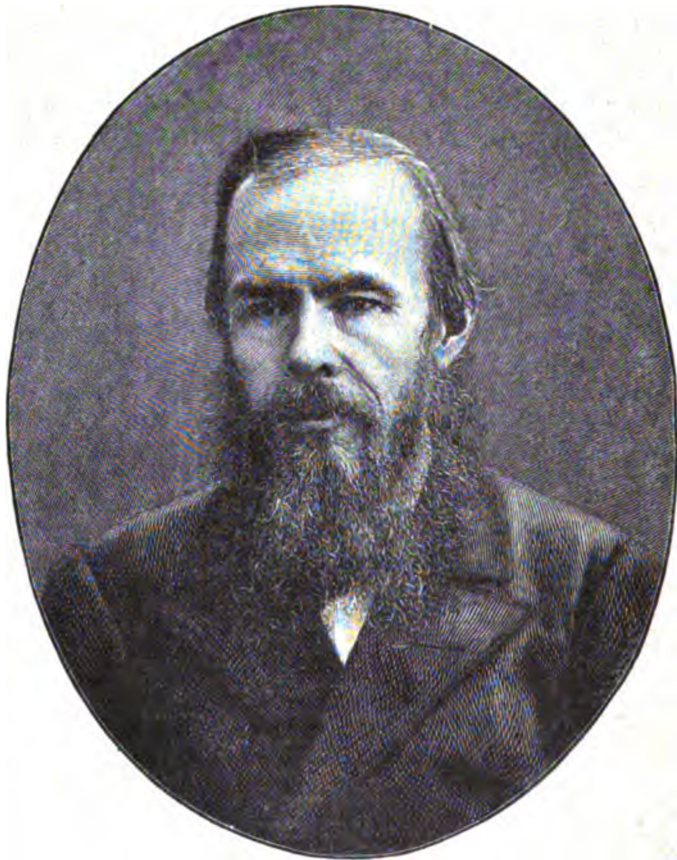
Вскорѣ послѣ свадьбы Достоевскій съ женой поѣхалъ за-границу, гдѣ они оставались до 1871 г., переѣзжая изъ страны въ страну, изъ города въ городъ, болѣе-же всего проживя въ Дрезденѣ. Въ эти четыре года были написаны Достоевскимъ романы: *Идіотъ*, напечатанный въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1868 г., *Вѣчный мужъ* — въ *Зарѣ* 1870 г. и *Бѣсы* — въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1871—1872 годовъ.

Въ іюнѣ 1871 г. Достоевскіе рѣшились вернуться въ Петербургъ, не видя выхода изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, и такъ какъ оставаться долѣе за-границею сдѣлалось для нихъ совершенно невыносимо.

Послѣднее десятилѣтіе своей жизни Достоевскій провелъ въ Петербургѣ, отлучаясь изъ него лишь на лѣтніе мѣсяцы, которые онъ проводилъ съ семьей по большей части въ Старой Руссѣ; въ 1874—1875 же годахъ они прожили тамъ и зиму. Это была та зима, въ которую Достоевскій писалъ *Подростка*, романъ, напечатанный въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1875 г. Когда дѣла поправились, Достоевскій нашелъ удобнымъ даже купить себѣ въ Старой Руссѣ домъ, куда регулярно семья и переѣзжала вмѣсто дачи. Самъ-же Достоевскій уѣзжалъ иногда на іюль и августъ въ Эмсъ для леченія.

Такимъ образомъ жизнь Достоевскаго подъ конецъ дѣлалась все болѣе и болѣе правильною и осѣдлою: никакихъ передрягъ и переворотовъ онъ теперь не испытывалъ и матеріальное положеніе его съ каждымъ годомъ улучшалось. 1873 годъ ознаменовался редактированіемъ *Гражданина*, по предложенію князя Мещерскаго. Достоевскій получалъ за это 250 р. въ мѣсяцъ, сверхъ платы за статьи. Въ 1876 году Достоевскій началъ издавать *Дневникъ писателя*—нѣчто вродѣ ежемѣсячной газетки, наполненной сплошь его собствен-

ными статьями преимущественно политическаго содержанія, въ виду возникшей въ то время сербско-турецкой войны; но среди нихъ проскальзывали порою и белетристическія вещи (*Кроткая*), а также статейки публицистическія и автобіографическія. *Дневникъ писателя* имѣлъ большой успѣхъ. За 1876 годъ у него было 1,982 подписчика и, кромѣ того, въ розничной продажѣ каждый нумеръ расходился въ 2,000 до 2,500 экз. Нѣкоторые нумера потребовали 2-го и 3-го изданія. Въ 1877 году было около 3,000 подписчиковъ и столько же расходилось въ розничной продажѣ. Одинъ нумеръ, выпущенный въ 1880 году въ августѣ и содержавшій въ себѣ рѣчь о Пушкинѣ, былъ напечатанъ въ 4,000 экз. и разошелся въ нѣсколько дней. Было сдѣлано новое изданіе въ 2,000 экземпляровъ и разошлось безъ остатка. *Дневникъ* на 1881 г. печатался въ 8,000 экз. и имѣлъ въ январѣ, прежде выхода перваго нумера, 1,074 подписчика. Всѣ 8,000 были распроданы въ дни выноса и погребенія. Сдѣлано было второе изданіе въ 6,000 экз. и разошлось безъ остатка.



Ѳ. М. Достоевскій.

Послѣдній годъ жизни Достоевскаго ознаменовался тѣми шумными и полными энтузіазма оваціями, которыми почтила его публика во время открытія пушкинскаго памятника, послѣ произнесенія имъ рѣчи на публичномъ засѣданіи «Общества любителей россійской словесности», 8-го іюня 1880 г. Рѣчь эта снискала ему такую популярность, какою онъ непользовался впродолженіе всей своей жизни. Онъ былъ осажденъ письмами и визитами; со всѣхъ концовъ Петербурга и краевъ Россіи къ нему безпрерывно приходили съ выраженіями поклоненія, съ просьбами о помощи, съ вопросами, съ жалобами на другихъ и съ возраженіями противъ него.

Во вторую половину 1880 г. Достоевскій кончилъ *Братьевъ Карамазовыхъ* и составилъ *Дневникъ писателя*, единственный выпускъ за 1880 г., августъ. Въ этомъ выпускѣ онъ помѣстилъ рѣчь свою о Пушкинѣ, обставивъ ее поясненіями и отвѣтами на поднявшіяся противъ нея возраженія. Въ концѣ года было объявлено, что *Дневникъ* будетъ выходить на слѣдующій 1881 годъ. Январскій нумеръ уже печатался и былъ почти уже готовъ къ выходу, но дни Достоевскаго уже были сочтены. Послѣднія девять лѣтъ своей жизни онъ страдалъ катарромъ дыхательныхъ путей, осложненнымъ эмфиземой. Смертельный исходъ этой болѣзни произошелъ отъ разрыва легочной артеріи, вслѣдствіе чего, начиная съ 25-го января, у Достоевскаго нѣсколько разъ повторялось кровотеченіе изъ горла, и 28-го января 1881 года, въ $8^1/_2$ часовъ вечера, его не стало.

Похороны его, 1-го февраля, отличались большою торжественностью; за гробомъ при несмѣтномъ количествѣ народа шествовали 42 депутаціи съ вѣнками. Погребенъ былъ онъ 2-го февраля на кладбищѣ Александро-Невской лавры.

V.

Мы уже говорили выше, что Достоевскій рѣзко отличается отъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, какъ міросозерцаніемъ, такъ и характеромъ творчества. Что касается міросозерцанія, то воспитанный, подобно прочимъ писателямъ его школы, на почвѣ соціальнаго движенія сороковыхъ годовъ, въ кружкахъ петрашевцевъ, впослѣдствіи подъ вліяніемъ ссылки и затѣмъ новыхъ литературныхъ связей онъ мало-по-малу втянулся въ кружокъ почвенниковъ, сталъ во главѣ ихъ и подъ конецъ жизни обратился въ истаго славянофила и мистика. Въ этомъ превращеніи, равно въ мистическихъ теоріяхъ, которыя Достоевскій проповѣдывалъ въ своемъ *Дневникѣ* и затѣмъ въ романахъ, начиная съ *Преступленія и наказанія*, находятъ нѣчто общее у него съ гр. Л. Толстымъ. На первый взглядъ какъ будто это и такъ. Оба писателя разочаровались въ европейскомъ прогрессѣ, признали въ интеллигентномъ русскомъ обществѣ нравственную и умственную несостоятельность, пришли къ отчаянію, изъ котораго единственнымъ выходомъ для нихъ явилось проникновеніе живою вѣрою народныхъ массъ, и оба въ этой вѣрѣ увидѣли единственную возможность слиться съ народомъ. Затѣмъ, проникаясь все болѣе и болѣе духомъ христіанскаго ученія, оба пришли къ полному отрицанію матеріальнаго улучшенія общаго благосостоянія; гр. Толстой выступилъ съ теоріей непротивленія злу насиліемъ, а Достоевскій—съ теоріей нравственнаго возвышенія и очищенія путемъ страданій, что̀ въ сущности одно и то-же: въ

чемъ-же и выражается непротивленіе злу, какъ не въ безропотномъ перенесеніи страданій, причиняемыхъ зломъ?

Тѣмъ не менѣе между гр. Л. Толстымъ и Достоевскимъ существуетъ глубокое различіе. Въ гр. Л. Толстомъ мы видимъ отсутствіе консерватизма и преданности традиціямъ. Онъ относится ко всѣмъ ученіямъ съ безусловною свободою мысли и, подвергая ихъ смѣлой критикѣ, выбираетъ изъ нихъ лишь то, что́ соотвѣтствуетъ внушеніямъ его разума. Онъ — истый индивидуалистъ до мозга костей. Ему дѣла нѣтъ до общества, до отечества и его судебъ. Еслибы онъ усмотрѣлъ, что для самосовершенствованія личности необходимо полное распаденіе государства, онъ не постоялъ бы и за этимъ; да отчасти онъ и предполагаетъ нѣчто подобное, ратуя противъ такихъ функцій, какъ суды, войско, безъ которыхъ немыслимо существованіе государствъ. Подъ народными массами онъ подразумѣваетъ не одинъ русскій народъ, а производительныхъ тружениковъ на всемъ земномъ шарѣ безъ различія національности, а подъ вѣрою, которую ищетъ въ средѣ этихъ тружениковъ, разумѣетъ не какія либо религіозныя вѣрованія, а вѣру въ разумность и цѣлесообразность жизни и всего сущаго, ставя эту вѣру въ зависимость отъ живого и здороваго труда.

Достоевскій-же является напротивъ того общественникомъ. Свобода и самосовершенствованіе личности мало его заботятъ. Личность по его ученію должна лишь смириться и безропотно принести себя въ жертву отечеству, ради исполненія той миссіи, какую предопредѣлено совершить Россіи, какъ народу богоизбранному. Миссія эта заключается въ осуществленіи на землѣ истиннаго христіанства въ православіи, которому остается вѣренъ и преданъ русскій народъ; слиться же съ народомъ можно только однимъ путемъ: подобно ему, съ тою-же безпредѣльною преданностью и вѣрою исповѣдовать православіе, въ которомъ все спасеніе, какъ для всего міра въ его цѣломъ, такъ и для каждой личности.

Что-же касается характера творчества Достоевскаго, то онъ вполнѣ опредѣляется тѣмъ, что Достоевскій былъ сынъ города и интеллигентный пролетарій, и въ этомъ заключается различіе его отъ прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Различіе это сказывается и во внѣшнихъ формахъ его произведеній. Мы не видимъ въ нихъ той изящной стройности, классической законченности, отдѣланности и отчеканенности, какія васъ поражаютъ въ произведеніяхъ Тургенева и Гончарова. Напротивъ того, они поражаютъ васъ своею неуклюжестью, растянутостью, отсутствіемъ строгой отдѣлки, требующей досуга. Видно, что они писались съ поспѣшностью, къ сроку, человѣкомъ, который вѣчно нуждался, путаясь въ долгахъ, и не въ силахъ былъ сводить концы съ концами. Поспѣшность работы заставляла его иногда прибѣгать къ стенографіи и диктовать свои произведенія.

Въ то-же время поражаетъ васъ въ произведеніяхъ Достоевскаго полное отсутствіе тѣхъ художественныхъ элементовъ, какими такъ богаты прочіе беллетристы сороковыхъ годовъ: не найдете вы въ нихъ ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ духъ сценъ любви, свиданій, поцѣлуевъ, ни кружащихъ голову читателей обворожительныхъ женскихъ типовъ, чѣмъ такъ богатъ и славенъ Тургеневъ, а за нимъ Гончаровъ и гр. Толстой. Достоевскій принципіально отрицалъ все это, потѣшаясь въ *Бѣсахъ* надъ Тургеневымъ въ лицѣ писателя Кармазинова съ его страстью изображать по-

цѣлуи не такъ, какъ они происходятъ у всего человѣчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться въ ботаникѣ, при этомъ на небѣ непремѣнно долженъ быть какой то фіолетовый оттѣнокъ, котораго конечно никто никогда не примѣчалъ изъ смертныхъ, а дерево, подъ которымъ усѣлась интересная пара, непремѣнно какого-нибудь оранжеваго цвѣта и т. д.

Но не одни художественныя красоты отсутствуютъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, а вообще они бѣдны пластичностью, детальностью. Достоевскій не любилъ вдаваться въ подробности и обрисовывать предметы со всѣхъ сторонъ, и описательный элементъ играетъ въ произведеніяхъ его послѣднюю роль. Знакомя съ дѣйствующими лицами и героями своихъ романовъ, Достоевскій хотя и перечисляетъ главные ихъ примѣты, но вы съ трудомъ по этимъ примѣтамъ составляете себѣ понятіе объ ихъ наружности. Въ то-же время герои его отличаются крайнимъ многословіемъ, говорятъ рѣчи подъчасъ страницы въ двѣ, въ три и при этомъ выражаются языкомъ и слогомъ самого автора.

Въ одномъ этомъ пренебреженіи къ внѣшности, въ отсутствіи созерцательности, воспитывамой жизнью на лонѣ природы и однообразіемъ деревенскаго житья-бытья,—мы уже видимъ нервнаго сына города.

VI.

Сюжеты произведеній Достоевскаго, въ свою очередь, представляютъ рѣзкое отличіе. У прочихъ беллетристовъ они отличаются крайнею простотою и односложностью; дѣйствующихъ лицъ выводится мало, иногда не болѣе двухъ, трехъ, четырехъ, и вся интрига заключается обыкновенно въ соперничествѣ двухъ любовниковъ и въ вопросѣ о томъ, котораго изъ нихъ героиня удостоитъ своей любви. Совсѣмъ не то видимъ мы у Достоевскаго. Сюжеты произведеній его сложны и запутаны, дѣйствующихъ лицъ выводится масса. Читая романы Достоевскаго, вы словно слышите гулъ толпы, и передъ вами развертывается городская жизнь со всею ея суетою и безпрерывными сложными и непредвидѣнными столкновеніями и отношеніями между собою людей, скученныхъ въ тѣснотѣ и смрадѣ городскихъ стѣнъ. При этомъ Достоевскій не ограничивался одними великосвѣтскими салонами или-же интеллигентными кружками среднихъ классовъ общества; онъ любилъ водить читателей въ городскія трущобы, въ вертепы нищеты и разврата и, какъ истый сынъ города, мало того что отлично изучилъ эти трущобы и вертепы, но и проникся ихъ мрачною поэзіею. Не вдаваясь въ описанія красотъ природы, онъ очень часто развертываетъ передъ вами иного рода ужасающія картины, отъ которыхъ у васъ мурашки ползутъ по спинѣ: картины городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда всѣ, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ завываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уголочкахъ, и лишь безпріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодѣтыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемыя мокрымъ снѣгомъ, пронизываемыя вѣтромъ и погруженныя въ полубезумныя грезы. Въ этомъ отношеніи романы Достоевскаго принадлежатъ не къ жоржъ-зандовскому типу, какъ у прочихъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, а скорѣе къ типу романовъ

Диккенса съ ихъ подобнаго-же рода мрачною поэзіею городскихъ вертеповъ, скрывающихъ во мракѣ ненастныхъ ночей невѣдомо какія страданія и преступленія.

Наконецъ мы подошли къ наиболѣе существенному качеству творчества Достоевскаго, именно тому психіатрическому анализу, который въ большинствѣ его романовъ стоитъ на первомъ планѣ и представляетъ главную ихъ силу и достоинство.

Извѣстный психіатръ д-ръ Чижъ, разобравшій произведенія Достоевскаго съ точки зрѣнія своей науки, удивляется научной вѣрности, съ какою Достоевскій изображаетъ душевно-больныхъ. По мнѣнію его, почти четверть дѣйствующихъ лицъ у Достоевскаго душевно-больные (въ *Братьяхъ Карамазовыхъ*—шесть, въ *Преступленіи и наказаніи*, *Бѣсахъ*—по четыре, въ *Идіотѣ*, *Подросткѣ* и *Хозяйкѣ*—по три, въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*—два и наконецъ почти во всѣхъ—по одному). На основаніи наблюденій такихъ спеціалистовъ, какъ Пинель, Эскироль, Гюисленъ, Гризингеръ, Ламброзо и Крафтъ-Эбингъ, д-ръ Чижъ доказываетъ, что Достоевскій былъ великимъ психопатологомъ, что онъ художественнымъ прозрѣніемъ опередилъ даже точную науку и много изъ него перейдетъ несомнѣнно въ учебники психіатріи. Къ числу такихъ замѣчательностей д-ръ Чижъ относитъ совершенно правильно и мастерски объясненныя и развитыя: эпилептическую ауру (Мышкинъ), старческое слабоуміе (старикъ Сокольскій и князь К.), нравственное помѣшательство (Раскольниковъ и Свидригайловъ, Смердяковъ и Иванъ Карамазовъ), противоположеніе страсти и аффекта (во многихъ лицахъ, напримѣръ въ Дмитріѣ Карамазовѣ), галлюцинаціи (Иванъ Карамазовъ), противоположенія аффекта и настроенія (Сокольскій, Алексѣй Раскольниковъ), истерію, извращеніе прихотей, навязчивыя идеи (Лиза Хохлакова), связь религіозности и половыхъ влеченій, наслѣдственность, значеніе пьянства и т. д.

Преобладаніе психіатрическаго анализа и вѣрность изображенія душевнобольныхъ обусловливаются конечно прежде всего личною наклонностью Достоевскаго къ нервнымъ болѣзнямъ; но въ то-же время, въ свою очередь, представляются характеристичнымъ качествомъ писателя, взлелѣяннаго городомъ и проведшаго бо́льшую часть жизни въ городскихъ стѣнахъ, такъ какъ города и особенно тѣ вертепы нищеты, въ которые такъ любилъ заглядывать Достоевскій, являются главнымъ гнѣздомъ всякаго рода психическихъ болѣзней.

Отсутствіемъ примиряющаго и смягчающаго душу вліянія природы и преобладаніемъ раздражающихъ нервы впечатлѣній городской сутолоки можно объяснить и ту *жестокость*, какую обнаруживалъ Достоевскій въ своемъ психическомъ анализѣ и на которую вѣрно указываетъ Михайловскій въ своей статьѣ *Жестокій талантъ*. Дѣйствительно, только крайне раздраженными и вѣчно натянутыми нервами можно объяснить страсть Достоевскаго мучить читателя, изображая самыя тяжелыя и ужасныя въ психическомъ отношеніи положенія выводимыхъ лицъ и къ тому-же преувеличивая эти положенія, доводя ихъ до послѣдней крайности и безвыходности, подолгу останавливаясь на нихъ и медленною художественною пыткою словно съ какимъ-то сладострастіемъ жестокости вымучивая нервы читателей.

Въ заключеніе общей характеристики Достоевскаго слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что, при всемъ обиліи выводимыхъ лицъ и кажущемуся ихъ разнообразіи, всѣ они сводятся къ весьма немногимъ типамъ, которые лишь съ небольшими варіаціями повторялись во всѣхъ его произведеніяхъ.

Такъ, вѣрный ученію почвенниковъ и особенно представителя ихъ Ап. Григорьева, Достоевскій въ основѣ большинства произведеній ставитъ одинъ изъ двухъ противоположныхъ типовъ: 1) типъ *кроткій*, человѣка любвеобильнаго, полнаго самоотверженія, готоваго все простить, все оправдать, гуманно отнестись къ измѣнѣ любимой дѣвушки и продолжать любить ее, устраивая даже ея бракъ съ другимъ и т. п., таковы напр.: Ростаневъ въ романѣ *Село Степанчиково*, герой *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, князь Мышкинъ въ *Идіотѣ* и пр.; 2) типъ *хищный*—эгоиста, исполненнаго страстей, не знающаго удержу своимъ похотямъ и не останавливающагося ни передъ какими божескими и человѣческими законами, таковы: Ставрогинъ въ *Бѣсахъ*, Дмитрій Карамазовъ и пр.

Въ свою очередь, и женщины Достоевскаго раздѣляются на подобные-же два противоположные типа: съ одной стороны *кроткій*—типъ женщинъ, обладающихъ нѣжнымъ, любящимъ до самозабвенія женскимъ сердцемъ, таковы: Нелли и Наташа въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, мать Раскольникова и Соня въ *Преступленіи и наказаніи*, Хроменькая въ *Бѣсахъ*, Неточка Незванова, жена Макара Ивановича въ *Подросткѣ*; съ другой стороны рисуются передъ нами, въ свою очередь, *хищные* типы своенравныхъ, обаятельныхъ и властныхъ до жестокости женщинъ, каковы: Полина въ *Игрокѣ*, Настасья Филипповна въ *Идіотѣ*, Грушенька и Катерина Ивановна въ *Братьяхъ Карамазовыхъ* и Варвара Петровна въ *Бѣсахъ*.

Часто повторяется также типъ развратнаго циника, для котораго законъ не писанъ и который не останавливается ни передъ чѣмъ для удовлетворенія своихъ низменныхъ, иногда и противоестественныхъ страстей, таковы: князь-отецъ въ *Униженныхъ и оскорбленныхъ*, Свидригайловъ въ *Преступленіи и наказаніи*, Ѳедоръ Петровичъ Карамазовъ.

Наконецъ не менѣе часто повторяется типъ бѣднаго чиновника, дошедшаго до послѣдней степени самоуниженія и обезличенія, но тѣмъ не менѣе сохраняющаго въ душѣ образъ Божій и чувство человѣческаго достоинства. Таковы: Дѣвушкинъ въ *Бѣдныхъ людяхъ*, Вася Шумиловъ въ *Слабомъ сердцѣ*, Мармеладовъ въ *Преступленіи и наказаніи* и пр.

VII.

По идейному содержанію литературная дѣятельность Достоевскаго раздѣляется на два періода, какъ и у большинства беллетристовъ сороковыхъ годовъ: періодъ прогрессивный до половины шестидесятыхъ годовъ, а затѣмъ до конца жизни—агрессивный и реакціонный.

Въ произведеніяхъ перваго періода вы и тѣни еще не находите ни славянофило-почвенныхъ ученій, ни мистицизма, ни отрицательнаго взгляда на передовое общественное движеніе, усвоеннаго Достоевскимъ впослѣдствіи. Они имѣютъ совершенно такой-же характеръ и духъ, какими отличается и вся беллетристика сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ: тотъ-же натурализмъ подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя и тотъ-же скептическій анализъ русской жизни.

Макаръ Дѣвушкинъ, скрывающій подъ смѣшною наружностью и рубищами гоголевскаго Акакія Акакіевича массу любви, нѣжности и высокаго самоотверженія, раздвоившійся Голядкинъ, прозрѣвшій въ своемъ двойникѣ весь омутъ опошленія и оподленія, которымъ угрожало ему засасывающее болото чинов-

ничества, музыкантъ Ефимовъ—геній-самородокъ, искалѣченный крѣпостнымъ правомъ до безпросыпнаго пьянства и сумасшествія и пр., и пр., всѣ подобные типы производили потрясающее впечатлѣніе на общество и сливались въ одинъ гармоническій аккордъ съ стихотвореніями Некрасова, съ *Записками Охотника*, съ *Антономъ Горемыкой* Григоровича, съ *Любимомъ Торцовымъ* Островскаго.

Иногда Достоевскій отклонялся въ этотъ первый періодъ своей дѣятельности отъ существенныхъ свойствъ своего таланта, составлявшихъ главную силу его,—именно отъ серьезнаго и временами мучительнаго психическаго и психіатрическаго анализа и ударялся въ юморъ, очевидно подъ вліяніемъ Гоголя. Таковы его разсказы: *Чужая жена и мужъ подъ кроватью*, *Скверный анекдотъ*, *Крокодилъ*. Но произведенія эти показываютъ намъ, что юморъ не былъ свойственъ его таланту; въ нихъ поражаетъ васъ съ одной стороны искусственная и затѣйливая водевильность сюжетовъ, съ другой—крайняя напряженность и дѣланность смѣха, вслѣдствіе чего смѣхъ Достоевскаго не имѣетъ и слѣда той заразительности, какою обладаютъ истинные юмористы, вродѣ Гоголя.

Прерванная ссылкою дѣятельность Достоевскаго расцвѣла съ новою силою послѣ освобожденія, во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ, и втеченіе десяти лѣтъ сохраняла еще все тотъ-же характеръ, какой имѣла и до ссылки, несмотря на то, что Достоевскій стоялъ уже въ это время во главѣ почвенниковъ и издавалъ съ братомъ *Время* и *Эпоху*. Талантъ Достоевскаго достигъ въ то время своего апогея, и періодъ этотъ, сверхъ романа *Униженные и оскорбленные*, ознаменовался лучшимъ изъ всѣхъ произведеній Достоевскаго—*Записками изъ мертваго дома*.

Записки изъ мертваго дома и по содержанію, и по духу рѣзко отличаются отъ прочихъ произведеній Достоевскаго и стоятъ особнякомъ. Онѣ однѣ были-бы способны увѣковѣчить память Достоевскаго. Здѣсь не найдете вы ничего такого, чѣмъ отличаются не всегда выгодно для себя прочія произведенія Достоевскаго: ни запутаннаго, сложнаго и искусственно придуманнаго сюжета, ни преобладанія психіатрическаго анализа, доходящаго до терзанія нервовъ читателей, ни излишней растянутости и неуклюжести. Все дышетъ неподкрашенной правдой, простотой и глубокимъ проникновеніемъ въ душу народа. Каждая подробность у мѣста, въ каждомъ эпизодѣ поражаетъ васъ глубокое прозрѣніе въ основы народной жизни. Все вмѣстѣ составляетъ стройную, законченную и величавую эпопею каторги, какую могъ создать лишь художникъ, самъ переживішій ее и на своихъ ногахъ вынесшій каторжные кандалы.

Въ то-же время вы не видитѐ здѣсь и тѣни доктринъ, въ которыхъ пришелъ Достоевскій впослѣдствіи. Все произведеніе проникнуто высокою гуманностью, въ духѣ которой Достоевскій воспитывался въ кружкахъ сороковыхъ годовъ. Такъ напримѣръ, вмѣсто того нравственнаго оздоровляющаго вліянія, какое Достоевскій приписывалъ впослѣдствіи каторгѣ, вы найдете здѣсь взглядъ на нее совершенно противоположный.

«Я сказалъ уже, — читаемъ мы въ первой главѣ, — что впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ я не видалъ между этими людьми ни малѣйшаго признака раскаянія, ни малѣйшей тягостной думы о своемъ преступленіи, и что большая часть изъ нихъ внутренно считаетъ себя совершенно правыми. Это фактъ. Конечно тщеславіе, дурные примѣры, молодечество, ложный стыдъ во многомъ тому причиною. Съ другой стороны, кто можетъ

сказать, что выслѣдилъ глубину этихъ погибшихъ сердецъ и прочелъ въ нихъ сокровенное отъ всего свѣта? Но вѣдь можно-же было во столько лѣтъ хоть что-нибудь замѣтить, поймать, уловить въ этихъ сердцахъ хоть какую-нибудь черту, которая-бы свидѣтельствовала о внутренней тоскѣ, о страданіи. Но этого не было, положительно не было. Да, преступленіе кажется не можетъ быть осмыслено съ данныхъ, готовыхъ точекъ зрѣнія, и философія его нѣсколько потруднѣе, чѣмъ полагаютъ. *Конечно остроги и система насильныхъ работъ не исправляютъ преступниковъ; они только ихъ наказываютъ и обезпечиваютъ общество отъ дальнѣйшихъ покушеній злодѣя на его спокойствіе. Въ преступникѣ-же острогъ и самая усиленная каторжная работа развиваютъ только ненависть, жажду запрещенныхъ наслажденій и страшное легкомысліе.* Но я твердо увѣренъ, что знаменитая келейная система достигаетъ только ложной, обманчивой наружной цѣли. Она высасываетъ жизненный сокъ изъ человѣка, энервируетъ его душу, ослабляетъ ее, пугаетъ ее и потомъ нравственно изсохшую мумію, полусумасшедшаго представляетъ, какъ образецъ исправленія и раскаянія. Конечно преступникъ, возставшій на общество, ненавидитъ его и почти всегда считаетъ себя правымъ, а его виноватымъ. Къ тому-же онъ ужъ потерпѣлъ отъ него наказаніе, а черезъ это почти считаетъ себя очищеннымъ сквитавшимся. Можно судить наконецъ съ такихъ точекъ зрѣнія, что чуть-ли не придется оправдать самого преступника»...

Записки изъ мертваго дома писались въ то время, когда Достоевскій не былъ еще въ Петербургѣ и не подвергался вліянію кружка, въ который онъ попалъ. Но затѣмъ вліяніе это не замедлило обнаружиться во время изданія журналовъ сначала въ видѣ полемики *Времени* съ *Современникомъ*, въ которой Достоевскій принялъ дѣятельное участіе. Такъ, въ своей статьѣ:— *Г.—Бовъ и вопросъ объ искусствѣ*, напечатанной въ журналѣ *Время* въ № 2 1861 г., Достоевскій, вооружаясь противъ Добролюбова, отстаивалъ доктрину чистаго искусства, несмотря на то, что его собственная литературная дѣятельность во всемъ ея составѣ рѣзко противорѣчила той доктринѣ. Въ то-же время въ № 1 *Времени* за тотъ-же годъ, въ своемъ *Введеніи и Пяти статьяхъ о русской литературѣ*, Достоевскій высказалъ впервые взгляды въ духѣ славянофильскаго ученія, причемъ оказался ближе къ чистымъ славянофиламъ, чѣмъ къ почвенникамъ, во главѣ которыхъ онъ стоялъ и которые обязаны были ему своею кличкою.

«Да, мы вѣруемъ,—говоритъ онъ въ этой статьѣ,—что русская нація—необыкновенное явленіе въ исторіи всего человѣчества. Характеръ русскаго народа до того не похожъ на характеры всѣхъ современныхъ европейскихъ народовъ, что европейцы до сихъ поръ не понимаютъ его и понимаютъ въ немъ все обратно. Всѣ европейцы идутъ къ одной и той-же цѣли, къ одному и тому-же идеалу; это безспорно такъ. Но всѣ они разъединяются между собою почвенными интересами, исключительны другъ къ другу до непримиримости, и все болѣе и болѣе расходятся по разнымъ путямъ, уклоняясь отъ общей дороги. По-видимому каждый изъ нихъ стремится отыскать общечеловѣческій идеалъ у себя, своими собственными силами, и потому всѣ вмѣстѣ вредятъ сами себѣ и всему дѣлу...

«Съ нами согласятся, что въ русскомъ характерѣ замѣчается рѣзкое отличіе отъ европейскаго, рѣзкая особенность, что въ немъ по преимуществу выступаетъ способность высоко-синтетическая, способность всепримиримости, всечеловѣчности. Въ русскомъ человѣкѣ нѣтъ европейской угловатости, непроницаемости, неподатливости. Онъ со всѣмъ уживается и во все вживается. Онъ сочувствуетъ всему человѣческому внѣ различія національности, крови и почвы. Онъ находитъ и немедленно допускаетъ разумность во всемъ, въ чемъ хоть сколько-нибудь есть общечеловѣческаго интереса. У него инстинктъ общечеловѣческій»..

Но подобныя идеи, высказанныя Достоевскимъ впослѣдствіи въ рѣчи на пушкинскомъ празднествѣ, при всей своей метафизической гадательности и фантастичности, не вліяли пока на содержаніе и характеръ дѣятельности его; къ тому-же онѣ не заключали въ себѣ ничего реакціоннаго. Реакціонное направленіе обнаружилось въ Достоевскомъ лишь въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, т. е. почти одновременно съ Тургеневымъ и Гончаровымъ, подъ вліяніемъ общей реакціи, наступившей съ 1863 года.

Къ сожалѣнію первое произведеніе, въ которомъ обнаружился реакціонный духъ, былъ романъ *Преступленіе и наказаніе*, лучшій изъ всѣхъ романовъ Достоевскаго. Талантъ его въ этомъ романѣ вновь достигъ своего апогея, блеснувъ яркимъ свѣтомъ.

По глубокому психіатрическому и психологическому анализу *Преступленіе и наказаніе* достойно было-бы стоять въ числѣ первыхъ и лучшихъ памятниковъ европейскаго искусства XIX вѣка. Но къ прискорбію на всѣхъ благомыслящихъ людей онъ произвелъ странное впечатлѣніе тѣмъ, что Достоевскій преступленіе своего героя Раскольникова обусловливаетъ вдругъ вліяніемъ новыхъ идей, якобы оправдывающихъ преступленія, совершающіяся съ благими цѣлями. Не менѣе поражаетъ въ романѣ развязка его въ видѣ нравственнаго возрожденія Раскольникова подъ вліяніемъ каторги.

Въ слѣдующемъ романѣ *Бѣсы* реакціонное направленіе сказалось еще рѣзче. Въ основѣ сюжета этого романа взятъ, какъ извѣстно, Нечаевскій процессъ, и въ романѣ выведенъ рядъ молодыхъ людей радикальнаго направленія въ видѣ такихъ нравственныхъ чудовищъ, что Достоевскій въ этомъ отношеніи далеко оставилъ за собою и Тургенева, и Гончарова, обнаруживъ еще болѣе поверхностное знаніе по наслышкѣ той среды, которую онъ взялся изобразить.

Тѣмъ не менѣе далеко нельзя сказать, чтобы реакціонное направленіе вполнѣ овладѣло Достоевскимъ. Закваска гуманныхъ идей сороковыхъ годовъ была такъ сильна въ немъ, что временами давала себя знать, и во всѣхъ послѣднихъ произведеніяхъ Достоевскаго, равно какъ и въ *Дневникѣ писателя*, рядомъ съ славянофильскими и мистическими разглагольствованіями, словно оазисы въ степи, прорываются взгляды и образы, поражающіе васъ свѣтлостью и глубиною. Такъ напримѣръ, реакціонное направленіе не мѣшало Достоевскому до самой смерти быть горячимъ приверженцемъ женскаго движенія. Въ майскомъ выпускѣ *Дневника* за 1876 годъ онъ восторженно заявляетъ, что въ русской женщинѣ заключена «одна наша огромная надежда, одинъ изъ залоговъ нашего обновленія».

«Возрожденіе русской женщины,—говоритъ онъ,—въ послѣднія двадцать лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, откровенный и безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушалъ уваженіе, по крайней мѣрѣ заставилъ задуматься, не взирая на нѣсколько поразительныхъ неправильностей, обнаружившихся въ этомъ движеніи. Теперь однако уже можно свести счеты и сдѣлать безбоязненный выводъ. Русская женщина цѣломудренно пренебрегла препятствіями, насмѣшками. Она твердо объявила свое желаніе участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій человѣкъ въ эти послѣднія десятилѣтія страшно поддался разврату стяжанія, цинизма, матеріализма; женщина-же осталась гораздо болѣе его вѣрна чистому поклоненію идеѣ, служенію идеѣ. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣніе и представила примѣръ величайшаго мужества»...

Въ то-же время мы видимъ, что Достоевскій глубоко сознавалъ тотъ демократическій духъ, который составляетъ сущность движенія нашего времени. Такъ, возвеличивая съ своихъ славянофильскихъ точекъ зрѣнія Россію надъ Европою, онъ основывалъ свои доводы не на одномъ только противоположеніи россійскаго православія и западнаго католицизма, а между прочимъ и на томъ, что въ то время какъ въ Европѣ демократизмъ развивается въ обездоленныхъ массахъ пролетаріевъ и нищихъ и, встрѣчая оппозицію въ правящихъ классахъ, подтачиваетъ западныя государства, у насъ наоборотъ: демократическими стремленіями все болѣе и болѣе проникаются интеллигентные классы.

«Правда,— говоритъ онъ въ томъ-же выпускѣ *Дневника,*—много въ теперешнихъ демократическихъ заявленіяхъ и фальши, много и журнальнаго плутовства; много увлеченія, напримѣръ, въ преувеличеніи нападокъ на противниковъ демократизма, которыхъ, къ слову сказать, у насъ теперь очень мало. Тѣмъ не менѣе честность, безкорыстіе, прямота и откровенность демократизма въ большинствѣ русскаго общества не подвержены уже никакому сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи мы, можетъ быть, представили или начнемъ представлять собою явленіе, еще не объявлявшееся въ Европѣ, гдѣ демократизмъ до сихъ поръ и повсемѣстно заявилъ себя еще только снизу, еще только воюетъ, а побѣжденный (будто-бы) верхъ до сихъ поръ даетъ страшный отпоръ. Нашъ верхъ побѣжденъ не былъ, но верхъ самъ сталъ демократиченъ или, вѣрнѣе, народенъ, и кто-же можетъ отрицать это? А если такъ, то согласитесь сами, что нашъ демосъ ожидаетъ счастливая будущность. И если въ настоящемъ еще многое неприглядно, то по крайней мѣрѣ позволительно питать большую надежду, что временныя невзгоды демоса непремѣнно улучшатся подъ неустаннымъ и безпрерывнымъ вліяніемъ впредь такихъ огромныхъ *началъ* (ибо иначе и назвать нельзя), *какъ всеобщее демократическое настроеніе и всеобщее согласіе* на то всѣхъ русскихъ людей, начиная съ самаго верху. Вотъ въ этомъ-то смыслѣ я и выразился, что нашъ демосъ доволенъ, и «чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе будетъ удовлетворенъ». Что-же, въ это трудно не вѣрить».

Хотя бы вы и не соглашались вполнѣ съ подобными взглядами Достоевскаго относительно мнимаго превосходства Россіи передъ Европою по части демократизма, который мы усвоили отъ той-же Европы, и притомъ вовсе не отъ обездоленныхъ низовъ, а изъ книгъ передовыхъ мыслителей, тѣмъ не менѣе Достоевскій остается тысячу разъ правъ въ томъ отношеніи, что дѣйствительно общее проникновеніе демократизмомъ всей русской интеллигенціи до самыхъ ея верховъ составляетъ существенное отличіе нашего времени, и въ сочувствіи Достоевскаго этому факту конечно никто не станетъ подозрѣвать что-либо реакціонное. Напротивъ того, мы видимъ, что въ минуты подобныхъ просвѣтленій Достоевскій становился въ полное противорѣчіе со своими реакціонными взглядами. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, высказывая вѣру, что нашъ демосъ ожидаетъ счастливая будущность и что временныя невзгоды его непремѣнно улучшатся, онъ совсѣмъ забылъ свою теорію, гласившую, что страданія и невзгоды очищаютъ человѣка и возвышаютъ его нравственность и что чѣмъ болѣе кто пострадаетъ, тѣмъ вѣрнѣе спасется.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

I. Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ. — II. Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ. — III Алексѣй Ѳеофилактовичъ Писемскій. — IV. Михаилъ Васильевичъ Авдѣевъ. — V. Надежда Дмитріевна Хвощинская. Надежда Степановна Соханская (Кохановская).

I.

Къ четыремъ разсмотрѣннымъ нами корифеямъ, звѣздамъ первой величины въ созвѣздіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, примыкаетъ нѣсколько писателей, которые, въ свою очередь, были популярны и уважаемы. хотя и далеко не достигли той общеевропейской славы, какъ Тургеневъ, Гончаровъ, Л. Толстой и Ѳ. Достоевскій.

Такъ, большимъ успѣхомъ впродолженіе сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ пользовался Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ, сочиненія котораго нѣкоторыми наиболѣе горячими поклонниками были превозносимы до того, что

авторъ ихъ ставился даже на одну степень съ Гомеромъ, Шекспиромъ и В. Скоттомъ. Но и менѣе увлеченные критики причисляли Аксакова къ числу первостепенныхъ и классическихъ русскихъ писателей.

Дѣятельность Аксакова распадается на два періода, до такой степени различные между собою, что они не принадлежатъ даже къ двумъ смежнымъ эпохамъ. Аксаковъ представляетъ собою единственный и исключительный экземпляръ писателя, который прямо и непосредственно отъ ложнаго классицизма, минуя романтизмъ, перешагнулъ къ натурализму гоголевской школы.

По возрасту онъ былъ значительно старше не только беллетристовъ сороковыхъ годовъ, но Пушкина и Гоголя, принадлежа къ поколѣнію начала девятнадцатаго столѣтія. Родился онъ 20-го сентября 1791 года въ Уфѣ и, подобно всѣмъ людямъ того времени, очень рано началъ и учиться, и жить. Въ 1801 году онъ былъ уже въ гимназіи, а въ 1805 году, т. е. 14 лѣтъ,— въ только-что открытомъ Казанскомъ университетѣ. «Мало вынесъ я научныхъ свѣдѣній изъ университета,—говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ воспоминаній,—не потому, что онъ (университетъ) былъ еще молодъ, не полонъ и неустроенъ, а потому, что я былъ еще молодъ и дѣтски увлекался въ разныя стороны страстностью моей природы. Во всю жизнь чувствовалъ я недостаточность этихъ научныхъ свѣдѣній, особенно положительныхъ знаній, и это много мѣшало мнѣ и въ служебныхъ дѣлахъ, и въ литературныхъ занятіяхъ».

«Въ началѣ 1807 г.,—говоритъ Аксаковъ въ другомъ мѣстѣ,—я оставилъ Казанскій университетъ и получилъ аттестатъ съ прописаніемъ такихъ наукъ, какія я зналъ только по наслышкѣ и какихъ въ университетѣ еще не преподавали. Этого мало: въ аттестатѣ было сказано, что въ нѣкоторыхъ я «оказалъ значительные успѣхи», а нѣкоторыми «занимался съ похвальнымъ прилежаніемъ».

Кончивши такимъ образомъ 16-ти лѣтъ курсъ университета, въ 1808 г. Аксаковъ опредѣлился уже на службу переводчикомъ коммисіи составленія законовъ и находился на этомъ мѣстѣ до 1811 года. Въ эти три года пребыванія въ Петербургѣ онъ познакомился и сблизился съ Шишковымъ, такъ какъ уже на скамьѣ университета увлекался его націонализмомъ, не долюбливалъ Карамзина и восторгался *Разсужденіемъ о новомъ и старомъ слогѣ* и *Прибавленіями* къ нему. «Эти книги совершенно свели меня съ ума,—разсказываетъ онъ,—я увѣровалъ въ каждое ихъ слово, какъ въ святыню. Русское мое направленіе и враждебность ко всему иностранному укрѣпились сознательно, а темное чувство національности выросло до исключительности».

Затѣмъ съ 1811 года до 1826 г. Аксаковъ нигдѣ не служилъ, исключительно предавшись литературнымъ занятіямъ. Уже на школьной скамьѣ, въ гимназіи и университетѣ, Аксаковъ пописывалъ въ рукописныхъ журналахъ, издаваемыхъ имъ съ товарищами; но болѣе всего пристрастился онъ къ театру, увлеченный успѣхомъ на различныхъ домашнихъ спектакляхъ, а также и въ декламаторскомъ искусствѣ. Въ 1812 г. онъ перевелъ *Филоктета* стихами для бенефиса Шушерина. Въ то-же время страсть къ театру сблизила его съ кружкомъ московскихъ театраловъ (Кокошкинъ, Шаховскій, Верстовскій, Загоскинъ, Писаревъ и др.), въ которомъ господствовали ложно-классическіе вкусы и поклоненіе Буало. Подъ этимъ вліяніемъ Аксаковъ написалъ нѣсколько пѣсенъ, басенъ, эпиграммъ, посланій, переводилъ сатиры Буало, а также комедіи Мольера (*Школу мужей* въ 1819 г. и *Скупого* въ 1828 г.).

Въ 1816 году Аксаковъ женился на дочери генерала Заплатина. Въ 1820 г. за переводъ 10-й сатиры Буало былъ удостоенъ избранія въ члены «Общества любителей россійской словесности», а въ 1827 г. министръ народнаго просвѣщенія Шишковъ опредѣлилъ своего друга цензоромъ въ московскій цензурный комитетъ. На этомъ мѣстѣ Аксаковъ служилъ до 1834 года, омрачивши свое имя въ качествѣ цензора мало того что строгаго, но пристрастнаго и несправедливаго, такъ какъ онъ, мирволя своимъ, безпощадно въ то-же время преслѣдовалъ въ лицѣ Н. А. Полевого своего литературнаго врага, вымарывая въ *Московскомъ Телеграфѣ* не только вещи, которыя онъ считалъ цензурными, но и неодобрительные отзывы о своихъ пріятеляхъ и литературныхъ партизанахъ.

Затѣмъ съ 1834 года по 1839 годъ Аксаковъ служилъ инспекторомъ, а затѣмъ директоромъ въ Константиновскомъ межевомъ институтѣ, и въ 1839 году вышелъ окончательно въ отставку.



С. Аксаковъ.

Втеченіе тридцатыхъ годовъ въ умственной жизни Аксакова совершился радикальный переворотъ, которымъ онъ былъ обязанъ тому обстоятельству, что прежніе его друзья-театралы одни умерли, другіе разжились; онъ-же сблизился съ новыми людьми,—Павловымъ, Погодинымъ, Надеждинымъ, а затѣмъ подпалъ подъ вліяніе и своего сына Константина. Но главнымъ виновникомъ переворота, происшедшаго съ Аксаковымъ, было знакомство съ Гоголемъ въ началѣ тридцатыхъ годовъ, когда Аксакову было уже за сорокъ лѣтъ.

Вліяніе Гоголя сказалось въ очеркѣ *Буранъ*, написанномъ Аксаковымъ въ 1833 г. для альманаха Максимовича *Денница*. Въ этомъ очеркѣ Аксаковъ впервые сошелъ съ ложно-классическихъ ходуль и обратился къ живой, непосредственной дѣйствительности и личнымъ воспоминаніямъ. «Хотя прошло уже шесть лѣтъ, какъ я оставилъ оренбургскій край, — разсказываетъ онъ, — но картины лѣтней и зимней природы его были свѣжи въ моей памяти. Я вспомнилъ страшныя зимнія метели, отъ которыхъ и самъ былъ въ опасности и даже одинъ разъ ночевалъ въ стогѣ сѣна; вспомнилъ слышанный мною разсказъ о пострадавшемъ обозѣ и написанъ *Буранъ*».

Но лишь съ выходомъ въ отставку, съ 1840 года Аксаковъ принялся серьезно за тотъ литературный трудъ, который увѣковѣчилъ его: онъ началъ набрасывать *Семейную хронику*, отрывки изъ которой были напечатаны въ *Московскомъ Сборникѣ* 1846 г. Въ 1847 г. появились его *Записки объ уженьѣ рыбы*; въ 1852 г.—*Записки ружейнаго охотника Оренбургской губерніи*; въ 1855 г.—

Разсказы и воспоминанія охотника; въ 1856 году появилась въ полномъ видѣ *Семейная хроника*. Наконецъ въ 1858 г.—*Дѣтскіе годы Багрова внука*.

Здоровье Аксакова начало страдать лѣтъ за двѣнадцать до кончины. Болѣзнь глазъ принудила его надолго запереться въ темной комнатѣ, и, непріученный къ сидячей жизни, Аксаковъ разстроилъ свой организмъ, лишась притомъ одного глаза. Бодрость впрочемъ никогда не покидала его, даже въ послѣдніе годы жизни, когда болѣзнь развивалась болѣе и болѣе и заставляла его почти постоянно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Онъ былъ живъ и впечатлителенъ попрежнему; ясность духа его была невозмутима. Весною 1858 г. болѣзнь Аксакова приняла весьма опасный характеръ и стала причинять ему жесточайшія страданія; но онъ переносилъ ихъ съ чрезвычайною энергіею и терпѣніемъ. Послѣднее лѣто провелъ онъ на дачѣ близъ Москвы и, не смотря на ужасную болѣзнь, имѣлъ силу въ рѣдкія минуты облегченія наслаждаться природою и диктовать новыя свои произведенія, которыя ничѣмъ не напоминаютъ, въ какія тяжелыя минуты они созданы. Сюда принадлежитъ *Собираніе бабочекъ*, вышедшее въ свѣтъ уже послѣ его смерти въ *Братчинѣ*,—сборникѣ въ пользу бѣдныхъ казанскихъ студентовъ, которымъ онъ особенно интересовался. Осенью 1858 г. Аксаковъ переѣхалъ въ городъ и всю слѣдующую зиму провелъ въ ужасныхъ страданіяхъ. Ни помощь лучшихъ врачей, ни заботы семьи не могли спасти его жизни. Однако онъ продолжалъ еще иногда заниматься и написалъ статью *Зимнее утро*, *Встрѣчу съ мартинистами*, послѣднее изъ напечатанныхъ при жизни его сочиненій, появившееся въ *Русской Бесѣдѣ* 1859 г., и повѣсть *Наташу*, которая напечатана въ томъ-же журналѣ. Весною не оставалось уже надежды, и онъ умеръ 30-го апрѣля 1859 года.

Произведенія Аксакова замѣчательны прежде всего тѣмъ, что здѣсь вы не найдете и слѣда творческой фантазіи, вымысла.

Все изображаемое авторъ бралъ непосредственно изъ жизни или изъ своей замѣчательной памяти, и искусство его заключалось въ поразительной вѣрности дѣйствительности и художественной изобразительности предметовъ съ малѣйшими ихъ деталями и оттѣнками, что̀ обличало въ Аксаковѣ наблюдательность, выходившую изъ ряда обыкновеннаго.

При такихъ качествахъ таланта Аксаковъ наиболѣе прославился въ трехъ отношеніяхъ: во-первыхъ онъ является первостепеннымъ пейзажистомъ своего времени. Если большинство беллетристовъ сороковыхъ годовъ славились изображеніями красотъ природы и преимущественно сельскихъ ландшафтовъ, то Аксакову безспорно принадлежитъ въ этомъ отношеніи первое мѣсто. При безыскусственной простотѣ и непосредственности, при отсутствіи вычурности и предвзятаго желанія блеснуть какимъ-либо эффектомъ, ландшафты его поражаютъ васъ своими мельчайшими деталями, равно и тѣмъ величественнымъ ансамблемъ, въ какой художнику удается соединить эти детали. Очарованіе, производимое ландшафтами Аксакова, зависитъ конечно и отъ того, что въ нихъ описывается по большей части оренбургскій край, столь богатый живописною природою и дарами ея.

Во-вторыхъ Аксаковъ замѣчателенъ, какъ создатель совершенно новаго и оригинальнаго животнаго эпоса, подобнаго которому не было еще ни въ одной литературѣ. Это не тотъ завѣщанный древностью аллегорическій эпосъ, въ которомъ звѣрямъ приписываются человѣческія слабости и пороки, и подъ видомъ животныхъ парадируютъ тѣ-же люди, причемъ авторъ преслѣдуетъ

нравоучительныя или сатирическія цѣли. Животный эпосъ, созданный Аксаковымъ, замѣчателенъ тѣмъ, что звѣри, птицы и рыбы изображаются имъ совершенно объективно въ ихъ дѣйствительныхъ нравахъ, привычкахъ, во всей ихъ звѣриной жизни безъ какихъ-бы то ни было дидактическихъ цѣлей, изъ единственнаго стремленія художественно изобразить и вѣрно передать массу разнообразныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ страстнымъ охотникомъ изъ многолѣтнихъ наблюденій надъ жизнью и нравами звѣрей. Тутъ не знаешь, чему и дивиться: художественной полнотѣ, мѣткости и детальности, съ какими художникъ изображаетъ каждую породу встрѣчаемыхъ животныхъ, схватывая всѣ ея характеристическіе признаки, или поразительному богатству языка, владѣя которымъ авторъ съумѣлъ для каждой детали, малѣйшаго оттѣнка прибрать особенное слово и выраженіе.

Въ-третьихъ не менѣе замѣчателенъ Аксаковъ, какъ мемуаристъ и бытописатель, въ свою очередь, первостепенный и несравненный. Въ его *Семейной хроникѣ* старая русская помѣщичья жизнь рисуется передъ вами во всѣхъ мелочныхъ подробностяхъ и со всѣми характеристическими особенностями, съ такою ясностью и поразительностью, какъ будто самъ авторъ переживалъ все, что̀ онъ разсказываетъ о дѣдахъ и отцахъ. Рядомъ съ детальностью васъ поражаетъ здѣсь и умѣнье схватить, выставить на первый планъ и подчеркнуть наиболѣе характеристическія черты старой русской жизни.

Въ то-же время передъ вами рисуется галлерея портретовъ людей прошлаго столѣтія, которые мало того, что поражаютъ васъ живостью художественнаго изображенія, но и своею типичностью, обличающею въ авторѣ умѣнье обратить ваше вниманіе на черты наиболѣе характеристическія, существенныя и общія людямъ изображаемаго вѣка. Въ особенности выдаются типы дѣдушки Багрова и Куралесова. Недаромъ они сдѣлались нарицательными кличками наряду съ лучшими типами Гоголя.

II.

Дмитрій Васильевичъ Григоровичъ является беллетристомъ, въ свою очередь, съ преобладающею наклонностью къ пейзажу и описательному жанру.

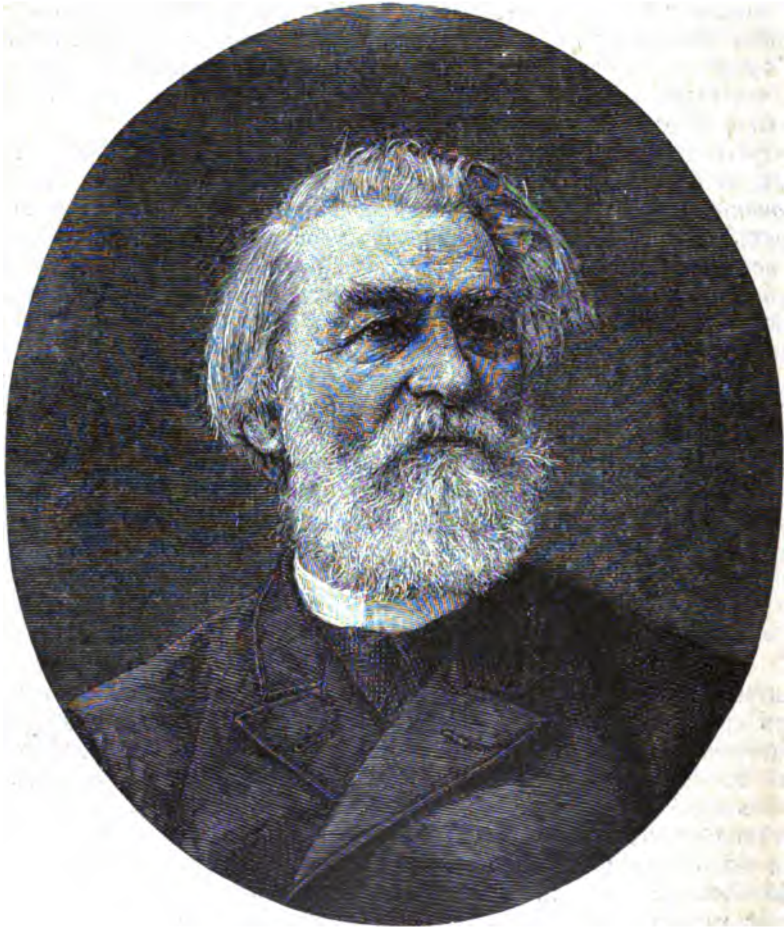
Григоровичъ родился 19-го марта 1822 г. въ Симбирской губерніи, въ деревнѣ на Волгѣ. Родители его были дворяне. Первыя десять лѣтъ своей жизни онъ провелъ на родинѣ, на лонѣ природы. Затѣмъ былъ отданъ въ одинъ изъ частныхъ пансіоновъ въ Москвѣ, а оттуда поступилъ въ Инженерное училище и былъ товарищемъ и однокашникомъ съ Ѳ. Достоевскимъ. Здѣсь въ немъ развилась страсть къ живописи и до такой степени увлекла его, что въ послѣдній годъ пребыванія въ училищѣ онъ совсѣмъ не занимался науками.

Оставивъ училище въ 1840 году, Григоровичъ поселился на Васильевскомъ острову и втеченіе двухъ лѣтъ почти безвыходно пробылъ въ академіи художествъ, занимаясь въ рисовальномъ классѣ.

Но судьба не судила ему сдѣлаться художникомъ: вслѣдствіе слабости зрѣнія, онъ принужденъ былъ оставить любимое занятіе, хотя потомъ всю жизнь принималъ горячее участіе въ судьбахъ русской живописи и много лѣтъ былъ даже секретаремъ общества поощренія художниковъ.

На литературу натолкнуло Григоровича случайное знакомство съ Плюша-

ромъ, который въ то время издавалъ сборникъ *Переводчикъ* или *Сто одна повѣсть и сорокъ сороковъ анекдотовъ*.—Въ этомъ сборникѣ было помѣщено нѣсколько переводовъ съ французскаго Григоровича. Это было въ 1843 году, а въ 1844 году появились первые оригинальные разсказы Григоровича въ *Литературной газетѣ*: *Театральная карета* и *Собачка*, и тамъ-же помѣстилъ онъ *Обзоръ выставки въ академіи художествъ*.



Д. В. Григоровичъ.

Съ Некрасовымъ Григоровичъ познакомился въ 1841 году. Въ 1845-же въ *Физіологіи Петербурга*, сборникѣ, изданномъ Некрасовымъ, были напечатаны два разсказа Григоровича: *Петербургскіе шарманщики* и *Лотерейный билетъ*. Всѣ эти разсказы были въ духѣ натуральной школы; при отрицательномъ отношеніи къ великосвѣтскимъ и бюрократическимъ нравамъ столицы, съ претензіею на юморъ, вы встрѣтите въ нихъ сочувственное и исполненное гу-

манности отношеніе ко всему загнанному и обездоленному, ютящемуся въ столичныхъ углахъ и трущобахъ. Не лишенныя талантливости, эти повѣсти въ то-же время далеко не заключали въ себѣ той яркости, оригинальности и силы, чтобы привлечь къ себѣ вниманіе публики и сразу поставить писателя на высоту. Григоровичъ былъ замѣченъ, но мало выдѣлялся изъ массы повѣствователей того времени въ духѣ натуральной школы.

Болѣе громкая извѣстность и популярность Григоровича началась съ 1847 года, послѣ того какъ въ декабрьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* была напечатана повѣсть его *Деревня*, а въ *Современникѣ* 1847 г.—*Антонъ Горемыка.* Этими разсказами Григоровичъ попалъ, что называется, въ самый живой нервъ времени, когда общій интересъ былъ возбужденъ народнымъ и преимущественно крестьянскимъ бытомъ, и само правительство подымало вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Обѣ повѣсти Григоровича, особенно послѣ восторженнаго отзыва о нихъ Бѣлинскаго, были причислены къ выдающимся литературнымъ явленіямъ своего времени и читались нарасхватъ.

Этотъ успѣхъ поощрилъ Григоровича писать изъ народнаго быта и, кромѣ многихъ небольшихъ разсказовъ: *Пахарь*, *Свѣтлое Христово воскресеніе*, *Въ ожиданіи парома*, *Смедовская долина*, онъ написалъ два большіе романа изъ крестьянской жизни: *Переселенцы* и *Рыбаки*. Здѣсь мы прежде всего должны если не разрушить совсѣмъ, то во всякомъ случаѣ значительно ограничить предразсудокъ, укоренившійся относительно разсказовъ изъ народнаго быта Григоровича, будто послѣдній совсѣмъ не зналъ народа; увлекшись же разсказами изъ крестьянской жизни Ж. Занда, изображалъ, по образцу этихъ разсказовъ, русскихъ крестьянъ, во образѣ французскихъ пейзанъ.

Предразсудокъ этотъ укоренился подъ впечатлѣніемъ позднѣйшихъ крупныхъ романовъ Григоровича изъ народнаго быта: *Рыбаковъ* и *Переселенцевъ*. Въ романахъ этихъ вы дѣйствительно видите много искусственнаго, дѣланнаго, сочиненнаго. Такъ напримѣръ, автору, чтобы написать объемистый романъ, необходимо было составить сложный сюжетъ съ любовной интригой, ревностями, разочарованіями, препятствіями и всѣми перипетіями нѣжныхъ страстей. Но какъ ни много наблюдалъ Григоровичъ народъ, онъ все-таки зналъ его не настолько, чтобы изображать любовныя исторіи среди крестьянъ въ ихъ натуральномъ видѣ и психической правдѣ, тѣмъ болѣе, что наблюдать мужиковъ ему приходилось преимущественно въ ихъ общественной жизни, какъ они проявляютъ себя въ кабакахъ, на базарахъ, на сходкахъ, на деревенскихъ праздникахъ, въ объясненіяхъ съ господами или бурмистрами, но конечно ему никогда не приходилось видѣть, какъ любятся парни и дѣвки, цѣлуются и что говорятъ на тайныхъ свиданіяхъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ заставилъ выводимую въ романѣ молодежь изъясняться въ любви, томиться, страдать, ревновать и великодушничать совершенно такъ-же, какъ это все дѣлалось въ помѣщичьихъ усадьбахъ подъ вліяніемъ чтенія французскихъ романовъ. Такимъ образомъ любящіеся парни и дѣвки и вышли у Григоровича вродѣ пейзанъ романовъ Ж. Зандъ.—Но и въ большихъ романахъ его встрѣтите массу второстепенныхъ лицъ, стариковъ, не занимающихся любовными интригами, которые изображены какъ нельзя болѣе реально и, являясь передъ вами чистокровными русскими мужиками, нисколько на французскихъ пейзанъ не похожи. Что-же касается до мелкихъ разсказовъ Григоровича, то къ нимъ вышеозначенный предразсудокъ никакого отношенія имѣть не можетъ. Въ раз-

сказахъ этихъ все до послѣдней степени натурально, просто и непосредственно взято изъ жизни, начиная съ сюжетовъ и кончая дѣйствующими лицами и массою деревенскихъ сценъ, наполняющихъ разсказы. Имѣемъ-ли мы право назвать неестественными и похожими на французскихъ пейзановъ личности вродѣ захудалаго мужичонка Антона-Горемыки, который принужденъ ради уплаты оброка продавать на ярмаркѣ послѣднюю лошаденку, да и ту у него уводятъ конокрады, или сиротки скотницы Акулины, которую баринъ насильно выдалъ замужъ въ богатую семью, думая сдѣлать ей этимъ благодѣяніе, а ее тамъ заклевали до смерти. Здѣсь все до послѣдней черточки какъ нельзя болѣе правдиво, во всемъ передъ вами здѣсь «Русь живетъ и Русью пахнетъ». Однимъ словомъ, не даромъ Бѣлинскій былъ въ восхищеніи отъ этихъ разсказовъ, и конечно этотъ въ высшей степени чуткій къ малѣйшей фальши критикъ не могъ-бы не замѣтить ея въ разсказахъ Григоровича, еслибы въ нихъ дѣйствительно русскіе мужики были похожи на французскихъ пейзановъ.

Въ большей степени обращаетъ на себя вниманіе въ деревенскихъ разсказахъ Григоровича вотъ какое обстоятельство: какія-бы ни изображалъ авторъ несчастныя приключенія съ горемычными героями, желая возбудить въ читателяхъ сочувствіе и участіе къ угнетенному народу и протестуя противъ крѣпостного права, вы чувствуете, что онъ платитъ лишь дань времени, на самомъ-же дѣлѣ совсѣмъ не это болѣе всего занимаетъ и увлекаетъ его. Онъ является прежде всего художникомъ-живописцемъ. На первомъ планѣ всюду у него описаніе, картина, ландшафтъ: изображеніе внутренности убогонькой избенки, покривившагося плетня, сцены у кабака, грозы, осенней непогоды, распутицы и т. п. Сюжеты разсказовъ являются словно лишь рамками, въ которыхъ авторъ развертываетъ передъ вами вереницу картинъ деревенскаго жанра. И надо отдать справедливость Григоровичу, какъ изобразитель *внѣшней* дѣйствительности, онъ является первостепеннымъ мастеромъ. Описанія его отличаются ясностью, отчетливостью, яркимъ, сочнымъ колоритомъ. Любое изъ нихъ ничего не стоило-бы сейчасъ-же воскресить на полотнѣ. Не даромъ Григоровичъ началъ свое служеніе искусству съ живописи. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ призванъ быть болѣе живописцемъ, чѣмъ поэтомъ, и какъ пейзажистъ занимаетъ первое мѣсто послѣ С. Аксакова.

Совсѣмъ другое приходится сказать о юморѣ, которому Григоровичъ, въ свою очередь, старался заплатить обильную дань, подобно большинству беллетристовъ сороковыхъ годовъ, подъ вліяніемъ Гоголя. Юморъ очевидно не принадлежитъ къ числу врожденныхъ качествъ таланта Григоровича, и потому вездѣ, гдѣ онъ является въ его произведеніяхъ, производитъ на васъ впечатлѣніе чего-то напряженнаго, дѣланнаго, неестественнаго. Особенно грѣшитъ этимъ романъ *Проселочныя дороги* (1852 г.), въ которомъ изображается старый помѣщичій бытъ. Григоровичъ построилъ этотъ ромамъ совсѣмъ безъ интриги, на одномъ чистомъ юморѣ, а потому онъ принадлежитъ къ числу самыхъ неудачныхъ произведеній Григоровича; дочитать его до конца—дѣло большого труда, и рѣдко кто на это покушается.

Очень возможно, что преобладаніе описательнаго, живописнаго элемента въ талантѣ Григоровича и недостатокъ глубокаго проникновенія въ явленія жизни и были причиною, что послѣ десяти лѣтъ литературной дѣятельности, въ которыя Григоровичъ успѣлъ написать большую часть имъ созданнаго, онъ вдругъ прекратилъ свою дѣятельность и словно стушевался, когда настали го-

рячіе годы реформъ, и отъ писателей начали требовать серьезнаго, идейнаго содержанія. Когда-же волна общественнаго движенія упала, и настала эпоха новой реакціи, подобной пятидесятымъ годамъ, Григоровичъ вновь вынырнулъ въ послѣднее время съ своими повѣстями: *Карьеристъ* (1884 г.), *Акробаты благотворительности* (1885 г.), *Гутаперчивый мальчикъ* (1886 г.), *Сонъ Карелина* (1887 г.), *Не по хорошему милъ* (1889 г.) и проч. Но надо отдать справедливость Григоровичу, онъ до сихъ поръ остается однимъ изъ немногихъ людей сороковыхъ годовъ, не выронившихъ изъ рукъ знамени, которое держали въ своей юности, не поспѣшившихъ встать въ открытую вражду съ движеніемъ шестидесятыхъ годовъ и людьми младшаго поколѣнія и не обратившихся изъ вождей прогресса въ поборниковъ мрака и застоя. Онъ остался чистымъ и незапятнаннымъ, и это одно зачтется ему въ большую заслугу!

III.

Но, увы, нельзя сказать того-же самаго объ Алексѣѣ Өеофилактовичѣ Писемскомъ, начавшемъ свое литературное поприще громко и блестяще, а кончившемъ печально.

Родители Писемскаго были небогатые дворяне Костромской губерніи, Чухломскаго уѣзда.

«Прослуживъ лѣтъ тридцать въ дѣйствующей арміи, — разсказываетъ Писемскій въ своей автобіографіи, — отецъ мой уже въ чинѣ маіора нашелъ возможность побывать на родинѣ, т. е. въ Костромской губерніи, которая отстояла отъ Кавказа на двѣ тысячи почти верстъ; но онъ тѣмъ не менѣе большую часть пути совершилъ въ сопровожденіи четырехъ деньщиковъ верхомъ, находя ѣзду въ экипажѣ совершенно для себя непріятною и очень безпокойною. На родинѣ ему пришлось жениться на моей матери, изъ довольно достаточнаго семейства Шиловыхъ. Отцу моему въ это время было лѣтъ сорокъ пять, а матери тридцать семь. Плодомъ этого брака между прочими дѣтьми былъ и я, родившійся въ 1820 году, 10-го марта, въ усадьбѣ Раменье. Четверо дѣтей, бывшихъ передо мною, померли, а равно померли и бывшіе послѣ меня пять человѣкъ. Если позволительно дѣтямъ произносить судъ надъ родителями, то я могу такимъ образомъ опредѣлить моего отца и мою мать. Отецъ мой въ полномъ смыслѣ былъ военный служака того времени, строгій исполнитель долга, умѣренный въ своихъ привычкахъ до пуризма, человѣкъ неподкупной честности въ смыслѣ денежномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сурово-строгій къ подчиненнымъ, — наши крѣпостные люди его трепетали, но только дураки и лѣнтяи, а умныхъ и дѣльныхъ онъ даже баловалъ иногда...

«Мать моя была совершенно иныхъ свойствъ: нервная, мечтательная, тонко-умная и при всей своей недостаточности воспитанія прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собой она, за исключеніемъ весьма умныхъ глазъ, была нехороша, и по поводу ея наружности покойный отецъ мой, когда я былъ еще студентомъ, имѣлъ со мной такого рода бесѣду: — «Скажи мнѣ, Алексѣй, отчего это мать твоя, чѣмъ дольше живетъ, тѣмъ красивѣе становится?» — «Оттого, папенька, что у мамашеньки много душевной красоты, которая съ годами все больше и больше выступаетъ». — Отецъ согласился со мной».

Первыя десять лѣтъ Писемскій провелъ въ Ветлугѣ, гдѣ служилъ отецъ его по комитету о раненыхъ. Затѣмъ онъ жилъ въ деревнѣ, куда переселились его родители. Особенно рѣзвъ и шаловливъ онъ не былъ, но всегда любилъ устраивать игры въ попы, въ лошадки, пахалъ грядки, сидѣлъ на лабазѣ, подстерегая медвѣдя. Умственное развитіе Писемскаго совершалось незатѣйливо.

«Учиться, — повѣствуетъ онъ, — меня особенно не нудили, да я и самъ не очень любилъ учиться; но за-то читать, и читать особенно романы, любилъ до страсти; до четыр-

надцатилѣтняго возраста я уже прочелъ, въ переводѣ разумѣется, бо́льшую часть романовъ В. Скотта, «Донъ-Кихота», «Фоблаза», «Жильблаза», «Хромого бѣса», «Серапіоновыхъ-братьевъ» Гофмана, персидскій романъ «Хаджи-Баба»; дѣтскихъ-же книгъ я всегда терпѣть не могъ и, сколько припоминаю теперь, всегда ихъ находилъ очень глупыми.

«Наставники у меня были очень плохи, и все русскіе. Въ дѣтствѣ я кромѣ латинскаго языка никакому новому языку не учился, что́ мнѣ впослѣдствіи приносило большой вредъ. Тщетно я въ гимназіи и университетѣ старался ознакомиться съ французскимъ и нѣмецкимъ языками, которымъ впрочемъ въ нѣкоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило года, какъ я забывалъ языкъ. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность къ языкамъ, къ исторіи и къ естественнымъ наукамъ; тогда какъ къ наукамъ философскимъ, къ математикѣ, къ метафизикѣ, къ логикѣ, эстетикѣ, этикѣ я весьма склоненъ».



А. Ѳ. Писемскій.

Въ 1834 году, когда Писемскому было четырнадцать лѣтъ, его отдали въ Костромскую гимназію, во второй классъ. «Учиться тамъ я началъ—говоритъ онъ,—понятливо и довольно прилежно, но гораздо бо́льшую стяжалъ себѣ славу на актерскомъ поприщѣ». Страсть къ театру, которую сохранилъ онъ на всю жизнь, пробудилась въ немъ подъ вліяніемъ гимназиста Стайновскаго, старшаго его годами и приставленнаго къ нему чѣмъ-то вродѣ тутора. Стайнковскій затѣялъ поставить *Казака-стихотворца*, и въ немъ Писемскій весьма удачно сыгралъ комическую роль Прудаса.

Въ пятомъ классѣ Писемскій признанъ былъ учителемъ словесности прекраснымъ стилистомъ, въ шестомъ—написалъ уже повѣсть *Черкешенку*, а въ седьмомъ—*Чугунное кольцо*. Повѣсть эту, во вкусѣ Марлинскаго, Писемскій посылалъ въ столичныя редакціи, которыя не приняли ея.

Въ 1840 году Писемскій кончилъ курсъ гимназіи и опредѣлился въ Московскій университетъ на математическій факультетъ. Но здѣсь онъ мало занимался науками, большую часть времени посвящалъ чтенію, любительскимъ спектаклямъ и упражненію въ декламаторскомъ искусствѣ, въ которомъ Писемскій всегда былъ большимъ мастеромъ.—Слава о немъ какъ о превосходномъ чтецѣ Гоголя и объ исполненіи имъ роли Подколесина, не уступающемъ Щепкину, разнеслась по всей Москвѣ, и избранное московское общество стекалось на любительскіе спектакли и чтенія посмотрѣть и послушать Писемскаго. Что касается до математическихъ наукъ, то вліяніе ихъ на Писемскаго заключалось въ томъ, по его словамъ, что, «будучи фразеромъ, я въ этомъ случаѣ благодарю Бога, что избралъ математическій факультетъ, который сразу-же отрезвилъ меня и сталъ пріучать говорить только то, что самъ ясно понимаешь».

«Научныхъ свѣдѣній,—говоритъ онъ далѣе,—изъ моего собственнаго факультета я пріобрѣлъ немного, но за-то познакомился съ Шекспиромъ, Шиллеромъ, Гёте, Корнелемъ, Расиномъ, Ж.-Ж. Руссо, Вольтеромъ, В. Гюго и Ж. Зандомъ сознательно и оцѣнилъ русскую литературу».

Надо полагать, что знакомство Писемскаго съ Вольтеромъ и Руссо было поверхностное, такъ какъ онъ раздѣлялъ одну участь съ Ѳ. Достоевскимъ: тотъ-же недостатокъ философскаго образованія и полную нетронутость мышленія. До самой смерти Писемскій продолжалъ коснѣть въ традиціонныхъ вѣрованіяхъ и міросозерцаніи людей, стоящихъ на низшемъ уровнѣ развитія. Оттуда и происходили въ Писемскомъ, какъ и въ Достоевскомъ, расположеніе къ квасному патріотизму и наклонность видѣть гибель въ каждомъ самостоятельномъ движеніи мысли.

Въ 1844 г. Писемскій кончилъ курсъ со степенью дѣйствительнаго студента и поѣхалъ въ провинцію на службу.

«На моемъ успѣхѣ въ 1844 г. въ роли Подколесина, — говоритъ онъ въ своей автобіографіи,—кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мнѣ предстояли горе и необходимость служить: отецъ мой уже померъ; мать, пораженная его смертью, была разбита параличемъ и лишилась языка: средства къ существованію были весьма небольшія. Все это понимая, я впалъ по пріѣздѣ моемъ въ деревню въ меланхолію и ипохондрію, изъ какой спасла меня любовь. Еще ранѣе того, во время моего гимназическаго и университетскаго воспитанія, я влюблялся идеально въ моихъ кузинъ, изъ которыхъ первая описана въ лицѣ Софи, въ *Взбаломученномъ морѣ*, а вторая, въ лицѣ Мари,—въ *Людяхъ сороковыхъ годовъ*; но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена во-первыхъ въ романѣ моемъ *Боярщина*, въ отношеніяхъ Эльчанинова къ Аннѣ Павловнѣ, и потомъ второй разъ въ *Людяхъ сороковыхъ годовъ*, въ отношеніяхъ Вихрова къ Фатѣевой. Но жизнь и родные не удовлетворились этимъ моимъ блаженствомъ, какъ не удовлетворялась имъ моя собственная совѣсть, тѣмъ болѣе, что написанный мною тогда романъ *Боярщина*, какъ протестъ противъ брака, былъ прямо прихлопнутъ цензурой, значитъ надежда на авторство могла тогда показаться сумасшествіемъ, и потому я рѣшился во-первыхъ посвятить себя службѣ, а потомъ жениться, избравъ для этого дѣвушку совершенно ужъ не кокетку, изъ семьи хорошей, но небогатой. Свадьба наша совершилась 11-го октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною въ *Взбаломученномъ морѣ* въ лицѣ Евпраксіи, которой сверхъ того придано въ романѣ названіе ледешка».

Въ лицѣ жены своей, Екатерины Павловны, Писемскій сдѣлалъ необыкновенно удачный выборъ. Всѣ знающіе ее въ одинъ голосъ отзываются о ней,

какъ о женщинѣ самыхъ рѣдкихъ достоинствъ. «Эта примѣрная женщина,— разсказываетъ Анненковъ,—умѣла успокаивать болѣзненную мнительность Писемскаго и освободила не только его отъ заботъ по хозяйству и воспитанію дѣтей, но, что важнѣе, освободила его и отъ своего вмѣшательства въ его личную интимную жизнь, тоже исполненную капризовъ и порывовъ; она-же и переписала на своемъ вѣку по крайней мѣрѣ двѣ трети всѣхъ его сочиненій съ черновыхъ оригиналовъ, представлявшихъ всегда странно запачканную макулатуру изъ кривыхъ строчекъ, куриныхъ каракуль и чернильныхъ пятенъ».

Первое мѣсто службы Писемскаго была костромская палата государственныхъ имуществъ, а потомъ, втеченіе двухъ лѣтъ, онъ служилъ въ московской палатѣ того же вѣдомства. Затѣмъ онъ поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ костромскому губернатору (князю Суворову). Въ 1849 году Писемскій былъ назначенъ ассессоромъ костромского губернскаго правленія и прослужилъ въ этой должности до 1853 года. Съ этого года и до 1859 года онъ служилъ въ Петербургѣ по министерству удѣловъ. Затѣмъ, послѣ семилѣтней отставки, въ 1866 г. онъ опять поступилъ на службу совѣтникомъ въ московское правленіе, гдѣ дослужился до старшаго совѣтника. Наконецъ въ 1874 г. окончательно вышелъ въ отставку въ чинѣ надворнаго совѣтника.

Первое произведеніе Писемскаго, романъ *Боярщина*, принятый въ *Отечественныя Записки*, былъ, какъ мы уже видѣли изъ словъ Писемскаго, прихлопнутъ цензурой въ 1847 году, увидѣвшей въ немъ протестъ противъ брака. Писемскій и самъ какъ-бы соглашался съ этимъ приговоромъ. Очень возможно, что, находясь подъ вліяніемъ Ж. Зандъ, подобно всѣмъ своимъ современникамъ, Писемскій мечталъ провести подобную тенденцію въ своемъ романѣ, но на самомъ дѣлѣ никакой тенденціи не провелъ, такъ какъ, несмотря на всѣ посторонія вліянія, явился писателемъ вполнѣ самобытнымъ, и художественное творчество повело его совсѣмъ въ другую сторону: онъ оказался слишкомъ безнадежнымъ пессимистомъ, чтобы провести какую-либо тенденцію. Какой же протестъ противъ брака можно вывести изъ романа, сюжетъ котораго заключается въ томъ, что героиня вышла замужъ поневолѣ за необразованаго, грубаго и дикаго бурбона, не могла съ нимъ ужиться, бросила его, сошлась съ молодымъ человѣкомъ высшаго образованія, но и въ немъ пришлось ей горько разочароваться, такъ какъ онъ оказался никуда негодною тряпкою, и ей оставалось только умереть въ чахоткѣ.

Неудача съ *Боярщиною* не охладила Писемскаго къ литературнымъ трудамъ, и въ 1848 году былъ напечатанъ въ *Сынѣ Отечества* маленькій разсказъ его *Нина*. Затѣмъ приглашенный въ *Москвитянинъ*, онъ примкнулъ къ почвенникамъ и съ ними перешелъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ въ *Библіотеку для Чтенія*, гдѣ былъ утвержденъ редакторомъ послѣ Дружинина. Начиная съ 1850 года, слѣдуетъ непрерывный рядъ его произведеній въ *Москвитянинѣ* и другихъ журналахъ: *Тюфякъ*, *Бракъ по страсти*, *Комикъ*, *Ипохондрикъ*, *Богатый женихъ*, *Питерщикъ*, *М-г Батмановъ*, *Раздѣлъ*, *Лѣшій*, *Фанфаронъ* и пр. Вѣнцомъ-же творческой дѣятельности является обширный романъ *Тысяча душъ*, напечатанный въ *Библіотекѣ для Чтенія* въ 1858 году.

Начиная съ перваго романа, во всѣхъ этихъ произведеніяхъ Писемскій является неизмѣнно тѣмъ-же самымъ, безъ малѣйшихъ измѣненій. Его опредѣляли обыкновенно, какъ трезваго реалиста, который, рисуя дѣйствительность во всей ея грязи и пошлости, доходитъ порою до цинизма въ своихъ изображе-

ніяхъ, но не имѣетъ никакого идеала и вѣры въ прогрессъ. Первымъ и самымъ главнымъ качествомъ Писемскаго является безнадежный пессимизмъ, но совершенно не тотъ философскій пессимизмъ, который присущъ Тургеневу, гр. Л. Толстому и нѣкоторымъ другимъ беллетристамъ сороковыхъ годовъ; послѣдніе, сомнѣваясь въ окружающей дѣйствительности и современныхъ людяхъ, видѣли все-таки возможность иной дѣйствительности и иныхъ людей. Отнимите у пессимизма его Weltschmerz и романтическіе порывы къ лучшему, и вы получите тотъ цинической пессимизмъ практическаго буржуа, который столько навидѣлся въ своей жизни всевозможныхъ мерзостей, что утратилъ всякую вѣру въ человѣку, въ возможность какихъ-либо безкорыстныхъ высокихъ влеченій, за которыми не скрывались-бы грязь и пошлость, и ему остается лишь разоблачать всѣ эти явленія, кажущіяся свѣтлыми и отрадными, раскрывая всю ихъ низменность.

Пишущій эти строки своими ушами слышалъ отъ Писемскаго весьма непечатный афоризмъ, смыслъ котораго заключается въ томъ, что, какъ земля вокругъ своей оси, весь міръ людской вращается вокругъ половыхъ влеченій; все отъ нихъ происходитъ, все къ нимъ сводится, и что-бы ни творилось на землѣ высокаго и благороднаго, все это совершается ради нихъ. Вся философія Писемскаго и внутреннее содержаніе его произведеній выражаются въ этомъ афоризмѣ, съ тѣмъ лишь расширеніемъ его, что человѣчествомъ, по мнѣнію Писемскаго, движетъ исключительно одно только стремленіе всячески нѣжить и холить свое бренное тѣло, и всѣ высокіе подвиги сводятся въ концѣ концовъ въ плотоугодію.

Если мы къ этому присоединимъ конкретность изображеній Писемскаго, обиліе выводимой грязи и подъ-часъ циническую смѣлость въ ея изображеніи, то невольно бросится въ глаза, что Писемскій имѣетъ много общаго съ современными французскими натуралистами: онъ предупредилъ и предсказалъ ихъ своими произведеніями.

Подобно большинству беллетристовъ сороковыхъ годовъ, Писемскій не преминулъ написать нѣсколько произведеній изъ народнаго быта, таковы: *Питерщикъ*, *Лѣшій*, *Плотничья артель*, *Горькая судьбина*, *Батька*. Знаніе народнаго быта Писемскій обнаружилъ замѣчательное; языкъ дѣйствующихъ лицъ поражаетъ живостью и вѣрностью народному говору. Но въ то-же время и здѣсь Писемскій остался неизмѣненъ: онъ не льститъ народу, не идеализируетъ его и вмѣстѣ съ тѣмъ не выставляетъ его несчастнымъ для возбужденія къ нему участія читателей, а изображаетъ его пороки съ тѣмъ-же откровеннымъ протоколизмомъ, какой вы найдете у Золя въ его «La terre» или-же во *Власти тьмы* гр. Л. Толстого. Замѣчательно, что драма *Горькая судьбина*, при всемъ своемъ колоссальномъ успѣхѣ, раздѣляла одну участь съ *Властью тьмы* въ томъ отношеніи, что многіе были недовольны слишкомъ реальнымъ изображеніемъ убійства ребенка почти на самой сценѣ.

Но какъ ни велики были слава и популярность Писемскаго, уже въ концѣ пятидесятыхъ годовъ литературная репутація его начала колебаться, и въ литературныхъ кружкахъ начали носиться смутные слухи о томъ, что Писемскій съ пѣною у рта говоритъ о движеніи шестидесятыхъ годовъ и готовится писать романъ съ цѣлью положить въ немъ въ лоскъ молодое поколѣніе. Безъ сомнѣнія эти слухи и были причиною той холодности, съ которою были встрѣчены въ *Современникѣ* и романъ *Тысяча душъ*, неудостоившійся даже критиче-

скаго отзыва, и драма *Горькая судьбина*. Писемскій дѣйствительно находился въ то время въ крайне озлобленномъ настроеніи. Если такіе философски-образованные люди, какъ Тургеневъ, не могли ясно осмыслить массу новыхъ народившихся явленій, не удивительно, что человѣкъ, опиравшійся въ своемъ мышленіи на одинъ только здравый смыслъ народа и ничего не видѣвшій вокругъ себя, кромѣ агломерата пошлости и грязи, потерялся въ вихрѣ всевозможныхъ противорѣчій, какими было исполнено движеніе шестидесятыхъ годовъ.

Въ концѣ 1861 года Писемскій открыто заявилъ себя противникомъ движенія, начавши писать фельетоны въ *Библіотекѣ для Чтенія* подъ псевдонимомъ Никиты Безрылова, въ которыхъ между прочимъ насмѣшливо отозвался противъ процвѣтавшихъ въ то время литературныхъ чтеній и воскресныхъ школъ. Фельетоны эти возбудили бурю въ либеральномъ лагерѣ, и особенно обрушились на нихъ въ *Искрѣ*. Писемскій былъ потрясенъ до глубины души этими нападками и отвѣчалъ на нихъ въ *Библіотекѣ для Чтенія* столь оскорбительно, что издатели *Искры*—Курочкинъ и Степановъ, вызвали Писемскаго на дуэль, которая впрочемъ не состоялась.

Это еще болѣе раздражило и озлобило Писемскаго, и въ 1863 году появился романъ его *Взбаломученное море*, возбудившій противъ себя всеобщее негодованіе и ожесточеніе во всѣхъ либеральныхъ слояхъ общества.

Нельзя сказать, чтобы Писемскій въ романѣ своемъ умышленно или по незнанію искажалъ дѣйствительность. Онъ остался какъ нельзя болѣе вѣренъ себѣ въ томъ отношеніи, что собралъ всю ту грязь, которую видѣлъ вокругъ себя, и движеніе шестидесятыхъ годовъ изобразилъ исключительно только съ этой грязной стороны, ничего не признавая въ немъ, кромѣ одной минутной муки взбаломученнаго моря русской жизни, какъ и самъ говоритъ онъ въ послѣсловіи къ своему роману:

«Не мы виноваты, что въ быту нашемъ много грубости и чувственности, что такъ называемая образованная толпа привыкла говорить фразы, привыкла или ничего не дѣлать, или дѣлать вздоръ, что, не цѣня и не прислушиваясь къ нашей главной народной силѣ, *здравому смыслу*, она кидается на первый-же фосфорическій свѣтъ, гдѣ бы и откуда ни мелькнулъ онъ, и дѣтски вѣритъ, что въ немъ вся сила и спасеніе!

«Въ началѣ нашего труда, при раздавшемся около насъ со всѣхъ сторонъ говорѣ, шумѣ, трескѣ, ясное предчувствіе говорило намъ, что это не буря, а только рябь и пузыри, отчасти надутые извнѣ и отчасти появившіеся отъ поднявшейся снизу разной дряни. Событія какъ нельзя лучше оправдали наши ожиданія».

При нѣкоторой вѣрности дѣйствительности, хотя крайне односторонней,—въ политическомъ отношеніи романъ Писемскаго былъ въ неизмѣримой степени вреднѣе для друзей русскаго прогресса, чѣмъ если-бы Писемскій налгалъ въ немъ съ три короба. Ложь не замедлили-бы опровергнуть и оклеветанная правда восторжествовала-бы съ новою силою; но романъ тѣмъ и ужасенъ, что обнаруживалъ дѣйствительныя язвы, какія коренились въ движеніи, но къ сожалѣнію—однѣ только язвы, какъ будто весь организмъ его родины былъ сплошь изъѣденъ безъисходной гангреной. Вредъ такого пессимизма усугубляется тѣмъ еще, что въ художественномъ отношеніи это самое сильное произведеніе изъ всего написаннаго Писемскимъ, и по жизненности, и вѣрности типовъ, и по сложности сюжета съ широкимъ захватомъ русской жизни, и по животрепещущему интересу, съ которымъ романъ читается, и по силѣ производимаго впечатлѣнія. Видно, что Писемскій положилъ въ него всю свою душу, сконцентрировалъ весь опытъ, какой вынесъ изъ своей жизни.

Это было послѣднее властное слово, какое сказалъ Писемскій. Послѣ

того онъ многое еще написалъ; такъ например, четыре объемистые романа: *Люди сороковыхъ годовъ* (1869), *Въ водоворотѣ* (1871), *Мѣщане* (1877) и *Масоны* (1878), массу драматическихъ пьесъ, каковы: *Подкопы*, *Ваалъ*, *Просвѣщенное время*, *Финансовый геній*, *Самоуправцы*, *Бывые соколы*, *Поручикъ Гладковъ*. Но всѣ эти произведенія представляютъ собою лишь блѣдную тѣнь прежняго Писемскаго; они читались, раскупались, имѣли минутный сценическій успѣхъ, но проходили безслѣдно, не производя никакого вліянія, никакихъ критическихъ обсужденій или разговоровъ.

Послѣдніе годы своей жизни Писемскій провелъ въ Москвѣ. Онъ былъ обезпеченъ, жилъ въ собственномъ домѣ на Поварскомъ; но состояніе его духа было очень печально. Онъ отъ природы былъ расположенъ къ ипохондріи и мнительности. Подъ старость-же лѣтъ, подъ вліяніемъ погрома, который пережилъ по выходѣ *Взбаломученнаго моря*, горькаго сознанія увяданія своего творчества и общественнаго невниманія, хандра его принимала съ каждымъ годомъ все большіе и большіе размѣры; вмѣстѣ съ тѣмъ усиливались и его старанія заглушить тоску виномъ. Особенно сильно запилъ онъ послѣ внезапной смерти нѣжно любимаго сына Николая, застрѣлившагося отъ неизвѣстной причины. Къ нравственнымъ недугамъ современемъ присоединились и тѣлесныя. Безнадежная болѣзнь втораго сына, Павла, профессора Московскаго университета, окончательно доканала Писемскаго; онъ умеръ 21-го января 1881 г.

IV.

Михаилъ Васильевичъ Авдѣевъ родился въ 1821 г. въ Оренбургѣ. Отецъ его—уральскій казакъ, человѣкъ зажиточный и занимавшій видныя мѣста въ яицкомъ войскѣ, вышелъ изъ него, недовольный новыми порядками, и поступилъ въ гражданскую службу. Одинъ изъ первыхъ учителей Авдѣева былъ сосланный въ Оренбургъ извѣстный польскій писатель Ѳома Занъ, другъ Мицкевича и основатель виленскаго патріотическаго общества *Филаретовъ*. Затѣмъ Авдѣевъ учился въ гимназіи въ Уфѣ, а окончилъ образованіе въ корпусѣ путей сообщенія, откуда былъ выпущенъ поручикомъ въ 1842 г., и отправился на службу въ Нижній-Новгородъ, а въ 1852 году въ чинѣ капитана вышелъ въ отставку. Во время крымской войны онъ былъ выбранъ начальникомъ дружины оренбургскаго ополченія, а въ шестидесятыхъ годахъ былъ членомъ крестьянскаго по дѣламъ присутствія.

Послѣ выхода въ отставку Авдѣевъ поселился въ доставшейся ему отъ отца деревнѣ, въ живописной гористой мѣстности Стерлитамакскаго уѣзда; здѣсь онъ проживалъ бо́льшую часть года, пріѣзжая въ столицы лишь на зимніе мѣсяцы. Въ 1862 г. онъ былъ сосланъ въ Пензу; но черезъ годъ ему дозволено было уѣхать за-границу, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ, близко сойдясь съ Тургеневымъ, съ талантомъ котораго онъ чувствовалъ въ себѣ наиболѣе сродства. Умеръ Авдѣевъ въ Петербургѣ 1-го февраля 1876 г.

Талантъ Авдѣева былъ небольшой, произведенія его не блестятъ яркими художественными достоинствами или оригинальностью. Онъ бралъ либеральною гуманностью чувствъ и симпатій и ловкимъ умѣньемъ попадать въ самый фарватеръ общественнаго теченія. Разъ чувствуя себя въ этомъ фарватерѣ, онъ слѣпо отдавался теченію, сочинялъ романъ или повѣсть по соотвѣтствую-

щему шаблону, выводя нѣсколько героевъ, повидимому самыхъ современныхъ, но въ сущности стереотипныхъ и сочиненныхъ, равно и въ цѣломъ каждое произведеніе его оказывалось всегда сочиненнымъ и надуманнымъ. Тѣмъ не менѣе романы его производили въ свое время живое впечатлѣніе, благодаря животрепещущимъ темамъ, мастерству разсказа и развитія сюжета, приправленнаго умными и резонными разсужденіями. Два-же раза ему удалось затронуть самые чувствительные нервы общественнаго настроенія, что и выдвинуло его впередъ.

Въ первый разъ большую сенсацію произвели три повѣсти его, напечатанныя въ *Современникѣ* 1849, 51 и 52 гг.: *Варенька*, *Записки Тамарина* и *Ивановъ*, изданныя потомъ имъ отдѣльно въ 1852 г. подъ общимъ названіемъ *Тамаринъ*. Это было какъ разъ такое время, когда окончательно развѣнчивались романтическіе идеалы и въ томъ числѣ печоринскій типъ, когда Тургеневъ въ рядѣ произведеній показывалъ нравственную несостоятельность и ничтожество провинціальныхъ Гамлетовъ и Донъ-Жуановъ, а Гончаровъ смѣялся надъ порывами Александра Адуева. Авдѣевъ выступилъ со своимъ Тамаринымъ какъ нельзя болѣе кстати и сразу пріобрѣлъ такую популярность, что имя Тамарина сдѣлалось кличкою для всѣхъ выдохшихся провинціальныхъ Печориныхъ и очень часто встрѣчалось на страницахъ журналовъ въ критическихъ статьяхъ и обозрѣніяхъ.

Второй разъ Авдѣеву удалось попасть въ жилку эпохи девять лѣтъ спустя, когда въ *Современникѣ* 1860 года былъ напечатанъ романъ его *Подводный камень*. Это было какъ разъ въ такой моментъ, когда только-что были подняты женскій и семейный вопросы, когда у всѣхъ на устахъ были горячія разсужденія о вредѣ и гнусности семейнаго деспотизма, о необходимости полной свободы чувствъ и объ избавленіи женщины отъ вѣкового рабства. Романъ Авдѣева, изображающій свободную измѣну жены по добровольному согласію великодушнаго мужа, пришелся обществу какъ нельзя болѣе по душѣ и возбудилъ сенсацію, несмотря на то, что, казалось-бы, тема романа вовсе не блистала особенной новизной: она была сколкомъ съ извѣстнаго романа Ж. Занда «Jacque» и не разъ уже разрабатывалась въ нашей литературѣ, такъ напримѣръ и въ *Кто виноватъ?* Искандера, и въ *Полинькѣ Саксъ* Дружинина. Въ романѣ-же Авдѣева публику подкупило ловкое умѣнье автора подать старое кушанье подъ самымъ современнымъ и свѣжимъ соусомъ.

Но только два раза и удалось Авдѣеву сдѣлаться героемъ дня. Третья попытка его въ этомъ родѣ потерпѣла fiasco. Это было въ концѣ уже шестидесятыхъ годовъ, когда женскій вопросъ съ почвы свободы чувствъ успѣлъ перейти на почву труда, всѣ реформы были уже совершены и земство только-что открыло свою дѣятельность. Въ это время Авдѣевъ выступилъ съ новымъ большимъ романомъ *Между двухъ огней*, напечатаннымъ въ *Современномъ Обозрѣніи* 1868 г.

Здѣсь выставленъ былъ новый герой, дѣятельный земецъ Камышинцевъ, вступающій въ бракъ послѣ разныхъ перипетій съ новой женщиной, занимающейся самостоятельнымъ трудомъ въ качествѣ сельской учительницы, Анной Барсуковой. Но романъ этотъ не произвелъ большого впечатлѣнія на публику.

Новый человѣкъ оказался очень старымъ, все тѣмъ-же бонвиваномъ и

Донъ-Жуаномъ сороковыхъ годовъ съ благородными порывами при полномъ неумѣньѣ осуществлять и доводить ихъ до конца и при отсутствіи всякой стойкости; настоящіе же новые люди, если и не осмѣяны благодушнымъ авторомъ съ той злобой, съ какой въ то время относились къ нимъ сверстники его, во всякомъ случаѣ остались не поняты имъ и поставлены въ тѣни въ полномъ пренебреженіи.

Помѣстивъ своего обветшалаго героя, представляющаго какую-то неопредѣленную амальгаму Лаврецкаго и Калиновича, между двухъ огней, т. е. между реакціонерами и радикалами, Авдѣевъ не замедлилъ и самъ встать между тѣхъ-же двухъ огней съ своимъ романомъ, такъ какъ критики лѣваго лагеря негодовали на Авдѣева за то, что онъ возвелъ въ герои такого пошляка какъ Камышинцевъ, а критики праваго лагеря изъявляли недовольство за слишкомъ мягкое отношеніе къ «нигилистамъ» Камышинцева и самого автора.

Провалившись на служеніи новымъ злобамъ дня, оказавшимся и для Авдѣева такою-же terra incognita, какъ и для всѣхъ его сверстниковъ, Авдѣевъ вновь вернулся къ старой темѣ, снискавшей ему наиболѣе лавровъ, именно свободной любви, и написалъ нѣсколько повѣстей въ этомъ родѣ: *Магдалина* (*Дѣло* 1869 г., № 1), *Сухая любовь* (*Дѣло* 1870 г., № 10), *Пестренькая жизнь* (*Отеч. Зап.* 1870 г., № 1), но эпоха увлеченія этимъ вопросомъ давно прошла, и Авдѣевъ снискалъ этими своими произведеніями лишь эпитетъ «спеціалиста по бракоразводнымъ дѣламъ».

Послѣдняя крупная вещь его—романъ *Въ сороковыхъ годахъ* былъ напечатанъ въ *Вѣстникѣ Европы* за 1876 годъ, уже послѣ его смерти. Слабый въ художественномъ отношеніи и не задѣвающій никакихъ злобъ дня, какъ это явствуетъ и изъ его заглавія, романъ этотъ любопытенъ лишь въ историческомъ отношеніи, такъ какъ въ немъ между прочимъ изображенъ кружокъ Бѣлинскаго и особенно Герценъ.

V.

Такъ какъ романы беллетристовъ сороковыхъ годовъ особенно сильное вліяніе оказали на русскихъ женщинъ, воспитавши поколѣніе поборницъ женской эмансипаціи и піонерокъ на пути женской самостоятельности, то нѣтъ ничего мудренаго, что, начиная съ конца сороковыхъ годовъ и до нашего времени, возникъ у насъ рядъ женщинъ-писательницъ въ духѣ этой школы. Такъ, почти одновременно со Станицкой, принадлежащей къ этой-же школѣ (литературная дѣятельность которой была разсмотрѣна нами во II главѣ), выступила Надежда Дмитріевна Хвощинская, писательница, по своему таланту и самобытности, стоящая во главѣ писательницъ своего времени.

Надежда Дмитріевна Хвощинская, по мужу Заіончковская, а по псевдониму В. Крестовскій, родилась въ 1825 году 20-го мая въ Рязани, гдѣ служилъ ея отецъ сначала по вѣдомству коннозаводства, а затѣмъ окружнымъ начальникомъ по министерству государственныхъ имуществъ. Хвощинская воспитывалась дома, рано обнаружила любовь къ литературѣ и начала писать стихи. Въ *Литературной газетѣ* за 1847 годъ, въ № 38, были помѣщены впервые шесть стихотвореній ея съ подписью полнаго имени. Затѣмъ стихотворенія ея начали появляться въ *Пантеонѣ*, *Репертуарѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*, а

въ 1853 г. въ *Пантеонѣ* (№ 1—3) была напечатана повѣсть ея въ стихахъ *Деревенскій случай*, вышедшая потомъ отдѣльной книгой.

Первое прозаическое сочиненіе Хвощинской была повѣсть *Анна Михайловна*, напечатанная въ № 6 *Отечественныхъ Записокъ* за 1850 г. и впервые подписанная уже не собственнымъ именемъ Хвощинская, какъ предыдущія вещи, а псевдонимомъ В. Крестовскій. Подъ обаяніемъ успѣха Хвощинская въ 1852 г. отправилась въ Петербургъ, и это былъ первый выѣздъ ея изъ Рязани и первое посѣщеніе столицы, гдѣ она встрѣтила самый радушный пріемъ. Вслѣдъ затѣмъ началась непрерывная дѣятельность Хвощинской. Произведеніе за произведеніемъ печатались въ *Отечественныхъ Запискахъ*, иногда и въ другихъ журналахъ: *Пантеонѣ*, *Русскомъ Вѣстникѣ*, *Вѣстникѣ Европы* и пр. Упомянемъ главные и наиболѣе выдающіяся изъ ея повѣстей и романовъ: *Сельскій учитель* (1850), *Искушеніе* (1852), *Кто жъ остался доволенъ?* (1853), *Испытаніе* (1854), *Послѣднее дѣйствіе комедіи* (1856), *Свободное время* (1856), *Баритонъ* (1861), *Въ ожиданіи лучшаго* (1861), *Два памятныхъ дня* (1868), *Первая борьба* (1869), *Большая Медвѣдица* (1870—71), *На вечерѣ* (1876), *Альбомъ, группы и портреты* (1874—77) и пр.

Скромная, робкая и застѣнчивая, до самой смерти сохранила Хвощинская типъ провинціалки; не любила большого общества, толпы, предпочитая уединеніе и тѣсный кружокъ друзей. Почти всю жизнь прожила она въ Рязани въ небольшомъ домикѣ, доставшемся ей отъ родителей, кормя своими трудами старушку мать и убогую сестру. Когда онѣ померли и Хвощинская осталась одна, она переѣхала въ Петербургъ, гдѣ и прожила послѣдніе годы своей жизни въ сообществѣ съ г-жою М-ой, съ которою находилась въ тѣсной дружбѣ. Петербургскій климатъ пришелся ей не понутру; она схватила воспаленіе въ легкихъ, которое приняло хроническую форму, но у нея не было средствъ даже и для переѣзда на дачу, и послѣдніе два, три года прожила она безвыѣздно въ городѣ, медленно угасая и борясь въ то-же время съ удручающею нуждой. Лишь весною 1889 года она переѣхала въ Старый-Петергофъ, но уже для того только, чтобы помереть—8-го іюня ея не стало; 10-го іюня она была похоронена на старо-петергофскомъ Троицкомъ кладбищѣ.

Литературную дѣятельность Хвощинской можно раздѣлить на два періода. Первый періодъ обнимаетъ десятилѣтіе ея дѣятельности съ 1850 года по 1861 годъ. На всѣхъ произведеніяхъ этого періода отражаются реакція пятидесятыхъ годовъ и замкнутая провинціальная жизнь писательницы. Въ нихъ изображаются исключительно нравы провинціальнаго бомонда, дѣйствіе не выходитъ изъ семейной сферы и въ то-же время васъ поражаетъ узость міросозерцанія автора. Это романы губернскихъ баловъ, пикниковъ и усадебныхъ развлеченій. Преобладающими типами являются здѣсь мать семейства въ видѣ коварной интриганки, съ молоду кокетка, а подъ старость суровая ханжа и нервная тиранка, держащая весь домъ въ ежовыхъ рукавицахъ, производящая ежедневно чувствительныя нервныя сцены съ истериками и выдающая дочерей за первыхъ попавшихся соискателей, ради поправленія разстроенныхъ финансовъ; добрякъ отецъ, ни во что не входящій, съ-молода украшавшійся рогами, а подъ старость выдерживающій ежедневно истерики своей супруги, покоряющійся безусловно ея непоколебимой волѣ и оплакивающій судьбу дочерей, выдаваемыхъ за негодяевъ; типъ изнѣженнаго, избалованнаго селадона съ высокими фразами о чувствахъ, объ обязанностяхъ и несостоятельнаго на

дѣлѣ, оказывающагося коварнымъ другомъ и безхарактернымъ любовникомъ; типъ сынка, обезличеннаго и доведеннаго до послѣдней степени идіотизма подъ гнетомъ материнскаго деспотизма, соединеннаго съ баловствомъ,—словомъ, Митрофанушки нашего времени; рядъ молодыхъ дѣвушекъ простыхъ, добрыхъ, способныхъ глубоко и беззавѣтно полюбить, но совершенно обезличенныхъ и доведенныхъ до пассивнаго повиновенія; наконецъ рядъ старыхъ



Н. Д. Хвощинская.

дѣвъ, обездоленныхъ, терпящихъ вѣчные попреки и поношенія, тщетно ищущихъ любви и участія въ людяхъ.

Главное достоинство этихъ произведеній—задушевная теплота тона и гуманное участіе къ угнетеннымъ и обиженнымъ. Живо и глубоко чувствуя одуряющую ложь пошлой жизни свѣтскаго досуга, постигши всю грязь провинціальныхъ сплетенъ, тщеславія, зависти и мелкой злости, весь давящій и обезличивающій гнетъ семейнаго деспотизма, Хвощинская изображаетъ печальную

дѣйствительность во всей ея безобразной наготѣ, не жалѣя ни красокъ, ни своего тонкаго анализа. Въ каждомъ ея романѣ—потрясающая драма, въ концѣ которой у васъ разрывается сердце при видѣ какой-нибудь безотвѣтной жертвы ужасающей среды, или молодой дѣвушки, судьбою которой родители распоряжаются какъ имъ угодно, тщетно рыдающей у ногъ ихъ въ мольбахъ о счастіи; или старой дѣвы, представляющейся мишенью для плоскихъ насмѣшекъ высокомѣрныхъ благодѣтелей, пріютившихъ ее изъ жалости, и праздныхъ селадоновъ, приходящихъ къ нимъ въ гости; или молодой дамы, вдовы, которую пошлый свѣтскій хлыщъ и волокита позволяетъ себѣ компрометтировать безнаказанно въ глазахъ свѣта, и она не знаетъ куда дѣться ей подъ гнетомъ гнусныхъ клеветъ и сплетенъ, обрушивающихся на нее со всѣхъ сторонъ въ праздномъ, пустомъ обществѣ.

Но при всѣхъ несомнѣнныхъ достоинствахъ романовъ Хвощинской, величайшій недостатокъ ихъ заключается въ томъ, что писательница, не останавливаясь на одномъ отрицаніи, спѣшитъ успокоить читателей, выводя рядъ свѣтлыхъ явленій, положительныхъ типовъ, но тутъ именно и сказывается узость нравственнаго кругозора писательницы. Идеальность положительныхъ типовъ Хвощинской заключается обыкновенно въ томъ, что писательница надѣляетъ ихъ добродѣтелями въ духѣ прописной морали, вродѣ постоянства въ любви и дружбѣ, гуманности къ низшимъ, честности въ денежныхъ разсчетахъ. Но изъ-подъ всѣхъ этихъ качествъ такъ и проглядываютъ филистерство, узкая ограниченность мѣщанской посредственности, а подъ-часъ и жалкая тряпичность. Особенно любила Хвощинская оттѣнять свѣтскую среду людьми несвѣтскаго покроя, бѣдняками, тружениками. Но всѣ эти труженики являются у Хвощинской подъ личиною идеальныхъ совершенствъ жалкими пошляками, терпятъ тысячу оскорбленій отъ свѣтскихъ хлыщей, и не только хлыщамъ проходитъ это безнаказанно, но идеальныхъ бѣдняковъ какой-то магнитъ такъ и тянетъ непремѣнно въ свѣтскую среду, гдѣ къ нимъ такъ дурно относятся.

Романъ *Большая Медвѣдица* стоитъ на рубежѣ второго періода дѣятельности Хвощинской. Содержаніе этого романа построено уже не на исключительно семейной, а на общественной почвѣ движенія шестидесятыхъ годовъ; является попытка изобразить новую женщину, стремящуюся на путь труда и общественнаго блага. Но тѣмъ не менѣе встрѣчаете вы въ романѣ не мало и дореформенной закваски, въ видѣ хотя-бы идеализаціи безкорыстнаго провинціальнаго чиновника, старика Багрянскаго съ его домостроевскою моралью.

Въ дальнѣйшихъ-же произведеніяхъ Хвощинская вполнѣ уже встала на новый путь, отрѣшившись отъ прежнихъ недостатковъ. Къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ этого второго періода ея дѣятельности относятся: *Первая борьба* и *Альбомъ, группы и портреты*.

Главное содержаніе этихъ произведеній заключается въ мрачной картинѣ того паденія нравовъ и опошленія, какія замѣчаются въ русскомъ обществѣ семидесятыхъ годовъ послѣ подъема его въ шестидесятые годы. Преобладающими типами являются здѣсь люди павшіе, не выдержавшіе борьбы за правду, соблазнившіеся матеріальными благами жизни и измѣнившіе убѣжденіямъ и порывамъ юности. Особенное мастерство проявляетъ Хвощинская въ изображеніи двуличныхъ лицемѣровъ, повидимому безкорыстно честныхъ, гуманныхъ и во всѣхъ отношеніяхъ порядочныхъ при первомъ поверхностномъ знаком-

ствѣ съ ними, а при ближайшемъ столкновеніи оказывающихся малодушными, подлыми и безсердечно-низкими эгоистами.

Надежда Степановна Соханская, извѣстная въ публикѣ подъ псевдонимомъ Кохановской, родилась 17-го февраля 1825 г. отъ брака Степана Павловича Соханскаго и В. Гр. Лохвицкой. Рано лишившись отца, она была воспитана матерью, женщиной глубоко-религіозною. На девятомъ году ее отдали въ Харьковскій институтъ благородныхъ дѣвицъ, гдѣ она кончила курсъ съ шифромъ. Въ семьѣ все вниманіе было обращено на двухъ ея братьевъ. Соханская-же воспитывалась въ полномъ забросѣ. Въ институтѣ у нея не было ни книгъ, ни тетрадей. Она все взяла усидчивымъ трудомъ. Послѣ института ее ожидала жизнь въ глухой, степной деревушкѣ, безъ книгъ, безъ людей, безъ копѣйки денегъ въ карманѣ. Она не знала молодости. Весь домъ приносился въ жертву братьямъ, а она должна была покоряться; при каждомъ-же заявленіи воли на нее смотрѣли удивленно и относились съ оскорбительной строгостью. «Меня загнали,—писала она впослѣдствіи одной своей пріятельницѣ,—запугали, едва десятилѣтнюю дѣвочку, уединенную съ самое себя. Какъ не ожесточили мнѣ моего дѣтскаго, бѣднаго сердца, про то Богъ знаетъ—это чудо Его. Но во мнѣ убили всякую свѣтлую безпечность молодого чувства, убили живой, порывающійся, этотъ прекрасный голосъ расцвѣтающихъ силъ, ищущій сообщиться, высказывать дѣтскимъ, беззаботнымъ лепетомъ ясную, дѣтскую душу... Что можетъ быть грустнѣе этого? Меня сдѣлали не по лѣтамъ серьезною, робѣющею, недовѣрчивою къ себѣ самой».

Первые свои литературные опыты она писала на старинныхъ синихъ рапортахъ своего отца (ротмистра и казначея), и ничего, кромѣ жестокихъ насмѣшекъ родныхъ, не встрѣтили они. Первая повѣсть, появившаяся въ свѣтъ на страницахъ Плетневскаго еще *Современника*, *Любила*,—потерпѣла большія сокращенія, что очень потрясло и огорчило молодую писательницу. Тѣмъ не менѣе у нея завязались постоянныя письменныя сношенія съ Плетневымъ, который принималъ въ ней большое участіе и пристраивалъ ея работы. Ее звали въ Петербургъ. Литературные заработки давали уже къ этому средства. Но послѣдній остававшійся въ живыхъ братъ ея истратилъ деньги, данныя ему для уплаты процентовъ заложеннаго имѣнія, и Соханская принуждена была отдать свои деньги, скопленныя ею на поѣздку въ Петербургъ. Лишь въ 1862 году осуществилось желаніе ея побывать въ столицѣ, гдѣ она встрѣтила почетные пріемы, соотвѣтствующіе ея утвердившейся уже къ тому времени литературной репутаціи и извѣстности.

Со смерти брата она осталась единственною наслѣдницею родительскаго имущества. Положеніе ея значительно улучшилось, и всю свою остальную жизнь она провела на родномъ хуторѣ Макаровкѣ (Изюмскаго уѣзда, Харьковской губерніи), гдѣ и скончалась отъ рака 13-го декабря 1884 года.

Лучшими произведеніями ея являются: *Послѣ обѣда въ гостяхъ*, *Галлерея портретовъ*, *Гайка*, *Старина* и пр. Болѣе всего замѣчательна она была тѣмъ, что это единственная русская писательница, глубоко проникнутая славянофильскими тенденціями. Къ сожалѣнію семейный гнетъ, подъ вліяніемъ котораго провела она молодые годы, а съ другой стороны скудость образованія и жизнь въ провинціальной глуши, вдали отъ умственныхъ центровъ, очень гибельно отразились на ея во всякомъ случаѣ замѣчательномъ и сильномъ талантѣ, преисполнивъ ее узкаго фанатичнаго консерватизма и домо-

строевской морали. Какую-бы повѣсть ея вы ни начали читать, въ каждой васъ поразитъ рядомъ съ глубокимъ знаніемъ народной жизни вопіющія натяжки и искаженія дѣйствительности ради того, чтобы во что бы ни стало подогнать сюжетъ къ прославленію священной старины и пропитать его запахомъ деревяннаго маслица. И чѣмъ болѣе писала она, тѣмъ болѣе подливала деревяннаго маслица въ свои повѣсти, пока не дописалась до *Недавней встрѣчи*, въ которой нѣтъ ни образовъ, ни лицъ, а найдете лишь потокъ мистическихъ разглагольствованій въ духѣ *Переписки съ друзьями* Гоголя.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

I. Преобладаніе беллетристики изъ народнаго быта. Идеалистически-сентиментальное воззрѣніе на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Марко-Вовчекъ. — II. Смѣхотворно-отрицательное отношеніе къ народу. Николай Васильевичъ Успенскій и Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ.—III. Оффиціальное изученіе народнаго быта. Сергѣй Васильевичъ Максимовъ. Григорій Петровичъ Данилевскій.—IV. Павелъ Ивановичъ Мельниковъ.—V. Начало объективнаго изученія народнаго быта. Павелъ Ивановичъ Якушкинъ.

I.

Прямымъ и непосредственнымъ результатомъ демократизаціи русской мысли и тяги къ народу было образованіе втеченіе разсматриваемаго нами періода отдѣльной, самостоятельной отрасли беллетристики изъ народнаго быта, по обширности и своеобразности которой вы не найдете ничего подобнаго въ западныхъ литературахъ. Если появлялись на Западѣ романы и повѣсти изъ народнаго быта, то они или представлялись дѣломъ случая и преслѣдовали тѣ психологическія и художественныя цѣли, какія господствовали въ современной имъ литературѣ, каковы напр. были романы изъ сельской жизни Ж. Зандъ и Дж. Эллiотъ. Если и встрѣчаются тамъ писатели, спеціально посвятившіе свою дѣятельность изображенію народнаго быта (Ауэрбахъ и Эркманъ-Шатріанъ), то и въ нихъ вы не найдете безпристрастныхъ изслѣдователей народнаго быта; они преслѣдуютъ свои особенныя политическія цѣли и сообразно имъ изображаютъ народъ въ томъ видѣ, въ какомъ имъ требуется, то идеализируя его, то напротивъ того рисуя въ самымъ мрачныхъ и грязныхъ краскахъ (напр. «La terre» Золя).

Совсѣмъ не то мы видимъ у насъ въ Россіи въ послѣднія сорокъ лѣтъ. Не одинъ, не два, а десятки появляются писателей, посвятившихъ свою дѣятельность изображенію народнаго быта. Изъ нихъ многіе представляются чисто сподвижниками: отправляются въ народъ спеціально для изученія его, по годамъ странствуютъ изъ села въ село, собирая былины, пѣсни, сказки, изучая обряды, стараясь проникнуть въ экономическія и соціальныя основы народной жизни и постигнуть народную душу, народные идеалы, подвергаясь при этомъ всякаго рода преслѣдованіямъ и опасностямъ и буквально жертвуя животомъ своимъ.

Вслѣдствіе общаго стремленія къ изученію народнаго быта беллетристика этого рода втеченіе сорока лѣтъ своего существованія успѣла пережить цѣ-

лую исторію, вмѣщающую въ себѣ нѣсколько фазъ развитія. Такъ, первая фаза относится къ концу сороковыхъ годовъ и началу пятидесятыхъ; представителями ея являются тѣ самые беллетристы сороковыхъ годовъ, дѣятельность которыхъ мы разсматривали въ предыдущихъ главахъ. Мы видѣли, что всѣ они заплатили свою лепту разсказамъ изъ народнаго быта. Во главѣ ихъ слѣдуетъ поставить Тургенева съ его *Записками Охотника*. За нимъ слѣдуетъ Григоровичъ, съ его разсказами и романами изъ народнаго быта. Гр. Л. Толстой, не говоря уже о крестьянахъ, мѣщанахъ и солдатахъ, которыхъ вы найдете во всѣхъ его произведеніяхъ, особенно въ *Севастопольскихъ разсказахъ*, *Казакахъ* и *Войнѣ и мирѣ*, написалъ два произведенія спеціально изъ народнаго быта: *Поликушка* и *Власть тьмы*. У Достоевскаго масса типовъ изъ народной среды выведена въ лучшемъ произведеніи его—*Запискахъ изъ мертваго дома*. Гончаровъ, никогда не касавшійся крестьянскаго быта, такъ какъ не имѣлъ возможности изучить его, тѣмъ не менѣе въ своихъ произведеніяхъ изобразилъ нѣсколько типовъ дворовыхъ слугъ, а во *Фрегатѣ Паллада*—матросовъ.

Первый починъ въ изученіи народнаго быта принадлежалъ такимъ образомъ писателямъ изъ помѣщичьяго класса, и это было какъ нельзя болѣе естественно. Въ интеллигенціи сороковыхъ годовъ, главнымъ образомъ состоявшей изъ дворянъ, помѣщики ближе всего стояли къ народу. Но близость эта была чисто внѣшняя и къ тому-же рабовладѣльческая: помѣщики не имѣли возможности войти во внутреннія условія народнаго быта, проникнуть въ душу народа и его идеалы. Ихъ отдѣляла отъ народа бездна того недовѣрія и затаенной вражды, которую питали крестьяне къ барамъ, не исключая и самыхъ гуманныхъ изъ нихъ.

Это отразилось и въ большинствѣ произведеній изъ народнаго быта беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Характеры, типы и эпизоды, выводимые въ этихъ произведеніяхъ, носятъ слишкомъ конкретный характеръ, имѣютъ видъ случайно подмѣченнаго и схваченнаго изъ жизни. *Касьянъ изъ Красивой Мечи*, *Хорь*, *Калинычъ*, *Яковъ рядчикъ* и пр., и пр. стоятъ одиноко передъ вами, вовсе не составляя собирательныхъ типовъ, въ которыхъ вы видѣли-бы представителей народныхъ массъ. Изображаются подобные конкретные характеры преимущественно съ ихъ психологической стороны и въ ихъ личной жизни. Беллетристы сороковыхъ годовъ были такъ мало еще знакомы съ внутренними условіями народной жизни, что въ произведеніяхъ ихъ вы не видите и слѣда той мірской, общинной жизни, какою живетъ нашъ народъ. Главное общественное значеніе этихъ произведеній заключалось или въ изображеніи страданій и невзгодъ, какія выноситъ народъ подъ гнетомъ крѣпостного права не только отъ дурныхъ, но и отъ хорошихъ помѣщиковъ, или-же въ выведеніи симпатичныхъ и положительныхъ типовъ крестьянъ съ цѣлью убѣдить читателей, что мужики вовсе не двуногій вьючный скотъ, неимѣющій образа и подобія человѣческаго, а—такіе-же люди, какъ и мы, также чувствуютъ, мыслятъ, страдаютъ отъ обидъ и лишеній и стремятся къ лучшему, а встрѣчаются между ними и такія идеальныя личности, подобныхъ которымъ вы не найдете въ интеллигентныхъ классахъ.

Къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ по характеру разсказовъ изъ народнаго быта слѣдуетъ отнести извѣстную писательницу—Марко-Вовчекъ (Марью Александровну Марковичъ). Разсказы ея появились впервые въ 1859 году на

малороссійскомъ языкѣ и тотчасъ-же были переведены самимъ авторомъ на русскій языкъ и напечатаны въ лучшихъ и наиболѣе распространенныхъ тогдашнихъ журналахъ. Въ томъ-же 1859 году другая коллекція украинскихъ разсказовъ М.-Вовчка была переведена И. С. Тургеневымъ, издана отдѣльною книжкою и удостоилась весьма лестнаго отзыва Добролюбова, который посвятилъ въ *Современникѣ* этимъ разсказамъ цѣлую статью.

Разсказы М.-Вовчка подкупили тѣмъ, что явились въ такое время, когда всѣ были увлечены крестьянской реформой, и они удовлетворяли злобѣ дня, такъ какъ заключали изображенія страданій крѣпостныхъ подъ гнетомъ помѣщиковъ. Къ тому-же, пользуясь свободою тогдашней цензуры, М.-Вовчекъ не пожалѣла мрачныхъ красокъ для угнетателей и яркихъ для угнетенныхъ, и по силѣ и рѣзкости протеста превзошла все, что до того времени появлялось въ этомъ родѣ. Многіе видѣли въ ней русскую Бичеръ-Стоу, и сочиненія ея выдержали втеченіе шестидесятыхъ годовъ три изданія.

Но слава М.-Вовчка закатилась съ такою-же быстротою, съ какою и разгорѣлась. Въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ смотрѣли сквозь пальцы на слабыя стороны ея разсказовъ, благодаря ихъ политическому содержанію и тому, что народный бытъ былъ еще въ то время мало извѣстенъ; десять-же лѣтъ спустя, разсказы утратили свое обаяніе, и тогда выступили наружу существенные ихъ недостатки: поверхностное знаніе народнаго быта, отсутствіе живыхъ, реальныхъ красокъ въ изображеніяхъ его, ограниченіе одними общими, стереотипными чертами, какія только можно заимствовать изъ чтенія народныхъ пѣсенъ и сказокъ, и сентиментальность. Нельзя отказать Марко-Вовчку въ талантѣ, но этотъ талантъ субъективный, болѣе лирическій, чѣмъ эпическій; обнаруживая подъ-часъ способность къ тонкому психическому анализу, онъ находится въ то-же время всецѣло на романтической почвѣ вымысла. Поэтому самыми лучшими, и теперь еще не утратившими своего значенія, являются сказки Марко-Вовчка, таковы: *Сказка о девяти братьяхъ разбойникахъ и о десятой сестрицѣ Галѣ*, *Невольница*, *Медвѣдь*, *Кармелюкъ*, *Маруся* и т. п. Благодаря тому, что это сказки,—вы не требуете отъ нихъ живого и реальнаго изображенія народнаго быта и миритесь съ ихъ сентиментальностью, подобно тому какъ не ставите въ вину тѣхъ-же качествъ *Ундинѣ* Жуковскаго. Въ то-же время вы не можете не признать неотъемлемаго ихъ достоинства: гуманнаго и демократическаго духа, которымъ онѣ проникнуты.

М.-Вовчокъ впрочемъ и сама повидимому со временемъ сознала, что изображеніе народнаго быта не ея дѣло. Втеченіе шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ она написала нѣсколько повѣстей и романовъ изъ интеллигентныхъ слоевъ общества, но произведенія эти, нынѣ почти забытыя, ничѣмъ не выдѣляются изъ уровня посредственности. Самымъ лучшимъ изъ нихъ являются *Записки причетника*, поразившія публику такимъ знаніемъ быта сельскаго духовенства, какого трудно было ожидать отъ женщины дворянскаго класса, равно какъ и такою объективностью, какой въ прежнихъ ея разсказахъ не замѣчалось.

II.

Въ противовѣсъ идеалистически-сентиментальному воззрѣнію на народъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, во второй половинѣ пятидесятыхъ годовъ

явились беллетристы, выразившіе противоположное отношеніе къ нему, которое мы назовемъ смѣхотворно - отрицательнымъ. Мы не можемъ иначе объяснить подобное отношеніе къ мужику въ такую эпоху, когда тяга къ народу и сочувствіе ему были общими, какъ послѣднею отрыжкою вѣками укоренившагося въ помѣщичьемъ кругу высокомѣрно-презрительнаго взгляда на народъ, аналогичнаго воззрѣнію на крестьянъ польскихъ пановъ, какъ на *псовое быдло*.

Въ то время какъ на сценѣ Александринскаго театра представителемъ такого отношенія къ народу выступилъ Иванъ Ѳедоровичъ Горбуновъ, потѣшавшій публику своими смѣхотворными разсказами изъ народнаго быта, въ литературѣ мы видимъ двухъ беллетристовъ, подвизавшихся на томъ-же поприщѣ: Николая Васильевича Успенскаго и Василія Алексѣевича Слѣпцова.

Николай Васильевичъ Успенскій родился въ 1837 году въ Тульской губерніи, въ Ефремовскомъ уѣздѣ. У его дѣда, сельскаго дьячка Чернскаго уѣзда, было три сына, изъ которыхъ у сына Василія Яковлевича, священника въ Ефремовскомъ уѣздѣ, родился Николай, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, а у сына Ивана, секретаря палаты государственныхъ имуществъ, родился Глѣбъ, сдѣлавшійся впослѣдствіи еще болѣе знаменитымъ изобразителемъ народнаго быта.

Н. Успенскій воспитывался въ Тульской семинаріи и затѣмъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ былъ въ Медико-Хирургической академіи, откуда перешелъ въ С.-Петербургскій университетъ, но курса тамъ не кончилъ. Этимъ Н. Успенскій былъ обязанъ конечно тому литературному успѣху, какой онъ пріобрѣлъ, будучи еще въ академіи. Втеченіе 1857—58 гг. была напечатана въ *Современникѣ* серія его разсказовъ: *Поросенокъ*, *Хорошее житье*, *Сцены изъ сельскаго праздника*, *Грушка*, *Змѣй*, и популярность его столь быстро возросла, что когда въ 1861 г. были изданы Некрасовымъ 24 его разсказа отдѣльнымъ изданіемъ въ 2-хъ томахъ, Чернышевскій написалъ въ *Современникѣ* лестную для автора статью: *Не начало-ли перемѣны*, въ которой указалъ на ту особенность разсказовъ Н. Успенскаго, что авторъ ихъ первый началъ писать о народѣ правду безъ всякихъ прикрасъ.

Но это было заблужденіе, не замедлившее въ скоромъ времени обнаружиться. *Изображеніе безъ прикрасъ* подъ перомъ Н. Успенскаго оказалось эскизами, мало того что поверхностными и случайными, но къ тому-же и пересоленными въ противоположную сторону. Однимъ словомъ, вся философія этихъ разсказовъ выразилась въ слѣдующихъ словахъ *Деревенскихъ писемъ* его:

«Бѣдность и невѣжество русскаго крестьянина привели его къ тому, что онъ очень часто не цѣнитъ своего собственнаго труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не цѣнитъ и чужого труда; онъ не имѣетъ понятія ни о правахъ собственныхъ, ни о правахъ другой личности. Для него условій и законовъ гражданской жизни не существуетъ».

Въ силу этого воззрѣнія въ разсказахъ Н. Успенскаго народъ представляется въ невообразимо безобразномъ видѣ; каждый мужикъ непремѣнно или воръ, или пьяница, или такой дуракъ, какихъ и свѣтъ не производилъ; каждая баба такая идіотка, что ума помраченіе. Большинство очерковъ Н. Успенскаго заключаетъ въ себѣ случайно схваченныя изъ жизни сценки и анекдотики въ видѣ какого-нибудь разговора на постояломъ дворѣ, разсказа проѣзжаго мужика, купца или бабы. Что удавалось Н. Успенскому мелькомъ увидѣть или

услышать, онъ передавалъ въ томъ сыромъ и конкретномъ видѣ съ единственною цѣлью показать, какъ русскій мужикъ невѣжественъ, дикъ, смѣшонъ, загнанъ и забитъ, какъ тонетъ въ грязи невѣжества, суевѣрій, пошлости. Забитость, тупоуміе, отсутствіе всякаго человѣческаго образа и подобія въ герояхъ Н. Успенскаго одуряютъ васъ, когда вы читаете его очерки. Вы видите предъ собою людей, которые въ жизни своей руководствуются одною только грубою, скотскою чувственностью, стремятся лишь нажить копѣйку или спустить ее въ кабакъ; да и въ этихъ стремленіяхъ что шагъ ступятъ, то сдѣлаютъ какую-нибудь невообразимую глупость.

При такомъ характерѣ разсказовъ понятно, что популярность Н. Успенскаго не могла быть продожительна. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ онъ былъ почти забытъ. И затѣмъ впродолженіе по крайней мѣрѣ двадцати лѣтъ велъ ужасающую жизнь крайней нищеты и безпробуднаго пьянства. Случалось ему зачастую ночевать въ ночлежныхъ домахъ Москвы и Петербурга, случалось собирать подаяніе, играя на гармоникѣ и забавляя разсказами народныхъ сценъ публику въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ. Въ его бездомныхъ скитаніяхъ сопутствовала ему дочь, десятилѣтняя дѣвочка, которую онъ переодѣвалъ иногда въ костюмъ мальчика и заставлялъ плясать подъ звуки гармоники. Наконецъ въ 1889 г. 26-го октября онъ зарѣзался въ Москвѣ, не въ силахъ будучи выносить долѣе подобную жизнь.

III.

Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ принадлежалъ къ древнему дворянскому роду. Отецъ его, Алексѣй Васильевичъ, былъ помѣщикъ и владѣлъ 1,500 десятинъ земли и 250 душъ Саратовской губ., Сердобскаго уѣзда. Онъ служилъ въ Харьковскомъ уланскомъ полку, дѣлалъ турецкую и польскую кампаніи. Въ бытность свою въ Гродненской губерніи женился на дочери древней польской фамиліи, Жозефинѣ Адамовнѣ Вельбутовичъ-Поклонской. Впослѣдствіи онъ перешелъ въ Новороссійскій драгунскій полкъ въ Воронежѣ, гдѣ и родился первенецъ, Василій Алексѣевичъ Слѣпцовъ, въ 1836 г. 17 іюля. Спустя годъ по его рожденіи, отецъ его вышелъ въ отставку и уѣхалъ къ родителямъ со своимъ семействомъ въ Москву, гдѣ былъ зачисленъ въ Московскую комиссаріатскую коммисію.

Слѣпцовъ былъ любимцемъ семьи, особенно матери, для которой оставался кумиромъ до смерти. Съ ранняго дѣтства выказывалъ онъ большія умственныя способности. Нрава всегда былъ кроткаго и тихаго, сердца мягкаго, такъ что не могъ выносить, когда его сверстники мучили животныхъ или мухъ.

Съ дѣтства онъ былъ уже красивъ; постоянно занятъ былъ разнаго рода издѣліями, и впослѣдствіи, бывши уже писателемъ, изучилъ столярное и слесарное ремесла. Самъ выучился пяти лѣтъ читать; былъ набоженъ въ дѣтствѣ и семи лѣтъ собирался въ монастырь. Когда ему минуло 8 лѣтъ, родители въ Москвѣ взяли къ себѣ гимназиста 5-го класса готовить его въ гимназію. Но гимназистъ не умѣлъ пріохотить мальчика къ наукамъ, особенно къ латыни, такъ что тотъ плакалъ, заучивая латинскую грамматику. Родители перемѣнили учителя и взяли студента Апурина, который такъ хорошо преподавалъ, что латынь стала любимымъ занятіемъ Слѣпцова. Французскимъ язы-

комъ занималась съ нимъ мать, а нѣмецкимъ—бабка по матери. Десяти лѣтъ Слѣпцовъ поступилъ въ 1-й классъ I-й Московской гимназіи. Спустя $1^1/_2$ года, отецъ Слѣпцова получилъ въ наслѣдство имѣніе въ Саратовской губ., въ Сердобскомъ уѣздѣ, деревню Александровку или Дубовку, и семейство переѣхало туда, взявши съ собой и Василія Алексѣевича. Затѣмъ его помѣстили въ дворянскій институтъ въ Пензѣ, по окончаніи же курса отвезли въ Москву. Въ это время была крымская кампанія, и родные посовѣтовали помѣстить Слѣпцова въ одинъ изъ полковъ дѣйствующей арміи. Василій Алексѣевичъ было согласился, купилъ программу и началъ готовиться въ полкъ, но попалъ въ общество студентовъ, перемѣнилъ свое намѣреніе и сталъ готовиться въ Московскій университетъ, гдѣ и выдержалъ экзаменъ на медицинскій факультетъ.

Но знакомство съ профессорами Китарой и Далемъ отвлекло его отъ медицины. Ему было предложено отъ этнографическаго отдѣла Императорскаго географическаго общества пойти путешествовать съ котомкой во Владиміръ на Клязьмѣ для описанія тамошнихъ фабрикъ и строившейся въ то время французами желѣзной дороги. Слѣпцовъ съ удовольствіемъ принялъ предложеніе профессоровъ и отправился. Это и положило начало его ознакомленію съ народнымъ бытомъ.

Писать онъ началъ рано, еще въ пензенскомъ пансіонѣ, сначала конечно стихами. Затѣмъ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ онъ сотрудничалъ въ *Русской Рѣчи* у графини Е. В. Салліасъ, потомъ въ *Сѣверной пчелѣ* и *Атенеѣ*. Въ это время онъ женился въ Москвѣ на Языковой, имѣлъ отъ нея сына, который умеръ, и дочь Валентину. Но онъ не сошелся характеромъ съ женою и разстался съ нею. Въ то-же время онъ получилъ наслѣдство послѣ отца, но такъ какъ никогда не любилъ деревенскаго хозяйства, то и продалъ имѣніе своему брату, а самъ уѣхалъ въ Петербургъ.

По пріѣздѣ въ Петербургъ начался расцвѣтъ его литературной дѣятельности. Онъ сошелся съ кружкомъ *Современника*, куда былъ приглашенъ въ постоянные сотрудники съ обязательствомъ писать исключительно въ этомъ журналѣ. Популярность его въ передовыхъ кружкахъ шестидесятыхъ годовъ въ это время была очень велика; особенно много поклонницъ имѣлъ онъ среди женщинъ. Этимъ былъ обязанъ Василій Алексѣевичъ прежде всего конечно своей счастливой наружности. «Наружность Слѣпцова,—говоритъ г-жа Головачева въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ,—была очень эффектная и отличалась изяществомъ; у него были великолѣпные черные волосы, небольшая борода, тонкія и правильныя черты лица; когда онъ улыбался, видны были необыкновенной бѣлизны зубы. Цвѣтъ лица былъ матово-блѣдный. Онъ былъ высокъ, строенъ и одѣвался скромно, но тщательно». Всѣ оставшіеся послѣ него портреты не передаютъ и въ сотой долѣ его красоты, замѣчательной всѣмъ ансамблемъ стройно-изящной, гибкой фигуры его, непередаваемою игрою души въ тонкихъ чертахъ его лица, остроуміемъ, геніальнымъ умѣньемъ во-время насмѣшить, во-время заставить заплакать, незамѣтно вкрасться въ душу собесѣдницы и сразу покорить сердце ея задушевнѣйшимъ тономъ рѣчи.

Ко всему этому онъ былъ до мозга костей артистъ; артистическая жилка проявлялась въ немъ во всѣхъ мелочахъ его жизни: и въ одеждѣ, и въ комфортѣ, которымъ онъ себя окружалъ, и въ страсти ко всевозможнымъ изящ-

*

нымъ вещичкамъ. Случалось, что, идя мимо Милютиныхъ лавокъ, онъ увлекался какимъ-нибудь необыкновеннымъ изящнымъ яблочкомъ и покупалъ его, но не для того, чтобы тотчасъ съѣсть, а положить на письменный столъ и любоваться его красотою.

«Надо замѣтить, — говоритъ Головачева, — что и въ мелочахъ онъ способенъ былъ увлекаться. Онъ придумалъ заказать токарю для своего письменнаго стола березовые подсвѣчники, покрытые лакомъ, носился съ своимъ изобрѣтеніемъ, показывая короткимъ знакомымъ эти подсвѣчники, и былъ очень доволенъ, если кто-нибудь просилъ его заказать такіе-же подсвѣчники или канделябры. Слѣпцовъ самъ давалъ токарю рисунки и слѣдилъ за его работой; а когда токарь взялся въ лѣтнемъ помѣщеніи приказчичьяго клуба украсить танцовальное зало люстрами изъ березы, то Слѣпцовъ до такой степени былъ озабоченъ, какъ будто самъ взялъ этотъ заказъ. Каждый день онъ бѣгалъ къ токарю, наблюдалъ за его работой, давалъ совѣты, дѣлалъ рисунки».



В. А. Слѣпцовъ.

Будучи артистомъ на всѣ руки, онъ былъ и хорошимъ актеромъ, и режиссеромъ, и великолѣпно пѣлъ народныя пѣсни подъ аккомпаниментъ балалайки. Страсть собирать народныя пѣсни и наблюдать народные нравы соединялась въ немъ съ умѣніемъ сближаться съ народомъ.

«Гдѣ-бы Слѣпцовъ ни поселялся въ меблированной квартирѣ, — говоритъ Головачева, — прислуга чувствовала къ нему особенное расположеніе и всѣми силами старалась угодить ему. Вообще у Слѣпцова въ голосѣ было что-то ласкающее, такъ-что люди изъ простого класса изъ самыхъ мрачныхъ и молчаливыхъ дѣлались съ нимъ разговорчивыми до откровенности. Я очень любила слушать, когда Слѣпцовъ бесѣдовалъ съ кѣмъ-нибудь изъ этого класса людей; съ каждымъ изъ нихъ у него былъ особенный слогъ, который совпадалъ съ языкомъ какого-нибудь мастерового, мужика-рабочаго или торговки-бабы. Онъ такъ умѣлъ шутить съ ними, что они отъ души смѣялись».

Вотъ эти-то качества и привлекали къ Слѣпцову толпы женщинъ. Молва о немъ, какъ о писателѣ, стоявшемъ во главѣ женскаго вопроса, покровителѣ женщинъ, принимавшемъ горячее участіе въ пріисканіи имъ работы и помогавшемъ устраиваться, — далеко распространилась по всѣмъ провинціямъ; къ Слѣпцову являлись постоянно массы искательницъ новыхъ путей, и многія изъ нихъ, познакомившись съ нимъ, безумно влюблялись въ него. Такимъ образомъ сердечные романы его не прекращались.

«Всѣ они, — по словамъ г-жи Головачевой, — были кратковременные и оканчивались всегда непріятнымъ для него образомъ. — Онъ не могъ выносить ревности, а ему попадались именно женщины очень ревнивыя. Слѣпцовъ не хотѣлъ притворяться и обманывать и выводилъ женщинъ изъ себя тѣмъ, что сохранялъ полное хладнокровіе въ бурныхъ сценахъ ревности. Онъ былъ такъ набалованъ побѣдами, что едва успѣвалъ покончить романъ съ одной женщиной, какъ являлись другія въ него влюбленныя. Слѣпцовъ не при-

давалъ большого значенія скоровоспалительной любви въ женщинахъ и имѣлъ неосторожность всегда это высказывать, чѣмъ конечно женщины оскорблялись и считали его за самаго сухого эгоиста».

Трудно рѣшить, любилъ-ли онъ хоть одну изъ тѣхъ многочисленныхъ женщинъ, которыя добивались его благосклонности, но все-таки несправедливо было называть его сухимъ эгоистомъ, какъ это дѣлали въ понятномъ раздраженіи отвергнутыя имъ любовницы. Онъ искренно и беззавѣтно увлекался женскимъ вопросомъ, и это еще болѣе увеличивало его привлекательность и популярность среди женщинъ. Самъ не зная, куда преклонить голову, ютясь по меблированнымъ комнаткамъ и не имѣя гроша за душою, онъ вѣчно хлопоталъ объ устройствѣ нуждающихся женщинъ и о доставленіи имъ работы. Знаменитая знаменская коммуна была одною изъ попытокъ въ этомъ родѣ, имѣвшей цѣлью устроить дешевое общежитіе. Не ограничиваясь этимъ, Слѣпцовъ устраивалъ въ пользу женщинъ музыкально-литературные вечера, спектакли, публичныя лекціи и т. под. Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ втеченіе двухъ лѣтъ онъ занимался устройствомъ любительскихъ спектаклей въ художественномъ клубѣ. Но въ началѣ семидесятыхъ годовъ здоровье его было такъ уже разстроено и силы надорваны, что онъ принужденъ былъ оставить литературную дѣятельность, и уѣхалъ лечиться на Кавказъ; послѣдніе годы жизни онъ проживалъ то на Кавказѣ, то на родинѣ близъ Сердобска, тщетно борясь съ болѣзнью и медленно угасая. Въ 1878 году 23-го марта онъ покончилъ со своею жизнью въ Сердобскѣ на рукахъ у нѣжно любимой матери. Похоронили его въ Сердобскѣ-же на городскомъ кладбищѣ.

Какъ писатель талантливый, Слѣпцовъ далекъ отъ высказыванья такихъ пошлостей, до какихъ додумывался Н. Успенскій. Отношеніе его къ народу гуманнѣе въ томъ смыслѣ, что въ очеркахъ его на первомъ планѣ стоитъ не безцѣльное обличеніе пресловутаго «невѣжества мужика», какъ у Н. Успенскаго, а стремленіе показать, въ какихъ отношеніяхъ стоитъ къ крестьянину нашему администрація, совершенно чуждая его быту. Но въ очеркахъ Слѣпцова вы видите то-же отсутствіе типовъ и психическаго анализа, какъ и у Н. Успенскаго, то-же ограниченіе случайными сценками, мелькомъ схваченными на большой дорогѣ. Отношеніе администраціи къ быту крестьянина—громадный вопросъ, требующій глубокаго изученія народнаго быта; не забудьте, что этимъ отношеніемъ обусловливается не одно комическое, но и глубоко трагическое въ жизни крестьянина. Слѣпцовъ ограничился одною комическою стороною; да и для нея онъ выбиралъ такіе рѣдкіе, исключительные факты, которые имѣютъ почти анекдотическій характеръ: то онъ выставлялъ мужика, который далъ взятку писарю, чтобы его поскорѣе высѣкли (см. разсказъ *Ночлегъ*); то изображалъ, въ какой просакъ попались крестьяне при встрѣчѣ высокой особы вслѣдствіе того, что свиньи испугали лошадей этой особы (разсказъ *Свиньи*); то, какъ крестьяне пьянаго приняли за мертваго, и что изъ этото вышло. Все это преисполнено комизма; вы хохочете, читая повѣсти Слѣпцова; при мастерскомъ чтеніи на литературныхъ вечерахъ Слѣпцовъ производилъ фуроръ не менѣе Горбунова, но кромѣ смѣха ничего изъ этихъ разсказовъ вы не выносите. Факты, выставляемые Слѣпцовымъ, слишкомъ мелочны и случайны, чтобы заставить васъ серьезно задуматься надъ ними, тѣмъ болѣе, что, гоняясь за комизмомъ, Слѣпцовъ впадаетъ на каждомъ шагу въ утрировку и шаржъ, вслѣдствіе чего очерки его еще болѣе теряютъ значеніе истинныхъ

фактовъ народной жизни. Такую утрировку видите вы напримѣръ въ разсказѣ *Овины*, гдѣ Слѣпцовъ заставляетъ крестьянъ вѣрить, что будутъ ѣздить на людяхъ, и разсказываетъ, какъ подъ вліяніемъ этихъ слуховъ бабы начали бить горшки и всякую посуду. Столь-же утрирована въ *Мертвомъ тѣлѣ* сцена, гдѣ мужики въ первый разъ увидѣли мнимаго мертвеца воскресшимъ и явившимся къ нимъ среди дороги и не рѣшаются подойти къ нему.

Главное зло смѣхотворно-отрицательныхъ очерковъ изъ народнаго быта заключалось въ томъ, что они представляли собою обоюдоострое оружіе, появляясь въ роковую минуту освобожденія крестьянъ. Они имѣли цѣлью внушить читателямъ, до какого печальнаго положенія былъ доведенъ мужикъ крѣпостнымъ правомъ. Но факты, выставляемые ими, могли служить доказательствами и необходимости того-же самаго крѣпостного права. Приверженцы крѣпостничества на такіе именно факты и опирались въ доводахъ въ пользу крѣпостного права. Читая эти очерки, крѣпостники еще болѣе убѣждались, что предоставленные самимъ себѣ крестьяне погибнутъ отъ своей глупости, чуть не съѣдятъ другъ друга. «О какомъ-же тутъ народномъ самоуправленіи толкуете вы,— имѣли они полное право возразить, прочитавши разсказъ Н. Успенскаго *Хорошее житье*,—коли вы сами ничего не видите въ мірской сходкѣ, кромѣ взаимнаго разоренія крестьянъ посредствомъ опитія другъ друга?»

Нѣтъ ничего мудренаго, что при общей тягѣ къ народу барское отношеніе къ нему свысока не могло имѣть прочнаго успѣха, и смѣхотворно-отрицательные очерки лишь мелькнули въ литературѣ нашей, быстро смѣнившись разсказами изъ народнаго быта, болѣе серьезными и правдиво-безпристрастными.

Въ то время какъ Н. Успенскій быстро утратилъ свою популярность и сошелъ съ литературнаго поприща почти всѣми позабытый, Слѣпцовъ обратился къ болѣе свойственному его таланту изображенію интеллигентнаго быта и написалъ повѣсть *Трудное время* (1865), которая представляется его шедёвромъ и въ свое время надѣлала не мало шума. Въ повѣсти этой превосходно изображенъ въ лицѣ героя ея Щетинина новый народившійся типъ пореформеннаго помѣщика-пріобрѣтателя буржуазнаго склада; съ глубиною и интересомъ, захватывающимъ самыя живыя современныя струны, развитъ романъ героини повѣсти Марьи Николаевны; наконецъ съ блестящимъ юморомъ изложены сцены земскаго собранія, этого въ то время еще новаго и едва народившагося явленія нашей жизни. Въ общемъ эта повѣсть составляетъ весьма цѣнный вкладъ въ сокровищницу нашей литературы и заставляетъ сожалѣть о преждевременной утратѣ весьма недюжиннаго таланта въ лицѣ В. А. Слѣпцова.

III.

Въ сторонѣ отъ этихъ двухъ взаимно противоположныхъ и уничтожающихъ другъ друга отношеній къ народу—сентиментально идеалистическаго и смѣхотворно-отрицательнаго, на той же дворянской почвѣ мы видимъ особенное отношеніе—административно-бюрократическое. Понятно, что правительство всегда было заинтересовано въ точномъ и всестороннемъ изученіи народныхъ массъ, подлежащихъ его управленію, и эта потребность особенно сдѣлалась существенною въ пятидесятые и шестидесятые годы, когда массы эти начали давать чувствовать себя и когда возникъ и назрѣлъ рядъ вопросовъ, касаю-

щихся ихъ благосостоянія. Не наше дѣло говорить о всѣхъ тѣхъ оффиціальныхъ и оффиціозныхъ обществахъ, коммисіяхъ, экспедиціяхъ и командировкахъ, какія возникали въ различныя времена, существуютъ и нынѣ съ цѣлью изученія народа съ разныхъ его сторонъ, интересующихъ администрацію въ тѣхъ или другихъ правительственныхъ видахъ. Мы упомянемъ лишь о тѣхъ фактахъ этого рода, которые отразились такъ или иначе въ литературѣ. Наибольшую энергію въ собираніи этнографическихъ свѣдѣній оказало послѣ



С. В. Максимовъ.

крымской кампаніи морское министерство, пригласившее къ содѣйствію ему въ этомъ извѣстныхъ въ то время литераторовъ и устроившее нѣсколько командировокъ на окраины Россіи. Такъ, Гончаровъ былъ отправленъ въ кругосвѣтное плаваніе на *фрегатѣ Паллада*. Писемскій былъ посланъ въ Астрахань на побережье Каспійскаго моря, и результатомъ этого путешествія были *Путевые очерки* его. Въ неизмѣримой степени плодотворнѣе были командировки извѣстнаго беллетриста и этнографа Сергѣя Васильевича Максимова и Григорія Петровича Данилевскаго.

Сергѣй Васильевичъ Максимовъ родился въ 1831 году въ посадѣ Пар-

фентьевѣ Костромской губерніи, Кологривскаго уѣзда. Отецъ его былъ почтмейстеромъ. Первоначальное образованіе онъ получилъ въ мѣстномъ народномъ училищѣ; изъ высшихъ заведеній былъ въ Московскомъ университетѣ и Медико-Хирургической академіи. Первые его этнографическіе очерки обратили на себя вниманіе въ литературныхъ сферахъ, и, ободренный этимъ успѣхомъ, Максимовъ отправился для собиранія матеріала странствовать пѣшкомъ по Владимірской и Вятской губерніямъ, и результатомъ этихъ странствій былъ рядъ очерковъ, напечатанныхъ въ *Библіотекѣ для Чтенія*, въ 1871-мъ-же году изданныхъ отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Лѣсная глушь*. Послѣ крымской кампаніи онъ былъ командированъ Морскимъ министерствомъ на сѣверъ Европейской Россіи, и результатомъ этого путешествія была извѣстная книга его *Годъ на сѣверѣ*, заключающая массу драгоцѣнныхъ свѣдѣній о народной жизни прибрежій Бѣлаго моря и Печорскаго края,—свѣдѣній не только этнографическихъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, но соціально-политическихъ и психологическихъ. Полуученая, полубеллетристическая книга эта представляется почтеннымъ вкладомъ въ дѣло изученія народной жизни, и у каждаго интересующагося этимъ предметомъ она должна занимать первое мѣсто. Географическое общество удостоило этотъ трудъ малой золотой медали. Вслѣдъ затѣмъ С. В. Максимовъ исполнилъ еще двѣ командировки отъ Морского министерства: 1) въ Сибирь и на Амуръ, результатомъ чего были сочиненія его: *На востокѣ* и *Сибирь и каторга*, и 2) въ 1862 году—по Уралу и берегамъ Каспійскаго моря. Съ 1868 года онъ объѣхалъ по порученію Географическаго общества семь губерній: Псковскую, Смоленскую, Могилевскую, Витебскую, Виленскую, Гродненскую и Минскую, результатомъ чего была извѣстная книга его *Бродячая Русь*. Изъ позднѣйшихъ работъ его заслуживаютъ вниманія множество очерковъ и описаній, помѣщенныхъ въ *Живописной Россіи*, изданіи Вольфа, статья *Наше двувѣріе* въ шестомъ томѣ *Нови* и пр.

Григорій Петровичъ Данилевскій родился 14-го апрѣля 1829 года въ имѣніи своей тетки по отцу, Анны Ивановны Антоновой, въ селѣ Даниловкѣ Изюмскаго уѣзда Харьковской губерніи. Дѣтскіе годы онъ провелъ частью въ зміевскомъ имѣніи дѣда, селѣ Припидѣ близъ Донца, частью въ смежномъ отцовскомъ имѣніи, селѣ Петровскомъ.

Отецъ Данилевскаго, Петръ Ивановичъ, бывшій уланъ и затѣмъ помѣщикъ, погруженный въ сельское хозяйство, умеръ 36 лѣтъ, когда сыну пошелъ десятый годъ. Мать, Екатерина Григорьевна, урожденная Купчинова, была симпатичнаго, общительнаго и мягкаго характера Страстно любя литературу и музыку, она съ тридцатыхъ годовъ выписывала лучшіе русскіе журналы, давшіе первую умственную пищу старшему сыну Григорію. Первоначальное образованіе Данилевскій получилъ дома, подъ руководствомъ домашней учительницы Евг. И. Пчелкиной и нѣкоего Пеша. Затѣмъ кончилъ курсъ сперва въ Московскомъ дворянскомъ институтѣ (бывшемъ университетскомъ пансіонѣ), а затѣмъ—въ С.-Петербургскомъ университетѣ, оттуда въ 1850 году вышелъ кандидатомъ юридическаго факультета по камеральному отдѣленію. Будучи студентомъ, въ 1848 году онъ получилъ серебряную медаль за сочиненіе на конкурсѣ отъ философскаго факультета о Пушкинѣ и Крыловѣ. Съ 1850 по 1856 годъ Данилевскій служилъ по Министерству народнаго просвѣщенія чиновникомъ особыхъ порученій при А. С. Норовѣ и П. А. Вя-

земскомъ. Въ это время онъ посѣтилъ Финляндію, Крымъ, работалъ по порученію министра Норова въ архивахъ монастырей Харьковской, Курской и Полтавской губерній и, командированный отъ археологической коммисіи, по плану историка Устрялова описалъ на мѣстѣ урочища, гдѣ происходилъ полтавскій бой.

Въ 1856 году Данилевскій былъ командированъ Морскимъ министерствомъ на югъ Россіи, съ цѣлью описанія прибрежьевъ Азовскаго моря, Днѣпра и Дона. Выйдя въ 1857 году въ отставку, онъ женился на дочери изюмскаго помѣщика, Юліи Егоровнѣ Замятниной, и двадцать лѣтъ жилъ въ Харьковской губерніи, частью въ родовомъ имѣніи отца с. Петровскомъ, частью въ имѣніи жены—Екатериновкѣ, изрѣдка путешествуя то за-границей, то по Россіи.

Въ 1858 и 1859 гг. Данилевскій служилъ по выборамъ депутатомъ харьковскаго комитета по улучшенію быта помѣщичьихъ крестьянъ. Въ 1863 году въ качествѣ частнаго лица, по порученію министра народнаго просвѣщенія Головнина, онъ посѣтилъ и описалъ около двухсотъ народныхъ школъ Харьковской губерніи. Въ первое трехлѣтіе существованія земства, съ 1865 по 1869 г., Данилевскій прошелъ службу по выборамъ члена змiевскаго училищнаго совѣта, гласнаго харьковскаго губернскаго земскаго собранія и члена харьковской земской управы, гдѣ втеченіе этихъ лѣтъ завѣдывалъ попечительнымъ отдѣломъ управы, народными школами губерніи, больницами, пріютами и проч. Въ 1867 и 1870 гг. онъ былъ избранъ почетнымъ мировымъ судьею Зміевскаго уѣзда.

По выходѣ изъ службы по земству Данилевскій предполагалъ заняться адвокатурой и въ 1868 году былъ указомъ сената утвержденъ присяжнымъ повѣреннымъ харьковскаго судебнаго округа. Но въ это время въ Петербургѣ возникла мысль объ изданіи *Правительственнаго Вѣстника*. Данилевскій, по приглашенію Л. С. Макова, получилъ въ этой газетѣ въ январѣ 1869 года мѣсто помощника главнаго редактора, которое онъ занималъ 13 лѣтъ, по августъ 1881 г., когда онъ былъ назначенъ главнымъ редакторомъ *Правительственнаго Вѣстника*. Это мѣсто онъ занималъ до своей смерти (6-го декабря 1890 г.), состоя также членомъ совѣта главнаго управленія по дѣламъ печати съ 1882 года.

На литературное поприще Данилевскій вступилъ въ 1846 году стихотвореніемъ *Славянская вина*, которое было напечатано въ *Иллюстраціи* 1846 года. Первые опыты его заключались въ рядѣ стихотворныхъ переводовъ изъ Байрона, Шиллера, Лонгфелло, Новалиса, Мицкевича и Шекспира. Между прочимъ онъ перевелъ драмы *Ричардъ III* и *Цимбелинъ* (*Библ. для Чт.* 1850 и 1851 гг.). Затѣмъ онъ издалъ рядъ стихотворныхъ украинскихъ сказокъ. Наибольшую-же популярность пріобрѣлъ романами: *Бѣглые въ Новороссіи*, *Бѣглые воротились*, *Воля*, которые появились подъ псевдонимомъ Скавронскаго во *Времени* и въ *Эпохѣ* 1862 и 1863 гг. Явившись подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ освобожденія крестьянъ, романы эти нравились публикѣ не однимъ только сказочнымъ интересомъ замысловатыхъ и запутанныхъ сюжетовъ, но и гуманнымъ отношеніемъ къ народу, чуждымъ излишней идеализаціи и того казенно-оффиціальнаго взгляда, какой господствуетъ въ бюрократическихъ сферахъ и какимъ проникнуты напримѣръ романы Мельникова. Вмѣстѣ съ тѣмъ бытовые романы Данилевскаго переполнены массою

интересныхъ этнографическихъ свѣдѣній, собранныхъ авторомъ во время своихъ странствій по Россіи и на земской службѣ. Такъ, читая романъ *Бѣглые въ Новороссіи*, вы знакомитесь съ важною ролью, какую играли новороссійскія степи въ эпоху крѣпостного права, какъ постоянное убѣжище для крестьянъ, толпами бѣжавшихъ отъ помѣщичьяго гнета, но подпадавшихъ въ степяхъ подъ новое ярмо эксплоататоровъ, ловко пользовавшихся ихъ безправностью и закабалявшихъ несчастныхъ въ еще болѣе тяжкое рабство, доходившее до права на жизнь и смерть. Въ пестрыхъ нравахъ обитателей южныхъ степей и въ ихъ бытѣ, исполненномъ потрясающаго, порою даже и кроваваго драматизма, авторъ видитъ нѣчто подобное нравамъ восточныхъ штатовъ Сѣверной Америки. Но если и дѣйствительно южныя степи имѣли для Россіи въ свое время такое-же эмиграціонное значеніе, какъ Америка для Европы, то надо признаться все-таки, что въ романахъ Данилевскаго открывается Америка совершенно своеобразная, болѣе въ азіатскомъ, чѣмъ въ американскомъ духѣ.

Заплативши дань изображенію народнаго быта своими первыми романами, Данилевскій на долгое время замолчалъ, и послѣ одиннадцатилѣтняго перерыва выступилъ съ романомъ *Девятый валъ* (въ *В. Евр.* 1874 г.), исполненнымъ своеобразнаго этнографическаго интереса, но совсѣмъ уже въ другомъ родѣ: романъ этотъ любопытенъ изображеніемъ быта женскихъ монастырей со всей его подноготной. А затѣмъ, черезъ пять лѣтъ, Данилевскій выступилъ на поприще исторической беллетристики; но объ этомъ намъ придется говорить отдѣльно въ своемъ мѣстѣ.

IV.

Въ одномъ ряду съ вышеозначенными представителями оффиціальнаго изученія народнаго быта свое мѣсто занимаетъ Павелъ Ивановичъ Мельниковъ. П. И. Мельниковъ происходилъ изъ стараго дворянскаго рода, вышедшаго съ Дона. Отецъ его, Иванъ Ивановичъ, былъ начальникомъ Нижегородской жандармской команды. Въ 1818 г. онъ женился на дочери нижегородскаго исправника П. П. Сергѣева, Аннѣ Павловнѣ, и 22-го октября 1819 года родился у нихъ первенецъ, котораго они въ честь дѣда назвали Павломъ. Такимъ образомъ Мельникова по отцу и по матери можно считать полицейскаго происхожденія. Дѣтство Мельниковъ провелъ по большей части въ городѣ Семеновѣ, гдѣ послѣдніе годы своей жизни служилъ его отецъ. Мельниковъ былъ впечатлительный мальчикъ, чутко прислушивавшійся ко всему окружавшему его. Онъ лежалъ въ ноябрѣ 1825 года въ горячкѣ, наѣвшись ледяныхъ сосулекъ, когда пришла вѣсть о кончинѣ императора Александра. Въ домѣ поднялся плачъ, вопль. Плакала даже вся прислуга. Весь этотъ переполохъ усилилъ болѣзнь выздоравливавшаго мальчика, и докторъ выговаривалъ его родителямъ, что они не уберегли эту впечатлительную натуру отъ горестной для всѣхъ вѣсти. Докторъ этотъ былъ Карлъ Ивановичъ Гекторъ, врачъ наполеоновской арміи, плѣненный въ 1812 г. подъ Краснымъ и присланный на житье въ Нижній-Новгородъ, гдѣ принялъ русское подданство и получилъ дипломъ на званіе штабъ-лекаря въ Семеновскомъ уѣздѣ. Онъ лечилъ въ домѣ родителей Мельникова и сверхъ того обучалъ послѣдняго французскому языку, и ему былъ обязанъ Мельниковъ знаніемъ этого языка.

Несмотря на небольшіе достатки, родители Мельникова не жалѣли средствъ для образованія своихъ дѣтей. Болѣе-же всего былъ обязанъ Мельниковъ первоначальнымъ образованіемъ матери, которая любила литературу и исторію, сама много читала и сына пріучила къ чтенію. У десятилѣтняго Мельникова были уже толстыя тетради, въ которыхъ по линейкамъ переписывалъ онъ Пушкина, Жуковскаго, Баратынскаго, Дельвига. Въ 1829 г. Мельниковъ поступилъ въ Нижегородскую гимназію, пребываніе въ которой ознаменовалось однимъ лишь значительнымъ эпизодомъ его жизни. Въ Нижнемъ былъ въ то время театръ, заведенный еще при Екатеринѣ княземъ Шаховскимъ. Наглядѣвшись на представленія, дававшіяся въ немъ, гимназисты въ пустой башнѣ нижегородскаго кремля устроили свой театръ, разумѣется безъ декорацій и костюмовъ.

«Это было не безъ пользы для насъ,—разсказываетъ Мельниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—многіе изъ насъ наизусть вычили «Эдипа въ Аѳинахъ», «Фингала», «Дмитрія Донского», и хотя у насъ не было руководителя, однако мы сдѣлали немалые успѣхи въ декламаціи... Но только одно лѣто разыгрывали мы трагедіи Озерова. Башня понадобилась гарнизонному начальству подъ цейгаусъ, и баталіонный командиръ, придя ее осматривать, засталъ насъ во время представленія *Поликсены*. Драматическую труппу, подъ присмотромъ солдатъ, отправили къ директору, а башню заперли. Съ нами расправились, по тогдашнему обычаю, довольно круто. Изъ ребяческой нашей шалости съумѣли раздуть странную исторію. Въ городѣ разсказывали вещи несодѣянныя, будто мы, одиннадцати и двѣнадцатилѣтніе мальчики, составили опасный заговоръ для ниспроверженія существующаго порядка. Одна нижегородская барыня К. поѣхала въ это время въ Казань и тамъ стала разсказывать о нашемъ злоумышленіи. Изъ учебнаго округа предписано было разобрать дѣло какъ можно строже, и съ нами въ другой разъ распорядились круто. Всего замѣчательнѣе то, что раздувалъ эту исторію учитель словесности Св., по понятіямъ котораго мы должны были въ первомъ классѣ, десяти-одиннадцати лѣтъ, выучить логику Кизеветтера, а потомъ по Кошанскому изучить всѣ тропы и безчисленныя фигуры; все-же остальное въ глазахъ его было или вздоръ и пустяки, или вольнодумство.

«Двукратная расправа не истребила въ насъ страсти къ драматическимъ представленіямъ. Мы перенесли сцену изъ запертой башни въ домъ одного товарища, Крупенина, искренняго вѣрнаго друга моего дѣтства и юности. Домъ отца Саши былъ на Петропавловской и Кладбищенской улицѣ, съ маленькимъ садомъ, густо засаженнымъ грушами, яблонями, вишнями, въ которомъ я провелъ такъ много часовъ золотой юности... Тамъ то въ мезонинѣ стали мы разыгрывать трагедіи, сначала Озерова, а потомъ и собственнаго издѣлія. Большой успѣхъ имѣлъ *Мугамедъ II*, трагедія, сочиненная Крупенинымъ, въ которой я игралъ византійскую царевну Ирину, а десятилѣтній братъ мой Ѳедоръ — пажа греческаго. Я тоже написалъ трагедію въ пяти дѣйствіяхъ *Вильгельмъ Оранскій*, но она не имѣла успѣха».

Кончивши гимназическій курсъ въ 1834 г., 15-ти лѣтъ, Мельниковъ поступилъ на филологическій факультетъ въ Казанскій университетъ, гдѣ кончилъ курсъ со степенью кандидата въ 1837 году. Мать Мельникова не дожила до окончанія сыномъ университета, скончавшись въ 1835 г., а отецъ умеръ въ 1837 г., такъ что по выходѣ изъ университета Мельниковъ предоставленъ былъ самому себѣ.

Какъ казеннокоштный студентъ, онъ обязанъ былъ отслужить опредѣленное число лѣтъ по учебному вѣдомству, но, окончивъ съ отличіемъ курсъ, по выдержаніи экзаменовъ, послѣ акта 18-го іюня 1837 г., оставленъ былъ жить въ университетѣ и готовился къ поѣздкѣ за-границу. По словамъ его ученика, профессора К. И. Бестужева-Рюмина, министерство прочило Мельникова на каѳедру славянскихъ нарѣчій. Но неожиданная катастрофа измѣнила всѣ обстоятельства. На одной изъ студенческихъ попоекъ Мельниковъ до того увлекся, что казанскій попечитель М. Н. Мусинъ-Пушкинъ призвалъ его къ

себѣ и въ наказаніе назначилъ уѣзднымъ учителемъ въ Шадринскъ (Пермской губерніи), куда онъ тотчасъ-же былъ отправленъ подъ конвоемъ солдатъ. Но въ Перми онъ узналъ, что гнѣвъ положили на милость и оставили его въ этомъ городѣ, опредѣливши на службу въ тамошнюю гимназію старшимъ учителемъ исторіи и статистики. Въ февралѣ-же 1839 г. ему была поручена должность учителя французскаго языка въ высшихъ классахъ гимназіи; но въ томъ-же году къ новому учебному семестру онъ былъ переведенъ въ Нижній учителемъ исторіи и статистики и былъ въ этой должности до 21-го мая 1846 года.

Артистическая натура Мельникова не была создана для педагогическаго поприща и искала исхода въ болѣе широкой дѣятельности. Будучи въ Перми, онъ успѣлъ уже объѣхать нѣкоторые заводы Пріуральскаго края, собиралъ свѣдѣнія о немъ, знакомился съ бытомъ русскаго народа, «лежа у мужика на полатяхъ», какъ говаривалъ онъ, и положилъ первые задатки къ полному его изученію. Всѣ эти поѣздки дали ему возможность начать рядъ статей для народившагося въ 1839 году новаго журнала *Отечественныя Записки*. Мельникову только что исполнилось 20 лѣтъ, когда въ ноябрьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* былъ напечатанъ первый трудъ его *Дорожныя записки*. Переходъ въ Нижній-Новгородъ, сближеніе тамъ съ мѣстнымъ архіепископомъ Іаковомъ, знатокомъ исторіи и раскола, надѣлявшимъ Мельникова рѣдкими рукописями и матеріалами и указывавшимъ на тѣ мѣстные архивы, гдѣ ими можно пользоваться, наконецъ съ 1840 года знакомство съ гр. Д. Н. Толстымъ, а потомъ съ М. Погодинымъ и В. Далемъ — увлекли окончательно Мельникова со скромнаго поприща гимназическаго учителя на широкій путь литературной дѣятельности.

Въ 1841 г. Мельниковъ женился на небогатой помѣщицѣ Лидіи Николаевнѣ Бѣлокопытовой, и въ томъ-же году 8-го апрѣля былъ утвержденъ въ званіи корреспондента археологической коммиссіи.

«До 1847 г.,—говоритъ Мельниковъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—живя въ Нижнемъ-Новгородѣ и занимаясь русской исторіей, я сталъ изучать расколъ и раскольниковъ. Моимъ занятіямъ способствовали два обстоятельства: поѣздки по нижегородскому Заволожью, наполненному раскольниками, и знакомство съ книжниками на нижегородской ярмаркѣ.

«Въ Заволожьѣ, именно въ Семеновскомъ уѣздѣ, было у меня маленькое доставшееся послѣ матери имѣніе; крестьяне, жившіе въ немъ, были всѣ до единаго раскольники поповщинской секты. Они были раскольники *«записные»*, т. е. значившіеся изстари по книгамъ земскаго суда раскольниками; дѣды ихъ платили двойные оклады. Поэтому они были избавлены отъ притѣсненій полиціи и поповъ... Въ Казанцовѣ я прежде всего познакомился съ раскольничьимъ бытомъ; неподалеку отъ деревни (верстахъ въ трехъ) былъ раскольничій скитъ Кошелевскій (поповщинскій). Здѣсь я познакомился съ скитскими жителями. Старшина моего селенія, Иванъ Петровъ, умный, грамотный и довольно развитой человѣкъ, большой начетчикъ и сынъ начетчика, пользовался уваженіемъ отъ своихъ и чужихъ крестьянъ-раскольниковъ. Съ нимъ много мы толковали о расколѣ. Бывало, когда пріѣдетъ Иванъ Петровъ въ Нижній, цѣлые вечера проводили мы съ нимъ, говоря о расколѣ.

«Съ 1840 г. директоромъ на нижегородской ярмаркѣ былъ гр. Д. Н. Толстой, бывшій впослѣдствіи губернаторомъ калужскимъ, воронежскимъ и директоромъ департамента исполнительной полиціи (въ шестидесятыхъ годахъ). Мы съ нимъ находились въ дружескихъ отношеніяхъ. Онъ занимался исторіею русской церкви, хорошо зналъ церковный уставъ и изучалъ расколъ. Черезъ него я познакомился съ Дем. Вас. Писаревымъ, съ Большаковымъ, съ Морозовымъ и другими раскольниками, торговавшими на ярмаркѣ старопечатными и старописьменными книгами и иконами. У нихъ бывало много раскольничьихъ рукописей; они скупали ихъ у приносившихъ и продавали въ Москвѣ раскольникамъ и М. П. Погодину. Покупать рукописи было не по моимъ средствамъ, но тор-

говцы давали мнѣ ихъ на прочетъ. Я много читалъ, дѣлалъ выписки. Въ 1841 году пріѣхалъ въ Нижній-Новгородъ Погодинъ и познакомился со мной. Мы съ нимъ осматривали нижегородскія древности, ярмарку; онъ накупилъ книгъ для своего древле-хранилища и просилъ меня, какъ постояннаго нижегородскаго жителя, присматривать для него на ярмаркѣ и въ городѣ у Головастикова, тоже торговца старыми книгами и иконами, «рѣдкостныя вещи». Года четыре я занимался этимъ дѣломъ и еще болѣе познакомился съ раскольническою литературою».

Вскорѣ его знанія по расколу обратили на себя вниманіе начальства, особенно когда онъ предложилъ двѣ ужасныя мѣры для искорененія раскола: 1) повсюду, гдѣ раскольники живутъ вмѣстѣ съ православными, отдавать въ рекруты первыхъ, и 2) отдавать въ кантонисты дѣтей, рожденныхъ отъ браковъ, совершенныхъ бѣглыми попами, наставниками безпоповщинскихъ сектъ или по родительскому благословенію. Эти предложенія такъ понравились въ тогдашнихъ административныхъ сферахъ, что въ 1847 г. онъ былъ приглашенъ на службу княземъ Мих. Ал. Урусовымъ, тогдашнимъ нижегородскимъ губернаторомъ, и получилъ 8-го апрѣля этого года мѣсто чиновника особыхъ порученій.



П. И. Мельниковъ.

Мы не имѣемъ нужды останавливаться подробно на продолжительной служебной дѣятельности Мельникова при пяти министрахъ. Скажемъ только въ общихъ чертахъ, что наиболѣе всего эта дѣятельность заключалась въ исполненіи предписаній начальства и командировокъ съ цѣлью преслѣдованія раскольниковъ. Кромѣ того въ 1863 году Мельниковъ исполнялъ должность редактора по внутреннему отдѣлу въ органѣ министерства — *Сѣверной почтѣ*.

Служебная дѣятельность Мельникова, нельзя сказать, чтобы оставила по себѣ свѣтлыя воспоминанія. Какъ исполнитель воли пославшихъ, онъ выказывалъ въ преслѣдованіи раскольниковъ болѣе жестокаго усердія, чѣмъ гуманности или хотя-бы законнаго безпристрастія. Такъ, мы видимъ, что даже біографъ его Усовъ, при всемъ панегирическомъ характерѣ отношенія къ Мельникову, не могъ вполнѣ оправдать дѣйствій его по отношенію къ нижегородскому книгопродавцу Головастикову, магазинъ котораго онъ посѣщалъ и пользовался собранными тамъ рѣдкими и драгоцѣнными остатками нашей

старины. Обыскъ въ домѣ и лавкѣ Головастиковой былъ произведенъ Мельниковымъ съ такой энергіей, что Головастикова обратилась съ жалобою министру, а затѣмъ сенату на «причиненіе ей убытка въ капиталѣ, на осрамленіе въ народной публикѣ ея дома и семейства, на ущербъ здоровья ея и ея дочери, на тяжкую себѣ обиду», и просила возвратить ей отобранное чиновниками у нея имущество и поступить съ ними «по точной силѣ уложенія о наказаніяхъ».

Но просьбы Головастиковой остались неудовлетворенными. «Въ эту эпоху преслѣдованія раскола,—замѣчаетъ при этомъ біографъ,—усиленныхъ розысковъ епископовъ и священниковъ австрійскаго наставленія, Мельниковъ даже въ своемъ излишнемъ усердіи при обыскѣ у Головастиковой оказался вѣроятно правымъ и предъ своимъ начальствомъ, и передъ правительствующимъ сенатомъ».

Впервые на поприщѣ беллетристики Мельниковъ выступилъ въ 1840 году когда въ № 52 *Литературной газеты* появился разсказъ его: *О томъ, кто такой былъ Эльпидифоръ Перфильевичъ и какія приготовленія дѣлались въ Чероградѣ къ его именинамъ*; подписано П. М-н-к-въ. Въ № 80 было помѣщено продолженіе этой повѣсти уже за подписью П. И. Мельниковъ. Написанная въ духѣ натуральной школы съ претензіею на юморъ и подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя, повѣсть эта была столь слаба, что авторъ самъ былъ ею очень недоволенъ и въ письмѣ къ брату писалъ: «Никогда не прощу себѣ, что я напечаталъ такую гадость; если-бы можно, я собралъ-бы всѣ листки *Литературной газеты* не только на Кубани, но и по всей Великой, Малой и Бѣлой Россіи и всѣ-бы ихъ въ печку. Я еще мало знаю людей, чтобы писать повѣсти, и даю тебѣ и себѣ честное слово не писать ни стиховъ, ни прозы до тѣхъ поръ, пока не узнаю жизнь получше».

Мельниковъ сдержалъ это слово: двѣнадцать лѣтъ не принимался за беллетристику, и лишь въ 1852 году въ № 8 *Москвитянина* появилась повѣсть его *Красильниковы*, впервые за подписью Андрей Печерскій. Повѣсть имѣла большой успѣхъ, и всѣ журналы отозвались о ней съ похвалою. Затѣмъ послѣ новаго перерыва въ пять лѣтъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* 1857 года появился разсказъ его *Старые годы*, и затѣмъ втеченіе 1857 и 1858 годовъ послѣдовалъ рядъ разсказовъ: *Поярковъ*, *Дѣдушка Поликарпъ*, *Медвѣжій уголъ*, *Непремѣнный*, *Бабушкины разсказы*. Произведенія эти упрочили извѣстность Мельникова. Самыми-же главными его шедёврами были два объемистые романа, печатавшіеся въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и вышедшіе потомъ отдѣльными изданіями *Въ лѣсахъ*:— въ 1872—73 годахъ и *На горахъ*—въ 1875 и 1880 годахъ.

Въ романахъ этихъ нечего и искать какихъ-либо художественныхъ достоинствъ, равно какъ и психологической правды. Бытъ поволжскихъ раскольниковъ, составляющій содержаніе этихъ романовъ, изображается въ нихъ съ одной внѣшней, этнографической стороны, причемъ развитіе сюжетовъ отличается тѣми придуманностью и мелодраматичностью, какія вы найдете во всѣхъ романахъ, написанныхъ не съ художественными цѣлями, а ради нагляднаго сообщенія историческихъ или этнографическихъ фактовъ. Къ тому-же оффиціально-чиновничья точка зрѣнія на раскольниковъ отразилась во многихъ мѣстахъ этихъ романовъ. Тѣмъ не менѣе по массѣ крайне интересныхъ и живыхъ свѣдѣній о жизни раскольниковъ, являющихся результатомъ

многолѣтнихъ трудовъ и наблюденій автора, романы эти представляются драгоцѣнными пособіями для изученія народнаго быта и до сихъ поръ читаются съ пользой и интересомъ.

Романомъ *На горахъ* завершилась литературная дѣятельность Мельникова. Послѣднія главы этого романа Мельниковъ, разбитый параличемъ, не могъ уже самъ дописать, а принужденъ былъ диктовать. Умеръ онъ 1-го февраля 1883 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ домѣ своемъ на Петропавловской улицѣ.

V.

Наибольшій интересъ къ изученію народнаго быта и міросозерцанія обнаружился въ славянофильскихъ кружкахъ. Здѣсь впервые началось систематическое и всестороннее изученіе народа въ истинномъ смыслѣ научное. — Началось это дѣло съ собиранія былинъ, пѣсенъ, сказокъ, пословицъ и т. п., причемъ одинъ изъ старшихъ славянофиловъ, П. Кирѣевскій, пріобрѣлъ извѣстность наиболѣе всего своими сборниками народной поэзіи. По его слѣдамъ пошли столь-же извѣстные собиратели Рыбниковъ и Безсоновъ.

Однимъ изъ наиболѣе прославившихся въ этомъ отношеніи, всю жизнь свою положившій на хожденіе въ народъ и опрощеніе ради пріобрѣтенія довѣрія мужика и сліянія съ нимъ, является Павелъ Ивановичъ Якушкинъ, личность въ высшей степени замѣчательная какъ своими сочиненіями, такъ и яркою типичностью и цѣльностью своего характера.

П. И. Якушкинъ родился въ 1820 году въ усадьбѣ Сабуровѣ, Малоархангельскаго уѣзда, Орловской губерніи, въ зажиточной дворянской семьѣ. Отецъ его, Иванъ Андреевичъ, служилъ въ гвардіи, вышелъ въ отставку поручикомъ и жилъ постоянно въ деревнѣ. Послѣ его смерти семья осталась на рукахъ матери, которая пользовалась общимъ уваженіемъ, внушаемымъ ея безконечной добротой, свѣтлымъ умомъ и сердечностью. Она владѣла въ то-же время тактомъ опытной хозяйки, и имѣнье, оставшееся послѣ мужа, не только не разстроилось, но было приведено въ наилучшее состояніе. Благодаря этому, Прасковья Фадеевна имѣла возможность воспитать шестерыхъ сыновей въ Орловской гимназіи и затѣмъ тремъ изъ нихъ (Александру, Павлу и Виктору) открыть дорогу къ высшему образованію.

Уже въ гимназіи Якушкинъ обращалъ на себя вниманіе своею мужиковатостью, небрежностью въ костюмѣ и полнымъ неумѣніемъ соблюдать интеллигентную, благопристойную и сообразную съ дворянскимъ званіемъ внѣшность. Особенно своими непослушными вихрами «убивалъ онъ господина директора», и какъ ни стригли эти вихры, они постоянно торчали во всѣ стороны къ ужасу начальства, которому непріятно было возиться съ волосами Якушкина и потому еще, что каждый разъ при постриженіи онъ «грубо оправдывался такими мужицкими словами, что во всѣхъ классахъ помирали со смѣху».

Такимъ образомъ страсть къ простонародности формировалась у Якушкина еще въ школѣ, и учитель нѣмецкаго языка Функендорфъ не иначе называлъ его, какъ *мужицка чучелка*!

Въ 1840 году Якушкинъ поступилъ въ Московскій университетъ на математическій факультетъ, слушалъ его довольно успѣшно и былъ уже на

четвертомъ курсѣ, когда знакомство съ М. П. Погодинымъ и П. В. Кирѣевскимъ перевернуло его судьбу. Узнавъ, что Кирѣевскій собираетъ народныя пѣсни, Якушкинъ записалъ одну и отправилъ къ нему съ товарищемъ, нарядившимся лакеемъ. Кирѣевскій выдалъ за эту пѣсню 15 р. асс. Якушкинъ повторилъ еще два раза этотъ опытъ и получилъ отъ Кирѣевскаго приглашеніе познакомиться. Пѣсни были неподдѣльно народныя. Чуткій къ способностямъ Якушкина, Кирѣевскій задалъ ему работу, которая пришлась ему столь по душѣ, что заставила его бросить почти оконченный курсъ: именно отправилъ его для изслѣдованія въ сѣверныя поволжскія губерніи. Якушкинъ взвалилъ на плечи лубочный коробъ, набитый офенскимъ товаромъ цѣнностью не больше десяти рублей, взялъ въ руки аршинъ и пошелъ подъ видомъ торговца-сумочника на изслѣдованіе народности и для изученія и записыванія пѣсенъ.



П. И. Якушкинъ.

И съ тѣхъ поръ всю жизнь пространствовалъ Якушкинъ, признавъ способъ пѣшаго хожденія самымъ удобнымъ и обязательнымъ для себя. Образъ странника былъ любезенъ и дорогъ ему сколько по привычкѣ, столько-же и по исключительности положенія въ средѣ народа, гдѣ страннику, захожему человѣку великъ почетъ и уваженіе. Съ особенною любовью вспоминалъ онъ и разсказывалъ о тѣхъ случаяхъ, когда его покормили молочкомъ, яичницу сдѣлали, какъ около Новгорода попалъ онъ на рыбныя тони, гдѣ отобрали ему ловцы самой лучшей крупной рыбы на уху, или въ другомъ мѣстѣ старушка дала страннику копѣечку на дорогу, какъ случалось попадать ему на большія угощенія, гдѣ его иной разъ сажали даже на почетныя мѣста въ переднемъ углу, но нигдѣ денегъ не брали.

Въ одно изъ такихъ странствій Якушкинъ заразился натуральной оспой, заболѣлъ и свалился въ первомъ попавшемся деревенскомъ углу; здоровая натура его выдержала болѣзнь, несмотря на всѣ неблагопріятныя условія, отсутствіе врача и всякой разумной и цѣлесообразной помощи. Зато лицо его было сильно изуродовано болѣзнью. Опушенное длинной бородой, при длинныхъ

волосахъ, оно иногда пугало женщинъ и дѣтей при уединенныхъ встрѣчахъ и возбуждало подозрительность въ полицейскихъ.

Присоедините къ этому необыкновенный костюмъ Якушкина, полукрестьянскій, полумѣщанскій, причемъ парадныхъ платьемъ на выходъ была черная суконная поддевка и высокіе сапоги съ напускомъ безъ галошъ; въ дорогу сверху надѣвался полушубокъ, подаренный какимъ-нибудь добрымъ пріятелемъ. Сначала водилась сумка, потомъ завелся чемоданчикъ, но былъ потерянъ и смѣнился разъ навсегда узелкомъ изъ подручнаго платка. Въ узелкѣ этомъ между бѣльемъ хранилось нѣсколько листиковъ исписанной бумаги, нечитанная книжка, карандашикъ отъ случайно подвернувшагося человѣка; на случай частное письмо редакціи *Русской Бесѣды*, предложеніе Географическаго общества, котораго онъ былъ членомъ-корреспондентомъ (удостоился серебряной медали). Паспортъ былъ давно потерянъ; потеряно было и удостовѣреніе мѣстнаго становаго объ этой потерѣ. Одинъ изъ братьевъ выхлопоталъ ему копію съ этого удостовѣренія, Якушкинъ и ее потерялъ; взята была копія съ копіи. Вотъ этотъ-то документъ и служилъ для удостовѣренія его личности. Въ этомъ заключался главный источникъ всѣхъ недоразумѣній, встрѣчавшихся съ Якушкинымъ во время странствій, непріятностей, осмотровъ, задержекъ, арестовъ и высылокъ. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ приключеній былъ надѣлавшій не мало шума арестъ Якушкина псковской полиціей въ 1859 году, и цѣлая литературная полемика, завязавшаяся между нимъ и псковскимъ полиціймейстеромъ, Гемпелемъ, по этому поводу. Въ тѣ горячіе годы протестовъ и обличеній вся пресса приняла участіе въ этой полемикѣ, и публика съ пожирающимъ интересомъ слѣдила за нею.

Находчивый, остроумный, независимый Якушкинъ не стѣснялся ни передъ кѣмъ рѣзать правду въ глаза, не боясь наживать враговъ на каждомъ шагу и не унимаясь послѣ самыхъ строгихъ взысканій. Ему нечѣмъ было дорожить, нечего терять; безсребреничество его доходило до отсутствія всякой собственности кромѣ узелка съ двумя-тремя перемѣнами бѣлья и того, что на немъ было. О денежныхъ вознагражденіяхъ за печатный трудъ онъ не условливался; довольствовался тѣмъ, что дадутъ, никогда не жаловался и не сѣтовалъ. О деньгахъ вспоминалъ лишь тогда, когда были крѣпко нужны: сквозили сапоги и промокали ноги, сползала съ головы шапка, слѣзала съ плечъ свитка, да и объ этомъ надо было ему напомнить и кому-нибудь похлопотать. Хорошо вознаграждаемый литературнымъ гонораромъ, онъ, любя угощаться, любилъ угощать, владѣлъ замѣчательною способностью терять деньги, а уцѣлѣвшія раздавать, кто въ нихъ нуждался. Умеръ онъ безъ гроша въ карманѣ и, умирая, имѣлъ полное право выговорить пользовавшему его врачу: «Припоминая все мое прошлое, я ни въ чемъ не могу упрекнуть себя».

Къ обидамъ и огорченіямъ онъ былъ мало чувствителенъ, и когда его обижали, говорилъ про обидчика:

— Стало быть такъ надо. Видно онъ лучше меня про то знаетъ, если говоритъ мнѣ прямо въ глаза.

Столь-же хладнокровно встрѣчалъ онъ неудачи, невзгоды и промахи. Когда ему старались внушить, что онъ самъ въ чемъ нибудь виноватъ, и спрашивали, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ, онъ добродушно отвѣчалъ на это: «Чтобы смѣшнѣе было». Всегда хладнокровенъ, всегда беззаботенъ, счастливъ и доволенъ собой, всегда не отъ міра сего, онъ, по мѣткому замѣчанію С. В. Максимова, «былъ

безпеченъ до того, какъ будто надѣялся жить вѣчно, а жить торопился такъ, какъ будто предстояло ему умереть завтра».

Къ друзьямъ онъ смѣло и увѣренно приходилъ во всякое время, не справляясь съ часами дня и ночи; но, придя на ночлегъ, ни зачто не ложился на предлагаемую кровать или кушетку, а располагался на полу, гдѣ-нибудь въ уголку, подложивши подъ голову полѣно.

Политика мало занимала Якушкина. Къ литературнымъ направленіямъ онъ относился съ полнымъ индифферентизмомъ, и во всѣ редакціи входилъ съ одинаковымъ добродушіемъ, не обращая вниманія на ихъ взаимную вражду. Смѣна и назначеніе новыхъ должностныхъ лицъ въ Россіи не радовали и не печалили его: онъ махалъ рукой и говорилъ: «это все едино». Формы правленія для него были безразличны—«какъ народъ похочетъ, такъ и устроится», говаривалъ онъ. Всѣ симпатіи Якушкина были на сторонѣ рабочихъ людей,—особенно батраковъ, фабричныхъ, вообще голытьбы, которую, по его словамъ, «хозяева заморить готовы, и могутъ заморить, если тѣ сами въ свой разумъ не придутъ и не узнаютъ, какъ они нужны». Идеаломъ общественнагѳ устройства была въ его воображеніи гигантская артель, вмѣщающая въ себѣ всю Россію.

При такомъ образѣ мыслей онъ не могъ ни въ какомъ случаѣ быть политически опаснымъ, тѣмъ не менѣе эксцентрическая внѣшность и невоздержность на языкъ сгубили его. Въ 1865 году на макарьевской ярмаркѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ былъ случайный съѣздъ нѣсколькихъ литераторовъ (П. И. Мельникова, В. И. Безобразова, И. А. Арсеньева, П. Д. Боборыкина и пр.), и по этому случаю тогдашній ярмарочный голова А. П. Шиповъ, человѣкъ образованный, извѣстный своею разностороннею общественною дѣятельностью и глубокими симпатіями къ литературѣ и экономическимъ наукамъ и самъ будучи авторомъ многихъ ученыхъ трактатовъ, устроилъ большой обѣдъ по подпискѣ, въ которомъ приняли участіе именитые купцы и пріѣзжіе на обѣдъ литераторы. Въ числѣ обѣдающихъ былъ и Якушкинъ. Подпивши, онъ сдѣлалъ во время рѣчи В. П. Безобразова рѣзкое замѣчаніе мѣшавшему рѣчи стукомъ ложки И. А. Арсеньеву. Затѣмъ онъ оборвалъ въ буфетѣ адъютанта, мѣстнаго жандармскаго штабъ-офицера Перфильева,—тотъ пожаловался тогдашнему ярмарочному генералъ-губернатору Огареву, представивъ Якушкина въ видѣ опаснаго, смущающаго народъ агитатора. Его арестовали и отправили въ Петербургъ, а оттуда выслали въ Орелъ къ матери. Тамъ онъ пробылъ недолго и взмолился друзьямъ своимъ: «Избавьте мать отъ меня! Сколько я могу понимать, хотѣли высылкой сюда наказать меня, но наказали мать. Войдите-же въ положеніе ни въ чемъ неповинной, честной и доброй старушки, обязанной видѣть передъ собой ежедневно потеряннаго сына».

Прошеніе его, поданное начальству объ этомъ предметѣ, было уважено: онъ былъ переведенъ изъ Орловской губерніи въ Астраханскую. Здѣсь онъ проживалъ подъ административнымъ надзоромъ въ Красномъ Ярѣ и Енотаевскѣ. Здоровье его было крайне разстроено и полною всякихъ невзгодъ и потрясеній странническою, безпріютною жизнью, и излишнимъ пристрастіемъ къ чарочкѣ. Относительно послѣдняго обстоятельства онъ могъ смѣло заявить, что споилъ его не кто иной, какъ самъ народъ, въ безчисленныхъ кабакахъ Россійской имперіи, гдѣ онъ записывалъ пѣсни, которыя трудно бывало выудить у русскаго человѣка безъ чарочки водки, но нельзя было также только поить, а не пить самому, становясь съ мужиками на равную ногу.

Смерть застигла его въ Самарѣ, въ городской больницѣ, на рукахъ извѣстнаго писателя-публициста и врача Веніамина Осиповича Португалова въ 1872 году. Умеръ онъ съ тою-же добродушною безпечностью, съ какою прожилъ всю забубенную жизнь свою, съ любимою пѣсенкою на устахъ:

Мы и пѣть будемъ, и играть будемъ,
А смерть придетъ, умирать будемъ!

Похоронила его съ почетомъ и теплыми надгробными словами небольшая горсть интеллигенціи, какая въ то время случилась въ Самарѣ.

Дѣятельность Якушкина распадается на два періода. Въ первомъ онъ является лишь собирателемъ народныхъ пѣсенъ. Пѣсни эти печатались первоначально въ *Лѣтописяхъ русской литературы и древности* (1859 года), въ сборникѣ *Утро* (1859 года) и *Отечественныхъ Запискахъ* (1860 года). Отдѣльно онѣ были изданы: 1) въ 1860 году подъ заглавіемъ *Русскія пѣсни, собранныя П. И. Якушкинымъ*, и 2) въ 1865 году подъ заглавіемъ *Народныя пѣсни изъ собранія П. Якушкина*. Сборники эти въ свое время были привѣтствованы всею литературою и оцѣнены по достоинству. Когда Якушкинъ напечаталъ свое собраніе пѣсенъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, оно сдѣлалось предметомъ цѣлой литературы. О собирателѣ явились обстоятельные и очень лестные отзывы въ *Извѣстіяхъ академіи наукъ*, въ *Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія* и пр.

Самостоятельная-же беллетристическая дѣятельность Якушкина началась въ концѣ пятидесятыхъ годовъ рядомъ путевыхъ писемъ изъ Новгородской и Псковской губ., изъ Устюжскаго уѣзда, изъ Орловской, Черниговской, Курской, Астраханской гг., печатаемыхъ въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, начиная съ 1859 года и въ 1861 году (лишь путевыя письма изъ Астраханской были напечатаны въ *Отечественныхъ Запискахъ* значительно позднѣе, именно въ 1868 и 1870 гг.). Въ 1863 г. былъ напечатанъ въ *Современникѣ* разсказъ *Великъ Богъ земли русской*; затѣмъ появились *Бунты на Руси*, очеркъ I—въ *Современникѣ* 1866 г., очеркъ II—въ *Новомъ Времени* 1880 г. *Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ*—въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1868 г., *Небывальщина*—въ *Современникѣ* 1865 г. и въ *Искрѣ* за 1864—1865 гг., *Прежняя рекрутчина и солдатская жизнь*—въ прибавленіи къ *Русскому Инвалиду* 1864 г., *Мужицкій годъ*—въ *Искрѣ* 1865 г., *Изъ разсказовъ о крымской войнѣ*—въ *Современникѣ* 1864 г.

Произведенія П. И. Якушкина представляютъ рядъ фотографій, цѣликомъ снятыхъ съ дѣйствительности во время многочисленныхъ странствій его по лицу земли русской, носятъ поэтому характеръ случайныхъ наблюденій, наскоро записанныхъ въ памятную книжку и затѣмъ получившихъ спѣшную литературную обработку. Тѣмъ не менѣе они драгоцѣнны тѣмъ, что представляютъ совершенно иное отношеніе къ народу, чѣмъ какое было до ихъ появленія. Здѣсь вы видите уже не идеализацію народа и не глумленіе надъ нимъ, а объективное и безпристрастное отношеніе наблюдателя, глубоко постигшаго народную жизнь и народное міросозерцаніе, его живую душу. При всей случайности наблюденій, изображаемые факты поражаютъ васъ своею характерностью и типичностью, и въ одномъ этомъ умѣньѣ схватывать и передавать существенное обнаруживается передъ вами знатокъ народной жизни. Вы не найдете здѣсь какихъ-либо замѣчательныхъ характеровъ и оригиналь-

ныхъ мужицкихъ типовъ; зато отлично рисуется то, что тщетно вы будете искать въ беллетристикѣ изъ народнаго быта сороковыхъ годовъ—именно собирательный голосъ народа, сливающійся въ общемъ хорѣ крестьянскаго міра. Языкъ выводимыхъ Якушкинымъ мужиковъ идеально безукоризненъ, безъ малѣйшаго слѣда утрировки или-же выраженій слишкомъ интеллигентно литературныхъ для мужика. Однимъ словомъ, съ Якушкина беллетристика изъ народнаго быта выступаетъ на совершенно новую почву, и онъ стоитъ во главѣ этого поворота если не представителемъ его, то во всякомъ случаѣ первымъ піонеромъ.

По содержанію своему разсказы Якушкина носятъ исключительно общественный характеръ, соотвѣтственный горячимъ злобамъ дня и великимъ событіямъ, во время которыхъ они появлялись. Такъ, въ разсказѣ *Великъ Богъ земли русской* собраны факты народной жизни, слухи и разговоры, предшествовавшіе крестьянской реформѣ и возбужденные ея ожиданіемъ; въ разсказѣ *Крестьянскіе бунты* изображаются недоразумѣнія и смуты, какія послѣдовали послѣ эмансипаціи; въ разсказѣ *Чисти зубы, а не то мужикомъ назовутъ* изображено вліяніе на крестьянъ бюрократо-полицейскихъ порядковъ, въ какіе облечено данное имъ послѣ освобожденія самоуправленіе, и т. д.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

I. Беллетристы-народники изъ разночинцевъ и внесеніе ими новаго духа въ изображенія изъ народнаго быта. Θедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ и его дѣтство.—II. Юность Рѣшетникова до пріѣзда въ Петербургъ.—III. Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни. *Подлиповцы* и прочія его сочиненія. — IV. Александръ Ивановичъ Левитовъ. Факты и обстоятельства его жизни. — V. Сравненіе Левитова съ Рѣшетниковымъ. *Степные очерки* Левитова.—VI. Характеръ и содержаніе послѣдующихъ его произведеній. — VII. Николай Ивановичъ Наумовъ. Его жизнь и сочиненія.

I.

По мѣрѣ того, какъ образованіе распространялось въ массахъ общества и центръ умственнаго движенія перешелъ изъ дворянской среды въ разночинскую, въ литературныхъ сферахъ къ концу пятидесятыхъ годовъ, какъ мы говорили уже, произошелъ большой наплывъ новыхъ силъ изъ разночинцевъ. Эти новыя силы, подчиняясь духу времени, еще съ большею энергіею, чѣмъ писатели старшаго поколѣнія, принялись за изученіе народа, вмѣстѣ съ тѣмъ внесли совершенно новый духъ въ беллетристику изъ народнаго быта и обусловили своимъ появленіемъ новый періодъ ея развитія.

Правда, со стороны художественныхъ формъ, техники, произведенія беллетристовъ-разночинцевъ представляютъ шагъ назадъ по сравненію съ произведеніями беллетристовъ сороковыхъ годовъ, значительно уступая имъ въ стройности, законченности, умѣньѣ заинтересовать читателя и приковать его вниманіе и т. п. Они представляются по большей части неоконченными, необработанными, неуклюжими очерками, эскизами, набросками, иногда безъ всякаго сюжета и фабулы, хаотическими нагроможденіями сырыхъ матеріаловъ.

Этотъ регрессъ въ техническомъ отношеніи обусловливался многими причинами. Болѣе всего дѣйствовало то обстоятельство, что въ большинствѣ разночинцы учились на мѣдныя деньги и являлись на литературное поприще самоучками, не получившими правильнаго и систематическаго литературнаго образованія и едва грамотными; но и впослѣдствіи они не имѣли возможности развивать свои таланты и вырабатывать изящныя формы. Всѣмъ имъ приходилось вѣчно бороться съ нищетою и спѣшить работою, не имѣя времени не только художественно отдѣлывать написанное, но и перечитывать его. Едва написавши двѣ-три первыя главы разсказа, авторъ несъ ихъ уже въ редакцію журнала, чтобы заручиться авансомъ, а тамъ работа прерывалась то болѣзнью, то цензурными условіями, и произведеніе оставалось неоконченнымъ, забываясь для новыхъ столь-же неудачныхъ попытокъ.

Тѣмъ не менѣе отъ произведеній молодыхъ беллетристовъ-разночинцевъ повѣяло совсѣмъ инымъ духомъ, и въ нихъ мы видимъ отношеніе къ народу, до того времени небывалое. Вы не найдете уже здѣсь ни излишней идеализаціи народа, ни глумленія надъ нимъ, ни этнографо-бюрократической сухости оффиціальнаго изученія народа, ни плаксивой сентиментальности; васъ поражаетъ трезвая, нелицепріятная правда,—результатъ глубокаго знанія внутреннихъ основъ народной жизни семейной и общественной. Видно, что авторы близко стояли къ народу, и не только наблюдали его жизнь, но отчасти и сами ее переживали.

Беллетристика этого рода представляетъ въ свою очередь два періода. Въ первомъ періодѣ, втеченіе шестидесятыхъ годовъ, жизнь народа разсматривалась преимущественно по отношенію ея къ другимъ слоямъ общества; главное вниманіе обращалось на политико-экономическія и соціальныя условія народнаго быта, на необезпеченность народныхъ массъ, безправность ихъ и эксплоатацію со стороны всякаго рода проходимцевъ. Во второмъ-же періодѣ, втеченіе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, главное вниманіе начали обращать на внутреннія основы крестьянскаго быта, на его вѣковѣчные устои въ видѣ общины и на идеалы, составлявшіе существенное отличіе деревенскаго человѣка отъ городского.

Въ первомъ періодѣ изъ всѣхъ беллетристовъ-народниковъ наиболѣе выдаются три писателя: Ѳедоръ Михайловичъ Рѣшетниковъ, Александръ Ивановичъ Левитовъ и Николай Ивановичъ Наумовъ.

Ѳ. М. Рѣшетниковъ родился въ Екатеринбургѣ, Пермской губерніи, 5-го сентября 1841 года. Отецъ его сначала былъ дьячкомъ, затѣмъ, женившись на дочери дьякона, поступилъ въ почтальоны, но жилъ съ женою плохо, испивая горькую чашу, такъ что, когда братъ его переѣхалъ въ Пермь съ семействомъ, мать Рѣшетникова вскорѣ ушла къ нимъ. Въ Пермь она пришла во время страшнаго пожара и такъ была этимъ испугана, что заболѣла и умерла; девяти мѣсячный мальчикъ остался на попеченіи дяди и тетки; отца-же своего Рѣшетниковъ въ первый разъ увидѣлъ уже десяти лѣтъ отъ роду.

Родственники, на рукахъ которыхъ остался сирота, были люди крайне бѣдные, угнетенные ярмомъ каторжной службы по почтовому вѣдомству, и нравы царили у нихъ грубые и звѣрскіе. Рѣшетниковъ-же съ первыхъ дней дѣтства оказался мальчикомъ бойкимъ, веселымъ, рѣзвымъ, впечатлительнымъ. Желая ему добра, родственники начали немедленно-же выбивать изъ него эту рѣзвость. Въ автобіографической повѣсти *Между людьми* Рѣшетниковъ

подробно и обстоятельно рисуетъ свое дѣтство, и мы видимъ, что его билъ всякій, кто хотѣлъ и считалъ нужнымъ. Дядя принесъ лубочную картинку и сталъ разсматривать; мальчикъ потянулъ ее къ себѣ и разорвалъ пополамъ. «За это дядя меня такъ ударилъ, что я ударился головой объ полъ, изо рта пошла кровь». Каждый разъ, когда онъ брался за «священную исторію», кар-



Ѳ. М. Рѣшетниковъ.

тинки которой привлекали его, онъ непремѣнно получалъ ударъ этой-же книжкой въ голову. Чтобы отдѣлаться отъ нея, онъ засунулъ ее въ печку; книгу вытащили, «но за это — говоритъ Рѣшетниковъ—дядя долго дралъ меня ремнемъ». Вздумаетъ онъ чистить сапоги дядѣ и старается до тѣхъ поръ, пока тетка не выхватитъ изъ рукъ его щетки и не ударитъ ею по головѣ... «Песъ», «ножевое востріе», «балбесъ», «безрогая скотина»—такъ и сыпались на него со всѣхъ сторонъ, иначе его не называли. Такое обхо-

жденіе развило неукротимую злость въ мальчикѣ, и онъ началъ мстить своимъ гонителямъ въ выдумываніи удивительнѣйшихъ мерзостей: то засунетъ въ квашню или кадку съ водою дохлую кошку, то измажетъ въ грязи развѣшанное сушиться бѣлье, вытащитъ кранъ изъ самовара, забросить его черезъ заборъ, и самоваръ распаяется, и т. п. Онъ сдѣлался божескимъ наказаніемъ цѣлому двору, всеобщимъ врагомъ, и ему не было другого имени, какъ «воръ», «поганая рожа»; его вихры, уши и щеки сдѣлались общимъ достояніемъ; били и ругали его всѣ, и онъ ругалъ всѣхъ, запускалъ каменьями, кусался, билъ враговъ «по лицу» и не уставалъ изобрѣтать имъ новыя пытки.

Въ 1851 году, десяти лѣтъ, Рѣшетникова отдали въ бурсу, и къ битью воспитателей и сосѣдей прибавилось битье школьное. Переносить все это стало невозможнымъ, и мальчикъ рѣшился бѣжать. Онъ ушелъ на колокольню и просидѣлъ на ней весь день, а на ночь убѣжалъ на рѣку и тамъ ночевалъ. «Поутру,—говоритъ Рѣшетниковъ,—я ходилъ какъ помѣшанный отъ голоду». Въ какомъ-то рыбачьемъ шалашѣ нашелъ онъ пол-ковриги хлѣба, взялъ его себѣ, а въ лодкѣ провертѣлъ дыру, распласталъ неводъ, обрѣзалъ нѣсколько удочекъ. Затѣмъ сѣлъ въ чью-то чужую лодку и сталъ грести вверхъ, но силы были слабы, лодку несло внизъ и прибило къ берегу. Тутъ его настигла погоня: вслѣдъ за мѣщаниномъ, набросившимся на него и начавшимъ его тузить по чему попало, явилась цѣлая флотилія бурсаковъ. Его связали и безжалостно поволокли въ бурсу, награждая палочными ударами. По возвращеніи-же въ бурсу бѣглецу была задана такая баня, послѣ которой онъ пролежалъ два мѣсяца въ лазаретѣ.

Какъ только вышелъ Рѣшетниковъ изъ лазарета, опять бѣжалъ. На этотъ разъ онъ отправился на Мотовиловку, — заводъ, отстоящій отъ Перми верстъ за три. Бурсацкій сюртукъ свой онъ бросилъ въ воду, чтобы не узнали, вымазалъ лицо, рубашку, панталоны и пошелъ по заводскимъ кабакамъ и домамъ просить Христа-ради. Долго онъ шатался между рабочими, которые давали ему кровъ и кормили его. «Много,—говоритъ онъ,—увидѣлъ я здѣсь хорошаго: мнѣ такъ понравилась простота ихняя, что я хотѣлъ на всю жизнь остаться у нихъ». Но какъ человѣкъ бродящій, безъ пристанища, попалъ онъ къ нищимъ, которые насильно таскали его съ собою, заставляли плясать, поили водкой. Бывали минуты, когда онъ кричалъ и просилъ встрѣчныхъ, чтобы кто-нибудь спасъ его отъ нихъ, но никто не давалъ помощи. «И Богъ знаетъ, что было-бы со мною,—вспоминаетъ онъ,—если-бы не спасла меня одна женщина». Женщина эта, часто бывавшая у дяди въ городѣ, узнала бѣглеца и привела домой. «Дѣло извѣстное, что было послѣ этого»,—заканчиваетъ Рѣшетниковъ исторію этого послѣдняго побѣга, намекая на неизбѣжное дранье.

Послѣ этого онъ болѣе не покушался на побѣги. На него напала полная апатія, равнодушіе ко всему, и къ наукѣ, и къ поркѣ. Онъ словно окаменѣлъ, и теперь, когда приходила пора порки, заботился лишь отдѣлаться тѣмъ, что старался стать въ концѣ шеренги, предназначенной къ сѣченью; потому что къ концу ея сторожъ уставалъ, или-же давалъ сторожу гривенникъ, который зарабатывалъ, занимаясь въ почтовой конторѣ составленіемъ крестьянскихъ писемъ, что тоже не мало помогло ему узнать народный бытъ. Отъ учителей онъ отдѣлывался своего рода взятками: отправлялъ даромъ, благодаря дядѣ, письма, доставлялъ письма на домъ, а главное таскалъ для нихъ тайкомъ съ почты газеты, но за это обстоятельство очень дорого пришлось ему поплатиться. Таская

газеты и конверты, онъ по прочтеніи ихъ учителями имѣлъ обыкновеніе забрасывать ихъ черезъ сосѣдній заборъ въ снѣгъ; бывали случаи, что онъ со страху забрасывалъ туда пакеты, не разсматривая и не читая ихъ, и въ числѣ такихъ-то нечитанныхъ пакетовъ забросилъ одинъ весьма важный манифестъ 1855 года. Дѣло было нешуточное, виновника разыскали, передали формальному суду. Дѣло тянулось два года и кончилось тѣмъ, что Рѣшетникова сослали въ Соликамскій монастырь на покаяніе.

II.

Трехмѣсячное пребываніе Рѣшетникова въ монастырѣ очень печально отразилось въ жизни его. Онъ быстро сошелся съ монахами и подружился съ ними тѣмъ скорѣе и тѣснѣе, что они не били его, не оскорбляли за прошлое, относились къ нему, какъ къ равному, и даже смотрѣли, какъ на человѣка болѣе развитого, чѣмъ они. Но нравы въ монастырѣ были распущенные. «Въ Соликамскѣ,—говоритъ Рѣшетниковъ,—я въ одну недѣлю позналъ нечестіе монаховъ, какъ они пьютъ вино, ругаются, ѣдятъ говядину, ходятъ по ночамъ, ломаютъ ворота». Подъ конецъ пребыванія въ монастырѣ Рѣшетниковъ съ каждымъ днемъ все болѣе привязывался къ своимъ новымъ знакомымъ. «И такъ я чудно и весело проводилъ время съ монахами — говоритъ онъ;—они меня поили пивомъ, и я часто приходилъ домой пьянымъ. Да и всѣ меня любили сердечно, и я тоже питалъ свою любовь къ нимъ. Иногда обѣдалъ и спалъ въ кельяхъ. Словомъ, очень весело я проводилъ время съ доброю братіею и въ особенности тогда, какъ пили пиво». По словамъ-же Рѣшетникова, пиво это обыкновенно настаивалось на табакѣ. Къ такому чисто адскому напитку привыкалъ шестнадцати-лѣтній мальчикъ, и вотъ уже когда положено было начало той болѣзни, которая свела Рѣшетникова въ преждевременную могилу.

Курьезнѣе всего, что рядомъ съ пристрастіемъ къ вину Рѣшетниковъ вынесъ изъ монастыря аскетизмъ и мистицизмъ мрачнаго свойства и долго находился подъ ихъ вліяніемъ; доходило дѣло до того, что онъ мечталъ даже покончить жизнь въ монастырѣ. Когда дядя въ шутку сказалъ ему, что женитъ его на одной дѣвушкѣ, которая ему нравилась, Рѣшетниковъ писалъ въ своихъ замѣткахъ по этому поводу: «я не могу взять за примѣръ женщинъ, и не могу соблазниться примѣромъ ихъ. Богъ знаетъ, что я имѣю усердіе къ Его великой церкви и въ вѣкъ буду стремиться къ Его церкви, и будетъ время когда я уйду въ монастырь въ уединеніе и тамъ буду молиться Небесной Невѣстѣ, Пресвятой Богородицѣ и Приснодѣвѣ Маріи».

Втеченіе 1857 и 1858 годовъ онъ только и дѣлалъ, что читалъ книги духовнаго содержанія и предавался благочестивымъ размышленіямъ какъ въ письмахъ къ друзьямъ, такъ и въ своихъ замѣткахъ. Жилъ онъ между тѣмъ снова въ домѣ дяди. Отдали его опять въ то-же училище и снова въ первый классъ; его уже не били, но и нельзя сказать, чтобы обращались съ нимъ ласково. Въ 1859 году родные его переѣхали въ Екатеринбургъ, гдѣ дядя получилъ мѣсто помощника почтмейстера. Рѣшетниковъ помѣстился на частной квартирѣ. Оставшись на свободѣ, онъ какъ будто ожилъ; вмѣсто разсужденій о непостижимомъ, въ запискахъ идутъ живые очерки лицъ, съ которыми ему пришлось

жить, описанія городскихъ происшествій, пожаровъ (во время пожаровъ въ Перми въ 1859 году онъ нанимался по ночамъ караулить дома, за что получалъ 20 коп., и нажилъ отъ этой работы рубль двадцать копѣекъ). На досугѣ-же онъ ѣздилъ рыбачить за Каму, гдѣ съ простымъ народомъ проводилъ цѣлыя ночи. «Часто въ это время, — говоритъ Рѣшетниковъ, — случалось, что я, сидя въ лодкѣ, глядѣлъ куда-нибудь въ даль; глаза останавливались, въ головѣ чувствовалась тяжесть и вертѣлись слова: какъ же это? отчего это? И въ отвѣтъ — ни одного слова. Очнешься—и плюнешь въ воду. Начнешь удить и думаешь: ахъ, если-бы я былъ богатъ, я-бы накупилъ книгъ много, много... Я-бы все выучилъ»...

25-го іюля того-же года Рѣшетниковъ кончилъ курсъ уѣзднаго училища и «получилъ аттестатъ съ отличными, хорошими, а изъ ариѳметики и геометріи достаточными успѣхами», послѣ чего онъ отправился къ дядѣ въ Екатеринбургъ и опредѣлился въ уѣздный судъ (29-го іюня 1859 года) съ жалованьемъ по 3 р. въ мѣсяцъ. Продолжая жить въ домѣ дяди, Рѣшетниковъ въ свободныя минуты началъ пописывать, и первыми произведеніями его были: стихотворная поэма *Приговоръ* въ трехъ частяхъ и драма въ шести дѣйствіяхъ то-же стихами *Палачъ*. Оба эти первыя произведенія, конечно до послѣдней степени слабыя, носятъ еще сильные задатки мистицизма.

Въ 1860 г. Рѣшетниковъ получилъ мѣсто въ томъ-же уѣздномъ судѣ помощникомъ столоначальника чернорабочаго стола. Это обстоятельство сдѣлало его болѣе самостоятельнымъ, и въ то-же время онъ созналъ сразу всю свою отвѣтственность. «Мнѣ страшно казалось,—разсказываетъ онъ,—рѣшать участь человѣка, и я сталъ читать бумаги и дѣла, заглядывать въ разныя мѣста, читалъ разныя копіи, реэстры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывалъ дежурнымъ, то рылся вездѣ, гдѣ не заперто, узналъ здѣсь многое».

Такимъ образомъ Рѣшетниковъ пополнилъ свое знакомство съ народомъ, узнавъ изъ канцелярскихъ бумагъ всю подневольность простого человѣка и зависимость его отъ мелкаго начальства, и у него тогда уже возникло стремленіе приносить этому народу пользу посредствомъ литературнаго труда. Сильное вліяніе на Рѣшетникова въ этомъ отношеніи оказалъ одинъ мастеровой екатеринбургскаго монетнаго двора. Онъ очень любилъ Рѣшетникова, знакомилъ его съ бытомъ рабочаго человѣка, совѣтывалъ ему жить честно, не якшаться съ пьянчужками и взяточниками. Освободившись подъ этими вліяніями совсѣмъ отъ своего мистицизма, Рѣшетниковъ началъ писать произведенія обличительнаго характера, каковы были: *Черное озеро*, *Дѣловые люди* и пр., въ бумагахъ его не сохранившіяся.

По мѣрѣ того какъ въ Рѣшетниковѣ укрѣплялось сознаніе, что съ помощью своихъ писаній онъ можетъ сдѣлать полезное, уѣздный судъ и Екатеринбургъ стали ему надоѣдать, и у него явилось неодолимое стремленіе уѣхать въ Пермь и тамъ служить: тамъ можно читать книги, тамъ у него школьные товарищи, тамъ наконецъ проживала та самая дѣвушка, которою онъ два года назадъ «не хотѣлъ соблазниться», а теперь, избавившись отъ аскетизма, снова любилъ такъ, какъ любилъ еще ребенкомъ.—Но не малаго труда стоило ему переѣхать въ Пермь и устроиться тамъ; пришлось выдержать тяжелую и долгую борьбу съ дядей; затѣмъ въ Перми долго не давали ему мѣста, чему сильно препятствовали съ одной стороны то, что онъ былъ нѣкогда подъ су-

домъ, а съ другой—его обличительныя сочиненія, слухъ о которыхъ распространился по Перми, такъ какъ *Черное озеро* онъ посылалъ въ *Пермскія губернскія вѣдомости*.

Лишь въ іюнѣ 1861 года онъ добился мѣста канцелярскаго служителя Казенной палаты. «Меня посадили,—пишетъ Рѣшетниковъ,—въ регистратуру. Вся моя работа не умственная, а машинная, состоитъ въ записываніи входящихъ бумагъ, надпискахъ на конвертахъ, отправляемыхъ изъ палаты, и печатаніи ихъ. Эта работа обременительна одному и при полученіи пяти или шести рублей жалованья кажется вдвое обременительной. Для ума-же никакой пищи».

Какую нищету терпѣлъ онъ во все время пребыванія въ Перми, мы можемъ судить по слѣдующему, относящемуся къ тому времени, бюджету его: «за квартиру 1 р. 50 к. На говядину, 30 ф. по 3 к. за фунтъ,—.90 коп. Хлѣба на 60 коп. и молока на 60».—«Буду жить,—замѣчаетъ онъ,—какъ Богъ велѣлъ». Терпя такую нужду, Рѣшетниковъ переживалъ въ то-же время свою первую любовь къ той дѣвушкѣ, о которой мы выше говорили. Любовь эта конечно была несчастна. Дѣвушка нашла жениха болѣе обезпеченнаго, и Рѣшетникову осталось погрузиться всецѣло въ литературный трудъ, что онъ и не замедлилъ сдѣлать. Въ Перми у него нашлось нѣсколько судей его литературныхъ трудовъ и совѣтчиковъ: какой-то сослуживецъ Т. и редакторъ губернскихъ вѣдомостей П., которые все болѣе и болѣе направляли его на тотъ путь, на который онъ выступилъ въ своихъ *Подлиповцахъ*. Такъ, въ это время онъ написалъ разсказъ изъ заводской жизни, подъ заглавіемъ *Скрипачъ*, и драму *Раскольникъ*. Правда, драма эта была написана еще стихами, и въ ней являлись еще слѣды монастырскаго мистицизма, но здѣсь вы встрѣчаете массу типовъ недовольныхъ людей изъ простонародья и рабочаго класса; заводскіе нравы, которымъ отдано въ драмѣ двѣ-трети мѣста, изображены ярко, правдиво. Въ побужденіяхъ, руководящихъ этимъ народомъ въ побѣгахъ съ завода въ лѣсъ къ раскольнику,—все реально, просто, безъ малѣйшей примѣси чего-нибудь изъ области сверхъестественнаго; словомъ, Рѣшетниковъ впервые является здѣсь тѣмъ, чтó онъ есть.

Послѣ неудачи въ любви пусто и одиноко стало Рѣшетникову въ Перми, и онъ началъ помышлять о Петербургѣ. Въ переселеніи въ столицу большое содѣйствіе оказалъ ему пріѣхавшій въ Пермь ревизоръ, у котораго онъ занимался на дому перепискою бумагъ. Ревизоръ полюбилъ его и, цѣня какъ хорошаго писца и способнаго чиновника, обѣщалъ перевести въ Петербургъ, чтó и исполнилъ въ слѣдующемъ году. Весною 1863 года Рѣшетниковъ получилъ письмо отъ своего благодѣтеля съ разрѣшеніемъ ѣхать и обѣщаніемъ мѣста, и въ началѣ августа 1863 года онъ былъ уже въ Петербургѣ.

III.

Въ Петербургѣ въ свою очередь Рѣшетникову долго пришлось мыкать горе. Хотя по протекціи ревизора онъ и получилъ занятія въ одномъ изъ департаментовъ министерства финансовъ, но жалованья ему пришлось получать всего 9 рублей. Жилъ онъ въ каморкѣ рядомъ съ кабакомъ, и чтобы какъ-нибудь сводить концы съ концами, сталъ писать небольшіе очерки въ *Сѣверную пчелу*. Платили ему за нихъ мало и неаккуратно. Одинъ изъ сослу-

живцевъ, братъ литератора и потому нѣсколько знакомый съ литературнымъ дѣломъ, надоумилъ его снести только-что написанныхъ *Подлиповцевъ* въ редакцію *Современника*. Рѣшетниковъ такъ и сдѣлалъ, присоединивъ къ рукописи письмо къ Некрасову, въ которомъ между прочимъ писалъ:

«Такихъ людей, какъ подлиповцы, въ настоящее время еще очень много не только въ Чердынскомъ уѣздѣ, Пермской губ., мѣстности самой глухой и дикой, но и въ смежной съ нею—Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этихъ бѣдняковъ, потому что я 20 лѣтъ провелъ на берегу рѣки Камы, по которой весной мимо Перми плывутъ тысячи барокъ и десятки тысячъ бурлаковъ,— я задумалъ написать бурлацкую жизнь, *съ цѣлью хоть сколько-нибудь помочь этимъ бѣднымъ труженикамъ*. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь въ этомъ очеркѣ невозможное для пропуска. По моему, написать все это иначе —значитъ говорить противъ совѣсти, написать ложь... Наша литература должна говорить правду... Вы не повѣрите, я даже плакалъ, когда передо мной очерчивался образъ Пилы во время его мученій».

Напечатанные въ №№ 3 и 4 *Современника* за 1864 годъ, *Подлиповцы* сразу обратили на себя вниманіе публики и открыли молодому писателю доступъ во всѣ редакціи. Читатели *Современника* съ пожирающимъ интересомъ прочитали этотъ неуклюжій, тяжелый по формѣ разсказъ, написанный дубовымъ, топорнымъ языкомъ, состоящимъ сплошь изъ коротенькихъ, обрывистыхъ фразъ. Ужасомъ преисполнились сердца всѣхъ народолюбцевъ при видѣ поразительныхъ картинъ нищеты подлиповцевъ, ихъ упорной борьбы съ голодною смертью и невыносимыхъ страданій. Никто не воображалъ, что въ нѣдрахъ богоспасаемой Россіи могли существовать дикари, подобно неграмъ Сѣверо-Американскихъ штатовъ обращенные во вьючный скотъ. Между тѣмъ разсказъ подкупалъ своею правдивостью. Передъ читателями былъ не опытный, хитроумный художникъ, которому ничего не стоитъ и присочинить ради эффекта, а безыскусственный самоучка, едва справляющійся съ литературными формами и языкомъ, пишущій лишь для того, чтобы объявить всенародно, какъ страдаютъ подлиповцы, и помочь имъ этимъ кличемъ. И дѣйствительно, вышло нѣчто въ русской литературѣ небывалое: не повѣсть, не разсказъ, къ какимъ публика привыкла, а въ полномъ смыслѣ протоколъ. Хотя и слышались въ каждой строкѣ тѣ затаенныя слезы, о которыхъ писалъ Рѣшетниковъ Некрасову, тѣмъ не менѣе авторъ ни малѣйшаго усилія не обнаружилъ, чтобы разжалобить читателей этими слезами. До послѣдней строки онъ остался невозмутимо спокоенъ, сухъ и лакониченъ, будто разсказывалъ о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, ни мало не трагическихъ.

Рѣшетниковъ написалъ впродолженіе своей литературной дѣятельности два толстые тома, содержащіе 124 листа компактной печати. И всѣ эти разсказы отличаются однимъ и тѣмъ-же характеромъ: такъ-же они неуклюжи, растянуты, исполнены мелкихъ, иногда совершенно ненужныхъ деталей, и потому тяжелы въ чтеніи, и всѣ заключаютъ въ себѣ неизмѣнно одно и то-же содержаніе: какъ голодаютъ, холодаютъ, терпятъ всевозможныя мытарства, обиды и оскорбленія бѣдные люди, пробивая себѣ дорогу къ обезпеченію хотя-бы самому скудному. Наиболѣе выдающимися изъ всѣхъ этихъ произведеній являются: *Ставленикъ*, *Между людьми*, *Глумовы*, *Гдѣ лучше? Свой хлѣбъ*.— Повѣсть *Между людьми* носитъ характеръ, какъ мы уже говорили, автобіографическій; здѣсь авторъ разсказалъ всю свою жизнь и особенно дѣтскіе годы со всѣми ихъ обстоятельствами. Въ романѣ *Свой хлѣбъ* въ свою очередь разсказана, по словамъ самого Рѣшетникова, жизнь одного очень близкаго ему лица. Принимая во вниманіе это непосредственное списываніе съ дѣйствитель-

ности со всѣми подробностями и безъ малѣйшихъ ухищреній, можно смѣло сказать, что Рѣшетниковъ былъ болѣе истиннымъ протоколистомъ, чѣмъ французскіе натуралисты. Это былъ грубый и необработанный самородокъ, непосредственно цѣльный, какъ въ произведеніяхъ, такъ и въ жизни. Тяжкія обстоятельства наложили на него неизгладимую печать, съ которою онъ сошелъ и въ могилу.

«Онъ былъ угрюмъ,—говоритъ его біографъ Гл. Ив. Успенскій, — неразговорчивъ, необщителенъ, порою грубъ... Отъ всѣхъ онъ сторонился, смотрѣлъ волкомъ, ко всему и всѣмъ былъ подозрителенъ; рѣдко-рѣдко добродушная улыбка освѣтитъ это угрюмое лицо... Никакихъ блестящихъ фразъ онъ не говорилъ, а если принимался разсказывать что-нибудь, то рѣчь его касалась всегда предметовъ наиобыденнѣйшихъ, была длинна, расплывалась въ мелочахъ и утомляла тѣмъ болѣе, что Рѣшетниковъ говорилъ монотонно, «себѣ подъ носъ», не выпуская изъ зубъ коротенькой трубочки, отъ его каждое слово отдѣлялось паузой. Наблюдатель уходилъ ни съ чѣмъ, чтобы потомъ, при появленіи новаго произведенія Ѳ. М., удивляться по прежнему смѣшенію въ этомъ «совершенно обыкновенномъ человѣкѣ» великаго и малаго»...

Подобно тому какъ въ своихъ сочиненіяхъ Рѣшетниковъ былъ не художникомъ, а словно добровольнымъ ходакомъ по народнымъ дѣламъ, такъ и въ самую жизнь онъ старался вносить то же участіе къ народу и заботы объ оказаніи ему всяческой помощи.

«Въ бумагахъ Ѳ. М.,—говоритъ біографъ его,—мы нашли много подлинныхъ доказательствъ этой истинной любви къ человѣку. Вотъ записки о какомъ-то пропавшемъ мальчикѣ съ обозначеніемъ примѣтъ, выписанныхъ изъ газеты на случай, не удастся-ли найти его; вотъ ненапечатанная статья о дурной пищѣ чернорабочихъ, старающаяся кого-то убѣдить, что простому народу нуженъ свѣжій воздухъ, и т. д. Между этими бумагами особенно интересно прошеніе, адресованное Ѳ. М — чемъ къ спб. оберъ-полицій-мейстеру. Въ прошеніи этомъ Рѣшетниковъ разсказываетъ слѣдующее: вздумалось ему пойти однажды въ концертъ; прочитавши афишу и не замѣтивъ, что она вчерашняя, старая, онъ отправился въ дворянское собраніе, гдѣ вѣроятно въ это время происходило уже что-нибудь другое. Городовой не пустилъ Ѳ. М. въ подъѣздъ; онъ пошелъ въ другой—и тамъ не пустили, «прогнали прочь», по собственному его выраженію. Ѳ. М. разсердился и отвѣтилъ, на него прикрикнули:—Куда ты лѣзешь? кто ты такой?— «Мастеровой!» отвѣчалъ Ѳ. М. Результатомъ такого отвѣта было то, что Рѣшетниковъ ночевалъ въ части, откуда вышелъ весь избитый, безъ денегъ и кольца. «Довожу объ этомъ до свѣдѣнія вашего п-ства,—писалъ онъ въ прошеніи.—Я ничего не ищу. Я только объ одномъ осмѣливаюсь утруждать васъ, чтобы пристава, квартальные, ихъ подчаски и городовые не били народъ... Этому «народу» и такъ придется много получить всякой всячины»...

Жизнь его значительно улучшилась послѣ пріобрѣтенія литературной извѣстности. Онъ вскорѣ женился на одной своей землячкѣ, такъ-же, какъ и онъ, круглой сиротѣ, прибывшей въ Петербургъ на *свой хлѣбъ*. Онъ имѣлъ теперь средства и досугъ для пополненія крайне недостаточнаго образованія. Изъ оставшихся послѣ смерти его бумагъ и записокъ видно, что ни на одну минуту не покидало его желаніе научиться, развить себя. Онъ читалъ книги, дѣлалъ изъ нихъ извлеченія. Но часы его недолгой жизни были уже сосчитаны. Губительный порокъ, пріобрѣтенный имъ въ монастырѣ, ежедневно подтачивалъ его силы, и тщетно боролся онъ съ нимъ: съ каждымъ днемъ онъ все болѣе и болѣе захватывалъ несчастнаго въ свои когти. 9-го марта 1871 г. Рѣшетниковъ умеръ на тридцатомъ году жизни отъ отека легкихъ, оставивъ послѣ себя жену и двоихъ дѣтей.

IV.

Александръ Ивановичъ Левитовъ былъ родомъ тамбовецъ. Отецъ его былъ бѣдный сельскій священникъ. Родился Левитовъ въ 1842 году, и дѣтство его

прошло въ бѣдной и убогой обстановкѣ, ничѣмъ не отличавшейся отъ обстановки любого крестьянина средняго достатка. Изъ массы воспоминаній о дѣтскихъ годахъ, разсѣянныхъ въ сочиненіяхъ Левитова, мы видимъ, что дѣтство его протекло тоскливо, монотонно и однообразно, какъ только могло оно протечь въ степной деревенской глуши, въ домѣ сельскаго попа. Только и было отраднаго въ этой жизни, что обаяніе южной степной природы, положившей глубокій, неизгладимый слѣдъ на всю жизнь и дѣятельность Левитова. «Дѣти раздольныхъ полей,—вспоминаетъ Левитовъ свое дѣтство въ одномъ изъ своихъ очерковъ,—мы всегда убѣгали отъ грустныхъ матерей нашихъ въ поля или на улицы, гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про колотушки, которыми такъ тщетно заставляли насъ забывать про эти обѣды». Изъ всѣхъ сосѣднихъ сельскихъ ребятишекъ особенно подружился Левитовъ съ одной дѣвочкой, которая такъ къ нему привязалась, что они жить не могли другъ безъ друга и поклялись даже вступить въ законный бракъ, когда выростутъ большіе.



А. И. Левитовъ.

«Отецъ принялся между прочимъ учить меня грамотѣ,—разсказывалъ Левитовъ,—которая особенно потому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни разлучала меня съ дѣвочкой. Я безполезно проводилъ мучительно длинные и жаркіе лѣтніе дни, сидя надъ азбукой и тоскуя о знакомомъ огородѣ. Его веселье, его трава и плетень, раскаленное солнцемъ небо, покрывавшее его, представлялись мнѣ гораздо виднѣе, чѣмъ всѣ эти азбучные азы и титлы; а черномазая дѣвочка съ своими длинными волосами, съ ясными, всегда такъ нѣжно смотрѣвшими глазами, бѣгавшая по этому огороду, окончательно затемняла глаза мои, такъ что они очень плохо знакомились съ раскрашенными яркою краскою картинами въ священной исторіи, которыми отецъ хотѣлъ пріохотить меня къ грамотѣ».

Послѣ цѣлаго ряда руготни и истязаній отецъ мальчика, видя, что безъ дѣвочки ученье не идетъ въ голову сына, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъ его подругу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что очень скоро они, по собственному сознанію отца, и читать, и писать стали не въ примѣръ лучше его. Отъ «Ста четырехъ священныхъ исторій» съ картинами они перешли къ «Четьи-Минеи».

«Цѣлый годъ,—повѣствуетъ Левитовъ,—кажется, у насъ не было другого разговора, какъ только о пріобрѣтеніи мученическаго вѣнца. Различные примѣры мучениковъ и мученицъ закалили наши головы страстнымъ истомлявшимъ желаніемъ идти куда-нибудь и прославить святое имя Христово по всѣмъ широкимъ концамъ земнымъ. Сонныя видѣнія наши были не что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ «Четьи-Минеи». Но «Четьи-Минея» была скоро прочитана. Еще намъ откуда-то досталъ отецъ божественныхъ книгъ. Однажды услышалъ наши разговоры дьяконскій сынъ, семинаристъ... Какъ теперь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ читать, была *Графъ Монтекристо*. Послѣ «Монтекристо» мы перечитали всѣ историческія сказки Дюма, а потомъ семинаристъ, пріѣхавъ черезъ годъ уже на лѣтнія вакаціи, началъ читать вмѣстѣ съ нами Галахова «Христома-

тію». Онъ терпѣливо и охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее дѣло. Горько плакали мы въ это время надъ *Басурманомъ*, весело смѣялись съ Киршей, а потомъ, когда пришла пора, семинаристъ объяснилъ намъ мучительную прелесть Пушкина и мрачно-величавое уныніе Лермонтова».

Такимъ образомъ Левитовъ представляется въ своемъ дѣтствѣ крайне болѣзненнымъ и нервно-впечатлительнымъ ребенкомъ, съ богатымъ воображеніемъ, развитымъ подъ обаяніемъ южной природы и возбужденнымъ фантастическими грезами подъ вліяніемъ чтенія «Четьи-Минеи» и слушанія сказокъ, легендъ и повѣрій, которыми въ обиліи была преисполнена среда, окружавшая мальчика. Въ играхъ съ сверстниками онъ не былъ запѣвалой и предводителемъ. Отсутствіе физическихъ силъ вмѣстѣ съ пламенною экзальтаціей и грезами о всевозможныхъ мученическихъ вѣнцахъ дѣлали его въ глазахъ здоровыхъ, сильныхъ и реально мыслящихъ степныхъ мальчугановъ не то блаженненькимъ, не то баричемъ. Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, прозывали не иначе, какъ дворянчикомъ, и все это въ дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣмена мрачнаго ожесточенія противъ людской неправды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощному. Уѣздная бурса и губернская семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе, составлявшее впослѣдствіи главный элементъ поэзіи Левитова.

Уѣздное духовное училище и семинарія оставили въ Левитовѣ тѣмъ болѣе мрачное воспоминаніе, что онъ постоянно былъ впродоженіе ученія между двухъ огней: товарищи колотили его за то, что, тщедушный, слабый, онъ не былъ въ состояніи давать сдачи, а также изъ зависти къ необыкновеннымъ его успѣхамъ; наставники-же ненавидѣли его за то, что «были лишены всякой возможности представить вниманію гг. ревизоровъ болѣе представительнаго и красиваго премьера».—Лишь по прошествіи двухъ лѣтъ пребыванія его въ семинаріи горизонтъ жизни Левитова прояснѣлъ, когда онъ подружился съ однимъ своимъ товарищемъ. «Мы,—повѣствуетъ Левитовъ,—сострoили себѣ изъ двухъ нашихъ маленькихъ физическихъ силъ одну, о которую разбивались всѣ остальныя, а нравственныя силы къ намъ обоимъ сами пришли».

Друзья начали зачитываться Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ, Диккенсомъ, Теккереемъ. Это чтеніе имѣло тѣ послѣдствія, что на семнадцатомъ году Левитовъ покинулъ семинарію, будучи на философскомъ отдѣленіи, и рѣшился отправиться въ Москву, въ университетъ. За неимѣніемъ средствъ ему пришлось совершить это путешествіе въ пятьсотъ верстъ пѣшкомъ. Придя въ Москву, онъ началъ слушать лекціи въ университетѣ и готовиться къ вступительному экзамену. Онъ попалъ въ Москву и въ университетъ въ самое горячее время общественнаго оживленія передъ реформами. Послѣ семинарской каторги началась для него жизнь въ студенческомъ кружкѣ, полная надеждъ, мечтаній, горячихъ споровъ и разумнаго чтенія. Выдержавши вступительный экзаменъ, Левитовъ не остался въ Московскомъ университетѣ, а перебрался въ Петербургъ, гдѣ вступилъ въ Медико-Хирургическую академію. Здѣсь жизнь его потекла такъ-же дѣятельно, разумно и оживленно, какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческими занятіями онъ отдавалъ весь досугъ свой чтенію и изученію русскихъ и иностранныхъ поэтовъ и беллетристовъ. Но печальный случай измѣнилъ все: Левитовъ былъ запутанъ въ какія-то исторіи, исключенъ изъ академіи и очутился на далекомъ сѣверѣ—въ Шенкурскѣ, потомъ—въ Вологдѣ.

Шенкурская и вологодская эпохи тяжело отразились на всей жизни Леви-

това. Вдали отъ интеллигентныхъ центровъ, въ борьбѣ съ нищетою, среди уѣзднаго общества, тонувшаго въ матеріализмѣ, Левитовъ окончательно ожесточился, одичалъ и сжился съ тѣми низкими слоями общества, изобразителемъ жизни которыхъ онъ является. Въ то-же время скука, праздность, лишенія и уныніе вмѣстѣ съ заразительнымъ примѣромъ окружавшей среды развили въ немъ тотъ порокъ (пьянство), задатки котораго были положены уже во время семинарской жизни.

Если можно добромъ помянуть этотъ періодъ его жизни, то развѣ за то, что въ это время онъ серьезно приступилъ къ литературнымъ трудамъ, и уже въ Шенкурскѣ были начаты имъ *Степные очерки*, а съ переѣздомъ въ Вологду онъ въ состояніи былъ окончить нѣкоторыя изъ начатыхъ работъ и послать въ Москву, въ редакцію одного журнала. Въ 1861 году Левитовъ возвратился въ Москву по обыкновенію пѣшкомъ, безъ гроша денегъ. Чтобы не умереть съ голоду и продолжать дальнѣйшее путешествіе, онъ принужденъ былъ останавливаться въ селеніяхъ, нанимался писать въ волостныхъ правленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику въ недѣлю. Такъ онъ дошелъ до Москвы.

Съ 1861 года начинается дѣятельное участіе его въ литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала въ журналахъ: *Зритель*, *Развлеченіи*, *Русской рѣчи*, потомъ—во *Времени*, *Современникѣ*, *Библіотекѣ для Чтенія*, *Искрѣ*, *Недѣлѣ* и др. Къ этому-же времени относится и личное знакомство его съ литераторами, напримѣръ съ Ап. Григорьевымъ, который привѣтствовалъ его появленіе на литературное поприще и поощрялъ начинавшій талантъ.

Дальнѣйшая жизнь Левитова носитъ все тотъ-же скитальческій характеръ. Это была не жизнь въ истинномъ смыслѣ этого слова, а непрестанное маяніе и постепенное угасаніе. Литературный трудъ плохо обезпечивалъ бѣднягу. Къ тому-же онъ обзавелся семьею, чѣмъ еще болѣе отягчилъ и безъ того нерадостную жизнь. Можно положительно сказать, что человѣкъ этотъ никогда не зналъ, что̀ значитъ имѣть свой домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя-бы самую убогую. Онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ странникомъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ маленькій чемоданчикъ, и съ этимъ чемоданчикомъ скитался по меблированнымъ комнатамъ, столичнымъ чердакамъ и подваламъ. Онъ не могъ не только примкнуть къ одному изданію и сдѣлаться постояннымъ его сотрудникомъ, но и укорениться въ одной изъ столицъ: поживетъ въ Москвѣ годикъ, другой, а то нѣсколько мѣсяцевъ, и начинаетъ тяготиться московскою жизнью: «здѣсь все начинаетъ плѣснѣвѣть,—говоритъ онъ раздраженно своимъ близкимъ,—тутъ сдѣлаешься или пошлякомъ, или сопьешься...» Ѣдетъ въ Петербургъ; тамъ въ сущности то-же самое: подвальчики, чердачки, борьба съ нищетою, да еще къ тому и убійственный климатъ, подъ вліяніемъ котораго у Левитова ожесточается кашель, начинается кровохарканье, грудныя боли; онъ ѣдетъ опять въ Москву поправиться съ силами, отдохнуть, повидаться съ знакомыми. А въ Москвѣ ждетъ его все та-же убогая, сырая, холодная комната въ захолустьѣ и тоскливое одиночество вмѣстѣ съ проклятіями смрадной, удушливой физической и нравственной атмосферы столичной жизни и тщетными порываніями степняка въ родной край, на широкій и вольный просторъ благоухающихъ степей. Такъ жестоко страдалъ, томился и вянулъ степной цвѣтокъ, оторванный отъ родной почвы и непригрѣтый въ

суетѣ столичной жизни. Тоска по родинѣ и тщетныя порыванья въ родной край «на наслѣдственную полосу» проходятъ по всѣмъ сочиненіямъ Левитова.

«Я усталъ,—говорилъ онъ однажды собрату своему по перу, Нефедову: — мнѣ необходимъ отдыхъ. Здѣсь, въ Москвѣ, или въ Петербургѣ объ этомъ нечего и думать... Довольно будетъ ужъ съ меня *столицій*-то: слава Богу, въ загривокъ-то достаточно таки онѣ наклали мнѣ... Ахъ, братъ, на родину какъ тянетъ, еслибы ты зналъ!.. Стариковъ моихъ вживѣ ужъ нѣтъ—не хватило у нихъ силъ, мочи, перенести горе; мой Шенкурскъ убилъ и отца, и мать. Такъ и не привелось видѣться со стариками.. Теперь остались только сестра и братъ. Хоть-бы на нихъ взглянуть!»

Не въ силахъ будучи, за неимѣніемъ средствъ, попасть на родину и желая быть къ ней хоть поближе, онъ началъ хлопотать о мѣстѣ уѣзднаго учителя въ Ряжскѣ. «Ряжскъ,—говорилъ онъ,—вѣдь это уже почти что моя родина: отъ Ряжска до Козлова—по желѣзной дорогѣ, а тамъ рукой подать—мое село». Съ большими мытарствами и трудомъ досталъ себѣ это мѣсто Левитовъ, но не долго пробылъ на немъ: въ августѣ 1866 года уѣхалъ изъ Москвы, а въ декабрѣ писалъ уже Нефедову: «много ошибокъ и безтактныхъ вещей дѣлалъ я на своемъ вѣку, но, говоря по совѣсти, онѣ положительно блѣднѣютъ передъ такой великой глупостью, какъ мое поступленіе учителемъ въ Ряжскъ». На рождественскихъ праздникахъ Левитовъ снова былъ уже въ Москвѣ. Также неудачна была попытка его посѣтить родину и въ 1870 году. Въ іюнѣ этого года онъ писалъ Нефедову: «Ѣду на родину. Наконецъ-то сбылись мои давнишнія мечты и желанія: я увижу родину!» Но, пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ ней, и вмѣсто родины ему пришлось поселиться близъ Ваганьковскаго кладбища, въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и лилъ сквозь крышу дождь, и опять пошла жизнь, полная страданій и лишеній.

Посѣтивъ въ послѣдній разъ Петербургъ въ 1871 году, Левитовъ затѣмъ безвыѣздно провелъ послѣдніе годы въ Москвѣ. Зимою онъ проживалъ гдѣ-нибудь у Драгомиловскаго моста въ подвалѣ или у Ваганьковскаго кладбища; лѣтомъ переселялся въ какую-нибудь подгородную деревню и Петровское-Разумовское. Здоровье его медленно, но замѣтно уходило; кашель сталъ повторяться чаще и чаще. Литературныя его работы шли тихо; лучшая вещь, написанная имъ за послѣдній періодъ, помѣщена въ журналѣ *Грамотей* и носитъ заглавіе *Аховскій Посадъ*. Главнымъ, если не единственнымъ, средствомъ къ жизни служило ему въ эти годы изданіе его сочиненій. Съ начала 1875 года онъ началъ быстро худѣть; зловѣщій кашель мучилъ его, и онъ часто жаловался на боль въ груди.

И умереть (въ ночь со 2-го на 3-е января 1877 г.) пришлось ему, какъ умираютъ бездомные и безпріютные странники, закинутые въ чужедальнюю сторону: въ казенно-черствой обстановкѣ университетской клиники.

V.

Приступая теперь къ характеристикѣ произведеній Левитова, мы можемъ употребить тотъ-же сравнительный методъ, которымъ руководствовались при опредѣленіи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, тѣмъ болѣе, что въ настоящемъ случаѣ методъ этотъ самъ какъ-бы напрашивается, обѣщая привести насъ къ богатымъ результатамъ. Въ самомъ дѣлѣ: трудно представить себѣ двухъ писателей, которые, будучи однородными по предмету своихъ произведеній,—

изображенію народа,—представляли-бы такую полную противоположность относительно характера своихъ талантовъ, какъ Рѣшетниковъ и Левитовъ. Рѣшетниковъ является типомъ сѣвернаго писателя: холодный, сдержанный, лаконичный, онъ не скупится на внѣшнія детали изображаемой дѣйствительности, порою совершенно тонетъ въ нихъ, забывая о сути дѣла, но въ то-же время идеально объективенъ; даже въ автобіографическихъ своихъ произведеніяхъ онъ съумѣлъ объективировать самого себя и разсказываетъ самыя потрясающія и ужасающія событія своей жизни съ невозмутимой флегмой обрусѣлаго финна. Слогъ его сухъ и сжатъ; ни малѣйшаго художественнаго аксессуара, яркаго эпитета или смѣлаго сравненія не найдете у него, ни малѣйшаго лирическаго одушевленія или подъема, ни одной картины природы или изображенія женской красоты.

Левитовъ наоборотъ представляетъ собою типъ южнаго беллетриста по яркости колорита, преобладанію живой, пламенной, прихотливой фантазіи, страстности, лиричности и крайней субъективности. Слогъ его музыкальностью, пѣвучестью, принимающею въ лирическихъ и патетическихъ мѣстахъ почти стихотворные размѣры, напоминаетъ слогъ Гоголя: такіе-же безконечно-длинные и закрученные періоды, уснащенные массою картинныхъ и затѣйливыхъ эпитетовъ, метафоръ и уподобленій. Въ то-же время одною изъ самыхъ рѣзкихъ, бросающихся въ глаза особенностей Левитова представляется страсть къ олицетвореніямъ мертвой природы: ни одного очерка не обходится у Левитова безъ того, чтобы у него не переговаривались между собою или даже съ героями стулья, столы, диваны, самовары и пр. Въ одномъ очеркѣ онъ олицетворяетъ старое бревно, лежавшее у кабака въ степномъ селѣ, въ образѣ пропившагося, обнищалаго старичонки и заставляетъ это бревно произносить цѣлые монологи о кабачныхъ посѣтителяхъ, садившихся на немъ калякать между собою, а подъ конецъ бревно это, возмутившись сценами, происходившими возлѣ кабака, «приподнялось съ земли, гнѣвно засверкало впалыми глазами и заговорило столь грозно, что дорожная пыль отъ говора того яростно кружившимися столбами къ небу взвилась и всего его затуманила». Въ другомъ-же мѣстѣ *(Вѣрное средство отъ разоренія)* разговариваютъ между собою мраморныя статуи на лѣстницѣ купеческаго дома въ Москвѣ, произнося сатирическіе монологи о грубости и дикости купеческихъ нравовъ.

Самая форма произведеній Левитова не представляетъ и тѣни чего-либо строго-обдуманнаго, правильно-расположеннаго, стройнаго. Они не подходятъ ни къ одному извѣстному виду беллетристики; это—безформенныя лиро-эпическія импровизаціи. Каждая такая импровизація, носящая названіе повѣсти, разсказа, очерка, представляетъ разноцвѣтный калейдоскопъ образовъ, воспоминаній, мыслей и воплей наболѣвшей души. Все это въ пестромъ хаосѣ тѣснится, словно спѣша и едва поспѣвая другъ за другомъ и смѣняясь съ такою-же капризною произвольностью, какъ смѣняются сны или грезы въ горячечной головѣ. Съ большими обиняками добирается обыкновенно авторъ до главнаго предмета своего повѣствованія, и много ему нужно сначала выпустить переполняющихъ голову образовъ и впечатлѣній, чтобы наконецъ добраться. Всѣ эти обиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой цѣли, съ той-же непроизвольностью, съ какой въ головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣняются другими, занося его иногда не вѣсть въ какую область. Левитову напримѣръ хочется изобразить горе сапожника или отставного солдата, но

начинаетъ онъ рѣчь съ самого себя, изображая свою особу въ видѣ бездомнаго горемыки Ивана Сизого (обычный его псевдонимъ), и вотъ онъ разсказываетъ, какъ этотъ Иванъ Сизой идетъ поздно ночью по улицамъ московскаго захолустья, тонетъ въ сугробахъ и разговариваетъ въ хмельномъ чаду съ едва мигающими фонарями. Передъ вами развертывается картина этого хмельного чада, проносятся образы одни другихъ мрачнѣе, рядъ разъѣдающихъ думъ, сѣтованій, и вдругъ среди этой страшной мглы словно блеснетъ яркій лучъ солнца и развернется въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лѣтъ степная картина, блещущая яркими красками и отраднымъ, теплымъ колоритомъ; далѣе – опять мракъ, снѣжные сугробы, свинцовыя грезы бѣлой горячки, а на слѣдующей-же страницѣ передъ вами внезапно раздается молодой, бойкій, раскатистый хохотъ надъ какимъ-нибудь смѣшнымъ движеніемъ или выраженіемъ героя, и вся страница обливается мѣткимъ, сильнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ простодушно-веселымъ юморомъ. Однимъ словомъ, Левитовъ никогда не заботился ни о строгомъ планѣ, ни о размѣрахъ и соотвѣтствіи частей своего произведенія, а отдавался всецѣло на волю своей прихотливой фантазіи, не зная заранѣе, куда она его занесетъ.

Что касается содержанія произведеній Левитова, то понятно, что человѣкъ, проживщій жизнь такъ безотрадно, какъ онъ, испытавшій такъ много горя и слезъ, долженъ былъ наибольшее вниманіе обращать на мрачныя стороны жизни и особенно близко принимать къ сердцу горе ближнихъ, чутко отзываться на каждый стонъ людскихъ страданій. И дѣйствительно, это мы и видимъ въ произведеніяхъ Левитова. Онъ вполнѣ справедливо озаглавилъ одно изъ изданій своихъ очерковъ: *Горе селъ, деревень и городовъ*. Въ самомъ дѣлѣ, въ лицѣ Левитова мы видимъ пѣвца народнаго горя во всѣхъ его многообразныхъ видахъ: горя нищеты, семейнаго раздора, невѣжества, грубости нравовъ и суевѣрій, обманутыхъ ожиданій и неудавшейся жизни, безпомощнаго сиротства и безчеловѣчнаго надруганья грубой силы надъ слабостью и пр., и пр. Словомъ, это то самое горе-злосчастье, которое народъ воспѣваетъ въ своихъ пѣсняхъ, олицетворяя его въ видѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до могилы и отъ котораго некуда схорониться доброму молодцу: ни въ пескахъ сыпучихъ, ни въ лѣсахъ дремучихъ.

Подобно тому какъ Гоголь, пріѣхавши изъ Малороссіи, во время первыхъ лѣтъ своего скитальчества по Петербургу и труднаго пробиванія дороги въ грусти по родинѣ писалъ свои *Вечера на хуторѣ*, такъ и Левитовъ первыя свои произведенія посвятилъ изображенію жизни родного края, о которомъ вспоминалъ въ шенкурской глуши, и результатомъ этихъ воспоминаній были *Степные очерки*. Эти лучшія произведенія Левитова блещутъ особенно яркимъ, поэтическимъ колоритомъ: они изобилуютъ описаніями красотъ степной природы, малѣйшихъ подробностей жизни обитателей степей, всѣхъ ихъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрій и суевѣрій. Массы личныхъ воспоминаній дѣтства разсѣяны по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкій обходится безъ изображенія дѣтей, играющихъ по степнымъ лугамъ и лѣсамъ и живущихъ одной жизнью съ окружающей природой. Каждая мелкая черточка выведена съ горячей, нѣжной любовью и блещетъ слезами надрывающей тоски бобыля, заброшеннаго въ чужедальнюю сторону.

Общее-же впечатлѣніе, какое вы выносите изъ *Степныхъ очерковъ*, сводится все къ тому-же горю, которое одно только и видитъ Левитовъ во всей

его окружающей жизни. Повсюду передъ вами льются слезы непокрытой нищеты и горькаго покинутаго сиротства; повсюду какая-нибудь безжалостная сила ломается надъ беззащитной слабостью, и на каждомъ шагу гибнетъ чья-нибудь молодая, только-что расцвѣтающая жизнь. Передъ вами проходитъ рядъ возмутительныхъ, иногда кровавыхъ драмъ, и болѣе всего ужасаетъ и леденитъ ваше сердце, что всѣ эти драмы вовсе не имѣютъ въ основѣ своей какую-бы то ни было роковую, систематическую борьбу: передъ вами развертывается картина дикаго, чисто средневѣкового неустройства, въ которомъ главную роль играютъ то слѣпой и безмысленный случай, то такіе невмѣняемые факторы, какъ суевѣрія, грубость нравовъ и культуры и т. п. Вы видите, что въ этой средѣ ничья жизнь, ничье благосостояніе не обезпечены; никто не можетъ поручиться, что завтра-же не грянетъ гроза, если не со стороны злыхъ вороговъ въ образѣ людей, то со стороны звѣрей, вродѣ волка, который съѣстъ ребенка, и всего ужаснѣе, что гроза эта разражается нежданно-негаданно изъ-за самыхъ повидимому ничтожныхъ поводовъ.

VI.

Заплативши дань родинѣ *Степными очерками*, Левитовъ выразилъ впечатлѣнія своей скитальческой жизни по меблированнымъ комнатамъ, чердакамъ и подваламъ обѣихъ столицъ въ рядѣ очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1874 года подъ названіемъ *Горе селъ, дорогъ и городовъ* (выдающіеся очерки этого изданія: *Безпечальный народъ*, *Петербургскій случай*, *Фигуры и тропы о московской жизни*, *Московскія уличныя картины*, *Шоссейный домъ* и пр.) и въ изданіи 1875 г.—подъ заглавіемъ *Жизнь московскихъ закоулковъ*.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ другой категоріей сочиненій Левитова, рѣзко отличающихся отъ степныхъ разсказовъ. Какъ ни много мрачныхъ красокъ собрано въ *Степныхъ очеркахъ*, но онѣ все-таки смягчаются нѣсколько обаяніемъ степной природы и присутствіемъ цѣльныхъ, сильныхъ и положительныхъ характеровъ, на которыхъ отдыхаетъ сердце ваше. Порою авторъ какъ бы на время совершенно забываетъ о народномъ горѣ, увлекаясь какими-нибудь воспоминаніями дѣтства, бытовыми подробностями или юмористическими сценами. Когда же вы приметесь читать *Жизнь московскихъ закоулковъ*, вы должны припоминать извѣстную надпись на вратахъ Дантова ада: «оставь за собой всякую надежду».

Начать съ того, что вмѣсто юноши, исполненнаго нѣжной тоски по родинѣ, изъ-за каждой страницы выглядываетъ на васъ съ злобной саркастической улыбкой и съ непрерывными проклятіями на устахъ ожесточенный голякъ, утратившій всѣ надежды въ своей неудавшейся жизни. Онъ словно на зло съ зубовнымъ скрежетомъ спѣшитъ набрасывать картины одна другой мрачнѣе, чудовищнѣе и безнадежнѣе и въ то-же время какъ будто тщеславится своей одинокой безучастной нищетой, отрепьями и безпробуднымъ пьянствомъ. Рѣдкій очеркъ этой категоріи обходится безъ того, чтобы авторъ на первомъ-же планѣ не выставилъ самого себя голоднымъ, безпріютнымъ, шагающимъ по московскимъ и петербургскимъ улицамъ въ холодъ и непогоду въ рваномъ пальтишкѣ и непремѣнно изъ кабака въ кабакъ.

Здѣсь мы имѣемъ дѣло тоже съ народнымъ горемъ, но это не то горе *Степныхъ очерковъ*, которое идетъ размыкаться въ степь и успокоивается на лонѣ ласкающей природы, разливается въ звучной пѣснѣ на все село или находитъ исходъ въ кельѣ Божьей невѣсты, послушницы. Это горе безвыходно и безучастно задыхается въ смрадѣ столичныхъ заднихъ дворовъ и сырыхъ подваловъ; стоны и вопли его безслѣдно исчезаютъ въ шумѣ и гамѣ столичной суеты. Единственный исходъ находитъ оно въ рядѣ безобразныхъ оргій, сопровождаемыхъ неистовыми взвизгиваніями, бѣшеною пляскою трепака и кровавою потасовкою въ мутномъ чаду похмелья. Поэтому очерки этой категоріи представляютъ нескончаемый рядъ мрачныхъ картинъ кабачныхъ попоекъ и потасовокъ и являются какъ-бы спеціально посвященными изображенію народнаго пьянства. Созерцаніе этого пьянства вмѣстѣ съ личнымъ участіемъ въ немъ словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ жизни и поэзіи Левитова. «Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ,—говоритъ онъ въ очеркѣ *Крымъ*,—ежели вамъ это понравится; но вѣдь я зачѣмъ пришелъ въ Крымъ? Я пришелъ въ Крымъ съ той цѣлью, чтобы смотрѣть цѣлую ночь многоразличные виды нашего русскаго горя; чтобы, смотря на эти виды, провесть всю ночь въ болѣзненномъ нытьѣ сердца, не могущаго не сочувствовать сценамъ людского паденія, чтобы скоротать эту ночь, молчаливо бѣснуясь больной душой, которая видитъ, что и она такъ-же гибнетъ, какъ гибнетъ здѣсь столько народа».

Въ личностяхъ, выводимыхъ въ этихъ очеркахъ, вы не найдете уже тѣхъ непосредственно цѣльныхъ характеровъ, какіе проходятъ передъ вами въ *Степныхъ очеркахъ*. Это все люди надломленные, перемолотые и стертые до полной безличности въ мытарствахъ столичной жизни, искаженные иногда до потери всякаго человѣческаго образа, опустившіеся до чудовищнаго разврата. О Левитовѣ нельзя сказать, чтобы онъ льстилъ народу, идеализировалъ его: онъ изображалъ непосредственно то, что̀ видѣлъ, глубоко сочувствуя народу и скорбя за него въ его вынужденномъ обстоятельствами паденіи.

Какъ на особенно замѣчательные очерки по изображенію наиболѣе страшныхъ трущобныхъ типовъ и самыхъ сокровенныхъ подонковъ столичныхъ омутовъ слѣдуетъ указать на очерки: *Крымъ*, *Грачевка*, *Безпечальный народъ*, *Не сѣютъ—не жнутъ*, *Шоссейный домъ*. Всѣ эти очерки обличаютъ въ Левитовѣ знатока народной жизни въ такихъ ея непроницаемыхъ столичныхъ трущобахъ, куда кромѣ него не приходилось заглянуть ни одному еще наблюдателю народныхъ нравовъ. Ничего подобнаго этимъ очеркамъ вы не найдете въ нашей литературѣ. Будь они болѣе тщательно обработаны въ техническомъ отношеніи и не столь растянуты, ихъ можно было-бы причислить къ числу первостепенныхъ произведеній русской литературы, хотя и въ настоящемъ видѣ они представляются вполнѣ своеобразными и замѣчательными явленіями ея.

Субъективный элементъ въ очеркахъ этой категоріи присутствуетъ въ бо̀льшихъ размѣрахъ, чѣмъ въ *Степныхъ очеркахъ*. Встрѣчаются очерки, въ которыхъ элементъ этотъ преобладаетъ и стоитъ на первомъ планѣ. Изъ нихъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ авторъ не ограничивается однимъ изображеніемъ народнаго горя, а дѣлаетъ сопоставленія нравовъ и понятій, господствующихъ въ народной средѣ, съ гуманными высокими идеалами, выработанными въ авторѣ высшимъ образованіемъ. Подобныя сопоставленія отличаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, переходящимъ въ мрачное отчаяніе при видѣ того, какъ идеалы автора разбиваются о грубую и грязную

дѣйствительность, полную мрака и невѣжества. Таковы: *Фигуры и тропы о московской жизни* или *Счастливые люди*. Въ этихъ очеркахъ въ образѣ самого автора рельефно выступаетъ передъ вами типъ беллетристовъ-народниковъ шестидесятыхъ годовъ, представителемъ которыхъ является Левитовъ. Вышедши изъ народа, вынеся на своихъ плечахъ его страданія и живя до конца дней своихъ непосредственно его жизнью, беллетристы эти не идеализировали народъ, не возводили его на пьедесталъ, не искали въ немъ особенныхъ, невѣдомыхъ міру идеаловъ и считали «неотразимымъ вздоромъ» туманныя фантазіи народниковъ-славянофиловъ вродѣ Ап. Григорьева, олицетворенныхъ Левитовымъ въ типѣ учителя въ очеркѣ *Счастливые люди*. Это сознаніе «неотразимаго вздора» происходило конечно изъ того реальнаго опыта, который открылъ беллетристамъ-народникамъ всѣ вѣковыя язвы, всю вѣковую грязь, которыя въѣлись въ народъ подъ вліяніемъ тяжкихъ условій его жизни втеченіе многихъ столѣтій!.. Но дорого стоило имъ это трезвое сознаніе: увидя народъ не такимъ, какимъ-бы хотѣлось его видѣть и какимъ представляли его предшественники ихъ, беллетристы-народники исполнились глубокою, безъисходною скорбію о всѣхъ его язвахъ и страданіяхъ; дѣйствительность ошеломила ихъ и обезкуражила. Въ уныніи и отчаяніи опустили они руки, тоскливо восклицая: «во что-же послѣ этого вѣрить?.. Къ кому идти? Куда преклонить голову? Что дѣлать?..» И они окончательно спивались, находя единственное утѣшеніе въ забвеніи вина и смерти.

VII.

Николай Ивановичъ Наумовъ родился 16 мая 1838-го года въ Тобольскѣ. Отецъ его былъ сынъ дьякона изъ села Самарова, Березовскаго округа; служилъ сначала въ городѣ Омскѣ прокуроромъ, а потомъ — въ Томскѣ совѣтникомъ губернскаго правленія. Что было большою рѣдкостью въ тѣ времена, да еще въ Сибири, — человѣкъ онъ былъ безукоризненной честности, чему былъ обязанъ благотворному вліянію на него декабристовъ, въ кружокъ которыхъ онъ попалъ въ молодости. Вслѣдствіе этой честности главы семья всегда жила въ страшной бѣдности. Матери Наумовъ лишился семи лѣтъ, и послѣ смерти ея росъ одинокимъ, заброшеннымъ ребенкомъ, не имѣя товарищей, не зная дѣтскихъ игръ. Любимымъ его времяпрепровожденіемъ было уходить вечеромъ въ темную комнату и, забившись въ уголокъ, слушать вой зимней вьюги. Читать мальчика научила еще мать съ пяти лѣтъ. Вся библіотека его въ это время заключалась въ басняхъ Крылова, которыя мальчикъ читалъ съ утра до ночи, пока не выучилъ наизусть. Первою книгою послѣ басенъ, которую онъ прочелъ, былъ «Юрій Милославскій» Загоскина, который увлекъ его до такой степени, что былъ прочитанъ пять разъ, и, благодаря блестящей памяти, многія мѣста онъ выучилъ наизусть. Затѣмъ, пристрастясь къ чтенію, онъ началъ читать все, что ни попадалось подъ руки: и *Еруслана Лазаревича*, и *Гуака*, и «Четію-Минею», и Библію, и «Исторію» Карамзина. Восьми лѣтъ онъ уже зналъ наизусть чуть не всего Пушкина. Но это пристрастіе къ чтенію не обошлось мальчику дешево: отъ неподвижной жизни и сидѣнія за книгой съ утра до ночи у него испортилось пищевареніе и разлилась желчь. Позванъ былъ врачъ, и мальчику было запрещено чтеніе. Тогда онъ прибѣгъ къ хитрости: наворовавъ у старухи-няньки огарковъ отъ сальныхъ свѣчъ, онъ уходилъ будто-бы спать, а самъ, когда въ домѣ все засыпало, принимался за свое любимое занятіе.

Но лучшею школою, обратившею вниманіе мальчика на страданія народа, была сама жизнь.

«Судьбѣ угодно было,—разсказываетъ онъ въ своихъ воспоминаніяхъ о дѣтствѣ (любезно сообщенныхъ имъ намъ спеціально для этой книги), — чтобы съ самаго ранняго дѣтства я видѣлъ однѣ только печальныя картины человѣческихъ страданій. Домъ нашъ въ г. Омскѣ выходилъ окнами на площадь передъ крѣпостнымъ валомъ. Лѣтомъ обыкновенно въ 11 часовъ утра на этой площади производили ученіе солдатамъ, и тутъ-же ихъ сѣкли и розгами, и палками, и шомполами отъ ружей. Далеко разносились крики терзаемыхъ жертвъ. На этой-же площади гоняли сквозь строй и солдатъ, и преступниковъ. Я и теперь безъ содроганія не могу вспомнить этихъ сценъ. Я плакалъ, забивался въ подушки, чтобы не слышать барабаннаго боя и раздирающихъ душу криковъ. По ночамъ со мною часто дѣлался послѣ подобныхъ картинъ жаръ и бредъ, и меня укладывали иногда на нѣсколько дней въ постель. Когда меня отдали въ ученье къ учителю Ксенофонту Трифоновичу (фамиліи его не помню), онъ былъ унтеръ-офицеръ и учитель полубатальона кантонистовъ,—здѣсь я опять видѣлъ тѣ-же картины страданій этихъ несчастныхъ дѣтей-кантонистовъ, которыхъ сѣкли безчеловѣчно за самые ничтожные проступки, напримѣръ за оторвавшуюся у куртки пуговицу, морили голодомъ и т. п.

«Въ эти ранніе годы я, хотя безсознательно, сталъ уже ненавидѣть всякое насиліе. Много мнѣ способствовалъ къ развитію этой ненависти жившій у насъ въ кучерахъ сосланный въ Сибирь по волѣ помѣщика старикъ Памфилъ. Это былъ добрый, умный и честный крестьянинъ Тамбовской губерніи. Онъ былъ крѣпостной человѣкъ Тютчева, былъ избранъ въ своемъ селѣ въ старосты. Міръ уполномочилъ его идти къ барину въ Питеръ съ жалобой на злоупотребленія и притѣсненія управляющаго, и за это онъ былъ наказанъ 500 ударами розогъ и сосланъ въ Сибирь. Онъ жилъ у насъ около 20 лѣтъ. Памфилъ былъ мастерской разсказчикъ. Рѣчь его была плавная, образная, пересыпаемая пословицами, остротами, прибаутками. Я заслушивался его разсказами о житьѣ-бытьѣ крестьянъ, о нагломъ насиліи и произволѣ, какіе совершаютъ надъ ними помѣщики, обирая у крестьянъ послѣднее для того, чтобы проживать и проигрывать въ карты. Сцены изъ его разсказовъ, какъ отрывали дѣтей у отца и матери, продавая ихъ другому помѣщику или проигрывая ихъ въ карты, производили на меня потрясающее впечатлѣніе».

Наумову шелъ 9-й годъ, когда отца его перевели на службу въ Томскъ. По пріѣздѣ туда мальчика отдали въ гимназію. Онъ вошелъ въ гимназію весьма развитымъ ребенкомъ сравнительно съ сверстниками и съ первыхъ же дней пріобрѣлъ не только любовь товарищей, но и неограниченную власть надъ ними. Онъ увлекалъ ихъ, разсказывая имъ все прочитанное. Когда какой-нибудь учитель не приходилъ въ классъ, дверь въ классѣ запиралась, ученики садились по мѣстамъ, Наумова торжественно сажали на учительское кресло и просили разсказать что-нибудь. Въ классѣ водворялась мертвая тишина, и Наумовъ принимался разсказывать эпизодъ изъ прочитаннаго имъ разсказа или изъ исторіи, и нужно было видѣть, какъ эти шалуны, постоянно наказываемые учителями за невниманіе и шалости во время уроковъ, жадно слушали все, что говорилось имъ. Это подверждается еще съ большею обстоятельностью г. Ядринцевымъ въ его «Воспоминаніяхъ о Томской гимназіи» (см. *Спб. Сборн.* 1888 г., выпускъ I.)

«У насъ,—говоритъ онъ,— былъ любимецъ товарищъ, Николай Ивановичъ Наумовъ, впослѣдствіи замѣчательный беллетристъ и писатель. Будучи развитѣе другихъ, онъ много читалъ и обладалъ даромъ разсказывать, —*Королева Марго, Монсаръ, Три Мушкатера* составляли канву его разсказовъ, но такъ-же увлекательно онъ разсказывалъ иногда и историческія событія изъ прочитаннаго имъ аббата Милота. Когда надоѣдало «давить масло», мы садили его на столъ и цѣлымъ классомъ его слушали. Тогда среди буйной толпы слышно было, какъ пролетитъ муха. Мнѣ приходилось жалѣть впослѣдствіи, что наши наставники не обладали этимъ секретомъ сосредоточивать вниманіе».

Но немного вынесъ Наумовъ изъ гимназіи при плохомъ составѣ педагогическихъ силъ ея. Къ тому-же онъ не пошелъ далѣе третьяго класса. Отецъ его въ это время вышелъ въ отставку съ 20 рублями въ карманѣ. Онъ раз-

считывалъ скоро получить пенсію, но выдача ея затянулась на три года, и три года семья принуждена была терпѣть ужасающую нищету. Часто приходя изъ гимназіи голодный, мальчикъ не имѣлъ чего поѣсть. Въ домѣ порой не было сальной свѣчи, и ложились спать засвѣтло; по нѣскольку дней зимой сидѣли въ нетопленной комнатѣ. Мальчикъ бѣгалъ зимой въ гимназію въ одной холодной шинелишкѣ, безъ калошъ, вмѣсто чулковъ, обматывая ноги писчей бумагой и надѣвая на нихъ сапоги съ отпавшими подошвами. Наконецъ онъ совсѣмъ обносился, и послѣ оскорбительно грубаго замѣчанія инспектора насчетъ одежды отецъ принужденъ былъ взять его изъ гимназіи. Вскорѣ затѣмъ, не желая быть въ тягость семьѣ, Наумовъ поступилъ въ военную службу юнкеромъ. Жизнь съ солдатами много способствовала ему къ изученію ихъ быта. Онъ писалъ имъ письма къ роднымъ и читалъ получаемыя ими письма. Во время службы онъ сошелся съ офицеромъ А. А. Зерчаниновымъ. Это былъ человѣкъ умный, развитой, много читавшій. Наступила уже эпоха реформъ и вѣяній. Юноша читалъ первыя статьи Добролюбова и Чернышевскаго, *Губернскіе очерки* Щедрина. Бѣлинскій былъ изученъ имъ почти наизусть. Чувствуя скудость своихъ знаній, Наумовъ вышелъ въ 1860 году въ отставку, пріѣхалъ въ Петербургъ и началъ посѣщать лекціи въ университетѣ, надѣясь постепенно подготовиться и сдать гимназическій экзаменъ. Но въ 1861 году университетъ былъ закрытъ. Наумовъ не избѣгъ ареста въ числѣ прочихъ студентовъ, участвовавшихъ въ демонстраціяхъ. Затѣмъ нечего было и думать о продолженіи ученія. Надо было добывать насущный хлѣбъ, и Наумовъ устремился на литературное поприще.

Первый разсказъ его изъ солдатскаго быта, подъ названіемъ *Случай изъ солдатской жизни*, Наумовъ написалъ будучи еще юнкеромъ и послалъ его изъ Томска въ *Военный Сборникъ*, гдѣ онъ былъ напечатанъ въ іюльской книжкѣ 1858 г. подъ псевдонимомъ Карзунова.

Въ 1862 году въ журналѣ Погосскаго *Народная бесѣда* былъ помѣщенъ разсказъ изъ солдатскаго быта *Письмо* и въ *Искрѣ*— юмористическія сцены *Горе обличителю* и нѣсколько мелкихъ статеекъ юмористическаго же содержанія.

Затѣмъ литературная дѣятельность Наумова почти не прерывалась до 1864 г., когда тяжкая нужда заставила литературнаго пролетарія, уже обремененнаго семействомъ, бросивъ перо, искать обезпеченія на службѣ, и онъ отправился на родину, въ Маріинскъ, на должность непремѣннаго члена по крестьянскимъ дѣламъ.

Лучшія изъ его произведеній изданы въ различное время въ трехъ сборникахъ, подъ слѣдующими заглавіями: 1) *Сила солому ломитъ*, 2) *Въ тихомъ омутѣ* и 3) *Въ забытомъ краю*. Разсказы Наумова представляютъ рядъ мрачныхъ картинъ народныхъ бѣдствій, притѣсненій, наглыхъ обираній со стороны властей и капиталистовъ и полнаго безправія. Особенность ихъ заключается въ томъ, что авторъ имѣетъ дѣло съ сибирскими крестьянами, отличающимися отъ европейскихъ бо́льшимъ развитіемъ, отвагой и предпріимчивостью. Не надо забывать, что Сибирь не знала крѣпостного права. Но за-то здѣсь гораздо ранѣе, чѣмъ въ Европейской Россіи, развились такіе экономическіе порядки, которые у насъ назрѣваютъ лишь нынѣ, на нашихъ глазахъ, въ началѣ-же шестидесятыхъ годовъ, тотчасъ послѣ освобожденія крестьянъ, были еще почти совсѣмъ незамѣтны. Такова новая сельская буржуазія въ

видѣ кулаковъ, всякаго рода промышленниковъ и скупщиковъ, опутывающихъ народъ сѣтью наглаго ростовщичества и закабаляющихъ его подъ иго новаго крѣпостного права, еще болѣе ужаснаго вслѣдствіе своей экономической неодолимости. Въ Сибири подобные пауки, сосущіе народную кровь, уже издавна успѣли растянуть свои хитроумныя паутины и являются въ видѣ крупныхъ капиталистовъ-милліонеровъ, пользующихся въ своемъ краѣ могуществомъ тѣмъ болѣе безграничнымъ, что такая далекая окраина, какъ Сибирь, до которой едва касались реформы шестидесятыхъ годовъ и въ которой до сихъ поръ сохраняются старые суды, всегда представляла широкій просторъ для административнаго произвола и вопіющихъ злоупотребленій. Вслѣдствіе всего этого картины народнаго безправія и безпомощности подъ гнетомъ безсердечной эксплоатаціи денежной мошны въ разсказахъ Наумова имѣютъ особенную выпуклость и драматичность, далеко превышающія подобныя качества разсказовъ прочихъ беллетристовъ шестидесятыхъ годовъ народнаго быта. Этимъ и объясняется то потрясающее впечатлѣніе, какое въ свое время они производили. Прибавьте къ этому вѣрность народнаго быта и говора, обличающую въ Наумовѣ большого знатока народной жизни, и свойственную таланту его теплую, хватающую за сердце задушевность,—таковы качества, дѣлающія Наумова и до сихъ поръ однимъ изъ выдающихся писателей въ ряду беллетристовъ-народниковъ. Какъ на лучшіе его разсказы укажемъ на слѣдующіе: *У перевоза* (*Совр.* 1863 г., № 11), *Деревенскій аукціонъ* (*Искра* 1866 г.), *Деревенскій торгашъ* и *Юродивая* (*Дѣло* 1871 г.), *Тишь да гладь* (*От. Зап.* 1873 г.), *Умалишенный*, *Куда ни кинь—все клинъ*, *Паутина* (*Дѣло* 1878 г.) и проч.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

I. Глѣбъ Ивановичъ Успенскій и Николай Николаевичъ Златовратскій, какъ представители новой и послѣдней фазы беллетристики изъ народнаго быта. Дѣтство и юность Г. И. Успенскаго и неблагопріятныя условія первыхъ десяти лѣтъ его творчества.—II Общій характеръ творчества Г. Успенскаго и характеристика перваго, разночиннаго, періода его дѣятельности.—III. Переходное состояніе и вступленіе во второй періодъ дѣятельности, мужицкій.—IV. Гл. Успенскій въ качествѣ разрушителя иллюзій въ воззрѣніяхъ интеллигенціи на народъ.—V. Гл. Успенскій у источника. *Власть земли* и значеніе очерковъ, группирующихся вокругъ этого произведенія.—VI. Біографическія свѣдѣнія о Златовратскомъ.—VII. Характеристика сочиненій Златовратскаго и выводимыхъ имъ типовъ.

I.

Выше мы уже говорили, что въ семидесятые годы беллетристика народнаго быта вступила въ новую фазу своего развитія, болѣе тщательнаго, основательнаго и глубокаго изученія народа. Явилось стремленіе къ постиженію основныхъ началъ народной жизни, къ выводамъ и обобщеніямъ, которые давали-бы ключъ къ пониманію жизни народа въ ея массовыхъ проявленіяхъ, являющихся историческимъ дѣломъ вѣковъ. Во главѣ этой новой фазы народной беллетристики стоятъ два писателя: Глѣбъ Ивановичъ Успенскій и Николай Николаевичъ Златовратскій.

Съ тѣхъ поръ, какъ Гл. Успенскій и Н. Златовратскій обратили на себя вниманіе, какъ двѣ крупныя силы современной литературы, между ними постоянно усматривался взаимный антагонизмъ, какъ-бы два противоложные полюса воззрѣній на народъ,—отрицательный и пессимистическій со стороны Гл. Успенскаго и положительный, оптимистическій со стороны Н. Златовратскаго. Во многихъ мѣстахъ произведеній этихъ писателей находили даже тайную, замаскированную полемику, которую они вели между собой на страницахъ одного и того-же журнала. Читатели ихъ въ свою очередь раздѣлились на два лагеря: поклонниковъ Гл. Успенскаго и Н. Златовратскаго, причемъ первые обвиняли Златовратскаго въ идеализаціи народа и сентиментальности, а вторые заподозрѣвали Гл. Успенскаго въ чемъ-то вродѣ скрытаго крѣпостничества. На самомъ же дѣлѣ оба писателя, при всемъ антагонизмѣ, зависящемъ отъ особенностей ихъ талантовъ, различными путями пришли къ одной и той-же цѣли. Въ то время какъ Гл. Успенскій своимъ разлагающимъ, чисто прудоновскимъ анализомъ, вооруженнымъ безпощаднымъ юморомъ, разрушилъ всѣ накопившіяся съ сороковыхъ годовъ апріорныя иллюзіи, которыя мѣшали видѣть народъ въ его истинномъ свѣтѣ, Н. Златовратскій, на развалинахъ этихъ иллюзій, возвелъ новое зданіе, показавши намъ не воображаемыя, а дѣйствительныя положительныя начала народной жизни, о которыхъ до тѣхъ поръ никому и не снилось.

Глѣбъ Ивановичъ Успенскій, какъ мы уже видѣли (см. гл. XIII), былъ сынъ секретаря казенной палаты Ивана Глѣбовича Успенскаго и двоюродный братъ Николая Успенскаго. Онъ родился 14 ноября 1840 года *) въ Тулѣ. Первое воспитаніе получилъ онъ дома. У отца его, человѣка, не лишеннаго образованія, была маленькая библіотека, и любознательный отъ природы Успенскій рано сталъ читать книги,—Пушкина, Лермонтова, Карамзина и пр. Затѣмъ отдали его въ Тульскую гимназію, гдѣ онъ учился только до четвертаго класса. Съ перемѣщеніемъ отца въ Черниговъ, пришлось и Гл. Ив. Успенскому перейти въ Черниговскую гимназію, гдѣ онъ и окончилъ курсъ. Здѣсь мальчикъ велъ жизнь, вполнѣ способствовавшую его развитію; книгъ для чтенія было достаточно и дома, и въ «читальнѣ». Гл. Ив. затѣялъ даже издавать съ товарищами рукописный журналъ. По окончаніи гимназическаго курса Гл. Ив. поступилъ въ Петербургскій университетъ, на юридическій факультетъ. Затѣмъ перешелъ въ Московскій. Недостатокъ средствъ заставилъ его заниматься корректурой въ университетской типографіи, а затѣмъ онъ сотрудничалъ въ журналѣ *Зритель*, издававшемся Кокошинымъ (61—62 г.). Изъ университета онъ вышелъ въ 1863 г. и занялся исключительно литературой. Вскорѣ умеръ его отецъ. Гл. Ив. Успенскій немедленно уѣхалъ въ Черниговъ, гдѣ нашелъ полное разореніе своихъ родныхъ, оставшихся безъ гроша и безъ имущества, которое пришлось продать на уплату долговъ. Между тѣмъ какъ родные Гл. Ив. переѣхали на старое пепелище въ Тулу, гдѣ сестры его, чтобы какъ-нибудь прокормиться, стали давать уроки, Глѣбъ

---

*) Г. Д. Васинъ, въ статьѣ *Гл. Ив. Успенскій*, напечатанной въ № 6 *Русскаго Богатства* 1894 г., опровергаетъ голословно эту дату рожденія Гл. Ив. Успенскаго, утверждая, что онъ родился 13 окт. 1843 г. Не зная, откуда взялъ г. Васинъ свою дату, считаю съ своей стороны нужнымъ заявить, что моя дата взята изъ автобіографіи Гл. Ив. Успенскаго, писанной его собственной рукой и сохраняющейся до сего дня.

Ивановичъ, не въ силахъ будучи помочь имъ въ Тулѣ, поѣхалъ снова въ столицы добывать хлѣбъ литературнымъ трудомъ.



Г. И. Успенскій.

Вообще невеселыя впечатлѣнія вынесъ онъ изъ своего дѣтства и юности, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующимъ словамъ его автобіографіи:

«Вся моя личная жизнь,—говоритъ онъ,—вся обстановка моей личной жизни до 20-ти лѣтъ обрекала меня на полное затмѣніе ума, полную погибель, глубочайшую дикость понятій, неразвитость и вообще отдѣляла отъ жизни бѣлаго свѣта на неизмѣримое разстояніе. Я помню, что я плакалъ безпрестанно, но не зналъ, отчего это происходитъ. Не помню, чтобы до 20-ти лѣтъ сердце у меня было когда-нибудь на мѣстѣ. Вотъ почему, когда насталъ 61-годъ, взять съ собою «въ дальнюю дорогу» что-нибудь *изъ моего прошлаго* было рѣшительно невозможно—ровно нечего, ни капельки; напротивъ, для того, чтобы *жить* хоть какъ-нибудь, надобно было непремѣнно до послѣдней капли *забыть все* это прошлое, истребить въ себѣ всѣ внѣдренныя имъ качества. Нужно было еще перетерпѣть все то разореніе невольной неправды, среди которой пришлось жить мнѣ годы дѣтскіе и юношескіе, надо было потратить годы на эти непрестанныя похороны людей, среди которыхъ я выросъ, которые исчезали со свѣта безропотно, какъ погибающіе среди моря, зная, что никто не можетъ имъ помочь и спасти, что «не тѣ времена». Самая безропотность погибавшихъ людей, явное сознаніе, что все, что въ нихъ есть и чѣмъ они жили, — неправда и ложь, и безпомощность ихъ, уже одно это прямо убѣждало людей моего возраста и обстановки жизни, что изъ *прошлаго* нельзя и не надо, и невозможно оставить въ себѣ даже самомалѣйшаго воспоминанія; ничѣмъ отъ этого прошлаго нельзя было и думать руководиться въ томъ новомъ, которое «будетъ», но которое рѣшительно еще неизвѣстно. Слѣдовательно начало моей жизни началось только *послѣ забвенія моей собственной біографіи*, а затѣмъ и личная жизнь, и жизнь литературная стали созидаться во мнѣ одновременно *собственными средствами*»...

Литературная извѣстность Гл. Успенскаго началась съ 1866 года, когда онъ написалъ рядъ очерковъ, извѣстныхъ подъ общимъ заглавіемъ *Нравы Растеряевой улицы* и помѣщавшихся на страницахъ *Современника*; но съ первыхъ-же шаговъ на литературномъ поприщѣ ему пришлось подвергнуться всѣмъ тѣмъ враждебнымъ условіямъ, о которыхъ было говорено въ предыдущей главѣ и которыя мѣшали беллетристамъ-разночинцамъ обрабатывать и доканчивать свои произведенія.

«Времена, пережитыя русскою журналистикою за послѣднія 20 лѣтъ,—говоритъ Гл. Успенскій въ предисловіи къ изданію сочиненій его 1883 г., — были преисполнены всевозможныхъ случайностей, безпрестанно разстраивавшихъ правильное ея теченіе и развитіе. Мои очерки много пострадали отъ этихъ невзгодъ журнальнаго дѣла, чисто во внѣшнемъ отношеніи. Правда, аргусамъ нечего было въ нихъ искоренять: цензурныя бѣды обрушивались не на такого рода литературныя явленія. Но въ общемъ водоворотѣ ничто не можетъ оставаться нетронутымъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти очерки вышли-бы рельефнѣе, полнѣе и осмысленнѣе, если-бы журнальная жизнь была устойчивѣе и представители печати могли чувствовать себя поспокойнѣе.

«Укажу на одинъ примѣръ. *Нравы Растеряевой улицы*, задуманные мною въ 1866 г., только что начали печататься въ *Современникѣ* (№№ 2-й и 3-й 1866 г.), какъ журналъ этотъ былъ закрытъ. Продолженіе этихъ очерковъ, приготовленное для *Современника*, должно было явиться въ Сборникѣ *Лучъ*, изданномъ редакціей *Русскаго Слова*, которое также было прекращено, причемъ все, что имѣло связь съ очерками, напечатанными въ *Современникѣ*, надо было уничтожить, обрѣзать, выкинуть,—для того, чтобы «продолженіе» имѣло видъ работы отдѣльной и самостоятельной; вотъ почему дѣйствующія лица были переименованы въ другихъ, имъ «сдѣлана» иная обстановка, и самое названіе измѣнено. Затѣмъ дальнѣйшее продолженіе той-же серіи разсказовъ печаталось въ журналѣ *Женскій Вѣстникъ*, такъ какъ тогда (66 г.) почти совершенно не было другихъ литературныхъ журналовъ. Судите поэтому, что должна была претерпѣть *Растеряева улица* со своими пьяницами «сапожниками и мастеровщиной», появляясь въ журналѣ, посвященномъ *женскому* развитію, *женскому вопросу*. При всемъ моемъ глубокомъ желаніи, чтобы пьяницы мои вели себя въ дамскомъ обществѣ поприличнѣй, всѣ они до невозможности пахли водкой и сокрушали меня. Но что-жъ было дѣлать? Я ихъ умылъ и пріодѣлъ, и они стали только хуже, а правды въ нихъ меньше..

«Сплоченныхъ литературныхъ кружковъ, къ которымъ могли-бы пристать начинающіе писатели,—ничего тогда на-лицо не было. Все удручало насъ и дѣлало одинокимъ.

А между тѣмъ общество, вступившее въ совершенно новый періодъ жизни, требовало отъ литературы,—и имѣло на это право,—многосложной и внимательной работы.

«Такимъ образомъ, какъ отсутствіе «школы», такъ и глубокое внутреннее сознаніе, что «теперь» обновлявшаяся жизнь требуетъ большихъ дарованій и задаетъ имъ огромныя задачи,—дѣлали то, что незначительная способность написать «разсказъ» или «очеркъ» ослаблялась внутреннимъ сознаніемъ ненужности этого дѣла. «Все это не то!» думалось тогда, и вслѣдствіе этого матеріалъ обрабатывался плохо, «кой-какъ», появляясь въ видѣ «отрывковъ» безъ начала и конца»...

Такія-же жалобы на одиночество встрѣчаемъ мы и въ его вышеупомянутой автобіографіи:

«Одиночество,—говоритъ онъ,—было полное. Съ крупными писателями я не имѣлъ никакихъ связей, а мои товарищи — люди старшіе меня лѣтъ на десять — почти всѣ безъ исключенія погибали на моихъ глазахъ, такъ какъ пьянство было почти чѣмъ-то неизбѣжнымъ для тогдашняго талантливаго человѣка. Всѣ эти подверженные сивушной гибели люди были уже извѣстны въ литературѣ, и живи они въ наше время, когда можно на полной свободѣ «плѣнять своимъ искусствомъ свѣтъ»,—они-бы написали много изящныхъ произведеній; но захватила ихъ новая жизнь,—такая, что завтрашній день не могъ быть даже и предвидѣнъ—и талантливые люди почувствовали, что имъ не угнаться за толпой, начинающей жить безъ всякихъ литературныхъ традицій, должны были чувствовать въ этой отживавшей толпѣ свое полное одиночество... Сколько ни проявляй искусства въ поэмѣ, романѣ—«они» даже и не почувствуютъ. . Спившихся съ кругу талантливыхъ людей было множество, начиная съ такой потрясающей въ этомъ отношен'и фигуры, какъ П. И. Якушкинъ. Въ такомъ видѣ въ пору было «опохмелиться», «очухаться», очувствоваться, и какая ужъ тутъ «литературная школа»! Похвальбы въ пьяномъ видѣ было много; посуловъ еще больше, анекдотовъ—видимо-невидимо, а такъ, чтобы ото всего этого повеселѣть—нѣтъ, этого не скажу. Даже малѣйшихъ опредѣленныхъ взглядовъ на общество, на народъ, на цѣли русской интеллигенціи ни у кого рѣшительно не было. Немудрено, что ясно сознаваемое горе заливалось сивухой самыми талантливыми людьми.

«Несомнѣнно народъ этотъ былъ душевный, добрый и глубоко талантливый; но питейная драма, питейная болѣзнь, похмелье и вообще разслабленное состояніе, извѣстное подъ названіемъ «послѣ вчерашняго», занимало въ ихъ жизни слишкомъ большое мѣсто. Не было у нихъ читателя, они писали неизвѣстно для кого и хвалили только другъ друга. Одиночество талантливыхъ людей вело ихъ къ трактирному оживленію и шуму. Ко всему этому надо прибавить, что въ годы 1863—1868 все въ журнальномъ мірѣ падало, разрушалось, валилось. *Современникъ* сталъ тускнѣть и упалъ во мнѣніи живыхъ людей, отводя по полкнигѣ на безплодныя литературныя распри, а потомъ и былъ закрытъ. Закрыто и *Русское Слово,* и вообще всѣ мало-мальски видные дѣятели разбрелись, *исчезли.* Начали появляться какія-то темныя изданія съ темными издателями... Одинъ изъ нихъ напримѣръ, когда пришли описывать его за долги, сталъ на глазахъ пристава ѣсть овесъ, прикинувшись помѣшаннымъ (Артабалевскій). Когда наконецъ въ 1868 г основались новыя *Отечественныя Записки*, первые годы въ нихъ тоже было мало уюта... Все, что собралось, было значительно поломано нравственно и физически, пока наконецъ дѣло не стало на широкую дорогу. Пока оно складывалось, жить въ неустановившемся и неуютномъ обществѣ большей частью до послѣдней степени изломанныхъ писателей (съ новыми я едва встрѣчался еще) не было никакой возможности, и я уѣхалъ за-границу»...

II.

Вотъ подъ вліяніемъ какихъ мрачныхъ и неблагопріятныхъ условій развивался талантъ Гл. Успенскаго. Условія эти отразились не только на формѣ его произведеній, на отрывочности ихъ и отсутствіи художественной обработки, но и на самомъ содержаніи. Первое, что васъ поражаетъ въ нихъ, это полное отсутствіе спокойной художественной созерцательности, стремленія нарисовать что-бы ни было изъ одного артистическаго увлеченія. Не найдете вы въ этихъ очеркахъ ни одного ландшафта, ни одного изображенія женской

красоты, увлекательнаго сюжетца. Строгій, чисто подвижническій аскетизмъ проникаетъ всѣ произведенія Гл. Успенскаго, побуждая его до такой степени сторониться отъ малѣйшаго художественнаго аксессуара, что въ послѣднемъ изданіи своихъ произведеній (1889) онъ нашелъ нужнымъ еще болѣе сжаться. По крайней мѣрѣ г. Михайловскій въ своей статьѣ объ Успенскомъ, приложенной къ изданію, говоритъ, что, просматривая сочиненія Гл. Успенскаго, онъ не находилъ въ нихъ то отдѣльной фразы или яркаго слова, которое онъ хорошо помнитъ, а то и цѣлой картинки, и что вычеркнуты главнымъ образомъ «смѣшныя» вещи.

Подобный художественный аскетизмъ происходитъ вовсе не изъ какой-либо предвзятой эстетической теоріи, а лежитъ въ самой природѣ Гл. Успенскаго. Ключъ къ этому аскетизму заключается въ тѣхъ словахъ автобіографіи писателя, гдѣ онъ говоритъ, что до 20 лѣтъ онъ плакалъ безпрестанно, не зная, отчего это происходитъ, и что до 20 лѣтъ сердце у него никогда не было на мѣстѣ. Это была слишкомъ потрясенная и встревоженная душа, которой было вовсе не до какихъ-либо художественныхъ красотъ. И притомъ не до двадцати только лѣтъ душа Гл. Успенскаго оставалась въ такомъ положеніи: она и потомъ, впродолженіе всей послѣдующей жизни, продолжала быть не на мѣстѣ, въ вѣчныхъ порывахъ къ свѣту, къ *источнику*, какъ выразился Гл. Успенскій, въ вѣчныхъ поискахъ правды, живой души, цѣлостности человѣческой природы, въ вѣчной скорби о больной совѣсти интеллигентнаго русскаго человѣка. Не принадлежа къ числу ультра-субъективныхъ художниковъ, которые вѣчно возятся съ своей личностью и спѣшатъ возвѣщать міру о каждомъ своемъ мимолетномъ ощущеньицѣ, Гл. Успенскій не принадлежалъ и къ числу тѣхъ объективныхъ писателей, которые подолгу выносятъ свои художественные образы, являющіеся плодами спокойныхъ наблюденій надъ окружающей жизнью. Гл. Успенскій глубоко страдалъ своими художественными образами, постоянно волновался, кипятился всѣмъ, что̀ представлялось его глазамъ; все это всецѣло овладѣвало его душой, дѣлалось жизнью его собственнаго сердца, и все это онъ спѣшилъ излить въ образахъ, имѣвшихъ въ его глазахъ непосредственное, кровное сродство съ жизнью его души, какъ онъ и самъ свидѣтельствуетъ о томъ въ концѣ своей автобіографіи, говоря:

«Все-же, что̀ накоплено мною «собственными средствами» въ опустошенную забвеніемъ прошлаго совѣсть, – все это пересказано въ моихъ книгахъ, пересказано поспѣшно, какъ пришлось, но пересказано все, *чѣмъ я жилъ лично*.—Такимъ образомъ *вся моя новая біографія послѣ забвенія старой пересказана почти изо дня въ день въ моихъ книгахъ. Больше у меня ничего въ жизни личной не было и нѣтъ*»..

Это одно достаточно свидѣтельствуетъ, какъ глубокоо шибаются люди, мало знакомые съ произведеніями Гл. Успенскаго, воображающіе его въ видѣ какого-то досужаго вояжера, который ѣздитъ лѣтомъ по деревнямъ и, записывая смѣшные сцены и разговоры, изображаетъ ихъ потомъ въ своихъ очеркахъ. Мы видимъ, что въ первыя десять лѣтъ своей дѣятельности онъ вовсе не является изобразителемъ народнаго быта въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Проведя дѣтство и юность въ городахъ и продолжая вращаться въ нихъ, онъ не зналъ еще деревенской жизни и мужика; въ произведеніяхъ этого перваго періода его дѣятельности, простирающагося съ 1866 года до второй половины семидесятыхъ годовъ, изображаются жители городовъ, передъ вами развертывается «картина нравовъ русской провинціальной разночинной

толпы», какъ Гл. Успенскій выражается въ предисловіи къ изданію его сочиненій въ 1883 году.

И дѣйствительно, по всей справедливости онъ можетъ быть названъ въ произведеніяхъ этого періода пѣвцомъ разночинцевъ. Началъ Гл. Успенскій въ *Нравахъ Растеряевой улицы* съ мелкихъ провинціальныхъ мѣщанъ, ютящихся въ ветхихъ домишкахъ по окраинамъ уѣздныхъ городишекъ, борящихся съ холодомъ, съ голодомъ, съ *прижимкою*, топящихъ въ водкѣ непроглядную тьму и тоскливую монотонность провинціальнаго прозябанія. При всемъ внѣшнемъ комизмѣ фигуры эти проявляютъ крайнее нравственное паденіе и попраніе всего человѣческаго въ остервенѣніи борьбы за существованіе (личность Прохора Порфирыча), или-же, напротивъ того, энергическій протестъ души, проснувшейся подъ обаяніемъ новыхъ вліяній и устремившейся къ свѣту и правдѣ (Михаилъ Ивановичъ въ *Разореньѣ*). Отъ этихъ героевъ Гл. Успенскій перешелъ къ разночинной интеллигенціи: въ лицѣ семейства Птицыныхъ и Павла Ивановича Шапкина изобразилъ мрачную, полную потрясающаго трагизма картину разоренія и безпомощной гибели той самой *невольной неправды*, о которой онъ говоритъ въ своей автобіографіи. Справивши по этимъ людямъ поминки въ своемъ *Разореньѣ*, Гл. Успенскій перешелъ наконецъ къ типамъ передовой разночинной интеллигенціи, захваченной новыми вѣяніями и тщетно ищущей приложенія своихъ молодыхъ силъ, въ горячихъ стремленіяхъ къ народному благу разбивающихся о всевозможные подводные камни провинціальной пучины. Таковы: *Наблюденія одного лѣнтяя*, *Тише воды*, *ниже травы* и проч.

III.

Въ 1871 году Гл. Успенскій уѣхалъ за-границу. «За-границей,—пишетъ онъ въ своей біографіи,—я былъ два раза: въ 1871 г., послѣ коммуны, причемъ видѣлъ избитый и прусскими, и коммунарскими бомбами и пулями городъ, видѣлъ, какъ приговариваютъ къ смерти сапожниковъ и башмачниковъ; въ другой разъ я прожилъ тамъ подъ-рядъ два года, по временамъ только пріѣзжая въ Россію. Въ это время я былъ въ Лондонѣ. Я мало писалъ объ этомъ, но многому научился, много записалъ добраго въ мою душевную родословную книгу навсегда... Затѣмъ прямо изъ Парижа (1876 г.) я поѣхалъ въ Сербію и въ Пештѣ встрѣтилъ нашихъ. И объ этомъ я *мало* писалъ, но много передумалъ и навѣки много опять-таки взялъ въ свою душевную родословную»...

Это было переходное время (1871—1877), въ которое Гл. Успенскій писалъ дѣйствительно мало, и хотя все, чтò писалъ онъ въ эти годы, отличается его обычнымъ юморомъ, умѣньемъ проникать въ суть изображаемаго явленія жизни и мѣтко, нѣсколькими штрихами, очерчивать вещи въ ихъ наиболѣе характеристическихъ особенностяхъ (таковы относящіяся къ этому времени *Письма изъ Сербіи*), но наиболѣе плодотворная и сенсаціонная дѣятельность ждала его впереди. Она началась съ того момента, когда отъ разночинца онъ перешелъ къ мужику.—Это произошло тотчасъ-же послѣ сербской войны. «Затѣмъ,—говоритъ онъ въ своей автобіографіи,—подлинная правда жизни повлекла меня къ *источнику*, т. е. къ мужику. По несчастью я попалъ

въ такія мѣста, гдѣ *источника* видно не было... Деньга привалила въ эти мѣста, и я видѣлъ только, до чего можетъ дойти бездушный мужикъ при деньгахъ. Я здѣсь втеченіе полутора года не зналъ ни дня, ни ночи покоя. Тогда меня ругали за то, что я не люблю народъ. Я писалъ о томъ, какая онъ—свинья, потому что онъ дѣйствительно творилъ преподлѣйшія вещи»...

Мѣстомъ, о которомъ говоритъ здѣсь Гл. Успенскій, былъ одинъ изъ уѣздовъ Самарской губерніи, гдѣ Гл. Успенскій, по рекомендаціи одного очень богатаго помѣщика, взялъ на себя обязанность завѣдывать крестьянской ссудосберегательной кассой, и такимъ образомъ имѣлъ возможность, не ограничиваясь одними наблюденіями посторонняго человѣка, войти въ непосредственныя сношенія съ крестьянскимъ міромъ, и хотя Гл. Успенскій видитъ несчастіе въ томъ, что онъ попалъ въ такой край, гдѣ вмѣсто искомаго *источника* ему пришлось наблюдать, какія способенъ преподлѣйшія вещи творить мужикъ, но въ сущности это было величайшее счастье для послѣдующей дѣятельности Гл. Успенскаго. Это обстоятельство прямо повело къ тому, что прежде чѣмъ Гл. Успенскій добрался до *источника*, т. е. до настоящаго мужика, являющагося непосредственнымъ произведеніемъ природы, неискалѣченнымъ тлетворными условіями жизни, онъ долженъ былъ освободиться отъ иллюзій, которыя Левитовъ окрестилъ *неотразимымъ вздоромъ*. Этотъ неотразимый вздоръ, въ видѣ апріорнаго представленія мужика то вмѣстилищемъ всѣхъ добродѣтелей, то наоборотъ—безсмысленнымъ чудовищемъ, глубоко сидѣлъ въ головахъ людей семидесятыхъ годовъ. И вотъ какъ разъ въ то время, когда эти люди, ослѣпленные подобными иллюзіями, очертя голову ринулись въ народъ, Гл. Успенскій словно холодной водой окатилъ русское общество рядомъ очерковъ, въ которыхъ началъ разоблачать русскаго мужика во всей его неподкрашенной правдѣ.

Какъ глубоко иллюзіи эти врослись въ самого Гл. Успенскаго и какъ дорого пришлось ему разставаться съ ними, объ этомъ мы можемъ судить по его очерку *Черная работа*, помѣщенному въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1879 г., въ № 5, въ которомъ Гл. Успенскій впервые рѣшительно и рѣзко выступилъ на новое поприще. Въ очеркѣ этомъ, произведшемъ сенсацію, опредѣленно высказываются мотивы, которые побудили автора идти по новой дорогѣ. Начинается онъ тѣмъ, что авторъ представляетъ себя измученнымъ «тоской, доходящей до физической боли». Эта тоска заставила его бѣжать изъ деревни, «если не навсегда, то на нѣкоторое время», а въ послѣдній день «эта жажда не думать о деревнѣ, освободиться хотя на время отъ этой безплодной муки достигла такой степени, что онъ вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда», и несмотря на страшный буранъ, который ему пришлось вынести дорогою. Чтò-же причинило эту тоску до физической боли и заставило автора такъ поспѣшно бѣжать изъ деревни? Оказывается, что именно разладъ между иллюзіями или, какъ называетъ ихъ авторъ, азбучными истинами, съ которыми онъ пріѣхалъ въ деревню, и тѣми конкретными фактами, которые обступили его въ деревенской жизни.

«Адское душевное состояніе,—говоритъ онъ,—долженъ пережить всякій, кто, только повинуясь даже инстинктивному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудно опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь, попробуетъ... ну, просто хотя только пожить въ деревнѣ... Слагается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревнею фактовъ, въ которыхъ, по нашему мнѣ-

нію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжнѣе тѣхъ цифирныхъ истинъ, какимъ учитъ васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатѣ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккуратно, изо дня въ день даетъ нѣчто такое, чего даже нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самомалѣйшей нити. Ниже читатель, напримѣръ, увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія, теперь-же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день надѣется, что вотъ-вотъ получатся четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается то стеариновая свѣчка, то свиная морда, словомъ, нѣчто неожиданное и невозможное, и онъ до нѣкоторой степени только пойметъ, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать всякій, кто смотритъ на деревню такъ, «какъ должно», по его мнѣнію, смотрѣть на нее»...

IV.

И вотъ передъ нами является рядъ очерковъ, рушащихъ всѣ иллюзіи, называемыя авторомъ табличкою умноженія. Въ самомъ дѣлѣ, какое ошеломляющее впечатлѣніе долженъ былъ произвести очеркъ *Черная работа*, въ которомъ, вопреки всѣмъ теоретическимъ ожиданіямъ, оказывается, что крестьяне господской деревни, наиболѣе угнетенные крѣпостнымъ правомъ, являются не въ примѣръ и трудолюбивѣе, и нравственнѣе казенныхъ, искони жившихъ на полной свободѣ. Далѣе затѣмъ въ очеркѣ *Малые ребята* интеллигентный человѣкъ нарочно поселяется въ деревнѣ съ педагогической цѣлью подвергнуть дѣтей оздоровляющему ея вліянію и съ ужасомъ бѣжитъ изъ нея, когда въ результатѣ педагогическаго опыта дѣти его узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать, получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, пріучившихся быть нечувствительными во многихъ весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ пріобрѣли какую-то сыпь, требующую серьезнаго леченія, и наконецъ самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ.

Еще болѣе долженъ былъ смутить и ужаснуть читателей очеркъ *Не въ привычку дѣло* (въ изданіи онъ озаглавленъ *Чудакъ баринъ*), герой котораго интеллигентный человѣкъ, Михаилъ Михайловичъ, отправился въ деревенскую глушь «трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломѣ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ, должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей».

Но крестьяне, не понявши высокихъ цѣлей барина, отнеслись къ нему какъ къ блажному человѣку, начали, поддакивая его словамъ и потворствуя его барскимъ инстинктамъ, обирать его со всѣхъ сторонъ, и кончилось дѣло тѣмъ, что Михаилъ Михайловичъ, убивъ всѣ свои капиталы, въ концѣ-концовъ впалъ въ полное разочарованіе, уныніе и спился. Онъ является передъ читателемъ однимъ изъ тѣхъ первыхъ піонеровъ-неудачниковъ, которые стремились слиться съ народомъ, но не только не знали его и были неподготовлены къ дѣлу, за которое принимались, но не умѣли отрѣшиться и отъ наслѣдственнаго праха, накопившагося на ихъ существѣ вѣками. Поэтому здѣсь схваченъ авторомъ вопросъ гораздо глубже: тутъ дѣло идетъ не объ однѣхъ иллюзіяхъ, а о существенныхъ, вѣковыхъ складахъ жизни, которые отдѣляютъ

глубокою пропастью отъ народа даже и такихъ благомыслящихъ господъ, какъ герой этого очерка.

Далѣе затѣмъ въ рядѣ очерковъ мы встрѣчаемъ микроскопическій анализъ, развертывающій передъ нами мрачную картину деревенской жизни. Мы видимъ, что восхваляемые общинные порядки допускаютъ непризрѣнныхъ стариковъ, вдовъ и воспитываютъ въ нихъ деревенскихъ злодѣевъ, обращающихся въ конокрадовъ и поджигателей, на которыхъ сельскій міръ, допустившій на свою голову развитіе такихъ чудовищъ, обрушается съ безпощаднымъ самосудомъ. Крестьянское самоуправленіе оказывается миражемъ. Никакой общественной силы въ немъ нѣтъ и проявить и практиковать ее не на чемъ. Какіе-бы вопросы или проекты «оздоровленія», «образованія», «поднятія народной нравственности» — ни подымались въ обществѣ,—въ деревнѣ изъ нихъ образуются другія уже грустныя слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтинѣ», и вся умственная дѣятельность крестьянина занята одной заботой: достать денегъ.

«Обведя,—говоритъ Гл. Успенскій въ очеркѣ *Люди и нравы современной деревни*,—вокругъ Москвы кругъ, радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, опредѣлится именно этимъ стремленіемъ—«добыть денегъ», только денегъ, больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться, къ крайнему огорченію людей, идеализирующихъ прочность деревенской общины, плохо опредѣляемое, но сильно чувствуемое крестьяниномъ желаніе—уйти куда-нибудь, желаніе какъ-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ, и это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ условій крестьянской среды объясняется все тою-же необходимостью добывать все больше и больше денегъ».

Но страшнѣе всего, что въ то время, какъ дѣйствительная интеллигентная сила, которая могла-бы оживить и раздвинуть умственный кругозоръ деревни, отвергается ею въ лицѣ Михаиловъ Михайловичей,—единственнымъ руководителемъ народа является кулакъ.

«Мы охотно вѣримъ,—говоритъ Гл. Успенскій въ очеркѣ *Деревенская неурядица*,—въ дурное вліяніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но никакимъ образомъ не можемъ ими объяснить деревенскаго кулачества, то-есть выдѣленія среди деревенской массы личностей, эксплоатирующихъ массу. Бѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество—явленіе не наносное, а внутреннее, что это не пятно, которое можно стереть, а язва, органическій недугъ. Но самая горькая и обидная черта этого явленія заключается не собственно въ хищничествѣ, а въ томъ, что ничего другого, хотя мало-мальски равнозначущаго по разработкѣ и техникѣ, деревенская жизнь за послѣднее время не представляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно усѣвшееся и усовершенствованное въ отношеніи, положимъ, самопомощи, какъ усовершенствовано кулачество? Существуетъ-ли, словомъ, какое-нибудь явленіе, прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какимъ-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ничего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужаснѣе, такъ это то, что въ кулачествѣ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человѣку, вылившемуся въ кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно геніальныя способности, и въ то-же время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ—не выразилось. Что же значитъ это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непривѣтливымъ и разорительнымъ для самого народа путемъ?

«Замѣчательна, — говоритъ авторъ ниже въ томъ-же очеркѣ,—въ біографіи всякаго

такого человѣка есть еще слѣдующая небезъинтересная черта. Человѣкъ, какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и другому прямой разсчетъ сокрушить этого ненавистника, но на дѣлѣ-же выходитъ иное. Баринъ, обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его по тѣмъ соображеніямъ, по которымъ онъ не безъ злорадства иной разъ говоритъ себѣ: «По-о-смотримъ! Какъ-то вы на волѣ-то поживете! Какъ заберетъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда—узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной даже радуется, что кулакъ нажалъ мужиковъ: «Такъ ихъ и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И невольно чувствуетъ симпатію, конечно все-таки считая нагрѣвателя канальей. Канальей его считаютъ и мужики, но развѣ они могутъ не поставить ему въ заслугу ловкости, съ которой онъ напримѣръ ожегъ чемадуровскаго и балабаевскаго барина?... «Ужъ и развязная-же только башка у шельмы!» Такимъ образомъ, при кличкахъ нарицательныхъ: «шельма», «плутъ», «пройдоха», «каналья» и т. д., тому-же человѣку сопутствуютъ — и ничуть не въ меньшемъ количествѣ—и похвалы: «ловко!» «отлично!» «геніально оплелъ!» «молодчина!» и т. д., — похвалы, основанныя, какъ видите, ужъ на уваженіи къ уму, таланту, дарованію. Это-то послѣднее уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заключается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится настолько-же хищничествомъ, насколько и нравственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніе, которое по множеству причинъ н е м о ж е т ъ не считать его правымъ, умнымъ, а пожалуй и почтеннымъ... Какая другая дорога для деревенскаго умнаго, энергическаго человѣка теперь? спрошу я и подожду отвѣта. Именно во имя сочувствія и даже пожалуй невозможности несочувствія кулацкой морали (имѣющей, какъ мы твердо вѣримъ, въ недалекомъ будущемъ пропитать рѣшительно всѣ сферы общества) сила кулака велика и у мужиковъ, и у бар̀ъ, и у начальства. Онъ всѣхъ знаетъ, онъ понимаетъ всѣ деревенскія отношенія, онъ можетъ отвѣчать всѣмъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столбъ, и совѣтникъ. Ему-же принадлежитъ первенствующая роль и въ деревенской дѣятельности. Дѣянія кулака—самыя крупныя и замѣтныя на деревенской улицѣ. Самая видная, самая понятная, самая новая мораль, выглядывающая изъ явленій современной деревенской улицы, — мораль кулацкая. А такъ какъ подростающее деревенское поколѣніе, какъ и то, которое отживаетъ, учится жить и думать такъ, какъ учитъ дѣйствительность, улица, и такъ какъ противъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую улицу не проникаетъ ничего противодѣйствующаго ей, то мы, положа руку на сердце, рѣшительно не можемъ не сказать, что это поколѣніе воспитывается главнымъ образомъ только кулацкой моралью. Чистая дѣтская душа деревенскаго ребенка въ изобиліи принимаетъ впечатлѣнія, даваемыя кулацкой дѣятельностью, и невольно, безъ протеста, подчиняется ея морали».

Вотъ въ какомъ мракѣ кромѣшномъ рисовалъ Гл. Успенскій деревню подъ впечатлѣніями, вынесенными имъ изъ Самарской губерніи.

V.

Но онъ не въ силахъ былъ остановиться на одномъ отрицательномъ отношеніи къ народу и поѣхалъ въ другія мѣста искать болѣе свѣтлыхъ и отрадныхъ впечатлѣній. «Мнѣ нужно было знать,—говоритъ онъ въ своей автобіографіи,—*источникъ* всей этой хитроумной механики народной жизни, о которой я не могъ доискаться никакого простого слова и нигдѣ. И вотъ изъ шумной, полупьяной, развратной деревни забрался въ лѣсъ Новгородской губерніи, въ усадьбу, гдѣ жила только одна крестьянская семья. На моихъ глазахъ дикое мѣсто стало оживать подъ сохой пахаря, и вотъ я тогда въ первый разъ въ жизни увидѣлъ дѣйствительно *одну подлинную важную черту въ основахъ жизни русскаго народа*—именно власть земли...»

Это житье въ лѣсу Новгородской губерніи происходило лѣтомъ 1881 года, и результатомъ его и былъ знаменитый очеркъ, представляющій высшую точку творчества Гл. Успенскаго,—*Власть земли*, появившійся въ № 1 *Отечественныхъ Записокъ* 1882 года. Выставивъ въ этомъ очеркѣ крестьянина Ивана Петрова, который, получивши хорошее и вполнѣ обезпечивающее

мѣсто на желѣзной дорогѣ, излѣнивается, спивается, доходитъ до крайней деморализаціи, и вновь исправляется и дѣлается примѣрнымъ мужикомъ, едва только возвращается въ деревню, авторъ говоритъ:

«Такимъ образомъ оказывается, что воля, свобода, легкое житье, обиліе денегъ, т. е. все то, чтó необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему напротивъ крайнее разстройство до того, что онъ дѣлается вродѣ свиньи».

«Подобную несообразность со всѣми табличками умноженій» авторъ и объясняетъ тѣмъ, чтò онъ называетъ «властью земли».

«Тайна эта,—говоритъ онъ,—по-истинѣ огромная и, думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ терпѣлива и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душой, мужественно сильна и дѣтски кротка, словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ власть земли, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ будетъ казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоцѣнными качествами ума и сердца, словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь, съ головы до ногъ и снаружи до самаго нутра, проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красный фонарь—и лицо Демона перестало быть краснымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобы онъ забылъ «крестьянство», —и нѣтъ этого славнаго народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невидимая пустая даль, безграничная пустая ширь... «Иди, куда хошь»...

«У земледѣльца,—говоритъ ниже Гл. Успенскій, — нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ совѣсти, которые-бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь — тюрьмы или розогъ?», то *онъ* всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобъ только сейчасъ-же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его—*земля*, не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вотъ въ этой-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человѣкъ самъ по себѣ не можетъ и пошевелиться,—тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *легкость* существованія, благодаря которой Селяниновичъ могъ сказать: «меня любитъ мать сыра земля». И точно любитъ: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣликомъ, но зато *онъ и не отвѣчаетъ*, ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяйка-*земля*, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, который увелъ у него лошадь,—и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти—онъ опять невиноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену—невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло, стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, чтó велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ, а главное, какое счастье не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать себѣ интересовъ и ощущеній, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ — долженъ сидѣть дома, ведро—долженъ идти косить, жать и т. д. Ни за что *не отвѣчая*, ничего *не придумывая*, человѣкъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ *жизнь*, не имѣющую повидимому никакого результата (что выработаютъ, то и съѣдятъ), но имѣющую результатъ именно въ самой себѣ. Для чего растетъ этотъ дубъ? какая ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и въ концѣ-концовъ кормить желудями свиней? Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растетъ*, просто зеленѣетъ, такъ, самъ не зная зачѣмъ. То-же самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ — это и есть жизнь, интересъ жизни, а результатъ — нуль».

Но не только крестьянинъ въ своей личной семейной жизни приравнивается Гл. Успенскимъ къ типу растительной жизни, но и общественная жизнь его оказывается созданною не имъ самимъ, а тою-же властью земли.

«Если вы поймаете галку,—говоритъ Пигасовъ въ разсказѣ *Безъ своей воли*,—разсмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго обдуманной. Но чей тутъ дѣйствовалъ умъ? Чья воля? Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь тогда любая галка—геніальнѣйшее существо, необъятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ... А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ... Неисповѣдимыми путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаетъ «пучить», и въ концѣ-концовъ получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ милліони разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устраивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственнаго ума, а такъ... И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна, гармонична, красива, *просто такъ*.

Общественные порядки, поражающіе изслѣдователей въ крестьянскомъ быту, Гл. Успенскій усматриваетъ и въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей,—говоритъ онъ во *Власти земли*,—по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятки», которые посылаются стерляжьимъ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба — сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ выборныхъ, и ходоковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества» и, подойдя къ заколу, которые ставятъ рыбники поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть: когда все это не удается, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мірской сазаній сходъ съ страшной стремительностью устремляется на заколъ и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многіе погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются».

Однимъ словомъ, и въ общественномъ отношеніи крестьянскій міръ, *община*, представляетъ собою чисто зоологическій типъ, нѣчто вродѣ пчелинаго улья или муравейника.

Вотъ къ какимъ важнымъ результатамъ привело Гл. Успенскаго изученіе народнаго быта. Нужно только припомнить буколическихъ крестьянъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ или-же звѣроподобныхъ мужиковъ Н. Успенскаго, чтобы судить о томъ, какой колоссальный шагъ былъ сдѣланъ Гл. Успенскимъ въ знаніи народа. Образы и идеи, проведенные имъ въ очеркахъ, написанныхъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, стоятъ на высотѣ послѣднихъ словъ науки. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ такое представляетъ собою наша крестьянская община? Это вѣдь не что иное, какъ именно тотъ типъ первобытнаго общества, которымъ, по свидѣтельству науки, начинали всѣ народы. Вмѣстѣ съ тѣмъ наука свидѣтельствуетъ намъ, что въ началѣ жизни кочевого народа традиціонный умъ, подобный пчелиному инстинкту, преобладаетъ надъ личнымъ. Не даромъ у всѣхъ народовъ сохраняются миѳы о золотомъ вѣкѣ, когда человѣкъ былъ чистъ и невиненъ душою, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и кротко повиновался завѣтамъ отцовъ; не было тогда на землѣ ни ссоръ, ни кровопролитій; люди соединялись въ общемъ союзѣ мира, любви и гармоническаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ съ такими преданіями существуютъ другія, совершенно противоположныя, которыя рисуютъ намъ этихъ самыхъ ангеловъ золотого вѣка хищными, звѣроподобными, кровожадными

титанами, окруженными легендарными чудовищами и въ свою очередь похожими на этихъ чудовищъ. При всей своей противоположности подобные миѳы одинаково справедливы, основываясь на памяти народовъ о тѣхъ временахъ, когда люди, слѣпо повинуясь велѣніямъ природы и традиціямъ, подобно крестьянамъ Гл. Успенскаго, совершали въ одно и то-же время и высокіе подвиги любви и братства, и безчеловѣчныя злодѣйства, были и ангелами золотого вѣка, и звѣрями эпохи титановъ.

Освобожденіе личнаго ума изъ-подъ ига традиціи, появленіе на сцену героя и своевольнаго человѣка—и есть то, что въ миѳахъ представляется въ видѣ паденія золотого вѣка. Какъ только дерзкій умъ человѣка возмутился противъ завѣтовъ старины, первобытная гармонія золотого вѣка рушилась, начались смуты, кровопролитія, порабощенія. Однимъ словомъ, началась *исторія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ началось и смягченіе нравовъ—*цивилизація*; люди перестали быть ангелами золотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ перестали быть и звѣрями.

Все сказанное нами о Гл. Успенскомъ далеко не обнимаетъ его плодовитой и разносторонней литературной дѣятельности. Мы обозначали лишь общій ея ходъ и намѣтили наиболѣе выдающіеся и бросающіеся въ глаза пункты ея, а затѣмъ остается многое, что не вошло въ наше обозрѣніе, потому что, являясь навѣяннымъ случайными и временными впечатлѣніями жизни, представляетъ собою единичныя проявленія творчества писателя, стоящія внѣ главнаго теченія его дѣятельности; таковы напримѣръ: *Вольные казаки*, *Скучающая публика*, *Письма съ дороги*, *Живыя цифры*, *Мимоходомъ* и пр. Какъ писатель впечатлительный и живой, Гл. Успенскій не упускаетъ изъ виду ни одного явленія мало-мальски поразительнаго въ какомъ-бы то ни было отношеніи, чтобы тотчасъ-же не воспроизвести его и въ то-же время не обсудить со всѣхъ сторонъ. Поэтому произведенія его, особенно послѣднихъ лѣтъ, и представляютъ въ себѣ такъ много публицистическаго элемента, далеко выходящаго изъ художественной области.

VI.

Николай Николаевичъ Златовратскій какъ со стороны отца, такъ и со стороны матери былъ духовнаго происхожденія: всѣ прадѣды его, а также и многіе близкіе родственники принадлежали къ низшему сельскому духовенству, отчего въ семьѣ его никогда не прерывалась связь съ селомъ. Дѣдъ его по отцу служилъ дьякономъ въ церкви при Золотыхъ Воротахъ (во Владимірѣ губернскомъ), откуда произошла и фамилія *Златовратскаго*; мать была дочь священника въ г. Вязникахъ, Чернышева. Но отецъ не пошелъ по духовной части, а по окончаніи курса въ мѣстной семинаріи сдѣлался письмоводителемъ при дворянскомъ собраніи.

Родился Златовратскій во Владимірѣ въ 1845 г. 4-го декабря. Первыми воспитателями его были семинаристы, дядья по отцу и по матери, и другіе бѣдные деревенскіе родственники, постоянно жившіе въ ихъ домѣ. Десяти лѣтъ онъ былъ отданъ въ мѣстную гимназію, гдѣ развитіе его шло неправильно, скачками: въ нѣкоторыхъ классахъ онъ оставался по нѣскольку лѣтъ. Но къ концу курса сталъ болѣе сознательно относиться къ ученью. На это

имѣли вліяніе слѣдующія обстоятельства: во-первыхъ, прежніе воспитатели, дядья Златовратскаго, окончивъ семинарскій курсъ, поступили одинъ въ Московскій университетъ, другой—въ С.-Петербургскій педагогическій институтъ. Возвращаясь на каникулы домой, они привозили съ собой въ провинціальную глушь много оживляющихъ впечатлѣній А во-вторыхъ, наступило горячее и живое время реформъ.

Отецъ Златовратскаго въ качествѣ письмоводителя при губернскомъ предводителѣ дворянства усиленно работалъ при губернскомъ комитетѣ по разработкѣ вопросовъ и матеріаловъ, относившихся къ экономическому положенію народа. Оживленіе, внесенное этимъ періодомъ въ жизнь провинціи, не могло не вліять на настроеніе всей интеллигенціи,—и вотъ при содѣйствіи и участіи наиболѣе развитыхъ дворянъ Златовратскій отецъ открылъ публичную библіотеку, подъ которую отвели ему помѣщеніе въ зданіи дворянскаго собранія.



Н. Н. Златовратскій.

Живой и воспріимчивый мальчикъ не замедлилъ внѣдриться въ эту библіотеку и началъ проводить въ ней все свободное время, помогая отцу въ выдачѣ книгъ для чтенія, въ составленіи каталоговъ, а между дѣломъ проглатывая и самъ книгу за книгою. Увлеченіе отца Златовратскаго развитіемъ просвѣщенія на родинѣ не ограничилось этимъ. Ободренный успѣхомъ библіотеки и общимъ оживленіемъ, онъ началъ мечтать объ открытіи во Владимірѣ первой частной типографіи и объ изданіи мѣстнаго органа ***Владимірскаго Вѣстника.*** Въ развитіи этихъ плановъ особенно содѣйствовали ему дядья Златовратскаго, окончившіе къ тому времени курсъ. Въ изданіи между прочимъ предполагалось участіе Н. А. Добролюбова, бывшаго близкимъ другомъ одного изъ дядей (только-что поступившаго учителемъ словесности въ Рязань), съ которымъ онъ вмѣстѣ учился въ Педагогическомъ институтѣ. Добролюбовъ иногда навѣщалъ проѣздомъ въ Нижній на родину домъ Златовратскихъ.

Но не суждено было сбыться не только этимъ мечтамъ, но и все, что было

начато, рушилось съ выборомъ новаго предводителя дворянства, съ которымъ отецъ Златовратскаго не сошелся. Ему было отказано отъ мѣста, библіотека была изгнана изъ дарового помѣщенія и должна была закрыться. Семья, къ тому времени уже многочисленная, очутилась въ безвыходномъ положеніи. Настало тяжкое время, доведшее ее до полнаго разоренія, тѣмъ болѣе что одинъ изъ дядей умеръ вскорѣ вслѣдъ за Н. А. Добролюбовымъ, а черезъ нѣсколько времени умеръ и другой.

Въ это время Златовратскій кончалъ курсъ. Склонность къ писательству проявилась въ немъ еще въ гимназіи: онъ писалъ стихи, издавалъ рукописный журналъ, увлекался театромъ и даже написалъ драму изъ народнаго быта и посвятилъ ее одной актрисѣ, поразившей его игрою Катерины въ *Грозѣ*;— однимъ словомъ, продѣлалъ все, что́ продѣлываютъ даровитые юноши въ гимназическіе годы.

Но особенно сильный слѣдъ изъ всѣхъ юношескихъ впечатлѣній оставили въ Златовратскомъ лѣтнія поѣздки по деревнямъ. Сначала онъ ѣздилъ съ матерью или отцомъ къ родственникамъ; затѣмъ, въ качествѣ ученика землемѣро-таксаторскихъ классовъ при гимназіи,—на землемѣрныя работы по введенію уставныхъ грамотъ и наконецъ, въ качествѣ репетитора,—на кондиціи къ помѣщикамъ (изъ которыхъ многіе были мировыми посредниками). На этихъ кондиціяхъ Златовратскій разсчитывалъ заработать хоть сколько-нибудь денегъ для поѣздки въ Москву и Петербургъ.

Отчаявшись поступить студентомъ въ Московскій университетъ, гдѣ онъ пробылъ годъ вольнослушателемъ, Златовратскій вынужденъ былъ поступить въ С.-Петербургскій технологическій институтъ. Съ этихъ поръ началась для него самостоятельная борьба съ жизнью за кусокъ хлѣба, за ученье, въ поискахъ за призваніемъ,—борьба, оказавшаяся, по собственнымъ словамъ его, выше его силъ.

Однажды въ поискахъ работы онъ сдѣлался случайнымъ корректоромъ въ газетѣ *Сынъ Отечества*. Это было внѣшнимъ толчкомъ, заставившимъ Златовратскаго испробовать свои силы въ печатной литературѣ. Въ 1866 году онъ снесъ въ *Искру* къ В. С. Курочкину свой первый небольшой очеркъ изъ народнаго быта *Падежъ скота*. Очеркъ былъ напечатанъ и послужилъ началомъ цѣлаго ряда очерковъ, исключительно посвященныхъ народному быту, главнымъ образомъ изъ времени освобожденія. Печатались они въ *Искрѣ* и *Будильникѣ* (подъ редакціей Н. Степанова) преимущественно, также въ *Недѣлѣ* и другихъ изданіяхъ большею частью подъ псевдонимами (наиболѣе извѣстный псевдонимъ *Маленькій Щедринъ*).

Но какъ развитіе, такъ и писательство Златовратскаго шло очень неровно, порывами, иногда прекращаясь на цѣлые годы, причемъ, по собственнымъ словамъ его, онъ часто отчаявался въ своемъ призваніи, впадалъ въ уныніе, а жизнь голаго пролетарія рѣдко дарила ему минуты духовнаго просвѣтлѣнія. Однимъ словомъ, жизнь его носила тотъ-же характеръ, какой мы видимъ у прочихъ народниковъ-разночинцевъ. Въ концѣ концовъ, по словамъ его, такое положеніе грозило ему окончательной гибелью, самымъ разрушительнымъ образомъ сказавшись на здоровьѣ. Возвращаться въ семью онъ не рѣшался, такъ какъ она и безъ того была удручена нуждою,—и только когда хроническая болѣзнь окончательно свалила его, онъ рѣшился уѣхать въ провинцію, гдѣ отецъ его въ то время служилъ мелкимъ чиновникомъ въ окружномъ судѣ.

Несмотря на быстро развивавшуюся болѣзнь, пребываніе въ домѣ отца благотворно подѣйствовало на нравственное состояніе Златовратскаго. Здѣсь, въ тиши провинціи, онъ могъ отдохнуть физически и нравственно, пополняя собственное образованіе, занимаясь воспитаніемъ сестеръ, сходясь съ окружающею молодежью и простымъ народомъ, уѣзжая по лѣтамъ въ деревню къ бѣднымъ родственникамъ. Въ это время была имъ задумана и написана первая большая работа *Крестьяне-Присяжные.* Помѣщеніе этой повѣсти въ *Отечественныхъ Запискахъ* (1874 года № 12) окончательно опредѣлило дальнѣйшую судьбу Златовратскаго, выдвинувъ его впередъ и поставивъ въ первомъ ряду молодыхъ беллетристовъ сверстниковъ его.

VII.

Мы уже говорили выше, что между Златовратскимъ и Успенскимъ усматривался антагонизмъ, обусловливавшійся тѣмъ, что писатели эти представляютъ полярную противоположность относительно другъ друга. И дѣйствительно, въ то время какъ преобладающею силою таланта Гл. Успенскаго является юморъ, смѣхъ, безпощадно разбивающій всѣ ваши иллюзіи, Златовратскій хоть-бы разъ улыбнулся: скорбитъ или радуется,—онъ постоянно находится въ одномъ и томъ-же нѣсколько восторженномъ настроеніи, которое порою доходитъ у него до эпическаго паѳоса, такъ что даже и слогъ его принимаетъ стихотворный размѣръ, что̀-то вродѣ гекзаметра. Между тѣмъ какъ у Успенскаго тщетно вы будете искать ландшафтовъ и художественныхъ аксессуаровъ,—онъ является въ этомъ отношеніи самымъ строгимъ ригористомъ, какіе когда-либо бывали въ беллетристикѣ,—у Златовратскаго напротивъ того художественный элементъ далеко не находится въ пренебреженіи: онъ рѣдко вдается въ разсужденія, говоритъ и доказываетъ преимущественно образами, любитъ изображать деревенскую природу и въ ландшафтахъ отличается немалымъ мастерствомъ. Не пренебрегаетъ онъ и внѣшнею отдѣлкою произведеній, которыя вовсе не имѣютъ того отрывочнаго, клочковатаго вида, какъ у предыдущихъ разсмотрѣнныхъ нами беллетристовъ-народниковъ: каждое отличается законченностью и стройностью.

Однимъ словомъ, между Златовратскимъ и Успенскимъ то-же самое различіе, какъ вообще между тѣми вѣковѣчными двумя типами творчества, изъ которыхъ одинъ имѣетъ болѣе наклонности созерцать положительныя стороны человѣческой жизни, а другой—отрицательныя. Въ то время, какъ Успенскій всюду усматриваетъ противорѣчія, отступленія отъ идеаловъ и нормъ и вѣчно имѣетъ дѣло съ больною совѣстью, Златовратскій напротивъ того ищетъ общественные и нравственные устои, на которыхъ могло-бы успокоиться тревожное сердце, жаждущее осуществленія правды.

Эти общественные и нравственные устои, по мнѣнію Златовратскаго, заключаются въ двухъ вѣками созданныхъ народомъ формахъ общежитія: въ общинѣ и артели, съ ихъ индивидуально-нравственными идеалами единенія въ духѣ мира, любви и братской солидарности какъ въ трудахъ, такъ и въ пользованіи ихъ продуктами. Въ этихъ формахъ все спасеніе и единственная возможность осуществленія нравственныхъ идеаловъ, обрѣтенія душевнаго равновѣсія и счастья; внѣ-же ихъ—если не опошленіе, то вѣчное томленіе, неудовлетворенность жизнью, угрызенія и въ результатѣ гибель.

Изъ такого міросозерцанія прямо проистекаетъ отрицательный, пессимистическій взглядъ, съ какимъ смотритъ Златовратскій на русскую интеллигенцію, не исключая и самыхъ лучшихъ ея представителей. Взглядъ этотъ вы найдете во всѣхъ его произведеніяхъ, изображающихъ привилегированные классы, таковы: *Золотыя сердца*, *Скиталецъ*, *Семья Кречлевыхъ*, *Господа Караваевы*, *Гетманъ* и пр. Интеллигентные люди изображаются здѣсь въ видѣ отбившихся отъ стада и заблудшихъ овецъ, и единственное живое, что авторъ усматриваетъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, самыхъ лучшихъ,—это тщетныя усилія слиться съ народомъ и такимъ образомъ какъ-бы вернуть потерянный рай.

Этотъ потерянный интеллигентными людьми, но сохраняемый народомъ при всѣхъ его внѣшнихъ невзгодахъ рай и изображается Златовратскимъ во всѣхъ его разсказахъ изъ народнаго быта, которые группируются главнымъ образомъ подъ двумя заглавіями: *Деревенскія будни* (отд. изд. въ 1882 г.) и *Устои, исторія одной деревни, повѣсть въ четырехъ частяхъ* (изд. въ 1884 г.).

Мы уже говорили выше, что, идя двумя разчличными путями, Гл. Успенскій и Златовратскій пришли къ однимъ и тѣмъ-же выводамъ и въ концѣ концовъ начали говорить почти одно и то-же, употребляя лишь различные термины. Гл. Успенскій, какъ мы видѣли, вывелъ такое общее заключеніе о жизни мужика, что, находясь подъ властью земли, мужикъ преданъ общиннымъ началамъ деревенской жизни инстинктивно, безсознательно, какъ пчела порядкамъ своего улья, и какъ только выдѣляется изъ-подъ власти земли и общины и начинаетъ жить своимъ умомъ, выказываетъ полную нравственную несостоятельность. Златовратскій хотя и ничего не говоритъ о власти земли, но точно также полагаетъ нравственные устои въ беззавѣтномъ подчиненіи мужика вѣками созданнымъ общиннымъ порядкамъ, причемъ и у Златовратскаго оказывается, что мужикъ до тѣхъ поръ и сохраняетъ свою нравственную цѣльность и безмятежность, пока пребываетъ въ предѣлахъ умственной непосредственности; а какъ только въ немъ пробуждается умъ-разумъ, онъ начинаетъ критически относиться къ окружающей его жизни, разсуждать, однимъ словомъ, дѣлается *умственнымъ* мужикомъ, у него является стремленіе обособиться, начать жить своей личной жизнью,—тутъ-то и слѣдуетъ лишеніе рая, утрата прежней нравственной цѣлостности, паденіе.

Въ то время, какъ Гл. Успенскій представилъ это явленіе въ рѣзкомъ конкретномъ фактѣ спитія мужика, отбившагося отъ земледѣлія и получившаго возможность легко зарабатывать деньги на желѣзной дорогѣ, Златовратскій въ своихъ *Устояхъ* изобразилъ нѣсколько существенныхъ типовъ выдѣленія личнаго начала, игравшихъ большую роль въ русской исторіи. Таковъ напримѣръ типъ Сысоя Строгова. Онъ былъ одиночка и женился на дочери богатаго мужика. Когда тесть умеръ, къ нему перешла мельница. Они были бездѣтны, для полевыхъ работъ по лѣтамъ держали работника или работницу. Мельница давала имъ такое обезпеченіе, что они не чувствовали необходимости «тянуть изъ себя жилы», работали, сколько требовалось, и такимъ образомъ Строгій имѣлъ много досуга, освободившаго его изъ-подъ непосредственной власти земли и дававшаго ему возможность раскинуть умомъ. Результатомъ этого раскидыванія умомъ была умственная «блажь», «меланхолія». Строгій неожиданно пришелъ къ выводу: «надо быть справедливымъ, потому—всѣ виноваты.

А всему причиной вино: и тотъ виноватъ, кто пьетъ, и тотъ, кто пить даетъ». И вотъ, когда пришли къ Строгому о Рождествѣ и причтъ, и писарь, и учитель, водки имъ къ изумленію гостей онъ не подалъ, а сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ, послѣдовательно развивая свою «меланхолію», онъ пересталъ ходить въ церковь: когда начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый синій кафтанъ, выходилъ на зады своей избы, становился на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ крестъ колокольни, выстаивалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться и отъ мірскихъ дѣлъ и пересталъ участвовать въ «мірскихъ чаяхъ», въ «мірскихъ четвертяхъ и полуведрахъ». «Не товарищъ,—говорилъ онъ,—пущай безъ меня спаиваютъ народъ-то, съ вами здѣсь не споешься, а сопьешься» и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить въ городъ или монастырь; онъ и самъ началъ подумывать объ отъѣздѣ въ городъ. «Меланхолія» его развилась въ тупой индифферентизмъ ко всему. Чѣмъ больше бѣдствовали дергачи, тѣмъ Строгій больше и больше уходилъ отъ «міра».

«Замежуетесь и не размежуетесь во вѣки вѣковъ», говорилъ онъ и бросилъ обрабатывать свой надѣлъ, передалъ его въ аренду сосѣду, чтобы окончательно отойти отъ міра. Мужики на это совсѣмъ осердились и стали Строгаго донимать систематически, навязывать ему различныя общественныя должности. Тогда онъ рѣшился уѣхать въ городъ и записаться въ мѣщане.

Рядомъ съ Строгимъ стоитъ передъ нами другой типъ отрѣшенія отъ міра, въ видѣ сына Пимана, Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Борисъ былъ мальчикомъ, отцу Пиману удалось научить сына грамотѣ, и вотъ онъ билъ челомъ барину, желая избавить сына отъ очереди и чтобъ баринъ взялъ Бориса въ контору. Баринъ согласился, парень ему понравился, а чрезъ нѣсколько лѣтъ вся Вальковщина была въ рукахъ Бориса и стала приносить барину неслыханные доходы. Онъ всю ее вдругъ поднялъ на ноги; цѣлыми сотнями, не разбирая богатыхъ и бѣдныхъ, гонялъ на работы, страстно любя смотрѣть, какъ эти толпы, покорныя одному его слову, поднимали невѣроятные труды и въ одинъ, два дня совершали такія дѣла, какихъ хватило-бы на цѣлые десятки лѣтъ. Онъ чувствовалъ одно: что отданная въ его руки тысячедушная масса сама выносила его на какую-то высоту, гдѣ закруживалась голова Онъ самъ весь захлебывался этой массовой поэзіей. Но въ то время вся Вальковщина все больше и больше начинала ощущать одно — ужасъ, страхъ непонятный, гнетущій передъ какой-то силой, перепутавшей всѣ вѣками установленныя, опредѣленныя отношенія. Наконецъ Вальковщина рѣшилась бить барину челомъ: «Убери, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Боимся мы его... Жить не стало отъ страха!..» взмолились всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-же мы виноваты?.. Коли боятся, значитъ есть за что, проговорилъ на спросъ барина Борисъ и улыбнулся.

Баринъ внимательно взглянулъ ему въ лицо. «А! Теперь я знаю... въ чемъ ты виноватъ!» сказалъ онъ, и, къ изумленію всей Вальковщины и даже сосѣднихъ помѣщиковъ и крестьянъ, добрый баринъ, ратовавшій за освобожденіе, высѣкъ своего собственнаго бурмистра... Говорили, что баринъ на другой-же день раскаялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ было наградить Бориса, но Бориса уже не было въ Дергачахъ: онъ бѣжалъ изъ нихъ съ женою и дѣтьми.

«Спустя лѣтъ пять или шесть, когда уже не было въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнихъ порядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной рубахѣ, въ плисовой поддевкѣ и штанахъ, сдѣлавшійся старше, серьезнѣе. Отдѣлился отъ родныхъ, выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщины, но крестьянскаго хозяйства не заводилъ, а къ Рождеству неожиданно забилъ окна избы тесинами,—и снова исчезъ изъ Дергачей съ женой и съ сыномъ. Съ тѣхъ поръ, втеченіе десяти лѣтъ, онъ разъ пять по прежнему неожиданно являлся въ свою заплѣсневѣлую избу,— то съ женой и сыномъ, то съ однимъ сыномъ,—расколачивалъ окна,—и вотъ вся изба вдругъ наполнялась шумомъ, весельемъ и гамомъ. Отецъ и сынъ въ плисовыхъ шароварахъ, казакинахъ и кумачевыхъ рубахахъ ходили по деревенскимъ улицамъ, грызя орѣхи, угощаясь и угощая народъ по кабакамъ и у себя въ избѣ; если дѣло было зимой, они закупали статнаго жеребца со всей сбруей и санями; рыскали по всей Вальковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пускали, что называется, пыль въ глаза всей дергачовской знати. Послѣ мѣсячнаго кутежа лошадь и сбруя спускались опять за безцѣнокъ,—и странная семья исчезала года на два. Много конечно ходило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, которые повѣствовали о томъ, что встрѣчали Бориса то въ Астрахани откупавшимъ огромные рыбные участки, собиравшаго артель до 200—300 человѣкъ рыбаковъ, то видѣли его подъ Самарой, вытаскивавшаго потонувшій пароходъ; то сплавлявшаго цѣлые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это непремѣнно во главѣ огромной массы рабочаго народа, который опять сгоняли въ лапы отца съ сыномъ словно какія-то невидимыя силы... А отецъ съ сыномъ ухарски и беззавѣтно царили надъ ней... Часто послѣ одной изъ такихъ «операцій» въ ихъ рукахъ скоплялись огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ распускалъ эти массы, пропоивъ на нихъ чуть не половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ другой половиной въ родные Дергачи».

Оба эти типа, какъ Строгій, такъ и Борисъ, представляются двумя видами первоначальнаго, элементарнаго, такъ сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете встрѣтить ихъ во всѣ времена русской исторіи. Строгіе населили русскіе города и были родоначальниками всѣхъ купеческихъ родовъ, какіе только существуютъ на Руси; Борисы породили массу удалыхъ головъ, начиная съ новогородскихъ ушкуйниковъ и понизовой вольницы и кончая атаманами разбойничьихъ шаекъ и героями *Мертваю дома* Достоевскаго.

Третьимъ типомъ выдѣленія личнаго начала является главный герой *Устоевъ*, Петръ Вонифатьевичъ Волкъ. Это типъ небывалый доселѣ въ деревенской жизни. Петръ не отрѣшается отъ міра, не отчуждается, а стремится встать во главѣ односельчанъ, внести въ жизнь ихъ новыя начала *умственности*, сознаніе своего человѣческаго достоинства. Это въ своемъ родѣ герой времени, которымъ земляки гордятся, ждутъ отъ него спасенія, а онъ сознаетъ свое призваніе спасти односельчанъ.

Умственностью своею Петръ былъ обязанъ тому обстоятельству, что крестный отецъ его, Строгій, когда ему было 16 лѣтъ, отвезъ его въ Москву и пристроилъ подручнымъ при фирмѣ торговаго дома Башмаковыхъ и К°. Здѣсь юноша попалъ въ интеллигентный кружокъ, въ нравственной состоятельности котораго горько разочаровался; тѣмъ не менѣе изъ столичныхъ мытарствъ вынесъ новые идеалы, заключавшіеся во-первыхъ въ противупоставленіи *умственности* пассивному разгильдяйству и темнотѣ людей традиціонной рутины, и во-вторыхъ—въ сознаніи личнаго достоинства въ противность смиренія и приниженія. На каждомъ шагу у него такъ и срывались съ языка фразы, вродѣ: «*Умному человѣку вездѣ хорошо, а дуракамъ и въ столицѣ плохо*!.. *Умному человѣку вездѣ ходъ*!..» Въ то-же время на слова тетушки Ульяны, которой онъ привезъ въ подарокъ шаль, что *куда намъ, старикамъ, эти форсы*, онъ отвѣчалъ:

— Я такъ полагаю, тетенька, что пора бросать смиренство-то да прини-

женье... Тоже и мы люди! Чѣмъ мы хуже другихъ? Нужно тоже и свою гордость имѣть!..

Но при всемъ непривлекательномъ видѣ, въ какомъ рисуется фигура этого новаго человѣка деревни, Петръ является однимъ изъ героевъ, которыхъ можно встрѣтить не мало въ европейской исторіи. Когда въ темныхъ массахъ являлось стремленіе къ освобожденію личности изъ-подъ ига традиціи и пробуждалось чувство человѣческаго достоинства, постоянно являлись на сцену подобные мрачные, надменные герои, равно озлобленные и противъ возвысившейся культуры, и противъ приниженныхъ массъ, готовые во имя идеала «умственности» отрицать и своихъ, и чужихъ. Но хуже всего было въ этихъ герояхъ то, что одностороннее стремленіе освободить личность и даровать ей безграничный просторъ приводило ихъ къ отрицанію въ старыхъ порядкахъ не только отжившаго и гнилого, но и живого, здороваго, составлявшаго корни самаго существованія. Этимъ именно людямъ Европа обязана тѣмъ, что впродолженіе послѣднихъ 200 лѣтъ во имя царства разума и освобожденія личности отъ средневѣковыхъ традицій были искоренены послѣдніе остатки общиннаго быта въ земледѣльческихъ классахъ.

Такимъ-же прямолинейнымъ, одностороннимъ и слѣпымъ отрицателемъ является и Петръ по отношенію къ своей деревнѣ. Не смотря на то, что вѣрные хранители дѣдовскихъ устоевъ отшатнулись отъ Петра, слава и популярность его все болѣе и болѣе росли въ дергачевскомъ мірѣ. Когда-же онъ пріобрѣлъ заброшенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ, сошелся съ «хозяйственными» мужиками и женился на дочери Пимана, Аннушкѣ, онъ забралъ такую силу, что тестя его Пимана избрали волостнымъ старшиною; настоящимъ-же заправилою волости сдѣлался Петръ въ качествѣ волостного писаря. И тутъ онъ далъ разгуляться своей «умственности» на полной волюшкѣ. Во имя своего прямолинейнаго идеала онъ оказался необузданнымъ и безжалостнымъ деспотомъ, какого не видали мужики со времени барства. Несчастнымъ свихнувшимся бѣднякамъ, запьянствовавшимъ и разорившимся, не было отъ него никакой пощады; по слухамъ, онъ даже сѣкъ ихъ. Онъ дошелъ до такой дерзости, что землю, которую онъ «высудилъ» для міра, при помощи непремѣннаго члена Валентина Петровича, онъ не далъ дѣлить по-прежнему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить ее на участки и давать во временное пользованіе только «настоящимъ» хозяйственнымъ мужикамъ. Тогда въ Вальковщинѣ поднялось волненіе: противъ Петра встала чернота и бѣднота подъ предводительствомъ Бориса. Къ чернотѣ присоединились всѣ старинные люди общинники. Прежніе кулаки-грабители, сначала было сробѣвшіе, теперь подняли голову и черезъ Бориса вошли въ союзъ съ чернотой, начали поить ее водкой. Строгость Петра перешла тогда всѣ границы. Возмущенный «продажной», какъ онъ называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабителями, Петръ присталъ къ Пиману съ требованіемъ, чтобы тотъ выхлопоталъ мірской приговоръ о ссылкѣ Бориса въ Сибирь. Собравшійся волостной сходъ вызвалъ на объясненіе Пимана и Петра. Пимана обругали «старымъ дуракомъ», но ничего отъ него не добились. Петръ-же, когда ему передали вызовъ на мірской судъ, сказалъ, что еще не было видано, чтобъ судъ дураковъ умныхъ людей судилъ. Сходъ жаловался въ уѣздное присутствіе; услыхавъ объ этомъ, Петръ обозвалъ весь міръ «дураками», и пораженный поднявшейся

общей безтолочью, въ которой онъ не понималъ, какъ разобраться, отказался отъ дѣлъ и самовольно уѣхалъ въ Москву...

Изъ всего этого явствуетъ, что Златовратскій вовсе не идеализируетъ деревенскую жизнь и мужика, въ чемъ его нѣкоторые заподозрѣвали. Подобно Гл. Успенскому, онъ ставитъ на видъ, что нравственные устои деревни покоятся на инстинктивной и не разсуждающей вѣрности традиціямъ и совершенно чужды того сознательно-разумнаго отношенія къ нимъ, при которыхъ только и возможно ихъ развитіе. «Умственность»-же, т. е. начало сознанія и критики вело до сихъ поръ не къ усовершенствованію и развитію самихъ устоевъ, а къ стремленію выдѣлиться изъ нихъ на почву эгоистическаго индивидуализма городской жизни.

Разсмотрѣнными нами въ трехъ послѣднихъ главахъ писателями далеко не исчерпывается беллетристика народнаго быта. Мы намѣтили лишь главныя фазы ея развитія и разсмотрѣли дѣятельность такихъ писателей, которые или спеціально посвятили себя этому предмету, или проявили себя особенно ярко и самобытно въ этой отрасли беллетристики. А затѣмъ намъ остается поставить на видъ, что рѣдкій изъ писателей послѣднихъ тридцати лѣтъ не касался народнаго быта хотя мелькомъ и мимоходомъ. Такъ напр., найдете вы разсказы изъ народнаго быта у Салтыкова въ его *Губернскихъ очеркахъ* (*Отставной солдатъ Пименовъ*, *Пахомовна*, *Аринушка*, *Старецъ*). Ал. Потѣхинъ писалъ не только мелкіе разсказы, но и обширные романы: *Около денегъ* (*Вѣстн. Евр.* 1877 г.). П. Засодимскій помѣстилъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1874 г., въ свою очередь, большой романъ *Хроника села Смурина*. Изъ новѣйшихъ писателей не мало касаются народнаго быта: В. Короленко, А. Эртель, Мачтетъ, Каронинъ, Дмитріева. Но обо всемъ этомъ будетъ сказано при разсмотрѣніи дѣятельности упомянутыхъ писателей на своемъ мѣстѣ.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

I. Беллетристы-публицисты. Ихъ дѣленіе по партіямъ. Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ, какъ представитель демократической партіи. Дѣтскіе годы его и воспитаніе.—II. Ссылка.—III. Возвращеніе, служба, женитьба и редакторская дѣятельность. — IV. Черты его характера. Послѣдующіе годы и смерть.—V. Первый дореформенный характеръ его литературной дѣятельности. *Губернскіе очерки*.—VI. Второй періодъ, современный реформамъ. *Помпадуры и помпадурши. Исторія одного города*. — VI. Третій періодъ — пореформенный — шестидесятые и семидесятые годы. *Ташкентцы, Дневникъ провинціала, Головлевы*. — VIII. Трагическій элементъ въ позднѣйшихъ сатирахъ Салтыкова. — IX. Четвертый періодъ — восьмидесятыхъ годовъ. *Мелочи жизни. Сказки. Пошехонская старина*.

I.

Сильный подъемъ духа въ эпоху реформъ и всеобщее увлеченіе вопросами политическими и соціальными не замедлили отразиться въ литературѣ созданіемъ особенной отрасли беллетристики, которая называлась тенденціозной; правильнѣе-же было бы назвать ее публицистической, такъ какъ слова тенденція, тенденціозный слишкомъ опошлены, и къ тому же подъ ними подразумѣвается нѣчто искуственное, предвзятое, надуманное, между тѣмъ какъ въ

беллетристикѣ, о которой идетъ у насъ рѣчь, мы встрѣчаемъ много такого, что вовсе этого обвиненія не заслуживаетъ, такъ какъ естественно и органически вытекаетъ изъ духа времени безъ какихъ-бы то ни было преднамѣренностей со стороны авторовъ. Названіе-же публицистической болѣе подходитъ къ этого рода беллетристикѣ, такъ какъ, созданная общественнымъ движеніемъ, она вполнѣ выражаетъ собой современный духъ и борьбу различныхъ партій и проводитъ тѣ идеи и взгляды на различныя современныя явленія, какіе соотвѣтствуютъ партіи, къ которой принадлежитъ тотъ или другой писатель.

Отдѣляя публицистическую беллетристику отъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ, я вовсе не хочу этимъ сказать, чтобы между двумя отраслями не было ничего общаго, или чтобы беллетристы сороковыхъ годовъ не преслѣдовали никакихъ общественныхъ цѣлей. И у беллетристовъ сороковыхъ годовъ мы видѣли немало произведеній, глубоко проникнутыхъ общественными интересами. Но беллетристы сороковыхъ годовъ далеко не столь всецѣло отдавались этимъ интересамъ, какъ беллетристы-публицисты шестидесятыхъ годовъ: ихъ занимали вмѣстѣ съ тѣмъ и психологическій анализъ, и чистая художественность въ пушкинскомъ духѣ. Въ то-же время въ міросозерцаніи большинства ихъ мы видѣли тотъ пессимистическій скептицизмъ, который составляетъ главную ихъ особенность. Наконецъ при всемъ увлеченіи общественными интересами, беллетристы сороковыхъ годовъ были чужды строгой опредѣленности и выдержанности въ партіонномъ отношеніи. Они или совсѣмъ не принадлежали ни къ какой партіи, какъ напримѣръ Гончаровъ или Л. Толстой, или-же колебались, переходя отъ одной партіи къ другой, или же старались совмѣщать самыя противоположныя и непримиримыя теченія, каковы Тургеневъ, Писемскій, Достоевскій. Беллетристы-же публицисты всецѣло отдаются общественнымъ вопросамъ, и вопросы эти ставятся въ ихъ произведеніяхъ на первый планъ. Любовь и психическій анализъ занимаютъ скромное и второстепенное мѣсто; ландшафты природы, въ свою очередь, играютъ чисто декоративную роль, порою-же дѣло обходится и безъ любви, и безъ психическаго анализа, и безъ ландшафтовъ, и все произведеніе занято одной политикою. Въ то-же время каждый романистъ является приверженцемъ своей партіи и въ неуклонномъ служеніи ей, пропагандированіи ея принциповъ видитъ главное значеніе и достоинство своей литературной дѣятельности. Сообразно этому и публицистическую беллетристику можно раздѣлить на три рода: демократическую, умѣренно-либеральную и консервативную.

Во главѣ демократической беллетристики стоитъ великій писатель, составляющій гордость и честь нашей эпохи, наиболѣе глубоко и полно ее выражающій—Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ. Сверстникъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ и начавшій свою дѣятельность въ одно время съ ними, онъ значительно опередилъ ихъ, вставши во главѣ движенія шестидесятыхъ годовъ, и такимъ образомъ вмѣстилъ въ своей личности двѣ эпохи, сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ, соединивъ скептическій анализъ предшествующей эпохи съ духомъ отважнаго протеста послѣдующей.

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ родился 15-го января 1826 года въ селѣ Спасъ-Уголъ, Калязинскаго уѣзда, Тверской губерніи. Родители его были помѣщики, о древности рода которыхъ нечего и говорить, такъ какъ самая фамилія Салтыковыхъ—одна изъ самыхъ распространенныхъ, общеизвѣстныхъ и непрестанно повторяющихся въ исторіи чуть не со временъ Іоанна Гроз-

наго,—достаточно свидѣтельствуетъ о родовитости нашего безсмертнаго сатирика, а вмѣстѣ съ тѣмъ о татарскомъ происхожденіи его предковъ.

Проведя первые годы своей жизни въ сельскомъ уединеніи, на полномъ барскомъ привольѣ, среди простора полей, Салтыковъ семи лѣтъ, въ самую годовщину рожденія, 15-го января 1833 года, былъ посаженъ за азбуку, причемъ первымъ наставникомъ его по обычаю того времени былъ свой-же крѣпостной человѣкъ, живописецъ Павелъ. Но у этого перваго наставника «изъ



М. Е. Салтыковъ.

народа» мальчикъ занимался не болѣе года, а затѣмъ поступилъ подъ руководство старшей сестры, Надежды Евграфовны, вышедшей изъ московскаго Екатерининскаго института въ 1834 году, и ея подруги по институту, Авдотьи Петровны Василевской, поступившей въ домъ Салтыковыхъ въ качествѣ гувернантки. Кромѣ этихъ двухъ дѣвицъ, священникъ села Заозерья, Иванъ Васильевичъ, преподавалъ мальчику законъ Божій и латинскій языкъ по грамматикѣ Кошанскаго, а студентъ Троицкой духовной академіи, Матвѣй Петровичъ Салминъ, два года сряду проживалъ въ имѣніи Салтыковыхъ на лѣтнихъ вакаціяхъ, подготовляя его къ экзамену. Подготовленіе это было настолько

успѣшно, что въ августѣ 1836 года, когда Салтыкову было уже 10 лѣтъ, онъ былъ принятъ въ третій классъ шестиклассагo Московскаго дворянскаго института, только-что преобразованнаго въ то время изъ университетскаго пансіона.

Московскій дворянскій институтъ имѣлъ привилегію отправлять каждые полтора года отличнѣйшихъ учениковъ въ Царскосельскій лицей, гдѣ они поступали на казенное содержаніе. Привилегіи этой удостоился и Салтыковъ, и, пробывъ два года въ Московскомъ дворянскомъ институтѣ, былъ въ 1838 году переведенъ въ лицей, въ то время находившійся еще въ Царскомъ Селѣ.

Судя по всему, порядки въ лицеѣ въ то время были очень строгіе и начальство употребляло всѣ усилія, чтобы вывѣтрить изъ лицея традиціонный духъ Куницына и Пушкина. Но бороться съ этимъ духомъ было чрезвычайно трудно, особенно въ виду свѣжей еще могилы Пушкина, умершаго всего годъ назадъ такой трагической и обаятельной для юношества смертью. Какъ ни преслѣдовало начальство стихотворство, рѣдкій мальчикъ мало-мальски талантливый и воспріимчивый не мечталъ о славѣ Пушкина и не дѣлался поэтомъ съ перваго-же класса лицея. Это обстоятельство и было причиною ранняго пробужденія страсти къ литературной дѣятельности въ Салтыковѣ съ десятилѣтняго возраста, т. е. съ перваго-же класса лицея, и въ то-же время—столь-же ранняго предубѣжденія противъ него начальства. Не мало доставалось ему за стихотворство и чтеніе книгъ не только со стороны администраціи училища, начиная съ гувернеровъ, но и со стороны учителя русскаго языка, Гроздова. Эти преслѣдованія оправдывались и обострялись тѣмъ, что стихи Салтыкова не всегда были невиннаго и сентиментальнаго характера, и тщетно пряталъ ихъ мальчикъ въ рукава куртки и даже за голенища; запретные стихи находились,—и слѣдовала кара вмѣстѣ со сбавкою балла изъ поведенія. Достаточно сказать, что впродолженіе всего пребыванія въ лицеѣ онъ, при 12-ти балльной системѣ, никогда не получалъ изъ поведенія больше 9-ти, не исключая и послѣднихъ двухъ мѣсяцевъ передъ выпускомъ, когда всѣмъ сплошь ставился полный баллъ. Поэтому въ аттестатѣ, полученномъ Салтыковымъ, значится «при довольно хорошемъ поведеніи», а это показываетъ, что средній баллъ въ поведеніи за послѣдніе два года былъ ниже восьми. Правда, что здѣсь участвовали не одни стихи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и такъ называемыя «грубости и шалости»: то пуговица оказывалась растегнутою или совсѣмъ потерянною, то треуголка надѣта съ поля, а не по формѣ (что̀ было необыкновенно трудно и составляло цѣлую науку), то юноша былъ пойманъ съ папироской во рту и т. п.

Но во 2-мъ классѣ не было уже такихъ строгостей относительно чтенія и стихотворства. Воспитанникамъ дозволялось даже выписывать на свой счетъ журналы, и они подписывались на *Отечественныя Записки*, *Библіотеку для Чтенія*, *Сынъ Отечества*, *Маякъ* и *Revue Etrangère*. Что-же касается до стихотворства, то въ каждомъ курсѣ предполагался продолжатель Пушкина; такъ, въ XI-мъ—Пушкинымъ былъ В. Р. Зотовъ, который печаталъ свои стихи въ *Маякѣ*, и издатель Бурачокъ не въ шутку провозгласилъ его вторымъ Пушкинымъ; въ XII—Пушкинымъ былъ Н. П. Семеновъ; въ XIII – М. Е. Салтыковъ; въ XIV—В. П. Гаевскій и т. д. Журналы читались воспитанниками съ жадностью, особенно конечно *Отечественныя Записки*, а въ нихъ наибольшее вліяніе оказывали на юношей критическія статьи Бѣлинскаго.

Первое стихотвореніе Салтыкова *Лира* появилось въ *Библіотекѣ для Чтенія*,въ 1841 году, за подписью С—въ. Въ слѣдующемъ, 1842, году появилась въ томъ же журналѣ другая его пьеса: *Два жизни*, помѣченная только первой буквой его фамиліи. Ко времени пребыванія въ лицеѣ относятся и остальныя стихотворенія Салтыкова, хотя они появились въ *Современникѣ* уже послѣ выпуска его изъ лицея, въ 1844 и 1845 гг. Но это были послѣднія его стихотворенія; съ выходомъ изъ лицея онъ оставилъ свои мечты сдѣлаться вторымъ Пушкинымъ. Впослѣдствіи-же онъ даже и не любилъ, когда кто-либо напоминалъ ему о стихотворныхъ грѣхахъ его молодости, краснѣя, хмурясь при этомъ случаѣ и стараясь всячески замять разговоръ. Однажды онъ высказалъ даже о поэтахъ парадоксъ, что всѣ они, по его мнѣнію, сумасшедшіе люди.

— Помилуйте,—объяснялъ онъ,—развѣ это не сумасшествіе—по цѣлымъ часамъ ломать голову, чтобы живую, естественную человѣческую рѣчь втискивать во что-бы то ни стало въ размѣренныя риѳмованныя строчки? Это все равно, что кто-нибудь вздумалъ-бы вдругъ ходить не иначе какъ по разостланной веревочкѣ, да непремѣнно еще на каждомъ шагу присѣдая.

Конечно это была не болѣе какъ одна изъ сатирическихъ гиперболъ великаго юмориста, потому что на самомъ дѣлѣ онъ былъ тонкій знатокъ и цѣнитель хорошихъ стиховъ, и Некрасовъ постоянно ему одному изъ первыхъ читалъ свои новыя стихотворенія.

II.

Въ 1844 году Салтыковъ кончилъ курсъ лицея, уже переименованнаго въ Александровскій и переведеннаго въ Петербургъ на Каменоостровскій проспектъ. Вышелъ онъ съ чиномъ X класса, т. е. въ черной половинѣ своего курса, составлявшаго меньшинство, такъ какъ въ курсѣ, состоявшемъ изъ 23 воспитанниковъ, 15 выпущено девятымъ классомъ и лишь 8—десятымъ. По окончаніи курса Салтыковъ поступилъ на службу въ канцелярію Военнаго министерства при графѣ Чернышевѣ, а два года спустя, 8-го августа 1846 года, получилъ тамъ мѣсто помощника секретаря.

Подобно Пушкину, первые три года по выходѣ изъ лицея Салтыковъ очень бурно и разсѣянно справлялъ «праздникъ жизни, молодости годы». По своей страсти все представлять въ комическомъ видѣ, не щадя и самого себя, Салтыковъ разсказывалъ о себѣ нѣсколько анекдотовъ изъ этого періода своей жизни, которые по крайней курьезности вполнѣ совпадаютъ съ жанромъ его сатиръ.

Но ни этотъ праздникъ молодости, ни канцелярская служба не мѣшали Салтыкову отдаваться движенію времени и принимать въ немъ горячее участіе. Вотъ что вспоминаетъ онъ объ этихъ годахъ въ четвертой главѣ своей сатиры *За рубежемъ*:

«Съ представленіемъ о Франціи и Парижѣ для меня неразрывно связывается воспоминаніе о моемъ юношествѣ, то есть о сороковыхъ годахъ. Да и не только для меня лично, но и для всѣхъ насъ, сверстниковъ, что согрѣвало нашу жизнь и въ извѣстномъ смыслѣ даже опредѣляло ея содержаніе. Какъ извѣстно, въ сороковыхъ годахъ русская литература (а за нею, конечно, и молодая читающая публика) подѣлилась на два лагеря: западниковъ и славянофиловъ. Былъ еще третій лагерь, въ которомъ копошились Булгарины, братья Кукольники и т. п., но этотъ лагерь уже не имѣлъ ни малѣйшаго вліянія на подростающее поколѣніе, и мы знали его лишь настолько, насколько онъ являлъ себя

прикосновеннымъ къ вѣдомству управы благочинія. Я въ то время только что оставилъ школьную скамью и, воспитанный на статьяхъ Бѣлинскаго, естественно примкнулъ къ западникамъ. Но не къ большинству западниковъ (единственно авторитетному тогда въ литературѣ), которое занималось популяризированіемъ положеній нѣмецкой философіи, а къ тому безвѣстному кружку, который инстинктивно прилѣпился къ Франціи. Разумѣется, не къ Франціи Луи-Филиппа и Гизо, а къ Франціи Сенъ Симона, Кабе, Фурье, Луи-Блана и въ особенности Жоржъ Занда. Оттуда лилась на насъ вѣра въ человѣчество, оттуда возсіяла намъ увѣренность, что золотой вѣкъ находится не позади, а впереди насъ... Словомъ сказать, все доброе и все желанное и любвеобильное шло оттуда. Въ Россіи,—впрочемъ не столько въ Россіи, сколько спеціально въ Петербургѣ,—мы существовали лишь фактически, или, какъ въ то время говорилось, имѣли *образъ жизни*. Ходили на службу въ соотвѣтствующія канцеляріи, писали письма къ родителямъ, питались въ ресторанахъ, а чаще всего въ кухмистерскихъ, собирались другъ у друга для собесѣдованій и т. д. Но духовно мы жили во Франціи. Россія представляла собой область, какъ-бы застланную туманомъ, въ которой даже такое дѣло, какъ опубликованіе «Собранія русскихъ пословицъ», являлось прихотливымъ и предосудительнымъ; напротивъ того, во Франціи все было ясно какъ день, несмотря на то, что газеты доходили до насъ съ вырѣзками и помарками. Такъ что когда министръ внутреннихъ дѣлъ Перовскій началъ издавать таксы на мясо и хлѣбъ, то и это заинтересовало насъ только въ качествѣ анекдота, о которомъ слѣдуетъ говорить съ осмотрительностью. Напротивъ, всякій эпизодъ изъ общественно-политической жизни Франціи затрогивалъ насъ за-живое, заставлялъ и радоваться, и страдать. Въ Россіи все казалось поконченнымъ, запакованнымъ и за пятью печатями сданнымъ на почту для выдачи адресату, котораго заранѣе предположено не разыскивать; во Франціи—все какъ-будто только-что начиналось. И не только теперь, въ эту минуту, а больше полустолѣтія сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малѣйшаго желанія кончиться. Въ особенности симпатія къ Франціи обострилась около 1848 г. Мы съ неподдѣльнымъ волненіемъ слѣдили за перипетіями драмы послѣднихъ двухъ лѣтъ царствованія Луи-Филиппа и съ упоеніемъ зачитывались «Исторіей десятилѣтія» Луи-Блана. Луи-Филиппъ, и Гизо, и Дюшатель, и Тьеръ, все это были какъ-бы личные враги (право, даже болѣе опасные, чѣмъ Л. В. Дуббельтъ), успѣхъ которыхъ огорчалъ, неуспѣхъ — радовалъ. Процессъ министра Тьера, агитація въ пользу избирательной реформы, высокомѣрныя рѣчи Гизо по этому поводу, февральскіе банкеты— все это и теперь такъ живо встаетъ въ моей памяти, какъ будто происходило вчера»...

Это увлеченіе движеніемъ вѣка не мало содѣйствовало тому, что, сблизившись съ такими передовыми людьми своего времени, какъ В. Милютинъ и В. Майковъ, Салтыковъ, бросивъ писать стихи, перешелъ къ прозѣ. Первыми его произведеніями были рецензіи нѣкоторыхъ новыхъ книгъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Въ 1847 г. въ ноябрьской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ* была напечатана первая повѣсть его *Противорѣчія*, подъ псевдонимомъ М. Непанова, посвященная В. А. Милютину, а въ мартѣ 1848 года появилась тоже въ *Отечественныхъ Запискахъ* вторая его повѣсть *Запутанное дѣло*, подписанная иниціалами М. С.

Въ произведеніяхъ этихъ вы видите очень еще бѣдные зачатки той сатирической соли, какою полны послѣдующія произведенія Салтыкова. Во-первыхъ, въ тѣ мрачныя времена было не до сатиры, а во-вторыхъ, Салтыковъ находился очевидно подъ вліяніемъ тѣхъ соціальныхъ идей, какія бродили въ то время въ кружкахъ петербургской интеллигенціи, и въ вышеозначенныхъ произведеніяхъ его преобладаютъ рефлексіи въ духѣ этихъ идей. Строгая цензура того времени пропустила безпрепятственно оба разсказа, несмотря на то, что второй, *Запутанное дѣло*, появился въ мартѣ 1848 года, когда въ правительственныхъ сферахъ начиналась уже паника подъ первымъ впечатлѣніемъ только-что разразившейся февральской революціи. Въ публикѣ первые разсказы Салтыкова, надо полагать, не произвели ни малѣйшей сенсаціи, и критика ихъ почти не замѣтила.

Между тѣмъ впродолженіе 1848 г., подъ впечатлѣніемъ французской революціи, обратившейся въ общеевропейскую, обнаружился рѣшительный поворотъ въ нашихъ внутреннихъ дѣлахъ въ сторону крайней реакціи. Возникло дѣло Петрашевскаго, былъ учрежденъ Бутурлинскій комитетъ, какъ высшее цензурное вѣдомство, наблюдавшее не только надъ общественною прессою, но и надъ казенною, и имѣвшее право дѣлать замѣчанія и выговоры отъ Высочайшаго имени даже министрамъ. И надо было случиться, чтобы однимъ изъ первыхъ распоряженій Бутурлинскаго комитета было строгое замѣчаніе, данное министру гр. Чернышеву за цензурныя неисправности въ *Русскомъ Инвалидѣ*, находившемся подъ редакціею барона Корфа. Надо полагать, что это обстоятельство, вооруживъ гр. Чернышева противъ литераторовъ, повліяло на то суровое отношеніе, какое встрѣтилъ Салтыковъ, когда обратился къ начальству съ просьбою объ отпускѣ для поѣздки на праздники къ родителямъ. Вмѣсто полнаго разрѣшенія отпуска министръ, до котораго вѣроятно дошли слухи о литературныхъ опытахъ его подчинѣннаго, потребовалъ, чтобы онъ представилъ свои сочиненія. Салтыковъ представилъ свои два разсказа, напечатанные въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Министръ поручилъ Н. Кукольнику, служившему въ свою очередь въ Военномъ министерствѣ, написать о нихъ ему докладъ. Заклятый врагъ натуральной школы и *Отечественныхъ Записокъ*, Н. Кукольникъ представилъ докладъ министру въ такомъ видѣ, что гр. Чернышевъ только ужаснулся, что столь опасный человѣкъ служитъ въ его министерствѣ, и тотчасъ-же препроводилъ докладъ Кукольника въ Бутурлинскій комитетъ. Оттуда докладъ былъ переданъ въ III отдѣленіе; и вотъ 28-го апрѣля 1848 г. передъ квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка съ жандармомъ, и ему объявлено было повелѣніе тотчасъ-же ѣхать въ Вятку.

По прибытіи въ Вятку Салтыковъ былъ зачисленъ въ канцелярскіе чиновники при губернскомъ правленіи, съ осени-же былъ назначенъ старшимъ чиновникомъ особыхъ порученій при губернаторѣ. Губернаторъ Середа не могъ не оцѣнить молодого чиновника, рѣзко выдѣлявшагося изъ среды провинціальнаго чиновничества образованіемъ и знаніемъ дѣла. Салтыковъ два раза при немъ исправлялъ должность правителя губернаторской канцеляріи; сверхъ того ему было поручено составленіе по городамъ Вятской губерніи инвентарей недвижимыхъ имуществъ, статистическихъ отношеній и соображеній о мѣрахъ къ лучшему устройству городскихъ дѣлъ. 5-го августа 1850 г. Салтыковъ былъ назначенъ совѣтникомъ вятскаго губернскаго правленія. При новомъ губернаторѣ Семеновѣ (съ 1851 г.) дѣятельность Салтыкова становится еще разнообразнѣе. Помимо вышеозначенныхъ занятій онъ состоитъ еще дѣлопроизводителемъ въ трехъ комитетахъ: о рабочемъ и смирительномъ домахъ, о порядкѣ отдачи въ аренду почтовыхъ станцій и о выставкѣ сельскихъ произведеній въ Петербургѣ, а затѣмъ на него-же было возложено и распоряженіе вятской очередной сельско-хозяйственной выставкой. Въ 1852 г. Салтыковъ, въ качествѣ совѣтника губ. правленія, былъ посланъ губернаторомъ, вмѣстѣ съ жандармскимъ офицеромъ, въ Слободской уѣздъ для принятія мѣръ къ прекращенію безпорядковъ между государственными крестьянами Путейскаго и Нелѣсовскаго сельскихъ обществъ Трушинковской волости; въ 1853 году былъ командированъ въ Нолинскъ для обревизованія дѣлопроизводства земскаго суда.

Всѣ эти порученія исполнялись имъ далеко не зауряднымъ чиновничьимъ образомъ: онъ тщательно изучалъ дѣло, выяснялъ всѣ его обстоятельства, старался раскрыть причину тѣхъ или другихъ явленій и найти средства къ предупрежденію ихъ. И дѣлалъ все это онъ съ рѣдкимъ безпристрастіемъ и гражданскимъ мужествомъ, не боясь высказывать прямо непріятную правду или предлагать мѣры, которыя легко могли быть поставлены на счетъ его неблагонамѣренности.

Подневольное положеніе Салтыкова смягчалось тѣмъ, что къ нему очень хорошо относилось мѣстное общество. Его всюду звали, начиная съ высшихъ административныхъ лицъ, и вездѣ онъ былъ желаннымъ гостемъ. Чаще другихъ онъ бывалъ въ домѣ вятскаго вице-губернатора Болтина, гдѣ скоро сдѣлался своимъ человѣкомъ. Онъ чувствовалъ себя у нихъ вполнѣ хорошо, подолгу разговаривалъ съ матерью, шутилъ и разговаривалъ съ дочерьми, бывшими тогда еще дѣвочками, вообще бывалъ веселъ, хотя и тогда онъ не смѣялся, какъ другіе: «У него смѣялись только глаза», по воспоминанію одной изъ дочерей Болтина, будущей его супруги. Обращалъ онъ вниманіе и на учебныя занятія молодыхъ дѣвушекъ, и такъ какъ въ то время не было хорошаго учебника по русской исторіи, то онъ и составилъ спеціально для нихъ *Краткую исторію Россіи.* Написанная по разнымъ источникамъ и доведенная до Петра I, рукопись эта состоитъ изъ сорока шести исписанныхъ листовъ и стоила не малаго труда.

III.

Въ ноябрѣ 1855 г. Салтыкову было позволено выѣхать изъ Вятки, а 12-го февраля 1856 г. онъ былъ отчисленъ отъ должности совѣтника вятскаго губернскаго правленія и причисленъ къ министерству внутреннихъ дѣлъ. Такъ кончилась его восьмилѣтняя ссылка. Обязанъ онъ былъ этимъ либеральнымъ вѣяніямъ, наставшимъ послѣ Крымской кампаніи, а также и новому вятскому губернатору, Ланскому.

Кромѣ окончаніи ссылки, 1856 годъ ознаменовался въ жизни Салтыкова, во-первыхъ, женитьбою на одной изъ своихъ вятскихъ учениць и дочерей Болтина, Елизаветѣ Аполлоновнѣ, отъ которой послѣ смерти его осталось двое дѣтей: сынъ Константинъ и дочь Елизавета. Во-вторыхъ, въ томъ-же 1856 году начали печататься въ *Русскомъ Вѣстникѣ* его *Губернскіе очерки.* По службѣ этотъ годъ ознаменовался командировкою въ губерніи Тверскую и Владимірскую для обозрѣнія на мѣстѣ письменнаго дѣлопроизводства губернскихъ комитетовъ ополченія. Результатомъ этой командировки явилась обширная записка, въ которой Салтыковъ между прочимъ съ рѣзкостью изображалъ неудовлетворительное состояніе тогдашней полиціи, разсматривалъ вопросъ о централизаціи и децентрализаціи и являлся сторонникомъ послѣдней, защищалъ самодѣятельность и самостоятельность земства, по пути затрогивалъ и вопросъ о судѣ, говоря о необходимости общаго переустройства губернской и уѣздной администрацій.

Въ 1858 году Салтыковъ былъ назначенъ въ Рязань вице-губернаторомъ. Въ 1860 году его перевели на ту-же должность въ Тверь, гдѣ ему нѣсколько разъ пришлось исполнять должность губрнатора. Между тѣмъ, окончивъ въ

1857 г. *Губернскіе очерки*, вышедшіе вскорѣ отдѣльнымъ изданіемъ, въ 1858—59 гг. Салтыковъ появляется въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, *Атенеѣ*, *Современникѣ*, въ *Библіотекѣ для Чтенія* и въ *Московскомъ Вѣстникѣ*. Почти все, написанное въ то время, вошло потомъ въ *Невинные разсказы*. Съ 1860 г. Салтыковъ примкнулъ къ *Современнику* и сдѣлался постояннымъ его сотрудникомъ, а въ 1862 году, выйдя въ отставку, онъ хотѣлъ было поселиться въ Москвѣ и основать тамъ двухнедѣльный журналъ, но когда это ему не удалось, то переѣхалъ въ Петербургъ, вошелъ въ началѣ 1863 года въ составъ редакціи *Современника* и сталъ дѣятельно работать, помѣщая въ журналѣ массу статей въ разныхъ отдѣлахъ; разсказы, очерки, московскія письма, обозрѣнія общественной жизни, участвовалъ въ *Свисткѣ*, давалъ отзывы о книгахъ, причемъ нѣкоторыя статьи подписывалъ прежнимъ псевдонимомъ Н. Щедрина, другія — Гурина (московскія письма), третьи — Михаила Зміева-Младенцева (въ *Свисткѣ*), а большинство оставлялъ совсѣмъ безъ подписи.

Возникшія гоненія на *Современникъ* и скудость литературнаго гонорара заставили Салтыкова вновь поступить на службу; 6-го ноября 1864 г. онъ былъ назначенъ предсѣдателемъ пензенской казенной палаты. Черезъ два года его перевели на ту-же должность въ Тулу, а въ октябрѣ 1867 г. — въ Рязань. Наконецъ въ іюнѣ 1868 года Салтыковъ окончательно вышелъ въ отставку и на службу уже не возвращался и всецѣло посвятилъ себя литературѣ.

Съ января 1868 г. начали выходить подъ редакціею Н. А. Некрасова *Отечественныя Записки*, и Салтыковъ сдѣлался однимъ изъ редакторовъ ихъ вмѣстѣ съ Некрасовымъ и Елисѣевымъ. Въ это время Салтыковъ пользовался уже большою популярностью; но полный расцвѣтъ его литературной дѣятельности начался лишь съ этого времени. Въ послѣдующіе годы были имъ написаны: *Письмо изъ провинціи*, *Исторія одного города*, *Господа ташкентцы*, *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*, *Благонамѣренныя рѣчи*, *Господа Головлевы*, *Недоконченныя бесѣды*, *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*, *Культурные люди*, *Итоги*, *Современная Идилія*, *Убѣжище Монрепо*, *Круглый годъ*, *За рубежомъ*, *Сказки*, *Письма тетеньки*, *Пошехонскіе разсказы*, *Пестрыя письма*, *Мелочи жизни*, *Пошехонская старина* и проч. Появилось все это главнымъ образомъ на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*. Послѣ смерти Некрасова онъ былъ утвержденъ въ 1878 г. отвѣтственнымъ редакторомъ журнала и стоялъ во главѣ его до самаго запрещенія его, въ апрѣлѣ 1884 г., а затѣмъ долженъ былъ появляться въ чужихъ изданіяхъ: въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, въ *Недѣлѣ* и *Вѣстникѣ Европы*. Произведенія свои, писавшіяся въ видѣ отдѣльныхъ очерковъ, но связанныя между собою общею идеею, а иногда и одними и тѣми-же дѣйствующими лицами, онъ издавалъ въ видѣ отдѣльныхъ сборниковъ, подъ общимъ заглавіемъ. Большинство ихъ выдержало по нѣскольку изданій, а предпринятое имъ незадолго передъ смертью полное собраніе сочиненій, въ девяти большихъ томахъ, разошлось въ числѣ 6,500 экземпляровъ ранѣе, чѣмъ минулъ годъ послѣ его кончины.

IV.

Среди людей, мало знавшихъ М. Е. Салтыкова, ходили въ обществѣ баснословные слухи о его мнимыхъ суровости, жесткости и даже бранчивости,

съ какими онъ будто-бы обращался съ людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которыхъ въ первый разъ видѣлъ. Вслѣдствіе этихъ слуховъ начинающіе авторы, впервые являвшіеся въ редакціи журналовъ, въ которыхъ онъ участвовалъ, со своими скромными начинаніями, сильно потрухивали и робѣли. Но эти слухи крайне преувеличены. Дѣйствительно, его лицо носило по большей части суровое и нѣсколько мрачное выраженіе, а въ нервномъ голосѣ очень часто слышались ноты болѣзненной раздражительности, что̀ могло пугать непривычнаго человѣка. Но все это не мѣшало ему быть человѣкомъ крайне добрымъ, съ мягкимъ и даже нѣжнымъ сердцемъ, неспособнымъ отказывать людямъ и оставаться безучастнымъ къ ихъ нуждамъ. Случалось, что обращались къ нему за авансомъ сотрудники, забравшіе не мало денегъ и потерявшіе повидимому всякое право на новые авансы. Салтыковъ выходилъ изъ себя въ такихъ случаяхъ. Грозный голосъ его начиналъ раздаваться по всѣмъ комнатамъ редакціи: «Это невозможно! — кричалъ онъ — это чортъ знаетъ, что такое!... Мы и безъ того роздали безвозвратно до 30 тысячъ! Что-же съ нами будетъ наконецъ, чѣмъ-же это кончится?» и т. д. И кончалось всегда тѣмъ, что, накричавшись вдоволь, онъ бралъ листъ бумаги и писалъ ордеръ въ контору о выдачѣ сотруднику суммы, которую тотъ просилъ. Пишущему эти строки случалось слышать отъ провинціальныхъ чиновниковъ, служившихъ подъ его начальствомъ, что начальникъ онъ былъ рѣдкій; какъ ни робѣли отъ его грозныхъ окриковъ, но никто его не боялся, а напротивъ того очень любили его за то, что онъ входилъ въ нужды каждаго мелкаго чиновника и былъ снисходителенъ къ ихъ слабостямъ и недостаткамъ, которые не приносили вреда службѣ. Точно также и въ редакціяхъ мелкіе служители вродѣ конторщиковъ и метранпажей прямо говорили: «Что намъ Михаилъ Евграфовичъ! Онъ только такъ кричитъ, а мы его нисколько не боимся!» Да еще-бы и бояться имъ было его, когда разъ при пишущемъ эти строки былъ такой случай, что онъ съ гнѣвомъ набросился на метранпажа за то, что тотъ слишкомъ скоро набралъ весь отданный въ типографію матеріалъ книжки и явился просить новаго матеріала. «Чего вы торопитесь? — кричалъ Салтыковъ: — ѣдите вы что-ли рукописи? Ему не успѣешь дать рукопись, ужъ у него и готово! Да что вы въ недѣлю хотите набрать всю книжку, что-ли? Родить мнѣ прикажете для васъ рукописи? Набрали, такъ и ждите теперь, а отъ меня раньше недѣли больше ничего не получите, ничего!.. Убирайтесь!..» Понятно, что, слушая такія рѣчи, метранпажъ едва удерживался отъ смѣха.

Страхъ, который внушалъ Салтыковъ робкимъ людямъ, происходилъ отъ двухъ его достоинствъ: прямодушія и нервнаго отвращенія отъ всего пошлаго, фальшиваго и неискренняго. Какъ только онъ видѣлъ что-либо подобное, его тотчасъ-же начинало коробить, онъ не могъ не высказать человѣку въ глаза впечатлѣнія, которое тотъ на него производитъ, и высказать со всѣмъ тѣмъ саркастическимъ остроуміемъ, которымъ онъ славился. Не гнѣвъ его былъ страшенъ, а скорѣе тѣ шуточки, которыми онъ способенъ былъ уничтожить собесѣдника. Поэтому очень было опасно посылать его о чемъ либо ходатайствовать въ высшія инстанціи. Всегда могло кончиться тѣмъ, что вмѣсто того, чтобы распутать пустое недоразумѣніе, Салтыковъ не вытерпитъ и наговоритъ чего нибудь такого, что наживетъ себѣ новыхъ враговъ и еще болѣе запутаетъ дѣло.

Но если Салтыковъ усматривалъ въ человѣкѣ природный умъ, честность и искренность, онъ дѣлался съ такимъ человѣкомъ крайне мягокъ, деликатенъ, любезенъ и откровененъ. Въ обществѣ Салтыковъ былъ блестящимъ собесѣдникомъ. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ писателей, которые говорятъ, какъ пишутъ, и когда приходилось его слушать, разговоръ его производилъ буквально такое-же впечатлѣніе, какое выносилось изъ его произведеній, съ тою къ тому-же разницею, что въ разговорной рѣчи онъ не стѣснялся никакими цензурными условіями, и это былъ уже не эзоповскій языкъ нѣкоторыхъ его сатиръ. Особенно блисталъ онъ искусствомъ однимъ, двумя словами, часто по одному чисто внѣшнему признаку очертить личность въ самомъ комическомъ видѣ, въ то-же время чрезвычайно вѣрно. Такъ напримѣръ, объ одномъ случайномъ посѣтителѣ редакціи, котораго онъ не долюбливалъ, онъ сдѣлалъ однажды такое замѣчаніе: — «Ну, что такое NN! На немъ и штаны-то сидятъ, какъ на покойникѣ!» Этимъ однимъ словомъ онъ опредѣлилъ не только покрой брюкъ, но и всѣ умственныя и нравственныя качества писателя.

Какъ редакторъ беллетристическаго отдѣла, Салтыковъ представлялъ изъ себя нѣчто незамѣнимое. Онъ не ограничивался правильнымъ выборомъ для журнала изъ всего доставляемаго въ редакцію матеріала, а самъ создавалъ беллетристику. Одни лишь произведенія крупныхъ талантовъ оставались имъ нетронутыми. Произведенія второстепенныхъ и посредственныхъ беллетристовъ, подвергая тщательной обработкѣ, онъ дѣлалъ порою неузнаваемыми. Люди, не знавшіе о тѣхъ операціяхъ, какія производилъ Салтыковъ надъ разсказами второстепенныхъ беллетристовъ, особенно-же такъ называемыми «лѣтними», приходили въ удивленіе, отчего тѣ самые писатели, которые подъ редакціею Салтыкова помѣщаютъ недурные разсказы, въ другія изданія приносятъ вещи ниже всякой критики и совершенно неудобныя для печатанія. Маломальски умные беллетристы не обижались при видѣ, какъ патріархально-отеческая рука редактора сглаживаетъ и сравниваетъ шероховатости и недостатки ихъ юныхъ твореній, и выносили изъ его редакторской работы богатые уроки для себя. Но конечно встрѣчались и самолюбивые недотроги, требовавшіе, чтобы ни одного слова не было измѣнено или выкинуто изъ ихъ великихъ твореній, и вставали на дыбы. Я никогда не забуду, какъ одна сентиментальная романистка прибѣжала къ сотруднику Салтыкова съ горькими жалобами на него и разразилась отчанными рыданіями. Дѣло оказалось въ томъ, что она желала окончить романъ свой смертью героини отъ чахотки, а Салтыковъ взялъ да и сочеталъ вдругъ героиню съ героемъ законнымъ бракомъ.

Жилъ Салтыковъ, особенно подъ конецъ, замкнуто, въ тѣсномъ кругу нѣсколькихъ друзей. Лѣто онъ проводилъ то въ своемъ Monrepos, въ окрестностяхъ Ораніенбаума, пока не продалъ его, то гдѣ-нибудь на дачѣ, изрѣдка уѣзжалъ за-границу куда-нибудь на воды по совѣту врачей, но онъ терпѣть не могъ заграничныхъ путешествій и всегда съ большой неохотой приготовлялся къ нимъ. Заграницею имъ овладѣвали смертная скука и тоска по родинѣ, и онъ возвращался изъ своей поѣздки раньше, чѣмъ предполагалъ.

Здоровье его впервые пошатнулось въ 1875 г. Онъ заболѣлъ такими сильными припадками ревматизма, что лишился ногъ, и тогда-же доктора признали въ немъ органическій порокъ сердца.

Уѣхалъ онъ за-границу лѣтомъ въ 1875 г. почти въ безнадежномъ состояніи, и всѣ думали, что его вскорѣ не станетъ, но опытные доктора, въ томъ

числѣ Бѣлоголовый, утверждали, что онъ можетъ прожить еще лѣтъ десять съ своею болѣзнью. И дѣйствительно, возвратился онъ изъ-за-границы въ слѣдующемъ году почти совсѣмъ здоровымъ, бодрымъ и на ногахъ, и лишь непрестанный кашель и одышка свидѣтельствовали о болѣзни сердца, подтачивавшей его жизнь.

Особенный ударъ былъ нанесенъ ему закрытіемъ *Отечественныхъ Записокъ* въ апрѣлѣ 1884 г. Сбитый съ боевой позиціи, глубоко оскорбленный въ своихъ гражданскихъ чувствахъ и лучшихъ человѣческихъ инстинктахъ, Салтыковъ послѣ того быстро началъ клониться къ могилѣ. До того времени онъ былъ настолько еще силенъ и бодръ, что выходилъ изъ дома и дѣятельно велъ редакторское дѣло. Послѣ-же 1884 года онъ настолько ослабѣлъ, что не только не выходилъ изъ квартиры, но и по комнатѣ еле двигался. При такомъ крайнемъ разстройствѣ организма ему пришлось еще перенести крупозное воспаленіе легкихъ осенью въ 1886 году, и эта болѣзнь, едва не уложившая его въ могилу, окончательно сломила его силы.

Тѣмъ не менѣе онъ работалъ, можно по истинѣ сказать, до послѣдняго вздоха, и было нѣчто въ высшей степени трогательное и величественное въ образѣ изможденнаго, окруженнаго лекарствами старца, который не выпускалъ пера изъ дрожащихъ и костенѣющихъ рукъ и, продолжая выпускать произведеніе за произведеніемъ, умиралъ въ полномъ смыслѣ этого слова воиномъ на полѣ битвы. Такъ, за нѣсколько дней до смерти онъ показывалъ посѣтителямъ полуисписанный листъ, съ отчаяніемъ заявляя, что рука его отказывается писать и не въ силахъ продолжать начатой работы. Это были тѣ самыя *Забытыя слова*, о которыхъ онъ собирался напомнить своимъ соотечественникамъ. Передъ самою смертью онъ успѣлъ составить планъ изданія полнаго собранія своихъ сочиненій и энергически хлопоталъ объ изданіи его. Въ этихъ хлопотахъ онъ и скончался 30-го апрѣля 1889 года.

V.

Мы неоднократно говорили, что имѣемъ дѣло съ вѣкомъ демократическихъ идеаловъ, осуществленію которыхъ мы обязаны реформами шестидесятыхъ годовъ, когда всѣ писатели поголовно ратовали противъ паразитизма, праздности и нравственной распущенности, какія развились на почвѣ крѣпостного права, и проповѣдывали активное отношеніе къ общественной жизни, неусыпный трудъ на общую пользу и сначала гуманное отношеніе къ низшей братіи, а затѣмъ и слитіе съ народомъ, проникновеніе его идеалами.

Могъ-ли Салтыковъ, писатель, отличавшійся тонкою чуткостью къ каждому вновь возникавшему вѣянію, остаться въ сторонѣ отъ движенія и не увлечься имъ?

И дѣйствительно, уже первыя произведенія его: *Противорѣчія* и *Запутанное дѣло* глубоко проникнуты идеями, бродившими въ передовыхъ кружкахъ сороковыхъ годовъ и которыми увлекались молодые литераторы подъ вліяніемъ статей Бѣлинскаго. Читая эти произведенія, особенно-же *Запутанное дѣло*, въ которомъ въ первый разъ талантъ Салтыкова обнаружился во всеоружіи безпощаднаго смѣха, вы такъ и видите на каждой страницѣ вѣянія того времени,—эпохи натуральной школы, «литературы угловъ и подваловъ». Вѣяніе это сказалось въ лицѣ главнаго героя *Запутаннаго дѣла* Ивана Са-

мойловича Мичулина, сына мелкопомѣстнаго дворянина, пріѣхавшаго въ столицу искать счастья и очутившагося голоднымъ пролетаріемъ, тщетно стучавшимся во всѣ двери... «Всѣ, рѣшительно всѣ оказывались съ хлѣбомъ, всѣ при мѣстѣ, всѣ увѣрены въ своемъ завтра, одинъ онъ былъ будто лишній на свѣтѣ; никто его не хочетъ, никто въ немъ не нуждается»... «Россія—государство обширное,—смѣется авторъ надъ своимъ героемъ,—обильное и богатое,—да человѣкъ-то глупъ, мретъ себѣ съ голоду въ обильномъ государствѣ!»

Мы видимъ въ разсказѣ много такого, что́ можно было встрѣтить у каждаго молодого писателя того времени: развѣ не напоминаютъ напримѣръ стихотворенія Некрасова *Ѣду-ли ночью по улицѣ темной* тѣ страницы въ *Запутанномъ дѣлѣ*, гдѣ описываются думы героя о томъ, что̀ было-бы съ нимъ, если-бы онъ женился на Надѣ? А его скитанія по Петербургу, его горячечныя грезы и безвременная смерть—развѣ не имѣютъ ничего общаго съ тѣмъ, что̀ въ то время писалъ Ѳ. Достоевскій?

Но на главномъ планѣ стоитъ здѣсь смѣхъ, и въ этомъ отношеніи Салтыковъ въ первомъ же своемъ произведеніи явился тѣмъ l'enfant terrible, какимъ онъ впослѣдствіи неоднократно являлся, осмѣивая передовые кружки, среди которыхъ вращался. Тутъ случилось своего рода запутанное дѣло и прискорбное недоразумѣніе: Салтыковъ былъ высланъ по подозрѣнію въ соприкосновенности къ петрашевцамъ за такія произведенія, въ которыхъ именно эти самые петрашевцы были зло осмѣяны. Въ самомъ дѣлѣ, кто-же какъ не петрашевцы парадируютъ въ лицѣ кандидата философіи Вольфгана Антоныча Беобахтера и недоросля изъ дворянъ поэта Алексиса Звонскаго, съ ихъ безконечными словопреніями о томъ, довольно-ли одной любви, или-же любовь потомъ, а прежде всего должно послѣдовать разрушеніе, и что эстетическое чувство есть то чувство, которымъ въ высшей степени обладаетъ художникъ, а художникъ есть тотъ смертный, который въ высшей степени обладаетъ эстетическимъ чувствомъ.

Во имя чего же обличалъ Салтыковъ кружки, къ которымъ самъ принадлежалъ, и такимъ образомъ побилъ своихъ? Оказывается, что это произведено на основаніи тѣхъ самыхъ идей, которыя этими-же кружками и проводились, во имя идеаловъ, къ которымъ стремилась такъ горячо молодежь того времени. Салтыкова поразило, что движеніе совершалось на отвлеченной, теоретической почвѣ, ограничиваясь философскими преніями и бравурными восклицаніями; вождями его были изнѣженные баричи, готовые на словахъ заключить въ объятія все человѣчество, а на дѣлѣ ни одинъ изъ нихъ не протянулъ руку братской помощи умиравшему съ голоду человѣку, когда тотъ обратился съ мольбою о спасеніи.

Ссылка оказала великую услугу Салтыкову, познакомивъ его съ внутреннею жизнью Россіи и съ народомъ. Ему пришлось прожить въ провинціи какъ разъ семь лѣтъ реакціи, когда дореформенная жизнь дошла до полнаго разложенія, внутреннія язвы, разъѣдавшія государство, вскрылись и обнаружились во всей ужасающей мерзости. Плодомъ долголѣтняго пребыванія въ провинціи и получились *Губернскіе очерки*, которымъ Салтыковъ былъ обязанъ началомъ своей популярности и которые послѣ севастопольской кампаніи встали во главѣ обличительной литературы, заполонившей всю прессу.

Но между этой обличительной литературой и *Губернскими очерками* лежитъ цѣлая пропасть. Здѣсь дѣло заключается не въ личностяхъ, злоупотреб-

лявшихъ властью, и не въ одномъ смѣхѣ надъ взяточниками и казнокрадами. Передъ вами раскрывается мрачная картина безправія и грабежа, которые невыносимымъ гнетомъ ложились на народъ. И вотъ именно присутствіе народа и его невыносимыхъ страданій, которыя вы чуете въ каждомъ разсказѣ, даже и тамъ, гдѣ о народѣ ничего не говорится, придаетъ *Губернскимъ очеркамъ* глубокое общественное значеніе.

И къ тому-же не одни только злоупотребленія и возмутительныя злодѣйства Порфиріевъ Петровичей, Фейеровъ, Томилиныхъ, Ижбурдиныхъ, Пересѣчкиныхъ et tutti quanti возмущаютъ автора *Губернскихъ очерковъ*. Его приводитъ въ ужасъ растлѣвающее вліяніе провинціальной жизни на самыхъ лучшихъ людей, повидимому далекихъ отъ покушеній на карманъ ближняго.

«О провинція!—восклицаетъ онъ,—ты разстлѣваешь людей, ты истребляешь всякую самостоятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, самую способность желать! Ибо можно-ли назвать желаніями тѣ мелкія вожделѣнія, исключительно направленныя къ матеріальной сторонѣ жизни, къ доставленію крошечныхъ удобствъ, которыя имѣютъ то неоцѣненное достоинство, что устраняютъ всякій поводъ для тревогъ души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонтъ мышленія такъ обидно съуживается? Какая возможность мыслить, когда кругомъ нѣтъ ничего вызывающаго на мысль? Когда вмѣстѣ съ тѣмъ все вокругъ него свидѣтельствуетъ о благахъ жизни, все призываетъ къ ней, тогда нѣтъ возможности не пробуждаться даже самой сонной натурѣ. Воображеніе работаетъ, самолюбіе страждетъ, зависть кипитъ въ сердцѣ, и вотъ совершаются тѣ великія подвиги ума и воли человѣческой, которымъ такъ исренно дивится покорная геніи толпа. Что нужды, что приготовительныя работы къ нимъ смочены слезами и кровавымъ потомъ; что нужды, что не одно, быть можетъ, проклятіе сорвалось съ устъ труженика, что горьки были его исканія, горьки нужды, горьки обманутыя надежды: онъ жилъ въ это время, онъ ощущалъ себя человѣкомъ, хотя и страдалъ...

«Да, жалко, по-истинѣ жалко положеніе молодого человѣка, заброшеннаго въ провинцію! Незамѣтно, мало-по-малу, погружается онъ въ тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имѣетъ ни вчерашняго, ни завтрашняго дня, самъ безсознательно дѣлается молчаливымъ поборникомъ ея. А тамъ подкрадывается матушка-лѣнь и такъ крѣпко сомнетъ въ своихъ объятіяхъ новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругомъ: вѣдь живутъ-же добрые люди, и живутъ весело,—ну, и самъ станешь жить весело.

«О, вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которыхъ заставляютъ жить, и которые заставляютъ жить другихъ —завидую вамъ. И если когда-нибудь придется вамъ горько и усомнитесь въ вашемъ счастіи, вспомните, что есть иной міръ, міръ зловоній и болотныхъ испареній, міръ сплетенъ и жирныхъ кулебякъ – и горе вамъ, если вы тотчасъ не поспѣшите подчинить удовольствіе вѣчному истцу вашей жизни—обществу!»

Наиболѣе ярко и опредѣленно выразились въ *Губернскихъ очеркахъ* идеалы Салтыкова въ глубокомъ сочувствіи народу, которымъ проникнуты посвященныя ему строки. Здѣсь смолкаетъ смѣхъ и начинается область скорби и преклоненія передъ великостью и святостью души простого человѣка.

«Я вообще чрезвычайно люблю нашъ прекрасный народъ,—говоритъ онъ въ своемъ разсказѣ *Богомольцы, странники и проѣзжіе*,—и съ уваженіемъ смотрю на свѣжіе и благодушные типы, которыми кишитъ народная толпа. Конечно, мы съ вами, мсье Буеракинъ, или съ вами, мсье Озорникъ, слишкомъ хорошо образованы, чтобы приходить въ непосредственное соприкосновеніе съ этими мужиками, отъ которыхъ пахнетъ печенымъ хлѣбомъ или кислыми овчинами, но издали поглядѣть на этихъ загорѣлыхъ, коренастыхъ чудаковъ мы готовы съ удовольствіемъ. Я даже съ гордостью сознаюсь, что когда на театрѣ авторъ выводитъ на первый планъ русскаго мужичка и рекомендуетъ ему отхватать въ присядку, или-же, собравъ на сцену достаточное число опрятно одѣтыхъ дѣвицъ въ тѣлогрѣяхъ, заставляетъ ихъ оглашать воздухъ звуками русской пѣсни, я чувствую, что въ сердцѣ моемъ дѣлается внезапный приливъ, а глаза застилаются туманомъ, хотя конечно въ камаринской ничего нѣтъ унылаго.

«Grands dieux!»—говорю я себѣ, выходя изъ театра.—Какъ мы однако-жъ выросли, какъ возмужали: давно-ли русскій мужичекъ, cet ours mal léché, являлся на театральный

помость за тѣмъ только, чтобы прокричать завѣтную фразу вродѣ: «идемъ!», «бѣжимъ» или-же отплясать гдѣ то у воды полуиспанскій танецъ,—и вотъ теперь онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, семенитъ ногами и кувыркается на самой авансценѣ и оглашаетъ воздухъ неистовыми криками своей пѣсни! «Grands dieux! Какъ мы выросли!»...

Но эта тирада полна еще ироніи, направленной противъ чуждавшейся еще въ то время народа интеллигенціи, а вотъ другая, въ которой мы видимъ серьезно уже выраженное сочувствіе народу со всѣми его вѣрованіями. Такъ, описывая какой-то церковный праздникъ, Салтыковъ говоритъ:

«И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня во всей ея непорочности душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, опѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. На меня вѣетъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до моего слуха долетаетъ все то-же тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ:

Придетъ мать—весна красна,
Лузья, болота разольются;
Древа листьями одѣнутся,
И запоютъ птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
Меня мать прекрасную покинешь!

— Нѣтъ не покину!—готовъ я воскликнуть вмѣстѣ съ Осафьемъ царевичемъ:

Разгуляюсь я во пустынѣ, во зеленой во дубравѣ,
Насмотрюсь я во пустынѣ на различные цвѣты».

Результатами этого сочувствія народу, уваженія къ его благодушнымъ типамъ и глубокой скорби при видѣ его многострадальческой жизни и явились такіе разсказы, какъ *Аринушка, Старецъ, Миша* и *Ваня, Развеселое житье*, въ которыхъ благоговѣйно смолкалъ смѣхъ Салтыкова и душа его смирялась и умилялась.

VI.

Салтыковъ отнюдь не принадлежитъ къ числу писателей, которые сразу опредѣляются и впродолженіе многолѣтней литературной дѣятельности носятъ неизмѣнный характеръ относительно формъ и содержанія произведеній. Чуткій къ малѣйшему измѣненію общественныхъ настроеній и вѣяній, Салтыковъ не упускалъ изъ вида ни одного изъ такихъ измѣненій; до самой смерти онъ не переставалъ жить вмѣстѣ со своимъ вѣкомъ и впереди своихъ современниковъ. Поэтому сатиры его сообразно различнымъ поворотамъ русской жизни измѣнялись и по тону, и по содержанію, и ихъ нельзя иначе разсматривать, какъ въ связи съ этими поворотами, дѣля на періоды, соотвѣтствующіе имъ.

Такъ, *Губернскими очерками* исчерпывается періодъ дореформенный; въ очеркахъ этихъ Салтыковъ заплатилъ обильную дань общественному разложенію, какое предшествовало крымской войнѣ. Дальнѣйшія сатиры, слѣдующія за *Губернскими очерками*, носятъ совершенно уже иной характеръ. Въ нихъ сатирикъ отразилъ эпоху «возрожденія», слѣдующую послѣ крымской войны, со всей ея безтолковой суматохой и фразистостью. Соль этихъ сатиръ заключается въ томъ, что какъ ни много было шуму и гаму въ то время, какъ

ни кричали о прогрессѣ, неустанномъ движеніи впередъ, необходимости существенныхъ измѣненій, эти призывные крики не мѣшали людямъ топтаться на одномъ мѣстѣ, измѣненія были чисто призрачными, а старорусская жизнь неизмѣнно оставалась тою-же самою.

Эта старо-русская жизнь олицетворена Салтыковымъ въ городѣ Глуповѣ, въ которомъ во всякое время, когда угодно, тишина и благораствореніе воздуховъ, и даже среди бѣла дня, когда, какъ извѣстно, въ Вавилонѣ происходило столпотвореніе, Глуповъ откликался на зовъ жизни только тѣмъ, что собаки, спавшія доселѣ у воротъ, свернувшись калачикомъ, стали потягиваться и повиливать хвостами. Таково прирожденное свойство обитателей Глупова, ихъ грѣхъ первородный: не могутъ они шевелиться, отяжелѣли. Начальствующіе отдыхаютъ въ объятіяхъ секретарей, помѣщики—въ объятіяхъ крѣпостного права, купцы—въ объятіяхъ единоторжія и надувательства. И можете себѣ представить, что̀ должно было сдѣлаться съ Глуповымъ, когда мирное и блаженное существованіе его, заключающееся въ вѣчномъ снѣ и пищевареніи, внезапно нарушилось слухами о «возрожденіи». Эти слухи внесли страшную смуту въ среду «хорошихъ людей» Глупова и произвели всеобщій переполохъ; каждый началъ стонать за свою шкуру и видѣть въ грядущемъ чуть-что не свѣтопреставленіе.

Глуповъ еще загодя блѣднѣлъ и трясся при словѣ *возрожденіе* и все про себя шепталъ: «Господи! ахъ, кабы да мимо!» Еще загодя, при малѣйшемъ шорохѣ, онъ махалъ онучами и шугалъ, какъ шугаетъ баба птичница, завидѣвъ въ небѣ коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ ввѣренныхъ ей цыплятъ. «Чѣмъ наша жизнь не красна?»—говорилъ онъ потихоньку,—«или пуховики у насъ не толсты? или ватрушки наши не сдобны?»

При такихъ условіяхъ развѣ могъ возродиться и исполниться новой жизни Глуповъ? Всѣ измѣненія, какія произошли въ его сонномъ существованіи, заключались лишь въ томъ, что онъ выставилъ цѣлый сонмъ клеветниковъ. Пораженные неожиданными для нихъ явленіями, глуповцы прежде всего искали объяснить ихъ себѣ чисто внѣшнимъ образомъ. Имъ все казалось, что тутъ дѣйствуютъ какіе-то зачинщики и подстрекатели, безъ тайныхъ козней которыхъ все шло-бы какъ по маслу. Такъ напримѣръ, господинъ Сидоровъ утверждалъ, что начало всей смуты положилъ Егорка Лысый, а госпожа Антонова божилась и клялась, что перемѣна въ характерѣ сновидѣній ключницы Матрены произошла именно съ тѣхъ поръ, какъ эта подлая тварь снюхалась съ подлецомъ Іонкой. Угаръ Ерыгинъ пошелъ въ этомъ случаѣ еще дальше. Когда до его свѣдѣній дошелъ слухъ о подобной смутѣ, онъ даже не далъ себѣ труда разобрать, въ чемъ было дѣло, но просто на-просто приказалъ отодрать пятокъ или десятокъ зачинщиковъ.

«Помни,—говоритъ при этомъ сатирикъ,—что Глуповъ не можетъ не клеветать, потому что онъ возрождается. Возрожденіе вызвало въ немъ новыя страсти и новыя понятія, но прежде всего вызвало ненависть къ самому возрожденію. Хоть это повидимому противорѣчіе, но оно разрѣшается очень просто. Еще не остылъ въ Глуповѣ потъ прежней, горшечной еще жизни; еще не перегорѣлъ внутри его старый хламъ, накопленный тамъ вѣками; онъ все еще прежній, ветхій Глуповъ, который такъ забавлялъ тебя своимъ оригинальнымъ міросозерцаніемъ... Странно было-бы, еслибы онъ покончилъ со своимъ прошлымъ, не поговоривъ немного, несневѣжничавъ хоть ради очищенія совѣсти!»

Но не одинъ старый Глуповъ возсталъ противъ реформъ. Самые приверженцы ихъ и піонеры возрождались лишь на словахъ, только и дѣлая что

разсыпаясь въ праздныхъ словоизверженіяхъ. Въ сатирахъ: *Скрежетъ зубовный* и *Новый Нарциссъ или влюбленный въ себя*, Салтыковъ осмѣялъ современныхъ витій, расплывавшихся потокомъ либеральныхъ разглагольствованій. Все содержаніе нашего краснорѣчія, по его словамъ, — это во-первыхъ стараніе не войти въ слишкомъ явное противорѣчіе съ грамматикой и синтаксисомъ; во-вторыхъ — желаніе убѣдить всѣхъ и каждаго, что ничто человѣческое намъ не чуждо; и въ третьихъ — стремленіе, хоть какъ-нибудь, хоть бокомъ, пріобщиться къ общему современному направленію идей. Словомъ, чтобы опредѣлить характеръ нашего витійства однимъ терминомъ, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожнимъ. Съ такимъ мало разнообразнымъ сбродомъ мы могли съ грѣхомъ пополамъ составлять только вступленія или предисловія, но за-то въ искусствѣ предисловій въ самое короткое время сдѣлали столько успѣховъ, что едва-ли не обогнали на этомъ поприщѣ всѣ народы земного шара.

Такимъ образомъ Глуповъ не умеръ, но и не возродился, а только перемѣнилъ форму, внѣшность, и въ сущности остался тѣмъ же Глуповымъ. Вмѣсто староглуповцевъ народилися новоглуповцы, но они отличаются отъ прежнихъ лишь наружностью: прежній «хорошій человѣкъ» былъ неряшливъ и неумытъ, частенько даже несло отъ него словно морскими травами; новоглуповецъ напротивъ того безукоризенъ и чистъ, какъ кристаллъ. Прежній былъ невѣжественъ и грубъ, новый утонченъ и образованъ, въ карты-же ни-ни, исторій съ рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons употребляетъ лишь благороднымъ манеромъ, т. е. душитъ шампанское и презираетъ очищенную, и только къ aimons обнаруживаетъ прежнее ехидное пристрастіе. За-то прямъ, какъ аршинъ, поджаръ, какъ собака, высокомѣренъ, какъ семинаристъ, дерзокъ, какъ губернаторскій камердинеръ, и загадоченъ, какъ тотъ хвойный лѣсъ, который отъ истоковъ Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитаго океана.

«Въ сущности и старый, и новый глуповецъ, — говоритъ Салтыковъ, руководятся однимъ и тѣмъ-же правиломъ: «травы не мять, цвѣтовъ не рвать и птицъ не пугать», но на практикѣ, но въ способѣ проведенія этого правила въ жизни между ними замѣчается ощутительная разница. Старый глуповецъ видѣлъ эти слова написанными на доскѣ и выполнялъ ихъ, не разсуждая. Новый глуповецъ не только выполняетъ, но и резонируетъ, не только резонируетъ, но и любуется самимъ собою. Онъ возводитъ исполненіе правила въ принципъ, и въ этомъ принципѣ находитъ достаточно содержанія для наполненія всей своей жизни. И горе тому, кто затронетъ новоглуповца въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ; горе тому, кто отнесется легко къ этой послѣдней святынѣ его сердца; онъ въ одну минуту налаетъ столько, сколько не успѣли налаять его достославные предки впродолженіе многихъ столѣтій; онъ загрызетъ, онъ докажетъ цѣлому міру, что и въ Глуповѣ могутъ зарождаться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва способна производить сорванцовъ исполнительности...

«Глуповское міросозерцаніе, глуповская закваска жизни находятся въ агоніи — это несомнѣнно. Но агонія всегда сопровождается предсмертными корчами, въ которыхъ заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этихъ ужасныхъ попытокъ древне-глуповскаго міросозерцанія удержаться на старой почвѣ служатъ новоглуповцы. Въ лицѣ ихъ она празднуетъ свою послѣднюю, безсмысленную вакханалію; въ лицѣ ихъ она исчерпываетъ послѣднее свое содержаніе; въ лицѣ ихъ она торжественно и окончательно заявляетъ міру о своей несостоятельности».

Таковы основные мотивы публицистическихъ сатиръ, какія писалъ Салтыковъ во время реформъ. Это была безпощадная критика общественнаго движенія, проникавшая въ суть исторически-сложившихся основъ русской жизни; она производила отрезвляющее вліяніе на молодые умы, разгоряченные со-

вершавшимися великими событіями и воображавшіе, что русскій прогрессъ безпредѣленъ.

Не ограничиваясь характеристикою современныхъ нравовъ Глупова, Салтыковъ обращается къ исторіи въ намѣреніи прослѣдить развитіе этихъ нравовъ генетически, и вѣнцомъ сатиръ разсматриваемаго нами періода является *Исторія одного города.* Но прежде, чѣмъ мы обратимся къ этому произведенію, обратимъ вниманіе на одно весьма существенное свойство таланта Салтыкова, именно на его страсть къ широчайшимъ обобщеніямъ.

Салтыкова неоднократно обвиняли въ памфлетизмѣ, и рѣдкое произведеніе его обходилось безъ того, чтобы не искали въ немъ изображеній общеизвѣстныхъ дѣятелей. Обвиненіе это лишено всякаго основанія. Салтыковъ самъ постоянно отказывался, чтобы въ его сатирахъ были выведены лица, на которыя ему указывали, и дѣлалъ это не публично передъ людьми, съ которыми не желалъ быть откровеннымъ, а въ интимныхъ бесѣдахъ. И дѣйствительно, разсматривая его произведенія, мы видимъ часто, что творческій процессъ его начинался отъ одной личности, ею возбуждался и приводился въ движеніе; но никогда онъ на этой конкретной личности не останавливался, а непремѣнно приходилъ къ обобщеніямъ, столь широкимъ, что порою они не въ силахъ были вмѣститься въ одинъ художественный образъ. Тогда творчество Салтыкова, какъ вздувшійся отъ чрезмѣрныхъ дождей потокъ, выходило изъ береговъ художественности, и сатирикъ начиналъ выставлять отвлеченныя, безплотныя категоріи, подводя подъ нихъ явленія самыя разнородныя. Мы видѣли уже подобныя безплотныя обобщенія въ такихъ категоріяхъ, какъ староглуповцы и новоглуповцы. Другой подобнаго-же рода примѣръ представляется намъ въ сатирахъ, извѣстныхъ подъ общимъ наименованіемъ *Въ средѣ умѣренности и аккуратности.* Первыя шесть главъ этой серіи сатиръ озаглавлены *Господа Молчалины.* По одному заглавію вы можете судить, что Салтыковъ отправляется здѣсь отъ извѣстнаго грибоѣдовскаго типа. Но онъ не останавливается на немъ. У Грибоѣдова Молчалинъ является опредѣленнымъ типомъ пресмыкающагося чиновника-карьериста, и вы не смѣшаете его ни съ Фамусовымъ, ни со Скалозубомъ, ни тѣмъ болѣе—съ Чацкимъ. Салтыковъ-же усматриваетъ молчалинскія черты въ большинствѣ общества. Цѣлыя массы людей подобно Молчалину помышляютъ лишь объ устройствѣ семейной обстановочки, жертвуя совѣстью и честью, подвергая себя добровольному мученичеству въ видѣ надругательства какого нибудь самодура. Люди эти говорятъ: «моя хата съ краю,—ничего не знаю», и пусть кровь льется потоками и человѣчество грязнетъ въ пучинѣ духовной нищеты,—ни до чего имъ нѣтъ дѣла. Умывая руки въ крови, они утѣшаютъ себя, что они лишь исполнители, творятъ волю пославшихъ ихъ, и представляютъ на каждомъ шагу раздвоеніе семейной и общественной нравственности, причемъ всѣ усилія употребляютъ, какъ-бы дѣти не узнали, какой цѣной покупается благосостояніе, и не обратились въ грозныхъ судей своихъ родителей.

«Молчалины,—говоритъ Салтыковъ,—отнюдь не составляютъ исключительной особенности чиновничества. Они кишатъ вездѣ, гдѣ существуетъ забитость, приниженность, вездѣ, гдѣ чувствуется невозможность скоротать жизнь безъ содѣйствія «обстановки». Русскія матери (да и никакія въ цѣломъ мірѣ) не обязываются рождать героевъ, а потому масса сыновъ человѣческихъ невольнымъ образомъ придерживается въ жизни той руководящей нити, которая выражается пословицей: «лбомъ стѣны не прошибешь». И такъ какъ пословица эта сверхъ того въ практической жизни подтверждается восклицаніемъ: «въ бараній

рогъ согну!», примѣненіе котораго сопряжено съ очень солидною болью, то понятно, что въ извѣстные историческіе моменты Молчалины должны во всѣхъ профессіяхъ составлять не очень яркій, но тѣмъ не менѣе несомнѣнно преобладающій элементъ».

Страсть Салтыкова къ широкимъ обобщеніямъ не слѣдуетъ опускать изъ виду, читая и *Исторію одного города*. Въ произведеніи этомъ болѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было ищутъ изображеній историческихъ личностей. Но это такое-же заблужденіе, какъ и исканіе портретовъ въ прочихъ сатирахъ Салтыкова. Здѣсь болѣе чѣмъ гдѣ либо мы имѣемъ дѣло съ широкими обобщеніями, олицетворяющими въ одномъ образѣ порою цѣлыя эпохи.

Исторія не есть галлерея историческихъ дѣятелей. За послѣдними стоитъ общество, толпа, народъ, которые хотя и не принимаютъ замѣтнаго участія въ исторіи, тѣмъ не менѣе каждый индивидуумъ кладетъ свою лепту, а изъ этихъ лептъ наростаютъ горы. Каждая эпоха имѣетъ свой характеръ, присущій не однимъ выдающимся дѣятелямъ, но и массамъ. То, что совершалось въ данный историческій моментъ въ Петербургѣ, находило подражателей въ любомъ Глуповѣ. Поэтому въ исторіи Глупова слѣдуетъ видѣть не одно *замаскированіе* русской исторіи, а ея, такъ сказать, *микрокозмъ*. Если-бы можно было написать исторію любого изъ русскихъ городовъ—Ярославля, Костромы, Кашина или Калязина, со всѣми мелкими подробностями повседневной жизни, навѣрное въ каждомъ городѣ отразилась-бы всероссійская исторія. Такимъ образомъ хотя Беневоленскій и напоминаетъ Сперанскаго, а Угрюмъ Бурчеевъ даже по созвучію—Аракчеева, но во время Сперанскаго и Аракчеева каждый городничій походилъ либо на Сперанскаго, либо на Аракчеева, и не изъ одного подражанія, а потому, что каждая эпоха имѣетъ свои преобладающіе типы, и если художнику удастся схватить одинъ изъ нихъ, то выдающаяся историческая личность будетъ въ такой-же мѣрѣ походить на него, какъ и масса неизвѣстныхъ современныхъ людей.

Слѣдуетъ къ тому же принять во вниманіе, что въ *Исторіи одного города*, какъ и въ *Помпадурахъ и помпадуршахъ*, стрѣлы Щедрина направляются не на однихъ выводимыхъ градоначальниковъ. Сатирикъ выводитъ ихъ уродливыми, безобразными и каррикатурными, вовсе не полагая въ то-же время въ нихъ альфу и омегу всѣхъ бѣдъ и золъ русской жизни Болѣе всего бичуетъ онъ толпу обывателей, забитыхъ, униженныхъ, пресмыкающихся глуповцевъ, чуждыхъ всякой иниціативы и самостоятельности и вѣчно являющихся одними и тѣми-же безсловесными, подловато-угодливыми Молчалиными. Противъ этой-то азіатской инертности и направлены болѣе всего бичи щедринской сатиры.

VII.

Но вотъ прошли шестидесятые годы со всей ихъ суматохою; совершились реформы; опустились волны общественнаго движенія; началось общее изнеможеніе, разочарованіе, затишье. Но подъ наружнымъ пепломъ наступившей реакціи тлѣлъ жгучій огонь, и невидимо, неслышно совершался экономическій переворотъ, явившійся прямымъ результатомъ совершонныхъ реформъ и особенно освобожденія крестьянъ. Наиболѣе сильное вліяніе эта реформа имѣла на дворянскій классъ, бытъ котораго былъ потрясенъ до самыхъ своихъ основаній. Всѣ прежніе рессурсы безпечальнаго житья исчезли безвозвратно. Приходилось мало того, что устраиваться по новому, но придумывать новыя теоріи

для оправданія смысла существованія дворянъ, какъ особеннаго класса. Чуткій въ уловленіи существеннаго нерва каждой эпохи, Салтыковъ сейчасъ-же понялъ, въ чемъ главный вопросъ времени, и направилъ свои перуны на сбитыхъ съ панталыку культурныхъ людей, стремившихся устроиться по новому, но столь-же сытно, весело и безъ труда, какъ жили и прежде.

Произведенія третьяго періода литературной дѣятельности Салтыкова, семидесятыхъ годовъ, и *Господа Ташкентцы*, и *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*, и *Убѣжище Монрепо*, и *Благонамѣренныя рѣчи*, изображаютъ именно культурныхъ людей въ ихъ отыскиваніи новыхъ путей паразитства. Однимъ изъ заурядныхъ въ семидесятые годы путей къ поправленію финансовыхъ обстоятельствъ была тяга въ Ташкентъ, гдѣ мерещились культурнымъ людямъ золотыя горы. Отъ взоровъ Салтыкова не укрылась эта тяга, и онъ мало того, что заклеймилъ россійскихъ піонеровъ насажденія въ Азіи европейской цивилизаціи позорнымъ именемъ ташкентцы, но по обыкновенію обобщилъ это прозвище, примѣнивъ его ко всѣмъ культурнымъ людямъ, ничего не имѣющимъ за душою кромѣ ненасытнаго аппетита,—такимъ образомъ и появилась серія сатиръ подъ заглавіемъ *Господа Ташкентцы*, причемъ въ введеніи въ эти очерки Салтыковъ говоритъ:

«Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жизни обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь и становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть переходными. Можетъ быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается нѣчто похожее на гражданственность, нѣчто напоминающее человѣку возможность располагать своими движеніями... Потихоньку, милостивые государи, потихоньку! Можетъ быть, это «нѣчто зарождающееся», «нѣчто намекающее» и дѣлаетъ особенно нестерпимою боль, при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйствительно, все это очень возможно; но что-же кому за дѣло до этого? Развѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? Развѣ они умаляютъ хоть на каплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, хотя-бы въ самыя глухія, печальныя историческія эпохи, нельзя себѣ представить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько ихъ водится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися—сколько людей, все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ безконечнаго аппетита!..

«Я конечно былъ-бы очень радъ, если бы могъ, начиная этотъ рядъ характеристикъ, сказать: «читатель! смотри—вотъ издыхающій Ташкентъ!» Но, увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то-же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, всюду сюрпризъ! Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и пошлыхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «поди! задавлю!», и вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: «поди! задавлю!». Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло-бы упразднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. Мнѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся, окрѣпшій. Пожалуй, я и на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ, въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но вѣдь это только доказываетъ, что пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ не правы въ своей безнадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного.»

Но типы ташкентцевъ далеко не исчерпываютъ собою всѣхъ сбившихся съ пути культурныхъ людей. Ташкентцы, готовые ради снисканія куска пирога совершать какія угодно злодѣйства, — люди энергическіе и хищные, а такихъ всегда бывало меньшинство. Большинство-же культурныхъ людей втеченіе семидесятыхъ годовъ, принадлежало къ мягкому и рыхлому типу помѣщиковъ, которые, не думая о завтрашнемъ днѣ, проѣдали послѣднія выкупныя

свидѣтельства и, спуская свои наслѣдственныя усадьбы Деруновымъ, безслѣдно исчезали во мракѣ нищеты и разоренія. Собирательнымъ типомъ подобныхъ прожигателей жизни является герой *Дневника провинціала*, Прокопъ, необузданный обжора, пьяница и сластолюбецъ, являющійся въ Петербургъ изъ провинціи «прожигать жизнь» и вмѣстѣ съ тѣмъ изыскивать средства для этого прожиганія.

Во второй главѣ *Дневника провинціала* Щедринъ проводитъ знаменательную параллель между жизнерадостностью дѣдушки Матвѣя Ивановича и тщетными усиліями «прожигать жизнь» его жалкихъ потомковъ, ни къ чему не приводящими ихъ, кромѣ пресыщенія и разочарованія.

«Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Ивановича,—читаемъ мы,—опѣшили и убѣдились, что у насъ отъ *нашего* права не осталось ни капельки. Собранія наши малолюдны; мы не пикируемся, потому что и пикироваться на маперъ пращуровъ не имѣемъ повода, а какимъ образомъ пикироваться на новый манеръ, еще не придумали. Съ другой стороны, мы не срываемъ скатертей съ сервированныхъ столовъ и не услаждаемся потрясеніями доморощенныхъ Палашекъ, потому что это слишкомъ дорого; чтобы понять хотя призракъ тѣхъ удовольствій, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ѣхать въ Петербургъ и тамъ въ складчину, по два рубля съ рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но вѣдь Шнейдерша—достояніе общее, а при общедоступности доставляемаго ею удовольствія кто-же изъ насъ можетъ сказать: «это *моя* Шнейдерша!» какъ бывало говаривалъ Матвѣй Ивановичъ: «это моя Палашка!» Дѣдушкѣ Матвѣю Ивановичу было надъ чѣмъ повластвовать, и онъ понималъ себя въ этомъ отношеніи не пятымъ колесомъ въ колесницѣ и не отставнымъ козы барабанщикомъ. Смотритъ онъ напримѣръ на дѣвку Палашку, какъ она кувыркается, и въ то-же время если не формулируетъ, то всѣмъ существомъ сознаетъ: «я съ этой Палашкой, что хочу, то и сдѣлаю, хочу—косу обстригу, захочу—за Антипку пастуха замужъ выдамъ...

«Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Ивановича, лишены такого сорта оживляющихъ эпизодовъ.—*Мы куриць не можемъ сдѣлать зла*, ma parole! говорилъ мнѣ на-дняхъ мой другъ Сеня Бирюковъ:—объясни-же мнѣ ради Христа, какого рода роль мы играемъ въ природѣ?»

Таковы темы большинства сатиръ семидесятыхъ годовъ. Въ каждой выставляется пореформенный помѣщикъ въ разныхъ отношеніяхъ къ новой жизни, заставшей его врасплохъ и увлекающей его роковымъ теченіемъ. Здѣсь вы не видите уже желчи и негодованія, преобладавшихъ въ сатирахъ первыхъ двухъ періодовъ. Господствующимъ чувствомъ является ѣдкая горечь, хандра. Скорбь автора носитъ субъективный характеръ. Смѣясь сквозь слезы надъ героями въ ихъ тяжкой борьбѣ съ новыми условіями жизни, авторъ оплакиваетъ и собственную участь, которую раздѣляетъ съ героями, принадлежа къ одной съ ними средѣ. Такія сатиры, какъ *Убѣжище Монрепо*, имѣютъ автобіографическій характеръ, являясь плодами личныхъ опытовъ, выстраданныхъ самимъ авторомъ.

Шедёвромъ этого третьяго періода литературной дѣятельности Салтыкова являются *Господа Головлевы*. Многіе ставятъ это произведеніе наравнѣ съ *Мертвыми Душами* по изображенію существенныхъ и самобытныхъ чертъ русской жизни и по типичности выставляемыхъ личностей. Другіе утверждаютъ, что если-бы забылись всѣ прочія произведенія Салтыкова, потерявши обаяніе современности, *Господа Головлевы* одни останутся незабвенными, такъ какъ въ нихъ Салтыковъ возвысился надъ преходящими явленіями и дошелъ до высшаго творческаго экстаза общечеловѣческихъ обобщеній. Особенно типъ Іудушки смѣло можно поставить рядомъ съ лучшими типами европейскихъ литературъ, Тартюфомъ, Донъ-Кихотомъ, Гамлетомъ, Лиромъ и т. п.—Самые ожесточенные враги Салтыкова, и тѣ преклоняются передъ этимъ произведеніемъ, объясняя высоту его отсутствіемъ тенденціозности.

На самомъ-же дѣлѣ *Господа Головлевы* были навѣяны тѣми-же злобами дня: именно тщетными попытками осмыслить праздное существованіе сбитыхъ со всѣхъ прежнихъ путей героевъ дешевой наживы, навязавъ имъ роль охранителей и распространителей сложившейся яко-бы вѣками своеобразной русской культуры. Отсюда вытекло и прозвище «культурные люди», явившееся какъ разъ въ это время въ московскихъ литературныхъ кружкахъ. Посмѣявшись вдосталь надъ этимъ прозвищемъ и надъ ролью, какая навязывалась ташкентцамъ и Прокопамъ, Салтыковъ вознамѣрился показать, какова была пресловутая вѣковая «культура», охранить и насаждать которую призывались ташкентцы и Прокопы. Результатомъ такого замысла и явились *Господа Головлевы*,—произведеніе, въ которомъ вы находите изображеніе старинной, дореформенной помѣщичьей семьи во всемъ ужасающемъ безобразіи нравственной распущенности, отсутствія духовныхъ интересовъ и полнаго разложенія подъ личиною цинически-наглаго лицемѣрія. Вотъ какую культуру васъ призываютъ охранять и насаждать, сказалъ Салтыковъ этимъ своимъ лучшимъ сочиненіемъ.—Однимъ словомъ, *Господа Головлевы* играютъ по отношенію къ прочимъ сатирамъ третьяго періода дѣятельности Салтыкова такую-же роль заключительнаго слова и вѣнца, какую занимаетъ *Исторія одного города* по отношенію къ произведеніямъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ

VIII.

Здѣсь считаемъ умѣстнымъ обратить вниманіе на такой элементъ таланта Салтыкова, котораго мы до сихъ поръ не касались еще и который, представляясь не менѣе существеннымъ, чѣмъ сатирическій, до сихъ поръ остается мало оцѣненнымъ. Именно—элементъ трагическій. Элементъ этотъ былъ упущенъ изъ виду не только критиками враждебнаго лагеря; но и критики дружественнаго направленія долгое время не замѣчали тѣхъ горькихъ слезъ, какія прорывались порою сквозь смѣхъ Щедрина. Стоитъ вспомнить Писарева съ его «*Цвѣтами невиннаго юмора*»

Это зависѣло отъ того, что въ первые два періода дѣятельности Салтыкова смѣхъ преобладалъ въ его сатирахъ надъ слезами. Съ одной стороны время, крайне оживленное, располагало болѣе къ смѣху, чѣмъ къ плачу. Съ другой стороны и сатирикъ былъ моложе. Понятно, что чѣмъ долѣе живетъ человѣкъ, глубже всматривается въ жизнь и болѣе выноситъ изъ нея горькихъ опытовъ, тѣмъ болѣе является у него наклонности къ трагизму. Поэтому и у Салтыкова въ позднѣйшихъ сатирахъ, относящихся къ семидесятымъ и восьмидесятымъ годамъ, мы видимъ болѣе трагическаго элемента, чѣмъ въ *Губернскихъ очеркахъ* или *Дневникѣ провинціала*.

Этому соотвѣтствовалъ и характеръ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ. Можно было осмѣивать Прокоповъ, пока они обжирались и проѣдали послѣднія выкупныя свидѣтельства; ташкентцевъ, пока они были болѣе смѣшны, чѣмъ страшны, и Молчалиныхъ, пока разладъ словъ и дѣлъ приводилъ ихъ лишь къ смѣшному искаженію образа и подобія Божія. Но въ семидесятые годы стало уже не до смѣху: мрачные тоны жизни сгустились. Передъ Прокопами, успѣвшими все проѣсть, разверзлись грозныя пропасти. Ташкентцы начали возбуждать не одинъ смѣхъ, но и ужасъ. Молчалины-же познали грозныхъ и

нелицепріятныхъ судей въ лицѣ своихъ подросшихъ дѣтей. И вотъ изъ-подъ пера Салтыкова начали выступать безутѣшныя слезы, появился рядъ очерковъ, въ которыхъ черная какъ ночь хандра доходитъ мѣстами до безнадежнаго отчаянія. Это не байроновское разочарованіе, не скептическій пессимизмъ современной французской беллетристики. Салтыковъ никогда не доходилъ до потери вѣры въ человѣческую природу вообще; онъ лишь оплакивалъ печальную судьбу своихъ современниковъ, которые влачили жалкое существованіе, ничѣмъ не отличающееся отъ одиночнаго заключенія въ сыромъ, вонючемъ подвалѣ, и куда ни обертывались, всюду находили подъ ногами разверзавшіяся бездны, грозившія безславною и позорною гибелью. Это не трагизмъ высокихъ, титаническихъ страстей и экстраординарныхъ сцѣпленій враждебныхъ обстоятельствъ, который читатели созерцаютъ съ спококойнымъ духомъ, радуясь за свою участь и соображая, что мало-ли чего не бываетъ на свѣтѣ, но они въ своей скромной и незамѣтной жизни, со своей умѣренностью и аккуратностью застрахованы отъ подобныхъ ужасовъ. Салтыковъ раскрываетъ трагическое въ повседневной будничной жизни, сплошь сотканной изъ мелочей и дрязгъ, и читатель съ ужасомъ убѣждается, что никто отъ этого трагическаго не застрахованъ.

Такова напримѣръ сатира *Похороны*, въ которой раскрывается передъ нами трагизмъ жизни современнаго русскаго писателя. Мало того, что все хватающее васъ за сердце описаніе литературныхъ похоронъ въ цѣломъ исполнено мрачнаго трагизма,—въ рѣдкой фразѣ, взятой въ отдѣльности, не таится особенная трагедія, не раскрываются передъ вами надрывающіе душу факты, примелькавшіеся намъ въ жизни. Возьмите для примѣра хотя-бы такой фактъ, что хоронили Коршунова «*на счетъ семидесяти пяти рублей, которые ассигновалъ литературный фондъ, предварительно впрочемъ удостовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ и «не предаваясь»*». Обратите вниманіе на хмурое октябрьское небо, на горсть провожавшихъ сотрудниковъ, которымъ *всѣмъ было не по себѣ, всѣ* шли *понурившии голову, какъ-будто каждый думалъ: вотъ скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ надорвусь!*»

«Чувство безконечной отчужденности и наготы,—читаемъ мы,—овладѣвало всякимъ при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что везутъ какого-то отщепенца, до котораго никому изъ «публики» дѣла нѣтъ (а онъ именно для «публики» то и жилъ, и ради «публики» безвременно зачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ-то не особенно поражала эта потеря, потому что «свои» ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше чѣмъ просто «отщепенство» тутъ видѣлось: казалось, что только по ошибочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, предметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполнѣ безопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ!»

А далѣе затѣмъ сколько надрывающаго душу заключается въ мартирологѣ Коршунова! Каждый средней руки писатель увидитъ здѣсь свою собственную жизнь и вслѣдъ за безсмертнымъ сатирикомъ воскликнетъ въ горькомъ отчаяніи: «Читатель, русскій читатель! Защити!..»

Не менѣе трагиченъ ризсказъ *Дворянская хандра*, въ которомъ мы имѣемъ дѣло съ трагедіей современнаго интеллигентнаго культурнаго человѣка. Всю жизнь онъ питался надеждами и всюду «совался».

«Къ чему я ни примазывался!—говоритъ онъ,—въ какомъ «хорошемъ» дѣлѣ ни предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были моими личными кровными вопросами!.. Наконецъ однако мы надоѣли. Года два сряду мы любовались другъ другомъ, на третій—

любоваться было уже нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не съумѣли подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣнилось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до минимума, снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; одни мы не измѣнились и продолжали высказывать назойливѣйшую готовность идти въ огонь и въ воду. Тогда, чтобы отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употребить насильство.. Чтó было потомъ, лучше не вспоминать... замѣна вчерашняго лихорадочнаго «сованія» сегодняшнимъ оцѣпенѣніемъ, это—болѣе нежели неожиданность: это полный переворотъ. Нить жизни порвана, привычки нарушены, всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ,—все разомъ упразднено. Сколько могучаго презрѣнія долженъ почувствовать человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота! Вѣдь онъ все тотъ-же: дѣятельный, преданный, одушевленный, и вдругъ... За что?.. за что? поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія, напрасныхъ укоровъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ!»..

И вотъ культурному человѣку осталось лишь возвратиться въ дѣдовскую усадьбу и поселиться въ ней навсегда, но не затѣмъ, чтобы просвѣщать, распространять здравыя понятія о платежѣ недоимокъ или хозяйничать,—просто чувствовалась потребность за-живо имѣть гробъ. И современная усадьба своимъ разрушеніемъ, заброшенностью и безжизненнымъ уединеніемъ вполнѣ соотвѣтствовала понятію о гробѣ.

Замуравливаніе себя за-живо въ гробъ интеллигентнымъ культурнымъ человѣкомъ, познавшимъ свою ненужность въ жизни, и составляетъ содержаніе этого по истинѣ гробового разсказа. Всего ужаснѣе здѣсь та пропасть, которая отдѣляетъ подобнаго живого мертвеца отъ крестьянъ, окружающихъ гробъ его.

«Я изнываю отъ тоски,—говоритъ онъ,—отъ неудовлетворенной жажды поступковъ, наконецъ отъ стыда, а мужикъ думаетъ: «вотъ оно хорошее-то житье!» и думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье ужъ таково, что даже суздальскимъ богомазамъ,—этимъ присяжнымъ изобразителямъ адскихъ мученій,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобы достойнымъ образомъ воспроизвести это житье! Собственно говоря, только это вѣчноприсущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему обо мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ ему моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождаетъ его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и онъ самъ эти поученія встрѣтитъ съ нетерпѣніемъ, скажетъ: «уйди! не мѣшай!». Что-же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ-же отвѣтъ: «уйди! не мѣшай!». Онъ не приметъ его за иронію только потому, что вообще ничего непрямого, иносказательнаго не разумѣетъ, а просто-на-просто подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное «сованіе», только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстнопримѣненное. «И безъ тебя тошно—а ты лѣзешь!» Да лучше уже не «соваться» и сидѣть смирно въ своемъ собственномъ гробу и потихоньку умирать!»

Развѣ это не самая ужасная трагедія, присущая массѣ интеллигентныхъ, культурныхъ людей? *Лишніе люди*—это вѣчная болячка русской жизни.

Наконецъ, вотъ вамъ и чиновничья трагедія въ разсказѣ *Больное мѣсто*. Старикъ Разумовъ, чиновникъ средней руки, всю жизнь теръ трудовую лямку, наконецъ вышелъ въ отставку съ хорошей пенсіей и чиномъ тайнаго совѣтника, но не совсѣмъ по своей охотѣ: его сковырнулъ съ мѣста новый начальникъ Губошлеповъ безъ всякаго повода, просто такъ, чтобы показать, что онъ человѣкъ «системы». Разумовъ вернулся на родину, купилъ домикъ на Прохожей улицѣ, устроилъ, ухитилъ себѣ гнѣздо на славу и думалъ: «Вотъ теперь-то начнется настоящій спокой!». И дѣйствительно «спокой» начался, но не совсѣмъ тотъ, на который разсчитывалъ Разумовъ. Начался «спокой» одиночнаго заключенія, подавляющій, преисполненный безрасвѣтной мглы,—тотъ «спокой», который, однажды захвативъ человѣка, окружаетъ его непроницаемой стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. Сидитъ человѣкъ за этой стѣной и

ни о чемъ другомъ не мыслить, какъ лишь о томъ, что и въ немъ самомъ, и внѣ его все кончилось...

Но главная трагедія въ жизни Разумова заключается въ сынѣ Степанѣ, котораго онъ любилъ, лелѣялъ и тщательно воспитывалъ, потому что въ немъ видѣлъ единственную радость и счастье своей жизни. И вдругъ въ этомъ сынѣ ему пришлось найти грознаго судію всего его служебнаго поприща. Онъ былъ увѣренъ, что онъ «мухи не обидѣлъ» впродолженіе всей своей службы и всегда дѣлалъ «дѣло» по «сущей совѣсти». Но въ массѣ «клочковъ», которые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно такихъ, которые для однихъ оканчивались нравственной обидой, для другихъ—матеріальными ущербами. Конечно эти ущербы и обиды въ мнѣніи Разумова прикрывались представленіемъ о «высшемъ интересѣ» («такъ быть должно»), но бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представленіе на вѣру и даже не пытался анализировать его составныя части. Едва-ли впрочемъ слова эти значили что-нибудь больше простого «приказанія».

Это раздвоеніе оффиціальнаго и частнаго человѣка не обошлось даромъ Разумову. Оно привело сына его Степу къ тому, что въ одинъ прекрасный день передъ юношей встала слѣдующая дилемма: прервать или съ своими кровными убѣжденіями, или съ отцомъ. Но любовь отца, ласки, которыя онъ всю жизнь разсыпалъ передъ сыномъ, его отеческія заботы и попеченія о единственномъ дѣтищѣ,—все это дѣлало разрывъ слишкомъ жестокимъ и невозможнымъ. И чтобы вырваться изъ этого лабиринта, Степѣ открылась одна дорога: самоубійство.

Такимъ образомъ здѣсь мы видимъ уже не такую безкровную трагедію, какъ предыдущія, а настоящую — кровавую. Передъ нами раскрывается одно изъ тѣхъ многочисленныхъ юныхъ самоубійствъ, которыя впродолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ составляли самое заурядное явленіе жизни, и когда читаете вы эту трагедію, вамъ не до смѣха.

Мы указали лишь на три наиболѣе рѣзкіе образца трагическаго элемента въ сатирахъ Салтыкова. Но ими не исчерпываются проявленія этого элемента, и читатель самъ безъ труда въ обиліи найдетъ ихъ въ произведеніяхъ двадцати послѣднихъ лѣтъ Салтыкова.

IX.

Сатиры Салтыкова, написанныя втеченіе восьмидесятыхъ годовъ, составляютъ четвертый и послѣдній періодъ его литературной дѣятельности. Характеръ этихъ произведеній, въ свою очередь, отличается отъ прежнихъ, что обусловливается опять-таки духомъ времени и возрастомъ автора. Восьмидесятые годы были временемъ полнаго общественнаго затишья; жизнь начала однообразно и монотонно течь день за днемъ, бѣдная выдающимися событіями. Ничто уже въ такой степени не волновало, не увлекало, не выводило изъ себя, какъ прежде. Понятно, что и характеръ, и тонъ сатиръ Салтыкова значительно измѣнились: на мѣсто саркастичнаго, желчнаго смѣха прежнихъ произведеній, является теперь величаво-эпическое, степенное созерцаніе, исполненное то глубокой скорби, то восторженнаго паѳоса. Передъ вами уже не юноша и не человѣкъ въ цвѣтѣ лѣтъ, котораго все волнуетъ и

возмущаетъ и который къ тому-же живетъ въ такую горячую эпоху, когда событія быстро спѣшатъ одно за другимъ, и онъ едва успѣваетъ отзываться на нихъ въ фельетонахъ, ловящихъ настоящій моментъ. Бывали годы, когда написанная въ мартѣ мѣсяцѣ сатира Щедрина въ сентябрѣ являлась чѣмъ-то опоздавшимъ. Совсѣмъ не то мы видимъ теперь: не спѣшила общественная жизнь, не для чего было спѣшить и умудренному опытомъ старцу.

Ужъ одно то обстоятельство, что вниманіе его вмѣсто того, чтобы поглощаться новыми фактами, привлекалось повторяющимися изо дня въ день, привычными, придавало сатирамъ его восьмидесятыхъ годовъ еще болѣе обобщающій характеръ. Сатирикъ еще болѣе чѣмъ прежде началъ постигать значеніе въ жизни мелочей и трагическое вліяніе ихъ на судьбу человѣка.

«Ахъ, эти мелочи!—восклицаетъ теперь сатирикъ,—какъ чесоточный зудень впиваются онѣ въ организмъ человѣка и точатъ, и жгутъ его. Сколько всевозможныхъ «союзовъ» опутало человѣка со всѣхъ сторонъ... Сколько каждый индивидуумъ ухитряется придумать лично для себя всякихъ стѣсненій! И всему этому, и пришедшему извнѣ, и придуманному ради удовлетворенія личной мнительности, онъ обязывается послужить, т. е. отдать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ свободной минуты для плодотворнаго труда... Мелочи, мелочи—заполонили всю жизнь!»

И вотъ Салтыковъ пишетъ рядъ скорбныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ *Мелочи жизни*, въ которыхъ показываетъ трагическое значеніе въ жизни мелочей на герояхъ, взятыхъ изъ разнородныхъ слоевъ общества, начиная съ великосвѣтскихъ питомцевъ привилегированныхъ заведеній и кончая мужикомъ и городскимъ пролетаріемъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ творческая фантазія Салтыкова начинаетъ созерцать жизнь въ ея общихъ и существенныхъ элементахъ, присущихъ не одной русской жизни, а общечеловѣческихъ. Результатомъ такихъ созерцаній и являются «Сказки», въ которыхъ Салтыковъ выступаетъ сатирикомъ человѣческой жизни въ ея вѣковомъ укладѣ и обнаруживаетъ глубокое знаніе человѣческаго сердца, ставящее его на одномъ ряду съ величайшими писателями Европы.

Сказки Салтыкова можно раздѣлить на три разряда. Однѣ изъ нихъ заключаютъ фабулы, взятыя изъ русской дѣйствительности, безъ всякихъ иносказаній. Таковы: *Обманщикъ-газетчикъ и легковѣрный читатель, Игрушечнаго дѣла людишки, Недреманное око, Дуракъ, Сосѣди, Деревенскій пожаръ, Повѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ.* Другія носятъ характеръ животнаго эпоса, басни; наконецъ двѣ сказки, — *Христова ночь* и *Рождественская сказка*, — преисполнены религіознаго паѳоса и представляютъ своего рода profession de foi автора. Эти двѣ сказки заслуживаютъ тѣмъ большаго вниманія, что составляютъ противоположный полюсъ относительно всѣхъ остальныхъ. Если-бы онѣ не были написаны, остальныя сказки давали-бы поводъ предполагать, что Салтыковъ подъ конецъ жизни сдѣлался скептикомъ и пессимистомъ, утратилъ вѣру въ людей и въ возможность торжества правды, и въ основѣ жизни поставилъ неумолимо жестокій законъ борьбы за существованіе, признавши его фатальную и жестокую неизбѣжность. Такъ напримѣръ, возьмите вы хотя-бы такія соображенія въ сказкѣ *Бѣдный волкъ*:

«Однако-жъ не по своей волѣ волкъ такъ жестокъ, а потому что комплекція у него каверзная; ничего онъ кромѣ мясного ѣсть не можетъ. А чтобы достать мясную пищу, онъ не можетъ иначе поступать, какъ живое существо жизни лишить. Однимъ словомъ, *обязывается* учинять злодѣйство, разбой.

«Нелегко ему пропитаніе его достается. Смерть-то вѣдь никому не сладка, а онъ именно только со смертью ко всякому лѣзетъ. Поэтому кто посильнѣе, самъ отъ него обороняется, а иного, который самъ защищаться не можетъ, другіе обороняютъ. Частенько-таки волкъ голодный ходитъ, да еще съ помятыми боками вдобавокъ. Сядетъ онъ въ ту пору, подниметъ рыло кверху и такъ пронзительно воетъ, что на версту кругомъ у всякой живой твари отъ страха да отъ тоски душа въ пятки уходитъ. А волчиха его еще тоскливѣе подвываетъ, потому что у нея волчата, а накормить ихъ нечѣмъ.

«Нѣтъ того звѣря на свѣтѣ, который не ненавидѣлъ-бы волка, не проклиналъ-бы его. Стономъ стонетъ весь лѣсъ при его появленіи: «Проклятый волкъ! убійца! душегубъ!» И бѣжитъ онъ впередъ да впередъ, голову повернуть не смѣетъ, а въ догонку ему: «разбойникъ, живорѣзъ!». Уволокъ волкъ съ мѣсяцъ тому назадъ у бабы овцу—баба-то и о сю пору слезъ не осушила: «проклятый волкъ! душегубъ!». А у него съ тѣхъ поръ маковой росинки въ пасти не бывало: овцу-то сожралъ, а другую зарѣзать не пришлось... И баба воетъ, и онъ воетъ... Какъ тутъ разберешь?

«Говорятъ, что волкъ мужика обездоливаетъ; да вѣдь и мужикъ тоже обозлится, куда лютъ бываетъ! И дубьемъ-то онъ его бьетъ, и изъ ружья въ него палитъ, и волчьи ямы роетъ, и капканы ставитъ, и облавы на него устраиваетъ. «Душегубъ, разбойникъ!» только и раздается про волка въ деревняхъ: «послѣднюю корову зарѣзалъ, остатнюю овцу уволокъ!» А чѣмъ онъ виноватъ, коли иначе ему прожить на свѣтѣ нельзя?

«И убьешь-то его, такъ проку отъ него нѣтъ. Мясо—негодное, шкура—жесткая, не грѣетъ. Только и корысти-то, что вдоволь надъ нимъ, проклятымъ, потѣшишься, да на вилы живьемъ подымешь; «пускай, гадина, капля по каплѣ кровью исходитъ!»

«Не можетъ волкъ, не лишая живота, на свѣтѣ прожить—вотъ въ чемъ бѣда! Но вѣдь онъ того не понимаетъ. Если его злодѣемъ зовутъ, такъ вѣдь и онъ зоветъ злодѣями тѣхъ, которые его преслѣдуютъ, увѣчатъ, убиваютъ. Развѣ онъ понимаетъ, что своею жизнью другимъ жизнямъ вредъ наноситъ? Онъ думаетъ, что живетъ—и только всего. Лошадь тяжести возитъ, корова даетъ молоко, овца—волну, а онъ разбойничаетъ, убиваетъ. И лошадь, и корова, и овца, и волкъ—всѣ живутъ, каждый по своему».

Та-же философія фатальности взаимнаго пожиранія еще болѣе ярко выставляется въ сказкѣ *Карась-идеалистъ*, который жестоко посрамляется со своими мечтами о томъ, что справедливость восторжествуетъ, сильные не будутъ тѣснить слабыхъ, богатые — бѣдныхъ, объявится такое общее дѣло, въ которомъ всѣ рыбы свой интересъ будутъ имѣть, и каждая свое дѣло будетъ дѣлать, и онъ такія слова знаетъ, что любая щука отъ нихъ въ одну минуту въ карася превратится. Въ отвѣтъ на всѣ его мечты ершъ окачиваетъ его холодной водой, развивая ту-же философію, какую мы видимъ въ *Бѣдномъ волкѣ*.

«— Слушай, дурья порода!—говоритъ онъ:—ѣдятъ-то развѣ «за что»? Развѣ потому ѣдятъ, что казнить хотятъ? Ѣдятъ потому, что ѣсть хочется, только и всего. И ты, чай, ѣшь: не по-пусту носомъ-то въ илѣ роешься, а ракушекъ вылавливаешь. Имъ, ракушкамъ, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамонъ съ утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую такую онѣ вину передъ тобою сдѣлали, что ты ихъ ежеминутно казнишь? Помнишь, какъ ты намеднись говорилъ: «Вотъ кабы всѣ рыбы между собою согласились!..» А что, еслибы ракушки между собою согласились—сладко-ли бы тебѣ, простофилѣ, тогда было?

Вопросъ былъ такъ прямо и такъ непріятно поставленъ, что карась сконфузился и слегка покраснѣлъ.

— Но ракушки вѣдь это... пробормоталъ онъ смущенно.

— Ракушки—ракушки, а караси—караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями—щуки. И ракушки ни въ чемъ неповинны, и караси не виноваты, а и тѣ, и другіе должны отвѣтъ держать. Хоть сто лѣтъ объ этомъ думай, а ничего другого не выдумаешь...

И какъ-бы въ доказательство этой жестокой правды, карась былъ проглоченъ щукой, едва лишь произнесъ свое завѣтное слово: «Знаешь-ли ты, что такое добродѣтель?».

Совершенно противоположную философію содержатъ *Христова ночь* и *Рождественская сказка*. Здѣсь на-смѣну жестокой правды борьбы за существованіе и взаимной вражды является вѣковѣчная правда божественной

любви, и авторъ проникается ею до глубины души. Такъ, въ сказкѣ *Христова ночь* представляется пасхальная ночь. Передъ вами тоскливый сѣверный ландшафтъ, въ которомъ авторъ обращаетъ вниманіе на печать сиротливости, заброшенности и убожества, лежащую и на застывшей равнинѣ, и на безмолвствующемъ проселкѣ; передъ вами все сковано, безпомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой. И вдругъ вся окрестность внезапно ожила при звонѣ колоколовъ и безчисленныхъ огней, озарившихъ шпили церквей. По дорогѣ потянулись вереницы деревенскаго люда: впереди шли люди сѣрые, замученные жизнью и нищетою; за ними, поодаль, слѣдовали въ праздничныхъ одеждахъ деревенскіе богачи, кулаки и прочіе властелины деревни. Но вскорѣ толпы утонули въ глубинѣ проселка, замеръ въ воздухѣ послѣдній ударъ призывного благовѣста, и все опять торжественно смолкло. Глубокая тайна почуялась въ этомъ внезапномъ перерывѣ начавшагося движенія, какъ будто за наступившимъ молчаніемъ надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрожденіе. И точно: не успѣлъ еще заалѣть востокъ, какъ желаемое чудо совершилось. Воскресъ поруганный и распятый Богъ! воскресъ Богъ, къ Которому искони огорченныя и негодующія сердца вопіютъ: «Господи! Поспѣшай!».

Воскресшій Богъ сначала благословилъ землю и воды, звѣрей и птицъ и сказалъ имъ, что Онъ принесъ весну, тепло и свѣтъ, что Онъ напитаетъ и напоитъ птицъ и звѣрей и наполнитъ природу ликованіемъ... «Вы не судимы, — обратился Онъ къ тварямъ, — ибо выполняете лишь то, чтó вамъ дано отъ начала вѣка...»

Благословивши природу, Воскресшій обратился къ людямъ. Первыми вышли на-встрѣчу къ Нему люди плачущіе, согбенные подъ игомъ работы и загубленные нуждою. И когда Онъ сказалъ имъ: «миръ вамъ!» — то они наполнили воздухъ рыданіями и пали ницъ, молчаливо прося объ избавленіи. И вотъ Онъ привѣтствовалъ ихъ за то, что они чистыми сердцами беззавѣтно увѣровали въ Него потому только, что проповѣдь Его заключаетъ въ себѣ правду, безъ которой вселенная представляетъ собою вмѣстилище погубленія, адъ кромѣшный. Люби Бога и люби ближняго, какъ самого себя, — вотъ эта правда во всей ея ясности и простотѣ, и она наиболѣе доступна не богословамъ и начетчикамъ, а именно имъ, простымъ и удрученнымъ сердцамъ. Они вѣрятъ въ эту правду и ждутъ ея пришествія. И вотъ Спаситель возвѣстилъ имъ, что хотя никто не предвидитъ впередъ, когда пробьетъ ихъ часъ, но онъ уже приближается. Пробьетъ этотъ желанный часъ, и явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма. И они свергнутъ съ себя иго тоски, горя и нужды, которое удручаетъ ихъ.

Затѣмъ, увидѣвши толпу богатѣевъ, міроѣдовъ, жестокихъ правителей, татей и т. п., Спаситель остановился и передъ ними, и порицая ихъ за то, что зло наполнило все содержаніе ихъ жизни, Онъ вмѣстѣ съ тѣмъ возвѣстилъ, что и передъ ними Онъ открылъ путь ко спасенію. Этотъ путь — судъ ихъ собственной совѣсти. Она раскроетъ передъ ними прошлое ихъ во всей его наготѣ: она вызоветъ тѣни погубленныхъ ими и поставитъ ихъ на стражѣ у изголовья ихъ. Скрежетъ зубовный наполнитъ дома ихъ, жены не признаютъ мужей, дѣти — отцовъ. Но когда сердца ихъ засохнутъ отъ скорби и тоски, когда ихъ совѣсть переполнится, какъ чаша, не могущая вмѣстить переполняющей ее горечи, — тогда тѣни погубленныхъ примирятся съ ними

и откроютъ имъ путь ко спасенію. Не будетъ тогда ни татей, ни душегубцевъ, ни мздоимцевъ, ни ханжей, ни неправедныхъ властителей, и всѣ одинаково возвеселятся за общею трапезою обители Его.

Наконецъ Спаситель, увидя повѣсившагося въ отчаяніи предателя, повелѣлъ ему сойти съ дерева и, предавши проклятію, обрекъ его на вѣчное странствіе. И ходитъ онъ доднесь по землѣ, разсѣевая смуту, измѣну и рознь.

Такою-же философіею проникнута и *Рождественская сказка.* Философія эта, обнаруживая сокровенные идеалы Салтыкова, служитъ прекраснымъ противовѣсомъ тому ложному пониманію евангельскаго ученія, какое обнаруживали въ послѣднее десятилѣтіе нѣкоторые наши писатели. Здѣсь мы видимъ не проповѣдь мертваго застоя, рабскаго уничиженія и оправданія пассивнаго отношенія къ господствующему злу тою противоестественною теоріею, будто страданіе очищаетъ нашу душу, и посему каждый смертный безропотно долженъ переносить иго его. Напротивъ того, великое ученіе представляется здѣсь именно въ такомъ видѣ, какъ понимаетъ его народъ, а народъ понимаетъ его конечно лучше, чѣмъ всѣ наши суемудрые умники. Въ этой солидарности съ народомъ относительно пониманія ученія Христова заключается, между прочимъ, значеніе Салтыкова, какъ писателя поистинѣ народнаго.

Пошехонскою стариною заканчивается дѣятельность Салтыкова. Въ этомъ предсмертномъ произведеніи Салтыковъ словно будто очистился, отрѣшился отъ всѣхъ преходящихъ злобъ дня и суетъ и, углубившись въ давно прошедшіе годы, въ величаво спокойной, исполненной высоко христіанской любви и гуманности эпопеѣ воспроизвелъ помѣщичій бытъ эпохи крѣпостного права, какъ до сихъ поръ никто еще его не воспроизводилъ. Эта полу-автобіографическая, полу-художественная хроника находитъ себѣ блѣдное подобіе развѣ что въ семейной хроникѣ С. Аксакова, но конечно у благодушнаго С. Аксакова вы не встрѣтите и тѣни ни того глубокаго проникновенія въ основы изображаемаго быта, ни того знанія человѣческаго сердца, ни той горькой и нелицепріятной правды.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

I. Николай Герасимовичъ Помяловскій. Его дѣтство, воспитаніе и семинарскіе годы.— II. Остальные годы его жизни.—III. Характеристика его сочиненій: *Очерки бурсы, Мѣщанское счастье, Молотовъ, Братъ и сестра, Порѣчане.*—IV. Возникновеніе идеалистической школы беллетристики *Русскаго слова*, причины ея развитія и особенности ея. Алексѣй Константиновичъ Шеллеръ. Главные факты его жизни.—V. Характеристика его произведеній.—VI. Прочіе представители этой школы: Павелъ Владиміровичъ Засодимскій. Николай Θедотовичъ Бажинъ. Игнатій Васильевичъ Θедоровъ (Омулевскій).—VII. Константинъ Михайловичъ Станюковичъ. Дмитрій Константиновичъ Гирсъ.

I.

Изъ молодыхъ беллетристовъ-публицистовъ демократическаго лагеря первое мѣсто безспорно занимаетъ Николай Герасимовичъ Помяловскій. Онъ былъ петербуржецъ. Отецъ его, дьяконъ мало-охтенской кладбищенской церкви, былъ человѣкъ кроткій и гуманный, такъ что въ родительскомъ домѣ Помя-

ловскій не испыталъ и тѣни деспотизма, и тѣмъ тяжелѣе было переносить ему иго бурсы. Родился онъ въ 1835 г. Первыми товарищами дѣтства его были охтяне, съ которыми онъ участвовалъ на разныхъ сходкахъ и играхъ. Близость рѣки и рыболовный промыселъ охтянъ рано развили въ Помяловскомъ любовь къ рыбной ловлѣ, которую онъ сохранилъ до смерти. Цѣлыми днями проводилъ онъ на гонкахъ съ удочкой въ рукахъ или на тоняхъ, толкуя съ пріятелями-рыболовами. Съ сверстниками сходился мало и больше придерживался взрослыхъ. Мальчикъ былъ здоровый, бойкій и смышленый. Не мало вліяли на него кладбище, гробы, покойники, погребальныя шествія, пѣніе панихидъ, и конечно этимъ впечатлѣніямъ онъ былъ обязанъ мрачно-скептическимъ гамлетизмомъ, который подъ кличкою «кладбищенство» изобразилъ въ одномъ изъ героевъ своихъ, Череванинѣ.

Грамотѣ выучилъ Помяловскаго самъ отецъ. Потомъ онъ былъ отданъ въ какую-то дешевую школу на Охтѣ, но пробылъ въ ней не болѣе четырехъ мѣсяцевъ. Когда-же мальчику минуло восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ Александро-Невское духовное училище, и начались для него долгіе годы той каторги, какую онъ изобразилъ потомъ въ своихъ *Очеркахъ бурсы*. Наибольшее автобіографическое значеніе имѣетъ четвертый очеркъ *Бѣгуны и спасенные*, гдѣ, подъ именемъ Карася, авторъ изобразилъ самого себя. По этому очерку можно судить, сколько мученій перенесъ новичекъ въ первые дни своего пребыванія въ бурсѣ, когда товарищи старались обколотить его, запугать и превратить въ бурсака. Плохо пришлось-бы ребенку, если-бы за него не вступился и не принялъ его подъ свое покровительство нѣкій Силычъ, находившійся въ дружбѣ со старшимъ братомъ Помяловскаго. Подъ этой защитой Помяловскій могъ встать на ноги, оглядѣться и мало-по-малу самъ превратился въ бурсака. Крайне впечатлительный по природѣ, подъ гнетомъ вѣчнаго мордобитія и общаго безначалія, онъ сдѣлался осмотрителенъ, недовѣрчивъ и на каждаго глядѣлъ, какъ на разбойника, могущаго придушить его. Учиться сталъ онъ плохо, и въ слѣдующемъ классѣ просидѣлъ, вмѣсто двухъ, четыре года. Учителя сперва жестоко сѣкли его, а потомъ и сѣчь перестали. Всего Помяловскаго высѣкли въ бурсѣ, по его словамъ, четыреста разъ, такъ что впослѣдствіи онъ частенько задавалъ вопросъ: «пересѣченъ я или недосѣченъ?». Кромѣ того ему чуть не каждый день приходилось стоять на колѣняхъ, быть безъ обѣда и пр. Но онъ мужественно выносилъ всѣ эти мученія, а учиться все-таки не сталъ. Съ поркой онъ потомъ свыкся, колѣнъ не жалѣлъ: «на этихъ мѣстахъ,—говаривалъ онъ,—у меня слоновая кожа выросла, потѣшайся, сколько хочешь, мнѣ все равно», но одного наказанія выносить онъ не могъ—неувольненія въ городъ; съ нетерпѣніемъ ждалъ онъ всегда субботняго дня, и начальство пользовалось этимъ средствомъ, чтобы заставить его учиться.

Восемь лѣтъ пробылъ Помяловскій въ училищѣ, и въ 1851 году перешелъ въ Александро-Невскую семинарію. Здѣсь онъ имѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ лучшую обстановку: болѣе сносную одежду и столъ, и розги лишь въ рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ. Семинарская схоластика не особенно увлекала живого мальчика, за-то тѣмъ болѣе пристрастился онъ къ книгамъ, читая все, что̀ ни попадалось подъ руки, начиная съ сонника и пѣсенника до романовъ Воскресенскаго. Въ старшемъ классѣ былъ затѣянъ наиболѣе дѣльными товарищами рукописный журналъ, который назывался *Семинарскимъ Листкомъ* и выходилъ разъ въ недѣлю тетрадями отъ 3-хъ до 5-ти листовъ

мелкаго письма. Большая часть статей въ *Листкѣ* принадлежала Помяловскому, который помѣщалъ ихъ подъ псевдонимомъ «Тамбовскій Семинаристъ». Уже тогда обнаружилась у него наклонность къ широкимъ и всеобъемлющимъ планамъ. Такъ, онъ разсчитывалъ, что *Листокъ* черезъ весь курсъ пройдетъ, что общими силами издатели выяснятъ идеалъ семинариста, узнаютъ свои силы, заведутъ корреспондентовъ во всѣхъ другихъ семинаріяхъ. Эти мечты оправдывались тѣмъ общимъ оживленіемъ, какое охватило весь классъ: товарищи выписали въ складчину газету; по ночамъ устраивались домашніе театры, танцы, музыка и попойки. Но это продолжалось недолго. Произошла какая-то исторія, вслѣдствіе которой было исключено восемь человѣкъ лучшихъ и наиболѣе воспріимчивыхъ товарищей. Прочіе упали духомъ; на всѣхъ нашла апатія. *Листокъ* тоже началъ падать и на 7-мъ выпускѣ прекратился. Въ этомъ выпускѣ Помяловскій помѣстилъ начало своего разсказа *Махиловъ*, который произвелъ большое впечатлѣніе на классъ и обнаружилъ впервые въ авторѣ проблески недюжиннаго таланта.

Въ 1857 году Помяловскій кончилъ курсъ семинаріи, ничего не вынеся изъ четырнадцатилѣтняго ученія кромѣ множества текстовъ, безсвязныхъ отрывковъ разныхъ наукъ, блужданія въ схоластико-мистическихъ умствованіяхъ, мрачнаго озлобленія и ожесточенія послѣ всѣхъ перенесенныхъ истязаній и несправедливостей и гибельной привычки къ вину. По окончаніи курса онъ поселился у матери и принялся за обученіе маленькаго брата. «Самъ погибъ,—говорилъ онъ,—но брату погибнуть не дамъ и въ бурсу не пущу! Я разскажу ему все, до чего додумался: человѣкомъ, можетъ быть, сдѣлаю!» Съ жаромъ ухватился онъ за эту мысль, сталъ читать педагогическія сочиненія, ломая голову надъ разными теоріями воспитанія. Пересматривая критически учебники и не видя въ нихъ настоящаго смысла, онъ началъ самъ писать учебникъ географіи, и написалъ по этому предмету до десяти листовъ. Въ свободное время онъ поглощалъ всевозможные книги и журналы, занимался частными уроками, участвовалъ въ хорѣ любителей въ Симеоновской церкви, ѣздилъ съ причтомъ о рождествѣ и о пасхѣ славить Христа, читалъ съ дьячками по покойникамъ и проч.

Между прочимъ написалъ онъ нѣсколько педагогическихъ статеекъ и беллетристическихъ очерковъ. Одинъ изъ этихъ очерковъ *Вуколъ* онъ снесъ въ редакцію *Журнала для воспитанія* Чумикова. Очеркъ былъ напечатанъ подъ псевдонимомъ Герасимова, и Чумиковъ пригласилъ Помяловскаго сотрудничать въ журналѣ. Поощренный успѣхомъ, Помяловскій вскорѣ напечаталъ и другой свой очеркъ *Долбня*, но онъ не жаловалъ этого очерка, считалъ его неудавшимся.

II.

Прошло два года съ окончанія курса, а Помяловскій все еще оставался безъ мѣста. Родственники, не придававшіе значенія его литературнымъ занятіямъ, уговаривали его пристроиться хоть на дьяконское мѣсто, чтобы имѣть возможность поддерживать семейство. Помяловскій не выразилъ особенно энергическаго протеста, и родные отыскали ему невѣсту съ дьяконскимъ мѣстомъ, но невѣста, прослышавъ, что женихъ попиваетъ, отказала ему. Ему отыскали другую невѣсту въ Царскомъ Селѣ и уговорили отправиться на

смотрины. Жениха снарядили въ дорогу, одѣли его во фракъ и отправили къ царскосельскому вокзалу, но съ половины дороги онъ сбѣжалъ. Невѣста подождала его нѣсколько времени, и дала слово другому. Болѣе его не тревожили. Да и самъ онъ съ каждымъ днемъ чувствовалъ менѣе и менѣе призванія къ духовному званію. Умственное развитіе направляло его совсѣмъ въ другую сторону. Проводя дни и ночи за книгами, съ особеннымъ вниманіемъ читалъ онъ *Современникъ*, каждой книжки ожидая какъ праздника. Статьи Чернышевскаго и Добролюбова перечитывалъ по нѣскольку разъ, вдумываясь въ каждую фразу, но особеннымъ сильнымъ толчкомъ въ развитіи былъ обязанъ университету. Весь Петербургъ въ то время ломился въ двери университета и наполнялъ его аудиторіи. Общимъ теченіемъ былъ увлеченъ и Помяловскій: тоже пошелъ послушать. Попалъ онъ на лекцію Стасюлевича, когда тотъ читалъ о значеніи библейскихъ пророковъ въ исторіи развитія человѣчества. Какъ шальной вернулся онъ съ лекціи. Наплывъ новыхъ свѣдѣній, новыя мысли, свѣжій свободный говоръ университетской молодежи,—все это глубоко потрясло чуткую натуру Помяловскаго, и онъ сдѣлался ревностнымъ посѣтителемъ университета. Такая страшная борьба началась въ головѣ его, что онъ ходилъ, какъ полупомѣшанный, не ѣлъ, не спалъ, исхудалъ, ослабѣлъ; его никто не могъ узнать. Съ большимъ рвеніемъ принялся онъ поглощать книги, съ цѣлью разрѣшить во что-бы то ни стало проклятыя сомнѣнія, но не легко было отдѣлаться ему отъ мистицизма, глубоко внѣдрившагося въ немъ долгими годами семинарскаго воспитанія. Приходилось разбивать пунктъ за пунктомъ, и каждая мысль отрывалась съ болью послѣ жестокой, усиленной борьбы. За-то, когда борьба совершилась и новыя идеи одолѣли, съ жаромъ кинулся Помяловскій въ водоворотъ общественнаго движенія, которое было въ то время въ самомъ разгарѣ. Въ октябрѣ 1860 года съ компаніей студентовъ-пріятелей поступилъ онъ преподавателемъ въ воскресную школу на Шлиссельбургской дорогѣ, причемъ по своей увлекающейся натурѣ не замедлилъ весь уйти въ это дѣло, и подобно тому, какъ при изданіи семинарскаго *Листка*, и теперь началъ строить широчайшіе планы. Онъ мечталъ, что всѣ воскресныя школы соединятся между собою, заведутъ отдѣльный листокъ, гдѣ будутъ печататься болѣе замѣчательные факты, пріемы преподаванія, статистическія и этнографическія свѣдѣнія, наконецъ будутъ издаваться отдѣльныя брошюры, практическія компиляціи изъ болѣе полезныхъ и интересныхъ для народа книгъ, изъ которыхъ составится потомъ народная библіотека, и проч.

Оригинальный методъ преподаванія Помяловскаго обратилъ на себя вниманіе Тимаева, наблюдавшаго за преподаваніемъ въ школѣ по порученію попечителя учебнаго округа. Тимаевъ познакомилъ юношу съ инспекторомъ Смольнаго института, Ушинскимъ, и тотъ предложилъ ему уроки въ институтѣ. Назначена была пробная лекція. Помяловскій прочелъ ее удачно, причемъ требовалъ, чтобы воспитанницы не имѣли при себѣ экземпляровъ *Дѣтскаго Міра*, а разсказывали прочитанное изъ этой книги со словъ учителя. Но, придя на слѣдующій урокъ, онъ увидѣлъ, что книги розданы воспитанницамъ на руки, и онѣ вызубрили урокъ слово въ слово. Помяловскій повторилъ свое распоряженіе; на третьей лекціи—опять то-же самое. Говорилъ онъ объ этомъ Ушинскому, — не помогло, и Помяловскій больше на лекцію не пошелъ, несмотря на то, что плата за урокъ ему обѣщана была хорошая, а онъ нуждался до того, что приходилось зарабатывать деньги перепискою.

Это бѣдственное матеріальное положеніе прекратилось лишь съ появленіемъ въ февральской книжкѣ *Современника* 1861 года *Мѣщанскаго счастья*. Произведеніе это сразу выдвинуло Помяловскаго въ ряды лучшихъ беллетристовъ, привлекши вниманіе публики и критики въ лицѣ Д. И. Писарева, посвятившаго ему одну изъ самыхъ блестящихъ своихъ статей *Романъ кисейной барышни*. Помяловскій познакомился съ Чернышевскимъ и прочими членами редакціи, пріобрѣлъ много и другихъ литературныхъ знакомствъ; его хвалили, льстили ему въ глаза. Къ сожалѣнію, получивши за повѣсть такія деньги, какихъ у него до того времени никогда не было въ рукахъ, Помяловскій съ толпою пріятелей съ радости закутилъ до бѣлой горячки и долженъ былъ поступить въ Обуховскую больницу, гдѣ, пролежавъ около мѣсяца, началъ писать повѣсть *Молотовъ*, которая была напечатана въ октябрьской книжкѣ *Современника* за 1861 годъ. Повѣсть эта довершила извѣстность и репутацію автора. Онъ завелъ обширный кругъ знакомства; редакціи наперерывъ приглашали его къ себѣ; ему пришлось даже побывать въ нѣкоторыхъ великосвѣтскихъ гостиныхъ, отъ которыхъ впрочемъ онъ скоро отшатнулся по своей слишкомъ несвѣтской и мрачной бурсацкой натурѣ.

Матеріальное положеніе его, въ свою очередь, улучшилось. Онъ сталъ получать опредѣленное денежное обезпеченіе отъ редакціи *Современника;* впрочемъ это не избавило его отъ нужды: онъ мало дорожилъ деньгами и не зналъ имъ цѣны. Получивъ гонораръ, онъ торопился скорѣе истратить его; давалъ нищимъ по пяти рублей, извозчикамъ по три; подвернется пріятель, — хоть все бери, а потомъ самъ идетъ доставать рублишко въ долгъ. Сойдясь съ массою пишущей братіи, онъ и здѣсь не замедлилъ проявить свою организаторскую жилку, неоднократно сказывавшуюся въ немъ въ созиданіи широкихъ замысловъ. Такъ, онъ проповѣдывалъ идею общиннаго литературнаго труда, мечталъ организовать общество писателей для изслѣдованія разныхъ сторонъ общественнаго быта. «Я,—говорилъ онъ,—напримѣръ возьму на свою долю всѣхъ петербургскихъ нищихъ, буду изучать ихъ бытъ, привычки, языкъ, побужденія къ ремеслу и все это описывать въ точныхъ картинахъ; другой возьметъ мелочныя лавочки для такихъ-же изученій, третій—пожарную команду и т. д. Всѣ добытыя свѣдѣнія будемъ помѣщать въ особомъ, реальномъ журналѣ, устроенномъ на общихъ началахъ, и изъ этихъ свѣдѣній, взятыхъ цѣликомъ изъ жизни, впослѣдствіи явится довольно полная картина нашего петербургскаго быта». Сочувствіе къ этому проэкту Помяловскій встрѣтилъ во многихъ, но далѣе сочувствія дѣло не пошло.

Вообще въ послѣдніе два года жизни, какъ-бы предчувствуя близкую смерть, Помяловскій обнаруживалъ необычайную энергію въ разнородной дѣятельности: посѣщалъ публичныя лекціи, участвовалъ въ литературныхъ чтеніяхъ, ѣздилъ въ воскресную школу, гдѣ одно время былъ даже распорядителемъ по педагогической части, спорилъ въ комитетѣ воскресныхъ школъ, принималъ участіе въ составленіи букваря для этихъ школъ и проч. Онъ даже пробовалъ быть критикомъ, и по смерти Добролюбова принялся было по предложенію редакціи *Современника* за разборъ романа Ахшарумова *Чужое имя,* но не кончилъ этого разбора.

Въ то-же время не съ меньшей энергіею занимался онъ своими беллетристическими работами, обезсмертившими его имя. Такъ, втеченіе тѣхъ-же двухъ лѣтъ онъ написалъ *Очерки бурсы, Порѣчане,* обдумывалъ и набросалъ нѣ-

сколько сценъ большого романа *Братъ и сестра*. Пережитый имъ въ жизни романъ натолкнулъ его на планъ романа *Каникулы* или *Гражданскій бракъ*, въ которомъ онъ намѣревался изобразить невинную, нѣсколько экзальтированную дѣвушку, попавшую въ общество людей вродѣ Ситниковыхъ и Кукшиныхъ. Эти люди отуманили ее напыщенными фразами, не давъ никакого положительнаго понятія о жизни, и соблазнили ее вступить въ такъ-называемый гражданскій бракъ. Помяловскій былъ намѣренъ показать тотъ грязный цинизмъ, какой прикрывали эти мнимые прогрессисты своими громкими фразами.

— На насъ клевещутъ,—говорилъ онъ,—и наша честь требуетъ, чтобы съ молодого поколѣнія сняли то пятно, которое кладутъ на него эти лица. Всякая сила вызываетъ непремѣнно множество бездарныхъ подражателей, однако по этимъ бездарностямъ общество судитъ объ оригиналахъ и пріобрѣтаетъ недовѣрчивость къ нимъ. Надо доказать имъ, что они—не наши, что наши стремленія—не тѣ. Трудна эта задача, но я возьмусь за нее потому, что она—дѣло чести нашей.



Н. Г. Помяловскій.

Но и этимъ всѣмъ не ограничивались литературные замыслы Помяловскаго. По цѣлымъ недѣлямъ пропадалъ онъ отъ родныхъ и знакомыхъ, проживая на Сѣнной, въ центрѣ петербургскихъ трущобъ, въ отвратительныхъ катакомбахъ, съ нищими, при одномъ разсказѣ о которыхъ ужасъ бралъ его пріятелей. Онъ знакомился и кутилъ съ этими лицами, изучалъ ихъ съ психологической точки зрѣнія, выпытывалъ ихъ прошлое, попадалъ вмѣстѣ съ пріятелями даже на съѣзжую.

— За то,—говорилъ онъ,—такими пейзажиками я до того укрѣпилъ свои нервы, что могу спокойно смотрѣть на самый отвратительный цинизмъ и анализировать его. Это, братъ, очень поучительно. Вотъ ужо я выставлю эти картинки на показъ нашему обществу,—пусть полюбуются.

И онъ задумывалъ написать романъ, въ которомъ предполагалъ изобразить свои наблюденія надъ подонками петербургскаго населенія.

Но дни его были сочтены. Удивительно, какъ онъ могъ обнаруживать такую энергическую дѣятельность среди почти безпробуднаго запоя. Надо замѣтить при этомъ, что пьянство его носило мрачный характеръ. Вино нисколько не веселило его и не разсѣевало гнетущей тоски, которою былъ преисполненъ этотъ надломленный и ожесточенный человѣкъ. «Желчными, глубоко рвущими сердце страданіями,—по словамъ біографа его, Н. А. Благовѣщенскаго,—выражалось его опьяненіе, такъ что, глядя на эти муки, и жалко, и страшно стано-

вилось за него. Бывало начнетъ онъ будто нарочно представлять передъ собой непріятныя для него личности и припоминаетъ все зло, какое нанесли они ему. Съ дьявольскимъ наслажденіемъ онъ разбиралъ эти призраки, призывалъ на нихъ всевозможныя проклятія, силился вѣрить, что они рано или поздно будутъ отомщены...

— Проклятые!—шепчетъ онъ бывало, задыхаясь отъ злости.—Какъ я васъ ненавижу! о, какъ страшно я васъ ненавижу! Вы отравили всю жизнь мою, вы разбили лучшія мои надежды!—И не плачетъ онъ: выраженіе лица сдержанное, тяжело спокойное, а у самого слезы такъ и льются... Въ эти минуты съ трудомъ можно было удержать его отъ скандала; онъ готовъ былъ сейчасъ-же бѣжать и мстить... Тяжело было глядѣть на эти страданія, на эти холодныя, нелегко выдавливаемыя слезы...»

При такой жизни, представлявшейся горящею съ двухъ концовъ свѣчкою, силы Помяловскаго были настолько надломлены, что достаточно было ничтожнаго повода для смертнаго исхода. Въ сентябрѣ 1863 года послѣ сильнаго припадка delirium tremens, продолжавшагося нѣсколько дней, у него открылась какая-то опухоль и затѣмъ образовался нарывъ, по вскрытіи котораго въ клиникѣ Медикохирургической академіи обнаружилась гангрена, и 5-го октября 1863 года его не стало.

III.

Преждевременная смерть Помяловскаго была невознаградимой потерей въ русской литературѣ, такъ какъ, не боясь впасть въ преувеличеніе, мы можемъ смѣло сказать, что въ лицѣ Помяловскаго литература наша потеряла крупный талантъ, который не замедлилъ-бы наложить печать могучаго вліянія на беллетристику интеллигентнаго быта и дать ей направленіе болѣе правильное, чѣмъ какое она приняла вскорѣ послѣ его смерти.

Когда говорятъ о Помяловскомъ, то на первый планъ ставятъ его *Очерки бурсы*, и было время, когда его иначе и не называли, какъ авторомъ *Очерковъ бурсы*. Но считать эти очерки шедевромъ Помяловскаго и полагать въ нихъ главное его литературное достоинство неправильно. Это заблужденіе произошло отъ того, что «Очерки», произведя на общество потрясающее впечатлѣніе крупнаго скандала, отодвинули на второй планъ прочія произведенія Помяловскаго. Чтобы понять сенсацію ихъ, нужно взять въ соображеніе, что они явились въ самый разгаръ общественнаго движенія, когда рядомъ съ прочими вопросами на первый планъ былъ поставленъ вопросъ педагогическій, когда рушилась цѣликомъ старая система воспитанія, основанная на отупляющей долбнѣ и деморализирующихъ тѣлесныхъ истязаніяхъ, когда вмѣстѣ съ гимназіями преобразовывались и корпуса, и институты. И вдругъ молодой беллетристъ, самъ прошедшій каторгу семинарскаго курса, въ рядѣ картинъ, исполненныхъ яркихъ, поразительныхъ красокъ и неотразимаго реализма, раскрылъ передъ обществомъ ту горькую истину, что сословіе, которое по самому своему призванію должно было подавать примѣръ христіанскаго смиренія, кротости и любви по отношенію къ малымъ, ихъ-же царствіе небесное, напротивъ того далеко превзошло въ безчеловѣчной жестокости и черствости гражданскихъ педагоговъ дореформенной эпохи. И къ тому-же дѣло шло здѣсь не о какой-нибудь провинціальной глуши, а объ учебныхъ заведеніяхъ, находящихся у

всѣхъ на виду въ столицѣ. Понятно, что «Очерки» произвели впечатлѣніе бомбы, внезапно упавшей среди смятенной толпы. Тѣмъ не менѣе главное литературное значеніе Помяловскаго заключается все-таки не въ нихъ, а въ прочихъ произведеніяхъ его.

Таковы повѣсти: *Мѣщанское счастье* и *Молотовъ*. Въ этихъ повѣстяхъ въ лицѣ Молотова впервые выступилъ передъ нами новый только-что народившійся герой времени, интеллигентный разночинецъ, на смѣну всѣмъ прежнимъ, принадлежавшимъ къ дворянской средѣ. Но мало того, что герой этотъ появился въ повѣстяхъ Помяловскаго, за два года до Базарова и типовъ романа *Что дѣлать?*, но никогда потомъ не изображался онъ съ такимъ живымъ чутьемъ, глубокимъ пониманіемъ, трезвою и нелицепріятною правдою. Впослѣдствіи беллетристика наша раздвоилась въ пониманіи этого типа, и въ то время какъ писатели одного лагеря начали топтать его въ грязь, другіе напротивъ того идеализировали и расписывали самыми радужными красками. Даже Тургеневу своего Базарова удалось какъ-то сразу и возвысить, и унизить паче мѣры.

Молотовъ является единственнымъ ни въ какую сторону не утрированнымъ мыслящимъ пролетаріемъ-разночинцемъ шестидесятыхъ годовъ. Авторъ не скрылъ его истинныхъ достоинствъ, въ видѣ выносливости въ борьбѣ съ нищетою и невзгодами жизни, несокрушимой энергіи и стойкости въ стремленіи выбиться въ люди и завоевать прочное независимое положеніе. Но не скрылъ онъ и недостатковъ новаго героя, являющихся результатами вліянія среды и общественнаго положенія его, каковы—щепетильная плебейская гордость, обнаруживающаяся то въ застѣнчивости, замкнутости и недовѣріи къ людямъ, то напускной развязности и чрезмѣрной грубости; наконецъ въ преждевременной разсудочности, расхолаживающей молодые горячіе порывы и придающей юношѣ видъ резонирующаго старца. Послѣдній недостатокъ особенно обнаружился въ Молотовѣ въ той черствости, съ какой онъ отнесся къ любви кисейной барышни. Наконецъ, какъ результатъ усталости послѣ длиннаго ряда годовъ, исполненныхъ тяжкой борьбы, мы видимъ въ Молотовѣ стремленіе отдохнуть подъ мирнымъ кровомъ мѣщанскаго счастія, признавши въ себѣ единственное призваніе *честно наслаждаться жизнью*,—результатъ, заставившій Помяловскаго воскликнуть въ концѣ повѣсти: «Эхъ, господа, что-то скучно!..»

Рядомъ съ Молотовымъ парадируетъ Череванинъ. Въ этомъ типѣ авторъ вывелъ тотъ второй элементъ разночинства, который онъ носилъ въ себѣ рядомъ съ молотовскимъ. Писатели наши, выводившіе героевъ времени, обыкновенно какъ-бы раздваивались въ своихъ произведеніяхъ, олицетворяя свою среду и время въ двухъ противоположныхъ типахъ, элементы которыхъ лежали въ самой натурѣ творцовъ. Такъ, Ленскій стоитъ рядомъ съ Онѣгинымъ, Круциферскій—съ Бельтовымъ, Грушницкій—съ Печоринымъ. Также относится и Череванинъ къ Молотову. Въ противоположность активной жизнерадостности послѣдняго, Череванинъ съ его мрачнымъ кладбищенствомъ представляется олицетвореніемъ пассивнаго гамлетизма. Это тотъ самый бѣсъ разъѣдающаго анализа, который мѣшалъ Помяловскому отдаться подобно Молотову непосредственно влеченіямъ жизни и подтачивалъ его силы, заставляя въ винѣ топить мучительную тоску, навѣваемую его кладбищенскими внушеніями.

Если примемъ во вниманіе отрывки изъ задуманнаго романа *Братъ и сестра*, исполненные такой же трезвой правды и столь-же глубокаго анализа, то намъ станетъ совершенно понятенъ незамѣнимый пробѣлъ, какой образовался въ нашей литературѣ вслѣдствіе преждевременной смерти Помяловскаго. Это былъ единственный въ то время талантъ, который обладалъ всѣми свойствами для того, чтобы изобразить рядъ современныхъ новыхъ типовъ въ истинномъ свѣтѣ, въ безпристрастной, трезвой правдѣ, и нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онъ увлекъ-бы за собой на этотъ путь всѣхъ молодыхъ беллетристовъ. Съ утратой этой силы беллетристика не была въ состояніи удержаться на этомъ пути, и ударилась съ одной стороны въ идеализацію, съ другой—въ каррикатурность, и люди шестидесятыхъ годовъ остались безъ такихъ современныхъ имъ портретовъ, которые были-бы вполнѣ на нихъ похожи.

Многознаменателенъ созданный передъ смертью планъ романа *Гражданскій бракъ*. Мысль отдѣлить пшеницу отъ плевелъ и рядомъ съ истинными поборниками прогресса разоблачить пустозвонныхъ фразеровъ и растлѣнныхъ баричей, прикрывавшихъ глубокую деморализацію подъ блестящею внѣшностью передовыхъ идей,—была безспорно блестящая мысль. Исполненіе ея представляло насущную потребность момента, и конечно не въ примѣръ было-бы плодотворнѣе, если-бы за олицетвореніе этой мысли принялся писатель прогрессивнаго лагеря и къ тому-же обладавшій талантомъ, преисполненнымъ такого трезваго реализма, какъ Помяловскій. Но смерть помѣшала ему исполнить это важное дѣло, и за него принялись писатели враждебныхъ лагерей, смѣшавшихъ плевела съ пшеницею и начавшихъ забрасывать грязью всѣхъ передовыхъ людей безразлично.

Въ заключеніе слѣдуетъ обратить вниманіе еще на одинъ разсказъ, правда, неконченный, но, въ свою очередь, свидѣтельствующій о крупномъ талантѣ Помяловскаго,—именно *Порѣчане*, изображающій бытъ и нравы охтянъ. Помяловскій, какъ мы видѣли изъ его біографіи, никогда не былъ въ деревнѣ и народа не изучалъ; тѣмъ не менѣе такой это былъ могучій талантъ, что и въ пригородныхъ охтянахъ онъ съумѣлъ прозрѣть тѣ народныя черты и тотъ духъ, какой присущъ всѣмъ русскимъ людямъ безъ исключенія, и разсказъ Помяловскаго производитъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы читаете какую то былину. Такимъ образомъ нѣтъ сомнѣнія, что и беллетристика народнаго быта утратила въ лицѣ Помяловскаго одного изъ своихъ крупнѣйшихъ представителей.

IV.

Главная причина того, что публицистическая беллетристика демократическаго лагеря въ началѣ шестидесятыхъ годовъ сошла съ реальнаго пути и ударилась въ идеализацію, заключалась въ томъ индивидуально-нравственномъ характерѣ, который, какъ мы уже неоднократно говорили, приняло общественное движеніе тотчасъ-же по совершеніи главныхъ реформъ, когда вниманіе общества перестало исключительно поглощаться политическими вопросами.

Вмѣсто того, чтобы заниматься изслѣдованіемъ условій и порядковъ общей жизни, на первый планъ начали ставить личное поведеніе отдѣльнаго инди-

видуума, умственное и нравственное содержаніе его, сообразно которому интеллигентные люди раздѣлились на два философо-моральные лагеря,—стараго и молодого поколѣнія. Подъ новыми людьми начали подразумѣвать не просто только приверженцевъ новыхъ идей, а осуществителей въ личной жизни новыхъ нравственныхъ идеаловъ, и въ то время, какъ Чернышевскій представилъ образцы этихъ новыхъ идеаловъ въ герояхъ своего романа *Что дѣлать?*, Писаревъ, въ свою очередь, началъ пропагандировать своихъ трезвыхъ реалистовъ въ образѣ Базарова.

Подъ вліяніемъ этого индивидуально-нравственнаго броженія, и преимущественно статей Писарева, и образовалась группа молодыхъ беллетристовъ-идеалистовъ, подвизавшаяся преимущественно на страницахъ *Русскаго Слова* и *Дѣла*. Во всѣхъ ихъ произведеніяхъ, романахъ, повѣстяхъ, этюдахъ и очеркахъ вы найдете одно и то же міровоззрѣніе: населеніе всего земного шара раздѣляется рѣзкою демаркаціонною линіей на двѣ половины: съ одной стороны, тонущій въ грубомъ невѣжествѣ задавленный и ограбленный народъ, съ другой—филистерство, начиная съ растлѣннаго барства и кончая буржуазіею и кулачествомъ. Въ сторонѣ отъ этихъ двухъ враждебныхъ элементовъ стоятъ доблестные носители новыхъ идей, воплощенные идеалы, призванные спасти народъ изъ когтей филистеровъ или погибнуть. При этомъ одни изъ беллетристовъ, согласно съ Писаревымъ, полагали, что воплощенные идеалы образуются исключительно путемъ умственнаго развитія и изученія естественныхъ наукъ; другіе-же считали ихъ избранными натурами, которыя отъ рожденія предопредѣлены быть носителями новыхъ идей, а потому съ первыхъ шаговъ выдѣляются отъ обыкновенныхъ смертныхъ. Одни, вѣрные романтическимъ традиціямъ, думали, что пользоваться благосостояніемъ и наслаждаться счастіемъ могутъ лишь филистеры; избранныя-же натуры и носители идеаловъ непремѣнно должны терпѣть, страдать и гибнуть. Другіе полагали напротивъ того, что избранные люди имѣютъ право наслаждаться жизнью; они должны лишь смѣло прервать со всѣми предразсудками, сплотиться въ дружный союзъ, изолироваться отъ непросвѣщенныхъ филистеровъ и преподать пошлой толпѣ внушительные примѣры истиннаго и разумнаго счастья.

Наиболѣе выдающимся по таланту и плодовитымъ представителемъ этой беллетристической школы является Александръ Константиновичъ Шеллеръ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ А. Михайлова.

А. К. Шеллеръ родился 30-го іюня 1838 года въ С.-Петербургѣ. Отецъ его былъ эстонецъ изъ Аренсбурга, съ дѣтства попалъ въ столицу, воспитывался въ театральномъ училищѣ и былъ камеръ-музыкантомъ при императорскихъ театрахъ. Будучи человѣкомъ образованнымъ, онъ позаботился и сыну дать основательное образованіе. А. К. Шеллеръ воспитывался сначала дома, подъ надзоромъ нѣжно любимой матери, потомъ кончилъ курсъ въ Анненской школѣ, и въ 1857 году поступилъ вольнослушателемъ въ С.-Петербургскій университетъ, гдѣ и оставался до осени 1861 года, т. е. до закрытія университета. Во время университетскаго курса Шеллеръ около года провелъ за-границею въ качествѣ домашняго секретаря графа Ѳ. М. Апраксина, и этимъ временемъ воспользовался для пополненія и усовершенствованія образованія.

По выходѣ изъ университета, Шеллеръ заплатилъ дань общему увлеченію педагогіей и основалъ школу для бѣдныхъ дѣтей, въ которой дѣти учились за

ничтожную плату,—90 копѣекъ въ мѣсяцъ. Учениковъ набралось до сотни, и школа успѣшно существовала до конца 1863 года, когда, вмѣстѣ съ поворотомъ въ правительственныхъ сферахъ, ознаменовавшимся прежде всего закрытіемъ воскресныхъ школъ, учебное начальство отнеслось недовѣрчиво и къ школѣ Шеллера,—она должна была видоизмѣниться и утратила свой первоначальный строй.

Годы 1863-й и 64-й Шеллеръ провелъ за-границей, тщательно заботясь о пополненіи образованія и занимаясь изученіемъ соціальныхъ вопросовъ, которые въ то время занимали передовые умы. Писать онъ началъ рано. Первые стихи были имъ написаны еще отрокомъ. Въ печати-же появился онъ впервые въ 1863 году, когда въ октябрьской книжкѣ *Современника* были напечатаны четыре его стихотворенія. Затѣмъ, въ *Современникѣ*-же, въ 1864 г., былъ напечатанъ первый романъ его *Гнилыя болота*, обратившій на себя общее вниманіе. Въ 1865 году появился въ *Современникѣ* второй романъ *Жизнь Шупова*, и хотя романъ этотъ менѣе понравился публикѣ и обнаружилъ недостатки, свойственнные всѣмъ произведеніямъ Шеллера, тѣмъ не менѣе извѣстность его была упрочена. Онъ былъ приглашенъ къ участію въ *Русскомъ Словѣ* въ качествѣ редактора по иностранному отдѣлу; а послѣ закрытія *Русскаго Слова* принялъ на себя общую редакцію *Дѣла* и посвятилъ этому журналу лучшіе годы своей жизни до октября 1877 года. Въ этотъ-же періодъ Шеллеръ временно принималъ участіе въ редактированіи *Недѣли*, послѣ того какъ этотъ журналъ перешелъ въ руки г-жи Конради. Здѣсь между прочимъ были помѣщены его очерки подъ общимъ названіемъ: *Пролетаріатъ во Франціи*, изданные впослѣдствіи отдѣльной книгой. Съ 1877 года Шеллеръ принялъ на себя редактированіе *Живописнаго Обозрѣнія*.

Эти редакторскія работы не мѣшали ему выпускать одинъ романъ за другимъ. Таковы были: *Въ разбродъ*, *Господа Обносковы*, *Старыя гнѣзда*, *Хлѣба и зрѣлищъ*, *Безпечальное житье*, *Лѣсъ рубятъ—щепки летятъ*, *Чужіе грѣхи*, *Надъ обрывомъ*, *И молотомъ, и золотомъ*, *Пророкъ*, *На разныхъ берегахъ*, *Мужъ и жена*, *Первая любовь*, *Голь*, *Лычкины* и т. д.

Вмѣстѣ съ тѣмъ не переставалъ Шеллеръ заниматься вопросами соціальными и педагогическими, и результатами этихъ занятій былъ рядъ публицистическихъ и историческихъ статей, каковы: *Ассоціаціи во Франціи, Германіи и Англіи*, *Образованіе въ Европѣ и Америкѣ*, *Наши дѣти* (всѣ эти статьи помѣщены были въ *Дѣлѣ*), *Смутное время анабаптизма* (*Русская Мысль* 1866 г.) и *Секты въ Америкѣ* (*Живописное Обозрѣніе* 1885 г.). Неоконченнымъ по независящимъ отъ автора причинамъ остался трудъ его *Народное образованіе въ Россіи*, доведенный до 1812 года. Но главнымъ трудомъ, которому Шеллеръ и теперь посвящаетъ свои досуги, слѣдуетъ считать *Исторію коммунизма*, надъ которой онъ работаетъ много лѣтъ сряду, предполагая издать его въ трехъ объемистыхъ томахъ.

Не оставлялъ онъ и стихотворныхъ работъ, причемъ хотя и не обнаруживалъ особенно сильнаго стихотворнаго таланта, во всякомъ случаѣ многія изъ его стихотвореній не лишены поэтичности и общественнаго смысла. Особенно полезенъ онъ, какъ хорошій переводчикъ западныхъ поэтовъ, причемъ любимѣйшимъ поэтомъ его, изъ котораго онъ болѣе всего переводилъ, былъ венгерскій поэтъ Петефи.

V.

Романы Шеллера, при всемъ честномъ и безкорыстномъ увлеченіи автора передовыми идеями вѣка, носятъ одинъ существенный недостатокъ, свойственный школѣ беллетристовъ-публицистовъ, воспитанныхъ критикою Писарева:—они страдаютъ книжностью. Въ нихъ не замѣтно ни тяжкихъ опытовъ, выносимыхъ писателями лично изъ жизни, ни наблюденій надъ живой дѣйствительностью. Все это труды кабинетные, искусственно надуманные, сочиненные по шаблонамъ, созданнымъ западной и русской беллетристикой. Такъ напримѣръ, въ Шеллерѣ замѣтно увлеченіе англійскими романистами, особенно Диккенсомъ, и вы найдете въ его романахъ дѣйствующія лица, сцены и драматическія положенія, скомпанованныя по образцу романовъ Диккенса: Въ большинствѣ его романовъ парадируютъ неизмѣнно однѣ и тѣ-же стереотипныя личности, до послѣдней степени истрепанныя беллетристикою. Таковы, напримѣръ, злодѣй романа, высокій, смуглый, съ оловянными, леденящими глазами, помѣщикъ-крѣпостникъ и деспотъ, отъ котораго въ ужасѣ разбѣгаются домашніе, какъ только онъ входитъ въ комнату; онъ разлучаетъ влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъ въ гробъ жену и чуть не засѣкаетъ розгами идеальнаго героя романа. Злодѣйка романа является въ видѣ бабушки или тетушки, съ княжескимъ гербомъ на каретѣ, занятая родословной, бредящая свѣтскими приличіями и презирающая чернь. Своимъ тлетворнымъ вліяніемъ она готова погубить героя, сдѣлать изъ него свѣтскаго шалопая; когда-же герой, вопреки всѣмъ этимъ усиліямъ, озаряется свѣтомъ прогресса, бабушка, разорившаяся и всѣми забытая, умираетъ на рукахъ тѣхъ, которыхъ она прежде презирала. Далѣе слѣдуютъ коммисаріатскій чиновникъ—взяточникъ и низкопоклонникъ, пресмыкающійся передъ высшими, надменный съ низшими, помышляющій лишь о чинахъ, наградахъ и взяткахъ, и кончающій тѣмъ, что попадаетъ подъ судъ послѣ крымской кампаніи, лишается состоянія и начинаетъ злобно шипѣть противъ молодого поколѣнія и новыхъ порядковъ; петербургская кумушка — мѣщанка или чиновница низшаго сорта, подобострастная ко всѣмъ, имѣющимъ вѣсъ и деньги, жадная къ подаркамъ, готовая ограбить наслѣдниковъ умершаго богатаго родственника, безчеловѣчная къ дочери или невѣсткѣ и склонная въ каждомъ движеніи и шагѣ молодого человѣка или дѣвушки подозрѣвать грязныя побужденія; свѣтскій шалопай, паркетный шаркунъ, любитель пикниковъ и рысаковъ, кончающій разореніемъ отца, воровствомъ, тюрьмою или самоубійствомъ. Къ этимъ главнымъ слѣдуетъ присоединить нѣсколько второстепенныхъ типовъ, столь-же однообразныхъ и стереотипныхъ; таковы, напримѣръ, пошлые учителя старого времени, неизмѣнно въ каждомъ романѣ таскающіе за волосы учениковъ, изрыгающіе ругательства вродѣ «ослы», «сволочь», и пьющіе горькую; либеральные учителя новаго пошиба, устремляющіе героевъ на путь прогресса; нѣмцы, являющіеся сухими, бездушными формалистами, и проч., и проч. Что-же касается положительныхъ типовъ романовъ Шеллера, то они являются безусловно идеальными людьми, подающими человѣчеству образцы раціональной жизни; причемъ Шеллеръ ухитрился изображать ихъ въ одно и то-же время и какъ-бы отъ самаго рожденія предопредѣленными быть выразителями идеаловъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы дѣлающимися идеальными людьми лишь

впослѣдствіи путемъ развитія. Такъ напримѣръ, Шуповъ *на десятомъ году* поднялъ бурю противъ родителей по поводу собиранія ими съ крестьянъ



А. К. Шеллеръ (А. Михайловъ).

оброка, сопоставивъ мягкое обращеніе умершей матери со слугами и подаваніе ею милостыни нищимъ съ фактомъ собиранія оброка, и до такой степени разошелся мальчикъ:—«не хочу брать оброка, мамаша сама давала нищимъ,

я — наслѣдникъ!», что былъ высѣченъ отцомъ до полусмерти. Послѣ порки *десятилѣтній мальчикъ* былъ согласенъ на другую такую-же порку, лишь-бы не принуждали его просить прощенія у дяди, котораго онъ возненавидѣлъ и оскорбилъ за то, что тотъ не заступился за крестьянъ, и кончилась эта исторія тѣмъ, что тотъ-же *десятилѣтній мальчикъ* послѣ этого погрома воспылалъ страстью учиться, развиваться.

Такъ-же точно былъ выпоротъ своимъ отчимомъ Бубновымъ герой романа *Въ разбродъ,* Теплицынъ, и, въ свою очередь, послѣ порки на *десятомъ* году загорѣлся страстью къ ученью. У него былъ дядя капитанъ Хлопко, морякъ, передѣланный съ англійскихъ нравовъ на русскіе: онъ разсказывалъ мальчику эпизоды изъ исторіи и изъ своихъ кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя подобные разсказы могли имѣть свое развивательное вліяніе, но во всякомъ случаѣ трудно себѣ представить у десятилѣтняго мальчика психическое настроеніе, которое у обыкновенныхъ смертныхъ является не ранѣе восемнадцатилѣтняго возраста:

«Невеселая наша жизнь: притѣсненія, постоянное одиночество или бесѣды съ такимъ идеалистомъ, какъ дядя, навели меня на мысль, что и меня ждутъ впереди страданія, что я долженъ приготовиться къ нимъ, и я, экзальтированный до крайности, сталъ развивать въ себѣ физическія силы и пробовать свою выносливость. Меня радовало, если мнѣ удавалось поднять что-нибудь тяжелое или справиться въ борьбѣ съ Гаврюшкой. Помню, что я однажды въ эту зиму взялъ горячій уголь въ руки и держалъ его до тѣхъ поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ катились слезы, моя ладонь болѣла очень долго, но я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ, вспоминая о Іоаннѣ Гусѣ. Меня стали особенно привлекать такія зрѣлища, какъ рѣзаніе куръ, и хотя мнѣ было очень жалко бѣдныхъ хохлушекъ, но я не убѣгалъ и смотрѣлъ до конца на ихъ казнь, помня, что дядя разсказывалъ о многихъ людяхъ, падающихъ въ обморокъ при видѣ крови».

Въ романѣ *Жизнь Шупова* герой плебейскаго происхожденія, Колька, въ свою очередь, поражаетъ васъ въ десятилѣтнемъ возрастѣ глубокомысліемъ соціальныхъ взглядовъ. Онъ создаетъ цѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ воровства: «по его соображеніямъ слѣдовало работать, цѣлый день работать, бумаги писать въ должности, сапоги или платье шить дома,—все работать и на выработанныя деньги нанимать маленькую, самую маленькую комнатку и жить одному, не имѣя дѣтей, одѣваться просто, ну, совсѣмъ просто, вотъ какъ мужики одѣваются»...

Такимъ образомъ вотъ уже въ какомъ возрастѣ являются въ трезвыхъ реалистахъ романовъ Шеллера идеалы честнаго труженичества и спартанской жизни! Въ томъ-же самомъ возрастѣ они начинаютъ и протестовать противъ истязаній не только людей, но и животныхъ:

« — Одного я не понимаю,— серьезно и задумчиво говорилъ онъ мнѣ однажды:—за что это собакъ и лошадей мучаютъ?

— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька,—отвѣчалъ я.—Ты самъ-же мнѣ говорилъ...

— Людей! Такъ люди души свои за это за самое спасутъ. Вотъ я и теперь, еслибы умеръ, такъ святымъ бы сталъ,—съ нѣжной улыбкой промолвилъ онъ полушутя.—А у собакъ и лошадей души нѣтъ».

Соображая, что герой съ такихъ малыхъ лѣтъ проявляетъ уже столь необыкновенные задатки и такъ неудержимо стремится на путь прогресса, вы невольно заинтересовываетесь знать: что-же съ нимъ будетъ потомъ?

Но читаете дальше и съ каждой страницей убѣждаетесь, что гора рождаетъ мышь. Въ половинѣ романа Шеллеръ, какъ-бы совсѣмъ забывая, какихъ онъ намѣревался представить намъ великановъ, начинаетъ насъ убѣждать, что герои его вовсе и не думали питать въ себѣ идеалы съ самаго рожденія, а

должны до нихъ достигнуть путемъ долгаго искуса, соединеннаго съ рядомъ испытаній и страданій, опасностей сбиться съ прямого пути и дѣйствительныхъ заблужденій. Въ этихъ заблужденіяхъ герои оказывались такими тряпичными, что полоумная тетушка способна бывала направить ихъ на дорогу шалопайства, и если они свертывали съ этой дороги на спасительный путь, то это происходило благодаря вовсе не ихъ стойкому нравственному противодѣйствію, а случайнымъ обстоятельствамъ, вродѣ того, что тетушка разорялась, уѣзжала или умирала. Но какъ-бы то ни было, въ концѣ романа герои просвѣтлялись новыми идеалами въ духѣ честнаго труженичества и трезваго реализма, въ осуществленіи этихъ идеаловъ находили мирную пристань отъ жизненныхъ бурь и невзгодъ и начинали блаженствовать во вседовольствѣ и совершенствѣ.

Начинаете вы всматриваться въ этихъ вседовольныхъ и всесовершенныхъ героевъ, и съ удивленіемъ видите, что и Прохоровы, и Теплицины, и Шуповы, и пр. являются фотографическими снимками съ Молотова Помяловсваго, съ тою только разницею, что Помяловскій не скрываетъ рядомъ съ достоинствами недостатковъ своего героя; Шеллеръ-же самые эти недостатки идеализируетъ, видя нѣчто весьма похвальное, своего рода змѣиную мудрость, что герои его кротко сходятъ со сцены для того, чтобы *«начать мирную, быть можетъ, буржуазную жизнь съ трудомъ изъ-за куска хлѣба»*.

VI.

На одномъ ряду съ Шеллеромъ стоятъ три писателя одной съ нимъ школы, менѣе талантливые и не столь плодовитые, но зато чуждые буржуазности, какую обнаруживаетъ Шеллеръ въ своихъ произведеніяхъ. Это — чистокровные идеалисты до мозга костей: неподкупно-честныя, чистыя, прозрачно-искреннія цѣльныя натуры, они сливаются съ своими произведеніями и въ нѣкоторой степени оправдываютъ свою идеализацію безукоризненною вѣрностью принципамъ впродолженіе всей жизни, исполненной тяжкаго труда и безъисходной борьбы съ нищетою. Таковы: Павелъ Владиміровичъ Засодимскій, Николай Ѳедотовичъ Бажинъ и Инокентій Васильевичъ Ѳедоровъ (Омулевскій).

Павелъ Владиміровичъ Засодимскій родился въ 1843 году 1-го ноября въ Великомъ Устюгѣ, Вологодской губерніи, въ небогатой дворянской семьѣ. Дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ и въ уѣздномъ городѣ Никольскѣ, похожемъ на деревню. У его отца была большая библіотека, и, не помня себя неграмотнымъ, Засодимскій съ шести лѣтъ читалъ все, что попадалось въ руки: Пушкина, Державина, Жуковскаго, Де-Фое, Плутарха, переводные романы съ разныхъ языковъ. Десяти лѣтъ онъ владѣлъ языками французскимъ, нѣмецкимъ и польскимъ. Въ 1856 г. онъ былъ отданъ въ Вологодскую гимназію своекоштнымъ пансіонеромъ. По окончаніи курса въ ней въ 1863 году, онъ поступилъ вольнослушателемъ на юридическій факультетъ С.-Петербургскаго университета. Но за неимѣніемъ средствъ былъ принужденъ въ 1865 году оставить университетъ, и съ тѣхъ поръ онъ ведетъ полную труда и тяжкихъ лишеній жизнь интеллигентнаго пролетарія. Сначала онъ пробавлялся уроками: въ 1865 году ѣздилъ на кондиціи въ Пензенскую губернію, а въ 1872 году ему было поручено устроить и вести сельскую школу въ Новгородской губерніи, Боровичскаго уѣзда. Онъ устроилъ и велъ школу втеченіе трехъ

мѣсяцевъ, но вынужденъ былъ оставить дѣло по независящимъ отъ него обстоятельствамъ, и съ тѣхъ поръ всего себя посвятилъ литературѣ.

Печататься Засодимскій началъ въ 1867 году, пославши въ редакцію *Голоса* воззваніе къ русскому обществу въ защиту болгаръ, написанное подъ впечатлѣніемъ корреспонденцій о турецкихъ звѣрствахъ при подавленіи возстанія. Въ этомъ-же году было напечатано въ *Иллюстрированной газетѣ* нѣсколько его стихотвореній. Затѣмъ въ 1868 году были напечатаны въ *Дѣлѣ* повѣсти его: *Грѣшница, Волчиха*, въ 1870 году — *А ей весело — она смѣется, Темныя силы* и пр. Наибольшее вниманіе заслужилъ большой романъ его изъ народной жизни *Хроника села Смурина*, напечатанный въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1874 г. подъ псевдонимомъ Вологдина. Затѣмъ изъ крупныхъ его произведеній замѣчательны: романъ *Степныя тайны*, печатавшійся въ *Русскомъ Богатствѣ* 1880 года, и *По градамъ и весямъ*, — въ *Наблюдателѣ* за 1885 г.

Несмотря на то, что и у Засодимскаго главные герои его произведеній нѣсколько идеализированы, въ романахъ и повѣстяхъ его во всякомъ случаѣ замѣчается болѣе жизни и наблюдательности, чѣмъ у Шеллера. Въ то же время онъ является весьма солиднымъ знатокомъ народной жизни, и его повѣсти и романы изъ народнаго быта, особенно *Хроника села Смурина*, занимаютъ не послѣднее мѣсто въ плеядѣ беллетристовъ-народниковъ.

Не меньшаго уваженія П. В. Засодимскій заслуживаетъ въ качествѣ усерднаго сотрудника дѣтскихъ журналовъ, каковы: *Дѣтское Чтеніе, Игрушечка, Родникъ*. Здѣсь идеализація, соединяясь съ врожденной автору задушевностью, какъ нельзя болѣе умѣстна, и дѣтскіе разсказы Засодимскаго, собранные впослѣдствіи въ два отдѣльныя изданія: *Задушевные разсказы*, 2 тома, изданіе Павленкова, и *Бывальщина и сказки*, изданіе Девріена, представляютъ собою лучшее, что существуетъ въ нашей дѣтской литературѣ по беллетристикѣ.

Николай Ѳедотовичъ Бажинъ родился въ Вяткѣ 23-го іюня 1843 г. Отецъ его былъ военный, вслѣдствіе чего и сынъ учился въ Воронежскомъ кадетскомъ корпусѣ, изъ котораго вышелъ въ 1862 г. Писать началъ девяти лѣтъ и во время крымской войны, будучи въ младшемъ классѣ корпуса, сочинялъ патріотическіе стихи. Печататься началъ въ 1864 г., когда въ *Русскомъ Словѣ* была помѣщена повѣсть его *Степанъ Рулевъ*, за подписью Холодовъ. Затѣмъ послѣдовали *Чужіе между своими, Житейская школа, Скорбная Эллегія* и *Три семьи* — всѣ эти повѣсти были напечатаны въ *Русскомъ Словѣ* за 1865 г, занявши 8 книжекъ журнала. — Затѣмъ Бажинъ перешелъ въ *Дѣло*, гдѣ продолжалъ печатать романы и повѣсти (*Изъ огня да въ полымя* 1867 г., *Исторія одного товарищества* 1869 г. и пр.). Кромѣ того въ 1879 году онъ велъ въ *Дѣлѣ* библіографическій отдѣлъ и писалъ *Очерки современной журналистики* за подписью — инъ, а съ 1880 г. по 1887 г. былъ редакторомъ беллетристическаго отдѣла въ этомъ журналѣ.

Кроя своихъ героевъ по образцу писаревскаго Базарова, идеализируя ихъ и восторгаясь ими не менѣе прочихъ беллетристовъ этой школы, Бажинъ внесъ въ свои произведенія еще одинъ элементъ, чуждый его товарищамъ, именно — карамзинскую сентиментальность, чѣмъ въ особенности отличаются позднѣйшія его повѣсти, помѣщенныя въ *Дѣлѣ*. Въ этихъ разсказахъ, описывая злосчастія своихъ скорбныхъ героевъ, которые не могутъ шага сдѣлать въ жизни безъ того, чтобы съ ними не приключилось какихъ нибудь самыхъ

ужасныхъ непріятностей, авторъ такъ и заливается слезами отъ первой страницы до послѣдней.

Инокентій Васильевичъ Ѳедоровъ, болѣе извѣстный въ литературѣ подъ псевдонимомъ Омулевскій, прежде всего замѣчателенъ тѣмъ, что это былъ единственный писатель въ Россіи, родившійся въ Камчаткѣ, въ Петровскомъ портѣ. Отецъ его служилъ исправникомъ. Родился онъ въ 1836 г. Мальчику было семь лѣтъ, когда отецъ въ 1842 г. переѣхалъ съ семействомъ въ Иркутскъ. Онъ былъ человѣкъ зажиточный, купилъ въ Иркутскѣ доходный домъ на Большой улицѣ и сверхъ того получалъ порядочную пенсію отъ своей камчатской службы. Мальчикъ былъ отданъ въ Иркутскую гимназію, но курса не кончилъ и, вышедши изъ шестого класса, опредѣлился на службу. Но недолго пришлось ему и служить. Началась эпоха возрожденія, и шумъ движенія, дойдя и до мѣстъ столь отдаленныхъ, какъ Иркутскъ, увлекъ юношу въ Петербургъ, гдѣ въ концѣ пятидесятыхъ годовъ опредѣлился онъ въ С.-Петербургскій университетъ вольнослушателемъ по юридическому факультету. Но лекцій въ университетѣ Омулевскій слушалъ не болѣе одного или двухъ лѣтъ, и въ 1860 году является уже сотрудникомъ *Искры* и другихъ сатирическихъ листковъ. Началась для него кочующая и бездомная жизнь литературнаго богемы. Онъ скитался по Россіи, служилъ даже нѣкоторое время чиновникомъ особыхъ порученій въ Вяткѣ при губернаторѣ. Отецъ сначала поддерживалъ его существованіе небольшими высылками денегъ, но, видя, что сынъ бросилъ университетъ и закружился, прекратилъ субсидіи и началъ принимать мѣры черезъ знакомыхъ, чтобы вытребовать сына обратно въ Иркутскъ, что̀ и удалось ему сдѣлать въ 1863 г. Проживя два года вновь подъ родительскимъ кровомъ, Омулевскій написалъ нѣсколько незначительныхъ очерковъ, которые были напечатаны въ сборникѣ Н. С. Щукина подъ заглавіемъ *Сибирскіе разсказы*, участвовалъ въ какой-то мѣстной газеткѣ *Амуръ*. Въ началѣ 1865 года Омулевскій снова уѣхалъ въ Петербургъ, и этотъ годъ былъ расцвѣтомъ его литературной дѣятельности. Въ *Русскомъ Словѣ* въ то время печатался его романъ *Шагъ за шагомъ* (изданный потомъ отдѣльно въ 1870 году подъ заглавіемъ *Свѣтловъ*), а затѣмъ начался печататься новый романъ *Попытка не пытка*, но не суждено было автору кончить послѣдняго, какъ въ жизни его произошелъ переломъ, оборвавшій только-что разгорѣвшуюся дѣятельность. Привлеченный къ отвѣтственности за какія-то неосторожныя выраженія, Омулевскій долго содержался въ крѣпости, а потомъ по рѣшенію суда — въ Литовскомъ замкѣ. Не успѣлъ онъ оправиться отъ долгаго заключенія, какъ въ 1874 году его постигла глазная болѣзнь, и онъ едва не ослѣпъ. Всѣ эти передряги повергли его въ нищету, доходившую нерѣдко до голода. Къ тому-же и родители его въ это время обнищали. Домъ, составлявшій главный рессурсъ ихъ доходовъ, сгорѣлъ въ 1868 году, и они переселились въ маленькій домикъ, который купили гдѣ-то на окраинѣ города.

Въ 1879 году, вскорѣ послѣ женитьбы, Омулевскій отправился на родину, узнавъ о смерти отца, но дома предстало ему страшное зрѣлище: онъ въѣхалъ въ Иркутскъ какъ разъ въ тотъ моментъ, когда весь городъ былъ объятъ пламенемъ. Отъ родительскаго домика не осталось и слѣда; едва отыскалъ онъ мать свою, но вскорѣ разошелся съ нею и нанялъ за 10 рублей крошечную комнатку съ тоненькою перегородкою, за которою вѣчно бранились хозяева. Здѣсь съ беременной женой, а затѣмъ съ ребенкомъ онъ прожи-

валъ безъ всякихъ средствъ. Потрясенный всѣми этими невзгодами, въ отчаяніи онъ запилъ и дошелъ до такого болѣзненнаго состоянія, что попалъ въ Кузнецовскую больницу. Оправившись кое-какъ, онъ продалъ мѣсто, гдѣ стоялъ сгорѣвшій домикъ его родителей, и уѣхалъ навсегда въ Петербургъ. Здѣсь, тщетно борясь съ недугомъ и съ безъисходною нищетою, онъ умеръ 26-го декабря 1883 года.

Сибиряки чтятъ въ лицѣ Омулевскаго сибирскаго поэта. Но стихотворенія его, изданныя передъ самой смертью автора, въ концѣ 1883 года, подъ заглавіемъ *Пѣсни жизни*, при всей поэтичности нѣкоторыхъ изъ нихъ, лишены оригинальности и не представляютъ ничего выдающагося, и для русской публики Омулевскій памятенъ лишь какъ авторъ романа *Свѣтловъ*. Романъ этотъ наполовину автобіографическій: авторъ изобразилъ въ немъ воспоминанія первыхъ лѣтъ жизни до выхода изъ гимназіи. Въ свое время романъ произвелъ большую сенсацію, и молодежь зачитывалась имъ впродолженіе шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ. Герои романа, Свѣтловъ, его пріятели и пріятельницы, при всей идеализаціи и скроенности по обычному шаблону того времени, подкупали юныхъ читателей такимъ подмывающимъ энтузіазмомъ, какого не находили въ произведеніяхъ прочихъ романистовъ этой школы. Это была особенность Омулевскаго. Чѣмъ то бодрящимъ, зовущимъ впередъ, сулящимъ въ будущемъ нѣчто радужно-свѣтлое, вѣетъ на васъ отъ каждой страницы романа. — Какъ-то не вѣрится, чтобы такой романъ могъ написать человѣкъ, проживщій столь несчастную жизнь. Понятно то обаяніе, какое имѣлъ этотъ романъ въ свое время.

VII.

Константинъ Михайловичъ Станюковичъ родился въ Севастополѣ въ 1844 г., въ дворянскомъ семействѣ. Отецъ его былъ адмиралъ. Образованіе Станюковичъ получилъ сначала въ Пажескомъ корпусѣ, потомъ — въ Морскомъ. Въ 1860 году онъ былъ посланъ въ кругосвѣтное плаваніе и пробылъ въ плаваніи три года. Въ 1863 году начальникъ эскадры Тихаго океана послалъ его изъ Сингапура въ С.-Петербургъ къ генералъ-адмиралу и морскому министру курьеромъ съ бумагами, и вернулся такимъ образомъ изъ кругосвѣтнаго плаванія Станюковичъ черезъ Китай и Сибирь.

Черезъ годъ по возвращеніи изъ плаванія молодой мичманъ, желая посвятить себя литературѣ, подалъ въ отставку. Его не выпускали безъ согласія отца; между тѣмъ старый адмиралъ, мечтавшій, что сынъ сдѣлаетъ такую же карьеру, какъ и отецъ, не соглашался, и только послѣ рѣшительной телеграммы сына отвѣчалъ лаконической телеграммой: «Противъ теченія плыть не могу. Согласенъ». Тогда только Станюковича уволили съ чиномъ лейтенанта.

Съ 1865 по 1866 годъ Станюковичъ былъ сельскимъ учителемъ во Владимірской губерніи, въ селѣ Чаадаевѣ, Муромскаго уѣзда. Отправился онъ туда, желая ближе познакомиться съ народнымъ бытомъ. Въ 1867 году онъ женился.

Литературную дѣятельность Станюковичъ началъ въ 1863 году *Очерками морского быта*, помѣщенными въ *Морскомъ Сборникѣ*. Затѣмъ онъ началъ

помѣщать разсказы и очерки въ другихъ журналахъ — въ *Эпохѣ*, *Искрѣ*, *Будильникѣ*, и писалъ фельетоны общественной жизни въ *Женскомъ Вѣстникѣ* и газетѣ *Гласность*.

Въ 1871 г. написалъ комедію *На то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ*. Пропущенная цензурою, одобренная и взятая актеромъ Зубровымъ для бенефиса, пьеса эта была запрещена по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ наканунѣ самаго представленія, 27-го октября 1871 г., вслѣдствіе того, что въ ней усмотрѣнъ памфлетъ противъ желѣзнодорожниковъ, и носились слухи, что запрещеніе состоялось вслѣдствіе особенныхъ стараній нѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ дѣльцовъ. Два раза потомъ возобновлялись просьбы о допущеніи пьесы на сцену, но оба раза напрасно. Пьеса была напечатана въ 1872 г. въ *Дѣлѣ*.

Тамъ-же были напечатаны романы Станюковича: *Безъ исхода* (1873 г.), *Два брата* (1880 г.), *Омутъ* (1881 г.) и пьеса *Родственники* (1878 г.). Съ 1876 г. по 1884 г. Станюковичъ былъ постояннымъ сотрудникомъ *Дѣла*, гдѣ писалъ фельетоны подъ названіемъ *Картинки общественной жизни* и *Письма знатныхъ иностранцевъ* подъ псевдонимомъ *Откровеннаго писателя*. Съ 1877 по 1878 г. помѣщалъ фельетоны въ газетѣ *Новости* подъ псевдонимомъ *Пименъ*. Затѣмъ перешелъ въ газету *Молва* (1879 г.) и *Порядокъ* (1880—1881 гг.); въ *Молвѣ* между прочимъ напечатанъ былъ романъ его *Наши Нравы*.

Съ 1881 года онъ былъ соредакторомъ въ журналѣ *Дѣло;* въ слѣдующемъ году взялъ журналъ въ аренду, а въ 1883 г. пріобрѣлъ его въ собственность. Но въ 1885 г. былъ отправленъ въ Томскую губернію.

Въ Томской губерніи Станюковичъ не прерывалъ литературной дѣятельности. Такъ, въ *Вѣстникѣ Европы*, *Сѣверномъ Вѣстникѣ* и *Русской Мысли* были напечатаны его *Морскіе разсказы*. Въ то-же время онъ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ *Сибирской газеты*, гдѣ, между прочимъ, былъ напечатанъ романъ его *Не столь отдаленныя мѣста*. Въ 1888 г. онъ вернулся изъ ссылки.

Что касается до характера его произведеній, то лишь первыя изъ нихъ *(Безъ исхода, Два брата)* можно причислить къ тенденціозной беллетристикѣ *Русскаго Слова*. Впослѣдствіи онъ освободился отъ вліянія этой школы и вступилъ на путь реальной беллетристики, чуждой идеализаціи и подгонки фактовъ дѣйствительности подъ излюбленныя тенденціи. Особенное достоинство имѣютъ его *Морскіе разсказы*, исполненные живого бытового интереса и рельефно, мастерски очерченныхъ типовъ русскихъ моряковъ.

То-же слѣдуетъ сказать и о Дмитріѣ Константиновичѣ Гирсѣ (род. въ 1836 году, воспитывался въ 1-мъ Кадетскомъ корпусѣ, состоялъ въ военной службѣ; въ 1878 и 1879 годахъ издавалъ газету *Русская Правда*, умеръ въ 1886 году декабря 2-го). Литературную извѣстность онъ получилъ въ 1868 году, когда въ *Отечественныхъ Запискахъ* началъ печататься романъ его *Старая и юная Россія*, который произвелъ большую сенсацію. Но Гирсъ не могъ кончить своего очень широко задуманнаго романа, многіе годы тщетно трудясь надъ нимъ и возбуждая нелѣпые толки своей неудачей. Произошло-же это по той простой причинѣ, что, когда Гирсъ началъ свой романъ, онъ находился еще подъ сильнымъ вліяніемъ критики Писарева и задумалъ свой романъ въ духѣ той-же тенденціозной школы *Русскаго Слова*. Но онъ былъ слишкомъ художникъ, чтобы быть въ состояніи вполнѣ подчинить творчество проводимымъ тен-

денціямъ, и уже въ *Старой и юной Россіи*, рядомъ съ ходульною тенденціозностью, вродѣ, напримѣръ, героя романа,—новаго человѣка въ духѣ писаревскаго Базарова, строго распологающаго по часамъ всѣ свои занятія и отправленія, — вы встрѣтите нѣсколько живыхъ бытовыхъ чертъ русской жизни. Но по мѣрѣ того, какъ онъ продолжалъ свой романъ, онъ все болѣе и болѣе отрѣшался отъ вліянія школы, и наконецъ ему стало невыносимо подчинять свое творчество подъ заранѣе придуманный планъ романа. Работа неминуемо должна была опостылѣть. Онъ пережилъ ее.

Тогда Гирсъ снова принялся за бытовые разсказы вродѣ тѣхъ *Записокъ военнаго*, которыми онъ началъ свое литературное поприще на страницахъ *Русскаго Вѣстника*. Таковы были: *Калифорнскій рудникъ*, *Подъ дамокловымъ мечемъ* и пр. Въ разсказахъ этихъ обнаруживается недюжинный талантъ, и они въ свое время читались публикою съ большимъ интересомъ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

I. Общая характеристика тенденціозной беллетристики либеральнаго лагеря. Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ.—II. Евгеній Львовичъ Марковъ.—III. Василій Ивановичъ Немировичъ-Данченко—IV. Сергѣй Николаевичъ Терпигоревъ. И. Саловъ.—V. Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ. Николай Александровичъ Лейкинъ.

Тенденціозные беллетристы либеральнаго лагеря не могли составить особенной беллетристической школы; среди нихъ не явилось ни одного столь крупнаго таланта, который выдѣлился-бы своею оригинальностью и увлекъ-бы за собою прочихъ писателей одного лагеря. Къ тому-же умѣренно-либеральная беллетристика была уже создана школою беллетристовъ сороковыхъ годовъ, большинство которыхъ были именно умѣренные либералы, и послѣдующимъ писателямъ этого лагеря, явившимся на литературное поприще втеченіе шестидесятыхъ годовъ, оставалось только поддерживать традиціи беллетристовъ сороковыхъ годовъ, пріурочивъ ихъ къ потребностямъ новаго времени и строго согласовавъ съ либеральными принципами.

Такъ и поступили либеральные беллетристы шестидесятыхъ годовъ.—Произведенія ихъ и по формамъ, и по развитію сюжетовъ, и по преобладающимъ типамъ остаются вѣрны школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, и въ особенности слѣдуютъ по стопамъ Тургенева: та-же наклонность къ сельскимъ пейзажамъ, тотъ-же психическій анализъ, то-же стремленіе въ фокусѣ романа поставить болѣе или менѣе увлекательный женскій типъ и сюжетъ произведенія развить въ видѣ турнира нѣсколькихъ соискателей руки и сердца идеальной красавицы. Но въ то-же время у либеральныхъ беллетристовъ шестидесятыхъ годовъ вы не встрѣтите уже ни разлагающаго скептицизма, ни реакціонной нетерпимости беллетристовъ сороковыхъ годовъ.—Вѣря въ торжество своихъ принциповъ, либеральные беллетристы шестидесятыхъ годовъ свѣтло смотрятъ вокругъ себя и на будущее, и произведенія ихъ поэтому исполнены жизнерадостности. Относясь отрицательно ко всему отжившему и реакціонному, они съ соболѣзнованіемъ смотрятъ на противоположныя край-

ности, и далеки отъ того, чтобы набрасываться на эти крайности съ такимъ ожесточеніемъ, какъ ихъ предшественники: они относятся къ нимъ снисходительно или какъ къ увлеченіямъ незрѣлой юности, или какъ къ печальнымъ результатамъ вѣками накопившагося ожесточенія. — Героями ихъ являются не безхарактерные и не изнѣженные баричи, Рудины и Обломовы, а просвѣщенные питомцы высшихъ учебныхъ заведеній, обладающіе лоскомъ свѣт-



П. Д. Боборыкинъ.

скаго воспитанія, энергическіе административные, земскіе или сельско-хозяйственные дѣятели, мудрость которыхъ заключается въ томъ, что, вѣрные либеральнымъ принципамъ, они ловко умѣютъ пройти между сциллою и харибдою двухъ крайнихъ лагерей и въ концѣ романа въ равной степени восторжествовать и надъ правыми, и надъ лѣвыми. Героиня романа, изображаемая со всѣми обольстительными аттрибутами тургеневскихъ женщинъ, отдаетъ имъ вмѣстѣ съ пальмою первенства руку и сердце, и всѣ свои помыслы.

Самымъ талантливымъ и плодовитымъ беллетристомъ этого лагеря является Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ. Онъ родился въ Нижнемъ-Новгородѣ 15-го августа 1836 года въ богатой дворянской семьѣ и, живя при матери въ домѣ дѣда, получилъ вполнѣ дворянское воспитаніе, т. е. съ дѣтскихъ лѣтъ зналъ уже иностранные языки и упражнялся въ музыкѣ. Поступивъ въ Нижегородскую гимназію, при блестящихъ способностяхъ онъ все время былъ однимъ изъ первыхъ учениковъ, причемъ уже во время гимназическаго курса обнаружился въ немъ беллетристическій талантъ, и одинъ изъ его разсказовъ обратилъ на даровитаго юношу вниманіе гимназическаго начальства, какъ на обѣщающее въ будущемъ нѣчто недюжинное.

По окончаніи гимназическаго курса въ 1853 году, Боборыкинъ поступилъ въ Казанскій университетъ на камеральный отдѣлъ юридическаго факультета. Здѣсь онъ увлекся естественными науками, особенно химіей, а со второго курса началъ работать въ химической лабораторіи подъ руководствомъ А. М. Бутлерова. Въ то-же время онъ перевелъ извѣстный нѣмецкій учебникъ химіи Лемана, изданный года три спустя М. О. Вольфомъ. Увлеченіе химіею побудило Боборыкина перейти въ Дерптскій университетъ, гдѣ втеченіе пяти лѣтъ онъ прослушалъ полный курсъ медицинскаго факультета, кромѣ того успѣлъ составить учебникъ къ физіологической химіи и перевести вмѣстѣ со своимъ товарищемъ Бакстомъ руководство физіологіи Дондерса.

Боборыкину оставалось лишь сдать экзаменъ на степень доктора, что̀ онъ не замедлилъ-бы сдѣлать, но творческій даръ вдругъ измѣнилъ весь путь его жизни. Несмотря на всѣ ученыя занятія, онъ успѣлъ написать три драмы; *Фантазеръ*, *Ребенокъ* и *Однодворецъ*. Послѣдняя была напечатана въ 1860 году въ *Библіотекѣ для Чтенія*, и этотъ успѣхъ такъ вскружилъ голову двадцатичетырехъ-лѣтняго юноши, что онъ бросилъ медицину и университетъ, и въ декабрѣ 1860 года пріѣхалъ въ Петербургъ, рѣшившись посвятить всѣ силы литературѣ. Здѣсь первымъ дѣломъ онъ записался вольнослушателемъ въ С.-Петербургскій университетъ и въ нѣсколько мѣсяцевъ приготовился къ экзамену на полученіе степени кандидата административныхъ наукъ. Вскорѣ затѣмъ Боборыкинъ получилъ въ наслѣдство имѣніе въ Нижегородской губерніи, что̀ доставило ему возможность пріобрѣсти въ 1863 году въ собственность журналъ *Библіотеку для Чтенія*. Это былъ рискованный шагъ, вполнѣ извиняемый молодостью Боборыкина (ему было въ это время 27 лѣтъ), отозвавшійся въ послѣдующей жизни его. *Библіотека для Чтенія* въ это время была журналомъ умирающимъ, съ ограниченнымъ числомъ подписчиковъ; она переходила отъ одной редакціи къ другой и потеряла всякій raison d'être. Если тщетныя усилія такого опытнаго журналиста, какъ Дружининъ, и обаяніе такого громкаго имени, какъ Писемскій, не были въ состояніи поднять журналъ, то что-же могъ сдѣлать молодой писатель, въ то время мало еще извѣстный, мало опытный въ журнальномъ дѣлѣ, и къ тому-же въ такое время, когда *Современникъ* подавлялъ всю журналистику, и съ нимъ не въ состояніи была выдержать борьбу даже такая прочно-установившаяся фирма, какъ *Отечественныя Записки* подъ редакціею Дудышкина? При такихъ условіяхъ Боборыкину пришлось не болѣе трехъ лѣтъ издавать и редактировать *Библіотеку для Чтенія*, и затѣмъ навѣки похоронить журналъ Сенковскаго. Единственную пользу этого дѣла извлекъ для себя Боборыкинъ развѣ ту, что его литературная репутація окончательно упрочилась, да и этимъ онъ былъ обязанъ не столько самому из-

дательству, сколько помѣщенію на страницахъ *Библіотеки* двухъ своихъ романовъ: *Въ путь-дорогу* и *Земскія силы*, причемъ послѣдній романъ не былъ оконченъ вслѣдствіе прекращенія журнала. Но за-то вся тяжесть журнальнаго банкротства легла на Боборыкина, и впродолженіе десяти лѣтъ пришлось ему раздѣлываться съ долгами путемъ тяжелыхъ литературныхъ трудовъ, и лишь полученное въ 1873 году послѣ смерти отца новое наслѣдство освободило его отъ послѣдствій крушенія *Библіотеки для Чтенія*.

Вызванная этою невзгодою жизни необходимость писать какъ можно болѣе и скорѣе обратилась впослѣдствіи въ привычку, и Боборыкинъ поражаетъ своихъ современниковъ количествомъ и разносторонностью своихъ литературныхъ трудовъ: онъ является не только творцомъ объемистыхъ романовъ, но и драматургомъ, и театральнымъ критикомъ, и корреспондентомъ-публицистомъ. Страсть къ театру побудила его, не ограничиваясь писаніемъ пьесъ и рецензій, выступать неоднократно лекторомъ по декламаціи, и въ 1872 году онъ издалъ трактатъ о театральномъ искусствѣ. Но, принимая во вниманіе столь обильную и разнородную производительность Боборыкина, было-бы ошибочно предполагать, чтобы онъ былъ осѣдлымъ и усидчивымъ кабинетнымъ труженикомъ, дни и ночи проводящимъ надъ работой. Напротивъ того, обладая впечатлительнымъ и живымъ темпераментомъ, Боборыкинъ отличается крайнею подвижностью: онъ рѣдко проживаетъ въ одномъ городѣ болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, всю жизнь проводя въ вѣчныхъ разъѣздахъ и путешествіяхъ.

Эти свойства характера и условія жизни отражаются и въ произведеніяхъ Боборыкина. Онъ является не художникомъ-творцомъ, строго обдумывающимъ свои произведенія и тщательно ихъ отдѣлывающимъ, а фельетонистомъ, вѣчно торопящимся написать къ извѣстному сроку столько то листовъ или строкъ. Вы не найдете у него ни серьезно обдуманныхъ и строго исполненныхъ и законченныхъ сюжетовъ, ни широкихъ типовъ и обобщеній. Читая романы Боборыкина, вы путаетесь въ массѣ вставныхъ эпизодовъ среди несмѣтной толпы выведенныхъ на сцену лицъ, изъ которыхъ половина для развитія сюжета ненужна, и въ заключеніе всего дѣйствіе романа обрывается порою вслѣдствіе совершенно неожиданныхъ случайностей, производя такое впечатлѣніе, какъ будто авторъ не зналъ, какъ свести концы съ концами и отдѣлаться отъ читателей, и прибѣгнулъ къ первой пришедшей въ голову развязкѣ. Въ то-же время дѣйствующія лица произведеній Боборыкина являются фотографическими снимками съ живыхъ лицъ, причемъ авторъ безъ церемоніи выводитъ своихъ знакомыхъ и лица общеизвѣстныя со всею обстановкою ихъ жизни, такъ что въ каждомъ романѣ его кто-нибудь узнается.

Но надо отдать справедливость Боборыкину, никто изъ современныхъ русскихъ писателей не способенъ въ такой степени схватить настоящій моментъ жизни, именно тотъ живой нервъ, который играетъ и бьется сегодня. Въ этомъ отношеніи Боборыкинъ по самой природѣ созданъ быть фельетонистомъ. Въ каждомъ романѣ его изображается то, чѣмъ живетъ общество наше сегодня, и рядъ произведеній его можетъ служить художественною лѣтописью вѣяній, какія переживаетъ наше общество.

Не имѣя возможности перечислить всѣ произведенія Боборыкина, упомянемъ лишь о наиболѣе выдающихся и въ свое время понравившихся публикѣ. Таковы: *Жертва вечерняя, Солидныя добродѣтели, Дѣльцы, Докторъ Ци-*

булька, *Въ усадьбѣ и на порядкѣ*, *Китай-городъ*, *Изъ новыхъ*, *На ущербѣ*, *Василій Теркинъ* и пр.

Дѣятельность Боборыкина можно раздѣлить на два періода. Въ первомъ періодѣ, втеченіе шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ, Боборыкинъ слѣдовалъ традиціи беллетристовъ сороковыхъ годовъ и принадлежалъ къ тургеневской школѣ. Не внося новаго элемента или слова въ отечественную литературу, онъ неуклонно держался путей, которые были проложены въ русской литературѣ его наиболѣе талантливыми предшественниками.

Но втеченіе восьмидесятыхъ годовъ Боборыкинъ нѣсколько свернулъ съ этой проторенной дороги и къ сожалѣнію въ ущербъ самому себѣ. Частое пребываніе въ Парижѣ, въ то же время тотъ шумъ, какой подняли въ послѣднее десятилѣтіе французскіе натуралисты, и въ особенности Золя, не могли не увлечь впечатлительную натуру Боборыкина. И вотъ въ немъ развилась парижеманія, вродѣ той, какою болѣли наши предки, петиметры восемнадцатаго столѣтія, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ ударился въ подражаніе французскимъ натуралистамъ, ихъ манерамъ письма, протокольной детальности, отправленія анализа исключительно съ физіологической точки зрѣнія, страсти къ черезчуръ смѣлымъ описаніямъ альковныхъ тайнъ и т. п.

Прежде героемъ произведеній Боборыкина былъ просвѣщенный и либеральный дворянинъ съ великосвѣтскими манерами, во всѣхъ отношеніяхъ комильфотный, но при всемъ европейскомъ лоскѣ не перестающій быть русскимъ бариномъ, вѣрнымъ старорусскимъ культурнымъ традиціямъ. Теперь-же Боборыкинъ началъ выводить кривлякъ, вся цѣль жизни которыхъ заключается въ томъ, чтобы осуществить въ своей особѣ подобіе парижскихъ хлыщей, и въ силу этого они только и дѣлаютъ на страницахъ романовъ Боборыкина, что шикуютъ модными костюмами и словечками, и вѣчно фыркаютъ, сравнивая парижскую культурность съ русскимъ варварствомъ,

Впрочемъ въ послѣднихъ романахъ своихъ, *Василій Теркинъ* («Р. М.» 1892 г.), *Перевалъ* («В. Ев.» 1894 г.), *Ходокъ* («В. Ев.» 1895 г.) и *Княгиня* («В. Ев.» 1896 г.), онъ почти освободился отъ своей парижеманіи.

II.

Менѣе талантливымъ и плодовитымъ, но не менѣе типичнымъ представителемъ либерально-тенденціозной беллетристики является Евгеній Львовичъ Марковъ. Онъ родился въ 1835 г. въ Щигровскомъ уѣздѣ, Курской губерніи, и въ свою очередь принадлежитъ къ старинному дворянскому роду. Отецъ его былъ воспитанникомъ извѣстной муравьевской «Школы колоновожатыхъ», послужившей началомъ Военной академіи, служилъ въ свитѣ Александра I, былъ товарищемъ Пестеля, Муравьева, Бобрищевыхъ-Пушкиныхъ и друг. декабристовъ; мать—дочь суворовскаго генерала Фонъ-Гана. Марковъ воспитывался въ Харьковской, а потомъ въ Курской гимназіи. Кончивъ затѣмъ курсъ въ Харьковскомъ университетѣ въ 1857 году, втеченіе двухъ лѣтъ онъ путешествовалъ за-границею, слушая лекціи въ заграничныхъ и русскихъ университетахъ. Затѣмъ занялся педагогической дѣятельностью: втеченіе полуторыхъ лѣтъ былъ учителемъ и 4 года занималъ мѣсто инспектора въ Тульской гимназіи; съ 1865-же и по 1870 г.—директора Симферопольской гимназіи. Про-

ведя затѣмъ годъ за-границей, онъ посвятилъ себя земской дѣятельности, поселившись въ деревнѣ и разнообразя свою деревенскую жизнь ежегодными путешествіями по Россіи, за-границей и въ болѣе отдаленныя страны: такъ, между прочимъ онъ путешествовалъ по Египту, Сиріи и Америкѣ.

Въ качествѣ земскаго дѣятеля онъ былъ избираемъ и губернскимъ, и уѣзднымъ гласнымъ, былъ предсѣдателемъ земской управы въ своемъ уѣздѣ и непремѣннымъ членомъ по крестьянскому управленію. Между прочимъ онъ является однимъ изъ главныхъ основателей въ Курскѣ земской учительской школы и реальнаго училища. Въ 1881 и 82 годахъ онъ былъ приглашенъ правительствомъ къ участію въ «коммисіяхъ свѣдущихъ людей» по вопросамъ питейному и переселенческому, и по окончаніи работъ коммисій былъ назначенъ въ числѣ шести человѣкъ защищать проектъ коммисій передъ государственнымъ совѣтомъ. Въ послѣднее время онъ занимаетъ мѣсто управляющаго дворянскимъ и крестьянскимъ банкомъ въ Воронежѣ.

Литературный талантъ пробудился въ Марковѣ очень рано, и уже десяти лѣтъ онъ писалъ стихи. Печататься-же началъ съ 1858 года, когда въ *Русскомъ Вѣстникѣ* появились маленькій разсказъ его *Ушанъ* и полемическая статья противъ профессора Ешевскаго. Литературная дѣятельность его, хотя и далеко не столь плодовитая какъ Боборыкина, въ свою очередь, разностороння: не ограничиваясь одною беллетристикою, онъ писалъ и критическія, и публицистическія статьи, и очерки путешествій (каковы: *Очерки Крыма, Кавказа*, а также очерки путешествій по Швеціи, Италіи, Востоку и пр.). Изъ большихъ критическихъ этюдовъ извѣстны - о Тургеневѣ, гр. Л. Толстомъ, Некрасовѣ, Островскомъ, Достоевскомъ, Добролюбовѣ, Эм. Золя, Додэ, Гейне, Ауэрбахѣ и пр. Съ 1876 по 1880 г. Евг. Марковъ принималъ дѣятельное участіе въ *Голосѣ* въ качествѣ критика и публициста, а съ 1879 по 1881 г. велъ критическій отдѣлъ въ *Русской рѣчи*.

Въ качествѣ критика, не отличаясь особенною широтою воззрѣній, онъ оставался вѣрнымъ старымъ эстетическимъ теоріямъ чистаго искусства, причемъ столь фанатично исповѣдывалъ свои эстетическія теоріи, что дошелъ до полнаго отрицанія Некрасова, природное дарованіе котораго и чутье народнаго духа были, по его мнѣнію, заглушены вредными вліяніями политическихъ кружковъ, въ которыхъ онъ вращался.

Въ качествѣ романиста онъ болѣе всего извѣстенъ романомъ *Черноземныя поля*, напечатаннымъ въ *Дѣлѣ* втеченіе 1876 и 1877 годовъ. Позже были написаны имъ менѣе обратившіе на себя вниманіе—*Берегъ моря* и *Барчуки*. Въ противоположность Боборыкину, рьяному западнику, мѣряющему русскую жизнь по масштабу парижской культуры, Евг. Марковъ смотритъ на нее съ руссофильской точки зрѣнія: онъ до извѣстной степени почвенникъ, проводящій ту мысль, что городская жизнь портитъ людей, нравственно калѣчитъ ихъ и растлѣваетъ, и лишь возвращеніе въ деревню или въ родную усадьбу, въ среду народа и на лоно природы, можетъ спасти человѣка, возстановить равновѣсіе его силъ и дать имъ благотворный исходъ. Мысль эта является основою беллетристическихъ произведеній Евг. Маркова. Такъ, въ *Черноземныхъ поляхъ* героемъ въ лицѣ Суровцева является одинъ изъ тѣхъ прекраснодушныхъ гуманныхъ и либерально-энергическихъ помѣщиковъ, какіе парадируютъ во всѣхъ беллетристическихъ произведеніяхъ этого лагеря. Нѣтъ сомнѣнія, что и по характеру, и по обстоятельствамъ жизни Суровцевъ напоминаетъ нѣсколько

самого автора; подобно автору романа онъ проходитъ сквозь строй ученой и общественной дѣятельности: сначала читаетъ лекціи, потомъ служитъ по земству, выводитъ оспу изъ уѣзда, чуть не сгораетъ во время пожара. Наконецъ терпитъ фіаско въ своей земской дѣятельности и благодушно успокоивается на скромномъ сельско-хозяйственномъ трудѣ, оказываніи посильной помощи окружающему сельскому люду, идиллическихъ наслажденіяхъ природою и любовью съ избранницею сердца, Наденькой, которая, въ свою очередь, отличается тѣмъ, что возросла и воспиталась на родной почвѣ, въ деревнѣ, въ спасительныхъ традиціяхъ старо-русской жизни, въ сферѣ практическаго добра и дѣятельной любви; однимъ словомъ,—это роскошный самородокъ, благоухающій сельскій цвѣтокъ, исполненный богатыхъ силъ и жизни, свободно расцвѣтшій на чистомъ деревенскомъ воздухѣ, подъ горячими лучами солнца, въ отличіе отъ тѣхъ махровыхъ, но хилыхъ и тщедушныхъ оранжерейныхъ растеній, какія произростаютъ въ городскихъ теплицахъ. Такова философія *Черноземныхъ полей*, этого шедёвра Маркова, проводимая и въ прочихъ произведеніяхъ его. Главный недостатокъ всѣхъ его произведеній заключается въ чрезмѣрной растянутости при крайней бѣдности сюжета и отсутствіи быстроты и живости въ его развитіи. Большой любитель сельской природы, Марковъ черезчуръ уже злоупотребляетъ обиліемъ пейзажей, къ тому-же при своемъ прекраснодушіи часто вдается въ сентиментальность, и тогда начинаетъ напоминать Карамзина чувствительно-торжественнымъ тономъ и риторико-напыщеннымъ языкомъ.

III.

Василій Ивановичъ Немировичъ-Данченко родился на Кавказѣ, въ Тифлисѣ, въ 1848 году. Дѣтство провелъ онъ, слѣдуя за отцомъ въ его военныхъ походахъ, въ горахъ Дагестана, гдѣ тогда кипѣла война, и въ Грузіи, гдѣ находился полкъ его отца. Затѣмъ въ юномъ возрастѣ судьба кинула его изъ жаркаго юга на Сѣверный океанъ, Мурманъ, Норвегію, Лапландію, Бѣлое море. И всю дальнѣйшую жизнь ему пришлось проводить въ непрестанныхъ странствіяхъ. Въ 1875 году онъ объѣхалъ Волгу и Каспійское море, а на возвратномъ пути поднялся по Камѣ въ Пермскую губернію, гдѣ по рѣкѣ Косвѣ, Чусовой и другимъ изслѣдовалъ глухія захолустья Урала. Въ 1876 г. онъ посѣтилъ нѣсколько монастырей и описалъ ихъ своеобразный бытъ. Въ слѣдующемъ году Немировичъ-Данченко отправился на театръ военныхъ дѣйствій корреспондентомъ и оставался тамъ до конца военныхъ дѣйствій, принявши участіе въ дѣлахъ при Парапалѣ, въ бомбардированіи Журжева, въ переходѣ черезъ Дунай у Зимницы, въ дѣлахъ 9-го, 10-го и 11-го августа на Шипкѣ, 30-го августа подъ Плевной, 12-го октября подъ Кадыкіоемъ, въ дѣлахъ на Зеленыхъ горахъ въ отрядѣ Скобелева, въ зимнемъ переходѣ черезъ Балканы, въ сраженіи подъ Шипкою 28-го декабря, въ занятіи Адріанополя и т. д., до Санъ-Стефано. Во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ онъ оказалъ большую храбрость, за чтѐ сверхъ другихъ отличій получилъ солдатскій георгіевскій крестъ. Послѣ войны, вернувшись въ Петербургъ, онъ не долго усидѣлъ на мѣстѣ и отправился сначала въ Крымъ и на Кавказъ, потомъ—въ Грецію и Европейскую Турцію, причемъ вторично объѣхалъ Болгарію и Сербію, на нѣсколько мѣсяцевъ поселился въ Венгріи, на обратномъ пути еще разъ объѣхалъ Румынію. Въ 1881 году Немировичъ-Данченко посѣтилъ

Египетъ, въ 1882 году—Адріатическое поморье. Вслѣдъ затѣмъ онъ путешествовалъ по Испаніи и Марокко, Италіи и Алжиру, по Голландіи и пр. И по сей день ведетъ онъ все ту-же кочевую жизнь, разъѣзжая по бѣлу-свѣту и рѣдко останавливаясь гдѣ-бы то ни было на одинъ, на два мѣсяца.

Вниманіе публики впервые привлекъ онъ, какъ путешественникъ, своими статьями въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1874 года, подъ заглавіемъ *За Сѣ-*



В. И. Немировичъ-Данченко.

вернымъ полярнымъ кругомъ, очерки Мурманскаго берега. Въ томъ-же году въ *Вѣстникѣ Европы* появились его *Соловки*, описаніе нравовъ и быта иноковъ Соловецкаго монастыря; эти интересные очерки, въ которыхъ Соловецкій монастырь представляется въ видѣ своеобразной религіозно промышленной общины, упрочили извѣстность Немировича-Данченко. Затѣмъ появились его путевые очерки: *Лапландія и лапландцы, Страна холода, По Волгѣ*. Но наиболѣе прославили его военныя корреспонденціи, помѣщаемыя во время

войны въ разныхъ газетахъ и затѣмъ изданныя отдѣльно подъ заглавіемъ *Годъ войны*. Переведенная на всѣ европейскіе языки, книга эта пользуется европейской извѣстностью. Изъ позднѣйшихъ его путевыхъ очерковъ извѣстны: *Даль* (поѣздка по Югу), *Въ гостяхъ* (поѣздка по Кавказу), *Послѣ войны* (поѣздка по Болгаріи), *Святыя горы, Крестьянское царство.*

Во всѣхъ этихъ путевыхъ очеркахъ Немировичъ-Данченко является увлекательнымъ разсказчикомъ, умѣющимъ подчеркивать все существенное и завлекать читателей разнообразіемъ содержанія, владѣющимъ горячимъ воображеніемъ и прекраснымъ языкомъ. Особеннымъ мастерствомъ отличаются его пейзажи, блещущіе живыми, яркими красками, воскрешающіе природу во всѣхъ ея особенностяхъ, какъ роскошнаго, пламеннаго юга, такъ и холоднаго, безжизненнаго сѣвера.

Сверхъ путевыхъ очерковъ Немировичъ-Данченко написалъ рядъ романовъ, повѣстей и мелкихъ разсказовъ для дѣтей, для народа, святочныхъ и т. п. Таковы романы его: *Гроза, Плевна и Шипка, Впередъ, Цари биржи, Кулисы, Въ ежовыхъ рукавицахъ, Монахъ, Исповѣдь женщины, Семья богатырей* и пр.

Романы Немировича-Данченко читаются съ интересомъ и не лишены художественныхъ достоинствъ, но имъ вредитъ излишняя пылкость воображенія, приводящая автора къ преувеличеніямъ, пересаливаніямъ и мелодраматическимъ эффектамъ.

Гораздо выше и въ художественномъ, и въ идейномъ отношеніи его мелкіе разсказы изъ народнаго и военнаго быта, изданные въ 1889 году подъ заглавіемъ *Незамѣтные герои*, а также среди *Святочныхъ разсказовъ* его, изданныхъ въ 1890 г., такія вещи, какъ *Забытый рудникъ, Махмуткины дѣти, Богданъ Шипкинъ*. Захватывающею за сердце задушевностью, гуманностью и глубокою реальною правдою разсказы эти составляютъ украшеніе нашей литературы.

Наконецъ замѣчателенъ Немировичъ-Данченко и какъ поэтъ. Стихотворенія его, появлявшіяся впродолженіе всей его литературной дѣятельности въ періодическихъ изданіяхъ и изданныя потомъ отдѣльно, если и не оригинальны, во всякомъ случаѣ замѣчательны тѣмъ, что Немировичъ-Данченко—одинъ изъ немногихъ поэтовъ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ, которые остались вѣрны лучшимъ традиціямъ шестидесятыхъ годовъ. Стихотворенія Немировича-Данченко, исполненныя серьезнаго идейнаго содержанія, чужды какъ безцѣльной созерцательности, такъ и малодушнаго пессимизма.

IV.

Сергѣй Николаевичъ Терпигоревъ, извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ Сергѣй Атава, родился 12-го мая 1841 г. въ селѣ Никольскомъ, Тамбовской губ., Усманскаго уѣзда. Родители его были дворяне. Уже въ гимназіи началъ онъ пописывать; въ печати-же дебютировалъ въ 1861 году разсказомъ *Черствая доля*, помѣщенномъ въ журналѣ *Русскій міръ*. Восемь лѣтъ спустя, въ 1869 г., была напечатана въ *Отечественныхъ Запискахъ* комедія его *Сліяніе*. Постоянная-же литературная дѣятельность началась съ 1880 года, когда въ *Отечественныхъ Запискахъ* начался печататься рядъ очерковъ его, изданныхъ въ 1881 году отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Оскудѣніе*. Очерки эти

имѣли такой успѣхъ, что, несмотря на появленіе ихъ въ отдѣльномъ изданіи тотчасъ-же послѣ печатанія въ столь распространенномъ журналѣ, какъ *Отечественныя Записки*, въ одинъ годъ были распроданы, и въ слѣдующемъ 1882 году явилось новое изданіе, разошедшееся съ неменьшею быстротою. Причина такого успѣха очерковъ Терпигорева заключалась въ томъ, что они какъ нельзя болѣе соотвѣтствовали назрѣвшей злобѣ дня. Въ то время только что успѣлъ выясниться и завладѣть умами тревожный вопросъ о дворянскомъ обѣдненіи. Мы видѣли, что и Салтыковъ втеченіе семидесятыхъ годовъ посвящалъ свои произведенія тому-же вопросу. Тѣ-же печальные факты борьбы за существованіе цѣлаго сословія, которые у Салтыкова выразились въ широкихъ обобщеніяхъ, Терпигоревъ изобразилъ въ конкретныхъ, фотографическихъ очеркахъ. Достоинство этихъ очерковъ заключается въ ихъ искренности и правдивости. Они производятъ на васъ такое впечатлѣніе, какъ будто вы бесѣдуете съ кающимся дворяниномъ, который, не щадя живота, ни своего, ни присныхъ, съ полною откровенностью исповѣдуется передъ вами во грѣхахъ, унаслѣдованныхъ имъ отъ отцовъ и дѣдовъ. Въ изображеніяхъ различныхъ способовъ и попытокъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни и открыть новые источники беззаботнаго и привольнаго существованія безъ труда, читатели усмотрѣли цѣлый рядъ болѣе или менѣе крупныхъ скандаловъ, которые у всѣхъ были на глазахъ и въ свѣжей памяти, что еще болѣе увеличивало интересъ очерковъ и обусловливало ихъ успѣхъ.



С. Н. Терпигоревъ.

Подъ впечатлѣніемъ этого успѣха Терпигоревъ былъ приглашенъ М. М. Стасюлевичемъ писать воскресные фельетоны въ только что начавшей издаваться имъ новой газетѣ *Порядокъ;* но, недолго оставаясь сотрудникомъ этой газеты, Терпигоревъ перешелъ въ *Новое Время*, гдѣ до самой своей смерти, 13 іюня 1895 года, онъ каждое воскресенье писалъ небольшіе фельетоны, изрѣдка помѣщалъ отдѣльныя статьи въ *Нови*, въ *Историческомъ Вѣстникѣ* и пр., продолжая все ту-же скандалезную хронику дворянскаго легкомыслія. Разсказы свои Терпигоревъ время отъ времени собиралъ въ отдѣльныя изданія: такъ, въ 1885 году вышла *Желтая книга—сказаніе о новыхъ княгиняхъ и старыхъ князьяхъ*, позже - *Пестрядь, Потревоженныя тѣни* и проч.

Съ 1877 года начали появляться въ *Отечественныхъ Запискахъ* повѣсти **И.** Салова. Таковы были: *Мельница купца Чесалкина, Грызуны, Аспидъ, Арендаторъ, Ольшанскій баринъ;* позже—въ *Русской Мысли* и другихъ періодиче-

скихъ изданіяхъ: *Иванъ Огородниковъ, Четыре времени года, Дѣвичьи грезы* и пр. Одинъ изъ самыхъ талантливыхъ беллетристовъ нашего времени, Саловъ отличается тѣмъ, что, усвоивъ характеръ тургеневскихъ произведеній, остался наиболѣе вѣренъ школѣ беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Такъ напримѣръ, одною изъ обычныхъ формъ во многихъ его повѣстяхъ являются похожденія охотника, подвергающагося во время скитаній всевозможнымъ встрѣчамъ и приключеніямъ. Вы не найдете у него претензій на высшее художественное творчество, обобщающее и проникающее въ глубокіе тайники жизни. Это безпретенціозный разсказчикъ-фотографъ, изображающій все, что бросается ему въ глаза и поражаетъ его въ деревенской жизни. Рисуя послѣднюю во всемъ обаяніи, какое производятъ красоты природы въ соединеніи съ прелестями лѣтняго деревенскаго far-niente, въ контрастѣ съ этою мирною идиллическою стороною И. Саловъ раскрываетъ передъ нами всю возмутительную неурядицу людскихъ отношеній, характеризующую наше безотрадное время. Передъ вами безконечной вереницей тянутся современные герои деревенской безтолочи въ видѣ міроѣдовъ, проходимцевъ, безсердечныхъ пауковъ, разставляющихъ сѣти черствой наживы, и вы слышите одни жалобные стоны несчастныхъ мухъ, попадающихъ въ эти сѣти. Обиженная, ободранная, голодающая деревня, обветшалая барская усадьба съ заколоченными окнами, поруганная женщина, разбитая и стертая съ лица земли чья-нибудь молодая жизнь, и надъ всѣмъ этимъ плотоядный, дикій и наглый хохотъ разжирѣвшаго Колупаева—вотъ обычные, преобладающіе мотивы разсказовъ И. Салова.

Мрачное, безотрадное впечатлѣніе, производимое разсказами И. Салова, еще болѣе усугубляется фотографичностью его таланта. Вы видите рядъ снимковъ съ конкретной дѣйствительности, несомнѣнно вѣрныхъ и живыхъ; они возмущаютъ васъ до послѣдней крайности, но тщетно ждете вы, чтобы авторъ освѣтилъ ихъ философскимъ анализомъ, чтобы вы могли видѣть, какъ причины раскрывающихся передъ вами явленій, такъ и исходъ изъ нихъ,—какакой-бы ни было, не непремѣнно исходъ. Вы точно ходите по больничной палатѣ, смотрите, какъ вокругъ васъ люди корчатся и стонутъ въ ужасныхъ мученіяхъ, и между тѣмъ не знаете, будетъ-ли конецъ этимъ мукамъ и какой именно—выздоровленіе или смерть?

Къ довершенію всего у Салова есть еще одна особенная манера, которою онъ усугубляетъ мученія своихъ читателей: въ моментъ повѣсти, когда разыгрывается трагедія и читатель весь поглощенъ жалостью и ужасомъ, вдругъ авторъ пускается въ изображеніе идиллическихъ сторонъ деревенской жизни. Тамъ гдѣ-нибудь за горою человѣка душатъ и онъ бьется въ предсмертныхъ судорогахъ, а авторъ ведетъ читателя на рыбную ловлю и показываетъ, какъ кротко луна смотрится въ тихое, зеркальное озеро, какъ купаются въ немъ плакучія вербы, застывшія въ безмолвномъ снѣ, какъ радостно сверкаетъ разведенный костеръ, а возлѣ костра ожидаетъ рыболововъ неизмѣнная водочка съ закусочками, и при этомъ ведутся тихіе разговоры съ анекдотами о всякаго рода необыкновенныхъ происшествіяхъ. Саловъ въ этомъ отношеніи въ своемъ родѣ жестокій талантъ.

V.

Николай Дмитріевичъ Ахшарумовъ родился въ Петербургѣ 3-го декабря 1819 г., воспитывался въ Царскосельскомъ лицеѣ, гдѣ кончилъ курсъ въ

1839 г. и поступилъ на службу въ канцелярію Военнаго министерства. Въ 1845 году вышелъ въ отставку и посѣщалъ сначала университетъ, затѣмъ рисовальные классы Академіи художествъ. Литературную дѣятельность Ахшарумовъ началъ подъ псевдонимомъ Чернова повѣстью *Двойникъ*, напечатанною въ № 1 *Отечественныхъ Записокъ* 1850 года. Изъ дальнѣйшихъ произведеній его наиболѣе выдаются: *Чужое имя*, романъ (*Р. В.* 1861 г.), *Мудреное дѣло* (*Эпоха* 1864 г.), *Натурщица* (*От. Зап.* 1866 г.), *Граждане лѣса* (*Вс. Тр.* 1867 г.), *Концы въ воду* (*От. Зап.* 1872 г.) и пр. Умеръ 18 августа 1893 г.

Являясь сверстникомъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ, Ахшарумовъ значительно отличается отъ нихъ по характеру и строю своихъ произведеній. Вы не найдете у него ни той простоты сюжетовъ, ни той художественности, какими отличаются беллетристы сороковыхъ годовъ. Сюжеты романовъ и повѣстей Ахшарумова затѣйливы, запутаны, мелодраматичны; иногда въ основѣ ихъ лежитъ уголовный процессъ (*Концы въ воду*); иногда же авторъ вдается въ фантастичность (*Двойникъ*, *Натурщица*). Журналы съ охотою помѣщали произведенія Ахшарумова, такъ какъ и до сихъ поръ еще многіе читатели любятъ въ романѣ сказочную занимательность сюжета; но особеннаго значенія романы Ахшарумова никогда не имѣли и яркаго слѣда въ литературѣ они не представляютъ.

Ахшарумовъ написалъ кромѣ того массу критическихъ статей, въ которыхъ онъ ратовалъ за чистое искусство, начиная съ первой своей статьи *Порабощеніе эстетики* и кончая безцвѣтными и вялыми статьями во *Всемірномъ Трудѣ*.

Николай Александровичъ Лейкинъ вышелъ изъ купеческой среды. Его родъ состоитъ въ петербургскомъ купечествѣ съ 1781 года и ведетъ свое начало изъ Любимовскаго уѣзда, Ярославской губ. Отецъ Лейкина, Александръ Ивановичъ, торговалъ шелковыми товарами въ Гостиномъ дворѣ; мать—Любовь Ивановна Иванова, происходила изъ крестьянскаго сословія, и оба они были образованные люди. Отецъ цитировалъ даже строфы изъ *Евгенія Онѣгина* и *Горе отъ Ума*, мать любила романы Диккенса. Лейкинъ родился въ Петербургѣ 8-го декабря 1841 года и воспитаніе получилъ въ Реформатскомъ училищѣ, курсъ котораго кончилъ въ 1858 году съ прекраснымъ знаніемъ нѣмецкаго языка и съ любовью къ естественно-научнымъ занятіямъ. Нѣмецкимъ языкомъ онъ владѣлъ настолько, что въ училищѣ сочинялъ пьески по-нѣмецки (также и на русскомъ), которыя и разыгрывались на ученическихъ спектакляхъ. По выходѣ изъ училища Лейкинъ помогалъ отцу въ торговлѣ, служилъ приказчикомъ и въ кладовой иностранныхъ товаровъ Боненблюста, а затѣмъ—въ петербургскомъ страховомъ обществѣ лѣтъ пять. Послѣ этого онъ предался литературѣ, которую любилъ съ дѣтства. Первымъ печатнымъ произведеніемъ Лейкина было стихотвореніе *Кольцо*, появившееся въ *Русскомъ мірѣ* Гіероглифова, а затѣмъ проявился разсказъ *Гробовщикъ* въ *Петербургскомъ Вѣстникѣ* за 1861 г. Затѣмъ Лейкинъ началъ сотрудничать въ *Искрѣ*. Это сблизило его съ Курочкиными, Василіемъ и Николаемъ, и Курочкины, въ особенности-же Николай, имѣли благотворное вліяніе на развитіе таланта Лейкина. Конечно этому вліянію былъ обязанъ Лейкинъ тѣмъ, что на всю жизнь остался безукоризненно честнымъ писателемъ, направлялъ свой юморъ лишь на обличенія темныхъ сторонъ русской жизни, невѣжества и самодурства, и не разу не обмолвился ни однимъ фальшивымъ звукомъ.

Кромѣ *Искры* Лейкинъ печатался и въ прочихъ періодическихъ журналахъ того времени, какъ-то: въ *Библіотекѣ для Чтенія* Боборыкина, въ *Современникѣ* Некрасова и въ *Отечественныхъ Запискахъ* Краевскаго. Къ этому періоду относятся два крупныя его произведенія: *Апраксинцы* и *Биржевые артельщики*. Въ 1869 г. Лейкинъ сотрудничалъ въ *Петербургскомъ Листкѣ*, гдѣ помѣстилъ повѣсть *Кусокъ хлѣба*, а въ 1871 г. въ журналѣ *Библіотека* появился одинъ изъ лучшихъ его романовъ *Христова невѣста*. Вскорѣ послѣ того онъ перешелъ въ *Петербургскую Газету*, гдѣ, помимо сценъ, фельетоновъ и маленькихъ разсказовъ, Лейкинъ печаталъ рядъ историческихъ изслѣдованій о народныхъ праздникахъ. Сверхъ упомянутыхъ нами заслуживаютъ вниманія слѣдующія его произведенія: *Наши забавники*, юмористическіе разсказы, *Шуты гороховые*, картинки съ натуры, *Неунывающіе россіяне*, разсказы и картинки съ натуры, *Стукинъ и Хрустальниковъ*, романъ изъ жизни биржевыхъ дѣятелей, *Сатиръ и Нимфа*, тоже романъ, и пр.



Н. А. Лейкинъ.

Не малое вліяніе на развитіе таланта Лейкина имѣли комедіи Островскаго: подъ ихъ впечатлѣніемъ Лейкинъ выступалъ обличителемъ гостинодворскаго и апраксинскаго темнаго царства въ pendant замоскворѣцкому. Но у Лейкина вы не найдете того глубокого проникновенія въ изображаемый бытъ, какъ у Островскаго: драматической стороны этого быта для Лейкина не существуетъ. Это талантъ по преимуществу комическій. Лейкинъ изображаетъ однѣ смѣшныя стороны купеческихъ нравовъ, обращая главное вниманіе на внѣшнюю ихъ грубость и некультурность. Главный-же недостатокъ Лейкина заключается въ отсутствіи чувства художественной мѣры: онъ слишкомъ злоупотребляетъ врожденнымъ остроуміемъ и комизмомъ, утритуя, пересаливая, впадая въ балаганный шаржъ и грубую каррикатурность. Очень часто выѣзжаетъ исключительно на одномъ коверканьѣ иностранныхъ словъ и названій его невѣжественными героями.

Не мало мѣшаетъ правильному развитію и проявленію таланта Лейкина необычная плодовитость его. Не считая десяти пьесъ, которыя съ успѣхомъ шли на императорскихъ и частныхъ театрахъ, число его произведеній превы-

шаетъ уже семь тысячъ. Эта по истинѣ чудовищная производительность не мѣшала Лейкину въ одно время съ успѣхомъ подвизаться на сценѣ въ качествѣ актера подъ псевдонимомъ Водянова. Сверхъ того, онъ издаетъ и редактируютъ сатирическій журналъ *Осколки* и, состоя гласнымъ въ думѣ, принимаетъ участіе въ различныхъ коммисіяхъ. Понятно, что ему не достаетъ времени ни обдумывать, ни обрабатывать свои произведенія, а остается валить съ-плеча, до дна исчерпывая одинъ и тотъ-же источникъ—нравы купечества Гостинаго и Апраксина дворовъ. Понятно, что изо дня въ день, изъ года въ годъ вы находите у Лейкина неизмѣнно одни и тѣ-же лица самодуровъ тятенекъ, ихъ полоумныхъ и забитыхъ половинъ, придурковатыхъ сынковъ, кутилъ и развратниковъ исподтишка, и купеческихъ дочекъ, вѣчно сидящихъ у косящатаго окошечка и дѣлающихъ глазки проѣзжающимъ мимо офицерикамъ. Все отличіе одного разсказа отъ другого заключается въ томъ, что тѣ-же неизмѣнныя личности изображаются, смотря по временамъ года и злобамъ дня, то на гуляньѣ, то на крестинахъ, то на свадьбѣ, то на масляницѣ на блинахъ, то на художественной выставкѣ, то въ заграничномъ путешествіи и т. п. Тѣмъ не менѣе нельзя отказать Лейкину въ самобытномъ и оригинальномъ талантѣ. Онъ создалъ свой собственный комическій юморъ, который умретъ вмѣстѣ съ нимъ и тѣми нравами, изображенію которыхъ онъ посвятилъ свою дѣятельную жизнь.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

I. Общая характеристика реакціонной беллетристики и ея шаблонъ.—II. Викторъ Петровичъ Клюшниковъ. — III. Николай Семеновичъ Лѣсковъ.— IV. Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій.—V. Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ. Василій Григорьевичъ Авсѣенко. Константинъ Ѳедоровичъ Головинъ. Василій Петровичъ Авенаріусъ.

I.

Консервативная беллетристика возникла въ 1862 году вмѣстѣ съ первыми симптомами реакціи, обнаружившимися послѣ студенческихъ исторій 1861 года, пожаровъ 1862 года и польскаго возстанія. Первыми образцами этой беллетристики русская литература была обязана той-же плеядѣ сороковыхъ годовъ, отъ которой ведетъ свое начало и либеральная беллетристика. Починъ принадлежитъ Тургеневу съ его *Отцами и дѣтьми*; вслѣдъ затѣмъ выступилъ Писемскій со своимъ *Взбаломученнымъ моремъ;* затѣмъ Достоевскій провелъ консервативно-реакціоныя идеи въ романахъ *Преступленіе и наказаніе* и *Бѣсы;* наконецъ Гончаровъ—въ своемъ *Обрывѣ*.

Отчасти подъ вліяніемъ этихъ литературныхъ корифеевъ, отчасти подъ давленіемъ съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе усиливавшейся реакціи, мало-по-малу образовалась цѣлая школа реакціонной беллетристики, не замедлившая выработать для своихъ романовъ шаблонъ, соотвѣтствовавшій проводимымъ этою школою идеямъ.—При этомъ беллетристы реакціоннаго лагеря, подвизавшіеся по большей части на страницахъ *Русскаго Вѣстника*,

до такой степени всѣ подъ-рядъ пѣли въ одинъ голосъ и оставались вѣрными своему шаблону, что нѣтъ ничего легче начертать стереотипный планъ, подъ который подойдутъ большинство реакціонныхъ романовъ, вышедшихъ втеченіе послѣднихъ 30 лѣтъ.

Такъ, въ романахъ реакціоннаго лагеря аристократическіе и дворянскіе классы рисуются конечно ужъ въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ. Въ нихъ однихъ полагается залогъ спасенія расшатаннаго общества, поскольку они остаются вѣрными исконнымъ, старо-русскимъ культурнымъ традиціямъ. Представители-же движенія, увлекшіеся новыми идеями шестидесятыхъ годовъ, изображаются безшабашными отрицателями-нигилистами, которые отвергаютъ религію, семью, собственность, государство, нагло смѣются надо всѣмъ святымъ и завѣтнымъ и ради матеріальныхъ выгодъ готовы на всякое преступленіе.

На первомъ планѣ въ каждомъ реакціонномъ романѣ рисуется герой-охранитель—красивый, статный, съ изысканно-свѣтскими манерами. Если онъ не князь и не графъ, то во всякомъ случаѣ принадлежитъ къ очень древнему дворянсьому роду, и рѣдкій романъ обходится безъ главы, посвященной характеристикѣ предковъ и разбору по листочкамъ генеалогическаго древа героя. Характера герой долженъ быть гордаго, непреклонно-твердаго, храбро-отважнаго, немного пожалуй вспыльчиваго. Убѣжденіями проникнутъ онъ конечно ужъ самыми благоразумными и спасительно-консервативными, и всѣ силы души его стремятся къ борьбѣ съ неправдою и зломъ на охраненіе коренныхъ основъ религіи, нравственности, семьи, собственности, въ особенности-же окраинъ Россійской имперіи.

Еще до служебнаго поприща онъ начинаетъ спасать отечество въ либеральной гостиной губернскаго города, разразившись тирадой о паденіи современныхъ нравовъ, о томъ, что лягушки никогда не могутъ замѣнить того божественнаго упоенія, какое возбуждается сонатой Бетховена, съигранной прекрасными пальчиками, и что наши предки тоже были скептиками, но скептицизмъ не мѣшалъ имъ цѣнить изящное и любить родину паче жизни. Подобная рѣчь возбуждаетъ смѣхъ въ легкомысленныхъ либералахъ, но чьи-нибудь глубокія синія очи затуманиваются темной задумчивостью подъ обаяніемъ рѣчи героя и загораются живымъ участіемъ, когда герою мимоходомъ среди споровъ удается сбить съ толку отрицающаго гимназиста или до такой степени опѣшить и сконфузить хвастливаго пана Бзексержинскаго, что панъ, схвативши конфедератку, быстро улепетываетъ, кипя злобой и обѣщаясь мстить герою до смерти.

Затѣмъ герой опредѣляется на государственную или земскую службу въ качествѣ мирового посредника, судебнаго слѣдователя или чиновника особыхъ порученій при губернаторѣ, и здѣсь начинается уже серьезная борьба героя со зломъ, угрожающимъ основамъ и окраинамъ. Зло это представляется въ двоякомъ видѣ: 1) въ видѣ коварной польской интриги, осуществленной во образѣ пана Бзексержинскаго, который подъ предлогомъ служенія отчизнѣ на самомъ дѣлѣ только и помышляетъ, какъ-бы ехидно отомстить герою романа за понесенную въ присутствіи синеокой дѣвы обиду; 2) въ видѣ многоглавой гидры нигилизма, которая изображается въ романахъ не иначе какъ панурговымъ стадомъ саврасовъ безъ узды, возмущающихъ крестьянъ, подсовывающихъ въ карманы героя возмутительныя прокламаціи, посягающихъ нако-

нецъ на самую жизнь героя,—и все это подъ вліяніемъ все той-же польской интриги. Въ борьбѣ со всѣми этими исчадіями ада герой бываетъ оклеветанъ и попадаетъ подъ судъ; его отравляютъ, нѣсколько разъ истекаетъ онъ кровью отъ ранъ, но въ концѣ концовъ выходитъ сухимъ изъ воды, побѣдя и посрамя и польскую интригу, и панургово стадо нигилизма. Варіаціями служатъ современныя событія, которыя стоятъ на первомъ планѣ. Если авторъ главное вниманіе обращаетъ на польскую интригу, онъ посылаетъ героя въ западный край геройствовать на славу; если-же романистъ напираетъ на панургово стадо, то герой ѣдетъ въ Петербургъ въ разгаръ движенія шестидесятыхъ годовъ и вращается здѣсь въ студенческихъ, нигилистическихъ или литературныхъ кружкахъ; или-же отправляется за-границу, сталкивается тамъ съ русскими эмигрантами и на возвратномъ пути спасаетъ отъ гибели какого-нибудь юнца, выбросивши за бортъ парохода пукъ прокламацій, которыя юный спутникъ везъ неблагоразумно въ отечество.

Въ перемежку между общественными подвигами идутъ любовныя приключенія героя, обладающаго между прочимъ и даромъ покорять женскія сердца. Женщины взапуски влюбляются въ него съ первой встрѣчи, и герой переживаетъ три вида любви. Одна имѣетъ игривый и скабрезный характеръ, предметомъ ея является или роскошная губернаторша, опутывающая героя чарами кокетства, или супруга закадычнаго друга, съ которой герой, не любящій осквернять чужихъ супружескихъ ложей, вовсе не предполагаетъ сходиться близко, но ему приходится ночевать съ ней въ двухъ смежныхъ комнатахъ, и неожиданно онъ дѣлается жертвою ея страстности. Другая любовь вспыхиваетъ внезапно, какъ ураганъ, доводитъ героя до высшаго экстаза страстности и повергаетъ его въ крайнее изнеможеніе и нравственное ослѣпленіе, это—любовь къ юной полькѣ, сестрѣ пана Бзексержинскаго, или къ россіянкѣ, жаждущей широкаго простора жизни, уносящейся въ волны нигилизма и гибнущей кровавой смертью. Наконецъ третья любовь, постепенно развивающаяся, неслышная, незамѣтная сначала, но впослѣдствіи самая глубокая, истинная и безконечная, это—любовь къ той синеокой дѣвѣ, которая, въ pendant герою, представляетъ собою типъ коренной русской женщины, стремящейся къ семейному очагу, свято охраняющей основы и неспособной къ мишурнымъ увлеченіямъ и легкомысленнымъ отрицаніямъ. Съ этой во всѣхъ отношеніяхъ идеальной своей суженой герой почиваетъ отъ всѣхъ треволеній и, уставши охранять отечество собственной грудью, посвящаетъ остатокъ дней воспитанію въ деревенской тиши новыхъ будущихъ охранителей.

Къ этому ко всему слѣдуетъ присоединить лакейскую страсть изображать въ обольстительномъ свѣтѣ великосвѣтскіе нравы, балы, рауты, придворные выходы и пріемы, парадные обѣды, пирушки золотой молодежи и пр., и пр.,—страсть, побудившая Достоевскаго, со словъ Ив. Панаева, обозвать писателей этого рода «каленкоровыхъ манишекъ безпощадными Ювеналами».

II.

Но прежде чѣмъ реакціонный романъ застылъ въ подобномъ шаблонѣ, онъ пережилъ переходный періодъ въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, составляющій мостъ отъ реакціонныхъ романовъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ

къ беллетристикѣ *Русскаго Вѣстника* семидесятыхъ годовъ. Прогрессивныя идеи шестидесятыхъ годовъ не сразу уступили свое господство реакціоннымъ. Было время, когда люди, склонившіеся на путь реакціи, все еще оставались до извѣстной степени вѣрны идеямъ шестидесятыхъ годовъ и ратовали во имя этихъ самыхъ идей не противъ движенія, а тѣхъ некрасивыхъ формъ, какія оно иногда принимало вслѣдствіе того, что весьма многіе не понимали идей, которыми увлеклись, не доразвились еще до нихъ, или-же были слишкомъ искалѣчены дурными условіями прежнихъ порядковъ.

Первымъ обличителемъ демократовъ съ ихъ-же точки зрѣнія явился Викторъ Петровичъ Клюшниковъ. Родомъ изъ дворянъ, онъ родился 10-го марта 1831 года въ Смоленской губерніи, въ Гжатскомъ уѣздѣ. Дѣтство провелъ въ Москвѣ. Воспитывался первоначально въ частномъ пансіонѣ; затѣмъ въ 1851 году поступилъ въ 4-ю Московскую гимназію, преобразованную въ это время изъ бывшаго Дворянскаго института. Втеченіе гимназическаго курса пользовался руководствомъ нѣкоторыхъ членовъ кружка Станкевича, напримѣръ поэта Красова, преподававшаго русскую словесность, и др. Кончивши гимназическій курсъ съ золотой медалью, Клюшниковъ въ 1857 году поступилъ въ Московскій университетъ по естественному отдѣленію физико-математическаго факультета. По окончаніи курса въ 1861 году со степенью кандидата, Клюшниковъ уѣхалъ въ свое имѣнье Харьковской губерніи, Сумскаго уѣзда, гдѣ провелъ лѣто и осень вмѣстѣ съ дядей, поэтомъ сороковыхъ годовъ, И. П. Клюшниковымъ, имѣвшимъ сильное вліяніе на ходъ его развитія. Въ 1862 году, вернувшись въ Москву, онъ поступилъ на службу въ 8-й департаментъ Правительствующаго сената. Прослуживъ здѣсь около года помощникомъ секретаря, Клюшниковъ занялся педагогическою дѣятельностью, а затѣмъ вскорѣ оставилъ службу и посвятилъ себя литературѣ. Въ 1864 году былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* первый романъ его *Марево*, обратившій на себя вниманіе публики и доставившій автору извѣстность. Послѣ того Клюшниковъ занялся при редакціи *Русскаго Вѣстника* переводами, преимущественно съ англійскаго языка (такъ, бо̀льшая часть романа Диккенса *Нашъ общій другъ* переведена имъ). Въ 1866 году напечатанъ былъ имъ въ *Литературной библіотекѣ* второй романъ *Большіе корабли*, мало обратившій на себя вниманія.

Въ концѣ 1868 года Клюшниковъ пріѣхалъ въ Петербургъ по приглашенію покойнаго издателя *Зари*, В. В. Кашпирева, и состоялъ постояннымъ сотрудникомъ этого журнала до 1870 года, когда былъ утвержденъ редакторомъ только-что основаннаго журнала *Нива*. Съ этого времени Клюшниковъ окончательно отдался редакторской дѣятельности: до 1876 года въ журналѣ *Нива*, а затѣмъ по составлявшемуся подъ его редакціею *Всенаучному (энциклопедическому) словарю*. Въ 1880 г. Клюшниковъ вернулся въ Москву и былъ сотрудникомъ *Московскихъ Вѣдомостей*. Съ 1883 по 1886 годъ завѣдывалъ *Русскимъ Вѣстникомъ*, а съ 1887 года снова сталъ редакторомъ *Нивы* и оставался имъ до смерти своей, послѣдовавшей 7-го ноября 1892 года. Сверхъ вышеупомянутыхъ романовъ, нѣсколькихъ мелкихъ разсказовъ и статей, преимущественно по искусству, Клюшниковъ написалъ двѣ повѣсти для дѣтей: *Другая жизнь* (1865 г.) и *Государь-отрокъ* (1880 г.).

Въ произведеніяхъ Клюшникова отразилось воспитаніе въ идеалистическомъ духѣ людьми сороковыхъ годовъ. Вѣрный идеямъ этой эпохи, онъ тѣмъ

не менѣе не могъ оцѣнить движеніе шестидесятыхъ годовъ, вышедшее прямо изъ сороковыхъ годовъ, такъ какъ въ движеніи этомъ искалъ не одного осуществленія завѣтныхъ стремленій своихъ отцовъ и дальнѣйшаго развитія ихъ идей, а идеальныхъ людей, у которыхъ дѣло ни на одну іоту не расходилось-бы съ словомъ, и въ каждомъ своемъ поступкѣ они осуществляли-бы свои идеалы и принципы. Отсутствіе такихъ воплощенныхъ идеаловъ въ жизни и привело Клюшникова къ полному отрицанію всего движенія шестидесятыхъ годовъ. Такъ, въ романѣ *Марево* героиня Нина является дочерью одного изъ передовыхъ людей сороковыхъ годовъ, вокругъ котораго, по словамъ автора, какъ вокругъ центра, группировалось все мыслящее въ Россіи. Непонятый своимъ вѣкомъ, не найдя никакого исхода своимъ стремленіямъ, человѣкъ этотъ зачахъ и умеръ на рукахъ дочери, въ которую вложилъ весь пылъ своихъ неудовлетворенныхъ, осмѣянныхъ стремленій: «Если ты пойдешь по пути, завѣщанному тебѣ отцомъ, ты будешь его мстителемъ, потому что въ тебя вложены великія силы... Если ты пойдешь противъ отца, я не осужу тебя; свобода прежде всего; но неужели моя Нина пойдетъ противъ отца?..»

И вотъ Нина вступаетъ въ вихрь современнаго движенія и въ толпу приверженцевъ его не изъ одного увлеченія модными идеями, а ради исполненія завѣщанія отца, какъ мстительница за его погубленную жизнь; но рядъ тяжкихъ опытовъ приводитъ ее къ горькому разочарованію и убѣжденію, что движеніе представляется маревомъ, миражемъ, а поборники его—рядъ вопіющихъ противорѣчій высокихъ идей съ дрянными или низкими поступками.

«Всѣ формы жизни,—говоритъ она,—прошли передо мною; всѣ направленія дѣятельности сталкивались вокругъ меня, ломая и уничтожая другъ друга; я увлекалась то тѣмъ, то другимъ, но приступить не могла ни къ одному. Какъ только я осматривалась въ новомъ положеніи настолько, что затаенная ложь, не чуждая ни одной партіи, начинала мнѣ сквозить черезъ декоративную внѣшность, я чувствовала себя разбитою, уничтоженною, замирала на время для жизни, замыкалась въ самой себѣ. Я не проклинала прежнихъ товарищей, я молча удалялась отъ нихъ; они честили меня измѣнницей святому дѣлу и прочими кличками, къ которымъ только теперь я совершенно равнодушна, — только теперь, когда всѣ стремленія мои разбиты дѣйствительностью, когда я разочаровалась въ себѣ и во всемъ, за что жертвовала собою. Годъ тому назадъ я сошлась съ людьми, которые казались мнѣ поборниками правды, добра, свободы, всего, не потерявшаго для меня и до сихъ поръ своего истиннаго смысла. Теперь я вижу насквозь эту горсть честолюбцевъ, жадно рвущихъ другъ у друга власть, какъ стая коршуновъ тащитъ другъ у друга изъ клюва требуху дохлой скотины. Я видѣла эту знаменитую борьбу, въ которой свобода народовъ—звучный предлогъ для возвышенія однихъ тирановъ на счетъ другихъ; я знаю всѣ ихъ средства къ достиженію цѣли самой низкой, прикрытой маской національности. Я стояла лицомъ къ лицу съ тѣмъ самымъ народомъ, съ которымъ они заигрывали до поры до времени. Это было послѣднею гирею на колеблющіеся вѣсы... Нѣтъ словъ выразить презрѣнія, нѣтъ мѣрки для ненависти, которыя почувствовала я къ нимъ. Я съ ужасомъ отвернулась назадъ... Тамъ, за мною осталасъ Вѣрочка, сперва творившая себѣ потѣху изъ науки, а потомъ заигравшая въ революцію; тамъ былъ Ваня, сразу принявшійся за разрушеніе троновъ; тамъ наконецъ накопилась мелюзга, уже въ сравненіи съ которой эти дѣти казались гигантами... Я осталась одна на своей призрачной высотѣ, изломанная, искалѣченная, безъ всякой охоты къ жизни, безъ всякой вѣры въ будущность»...

Отвергнувши такимъ образомъ все современное движеніе вслѣдствіе нравственной несостоятельности приверженцевъ его, Клюшниковъ, подобно Писемскому, почилъ на исконныхъ народныхъ началахъ въ духѣ квасного патріотизма и домостроя, олицетвореніемъ вѣрности которымъ и является герой романа Русановъ, скроенный по шаблону всѣхъ консервативныхъ романовъ.

III.

Рядомъ съ Клюшниковымъ такимъ-же обличителемъ новыхъ людей во имя ихъ-же идей является *Николай Семеновичъ Лѣсковъ*, долгое время бывшій извѣстнымъ публикѣ подъ псевдонимомъ *М. Стебницкаго*. Онъ происходитъ изъ дворянской семьи; родился 4-го февраля 1831 г. въ селѣ Гороховѣ, Орловской губерніи и уѣзда; дѣтскіе годы провелъ въ селѣ Панинѣ той-же губерніи, Пронскаго уѣзда, въ богатомъ домѣ одного изъ своихъ дядей. Воспитаніе получилъ онъ въ Орловской гимназіи. Осиротѣвъ шестнадцатилѣтнимъ юношей, рано принужденъ былъ содержать себя тяжкимъ трудомъ, терпя нужду и невзгоды, такъ какъ все имущество, оставшееся послѣ отца, сгорѣло въ эпоху большихъ орловскихъ пожаровъ сороковыхъ годовъ. Сперва онъ служилъ на государственной службѣ, потомъ на частной—требовавшей частыхъ разъѣздовъ. Эти разъѣзды дали ему возможность близко познакомиться съ бытомъ всѣхъ сословій и вынести массу разнообразныхъ впечатлѣній. Обогащенный такимъ образомъ знаніемъ жизни и владѣвшій отъ природы недюжиннымъ талантомъ, Лѣсковъ, выступивъ на литературное поприще въ 1860 году, быстро пріобрѣлъ литературную извѣстность. Исполняя разнообразныя литературныя работы, онъ вращался въ передовыхъ и либеральныхъ кружкахъ, и никто не подозрѣвалъ въ немъ будущаго гонителя движенія, приверженцемъ котораго онъ въ то время являлся. Но нѣсколько неосторожныхъ и нетактичныхъ словъ по случаю петербургскихъ пожаровъ 1862 гóда, оброненныхъ въ фельетонѣ въ *Сѣверной Пчелѣ*, подняли страшную бурю въ то горячее и тревожное время. Вся пресса накинулась на Лѣскова, какъ на подстрекателя полиціи и толпы противъ учащейся молодежи, какъ на отступника, перекинувшагося въ противный лагерь. Имя Стебницкаго сдѣлалось чуть не браннымъ словомъ. Этотъ неожиданный инцидентъ такъ потрясъ Лѣскова и въ концѣ концовъ ожесточилъ, что онъ и въ самомъ дѣлѣ сдѣлался перебѣжчикомъ, и первымъ результатомъ озлобленія былъ романъ *Некуда*, появившійся въ 1865 году.

Самое заглавіе романа показываетъ, что онъ носитъ тотъ-же общій характеръ разочарованія движеніемъ, какъ *Взбаломученное море* Писемскаго, *Марево* Клюшникова и *Дымъ* Тургенева. Если движеніе это не что иное, какъ мыльные пузыри, марево, дымъ, то конечно лучшимъ людямъ дѣться *некуда*—россійская земля сошлась для нихъ клиномъ: все старое никуда не годится, новое несостоятельно,—остается ложиться въ хладныя могилы. Лѣсковъ употребилъ буквально тѣ-же пріемы, чтó и Клюшниковъ: на первый планъ выдвинуты имъ два положительные типа: идеальный соціалистъ Райнеръ и столь-же идеальная соціалистка Лиза Бахарева. Подобно Иннѣ, Рейнеръ воодушевленъ смертью своего отца, разстрѣляннаго швейцарскаго революціонера. Разочаровавшись въ европейской жизни, Райнеръ ѣдетъ въ Россію, предполагая найти въ ней самородный соціализмъ, коренящійся на народной почвѣ, но находитъ толпу растлѣнныхъ нигилистовъ. Въ отчаяніи кидается онъ въ польское возстаніе, предполагая тамъ обрѣсти искомый соціализмъ; но и тамъ не находитъ, и кончаетъ жизнь плѣномъ и разстрѣляніемъ. Съ своей стороны Лиза Бахарева, непонятая и угнетенная въ семейной жизни, ждетъ выхода изъ нея въ современномъ движеніи, бросается въ толпу тѣхъ-же коварныхъ нигилистовъ;

но, разочаровавшись въ нихъ, не знаетъ, куда преклонить голову, находитъ, что дѣться *некуда*, томится жаждою труда, не зная, за что приняться, пока зрѣлище смерти Райнера не потрясаетъ всей ея природы, и тогда, поверженная на смертный одръ, она умираетъ въ кругу благонамѣренныхъ друзей, оплакавшихъ въ ней несчастную жертву современнаго движенія.

Подобно герою романа Клюшникова Русанову, благонамѣренные друзья



Н. С. Лѣсковъ.

Лизы совмѣщаютъ въ себѣ съ здравымъ смысломъ всевозможныя доблести, патріотическія и семейныя. Такъ напримѣръ, описывая свадьбу Жени Главацкой, Лѣсковъ не преминулъ упомянуть, какъ сообразно съ праотеческими обычаями къ дѣвственной кроваткѣ Жени была смѣло и твердо приставлена другая кровать, какъ монахиня Ѳеоктиста, похаживая по спальнѣ, то оправляла оборки подушекъ, то осматривала кофту, то передвигала мужскія и женскія туфли новобрачныхъ; какъ затѣмъ молодая жарко молилась съ монахиней о ниспосланіи брака честна и соблюденіи ложа нескверна, и затѣмъ авторъ

объявляетъ, что мы не имѣемъ права далѣе оставаться въ этой комнатѣ, и тѣмъ заканчиваетъ картину благонамѣреннаго и благочестиваго брака. Но этимъ только и ограничивается сходство романовъ Стебницкаго и Клюшникова.

Далѣе мы видимъ радикальное ихъ различіе въ томъ отношеніи, что Клюшниковъ въ своемъ романѣ остается въ предѣлахъ художественнаго творчества: онъ изобразилъ одни общіе типы. Лѣсковъ-же вывелъ въ своемъ романѣ рядъ портретовъ живыхъ людей, по большей части общеизвѣстныхъ, участвовавшихъ въ движеніи того времени и лично ему знакомыхъ. Такъ, многіе узнали въ романѣ возбуждавшую въ то время сенсацію *знаменскую коммуну*, Слѣпцова и пр. Сами герои *Некуда*, Лиза Бахарева и Райнеръ (извѣстный въ то время вращавшійся среди кружковъ Артуръ Бени),—въ свою очередь портреты живыхъ людей. Но изображенныя лица увидѣли себя въ крайне каррикатурномъ видѣ. Масса дикихъ слуховъ и безобразныхъ сплетенъ, ходившихъ въ то время въ взволнованномъ обществѣ, воспроизведены Лѣсковымъ въ его романѣ какъ несомнѣнныя истины. Все это низводитъ романъ на степень желчнаго и злобнаго политическаго памфлета, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ встрѣтилъ въ литературѣ и въ мало-мальски мыслящихъ кругахъ общества дружное негодованіе. Послѣ выхода въ свѣтъ романа Лѣсковъ подвергся новымъ порицаніямъ и нападеніямъ со стороны всей либеральной прессы. Это еще болѣе озлобило его. Онъ разразился массою беллетристическихъ и публицистическихъ статей, очерковъ, повѣстей, воспоминаній, характеристикъ памфлетически-желчнаго, необузданно-злобнаго характера. Наконецъ дописался до романа *На ножахъ*, появившагося въ половинѣ семидесятыхъ годовъ. Въ романѣ этомъ озлобленіе автора доходитъ положительно до бѣшенства, до галлюцинацій. Нигилисты рисуются здѣсь экстрактами всѣхъ семи смертныхъ грѣховъ. Это—чудовища, помышляющія лишь о наживѣ, и ради нея готовы на ужасныя злодѣянія. Самыя заглавія частей показываютъ, какіе неистовые ужасы изображаются въ романѣ: 1) *Боль врача ищетъ*, 2) *Бездна призываетъ бездну*, 3) *Кровь*, 4) *Мертвый узелокъ*, 5) *Темныя силы*, 6) *Черезъ край*.

По счастью, одними политическими памфлетами не ограничивается литературная дѣятельность Лѣскова. Онъ написалъ массу повѣстей и разсказовъ, чуждыхъ политическихъ тенденцій, и въ этихъ разсказахъ обнаружилъ недюжинный талантъ и разностороннее знаніе русской жизни. Большую сенсацію возбудили вышедшіе въ свѣтъ въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ *Архіерейскія мелочи*, рядъ бытовыхъ картинъ, обличающихъ нѣкоторыя темныя стороны быта нашей высшей духовной іерархіи.

Очерки эти возбудили такую-же бурю въ консервативномъ лагерѣ, какую романъ *Некуда* произвелъ въ либеральномъ. Авторъ и въ правительственныхъ сферахъ впалъ въ немилость. Въ послѣдніе годы своей жизни онъ писалъ произведенія, чуждыя опредѣленныхъ политическихъ тенденцій, и оставался на нейтральной почвѣ то исторической, то бытовой беллетристики. Между прочимъ онъ пристрастился къ Прологамъ и почерпалъ изъ нихъ сюжеты, которые обрабатывалъ въ археологическомъ стилѣ, стараясь подражать языку и манерѣ этой повѣствовательной литературы первыхъ вѣковъ христіанства. Умеръ онъ 21 февраля 1895 года.

IV.

Далѣе слѣдуютъ писатели, отличающіеся полнымъ отрицаніемъ движенія шестидесятыхъ годовъ, причемъ одни изъ нихъ отрицаніе свое основываютъ на идеяхъ оффиціальнаго патріотизма, другіе-же проповѣдуютъ аристократическія тенденціи въ московскомъ духѣ.

Изъ числа первыхъ самымъ выдающимся является Всеволодъ Владиміровичъ Крестовскій. Онъ родился 11-го февраля 1840 г. въ Кіевской губерніи, Таращанскаго уѣзда, въ имѣніи своей бабушки, селѣ Малая Березайка. Здѣсь-же протекло его дѣтство и онъ получилъ первоначальное образованіе. Въ 1850 году онъ былъ отвезенъ въ Петербургъ и опредѣленъ въ 1-ю гимназію, по окончаніи курса которой въ 1856 году поступилъ въ Петербургскій университетъ на филологическій факультетъ, но пробылъ въ университетѣ не болѣе двухъ лѣтъ и вышелъ изъ второго курса, увлеченный первыми литературными успѣхами.

До 1868 года В. Крестовскій занимался и существовалъ исключительно литературными трудами; въ началѣ-же этого года поступилъ юнкеромъ въ 14-й уланскій полкъ, черезъ два года былъ произведенъ въ корнеты, а въ 1871 году командированъ въ Петербургъ для составленія *Исторіи Ямбургскаго полка* и вскорѣ произведенъ въ поручики. Затѣмъ въ началѣ 1874 г., когда *Исторія Ямбургскаго уланскаго полка* была написана и отпечатана, составивши большой томъ въ 54 листа, въ награду за этотъ трудъ онъ былъ переведенъ въ лейбъ-гвардіи уланскій полкъ, а въ 1877 году, состоя при штабѣ главнокомандующаго въ качествѣ исторіографа войны, сдѣлалъ весь послѣдній турецкій походъ, причемъ переходилъ Балканы и былъ въ Адріанополѣ. Въ послѣдніе годы жизни Крестовскій состоялъ редакторомъ *Варшавскаго Дневника*. Онъ умеръ въ 1895 году.

Писать Крестовскій началъ съ четвертаго класса гимназіи, причемъ небольшое сочиненіе его на заданную тему—*Вечеръ послѣ грозы*—обратило на себя вниманіе гимназическаго начальства, въ томъ числѣ учителя словесности В. И. Водовозова, который не замедлилъ приблизить къ себѣ талантливаго мальчика, и благотворному вліянію этого опытнаго педагога былъ обязанъ Крестовскій первыми шагами развитія своего таланта. Втеченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ пребыванія въ гимназіи Крестовскій перевелъ почти половину *Одъ* и всю книгу *Эподъ* Горація, четыре первыя пѣсни *Энеиды* и рядъ стихотвореній Гейне, изъ которыхъ многія впослѣдствіи явились на страницахъ разныхъ журналовъ,—и это были годы наиболѣе почтенной и плодотворной литературной дѣятельности В. Крестовскаго, въ неизмѣримой степени полезнѣйшей, чѣмъ вся остальная его дѣятельность.

Первыми печатными произведеніями Крестовскаго были переводъ оды Горація *Къ Хлоръ*, помѣщенный въ *Общезанимательномъ Вѣстникѣ* 1857 года, и напечатанный тамъ-же стихотворный разсказъ *Безъ дочери*. Первый прозаическій разсказъ Крестовскаго былъ помѣщенъ въ *Иллюстраціи* въ 1858 году. Затѣмъ въ *Русскомъ Мірѣ* и *Библіотекѣ для Чтенія* въ 1859 году были напечатаны двѣ повѣсти его: *Любовь дворовыхъ* и *Не первый и не послѣдній*, въ *Свѣточѣ* 1860 г.—повѣсть *Бѣсенокъ*, во *Времени* 1861 г.—разсказъ *Погибшее, но милое созданіе*, въ 1860 т.—повѣсти *Пчельникъ* и *Сфинксъ*—

въ *Русскомъ Словѣ* и пр. Одновременно во всѣхъ почти періодическихъ изданіяхъ выходила масса его стихотвореній, оригинальныхъ и переводныхъ.

Всѣ эти произведенія доставили автору извѣстность, какъ писателю талантливому, хотя они отличаются поверхностностью и легкомысліемъ. Очевидно было, что, плывя по теченію, В. Крестовскій не врѣзывался въ него глубоко, а скользилъ по поверхности. О волновавшихъ въ то время общество вопросахъ онъ судилъ скандачка, придавая имъ видъ беззавѣтной пошлости; такъ напримѣръ, въ женскомъ вопросѣ ничего не видѣлъ, кромѣ одной эмансипаціи чувственности, и вслѣдствіе этого въ началѣ шестидесятыхъ годовъ прославился воспѣваніемъ и въ стихахъ, и въ прозѣ разнаго рода погибшихъ, но милыхъ созданій, начиная съ древнегреческихъ гетеръ и кончая современными гризетками. Такую-же легковѣсность обнаружилъ В. Крестовскій и въ *Петербургскихъ трущобахъ*,—романѣ, печатавшемся въ *Отечественныхъ Запискахъ* съ 1864 по 1867 годъ и изданномъ потомъ отдѣльно въ 1867 году, подъ заглавіемъ *Петербургскія трущобы, книга о сытыхъ и голодныхъ, романъ въ шести частяхъ, четыре тома*. Тема романа, которую намѣчалъ уже Помяловскій, оказалась совершенно и не по таланту, и не по средствамъ автора. В. Крестовскій и не думалъ предпосылать ему то основательное и глубокое изученіе петербургской жизни во всѣхъ ея слояхъ, какого требовала подобная тема; собравши налету кое-какіе свѣдѣнія и факты, онъ написалъ романъ совершенно въ духѣ французскихъ бульварныхъ романовъ съ запутанною интригою и мелодраматическими ужасами.

То насмѣшливое и нѣсколько презрительное отношеніе, какое встрѣтили произведенія В. Крестовскаго въ либеральныхъ кружкахъ, раздражило его самолюбіе, озлобило его. Онъ отшатнулся отъ этихъ кружковъ, и съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сближался съ людьми реакціоннаго образа мыслей. Съ поступленіемъ-же въ военную службу В. Крестовскій окончательно вступилъ въ ряды реакціонеровъ, и вотъ въ 1869 г. въ *Русскомъ Вѣстникѣ* появился романъ его въ трехъ частяхъ *Панургово стадо*, а въ 1874 году тамъ-же былъ напечатанъ романъ *Двѣ силы*, составляющій продолженіе *Панургова стада*. Оба романа вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1875 г., подъ заглавіемъ *Кровавый пуфъ*.

Романы эти отличаются той-же поверхностностью и легковѣсностью, какъ и прочія произведенія В. Крестовскаго. Самое заглавіе перваго романа показываетъ, какъ смотрѣлъ В. Крестовскій на движеніе шестидесятыхъ годовъ: онъ отрицалъ въ немъ всякую самостоятельность и самобытность, органическую связь съ процессомъ развитія русской мысли и считалъ искусственнымъ вліяніемъ польской интриги. Подобно *Петербургскимъ трущобамъ*, вы ничего не найдете и въ политическихъ романахъ Крестовскаго, кромѣ нагроможденія мелодраматическихъ ужасовъ.

V.

Болеславъ Михайловичъ Маркевичъ родился въ С.-Петербургѣ въ 1822 году. Образованіе получилъ въ Одессѣ въ Ришельевскомъ лицеѣ; въ 1842 году поступилъ на службу въ С.-Петербургскую палату государственныхъ имуществъ. Мы не будемъ перечислять всѣхъ его служебныхъ постовъ, какіе онъ

занималъ въ своей многолѣтней службѣ до 1874 года, когда, въ чинѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника и въ званіи камергера, онъ былъ въ 24 часа уволенъ со службы при министерствѣ народнаго просвѣщенія, заподозрѣнный въ любостяжаніи, обнаруженномъ въ содѣйствіи Ѳ. П. Баймакову при покупкѣ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей.* Умеръ онъ 18-го ноября 1884 года отъ аневризма. Въ романахъ своихъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны *Четверть вѣка назадъ, Переломъ* и *Бездна* (послѣдній романъ остался неоконченнымъ за смертью автора), Б. Маркевичъ въ большей степени, чѣмъ всѣ прочіе беллетристы этой школы, обнаруживалъ холопскія благоговѣніе и млѣніе передъ всѣмъ великосвѣтскимъ. На первомъ планѣ во всѣхъ этихъ романахъ парадирують князья и графы, рисуясь доблестными хранителями культурныхъ традицій.

Впрочемъ это охраненіе не мѣшаетъ сіятельнымъ героямъ Б. Маркевича усердно заниматься клубничкою, и авторъ съ немалымъ вожделѣніемъ изображаетъ амурныя и адультерныя шалости ихъ, что̀ придаетъ романамъ Б. Маркевича характеръ слюняваго селадонства. Къ этому слѣдуетъ присоединить бюрократически-казенную точку зрѣнія на всѣ явленія русской жизни, оцѣнивающую людей по табели о рангахъ, а дѣла ихъ по уголовному кодексу,—и вы составите полное понятіе объ этой беллетристикѣ, всецѣло вышедшей изъ сферы канцелярій и бюрократическихъ салоновъ.

Василій Григорьевичъ Авсѣенко родился 5-го января 1842 г. въ Московской губ. въ дворянской семьѣ. Въ 1852 г. поступилъ въ 1-ю Петербургскую гимназію, гдѣ, подъ вліяніемъ В. И. Водовозова и соревнуя товарищамъ, В. Крестовскому и Ап. Кускову, рано началъ пописывать стишки, изъ которыхъ одни впослѣдствіи появились безъ его вѣдома въ *Модномъ Магазинѣ* Софьи Мей, подъ псевдонимомъ В. Порошилова. Кончить гимназическій курсъ пришлось ему въ 1-й Кіевской гимназіи, такъ какъ отецъ его переселился вслѣдствіе болѣзни въ Кіевъ. Въ 1859 году Авсѣенко поступилъ на филологическій факультетъ Кіевскаго университета и въ 1862 году, кончивъ курсъ со степенью кандидата, имѣлъ намѣреніе посвятить себя профессорской дѣятельности по каѳедрѣ всеобщей исторіи. Защитивъ pro venia legendi разсужденіе *Итальянскій походъ Карла VIII и его послѣдствія для Франціи,* съ осени 1863 г. онъ началъ читать лекціи новой исторіи въ качествѣ приватъ-доцента. Но, какъ объясняетъ Авсѣенко въ своихъ воспоминаніяхъ, непріязненныя отношенія факультета и обусловленное этимъ незначительное количество слушателей уже черезъ полгода заставили его отказаться отъ профессорской дороги, и онъ посвятилъ себя литературной дѣятельности, которую началъ, будучи еще студентомъ, съ 1860 года, и въ 1863 году былъ уже помѣщенъ рядъ большихъ историческихъ статей его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* и *Отечественныхъ Запискахъ.* Съ 1864 по 1866 годъ Авсѣенко былъ ближайшимъ помощникомъ В. Я. Шульгина по веденію только-что основаннаго тогда *Кіевлянина,* а временами и главнымъ руководителемъ этой газеты, производившей въ то время почти такую-же сенсацію, какъ и *Московскія Вѣдомости,* причемъ авторъ многихъ передовыхъ статей, громившихъ разные измы, былъ именно Авсѣенко.

Въ 1865 году Авсѣенко подъ псевдонимомъ В. Порошилова напечаталъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* свою первую повѣсть *Буря,* за которою послѣдовалъ небольшой разсказъ *Тронутые* въ фельетонахъ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостей* 1866 года.

Въ 1869 г. Авсѣенко сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ возникшей тогда *Зари* Кашпирева, гдѣ помѣстилъ рядъ повѣстей, романовъ и критическихъ статей. Съ прекращеніемъ *Зари* онъ перешелъ съ 1871 г. въ *Русскій Міръ*, гдѣ велъ критическій фельетонъ подъ иниціалами А. О. и напечаталъ нѣкоторые разсказы.

Въ то-же время втеченіе семидесятыхъ годовъ появился рядъ критическихъ статей его въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ иниціаломъ А. Кромѣ того Авсѣенко принималъ участіе въ *Московскихъ Вѣдомостяхъ*, *Гражданинѣ*, *Кругозорѣ* и *Всемірной Иллюстраціи*, а въ 1883 г. взялъ на аренду *С.-Петербургскія Вѣдомости*, во главѣ которыхъ стоялъ до конца 1895 г.

Въ критическихъ статьяхъ своихъ Авсѣенко прославился рьянымъ мракобѣсіемъ. Онъ доходилъ до полнаго отрицанія всей современной русской литературы, кромѣ небольшой горсти беллетристовъ *Русскаго Вѣстника*, не останавливаясь при этомъ даже и на такихъ именахъ, какъ Некрасовъ и Салтыковъ. Съ особеннымъ ожесточеніемъ нападалъ онъ на беллетристовъ - народниковъ, Рѣшетникова, Левитова и Гл. Успенскаго, за то, что черезъ нихъ вся русская литература провоняла мужикомъ и отрѣшилась отъ пушкинскихъ традицій художественныхъ изображеній утонченныхъ нравовъ культурныхъ классовъ.

Въ качествѣ-же беллетриста Авсѣенко стоитъ въ полномъ противорѣчіи со своими критическими воззрѣніями. Правда, въ романахъ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны *Млечный путь (Русскій Вѣстникъ* 1875—1876 годъ) и *Скрежетъ зубовный (Русскій Вѣстникъ* 1878 годъ), онъ изображалъ исключительно одни культурные классы, но вовсе не въ томъ поэтическомъ ореолѣ, какъ этого требовалъ отъ беллетристовъ въ качествѣ критика, и даже безъ того молитвеннаго млѣнія передъ великосвѣтскостью, какое обнаруживалъ Б. Маркевичъ. Напротивъ того, и великосвѣтскіе, и бюрократическіе нравы рисуются въ его романахъ въ мрачныхъ краскахъ полнаго разложенія.

Въ этомъ отношеніи Авсѣенко представляетъ замѣчательный примѣръ разлада, который часто обнаруживаютъ писатели, обладающіе несомнѣнными талантами, когда они отдаются своимъ художественнымъ инстинктамъ, и творчество неудержимо ведетъ ихъ къ созданію образовъ, зависящихъ отъ впечатлѣній жизни, а не отъ тѣхъ или другихъ исповѣдуемыхъ доктринъ.

Такой-же разладъ обнаруживаетъ и Константинъ Ѳедоровичъ Головинъ, пишущій подъ псевдонимомъ Орловскаго. Онъ выступилъ на литературное поприще повѣстью *Серьезные люди*, напечатанною въ № 2 *Русскаго Вѣстника* за 1878 годъ, и затѣмъ, втеченіе десяти послѣднихъ лѣтъ, кромѣ всего прочаго ознаменовалъ литературную дѣятельность двумя большими романами: *Внѣ колеи* и *Молодежь*. Въ обоихъ этихъ романахъ вы видите ту-же двойственность, какъ и въ произведеніяхъ Авсѣенки: теоретически авторъ, повидимому, вѣренъ реакціоннымъ стремленіямъ своего лагеря, между тѣмъ какъ изображаемые факты сами по себѣ говорятъ вамъ нѣчто совершенно противоположное и приводятъ къ выводамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ воззрѣніями автора.

Какъ на менѣе замѣчательныя по талантливости автора, но тѣмъ не менѣе произведшія въ свое время нѣкоторую сенсацію, укажемъ на повѣсти Василія Петровича Авенаріуса, появившіяся въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ: *Современная Идиллія* и *Повѣтріе*, изданныя подъ общимъ заглавіемъ *Бродячія силы* (родился Авенаріусъ въ 1839 г. въ Царскомъ селѣ, воспитывался

въ 5-й петербургской гимназіи, кончивши курсъ которой въ 1857 г., въ 1861 г. получилъ въ СПБ. университетѣ степень кандидата естественныхъ наукъ. Нынѣ состоитъ на службѣ въ Собств. Его Императорскаго Величества Канц. по учрежденіямъ Императр. Маріи). Повѣсти эти замѣчательны тѣмъ, что авторъ все движеніе шестидесятыхъ годовъ свелъ исключительно на сенсуальную почву, предположивъ, что оно исчерпывается одною разнузданною эмансипаціею чувственности, и вслѣдствіе этого повѣсти Авенаріуса, и особенно *Повѣтріе*, исполнены такой грубой скабрезности, какая не бывала еще въ нашей литературѣ со временъ Баркова. Довольно сказать, что авторъ самъ устыдился грязныхъ порывовъ своего очевидно разстроеннаго воображенія и въ отдѣльномъ изданіи своихъ произведеній сократилъ нѣкоторыя слишкомъ ужъ откровенныя подробности.

Впослѣдствіи Авенаріусъ обратился на путь дѣтской беллетристики, и на этомъ поприщѣ дѣятельность его имѣла болѣе солидный и почтенный характеръ. Такъ, онъ составилъ сводныя былины и издалъ ихъ подъ заглавіемъ *Книга о кіевскихъ богатыряхъ;* издавалъ дѣтскія сказки свои и чужія, написалъ повѣсть, напечатанную въ *Родникѣ* 1885 г., *Отроческіе годы Пушкина* и пр.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

I. Два періода историческаго романа въ Россіи. Характеристика перваго періода. Движеніе исторіографіи въ шестидесятые годы.—II. Историческіе повѣсти и романы Николая Ивановича Костомарова. — III. *Князь Серебряный* Алексѣя Константиновича Толстого. *Война и миръ* Л. Н. Толстого. *Два портрета* И. С. Тургенева. *Старые годы* П. И. Мельникова. Историческіе романы Г. П. Данилевскаго и Даніила Лукича Мордовцева.—IV. Романы Евгенія Андреевича Саліаса-де-Турнемиръ. Характеристика лубочнаго историческаго романа и представитель его Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ.

I.

Возникшая въ тридцатыхъ годахъ, подъ вліяніемъ романтическаго движенія на Западѣ и особенно подъ сильнымъ впечатлѣніемъ романовъ Вальтеръ-Скотта, историческая беллетристика такъ привилась въ нашей литературѣ, что впродолженіе пятидесяти лѣтъ успѣла пережить два періода своего процвѣтанія, рѣзко отличающіеся одинъ отъ другого.

Первый періодъ—эпоха романовъ Загоскина, Лажечникова, Н. Кукольника, Р. Зотова и пр. вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру и духу времени, въ которое жили эти романисты.

Русская исторіографія въ то время только-что возникла, и писатели, не исключая Пушкина, находясь еще подъ сильнымъ вліяніемъ Карамзина, глядѣли на историческія событія нашего отечества исключительно съ государственной точки зрѣнія. Правда, и въ то время были попытки выйти изъ рабскаго подчиненія взглядамъ Карамзина и приступить къ историческимъ изслѣдованіямъ съ болѣе широкимъ и смѣлымъ кругозоромъ. Но однѣ изъ этихъ попытокъ, каковы напримѣръ историческіе труды профессоровъ Каченовскаго и Погодина, ограничиваясь кропотливою критикою спеціально-

научныхъ вопросовъ, не шли далѣе аудиторій и не имѣли большого вліянія на публику и на ея литературныхъ представителей. Не могъ освободить ихъ отъ рабскаго подчиненія взглядамъ Карамзина и Н. А. Полевой своей *Исторіей русскаго народа,* такъ какъ онъ слишкомъ подчинялся идеямъ и доктринамъ западныхъ историковъ и не представилъ какихъ-либо новыхъ взглядовъ, которые свидѣтельствовали-бы о самостоятельныхъ историческихъ изслѣдованіяхъ съ его стороны. Славянофильская школа находилась еще въ зародышѣ и не успѣла ни развить, ни тѣмъ болѣе высказать свои оригинальныя идеи. Ко всему этому надо взять во вниманіе суровость цензурныхъ условій тридцатыхъ годовъ. Кругъ историческихъ изслѣдованій въ то время былъ еще крайне ограниченъ, доступъ въ государственные архивы затрудненъ. Обо многихъ историческихъ фактахъ можно было имѣть свѣдѣнія лишь изъ однихъ сомнительныхъ иностранныхъ источниковъ, но и подобныя свѣдѣнія приходилось держать про себя, потому что обо всѣхъ мало-мальски щекотливыхъ историческихъ фактахъ безусловно запрещалось упоминать. Русская исторія кончалась въ то время царствованіемъ Петра I. Дозволялось кое-что сообщать о владычествѣ князя Меншикова и его внезапномъ низверженіи, о царствованіи Анны Іоанновны и о регентствѣ Бирона, но съ большой осторожностью. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что романъ Лажечникова *Ледяной домъ* хотя и былъ пропущенъ первымъ изданіемъ, но дальнѣйшія изданія были уже невозможны, и онъ долгое время считался книгой запрещенной. Наконецъ даже и тѣ событія, рѣчь о которыхъ допускалась въ печати, нельзя было обсуждать съ точки зрѣнія, которая хоть сколько-нибудь расходилась-бы съ казеннымъ патріотизмомъ, вмѣнявшимся въ священную обязанность каждому русскому писателю.

При такихъ условіяхъ возникшій въ тридцатые годы русскій историческій романъ не могъ представить почти ничего классически-замѣчательнаго. Только такимъ геніальнымъ талантамъ, какъ Пушкинъ и Гоголь, удалось подарить русскую литературу двумя-тремя образцами исторической беллетристики высокаго достоинства, стоящими совершенно особнякомъ. Въ общемъ-же историческій романъ тридцатыхъ годовъ, со всѣхъ сторонъ стѣсненный и подведенный подъ ранжиръ трехъ пресловутыхъ девизовъ того времени, представляетъ изъ себя нѣчто весьма жалкое. Романисты изображали лишь нѣкоторыя дозволенныя эпохи болѣе или менѣе отдаленнаго времени, напримѣръ эпоху крещенія Руси (*Аскольдова могила* Загоскина), Іоанна III (*Басурманъ* Лажечникова), самозванцевъ (*Юрій Милославскій* Загоскина), войну Петра I со шведами (*Послѣдній новикъ* Лажечникова) и пр. Объ историческихъ событіяхъ упоминалось вскользь, или-же они разсказывались по Карамзину, высокимъ слогомъ, съ дѣланнымъ патріотическимъ одушевленіемъ. Нравы и всѣ аксессуары прошлой жизни, при недостаткѣ у авторовъ археологическихъ свѣдѣній, изображались въ самыхъ общихъ чертахъ и часто совершенно невѣрно.

Большая-же часть страницъ квази-историческихъ романовъ наполнялась обыкновенно изображеніемъ сентиментальной любви двухъ-трехъ стереотипно-добродѣтельныхъ героевъ, которые подвергались ужаснымъ приключеніямъ, нѣсколько разъ умирали и вновь воскресали, чтобы къ концу романа сочетаться законнымъ бракомъ. При такомъ развитіи сюжетовъ историческіе романы тридцатыхъ годовъ имѣли романтически-сказочный характеръ. Публика

зачитывалась ими, но истинные знатоки литературы и критики ставили ихъ невысоко, и понятно, что съ развитіемъ и утвержденіемъ въ нашей литературѣ реализма и подъ вліяніемъ критики Бѣлинскаго подобный историческій романъ долженъ былъ пасть. Втеченіе пятидесятыхъ годовъ онъ совсѣмъ исчезъ съ литературной арены, тѣмъ болѣе, что при острой реакціи первой половины пятидесятыхъ годовъ онъ немыслимъ былъ даже и въ томъ жалкомъ видѣ, въ какомъ представлялся въ тридцатые и сороковые годы.

Втеченіе пятидесятыхъ годовъ взоры всей интеллигенціи были слишкомъ прикованы къ настоящему, чтобы интересоваться прошлымъ; въ первой половинѣ пятидесятыхъ годовъ общее вниманіе было поглощено крымской войной, а затѣмъ наступила эпоха возрожденія вопросовъ и реформъ,—казалось бы, совсѣмъ въ это время было не до исторіи. Тѣмъ не менѣе пятидесятые годы вмѣстѣ со всѣми возрожденіями представляютъ собою и возрожденіе русской исторіографіи. Одни труды С. М. Соловьева и затѣмъ Н. И. Костомарова ознаменовали переворотъ въ этой области. Не говоря уже о томъ, что центръ тяжести историческихъ изслѣдованій совершенно измѣняется, и главнымъ предметомъ изученія дѣлается не одно государство, а народъ со всѣми его вѣрованіями, понятіями, нравами, стремленіями, симпатіями и антипатіями; вмѣстѣ съ тѣмъ не замедлили значительно раздвинуться самыя рамки исторіи: получилась возможность говорить о такихъ событіяхъ и фактахъ, о которыхъ прежде нельзя было и заикнуться. Особенно сильно подвинулось изученіе близкаго къ намъ XVIII вѣка. Кромѣ того, что государственные архивы сдѣлались доступнѣе, и самое изданіе историческихъ памятниковъ начало встрѣчать менѣе затрудненій и препятствій. Съ шестидесятыхъ годовъ начали издаваться періодическія изданія, спеціально посвященныя печатанію историческихъ матеріаловъ, каковы: *Русскій Архивъ* съ 1863 г., *Русская Старина* съ 1870 г., *Историческій Вѣстникъ* съ 1880 г., *Кіевская Старина* съ 1882 г. и пр. Въ изданіяхъ этихъ появились массы записокъ, воспоминаній, автобіографій, писсмъ историческихъ лицъ и т. п. До какой степени въ самомъ обществѣ былъ возбужденъ живой интересъ къ историческому прошлому Россіи, можно судить по тому, какъ весь интеллигентный Петербургъ сошелся на диспутъ Костомарова съ Погодинымъ въ мартѣ 1860 г. по столь спеціальному вопросу, какъ происхожденіе Руси. Въ то-же время несмѣтная толпа лицъ всѣхъ званій, половъ и возрастовъ стекалась на лекціи Костомарова въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Наконецъ не смотря на конкуренцію разомъ четырехъ историческихъ журналовъ, всѣ они пріобрѣли тысячи подписчиковъ и приносятъ издателямъ немалый доходъ.

Понятно, что, вслѣдствіе такого сильнаго движенія исторіографіи и общаго интереса къ русской старинѣ, историческій романъ возродился къ новой жизни и впродолженіе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ составлялъ обширную отрасль беллетристики, въ количественномъ отношеніи значительно превышающую всѣ прочія.

II.

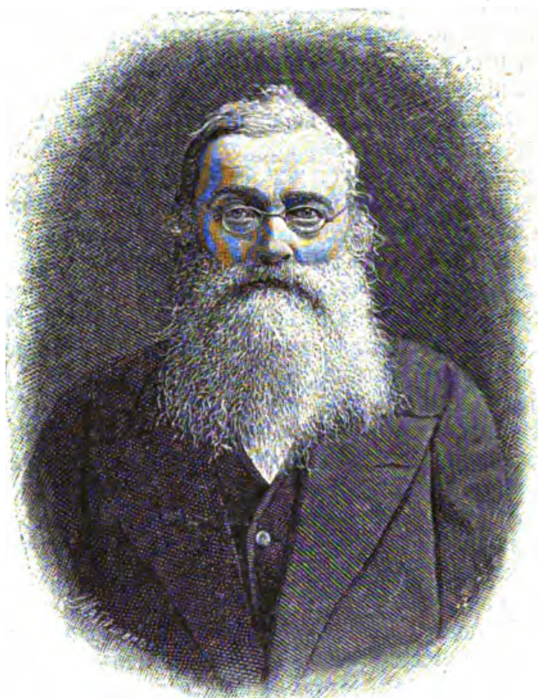
Но если въ количественномъ отношеніи современный историческій романъ представляетъ собою нѣчто монструозное, нельзя сказать, чтобы онъ въ такой-же степени процвѣталъ и въ качественномъ отношеніи. Если онъ превышаетъ въ

чемъ-либо старый (тридцатыхъ годовъ), то развѣ лишь въ бо̀льшемъ разнообразіи темъ, въ бо̀льшей свободѣ въ изображеніи историческихъ картинъ и въ проведеніи тѣхъ или другихъ взглядовъ, наконецъ въ лучшемъ знаніи археологіи. Въ то-же время новый романъ недалеко ушелъ отъ стараго по легкомысленному отношенію къ историческимъ фактамъ, отсутствію строгаго разграниченія исторической достовѣрности отъ поэтическаго вымысла, наклонности къ поверхностности, скороспѣлости и спекулятивной лубочности.

Всего-же грустнѣе, что Николай Ивановичъ Костомаровъ, стоящій во главѣ новаго періода исторіографіи и главный виновникъ переворота въ ея развитіи, первый подалъ примѣръ легкомысленнаго отношенія къ исторіи въ области беллетристики. Обладая отъ природы нервнымъ темпераментомъ и богатой фантазіею, доходившею до галлюцинацій, страстный любитель музыки и всѣхъ искусствъ, Н. И. Костомаровъ постоянно обнаруживалъ наклонность къ художественному творчеству. Каждое изученіе приводило его къ попыткамъ воспроизвести изучаемое въ художественныхъ формахъ. Такъ, еще на университетской скамьѣ, прочтя повѣсти Квитки, *Вечера на хуторѣ близъ Диканки* и *Тараса Бульбу* Гоголя, думы и пѣсни, изданныя Максимовичемъ, онъ увлекся малороссійскою стариною и въ 1838 году издалъ драматическое произведеніе въ 5-ти дѣйствіяхъ *Савва Шалый*. Печальный эпизодъ своей жизни въ видѣ внезапнаго ареста передъ самой свадьбой, заключенія и ссылки въ Саратовъ, Костомаровъ ознаменовалъ драмою изъ древней римской жизни *Кремуцій Кордъ* (напечатанною въ 1862 г.). Не отличаясь художественными достоинствами, драма эта любопытна по автобіографическимъ намекамъ, какіе въ ней встрѣчаются. Прежде всего мы находимъ здѣсь посвященіе «незабвенной А. Л. К. на память 14-го мая 1847 года». Это очевидно намекъ на свиданіе Костомарова съ невѣстой во время пребыванія въ крѣпости. Главнымъ героемъ является римскій историкъ Кремуцій Кордъ, котораго обвиняютъ въ восхваленіи въ своей исторіи Брута и Кассія. Любимецъ Тиберія, Сеянъ, въ лицѣ котораго авторъ подразумѣваетъ Дуббельта, заставляетъ историка признаться, что онъ имѣлъ въ виду взволновать умы своимъ сочиненіемъ, и обращается къ нему съ такою рѣчью: «Послушай, мой добрый другъ, прими мой искренній совѣтъ. Увертки твои ни къ чему не послужатъ, увѣряю тебя. Лучше всего смиренно признайся своему государю, что ты виноватъ и жалѣешь о томъ, что написалъ. Можешь сказать, что это случилось невольно, отъ увлеченія, а вовсе не отъ злонамѣренности. Увѣряю тебя, что все это тебѣ простится: цезарь милосердъ съ тѣми, кто искренно повергаетъ къ стопамъ его свои заблужденія». Въ одномъ монологѣ Кремуцій Кордъ говоритъ: «Погибнуть въ цвѣтѣ лѣтъ, не успѣвъ даже и отвѣдать наслажденій жизни, погибнуть тогда, когда впереди улыбалась мнѣ слава, ожидала любовь!» Тутъ очевидно опять намекъ на личную жизнь автора. Въ засѣданіи сената по дѣлу Кремуція Корда одинъ изъ сенаторовъ говоритъ: «Сенатъ вправѣ осудить сочиненіе Кремуція Корда *на публичное сожженіе*, какъ въ высшей степени безнравственное и возбуждающее къ безначалію и недовольству, вмѣнить эдиламъ въ непремѣнную обязанность *отобрать экземпляры этой книги у частныхъ лицъ и въ лавкахъ* и предупредить всѣхъ гражданъ, что скрывшіе у себя это сочиненіе подвергнутся наказанію; самого-же автора представить волѣ императора, прося однако его величество, чтобы Кремуцій Кордъ *былъ лишенъ средствъ вредить общественному спокойствію зловредными сочиненіями*

на будущее время». Тиверій одобряетъ это мнѣніе. Сенатъ признаетъ оправдательную рѣчь Кремуція Корда недостаточною; осуждаетъ сочиненіе на сожженіе, а автора предаетъ волѣ императора, прося его принять мѣры къ тому, чтобы у него была отнята возможность вредить обществу распространеніемъ подобныхъ мыслей какъ письменно, такъ и *словесно*. Очевидно тутъ цѣлый рядъ намековъ на исторію съ диссертаціей Костомарова и на кару, постигшую его за основаніе Кирилло-меѳодіевскаго братства.

Изученіе бунта Стеньки Разина привело Костомарова къ созданію повѣсти *Сынъ*, рисующей нравы и бытъ русскаго общества въ XVII вѣкѣ, а изученіе эпохи и личности Іоанна Грознаго ознаменовалось романомъ *Кудеяръ*, напечатаннымъ въ *Вѣстникѣ Европы* 1875 года. Въ повѣсти *Сынъ* Костомаровъ строго держится въ предѣлахъ исторической достовѣрности, ученый элементъ преобладаетъ въ ней надъ художественнымъ, вслѣдствіе чего повѣсть нѣсколько суховата. Нужно замѣтить, что хотя Костомаровъ и не былъ лишенъ художественности, но былъ художникомъ лишь настолько, насколько это нужно историку, чтобы характеристики были картинны и воспроизводили историческія личности и событія въ истинномъ свѣтѣ и колоритѣ. Къ тому-же художественный талантъ Костомарова проявлялся гораздо полнѣе и живѣе въ устномъ изложеніи, чѣмъ въ письменномъ. Кто слышалъ лекціи Костомарова, которыя онъ читалъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ въ 1859—1861 годахъ, согласится съ этимъ. Художественности его лекцій много помогала дикція, неподражаемое умѣнье читать историческіе памятники, выражая самымъ тономъ голоса духъ ихъ. Въ устахъ Костомарова архаическій, мертвый языкъ памятниковъ словно какъ-бы воскресалъ и дѣлался живой, выразительной, художественно-живописной разговорной рѣчью. Когда эти лекціи приходилось потомъ читать въ письменномъ изложеніи, онѣ теряли половину своего обаянія. Эта живописность чтеній Костомарова и привлекала на лекціи его несмѣтную толпу слушателей, заставляя современниковъ ставить имя его наряду съ именами Прескотта, Маколея и Тьерри.



Н. И. Костомаровъ.

Этою способностью обнаруживать историческую художественность болѣе въ устномъ изложеніи, чѣмъ въ письменности, и обусловливается сухость и тяжесть

ловѣсность повѣстей Костомарова. Но въ то время, какъ повѣсть *Сынъ* представляетъ во всякомъ случаѣ интересъ исторической иллюстраціи, нельзя того-же самаго сказать о *Кудеяръ*. Лишь преклоннымъ возрастомъ автора (ему было 58 лѣтъ) можно объяснить тотъ грѣхъ, что онъ слишкомъ дозволилъ разгуляться богатой фантазіи и выступилъ за предѣлы вѣрности историческимъ фактамъ. Правда, въ романѣ живо и картинно рисуется эпоха Іоанна Грознаго въ моментъ перелома въ его царствованіи, передъ смертью царицы Анастасіи. Наиболѣе ярко очерчены Іоаннъ Грозный, Анастасія, Курбскій и князь Дмитрій Ивановичъ Вишневецкій. Адашевъ и Сильвестръ довольно блѣдны и туманны. Но главнымъ пятномъ романа является герой Кудеяръ, въ изображеніи котораго Костомаровъ совершилъ буквально такое-же преступленіе передъ исторіею, какимъ отличился Рафаилъ Зотовъ въ романѣ *Таинственый монахъ*. Совершенно подобно тому, какъ въ романѣ Зотова всѣ историческія событія первой половины царствованія Петра, начиная со стрѣлецкихъ бунтовъ и кончая измѣною Мазепы, совершаются по инициативѣ героя романа Іоны, оказавшагося потомъ гетманомъ Дорошенкою,—такую-же роль присвоиваетъ Костомаровъ своему герою Кудеяру. Это—загадочная личность, не помнящая ни рода, ни племени: онъ былъ найденъ казаками ребенкомъ въ татарскомъ аулѣ съ крестомъ на шеѣ, свидѣтельствовавшимъ, что ребенокъ—христіанинъ. Татаринъ, у котораго нашли ребенка, объявилъ, что его взяли татары изъ московской земли. Онъ выросъ среди казаковъ, женился на дочери казака Тишенко, Настѣ, и прибылъ въ Москву въ войскѣ Вишневецкаго.

Когда вы читаете первые главы романа, передъ вами въ лицѣ Кудеяра рисуется безобразная груда мяса, обладающая непомѣрной силой при полномъ отсутствіи чего либо человѣческаго: это грубый атлетъ, одаренный лишь способностью ломать подковы и вывертывать столбы и въ то-же время исполненный непомѣрной тупости, которою отличаются всѣ подобнаго рода атлеты. Таковъ Кудеяръ не только въ сценѣ убійства сына, прижитаго Настею во время плѣна; и въ Александровской слободѣ онъ является столь-же слѣпымъ и безсмысленнымъ орудіемъ казней Іоанна, который въ концѣ концовъ кругомъ одурачилъ его и насмѣялся надъ нимъ со всей своей сатанинской ироніей. И вдругъ этотъ неотесанный чурбанъ, болѣе похожій на стѣнобитное орудіе, чѣмъ на живого человѣка, является передъ вами геніемъ удалой, всепокоряющей хитрости, двигаетъ царствами и войсками, возбуждаетъ такое удивленіе въ разбойникахъ, что тѣ считаютъ его колдуномъ и безусловно покоряются его волѣ. Мало этого: оказывается, что всѣ событія Грознаго исходятъ отъ Кудеяра. Царь пошелъ въ походъ на Девлетъ-Гирея, потому что Кудеяръ нашелъ свою Настю, и въ этомъ событіи Іоаннъ предвидѣлъ повелѣніе свыше. Девлетъ-Гирей пошелъ на Москву и сжегъ ее—опять-таки потому, что этого хотѣлъ Кудеяръ въ отмщеніе Іоанну за смерть своей жены. Въ заключеніе романа Костомаровъ прямо говоритъ: «Москва, отстроившись послѣ сожженія, *причиненнаго ей злобой Кудеяра*, не разъ послѣ того испытывала пожары и нашествія иноземцевъ». Іоаннъ казнилъ князя Владиміра Андреевича со всею семьей опять-таки не почему иному, какъ потому, что Кудеяръ мутилъ народъ именемъ князя Даже новгородцевъ топить въ Волховѣ Іоаннъ пошелъ не почему иному, какъ для того, чтобы на нихъ выместить свой гнѣвъ на Кудеяра. Но и этого всего мало: въ концѣ концовъ всесильный Кудеяръ

является ни кѣмъ инымъ, какъ сыномъ Василія III, рожденнымъ отъ Соломоніи вскорѣ по заключеніи ея въ монастырь!..

Такимъ образомъ въ *Кудеярѣ* Костомаровъ воскресилъ безцеремонное искаженіе исторіи и произвольную игру съ историческими фактами, которыя были простительны въ эпоху Рафаила Зотова, но представляются положительно необъяснимыми при громадномъ шагѣ, какой сдѣлала историческая наука въ эпоху шестидесятыхъ годовъ. А между тѣмъ авторитетъ Костомарова освятилъ подобный способъ отношенія къ исторіи, и историческіе беллетристы, въ особенности-же третьестепенные мастера лубочныхъ издѣлій, взапуски пустились сочинять свою собственную исторію, заставляя вымышленныхъ героевъ потрясать царствами и судьбами Европы и Россіи.

III.

Въ 1861 году былъ напечатанъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ* романъ Алексѣя Константиновича Толстого (біографическія свѣдѣнія о немъ смотри ниже— въ отдѣлѣ поэтовъ)—*Князь Серебряный*, изъ эпохи Іоанна Грознаго. Романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ и разошелся въ нѣсколькихъ изданіяхъ, тѣмъ болѣе, что втеченіе шестидесятыхъ годовъ былъ почти единственнымъ представителемъ исторической беллетристики. Романъ этотъ принадлежитъ къ числу весьма немногихъ произведеній этого рода, отличающихся художественностью и добросовѣстностью изученія исторической эпохи. Авторъ отъ первой страницы до послѣдней остается вѣренъ историческимъ фактамъ, не проводитъ никакихъ предвзятыхъ тенденцій, не дѣлаетъ ложныхъ освѣщеній. Однимъ словомъ, это одинъ изъ немногихъ историческихъ романовъ, который можетъ быть прочтенъ съ интересомъ и безъ вреда.

Въ 1867 году появился въ томъ же *Русскомъ Вѣстникѣ* романъ *Война и миръ*, представляющій шедёвръ Л. Н. Толстого. Мы подробно говорили объ этомъ романѣ при обозрѣніи дѣятельности его автора, и теперь намъ остается сказать нѣсколько словъ о его значеніи спеціально какъ историческаго романа.

Представляя рядъ геніальныхъ картинъ нравовъ и быта русскихъ дворянъ и великосвѣтскаго общества начала XIX вѣка, а также отдѣльныхъ историческихъ эпизодовъ войны двѣнадцатаго года, въ цѣломъ романъ въ историческомъ отношеніи имѣетъ много слабыхъ сторонъ. Во-первыхъ, вредитъ ему мистико-фаталистическая теорія, съ точки зрѣнія которой авторъ смотритъ на историческіе факты. Вмѣстѣ съ тѣмъ портреты нѣкоторыхъ историческихъ личностей, напримѣръ Наполеона, Кутузова, Сперанскаго, написаны съ предвзятою тенденціозностью, и потому односторонне и невѣрно. Тѣмъ не менѣе романъ Л. Толстого произвелъ такое всевластное вліяніе на разсматриваемую нами отрасль беллетристики, что ни одинъ изъ историческихъ беллетристовъ не былъ въ силахъ избавиться отъ этого вліянія въ бытовыхъ и батальныхъ картинахъ, въ изображеніяхъ портретовъ дѣйствующихъ лицъ былого времени и даже въ развитіи сюжетовъ.

Не преминулъ заплатить свою лепту исторической беллетристикѣ И. С. Тургеневъ повѣстью *Два портрета*, въ которой, не вдаваясь въ изображеніе какихъ-либо историческихъ фактовъ, очень живо и рельефно представилъ эпизодъ изъ усадебныхъ нравовъ XVIII вѣка.

Рядомъ съ этою повѣстью Тургенева мы можемъ поставить разсказъ П. И. Мельникова *Старые годы*, вопіющую картину дикаго варварства, господствовавшаго въ XVIII вѣкѣ среди помѣщичьихъ нравовъ подъ внѣшнимъ покровомъ европейской цивилизаціи.

Г. Н. Данилевскій, какъ мы говорили выше (см. стр. 218), въ свою очередь заплатилъ дань историческому роману. Изъ этого рода произведеній его наиболѣе выдаются: романъ *Мировичъ* (1879 г.), *Сожженная Москва* (1885—1886 гг.) и *Черный годъ* (1888 г.). Въ романѣ *Мировичъ* изображается извѣстный эпизодъ изъ царствованія Екатерины,—попытка Мировича совершить coup d'état, возведя на престолъ злосчастнаго шлиссельбургскаго узника, Іоанна VI. Романъ этотъ имѣлъ большой успѣхъ; но авторъ не избѣгъ свойственнаго многимъ русскимъ историческимъ романамъ безцеремоннаго отношенія къ историческимъ фактамъ, допустивши такія сближенія между собою современныхъ историческихъ личностей, которыя очень сомнительны и очевидно представляютъ плодъ поэтическаго вымысла. Мировичъ напримѣръ оказывается мало того что знакомымъ съ Ломоносовымъ, но послѣдній является главнымъ подстрекателемъ Мировича къ его роковой попыткѣ. Такою же подстрекательницею выступаетъ отставная придворная дѣвица Поликсена Пчелкина, въ которую былъ влюбленъ Мировичъ. Она разыгрываетъ роль злого духа честолюбія, вродѣ Марины Мнишекъ. Оказывается, что по ея-же анонимному письму Петръ III задумалъ свое посѣщеніе заключеннаго принца. Мировичу самому и въ голову не пришло-бы покушеніе, если-бы не Ломоносовъ и не Поликсена. Онъ былъ, правда, очень честолюбивый юноша, но шелъ своимъ рутиннымъ путемъ и былъ лишь гулякою и такимъ счастливымъ игрокомъ, что, съ кѣмъ-бы ни садился играть, обыгрывалъ въ пухъ и прахъ, до ниточки; золото такъ и лилось въ его карманы. Будучи еще кадетомъ, онъ обыгралъ корпуснаго начальника князя Езупова, за что́ былъ исключенъ изъ корпуса, отданъ въ солдаты въ заграничную армію и выслужился тамъ во время семилѣтней войны. Потомъ въ австеріи у Дрезденши, притонѣ кутящей золотой молодежи, онъ обыгралъ братьевъ Орловыхъ. Словомъ, Данилевскому ничего не стоило сближать между собою историческія личности и ставить ихъ въ какія угодно отношенія. А подъ конецъ романа творческая фантазія его разгуливается до того, что онъ разсказываетъ, какія впечатлѣнія воспринимала голова Мировича послѣ того, какъ была отдѣлена отъ туловища.

Романъ *Сожженная Москва* былъ написанъ подъ сильнымъ вліяніемъ *Войны и мира* Л. Толстого, что́ наиболѣе сказалось въ главныхъ моментахъ романа (пожаръ Москвы, плѣнъ героя, приговоръ къ разстрѣлянію, путешествіе русскихъ плѣнныхъ съ отступавшими французскими войсками и опасность быть подстрѣленному въ дорогѣ и пр.). Но при всемъ этомъ неотразимомъ вліяніи романа Л. Толстого, въ *Сожженной Москвѣ* вы найдете нѣчто такое, чего въ *Войнѣ и мирѣ* нѣтъ и что́ составляетъ какъ-бы добавленіе къ великой эпопеѣ графа Толстого.

Дѣло въ томъ, что гр. Л. Толстой въ своихъ романахъ изображалъ русскихъ женщинъ исключительно въ предѣлахъ ихъ женской спеціальности. Русская женщина является подъ перомъ гр. Л. Толстого лишь какъ самоотверженная жена, хлопотливо оберегающая домашній очагъ и готовая ради этого великодушно простить и прикрыть всѣ грѣхи невѣрнаго мужа, или какъ любящая

мать, проливающая слезы надъ колыбелью младенца, или какъ сестра милосердія, дни и ночи до послѣдняго истощенія силъ проводящая у постели тяжко раненаго и умирающаго. Словомъ, гр. Л. Толстой показалъ намъ русскую женщину во всѣхъ ея національныхъ преимуществахъ, безгранично любящею, самотверженною, мечтательно стремящеюся къ высокимъ и широкимъ идеаламъ, цѣломудренно-стыдливою даже въ моменты грѣшныхъ паденій и самую чувственность постоянно стремящуюся освятить нравственнымъ долгомъ. Но онъ просмотрѣлъ одну замѣчательную сторону русской женщины: способность въ рѣдкія минуты сильныхъ нравственныхъ подъемовъ духа смѣло выходить изъ узкаго круга женской доли, проникаться воинственнымъ духомъ и посрамлять мужчинъ отважнымъ героизмомъ. Въ народныхъ былинахъ, сказкахъ, въ исторіи проходитъ передъ нами вереница воинственныхъ женщинъ, начиная съ удалыхъ наѣздницъ, которыя дрались въ чистомъ полѣ съ могучими богатырями, св. Ольги, съ ея безпощадною местью за смерть своего мужа, и кончая тѣми героинями 1812 года, вродѣ дѣвицы Александры Дуровой, которыя принимали храброе участіе въ отечественной войнѣ въ рядахъ войскъ.

Героиня романа Данилевскаго, Аврора Крамалина, является передъ нами именно одной изъ подобныхъ героинь войны 1812 года, безъ изображенія которыхъ эта эпоха является неполной, какъ-бы она ни была хорошо обрисована.

Романъ *Черный годъ* принадлежитъ къ числу самыхъ слабыхъ произведеній Данилевскаго. Изображая пугачевскій бунтъ, романъ этотъ ничего не прибавляетъ къ прочимъ изображеніямъ этого событія, въ неизмѣримой степени талантливѣйшимъ. Личность Пугачева представлена крайне невѣрно, съ чисто административно-казенной точки зрѣнія въ видѣ мелкаго и ничтожнаго бродяги-душегубца, который возвысился благодаря лишь народному движенію и немедленно палъ съ высоты, какъ только это движеніе угомонилось. Дѣйствующія лица очень часто говорятъ изысканно книжнымъ языкомъ нашего времени, употребляя выраженія, въ XVIII вѣкѣ немыслимыя; въ общемъ романъ растянутъ и скученъ.

Изъ писателей старшаго поколѣнія однимъ изъ самыхъ плодовитыхъ поставщиковъ историческихъ романовъ является Даніилъ Лукичъ Мордовцевъ. Онъ родился въ слободѣ Даниловкѣ, въ землѣ войска Донского, 7-го декабря 1830 года, кончилъ курсъ въ С.-Петербургскомъ университетѣ въ 1854 году. Прежде чѣмъ выступить на поприще историческаго романа, Д. Л. Мордовцевъ пріобрѣлъ почетную извѣстность въ шестидесятыхъ годахъ своими изслѣдованіями по исторіи Малороссіи, Польши и пугачевщины. Изъ числа сочиненій этого періода дѣятельности особенно выдаются *Самозванецъ Іоаннъ* (*Р. В.* 1860), *Выдержка изъ исторіи Польши 1770—1772 г.* (*Р. В.* 1863), *Паденіе Польши* (*Р. В.* 1862), *Обличительная литература въ первыхъ русскихъ журналахъ и стѣсненіе гласности* (1769—1775), *О русскихъ школьныхъ книгахъ XVI в.*, *Самозванцы*, *Малороссійскій литературный сборникъ*, *Гайдамачина* и др. Историческіе романы и повѣсти началъ онъ писать во второй половинѣ своей литературной дѣятельности, на склонѣ уже лѣтъ. Наиболѣе выдается изъ нихъ романъ *Идеалисты и реалисты*, изображающій эпоху Петра и проливающій на нее свѣтлый взглядъ. Нельзя отказать Мордовцеву въ талантѣ, въ основательномъ знаніи исторіи и въ добросовѣстномъ отношеніи къ историческимъ фактамъ; къ сожалѣнію плодовитость сильно вредитъ качественности его произведеній. Они пекутся какъ блины и при скороспѣлости про-

изводятъ впечатлѣніе крайней небрежности. Къ тому-же большой недостатокъ автора составляютъ манерность, отсутствіе простоты и естественности, страсть оригинальничать, балагурить и, какъ результатъ этого,—неудержимая болтливость, выходящая порою изъ всѣхъ предѣловъ.

IV.

Изъ историческихъ беллетристовъ, принадлежащихъ къ болѣе молодому поколѣнію, наибольшимъ талантомъ отличается графъ Евгеній Андреевичъ Саліасъ-де-Турнемиръ Онъ былъ сынъ Е. В. Саліасъ (Евгеніи Туръ). Родился въ 1841 г. и получилъ блестящее образованіе; чуть не съ пеленокъ пришлось ему вращаться въ литературномъ и артистическомъ кругу, такъ какъ въ домѣ матери его сходились всѣ корифеи сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, какъ литературные, такъ и по всѣмъ прочимъ искусствамъ. Кромѣ тщательнаго домашняго образованія подъ руководствомъ и надзоромъ матери, онъ уже въ дѣтствѣ совершалъ продолжительныя путешествія за-границей. Въ январьской книжкѣ *Библіотеки для Чтенія* 1863 г., слѣдовательно, когда ему было 22 года, появилась первая его повѣсть *Ксаня чудная*, посвященная матери и подписанная Вадимъ. Вслѣдъ затѣмъ въ различныхъ журналахъ появились повѣсти: *Тьма*, *Манжажа* и *Еврейка*. Всѣ эти повѣсти были написаны подъ сильнымъ вліяніемъ Тургенева, которому авторъ старался подражать въ описаніяхъ природы и женскихъ типахъ. Талантъ его былъ замѣченъ, особенно понравились *Путевые очерки Испаніи*. Смолкнувши затѣмъ на долгое время Саліасъ появился вновь въ литературѣ уже въ началѣ семидесятыхъ годовъ съ романомъ *Пугачевцы*, отрывки котораго, подъ заглавіемъ *Бѣгуны* и *Земцы и нѣмцы*, были напечатаны въ *Русскомъ Вѣстникѣ*, а затѣмъ въ 1874 году романъ появился въ полномъ видѣ въ отдѣльномъ изданіи, подписанный именемъ автора. Автору пришлось не мало поработать надъ романомъ, порыться по архивамъ, поѣздить по мѣстамъ, гдѣ происходилъ пугачевскій бунтъ. Романъ произвелъ сенсацію, понравился публикѣ и доставилъ автору общую извѣстность. И дѣйствительно, нельзя отказать гр. Саліасу въ талантливости. Вы найдете въ романѣ отдѣльныя мѣста, написанныя съ большимъ мастерствомъ; такова напр. картина казанскаго общества предъ возстаніемъ, броженіе въ народѣ и начало смуты, взятіе Казани, портреты Бибикова, Рейнсдорпа, Суворова, Фреймана. Но въ цѣломъ романъ представляетъ существенные недостатки. Гр. Саліасъ не могъ избѣгнуть подчиненія вліянію гр. Л. Толстого, и оно сказывается во многихъ типахъ и сценахъ романа. Напримѣръ въ pendant пари Долохова съ англичаниномъ, у Саліаса Ахлатскій бьется объ закладъ съ Туровскимъ, что взъѣдетъ на конѣ по лѣсамъ строющейся колокольни до самаго креста. Въ pendant описанію Л. Толстымъ болѣзни князя Андрея съ горячечнымъ бредомъ и мистическими размышленіями, у Саліаса въ такомъ-же родѣ бредитъ и размышляетъ Иванъ Хвалынскій, раненый подъ Оренбургомъ. Подобно Пьеру, Иванъ Хвалынскій по выздоровленіи почувствовалъ въ себѣ возрожденіе, новые мысли и взгляды на все окружающее. Въ романѣ Толстого Пьеръ замышляетъ убить Наполеона, у Саліаса—Параня мечтаетъ убить Пугачева. У Толстого разстрѣливаютъ поджигателей, у Саліаса разстрѣливаютъ захваченныхъ пугачевцевъ и, подобно Пьеру гр. Толстого, съ ужасомъ смотритъ на это Иванъ

Хвалынскій, ожидая, что и его разстрѣляютъ, и т. п. Главный-же существенный недостатокъ романа гр. Саліаса заключается въ томъ, что авторъ подчинился московской беллетристической школѣ, и произведеніе его написано по шаблону большинства романовъ этой школы.

Такъ, на первомъ планѣ рисуется все тотъ-же герой *Русскаго Вѣстника*, гордый, непреклонно-твердый, храбро-отважный охранитель, князь Данило



Е. А. Саліасъ.

Радивонычъ Хвалынскій, генеалогическому древу котораго гр. Саліасъ посвящаетъ три страницы, причемъ мы подробно узнаемъ весь родъ Хвалынскихъ.

Роль-же нигилиста XVIII вѣка играетъ богатый помѣщикъ, опальный московскій бояринъ Артемій Никитичъ Соколъ-Уздальскій, участвуя въ тайныхъ обществахъ, распространяя прокламаціи, сѣя смуту и подготовляя пугачевскій бунтъ. Князя Данило, какъ только пріѣзжаетъ къ нему, ссйчасъ-же и начинаетъ свое донъ-кихотское поприще въ духѣ московскихъ тенденцій, сцѣпляясь съ коварнымъ крамольникомъ прошлаго вѣка. Затѣмъ на пути въ Азгаръ случайно сталкивается съ клевретомъ Уздальскаго, мѣщаниномъ Долгополовымъ; вез-

шимъ на Волгу пачки прокламацій, и арестуетъ его съ поличнымъ. Далѣе, проѣздомъ черезъ Казань, попадаетъ на губернаторскій балъ и въ ужасѣ видитъ, что зала наполнена плѣнными конфедератами и танцуютъ, о ужасъ, мазурку! Встрѣчаетъ поляка Яна Бжезинскаго, который при штурмѣ краковской цитадели едва не убилъ его, ранивъ ударомъ сабли въ плечо, вступаетъ съ нимъ тутъ-же на балу въ самую вздорную ссору и, когда ихъ разнимаютъ, грозится:—«Добро, заутра я соберу моихъ лихачей и его, какъ жида, выпорю нагайками на дому!»

Не обходится романъ и безъ коварной польской интриги. Оказывается, что пугачевскій бунтъ всецѣло былъ созданъ ею. Самозванцемъ явился не прямо Пугачевъ, а нѣкій Вячеславъ, внукъ мятежнаго Соколъ-Уздальскаго, рожденный отъ племянника его Алексѣя и польки Людвиги, креатура польской интриги. Пугачевъ-же сдѣлался самозванцемъ лишь впослѣдствіи, когда казаки, будучи недовольны гуманностью Вячеслава и его отвращеніемъ отъ кровожадности, рѣшились отдѣлаться отъ него; этимъ и воспользовался Пугачевъ: при помощи казака Чики, ночью въ степи убилъ Вячеслава, бросилъ трупъ его въ рѣку и объявилъ себя Петромъ II.

Положивши начало пугачевскаго бунта, коварная польская интрига не дремала и во все его продолженіе: такъ, Янъ Бжезинскій отправился въ войско Пугачева, сдѣлался главнымъ подручникомъ, устроилъ ему артиллерію на санкахъ, а братъ его Казиміръ, хитрый іезуитъ, держалъ въ рукахъ нити польской интриги, велъ огромную переписку съ разными европейскими дворами, съ Турціей и польскими іезуитами и въ концѣ концовъ собственноручно отравилъ Бибикова, когда тотъ началъ одолѣвать мятежниковъ.

Такое-же тенденціозное измышленіе фактовъ обнаружилъ гр. Саліасъ и во всѣхъ прочихъ своихъ историческихъ романахъ, каковы: *Петербургское дѣйство, Поэтъ Державинъ, Братья Орловы, Моръ, Принцесса Володимірская, Бригадирская внучка, Аракчеевскій сынокъ* и проч. Разница лишь та, что романъ *Пугачевцы* былъ во всякомъ случаѣ плодомъ многолѣтняго труда, и въ немъ авторъ явился во всей силѣ своего таланта. Прочіе-же романы представляютъ легкомысленную и поверхностную скороспѣлую стряпню, въ которой вы найдете все, что́ угодно, кромѣ исторической правды.

Съ легкой руки Саліаса историческій романъ подъ конецъ семидесятыхъ годовъ вступилъ въ новую фазу существованія, въ которой пребываетъ и до сего дня. Принявъ характеръ реакціонной тенденціозности и узко-національнаго самохвальства, онъ сдѣлался продуктомъ шарлатанской спекуляціи скороспѣлаго борзописанья, совсѣмъ вышелъ изъ области изящной словесности, потерялъ всякое литературное значеніе и обратился въ стереотипно-лубочныя издѣлія, украшающія иллюстрированныя изданія на ряду съ политипажами, шарадами и шахматными партіями. Мало-по-малу выработался даже для него свой шаблонъ, по которому ничего не стоитъ стряпать историческіе романы сотнями: во главѣ романа непремѣнно благонамѣренный герой, преисполненный патріотизма и посрамляющій русскою доблестью всѣ языцы, а также и отечественныхъ крамольниковъ, затѣмъ нѣсколько боевыхъ сценъ въ жанрѣ гр. Л. Толстого, рутинная любовь, проходящая черезъ всѣ части, а если у автора хватитъ фантазіи, то читатель въ удивленіи узнаетъ изъ романа, что главными виновниками крупнѣйшихъ событій всемірной исторіи являются

вовсе не тѣ историческія личности, о которыхъ повѣствуютъ Гервинусъ или Шлоссеръ, а Сергѣй Горбатовъ.

Представителемъ этого лубочнаго историческаго романа является старшій сынъ знаменитаго историка С. М. Соловьева, Всеволодъ Сергѣевичъ Соловьевъ. Онъ родился въ Москвѣ 1-го января 1849 г.; высшее образованіе получилъ въ Московскомъ университетѣ, кончивъ курсъ юридическаго факультета въ 1870 году со степенью кандидата правъ. Затѣмъ переселился въ Петербургъ и поступилъ на службу во II отдѣленіе Собственной Его Императорскаго Величества канцеляріи.

Въ концѣ шестидесятыхъ годовъ начали появляться въ повременныхъ изданіяхъ—*Русскомъ Вѣстникѣ*, *Зарѣ*, *Вѣстникѣ Европы* и пр. его стихи и повѣсти. Между прочимъ въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* и *Русскомъ Мірѣ* онъ помѣстилъ рядъ критическихъ статей въ духѣ искусства для искусства. Первая историческая повѣсть его появилась въ *Нивѣ* 1876 г.—*Княжна Острожская*. Затѣмъ послѣдовали романы: *Юный Императоръ (Нива* 1877), *Капитанъ гренадерской роты (Истор. библ.* 1878), *Царь-Дѣвица (Нива* 1878), *Касимовская невѣста (Нива* 1879), *Навожденіе (Русскій Вѣстникъ* 1870), *Сергѣй Горбатовъ (Нива* 1881) и *Вольтеріанецъ (Нива* 1882) и пр.

Значеніе и достоинство всѣхъ этихъ произведеній считаемъ вполнѣ опредѣленными тою характеристикою шаблоннаго историческаго романа, какая была нами только что представлена. Находимъ въ то-же время совершенно излишнимъ перечислять всѣхъ безчисленныхъ сподвижниковъ Соловьева, такихъ-же, какъ и онъ, лубочныхъ исторіографовъ мелкой прессы, ежедневно вновь появляющихся и безслѣдно исчезающихъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

I. Новая беллетристическая школа, вызванная реакціею семидесятыхъ годовъ, и ея особенности. — II. Андрей Осиповичъ Новодворскій.—III. Біографическія свѣдѣнія о жизни Всеволода Михайловича Гаршина.—IV. Характеристика его произведеній.

I.

Движеніе шестидесятыхъ годовъ кончилось реакціею, обнаружившеюся во всемъ обществѣ во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ. Вмѣсто прежнихъ ликованій и порываній впередъ явились апатія, уныніе, разочарованіе. Глухое недовольство и раздраженіе воцарились во всѣхъ классахъ общества и партіяхъ. Одни были недовольны совершившимися реформами, находя ихъ преждевременными и даже гибельными, другіе напротивъ того находили ихъ недостаточными, урѣзанными, лишь вполовину удовлетворившими потребностямъ края и только раздразнившими общественные аппетиты. И между тѣмъ какъ первые, не въ силахъ будучи отмѣнить реформы, болѣе или менѣе успѣшно предпринимали мѣры къ съуженію и парализованію ихъ, другіе не въ силахъ были ничѣмъ противодѣйствовать этому, кромѣ неудачныхъ попытокъ, приводившихъ къ новымъ репрессаліямъ, которыя порождали еще бо́льшее уныніе и отчаяніе.

Уменьшеніе пульса общественной жизни сказывалось во всемъ: и во всеобщемъ равнодушіи, съ какимъ принимались самыя возмутительныя и постыдныя новости дня, которыя въ прежнее время навѣрное встрѣтили-бы общій взрывъ негодованія и протеста, и въ отсутствіи высокихъ порывовъ и подъемовъ духа, а если случались единичныя проявленія подобнаго рода, то подымались на смѣхъ, или-же отъ нихъ отстранялись, какъ отъ чего-то нарушавшаго общій покой, а потому и несноснаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ явился и новый герой времени, непохожій на прежнихъ. Изъ полуразрушенныхъ усадебъ, изъ голодныхъ дворянскихъ семей, проѣвшихъ всѣ выкупныя свидѣтельства, вышло новое поколѣніе, худосочное, тщедушное, словно несущее на своихъ плечахъ грѣхи отцовъ и дѣдовъ и обреченное расплачиваться за нихъ. Трагичность лучшихъ представителей этого поколѣнія заключалась не въ однихъ неодолимыхъ внѣшнихъ препятствіяхъ къ осуществленію поставленныхъ вѣкомъ идеаловъ, но и въ видѣ унаслѣдованныхъ пороковъ и слабостей. Въ то время какъ общественныя стремленія призывали этихъ людей къ упорной борьбѣ и совершенію высокихъ подвиговъ, имъ приходилось сознавать, что они неспособны и къ маленькому труду ради прокормленія себя и своихъ голодающихъ семей. И вотъ мы видимъ, что одни ударились въ мрачный пессимизмъ чисто гамлетическаго характера, доводившій ихъ до безнадежнаго отчаянія и самоубійствъ. Послѣднія особенно сдѣлались часты въ этотъ періодъ, когда сплошь и рядомъ лишали себя жизни не только взрослые юноши, но и дѣти, мотивируя роковой шагъ то отвращеніемъ отъ жизни, то сознаніемъ безсилія бороться съ обстоятельствами. Другіе-же махали рукой на всѣ идеалы и высокія стремленія, предавались теченію и старались забыться и утопить свою совѣсть въ угарѣ чувственныхъ наслажденій, что было имъ тѣмъ легче, что они отъ отцовъ и дѣдовъ наслѣдовали наклонность ко всяческимъ чревоугодіямъ. Однимъ словомъ, гамлетическій пессимизмъ и сенсуализмъ, являющіеся неизмѣнными спутниками всѣхъ реакціонныхъ, сумерочныхъ эпохъ, не замедлили проявиться во всей своей силѣ въ концѣ семидесятыхъ годовъ.

Условія эти создали особеннаго рода беллетристическую школу, возникшую во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ и вполнѣ развившуюся втеченіе восьмидесятыхъ годовъ. Прежде всего васъ поражаетъ въ писателяхъ этой школы возрожденіе художественности, страсть къ красотѣ образовъ и формъ, тщательной, щеголеватой отдѣлкѣ произведеній въ техническомъ отношеніи. Никто изъ авторитетныхъ и вліятельныхъ критиковъ не проповѣдывалъ культа чистаго искусства, тѣмъ не менѣе мы видимъ, что даже Гаршинъ, который менѣе чѣмъ кто-либо могъ быть заподозрѣнъ въ этомъ культѣ, тщательно отдѣлывалъ свои произведенія, и по изяществу формъ, по языку они представляютъ безукоризненное совершенство. Эта реставрація художественности, поэзіи, красоты стоитъ навѣрное въ тѣсномъ отношеніи съ паденіемъ волны общественнаго движенія, которая до того времени уносила въ свой водоворотъ писателей и не давала имъ ни времени, ни охоты приглаживать и прихорашивать свои произведенія и кокетничать красотою формъ.

Суть-же этой беллетристической школы заключается въ томъ, что выводимые ею герои постоянно выражаютъ собою одинъ изъ двухъ вышеозначенныхъ элементовъ: они—или гамлеты-пессимисты съ развинченными нервами, или-же сенсуалисты. Духъ этихъ двухъ элементовъ проникаетъ и самыя про-

изведенія ихъ авторовъ. Конечно не у каждаго беллетриста мы видимъ совмѣщеніе обоихъ элементовъ. Такъ напримѣръ, у чистаго сердцемъ и цѣломудреннаго Гаршина и слѣда нѣтъ сенсуализма, но у прочихъ писателей этой школы вы встрѣтите въ большей или меньшей степени наклонность къ скабрезности, и въ особенности этимъ отличается. II. Ясинскій (Максимъ Бѣлинскій). Наклонность эта побудила даже критиковъ предполагать вліяніе на всѣхъ этихъ беллетристовъ французской натуралистической школы, и преимущественно Золя. Но очень возможно, что русскіе молодые писатели самостоятельно пришли къ тому-же результату, какъ и французскіе натуралисты, подъ вліяніемъ одного и того-же духа времени.

II.

Первый, обратившій на себя вниманіе и выдвинувшійся изъ этой группы молодыхъ беллетристовъ, былъ Андрей Осиповичъ Новодворскій, произведенія котораго печатались подъ псевдонимомъ А. Осиповичъ. Онъ родился въ 1853 году въ Кіевской губерніи, Липовецкаго уѣзда. Отецъ его былъ мелкій дворянинъ, захудалый шляхтичъ, безъ всякихъ средствъ къ существованію, кромѣ службы, дававшей ему 200 р. въ годъ на мѣстѣ смотрителя провіантскаго магазина. У него было много дѣтей, такъ что жалованья на содержаніе семьи не хватало, и Новодворскій въ раннемъ дѣтствѣ позналъ, что̀ такое нужда. Когда во время ревизіи залежавшаяся мука браковалась, и смотритель обязанъ былъ на свой счетъ замѣнять ее новой, своей, въ домѣ всѣ плакали, а отецъ, слишкомъ честный, чтобы подобно другимъ смотрителямъ спекулировать казенной мукой, впадалъ въ мрачное уныніе и съ тоскою смотрѣлъ на подростающихъ дѣтей. Дѣла Новодворскихъ нѣсколько поправились лишь тогда, когда мать получила въ наслѣдство домъ, а отцу пришла идея заняться хозяйствомъ и удалось взростить и выгодно продать нѣсколько быковъ. Это обстоятельство помогло Новодворскому поступить въ Немировскую гимназію.

Гимназія дала Новодворскому очень немного. Онъ съ горечью вспоминалъ о порядкахъ, какіе были заведены начальствомъ для обрусенія края, и неохотно говорилъ объ учителяхъ, коверкавшихъ молодое поколѣніе, поощрявшихъ шпіонство и этимъ путемъ насаждавшихъ патріотизмъ. Какъ и многіе изъ нашихъ даровитыхъ людей, Новодворскій былъ обязанъ своему развитію собственнымъ усиліямъ, а главнымъ образомъ чтенію. Лѣтъ 15—16 онъ былъ уже вліятельнымъ юношей: товарищи не только относились къ нему съ уваженіемъ, но и видѣли въ немъ чуть не идеалъ.

Гимназическій курсъ Новодворскій окончилъ въ 1870 году, семнадцати лѣтъ. Отецъ его умеръ, когда мальчикъ былъ еще въ низшихъ классахъ, и дѣла родныхъ пришли въ такое разстройство, что мать и сестры нерѣдко голодали. Съ 13 лѣтъ пришлось мальчугану заботиться о поддержаніи семьи учительствомъ. Въ Немировѣ онъ считался первымъ репетиторомъ и зарабатывалъ иногда до 50 руб. въ мѣсяцъ,—но это рѣдко. По большей-же части юношѣ приходилось выносить массу каторжнаго труда для пріобрѣтенія самаго мизернаго гонорара. Были предприниматели, которые брали къ себѣ учениковъ и приглашали заняться съ ними Новодворскаго, платя ему гроши, а сами получали изрядныя суммы. Объ одномъ изъ такихъ барышниковъ онъ

всю жизнь вспоминалъ съ особеннымъ отвращеніемъ. Какую страшную нужду терпѣлъ Новодворскій впродолженіе всей своей жизни, объ этомъ можно судить по слѣдующей выдержкѣ изъ его дневника:

«Голодъ! Когда ты оставишь меня? Вѣчный физическій или душевный голодъ!.. Да будь хоть семи пядей во лбу, а если тебя бросить въ бездонное болото, ты такъ же прекрасно потонешь, какъ самый слабый смертный! Вши такъ же преспокойно могутъ заѣсть нищаго рабочаго, какъ заѣли-бы Гёте, еслибы у него не было бѣлья, платья и жратвы... «Грязь! Это—злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но она произнесена въ другое время; она вырвалась у меня, какъ стонъ больной души, а потому я поставилъ ее въ кавычки, какъ изреченіе. Это было шесть лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы; не ѣлъ двое сутокъ, и въ такомъ видѣ пріѣхалъ въ Винницу. До дому оставалось 45 в., которыя надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ. Дождь, грязь, слякоть. Со мной не было вещей, но зато, можно сказать, и штановъ не было, потому что тѣ тончайшіе лѣтніе панталоны, что были на мнѣ, въ смыслѣ удобства можно было признать равными нулю; кромѣ того ботинки (тоненькія, помню, ботинки), шинелишка и башлыкъ. Безъ отдыха по этой дорогѣ я прошелъ тридцать верстъ, и зато потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ».

Тяжелѣе всего пришлось ему тянуть лямку домашняго учителя и гувернера у какихъ-то графовъ. Въ головѣ его начинала даже мелькать мысль о самоубійствѣ. Обстановка была несносная: тонкія и политичныя отношенія и рядъ мелкихъ оскорбленій, облеченныхъ въ весьма вѣжливую форму. «Мечтаешь о подвигахъ, а тутъ приходится вести такую мелочную борьбу, что просто брезгливость возбуждаетъ», пишетъ Новодворскій. Комнату ему дали возлѣ птичника, а затѣмъ перевели въ сырую квартиру. «Всю осень и зиму въ этой комнатѣ ни разу не топили. Я изображаю такимъ образомъ просто приборъ для осушки негоднаго помѣщенія своимъ дыханіемъ и уничтоженія міазмовъ своими бѣдными легкими»... Въ гимназіи Новодворскій былъ здоровъ и силенъ, какъ атлетъ, и его студенческую палку не всякій могъ поднять, но въ то время здоровье его уже сильно разстроилось. Ему было 23 года, а онъ уже выглядѣлъ 35-ти-лѣтнимъ.

Такая сокрушающая нужда не помѣшала однако-же ему слушать лекціи на математическомъ факультетѣ въ Кіевѣ, а въ 1876 г. онъ пробрался въ Петербургъ и въ 1877 году дебютировалъ своею первою повѣстью *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны*, напечатанною въ іюньской книжкѣ *Отечественныхъ Записокъ*. Повѣсть эта обратила на себя общее вниманіе, провинція зачитывалась ею. Литературный трудъ нѣсколько улучшилъ его матеріальное положеніе. Жилъ онъ въ послѣднее время по его собственнымъ словамъ «роскошно». Эта роскошь заключалась въ томъ, что весь учительскій заработокъ въ количествѣ 30, 40 р. онъ могъ тратить на себя, а литературный гонораръ отсылалъ роднымъ и жилъ въ крошечныхъ комнаткахъ, платя за нихъ отъ 10 до 15 рублей въ мѣсяцъ, а обѣдалъ въ кухмистерскихъ за 40 копѣекъ.

Вотъ какъ характеризуетъ его I. I. Ясинскій, авторъ его некролога:

«Конечно, надломленный жизнью, онъ сурово относился къ счастливцамъ, которымъ судьба не была мачихой, и поэтому многіе находили его сухимъ, черствымъ человѣкомъ. Одна барыня-сибаритка заговорила съ нимъ о любви, какъ съ литераторомъ, который долженъ тонко понимать страданія нѣжныхъ сердецъ. Онъ сказалъ ей въ отвѣтъ: «сударыня, вы съ жиру бѣситесь». Всякое внѣшнее проявленіе сентиментальности, восторгъ передъ картиной или вообще художественнымъ произведеніемъ онъ обрывалъ съ такой-же грубостью. Это не потому, чтобы онъ былъ чуждъ такихъ восторговъ—онъ напримѣръ любилъ картины и даже самъ хорошо рисовалъ—а потому, что ему казалось уродливымъ явленіемъ расходовать нравственную эмоцію на то, что можно назвать низшимъ родомъ нравственнаго наслажденія и въ то-же время игнорировать высшій родъ «этихъ наслажденій».

«Ничто не можетъ быть выше нравственной красоты,—говорилъ онъ,—и мы живемъ въ такое время, когда красота эта достигаетъ идеала. Восторгъ передъ этой красотой поглощаетъ всѣ другіе восторги».

«Но если онъ былъ грубоватъ и сухъ съ людьми, которыхъ не считалъ своими и которыхъ художническая прозорливость позволяла ему видѣть насквозь со всѣми ихъ мелкими, себялюбивыми побужденіями, за-то онъ былъ нѣженъ и деликатенъ съ друзьями, которыхъ впрочемъ у него было немного. Горячее сердце его было открыто для нихъ, какъ и его убогій кошелекъ. Я никогда не зналъ болѣе обязательнаго и теплаго человѣка, какъ покойный Андрей Осиповичъ... Искренній, прямой, онъ никогда не лукавилъ съ людьми, былъ безукоризненно чистъ и умѣлъ беззавѣтно привязывать къ себѣ.

«Въ его манерѣ говорить, ходить, одѣваться, кланяться чувствовался южанинъ, нѣсколько застѣнчивый, но полный юмора, потому что тонкая наблюдательность и умѣнье схватывать смѣшныя стороны даннаго положенія никогда не покидали его, и даже когда онъ молчалъ, по его свѣтлымъ глазамъ можно было видѣть игру этого органическаго юмора, отъ котораго онъ не могъ отдѣлаться. На югѣ, на правомъ и на лѣвомъ берегу Днѣпра, можно нерѣдко встрѣтить людей весьма похожихъ на Андрея Осиповича, у которыхъ внутреннія терзанія и цѣлыя душевныя драмы прикрываются юморомъ, даже каламбуромъ. Это ужъ особенность расы. Нѣкоторые, читая разсказы Андрея Осиповича, полагали, что ему стоила большихъ трудовъ его манера писать. Но я зналъ хорошо этого человѣка и утверждаю, что напротивъ ему стоило большихъ трудовъ не писать въ этой манерѣ, когда ему совѣтовали сохранить юморъ, придающій такой блескъ его произведеніямъ, воздержаться отъ каламбурничанья, ибо каламбуръ всегда антихудожественъ.

«Обладая большой начитанностью и широкимъ умомъ, Андрей Осиповичъ при томъ талантѣ, который несомнѣнно отличаетъ его произведенія, могъ бы выработать изъ себя съ теченіемъ времени крупную литературную силу. Но жестокая борьба за жизнь черезчуръ рано погасила этотъ благородный талантъ».

1878—1880 гг. были особенно гибельны для здоровья Новодворскаго. Онъ перенесъ два тифа и сталъ кашлять. Зловѣщіе признаки чахотки, которую онъ считалъ «легонькимъ бронхитомъ», появились въ серединѣ лѣта 1881 года, когда онъ пожилъ на дачѣ въ крошечной комнаткѣ съ сквознымъ вѣтромъ и течью. Онъ поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ еще болѣе простудился отъ дождя (фигурирующаго въ предсмертномъ разсказѣ его *Исторія*) и, снова появившись въ августѣ въ Петербургѣ, испугалъ друзей своимъ чахоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ за-границу съ тѣмъ, чтобы не возвращаться на родину: 2-го апрѣля 1882 года онъ умеръ въ Ниццѣ на двадцать девятомъ году въ крайней нищетѣ, въ казенной больницѣ и въ полномъ одиночествѣ.

Мы говорили выше, что первый-же разсказъ Новодворскаго — *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны* обратилъ на себя общее вниманіе и заставилъ видѣть въ авторѣ блестящую надежду. И дѣйствительно, отъ него сразу повѣяло на всѣхъ чѣмъ-то молодымъ, свѣжимъ и совершенно новымъ. Самая форма произведенія поражала оригинальностью и какъ-бы полнымъ разрывомъ съ завѣщанными традиціями. Она совершенно отступала отъ прилизанной, прикрашенной и припомаженной беллетристической формы, созданной сороковыми годами. Южно-русскій юморъ, смѣлое введеніе въ разсказъ не только классическихъ литературныхъ типовъ (Печорина, Рудина, Базарова и пр.), но и самого Тургенева, котораго авторъ заставилъ разговаривать съ героемъ его *Нови*, Соломинымъ, безпрестанныя то лирическія, то юмористическія отступленія и прихотливое изложеніе, слѣдующее болѣе полету фантазіи и игрѣ сцѣпляющихся мыслей, чѣмъ внѣшнему развитію сюжета, все это напоминаетъ гейневскую прозу, и читатель отдыхалъ отъ монотонной рутины пріѣвшагося ему стараго беллетристическаго изложенія, расположеннаго по разъ установленному рутинному порядку.

Но главное значеніе разсказовъ Новодворскаго заключается въ томъ, что здѣсь юное поколѣніе устами лучшаго своего представителя открыло намъ всѣ свои муки и сомнѣнія, чѣмъ оно живетъ и къ чему оно стремится. Особенно въ этомъ отношеніи замѣчательны два первые разсказа: *Эпизодъ изъ жизни ни павы, ни вороны* и *Карьера*. Въ обоихъ разсказахъ рисуется передъ вами одинъ и тотъ-же герой, отъ лица котораго ведется рѣчь; но во второмъ разсказѣ герой этотъ изображенъ рельефнѣе и освѣщенъ правильнѣе и сознательнѣе. Когда Новодворскій писалъ *Эпизодъ*, онъ хотя и вѣрно представлялъ себѣ типъ своего героя, какъ художникъ, но, какъ мыслитель, очевидно не успѣлъ вполнѣ осмыслить его и сознать его мѣсто въ жизни. Вслѣдствіе этой смутности сознанія онъ создалъ цѣлую теорію «ни павства, ни воронства», подъ которую подвелъ всѣхъ и вся: и своего героя, и самого себя, и другого героя изъ народа, Печерицу, и даже самого Бѣлинскаго.

«Ни павство, ни воронство» всѣхъ этихъ личностей, по мнѣнію Новодворскаго, заключалось въ томъ, что они отъ одного берега отстали, а къ другому не пристали. Но если это и можетъ быть примѣнимо къ героямъ Новодворскаго, то совсѣмъ въ обратномъ смыслѣ, чѣмъ къ Бѣлинскому,—именно въ томъ, что въ то время какъ жизнь внушила имъ новые идеалы и поставила ихъ въ новыя экономическія условія, натура ихъ оставалась старая, ни мало не соотвѣтствующая новымъ идеаламъ и условіямъ. По завѣту отцовъ и дѣдовъ они были воспитаны для дворянскаго благодушія, а между тѣмъ условія, необходимыя для этого благодушія, были отъ нихъ отняты. Крестьянъ отобрали; послѣднія выкупныя свидѣтельства были прожиты; поля начали заростать бѣлоусомъ, усадьбы ветшать, службы разваливаться; сады превратились въ непролазныя чащи; наконецъ всѣмъ этимъ завладѣлъ Деруновъ, — и семьи героевъ нашихъ быстро дошли до послѣдней степени нищеты.

«Мы, — повѣствуетъ герой *Карьеры*, — прожили послѣднія крохи, оставшіяся послѣ отца, и быстро скатились по наклонной плоскости разоренія. Новая квартира обходилась намъ по рублю въ мѣсяцъ. Это была половина избы какого-то отставного унтера, представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединенныя не дверью, а промежуткомъ между кухонною печью и выступомъ противоположной стѣны. Первая отъ входа поступила въ мое владѣніе, вторую заняли мать съ сестрами. У меня было оконце и у нихъ оконце»...

Эта нищета была ужаснѣе той, какую терпятъ люди низшихъ слоевъ общества. Тѣ что-нибудь умѣютъ дѣлать и для нихъ представляется возможность найти хотя-бы самый скудный кусокъ хлѣба. Здѣсь-же вы видите полную растерянность, неумѣнье ни за что взяться, ни въ чемъ найтись, и въ концѣ концовъ безвыходное отчаянье. Люди простого класса способны сами о себѣ позаботиться, обшить себя, обмыть и т. п., а здѣсь привыкли, чтобы за нихъ все дѣлали другіе, и потому теперь по шею тонутъ въ грязи. Но зато попадетъ имъ случайно въ руки лишній грошъ, въ видѣ подачки или заложенной у еврея фамильной брошки, сейчасъ-же онъ ставится ребромъ, и въ то время, какъ забываютъ о необходимости заштопать безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на столѣ являются конфекты и всякія финтифлюшки.

А что-же дѣлаютъ въ это время молодые представители рода, наши герои? Они занимаются благороднымъ дѣломъ: лежатъ на диванѣ и мечтаютъ о широкой дѣятельности. При этомъ, несмотря на то, что кончили ученье, они не чувствуютъ ни малѣйшаго призванія къ какому-нибудь дѣлу; для нихъ рѣ-

шительно все равно, за что-бы ни приняться, и ихъ занимаетъ не самое дѣло, а ихъ собственная фигура, блистающая на героическомъ пьедесталѣ. Это одинъ изъ существенныхъ міазмовъ, какіе бродятъ въ крови героевъ по завѣщанію отцовъ и дѣдовъ. Они никакъ не могутъ вообразить такого порядка вещей, чтобы собрались люди изъ любви къ самому дѣлу, а не къ пьедесталу, уважали и любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не пресмыкающихся рабовъ, чтобы дѣйствовали любовно, сообща, по взаимному совѣту, настолько-же подчиняли товарища-брата, насколько сами подчинялись ему. Для нихъ необходимо, чтобы они гордо возвышались надъ толпою и тысячи народа повиновались ихъ голосу, а на нихъ съ восторгомъ любовались-бы женскія очи.

Но одною этою гангреною не ограничивается дѣло. Отцы и дѣды завѣщали потомкамъ еще одинъ міазмъ, преобладающій въ ихъ организмѣ и съѣдающій ихъ, именно: необузданное сластолюбіе и чревоугодіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стимуломъ всѣхъ мыслей и дѣлъ является юбка. Куда-бы ни забросила ихъ судьба, они тотчасъ-же первымъ дѣломъ оглядываются вокругъ себя, нѣтъ-ли гдѣ вблизи подходящаго сюжета для романа, а если возможно, то и для нѣсколькихъ. Что̀-бы они ни предприняли, въ концѣ концовъ оказывается, что это дѣлается спеціально ради побѣды надъ непреклоннымъ женскимъ сердцемъ, или-же роковымъ путемъ сводится къ той-же неизмѣнной любовной интрижкѣ. Надо замѣтить при этомъ, что любовь принимаетъ въ глазахъ подобныхъ героевъ характеръ какого-то священнодѣйствія. Благородная героиня никогда не спустится до того, чтобы признаться, что она жаждетъ любви; нѣтъ, она жаждетъ дѣла, жертвы. А у героя помышленія нѣтъ о томъ, чтобы срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, онъ подвиговъ, мученичества жаждетъ! Но подъ всей этой напыщенной риторикой высокихъ стремленій у этихъ господъ скрывается самая низменная чувственность. До какой степени развращено и изгажено бываетъ ихъ воображеніе, объ этомъ мы можемъ судить по герою *Карьеры*. Случайно на улицѣ въ Петербургѣ онъ познакомился съ дѣвушкой, которая подобно ему пріѣхала учиться, голодала и тщетно искала уроковъ. Бѣдняжка нѣсколько дней не ѣла и находилась въ такомъ изнеможеніи, что герой съ трудомъ дотащилъ ее до своей коморки и уложилъ на свою постель. Она начала метаться, бредить, у нея очевидно развивался голодный тифъ. И вотъ мы читаемъ:

«Она забормотала какую-то безсмыслицу, стала метаться на постели и рвать платье. Я разстегнулъ ей юбку, снялъ башмаки, чулки, сильно заштопанные на носкахъ и съ влажными желтыми пятнами на подошвахъ, вытеръ досуха худыя, почти дѣтскія ноги и прикрылъ ихъ одѣяломъ».

Словомъ, герой сдѣлалъ то, что̀ былъ обязанъ сдѣлать каждый порядочный и незачерствѣлый человѣкъ. Но и тутъ, у постели умирающей, не забылъ онъ своихъ клубничныхъ грезъ и къ вышеприведенной тирадѣ прибавилъ слѣдующія слова: «т. е. продѣлалъ все, что̀ при другихъ обстоятельствахъ моглобы составить весьма пикантную страницу романа».

Рядомъ съ такою кощунственною фразою сопоставьте разсужденіе героя *Эпизода* о преимуществѣ бѣлыхъ женскихъ чулокъ передъ цвѣтными для возбужденія въ мужчинѣ страсти,—и вы поймете, чѣмъ наполнены головы героевъ Новодворскаго.

И вотъ эти-то герои, испакощенные физическими и нравственными міазмами, завѣщанными предками, рѣшаются, повинуясь духу времени, сжечь за

собою корабли, свергнуть съ себя ветхаго человѣка и отъ риторики перейти къ дѣлу, и даже не къ какому-нибудь головоломно-хитрому или высокому, а лишь къ азбукѣ дѣла: впрячься въ трудовую лямку рабочаго человѣка. Но тутъ комедія превращается въ трагедію, подводится роковой, окончательный итогъ всей жизни героевъ. Какъ герои, они не могутъ избрать сообразную ихъ истощеннымъ силамъ работу, а дерзаютъ приняться за такой богатырскій трудъ, какъ тасканіе десяти-пудовыхъ кулей или бревенъ, — ну, и конечно терпятъ постыдное fiasco, какимъ ознаменовалъ свое подвижничество герой *Карьеры*, и затѣмъ начинаются муки отчаянія и помышленія о самоубійствѣ.

Вотъ передъ вами разгадка уединенныхъ выстрѣловъ, раздававшихся такъ часто втеченіе восьмидесятыхъ годовъ. Они являются прямымъ результатомъ отрезвленія героевъ Новодворскаго отъ самообожанія, отчаяннаго сознанія несостоятельности. Герои успѣли постыдно убѣжать отъ всего, что̀ призывало ихъ: отъ родныхъ, взывавшихъ къ нимъ о помощи, отъ женщинъ, которыя полюбили ихъ, отъ ученья, отъ дѣла, оказавшагося имъ не по силамъ,—и что-же оставалось имъ дѣлать, какъ не бѣжать отъ самой жизни?

Но въ послѣдніе годы недолгой литературной дѣятельности были у Новодворскаго попытки изображать типы молодого поколѣнія иного рода, болѣе положительные, цѣльные и отрадные, вышедшіе изъ иной среды, не столь растлѣнной. Уже въ *Карьерѣ* вывелъ онъ героя совсѣмъ иного закала въ видѣ Стремилина, съ характерною кличкою злючки, являющагося мстителемъ за поруганную честь любимой дѣвушки. Въ разсказѣ *Романъ* подобный-же типъ въ лицѣ Алешки очерченъ болѣе полно; въ то время, какъ Стремилинъ представленъ въ одномъ отрицательномъ видѣ мстителя, здѣсь тотъ-же герой является и съ положительной стороны, въ качествѣ спасителя молодой и неопытной дѣвушки отъ гибельнаго увлеченія пошлякомъ. Но и здѣсь типъ этотъ лишь отмѣченъ и далеко не является передъ вами во весь ростъ, въ полномъ и всестороннемъ изображеніи.

Въ послѣднихъ-же повѣстяхъ Новодворскаго *Мечтатели* и *Исторія* хотя и изображаются, въ свою очередь, положительные герои, но рисуются еще въ большемъ туманѣ, вслѣдствіе того, что, дѣлая неосуществимыя по цензурнымъ условіямъ попытки изображать своихъ героевъ въ самыхъ дѣйствіяхъ, дѣйствій то этихъ авторъ и не могъ представить. Герои мало того, что совершаютъ свои главные поступки гдѣ-то за кулисами, авторъ словечка не молвитъ о томъ, что̀ они дѣлаютъ, но иногда они и совсѣмъ не выходятъ на сцену, какъ напр. въ *Мечтателяхъ* невѣдомый Псевдонимовъ.

III.

Одновременно съ Новодворскимъ выступилъ на литературное поприще Всеволодъ Михайловичъ Гаршинъ, столь-же преждевременно окончившій свою жизнь, но еще болѣе талантливый и оставившій послѣ себя яркій слѣдъ въ нашей литературѣ.

Гаршинъ родился 2-го февраля 1855 года въ Екатеринославской губерніи, въ Бахмутскомъ уѣздѣ, въ имѣніи бабки А. С. Акимовой. Отецъ его былъ мелкій помѣщикъ на военной службѣ. Вслѣдствіе этого Гаршину съ нѣжнаго

дѣтства пришлось много постранствовать, перебывать въ разнообразныхъ мѣстностяхъ Россіи. Деревни Екатеринославской губерніи, Харьковъ, Старобѣльскъ, Петербургъ, Петрозаводскъ,—вотъ какія разнообразныя воспоминанія оставило дѣтство Гаршину. Уже съ первыхъ лѣтъ жизни онъ обнаруживалъ многія качества, характеризовавшія его и въ зрѣломъ возрастѣ: былъ такъ-же добръ, мягокъ, кротокъ, всѣми любимъ, проявлялъ ту-же способность увлекаться. Наслушавшись въ домѣ отца разсказовъ о походахъ и войнахъ, онъ четырехъ лѣтъ рѣшился идти на войну, принялся за сборы, прощался съ родными, горько плача, и большого труда стоило отвлечь его отъ этой идеи. Внѣшнія условія дѣтской жизни Гаршина были далеко не изъ благопріятныхъ: ребенкомъ еще пришлось ему перенести, что̀ выпадаетъ на долю лишь немногихъ. Это имѣло большое вліяніе на складъ его характера, многія особенности котораго онъ самъ объяснялъ именно печальными фактами своего дѣтства. Грамотѣ научился онъ на пятомъ году и принялся за чтеніе всѣхъ книгъ, какія попадались ему подъ руки, не исключая нумеровъ *Современника*, гдѣ, будучи восьми лѣтъ, онъ читалъ романъ *Что дѣлать?* Чернышевскаго. Когда ему минуло девять лѣтъ, въ 1864 году, онъ былъ привезенъ матерью въ Петербургъ и опредѣленъ въ первый классъ С.-Петербургской 7-й гимназіи (нынѣ 1-е реальное училище). Учился онъ хорошо и оставилъ пріятныя воспоминанія въ своихъ учителяхъ и воспитателяхъ. Товарищи, въ свою очередь, души въ немъ не чаяли, и онъ пріобрѣлъ среди нихъ много друзей, съ которыми до смерти поддерживалъ задушевныя отношенія. Впродолженіе гимназическаго курса Гаршинъ обнаруживалъ страсть къ естествознанію. Особенно лѣтомъ въ деревнѣ онъ весь отдавался своей любви къ природѣ, вѣчно возился съ лягушками, ящерицами и жуками, собиралъ гербаріи и т. п.

Внѣшнія условія жизни Гаршина и въ гимназическіе годы оставались мало благопріятными. Дѣло доходило до того, что въ 1868 году Гаршинъ, тринадцати-лѣтній еще мальчикъ, долженъ былъ одинъ, безъ провожатыхъ, ѣхать изъ Старобѣльска въ Петербургъ къ началу занятій въ гимназіи. Впрочемъ съ этого времени условія жизни его улучшились, такъ какъ онъ устроился въ симпатичной семьѣ одного изъ своихъ товарищей, В. Н. Афанасьева. Скоро, благодаря другому товарищу, В. М. Латкину, онъ нашелъ доступъ въ семью А. Я. Герда, которому, какъ самъ выражался, былъ обязанъ болѣе, чѣмъ кому-либо другому, въ дѣлѣ умственнаго и нравственнаго развитія. По переходѣ въ шестой классъ Гаршинъ былъ принятъ въ пансіонъ на казенный счетъ.

Въ старшихъ классахъ гимназіи Гаршинъ все болѣе и болѣе уходилъ въ книги. Онъ учредилъ даже вмѣстѣ съ нѣсколькими товарищами общество составленія библіотеки: на членскіе взносы и добровольныя пожертвованія пріобрѣтались экономическими способами книги, и друзья сами переплетали ихъ. Въ то-же время Гаршинъ началъ уже пописывать, участвуя въ гимназическихъ рукописныхъ журналахъ, издававшихся товарищами.

Въ концѣ 1872 года, когда Гаршинъ былъ въ седьмомъ классѣ, его впервые посѣтилъ душевный недугъ, сведшій его впослѣдствіи въ могилу. Родные должны были помѣстить его въ больницу св. Николая. Болѣзнь шла crescendo, и въ началѣ 1873 года онъ былъ уже настолько боленъ, что къ нему не пускали навѣщавшихъ его. Иногда на него находили минуты просвѣтлѣнія, и онъ вспоминалъ все, что̀ дѣлалъ въ періоды безумія. Но мало-по-малу здоровье его оправилось. Когда онъ былъ взятъ изъ больницы, у него оставались лишь нервные

припадки по ночамъ. Помѣщенный въ лечебницу д-ра Фрея лѣтомъ 1873 года, онъ окончательно выздоровѣлъ.

Окончивши курсъ гимназіи въ 1874 году, Гаршинъ поступилъ въ Горный институтъ. Къ этому времени относится знакомство его съ кружкомъ художниковъ (И. Е. Рѣпинымъ, Н. А Ярошенкомъ, М. Е. Малышевымъ и проч.), дружбу съ которыми онъ сохранилъ до смерти. Это знакомство много содѣй-



В. М. Гаршинъ.

ствовало развитію въ Гаршинѣ художественнаго вкуса и пониманія живописи, которые онъ обнаружилъ въ нѣсколькихъ статьяхъ о художественныхъ выставкахъ. Курсовыми предметами онъ занимался лишь настолько, насколько это требовалось, и всецѣло отдался мысли сдѣлаться писателемъ. Онъ писалъ много, но истреблялъ все написанное, будучи недоволенъ своими работами. Въ 1876 году онъ рѣшился-таки выступить въ печати и напечаталъ маленькій разсказъ, которому впрочемъ не придавалъ значенія, равно и статьямъ о художествен-

ныхъ выставкахъ, появившихся вскорѣ затѣмъ въ *Новостяхъ*, и считалъ начало своей литературной дѣятельности съ 1877 года.

Когда началась сербская война, Гаршинъ, отъ природы крайне впечатлительный, постоянно высказывавшій кровное убѣжденіе свое объ обязанности каждаго принять на себя долю общаго бѣдствія войны, едва могъ воздержаться отъ участія въ ней, будучи на очереди по всеобщей воинской повинности. За-то, когда появился манифестъ о войнѣ съ Турціей, онъ не могъ долѣе терпѣть: бросилъ переходные экзамены со второго на третій курсъ и отправился въ дѣйствующую армію съ товарищемъ В, Н. Афанасьевымъ. Въ Кишиневѣ онъ поступилъ рядовымъ въ 138-й болховской пѣхотный полкъ и черезъ день выступилъ въ походъ.

Гаршину пришлось принять участіе въ двухъ дѣлахъ съ турками. Первое было небольшою стычкою, послѣ которой были посланы войска для уборки и погребенія труповъ. Здѣсь-то былъ найденъ среди труповъ живымъ сослуживецъ Гаршина, четыре дня остававшійся на полѣ сраженія съ перебитыми ногами, безъ пищи и воды. Этотъ случай и послужилъ темой для перваго разсказа Гаршина *Четыре дня*, который онъ началъ сочинять уже во время похода. Вторымъ дѣломъ, въ которомъ участвовалъ Гаршинъ, было сраженіе при Аясларѣ, описанное имъ въ *Новостяхъ*. Въ реляціи объ этомъ сраженіи сказано, что «рядовой изъ вольноопредѣляющихся, В. Гаршинъ, примѣромъ личной храбрости увлекъ впередъ товарищей въ аттаку, во время чего и раненъ въ ногу».

Препровожденный съ другими ранеными въ Бѣлу, Гаршинъ 4-го сентября былъ доставленъ въ Харьковъ, гдѣ и провелъ время выздоровленія, до конца декабря, въ домѣ матери. Въ первые-же дни по пріѣздѣ въ Харьковъ онъ принялся за обработку разсказа *Четыре дня*, начатаго еще въ Болгаріи. Разсказъ былъ посланъ въ *Отечественныя Записки* и появился въ № 10 этого журнала за 1877 годъ, произведя сенсацію, благодаря своему содержанію изъ военныхъ событій, поглощавшихъ въ то время вниманіе общества, равно и блестящему таланту автора.

Окрыленный этимъ успѣхомъ, пріѣхавши въ Петербургъ, съ жаромъ принялся Гаршинъ за пополненіе своего образованія чтеніемъ и университетскими лекціями, которыя онъ слушалъ втеченіе полугода, и за новыя литературныя работы. Съ 1878 по 1880 годы были написаны имъ: *Очень маленькій романъ*, *Происшествіе*, *Трусъ*, *Встрѣча*, *Художники*, *Attalea princeps*, *Ночь*. Впродолженіе этого времени здоровье его было относительно цвѣтуще, исключая лѣтнихъ мѣсяцевъ, когда его посѣщали припадки мучительной меланхоліи. Но посѣтившіе его припадки въ 1879 году уже не прекращались и зимою, и къ веснѣ 1880 года разразились кризисомъ возврата его душевной болѣзни. Болѣзнь эта обнаружилась тѣмъ, что вслѣдъ за покушеніемъ Млодецкаго на представителя верховной распорядительной коммисіи, графа Лорисъ-Меликова, Гаршинъ явился ночью къ послѣднему, убѣдить его въ необходимости «примиренія» и «всепрощенія». Будучи допущенъ къ графу, онъ долго бесѣдовалъ съ нимъ. Графъ отнесся къ нему, какъ къ больному, и отпустилъ его. Затѣмъ Гаршинъ уѣхалъ изъ Петербурга въ Москву, и начались безцѣльныя скитанія его то пѣшкомъ, то верхомъ изъ одной губерніи въ другую, причемъ онъ посѣщалъ гр. Л. Толстого въ Ясной Полянѣ, родителей критика Писарева. Все это онъ совершалъ въ полномъ помѣшательствѣ, пока увѣ-

домленные родственники не настигли его, увезли въ Харьковъ и препроводили въ больницу умалишенныхъ на Сабуровой дачѣ. Пробывъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, Гаршинъ былъ перевезенъ въ Петербургъ, въ лечебницу д-ра Фрея. Здѣсь онъ поправился отъ помѣшательства, но все-таки былъ совершенно разбитъ физически и нравственно. Въ такомъ видѣ его привезли къ роднымъ въ Харьковъ, а отсюда взялъ его дядя В. С. Акимовъ въ свое имѣніе, д. Ефимовку въ Херсонской губерніи, возлѣ Днѣпровско-Бугскаго лимана.

Въ деревнѣ этой Гаршинъ прожилъ съ конца 1880 г. до весны 1882 г. Мѣсто это крайне уединенное вполнѣ подходило къ состоянію больного по отсутствію рѣзкихъ впечатлѣній, полному спокойствію и степному раздолью. Къ тому-же родственники, у которыхъ жилъ Гаршинъ, были крайне добры къ нему, и онъ всегда вспоминалъ съ удовольствіемъ о своемъ житьѣ въ этой прекрасной семьѣ. Онъ велъ регулярный образъ жизни, правильно питался, ходилъ и ѣздилъ по окрестностямъ, катался зимою на конькахъ по лиману. При такихъ условіяхъ весною въ началѣ 1882 г. онъ былъ настолько здоровъ, что могъ написать свою прелестную сказочку *То, чего не было*, для дѣтей А. Я. Герда, задумавшихъ издавать рукописный дѣтскій журналъ *Маленькій корабликъ*.

Проживши лѣто 1882 года въ имѣніи Тургенева, Спасское-Лутовиново, въ обществѣ семейства Я. П. Полонскаго, осенью Гаршинъ снова былъ въ Петербургѣ. Не разсчитывая жить литературными заработками, онъ сталъ искать постороннихъ занятій, сначала поступилъ въ помощники управляющаго торговою частью Анноловской писчебумажной фабрики и въ слѣдующемъ году получилъ мѣсто секретаря съѣзда представителей желѣзныхъ дорогъ. Въ слѣдующемъ-же, 1883 году 11 февраля онъ женился на слушательницѣ женскихъ врачебныхъ курсовъ Надеждѣ Михайловнѣ Золотиловой.

Съ этого времени жизнь его повидимому вполнѣ входитъ въ норму и устраивается. Въ семейномъ отношеніи Гаршинъ чувствуетъ себя такимъ счастливцемъ, что даже удивляется своему счастью, находя его исключеніемъ изъ матримоніальныхъ порядковъ. Кромѣ взаимной любви и соотвѣтствія характеровъ, большое значеніе имѣло для Гаршина, что его жена была женщина-врачъ. Больной, онъ нуждался не только въ заботливомъ уходѣ, но и въ разумномъ медицинскомъ присмотрѣ. Матеріальныя заботы были сняты съ Гаршина, благодаря мѣсту, которое, вознаграждая его въ размѣрахъ, достаточныхъ для покрытія скромныхъ его потребностей, отнимало отъ него весьма немного времени. Онъ могъ писать, когда хотѣлъ. Съ жаромъ принялся онъ за работу. Къ этому времени относятся его разсказы: *Записки рядового Иванова*, *Красный цвѣтокъ*. Въ то-же время онъ задумалъ историческій романъ изъ эпохи Петра I и до самой смерти занимался приготовленіемъ матеріаловъ и историческими чтеніями для этой работы.

Но счастье его было непродолжительно. Только одинъ годъ удалось ему прожить безъ возврата болѣзни. Уже съ 1884 года снова начала посѣщать его прежняя меланхолія, ежегодно являвшаяся весною и проходившая лишь осенью, причемъ припадки ея дѣлались съ каждымъ разомъ продолжительнѣе и сильнѣе. При такихъ условіяхъ работать ему удавалось лишь въ зимніе мѣсяцы, да и то съ большимъ трудомъ. Въ послѣдніе четыре года жизни онъ только и успѣлъ написать повѣсть *Надежда Николаевна* и два разсказа:

Сигналъ и *Гордый Аггей.* Въ 1887 году болѣзнь посѣтила Гаршина поздно. среди лѣта, но за-то не проходила болѣе: весною-же 1888 года обнаружились нѣкоторые признаки возврата помѣшательства. И вотъ во время сборовъ на Кавказъ, въ припадкѣ глубокой меланхоліи, Гаршинъ бросился въ пролетъ лѣстницы дома, въ которомъ жилъ, и 24 го марта его не стало.

IV.

Въ одномъ изъ писемъ къ своимъ друзьямъ, 1-го мая 1885 г., слѣдовательно за три года до смерти, когда большинство его произведеній было уже написано, Гаршинъ, сѣтуя на неудачу своей повѣсти *Надежда Николаевна*, между прочимъ такъ опредѣляетъ свой талантъ: «для меня прошло время страшныхъ отрывочныхъ воплей, какихъ-то «стиховъ въ прозѣ», какими я до сихъ поръ занимался: матеріалу у меня довольно, и *нужно изображать не свое я, а большой внѣшній міръ.*

Судя по этимъ словамъ, можно думать, что произведенія Гаршина отличаются крайнею субъективностью. Это не совсѣмъ вѣрно. Если у Гаршина и найдется не мало произведеній, въ которыхъ онъ имѣетъ дѣло съ своей собственною личностью, думами, сомнѣніями и рефлексіями, каковы: *Четыре дня, Трусъ, Ночь, Красный Цвѣтокъ, Attalea princeps* и *То, чего не было*, за то наберется не менѣе и такихъ, въ которыхъ онъ вполнѣ отрѣшенъ отъ себя. Очевидно ничего общаго съ его личностью не имѣютъ произведенія: *Встрѣча, Происшествіе, Деньщикъ и офицеръ, Записки рядового Иванова, Медвѣди, Надежда Николаевна* и *Гордый Аггей.* Но должно признать, что во всѣхъ его произведеніяхъ, какъ субъективныхъ, такъ и объективныхъ, замѣчается бѣдность эпическаго элемента. Гаршинъ дѣйствительно имѣлъ очень мало дѣла съ внѣшнимъ міромъ, пренебрегалъ внѣшнею обрисовкою лицъ и предметовъ, болѣе всего обращалъ вниманіе на внутренній міръ героевъ, на то, что они передумывали, перечувствовали, переживали въ своей душѣ.

Обусловливаясь душевной болѣзнью Гаршина, качество это вполнѣ соотвѣтствуетъ духу времени, въ которое писались его произведенія, эпохи тоскующихъ, раздвоенныхъ людей съ больной совѣстью, усомнившихся и въ самихъ себѣ, и во всемъ окружающемъ, путающихся въ непримиримыхъ противорѣчіяхъ.

Обратите вниманіе, что въ разсказахъ Гаршина люди цѣльные, способные беззавѣтно отдаваться страсти и наслаждаться жизнью, являются пошляками. Таковы напримѣръ благодушествующій инженеръ въ разсказѣ *Встрѣча*, Дѣдовъ въ разсказѣ *Художники.* Герои-же мало-мальски симпатичные, къ которымъ лежитъ сердце автора и которые высказываютъ его собственныя думы, являются постоянно раздвоенными и рефлектирующими Гамлетами. Это совершенно согласуется съ дѣленіемъ людей на два разряда, какое дѣлаетъ Гаршинъ въ своемъ письмѣ къ Латкину 9-го декабря 1883 г., высказывая здѣсь очевидно завѣтный свой взглядъ и на людей вообще, и на самого себя.

«Всѣ люди,—говоритъ онъ,—которыхъ я зналъ, раздѣляются (между прочими дѣленіями, которыхъ конечно множество: умные и дураки, Гамлеты и Донъ-Кихоты, лѣнтяи и дѣятельные и проч.) на два разряда, или вѣрнѣе распредѣляются между двумя крайностями: одни обладаютъ хорошимъ, такъ сказать, самочувствіемъ, а другіе — сквернымъ. Одинъ живетъ и наслаждается всякими ощущеніями: ѣстъ — онъ радуется, на небо смо-

тритъ—радуется. Даже низшія физіологическія отправленія совершаетъ съ видимымъ удовольствіемъ. Придетъ изъ ватерклозета и говоритъ: «ну, братъ, да и хорошо же я и пр.». Это я не разъ слыхалъ, да навѣрно и вы тоже. Словомъ, для такого человѣка самый процессъ жизни — удовольствіе, самое сознаніе жизни — счастье. Вотъ какъ Платоша Каратаевъ. Такъ ужъ онъ устроенъ, и я не вѣрю ни Толстому, ни кому иному, что такое свойство Платоши зависитъ отъ міросозерцанія, а не отъ устройства. Другіе же совсѣмъ напротивъ: озолоти его, онъ все брюжжитъ; все ему скверно; успѣхъ въ жизни не доставляетъ никакого удовольствія, даже если онъ вполнѣ на-лицо. Просто человѣкъ неспособенъ чувствовать удовольствія,—неспособенъ да и все тутъ»...

Обо всѣхъ лучшихъ герояхъ Гаршина слѣдуетъ сказать, что они именно оказываются неспособны чувствовать удовольствія. Всѣ они раздвоенные, рефлектирующіе Гамлеты. Такимъ Гамлетомъ является даже герой *Четырехъ дней*, повидимому менѣе всѣхъ другихъ подходящій къ этому типу. Онъ шелъ на войну, какъ истый Лаэртъ, сознательно и добровольно, увлеченный идеею. Онъ не понималъ даже, въ силу чего окружающіе смѣялись надъ его военнымъ задоромъ и называли его юродивымъ. Но и онъ обратился въ Гамлета, испытавъ, что̀ такое война на самомъ дѣлѣ. Вотъ онъ лежитъ въ кустахъ, раненый, забытый, рядомъ съ трупомъ турка, котораго передъ тѣмъ убилъ, и тутъ, среди мукъ нестерпимой боли отъ ранъ, пожирающей жажды и отчаянья, его начинаетъ преслѣдовать рядъ скептическихъ рефлексій о жестокой безсмысленности войны вообще и тѣмъ большей безсмысленности его собственнаго убійства.

Еще въ большей степени Гамлетомъ является передъ нами герой *Труса*. Извѣстія съ поля войны производятъ на него потрясающее впечатлѣніе.

«Нервы,—спрашиваетъ онъ себя,—что ли у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало; а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ—это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстіе о какомъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныя дѣла съ «незначительными» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, никто не обращаетъ вниманія».

Отъ подобныхъ общихъ соображеній онъ переходитъ къ своей личности:

«Куда же дѣнется твое «я»?—спрашиваетъ онъ:—мы всѣмъ существомъ протестуемъ противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человѣкъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги да аудиторіи, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшихъ черезъ годъ-два начать новую работу, трудъ любви и правды; я наконецъ, привыкшій смотрѣть на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла — я вижу все мое зданіе, спокойствіе разрушеннымъ, а самого себя напяливающимъ на плечи то самое рубище, дыры и нитки котораго я сейчасъ только-что разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ никакой физической свободы располагать своимъ тѣломъ».

Далѣе затѣмъ приходятъ ему вдругъ въ голову сомнѣнія въ своей храбрости.

«Быть можетъ,—думаетъ онъ,—всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоитъ-ли дѣйствительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дѣла?»

Но герой началъ припоминать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи—правда немногіе—въ которыхъ ему приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости.

«Тогда,—говоритъ онъ,—я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугаетъ меня».

Но уклониться отъ предстоящей участи, воспользовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то-же время на службѣ, герой не былъ въ состояніи; его претило прибѣгать къ подобнымъ средствамъ. Что-то неподчиняющееся опредѣленію сидѣло у него внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему уклоняться отъ войны. «Не хорошо»—говорилъ ему внутренній голосъ.

Этотъ внутренній голосъ ясно сформировался передъ нимъ устами одной знакомой барышни Марьи Петровны:

«Они (т. е. другіе),—сказала она,—тоже не пошли-бы, если-бы могли, но они не могутъ, а вы можете... Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые пожалѣютъ послать знакомаго человѣка на войну. Я не беру на себя рѣшить: можетъ быть, это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ!»

И онъ пошелъ, своего рода «невольникъ чести», умирать подъ непріятельскими пулями безъ малѣйшаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу ненавистной ему войны.

Съ поля войны Гаршинъ, въ своемъ разсказѣ *Художники*, ведетъ насъ въ художественныя студіи, но и здѣсь мы находимъ такое-же развитіе гамлетизма, отвлекающаго талантливыхъ художниковъ отъ искусства, подобно тому, какъ мужественные люди получаютъ отвращеніе отъ войны. Дѣдовъ и Рябининъ—тѣ-же Лаэртъ и Гамлетъ. Дѣдовъ—въ своемъ родѣ цѣльный человѣкъ; онъ до мозга костей преданъ искусству, и въ самомъ искусствѣ—пейзажной живописи; внѣ этого конька ничего для него не существуетъ. Онъ понять не въ силахъ, какъ можно сомнѣваться и задавать себѣ вопросы о значеніи и цѣляхъ искусства. Для него искусство само въ себѣ и по себѣ составляетъ цѣлый міръ, имѣющій свои начало и конецъ, исходъ и цѣль.

Рябининъ-же весь изъѣденъ рефлексіями. Для него мало искусства въ самомъ себѣ; онъ безпрестанно спрашиваетъ, какое значеніе имѣетъ оно въ жизни. Это происходитъ отъ той причины, что истинные художественные таланты вродѣ Рябинина—люди съ крайне чуткими, впечатлительными нервами, и какъ-бы они ни старались устраниться отъ жизни,—послѣдняя со всѣми ужасами, гадостями и грязью непрестанно волнуетъ ихъ, бѣситъ, терзаетъ, вызываетъ на страшный бой. Нужно имѣть нервы Дѣдова, чтобы смотрѣть и не видѣть, слышать и не содрогаться, и при возмущающихъ зрѣлищахъ думать лишь о красотѣ тоновъ неба, раскинувшагося надъ людскими безобразіями. Рябининъ этого не можетъ, и въ нёмъ происходитъ мучительное раздвоеніе: жизнь тянетъ его въ одну сторону, искусство—въ другую. Онъ пытается помирить этотъ разладъ, посвятивши искусство жизни, пишетъ картину, на которой изображаетъ испытанный имъ ужасъ при видѣ адской каторги рабочаго-котельщика, собственною грудью выдерживающаго на днѣ котла страшные удары молотомъ при утвержденіи заклепокъ. Картина выходитъ поразительная по страшному впечатлѣнію. Но ожидаемаго примиренія художнику не приноситъ. Онъ представляетъ себѣ ее на выставкѣ, воображаетъ равнодушныя лица и пошлыя фразы зрителей. А затѣмъ, какое-бы вопіющее содержаніе ни заключала

картина, все равно неизбѣжная участь ея затеряться въ покояхъ какого-нибудь Саламатова или Утробина, гдѣ она будетъ играть такую-же роль аксессуаровъ богатой обстановки, какъ стоящіе возлѣ нея канделябры. Чтобы выйти изъ этого ада сомнѣній, Рябинину остается одно: бѣжать отъ искусства, несмотря на всю любовь къ нему и могущественный талантъ, и онъ кончаетъ тѣмъ, что отдается непосредственному дѣлу борьбы съ безобразіями жизни.

Въ разсказѣ *Ночь* изображается совершенно такой-же герой, какихъ мы видѣли въ разсказахъ Новодворскаго. Онъ рисуется здѣсь въ послѣдней фазѣ своей жизни, когда судьба успѣла уже поднести ему рядъ горькихъ опытовъ и разочарованій, вслѣдствіе которыхъ онъ отрезвѣлъ отъ своихъ самообольщеній и, вмѣсто величественнаго полубога, созналъ въ себѣ ничтожнѣйшаго пресмыкающагося червя и къ тому-же обманщика, шулера.

«Въ прошломъ нѣтъ опоры,—говоритъ онъ себѣ,—потому что все ложь, обманъ. И лгалъ, обманывалъ я самъ и самого себя, не оглядываясь... Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, разсказывающій о своихъ богатствахъ, которыя гдѣ-то «тамъ» «не получены», но которыя есть, и занимающій деньги направо и налѣво. Я всю жизнь долженъ самому себѣ. Теперь насталъ срокъ разсчета—и я банкротъ, злостный, завѣдомый»...

Но и это сознаніе не излечиваетъ героя отъ недуга самообожанія. У него все-таки не хватаетъ настолько мужества, чтобы, честно сознавшись въ несостоятельности, смириться и подавить въ себѣ гордыню: сознавая себя ничтожнѣйшимъ изъ ничтожнѣйшихъ, онъ продолжаетъ красоваться передъ собой въ гордомъ величіи, устраивая изъ самоуничиженія пышную мантію, въ которую драпируется. Даже падая съ пьедестала, онъ и не помышляетъ о томъ, что ударится въ грязь лицомъ. Правда, онъ банкротъ, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ хуже другихъ; это показываетъ только, что и всѣ банкроты, а онъ во всякомъ случаѣ цѣлой головой выше человѣческаго рода, потому что люди не сознаютъ своего банкротства и продолжаютъ пресмыкаться, а онъ созналъ и желаетъ честно отдѣлаться отъ жизни. И вотъ на прощанье съ жалкимъ человѣческимъ родомъ онъ пишетъ письмо, въ которомъ излагаетъ, «что умираетъ спокойно, потому что жалѣть нечего: жизнь есть сплошная ложь; люди, которыхъ онъ любилъ — если только онъ дѣйствительно любилъ кого-нибудь, а не притворялся передъ самимъ собой, что любитъ,—не въ состояніи удержать его жизнь, потому что «выдохлись». Да и не выдохлись, «нечему было выдыхаться», а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понялъ ихъ; онъ понялъ и себя, понялъ, что въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; онъ не дѣлалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по неимѣнію злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми. Тѣмъ не менѣе онъ не считаетъ себя хуже «остающихся лгать до конца дней своихъ» и не проситъ у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣніемъ къ людямъ, не меньшимъ, чѣмъ къ самому себѣ. И жестокая, безсмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма: «Прощайте, люди! прощайте, кровожадныя, кривляющіяся обезьяны».

Но пустить себѣ пулю въ лобъ ему не удалось. Давно извѣстно, что подобнымъ людямъ хотя и свойственно приходить къ мысли о самоубійствѣ, но приводить ее въ дѣйствіе бываетъ очень трудно. Онъ и не замѣтилъ, какъ просидѣлъ въ своей комнатѣ, въ креслѣ, собираясь раздѣлаться съ жизнью, всю ночь до

разсвѣта. Наконецъ начали звонить къ заутрени. Звуки колокола пробудили его отъ мрачнаго раздумья.

«Колоколъ,—говоритъ авторъ,—сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго, узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя и всѣ какъ-будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь же почувствовалъ, что въ немъ есть другая сторона,—та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души».

Однимъ словомъ, воспоминанія дѣтства воскресили въ немъ совершенно иной строй души, простой, безхитростный, чуждый разъѣдающихъ рефлексій, но чуждый и узкаго эгоизма, когда «онъ думалъ именно то, что думалъ, любилъ отца и зналъ, что любитъ».

«Вѣдь есть-же міръ,—воскликнулъ онъ подъ обаяніемъ всѣхъ тѣхъ воспоминаній,—колоколъ напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить, и такъ любить, какъ любятъ дѣти... Обратиться и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значитъ, не ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное *Я*, которое, какъ глистъ, сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи».

Это были, однимъ словомъ, тѣ старые, но вѣчно новые народные демократическіе идеалы, которые были чужды ему до сей поры, но теперь наполнили сердце его невѣдомымъ восторгомъ.

«Онъ почувствовалъ, что не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что осталась еще любовь и даже самоотверженіе, что стоитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло—онъ не зналъ, да въ эту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какое довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его, и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ».

Къ сожалѣнію, это великое сознаніе явилось къ нему слишкомъ поздно. Не одинъ запасъ нравственныхъ силъ его былъ истощенъ, но и физическія до такой степени оказались надломлены, что онъ не въ состояніи былъ вынести восторга, которымъ преисполнился; новое вино не удержалось въ старыхъ мѣхахъ; съ героемъ произошло нѣчто вродѣ разрыва сердца, и онъ умеръ, не доживя до утра.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну особенность, замѣчающуюся въ большинствѣ произведеній Вс. Гаршина; именно страсть его къ кровавымъ катастрофамъ. Не говоря уже о *Четырехъ дняхъ*, гдѣ онъ заставляетъ героя четыре дня томиться жаждою и мучительною болью раны и въ то-же время созерцать быстрое разложеніе трупа убитаго имъ-же врага, вспомните концы *Труса*, *Происшествія*, *Краснаго цвѣтка*, *Сигнала*, *Надежды Николаевны*. Трагическое лежало въ крови Гаршина, и, быть можетъ, эта страсть къ ужасному была предчувствіемъ его собственной трагической смерти.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

I. Іеронимъ Іеронимовичъ Ясинскій.—II. Михаилъ Ниловичъ Альбовъ.—III. Казиміръ Станиславовичъ Баранцевичъ.—IV. Николай Ельпидифоровичъ Петропавловскій (Каронинъ). Александръ Ивановичъ Эртель. Григорій Александровичъ Мачтетъ. —V. Владиміръ Галактіоновичъ Короленко.—VI. Игнатій Николаевичъ Потапенко.—VII. Дмитрій Наркисовичъ Маминъ (Сибирякъ). Антонъ Павловичъ Чеховъ. Алексѣй Алексѣевичъ Тихоновъ (Луговой). Д. Голицынъ (Муравлинъ). С. И. Смирнова. Валентина Іововна Дмитріева. Александра Александровна Виницкая. Ольга Шапиръ. Марія Всеволодовна Крестовская.

I.

Іеронимъ Іеронимовичъ Ясинскій родился въ Харьковѣ 18-го апрѣля 1850 года. Отецъ его, въ свое время не безъизвѣстный на югѣ адвокатъ, происходилъ изъ польской семьи, предки которой были однако русскіе. Мать, Ольга Максимовна Бѣлинская, была малоросска, дочь полковника, одного изъ героевъ Бородинской битвы. Грамотѣ Ясинскій научился четырехъ лѣтъ отъ роду и, когда ему было 6 лѣтъ, прочелъ множество книгъ изъ библіотеки отца, главнымъ образомъ медицинскихъ. Мать заставляла его читать религіозныя книги, но вмѣстѣ съ тѣмъ, любя поэзію и зная наизусть Лермонтова, она и сыну внушила свою страсть, и съ десяти лѣтъ мальчикъ началъ писать стихи. Учился онъ въ Черниговской гимназіи, а затѣмъ – въ университетѣ св. Владиміра въ Кіевѣ на естественномъ факультетѣ. Обстоятельства помѣшали ему добиться кандидатскаго диплома, и онъ, выйдя изъ университета, поступилъ на государственную службу, занявъ мѣсто помощника секретаря въ черниговскомъ губернскомъ акцизномъ управленіи. Послѣ этого онъ былъ секретаремъ черниговской губернской земской управы, причемъ редактировалъ *Земскій сборникъ*. Оставивъ скоро и эту службу, онъ посвятилъ себя литературѣ.

Умственное развитіе Ясинскаго шло, судя по его воспоминаніямъ, неправильно и односторонне. Гимназія, а затѣмъ университетъ заглушали художественные инстинкты, какіе были въ немъ пробуждены въ раннемъ дѣтствѣ вліяніемъ матери и часто посѣщавшаго домъ ихъ украинскаго поэта Борозды. Юность Ясинскаго протекла во второй половинѣ шестидесятыхъ годовъ, какъ разъ въ такое время, когда идеи Писарева господствовали въ кружкахъ молодежи.

«Была полоса въ жизни молодой интеллигенціи,—говоритъ Ясинскій въ № 163 *Зари* 1884 г.,—когда искусство отрицалось, красоту считали пустякомъ и отвѣты на «проклятые вопросы» искали въ курсахъ политической экономіи. И я стоялъ въ этой полосѣ, мнѣ казалось, что время будетъ безвозвратно потеряно, если я возьму романъ и прочитаю его. Я почти не зналъ Тургенева, не зналъ Гончарова, не зналъ Льва Толстого, не говоря уже о заграничныхъ романистахъ и поэтахъ. Но я зналъ, т. е. читалъ Милля, Бокля, Спенсера, Дарвина, Маркса и множество другихъ умныхъ книжекъ. Долженъ сказать, что жизнь казалась мнѣ ужасно скучной. Это потому, что я самъ скучалъ, задыхаясь въ пыльной атмосферѣ кабинетной учености. И не я одинъ. У меня былъ товарищъ, который былъ еще болѣе ревностнымъ отрицателемъ, чѣмъ я. Онъ ничего не признавалъ, кромѣ физіологіи. Но какъ разъ наканунѣ экзамена онъ увлекся *Похожденіями Рокамболя*, и торжественно провалился, получивъ изъ физіологіи двойку! Слава Богу, мнѣ тоже не удалась карьера ученаго—благодаря Льву Толстому.

«Я до сихъ поръ не могу забыть ошеломляющаго впечатлѣнія, которое произвела на меня *Анна Каренина*. Точно волшебная панорама развернулась передо мною жизнь цѣлаго общественнаго слоя, трепещущая избыткомъ крови, мяса, залитая яркимъ свѣтомъ,

полная изумительныхъ художественныхъ подробностей,—жизнь, передъ которой всѣ курсы политической экономіи, физіологіи, психологіи не стоятъ по моему выѣденнаго яйца. Вотъ гдѣ истинная наука, подумалъ я, проникнутый благоговѣніемъ къ имени художника».

Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, выступивъ на литературное поприще въ 1870 г. въ *Кіевскомъ Вѣстникѣ*, *Кіевскомъ Телеграфѣ* и другихъ провинціальныхъ изданіяхъ, Ясинскій въ первое десятилѣтіе своей дѣятельности является авторомъ серьезныхъ статей по естественнымъ наукамъ. Такимъ мы видимъ его и въ *Кіевскомъ Телеграфѣ*, который онъ редактировалъ въ 1876 году, и позже въ *Газетѣ Гатцука*, которую тоже редактировалъ онъ по переѣздѣ въ Москву, въ журналѣ *Природа и Охота*, гдѣ велъ научныя обозрѣнія. и въ *Словѣ*, гдѣ былъ дѣятельнымъ сотрудникомъ также по научному отдѣлу. Въ качествѣ беллетриста онъ обратилъ на себя вниманіе лишь въ концѣ семидесятыхъ годовъ, когда началъ писать подъ псевдонимомъ Максима Бѣлинскаго сначала мелкіе разсказы, а впослѣдствіи и романы въ *Словѣ*, *Пчелѣ*, *Кругозорѣ*, *Будильникѣ*, *Развлеченіи* и наконецъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*.

Произведенія Ясинскаго, особенно мелкіе разсказы его перваго періода, поражаютъ тщательной технической отдѣлкой. Въ то-же время они носятъ рѣзкій характеръ южно-русскаго типа: въ большинствѣ ихъ рисуется передъ вами южно-русская провинціальная жизнь, и они отличаются яркимъ солнечнымъ колоритомъ и цвѣтистымъ языкомъ, изобилующимъ рискованными эпитетами и метафорами, подобно произведеніямъ всѣхъ южно-русскихъ писателей, начиная съ Гоголя.

Несмотря на то, что Ясинскій обладаетъ страстью къ живописи и занимается ею на досугѣ, въ литературныхъ произведеніяхъ своихъ онъ не отличается опредѣленностью и рельефностью рисунка: изображенія его рисуются въ воображеніи читателя тускло и расплывчато. Выводимыя лица эскизны и конкретны. Вы не встрѣтите у него ни одного характера, который врѣзался-бы въ вашу память, какъ обобщающій типъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сюжеты случайны и эпизодичны.

При такихъ качествахъ таланта вы не встрѣтите у Ясинскаго какого-либо обобщающаго типа, какъ у Новодворскаго или Гаршина, а рядъ мелкихъ и ничтожныхъ провинціальныхъ фатовъ и пошляковъ; на нихъ-то авторъ и показываетъ разладъ словъ и дѣлъ и нравственную несостоятельность, составлявшіе печальный удѣлъ эпохи нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Рѣдкій разсказъ Ясинскаго обходится безъ фатовъ, превращающихся изъ героевъ прогресса въ пошлыхъ чиновниковъ, говорящихъ одно, а дѣлающихъ совсѣмъ противоположное. Преобладающимъ элементомъ Ясинскаго является сенсуализмъ, заключающійся въ томъ, что, желая показать разладъ словъ и дѣлъ въ своихъ герояхъ, авторъ прибѣгаетъ къ одному и тому-же сюжету,— къ адюльтеру въ различныхъ его варіаціяхъ: то герой его обольщаетъ невинную дѣвушку и затѣмъ бросаетъ на произволъ судьбы, то наоборотъ онъ не обольщаетъ дѣвушки, когда она сама падаетъ въ его объятія, а малодушно предоставляетъ ей выйти замужъ за нелюбимаго человѣка, то отецъ семейства бросается изъ семейнаго ада въ объятія первой встрѣченной на дорогѣ юродивой нищенки и малодушно игнорируетъ ее, приживши съ ней ребенка, то обольстительная хуторянка въ видѣ новой Далилы силою чаръ красоты и нѣжныхъ объятій склоняетъ героя отъ революціоннаго пути на дорогу мир-

наго семейнаго счастья подъ сѣнію вишенъ и черешенъ, то герой предпочитаетъ дебелую губернаторшу юной Феничкѣ и дѣлается презрѣннымъ альфонсомъ, и пр., и пр.

Но, имѣя дѣло съ подобными явленіями, Ясинскій не можетъ отнестись къ нимъ объективно; онъ смакуетъ изображаемыя имъ скабрезности, что̀ и уподобляетъ его въ большей степени, чѣмъ всѣхъ прочихъ беллетристовъ его школы, французскимъ натуралистамъ.

Въ то-же время фотографичность изображеній произвела то, что въ нѣкоторыхъ романахъ Ясинскаго были признаны портреты живыхъ лицъ, что̀ придало такимъ произведеніямъ характеръ пасквилей. Эта пасквильность тѣмъ болѣе бросается въ глаза, что при всемъ пристрастіи къ протоколизму и ратованіяхъ за чистое искусство у Ясинскаго вы встрѣтите часто тенденціозность, да не одну простую, а сугубую. Одна лежитъ въ изображаемыхъ явленіяхъ жизни, другую-же авторъ искусственно вноситъ въ свои произведенія и портитъ ихъ, освѣщая свои образы совершенно фальшиво.

Этою искусственно вносимою тенденціею Ясинскій обязанъ той реакціи, которая произошла въ немъ послѣ увлеченія Писаревымъ и естественными науками. Когда увлеченія эти остыли, и Ясинскій отдался природному влеченію, вмѣсто того, чтобы осмыслить отношеніе реальнаго мышленія къ вопросу объ искусствѣ, онъ кинулся изъ одной крайности въ другую и во имя искусства началъ отрицать и реализмъ, и позитивизмъ, и науку, предположивши, что все это не только не стоитъ выѣденнаго яйца передъ искусствомъ въ умственномъ отношеніи, но и въ нравственномъ къ добру не ведетъ. Въ силу этого въ произведеніяхъ Ясинскаго если выводится художникъ, то рисуется непремѣнно въ идеальномъ свѣтѣ; ученые-же выходятъ отъявленными негодяями и пошляками. Особенно не жалуетъ Ясинскій медиковъ, и эта ненависть доходитъ у него до того, что въ повѣсти *Вѣрочка* онъ заставляетъ героя ни съ того, ни съ сего травить собакой ни въ чемъ неповиннаго акушера.

Лучшими произведеніями его, наиболѣе осмысленными и обработанными, являются: *Молодые всходы*, *Болотный цвѣтокъ*, *Спящая красавица*, появившіеся въ первой половинѣ восьмидесятыхъ годовъ на страницахъ *Отечественныхъ Записокъ*. Изъ позднѣйшихъ-же произведеній Ясинскаго наиболѣе выдаются: *Петербургская повѣсть*, *Городъ мертвыхъ*, *Добрая фея*, *Путеводная звѣзда*, *Иринархъ Плутарховъ*, *Пророкъ*, *Трагики*, *Антикварій*, *Свѣтъ погасъ* и пр. Всѣ эти поименованные романы и повѣсти значительно слабѣе вышеозначенныхъ и по содержанію, и по исполненію. Стараясь писать какъ можно болѣе, поставляя свои вещи разомъ во многихъ изданіяхъ, Ясинскій съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе выдыхается и опошляется. Какъ вслѣдствіе этого обстоятельства, такъ и безцеремоннаго списыванья портретовъ съ живыхъ личностей, доходящаго до неблаговиднаго пасквилянтства, произведенія Ясинскаго перестали принимать въ наиболѣе порядочныхъ и уважаемыхъ публикою органахъ, и онъ опустился до исключительнаго сотрудничества въ иллюстрированныхъ изданьицахъ и такихъ убогихъ журнальчикахъ, какъ *Наблюдатель*.

II.

Михаилъ Ниловичъ Альбовъ родился въ Петербургѣ 8-го ноября 1851 года. Отецъ его былъ діаконъ церкви почтоваго департамента, мать—полудво-

рянскаго рода. Альбовъ лишился ея, когда ему было полтора года. Тѣмъ не менѣе художественный талантъ онъ получилъ безъ сомнѣнія наслѣдственно отъ нея, такъ какъ, по разсказамъ, она писала стихи и хорошо рисовала. Грамотѣ Альбовъ научился довольно рано, чему былъ обязанъ теткѣ, Т. М. Башмаковой. Первая прочитанная имъ книга была *Робинзонъ*, въ котораго мальчикъ былъ влюбленъ безъ памяти, буквально имъ бредилъ. Затѣмъ мѣсто его занялъ *Давидъ Копперфильдъ*, котораго онъ перечитывалъ безконечное число разъ. Третьею любимою книжкой его были *Мертвыя Души* Гоголя, причемъ Чичиковъ имѣлъ для мальчика обаяніе со стороны кочеванія, и ему очень хотѣлось имѣть его «бричку», чтобы разъѣзжать, куда вздумается. Въ перемежку онъ читалъ все, что попадалось подъ руки, и жилъ постоянно въ мірѣ, наполненномъ лицами прочитанныхъ книгъ, въ чаду мечтательныхъ грезъ, чему способствовало одиночество, въ которомъ онъ росъ.

Десяти лѣтъ отдали Альбова во 2-ю Петербургскую гимназію, гдѣ со втораго уже класса мальчикъ началъ пописывать. Первая попытка его была начало «юмористической» повѣсти *Растрепалкинъ*, навѣянной похожденіями Чичикова; была даже тамъ и знаменитая бричка. За нею послѣдовало множество повѣстей, гдѣ фигурировали испанцы и итальянцы. Такъ, между прочимъ онъ написалъ романъ *Англійскій матросъ*, сколокъ съ *Монтекристо* и *Лондонскихъ тайнъ*, причемъ дѣйствіе происходило одновременно въ Англіи, Испаніи, Америкѣ, и была даже изображена испанская инквизиція. Когда-же ему было 13 лѣтъ, онъ написалъ разсказецъ въ формѣ дневника, подъ заглавіемъ *Записки подвальнаго жильца*, и послалъ ее по почтѣ въ *Петербургскій Листокъ* Ильи Арсеньева. Разсказъ былъ напечатанъ, авторъ былъ конечно на седьмомъ небѣ, цѣлый день ходилъ, какъ въ чаду. Но этотъ быстрый и преждевременный успѣхъ имѣлъ очень дурныя послѣдствія: мальчикъ бросилъ заниматься ученьемъ, началъ получать единицы и двойки, застрѣвалъ въ каждомъ классѣ по два года, а въ четвертомъ остался на третій годъ и вслѣдствіе этого долженъ былъ оставить гимназію.

Первое время онъ весь былъ подавленъ бѣдою, сознаніемъ негодности. Но мало по малу успокоился и снова принялся за литературные труды. Тогда-же (1866) она написалъ бо̀льшую часть своей первой большой повѣсти *На новую дорогу*, напечатанную позднѣе у того-же Ильи Арсеньева. Въ 1867 г. Альбовъ поступилъ въ четвертый классъ Пятой гимназіи, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1873 году. Съ 1873 по 1879 годъ онъ находился на юридическомъ факультетѣ Петербургскаго университета, причемъ съ лѣта 1877 по весну 1878 г. провелъ въ дунайской арміи, въ качествѣ брата милосердія, причемъ необходимыя для этого фельдшерскія познанія пріобрѣлъ на открывшихся весною 1877 г. курсахъ первой помощи раненымъ. По выходѣ изъ университета Альбовъ всецѣло посвятилъ себя литературной дѣятельности.

Первымъ произведеніемъ, замѣченнымъ публикою и критикою, была повѣсть *День итога*, напечатанная въ *Словѣ* 1879 г. №№ 1 и 2. Повѣсть эта написана очевидно подъ сильнымъ вліяніемъ Ѳ. Достоевскаго. Вы найдете здѣсь цѣлыя страницы, отъ которыхъ на васъ вѣетъ романомъ *Преступленіе и наказаніе*: таковы сны на яву и галлюцинаціи героя Глазкова, его полоумныя скитанія по городу, связь съ швейкою Катей Ершовой и высокомѣрное обращеніе съ нею; сама эта Катя Ершова напоминаетъ Соню Мармеладову.

Но нельзя отказать Альбову и въ нѣкоторой оригинальности относительно обрисовки героя. Герой Достоевскаго Раскольниковъ гигантъ въ сравненіи съ мизернымъ Глазковымъ. Раскольниковъ—человѣкъ шестидесятыхъ годовъ и на немъ лежитъ печать своего вѣка. Начитанный, увлекающійся широкими теоріями, онъ обладаетъ въ то-же время могучей волей, стремящейся осуществить какъ можно скорѣе задуманное. Раскольниковъ совершилъ ужасное преступленіе съ цѣлью однимъ рискованнымъ шагомъ завоевать счастье, и притомъ не одно личное, но и счастье своихъ близкихъ. При этомъ природа его была настолько могуча, что превозмогла весь тотъ маразмъ, который ему пришлось пережить послѣ совершенія преступленія и полученнаго за него наказанія; не къ самоуниженію привели его обрушившіяся надъ нимъ нравственныя и юридическія кары, а къ возрожденію, къ новой жизни честнаго труда на благо родины.

Совсѣмъ инымъ является Глазковъ. Это все тотъ-же страдающій дворянскими недугами разнузданнаго самолюбія, развинченныхъ нервовъ и нравственнаго бесилія герой реакціонной эпохи, какихъ мы видѣли и у Новодворскаго, и у Гаршина. Ни энергіи въ стремленіи къ разъ намѣченной цѣли жизни, ни упорства въ борьбѣ съ препятствіями мы не замѣчаемъ у него и слѣда. Первый толчокъ въ жизни въ видѣ нераздѣленной любви приводитъ Глазкова въ полное отчаяніе. Узнавъ, что милая его предпочла ему другого и выходитъ замужъ, онъ летитъ тотчасъ-же домой и сжигаетъ въ печкѣ всѣ свои тетради, студенческія записки, диссертацію на медаль, и затѣмъ онъ «ни о чемъ болѣе не думалъ, ни о чемъ не жалѣлъ и ничего не хотѣлъ; все въ немъ умерло, точно камнемъ придавилось!»... Начались безсмысленныя скитанія по городу или лежанье на диванѣ по цѣлымъ днямъ, галлюцинаціи, сны на-яву, мечты о Нирванѣ и самоуничтоженіи... Но въ состояніи подобнаго маразма онъ далекъ былъ отъ чувства угнетенія и самоуничиженія, какими терзался подобный ему неудачникъ въ любви, тургеневскій Чулкатуринъ. Напротивъ того, Глазковъ не переставалъ красоваться на гордомъ пьедесталѣ и, съ презрѣніемъ взирая на жалкихъ смертныхъ, находящихъ счастье въ возвышеніи на какой нибудь вершочекъ, проповѣдывалъ имъ *блаженство поклониться себѣ.* Это блаженство самопоклоненія герой нашелъ въ скачкѣ съ Николаевскаго моста въ Неву,—единственномъ смѣломъ поступкѣ въ своей жизни, хотя и на этотъ рѣшительный шагъ онъ отважился послѣ долгихъ колебаній.

Гамлетическій, рефлективный элементъ играетъ большую роль въ произведеніяхъ Альбова. Онъ встрѣчается и въ самомъ обширномъ, но не конченномъ его романѣ *До пристани,* и въ *Рясѣ*, и въ *Главѣ изъ недописанной повѣсти*, и въ разсказѣ *Какъ горѣли дрова*. Въ послѣднемъ вновь выступаетъ такой-же герой, какъ и Глазковъ, съ той лишь разницей, что онъ вовсе не такой неудачникъ. Напротивъ того, онъ не имѣетъ повидимому никакихъ поводовъ быть недовольнымъ жизнью: обезпеченъ настолько, что можетъ каждый день обѣдать въ порядочномъ ресторанѣ, каждый вечеръ зимою проводить въ любомъ театрѣ или клубѣ, а лѣтомъ—въ загородномъ кафе-шантанѣ. Его томила, правда, тоска одиночества холостой жизни, но и тутъ судьба его не обидѣла: онъ былъ знакомъ съ семействомъ одного южанина съ студенческихъ еще временъ, проведя однажды лѣто въ этомъ семействѣ на лѣтнихъ кондиціяхъ. Встрѣтивъ послѣ долгой разлуки отца и дочь, которая вы-

росла и сдѣлалась красавицей, герой почувствовалъ нѣчто вродѣ влеченія къ ней: она тоже, нельзя сказать, чтобы была къ нему равнодушна. Отецъ ея съ своей стороны уговаривалъ его бросить постылый Петербургъ и ѣхать къ нимъ на югъ, въ деревню. Однимъ словомъ, все шло, какъ по маслу. И вдругъ на пути къ несомнѣнному счастью, верстъ за 15 до цѣли, герой, сойдя съ поѣзда желѣзной дороги, остановился на постояломъ дворѣ, разложилъ передъ собой ворохъ невѣдомо какихъ-то писемъ, думалъ надъ ними, думалъ, сжегъ ихъ до-тла, пришелъ внезапно къ убѣжденію, что онъ окончательно искалѣченъ городской жизнью и неспособенъ къ семейному счастью съ людьми простыми, здоровыми и чуждыми всего, чѣмъ себя мучаютъ и калѣчатъ въ каменныхъ стѣнахъ,—и застрѣлился.

Рядомъ съ этимъ субъективно-рефлективнымъ элементомъ, лежащимъ въ основѣ таланта Альбова, мы встрѣчаемъ въ его произведеніяхъ и элементъ объективный. Альбовъ обнаруживаетъ немалое мастерство въ изображеніи внѣшнихъ явленій жизни, причемъ въ рисункахъ его преобладаютъ мелкія детали и нюансы; въ этомъ отношеніи Альбовъ принялъ манеру протоколизма французскихъ натуралистовъ. Самыми лучшими его произведеніями объективнаго характера считаются: *До пристани*, *Неведомая улица*, *Конецъ Невѣдомой улицы*, *Ряса*, *Тоска*, *Юбилей*. Къ сожалѣнію, кругъ его внѣшнихъ наблюденій узокъ. Онъ ограничивается одной петербургской жизнью, да и въ ней знаетъ лишь бытъ мѣщанства и духовенства. Попытки изображать великосвѣтскихъ людей, обнаруженныя имъ въ романѣ *До пристани*, крайне неудачны; всѣ такія изображенія страдаютъ стереотипностью.

Этой узостью круга наблюденій русской жизни и бѣдностью матеріаловъ можно объяснить тотъ фактъ, что Альбовъ въ большей степени, чѣмъ всѣ его сверстники, подчиняется вліянію французскихъ натуралистовъ. Въ произведеніяхъ его, кромѣ развѣ *Дней итога*, нѣтъ-нѣтъ да и пахнётъ то Золя, то Флоберомъ, то Поль-Алексисомъ, то Гюи-де-Мопассаномъ. Даже отъ *Конца Невѣдомой улицы*, произведенія, которое считается шедёвромъ Альбова по глубинѣ и силѣ психическаго анализа, отзываетъ «Ассомуаромъ» Золя.

III.

Казиміръ Станиславовичъ Баранцевичъ родился 22-го мая 1851 г. въ Петербургѣ, отъ отца-поляка и матери-француженки. Родъ его (герба Лелива, отъ котораго между прочимъ происходятъ графы Ржевускіе) дворянскій, очень древній. Дѣдъ его, принимавшій участіе въ польскомъ возстаніи 31 года, былъ повѣшенъ въ присутствіи жены и двухъ малолѣтнихъ сыновей. Отецъ Баранцевича служилъ чиновникомъ въ комиссіи погашенія государственныхъ долговъ, почти совершенно обрусѣлъ, охотно заводилъ знакомства среди русскихъ и пристрастился къ чтенію русскихъ книгъ. Страсть эта перешла и къ сыну. Читать научился мальчикъ пяти, шести лѣтъ, самъ, безъ азбуки, по клочкамъ печатной бумаги, приносимой изъ лавочки. Семи или восьми лѣтъ онъ зачитывался *Сыномъ Отечества* и Пушкинымъ, надъ которымъ просиживалъ дни и ночи, и подъ вліяніемъ этого чтенія девяти лѣтъ написалъ героическую поэму *Понятовскій*. Одновременно съ этимъ развилась у мальчика страсть къ рисованію и музыкѣ. Онъ читалъ

все, чтó попадалось подъ руку—Жоржъ-Зандъ, Брамбеуса, Купера, Майнъ-Рида, В.-Скотта, Диккенса, Теккерея, Шекспира и пр. Всѣ тогдашніе журналы въ свою очередь прочитывались имъ обязательно.

Въ 1862 году Баранцевичъ поступилъ въ 1-й классъ Второй гимназіи и первые два года учился недурно, получилъ даже похвальные листы, но съ переходомъ въ третій классъ сталъ учиться хуже и хуже, за-то читалъ до одуренія. Пользуясь черезъ отца библіотекою Министерства Финансовъ, онъ читалъ книги самаго разнообразнаго содержанія, не исключая и медицинскихъ. Въ то-же время не переставалъ писать стихами и прозой. Такъ, онъ написалъ поэму въ некрасовскомъ жанрѣ *Забытая деревня*. Подружившись съ товарищемъ Альбовымъ, они урывками, между уроками, писали *Путешествіе на луну*; кромѣ того Баранцевичъ началъ писать двѣ повѣсти: одну шведскую, другую африканскую. Затѣмъ у обоихъ возникла мысль издавать журналъ *Сѣверный закатъ*, но по-чему-то дѣло не уладилось, и въ то время, какъ Альбовъ сталъ издавать *Зарницу*, Баранцевичъ приступилъ къ изданію *Волны*, но на десятомъ нумерѣ *Волна* попалась въ руки учителя латинскаго языка и прекратилась. Дальше 4-го класса Баранцевичъ не пошелъ. «Противна мнѣ была—разсказываетъ онъ,—гимназическая наука, въ головѣ бродили другіе планы». Побывавши нѣсколько разъ у тетки въ деревнѣ, въ Псковской губерніи, Баранцевичъ, подъ вліяніемъ тогдашняго броженія, журнальныхъ статей и толковъ о народѣ, принялся народничать: бродить по деревнямъ, сливаться съ мужиками, крестить у нихъ ребятъ, пить съ ними водку, ходить на покосъ; щеголялъ при этомъ въ высокихъ сапогахъ и красной рубахѣ, завелъ даже полушубокъ, въ которомъ потомъ разгуливалъ по Петербургу. Передъ родными-же онъ дѣлалъ видъ, будто готовится въ университетъ въ вольнослушатели.

Между тѣмъ семейство Баранцевичей обѣднѣло и поселилось въ маленькой квартиркѣ, въ пятомъ этажѣ, такъ какъ мать по случаю болѣзни должна была закрыть мастерскую, которая обезпечивала семью. Когда-же зимою 1870 г. умеръ отецъ, положеніе семьи сдѣлалось безвыходнымъ. Баранцевичъ принужденъ былъ искать мѣста. Два года бѣгалъ онъ по Петербургу, хлопоталъ, подавалъ прошенія, кланялся, просилъ. Наконецъ поступилъ въ контору подрядчика, который обращался съ нимъ скверно, грубо, платя въ мѣсяцъ 35 р. и страшно обременяя работой.

Занимаясь его дѣлами, Баранцевичъ удосужился урывками передѣлать романъ А. Толстого *Князь Серебряный* въ драму бѣлыми стихами, подъ названіемъ *Опричина*. Драма въ октябрѣ 1873 г. была поставлена на Александринскомъ театрѣ въ бенефисъ актера Виноградова, шла 5 или 6 разъ и дала автору около 600 рублей.

Около этого времени Баранцевичъ сошелся съ крестьянской дѣвушкой, Дарьей Николаевной Алексѣевой, полюбилъ ее, но видаться приходилось ему рѣдко, тѣмъ болѣе, что мать и слышать не хотѣла о намѣреніи его жениться, и онъ могъ исполнить это намѣреніе лишь послѣ смерти матери въ 1873 г. Онъ жилъ въ это время на Лиговкѣ у кондуктора, въ мерзѣйшей конурѣ, гдѣ подъ непрестанную руготню, пьянство и потасовки хозяевъ написалъ свою первую вещь, которая называлась: *Одинъ изъ нашихъ старыхъ знакомыхъ*, но не рѣшился отправить ее ни въ одинъ изъ толстыхъ журналовъ, и послѣ многихъ мытарствъ по мелкимъ изданіямъ повѣсть нашла

наконецъ въ 1873 году пріютъ въ сборникѣ приложеній къ *Гражданину* кн. Мещерскаго.

Послѣ женитьбы матеріальное положеніе Баранцевича еще болѣе ухудшилось: пошли дѣти, а ему пришлось длинныи рядъ годовъ сидѣть на 40 р. жалованья, которые онъ получалъ въ качествѣ конторщика «Русскаго строительнаго общества»; литературный-же трудъ плохо вознаграждалъ его, тѣмъ болѣе, что и писать ему было некогда. Лишь въ 1878 году, когда появилась въ *Словѣ* повѣсть его *Порванныя струны*, онъ былъ замѣченъ, и произведенія его начали появляться въ крупныхъ періодическихъ изданіяхъ, но и въ настоящее время, будучи отцомъ шестерыхъ дѣтей, онъ не можетъ отказаться отъ мѣста въ 1-мъ товариществѣ петербургскихъ конножелѣзныхъ дорогъ, гдѣ служба его начинается въ шесть часовъ утра и заключается въ раздачѣ кондукторамъ катушекъ съ билетами, не можетъ отказаться и отъ газетной работы, размѣнивающей его талантъ на мелочи и не дающей ему ни времени, ни силъ сосредоточиться на болѣе серьезныхъ и крупныхъ предпріятіяхъ.

Не даромъ Баранцевичъ и родился въ одномъ городѣ съ Альбовымъ, и воспитывался въ одной гимназіи, и съ дѣтства ихъ связали тѣсныя узы товарищества и дружбы: въ ихъ талантахъ мы видимъ много общаго. Въ разсказѣ *Муть* Баранцевичъ заставляетъ одного изъ своихъ героевъ, художника, говорить о проклятой петербургской мути, которая лежитъ гнетомъ на творческой фантазіи и мѣшаетъ развитію таланта. И дѣйствительно, *Мутное небо и мутные люди*—этими словами вполнѣ опредѣляются и содержаніе, и колоритъ обоихъ писателей; и Баранцевичъ не уступаетъ Альбову въ мрачности своихъ разсказовъ. Рѣдкій разсказъ его обходится безъ больныхъ, умирающихъ, гробовъ, кладбищъ, могилъ, монотоннаго шума дождя и воя осенняго вѣтра, задувающаго и безъ того едва мерцающіе фонари на утопающихъ въ грязи улицахъ петербургскихъ окраинъ, и т. п.

Изображаются г. Баранцевичемъ по большей части люди, изнемогающіе подъ бременемъ жизни, недугующіе душевно и тѣлесно, умирающіе, и конечно ужъ преждевременно. Въ одномъ разсказѣ мужъ съ уныніемъ и ужасомъ наблюдаетъ, какъ постепенно таетъ и разрушается подъ гнетомъ нужды нѣжно любимая имъ жена, въ другомъ—мать хоронитъ блуднаго, но все-таки любимаго сына; въ третьемъ товарищъ везетъ въ больницу сожителя, внезапно захворавшаго тифомъ, и затѣмъ хоронитъ его. Картины всякаго рода смертей отличаются въ разсказахъ Баранцевича большимъ мастерствомъ, тщательной отдѣланностью и ужасающими подробностями. Авторъ, словно Мефистофель, паритъ надъ головами читателей и не даетъ имъ ни на одну минуту забыться свѣтлыми иллюзіями. Онъ не вѣритъ въ возможность прочнаго счастья, и къ тому-же оно по самому существу представляется ему чѣмъ-то въ высшей степени преступнымъ; оно, по его мнѣнію, немыслимо безъ забвенія святыхъ завѣтовъ юности, узкаго и черстваго эгоизма, отступничества.

Походитъ на Альбова Баранцевичъ и бѣдностью сферы наблюденій. Мало сказать, что сфера эта ограничивается столицею, но и въ ней онъ по большей части изображаетъ одинъ только разночинный и мѣщанскій слой столичнаго населенія, который гнѣздится въ дешевенькихъ меблированныхъ комнатахъ, увеселяется въ грязненькихъ извозчичьихъ трактирчикахъ капорскимъ

чайкомъ, прокисшимъ пивомъ и раздирательными, свистящими, шипящими и трещащими звуками трактирнаго органа. Иногда онъ покушается проникать и въ болѣе высшіе слои общества, но въ подобныхъ изображеніяхъ является далеко не столько компетентнымъ.

Но у Баранцевича найдете вы и кое-какія особенности относительно Альбова. Альбовъ болѣе натуралистиченъ, не покушается на созданія идеальныхъ образовъ и ограничивается микроскопическимъ анализомъ обыденной дѣйствительности. Баранцевичъ-же—неисправимый романтикъ; у него часто вы встрѣтите попытки изображать не только идеальное, но и фантастическое, каковы напр. разсказы: *Дебютъ, Прахъ, Горсточка родной земли, Воспоминанія* и проч.

Наиболѣе крупными произведеніями Баранцевича являются *Чужакъ*, романъ, напечатанный въ *Устояхъ* въ 1882 году, въ которомъ въ лицѣ героя Радунцева авторъ заплатилъ дань своей школѣ, изобразивъ все того-же нравственно несостоятельнаго героя; затѣмъ—*Раба*, романъ, напечатанный въ *Дѣлѣ* 1887 г. и изданный отдѣльно въ 1888 г. Затѣмъ слѣдуетъ масса мелкихъ разсказовъ и очерковъ, печатаемыхъ въ различныхъ періодическихъ органахъ и потомъ издающихся отдѣльно въ видѣ небольшихъ сборниковъ, нося какое-нибудь общее заглавіе. Таковы сборники: *Подъ гнетомъ*, Спб. 1885 г., *Порванныя струны*, Спб. 1886 г., *Маленькіе разсказы*, Спб. 1887 г., *Новые разсказы*, Спб. 1889 г., *Старое и новое*, Спб. 1890 г.

IV.

Всѣ разсмотрѣнные нами беллетристы-пессимисты не идутъ далѣе сознанія несостоятельности ихъ собственной личности; ихъ отрицаніе носитъ характеръ вполнѣ субъективный. Но реакціонный пессимизмъ не замедлилъ пойти дальше: съ субъективной почвы онъ перешелъ на объективную, обобщилъ свое отрицаніе въ томъ смыслѣ, что началъ отрицать не одно только нравственное ничтожество обѣднѣвшаго барина, но огуломъ всю интеллигенцію. Такимъ образомъ въ концѣ семидесятыхъ и началѣ восьмидесятыхъ годовъ образовалась особенная доктрина псевдо-народниковъ, прямолинейное ученіе, отдѣлявшее непроходимою пропастью городъ отъ деревни, полагавшее въ интеллигентномъ человѣкѣ непоправимое нравственное банкротство, скопище всѣхъ пороковъ, а въ мужикѣ напротивъ того сокровищницу всевозможныхъ добродѣтелей. Въ слѣпотѣ этой прямолинейности псевдо-народники нерѣдко возвеличивали въ идеалъ даже такіе остатки патріархальныхъ и крѣпостныхъ нравственныхъ принциповъ, какіе если и господствуютъ до сихъ поръ въ крестьянской средѣ, то какъ нѣчто отжившее, подлежащее отпаденію или полной переработкѣ, чѣмъ и сами крестьяне видимо тяготятся. Ученіе гр. Л. Толстого съ его пессимистическими взглядами на общеевропейскій прогрессъ и признаніемъ единственнаго спасенія человѣчества въ оздоровляющихъ душу и тѣло сельскихъ трудахъ еще болѣе раздуло эту доктрину.

Явилось нѣсколько беллетристовъ, подчинившихся этой доктринѣ и выражающихъ ее въ своихъ произведеніяхъ. Таковъ Петропавловскій, извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ Каронина.

Николай Ельпидифоровичъ Петропавловскій родился въ 1857 году въ од-

номъ изъ глухихъ уголковъ Самарской губерніи. Происходя изъ духовнаго званія, онъ провелъ дѣтство въ деревнѣ, учился въ семинаріи, но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ долженъ былъ выйти изъ послѣдняго класса. Судьба кинула его въ сибирскую глушь, въ Тобольскую губернію...

По выходѣ изъ семинаріи, втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ вынужденнаго досуга, онъ много перечиталъ и тогда-же началъ пробовать силы на литературномъ поприщѣ. Первое его произведеніе *Безгласный* появилось въ *Отечественныхъ Запискахъ* въ 1879 году. Затѣмъ послѣдовалъ рядъ его разсказовъ изъ народнаго быта въ *Отечественныхъ Запискахъ: Ученый*, *Фантастическіе замыслы Миняя*, *Вольный человѣкъ*, *Послѣдній приходъ Демы* и пр.,— и въ *Словѣ*: *Подрѣзанныя крылья*, *Мѣшокъ въ три пуда*. Во время пребыванія въ Тобольской губерніи Петропавловскій занимался экономическими изслѣдованіями южныхъ округовъ Тобольской губерніи, за что и получилъ премію отъ западно-сибирскаго отдѣла Географическаго общества.

Возвратившись въ половинѣ восьмидесятыхъ годовъ въ Европейскую Россію и побывавъ въ Петербургѣ, Петропавловскій поселился въ Саратовѣ, гдѣ провелъ остальные годы своей жизни. По пріѣздѣ въ Саратовъ, онъ сталъ было участвовать въ мѣстныхъ органахъ, сначала въ *Саратовскомъ Листкѣ*, а потомъ въ *Саратовскомъ Дневникѣ*, но скоро оставилъ эту работу и сталъ писать исключительно въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, въ *Русской Мысли* и *Казанскомъ Листкѣ*. Наиболѣе крупными произведеніями его послѣднихъ лѣтъ, напечатанныхъ въ *Русской Мысли*, являются: *Мой міръ* (1888 г.), *На границахъ человѣка* (1889 г.) и *Борская колонія* (1890 г.). Въ концѣ 1891 года лучшія изъ произведеній Петропавловскаго были изданы отдѣльнымъ изданіемъ въ трехъ томахъ.

Петропавловскій всегда отличался разстроеннымъ здоровьемъ, обусловившимся треволненіями, которыя пришлось ему испытать. Въ 1891 г. онъ заразился чахоткою, проживъ мѣсяцъ въ домѣ, гдѣ умеръ отъ чахотки студентъ. Онъ умеръ 12-го мая 1892 г., имѣя всего около 35 лѣтъ отъ роду. Литературную дѣятельность Петропавловскаго можно раздѣлить на два періода. Въ первый періодъ, въ своихъ разсказахъ въ *Отечественныхъ Запискахъ*, Петропавловскій былъ не болѣе, какъ скромный и безпретенціозный фотографъ народнаго быта, изображавшій деревенскіе нравы безхитростно, не претендуя ни на какія обобщенія, выводы, философію. Правда, онъ былъ нѣсколько односторонен, такъ какъ изображалъ исключительно однѣ захудалыя деревушки и мужиковъ, дошедшихъ до послѣдней степени нищеты и разоренія Но онъ былъ въ полномъ правѣ въ этой своей односторонности, такъ какъ никто не можетъ воспрепятствовать художнику изображать такіе факты, которые болѣе всего занимаютъ его; къ тому-же такіе факты преобладаютъ въ настоящее время въ народной жизни, стоятъ на первомъ планѣ и прежде всего просятся подъ перо.

Но Каронинъ не остановился на этой объективной почвѣ. Къ концу восьмидесятыхъ годовъ онъ оставилъ скромное поприще безхитростной фотографіи и, увлекшись псевдонароднической доктриной, началъ подгонять подъ нее дѣйствительность, изображая нравственно растлѣнныхъ и разочарованныхъ героевъ интеллигентной среды, приходящихъ въ различныя соприкосновенія съ деревенскимъ людомъ, посрамляющихся имъ и впадающихъ въ полное отчаяніе. Таковы

повѣсти Каронина, появившіяся въ послѣдніе годы на страницахъ *Русской Мысли*.

На тотъ же путь псевдонародничества склонился въ послѣднее время и Александръ Ивановичъ Эртель, который въ свою очередь началъ очерками изъ народнаго быта, печатавшимися въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ на страницахъ *Вѣстника Европы* и впослѣдствіи изданными отдѣльно подъ общимъ заглавіемъ *Записки степняка*. Какъ въ этихъ *Запискахъ степняка*, такъ и въ нѣкоторыхъ послѣдующихъ произведеніяхъ, напримѣръ *Волхонская барышня*, Эртель преслѣдовалъ однѣ художественно-психологическія цѣли, подражая отчасти Тургеневу, и не выражалъ никакихъ опредѣленныхъ тенденцій. Но съ 1887 года и онъ въ свою очередь началъ проводить въ своихъ произведеніяхъ нѣчто среднее между псевдонародничествомъ и ученіемъ Л. Толстого. Такова его повѣсть *Двѣ пары* (*Русская Мысль* 1887 г.), въ которой проводится параллель интеллигентнаго человѣка и мужика по отношенію къ вопросу о свободѣ любовной страсти; и еще болѣе тенденціями гр. Л. Толстого проникнутъ обширный романъ *Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и враги*, печатавшійся въ *Русской Мысли* 1889 года. Здѣсь вы находите изображеніе судьбы двухъ молодыхъ людей, героевъ романа, изъ которыхъ одинъ, Ефремъ, происходитъ изъ народа, но, войдя въ колею обычнаго развитія учащейся молодежи, отдѣлился отъ родной среды, разорвалъ съ нею всякую связь и, когда вернулся на родину, оказался совсѣмъ чужимъ человѣкомъ; другой-же герой, Николай, нигдѣ не учился, никуда изъ деревни не уѣзжалъ и поэтому остался прикрѣпленъ къ почвѣ, сохранивъ живую связь съ народомъ. Правда, и онъ каждый разъ, какъ подвергался вліянію прогрессивныхъ идей, терялъ подъ ногами эту почву, дѣлалъ ложные шаги, заблуждался и былъ близокъ къ гибели, отъ которой спасало его лишь вліяніе такого непосредственнаго и любвеобильнаго человѣка, какъ столяръ Иванъ Ѳедотычъ, играющій въ романѣ по отношенію къ Николаю буквально такую-же роль нравственнаго возродителя, какую Каратаевъ играетъ по отношенію къ Пьеру Безухову.

Хотя и родственное съ этими двумя писателями, но нѣчто и особенное представляетъ собою Григорій Александровичъ Мачтетъ. Онъ обратилъ на себя вниманіе нѣсколькими прелестными очерками изъ сибирской жизни, каковы: *Вторая правда*, *Мы побѣдили*, *Мірское дѣло*. Очерки эти полны глубокой правды и художественности и оставляютъ послѣ себя глубокое впечатлѣніе. Не представляется никакого сомнѣнія, что авторъ въ этихъ очеркахъ ничего не сочиняетъ, а безхитростно изображаетъ то, что̀ видалъ и слышалъ. Но и Мачтетъ въ свою очередь не могъ удержаться на почвѣ безпристрастнаго изученія народнаго быта. Онъ тоже раздѣлилъ родъ человѣческій непроходимой пропастью на двѣ стороны, но съ той только разницей, что для своего дѣленія взялъ не различіе интеллигенціи и народа, а иной критерій: онъ составилъ себѣ такое-же прямолинейное понятіе о человѣческой жизни, какое мы видѣли въ беллетристикѣ 60-хъ годовъ писаревской школы, т. е. что жизнь во всѣхъ слояхъ и уголкахъ земного шара исчерпывается безъисходной борьбой честныхъ людей и безпардонныхъ подлецовъ. Весь родъ человѣческій такимъ образомъ дѣлится у Мачтета на волковъ и козлищъ, между которыми ничего нѣтъ общаго, ни малѣйшихъ точекъ соприкосновенія, кромѣ одного необузданнаго желанія волковъ пожрать невинныхъ и беззащитныхъ овечекъ. Никто не будетъ конечно оспаривать, что жизнь представляетъ борьбу различныхъ враждебныхъ элементовъ, но большая разница,—

элементы и люди, и было-бы въ высшей степени ошибочно предполагать, чтобы каждый человѣкъ совмѣщалъ въ себѣ одинъ какой-либо простой элементъ. Но Мачтетъ элементы отождествляетъ съ людьми, и весь родъ человѣческій представляетъ въ его глазахъ безъисходную борьбу лакействующихъ подлецовъ, наживающихся путемъ ползанья и пресмыканья передъ власть имущими,и угнетенныхъ рыцарей неподкупной честности. Особенно рѣзко выражена Мачтетомъ подобная тенденція въ романѣ его *Изъ недавняго прошлаго*, напечатанномъ въ №№ 4 и 5 *Сѣвернаго Вѣстника* за 1886 г., и затѣмъ въ собраніи его сочиненій подъ заглавіемъ *И одинъ въ полѣ воинъ*. Дѣйствіе этого романа происходитъ въ юго-западномъ краѣ въ послѣдніе годы крѣпостного права. Герой романа, отъ лица котораго ведется разсказъ, является представителемъ лакействующихъ подлецовъ и рисуется въ самыхъ черныхъ краскахъ мелодраматическимъ извергомъ. Будучи ребенкомъ, онъ шага не могъ ступить безъ того, чтобы на кого-нибудь не донести, не оклеветать и не погубить ближняго. Такъ вокругъ него и валились жертвы его паскудства. Панъ, которому онъ принадлежалъ, былъ самый свирѣпый панъ, но герой своими доносами съумѣлъ вкрасться въ его довѣріе. Сначала онъ донесъ на двоюроднаго брата, Остапа, который явился въ деревню дезертиромъ изъ арміи, потомъ, шепнувъ пану о ночномъ свиданіи пани въ саду съ любовникомъ, разстроилъ бракъ своей сестры Гали, чуть не довелъ ее до самоубійства, сосваталъ за ненавистнаго ей старика, старосту Кондрата, а милаго ея Ѳедю довелъ до того, что его, какъ поджигателя, отдали не взачетъ въ солдаты. Наконецъ панъ сдѣлалъ его главнымъ управляющимъ всѣхъ своихъ имѣній, а онъ, въ благодарность за это, сдѣлался любовникомъ той самой пани, на которую прежде донесъ своему господину. Однимъ словомъ,—передъ вами злодѣй съ головы до ногъ и къ довершенію всего такой отчаянный лицемѣръ, что всѣ свои злодѣйства расписываетъ, какъ подвиги необыкновенныхъ добродѣтелей. Всѣ окружающіе ненавидятъ его, задаютъ ему жестокія потасовки, на которыя онъ смотритъ, какъ на страданіе за правду.

Вотъ въ какомъ грубо лубочномъ видѣ рисуется въ романѣ Мачтета происхожденіе кулака, причемъ авторъ совсѣмъ упускаетъ изъ виду, что если-бы кулаки были дѣйствительно такими страшилищами, считаться съ ними было-бы гораздо легче, чѣмъ это бываетъ на самомъ дѣлѣ.

V.

Но конечно далеко не всѣ молодые беллетристы ударились въ субъективный пессимизмъ, псевдонародническія тенденціи или идеи Гр. Л. Толстого. Нѣкоторые изъ молодыхъ беллетристовъ остались въ сторонѣ отъ этого теченія и идутъ своимъ самостоятельнымъ путемъ. Таковъ прежде всего Владиміръ Галактіоновичъ Короленко,—писатель, котораго можно поставить во главѣ современной беллетристики по силѣ таланта, по богатству художественнаго матеріала, по широтѣ сферы наблюдательности, наконецъ по самому міросозерцанію, обнаруживающему человѣка, стоящаго въ уровнѣ вѣка по своему образованію.

Владиміръ Галактіоновичъ Короленко родился 15-го іюня 1853 года въ г. Житомірѣ. Отецъ его изъ дворянъ Полтавской губерніи былъ чиновникъ. Дѣдъ былъ директоромъ таможни сначала въ Радзивиловѣ, потомъ въ Бесса-

рабіи. Прадѣдъ былъ запорожецъ, казацкій старшина. Мать-же Короленка была полька—дочь шляхтича-посессора.

Первоначальное образованіе Короленко получилъ въ пансіонѣ В. Рыхленскаго, въ свое время лучшемъ заведеніи этого рода въ Житомірѣ. Затѣмъ, поступивъ во второй классъ Житомірской гимназіи, мальчикъ пробылъ въ ней два года. Въ это время отецъ, переведенный сначала въ г. Дубно на мѣсто



В. Г. Короленко.

уѣзднаго судьи, затѣмъ перешелъ на службу въ уѣздный городокъ Ровно, куда за нимъ переѣхала изъ Житоміра вся семья. Короленко съ братьями поступилъ здѣсь въ третій классъ реальной гимназіи, въ которой въ 1870 году и окончилъ курсъ съ серебряной медалью. Этотъ небольшой городокъ, нынѣ оживившійся послѣ проведенія желѣзной дороги, съ полною точностью, по словамъ Короленка, описанъ имъ въ разсказѣ *Въ дурномъ обществѣ*.

Въ 1868 г. (31-го іюня) умеръ отецъ Короленка. Это былъ чиновникъ строгой и рѣдкой по тому времени честности. Получивъ скудное воспитаніе и

проходя службу съ низшихъ ступеней среди дореформенныхъ канцелярскихъ порядковъ и общаго взяточничества, онъ никогда не позволялъ себѣ принимать даже того, что по тому времени называлось «благодарностію», т. е. приношеній уже послѣ состоявшагося рѣшенія дѣла. А такъ какъ въ тѣ годы это было недоступно пониманію средняго обывателя, отецъ-же Короленка былъ чрезвычайно вспыльчивъ, то сынъ помнитъ много случаевъ, когда онъ прогонялъ изъ своей квартиры «благородныхъ людей» палкой, съ которой никогда не разставался (онъ былъ хромъ, вслѣдствіе односторонняго паралича). Понятно поэтому, что семья (вдова и пятеро дѣтей) остались послѣ его смерти безъ всякихъ средствъ, съ одной пенсіей. Короленко былъ въ то время въ 5 классѣ. Частью казенному пособію, выданному во вниманіе къ выдающейся честности отца, но еще болѣе истинному героизму, съ которымъ мать отстаивала будущее семьи среди нужды и лишеній, обязанъ былъ Короленко тѣмъ, что могъ окончить курсъ гимназіи и въ 1871 г. поступить въ Технологическій институтъ.

Здѣсь почти три года прошли въ напрасныхъ попыткахъ соединить ученіе съ необходимостью зарабатывать хлѣбъ. Пособіе съ окончаніемъ гимназическаго курса прекратилось, и Короленко теперь рѣшительно не можетъ дать отчета, какъ удалось ему прожить первый годъ въ Петербургѣ и не погибнуть прямо отъ голода. Безпорядочное, неорганизованное, но душевное и искреннее товарищество, связывавшее студенческую голытьбу въ тѣ годы, одно является въ качествѣ нѣкотораго объясненія. Какъ бы то ни было, но даже 18-ти копѣечный обѣдъ въ тогдашнихъ дешевыхъ кухмистерскихъ Вел. кн. Елены Павловны для Короленко и его сожителей былъ въ то время такою роскошью, которую они позволяли себѣ не болѣе 6, 7 разъ во весь этотъ годъ. Понятно, что объ экзаменахъ и систематическомъ ученіи не могло быть и рѣчи. Въ слѣдующемъ году Короленко нашелъ работу, сначала раскрашиваніе ботаническихъ атласовъ г. Ж., потомъ—корректуру. Видя однако, что все это ни къ чему не ведетъ, Короленко уѣхалъ въ 1874 г. съ десяткомъ заработанныхъ рублей въ Москву и поступилъ въ Петровскую академію. Выдержавъ экзаменъ на второй курсъ, онъ, получивъ стипендію, считалъ себя окончательно устроившимся; но благополучіе это продолжалось недолго: въ 1876 году Короленко былъ исключенъ съ третьяго курса за подачу директору коллективнаго заявленія студентовъ и высланъ съ двумя товарищами изъ Москвы въ Вологодскую губернію, но съ дороги былъ возвращенъ въ Кронштадтъ, гдѣ въ это время жила семья его. Годъ спустя онъ переселился съ семьею въ Петербургъ, гдѣ съ братьями опять занялся корректурой. Къ 1879 года относятся первыя его литературныя попытки.

Съ того-же, 1879, года начинаются послѣ предварительнаго ареста странствія Короленка по отдаленнымъ восточнымъ мѣстамъ: сначала онъ попалъ въ Глазовъ Вятской губерніи, затѣмъ—въ глухія дебри Глазовскаго уѣзда; оттуда—въ Томскъ; изъ Томска—въ Пермь; оттуда въ 1881 году—въ Якутскую область. Изъ Перми Короленко послалъ въ *Слово* два очерка, которые и были напечатаны (въ 1880 г.). Вернувшись изъ Якутской области въ 1885 году, Короленко окончательно отдался литературѣ, вновь дебютируя *Сномъ Макара* въ *Русской Мысли* (1885 г. № 3).

Въ настоящее время Короленко живетъ въ Петербургѣ, женатъ, имѣетъ трехъ дочерей. Въ 1877 г. вышло первое изданіе его разсказовъ. Въ настоящее-же время расходится уже седьмое изданіе. Кромѣ того его повѣсть *Слѣпой*

музыкантъ расходится пятымъ уже изданіемъ. Книга *Очерковъ и разсказовъ* его переведена на нѣмецкій, французскій, англійскій и чешскій языки. *Слѣпой музыкантъ* въ свою очередь былъ изданъ въ Лондонѣ и Бостонѣ.

Всѣ эти біографическія данныя свидѣтельствуютъ, что передъ нами писатель, возросшій не въ городской атмосферѣ, а на лонѣ природы, подъ горячимъ солнцемъ юга: образы его такъ ярки и сочны, юморъ такъ веселъ и задушевенъ. Короленко любитъ рисовать сельскіе ландшафты, и они представляются не искусственно-вклеенными заплатками, не декалькоманическими виньетками, какъ это мы видимъ у нѣкоторыхъ беллетристовъ, а тѣсно сливаются съ разсказомъ, составляя неотъемлемую его принадлежность, дышатъ одною жизнью съ выводимыми людьми.

Въ то-же время мы видимъ въ Короленкѣ человѣка бывалаго, изъѣздившаго Россію вдоль и поперекъ, и поэтому богатаго опытами и наблюденіями жизни, проявляющимися въ роскошномъ разнообразіи его картинъ. Гдѣ только не перебываете вы вмѣстѣ съ авторомъ и кого только не встрѣтите, читая его произведенія: передъ вами раскроются и жизнь мелкаго городка Юго-Западнаго края, и дремучіе боры Полѣсья, и сибирская тайга съ ея 40 градусными морозами, и сахалинскія дебри, и нищіе, пріютившіеся въ развалинахъ стараго кладбища въ Княжъ-Городѣ, и полу-русскіе, полу-якутскіе обитатели тайги, и бѣглые каторжники Сахалина, и завсегдатаи сибирскихъ тюремъ въ видѣ сектантовъ, съ ихъ фантастическими ученіями, непомнящіе родства бродяги и разбойничьи притоны подъ видомъ заимокъ. Вы не встрѣтите у Короленка ни одного повторенія, ничего, что хотя-бы одною чертою напоминало читанное вами въ предшествовавшихъ произведеніяхъ того-же автора. Каждое произведеніе его представляетъ свой особенный міръ, вполнѣ этимъ произведеніемъ исчерпывающійся. Короленко не ограничивается одними блѣдными и едва намѣченными эскизами, чѣмъ отличаются многіе изъ молодыхъ писателей: каждое выведенное имъ лицо представляетъ собою рельефноочерченный характеръ, каждая картина дорисована до конца и не требуетъ ни малѣйшей лишней черточки. Художественная полнота, законченность и гармоничность, составляющія рѣдкое въ наше время и дорогое качество, являются неотъемлемою принадлежностью разсказовъ Короленка.

Первое произведеніе Короленка, обратившее вниманіе публики и критики на автора, было, какъ мы видѣли, *Сонъ Макара*, напечатанное въ № 4 *Русской Мысли* 1885 г. Общій голосъ по прочтеніи этого произведенія былъ тотъ, что послѣ *Подлиповцевъ* Рѣшетникова ничего не появлялось въ этомъ родѣ въ литературѣ нашей до такой степени сильнаго и поразительнаго. Разсказъ подкупаетъ прежде всего содержаніемъ своимъ, силой объективности, съ которой автору удалось изобразить дикаря-якута во всѣхъ мелочахъ его внѣшняго быта и внутренняго психическаго міра, но хороша и внѣшняя форма, весьма рѣдкая въ наше время по выдержанности, отсутствію излишнихъ подробностей и растянутостей, наконецъ по лиризму, который въ концѣ разсказа захватываетъ читателя и освѣщаетъ всѣ подробности свѣтомъ глубокой идеи, лежащей въ произведеніи. Оригиналенъ и сюжетъ повѣсти, заключающійся въ путешествіи на «тотъ свѣтъ» полуякута, полу-русскаго дикаря, который, напившись пьянъ наканунѣ Рождества, заснулъ у себя дома, и ему пригрезилось, что онъ замерзъ въ тайгѣ, и затѣмъ давно умершій попикъ Иванъ ведетъ его вродѣ Виргилія по загробнымъ мытарствамъ на судъ великаго Тойона.

Въ этомъ путешествіи и судѣ Тойона заключается суть разсказа, полная глубокой бытовой и философской правды.

Затѣмъ послѣдовали *Очерки сибирскаго туриста* въ первыхъ номерахъ *Сѣвернаго Вѣстника* за 1885 г., въ которыхъ авторъ знакомитъ насъ съ нѣсколькими весьма любопытными типами сибирской жизни, по крайней мѣрѣ на цѣлое столѣтіе отставшей отъ жизни Европейской Россіи. Читаете вы эти очерки словно старый историческій романъ 30-хъ годовъ, съ разбойничьими притонами въ дремучихъ лѣсахъ, ночными нападеніями на трепещущихъ отъ ужаса путешественниковъ и прочими необыкновенными, неожиданными и захватывающими духъ приключеніями на большихъ дорогахъ. Особенно мастерски обрисованъ типъ ямщика *убивцы*, съ его богатырской физической силой, пытливымъ умомъ и нѣжно-гуманнымъ сердцемъ. При всѣхъ этихъ качествахъ понятно мистическое обаяніе, какое производилъ онъ на разбойниковъ, внушая имъ суевѣрный ужасъ, такъ что они, убѣжденные, что никакая пуля его не возьметъ и ножъ сломается объ него, не смѣли нападать на проѣзжихъ, когда онъ правилъ тройкой. Полная кровавыхъ приключеній жизнь и трагическая смерть его составляютъ главное содержаніе *Очерковъ*.

Въ томъ-же, 1885, году въ № 10 *Русской Мысли* появилась повѣсть Короленка *Въ дурномъ обществѣ*, еще болѣе упрочившая извѣстность автора. Фабула разсказа проста и незамысловата, что не мѣшаетъ ей быть въ высшей степени поэтичной. Героемъ является мальчикъ, сынъ мѣстнаго судьи въ небольшомъ городкѣ юго-западнаго края. Мать у него недавно умерла, а отецъ до такой степени предался горю, что совсѣмъ упустилъ изъ виду дѣтей, младшую дочку Соню, бывшую еще на рукахъ у няньки, и мальчика семи лѣтъ, который былъ предоставленъ вполнѣ самому себѣ и скитался по городку безъ призора.

Маленькій городокъ имѣлъ свои историческія преданія. Въ немъ были развалины замка прежнихъ владѣльцевъ городка, польскихъ графовъ, когда-то богатыхъ, нынѣ захудалыхъ. Потомки ихъ давно уже оставили жилище предковъ. Бо́льшая часть дукатовъ и всякихъ сокровищъ перешла за мостъ въ еврейскія лачуги, и послѣдніе представители славнаго рода выстроили себѣ прозаическое бѣлое зданіе на горѣ, подальше отъ города. Замокъ-же сдѣлался прибѣжищемъ бездомнаго бродячаго населенія. «Живетъ въ замкѣ»—эта фраза стала формулой для выраженія крайней степени нищеты и паденія. Когда графскій офиціалистъ Янушъ, выхлопотавшій себѣ нѣчто вродѣ владѣтельной хартіи, при помощи полиціи изгналъ бездомныхъ обитателей замка, они переселились въ полуразрушенную уніатскую часовню, находившуюся неподалеку отъ замка, и въ подземные склепы заброшеннаго кладбища.

Авторъ изображаетъ нѣсколько типовъ этихъ обитателей жилищъ мертвецовъ—одинъ другого оригинальнѣе. Наиболѣе ярко рисуется вождь босой команды Тыбурцій Дроба. У пана Тыбурція было двое дѣтей: сынъ Ванѣкъ, мальчикъ высокій, тонкій, черноволосый, угрюмо шатавшійся по городу, заложивъ руки въ карманы и кидая по сторонамъ взгляды, смущавшіе сердца калачницъ, и дѣвочка Маруся, хиленькій, рахитическій ребенокъ, увядавшій во мракѣ подземнаго жилища. Герой разсказа, шатаясь по городу безъ призора, вздумалъ однажды изъ дѣтскаго любопытства вмѣстѣ съ двумя уличными товарищами осмотрѣть внутренность уніатской часовни, тамъ неожиданно нашелъ дѣтей Тыбурція и познакомился съ ними. Описаніе внутренности забро-

шенной часовни, экскурсіи дѣтей въ эти мрачныя развалины, ихъ суевѣрнаго страха и паническаго ужаса — верхъ художественности и представляется однимъ изъ лучшихъ мѣстъ въ разсказѣ Короленка. Мальчикъ подружился съ дѣтьми нищаго бродяги. Они были голодны; мальчикъ-же, не пригрѣтый любовью и лаской и заброшенный, мучился духовнымъ голодомъ, и въ то время, какъ онъ носилъ друзьямъ яблоки и всякую снѣдь, они платили ему дружеской привязаностью. Мальчикъ сошелся и со всѣми обитателями склепа. Дружба эта составляла тайну его отъ родныхъ. Когда-же родные проникли въ эту тайну, послѣдовала домашняя буря. Отецъ набросился на сына, требуя полнаго признанія. Мальчикъ геройски молчалъ. Трудно и предположить, что послѣдовало-бы, если-бы не явился Тыбурцій и не разъяснилъ пану судьѣ, въ чемъ дѣло.

Не менѣе поразила мрачнымъ содержаніемъ небольшая повѣсть *Лѣсъ шумитъ*, напечатанная въ № 1 *Русской Мысли* 1886 года. Сюжетъ этой повѣсти относится къ эпохѣ крѣпостного права; дѣйствіе происходитъ въ южной Россіи. Героями являются лѣсничій Романъ и доѣзжачій Опанасъ Швидкій. Панъ, которому они оба принадлежали, насильно выдалъ замужъ крестьянку Оксану за Романа въ то время, какъ ее любилъ Опанасъ, и затѣмъ самъ началъ ухаживать за нею. Тогда Опанасъ и Романъ сговорились и убили пана. Опанасъ, принявъ всю вину на себя, сдѣлался разбойникомъ, Романъ-же остался жить въ своей лѣсной хатѣ съ Оксаной въ полномъ согласіи, какъ ни въ чемъ не бывало. Опанасъ изрѣдка заходилъ къ нимъ, чаще всего, когда Романа не бывало дома,—придетъ, посидитъ и пѣсню споетъ, и на бандурѣ сыграетъ. Случалось приходить ему и съ товарищами, когда Романъ былъ дома, и послѣдній всегда принималъ его радушно, несмотря на то, что изъ двухъ дѣтей его одинъ былъ похожъ на него, а другой былъ вылитый Опанасъ.

Но верхомъ совершенства, лучшимъ, что только было до сихъ поръ написано Короленкомъ, является *Слѣпой музыкантъ*, напечатанный въ № 6 *Русской Мысли* за 1886 годъ. Трудно представить себѣ сюжетъ болѣе простой и незатѣйливый. Все содержаніе разсказа заключается въ томъ, что въ помѣщичьемъ семействѣ въ юго-западномъ краѣ родился слѣпой мальчикъ; впослѣдствіи изъ него образовался музыкантъ, и онъ женился на подругѣ своего дѣтства. Все дѣйствіе разсказа совершается въ душѣ героя и представляетъ собой картину его умственнаго и музыкальнаго развитія при условіи отсутствія чувства зрѣнія. Передъ вами психологическій этюдъ, по своей отвлеченности рискующій быть сухимъ и скучнымъ. А между тѣмъ, едва начнете читать его, не оторветесь, пока не дочитаете до конца. Съ первой-же страницы въ вашу душу вторгается могучій потокъ поэзіи безъискусственной, простой, но сильной, свѣжей, бьющей ключемъ и благоухающей такой гуманностью и нравственной чистотой, что, прочтя разсказъ, вы чувствуете себя словно обновленнымъ; какъ будто въ вашу комнату влетѣлъ лучезарный призракъ, исполненный мира и любви, открылъ вамъ глубокій смыслъ жизни: она исполнилась для васъ новымъ, невѣдомымъ очарованіемъ, возвысилась въ цѣнѣ, между тѣмъ какъ все грязное и дрянное, накопившееся въ нѣдрахъ вашей души, исчезло и разсѣялось, какъ дымъ. Вы встрѣчаете мѣста, которыя производятъ на васъ потрясающее впечатлѣніе, едва удерживаетесь отъ рыданій, а между тѣмъ ничего особенно чувствительнаго нѣтъ въ этихъ мѣстахъ:

описывается что-нибудь вродѣ того, какое впечатлѣніе произвела на слѣпца впервые услышанная народная пѣсня «Ой тамъ на гори, тай женці жнутъ».

Сверхъ этихъ наиболѣе выдающихся произведеній Короленка были напечатаны въ разныя времена слѣдующія, имѣвшія меньшій успѣхъ, хотя и отмѣченныя тѣмъ-же высокимъ талантомъ: *Въ ночь подъ Свѣтлый Праздникъ, Старый звонарь, Прохоръ и студенты, Съ двухъ сторонъ, Павловскіе очерки.*

VI.

Игнатій Николаевичъ Потапенко родился въ декабрѣ 1856 года въ селѣ Федоровкѣ Херсонской губерніи. Отецъ его былъ въ то время офицеромъ уланскаго полка, мать происходила изъ крестьянъ-малороссовъ. Впослѣдствіи отецъ перешелъ въ духовное званіе и сдѣлался священникомъ. Первоначальной грамотѣ Потапенко научился дома; восьми лѣтъ былъ отданъ въ духовное училище въ Херсонѣ, гдѣ засталъ бурсу стараго фасона, благами которой наслаждался втеченіе двухъ лѣтъ, былъ сѣченъ и всячески битъ и пр. Кончивъ духовную семинарію въ Одессѣ (общеобразовательный курсъ безъ двухъ богословскихъ классовъ), поступилъ въ Новороссійскій университетъ, откуда перешелъ въ Петербургскій на филологическій факультетъ. Но, обладая хорошимъ голосомъ и увлекаясь музыкой, онъ оставилъ университетъ и поступилъ въ Петербургскую консерваторію, которую и кончилъ по пѣнію, занимаясь также спеціальной теоріей.

Литературное поприще свое Потапенко началъ въ 1881 году, когда въ № 1 *Вѣстника Европы* былъ помѣщенъ первый очеркъ его *Федонька*, подписанный И. П. До 1886 года онъ помѣщалъ въ *Днѣ* и *Вѣстникѣ Европы* небольшіе разсказы, изъ которыхъ наиболѣе выдается повѣсть *Святое искусство*, изображающая нравы петербургской литературной богемы, напечатанная въ № 8 *Вѣстника Европы* за 1885 годъ. Повѣсть эта положила начало извѣстности Потапенка. Съ 1886 и по 1890 годъ Потапенко работалъ въ одесскихъ газетахъ и жилъ въ Одессѣ. Въ 1890 году онъ вернулся въ Петербургъ и упрочилъ свою извѣстность двумя большими произведеніями: *На дѣйствительной службѣ*—повѣсть, помѣщенная въ №№ 7 и 8 *Вѣстника Европы*, и *Здравыя понятія*—романъ, появившійся въ №№ 8, 9 и 10 *Сѣвернаго Вѣстника*. Въ томъ-же году появилась въ *Вѣстникѣ Европы* въ № 9 повѣсть его *Секретарь его превосходительства*, а въ *Артистѣ*—разсказъ *Проклятая Слава*. Въ томъ-же, 1890, году вышло первое собраніе его сочиненій, изданное Ф. Ф. Павленковымъ.

Главная особенность таланта Потапенка—ясный и бодрый взглядъ на жизнь, исполненный добродушно-незлобиваго оптимизма, и совершенное отсутствіе мрачнаго скептицизма современной беллетристики. Какія бы ужасныя вещи ни изображались въ произведеніи Потапенка, читатель выноситъ бодрящее чувство отрады; на душѣ у него становится свѣтло, и онъ готовъ бываетъ даже воскликнуть: «а какъ бы то ни было, все-таки хорошо на бѣломъ свѣтѣ!».

Изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ изображалъ жизнь въ однѣхъ розовыхъ краскахъ. Вы найдете у Потапенка тѣ-же общественныя язвы и непорядки, драматическіе и трагическіе мотивы, тѣхъ-же злыхъ и дрянныхъ людей, хищ-

ныхъ пауковъ, поѣдающихъ оплошныхъ и слабыхъ мухъ, какъ и во всей современной беллетристикѣ. Но только тамъ, гдѣ писатели съ мрачными взглядами на жизнь и людей нарочно сгустятъ черныя краски, подчеркнутъ все наиболѣе возмутительное въ изображаемомъ явленіи, у Потапенка же напротивъ того всегда являются вводные элементы, которые нейтрализируютъ драматизмъ: то въ злодѣѣ драмы онъ вселяетъ такія почтенныя качества, что читатель невольно мирится съ нимъ; добродѣтельные-же и страдающіе люди выходятъ комичны и тѣмъ какъ-бы заслуживаютъ свои страданія (такое впечатлѣніе мы выносимъ изъ романа *Здравыя понятія*); то добродѣтель настолько торжествуетъ въ заключеніе, а зло такъ безпощадно наказуется, что на радостяхъ, при видѣ такого исхода, читатель великодушно готовъ простить людямъ всѣ дрязги, предшествовавшія столь вождѣленному концу.



И. Н. Потапенко.

Въ виду этого казалось-бы читатель долженъ выносить изъ произведеній Потапенка чувство неудовлетворенности, такъ какъ и чутье, и собственный опытъ подсказываютъ читателю, что въ дѣйствительности далеко не все такъ благополучно кончается. Между тѣмъ читатель съ большимъ удовольствіемъ читаетъ произведенія Потапенка и, не удовлетворяясь въ одномъ отношеніи, въ другомъ —напротивъ того—выноситъ чувство полнаго удовлетворенія и большое эстетическое удовольствіе. Это зависитъ оттого, что въ произведеніяхъ Потапенка есть еще элементъ, самый существенный въ его творчествѣ, преобладающій надъ всѣми другими,— это смѣхъ, юморъ.

И дѣйствительно, тѣ страницы, въ которыхъ авторъ осмѣиваетъ своихъ героевъ, читаются съ наибольшимъ удовольствіемъ. Самое главное свойство добродушнаго, но тѣмъ не менѣе мѣткаго и безпощаднаго юмора Потапенка заключается въ томъ, чтобы, уловивши смѣшныя и глупыя стороны изображаемыхъ лицъ, обнаружить всю нелѣпицу скрывающихся въ нихъ противорѣчій.

Не только въ такихъ произведеніяхъ въ полномъ смыслѣ юмористическихъ, какъ *Святое искусство*, *Потѣшная исторія*, *Рѣдкій праздникъ*, *Секретарь его превосходительства*, но и въ романахъ: *Здравыя понятія* и *На дѣйствительной службѣ*, задуманныхъ не ради одного смѣха, самыми прекрасными страницами являются опять-таки тѣ, гдѣ разыгрывается юморъ автора. Что за прелесть напримѣръ такіе комическіе типы современной молодежи, какъ Кремча-

товъ, Вѣтвицкій, Оленинъ, Мишуринъ; всѣ они, какъ живые, стоятъ передъ вами во всей своей несообразности, со всѣми умственными и нравственными противорѣчіями. А когда вы читаете повѣсть *На дѣйствительной службѣ*, изображающую молодого академика, промѣнявшаго блестящую карьеру на скромный постъ сельскаго пастыря и мечтающаго осуществить высшій идеалъ своего призванія,—васъ болѣе занимаетъ не столько самый фактъ подвижничества отца Кирилла, сколько весь тотъ комическій переполохъ, который произвело это подвижничество въ озадаченномъ и сбитомъ съ толку причтѣ. Здѣсь въ свою очередь на каждой страницѣ вы натыкаетесь на массу типовъ и сценъ, которые заставляютъ васъ хохотать отъ души, въ которыхъ юморъ автора такъ и прыщетъ изъ каждой строки.

VII.

Дмитрій Наркисовичъ Маминъ, извѣстный также подъ псевдонимомъ Сибирякъ, родился въ 1852 году въ Екатеринбургѣ. По окончаніи средняго воспитанія на родинѣ, высшее образованіе онъ получилъ въ С.-Петербургскомъ ветеринарномъ институтѣ и юридическомъ факультетѣ С.-Петербургскаго университета. На литературное поприще выступилъ онъ въ первой половинѣ семидесятыхъ годовъ въ качествѣ газетнаго репортера. Литературную-же извѣстность пріобрѣлъ повѣстью *На рубежѣ Азіи*, помѣщенной въ №№ 3, 4 и 5 1889 г. журнала *Устои*. Затѣмъ обратила вниманіе публики повѣсть его *Золотуха*, помѣщенная въ *Отечественныхъ Запискахъ* 1883 г. Романъ-же его *Горное гнѣздо*, напечатанный въ первыхъ трехъ книжкахъ того-же журнала 1884 г., окончательно упрочилъ его литературную репутацію, какъ беллетриста, обладающаго очень симпатичнымъ талантомъ. Главная спеціальность его заключается въ изображеніи быта зауральскаго края и западной Сибири. Послѣдними его произведеніями въ этомъ родѣ, заслуживающими наибольшаго вниманія, представляются романы: *Три конца* (*Русск. Мысль* 1890 г.), *Братья Гордѣевы* (*Русск. Мысль* 1891 г.), «*Хлѣбъ*» (*Русск. Мысль* 1895 г.) и пр. Нѣсколько произведеній посвящены имъ изображеніямъ также и изъ жизни современной интеллигенціи. Таковы: романъ *На улицѣ* (1886 г.), *Первые студенты* (1887 г.), *Надо поощрять искусство* (1887 года), *Ученое Горе* (1892 г.), *Очерки изъ жизни Пепко* и пр.

Антонъ Павловичъ Чеховъ (псевдонимъ Чехонте) родился 17 января 1860 г. въ Таганрогѣ. Дѣдъ и отецъ его, уроженцы Воронежской губерніи, были изъ крѣпостныхъ. Учился Чеховъ въ Таганрогской гимназіи. Получивъ аттестатъ зрѣлости, онъ отправился въ Московскій университетъ, гдѣ въ 1884 г. кончилъ курсъ по медицинскому факультету. Литературная дѣятельность его началась въ 1879 г. въ газетахъ: *Стрекоза*, *Будильникъ*, *Петербургская Газета*, *Новое Время*, рядомъ мелкихъ фельетонныхъ разсказиковъ. Живые, веселые, полные юмора и блестящаго остроумія, разсказики эти не замедлили обратить вниманіе на ихъ автора, и имя Чехова получило общую извѣстность, когда всѣ эти разсказики появились отдѣльными изданіями—въ 1887 г. *Юмористическіе разсказы* и *Въ сумеркахъ*, въ 1890 г.—*Хмурые люди*.

Но окончательно расцвѣлъ и развился во всей своей величинѣ талантъ Чехова, когда въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ онъ началъ печататься въ

толстыхъ журналахъ, перейдя къ крупнымъ произведеніямъ и по размѣру, и по художественнымъ достоинствамъ. Таковы: *Степь*, *Огни*, *Скучная исторія*, *Палата № 6*, *Записки неизвѣстнаго* и пр.

Подобно большинству беллетристовъ, появившихся втеченіе восьмидесятыхъ годовъ (Новодворскому, Гаршину, Мамину, Альбову, Баранцевичу), Чеховъ отражаетъ въ своихъ произведеніяхъ то пессимистическое настроеніе, какое присуще этому мрачному десятилѣтію. Напрасно будете вы искать въ его произведеніяхъ положительные типы, свѣтлыя, отрадныя явленія, утѣшительныя перспективы. Безъисходный мракъ царитъ въ нихъ. Герои его по большей части люди, извѣрившіеся въ себя и въ ближнихъ, нервно-развинченные, нравственно больные, вслѣдствіе чего глубокій и тонкій, поразительный психическій анализъ его очень часто принимаетъ психіатрическій характеръ. Когда, напримѣръ, вы читаете *Палату № 6*, вамъ кажется, что не одни только главные герои— люди душевно-больные, но и жители всего города, въ которомъ совершается дѣйствіе, нѣсколько тронуты. Обращаемъ вниманіе на эти черты, не какъ на недостатокъ таланта Чехова, а какъ на особенность его, зависящую отъ характера времени, и ни мало не мѣшающую Чехову быть любимцемъ публики и занимать одно изъ первыхъ мѣстъ въ современной беллетристикѣ.



А. П. Чеховъ.

Алексѣй Алексѣевичъ Тихоновъ, извѣстный подъ псевдонимомъ Луговой, родился 19-го февраля 1853 года въ Варнавинѣ, Костромской губерніи. Отецъ его былъ сначала лѣсопромышленникомъ, потомъ откупщикомъ, а позже винокуреннымъ заводчикомъ въ Казанской губерніи. Образованіе Луговой получилъ первоначально домашнее, подъ руководствомъ иностранныхъ гувернеровъ, изъ которыхъ наиболѣе вліянія оказалъ на мальчика нѣмецъ, знавшій нѣсколько языковъ, имѣвшій обширную библіотеку и пристрастившій ученика къ чтенію европейскихъ классиковъ. Въ то-же время библіотека отца, не жалѣвшаго денегъ на выписку дорогихъ изданій для воспитанія дѣтей, доставила юношѣ возможность познакомиться и съ русскими классиками.

Когда мальчику минуло 14 лѣтъ, онъ поступилъ въ 4-й классъ 1-й Казанской гимназіи, но, перейдя въ 5-й, долженъ былъ по болѣзни оставить гимназію. Получивъ затѣмъ аттестатъ зрѣлости въ Псковской гимназіи, онъ поступилъ въ С.-Петербургскій технологическій институтъ; но по домашнимъ

обстоятельствамъ долженъ былъ съ перваго-же курса уѣхать въ Казань и заняться торговыми дѣлами отца. Впослѣдствіи онъ самъ былъ винокуреннымъ заводчикомъ, а позднѣе торговалъ льномъ и хлѣбомъ, покупая эти товары въ Вятской и Пермской губерніяхъ и отправляя ихъ во Францію и Англію. Частью по торговымъ дѣламъ, частью туристомъ онъ много ѣздилъ по Россіи, былъ разъ десять за-границей, между прочимъ въ Америкѣ. Въ 1883 г. былъ объявленъ петербургскимъ коммерческимъ судомъ несостоятельнымъ должникомъ съ пассивомъ около полумилліона рублей.

Луговой началъ писать статьи еще въ гимназіи; первое же его стихотвореніе напечатано было 15-го февраля 1884 г. въ московскомъ журналѣ *Россія* подъ псевдонимомъ Луговой. Первый разсказъ появился на страницахъ *Вѣстника Европы* въ январѣ 1886 г. *Не судилъ Богъ.* Затѣмъ появился рядъ стихотвореній, повѣстей и разныхъ статей во всѣхъ журналахъ; изъ нихъ наиболѣе обширная была повѣсть *На куриномъ насѣстѣ*, напечатанная въ *Русской Мысли* 1886 г. въ №№ 9, 10 и 11.—Въ 1890 г. была поставлена въ Москвѣ и Петербургѣ на сценѣ Императорскихъ театровъ комедія его *Озимъ*, имѣвшая средній успѣхъ. Наибольшее-же вниманіе обратило на себя произведеніе его *Pollice verso*, появившееся въ апрѣльской и майской книжкахъ въ *Сѣверномъ Вѣстникѣ* за 1891 г. и обнаружившее въ авторѣ солидное знаніе классической древности. Обладая среднимъ талантомъ, Луговой въ то-же время значительно превосходитъ большинство беллетристовъ сверстниковъ обширностью образованія, равно и наблюденій, вынесенныхъ имъ изъ его многолѣтнихъ странствій. Это обѣщаетъ въ будущемъ писателя если и не крупнаго, то во всякомъ случаѣ полезнаго.

Заслуживаетъ также вниманія князь Д. Голицынъ, появившійся въ 1884 году съ отдѣльнымъ изданіемъ эскизовъ и очерковъ подъ заглавіемъ *Убогіе и нарядные*; а въ началѣ 1885 года вышелъ отдѣльнымъ-же изданіемъ романъ *Теноръ*. Оба изданія были подписаны псевдонимомъ Муравлинъ. Кн. Голицынъ явился въ нихъ изобразителемъ исключительно нравовъ высшаго петербургскаго общества, и притомъ съ такихъ сторонъ, которыя не были еще въ достаточной степени затронуты литературой, именно физическаго и нравственнаго вырожденія аристократическихъ родовъ, въ видѣ психическихъ болѣзней, наклонности къ самоубійству и всевозможныхъ нравственныхъ извращеній и пороковъ. Наибольшее мастерство обнаружилъ онъ въ психическомъ анализѣ внутренняго міра слабоумныхъ и безвольныхъ князьковъ и психопатокъ съ ихъ фантастической влюбчивостью въ заѣзжихъ артистовъ и т. п. Къ сожалѣнію творческаго матеріала хватило у кн. Голицына только лишь на два упомянутыя изданія. Всѣ позднѣйшія его произведенія—романы: *Баба*, *Мракъ*, *Хворь*, *Около любви*, *Князья*—представляютъ лишь варіаціи на однѣ и тѣ-же темы, и авторъ въ каждомъ новомъ романѣ тянетъ одну и ту-же пѣсню, лишь повторяя ее на разные лады. Къ тому-же скороспѣлость работы производитъ непріятное впечатлѣніе небрежнаго отношенія къ дѣлу и ставитъ произведенія кн. Голицына внѣ круга истинно изящныхъ художественныхъ произведеній.

Послѣднія двадцать лѣтъ ознаменовались появленіемъ массы женщинъ-беллетристокъ. Считаемъ нелишнимъ указать на слѣдующихъ изъ нихъ, какъ наиболѣе талантливыхъ и выдающихся.

Въ первую половину семидесятыхъ годовъ на страницахъ *Отечественныхъ*

Записокъ подвизалась С. И. Смирнова, выступившая на литературное поприще романомъ *Огонекъ* въ 1871 г. *(Отеч. Зап* №№ 5, 6, 7). Затѣмъ послѣдовали романы: *Соль земли (Отеч. Зап.* 1872 г. №№ 1—5), *Попечитель учебнаго округа (Отеч. Зап.* 1873 г. №№ 10—12) и *Сила характера (Отеч. Зап.* 1876 г. №№ 3—4). Романы Смирновой пользовались большимъ успѣхомъ въ свое время и вполнѣ заслуженнымъ, такъ какъ въ нихъ обнаружился талантъ сильный и вполнѣ оригинальный. Особенно привлекало въ молодой писательницѣ стремленіе не ограничиваться одной узкой сферой любовныхъ и семейныхъ отношеній, что мы видимъ у большинства беллетристокъ, а затрогивать тѣ или другія общественные вопросы, отражать духъ времени. Однимъ словомъ, писательница, соотвѣтственно заглавію ея перваго романа, сама была съ *огонькомъ*. Ей недоставало только по молодости лѣтъ знанія жизни, а также наблюденій и опыта, что съ лѣтами конечно могло-бы и придти. Къ сожалѣнію *Сила характера* была послѣднимъ романомъ, какимъ подарила она публику. Послѣ того она замолкла и почти совсѣмъ сошла съ литературнаго поприща. По крайней мѣрѣ впродолженіе послѣднихъ 20 лѣтъ она выпустила въ свѣтъ лишь небольшую пьесу, поставленную на петербургскую сцену въ 1877 г., нѣсколько остроумныхъ фельетоновъ въ *Новомъ Времени* и въ №№ 11 и 12 *Сѣв. Вѣстника* за 1893 годъ повѣсть *Въ огонь и въ воду*.

Валентина Іововна Дмитріева, не говоря о ея выдающемся талантѣ, заслуживаетъ вниманія тѣмъ однимъ, что это первая писательница на Руси, вышедшая прямо изъ народа. Отецъ ея былъ крѣпостной крестьянинъ Нарышкина. Она родилась въ 1859 году въ селѣ Воронинѣ, Балашовскаго уѣзда, Саратовской губерніи; дѣтство провела въ деревнѣ, потомъ поступила въ 4-й классъ Тамбовской женской гимназіи. По окончаніи курса служила въ сельскихъ учительницахъ и тутъ въ первый разъ начала писать корреспонденціи и небольшіе разсказы въ *Саратовскомъ справочномъ листкѣ* и *Саратовскомъ Дневникѣ*. Въ 1878 г. пріѣхала въ Петербургъ и поступила на врачебные курсы, гдѣ и окончила свое образованіе въ 1885 году. За это время были написаны ею слѣдующіе разсказы: *По душѣ, да не по разуму (Мысль* 80 г., IV), *Ахметкина жена (Русск. Бог.* 81 г., I), *Отъ совѣсти (Русск. М.* 82 г., III), *Въ тихомъ омутѣ (Дѣло* 82 г., VI), *Въ разныя стороны (Русс. М.* 83 г., III и IV), *Злая воля (Дѣло* 83 г., IV—VII), *Тюрьма) В. Евр.* 87 г., VIII—X), *Своимъ судомъ (Сѣв. В.* 88 г., I), *Доброволецъ (В. Евр.* 89 г., IX—X).

Происхожденіе изъ народа сказывается во всѣхъ произведеніяхъ Дмитріевой: они отличаются основательнымъ знаніемъ крестьянской жизни, мастерскимъ психическимъ анализомъ и глубокимъ общественнымъ смысломъ. Въ то-же время въ разсказахъ Дмитріевой поражаетъ васъ чисто мужское перо, отсутствіе сентиментальности и страсти вдаваться въ подробности перипетій страсти нѣжной, чѣмъ такъ грѣшитъ большинство женщинъ.

Обращаетъ на себя вниманіе также Александра Александровна Виницкая, произведенія которой, появлявшіяся втеченіе восьмидесятыхъ годовъ, вышли отдѣльнымъ изданіемъ въ 1886 г. У Виницкой талантикъ небольшой, но симпатичный, къ сожалѣнію только весьма неровный. Когда вы читаете ея произведенія, на васъ изрѣдка словно солнце изъ-за тучъ блеснетъ страница, другая искренней, неподдѣльной художественности, но затѣмъ снова все померкнетъ во мглѣ аффектаціи и фальши. Передъ вами словно двѣ писательницы, не имѣющія ничего общаго: одна изображаетъ жизнь наглядно, просто,

правдиво; другая-же становится на величественныя, трагическія ходули и нанизываетъ, словно поддѣльный жемчугъ на нитку, ложь на ложь, фальшь на фальшь, чтобы доказать, какъ люди злы и пошлы. Первой писательницѣ принадлежатъ такіе прекрасные разсказы, какъ: *Наша Наташа*, *Старые знакомые*; второй—*Судьба*, *Улиткино дѣло*, *Ни дна, ни покрышки* и пр.

Любимѣйшею писательницею современной публики представляется также Ольга Александровна Шапиръ (урожденная Кислякова), наиболѣе крупными произведеніями которой являются романы: *Безъ любви* и *Мишура*, и масса повѣстей: *Кандидатъ Куратовъ*, *Изъ семейной прозы*, *Дорогой цѣной*, *Бабье лѣто*, *На порогѣ жизни*,—напечатанныхъ въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ, затѣмъ изданныхъ отдѣльнымъ изданіемъ въ 1888 году. Въ произведеніяхъ О. А. Шапиръ мы видимъ какъ бы возвращеніе женской беллетристики къ сороковымъ и пятидесятымъ годамъ, такъ какъ они имѣютъ дѣло исключительно съ одними вопросами сердечными и семейными. Очертивши эту маленькую сферу жизни, въ которой писательница чувствуетъ себя вполнѣ компетентною, она затѣмъ игнорируетъ все остальное. Герои Шапиръ что-то дѣлаютъ на общественномъ поприщѣ: служатъ или хозяйничаютъ въ качествѣ помѣщиковъ, но хорошо-ли или дурно они это дѣлаютъ, успѣшно или безуспѣшно, довольны или недовольны своею дѣятельностью, объ этомъ и не упоминается. За то въ своей спеціальной сферѣ Шапиръ безукоризненна, и ея повѣсти и романы отличаются тонкимъ и мастерскимъ анализомъ женской любви и семейныхъ отношеній.

Такою-же спеціальностью отличается и молодая, недавно выступившая на литературное поприще беллетристка Марья Всеволодовна Крестовская. Первое произведеніе ея романъ *Раннія грозы* появился въ 1887 году на страницахъ *Русскаго Вѣстника*, и молодая писательница обратила на себя общее вниманіе, какъ новый талантъ, обѣщающій въ будущемъ многое. Вниманіе это обусловливалось и нѣкоторыми побочными обстоятельствами: вопервыхъ тутъ дѣйствовало совпаденіе имени Крестовской съ псевдонимомъ Хвощинской, а во-вторыхъ она — дочь извѣстнаго писателя В. Крестовскаго и представляетъ замѣчательное явленіе наслѣдственной передачи беллетристическаго таланта. Въ 1889 году появилось отдѣльное изданіе ея сочиненій, гдѣ, кромѣ *Раннихъ грозъ*, были напечатаны повѣсти: *Испытаніе*, *Вихрь жизни*, *Уголки театральнаго міра*, и проч. Въ 1891-мъ году былъ напечатанъ въ *Вѣстникѣ Европы* обширный ея романъ *Артистка*.

М. В. Крестовская раздѣляетъ участь, свойственную многимъ писательницамъ и зависящую отъ особенностей женской жизни: бѣдность наблюденій внѣшней жизни и преобладаніе психическаго анализа любовныхъ страстей и семейныхъ отношеній. Въ произведеніяхъ М. В. Крестовской вы видите отсутствіе внѣшней обрисовки предметовъ. Дѣйствующія лица являются не тщательно и рельефно вырисованными типами со всѣми ихъ индивидуальными особенностями, а неопредѣленными, стереотипными фигурами, причемъ вниманіе писательницы обращено на внутреннія психическія особенности характеровъ. Но за то психическій анализъ не оставляетъ желать ничего лучшаго. Въ этомъ отношеніи произведенія М. В. Крестовской безукоризненны, и кромѣ того неотъемлемымъ достоинствомъ ея таланта представляется обиліе чувства, особенно сильно проявляющагося въ наиболѣе драматическихъ мѣстахъ ея произведеній.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

I. Александръ Николаевичъ Островскій, какъ создатель русской сцены. Дѣтство и юность его.—II. Начало литературной дѣятельности и первый періодъ ея до эпохи реформъ.—III. Факты послѣдующихъ лѣтъ его жизни; недостатокъ матеріальныхъ средствъ и несправедливости. Улучшеніе его положенія въ послѣдніе годы жизни.—IV. Общая характеристика пьесъ Островскаго: ихъ образцовая реальность, классическая простота и жизнерадостность.—V. Разносторонность точекъ зрѣнія Островскаго на жизнь и сложность изображаемыхъ явленій. Отсутствіе односторонняго увлеченія какой-либо доктриной и слабость славянофильскаго вліянія въ пятидесятые годы.—VI. Глубокое проникновеніе демократическимъ духомъ времени и отраженіе этого духа въ пьесахъ перваго періода: *Не въ свои сани не садись*, *Бѣдность не порокъ*. Драма *Не такъ живи, какъ хочется*, какъ апогей славянофильскихъ вліяній.

I.

Обновленіе, которое мы видимъ въ разсматриваемый періодъ во всѣхъ отрасляхъ нашей литературы, не могло не отразиться и на судьбахъ русской сцены. Здѣсь оно выразилось еще ярче, чѣмъ гдѣ бы то ни было, такъ какъ пятидесятые и шестидесятые годы ознаменовались въ исторіи нашего театра великимъ событіемъ созданія русской самобытной сцены.

Русская комедія существовала со временъ Сумарокова. И до сихъ поръ рядомъ съ Островскимъ ставятся такія великія имена, какъ Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь. Но какъ ни высоки творенія этихъ писателей, какія крупныя дани ни заплатили они русскому театру, они все-таки не могутъ быть названы создателями его въ истинномъ смыслѣ этого слова, потому что пьесы ихъ являются словно оазисами, раздѣлены значительными промежутками времени и не оставили послѣ себя прочныхъ школъ. Что касается Фонвизина, то онъ подарилъ русскому театру всего три комедіи, и хотя въ нихъ не мало самобытнаго и оригинальнаго, все-таки онѣ скроены по образцамъ французской сцены, которые сильно сказываются въ нихъ на каждомъ шагу.

Горе отъ ума славится въ русской литературѣ скорѣе какъ геніальная общественная сатира, чѣмъ какъ образцовая комедія, и по своему типу она въ свою очередь носитъ характеръ французской сцены.

Что касается комедій Гоголя, то, при всей ихъ геніальности, онѣ не оставили послѣ себя ни одного послѣдователя и остались безъ подражателей. Въ тридцатые и сороковые годы обыденный репертуаръ русскаго театра составлялся изъ пьесъ, неимѣющихъ ничего общаго ни съ *Горемъ отъ ума*, ни съ *Ревизоромъ* или *Женитьбою*; послѣднія давались лишь изрѣдка и имѣли стольже мало общаго съ большинствомъ пьесъ, ежедневно ставившихся на сценѣ, какъ мало общаго между душистымъ ананасомъ и селедкою, подающимися за однимъ и тѣмъ-же обѣдомъ. Щеголяя этими классическими пьесами, сцена пробавлялась ежедневно или переводами раздирательныхъ французскихъ мелодрамъ, или-же патріотическими трагедіями съ оглушительными рычаніями трехъ-аршинныхъ трагиковъ, вродѣ Каратыгина I. Вполнѣ понятна скорбь, которою былъ преисполненъ Гоголь при постановкѣ *Ревизора*, не найдя на сценѣ Александринскаго театра ни одного актера, который вполнѣ удовлетворительно сыгралъ-бы роль Хлестакова. Изъ этого не слѣдовало, чтобы на этой

сценѣ не было ни одного талантливаго артиста. Но артисты эти были воспитаны совсѣмъ въ иномъ духѣ, для иныхъ пьесъ.

Нужно было, чтобы появился сильный талантъ, который впродолженіе сорока лѣтъ успѣлъ бы поставить до пятидесяти пьесъ, т. е. болѣе, чѣмъ по одной пьесѣ въ годъ, для того, чтобы, наполнивъ сцену своими произведеніями, произвести въ ней переворотъ, совершенно преобразовать вкусы публики и создать новыхъ актеровъ, не имѣющихъ ничего общаго съ прежними.

Это совершилъ Александръ Николаевичъ Островскій.

А. Н. Островскій родился въ 1823 году въ Москвѣ. Отецъ его былъ бѣдный подъячій,занимающійся ходатайствами по дѣламъ замоскворѣцкаго купечества, вродѣ тѣхъ, которые встрѣчаются въ комедіяхъ Островскаго. Такимъ образомъ въ дѣтствѣ уже пришлось Островскому не только наблюдать, но и на своихъ близкихъ испытывать тяготу нравовъ Замоскворѣчья. Но не одно Замоскворѣчье давало пищу чуткой наблюдательности ребенка и юноши. Несмотря на то, что Островскій былъ исключительно городской писатель, всю жизнь съ небольшими лишь перерывами прожившій въ Москвѣ, онъ былъ именно въ качествѣ москвича поставленъ въ выгодныя условія для наблюденій русской жизни въ разнообразныхъ ея слояхъ и историческихъ пластахъ. Москва тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ была фокусомъ Россіи, вмѣщавшимъ въ своихъ стѣнахъ всѣ ея историческія и современныя особенности. Здѣсь сосредоточивалось въ эту эпоху высшее умственное движеніе интеллигентнаго общества, издавались лучшіе журналы: *Московскій Телеграфъ*—Полевого, *Телескопъ*—Надеждина, позже—*Московскій Наблюдатель*, *Молва*. Здѣсь развивались кружки шеллингистовъ,—Станкевича, Герцена, шли оживленные споры о судьбахъ Европы и Россіи на основаніи послѣднихъ словъ европейской философіи и науки. Тутъ-же, рядомъ съ интеллигентными верхами, жили въ своихъ дворцахъ бары во всей деревенской и степной простотѣ, окруженные многочисленными дворнями крѣпостныхъ и сворами собакъ, и беззастѣнчиво производили жестокія расправы на конюшняхъ почти всенародно. Рядомъ съ чиновниками-бюрократами петербургскаго склада, щеголями и карьеристами, здѣсь гнѣздились чиновничьи типы и нравы московскихъ подъячихъ до-петровской старины. Еще ниже, въ купеческихъ семьяхъ, тронутыхъ цивилизаціей, можно было наблюдать тотъ первоначальный процессъ внѣшняго объевропеиванья, какой въ дворянскихъ слояхъ совершался при Петрѣ. Наконецъ на самомъ низу сохранялся въ полной неприкосновенности домостроевскій порядокъ, какой имѣлъ мѣсто въ до-петровской Руси. Такимъ образомъ, проживая въ Москвѣ, Островскій видѣлъ Русь во всемъ ея историческомъ и современномъ разнообразіи.

Въ началѣ тридцатыхъ годовъ Островскій былъ отданъ въ 1-ю Московскую гимназію, и изъ воспоминаній Ѳ. А. Бурдина (*В. Евр.* 1886 г. № 12) мы видимъ, что въ 1840 году, когда Островскій былъ семнадцати лѣтъ, на выпускѣ, онъ успѣлъ уже пристраститься къ театру. И это очень понятно, если взять во вниманіе высокое мѣсто, какое занималъ въ то время московскій театръ. Это была лучшая сцена въ Россіи, на которой славились такіе крупные таланты, какъ Мочаловъ и Щепкинъ. Вся московская молодежь тогда бредила театромъ, дѣлилась на партіи, спорила и шумѣла изъ-за сценическихъ любимцевъ и любимицъ. Вспомните восторженный дифирамбъ театру, пропѣтый Бѣлинскимъ

въ первой своей статьѣ, равно и прочія статьи его о московскихъ и петербургскихъ знаменитостяхъ.

Слѣдуя примѣру сверстниковъ, Островскій въ старшихъ классахъ гимназіи любилъ театръ и часто посѣщалъ его, и товарищи, по словамъ Ѳ. А. Бурдина, съ великимъ удовольствіемъ и интересомъ слушали его мастерскіе разсказы объ игрѣ Мочалова, Щепкина, Львовой-Синецкой и пр. Интересно было-бы знать, читалъ-ли Островскій въ то время статьи о театрѣ Бѣлинскаго. Во всякомъ случаѣ, если не въ то время, то позднѣе навѣрное запечатлѣлись въ памяти его мысли Бѣлинскаго объ отношеніи актера къ автору, заключающіяся въ томъ, что сценическое искусство онъ почитаетъ творчествомъ, а актера—самобытнымъ творцомъ, а не рабомъ автора, что актеръ дополняетъ своей игрой идею автора, и въ этомъ дополненіи состоитъ его творчество, и что особенно въ комедіи актеръ иногда можетъ придать персонажу такія черты, о которыхъ авторъ и не думалъ, пересоздать роль, вдохнуть живую душу даже въ совершенно мертвыя и плохія созданія.

Что подобныя идеи руководили Островскаго въ его творчествѣ, мы можемъ судить по тому, что, начиная съ первой пьесы его и до послѣдней, онъ постоянно избѣгалъ вырисовывать характеры и лица настолько, чтобы они были отчеканены до послѣдней черточки и актеру оставалось бы быть лишь слѣпымъ исполнителемъ; напротивъ того, онъ оставлялъ на долю актера значительную степень довершенія роли и предоставлялъ полную свободу проявленію сценическаго творчества и выраженію индивидуальности Въ этомъ отношеніи комедіи Островскаго представляютъ незамѣнимую школу и пробу для каждаго истиннаго сценическаго дарованія.

II.

Послѣ гимназическаго курса, въ началѣ сороковыхъ годовъ, Островскій поступилъ въ Московскій университетъ на юридическій факультетъ, но курса не кончилъ по непріятностямъ, которыя у него вышли съ однимъ профессоромъ. По выходѣ изъ университета въ 1843 году Островскій поступилъ на службу въ коммерческій судъ и здѣсь имѣлъ возможность еще болѣе расширить кругъ наблюденій надъ жизнью замоскворѣцкихъ купцовъ. Черезъ четыре года мы видимъ уже первый дебютъ его на литературномъ поприщѣ: въ 1847 г., когда ему было около 25-ти лѣтъ, появилось первое произведеніе его *Картины семейнаго счастья* въ *Московскомъ Листкѣ*, издававшемся В. Н. Драшусовымъ. Эта картинка изъ купеческой жизни привлекла вниманіе Москвы; о ней заговорили въ литературныхъ кружкахъ. Вскорѣ затѣмъ въ томъ-же *Листкѣ* было напечатано нѣсколько сценъ изъ комедіи *Свои люди—сочтемся*, и это еще болѣе упрочило извѣстность молодого драматурга. Онъ оставилъ службу и предался литературѣ, сблизившись съ редакціей *Москвитянина* и найдя тамъ постоянныя занятія въ видѣ корректуры, составленія мелкихъ статеекъ и переписки. Каждый день приходилось ему проходить пѣшкомъ около шести верстъ отъ Николы Воробина, у Яузскаго моста, на Дѣвичье поле, причемъ зарабатывалъ онъ не болѣе 15 р. въ мѣсяцъ, на которые и кормился, пользуясь отъ отца одной квартирой. «Это было тяжелое время,—вспоминалъ впослѣдствіи Островскій,—но въ молодости нужда легко переносится».

Въ *Москвитянинѣ* въ 1847 г. была напечатана комедія его, носившая первоначально заглавіе *Банкротъ* и лишь по цензурнымъ соображеніямъ переименованная въ *Свои люди—сочтемся.* Когда Островскій прочелъ у Погодина эту пьесу, Шевыревъ, обратясь къ слушателямъ, сказалъ: «Поздравляю васъ, господа, съ новымъ драматическимъ свѣтиломъ въ русской литературѣ».— «Я не помню, какъ я пришелъ домой,—говорилъ Островскій,—я былъ въ какомъ-то туманѣ и, не ложась спать, проходилъ всю ночь по комнатѣ,—такими сказочными словами мнѣ показался отзывъ Шевырева».

Тѣмъ не менѣе новое драматическое свѣтило получило такую малость отъ Погодина за свою пьесу, что потомъ Островскій стыдился и говорить, какъ ничтоженъ былъ гонораръ.

Пьеса надѣлала много шума въ Москвѣ. Садовскій почти ежедневно читалъ ее въ обществѣ, и всѣ наперерывъ стремились послушать ее въ чтеніи знаменитаго артиста. По словамъ Садовскаго, извѣстный генералъ А. П. Ермоловъ, выслушавъ пьесу, сказалъ: «она не написана, она сама родилась!»

Но московскіе купцы оскорбились пьесою, пожаловались Закревскому, который призналъ ее вредной и оскорбительной для цѣлаго сословія, донесъ куда слѣдуетъ, и автора взяли подъ надзоръ полиціи, а о комедіи запретили говорить въ журналахъ.

Эта опала произвела на Островскаго угнетающее впечатлѣніе. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что съ 1847 г. по 1852 г. онъ написалъ одну лишь небольшую пьеску *Утро молодого человѣка*, и лишь въ 1852 г. появилась его *Бѣдная невѣста*, а въ 1853 г.—*Не въ свои сани не садись.*

Комедія *Не въ свои сани не садись* была первою пьесою Островскаго, поставленною на сцену въ Москвѣ, въ бенефисъ Косицкой, а такъ какъ бенефисныя пьесы, по положенію того времени, поступали въ собственность дирекціи, то Островскій ни гроша не получилъ за пьесу, несмотря на то, что она имѣла громадный успѣхъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, выдержавши сотни представленій. Не обошлось дѣло и безъ цензурныхъ гоненій. Когда пьесу поставили въ Петербургѣ, въ администраціи возбужденъ былъ вопросъ, не слѣдуетъ ли снять ее со сцены, такъ какъ въ ней опозоривается дворянство на счетъ купечества, и театральное чиновничество сильно перетрусило, когда на первое представленіе явился самъ Императоръ со Своимъ Семействомъ. Но Императоръ спасъ пьесу, она такъ ему понравилась, что онъ выразился о ней: «Очень мало пьесъ, которыя доставили-бы мнѣ такое удовольствіе, — ce n'est pas une pièce, c'est une leçon».

Вслѣдъ затѣмъ была поставлена комедія *Бѣдная невѣста*, за которую авторъ впервые получилъ отъ дирекціи единовременную плату въ 700 р.

Наконецъ въ 1854 г. появилась на сценѣ *Бѣдность не порокъ* и утвердила за Островскимъ славу первостепеннаго писателя: это была первая пьеса, за которую онъ получилъ поспектаклную плату въ размѣрѣ двадцатой части отъ $^2/_3$ сбора.

Пьесой *Не такъ живи, какъ хочется*, написанной тоже въ 1854 году, завершается первый, до-реформенный періодъ дѣятельности Островскаго. Періодъ этотъ распадается на двѣ серіи: въ двухъ первыхъ своихъ пьесахъ: *Семейной картинѣ* и *Банкротѣ*, Островскій является еще послѣдователемъ натуральной гоголевской школы, и образы его носятъ исключительно отрицательный характеръ, безъ малѣйшаго просвѣта. Совсѣмъ не то мы видимъ въ

послѣдующихъ пьесахъ его, особенно въ комедіяхъ: *Не въ свои сани не садись*, *Бѣдность не порокъ*, *Не такъ живи, какъ хочется*. Здѣсь видно подчиненіе вліянію московскаго славянофильства: вѣрность исконнымъ началамъ русской жизни торжествуетъ въ этихъ пьесахъ надъ отклоненіями отъ нея и выставляется, какъ нѣчто положительное, желанное, иногда даже и въ поэтическомъ ореолѣ. Близость къ редакціи *Москвитянина* и славянофильское движеніе, которое особенно сильно было въ Москвѣ въ пятидесятые годы, не остались безъ воздѣйствія на творчество Островскаго, и не даромъ критики того времени по отношенію къ Островскому раздѣлились на два враждебные лагеря: въ то время, какъ московскіе критики съ А. Григорьевымъ во главѣ восхваляли Островскаго не только прозою, но и стихами за новое слово, которое онъ произнесъ въ русской литературѣ, въ видѣ вѣрности исконнымъ народнымъ началамъ, петербургскіе критики, считавшіе себя западниками, отвергали значеніе его пьесъ, несмотря на громадный успѣхъ, который онѣ имѣли.

Замѣчательно, что и московская сцена была болѣе расположена къ Островскому, чѣмъ петербургская. Хотя начальникъ репертуарной части, А. Н. Верстовскій, и ворчалъ, что русская сцена «провоняла отъ полушубковъ Островскаго», пьесы его давались часто и исполнялись съ тѣмъ высокимъ совершенствомъ и блестящимъ ансамблемъ, какимъ въ то время славился московскій театръ. Между тѣмъ въ Петербургѣ процвѣталъ въ то время Кукольникъ, мелодрама и водевильный репертуаръ; ставилась такая дребедень, какъ *Дѣтскій докторъ*, *Донъ-Сезаръ-де-Базанъ*; артисты, за исключеніемъ Мартынова и нѣсколькихъ человѣкъ молодежи, относились къ Островскому холодно, и начальство неохотно ставило его пьесы, несмотря на большіе сборы, какіе онѣ давали.

III.

Послѣ крымской кампаніи, мы видимъ новую струю въ творчествѣ Островскаго. Наступившее движеніе не замедлило оказать свое вліяніе на него. Въ драмѣ *Въ чужомъ пиру похмѣлье*, относящейся къ 1856 году, мы видимъ совершенно уже другую коллизію, чѣмъ въ предыдущихъ; отрицательныя явленія жизни являются здѣсь въ видѣ самодурства (въ этой драмѣ впервые употреблено слово самодуръ), обусловливаемаго неограниченной властью капитала, и этимъ отрицательнымъ явленіямъ противопоставляется уже не чистота русской самобытности, а интеллигентный человѣкъ съ его неподкупной честностью и непоколебимымъ сознаніемъ человѣческаго достоинства. Далѣе слѣдуютъ такія драмы, какъ: *Доходное мѣсто* (1856 г.), *Воспитанница* (1859 г.), прямо навѣянныя броженіемъ, предшествовавшимъ крестьянской реформѣ. Какое сильное впечатлѣніе производили эти драмы въ политическомъ отношеніи, можно судить по тому, что, несмотря на всю мягкость цензуры того времени, обѣ онѣ показались администраціи опасными. *Доходное мѣсто* было запрещено наканунѣ перваго представленія и лишь впослѣдствіи вновь дозволено. *Воспитанница*, въ свою очередь, не была одобрена къ представленію, и когда Бурдинъ, хлопоча о ея дозволеніи, спросилъ у шефа жандармовъ Потапова, въ чемъ-же вредное направленіе ея, Потаповъ отвѣчалъ:

— Въ насмѣшкѣ и издѣвательствѣ надъ дворянствомъ. Дворяне дѣйствуютъ патріотически, приносятъ огромныя жертвы, освобождаютъ крестьянъ, и за это-же потѣшаются надъ ними.

Впослѣдствіи эта пьеса была дозволена, лишь благодаря счастливому случаю. Временно былъ назначенъ исправляющимъ должность шефа жандармовъ генералъ Анненковъ, братъ П. В. Анненкова. Послѣдній, какъ другъ Тургенева, началъ хлопотать у брата о разрѣшеніи бывшей подъ запрещеніемъ пьесы Тургенева *Нахлѣбникъ*.

— Съ удовольствіемъ,—отвѣчалъ генералъ Анненковъ,—и не только эту, а всѣ тѣ, которыя ты признаешь нужными; только присылай поскорѣе, потому что я на этомъ мѣстѣ останусь не долго.

Въ 1859 году Островскій впервые нашелъ въ русской критикѣ достойную его произведеній обстоятельную оцѣнку въ извѣстныхъ статьяхъ Добролюбова *Темное царство*, и, надо полагать, что какъ вообще возбудившему творческія силы духу времени, такъ между прочимъ и статьямъ Добролюбова былъ обязанъ Островскій плодовитостью, какую онъ обнаружилъ въ 1860 году, который вполнѣ можетъ быть названъ зенитомъ его литературной дѣятельности. Къ этому году относятся три пьесы его: *Старый другъ лучше новыхъ двухъ, Тяжелые дни*, а главное дѣло — *Гроза*, это chef d'oeuvre творчества Островскаго, — пьеса, которая одна могла-бы доставить неувядаемую славу драматургу.

Такая плодовитость обусловливается между прочимъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что Островскій обзавелся семьею, пошли дѣти, и нужды стали возростать въ грозной пропорціи. Онъ работалъ безъ устали, по цѣлымъ днямъ не разгибая спины. Едва кончивъ одну пьесу, принимался за другую. Въ то-же время отношенія дирекціи къ нему становились все холоднѣе; явилось какое-то недоброжелательство, которое, по словамъ Ѳ. А. Бурдина, происходило вслѣдствіе отчужденности Островскаго отъ театральнаго начальства и нежеланія угождать. Пьесы его, дававшія полные сборы, снимались съ репертуара и замѣнялись переводными мелодрамами, на постановку которыхъ тратили большія деньги, а на постановку пьесъ Островскаго не давали ничего.

Находясь въ подобныхъ условіяхъ, работая черезъ силу, оскорбленный нравственно, Островскій тогда уже утратилъ свое здоровье. И безъ того слабый организмъ его не вынесъ непосильной борьбы, и нервная система его была потрясена до основанія. Началось сердцебіеніе, безотчетная пугливость, постоянное тревожное состояніе, отсутствіе сна и аппетита, а вслѣдствіе этого —безсиліе работать. Въ связи со всѣмъ этимъ пьесы Островскаго шестидесятыхъ годовъ, начиная съ *Грозы*, носятъ преимущественно мрачный, трагическій характеръ, таковы: *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ, Шутники, Пучина, На бойкомъ мѣстѣ, На всякаго мудреца довольно простоты.*

Болѣзненность Островскаго дошла до того, что онъ рѣшился отказаться отъ театра. Вотъ что писалъ онъ Бурдину 27-го сентября 1866 года:

«Объявляю тебѣ по секрету, что я совсѣмъ оставилъ театральное поприще. Причины вотъ какія: выгодъ отъ театра я почти не имѣю, хотя всѣ театры въ Россіи живутъ моимъ репертуаромъ. Начальство театральное ко мнѣ не благоволитъ, а мнѣ ужъ пора видѣть не только благоволеніе, но и нѣкоторое уваженіе; безъ хлопотъ и поклоновъ съ моей стороны ничего для меня не дѣлается, а ты самъ знаешь, способенъ-ли я къ низкопоклонству; при моемъ положеніи въ литературѣ играть роль вѣчно кланяющагося просителя тяжело и унизительно. Я замѣтно старѣю и постоянно нездоровъ, а потому ѣздить въ Петербургъ, ходить по высокимъ лѣстницамъ мнѣ ужъ нельзя. Повѣрь, что я буду имѣть гораздо больше уваженія, которое я заслужилъ и котораго стою, если развяжусь съ театромъ».

«Давши театру 25 оригинальныхъ пьесъ, я не добился, чтобы меня хоть мало отли-

-чики отъ какого-нибудь плохого переводчика. По крайней мѣрѣ я пріобрѣту себѣ спокойствіе и независимость, вмѣсто хлопотъ и униженія. Современныхъ пьесъ больше писать не стану; я уже давно занимаюсь русской исторіей и хочу посвятить себя исключительно ей; буду писать хроники, но не для театра. На вопросъ: отчего я не ставлю своихъ пьесъ, я буду отвѣчать, что онѣ неудобны. Я беру форму *Бориса Годунова*,—такимъ образомъ постепенно и незамѣтно я отстану отъ театра».

И дѣйствительно, къ этому времени относится увлеченіе Островскаго исторіей, выразившееся въ рядѣ историческихъ хроникъ: *Козьма Захарьичъ Mининъ-Сухорукъ* (1862 г.), *Воевода* (1865 г.), *Дмитрій Самозванецъ* и *Василій Шуйскій* (1867 г.), *Тушино* (1867 г.), *Василиса Мелентьева* (1868 г.).

Къ концу шестидесятыхъ годовъ появился у Островскаго новый опасный конкурентъ,—оперетки, заполонившія наши сцены. Пьесы Островскаго стали даваться еще рѣже; матеріальное положеніе его еще болѣе ухудшилось. «Изъ его писемъ,—говоритъ Бурдинъ,—я видѣлъ, что настроеніе его духа стало еще мрачнѣе; тревога за семью и непосильный трудъ болѣе и болѣе разстраивали его здоровье. Это было самое тяжелое время его жизни—время нужды и неоплатныхъ долговъ».

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ ко всѣмъ невзгодамъ присоединился ропотъ критиковъ на то, что онъ исписался, повторяется, что новыя комедіи его далеко не имѣютъ прежней силы. Но если въ этомъ и была доля правды, и Островскому не суждено уже было написать ни одной столь сильной пьесы, какъ *Свои люди* и *Гроза*, все-таки сѣтованія рецензентовъ были преувеличены. До конца дней Островскій чутко присматривался ко всему, что его окружало, и представилъ рядъ ужасающихъ картинъ того растлѣнія нравовъ, которое обусловливалось помѣщичьимъ разореніемъ и жаждой легкой наживы. Картины эти безспорно имѣютъ свое значеніе. Онѣ составляютъ преобладающую струю въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Островскаго.

Подъ конецъ жизни матеріальное положеніе Островскаго значительно улучшилось съ того времени, какъ было утверждено общество русскихъ драматическихъ писателей, и Островскій былъ избранъ предсѣдателемъ его. Не было театра въ Россіи, гдѣ не давались-бы его пьесы, и, получая за нихъ хотя и небольшую плату, онъ все-таки съ частныхъ театровъ имѣлъ больше, чѣмъ съ казенныхъ.

Въ самое послѣднее время была образована коммисія для пересмотра старыхъ театральныхъ постановленій. Приглашенный въ эту коммисію, съ юношескимъ жаромъ принялся Островскій за работу для пользы страстно любимаго дѣла, цѣлые дни проводилъ за составленіемъ записокъ, историческихъ докладовъ, проектовъ, но самой завѣтной мечтой его было устройство школы для драматическаго искусства. «Если я доживу до тѣхъ поръ, — говорилъ онъ,—то исполнится мечта всей моей жизни, и я спокойно скажу: нынѣ отпущаеши раба твоего съ миромъ».

Мечты его повидимому осуществились въ послѣдній годъ его жизни: ему довѣренъ былъ московскій театръ и устройство театральной школы на предполагаемыхъ имъ основаніяхъ. Онъ сдѣлался наконецъ хозяиномъ русскаго театра, любимое дѣло было въ его собственныхъ рукахъ; ничто не мѣшало ему поставить его на надлежащую высоту: онъ устроитъ разсадникъ юныхъ талантовъ, очиститъ русскую сцену отъ плевелъ и подниметъ вкусъ публики!.. Сколько свѣтлыхъ надеждъ, какое ликованье между артистами. Поставленныя имъ пьесы: *Воевода* и *Марія Стюартъ*—возбудили восторгъ въ публикѣ, и

на эти спектакли съ трудомъ доставали билеты. Всѣ съ нетерпѣніемъ ожидали обновленія русской сцены.

Но дни Островскаго были сочтены. Переходъ отъ тихой кабинетной дѣятельности къ кипучей, гдѣ онъ ни минуты не имѣлъ отдыха и покоя, былъ не подъ силу изнеможенному организму. По словамъ пользовавшаго его доктора, А. А. Остроумова, онъ не успѣвалъ остывать и приходить въ нормальное положеніе, и это—при болѣзни сердца, удушьѣ, ревматизмѣ.

«Посѣщая его почти каждый день,—говорилъ Ѳ. А. Бурдинъ,—я видѣлъ, въ какомъ состояніи онъ возвращался со службы. Усталый, измученный, съ потухшимъ взглядомъ, онъ опускался въ кресло и впродолженіе нѣкотораго времени не могъ вымолвить слова». «Дай мнѣ опомниться, прійти въ себя,—начиналъ онъ, — я сегодня чуть не умеръ; мнѣ не хватало воздуха, нечѣмъ было дышать... ревматизмъ не позволялъ отъ боли пошевелить руками... народу, съ которымъ надо было объясняться, пропасть... потомъ доклады, я сегодня подписалъ шестьдесятъ бумагъ—и вотъ видишь, въ какомъ состояніи воротился домой...»

«Едва отдохнувъ,—продолжалъ Бурдинъ,—онъ отправлялся въ театры, бо̀льшей частью посѣщая тотъ и другой; волновался тамъ, видя какія-нибудь неисправности, и дома засыпалъ безпокойнымъ, тревожнымъ сномъ. Такова была его жизнь въ послѣднее время. Съ грустью каждый день я убѣждался, что онъ не только не работникъ, но и не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ. Къ довершенію несчастія, передъ самымъ отъѣздомъ въ деревню онъ простудился; ревматическія боли усилились въ крайней степени; по цѣлымъ часамъ онъ не могъ пошевельнуться, перенося ужасныя страданія. Докторъ объявилъ, что нѣтъ болѣе никакой надежды, и черезъ три дня по пріѣздѣ въ деревню, 2-го іюня 1886 года, его не стало.

IV.

Какъ и всѣ писатели сороковыхъ годовъ, Островскій ведетъ свое начало отъ Гоголя; но, подобно имъ, это нисколько не помѣшало ему создать свою особенную школу и съ первыхъ же пьесъ встать на самостоятельную почву. Пьесы его имѣютъ съ гоголевскими комедіями лишь одно общее: содержаніе ихъ точно также берется изъ обыденной, сѣренькой русской жизни, изъ среды мелкаго люда. Но далѣе между ними лежитъ пропасть. Пьесы Гоголя—комедіи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Главнымъ героемъ является въ нихъ смѣхъ автора, даже безъ тѣхъ незримыхъ слезъ, присутствіе которыхъ чувствуется въ прочихъ произведеніяхъ Гоголя. Сюжеты гоголевскихъ комедій имѣютъ анекдотическій характеръ; цѣль ихъ—въ достаточной мѣрѣ осмѣять дѣйствующія лица, наиболѣе рельефно выставить пошлыя стороны ихъ характера, и разъ эта цѣль достигается, герои сходятъ со сцены безъ малѣйшихъ измѣненій въ ихъ судьбѣ.

Совершенно не то мы видимъ у Островскаго. Въ большинствѣ его пьесъ развиваются передъ вами существенныя измѣненія въ судьбѣ героевъ, причемъ авторъ не только не смѣется надъ ними, а совсѣмъ отсутствуетъ въ своихъ пьесахъ, и дѣйствующія лица говорятъ и дѣйствуютъ словно помимо его воли, какъ бы они говорили и дѣйствовали въ самой жизни.

Про Островскаго говорятъ, что онъ создалъ русскій театръ; но онъ сдѣ-

лалъ неизмѣримо бо́льшее: онъ довелъ сцену до идеальнаго реализма, показавши, чѣмъ должна она быть, чтобы вполнѣ заслуживать названія реальной. Съ перваго взгляда можетъ показаться, что тутъ нѣтъ особенной заслуги. Разъ всѣ искусства встали на реальную почву, и на всѣхъ европейскихъ сценахъ преобладаютъ пьесы, изображающія обыденную современную жизнь, — что же мудренаго, что и Островскій пошелъ по общему теченію? Но дѣло въ томъ, что въ самыхъ реальнѣйшихъ пьесахъ, какія только существуютъ въ Европѣ, при всемъ ихъ реализмѣ, сильны еще старыя традиціи. Дѣйствующія лица, реплики, сцены взяты непосредственно изъ жизни; но въ цѣломъ вы видите болѣе или менѣе хитросплетенныя интриги, построенныя искусственно, въ видахъ проводимыхъ тенденцій, сценическихъ эффектовъ, занимательности и т. п. Ничего подобнаго нѣтъ у Островскаго. Сюжеты большинства его пьесъ отличаются простотою поистинѣ классическою. Въ иной пьесѣ словно совсѣмъ нѣтъ никакого дѣйствія. Сцена идетъ за сценою, все такія обыденныя, будничныя, сѣренькія, и вдругъ совершенно незамѣтно развертывается передъ вами потрясающая драма. Можно положительно сказать, что не дѣйствіе пьесы разыгрывается, а сама жизнь течетъ по сценѣ медленною, незамѣтною струею. Точно какъ будто авторъ только всего и сдѣлалъ, что сломалъ стѣну и предоставилъ вамъ смотрѣть, что̀ дѣлается въ чужой квартирѣ.

Стремленіе къ изображенію жизни во всей неподкрашенной, трезвой правдѣ доходитъ у Островскаго до такого пуризма, что онъ скромно избѣгаетъ эффекта даже тамъ, гдѣ эффектъ самъ напрашивается подъ перо автора. Въ большинствѣ пьесъ Островскаго занавѣсъ падаетъ не въ самый роковой и потрясающій моментъ пьесы, какъ это обыкновенно дѣлаютъ драматурги, а немного спустя, во время обыденной сцены, чуть-что ни на полусловѣ какого-нибудь второстепеннаго дѣйствующаго лица. Что стоило бы напримѣръ Островскому закончить комедію *Свои люди* прощаніемъ Большова съ дѣтьми и словами: «не забудь насъ, бѣдныхъ заключенныхъ», послѣ которыхъ онъ уходитъ съ Аграфеной Кондратьевной. Слушатели въ этотъ моментъ охвачены драматичностью этой сильной сцены: нигдѣ черствость Подхалюзина и Олимпіады Самсоновны и безпомощное отчаяніе стараго плута, который, вырывши яму ближнимъ, самъ въ нее попалъ, не выступаютъ столь рельефно, какъ въ этой сценѣ, бросающей яркій свѣтъ на всю драму и являющейся ея послѣднимъ исходомъ. Но Островскій повелъ пьесу далѣе и закончилъ ее комическою, но ни мало не эффектною сценою Подхалюзина съ Ризположенскимъ и будничнымъ обращеніемъ Подхалюзина къ публикѣ:—«А вотъ мы магазинчикъ открываемъ: милости просимъ! Малаго ребенка пришлите—въ луковицѣ не обочтемъ».

Или напримѣръ въ *Бѣдной невѣстѣ*—отчего бы пьесѣ не кончиться потрясающимъ финаломъ четвертаго дѣйствія. Пятое дѣйствіе, заключающее въ себѣ картину сговора, ничего не прибавляетъ къ пьесѣ; заканчивается-же драма незатѣйливымъ разговоромъ глазѣющихъ на свадьбу бабъ. И вездѣ вы найдете подобные-же блѣдные, скромные финалы. Пьесы Островскаго словно не оканчиваются, а прерываются, и авторъ старается внушить вамъ, что въ жизни нѣтъ ни начала, ни конца, и не найдете вы въ ней ни одного момента, послѣ котораго смѣло можно было-бы поставить точку, такъ какъ далѣе слѣдовала бы полная пустота.

Вторая не менѣе существенная особенность пьесъ Островскаго заключается въ томъ, что онѣ не подходятъ ни подъ одну извѣстную намъ сценическую

рубрику. По старымъ традиціямъ Островскій называлъ свои пьесы то драмами, то комедіями; но эти названія ни мало не соотвѣтствуютъ характеру пьесъ Островскаго. Добролюбовъ очень мѣтко назвалъ ихъ *пьесами жизни*, и это названіе могло бы утвердиться за ними, еслибы не было нѣсколько тяжеловато. Еще правильнѣе можно было-бы назвать пьесы Островскаго вульгарнымъ словомъ *представленія*. Дѣйствительно, онѣ ничего болѣе, какъ объективно-безпристрастныя представленія жизни, безъ малѣйшаго побужденія что-либо осмѣять или оплакать, и, въ свою очередь, въ этомъ заключается ихъ идеальная реальность. Въ жизни вы нигдѣ не найдете ни исключительно комическаго, ни исключительно трагическаго, не встрѣтите ни одного человѣка, который только и дѣлалъ-бы, что смѣшилъ васъ или заставлялъ ужасаться. Люди существуютъ изо дня въ день, опутанные разными мелочами и дрязгами, причемъ высокое и низкое, великое и смѣшное перемѣшано бываетъ въ самомъ пестромъ хаосѣ. Цѣль истинно реальной сцены заключается не въ томъ, чтобы непроходимою стѣною отдѣлить контрасты жизни, какъ это дѣлала старинная сцена, а чтобы раскрывать радужную игру жизни во всѣхъ прихотливыхъ комбинаціяхъ ея безконечно сложныхъ элементовъ. Это именно мы и видимъ въ пьесахъ Островскаго.

Нѣтъ никакой возможности подвести эти пьесы подъ одно какое-нибудь начало вродѣ, напримѣръ, борьбы чувства съ долгомъ, коллизіи страстей, ведущихъ за собою фатальныя возмездія, антагонизма добра и зла, прогресса и невѣжества и пр. Это—пьесы самыхъ разнообразныхъ жизненныхъ отношеній. Люди становятся въ нихъ, какъ и въ жизни, другъ къ другу въ различныя обязательныя условія, созданныя прошлымъ, или случайно сходятся на жизненномъ пути, а такъ какъ характеры ихъ и интересы находятся въ антагонизмѣ, то между ними возникаютъ враждебныя столкновенія, исходъ которыхъ случаенъ и непредвиденъ, завися отъ разнообразныхъ обстоятельствъ: иногда побѣждаетъ наиболѣе сильная сторона къ общему благополучію или къ общему несчастію и гибели. Но развѣ мы не видимъ въ жизни, что порою вдругъ вторгается какой-нибудь новый и посторонній элементъ и рѣшаетъ дѣло совершенно иначе? Ничтожная случайность, произведя ничтожную перемѣну въ расположеніи духа героевъ драмы, можетъ повести за собою совершенно неожиданныя послѣдствія.

Поэтому въ пьесахъ Островскаго, какъ и въ жизни, вы не предвидите, чѣмъ кончится дѣло, свадьбою или смертью. Такъ напримѣръ, въ комедіи *Бѣдность не порокъ*, не явись Любимъ Торцовъ, непрошенный, негаданный, не разсерди Коршунова и не растрогай сердца своего брата, и быть-бы Любови Гордѣевнѣ замужемъ за ненавистнымъ Коршуновымъ. Драма *Не въ свои сани*, могла бы и совсѣмъ не состояться: не подвернись Вихоревъ съ его исканьемъ богатой невѣсты, и вышла-бы Авдотья Михайловна спокойно за Бородкина, къ которому ранѣе уже была неравнодушна. Въ драмѣ *Воспитанница* автору ничего не стоило-бы устроить сцену утопленія Нади въ прудѣ, и зрители были-бы потрясены трагическимъ финаломъ, но и здѣсь онъ ограничился, по своему обыкновенію, прозаическимъ финаломъ слѣдующаго рода:

Надя (съ отчаяніемъ). Ни помощниковъ, ни заступниковъ мнѣ не надо! не надо! не хватитъ моего терпѣнія, такъ прудъ-то у насъ не далеко.

Леонидъ (робко). Ну, я, пожалуй, уѣду... только что она говоритъ! вы, пожалуйста, смотрите за ней. Прощайте! *(идетъ къ дверямъ).*

Надя (вслѣдъ ему громко). Прощайте! (*Леонидъ уходитъ.*)
Лиза. Видно, правда пословица-то: кошкѣ—игрушки, а мышкѣ—слезки.

Такимъ образомъ авторъ является настолько добросовѣстнымъ передъ правдою, что простодушно отказывается рѣшить, чѣмъ кончится драма, хватитъ или не хватитъ терпѣнія у Нади. И дѣйствительно, подобнаго рода драмы, развивавшіяся на почвѣ крѣпостного права, рѣшались разнообразно: дворовыя дѣвушки, обольщенныя барчатами и выданныя насильно замужъ за пьянаго лакея, когда и въ воду бросались, когда и покорялись своей участи. Могло случиться и такъ, что Уланбекова, потрясенная всѣмъ происшедшимъ, умерла-бы, а Надя могла-бы занять ея мѣсто полновластной хозяйки, сдѣлавшись фавориткою Володи.

При такой случайности возникновенія и исхода драмы, казалось-бы, не можетъ имѣть и мѣста идея фатума, тяготѣющаго надъ судьбою героевъ. Тѣмъ не менѣе въ пьесахъ Островскаго вы найдете своего рода фатумъ, еще въ большей степени дѣлающій героевъ неотвѣтственными, чѣмъ фатумъ древней трагедіи. Онъ заключается въ томъ, что разъ извѣстная среда и масса условій создали тотъ или другой типъ, человѣкъ фатально дѣйствуетъ въ рамкахъ этого типа, не можетъ поступать иначе и сознаетъ себя въ полномъ правѣ въ этомъ отношеніи. Обратите вниманіе, что у Островскаго чувствуютъ угрызенія совѣсти одни безхарактерные герои вродѣ Кисельникова въ *Пучинѣ*. Настоящіе же трагическіе злодѣи, каковы Безсудный, Уланбекова, Кабанова, считаютъ себя правыми передъ судомъ своей совѣсти послѣ самыхъ ужасныхъ поступковъ. Кабанова оказывается способна даже глумиться надъ трупомъ Катерины, убитой ея безчеловѣчнымъ деспотизмомъ, говоря сыну: «о ней и плакать-то грѣхъ».

Этотъ глубоко-философскій взглядъ на невѣжественность людей, чисто евангельское «не вѣдятъ-бо, что творятъ», ведетъ Островскаго къ высокому безпристрастію. Подобно Пимену Пушкина, Островскій «спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ, не вѣдая ни жалости, ни гнѣва». Въ этомъ сознаніи безотвѣтственности лицъ лежитъ глубоко-примиряющее начало, проникающее произведенія Островскаго. Ни изъ одной пьесы, какъ-бы она мрачно ни кончилась, не выносите вы безусловно мрачнаго и безотраднаго чувства, вродѣ того, что правда всегда страдаетъ, а зло торжествуетъ, и что жизнь есть грязный аггломератъ пошлостей и гадостей; напротивъ того, всѣ дѣла человѣческія, со всею ихъ суетою, страстями, пороками, пошлостями и мерзостями, являются ничтожными частностями, сливающимися и стушевывающимися въ красотѣ и гармоніи Божьяго міра, взятаго въ его цѣломъ. Такъ, на замѣчаніе Аѳони, въ драмѣ *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*, что ему все надоѣло и ничего не мило, слѣпой Архипъ отвѣчаетъ:

«Оттого тебѣ и не мило, что ты сердцемъ не покоенъ. А ты гляди чаще да больше на Божій міръ, а на людей-то меньше смотри; вотъ тебѣ на сердцѣ и легче станетъ. И ночи будешь спать, и сны тебѣ хорошіе будутъ сниться... Красенъ, Аѳоня, красенъ Божій міръ! Вотъ теперь роса будетъ падать, отъ всякаго цвѣта духъ пойдетъ; а тамъ звѣздочки зажгутся, а надъ звѣздочками, Аѳоня, нашъ Творецъ милосердный. Кабы мы получше помнили, что Онъ милосердъ, сами были-бы милосерднѣе».

Прямой выводъ изъ такой философіи—свѣтлая жизнерадостность, несмотря на всѣ невзгоды и ужасы, какіе творятся въ жизни, и этою жизнерадостностью проникнуты пьесы Островскаго. Замѣчательно при этомъ, что словно для большей убѣдительности Островскій заставляетъ проповѣдывать свою жизне-

радостность такихъ убогихъ людей, отъ которыхъ менѣе всего можно было-бы ожидать этого. Мы только-что видѣли, что о красотѣ Божьяго міра ратуетъ слѣпой Архипъ. Въ драмѣ-же *Трудовой хлѣбъ* нищій пропоица и неудачникъ Корпѣловъ послѣ того, какъ потерялъ единственную радость и утѣшеніе свое въ лицѣ Наташи, которая, выйдя замужъ, сдѣлалась уже чужая ему, и ничего ему болѣе не остается, какъ шататься изъ города въ городъ, прося подаянія, вдругъ разражается гимномъ во славу жизни хотя-бы самой что ни на есть нищенской:

— Да развѣ жизнь-то мила только деньгами, развѣ только и радости, что въ деньгахъ? А птичка-то поетъ, чему она рада, деньгамъ что-ли? Нѣтъ, тому она рада, что на свѣтѣ живетъ. Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь, и бѣдная, и горькая—все радость. Озябъ, да согрѣлся,—вотъ и радость. Голоденъ, да накормили,—вотъ и радость. Вотъ я теперь бѣдную племянницу замужъ отдаю, на бѣдной свадьбѣ пировать буду, развѣ это не радость? Потомъ пойду по бѣлу-свѣту бродить, отъ города до города, по курнымъ избамъ ночевать (*поетъ и пляшетъ*).

Пойду-ли по городу гулять,
Пойду ли по Бѣжецкому,
Куплю-ли я покупку себѣ...

Это міровоззрѣніе жизнерадостное, всепрощающее и примиряющее васъ со всѣми частными преходящими напастями, во имя вѣры въ вѣковѣчную премудрость, ведущую міръ ко всеобщему благу, составляетъ глубоко народную черту произведеній Островскаго, и одно это ставитъ его на недосягаемую высоту.

V.

Мы уже говорили, что у Островскаго въ различные періоды его жизни замѣтно было подчиненіе тѣмъ или другимъ литературнымъ направленіямъ. Но это слѣдуетъ принимать условно. Направленія и вѣянія времени, которымъ подчинялся Островскій, отражались въ пьесахъ его лишь до нѣкоторой степени, и ни одному не отдавался онъ всецѣло, а шелъ своей самостоятельной дорогой, оставаясь непреклонно вѣренъ самому себѣ и повинуясь лишь призывамъ своего творчества, подобно магнитной стрѣлкѣ, которая, какъ-бы ни отклонялась вправо или влѣво, никогда не забываетъ завѣтнаго полюса.

Этимъ завѣтнымъ полюсомъ для Островскаго была жизнь, представляющая рядъ явленій относительныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сложныхъ. Островскій всегда памятовалъ, что явленія эти нельзя подводить подъ одну какую-нибудь мѣрку, что ничего не найдете вы въ жизни ни безусловно совершеннаго, ни безнадежно дурного, и то, что̀ заслуживаетъ полнаго отрицанія подъ однимъ угломъ зрѣнія, можетъ представиться совсѣмъ инымъ, если мы взглянемъ на это-же самое съ другой точки зрѣнія и при иныхъ сопоставленіяхъ. Такъ напримѣръ, та-же замоскворѣцкая жизнь съ точки зрѣнія просвѣщеннаго европеизма можетъ представиться сплошнымъ агломератомъ непроходимаго невѣжества, дикой грубости нравовъ, возмутительнаго самодурства, наглаго надувательства и отсутствія малѣйшихъ понятій о чести, совѣсти, чувствѣ человѣческаго достоинства. Но при этомъ могутъ быть приняты во вниманіе и многія иныя стороны того-же быта; напримѣръ, что сквозь всю грубую, закорузлую кору его пробиваются здѣсь часто живые, горячіе ключи славянскаго добродушія, мягкости и любвеобилія, что наконецъ, если поставить эту среду рядомъ съ

помѣщичьей той-же эпохи, первая пожалуй выигрывала-бы и по чистотѣ нравовъ, по цѣльности характеровъ и богатству жизненной энергіи.

Вслѣдствіе стремленія Островскаго не упустить изъ виду разнородныхъ элементовъ, какіе входили въ изображаемыя имъ явленія жизни, и происходило то странное явленіе, что многія пьесы его производили неопредѣленное впечатлѣніе, смущавшее рецензентовъ, не знавшихъ, къ какому лагерю отне-



А. Н. Островскій.

сти писателя. Славянофиламъ не нравилось, что Островскій ко многимъ явленіямъ относится такъ же отрицательно, какъ относилась къ нимъ натуральная школа; западники подозрѣвали въ тѣхъ-же самыхъ пьесахъ славянофильскія тенденціи. На самомъ же дѣлѣ въ нихъ была одна только правда жизни въ тѣхъ сложныхъ комбинаціяхъ, въ какихъ эта правда существуетъ въ дѣйствительности.

Замѣчательно, что по мѣрѣ того, какъ Островскій жилъ и развивался, въ слѣдующихъ одна за другою пьесахъ его вы встрѣчаете все бо́льшія и бо́льшія осложненія. Ни одного новаго направленія и вѣянія не упускалъ онъ изъ

виду и, какъ пчела, изъ каждаго вновь расцвѣтающаго цвѣтка высасывалъ для себя одинъ медъ, бралъ изъ направленія лишь то, чтò было въ немъ наиболѣе жизненнаго, оставляя на долю другихъ пользоваться односторонностями и крайностями ученія.

Такъ, въ первыхъ двухъ пьесахъ: *Семейная картина* и *Свои люди сочтемся*, Островскій держался еще исключительно на почвѣ натуральной школы гоголевскихъ традицій. Отношеніе его къ изображеннымъ въ этихъ пьесахъ московскимъ купеческимъ нравамъ является отрицательнымъ; ни одного контраста, ни одного сопоставленія, оттѣнка, отрадной черточки, просвѣта, чего-либо примиряющаго вы не найдете здѣсь и слѣда. Нѣтъ ничего мудренаго, что пьеса *Свои люди сочтемся* произвела самое безотрадное впечатлѣніе на современниковъ, что купечество было обижено, а начальство не допустило пьесу на сцену.

Но послѣ 1847 года, когда появилась пьеса *Свои люди*, и до 1853 года—времени появленія *Не въ свои сани не садись*, утекло не мало воды, и въ эти годы Островскій успѣлъ проникнуться новыми вѣяніями, какія лежали въ духѣ времени, и явился инымъ. Правда, среди этихъ вѣяній не послѣднюю роль играло славянофильство, которому молодой драматургъ не могъ не подчиниться, особенно при близкихъ сношеніяхъ его съ московскимъ славянофильскимъ кружкомъ, группировавшимся вокругъ *Москвитянина*, но вліяніе это сказалось лишь въ томъ, что въ комедіи *Не въ свои сани не садись* наибольшую симпатію возбуждаютъ люди, нетронутые западною цивилизаціею и остающіеся вѣрными старымъ самобытнымъ укладамъ русской жизни, каковы: Русаковъ, Авдотья Максимовна, Бородкинъ. Противъ нихъ стоятъ Вихоревъ, Броничевскій и Анна Ѳедотовна, какъ представители западныхъ вліяній, и вносятъ въ семью Русакова разладъ и растлѣніе. Русаковъ отзывается даже о своей дочери: «она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ, да могъ-бы понять, чтò это за душа... *душа у ней русская*». Конечно эта «русская душа» должна была приводить въ восторгъ славянофиловъ того времени.

Точно такъ-же и въ комедіи *Бѣдность не порокъ* вы можете видѣть подобное-же сопоставленіе людей, пребывающихъ самобытно русскими, каковы: Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя, Яша, Гуслинъ, а съ другой стороны—Гордѣй Торцовъ съ его погонею за внѣшней образованностью и модами подъ вліяніемъ объевропеившагося фабриканта Коршунова. Славянофильскія сердца въ свою очередь должны были радоваться, внимая въ первомъ дѣйствіи слѣдующему разговору Разлюляева съ Гуслинымъ о заморскомъ инструментѣ, въ то время не успѣвшемъ еще войти въ обще-народное употребленіе:

Гуслинъ. Эко, дуракъ! На что это гармонію-то купилъ?
Разлюляевъ Извѣстно на чтó—играть. Вотъ какъ... (*играетъ*).
Гуслинъ. Ну, ужъ, важная музыка... нечего сказать! Брось, говорятъ тебѣ.

А еще въ бòльшій восторгъ должны были славянофилы приходить при зрѣлищѣ во второмъ дѣйствіи справленія святокъ съ гаданьями, ряжеными, пѣніемъ подблюдныхъ пѣсенъ и слѣдующимъ разговоромъ Пелагеи Егоровны со своими гостями:

Пелагея Егоровна. Я, матушка, люблю по-старому, по-старому, по-старому... да по нашему, по русскому. Вотъ мужъ у меня не любитъ; чтó дѣлать, характеромъ такой вы-

шелъ. А я люблю, я веселая... да... чтобъ подчивать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли... я въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пѣсельники.

1-ая гостья. Какъ я посмотрю, матушка Пелагея Егоровна, нѣтъ того веселья, какъ прежде, какъ мы-то были молоды.

2-ая гостья. Нѣту, нѣту.

Пелагея Егоровна. Я молодая-то была первая затѣйница и попѣть, и поплясать—ужъ меня взять... да что пѣсенъ знала! Ужъ теперь такихъ не поютъ.

1-ая гостья. Нѣтъ, не поютъ, все новыя пошли.

2-ая гостья. Да, да, вспомянешь старину-то.

Но какъ ни радовались славянофилы, читая подобныя сочувственныя имъ мѣста, все-таки не могли быть вполнѣ довольными Островскимъ: они чувствовали, что не такъ сталъ-бы проводить ихъ тенденціи писатель, глубоко ими проникнутый и принадлежащій къ ихъ лагерю. Островскій не только не изобразилъ въ самомъ идеальномъ свѣтѣ людей, вѣрныхъ старо-русскимъ самобытнымъ традиціямъ, но не упустилъ дурныхъ сторонъ и самыхъ этихъ традицій. Изъ этого и вытекло сѣтованіе, которое было высказано на страницахъ *Русской Бесѣды* однимъ славянофильскимъ критикомъ, что у Островскаго «иногда не достаетъ рѣшительности и смѣлости въ исполненіи задуманнаго; ему какъ-будто мѣшаетъ *ложный стыдъ и робкія привычки, воспитанныя въ немъ натуральнымъ направленіемъ.* Оттого нерѣдко онъ затѣетъ что-нибудь возвышенное и широкое, а память о натуральной мѣркѣ испугаетъ его замыселъ; ему-бы слѣдовало дать волю счастливому внушенію, а онъ какъ-будто испугается высоты полета, и образъ выходитъ какой-то недодѣланный»...

VI.

Это отсутствіе односторонняго увлеченія какою-либо доктриною не мѣшало Островскому глубоко проникаться духомъ времени и принимать живое и горячее участіе въ демократическомъ движеніи шестидесятыхъ годовъ. И въ самомъ дѣлѣ, плебей по происхожденію и по натурѣ, могъ-ли Островскій не увлечься этимъ могучимъ духомъ и не сдѣлаться приверженцемъ новыхъ идеаловъ, вполнѣ соотвѣтствующихъ инстинктамъ его природы, всѣмъ симпатіямъ и антипатіямъ, въ духѣ которыхъ онъ былъ воспитанъ. Эти идеалы проникаютъ пьесы его, составляютъ главный внутренній нервъ въ развитіи ихъ коллизій.

Но какъ истинно реальный писатель, никогда не упускавшій изъ вида жизни во всей ея сложности и относительности, Островскій не спѣшилъ воплощать свои идеалы въ безплотные образы просвѣщеннѣйшихъ демократовъ, обладающихъ всѣми совершенствами. Напротивъ того, очень часто, подъ радужною личиною высокихъ чувствъ и громкихъ фразъ, онъ разоблачалъ весьма неказистыя качества героевъ, рисовавшихся передовыми свѣтилами прогресса. Въ то-же время онъ не упускалъ изъ вида свѣтлыхъ проблесковъ своихъ идеаловъ, откуда-бы они ни исходили, изъ-подъ зипуна-ли на первый взглядъ грубаго и неотесанннаго купчины, или изъ-подъ рубища бездомнаго бродяги-пропойцы.

Если мы примемъ во вниманіе эти идеалы Островскаго, то такія драмы, какъ *Не въ свои сани не садись* и *Бѣдность не порокъ*, въ которыхъ предполагается наибольшее подчиненіе славянофильскимъ тенденціямъ, сразу получаютъ въ глазахъ нашихъ совсѣмъ иной и особенный смыслъ. Такъ, въ драмѣ

Не въ свои сани не садись является передъ нами борьба не столько старорусскихъ началъ съ западно-европейскими, сколько двухъ общественныхъ слоевъ, находящихся въ антагонизмѣ. Островскій какъ будто нарочно въ видахъ наибольшаго контраста выставилъ двухъ лучшихъ представителей российской буржуазно-купеческой среды. Пусть Русаковъ ничего болѣе, какъ торгашъ-тысячникъ, а Бородкинъ—самый заурядный виноторговецъ,—мы все-таки видимъ въ нихъ два качества, дѣлающихъ ихъ симпатичными: во первыхъ на губахъ ихъ не обсохло деревенское молоко, которымъ питались ихъ дѣды и отцы, и они сохранили еще гуманность, незлобивость, простоту и чистоту нравовъ, которыя характеризуютъ лучшихъ людей деревни. Въ то-же время—это люди энергическаго труда; всѣмъ своимъ благосостояніемъ они обязаны самимъ себѣ, они сознаютъ это и гордятся:

«Какъ остался я послѣ родителей семнадцати лѣтъ,—говоритъ Бородкинъ,—всякое притѣсненіе терпѣлъ отъ родныхъ, и теперича, который капиталъ отъ тятеньки остался, я даже могъ рѣшиться всего капитала; все это я перенесъ равнодушно, и когда я пришелъ въ возрастъ, какъ должно,—не токма, чтобы я промоталъ или тамъ какъ прожилъ, а сами знаете, имѣю, можетъ быть, вдвое-съ, живу самъ по себѣ, своимъ умомъ, и никому уважать не намѣренъ».

Вдругъ въ среду этихъ людей, гордыхъ тѣмъ, что они живутъ сами по себѣ, своимъ умомъ и никому уважать не намѣрены, вторгается человѣкъ иной среды, иныхъ правилъ и принциповъ,—среды, въ которой искони главнымъ содержаніемъ жизни считался не трудъ, а наслажденіе, на трудъ-же смотрѣли, какъ на нѣчто унизительное и презрѣнное. Въ то время, какъ писалась эта пьеса, не было еще и вопроса о дворянскомъ разореніи; но Островскій предвидѣлъ уже это явленіе, живя въ замоскворѣцкой средѣ, въ которую тогда уже вторгались первые піонеры дворянскаго разоренія поправлять разстроенное состояніе женитьбой на богатыхъ купеческихъ дочкахъ. Такимъ піонеромъ является Вихоревъ, обрисовывающійся съ головы до ногъ въ первой-же сценѣ пьесы, въ разговорѣ слуги его съ половымъ. Но какъ ни велико нравственное ничтожество подобнаго рода людей, они обладаютъ блестящею внѣшностью, выхоленною поколѣніями тунеядства, и нужна вся опытность Русакова и закалъ Бородкина, чтобы не быть ослѣпленными и сразу познать имъ цѣну. Для такихъ-же неопытныхъ дѣвушекъ, какъ Авдотья Максимовна, воспитанныхъ въ старинныхъ домостроевскихъ началахъ, подобные коптители неба являются демонами-обольстителями и сердцеѣдами, которымъ ничего не стоитъ придти, увидѣть и побѣдить. Ослѣпленіе Авдотьи Максимовны Вихоревымъ было однимъ изъ часто встрѣчающихся въ русской жизни женскихъ увлеченій новымъ, блестящимъ и загадочнымъ героемъ, не похожимъ на все прискучившее окружающее.. А тутъ еще Арина Ѳедотовна, помѣшанная на благородствѣ и внѣшнемъ лоскѣ дворянской образованности. И вотъ завязалась одна изъ драмъ, которыя кончаются подчасъ весьма трагически.

Существенною сценою въ драмѣ, рельефно выражающей ея внутренній смыслъ, является разговоръ Вихорева съ Русаковымъ, въ которомъ Вихоревъ проситъ руки его дочери. Здѣсь раскрывается вся непроходимая пропасть, раздѣляющая этихъ людей. Обратите вниманіе на презрительную и язвительную иронію, которою проникнуто каждое слово Русакова. Это именно та самая иронія, которую каждый простой человѣкъ, чуждый тщеславія и гордый сознаніемъ, что онъ всѣмъ обязанъ самому себѣ, долженъ выказывать по отношенію къ промотавшемуся барину, помышляющему лишь о томъ, какъ-бы по-

живиться на счетъ богатаго простачка. Вихоревъ даже въ той сценѣ, гдѣ гонитъ отъ себя Авдотью Максимовну, не столь противенъ, какъ въ объясненіи съ Русаковымъ. Тамъ онъ играетъ въ открытую; здѣсь-же старается подольститься къ старику, и сквозь всѣ льстивыя рѣчи его вы чувствуете бездну неисправимаго высокомѣрія. Онъ даже стакана чая не можетъ принять безъ рисовки и безтактнѣйшихъ фразъ, вродѣ нижеслѣдующей: «впрочемъ, сколько я замѣтилъ, ужъ такой обычай у русскаго народа—подчивать. Я, знаете ли, самъ человѣкъ русскій и, признаться сказать, люблю и уважаю все русское, особенно мнѣ нравится это гостепріимство, радушіе». Не мудрено, что подобными пошлостями Вихоревъ достигаетъ совершенно противоположнаго: выводитъ Русакова изъ себя, и тотъ его выпроваживаетъ со словами: «Пріѣдетъ незванный, непрошенный, да еще и наругается надъ тобой! Провались ты совсѣмъ!»

Послѣ этого естественъ поступокъ Бородкина, рѣшающагося жениться на Авдотьѣ Максимовнѣ, несмотря на ея измѣну и позоръ, постигшій ее послѣ бѣгства съ Вихоревымъ, и совершенно напрасно Добролюбовъ видитъ здѣсь натяжку, такъ какъ во всей пьесѣ «Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по-старинному; послѣдній-же его поступокъ вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородкинъ, и что авторъ хотѣлъ приписать этому лицу всевозможныя добрыя качества, и въ числѣ ихъ приписалъ даже такое, отъ котораго настоящіе Бородкины вѣроятно отреклись-бы съ ужасомъ».

Во-первыхъ ни изъ какихъ мѣстъ пьесы нельзя заключить, чтобы Бородкинъ былъ благороденъ и добръ какъ-то «по-старинному», а не «по новому». Онъ благороденъ и добръ просто потому, что такая ужъ натура у него честная, глубокая и любвеобильная; такія натуры можно встрѣтить въ разнородныхъ слояхъ общества, независимо отъ степени образованности и новизны идей, но конечно въ средѣ Вихоревыхъ рѣже всего онѣ встрѣчаются.

А во-вторыхъ, что-же несообразнаго, что человѣкъ съ натурою Бородкина принялъ подъ защиту страстно любимую дѣвушку? Неужели-же подобный великодушный поступокъ только и свойственъ высокообразованной средѣ, а среди людей простыхъ и темныхъ немыслимъ? Предполагать это, не значитъ-ли держаться взглядовъ Вихорева, который находилъ, что, «есть-ли какая возможность говорить съ этимъ народомъ, ломитъ свое—ни малѣйшей деликатности!». Островскій повидимому нарочно выставилъ контрастъ великодушія Бородкина и грубаго эгоизма Вихорева, чтобы показать, гдѣ слѣдуетъ искать истинной деликатности чувствъ, и это былъ первый рѣшительный и смѣлый выходъ его на путь народныхъ демократическихъ идеаловъ.

Въ комедіи *Бѣдность не порокъ* мы не видимъ столь рѣзкаго столкновенія двухъ слоевъ общества. Дѣйствіе сосредоточивается здѣсь исключительно въ купеческой средѣ. Но и здѣсь въ основѣ лежитъ та-же чисто демократическая идея. Сюжетъ комедіи напоминаетъ массу народныхъ легендъ о двухъ братьяхъ: богатомъ и бѣдномъ. Раздѣлили братья поровну оставшееся послѣ отца имущество; но пошли разными путями: одинъ былъ жиловатъ и загребистъ, отцовское наслѣдіе пріумножилъ вдвое и вчетверо и сдѣлался первымъ богачемъ въ городѣ; а другой былъ хотя и добръ, и тароватъ, но легкомысленъ; онъ вдался въ веселую и распутную жизнь, увлекся внѣшнимъ блескомъ и мишурою,—и все отцовское наслѣдство растратилъ. Казалось-бы, первый заслуживаетъ полной похвалы, а послѣдній—порицанія, а между тѣмъ въ ре-

зультатѣ вышло нѣчто совершенно противоположное: разжившійся братъ загордился, сдѣлался лютымъ тираномъ въ своей семьѣ и, высоко возмнивши о себѣ, окружилъ себя тлетворною роскошью, мечтая встать на дворянскую ногу. Разорившійся братъ, дойдя до послѣдней степени нищеты и униженія, обратившись въ базарнаго шута, питавшагося купеческими подачками за свое гаерство, раскаялся въ прежней безпутной жизни, и горькія испытанія, какія онъ перенесъ, довели его до свѣтлаго сознанія, что не богатство, не роскошь, не блескъ, а честный трудъ возвышаетъ человѣка.

«Свезли меня добрые люди въ больницу, - говоритъ онъ,—какъ сталъ я выздоравливать да въ разсудокъ входить, хмѣли-то нѣтъ въ головѣ—страхъ на меня напалъ, ужасть на меня нашла!.. Какъ я жилъ? Что я дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что, кажется, умереть лучше. Такъ ужъ рѣшился, какъ совсѣмъ выздоровѣю, такъ сходить Богу помолиться, да идти къ брату, пусть возьметъ хоть въ дворники. Такъ и сдѣлалъ. Бухъ ему въ ноги!.. Будь, говорю, вмѣсто отца: жилъ такъ и такъ, теперь хочу за умъ взяться».

Но совершенно согласно народнымъ легендамъ въ этомъ родѣ, богатый и возгордившійся братъ гонитъ отъ себя бѣднаго, раскаявшагося родственника:

«А ты знаешь,—говоритъ бѣдный братъ, — какъ братъ меня принялъ? Ему, видишь, стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, обласкай, я человѣкъ буду. Такъ нѣтъ, говоритъ, куда я тебя дѣну? Ко мнѣ гости хорошіе ѣздятъ, купцы богатые, дворяне; ты, говоритъ, съ меня голову снимешь. По моимъ чувствамъ и понятіямъ мнѣ бы совсѣмъ, говоритъ, не въ этомъ роду родиться. Я, видишь, говоритъ, какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ? Съ меня, говоритъ, и этого стыда довольно, а то еще тебя на шею навязать. Сразилъ ты меня, какъ громомъ!..»

На такой-же глубоко человѣчной морали народныхъ легендъ построена комедія и въ дальнѣйшемъ развитіи. Высокомѣрная гордыня богатаго брата, Гордѣя Торцова, доводитъ его до того, что онъ готовъ погубить свою единственную дочь, выдавши ее насильно замужъ за злого старика Коршунова, вколотившаго уже въ гробъ двухъ женъ. Онъ и самъ близокъ къ гибели подъ тлетворнымъ вліяніемъ Коршунова, который, разжигая въ немъ суетныя страсти, въ концѣ-концовъ обобралъ-бы его подобно тому, какъ онъ обобралъ уже и Любима Торцова. Спасителемъ его является тотъ самый нищій, оборванный и запивающій братъ, котораго онъ прогналъ изъ своего дома съ черствою безчеловѣчностью. Любимъ Торцовъ останавливаетъ его на краю пропасти и пробуждаетъ въ немъ совѣсть патетическою тирадою, которую безъ преувеличенія можно назвать гимномъ труда и бѣдности:

«Человѣкъ ты или звѣрь? Пожалѣй ты и Любима Торцова! (*становится на колѣни*). Братъ, отдай Любашу за Митю—онъ мнѣ уголъ дастъ. Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то, да честно пожить. Вѣдь я народъ обманывалъ, просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ. Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкъ былъ. Бѣдность—не порокъ».

Въ этой тирадѣ сосредоточена вся философія комедіи,—противопоставленіе честной, трудовой бѣдности суетному и высокомѣрному тщеславію мишурнымъ богатствомъ.

Послѣ комедіи *Бѣдность не порокъ*, въ 1854 г., Островскій написалъ народную драму изъ жизни XVIII столѣтія *Не такъ живи, какъ хочется*, и въ этой драмѣ болѣе чѣмъ въ предыдущихъ онъ подчиненъ славянофильскимъ тенденціямъ. Этою драмою Островскій словно заплатилъ послѣдній долгъ доктринамъ, которыя вліяли на него въ молодые годы, и затѣмъ окончательно

освободился отъ нихъ. Замѣчательно, что эта единственная драма Островскаго, которую можно назвать реакціонною, была написана какъ разъ въ послѣдній моментъ реакціи, передъ самымъ разсвѣтомъ, когда вмѣстѣ со всѣмъ обществомъ и самъ драматургъ готовился воскреснуть къ новой и болѣе широкой дѣятельности.

Въ драмѣ этой представляется торжество именно тѣхъ самыхъ мистико-аскетическихъ и домостроевскихъ идеаловъ, противъ которыхъ готова была возстать русская мысль. Вся драма переполнена тирадами въ мрачномъ духѣ семейнаго деспотизма, вродѣ того, что «своевольщина-то и все такъ живетъ; надѣлаютъ дѣла, не спросясь у добрыхъ людей, а спросясь только у *воли своей дурацкой*, да потомъ и плачутся... извѣстно, по своей волѣ легче жить, чѣмъ по закону; *да своя-то воля и въ пропасть ведетъ»*. Тирады эти вкладываются въ уста такихъ людей, какъ Илья, Агаѳонъ, Степанида, играющихъ въ драмѣ роль хранителей спасительныхъ традицій. Противъ этихъ кряжей стоятъ молодые, своевольные люди, вздумавшіе нарушить традиціи: такъ, молодой купчикъ Петръ, вмѣсто того, чтобы честнымъ обычаемъ жениться на Дашѣ, съ благословенія родительскаго, увозитъ ее тайкомъ; затѣмъ охладѣваетъ къ ней, начинаетъ ухаживать за Грушей, дочерью содержательницы постоялаго двора· жена его, узнавъ объ измѣнѣ мужа, бросаетъ его и бѣжитъ къ родителямъ. Но старыя традиціи не терпѣли, чтобы жена при какихъ-бы то ни было обстоятельствахъ могла разойтись съ мужемъ, и отецъ Даши, Агаѳонъ, оплакивая судьбу дочери, тѣмъ не менѣе вновь водворяетъ ее въ домъ мужа, говоря: «ты одно пойми, дочка моя милая, Богъ соединилъ, человѣкъ не разлучаетъ. Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ? Пойдемъ къ мужу!»...

Конецъ драмы вполнѣ оправдываетъ спасительность старыхъ традицій. Отвергнутый любовницей, узнавшей, что онъ женатый уже человѣкъ, Петръ, доведенный гульбой почти до гибели, очнулся на краю проруби, съ раскаяніемъ возвратился къ пенатамъ и повалился въ ноги родителямъ Даши со словами: «вотъ до чего гульба доводитъ!», а Агаѳонъ на это нравоучительно замѣтилъ своей дочери: «что, дочка, говорилъ я тебѣ?»..

Это приторное примиреніе при звонѣ великопостнаго колокола съ произнесеніемъ сентенцій прописной морали производитъ на зрителей впечатлѣніе рѣзкаго диссонанса. Они никакъ не могутъ повѣрить, чтобы Петръ могъ сразу раскаяться и, бросившись въ объятія жены, сдѣлаться примѣрнымъ семьяниномъ, тѣмъ болѣе, что совершенно иначе кончаются подобныя драмы въ жизни. Не даромъ и пословица сложена: повадился кувшинъ по воду ходить, тутъ ему и голову сложить. Поэтому драма является какъ-бы неоконченною; это одинъ лишь изъ ея эпизодовъ; отъ Петра можно ожидать новыхъ загуловъ, какъ это всегда бываетъ съ подобными натурами,—и мы вполнѣ оправдываемъ Сѣрова, который, избравъ для своей оперы сюжетъ этой драмы, настоялъ на томъ, чтобы конецъ ея былъ измѣненъ въ либретто: чтобы драма завершилась убійствомъ Даши.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

I. Переломъ въ творчествѣ Островскаго съ наступленіемъ эпохи реформъ и увлеченіе прогрессивными идеями. Значеніе пьесъ *Въ чужомъ пиру похмѣлье* и *Не все коту масляница*, какъ похоронъ самодурства. Драма *Гроза* и противовѣсъ ея съ драмою *Не такъ живи, какъ хочется*.—II. Общее резюме всего вышесказаннаго. Положительные типы Островскаго. — III. Отрицательные типы. Универсальность изображенія русской жизни. Богатство языка.—IV. Драматическая дѣятельность И. С. Тургенева и Писемскаго. Трилогія А. К. Толстого. Александръ Ивановичъ Пальмъ. — V. Алексѣй Антиповичъ Потѣхинъ.—VI. Александръ Васильевичъ Сухово-Кобылинъ. И. Е. Чернышевъ. Николай Яковлевичъ Соловьевъ. Викторъ Александровичъ Крыловъ. Дмитрій Васильевичъ Аверкіевъ.

I.

Послѣ драмы *Не такъ живи, какъ хочется,* Островскій, какъ мы говорили, вышелъ на новую дорогу. Въ слѣдующей-же пьесѣ *Въ чужомъ пиру похмѣлье,* относящейся къ 1856 году, является совершенно иной духъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ пьесахъ. Здѣсь снова мы видимъ противоположеніе двухъ слоевъ общества, но уже не положительныя стороны купеческой среды противополагаются отрицательнымъ среды дворянской, какъ это было въ драмѣ *Не въ свои сани не садись.* Купеческая среда изображена здѣсь въ видѣ Тита Титыча Брускова, представляющаго сложный типъ, содиняющій въ себѣ семейнаго деспота въ домостроевскомъ духѣ, необузданнаго самодура, привыкшаго, чтобы передъ силой его капитала все падало ницъ, и неотесаннаго дикаря, никогда и не слыхавшаго, что могутъ существовать такія вещи, какъ безкорыстіе, честность, чувство собственнаго достоинства и т. п. Противъ этого чудовища противопоставляется среда интеллигентнаго пролетаріата, того самаго просвѣщеннаго разночинства, какое въ то время становилось во главѣ умственнаго движенія.

Содержаніе комедіи заключается въ побѣдѣ нравственной и просвѣтительной силы Ивана Ксенофонтовича Иванова надъ грубой, матеріальной и темной силой Брускова. Поступокъ Иванова производитъ на Брускова впечатлѣніе ослѣпительнаго луча свѣта, внезапно ворвавшагося въ мглу, которая окружала старика съ колыбели. Онъ ошеломленъ этимъ свѣтомъ, потрясенъ. И еще-бы: въ первый разъ впродолженіе всей жизни онъ встрѣчаетъ человѣка бѣднаго, живущаго честнымъ трудомъ, котораго ему ничего не стоитъ раздавить, и этотъ ничтожный червякъ не преклоняется передъ его могуществомъ, отказывается отъ денегъ и честь считаетъ выше всякихъ своекорыстныхъ исканій. Онъ долго не вѣритъ возможности существованія подобнаго необычайнаго явленія, смѣется надъ нимъ, подозрѣвая подвохъ, но когда ссмнѣнія разсѣиваются, доходитъ въ глубокой задумчивости до столбняка, потрясенный всѣмъ, что раскрылось передъ нимъ, и впервые яркій лучъ сознанія врывается въ него. «Деньги и все это - тлѣнъ, металлъ звенящій! Помремъ—все останется». Въ этихъ словахъ выразилось то самоотрицаніе, на которое способенъ бываетъ русскій человѣкъ всѣхъ положеній и степеней умственнаго развитія. Правда, въ слѣдующей, заключительной сценѣ комедіи Брусковъ остается тѣмъ-же самодуромъ съ его восклицаніями: «не смѣйте со мной разговаривать» и «я приказываю»,—но это показываетъ только, что мысли человѣка мѣняются скорѣе,

чѣмъ привычки, привитыя воспитаніемъ. Довольно и нравственнаго перелома, который заставляетъ Брускова отдѣлить сына и требовать, чтобъ тотъ шелъ къ Иванову и кланялся ему въ ноги, прося руки его дочери. Это уже одно примиряетъ съ Брусковымъ, и зрители выносятъ изъ пьесы нравственное удовлетвореніе и даже побѣдное ликованіе, соотвѣтствующее той свѣтлой и бодрой эпохѣ, въ которую была написана эта драма.

Пятнадцать лѣтъ спустя, въ 1871 году, Островскій вновь возвратился къ той-же темѣ—посрамленію самодурства - въ пьесѣ *Не все коту масляница;* но мы видимъ большую разницу между этой пьесой и предыдущей. Видно, что не даромъ прошли 15 лѣтъ, и во многомъ измѣнились и эпоха, и углы зрѣнія автора. Тотъ-же Брусковъ въ образѣ Ахова представленъ здѣсь уже не только патріархальнымъ самодуромъ въ нѣдрахъ семейства, а захваченъ гораздо шире, являясь наглымъ эксплоататоромъ рабочаго труда на экономической почвѣ: въ столкновеніи съ племянникомъ Ипполитомъ онъ бьетъ уже не домостроевскимъ кулакомъ, а рублемъ. Онъ по-прежнему величается, говоря, что «не одни, даже сотни людей въ нашихъ рукахъ, такъ какъ намъ собой не возноситься?» и что «для нашего брата, ежели что захотѣлось, дорогого нѣтъ, а у вашей нищей братьи ничего завѣтнаго нѣтъ, все продажное». Но во всякомъ случаѣ это величіе ощипанное. Аховъ уже не ждетъ, чтобы нищая братья шла къ нему, а самъ снисходитъ къ ней и идетъ въ ея бѣдную хижину.

Въ то-же время побѣда надъ самодурствомъ производится уже не нравственною силою безкорыстія Иванова. Видно, что въ 15 лѣтъ была утрачена уже свѣтлая вѣра во всепобѣждаемость нравственныхъ силъ, какою было преисполнено наше общество въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ. Если наивнаго дикаря Брускова можно было потрясти зрѣлищемъ человѣка, для котораго честь дороже денегъ, то смѣшно было-бы предполагать возможность нравственнаго пробужденія въ Аховѣ, который, при видѣ племянника, готоваго зарѣзаться, заботится лишь о томъ, что «съ двора-то его сбыть-бы, а тамъ рѣжься, сколько душѣ угодно».

Поэтому и орудіями борьбы являются уже не высшаго порядка добродѣтели Иванова, а чисто боевыя силы, умъ и отвага, и Агнія возбуждаетъ своего жениха противъ Ахова, смѣясь надъ его трусостью. Возбуждаемый этими внушеніями, Ипполитъ, рѣшаясь на рискованную сцену самоубійства передъ Аховымъ, самъ считаетъ ее не чѣмъ инымъ, какъ «игрою ума». Вынудивъ этою «игрою ума» у Ахова заработанныя имъ 15,000, онъ въ то-же время не возбуждаетъ въ дядѣ никакой нравственной реакціи: Аховъ остается Аховымъ, и лишь чувствуя себя побѣжденнымъ, видя, что его перестали и уважать, и бояться, какъ утопающій хватается за соломинку, старается удержать въ рукахъ хотя-бы внѣшнія прерогативы падшаго величія. Тѣ двѣ сцены, гдѣ Аховъ умоляетъ Ипполита почтить его старика и по родственному поклониться ему въ ноги, а затѣмъ—другая, гдѣ онъ предлагаетъ побѣдителямъ за большія деньги подвергнуться добровольному позору, чтобы хоть этимъ вознаградить себя за падшее величіе,—принадлежатъ къ величайшимъ откровеніямъ драматическаго творчества. Не менѣе глубокимъ смысломъ исполненъ послѣдній монологъ Ахова, въ которомъ самодурство поетъ свою лебединую пѣсню и хоронитъ само себя:

«Какъ жить? Какъ жить! Родства народъ не уважаетъ, богатству грубить смѣетъ! Дядя говоритъ: поклонись по родственному! Не могу. Ну, поклонись ты, нищій, хоть за

деньги! – Не хочу. Умереть ужъ лучше поскорѣй, загодя. Все равно, вѣдь, развѣ свѣтъ-то на такихъ порядкахъ долго простоитъ? А какъ отцы-то жили? Куда они дѣлись, тѣ порядки старые, крѣпкіе? Развратъ что-ли въ мірѣ пошелъ? Такъ его и прежде, пожалуй, еще больше было! Вѣсъ что-ли промежду людей ходитъ, да смущаетъ ихъ? Отчего вы не лежите въ ногахъ у меня по старому, а я же стою передъ вами весь обруганный безъ всякой моей вины».

Однимъ словомъ, Аховъ—не Брусковъ, котораго можно было пронять зрѣлищемъ нравственной доблести и довести до сознанія, что деньги—тлѣнъ, металлъ звенящій; это—представитель закоренѣлаго самодурства, не способнаго ни на одну іоту поступиться своимъ ореоломъ, и ему остается лишь величественно удалиться со сцены, сѣтуя на общее развращеніе, предрекая гибель и проклиная всѣхъ окружающихъ, переставшихъ преклоняться и трепетать передъ нимъ.

Похоронивши самодурство, Островскій не замедлилъ въ лучшей своей драмѣ *Гроза* обрушиться на домостроевскіе идеалы въ ихъ принципіальномъ смыслѣ. Драма *Гроза* представляетъ полный контрастъ сравнительно съ драмою *Не такъ живи, какъ хочется.* Тамъ людей губитъ отступленіе отъ домостроевскихъ принциповъ, ведетъ въ пропасть своя воля дурацкая:—здѣсь наоборотъ раскрывается вся гибельность самихъ этихъ принциповъ: люди погибаютъ оттого, что ихъ воля скована тяжкими оковами семейнаго деспотизма, ихъ душитъ вѣчная опека надъ ихъ нравственностью и каждымъ шагомъ.

Кабанова является въ этой драмѣ такою-же представительницею домостроевскихъ принциповъ, какъ Илья или Агаѳонъ въ драмѣ *Не такъ живи, какъ хочется.* Ее отнюдь нельзя ставить въ одну категорію съ Дикимъ или Брусковымъ. У тѣхъ самодурство исходитъ изъ мѣшка съ деньгами, не имѣя никакихъ нравственныхъ основаній, и выражается безсмысленнымъ афоризмомъ: «я такъ хочу, кто я? и моему ндраву не препятствуй!..» По существу-же они люди совершенно безхарактерные, способные поддаваться порой и великодушнымъ порывамъ, и къ довершенію всего они трусы и тотчасъ-же дѣлаются тише воды, ниже травы, едва встрѣчаютъ мужественный отпоръ или призракъ опасности.

Совершенно не такова Кабанова. У нея постоянно на устахъ нравственныя сентенціи. Всѣ ея сужденія исполнены строгой логики. Она не развратничаетъ, не самодурствуетъ, а строго блюдетъ домъ свой и держитъ домочадцевъ въ страхѣ, потому что такъ подобаетъ по стародавнимъ праотеческимъ завѣтамъ. Она фанатично вѣритъ въ этотъ страхъ не ради самоуслажденія имъ, а потому, что по ея незыблемому убѣжденію безъ этого страха всѣ сейчасъ-же совратятся съ пути и все развалится, и когда сынъ замѣчаетъ ей, что зачѣмъ-же Катеринѣ бояться его, довольно, что она его любитъ, Кабановой кажется, что сынъ ея совсѣмъ съ ума спятилъ.

«Какъ зачѣмъ бояться?—говоритъ она,—какъ зачѣмъ бояться? Да ты рехнулся, что-ли? Тебя не станетъ бояться, меня и подавно. Какой-же это порядокъ-то въ домѣ будетъ? Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь. Али по вашему законъ ничего не значитъ? Да ужъ коли ты такія дурацкія мысли въ головѣ держишь, ты бы при ней то по крайней мѣрѣ не болталъ, да при сестрѣ при дѣвкѣ; ей тоже замужъ идти: этакъ она твоей болтовни наслушается, такъ послѣ мужъ-то намъ спасибо скажетъ за науку. Видишь ты, какой еще умъ-то у тебя, а ты еще хочешь своей волей жить».

И до конца драмы Кабанова осталась вѣрна своей безпощадной логикѣ, ни на минуту не поколебалась, не раскаялась, и всѣ развернувшіяся событія еще болѣе утвердили ее въ ея убѣжденіяхъ. И въ самомъ дѣлѣ: развѣ невѣстка

своей измѣной мужу не осрамила ея дома и не оправдала ея ненависти къ ней?—«Что, сынокъ,—обратилась она къ Кабанову:—куда воля-то ведетъ! Говорила я тебѣ, такъ ты слушать не хотѣлъ. Вотъ и дождался!» Развѣ не тѣми-же глазами смотрѣли-бы на поступокъ Катерины Илья и Агаѳонъ и не тѣми словами осудили-бы ее?

Но въ то-же время какая пропасть раздѣляетъ драмы *Не такъ живи* и *Грозу!* Въ первой - Илья и Агаѳонъ являются положительными типами, нравсвенными устоями, устраивающими счастье своихъ дѣтей силою тѣхъ самыхъ принциповъ, во имя которыхъ Кабанова губитъ своихъ домочадцевъ. Въ *Грозѣ* положительнымъ началомъ является семья Катерины, воспитавшая дѣвушку въ духѣ любви, гуманности и полной свободы.

«Такая-ли я была! — вспоминаетъ Катерина: — я жила, ни о чомъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, наряжала какъ куклу, работать не принуждала, что хочу бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ разскажу. Встану я бывало рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключокъ, умоюсь, принесу съ собою водицы и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ, и странницы, у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы станутъ разсказывать: гдѣ они были, что видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть могутъ, а я по саду гуляю. Потомъ къ вечерни, а вечеромъ опять разсказы да пѣніе. Таково хорошо было!..»

Не менѣе положительнымъ началомъ драмы является самоучка-часовщикъ Кулигинъ, опять-таки разночинецъ съ порывами къ знанію, свѣту, кроткимъ, гуманнымъ, свободолюбивымъ и любвеобильнымъ сердцемъ. Онъ играетъ въ драмѣ роль хора древнихъ трагедій, выражая и общественное мнѣніе, и взгляды самого автора на представляемыя явленія жизни. Это одинъ изъ немногихъ случаевъ въ дѣятельности Островскаго, что онъ самъ является на сцену, произнося устами Кулигина свой судъ надъ дѣйствующими лицами драмы.

II.

Все вышесказанное приводитъ насъ къ окончательному убѣжденію, что въ основѣ пьесъ Островскаго лежатъ демократическіе идеалы, принимая слово это не въ политическомъ смыслѣ приверженности къ общественнымъ формамъ, свойственнымъ демократическимъ принципамъ, а въ смыслѣ индивидуально нравственномъ, бытовомъ. Вездѣ противопоставляются простота, незлобіе, честность, правдивость, отвага въ борьбѣ со зломъ и неусыпное трудолюбіе— лѣни, распущенности, сластолюбію, безхарактерности, внѣшнему блеску, рисовкѣ, наконецъ необузданному своеволію и самодурству, какія гнѣздятся тамъ, гдѣ основою жизни являются не трудъ, а «бѣшеныя деньги», какъ мѣтко окрестилъ Островскій готовые рессурсы, которые словно съ неба сваливаются счастливцамъ міра въ видѣ то наслѣдства, то даровыхъ наживъ всякаго рода.

Передъ нами проходитъ рядъ личностей глубоко симпатичныхъ, заставляющихъ васъ отдыхать душою и мириться съ жизнью. Но это не воплощенные идеалы и не представители одной какой-либо излюбленной авторомъ среды. Мы видимъ людей разнородныхъ слоевъ общества, далекихъ отъ безусловнаго совершенства, иногда крайне смѣшныхъ и неуклюжихъ. Рядомъ съ сильными духомъ и волею личностями, въ которыхъ жажда добра и свѣта пре-

обладаетъ надо всѣмъ и которыя каждую минуту готовы пожертвовать жизнью за ближнихъ,—каковы напримѣръ: Марья Андреевна Незабудкина *(Бѣдная невѣста)*, Анна Павловна Оброшенова *(Шутники)*, Агнія Круглова *(Не все коту масляниц)*, Параша Курослѣпова *(Горячее сердце)*, Геннадій Несчастливцевъ *(Лѣсъ)* и пр.; къ этой-же категоріи относятся и такія загнанныя, забитыя, ничтожныя и въ высшей степени комическія личности, какъ: Иванъ Ксенофонтовичъ Ивановъ *(Въ чужомъ пиру похмѣлье)*, Павелъ Прохоровичъ Оброшеновъ *(Шутники)*, этотъ московскій Трибуле, подобно герою В. Гюго, скрывающій подъ личиною униженнаго шутовства гордость, чувство человѣческаго достоинства и нѣжное, любвеобильное сердце; наконецъ, Іосифъ Наумычъ Корпѣловъ съ своимъ оптимизмомъ нищеты и Любимъ Торцовъ, просвѣтленный горькимъ опытомъ безпутной жизни. Всѣ эти герои, требующіе отъ актера тщательнаго грима, чтобы при одномъ появленіи ихъ на сцену публика расхохоталась или ахнула отъ ужаса и состраданія къ ихъ убожеству,—глубоко трогаютъ зрителей своимъ душевнымъ величіемъ и посрамляютъ сильныхъ міра, глумящихся надъ ними и величающихся въ гордомъ высокомѣріи и закорузлой черствости сердца.

Островскій не ограничивается и этими смѣшными, но въ то-же время въ высшей степени трогательными личностями, а идетъ далѣе, доходитъ до такой поразительной смѣлости въ безпристрастномъ реализмѣ, взвѣшивающемъ явленія жизни не въ безусловномъ совершенствѣ, а въ отношеніи другъ къ другу, что для него достаточно бываетъ одного положительнаго качества, вродѣ крупицы здраваго смысла, энергіи или стойкости, для того, чтобы личность, сама по себѣ вовсе несимпатичная, составляла противовѣсъ ряду отрицательныхъ явленій, изображаемыхъ въ пьесѣ.

Таковъ напримѣръ Ник. Борисовичъ Неуѣденовъ *(Праздничный сонъ до обѣда)*. Передъ вами сидитъ грубый, неотесанный купчина въ простой русской рубахѣ и грызетъ орѣхи, разбивая ихъ булыжникомъ, который ему принесли со двора; говоритъ всѣмъ напрямки, что̀ про кого думаетъ, такъ и сыплетъ грубостями направо и налѣво. Въ семьѣ онъ навѣрное крутой самодуръ, вродѣ Кита Китыча Брускова. Но это не мѣшаетъ ему разыгрывать роль Правдина, и устами его говоритъ самъ авторъ, когда Неуѣденовъ резонируетъ по поводу прожившихся дворянчиковъ и всякаго рода стрекулистовъ, которые мечтаютъ поправить состояніе женитьбою на богатыхъ купчихахъ. Рѣчи его, полныя глубокой и мѣткой правды, заслоняютъ антипатичныя стороны и дѣлаютъ его самымъ привлекательнымъ лицомъ пьесы.

Еще болѣе рѣзкій примѣръ представляетъ собою Савва Геннадіевичъ Васильковъ въ комедіи *Бѣшеныя деньги*. Типъ совершенно новый въ нашей жизни, онъ самъ по себѣ еще болѣе антипатиченъ, чѣмъ всѣ самодуры пьесъ Островскаго, вмѣстѣ взятые. Съ самодурами насъ могла мирить до нѣкоторой степени широта русской натуры и способность въ роковой моментъ вдругъ очнуться отъ всѣхъ мерзостей, просвѣтлѣть и блеснуть великодушнымъ поступкомъ. Васильковъ—закаленный буржуа въ европейскомъ духѣ; у него каждый шагъ разсчитанъ въ видахъ наживы; никакое чувство не заставитъ его выйти изъ бюджета. Онъ влюбляется въ Лидію не иначе, какъ разсчитывая, что у него особаго рода дѣла и ему необходима именно такая жена, блестящая и съ хорошимъ тономъ; въ самомъ разгарѣ увлеченія онъ разсуждаетъ: «хорошо еще, что у меня воля твердая, и я, какъ бы ни увлекался, изъ бюджета

не выйду. Ни, Боже мой! Эта строгая подчиненность бюджету не разъ спасала меня въ жизни». Лидія прямо объявляетъ ему, что не любитъ его, а онъ все-таки женится на ней, въ тѣхъ-же практическихъ разсчетахъ, и наконецъ покоряетъ ее своей власти, пользуясь разореніемъ, до какого доводитъ дѣвушку безпутное мотовство, дѣлаетъ ее своей рабой, заставляя измѣнить образъ жизни и служить его финансовымъ цѣлямъ. Страшное впечатлѣніе производитъ на васъ этотъ представитель нарождающейся силы, съ которой придется мѣряться не однѣмъ Лидіямъ; но въ то же время такое отвратительное зрѣлище представляютъ Телятевы, Кучумовы, Глумовы, Чебоксаровы и прочіе герои среды, дошедшей до крайняго разложенія нравовъ, что Васильковъ кажется героемъ среди этихъ господъ,—своего рода солью земли.

III.

Мы говорили выше, что Островскій приписываетъ пороки той порчѣ нравовъ, какая является на почвѣ даровыхъ хлѣбовъ. Какъ стремленіе захватить въ свои руки помимо труда «бѣшеныя деньги», такъ и долгое пользованіе этими «бѣшеными деньгами» влекутъ за собой въ равной степени разнообразныя искаженія человѣческой природы. Купеческое самодурство является однимъ изъ наиболѣе грубыхъ, элементарныхъ, примитивныхъ видовъ нравственной порчи; это—первый шагъ на скользкомъ пути только-что успѣвшаго разбогатѣть простого русскаго деревенскаго человѣка. Самодуръ—дикарь, невзыскательный въ привычкахъ и требованіяхъ, все тщеславіе богатствомъ заключается у него въ томъ, что онъ бросаетъ деньги зря направо и налѣво.

Въ иномъ видѣ рисуются въ пьесахъ Островскаго культурные люди, въ которыхъ нравственная порча глубоко внѣдрилась, до мозга костей, хотя и скрывается подъ блестящею внѣшностью поверхностной образованности, утонченныхъ вкусовъ и изящныхъ манеръ. Здѣсь кишатъ несмѣтныя гниды отвратительныхъ пороковъ, передъ которыми купеческія безобразія кажутся лишь глупыми шалостями дурно-воспитанныхъ дѣтей. Поэтому и отношеніе Островскаго къ отрицательнымъ типамъ культурной среды не въ примѣръ безпощаднѣе. Не говоря о благодушномъ Русаковѣ, даже и такіе безобразники, какъ Большовъ или Брусковъ, могутъ казаться невинными ангелами сравнительно съ Уланбековой, съ ея жаднымъ и безпощаднымъ тиранствомъ подъ личиной лицемѣрнаго пуризма; Мурзавецкой, готовой во имя Господне снять съ ближняго послѣднюю рубашку; Надеждой Антоновной Чебоксаровой, ради снисканія благъ земныхъ открыто и беззастѣнчиво торгующей честью своей дочери; наконецъ Всеволодомъ Вячеславичемъ Гнѣвышевымъ, которому ничего не стоитъ, несмотря на почтенныя сѣдины и высокое положеніе въ обществѣ, обезчестить сироту, опекаемую имъ родственницу, и обратить ее въ содержанку. Въ культурной средѣ даже люди, повидимому чистые, безкорыстные и полные высокихъ стремленій, въ концѣ концовъ оказываются никуда не годными тряпками по крайнему слабодушію, безхарактерности, нервной развинченности. Таковъ Жадовъ, въ лицѣ котораго Островскій предсказалъ грядущую судьбу молодыхъ тогда еще прогрессистовъ, которые въ 1856 году,—когда была написана комедія *Доходное мѣсто*,—выступали впередъ съ рьяными обличеніями взяточничества и казнокрадства, громкими криками о наступленіи новой

эры въ общественной жизни, о возрожденіи, пробужденіи и т. п. Островскій своею комедіею словно напутствовалъ ихъ, говоря: «Потише, друзья, не бѣснуйтесь, не храбритесь и не геройствуйте; все это вѣдь однѣ громкія фразы, отъ которыхъ до дѣла очень еще далеко. Чтобы быть истинными героями, необходимъ такой нравственный закалъ, котораго вы не имѣете; необходимо быть готову отказаться отъ всѣхъ земныхъ благъ, а вы, если не честолюбивы и не сластолюбивы, то навѣрно женолюбивы; у васъ нѣжное сердце, готовое растаять при видѣ перваго смазливенькаго личика, и вы способны беззавѣтно увлечься этимъ личикомъ, не входя въ тщательный анализъ, что заключается подъ нимъ, и есть-ли тамъ какое-нибудь содержаніе. Если вы не уступите ни на іоту Юсовымъ и Бѣлогубовымъ по собственной инициативѣ, то подъ вліяніемъ предмета страсти не замедлите войти въ цѣлый рядъ сдѣлокъ съ совѣстью,—и Вишневскіе, Юсовы и Бѣлогубовы скоро убѣдятся, что вы вовсе не такъ страшны, какъ кажетесь, что вы—ихъ-же поля ягода».

Что касается внѣшняго содержанія пьесъ Островскаго, то, когда мы будемъ перечитывать ихъ подъ-рядъ, насъ поразитъ необъятная широта захвата Островскимъ русской жизни въ ея настоящемъ и прошломъ. До такой универсальности не доходилъ еще ни одинъ изъ нашихъ писателей, кромѣ развѣ Пушкина и графа Л. Толстого. Захотите вы отрѣшиться отъ настоящаго времени въ глубь прошлаго,—и передъ вами встаетъ древняя Русь, начиная съ до-историческихъ миѳическихъ временъ *(Снѣгурочка)* и кончая смутною эпохою междуцарствія; вы видите и грозную личность Іоанна съ его свирѣпыми казнями и женолюбіемъ; и безпечнаго, легкомысленнаго Дмитрія; и хитраго, злопамятнаго Шуйскаго; передъ вами развертываются интриги и казни бояръ, мятежные крики разсвирѣпѣвшей московской черни, взрывъ народнаго энтузіазма, возбужденнаго великимъ нижегородскимъ мясникомъ, и всеобщее шатаніе и разложеніе нравовъ, какое предшествовало петровской реформѣ *(Воевода)*.

Обратитесь къ современной жизни,—здѣсь поразятъ васъ еще бо̀льшія пестрота и разнообразіе образовъ: какихъ только людей, характеровъ, нравовъ не встрѣтите вы въ десяти томахъ сочиненій Островскаго: тутъ дворяне наживающіеся и дворяне разоряющіеся, проматывающіе послѣднія крохи; помѣщицы-тиранки на почвѣ крѣпостного права; купцы-самодуры, напивающіеся до чортиковъ; благодушные или суровые хранители домостроевскихъ завѣтовъ; безсердечные, черствые столичные бюрократы, одѣтые съ иголочки и тщеславящіеся своей строгой порядочностью, и грязные подъячіе, играющіе роль купеческихъ шутовъ; дѣльцы, прожигатели жизни—столичные и провинціальные, скряги, моты, странствующіе актеры, нищіе-мѣщане, едва не умирающіе съ голоду,—словомъ, передъ вами современная жизнь, во всемъ ея пестромъ разнообразіи и безобразіи. Единственно, чего не достаетъ въ пьесахъ Островскаго,—крестьянъ въ ихъ сельскомъ бытѣ. Это обусловливается конечно тѣмъ, что, проживъ бо̀льшую часть жизни въ городѣ, Островскій мало былъ знакомъ съ деревенской жизнью.

Наконецъ, поражаетъ въ пьесахъ Островскаго и языкъ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица. Мало сказать, что это языкъ естественный и соотвѣтствующій выводимымъ личностямъ: по народности, образности, мѣткому неподражаемому юмору и соли онъ представляетъ богатѣйшую сокровищницу русской рѣчи. Мы можемъ въ этомъ отношеніи поставить въ одинъ рядъ лишь трехъ

писателей: Крылова, Пушкина и Островскаго. Глубокую истину сказалъ Пушкинъ, что русскому языку слѣдуетъ учиться у московскихъ просвиренъ. Островскій на своемъ примѣрѣ какъ нельзя болѣе подтвердилъ это изреченіе, потому что у кого-же именно выучился онъ неподражаемому языку своихъ пьесъ, какъ не у московскихъ просвиренъ?

IV.

Къ величайшему сожалѣнію неблагопріятныя и стѣснительныя условія, въ какія была поставлена русская сцена впродолженіе всего разсматриваемаго нами періода, были главною причиною, что она не могла удержаться на высотѣ, на которую пытался вознести ее покойный драматургъ своей плодотворной дѣятельностью. Лучшія литературныя силы отвлекались отъ работы для театра, и вслѣдствіе этого весьма немного появилось втеченіе послѣднихъ пятидесяти лѣтъ пьесъ, которыя могли-бы соперничать съ произведеніями Островскаго, и это немногое принадлежитъ перу писателей, которые лишь мимоходомъ заплатили свою лепту театру.

Такъ, изъ беллетристовъ сороковыхъ годовъ наиболѣе потрудился для сцены И. С. Тургеневъ, пьесы котораго составляютъ томъ въ собраніи его сочиненій. И хотя онѣ далеко не представляются лучшими его произведеніями и въ дѣятельности его занимаютъ самое скромное мѣсто, это не мѣшаетъ многимъ изъ нихъ стоять въ первомъ ряду послѣ пьесъ Островскаго въ современномъ репертуарѣ. Такія пьесы, какъ: *Нахлѣбникъ* (1848 г.), *Завтракъ у предводителя* (1849 г.), *Холостякъ* (1849 г.), *Мѣсяцъ въ деревнѣ* (1850 г.), *Провинціалка* (1851 г.), до сихъ поръ не сходятъ со сцены, доставляя актерамъ благодарныя роли для выставленія талантовъ, а публикѣ—по тонкой художественности, сценичности и занимательности—самыя пріятныя и привлекательныя зрѣлища.

Писемскій въ свою очередь доставилъ русской сценѣ такую классическую пьесу, какъ *Горькая судьбина*. Это была первая пьеса на русской сценѣ изъ крестьянскаго быта, въ которой русскій мужикъ вышелъ на сцену въ натуральномъ видѣ, безъ идеализаціи и какихъ-либо подкрашиваній. Послѣдній періодъ дѣятельности Писемскаго былъ ознаменованъ нѣсколькими комедіями, въ которыхъ Писемскій казнилъ современныхъ дѣльцовъ и героевъ легкой наживы; но эти пьесы, обнаруживши въ дѣятельности автора *Тысячи душъ* оскудѣніе таланта, не долго удерживались на сценѣ.

Далѣе затѣмъ обращаетъ на себя вниманіе извѣстная трилогія А. К. Толстого: *Смерть Іоанна Грознаго*, напечатанная въ № 1 *Отеч. Зап.* за 1866 годъ, *Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ* (*В. Евр.* № 5, 1868 г.) и *Царь Борисъ* (*В. Евр.* № 3, 1870 г.). Изъ этихъ трехъ трагедій была поставлена на сцену лишь первая—*Смерть Іоанна Грознаго* въ 1876 году и впродолженіе всѣхъ семидесятыхъ годовъ не сходила со сцены. Пьесы А. К. Толстого, обнаруживая глубокое изученіе изображаемой эпохи и ту внѣшнюю живописную художественность, какою славится А. К. Толстой, страдаютъ тѣми недостатками, какіе мы можемъ замѣтить во всѣхъ русскихъ историческихъ драмахъ, не исключая *Бориса Годунова* Пушкина и хроникъ Островскаго: эпическая сторона преобладаетъ въ нихъ надъ драматическою; вмѣсто потрясающихъ драматическихъ коллизій

и дѣйствія, захватывающаго вниманіе зрителей и быстро развивающагося, передъ вами проходитъ рядъ бытовыхъ сценъ съ длинными разговорами. Вслѣдствіе этого отъ нихъ вѣетъ археологическимъ и этнографическимъ холодомъ; ихъ пріятнѣе читать, чѣмъ видѣть на сценѣ.

Однимъ изъ лучшихъ драматурговъ является Александръ Ивановичъ Пальмъ, примыкающій къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ. Онъ родился въ 1823 году и въ концѣ сороковыхъ годовъ выступилъ на литературное поприще небольшими разсказами и стихотвореніями въ духѣ натуральной школы. Замѣшанный въ дѣло петрашевцевъ, Пальмъ былъ заключенъ въ крѣпость, и хотя судъ констатировалъ, что онъ участія въ разговорахъ не принималъ, тѣмъ не менѣе послѣ продолжительнаго содержанія въ казематѣ Пальмъ былъ переведенъ тѣмъ-же чиномъ изъ гвардіи въ армію безъ заслуги, и кара эта была снята съ него лишь въ концѣ пятидесятыхъ годовъ по ходатайству одного высокопоставленнаго лица.

Къ прерванной въ юности литературной дѣятельности А. И. Пальмъ возвратился лишь въ началѣ семидесятыхъ годовъ и непрерывно продолжалъ ее до самой смерти, 10-го ноября 1885 года. Къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ его принадлежитъ романъ *Слободинъ*, напечатанный въ *Вѣстникѣ Европы*, изображающій петербургскіе литературно-политическіе кружки сороковыхъ годовъ. Изъ комедій-же наибольшимъ успѣхомъ пользовались пьесы: *Старый баринъ* и *Нашъ другъ Неклюжевъ;* менѣе извѣстны—*Больные люди, Гражданка, Петербургская саранча.* Какъ въ беллетристическихъ произведеніяхъ, такъ и въ комедіяхъ Пальмъ оставался вѣрнымъ традиціямъ школы беллетристовъ сороковыхъ годовъ и, являясь знатокомъ старинной, дореформенной помѣщичьей жизни, не безъ мастерства выводилъ тѣ-же рыхлые и изнѣженные барскіе типы, изображеніемъ которыхъ занималась и вся школа, къ которой онъ принадлежалъ.

Первымъ прямымъ послѣдователемъ Островскаго является Алексѣй Антиповичъ Потѣхинъ. Онъ родился въ Кинешмѣ, Костромской губерніи, 1-го іюля 1829 г. Литературная дѣятельность его началась въ 1851 году статьёю *О бенефисѣ актера московскаго театра Шумскаго.* Первая журнальная статья появилась въ *Современникѣ* 1852 года—*Забавы и удовольствія въ городкѣ.* Затѣмъ онъ началъ печататься во всѣхъ тогдашнихъ журналахъ—*Современникѣ, Отечественныхъ Запискахъ, Библіотекѣ для Чтенія, Москвитянинѣ, Русскомъ Вѣстникѣ, Русскомъ Словѣ, Современномъ Обозрѣніи, Вѣкѣ, Русскомъ Мірѣ.* Изъ беллетристическихъ произведеній его извѣстны: *Казанская крестьянка, Братъ и сестра, Бурмистръ*, романы: —*Крушинскій, Бѣдные дворяне* и *Около денегъ.*

Романъ *Бѣдные дворяне*, мастерски изображающій старинный помѣщичій бытъ и положеніе приживальщиковъ и шутовъ въ помѣщичьихъ усадьбахъ, представляется лучшимъ изъ всего написаннаго Потѣхинымъ. По объективности и глубокой реальной правдѣ онъ ни мало не уступаетъ *Проселочнымъ дорогамъ* Григоровича, съ которыми много имѣетъ общаго по содержанію. Менѣе удачны романы Потѣхина изъ народнаго быта по причинамъ, о которыхъ будетъ рѣчь ниже.

Участіе Потѣхина въ экспедиціи литераторовъ къ окраинамъ, предпринятой морскимъ министерствомъ въ 1856 году, о которой намъ неоднократно уже приходилось говорить, имѣло результатомъ нѣсколько этнографическихъ

статей, каковы: *Рѣка Керженецъ*, *Ловля красной рыбы въ Саратовской губерніи* и пр.

Первое драматическое сочиненіе А. А. Потѣхина была драма *Судъ людской—не Божій*, поставленная на петербургской сценѣ 29-го апрѣля 1854 года. Слѣдующая затѣмъ драма *Шуба овечья—душа человѣчья*, передѣланная изъ повѣсти *Братъ и сестра*, напечатанная въ 1854 году, была дозволена для представленія на сценѣ черезъ 12 или 13 лѣтъ, въ 1866 или 1867 году. Комедія *Мишура*, напечатанная въ 1858 году, находилась подъ запрещеніемъ для постановки на сценѣ четыре года. Комедія *Отрѣзанный ломоть* была дозволена для представленія на сценѣ въ 1865 году и послѣ тринадцати представленій запрещена. Комедія *Вакантное мѣсто*, напечатанная въ 1869 году, вовсе не была допущена на сцену. Комедія *Въ мутной водѣ* было дозволена къ представленію лишь подъ условіемъ многихъ выпусковъ и измѣненія нѣмецкихъ именъ и фамилій дѣйствующихъ лицъ русскими.

По количеству написаннаго А. А. Потѣхинымъ изъ народнаго быта, какъ въ беллетристической, такъ и въ драматической формахъ, его можно было-бы считать народникомъ. Къ сожалѣнію, знаніе его народной жизни имѣетъ поверхностный характеръ; онъ отличный знатокъ внѣшнихъ подробностей народнаго быта: характеры, изображаемые имъ, вѣрны дѣйствительности, выпуклы и чужды стереотипности, дѣйствующія лица говорятъ натуральнымъ народнымъ говоромъ. Но вы не найдете у Потѣхина глубокаго проникновенія во внутреннія основы народной жизни. Напротивъ того, васъ поражаетъ странная двойственность во всѣхъ его произведеніяхъ. Съ одной стороны въ нихъ повидимому преобладаютъ тенденціи демократическія; образованные слои общества обрисовываются съ тѣхъ отрицательныхъ сторонъ, съ какихъ изображала ихъ вся беллетристика разсматриваемаго нами періода; положительные типы онъ ищетъ преимущественно въ народѣ. Но вглядитесь пристальнѣе и вдумайтесь, какіе нравственные идеалы навязываетъ Потѣхинъ народу, и вы увидите, что они мало того, что въ духѣ прописной морали и молчалинскаго смиренномудрія, но зачастую въ узкосословномъ духѣ, т. е. Потѣхинъ представляетъ себѣ идеальныхъ крестьянъ въ такомъ видѣ, въ какомъ было-бы желательно, чтобы они были съ помѣщичьей точки зрѣнія.

V.

Въ половинѣ пятидесятыхъ годовъ обратилъ на себя вниманіе Александръ Васильевичъ Сухово-Кобылинъ. Онъ написалъ всего три пьесы: *Свадьбу Кречинскаго*, *Дѣло* (1868 г.) и *Смерть Тарелкина* (1868 г.). Изъ этихъ пьесъ на сцену была поставлена лишь *Свадьба Кречинскаго* (въ Москвѣ въ первый разъ 28-го ноября 1855 г., а въ Петербургѣ—весною 1856 г.). Не представляя какихъ-либо первостепенныхъ достоинствъ ни по художественности, ни по идеѣ, довольно банальная по содержанію, основанному на сенсаціонномъ уголовномъ процессѣ того времени, тѣмъ не менѣе пьеса эта имѣла колоссальный успѣхъ, благодаря двумъ избраженнымъ въ ней типамъ—Кречинскаго и Расплюева. Типы эти оказались весьма благодарными для эффектнаго выставленія артистическихъ достоинствъ талантливыхъ актеровъ, а потому ихъ олицетворяли по очереди всѣ первостепенные таланты послѣднихъ

40 лѣтъ, каковы: Щепкинъ, Шумскій, Самойловъ, Мартыновъ, Васильевъ и пр. Благодаря этому, пьеса удержалась на сценѣ до нашего времени.

Затѣмъ считаемъ нелишнимъ указать на драматурга и вмѣстѣ съ тѣмъ бывшаго артиста императорскихъ Петербургскихъ театровъ И. Е. Чернышева. Онъ выступилъ на литературное поприще въ 1858 году, когда на казенной сценѣ была поставлена первая пьеса его *Женихъ изъ долговою отдѣленія*, имѣвшая крупный успѣхъ, благодаря превосходной игрѣ Мартынова въ роли Ладыжкина. Не меньшимъ успѣхомъ пользовались пьесы его: *Не въ деньгахъ счастье*, поставленная на сценѣ Александринскаго театра въ 1859 году, и *Испорченная жизнь*, произведшая не малую сенсацію въ публикѣ въ 1861—62 годахъ, такъ какъ въ ней былъ затронутъ жгучій вопросъ того времени — женскій.

Но начатая столь блистательно литературная дѣятельность, подававшая благія надежды, прекратилась въ самомъ началѣ. Въ слѣдующемъ-же, 1863, году 16-го ноября Чернышева не стало, онъ умеръ всего лишь 30 лѣтъ. Написанная имъ передъ смертью пьеса *Черненькіе и бѣленькіе* поставлена была много позже по смерти автора. Кромѣ указанныхъ пьесъ, Чернышевымъ были написаны также пьесы: *Комедія изъ-за драмы*, *Отецъ семейства* (поставленная въ Александринскомъ театрѣ въ 1860 году въ бенефисъ Мартынова) и комедія *Зачастую*.

Не меньшаго вниманія заслуживаетъ Николай Яковлевичъ Соловьевъ. Онъ родился въ 1845 году въ Казани. Отецъ его, архитекторъ, умеръ, когда мальчику было 7 лѣтъ. Въ 1861 году онъ кончилъ курсъ въ Казанской гимназіи и началъ слушать лекціи въ Московскомъ университетѣ, но за неимѣніемъ средствъ долженъ былъ прекратить. Борясь съ горькой нуждой, единственную отраду онъ находилъ въ томъ, чтобы изрѣдка попасть въ театръ, гдѣ знаменитые актеры того времени — Садовскій, Шумскій и Самаринъ — производили на юношу такое потрясающее впечатлѣніе, что тогда уже онъ началъ слагать въ своемъ воображеніи пьесы, кое-что уже и писать, но нужда продолжала преслѣдовать его, и онъ былъ принужденъ взять мѣсто учителя въ Калужской губерніи, и впродолженіе шести лѣтъ пришлось ему тянуть учительскую лямку. Онъ такъ и заглохъ-бы въ глуши, если-бы не встрѣтился съ К. Н. Леонтьевымъ, который принялъ въ немъ участіе. Въ это время у Соловьева была уже написана вчернѣ комедія *Женитьба Бѣлугина*. Она понравилась Леонтьеву, и онъ передалъ ее Островскому, который въ свою очередь пришелъ отъ нея въ восхищеніе и, значительно передѣлавъ, содѣйствовалъ постановкѣ ея на сцену. Соловьевъ пріѣхалъ въ Москву, и сближеніе его съ Островскимъ было настолько тѣсно, что онъ удостоился исключительной чести: написать нѣсколько пьесъ совмѣстно съ Островскимъ. Таковы были, кромѣ *Женитьбы Бѣлугина*,—*Счастливый день*, *Дикарка*, *Свѣтитъ да не грѣетъ*. Самостоятельно были написаны Соловьевымъ: *На порогѣ къ дѣлу*, *Прославилась* и *Медовый мѣсяцъ*. Вѣрныя школѣ Островскаго, изображающія по большей части провинціальный бытъ средняго дворянства, комедіи Соловьева не имѣютъ выдающагося литературнаго значенія, но не лишены сценичности и смотрятся съ удовольствіемъ.

Особенное, самостоятельное значеніе въ современномъ репертуарѣ имѣетъ Викторъ Александровичъ Крыловъ, болѣе извѣстный публикѣ подъ псевдонимомъ В. Александрова. Писатель. обладающій несомнѣннымъ талантомъ, онъ

выступилъ на литературное поприще въ 1862 году нѣсколькими пьесами, исполненными широкаго захвата и общественнаго значенія, потерпѣлъ даже административную кару за безпощадную рѣзкость обличеній нѣкоторыхъ провинціальныхъ тузовъ. Такія произведенія его, какъ *Ст..б.*, *Земцы* и *Не ко двору*, доставили ему почтенную репутацію и конечно навсегда сохранятъ значеніе въ исторіи нашей литературы, какъ лучшіе памятники обличительнаго жара, какимъ въ пятидесятые и шестидесятые годы отличалась наша только-что возникшая гласность. Кромѣ этихъ пьесъ, Крыловъ подарилъ нашей литературѣ прекрасный переводъ *Натана Мудраго* Лессинга, добросовѣстно и съ научной обстоятельностью изданный съ комментаріями и библіографическими указаніями.

Къ сожалѣнію, В. А. Крыловъ не удержался на высотѣ, на которую поставили его первыя пьесы, и выступилъ на скользкій путь театральнаго ремесленничества, начавши поставлять на сцену по три, по четыре пьесы ежегодно, такъ что втеченіе 30-ти лѣтъ количество пьесъ его, подвизавшихся на театральныхъ подмосткахъ, превышаетъ сотню. При такомъ скороспѣломъ производствѣ пьесъ нечего конечно и ожидать отъ нихъ серьезныхъ литературныхъ достоинствъ. Въ большинствѣ ихъ В. А. Крыловъ является даже не сочинителемъ, а просто-на-просто передѣлывателемъ французскихъ пьесъ на русскіе нравы. Многія пьесы страдаютъ другимъ недостаткомъ: онѣ пишутся спеціально для любимыхъ публикою актеровъ, причемъ умышленно сочиняются такъ, чтобы въ нихъ были роли, благодарныя для этихъ корифеевъ, и вслѣдствіе этого пьесы долѣе удержались бы на сценѣ. Изъ подобныхъ ремесленныхъ произведеній наиболѣе выдаются по сценичности и успѣху такія пьесы, какъ: *Въ духѣ времени*, *Въ осадномъ положеніи*, *На хлѣбахъ изъ милости*, *Къ мировому*, *По духовному завѣщанію* и проч.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ упомянуть еще объ одномъ драматическомъ писателѣ, нѣкоторыя пьесы котораго, не отличаясь высокими литературными достоинствами, тѣмъ не менѣе, при низменности вкусовъ нашей публики, имѣли успѣхъ. Это именно Дмитрій Васильевичъ Аверкіевъ. Онъ родился 30-го сентября 1836 г. въ Екатеринодарѣ, въ купеческомъ семействѣ, и дѣтство провелъ до 9-ти лѣтъ въ домѣ одного дѣда въ Екатеринодарѣ, а потомъ—у другого дѣда въ Петербургѣ. Учился Аверкіевъ въ Петербургскомъ коммерческомъ училищѣ, по окончаніи курса котораго, въ 1854 г., поступилъ въ С.-Петербургскій университетъ на естественно-научный факультетъ, откуда вышелъ въ 1859 г. со степенью кандидата. Уже съ дѣтства Аверкіевъ возъимѣлъ страсть къ театру, подъ вліяніемъ дѣда, который отпускалъ даже даромъ лѣсъ на постройку екатеринодарскаго театра. Затѣмъ въ университетѣ онъ писалъ комедіи, драмы и стихи; въ печати-же появился впервые въ началѣ 1860 г. въ качествѣ фельетониста подъ псевдонимомъ Рьянова въ *Русскомъ Инвалидѣ*, затѣмъ въ *Сѣверной Пчелѣ* писалъ театральныя рецензіи и о журналахъ. Первое драматическое произведеніе его, *Мамаево Побоище*, появилось въ *Эпохѣ* 1864 г. Къ тому-же времени относится его либретто оперы Сѣрова *Рогнѣда*, ознаменовавшееся въ 1868 г. скандальнымъ процессомъ, такъ какъ Аверкіевъ требовалъ, чтобы Сѣровъ дѣлилъ съ нимъ поспектакльную плату.

Въ 1867 и 1868 годахъ появились: трагедія *Слобода Неволя*, комедія въ стихахъ *Лѣшій* и другая, тоже стихотворная комедія — *Терентій мужъ Даниловичъ*. Въ томъ-же, 1868, году, въ бенефисъ Самойлова была поставлена

его комедія *Фролъ Скобѣевъ.* Наибольшій-же успѣхъ имѣла драма *Каширская Старина*: поставленная въ 1872 году на московской и петербургской сценахъ; она обошла всѣ провинціальные театры и до сихъ поръ дается по нѣскольку разъ въ зиму.

Принадлежа къ реакціонному лагерю, Аверкіевъ отличается крайнимъ фанатизмомъ и нетерпимостью. Слѣпая, ожесточенная ненависть ко всему, на чемъ лежитъ малѣйшій отпечатокъ европейской образованности и прогресса, унаслѣдованная, по всей вѣроятности, отъ семьи, вышедшей изъ раскольничьей среды, соединяется въ немъ съ узкимъ патріотизмомъ оффиціальнаго характера и благоговѣніемъ передъ такъ называемою «священною стариною». Онъ считаетъ себя въ своемъ родѣ народникомъ, но народничество это исчерпывается археологической страстью къ до-петровскому быту, народнымъ пѣснямъ и обрядамъ и всему, что носитъ печать такъ называемой «самобытности».

Драмы его подкупаютъ грубые вкусы толпы мелодраматическими трескучими эффектами, народными пѣснями и хороводами, но въ чтеніи лишены всякой художественности и снотворны, а мѣстами и курьезны вслѣдствіе того, что авторъ, увлекаясь археологическими цѣлями, заставляетъ своихъ героевъ говорить невообразимо исковерканнымъ языкомъ, которымъ, яко бы, говорили наши предки. Вообще произведенія Аверкіева представляютъ собою нѣчто дѣланное, сочиненное; отъ нихъ пахнетъ пòтомъ усиленнаго труда, а мѣстами авторъ впадаетъ и въ смѣшное юродство.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

I Дѣтство и юность Николая Алексѣевича Некрасова. — II. Послѣдующіе факты его жизни.—III. Два элемента творчества Некрасова. Характеръ рефлективнаго элемента. — IV. Характеръ разночинно-народнаго элемента. — V. Присутствіе обоихъ элементовъ въ стихотвореніяхъ изъ народнаго быта. Общій выводъ.

I.

Стихотворная поэзія разсматриваемаго періода хотя и не имѣла такихъ геніальныхъ представителей, какъ гиганты предшествовавшей эпохи, Пушкинъ и Лермонтовъ, за-то обильна крупными и сильными талантами разнороднаго характера. Всѣ направленія, лагери и вѣянія отразились въ поэзіи послѣднихъ сорока лѣтъ и выставили своихъ пѣвцовъ. Но прежде всего пѣвцы эти раздѣляются на двѣ обширныя группы, сообразно двумъ эстетическимъ доктринамъ, завѣщаннымъ сороковыми годами: на группу пѣвцовъ жизни и служителей чистаго искусства.

Во главѣ пѣвцовъ жизни первое мѣсто, какъ властитель думъ и чувствъ своей эпохи, занимаетъ Николай Алексѣевичъ Некрасовъ, съ котораго мы и начнемъ разсмотрѣніе современной поэзіи.

Николай Алексѣевичъ Некрасовъ принадлежитъ къ помѣщичьему роду Ярославской губерніи, нѣкогда очень богатому, но потомъ обѣднѣвшему. Отецъ поэта, Алексѣй Сергѣевичъ, служилъ въ арміи и не отличался большимъ образованіемъ. Бóльшую часть службы онъ состоялъ въ адъютантскихъ должностяхъ, постоянно разъѣзжая по имперіи и бывая часто то въ Кіевѣ, то въ Одессѣ, то въ Варшавѣ. Во время этихъ разъѣздовъ онъ случайно познако-

мился съ семействомъ богатаго польскаго магната, Андрея Закревскаго. и женился на старшей дочери его, Александрѣ, противъ воли ея родителей. Жизнь изнѣженной польской панны потянулась среди лишеній и дрязгъ походной жизни. Пространствовавъ еще нѣсколько лѣтъ съ полкомъ, дослужившись до чина капитана, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи Ярославской губерніи и уѣзда, въ сельцѣ Грешневѣ, на почтовомъ трактѣ по Владимірской дорогѣ.

Н. А. Некрасовъ родился въ 1821 г. 22-го ноября въ Подольской губерніи, въ Винницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-то еврейскомъ мѣстечкѣ. Онъ очень рано началъ помнить себя. Но невеселыя картины дѣтства сохранились въ памяти его. Въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ, каковы напр. *Родина* и поэма *Несчастные*, поэтъ даетъ намъ ясное представленіе о грустныхъ картинахъ, вынесенныхъ имъ изъ родительскаго дома.

Началомъ умственнаго развитія Некрасовъ былъ обязанъ матери. Съ семилѣтняго возраста онъ началъ писать стихи. Отъ матери онъ перешелъ къ учителямъ-семинаристамъ, а въ 1832 году былъ опредѣленъ въ Ярославскую гимназію. Изъ-подъ суроваго гнета родительскаго дома одиннадцатилѣтній мальчикъ попалъ на безграничную свободу. Ученье шло незавидно. Особенно не удавались Некрасову древніе языки. Втеченіе шести лѣтъ съ трудомъ дотянулъ онъ до пятаго класса, а тутъ еще примѣшались натянутыя отношенія къ начальству. Продолжая писать стихи, Некрасовъ написалъ нѣсколько сатиръ на товарищей и гимназическое начальство. Онѣ дошли до послѣдняго, и оставаться долѣе въ гимназіи было немыслимо.

Тогда отецъ рѣшился послать сына (въ 1839 году) доканчивать ученіе въ Петербургъ, въ Дворянскій полкъ (одинъ изъ тогдашнихъ корпусовъ). По прибытіи въ столицу Некрасовъ явился къ начальнику III корпуса жандармовъ, генералу Полозову, съ рекомендательнымъ письмомъ отъ пріятеля отца, ярославскаго прокурора, Полозова-же; имъ онъ былъ представленъ Я. И. Ростовцеву, и дѣло было почти рѣшено. Но случайно онъ встрѣтился съ ярославскимъ товарищемъ, студентомъ Андреемъ Глушицкимъ, и тотъ, вмѣстѣ съ двумя другими студентами, Ильенковымъ и Косовымъ, отговорили Некрасова отъ поступленія въ корпусъ и увлекли его поступить въ университетъ. Остановка была за вступительными экзаменами, такъ какъ Некрасовъ былъ слабъ въ древнихъ языкахъ и математикѣ; но Глушицкій познакомилъ его съ профессоромъ духовной семинаріи Д. И. Успенскимъ, и они вдвоемъ взялись приготовить Некрасова въ университетъ. Когда объ этомъ узналъ отецъ Некрасова, онъ воспылалъ сильнымъ гнѣвомъ и отписалъ сыну, что если онъ не отложитъ намѣренія идти въ университетъ, пусть не разсчитываетъ ни на одну копѣйку родительской помощи.

И вотъ шестнадцатилѣтній мальчикъ очутился безъ всякихъ средствъ и положенія, съ 150 рублями въ карманѣ и съ паспортомъ «недоросля изъ дворянъ», по которому Некрасовъ жилъ до конца дней. Онъ поселился съ какимъ-то неизвѣстнымъ товарищемъ на Малой Охтѣ; довольствоваться имъ приходилось не болѣе какъ 15 коп. въ сутки на брата, обѣдая въ ужасающей кухмистерской, о которой Некрасовъ съ ужасомъ вспоминалъ всю жизнь. Затѣмъ онъ переселился къ проф. Успенскому. Пріемнаго экзамена въ университетъ онъ не выдержалъ, срѣзавшись изъ географіи, и былъ принужденъ поступить въ университетъ на филологическій факультетъ вольнослушателемъ.

Университетская жизнь Некрасова продолжалась съ 1839 по 1841 годъ. Матеріальное положеніе его во все это время было самое отчаянное: приходилось перебиваться грошовыми уроками и случайными журнальными работами. «Ровно три года,—говорилъ Некрасовъ,—я чувствовалъ себя постоянно, каждый день голоднымъ. Приходилось ѣсть не только плохо, не только впроголодь, но и не каждый день. Не разъ доходило до того, что я отправлялся въ одинъ ресторанъ въ Морской, гдѣ дозволяли читать газеты, хотя-бы ничего не спросилъ себѣ. Возьмешь бывало для виду газету, а самъ пододвинешь себѣ тарелку съ хлѣбомъ и ѣшь»... Силы Некрасова постоянно истощались и наконецъ онъ сильно заболѣлъ. Докторъ, объясняя его болѣзнь голоданіемъ, приговорилъ его уже къ смерти. Но молодой организмъ вынесъ болѣзнь, оставившую все-таки слѣды на всю жизнь.

Матеріальное положеніе Некрасова еще болѣе было подорвано этой болѣзнью. Приходилось пользоваться милостью квартирныхъ хозяевъ, отставного унтеръ-офицера съ женою, у которыхъ онъ нанималъ квартиру по Разъѣзжей. Задолжалъ имъ Некрасовъ во время болѣзни рублей сорокъ.

«Хозяинъ,—разсказываетъ онъ,—еще ничего, но хозяйка сильно безпокоилась, что я умру и деньги пропадутъ. За перегородкой постоянно слышались разговоры по этому поводу. Наконецъ въ одинъ прекрасный день ко мнѣ явился хозяинъ, объяснилъ свои опасенія съ полною откровенностью и просилъ меня написать ему росписку въ томъ, что я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и остальныя вещички. Я написалъ. Думаю: чего добраго, не станутъ и хоронить, да и люди они были дѣйствительно бѣдные. Черезъ нѣсколько времени мнѣ стало однако лучше, и я вскорѣ настолько уже оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на Выборгскую сторону къ одному знакомому студенту-медику. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ засидѣлся до поздняго вечера. Возвращаясь ночью домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было холодное пальтишко, а дѣло было осенью—въ октябрѣ или ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ, другой... Не пускаютъ,—говорятъ, что въ моей комнатѣ поселился уже другой жилецъ. Что-же касается до моего долга, то хозяева считаютъ себя вполнѣ удовлетворенными моимъ имуществомъ, которое я имъ оставилъ за долгъ, въ чемъ и выдалъ росписку. Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза глядятъ, не сознавая, куда и зачѣмъ, пробрался на Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выставляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ. Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ силъ. Наконецъ уснулъ. Разбудилъ меня какой-то старикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо, сжалился надо мной и пригласилъ меня съ собой куда-то ночевать. Я пошелъ. Пришли на Васильевскій островъ, въ 15-ю линію. Тамъ, въ самомъ концѣ улицы, стоялъ деревянный полуразвалившійся домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ оказалось много народу. Все это были нищіе, которые собирались здѣсь ночевать. Не помню я всѣхъ разговоровъ, которые велись здѣсь, помню только, что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за это 15 коп.»

Рядомъ съ такой страшною нищетой и трущобными сценами Некрасовъ видѣлъ картины сытой роскоши, и самъ порою участвовалъ въ ея утонченныхъ пирахъ.

«Въ тѣ времена,—читаемъ мы въ біографіи Некрасова, помѣщенной въ VII т. *Русской Библіотеки* Стасюлевича,—преимущественно въ университетѣ сосредоточивалось молодежь изъ знати, и университетскіе товарищескіе кружки смѣшивали въ себѣ всѣ состоянія и званія. Бѣдный молодой человѣкъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣсколько копѣекъ въ день, легко сближался съ юношами высшихъ и богатыхъ классовъ,—и не только сближался, но, благодаря своимъ личнымъ талантамъ, способностямъ и веселому характеру, могъ даже первенствовать между ними; на студенческихъ собраніяхъ и пирушкахъ, устраиваемыхъ въ то время на подобіе нѣмецкихъ кнейповъ и коммершей, предводительствовалъ не тотъ, кто знатнѣе всѣхъ, но кто лучше дрался на эспадронахъ и рапирѣ, кто былъ мужественнѣе и физически ловчѣе. Въ такихъ-то веселыхъ и разгульныхъ товарищескихъ кружкахъ внезапно очутился провинціальный юноша, возросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впервые съ обыденною жизнью и нравами другихъ общественныхъ

классовъ, которые безъ университетской жизни остались-бы ему извѣстными только по слухамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя деревенская, не осталась безъ вліянія въ будущемъ на поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а также на условія дальнѣйшей жизни: завязанныя имъ тогда связи сохранились и впослѣдствіи; недостатки и слабыя стороны жизни высшихъ общественныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ рукъ—и хорошо знакомы».

При столь тяжкой борьбѣ за существованіе нечего было и думать о правильномъ развитіи таланта. Почти сразу по пріѣздѣ въ Петербургъ, пятнадцати лѣтъ долженъ Некрасовъ былъ приняться за черный литературный трудъ въ видѣ случайныхъ мелкихъ срочныхъ статеекъ въ *Литературныхъ прибавленіяхъ къ Инвалиду* и *Литературной Газетѣ* А. Краевскаго, *Сынѣ Отечества* Н. А. Полевого, въ *Пантеонѣ*, *Отечественныхъ Запискахъ*; писалъ водевили для Александринскаго театра, былъ поставщикомъ у книгопродавца Полякова азбукъ и сказокъ (таковы напримѣръ сказка *Баба-Яга*, лѣтъ черезъ тридцать вновь изданная по какому-то праву Печаткинымъ съ громкимъ именемъ автора). По собственнымъ словамъ, онъ написалъ въ своей жизни до трехсотъ печатныхъ листовъ прозы.

Особенно помогъ ему встать на ноги и избавиться отъ нищеты Григорій Францовичъ Бенецкій, наставникъ-наблюдатель въ Пажескомъ корпусѣ и преподаватель въ Дворянскомъ полку. Онъ содержалъ приготовительный пансіонъ для поступающихъ въ корпуса и, познакомившись съ Некрасовымъ, предоставилъ ему занятія при своемъ пансіонѣ по всѣмъ русскимъ предметамъ. Это избавило юношу отъ прелестей ночлеговъ подъ открытымъ небомъ. Бенецкому-же былъ обязанъ Некрасовъ появленіемъ изданія своихъ дѣтскихъ стихотвореній подъ заглавіемъ *Мечты и звуки*. Матеріальное положеніе его въ 1840 году настолько улучшилось, что онъ могъ даже скопить нѣсколько деньжонокъ на это изданіе. Къ тому-же Бенецкій склонилъ его приступить къ печатанію, обязавшись продать по билетамъ заранѣе рублей на пятьсотъ. Некрасовъ все-таки колебался, но было поздно отказываться отъ дѣла: Бенецкій успѣлъ продать до сотни билетовъ, и деньги были прожиты. Некрасовъ обратился за совѣтомъ къ Жуковскому, который не совѣтовалъ ему выпускать изданіе, говоря, что онъ потомъ будетъ жалѣть объ этомъ; но такъ какъ было поздно, то Жуковскій посовѣтовалъ ему по крайней мѣрѣ снять съ книги имя. Некрасовъ такъ и сдѣлалъ, и книга вышла лишь съ заглавными буквами его имени—Н. Н.

Изданіе Некрасова встрѣтило безпощадный отзывъ Бѣлинскаго въ *Отечественныхъ Запискахъ*. Это былъ одинъ изъ тѣхъ краткихъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждой книжкѣ тогдашнихъ журналовъ по поводу безпрестанно появлявшихся начинаній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ на славу Пушкина. Бѣлинскій въ своей рецензіи не входилъ вовсе и въ разборъ стиховъ Некрасова, а ограничивался нѣсколькими бѣглыми мыслями о томъ, какой промахъ дѣлаютъ люди, не одаренные поэтическимъ талантомъ, выступая на литературное поприще со стихами; проза для нихъ благодарнѣе стиховъ. Впрочемъ въ *Сѣверной Пчелѣ*, *Библіотекѣ для Чтенія* и *Современникѣ* Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе лестныя для себя рецензіи, находившія въ его стихахъ проблески таланта и возлагавшія на него надежды. Книга, розданная на коммисію въ разные магазины, не пошла, и впослѣдствіи Некрасовъ самъ ее скупалъ и истреблялъ подобно Гоголю, поступившему такимъ образомъ со своимъ *Гансомъ Кюхельгартеномъ*.

II.

Съ 1841 по 1845 годъ слѣдуетъ важнѣйшій періодъ въ жизни Некрасова, потому что впродолженіе его окончательно сформировались его умственныя и нравственныя силы, и онъ является подъ конецъ его такимъ, какимъ оставался во всю послѣдующую жизнь. Къ сожалѣнію періодъ этотъ—самый темный въ біографическомъ отношеніи. Намъ извѣстно лишь, что, продолжая жить литературнымъ трудомъ, Некрасовъ вращался въ разнообразныхъ кружкахъ, великосвѣтскихъ, чиновныхъ, литературныхъ, театральныхъ, студенческихъ и пр. Къ этому-же времени относится и знакомство его съ кружкомъ Бѣлинскаго, который конечно былъ главнымъ двигателемъ умственнаго развитія Некрасова, опредѣливши всю его дальнѣйшую литературную дѣятельность.

«Въ началѣ сороковыхъ годовъ,—говоритъ объ этомъ И. Панаевъ въ своихъ воспоминаніяхъ,—къ числу сотрудниковъ *Отечественныхъ Записокъ* присоединился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензіи обратили на него вниманіе Бѣлинскаго, и онъ познакомился съ нимъ.

«Литературная дѣятельность Некрасова до того времени не представляла ничего особеннаго. Бѣлинскій понялъ, что Некрасовъ навсегда останется не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотрудникомъ; но когда онъ прочелъ ему свое стихотвореніе *На дорогѣ*, у Бѣлинскаго засверкали глаза, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и сказалъ чуть не со слезами на глазахъ:

— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ - и поэтъ истинный?

«Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвысился въ глазахъ его... Его стихотворенія *Къ родинѣ* привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ выучилъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ своимъ пріятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи, какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекался кѣмъ-нибудь изъ друзей своихъ... Въ эту эпоху онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и говорилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался постояннымъ членомъ нашего кружка».

Къ этому времени относится изданіе литературныхъ сборниковъ, которые представляются какъ-бы подготовленіемъ Некрасова къ издательско-журнальной дѣятельности. Таковы были: *Статейки въ стихахъ безъ картинокъ*, изд. въ 1843 году, *Физіологія Петербурга*, изд. въ 1845 году, *Первое апрѣля*, изд. въ 1846 году, и *Петербургскій Сборникъ*, тоже въ 1846 году. Наконецъ въ 1848 году Некрасовъ въ компаніи съ Панаевымъ купилъ у Никитенко Пушкинскій *Современникъ* и началъ издавать его съ 1-го января 1847 года подъ своею редакціею.

Журнальную дѣятельность Некрасова можно раздѣлить на три періода: первый періодъ—отъ 1847 по 1855 годъ—представляется тяжелой эпохой въ его жизни. Бѣлинскій умеръ въ 1848 г. Наступили годы реакціи. Ко всему этому присоединилась тяжкая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ какъ ненормальной жизни въ молодости, такъ и неустанной, изнурительной работы, потому что въ это время весь журналъ лежалъ на плечахъ Некрасова. Лучшіе доктора, русскіе и иностранные, опредѣлили горловую чахотку и присудили его къ неизбѣжной смерти. Но все это оказалось ложною тревогою. Профессоръ медико-хирургической академіи, Шипулинскій, объяснилъ болѣзнь совсѣмъ иначе и предписалъ леченіе, шедшее въ полный разрѣзъ съ мнѣніями знаменитостей. Выздоровленіе Некрасова, тщетно проведшаго передъ тѣмъ зиму въ Римѣ и зябнувшаго тамъ немилосердно въ холодныхъ отеляхъ, пошло

такъ быстро, что отъ мнимой чахотки не осталось и слѣда, кромѣ нѣкоторой слабости голоса. Затѣмъ кончилась крымская война, началась эпоха либерализма и реформъ. *Современникъ* ожилъ: къ нему начали приливать новыя могучія литературныя силы, и количество подписчиковъ съ каждымъ годомъ начало возростать тысячами.

Второй періодъ журнальной дѣятельности, съ 1856 по 1866 г.,—былъ періодомъ наибольшаго развитія силъ и дѣятельности Некрасова. Умственный и нравственный горизонты поэта значительно раздвинулись подъ вліяніемъ движенія, какое началось въ обществѣ, и людей, которые окружали поэта.



Н. А. Некрасовъ.

Прежніе идеалы оттѣсняются новыми, и подобно тому, какъ Бѣлинскій не любилъ, когда ему напоминали о *Бородинской годовщинѣ* или *Менцелѣ*, такъ и Некрасовъ неохотно вспоминалъ о грѣхахъ юности, вродѣ романа *Три страны свѣта*. Это просвѣтленіе отразилось и въ творчествѣ поэта. Отъ горячаго, но неопредѣленнаго протеста противъ пошлости, насилія и рабства онъ обращается теперь къ народному горю въ широкомъ и глубокомъ смыслѣ. Все лучшее и наиболѣе сильное написано имъ въ этотъ второй періодъ его журнальной дѣятельности: *Размышленіе у параднаго подъѣзда*, *Морозъ-Красный-носъ*, *Коробейники*, *Желѣзная дорога*, *Крестьянскія дѣти* и пр. Въ то-же время не перестаетъ онъ принимать дѣятельное участіе и въ изданіи журнала, и своимъ руководствомъ, и практическими совѣтами, и связями, и наконецъ личными трудами. Такъ, между прочимъ ему принадлежитъ мысль о приложеніи *Свистка* къ *Современнику*. Мысль эта явилась у него еще во время пребыванія въ Римѣ въ 1856 году. Ему тамъ часто попадалась въ руки одна изъ мѣстныхъ сатирическихъ газетъ и подъ впечатлѣніемъ ея онъ вознамѣрился завести *Свистокъ* при *Современникѣ*. Въ *Свисткѣ* этомъ было помѣщено не мало его сатирическихъ куплетовъ, въ томъ числѣ *Дружеская переписка Москвы съ Петербургомъ*, приписанная Добролюбову, которому принадлежатъ лишь примѣчанія къ этимъ куплетамъ. Въ то-же время и матеріальное благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось лишь въ этотъ второй періодъ его жизни. Кромѣ успѣха *Современника*, Некрасовъ не мало

былъ обязанъ этимъ и изданію своихъ стихотвореній, которое было разрѣшено ему въ 1860 году по ходатайству графа А. В. Адлерберга.

Прекращеніемъ *Современника* въ 1866 году кончается второй періодъ журнальной дѣятельности Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два года переходнаго состоянія, весьма тяжелаго. Съ 1868 года начинается третій періодъ, въ которомъ Некрасовъ является уже во главѣ *Отечественныхъ Записокъ*, и періодъ этотъ длится до его смерти.

Въ эти послѣднія десять лѣтъ своей жизни Некрасовъ былъ все такъ же дѣятеленъ и бодръ духомъ; талантъ его стоялъ на той-же высотѣ и творчество его ознаменовалось рядомъ произведеній, не уступающихъ прежнимъ, каковы: *Русскія женщины*, *Кому на Руси жить хорошо* и пр.; но въ то-же время физическія силы начали измѣнять ему съ каждымъ годомъ; онъ замѣтно старѣлъ, хилѣлъ, а въ послѣднія пять лѣтъ часто началъ и прихварывать.

Жизнь въ послѣдніе годы велъ онъ однообразную. Зимы проводилъ въ городской квартирѣ на Литейной въ домѣ Краевскаго, въ которой прожилъ лѣтъ двадцать. Зимою писалъ онъ весьма мало. Лѣтомъ уѣзжалъ или къ брату, въ ярославское имѣніе послѣдняго, или въ Чудово, гдѣ онъ имѣлъ охотничью дачу. Тутъ, среди сельской обстановки и природы, возбуждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдкая осень обходилась безъ того, чтобы, по возвращеніи въ городъ, не привозилъ онъ чего-нибудь новаго, что̀ читалъ друзьямъ и обрабатывалъ для печати, пока столичная жизнь не втягивала его въ свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ охотѣ.

Первые признаки болѣзни, сведшей Некрасова въ могилу, появились въ началѣ 1875 года, но Некрасовъ перемогался больше года, продолжая вести прежнюю жизнь и не обращая особеннаго вниманія на болѣзнь, которую приписывалъ геморроидальнымъ припадкамъ, будучи увѣренъ, что они не представляютъ никакой серьезной опасности. Но къ веснѣ 1876 года болѣзнь начала заявлять себя такъ сильно и мучительно, что потребовала серьезнаго леченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчинѣ, въ упорной борьбѣ съ болѣзнью, а осенью долженъ былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и изнемогшій. Возвратился онъ изъ Крыма, гдѣ пользовалъ его докторъ Боткинъ, зимою въ Петербургъ и почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только прогуливаясь по комнатѣ. Жестокія нервныя боли, увеличиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 года дошли до нестерпимыхъ, адскихъ мукъ. Въ рѣдкія минуты успокоенія Некрасовъ не переставалъ слѣдить за литературою и жизнью, читалъ газеты, корректуры, писалъ свои послѣднія пѣсни. Единственнымъ отраднымъ утѣшеніемъ для него въ это время было скорбное участіе въ его болѣзни всего русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіи, изъ самыхъ дальнихъ ея участковъ, стекались къ нему письма, стихотворенія, телеграммы, выражавшія глубокое, искреннее сочувствіе къ нему, какъ къ поэту народной скорби, вмѣстѣ съ пожеланіями избавленія отъ болѣзни и долголѣтней жизни.

Около 20-го ноября стали появляться признаки изнурительной лихорадки, вслѣдствіе которой исхуданіе и слабость еще болѣе увеличились, и 14-го декабря онъ сталъ уже несвязно говорить, лишился употребленія правой руки и ноги; 27-го-же началась агонія, и вечеромъ въ тотъ-же день, въ 40 минутъ восьмого, его не стало.

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодѣвичьемъ монастырѣ. Не-

смотря на большой морозъ, толпа въ четыре тысячи человѣкъ шла за гробомъ, и похороны Некрасова представляли собою видъ торжественной и трогательной оваціи въ память почившаго поэта. Послѣ отпѣванія въ церкви Ново-дѣвичьяго монастыря было произнесено протоіереемъ Горчаковымъ надгробное слово съ глубокимъ чувствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ могилу и зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ словъ надъ могилою поэта, и затѣмъ толпа тихо разошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣчную память о своемъ дорогомъ поэтѣ.

III.

Ни объ одномъ писателѣ не составилось столько одностороннихъ, предразсудочныхъ взглядовъ, какъ о Некрасовѣ. Брали одинъ изъ элементовъ его поэзіи, и по немъ судили обо всей дѣятельности. Такъ напримѣръ, въ массѣ его произведеній вы конечно найдете нѣсколько написанныхъ съ предвзятыми тенденціозными цѣлями: таковы напримѣръ сатирическіе куплеты, напечатанные въ *Свисткѣ* и другихъ изданіяхъ; но эти куплеты составляютъ такое незначительное меньшинство сравнительно со всѣмъ написаннымъ Некрасовымъ, что было-бы въ высшей степени несправедливо по нимъ судить обо всей дѣятельности поэта. А между тѣмъ до сихъ поръ въ значительной массѣ публики сохраняется о Некрасовѣ мнѣніе, какъ о чемъ-то вродѣ русскаго Ювенала. Нѣтъ основанія отрицать сатирическій элементъ поэзіи Некрасова. Въ значительной дозѣ входитъ онъ въ массу произведеній, но все-таки это лишь элементъ, и вполовину не исчерпывающій всей поэзіи Некрасова.

Если-же, откинувъ предвзятыя сужденія, вы начнете перебирать подъ-рядъ всѣ стихотворенія Некрасова,—вы убѣдитесь, что передъ вами поэтъ-лирикъ въ истинномъ и буквальномъ смыслѣ этого слова, который въ большинствѣ случаевъ пѣлъ безхитростно, повинуясь лишь творческой фантазіи или накипѣвшему чувству, мало заботясь о выдержкѣ и систематичности своихъ произведеній или о томъ, въ какой степени они выйдутъ содержательны и какое произведутъ впечатлѣніе. Сегодня его поразили размышленія у параднаго подъѣзда,—онъ пишетъ сатиру, исполненную гражданской скорби, а завтра онъ способенъ тѣмъ-же перомъ разсказывать о томъ, какъ *«долго не сдавалась Любушка-сосѣдка»*. Сегодня, подъ гнетомъ столичной суеты, онъ передаетъ скорбныя впечатлѣнія, вынесенныя изъ ненастнаго осенняго дня, а завтра, подъ обаяніемъ сельскаго приволья, разражается трогательною буколическою идилліею о крестьянскихъ дѣтяхъ, о дядѣ Мазаѣ съ зайцами или о впечатлѣніяхъ, навѣянныхъ ветхою, полуразрушенною сельскою церковью. Если большинство произведеній Некрасова однообразны по мрачному, тоскливому тону, за-то по формѣ и содержанію представляютъ самое пестрое разнообразіе. Подвести ихъ подъ какія-нибудь рубрики нѣтъ никакой возможности безъ крайнихъ натяжекъ. Нѣкоторыя стихотворенія до того разнородны по содержанію и стилю, что можно приписать ихъ разнымъ поэтамъ. Такъ напримѣръ, статочное-ли дѣло, чтобы одному и тому-же писателю могла принадлежать поэма *Русскія женщины* и дума *Сторона наша убогая*, элегантныя элегіи въ пушкинскомъ стилѣ, вродѣ *Да, наша жизнь текла мятежно*, и рядомъ съ нимъ пѣсня вродѣ *У людей-то въ дому—чистота, лѣпота.* Можно положительно

сказать, что вся русская жизнь отразилась въ стихотвореніяхъ Некрасова въ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, начиная великосвѣтскими салонами и клубами и кончая чердакомъ труженика, интеллигентнаго пролетарія или подваломъ мастерового, начиная барскою усадьбою и кончая полуразвалившеюся хатою тетушки Ненилы. При такомъ разнородномъ содержаніи произведеній Некрасовъ является отнюдь не пѣвцомъ одного сословія, партіи, кружка, а отражаетъ въ своихъ произведеніяхъ думы цѣлаго вѣка родной земли, слезы всѣхъ своихъ современниковъ и соплеменниковъ. Въ этомъ заключается причина популярности Некрасова не только среди людей одного съ нимъ лагеря, но и въ массѣ грамотнаго люда, чуждаго партійныхъ увлеченій.

Но этого мало, что Некрасовъ воспѣлъ всѣ слои общества,—онъ отразилъ всѣ элементы, броженіе которыхъ составляютъ суть разсматриваемаго нами періода. Въ лирикѣ Некрасова, какъ поэта переходной эпохи, вы постоянно замѣчаете присутствіе двухъ человѣкъ, которые, при всемъ тѣсномъ соприкосновеніи другъ съ другомъ, представляютъ значительную разнородность, порою даже и полное противорѣчіе. Съ одной стороны лирика Некрасова, повинуясь духу времени, выражаетъ пробужденіе совѣсти въ интеллигентномъ человѣкѣ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, отрицаніе обветшалыхъ формъ жизни во имя новыхъ идеаловъ, при горькомъ сознаніи безсилія сдѣлать хотя одинъ шагъ къ ихъ осуществленію.

Но поэзія Некрасова не исчерпывается одними рефлективными мотивами этого рода. Взлелѣявши въ нѣдрахъ помѣщичьей среды, судьба словно преднамѣренно заставила его испытать тяжелую борьбу съ голодомъ изъ-за черстваго куска хлѣба,—и изъ его лиры полились совершенно особенные, невѣдомые звуки, съ которыми ничего общаго не имѣетъ рефлективная лирика сороковыхъ годовъ. Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова, какъ всеобъемлющаго пѣвца своего народа и вѣка.

По порядку элементовъ, обратимъ сначала вниманіе на тѣ мотивы лирики Некрасова, въ которыхъ выражается рефлективный духъ сороковыхъ годовъ. Здѣсь мы видимъ въ Некрасовѣ мрачнаго пессимиста, и муза его вполнѣ соотвѣтствуетъ эпитетамъ, которые онъ самъ къ ней приложилъ: является дѣйствительно музою мести и печали. Безпощадно бичуя общественные пороки, гнѣздящіеся на почвѣ старыхъ порядковъ, поэтъ ни въ чемъ не находитъ утѣшенія и не видитъ выхода изъ мрачнаго положенія вещей. Печально глядитъ онъ на свое поколѣніе и, замѣчая въ немъ полный разладъ словъ и дѣлъ, однѣ радужныя мечты при полномъ безсиліи къ осуществленію ихъ, восклицаетъ:

Покорись—о ничтожное племя,
Неизбѣжной и горькой судьбѣ!
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ:
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно.
Суждены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ встрѣчается во многихъ стихотвореніяхъ. Въ поэмѣ *Саша* онъ развивается въ типъ вродѣ Рудина. Въ этой поэмѣ карается все та-же раздвоенность, заключающаяся въ томъ, что

Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,
Только дающая силу и власть
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любитъ онъ сильно, сильнѣй ненавидитъ,
А доведись—комара не обидитъ!
Да говорятъ, что ему и любовь
Голову больше волнуетъ—не кровь!

Эти качества своего поколѣнія поэтъ примѣняетъ нерѣдко и къ себѣ, говоря:

Я зато глубоко презираю себя,
Что живу, день за днемъ безполезно губя;
Что я, силы своей не пытавъ ни на чемъ,
Осудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ,
И лѣниво твердя: я ничтоженъ и слабъ!
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;
Что, доживши кой-какъ до тридцатой весны,
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкалися ногъ,
Да и умникъ подъ-часъ позавидовать могъ!
Я зато глубоко презираю себя,
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,
А брожу дикаремъ—безпріютенъ и сиръ,
И что злоба во мнѣ и сильна, и дика,
А до дѣла дойдетъ—замираетъ рука!

Подобную нравственную несостоятельность поэтъ приписываетъ наслѣдственности и вліянію среды:

И прежде, чѣмъ понять разсудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,
Проникъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:

Но все, что, жизнь мою окутавъ съ первыхъ лѣтъ,
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ,
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ роднымъ!.

Съ такою-же скептическою ироніею относится Некрасовъ и къ своей музѣ. Сначала, по его словамъ, куда ретивъ былъ его Пегасъ:

Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входилъ...

Но недолго продолжалась эта смѣлость:

И что-жъ?.. мои послышавъ звуки,
Сочли ихъ черной клеветой;
Пришлось сложить смиренно руки
Иль поплатиться головой;

а поэту было тогда всего двадцать лѣтъ:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
И ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія свои—
Душа пугливо отступала...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были его встрѣчи съ музой:

Украдкой бѣдная придетъ,
И шепчетъ пламенныя рѣчи,
И пѣсни гордыя поетъ,
Зоветъ то въ города, то въ степи,
Завѣтнымъ умысломъ полна;
Но загремятъ внезапно цѣпи,—
И мигомъ скроется она...
Не вовсе я ея чуждался,
Но какъ боялся, какъ боялся!
Когда мой ближній утопалъ
Въ волнахъ существеннаго горя,—
То громъ небесъ, то ярость моря
Я благодушно воспѣвалъ.
Бичуя маленькихъ воришекъ,
Для удовольствія большихъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалой гордился ихъ.
Подъ игомъ лѣтъ душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И муза вовсе отвернулась,
Презрѣнья гордаго полна!

Это рефлективно-скептическое отношеніе къ жизни доходитъ порою до такихъ предѣловъ, что страстная любовь къ народу и вѣра въ его силы, проникающая многія стихотворенія Некрасова, словно покидаетъ его, и онъ восклицаетъ въ сокрушеніи:

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Не услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрное
Только досаду родитъ...
Что же-ты любишь, дитя маловѣрное?
Гдѣ же твой идолъ сокрытъ?

Остается одна природа, и лишь на ея лонѣ ищетъ отдыха и утѣшенія измученное, истерзанное сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова
Со всегдашнимъ желаньемъ моимъ—
Заглуши эту музыку злобы!
Чтобъ душа ощущала покой,
И прозрѣвшее око могло бы
Насладиться твоей красотой!..

При этомъ особенное преимущество отдавалъ поэтъ природѣ своей родины. Она производила на него наиболѣе исцѣляющее и умиротворяющее вліяніе, и во многихъ стихотвореніяхъ онъ относится къ ней съ страстной любовью и нѣжностью. Такъ, въ стихотвореніи *Тишина* онъ прямо выражаетъ пристрастіе къ родной природѣ передъ иноземной. Припомнимъ также начало поэмы *Саша*,

*

гдѣ отношеніе поэта къ родной природѣ выражается въ еще болѣе страстномъ порывѣ, исполненномъ любви и сокрушенія. Все это вполнѣ приравниваетъ Некрасова къ беллетристамъ сороковыхъ годовъ: тѣ-же раздвоенность, пессимизмъ и любовь къ сельской природѣ, русскому ландшафту.

IV.

Но одними мотивами сороковыхъ годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова. Не мало найдете вы стихотвореній, въ которыхъ и слѣда нѣтъ унылаго пессимизма. Напротивъ того, Некрасовъ является въ нихъ горячимъ энтузіастомъ, исполненнымъ ободряющей вѣры въ могучія силы народа и въ неизбѣжность побѣды свѣта надъ тьмою и правды надъ кривдою. Въ порывѣ подобнаго энтузіазма онъ восклицаетъ въ стихотвореніи *Школьникъ:*

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Чтó выводитъ изъ народа
Столько славныхъ – то и знай –
Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой,
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И напыщенныхъ собой.

Припомните также въ *Пѣснѣ Еремушки* слѣдующіе стихи:

Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней
Въ форму старую, готовую,
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ стремленіямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты рожденъ природою –
Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братствомъ, истиной, свободою
Называются они.
Возлюби ихъ! на служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтите въ рефлективной поэзіи сороковыхъ годовъ. Это—мотивы новыхъ, выступившихъ на сцену людей, выражающіе ихъ святую святыхъ.

Конечно одними бравурными мотивами необузданной вражды къ лютой подлости и жажды грянуть божьей грозой надъ лукавой неправдой не исчерпывается еще все, чѣмъ живутъ новые люди. Въ жизни ихъ вы найдете еще болѣе горя, а подъ-часъ и отчаянья. Но это горе носитъ совершенно иной характеръ и обусловливается другими причинами, чѣмъ у людей сороковыхъ годовъ. Тамъ вы видите тяжкіе укоры проснувшейся совѣсти при горькомъ сознаніи безсилія возстать духомъ и загладить вины отцовъ. Здѣсь зло лежитъ

не внутри человѣка, а внѣ его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ, борьбу съ которыми не выдерживаютъ подъ-часъ самыя могучія силы. Человѣкъ сороковыхъ годовъ при всѣхъ гамлетовскихъ рефлексіяхъ оставался изнѣженнымъ бариномъ, продолжая пользоваться всѣми благами жизни. Разночинецъ-же подъ гнетомъ борьбы съ нищетою часто запиваетъ. Онъ опускается въ это время повидимому до послѣдней степени самоуничиженія:

Запуганный, задавленный,
Съ поникшей головой,
Идешь, какъ обезславленный,
Гнушаясь самъ собой . .
Сгораешь злобой тайною...
На скудный твой нарядъ
Съ насмѣшкой неслучайною
Всѣ, кажется, глядятъ.

Но при всемъ самоуниженіи, внушаемомъ столь жалкимъ видомъ, онъ все-таки далекъ отъ гамлетовскихъ самобичеваній и того растлѣвающаго пессимизма, который, внушая, что не стоитъ ни за что приниматься, такъ какъ ничто ни къ чему не приведетъ, оправдываетъ и узаконяетъ привычную лѣнь и апатію. Напротивъ того, на самой послѣдней точкѣ паденія не перестаютъ въ немъ кипѣть силы, жаждущія благой дѣятельности; едва протрезвляется онъ,

И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти, то труда.

Онъ сознаетъ въ то-же время, что если не въ силахъ ничего достигнуть, виновата въ этомъ не собственная дрянность, а безвыходное внѣшнее положеніе, нищета, заставляющая гнуть спину надъ каторжнымъ, забивающимъ трудомъ, не давая возможности выбиться и приняться за любимое дѣло:

Ахъ! еслибъ часть ничтожную!
Старушку полечить,
Сестрамъ-бы нероскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелаго,
Гнетущаго труда,
Быть можетъ, буйну голову
Сносилъ-бы я тогда.
Покинувъ путь губительный,
Нашелъ-бы путь иной,
И въ трудъ иной, свѣжительный,
Поникъ-бы всей душой.

Такимъ образомъ на самой послѣдней ступени безвыходнаго отчаянья въ разночинцѣ продолжаетъ жить тотъ-же энтузіазмъ святого, свѣжительнаго труда на общую пользу. Замѣтьте въ то-же время глубоко и вѣрно подмѣченную черту новаго человѣка: идущій какъ обезславленный, гнушаясь самъ себя при видѣ скуднаго наряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами показываютъ,—при мечтѣ о ничтожной части, прежде всего заботится онъ не о себѣ, а о своей старушкѣ, какъ-бы хорошо было полечить ее, о сестрахъ, которыхъ слѣдовало-бы пріодѣть, а потомъ уже о себѣ.

Къ числу подобныхъ-же стихотвореній разночиннаго типа относится *Буря*, *Застѣнчивость*, *Ѣду-ли ночью по улицѣ темной*.

Буря и *Застѣнчивость* представляютъ два противоположные полюса въ жизни разночинца. Въ первомъ стихотвореніи вы видите пѣснь торжествующей любви, но страсть носитъ здѣсь совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ мы привыкли встрѣчать въ любовныхъ элегіяхъ предшествовавшей эпохи и даже въ некрасовскихъ элегіяхъ пушкинскаго стиля. Тамъ въ самомъ разгарѣ страсти не перестаютъ преобладать разлагающій анализъ, унылая рефлексія, исполненная ѣдкой горечи. Здѣсь-же напротивъ того вы видите беззавѣтную отдачу страсти безъ колебаній и заботъ о завтрашнемъ днѣ. Единственнымъ препятствіемъ является опять-таки внѣшнее обстоятельство, въ видѣ бури, которая грозитъ помѣшать свиданію; но и буря оказывается ни по чемъ, потому что Любушка-сосѣдка въ свою очередь не отступитъ передъ препятствіями въ виду счастья любви и вовсе не такая пугливая нѣженка, чтобы въ бурю за ворота выйти ей за-диво. По своеобразности и бравурному страстному тону стихотвореніе это напоминаетъ собою пѣсни Кольцова, выражающія такую-же беззавѣтную удаль страсти здороваго и неискалѣченнаго русскаго простого человѣка.

Противоположный характеръ носитъ стихотвореніе *Застѣнчивость*. Здѣсь воспѣвается одна изъ общераспространенныхъ и роковыхъ слабостей разночинца. Здѣсь вы не видите уже удали торжествующей страсти, а напротивъ того—унылое отчаянье вслѣдствіе невозможности избавиться отъ проклятой застѣнчивости. Но и здѣсь несчастливца не покидаетъ сознаніе, что въ сущности онъ вовсе не такой жалкій и ничтожный, какимъ представлятся въ обществѣ, что въ душѣ его не мало таится могучихъ силъ, что въ божьихъ дарахъ ему не отказано и лицомъ онъ не хуже людей, что свободно и молодо въ сердцѣ его волнуется кровь и что подъ маской наружнаго холода безконечная скрыта любовь. И здѣсь источникъ зла таится не внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ.

Придавила меня бѣдность грозная,
Запугалъ меня съ дѣтства отецъ,
Безталанная долюшка слезная
Извела, доканала въ конецъ!..

Что касается стихотворенія *Ѣду-ли ночью*, то оно представляетъ собою ту крайнюю степень мрачнаго, трагическаго паѳоса, до котораго доводитъ бѣдняковъ-разночинцевъ безъисходная борьба съ нищетою.

Тому-же новому духу слѣдуетъ приписать особенное свойство некрасовской лирики, на которое мало обращала вниманіе критика при жизни поэта. Ни одинъ изъ русскихъ современныхъ поэтовъ не любилъ такъ часто обращать вниманіе на свѣтлыя стороны нашей жизни, ни одинъ не изобразилъ такъ много положительныхъ, идеальныхъ, доблестныхъ типовъ, съ такимъ горячимъ, чисто шиллеровскимъ энтузіазмомъ, какъ Некрасовъ. И что всего замѣчательнѣе,—положительные типы Некрасова отнюдь не носятъ фантастически-отвлеченнаго характера, облечены въ плоть и кровь времени и среды, исполнены разнообразіемъ конкретныхъ особенностей; ни одинъ не похожъ на другого. Некрасовъ искалъ и находилъ ихъ всюду, во всѣхъ слояхъ общества.

Такъ, на самомъ верху общественной іерархіи, въ великосвѣтской средѣ,

рисуются княгини Т—ая и В—ская, съ ихъ мужьями-страдальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, исполненныхъ граціозно-нѣжной любви и гордаго непоколебимаго самоотверженія, открывается передъ нами словно античный классическій міръ величаваго героизма. А между тѣмъ въ каждомъ ихъ душевномъ движеніи и помышленіи, въ каждомъ шагѣ, словѣ, позѣ вы видите русскую жизнь, русскую природу, русскихъ великосвѣтскихъ барынь, мирно и безпечно нѣкогда порхавшихъ по баламъ и маскарадамъ и вдругъ силою обстоятельствъ превратившихся словно въ римскихъ матронъ эпохи Коріолана и Тарквинія Гордаго. Въ этомъ соединеніи типичныхъ чертъ русской жизни съ античною величавостью доблестныхъ русскихъ женщинъ заключается главная прелесть поэмъ Некрасова. Въ то-же время поэтъ съ геніальнымъ художественнымъ мастерствомъ въ особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить ихъ прошлую жизнь: волшебныя воспоминанія о минувшихъ годахъ любви и счастья, роскоши и нѣги, среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскихъ снѣговъ, при наводящемъ уныніе и ужасъ завываніи вьюги, повергаютъ читателя въ невольный трепетъ, какой способны производить лишь величайшія созданія искусства. Припомните также сцену борьбы съ родительскою властью и съ администраціей въ лицѣ губернатора,—пробужденіе въ суровомъ администраторѣ человѣка, невольныя слезы его,—художественнѣе, глубже, выше этихъ сценъ ничего еще не было въ русской литературѣ.

Идя затѣмъ по нисходящей линіи общественной іерархіи, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ тружениковъ русской мысли, мужественно и неустанно боровшихся въ тиши невѣжества и сходившихъ въ преждевременныя могилы, оплакиваемыхъ небольшою горстью друзей, которые одни лишь понимали, чего лишается Россія въ этихъ сподвижникахъ и мученикахъ нашего времени. Таковы были: Бѣлинскій, Вл. Милютинъ, Добролюбовъ, Писаревъ, и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ восторженныхъ гимнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ пришлась на долю Бѣлинскаго, передъ которымъ Некрасовъ впродолженіе всей жизни не переставалъ благоговѣть не только какъ передъ великимъ человѣкомъ своей родины, но и какъ передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ славою.

Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы находилъ Некрасовъ въ народной средѣ; передъ нами проходитъ рядъ людей благодушныхъ, любвеобильныхъ, исполненныхъ могучей удали, но чуждыхъ гордой кичливости въ сознаніи своихъ богатыхъ силъ, добродушно смиренныхъ въ рѣдкихъ удачахъ и терпѣливо кроткихъ въ неисходномъ горѣ.

V.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, мы видимъ тѣ-же два разнородные элемента. Одни изъ нихъ исполнены рефлективнаго духа сороковыхъ годовъ. Отношеніе Некрасова къ народу въ нихъ гуманно, исполнено горячаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ, но въ то-же время—пессимистически-отрицательное. Поэтъ смотритъ на народъ съ интеллигентнаго высока, представляя его подавленнымъ, забитымъ, обнищалымъ и въ то-же время полудикимъ, исполненнымъ суевѣрій, бредущимъ по житейской дорогѣ

Въ безразсвѣтной глубокой ночи,
Безъ понятья о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете вмѣстѣ съ поэтомъ народъ, оплакиваете его въ жалкихъ и убогихъ тетушкахъ Ненилахъ, Ванькахъ, топящихъ въ винѣ свои буйныя страсти и горе, ямщикахъ, насильно оженённыхъ на барышняхъ-крестьянкахъ и бьющихъ ихъ подъ пьяную руку, но тщетно стали-бы вы искать чего-нибудь свѣтлаго, положительнаго, отраднаго. Многія изъ такихъ стихотвореній проникнуты страстнымъ лиризмомъ; но лиризмъ этотъ является выраженіемъ не столько чувствъ, которыя переживаютъ изображаемыя личности изъ народа, сколько личнаго скорбнаго чувства поэта. Таковы стихотворенія: *Въ дорогѣ*, *Тройка*, *Извозчикъ*, *На улицѣ (Воръ*, *Проводы*, *Гробокъ*, *Ванька)*, *Вино*, *Такъ служба*, *Забытая деревня*, *Деревенскія новости*, *На полѣ* и др..

Но рядомъ съ подобными стихотвореніями вы найдете другія, въ которыхъ поэтъ совершенно отрѣшается отъ себя, его *я* исчезаетъ, сливается съ выводимыми на сцену личностями, словно самъ народъ устами поэта выражаетъ завѣтныя думы и чувства. Самый стихъ поэта принимаетъ характеръ народныхъ пѣсенъ, а языкъ преисполненъ той богатой пластичности, образности, игривости и мѣткости, какія свойственны нашей народной рѣчи. Таковы изъ крупныхъ вещей: *Морозъ Красный носъ*, *Коробейники*, *Кому на Руси жить хорошо;* изъ мелкихъ—*Сторона наша убогая*, *Пахарь*, *Съ работы*, *Пѣсни* и пр. Въ подобныхъ вещахъ вы не найдете и тѣни чего-либо отрицательнаго, обличительнаго, пессимистическаго. Напротивъ того, народъ рисуется здѣсь какъ могучій богатырь, который самымъ своимъ непреклоннымъ терпѣніемъ въ многовѣковыхъ страданіяхъ возбуждаетъ въ поэтѣ восторженное обаяніе и ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Чтобы понять діаметральное различіе этихъ двухъ типовъ народныхъ стихотвореній Некрасова, сравнимъ стихотвореніе *Тройка* съ поэмою *Морозъ Красный носъ*. Въ обоихъ произведеніяхъ содержаніе аналогично: и тамъ, и здѣсь оплакивается слезная доля русской крестьянки. Но въ то-же время между ними лежитъ непроходимая пропасть. Въ стихотвореніи *Тройка*, представивши плѣнительный образъ деревенской дѣвушки, бѣгущей за тройкою съ проѣзжимъ корнетомъ, авторъ обращается къ ней съ слѣдующими сѣтованіями:

Поживешь и попразднуешь въ волю,
Будетъ жизнь и полна, и легка...
Да не то тебѣ пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,
Перетянешь уродливо грудь;
Будетъ бить тебя мужъ-привередникъ
И свекровь въ три погибели гнуть;
Отъ работы и черной, и трудной
Отцвѣтешь, не успѣя расцвѣсть,
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,
Будешь нянчить, работать и ѣсть.
И въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,
Полномъ жизни—появится вдругъ
Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленный вѣчный испугъ;
И схоронятъ въ сырую могилу,

Какъ пройдешь ты свой жизненный путь,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтую грудь.

Вы видите здѣсь глубокое сочувствіе къ судьбѣ крестьянки, но оно не имѣетъ ничего общаго съ народными взглядами на жизнь и его трезвыми идеалами. Совершенно не такъ сталъ бы въ этомъ случаѣ сочувствовать самъ народъ. Передъ вами эстетикъ сороковыхъ годовъ, болѣе всего оплакивающій потерю крестьянкой красоты, которая должна пропасть отъ тяжелаго труда. Ему досадно, зачѣмъ не проживетъ она въ праздной нѣгѣ, при которой красота конечно сохранилась-бы долго, зачѣмъ выйдетъ замужъ за грязнаго мужика, который окажется непремѣнно злымъ привередникомъ, только и будетъ колотить ее взапуски съ своею матерью, а главное дѣло, зачѣмъ ей только и предстоитъ, что няньчить, работать и, можете себѣ представить,—ѣсть! Но этого всего мало: всю-то жизнь проработавши, она окажется безполезно угасшей силой, и невольно навертывается вопросъ: ну, а какимъ-же способомъ она могла-бы оказаться не безполезной силой? Неужели въ такомъ случаѣ, если-бы удалось ей догнать тройку съ проѣзжимъ корнетомъ и съ нимъ «попраздновать въ волю»?

Совсѣмъ не то видимъ мы въ поэмѣ *Морозъ Красный носъ*. На первомъ планѣ рисуется здѣсь величавый типъ славянки, который, по словамъ поэта, до сихъ поръ не успѣлъ еще измельчать и часто встрѣчается въ русскихъ селеніяхъ:

Есть женщины въ русскихъ селеньяхъ,
Съ спокойною важностью лицъ,
Съ красивою силой въ движеньяхъ,
Съ походкой, со взглядомъ царицъ —
Ихъ развѣ слѣпой не замѣтитъ,
А зрячій о нихъ говоритъ:
«Пройдетъ —словно солнце освѣтитъ!
Посмотритъ—рублемъ подаритъ».

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своею величавостью придаетъ высокій трагическій паѳосъ всѣмъ ея горькимъ страданіямъ по случаю смерти мужа. Передъ вами не робкія слезы жалкаго безсилія, подавленности, загнанности, а могучіе стоны эпической героини, до послѣднихъ своихъ титаническихъ силъ борящейся съ злой судьбой. Въ семьѣ она—не безсмысленный манекенъ, о который всѣ пробуютъ силу, а равноправный членъ, несущій свою скорбную долю:

Лѣтомъ онъ жилъ работаючи,
Зиму не видѣлъ дѣтей;
Ночи о немъ помышляючи,
Я не смыкала очей.
Ѣдетъ онъ, зябнетъ... а я-то, печальная,
Изъ волокнистаго льну,
Словно дорога его чужедальная,
Долгую нитку тяну.
Веретено мое прыгаетъ, вертится,
Въ полъ ударяется...
Проклушка пѣшъ идетъ, въ рытвинѣ крестится,
Къ возу на горочкѣ самъ припрягается.
Лѣто за лѣто, зима за зимой—
Эдакъ-то мы раздобылись казной!
Милостивъ буди къ крестьянину бѣдному,

Господи! все отдаемъ,
Что по копѣйкѣ, по грошику мѣдному
Мы сколотили трудомъ!

Въ этихъ стихахъ обрисовывается вся доля крестьянской семьи, горькая, слезная, но исполненная высокой нравственной красоты, и особенно эпически-величаво рисуется здѣсь женщина, которая, какъ вѣрная Пенелопа, ожидаетъ со своимъ веретеномъ возвращенія мужа изъ дальнихъ и трудовыхъ странствій и словно Парка прядетъ нитку, такую-же длинную, какъ дорога ея милаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной, потрясающей поэзіи! Таковою-же остается героиня и до конца поэмы, когда по смерти мужа ей приходится исполнять мужичье дѣло, рубить дрова для горькихъ сиротокъ, и въ страшной истомѣ, въ приливѣ неутѣшнаго горя она величественно замерзаетъ среди грознаго лѣсного уединенія. Поэма вполовину потеряла-бы чарующее, хватающее за душу, потрясающее обаяніе, если-бы поэтъ не съумѣлъ представить свою героиню въ величаво-идеальномъ свѣтѣ, если бы она хоть чуточку вышла бы пошлѣе, зауряднѣе, словомъ—одною изъ тѣхъ полоумныхъ крестьянокъ «съ выраженіемъ тупого терпѣнья и безсмысленнаго вѣчнаго испуга», какая рисуется въ *Тройкѣ*. Но въ чемъ-же заключаются идеальныя черты Дарьи? Въ какихъ особенныхъ подвигахъ, которые выдѣлили-бы ее изъ всѣхъ ее окружающихъ? Въ томъ и дѣло, что ничего экстраординарнаго вы въ ней не видите: именно та самая работа и няньчанье дѣтей, къ которымъ поэтъ въ *Тройкѣ* относится съ эстетической брезгливостью,—они-то и дѣлаютъ Дарью героинею, обнаруживая въ ней могучую силу трудовой женщины, чарующей васъ какъ на верху безпечнаго счастья, такъ и въ трагической гибели подъ ударами лихой судьбы.

При этомъ мы должны сдѣлать оговорку, что, говоря о двухъ элементахъ творчества Некрасова и обозначая стихотворенія, въ которыхъ преобладаетъ тотъ или другой элементъ, мы далеки отъ дѣленія всѣхъ стихотвореній Некрасова на двѣ рубрики. Слово «элементы» мы употребляемъ въ истинномъ и точномъ значеніи этого слова. Оба они одновременно присутствовали въ творчествѣ поэта и оказывали свое вліяніе. Поэтому произведеній, въ которыхъ господствуетъ одинъ элементъ, напр. *Дума (Сторона наша убогая)*, *Рыцарь на часъ*, очень мало. Въ большинствѣ-же оба элемента находятся въ смѣшанномъ состояніи при преобладаніи одного. Такъ, въ поэмѣ *Морозъ Красный носъ* преобладаетъ народный элементъ, но въ началѣ вы найдете слѣды и рефлективнаго. Въ *Тройкѣ* наоборотъ: вся первая половина стихотворенія, представляющая плѣнительный образъ крестьянской дѣвушки, подходитъ болѣе къ народному элементу. Обо всей-же дѣятельности Некрасова можно сказать, что рефлективный элементъ преобладалъ въ первой ея половинѣ, что соотвѣтствуетъ господству этого элемента въ самомъ обществѣ въ сороковые и пятидесятые годы. По мѣрѣ-же того, какъ разночинно-народный элементъ началъ господствовать въ общественной жизни, и въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ Некрасова мы видимъ преобладаніе его.

Этотъ фактъ идетъ совершенно въ разрѣзъ съ приговорами критиковъ реакціоннаго лагеря, утверждавшихъ, что, подъ вліяніемъ публицистовъ шестидесятыхъ годовъ, Некрасовъ ломалъ свой талантъ во исполненіе требованій отрицательно-тенденціознаго отношенія къ жизни. На дѣлѣ мы видимъ нѣчто совсѣмъ обратное. Именно, подъ вліяніемъ рефлективнаго духа сороковыхъ

годовъ, въ Некрасовѣ преобладало отрицательное, пессимистическое отношеніе ко всему окружающему, въ томъ числѣ и къ народу. Публицисты шестидесятыхъ годовъ вліяли на него совершенно обратно: возбуждали въ немъ любовь къ народу, вѣру въ его могучія силы, раскрывали ему положительныя, идеальныя стороны народа. Взгляды Некрасова на народъ подъ ихъ вліяніемъ просвѣтлѣли и расширились: въ стихотвореніяхъ его начали встрѣчаться не однѣ убогія тетушки Ненилы и пьяные Ваньки, а Прокопы, дѣдушки Савельи, Мазаи, Яковы, Дарьи, Катерины и пр. Однимъ словомъ, изъ скорбнаго поэта интеллигентнаго меньшинства онъ обратился въ общенароднаго пѣвца въ самомъ обширномъ и глубокомъ смыслѣ этого слова.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

I. Біографическія свѣдѣнія о жизни Тараса Григорьевича Шевченко.—II. Характеристика его произведеній. — III. Иванъ Савичъ Никитинъ. Иванъ Захаровичъ Суриковъ. Спиридонъ Дмитріевичъ Дрожжинъ.—IV. Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ.—V. Развитіе и процвѣтаніе въ шестидесятые годы сатирической поэзіи. Кузьма Прутковъ и Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ. Василій Степановичъ Курочкинъ и его *Искра*. Дмитрій Дмитріевичъ Минаевъ.

I.

Движеніе сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ выдвинуло нѣсколькихъ поэтовъ непосредственно изъ народа. Такъ, на рубежѣ двухъ эпохъ стоитъ такой гигантъ южно-русской поэзіи, какъ Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, который хотя и является болѣе современникомъ Кольцова и Бѣлинскаго, чѣмъ Некрасова и Добролюбова, тѣмъ не менѣе по содержанію и духу своихъ произведеній можетъ быть названъ представителемъ и разсматриваемаго нами періода.

Тарасъ Григорьевичъ Шевченко, по уличному прозвищу Грушевскій, сынъ крѣпостного крестьянина помѣщика Энгельгардта, родился 25-го февраля 1814 г. въ селѣ Моринцахъ, Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губерніи; дѣтство-же съ трехъ-лѣтняго возраста провелъ въ селѣ Кирпловкѣ. До восьми лѣтъ жизнь его текла тихо и мирно подъ родительской кровлей. Но въ 1823 году умерла его мать, оставивъ пятерыхъ дѣтей, а отецъ женился на другой. Отъ нея пошли дѣти, которымъ она давала предпочтеніе передъ пасынками. «Не проходило часа,—пишетъ Шевченко въ своихъ произведеніяхъ,—безъ слезъ и драки между нами—дѣтьми, не проходило часа безъ ссоры и брани между отцомъ и мачихой». Много вынесъ Шевченко побоевъ совершенно безвинно. Со смерти отца въ 1825 году началась скитальческая жизнь его. Сначала онъ былъ взятъ въ науку кириловскимъ дьячкомъ Петромъ Богорскимъ; втеченіе двухъ лѣтъ прошелъ онъ азбуку, часословъ и псалтырь, учился нѣсколько времени письму у священника Григорія Коница. Убѣжавши отъ Богорскаго, обходившагося съ учениками жестоко, Шевченко, чувствуя страсть къ рисованію,—такъ какъ съ первыхъ годовъ дѣтства исчерчивалъ углемъ всѣ стѣны хаты и заборы,—пытался поступить въ ученье къ разнымъ мѣстнымъ малярамъ-богомазамъ, но это ему не удалось; приходилось ему въ это

время заниматься и пастушествомъ, а старшій братъ Никита тщетно старался пріучить его къ хозяйству. Въ 1827 году онъ былъ взятъ въ штатъ господской прислуги, а въ 1829 году отправленъ къ помѣщику Энгельгардту въ Вильну, причемъ на первыхъ порахъ попалъ въ поваренки, но по испытаніи отмѣченъ былъ «годнымъ на комнатнаго живописца». Тѣмъ не менѣе въ Вильнѣ онъ занималъ сначала при баринѣ мѣсто комнатнаго казачка и подавалъ ему огонь для закуриванія трубки, и лишь когда баринъ засталъ его однажды ночью за копированіемъ казака Платова, онъ хотя и выдралъ его за ухо, надавалъ пощечинъ и велѣлъ его высѣчь, но въ то-же время убѣдился, что изъ мальчика можетъ выйти домашній маляръ. Шевченко сталъ учиться у маляра въ Вильнѣ, а черезъ полгода, по совѣту учителя, признавшаго въ мальчикѣ талантъ, помѣщикъ отдалъ Шевченка къ портретисту Лампи въ Варшавѣ. Тутъ шестнадцатилѣтній Шевченко полюбилъ дѣвушку-польку, швею, которой былъ обязанъ первымъ сознаніемъ ненормальности своего крѣпостного положенія и знаніемъ польскаго языка.

Въ 1831 году Шевченко препровожденъ былъ въ Петербургъ къ своему барину по этапу пѣшкомъ, почти безъ сапогъ, и до 1833 года исправлялъ при немъ лакейскую должность. Наконецъ баринъ внялъ неотступной его просьбѣ и законтрактовалъ его на четыре года живописныхъ дѣлъ мастеру Ширяеву. Учась у него живописи, Шевченко познакомился съ художникомъ Иваномъ Максимовичемъ Сошенко, а черезъ него—съ писателемъ Е. Гребенкою. Гребенка близко принялъ къ сердцу жалкое положеніе юноши, сталъ приглашать его къ себѣ, давая ему для чтенія книги, сообщалъ разныя полезныя свѣдѣнія, помогалъ деньгами. Такимъ образомъ при помощи Гребенки Шевченко познакомился съ русскими и западными классиками, съ исторіей, и пр. Сошенко представилъ его конференцъ-секретарю Академіи художествъ, Григоровичу, съ убѣдительною просьбою оказать свое содѣйствіе къ освобожденію его отъ невыносимаго гнета маляра Ширяева; Гребенка-же познакомилъ его съ Венеціановымъ, а послѣдній представилъ его поэту Жуковскому, принявшему горячее участіе въ талантливомъ юношѣ. Вскорѣ начались хлопоты объ освобожденіи Шевченка отъ крѣпостной зависимости. Ближайшимъ толчкомъ къ этому послужило слѣдующее обстоятельство. Какой-то генералъ заказалъ Шевченку портретъ за пятьдесятъ рублей. Генералу портретъ не понравился, и онъ отказался принять его. Обиженный живописецъ, намыливши генералу на портретѣ бороду мыломъ, продалъ его за безцѣнокъ цирюльнику, къ которому генералъ ходилъ бриться. Замѣтивъ на вывѣскѣ свой портретъ, генералъ пришелъ въ бѣшенство и тотчасъ-же перекупилъ его для себя, а чтобы отомстить дерзкому маляру, обратился къ помѣщику Энгельгардту съ просьбою продать ему крѣпостного художника, предлагая ему большія деньги. Энгельгардтъ чуть-было не согласился на выгодную сдѣлку. Пока они торговались, Шевченко, предвидя, какой ужасъ его ожидаетъ, бросился къ художнику Брюлову, умоляя спасти его. Брюловъ сообщилъ объ этомъ Жуковскому, а тотъ императрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ. Энгельгардту дано было знать, чтобы онъ пріостановился продажею Шевченка. Въ исполненіе ходатайства за Шевченка императрица потребовала, чтобы Брюловъ кончилъ портретъ Жуковскаго, обѣщанный ей и уже начатый, но заброшенный Брюловымъ. Портретъ былъ вскорѣ конченъ и разыгранъ въ лотерею между лицами императорской фамиліи, въ сумму десять тысячъ рублей ассигнаціями,—равную

платѣ, предложенной генераломъ за Шевченка. Шевченко получилъ свободу 22-го апрѣля 1838 года; съ того-же дня началъ посѣщать классы Академіи художествъ и вскорѣ сдѣлался однимъ изъ любимѣйшихъ учениковъ-товарищей Брюлова. Въ 1843 году онъ получилъ степень свободнаго художника.

Ведя во все это время разсѣянную и довольно разгульную жизнь среди товарищей-художниковъ и занимаясь живописью, Шевченко находилъ время



Т. Г. Шевченко.

удѣлять и поэзіи, и въ 1840 году былъ изданъ имъ *Кобзарь*, произведшій впечатлѣніе на малорусскую читающую публику и познакомившій Шевченка съ украинскими писателями: Квиткой, Я. Кухаренко и др. Въ *Маякѣ* за 1842 годъ помѣщенъ былъ отрывокъ изъ его драмы *Никита Гайдай*, на русскомъ языкѣ, стихами и прозой пополамъ. Въ томъ-же, 1842, году Шевченко приступилъ къ печатанію знаменитой своей поэмы *Гайдамаки*.

Съ половины 1843 года до своего ареста въ 1847 году Шевченко проживалъ большею частью въ Малороссіи. Это было временемъ самаго высшаго

расцвѣта его таланта и появленія лучшихъ его произведеній: ***Тризнѣ, Наймичка, Сонъ, Невольникъ, Иванъ Гусъ, Холодный яръ*** и пр. Литературная слава его достигла своего апогея и доставила ему знакомство съ лучшими интеллигентными силами южной Россіи; въ то же время и матеріальное положеніе его было обезпечено. При помощи княжны Рѣпниной, двоюродной сестры министра народнаго просвѣщенія, графа Уварова, Шевченко получилъ мѣсто учителя рисованія при Кіевскомъ университетѣ. Онъ проектировалъ путешествіе заграницу, когда внезапно надъ нимъ обрушилась постигшая его бѣда: 25-го декабря 1846 года происходила въ квартирѣ Н. И. Гулака извѣстная бесѣда членовъ кирилло-меѳодіевскаго кружка, подслушанная и искаженная доносчиками и имѣвшая роковое значеніе для Шевченка и его пріятелей,—Н. И. Костомарова, Кулиша, Гулака, Бѣлозерскаго и другихъ. 31-го марта 1847 года онъ былъ арестованъ въ числѣ другихъ своихъ сотоварищей, препровожденъ въ Петербургъ, а 30-го мая отправленъ въ оренбургскіе линейные баталіоны рядовымъ съ воспрещеніемъ писать и рисовать.

Ссылка Шевченка продолжалась десять лѣтъ, до 21-го іюня 1857 года, когда онъ получилъ прощеніе, и 2-го августа 1857 года выѣхалъ изъ Новопетровскаго укрѣпленія, а 27-го марта 1858 года, получивъ право жить въ столицахъ, онъ пріѣхалъ въ Петербургъ и поселился въ Академіи художествъ, гдѣ ему дали мастерскую, какъ художнику Академіи.

Десятилѣтняя военная служба солдатомъ, прекращеніе всякаго сношенія съ міромъ, съ обществомъ, особенно-же недостатокъ духовной пищи не могли не оставить своихъ послѣдствій и не повліять на духъ поэта:

«Собственно поэтическій элементъ въ немъ проявлялся рѣдко,—вспоминаетъ о немъ И. С. Тургеневъ,—Шевченко производилъ скорѣе впечатлѣніе грубоватаго, закаленнаго и обтерпѣвшагося человѣка, съ запасомъ горечи на днѣ души, трудно доступной чужому глазу, съ непродолжительными просвѣтами добродушія и вспышками веселости. Теперь чаще въ немъ начали проявляться приливы чудачества и кутежа. Въ послѣдніе годы своей жизни, вращаясь въ избранномъ кружкѣ литераторовъ, читая русскіе журналы и употребляя всѣ усилія, чтобы вознаградить потерянное время, онъ успѣлъ встать въ уровень съ новыми идеями; но пробѣловъ въ его образованіи оставалось все-таки очень много. Притомъ-же талантъ его великаго творчества теперь видимо началъ ослабѣвать. Тарасъ чувствовалъ это, хотя отъ страха передъ отверзающеюся пропастью хотѣлъ отвернуться и увѣрить самого себя, что нѣтъ того, что ему угрожало. Читанныя имъ въ Петербургѣ въ послѣдніе годы его стихотворенія были слабѣе тѣхъ огненныхъ произведеній, которыя нѣкогда читалъ онъ въ Кіевѣ. Во время своего пребыванія въ Петербургѣ онъ додумался до того, что нешутя сталъ носиться съ мыслью создать нѣчто новое, небывалое, ему одному возможное, а именно поэму на такомъ языкѣ, который былъ-бы одинаково понятенъ русскому и малороссу: онъ даже принялся за эту поэму и читалъ мнѣ ея начало. Нечего говорить, что попытка Шевченкѣ не удалась, и именно эти стихи его вышли самые слабые и вялые изъ всѣхъ написанныхъ имъ: безцвѣтное подражаніе Пушкину».

Послѣдніе три года жизни Шевченко былъ занятъ тщетными поисками невѣсты, заботами объ освобожденіи родныхъ отъ крѣпостной зависимости и о пріобрѣтеніи на югѣ Россіи земли и мѣста для хаты. Въ ожиданіи освобожденія крестьянъ, онъ хотѣлъ ускорить облегченіе участи родныхъ и жертвовалъ для этого послѣднимъ достояніемъ. Наконецъ при содѣйствіи уполномоченнаго отъ «общества пособія литераторамъ», Новицкаго, между помѣщикомъ и братьями Шевченками было заключено формальное условіе, напечатанное въ пятой книжкѣ *Народнаго чтенія* за 1860 годъ. Родные Шевченка получили свободу по этому условію за нѣсколько мѣсяцевъ до обнародованія манифеста 19-го февраля, и поэтъ спокойно закрылъ глаза, исполнивъ свой долгъ. Най-

дена была подходящая мѣстность и для хаты Шевченка: на крутомъ берегу Днѣпра, на горѣ, у подошвы которой ютились рыбачьи хаты, а за горою стлалась широкая, вольная степь. Обрадованный поэтъ выслалъ уже и деньги за землю, но не суждено было ему умереть на родинѣ.

Уже въ концѣ 1860 года ему было очень худо: быстро развивалась водяная. Въ январѣ 1861 года онъ писалъ мрачныя письма къ друзьямъ, а въ февралѣ водяная бросилась въ легкія, и 26-го числа, въ 5 часовъ утра, поэта не стало. Похороны его совершились 28-го февраля, причемъ произнесено было надъ гробомъ не мало задушевныхъ рѣчей. Весною того-же года тѣло перенесено было изъ Петербурга въ Украйну и, согласно завѣщанію Шевченка, написанному въ 1846 году, похоронено на высокомъ берегу Днѣпра, близъ г. Канева.

II.

Въ отличіе отъ Некрасова съ его дворянскою хандрою, равно и отъ Кольцова, Никитина и прочихъ великорусскихъ поэтовъ, вышедшихъ изъ народа, Шевченко—единственный русскій писатель въ нынѣшнемъ столѣтіи, сохранившій живую и непосредственную связь съ народомъ, какъ по міросозерцанію, идеаламъ, такъ и по характеру, и формамъ своей поэзіи. Въ поэзіи Шевченка не замѣчается ни той оторванности отъ народа, которая составляетъ печальный удѣлъ русскихъ интеллигентныхъ людей, ни рефлективной раздвоенности, которою страдали всѣ современники Шевченка. Изучая поэзію его, вы имѣете возможность прослѣдить великій и таинственный актъ перехода народно-собирательнаго творчества въ личное. И характеръ лирическаго одушевленія, этой тихой, надрывающей сердце грусти, проникающій всю поэзію Шевченка, и образы, и мотивы остаются такими-же, какіе вы найдете въ любой малороссійской народной думѣ. Сюжеты большинства поэмъ не выдуманы, а взяты изъ народныхъ легендъ и преданій. Личность писателя словно исчезаетъ въ морѣ чисто народной поэзіи. Но въ то-же время онъ отнюдь не является рабскимъ подражателемъ этой поэзіи: все, что онъ черпалъ изъ нея, онъ перерабатывалъ, возводя въ перлъ художественнаго созданія и освѣщая зрѣлымъ сознаніемъ передовыхъ идей своего вѣка. Самый языкъ его произведеній не даромъ поражаетъ простотою и общедоступностью не только кровнымъ малороссамъ, но и людямъ, незнакомымъ съ южно-русскимъ нарѣчіемъ: читать Шевченка имъ не въ примѣръ легче, чѣмъ прочихъ малороссійскихъ писателей. Это происходитъ оттого, что послѣдніе писали и пишутъ на языкѣ искусственномъ, исполненномъ новыхъ словъ и выраженій, созданныхъ въ интеллигентныхъ слояхъ малороссійскаго общества. Для простого хохла этотъ вычурный языкъ такъ-же мало понятенъ, какъ и для великоросса. Между тѣмъ Шевченко писалъ на томъ живомъ языкѣ, на какомъ говоритъ и поетъ самъ народъ въ Украйнѣ; великоруссъ-же безъ труда понимаетъ рѣчь хохла, за исключеніемъ мѣстныхъ особенностей говора, какія вы можете встрѣтить въ любой деревнѣ и въ Великороссіи, и въ Малороссіи. Такимъ образомъ поэзія Шевченка является общимъ достояніемъ всего русскаго народа; произведенія его нѣтъ надобности переводить на литературный языкъ: ими могутъ въ равной степени наслаждаться и малороссы, и великороссы, и образованные, и неграмотные люди.

По содержанію произведенія Шевченка можно раздѣлить на четыре разряда. Къ первому относятся баллады и пѣсни сентиментально-романтическаго характера, чуждыя соціально политическихъ тенденцій. Таковы первыя его баллады: *Причинна*, *Утоплена*, *Русалка*, *Тополя*, которыя онъ писалъ еще въ Петербургѣ, урывками, на клочкахъ бумаги, въ Лѣтнемъ саду, подъ вліяніемъ поэзіи Жуковскаго и Козлова.

Но это вліяніе не мѣшало быть упомянутымъ произведеніямъ народными. Въ то время какъ Жуковскій и прочіе романтики его времени пересаживали на русскую почву нѣмецкій романтизмъ, Шевченко нашелъ богатые романтическіе мотивы въ неисчерпаемомъ родникѣ народной поэзіи. Въ балладахъ его воспѣвается несчастная судьба малороссійскихъ дѣвушекъ, то покинутыхъ милымъ казакомъ, отправлявшимся на войну и не возвратившимся, то тѣснимыхъ злою мачихою. Лучшимъ произведеніемъ его въ этомъ родѣ является повѣсть *Наймичка*, изображающая обманутую женщину, которая принуждена была чужимъ людямъ подбросить ребенка и, затѣмъ нанявшись къ нимъ батрачкою, воспитала его въ ихъ семействѣ и лишь передъ смертью созналась ему, что она его мать. Высокое самоотверженіе несчастной матери и все содержаніе этого безхитростнаго разсказа исполнены классически-величавой простоты и производятъ потрясающее впечатлѣніе.

Ко второму разряду относятся произведенія, въ которыхъ воспѣвается народное горе, причемъ первое мѣсто занимаютъ страданія, которыя терпѣлъ народъ отъ крѣпостного права. Воспѣвая родную страстно-любимую Украйну краше рая земного, Шевченко оговаривается, что въ этомъ раѣ *) «снимаютъ съ калѣки заплатанную свитку для того, чтобы одѣть недорослыхъ княжичей; тамъ распинаютъ вдову за подати, берутъ въ войско единаго сына, единую подпору; тамъ подъ плетнемъ умираетъ съ голоду опухшій ребенокъ, тогда какъ мать жнетъ на барщинѣ пшеницу; а тамъ опозоренная дѣвушка, шатаясь, идетъ съ незаконнымъ ребенкомъ: отецъ и мать отреклись отъ нея, чужіе не принимаютъ ея, нищіе даже отворачиваются отъ нея... а барчукъ... онъ не знаетъ ничего, онъ съ двадцатою по счету пропиваетъ души». Произволъ и самодурство пановъ доходили до того, что, по словамъ Шевченка,

... Якъ-бы расказать
Про якого небудь одного магната
Історію-правду, то перелякать
Саме-бы пекло можно; и Данта старего
Полупанкомъ нашимъ можно здывувать.

Но болѣе всего страдали отъ распущенности помѣщичьихъ нравовъ и панскаго произвола женщины, и гуманный страдалецъ о скорбной женской долѣ, Шевченко большую часть своихъ произведеній этого рода посвятилъ оплакиванію опозоренныхъ жертвъ барской прихоти, такъ называемыхъ «покрытокъ». Самымъ лучшимъ, наиболѣе развитымъ и драматичнымъ по содержанію произведеніемъ этого рода является поэма *Катерина*, посвящённая Жуковскому на память 29-го апрѣля 1838 г. (т. е. дня избавленія Шевченка отъ крѣпостной зависимости). Въ лицѣ Катерины изображается несчастная судьба «покрытки», которая полюбила панича москаля, была имъ брошена

---

*) См. *Очерки укр. лит. XIX ст.* Н. И. Петрова, стр. 337.

съ ребенкомъ на рукахъ, потерпѣла страшный позоръ, была прогнана родителями изъ родимой хаты, отправилась разыскивать милаго, встрѣтила его гдѣ-то на пути во главѣ коннаго отряда, но онъ не призналъ ея, закричалъ: «возьмите прочь безумную», и она утопилась въ отчаяніи, а сына ея призрѣлъ слѣпой кобзарь, и сдѣлался онъ его поводыремъ.

Къ третьему разряду относится рядъ произведеній историческаго содержанія, воспѣвающихъ времена казацкой вольности, защитниковъ народной свободы и мстителей за ея поруганіе. Таковы двѣ большія поэмы: *Гайдамаки* и *Гамалія* и нѣсколько мелкихъ рапсодій: *Никита Гайдай*, *Иванъ Підкова*, *Тарасова нічъ*, *Невольникъ*, *Выборъ гетмана*, *Чернецъ*, *Разсказъ покойника*, *Швачка*, *Сдача Дорошенка*, *Якъ-бо то ты*, *Богдане пьяный* и др.

Въ поэмахъ этихъ высказываются политическія и соціальныя убѣжденія поэта. Онѣ особенно высоко цѣнятся и читаются его земляками; хотя при всей страстной любви къ родной Украйнѣ, столь свойственной каждому малороссу, и скорби о славномъ прошломъ Малороссіи, о незабвенной эпохѣ ея независимости и казацкихъ вольностяхъ, Шевченко былъ далекъ отъ узкой хохломаніи и въ своихъ историческихъ пѣсняхъ является истиннымъ сыномъ народа, не столько воспѣвавшимъ казацкую славу, сколько оплакивавшимъ тяжкія невзгоды, какія перенесъ народъ. Онъ клеймитъ притѣснителей народа не только въ лицѣ исконныхъ враговъ его, ляховъ и жидовъ, но и своихъ пановъ и гетмановъ, выставляя настоящей причиной политическихъ бѣдствій края ту «казацкую старшину», которая погналась за личными выгодами, забывши объ интересахъ народа. Возвышаясь надъ узкою идеею національной особности, въ наиболѣе зрѣлыхъ въ политическомъ отношеніи произведеніяхъ (каковы: *Кавказъ*, *Невольникъ*, *Сонъ*, *Завѣщаніе*, *Холодный Яръ*, *Чигиринъ*, *Суботовъ*, *Посланіе до живыхъ и мертвыхъ и непорожденныхъ земляківъ моихъ* и поэма *Иванъ Гусъ)* Шевченко высказываетъ идею общеславянской федераціи въ духѣ полной равноправности внутренней и внѣшней, братства и единенія.

Щобъ уси славяне стали
Добрыми братамы,
И сынами сонця правды
И еретыками—
Оттакымы, якъ Констаньскый
Еретыкъ великый.

Это стремленіе возвыситься изъ сферы узкаго національизма до всеславянской общности и сдѣлаться поэтомъ не только украинскимъ, но и всеславянскимъ, и побудило Шевченка написать поэму на такомъ языкѣ, который былъ-бы понятенъ для всѣхъ славянъ. Попытка эта была безуспѣшна по той простой причинѣ, что созданіе общепонятнаго языка есть дѣло вѣковъ и цѣлыхъ поколѣній, и для нея слишкомъ слабы силы одного человѣка, какъ-бы ни былъ великъ его геній. То-же стремленіе склонило Шевченка въ концѣ жизни и къ писанію прозаическихъ разсказовъ на великорусскомъ языкѣ. Разсказы эти, составляющіе четвертый разрядъ его произведеній, написаны по большей части во время ссылки. Таковы: *Близнецы*, *Музыкантъ*, *Художникъ*, *Несчастный*, *Матросъ*, *Повѣсть о бѣдномъ Петрусѣ*, *Капитанша* и пр. Въ большинствѣ этихъ повѣстей мы видимъ содержаніе, подобное его стихотворнымъ поэмамъ предыдущаго времени; въ нихъ точно такъ же изображается ненормаль-

ность крѣпостного права и печальныя явленія на его почвѣ. Всѣ эти разсказы не лишены литературныхъ достоинствъ; сами по себѣ они могли доставить автору почетную извѣстность. Но конечно они далеко уступаютъ его стихотворнымъ поэмамъ и пѣснямъ, писаннымъ на родномъ нарѣчіи, и Шевченко все-таки остается великимъ украинскимъ народнымъ поэтомъ.

III.

Меньшимъ талантомъ обладалъ и меньшее значеніе имѣлъ въ литературѣ, хотя все-таки оставилъ послѣ себя довольно-яркій слѣдъ, Иванъ Савичъ Никитинъ.

Онъ родился въ Воронежѣ 21-го сентября 1824 года. Отецъ его былъ духовнаго званія. Выйдя изъ него, онъ записался въ мѣщане, занялся торговлею и имѣлъ свѣчной заводъ и лавку подъ Смоленскимъ соборомъ, на самомъ бойкомъ торговомъ мѣстѣ. Одинокимъ росъ въ домѣ родителей Никитинъ, имѣя единственной подругой дѣтскихъ игръ двоюродную сестру Аннушку, съ которой часто ссорился, будучи живымъ и рѣзвымъ ребенкомъ. Первымъ учителемъ Никитина былъ сапожникъ, научившій его грамотѣ, когда ему было шесть лѣтъ. Первыми прочтенными книгами были: *Мальчикъ у ручья* Коцебу и *Луиза или Подземелье Люнскаго замка* Радклифъ. Въ 1832 году, когда мальчику было восемь лѣтъ, отецъ отдалъ его въ духовное училище, по окончаніи котораго Никитинъ поступилъ въ 1841 году въ Воронежскую семинарію. Отецъ готовилъ его къ университету, надѣясь видѣть въ немъ со временемъ лекаря. Учился Никитинъ въ семинаріи такъ-же хорошо, какъ и въ духовномъ училищѣ; но особенно блестящіе успѣхи оказалъ въ словесности, въ составленіи не только мелкихъ классныхъ сочиненій, но и болѣе серьезныхъ пьесъ. Въ семинаріи-же онъ написалъ первое свое стихотвореніе и показалъ его профессору словесности, Чехову, который похвалилъ и совѣтовалъ продолжать.

Но не пришлось юношѣ доканчивать образованіе въ университетѣ. Отецъ разорился и запилъ; мать умерла. Въ 1843 году Никитину, бывшему въ философскомъ уже классѣ, пришлось выйти изъ семинаріи, возиться съ вѣчно пьянымъ отцомъ и дворничать на постояломъ дворѣ, скудными доходами котораго едва могли прокармливаться отецъ и сынъ.

Уединенная жизнь съ вѣчно-хмѣльнымъ отцомъ на концѣ города, въ совершенномъ отчужденіи отъ образованнаго общества, развила въ Никитинѣ страсть къ загороднымъ прогулкамъ и охотѣ, во время которыхъ онъ зачитывался по цѣлымъ часамъ, или, улегшись подъ деревомъ, сочинялъ стихи, которые пряталъ отъ всѣхъ, боясь насмѣшекъ невѣжественныхъ людей и дѣлясь бесѣдами съ музой лишь со сверстникомъ-другомъ, И. И. Дураковымъ, нижнедѣвицкимъ мѣщаниномъ.

Не безъ вліянія и одобренія Дуракова Никитинъ послалъ нѣкоторыя стихотворенія въ редакціи тогдашнихъ журналовъ; но ихъ постигло полное невниманіе, и лишь въ 1853 году удалось Никитину напечатать стихотвореніе *Русь* въ *Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ*, благодаря патріотическому содержанію, пришедшемуся кстати при разгоравшейся крымской войнѣ. Вотъ что писалъ Никитинъ редактору *Воронежскихъ Вѣдомостей*, посылая ему это стихотвореніе:

«Я—здѣшній мѣщанинъ. Не знаю какая непостижимая сила влечетъ меня къ искусству, въ которомъ, можетъ быть, я ничтожный ремесленникъ! Какая непонятная власть заставляетъ меня слагать задумчивую пѣснь въ то время, когда горькая дѣйствительность окружаетъ жалкою прозою мое одинокое, незавидное существованіе! Скажите, у кого мнѣ просить совѣта и въ комъ искать теплаго участія? Кругъ моихъ знакомыхъ слишкомъ ограниченъ и составляетъ со мною рѣшительный контрастъ во взглядахъ на предметы, въ понятіяхъ и желаніяхъ. Быть можетъ, моя любовь къ поэзіи и мои грустныя пѣсни вы назовете плодомъ раздраженнаго воображенія и смѣшною претензіею выйти изъ той



И. С. Никитинъ.

сферы, въ которую я поставленъ судьбою. Рѣшеніе этого вопроса я предоставляю вамъ и, скажу откровенно, буду ожидать этого рѣшенія не совсѣмъ равнодушно: оно покажетъ мнѣ или мою ничтожность, или мое нравственное—быть или не быть?»

Появленіе въ печати стихотвореній Никитина сблизило его съ воронежскимъ интеллигентнымъ кружкомъ: Второвымъ, Де-Пуле, Александровымъ-Дольникомъ и др., которые до самой смерти поэта принимали въ немъ горячее и дружеское участіе и не переставали помогать ему и совѣтами, и хлопотами по устройству матеріальнаго положенія. Особенно-же возросла популярность Никитина послѣ стихотворенія *Моленіе о чашѣ*: о немъ заговорили

во всѣхъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества; стихотвореніе переписывалось и распространилось далеко за предѣлами Воронежа и губерніи.

Въ то-же время нѣкоторыя газеты не замедлили перепечатать изъ *Воронежскихъ Вѣдомостей* стихотвореніе *Русь* и *Войну за вѣру*. Затѣмъ гр. Д. Н. Толстой принялъ живое участіе въ новомъ дарованіи и напечаталъ въ *Москвитянинѣ* нѣсколько его стихотвореній съ письмомъ Де-Пуле, содержавшимъ свѣдѣнія о поэтѣ, и тогда-же предложилъ издать на свой счетъ собраніе его стихотвореній.

Такъ какъ рекомендація публикѣ Никитина въ качествѣ новаго Кольцова появилась въ *Москвитянинѣ*, то петербургская журналистика изъ партійной вражды къ кружку *Москвитянина* долго не признавала Никитина и, когда въ 1856 году вышло въ свѣтъ изданіе его стихотвореній, отнеслась къ нему пренебрежительно, несмотря на то, что изданіе имѣло въ публикѣ успѣхъ, и черезъ три года, въ 1859 году, потребовалось новое изданіе. Впрочемъ когда въ 1858 году Никитинъ издалъ въ Москвѣ поэму *Кулакъ*, журналы отозвались о Никитинѣ гораздо благосклоннѣе, и *Атеней* призналъ даже поэму его однимъ изъ «лучшихъ литературныхъ явленій послѣдняго времени».

Въ послѣдніе годы жизни, благодаря литературнымъ успѣхамъ, Никитину удалось настолько улучшить свои матеріальныя дѣла, что у него скопился маленькій капитальчикъ до двухъ тысячъ рублей, и на эти деньги, при содѣйствіи друзей, онъ открылъ въ Воронежѣ книжный магазинъ, положивъ на это дѣло всю душу. Но дни его были сочтены: предшествовавшія лишенія и невзгоды такъ расшатали его здоровье, что 16-го октября 1861 года онъ умеръ на 37-мъ году отъ рожденія. Тѣло его было погребено на городскомъ кладбищѣ, недалеко отъ могилы Кольцова.

При всемъ талантѣ Никитинъ не былъ новаторомъ и не отличался такою оригинальностью, которая рѣзко выдѣляла-бы его изъ прочихъ поэтовъ его времени. Въ его произведеніяхъ постоянно слышались мотивы музъ то Кольцова, то Некрасова, то Тютчева, то Фета и пр. Это не мѣшало ему быть не рабскимъ подражателемъ упомянутыхъ поэтовъ, но истиннымъ и самороднымъ поэтомъ, и нѣкоторыя произведенія его возвышаются до классическаго совершенства и не даромъ помѣщаются въ христоматіяхъ, наряду съ высокими образцами русской поэзіи.

Стихотворенія его можно раздѣлить на два разряда: въ однихъ онъ подчинялся господствовавшей въ его время поэзіи пушкинской школы, поэтамъ чистаго искусства. Въ стихотвореніяхъ подобнаго рода наиболѣе проявлялась одна изъ существенныхъ особенностей его таланта: страсть изображать пейзажи изъ природы родного края.

По яркости колорита, по теплотѣ и поэтичности рисунка, по детальности, эти пейзажи отличаются первостепеннымъ мастерствомъ и производятъ чарующее впечатлѣніе. Такія вещи, какъ: *Утро, Гнѣздо ласточки, Встрѣча зимы, Зимняя ночь въ деревнѣ, 19 Октября, Разсыпались звѣзды* и пр., конечно извѣстны всѣмъ и каждому.

Ко второму разряду слѣдуетъ причислить стихотворенія изъ народнаго быта въ кольцовскомъ стилѣ. Вы не встрѣтите въ нихъ ни той страстности, ни того широкаго размаха, какими отличается муза Кольцова; они полны тихой меланхоліи, переходящей въ надрывающую грусть. Но въ нихъ болѣе политической зрѣлости и сознательнаго отношенія къ условіямъ народной жизни,

чѣмъ у великаго предшественника и земляка Никитина. Эпоха успѣла наложить свою печать на поэта. Онъ является пѣвцомъ преимущественно народнаго горя, защитникомъ всѣхъ обездоленныхъ, страждущихъ и гибнущихъ подъ гнетомъ нужды, невѣжества и самодурства. Лучшими произведеніями его въ этомъ родѣ являются: *Пахарь*, *Сохъ*, *Жена ямщика*, *Ночлегъ извозчиковъ*, *Пѣсня бобыля*, *Наслѣдство* и пр. Самая-же крупная вещь—поэма *Кулакъ*, мрачная драма изъ жизни воронежскихъ мѣщанъ, основанная на вѣчномъ россійскомъ сюжетѣ семейнаго самодурства—выдачи замужъ за стараго и немилаго изъ-за своекорыстныхъ разсчетовъ. Лучшими мѣстами въ поэмѣ этой является опять-таки масса ландшафтовъ и вообще вся описательная часть. Въ цѣломъ-же поэма страдаетъ растянутостью и неуклюжестью. Какъ поэтъ-самоучка, Никитинъ раздѣлялъ печальную участь всѣхъ беллетристовъ и стихотворцевъ, вышедшихъ изъ разночинной среды: отсутствіе выработанной техники и неумѣнье справляться съ формами произведеній.

Изъ поэтовъ, вышедшихъ изъ народа, заслуживаютъ также вниманія Иванъ Захаровичъ Суриковъ и Спиридонъ Дмитріевичъ Дрожжинъ. Оба эти поэта имѣютъ много сходства между собою и по обстоятельствамъ жизни, и по характеру стихотвореній. Суриковъ родился въ 1840 году 25 марта, въ деревенькѣ Новоселово, Углицкаго уѣзда. Дрожжинъ родился 6-го декабря 1848 года, въ деревнѣ Низовкѣ, на Волгѣ, Тверской губерніи и уѣзда. Оба они, будучи крестьянскими дѣтьми, рано оставили родныя села и мыкались по столицамъ, по скуднымъ заработкамъ, терпя нужду и горе: Суриковъ торговалъ угольями, Дрожжинъ состоялъ то половымъ въ трактирѣ, то приказчикомъ у табачныхъ торговцевъ, то лакеемъ въ барскихъ домахъ. Оба выучились писать урывками, между дѣломъ, и писали въ стилѣ оплакиванія тяжкой народной доли, подражая то Кольцову, то Некрасову, то Никитину. Суриковъ умеръ 1880 года 25-го апрѣля отъ чахотки. Дрожжинъ живетъ и здравствуетъ доселѣ. Къ чести его онъ остался крестьяниномъ и, по зимамъ уѣзжая въ столицы заниматься литературнымъ трудомъ, въ видѣ отхожаго промысла, лѣтомъ занимается хлѣбопашествомъ. Односельчане, не игнорируя его литературныхъ занятій, заучиваютъ и распѣваютъ его пѣсни.

IV.

Изъ писателей интеллигентной среды, принадлежащей къ одному лагерю съ Некрасовымъ, наибольшаго вниманія заслуживаетъ Алексѣй Николаевичъ Плещеевъ. Онъ родился 22-го ноября 1825 года, въ Костромѣ, въ семьѣ стариннаго дворянскаго рода. Когда ему было два года, отецъ его поселился въ Нижнемъ-Новгородѣ, найдя здѣсь служебное мѣсто. Здѣсь провелъ поэтъ все дѣтство. Въ 1838 году онъ былъ отправленъ въ Петербургъ, въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ, откуда вскорѣ вышелъ, вступилъ въ С.-Петербургскій университетъ, но и здѣсь курса не кончилъ.

Рано появилась у Плещеева наклонность къ литературной дѣятельности. Восемнадцати лѣтъ онъ уже выступилъ въ свѣтъ съ переводомъ стихотворенія Рюккерта *Пѣсня странника*, напечатанномъ въ XXXI томѣ *Современника* Плетнева за 1843 годъ. До половины 1845 года продолжалъ Плещеевъ печатать стихотворенія въ *Современникѣ*, затѣмъ началъ появляться и въ другихъ журналахъ: въ *Иллюстраціи* Кукольника, въ *Репертуарѣ* и *Пантеонѣ*

Межевича, а въ 1846 г. вышло въ свѣтъ первое изданіе его стихотвореній. Плещеевъ въ это время вращался въ передовыхъ кружкахъ и принималъ горячее и живое участіе въ движеніи петрашевцевъ. Это отражается и въ его стихотвореніяхъ того времени. Молодой поэтъ въ то время былъ преисполненъ самыхъ свѣтлыхъ и радужныхъ надеждъ; все окружающее настраивало его на воинственный ладъ. Завидя «зарю святого искупленья», онъ звалъ друзей своихъ взяться за руки и смѣло двинуться «впередъ безъ страха и сомнѣнья на подвигъ доблестный», чтобы подъ знаменемъ науки союзъ ихъ крѣпнулъ и росъ, и гордо, смѣло предрекалъ имъ:

Жрецовъ грѣха и лжи мы будемъ
Глаголомъ истины карать,
И спящихъ мы отъ сна разбудимъ
И поведемъ на битву рать...

Муза, явившаяся поэту во снѣ, когда онъ спалъ на берегу моря, предрекла ему блестящую участь:

Страданьемъ и тоской твоя изрыта грудь,
А предъ тобой лежитъ еще далекій путь.
Скажу я, что тебя въ твоей отчизнѣ ждетъ:
Подыметъ на тебя каменья твой народъ
За то, что обличишь могучимъ словомъ ты
Рабовъ грѣха, рабовъ постыдной суеты.
За то, что возвѣстишь ты мщенья грозный часъ
Тому, кто въ тинѣ зла и праздности погрязъ!
Чье сердце не смущалъ гонимыхъ братьевъ стонъ,
Кому закономъ былъ - отцовъ его законъ!
Но не страшися ихъ! И знай, что я съ тобой,
И камни пролетятъ надъ гордой головой!
Въ цѣпяхъ-ли будешь ты, не - унывай, и вѣрь,
Я отопру сама темницы смрадной дверь.
И снова ты пойдешь, избранный мой левитъ,
И въ мірѣ голосъ твой не даромъ прозвучитъ.
Зерно любви въ сердца глубоко западетъ:
Придетъ пора и дастъ оно роскошный плодъ.
И человѣку той поры не долго ждать,
Недолго будетъ онъ томиться и страдать.
Воскреснетъ къ жизни міръ... Смотри, ужъ правды лучъ
Прозрѣвшимъ пламенемъ сверкаетъ изъ-за тучъ!
Иди-же вѣры полнъ... И на груди моей
Ты скоро отдохнешь отъ муки и скорбей...

Вѣрный этому призванію, поэтъ объявляетъ друзьямъ, что онъ лишній на ихъ пирахъ, что «не веселитъ его разгульное похмѣлье и не кипитъ отвагой прежней кровь», что онъ только и могъ безпечно пировать и помышлять о счастіи, пока «въ ужасной наготѣ еще не предстали ему бѣдствія страны его родной, и муки братьевъ духъ еще не волновали». Въ свою очередь и на любовь поэтъ, несмотря на свои 20 лѣтъ, высказывалъ такой-же строгій взглядъ, подчиняя ее тѣмъ-же призывамъ скорбной музы. Онъ рѣшительно отвергаетъ любовь дѣвушки, не раздѣляющей его убѣжденій, говоря, что

Не въ силахъ я лгать предъ тобою,
А правда страшна для тебя...
Къ чему-же безплодной борьбою

Всечасно терзать намъ себя?
Въ кумирахъ мнѣ Бога не видѣть,
Предъ ними чела не склонить!
Мнѣ все суждено ненавидѣть,
Что́ рабски привыкла ты чтить!..

Но и въ такихъ случаяхъ, гдѣ поэтъ не встрѣчалъ подобной чуждости душъ и никакой разладъ не мѣшалъ ему любить, онъ все-таки смотрѣлъ на любовь, лишь какъ на минутный отдыхъ на тернистомъ пути, и говорилъ своей возлюбленной:

Мнѣ не дано въ удѣлъ безпечно наслаждаться,
Передо мной лежитъ тернистый, долгій путь;
И я спѣшу, дитя, тобой налюбоваться,
Хотя на мигъ душой отъ скорби отдохнуть!

Но недолго продолжался воинственно-восторженный подъемъ духа молодого поэта. Въ началѣ 1849 года Плещеевъ въ Москвѣ, куда онъ ѣздилъ по домашнимъ дѣламъ, былъ арестованъ по прикосновенности къ дѣлу Петрашевскаго и посаженъ въ Петропавловскую крѣпость. По рѣшенію военнаго суда онъ былъ приговоренъ вмѣстѣ съ другими двадцатью лицами къ разстрѣлянію, но Высочайшею конфирмаціею приговоръ былъ смягченъ, и Плещеева назначили рядовымъ въ оренбургскіе линейные батальоны съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія. Послѣ девятимѣсячнаго заключенія въ крѣпости онъ былъ 24-го декабря 1849 г. отправленъ въ Оренбургскій край, гдѣ и оставался до 1858 года. Первое время Плещеевъ служилъ въ Уральскѣ, потомъ принималъ участіе въ экспедиціи, предпринятой генералъ-адъютантомъ Перовскимъ для взятія коканской крѣпости Акмечеть, нынѣ—Перовскъ, и принималъ участіе въ штурмѣ этой крѣпости, за что́ произведенъ былъ въ унтеръ-офицеры, а въ 1856 году—въ прапорщики. Затѣмъ, прослуживъ еще годъ во фронтѣ, перешелъ въ гражданскую службу, въ оренбургскую пограничную коммисію, въ которой прослужилъ до выхода въ отставку въ 1858 году. 17-го апрѣля 1857 года ему возвращены были права потомственнаго дворянства, а годъ спустя онъ получилъ разрѣшеніе жить въ столицѣ. Это обстоятельство позволило Плещееву исполнить давнишнее желаніе—поселиться въ Москвѣ, что́ ему и удалось осуществить въ половинѣ 1859 года. Проживъ здѣсь слишкомъ одиннадцать лѣтъ, Плещеевъ въ январѣ 1872 г. переѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ вошелъ въ составъ редакціи *Отечественныхъ Записокъ*, и до самаго закрытія этого журнала въ 1884 году завѣдывалъ въ немъ стихотворнымъ отдѣломъ. Съ прекращеніемъ *Отечественныхъ Записокъ* Плещеевъ перенесъ свою дѣятельность въ *Сѣверный Вѣстникъ*, гдѣ онъ, впродолженіе издательства этого журнала г-жею Евреиновой, въ свою очередь, завѣдывалъ стихотворнымъ отдѣломъ, помѣщая въ то-же время оригинальныя и переводныя стихотворенія. Въ 1886 году былъ торжественно отпразднованъ многочисленной семьею сотоварищей, друзей и почитателей Плещеева сорокалѣтній юбилей его дѣятельности. Но и послѣ юбилея маститый поэтъ вступилъ въ пятое десятилѣтіе своего неустаннаго труда все съ тою-же бодростью и энергіею. Лишь въ послѣдніе три года передъ смертью силы начали измѣнять труженику. Но въ это время неожидано постигло его рѣдкое въ литературной средѣ счастье: въ 1890 году онъ получилъ большое, милліонное наслѣдство отъ своего дяди. Наслѣдство это помогло ему окончить жизнь свою не такъ безпомощно, какъ окан-

чиваютъ его литературные труженики, лишенные возможности работать. Онъ могъ обезпечить свое семейство; могъ пожертвовать тридцать тысячъ литературному фонду. Но самому воспользоваться неожиданно свалившимся съ неба богатствомъ ему не удалось, такъ какъ въ качествѣ милліонера ему пришлось уже не жить, а лишь угасать, борясь со старческими немощами, которыя и свели его въ могилу: 26 сентября 1893 года онъ умеръ въ Парижѣ отъ апоплексическаго удара.



А. Н. Плещеевъ.

По возвращеніи изъ ссылки Плещеевъ получилъ возможность возобновить свою литературную дѣятельность «съ робостью новичка», по выраженію Добролюбова, печатая свои стихотворенія подъ фамиліею А—П—ва. Многіе читатели узнали знакомый голосъ и радушно приняли «старыя пѣсни на новый ладъ», какъ назвалъ самъ Плещеевъ свои стихи, печатая ихъ въ *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Но въ новыхъ пѣсняхъ поэта не было уже юношескихъ порывовъ и радужныхъ мечтаній, какіе мы видѣли въ первыхъ стихотвореніяхъ Годы изгнанія и тяжкой неволи надломили юныя силы и наложили на музу поэта мрачную печать разочарованія, тоски и унынія. Первую пѣсню послѣ столь долгаго молчанія поэтъ посвятилъ друзьямъ своей юности, которыхъ онъ призывалъ нѣкогда идти впередъ подъ знаменемъ науки, и вотъ что теперь возглашаетъ онъ имъ:

Домчатся-ль къ вамъ знакомыхъ пѣсенъ звуки,
Друзья мои погибшихъ юныхъ лѣтъ?
И братскій вашъ услышу-ли привѣтъ?
Все тѣ-же-ль вы, что были до разлуки?
Быть можетъ, мнѣ иныхъ не досчитаться:
А тѣ—въ чужой, далекой сторонѣ,
Уже давно забыли обо мнѣ...
И некому на пѣсня отозваться!..
Но я—средь бурь, въ дни горя и печали,
Былъ вѣренъ вамъ, весны моей друзья,
И снова къ вамъ несется пѣснь моя,
Когда, какъ сонъ, невзгоды миновали...

Но хотя и миновали невзгоды,—невозвратно погибли дни для юности съ

ихъ жизнерадостностью и отвагою, и осталось одно скорбное раздумье о безотрадности и тщетѣ всей жизни:

Дни скорби и тревогъ, дни горькаго сомнѣнья,
Тоски болѣзненной и безотрадныхъ думъ
Когда-жъ минуютъ? возрожденья
Такъ страстно сердце ждетъ, такъ сильно жаждетъ умъ.
Не вижу я вокругъ отраднаго разсвѣта!
Повсюду ночь да ночь, куда ни бросишь взоръ.
Исчезли безъ слѣда мои младыя лѣта—
Какъ въ зимнихъ небесахъ сверкнувшій метеоръ.
Какъ мало радости онѣ мнѣ подарили,
Какъ скоро свѣтлыя разсѣялись мечты,
Морозы ранніе безжалостно побили
Безпечной юности любимые цвѣты.
И чистыхъ помысловъ, и жаркихъ упованій
На жизненномъ пути растратилъ много я;
Но средь неравныхъ битвъ, средь тяжкихъ испытаній
Что-жъ обрѣла взамѣнъ всѣхъ грезъ душа моя?
Увы! лишь тяжкое въ себѣ разувѣренье,
Да убѣжденія въ безплодности борьбы,
Да мысль, что ни одно правдивое стремленье
Ждать не должно себѣ пощады отъ судьбы.
И даже ты моимъ призывамъ измѣнила,
Друзей свободная и шумная семья!
Привѣта братскаго живительная сила
Мнѣ не врачуетъ духъ въ тревогахъ бытія...

Даже освобожденіе изъ неволи не принесло поэту живой радости, и, разставаясь съ страною изгнанья, поэтъ какъ-бы жалѣетъ о ней и неохотно удаляется на просторъ свободной жизни.

Такъ скоро, можетъ быть, покинуть долженъ я,
О степь унылая, просторъ твой необъятный;
Но, вмѣсто радости, зачѣмъ душа моя
Полна какою-то тревогой непонятной?
Жалѣю-ль я чего? Или въ краю иномъ
Грядущее сулитъ мнѣ мало утѣшенья?
И побреду я вновь знакомымъ мнѣ путемъ,
Путемъ заботъ, печалей и лишенья .. и т. д.

Сознаніе безплодности жизни, мучительныхъ укоровъ совѣсти при видѣ своей слабости, малодушія и отсутствія дѣятельнаго добра еще рельефнѣе выражается въ слѣдующемъ стихотвореніи Плещеева:

О, еслибъ знали вы, друзья моей весны,
Прекрасныхъ грезъ моихъ, порывовъ благородныхъ,—
Какой мучительной тоской отравлены,
Проходятъ дни мои въ сомнѣніяхъ безплодныхъ!
Былое предо мной какъ призракъ возстаетъ,
И тайный голосъ мнѣ твердитъ укоръ правдивый:
Чего не могъ убить суровый жизни гнетъ,
Зарылъ я въ землю самъ! Зарылъ, какъ рабъ лѣнивый!
Душѣ была дана любовь отъ Бога въ даръ,
И отличать дано добро отъ зла умѣнье;
На что же тратилъ я священный сердца жаръ?
Упорно-ль къ цѣли шелъ во имя убѣжденья?
Я заключалъ не разъ со зломъ постыдный миръ,

Я пренебрегъ труда спасительной дорогой,
Не простиралъ руки тому, кто нагъ и сиръ,
И оставался глухъ къ призывамъ правды строгой.
О больно, больно мнѣ... Скорбитъ душа моя,
Казнитъ меня палачъ неутолимый—совѣсть,
И въ книгѣ прошлаго съ стыдомъ читаю я
Погибшей безъ слѣда, безплодной жизни повѣсть.

Таковы были мотивы пѣсенъ Плещеева по возвращеніи изъ ссылки. Онъ много переводилъ впродолженіе всей своей литературной дѣятельности, и прекрасно переводилъ. Лучшіе его переводы: *Вильямъ Радклифъ* Гейне, *Работница* Шевченки (1860), рядъ переводовъ изъ Ленау, Гервега, Роберта Прутца и др. нѣмецкихъ поэтовъ (1861), *Магдалина*, драма Геббеля въ четырехъ дѣйствіяхъ (1861), *Струензе*, трагедія Михаила Бэра въ пяти дѣйствіяхъ (1876), и пр. Вторилъ онъ порою и некрасовской музѣ, пытаясь пробуждать въ русской публикѣ сочувствіе и состраданіе къ горю русскаго народа, къ скорбной участи униженныхъ и оскорбленныхъ. Но не въ этомъ во всемъ наибольшая сила его музы, а все въ тѣхъ-же субъективно-лирическихъ мотивахъ, въ которыхъ вылилось личное горе его скорбной жизни, начиная съ пѣсенъ 1858 года, затѣмъ въ сборникахъ 1861 и 1863 гг. и наконецъ въ послѣднемъ изданіи его стихотвореній 1887 года. Онъ имѣетъ нѣкоторое подобіе съ Полежаевымъ, значеніе котораго въ свою очередь заключается въ оплакиваніи печальной доли. Но горе Полежаева слишкомъ эксцентрично и узко, стихотворенія его односторонни, монотонны, блѣдны красками. Плещеевъ никогда не доходилъ до такихъ печальныхъ крайностей, до какихъ дошелъ Полежаевъ. Это—натура въ высшей степени гармоничная, гуманная, кроткая и поэтичная. А главное дѣло—Плещеевъ во сто разъ образованнѣе Полежаева. Поэтому мотивы поэзіи Полежаева остались исключительно личными, субъективными; Плещеевъ-же обобщилъ мотивы своего горя, сдѣлалъ ихъ мотивами горя всѣхъ интеллигентныхъ людей его времени.

V.

Сатирическая, шуточная, памфлетическая поэзія всегда имѣла видное мѣсто въ нашей литературѣ. Но никогда она не доходила до такого широкаго развитія, никогда такъ не наводняла прессу, какъ въ разсматриваемый нами періодъ пробужденія гласности, обличеній и ожесточеній полемики,—періодъ, который не даромъ недоброжелатели называли «эпохою свистопляски». Некрасовъ уже въ половинѣ сороковыхъ годовъ положилъ начало обличительно-сатирическому жанру куплетами въ своихъ сборникахъ. Въ пятидесятыхъ годахъ прославился въ этомъ родѣ поэтъ Кузьма Прутковъ, досуги котораго были печатаемы въ особенномъ приложеніи къ *Современнику* съ 1854 года — *Литературномъ Ералашѣ*, заведенномъ именно въ полемико-сатирическихъ цѣляхъ. Подъ вымышленнымъ именемъ Кузьмы Пруткова скрывались три поэта: Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ, братъ его Владиміръ Михайловичъ и А. К. Толстой. Алексѣй Михайловичъ Жемчужниковъ, главный и наиболѣе энергичный поставщикъ шуточныхъ стиховъ подъ этимъ псевдонимомъ, авторъ комедіи въ стихахъ *Страшная ночь* (1850 г.) и *Сумасшествіе* (1852 г.), сынъ сенатора М. Н. Жемчужникова, родился въ 1822 году. Полу-

чивъ первоначальное воспитаніе въ домѣ отца, онъ былъ отданъ на двѣнадцатомъ году въ Училище Правовѣдѣнія, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1841 году. Затѣмъ служилъ долго въ сенатѣ, а впослѣдствіи занималъ мѣсто помощника статсъ-секретаря въ Государственномъ Совѣтѣ. Въ настоящее время онъ въ отставкѣ и проживаетъ за-границей. Стихотворенія Кузьмы Пруткова, появлявшіяся въ эпоху самой крутой реакціи, когда было не до сатиры, отличаются невиннымъ юморомъ, чуждымъ политическаго характера, и вся соль ихъ заключается въ рядѣ остроумныхъ пародій на господствовавшія въ то время стихотворенія въ духѣ чистаго искусства, вѣчно воспѣвавшія то нравы древнихъ грековъ и римлянъ, то Испанію съ ея серенадами и кастаньетами.



А. М. Жемчужниковъ.

Особенно начала процвѣтать и развиваться сатирическая поэзія послѣ 1856 г., когда во всѣхъ журналахъ вслѣдъ за *Свисткомъ Современника* появились полемическіе фельетоны, возникъ цѣлый рой спеціально-сатирическихъ листковъ съ *Искрой* во главѣ и явились писатели, всю свою дѣятельность посвятившіе обличительной поэзіи. Впереди этихъ сатириковъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ первое мѣсто занимаетъ основатель русской сатирической прессы Василій Степановичъ Курочкинъ.

В. С. Курочкинъ родился 28-го іюля 1831 г. въ Петербургѣ. Призваніе къ литературѣ почувствовалъ онъ въ раннемъ дѣтствѣ. На седьмомъ году онъ самъ, безъ учителя, выучился читать, съ восьми проводилъ цѣлые дни за чтеніемъ, а десяти лѣтъ уже сочинялъ комедіи въ стихахъ, подражая всему, что̀ онъ читалъ въ этомъ родѣ въ *Библіотекѣ для Чтенія* Сенковскаго, въ *Репертуарѣ*, *Пантеонѣ* и пр. Въ 1841 г. Курочкинъ былъ опредѣленъ въ 1-й кадетскій корпусъ; въ 1846 г. былъ переведенъ въ Дворянскій полкъ, откуда въ 1848 г. былъ выпущенъ прапорщикомъ въ Гренадерскій полкъ. Не чувствуя расположенія къ службѣ, онъ однако промыкался въ ней около трехъ лѣтъ, проведя

годъ на гауптвахтѣ, куда попалъ по суду за самовольное оставленіе взвода, возвращавшагося съ парада, что было замѣчено Императоромъ Николаемъ.

Къ этому времени относится сочиненіе Курочкинымъ первой сатиры *Путешествіе хромого бѣса въ Старую Руссу*, оставшейся ненапечатанною. Затѣмъ, по приговору полевого суда онъ былъ посаженъ на мѣсяцъ въ крѣпость, послѣ чего попытался было вступить въ военную академію, но это ему не удалось, и онъ вышелъ въ отставку изъ военной службы. Не имѣя средствъ, Курочкинъ опредѣлился въ вѣдомство путей сообщенія, на жалованье въ 14 руб. въ мѣсяцъ, которымъ и довольствовался втеченіе почти двухъ лѣтъ до полученія пятидесятирублеваго мѣста.

Съ половины 1854 года стихотворенія Курочкина стали появляться въ нѣкоторыхъ мало распространенныхъ петербургскихъ журналахъ и газетахъ, но извѣстностью онъ не пользовался и лишь съ первыхъ переводовъ его изъ Беранже былъ замѣченъ, и изо всѣхъ редакцій посыпались приглашенія о сотрудничествѣ. Этотъ успѣхъ былъ понятенъ. Въ переводахъ изъ Беранже впервые талантъ Курочкина проявляется во всей величинѣ. По сродству-ли характера и духа съ знаменитымъ французскимъ поэтомъ, или-же просто по чуткости и богатству таланта, Курочкинъ словно воплотился въ Беранже, пережилъ каждую изъ переведенныхъ имъ пѣсенъ всѣмъ своимъ существомъ, сдѣлалъ Беранже какъ-бы русскимъ народнымъ поэтомъ. Словомъ, онъ переводилъ Беранже, какъ Крыловъ Лафонтена: читая басню Крылова, вы забываете Лафонтена; такъ и читая пѣсни Беранже въ переводѣ Курочкина—забываете Беранже и видите передъ собою В. С. Курочкина. Нѣтъ ничего удивительнаго, что изданіе переводовъ Беранже В. С. Курочкина выдержало втеченіе пятишести лѣтъ пять изданій, одно изъ которыхъ—именно пятое—появилось въ 1864 г., съ приложеніемъ двѣнадцати гравюръ, сдѣланныхъ по рисункамъ Бойе.

В. С. Курочкинъ былъ вполнѣ дѣтищемъ шестидесятыхъ годовъ и однимъ изъ самыхъ типическихъ представителей эпохи. Обладая сангвиническимъ темпераментомъ, художественнымъ, тонко-развитымъ вкусомъ, блестящимъ остроуміемъ и нѣжнымъ, любящимъ сердцемъ, онъ былъ горячимъ энтузіастомъ во всѣхъ передовыхъ идеяхъ своего времени. Авторитеты Бѣлинскаго, Добролюбова и прочихъ дѣятелей предыдущей и современной эпохъ онъ чтилъ до конца дней своихъ и съ неподкупнымъ рыцарствомъ весь отдавался служенію ихъ идеямъ. Для него не существовало другихъ интересовъ, кромѣ литературно-общественныхъ. Въ то-же время въ практической жизни это было дитя, блуждающее въ лѣсу. Не говоря о какихъ-либо своекорыстныхъ заботахъ и разсчетахъ, онъ и въ дѣлѣ общественнаго служенія не помышлялъ о завтрашнемъ днѣ и, какъ истинный сынъ вѣка жилъ увлеченіемъ сегодняшняго протеста. Это была чистая, прозрачная душа, чуждая какой-либо раздвоенности или затаенности; у Курочкина не было ничего на душѣ, чего не было бы на языкѣ. Если онъ бывалъ кѣмъ-либо недоволенъ, онъ объявлялъ объ этомъ громко, во всеуслышаніе, не стѣсняясь выраженіями. Особенно строгъ онъ былъ къ людямъ близкимъ или одного лагеря. Малѣйшее подозрѣніе ихъ въ измѣнѣ знамени онъ принималъ весьма близко къ сердцу, скорбѣлъ, какъ мать о больномъ ребенкѣ, и болѣзненно выходилъ изъ себя, если подозрѣнія его оправдывались. Этимъ онъ нажилъ много враговъ, которые злословили его и мстили ему всю жизнь.

Этого-то безкорыстнаго энтузіаста прогрессивныхъ идей и ребенка въ

практикѣ жизни волна движенія шестидесятыхъ годовъ подняла вверхъ въ качествѣ создателя сатирической прессы. Изданіе *Искры* было задумано имъ въ 1856 г.; 1-й номеръ долженъ былъ выйти еще въ 1857 г., а вышелъ лишь 1-го января 1859 г., подъ редакціею Курочкина и Н. С. Степанова, извѣстнаго каррикатуриста.

Не прошло двухъ-трехъ лѣтъ послѣ начала изданія, какъ *Искра* была въ числѣ первыхъ органовъ прессы въ Россіи. Она расходилась по всѣмъ городамъ; число подписчиковъ въ счастливые годы у *Искры* насчитывалось болѣе 10,000; кромѣ того при каждомъ обличеніи провинціальнаго скандала массы экземпляровъ выписывались городомъ, въ которомъ происходилъ скандалъ. *Искра* сдѣлалась грозою для всѣхъ, у кого была не чиста совѣсть,—и попасть въ *Искру*, упечь въ *Искру* были самыми обыденными выраженіями въ жизни шестидесятыхъ годовъ. Не было ни одного крупнаго или мелкаго безобразія общественной или литературной жизни, которое не имѣло бы мѣста на страницахъ *Искры*, въ игривыхъ, полныхъ необузданнаго остроумія куплетахъ, пародіяхъ или въ прозѣ, исполненной убійственныхъ сарказмовъ; не существовало такой пошлости, которая не была-бы представлена во всемъ безобразіи, и не было такого подлеца, который не увидѣлъ бы въ одинъ прекрасный день своей физіономіи въ ряду каррикатуръ *Искры* съ полною подписью всѣхъ нравственныхъ качествъ. Самыя талантливыя, остроумныя и безпощадно злыя строки въ газетѣ принадлежали самому издателю, который трудился неутомимо, писалъ куплеты, пародіи, передовыя и обличительныя статьи, изобрѣталъ каррикатуры для исполненія художниками. Это была дѣятельность изумительная по своей плодовитости. Довольно сказать, что изъ 700 слишкомъ нумеровъ, составляющихъ полное изданіе *Искры* за все время ея существованія, едва-ли найдется одинъ, въ которомъ не было-бы помѣщено его передовой или обличительной статьи, оригинальнаго или переводнаго стихотворенія.

Въ началѣ 1864 года изданіе и редакція *Искры* перешли въ исключительное завѣдываніе Курочкина, такъ какъ Степановъ съ этого года началъ издавать свой особенный сатирическій журналъ *Будильникъ*, перенесенный имъ впослѣдствіи въ Москву.

Но не могло долго просуществовать изданіе, подымавшее на смѣхъ всѣхъ и каждаго и никому не дававшее покоя. Едва начался отливъ движенія шестидесятыхъ годовъ и волны его покатились вспять, понесли они по своему обратному теченію и злосчастную *Искру*.

Уже среди шестидесятыхъ годовъ она начала слабѣть, хилѣть, блѣднѣть, но виною этого было не ослабленіе энергіи издателя. Нельзя-же было пѣть однимъ тономъ объ одномъ и томъ-же. Предметы, обличеніе которыхъ занимало публику въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, во вторую половину пріѣлись. Публика ждала обличеній новыхъ сторонъ жизни, но и въ прежнемъ кругѣ обличеній едва можно было держаться. Тонъ *Искры* спадалъ; вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшался и интересъ къ ней публики, уменьшалось число и подписчиковъ. Съ перерывами, вынуждаемыми денежными, цензурными и прочими затрудненіями, при содѣйствіи разныхъ болѣе или менѣе ненадежныхъ издателей, *Искра* могла просуществовать едва-едва до 1873 года, когда волны неудачъ окончательно потопили ее.

Положеніе Курочкина по прекращеніи *Искры* было по-истинѣ трагическое. Оставшись безъ всякихъ средствъ къ жизни, онъ въ то-же время схоронилъ

въ любимомъ журналѣ все, чѣмъ жила душа его. При его талантѣ, трудолюбіи и почетномъ имени ему ничего не стоило зарабатывать столько, чтобы жить безбѣдно со своимъ семействомъ; но каково было человѣку, привыкшему стоять во главѣ изданія полновластнымъ хозяиномъ кровнаго дѣла, пресмыкаться по чужимъ редакціямъ, подчиняясь изъ-за куска хлѣба чуждымъ условіямъ и требованіямъ! При такихъ обстоятельствахъ онъ не могъ протянуть болѣе двухъ лѣтъ, причемъ замѣтно хирѣлъ, и въ глазахъ его очень часто горѣлъ огонь мрачнаго отчаянія. Умеръ впрочемъ онъ случайно 15-го августа 1875 года: при леченіи отъ остраго ревматизма, пріобрѣтеннаго на дачѣ въ 3-мъ Парголовѣ, по ошибкѣ ему было сдѣлано подкожное впрыскиванье такой дозы морфія, какой было достаточно, чтобы уснуть на вѣки. Похоронили его на Волковѣ, недалеко отъ могилъ Бѣлинскаго, Добролюбова и пр.



В. С. Курочкинъ.

Кромѣ Беранже, изъ котораго Курочкинъ перевелъ до ста пьесъ, онъ переводилъ изъ Мольера *(Мизантропъ)*, Вольтера *(Макаръ и Телэма)*, Альфреда де-Виньи *(Смерть волка* и *Гнѣвъ Самсона)*, Альфреда де Мюссе *(Ночи. Ива, Пѣснь Фортунію)*, Виктора Гюго *(Грозный годъ* и др.*)*, Барбье *(Бэдламъ, Всемірная сила* и др.*)*, Грессе *(Попугай)*, изъ Надо, Борнса, Шиллера и пр. Замѣчательны также его передѣлки для русской сцены двухъ извѣстныхъ оперетокъ: *Фаустъ наизнанку* и *Дочь рынка*.

Однимъ изъ самыхъ талантливыхъ и пользовавшихся наибольшею извѣстностью сподвижниковъ В. С. Курочкина на поприщѣ легкой сатиры и въ качествѣ постояннаго сотрудника *Искры* является Дмитрій Дмитріевичъ Минаевъ.

Д. Д. Минаевъ родился 21-го октября 1835 года въ Симбирскѣ. Отецъ его, Дмитрій Ивановичъ Минаевъ, былъ тоже поэтъ, извѣстный переводчикъ *Слова о полку Игоря*. Д. Д. Минаевъ учился въ Дворянскомъ полку, по окончаніи курса въ которомъ служилъ въ симбирской казенной палатѣ, а затѣмъ въ Петербургѣ—по министерству внутреннихъ дѣлъ, въ земскомъ отдѣлѣ по крестьян-

скому вопросу. Выйдя въ 1857 году въ отставку, онъ посвятилъ себя исключительно литературной дѣятельности. Съ 1858 года стихи его начали появляться во всѣхъ повременныхъ изданіяхъ, особенно въ *Искрѣ*, гдѣ онъ подвизался подъ псевдонимами Обличительный поэтъ, Темный человѣкъ, Михаилъ Бурбоновъ, Дм. Свіяжскій, Литературное Домино и пр. Съ 1860 г. онъ много занимался переводами съ французскаго и даже англійскаго, переводилъ поэмы Байрона (*Донъ-Жуанъ*, *Чайльдъ-Гарольдъ*, *Беппо*, *Манфредъ и Каинъ*); но



Д. Д. Минаевъ.

такъ какъ онъ зналъ языки плохо и переводилъ на стихи подстрочные переводы другихъ лицъ, на подобіе какъ Жуковскій—«Одиссею», то вѣрность и близость его переводовъ къ подлинникамъ подвержены сомнѣніямъ.

Это былъ талантъ не столько поэтическій, сколько стихотворный въ спеціальномъ смыслѣ этого слова. Стихомъ онъ владѣлъ въ совершенствѣ и даръ стихосложенія доходилъ у него до импровизаціи, причемъ онъ прославился богатѣйшими риѳмами, которыми онъ приводилъ въ изумленіе своихъ современниковъ; не было такого слова и сочетанія звуковъ въ русскомъ языкѣ, къ которымъ онъ не прибралъ-бы созвучія.

Произведенія его мало-мальски серьезнаго содержанія не отличаются ни

глубиною, ни силою (напр. удостоившаяся уваровской преміи и напечатанная въ *Вѣстникѣ Европы* 1874 года комедія *Спѣтая пѣсня*); но за-то въ шуточныхъ стихотвореніяхъ, пародіяхъ, обличеніяхъ, эпиграммахъ—онъ былъ неподражаемъ по остроумію, хотя легкому, поверхностному, но тѣмъ не менѣе порою очень мѣткому.

Умеръ онъ 10-го іюня 1889 года, 54-хъ лѣтъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

I. Школа поэтовъ чистаго искусства. Алексѣй Константиновичъ Толстой. Факты его жизни. — II. Характеристика его произведеній. — III. Аполлонъ Николаевичъ Майковъ.— IV. Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншинъ (Фетъ).— V. Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ. Яковъ Петровичъ Полонскій. — VI. Левъ Александровичъ Мей. Николай Ѳедоровичъ Щербина.— VII. Поэты-переводчики: Николай Васильевичъ Гербель. Петръ Исаевичъ Вейнбергъ. Михаилъ Илларіоновичъ Михайловъ.

I.

Между тѣмъ какъ поэзія, созданная разсматриваемою нами эпохою, отражала горе народное или выражала хандру и покаяніе дворянскія,—сороковые годы завѣщали намъ особенную школу поэтовъ чистаго искусства, имѣющую въ своихъ рядахъ нѣсколько недюжинныхъ талантовъ, но къ сожалѣнію представлявшую собою пустоцвѣтъ. Поэты этой школы считали себя прямыми послѣдователями Пушкина, претендовали на то, что они одни только являются вѣрными хранителями пушкинскихъ традицій. Но въ этомъ они жестоко ошибались. Пушкинъ хотя и завѣщалъ имъ въ извѣстномъ своемъ стихотвореніи «Подите прочь, какое дѣло»—заповѣдь чистаго искусства, но самъ въ своей поэзіи былъ поэтомъ, черпавшимъ свои прекрасные образы непосредственно изъ жизни. Поэты-же сороковыхъ годовъ, понявъ въ буквальномъ смыслѣ, что они рождены «не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ, а для вдохновенья, для звуковъ сладкихъ и молитвъ», замкнулись въ эстетическія созерцанія прекрасныхъ образовъ классическаго искусства древнѣйшихъ и новѣйшихъ временъ, причемъ изолировались не отъ однѣхъ только злобъ дня и такъ-называемыхъ «гражданскихъ мотивовъ», но и отъ жизни вообще, въ обширномъ смыслѣ этого слова. Путемъ замкнутости въ эстетическихъ созерцаніяхъ они создали поэзію отвлеченную, кабинетную, искусственно-галантерейную, изысканно-риторичную. Главный недостатокъ этой поэзіи заключается въ ея безличности, отсутствіи такихъ красокъ, колорита, звуковъ, мотивовъ, въ которыхъ выражался бы своеобразный букетъ русской народности и жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэты этой школы страдаютъ отсутствіемъ и индивидуальности: все различіе ихъ одного отъ другого заключается лишь въ томъ, что одни эпичнѣе и объективнѣе, другіе—субъективнѣе и лиричнѣе, третьи имѣютъ пристрастіе къ изображеніямъ изъ древне-классической жизни, четвертые предпочитаютъ воспѣвать любовь и пр. Но тщетно вы будете искать въ ихъ поэзіи рѣзко выраженныхъ чертъ ихъ духовныхъ физіономій.

Они всѣ сливаются въ одинъ безразличный хаосъ изысканно стереотип-

ныхъ образовъ и звуковъ. Поэзія ихъ имѣетъ совершенно такой-же искусственно-школьный, отвлеченный характеръ, какой имѣла академическая живопись, черпавшая свое содержаніе не прямо изъ жизни, а изъ такъ называемыхъ «великихъ образцовъ», полагая всю суть искусства въ подражаніи имъ.

Во главѣ этой школы слѣдуетъ поставить графа Алексѣя Константиновича Толстого. Онъ родился 24-го августа 1817 года въ Петербургѣ, но шестинедѣльнымъ увезли его въ Малороссію мать его и дядя съ материнской стороны, Алексѣй Перовскій, человѣкъ образованный, большой любитель изящныхъ искусствъ, принимавшій участіе въ литературѣ и извѣстный въ ней подъ псевдонимомъ Антона Погорѣльскаго. Проведя въ имѣніи родителей первыя восемь лѣтъ жизни, А. Толстой имѣлъ полное право считать своею родиною Малороссію. Дѣтство его прошло счастливо и оставило въ немъ одни свѣтлыя воспоминанія. Нѣжными попеченіями родителей онъ былъ огражденъ отъ непріятныхъ столкновеній и шероховатостей жизни, росъ въ полномъ одиночествѣ среди изящной обстановки и роскоши малороссійской природы, и при такихъ условіяхъ въ немъ рано развилась мечтательность, и воображеніе его начало создавать самыя причудливыя и фантастическія грезы.

«Съ шестилѣтняго возраста,—говоритъ гр. Толстой въ своей автобіографіи,—началъ я марать бумагу и писать стихи,—такъ было поражено мое воображеніе произведеніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною въ какомъ-то толстомъ сборникѣ, дурно напечатанномъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную обертку. Видъ этой книги, отпечатавшейся въ моей памяти, заставлялъ биться сердце всякій разъ, когда она мнѣ снова попадалась на глаза. Я таскалъ ее, бывало, съ собою всюду и прятался въ саду или въ лѣсу, чтобы, лежа подъ деревьями, изучать ее часами. Скоро я зналъ ее наизусть, я упивался музыкою разнообразныхъ романсовъ и усвоилъ себѣ ихъ технику; какъ ни были неполны мои первые опыты, я долженъ однако сказать, что въ метрическомъ отношеніи они были безупречны».

При такихъ условіяхъ въ мальчикѣ очень рано начало обнаруживаться поэтическое призваніе.

Когда ему было восемь или девять лѣтъ, его повезли въ Петербургъ, гдѣ онъ былъ представленъ ко двору и допущенъ въ число дѣтей, составляющихъ воскресное общество Цесаревича (покойнаго Императора Александра Николаевича). Съ слѣдующаго-же года начинаются странствія его съ родителями за-границей, имѣвшія большое вліяніе на эстетическое развитіе его и углубленіе въ міръ прекрасныхъ образовъ искусства. Первое путешествіе было совершено въ Германію. Въ Веймарѣ дядя свелъ его къ Гёте, къ которому мальчикъ проникся величайшимъ почтеніемъ за манеру, съ которою онъ говорилъ. Отъ этого посѣщенія у Толстого сохранились въ памяти величественныя черты Гёте, и что онъ сидѣлъ у него на колѣняхъ.

Мальчику было 13 лѣтъ, когда впервые онъ посѣтилъ съ родными Италію. «Невозможно, — говоритъ онъ въ своей автобіографіи, — изобразить силы моихъ впечатлѣній и переворота, совершившагося въ моей душѣ, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища, о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія прежде, нежели встрѣтился съ ними». Они пріѣхали первымъ дѣломъ въ Венецію, гдѣ дядя его сдѣлалъ большія покупки въ старомъ дворцѣ Гримани. Между прочимъ былъ купленъ бюстъ молодого Фавна, великолѣпный экземпляръ, приписываемый Микель-Анджело. Когда статую перенесли въ ихъ отель, мальчикъ не отходилъ отъ нея, и воображеніе его мучилось нелѣпыми страхами. Онъ задавалъ себѣ вопросъ, что ему дѣлать, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, можетъ-ли унести статую въ своихъ рукахъ. Изъ Ве-

неціи они отправились въ Миланъ, Флоренцію, Римъ и Неаполь. При каждомъ посѣщеніи восторгъ и любовь къ искусству возрастали въ юношѣ. Дѣло дошло до того, что по возвращеніи въ Россію онъ впалъ въ тоску по Италіи, доходившую до отчаянія, которое заставляло его днемъ отказываться отъ пищи, а ночью рыдать; сны заносили его въ потерянный рай.

Изъ всего этого мы можемъ судить, что воспитаніе Толстого систематично было направлено къ тому, чтобы отвлечь его отъ непосредственныхъ отношеній къ живой дѣйствительности и поселить его въ отвлеченно-мечтательный міръ прекрасныхъ грезъ. Онъ по всей справедливости могъ къ себѣ отнести слѣдующіе стихи повѣсти его *Портретъ*:

> Дѣйствительность, напротивъ, мнѣ была
> Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна;
> Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
> Все въ той-же прозѣ движась безпрерывно,
> Все, что зовутъ серьезныя дѣла,—
> Я ненавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно...

Въ то-же время жизнь Толстого отличалась крайней бѣдностью событій Семнадцати лѣтъ выдержалъ онъ выпускной экзаменъ въ Московскомъ университетѣ. Въ 1836 году, по желанію матери, былъ прикомандированъ къ русскому посольству при нѣмецкомъ сеймѣ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ; позже поступилъ во II отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи. Въ 1855 году онъ записался въ число охотниковъ, образовавшихъ стрѣлковый полкъ Императорской фамиліи, съ тѣмъ, чтобы отправиться въ крымскую кампанію. Но полкъ не имѣлъ случая быть въ дѣлѣ и достигъ только Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человѣкъ отъ тифа, полученнаго также и Толстымъ. Тотчасъ по заключеніи мира онъ вышелъ въ отставку и въ 1857 г. вступилъ въ должность егермейстера Двора Его Величества, которую занималъ до смерти. Послѣдніе два года жизни Толстой провелъ по большей части въ странствованіяхъ заграницей, преимущественно по разнымъ минеральнымъ водамъ Германіи, въ надеждѣ на исцѣленіе отъ снѣдавшаго его недуга. Воротившись въ Россію, онъ, нигдѣ не останавливаясь, прямо проѣхалъ въ свое любимое черниговское имѣніе, Красный Рогъ, близъ города Почепа, гдѣ скончался 28-го сентября 1875 года вечеромъ, на пятьдесятъ девятомъ году жизни.

II.

Дебютировалъ Толстой въ 1842 году нѣсколькими разсказами въ прозѣ. Въ 1855 году онъ отдалъ въ первый разъ свои лирическія и эпическія стихотворенія въ различные журналы, а позже помѣщалъ ихъ ежегодно въ *Вѣстникѣ Европы* или *Русскомъ Вѣстникѣ*.

Въ произведеніяхъ гр. А. Толстого, при всей ихъ внѣшней красотѣ и живописной пластикѣ, напрасно вы будете искать такихъ особенностей, которыя рѣзко выдѣляли-бы этого поэта и составляли-бы его физіономію. Онъ напоминаетъ собою Жуковскаго въ томъ отношеніи, что самыми лучшими его произведеніями являются навѣянныя иностранными или русскими поэтами: таковы напримѣръ стихотворенія, навѣянныя Лермонтовымъ: *Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ*, *Въ совѣсти искалъ я долго обвиненья*, *Въ странѣ,*

незримой нашимъ взорамъ, Горними тихо летѣла душа небесами. Другія напоминаютъ Гейне: *Змѣя, что по скаламъ влечетъ свои извивы*, и многіе крымскіе очерки, напримѣръ: *Вы все любуетесь на скалы*, или *Какъ чудесно хороши вы, южной ночи красоты.* Драматическая поэма *Донъ-Жуанъ* очевидно внушена изученіемъ *Фауста* Гёте, а *Драконъ*, итальянскій разсказъ XII вѣка, носитъ на себѣ несомнѣнные слѣды изученія Данте.

Къ числу подобныхъ-же подражательныхъ стихотвореній Толстого слѣдуетъ причислить и всѣ поддѣлки его подъ народныя пѣсни и былины, вродѣ *Ходитъ спѣсь надуваючись, Кабы знала я, кабы вѣдала, Колокольчики мои, цвѣтики степные, Не Божьимъ громомъ горе ударило, Алеша Поповичъ, Илья Муромецъ, Садко, Змѣй Тугаринъ* и пр. Онѣ красивы, какъ и все написанное Толстымъ, но въ нихъ и слѣда не найдете искренняго, неподдѣльнаго чувства, живой горячей страсти, вдохновенія, однимъ словомъ—того, что составляетъ прелесть и силу истинной и естественной поэзіи. Напротивъ того, отъ нихъ такъ и вѣетъ холодомъ искусственнаго вымысла, тяжелыми усиліями кропотливой художественной отдѣлки. Но стихотворенія, навѣянныя разными поэтами и написанныя въ духѣ различныхъ народностей, представляются все-таки лучшими и наиболѣе удачными; въ нихъ отражалась по крайней мѣрѣ та поэзія, подъ вліяніемъ которой онъ создавалъ. Что-же касается до вполнѣ самостоятельныхъ произведеній, то всѣ они безхарактерны, безжизненны и риторичны. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе вотъ на какое характерное явленіе. Гр. А. Толстой былъ большой любитель природы, особенно малороссійской, среди которой провелъ всю жизнь. Въ одномъ мѣстѣ автобіографіи онъ связываетъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ, говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской жизни, чтобы проводить недѣли въ лѣсахъ, иногда съ товарищами, по обыкновенію въ одиночку. Онъ замѣчаетъ при этомъ, что обязанъ этой жизни охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегда писана въ мажорномъ тонѣ, между тѣмъ какъ соотечественники его поютъ по большей части въ минорномъ, и что любовь его къ нашей дикой природѣ отразилась въ его поэзіи почти столько-же, какъ и чувство пластической красоты.



А. К. Толстой.

*

Дѣйствительно, въ своихъ стихотвореніяхъ А. Толстой очень часто обращается къ природѣ и отличается щедростью въ описаніяхъ ея красотъ. Но всѣ эти описанія составляютъ самую слабую сторону его стихотвореній. Читая ихъ, вы не чувствуете обаянія природы, какимъ проникнуты лучшія произведенія нашей литературы въ этомъ родѣ. Изъ описаній А. Толстого вы не въ силахъ бываете представить себѣ даже того ландшафта, о которомъ идетъ рѣчь. Передъ вами не живыя, художественныя картины, а перечень предметовъ въ-разсыпную, причемъ воображенію вашему предоставляется самому слагать эти предметы во что-либо цѣльное и связное. Такъ напримѣръ, казалось-бы, какой-же природѣ какъ не малороссійской слѣдовало-бы отражаться въ произведеніяхъ гр. А. Толстого. А между тѣмъ именно ея-то вы у него и не найдете, точно будто онъ никогда не жилъ въ Малороссіи, а лишь проѣзжалъ и видѣлъ ее мелькомъ изъ оконъ вагона. Для доказательства прочтите напримѣръ стихотвореніе *Ты знаешь край*. Что здѣсь воспѣвается Малороссія, можно судить лишь по тому, что упоминаются названія, относящіяся къ этой странѣ, вродѣ паробковъ, Маруси, Грицко, чубовъ, казачекъ или историческія имена вродѣ Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго. Что-же касается колорита и характерныхъ особенностей мѣстности, ея быта и нравовъ, то вмѣсто всего этого вы найдете рядъ общихъ, стереотипныхъ чертъ, могущихъ относиться къ какой угодно мѣстности Европы, лежащей подъ одною широтой съ Малороссіей.

Но писатель, бѣдный живыми и яркими образами, можетъ быть богатъ внутреннею жизнью, можетъ отразить въ своихъ произведеніяхъ въ условныхъ символическихъ образахъ рядъ любопытныхъ и поучительныхъ психическихъ явленій или философскихъ идей. Но и этого мы не можемъ сказать о Толстомъ. По міросозерцанію онъ стоитъ въ уровнѣ великосвѣтскаго кружка, которому принадлежалъ. Убѣжденія его поражаютъ васъ узостью формальнаго піэтизма, давящаго васъ, словно низенькій потолокъ надъ головой. Въ мистицизмѣ этомъ вы видите полное отсутствіе самостоятельной мысли. Это не тотъ мистицизмъ, который создаетъ образы, хотя и дико-фантастическіе, но не лишенные своеобразной прелести, а тотъ, который, ради подобострастной вѣрности традиціямъ, лишаетъ иные образы присущей имъ поэтичности, если поэтичность эта какъ-либо не согласуется съ буквою догмата. Это мы можемъ наглядно видѣть въ драматической поэмѣ А. Толстого *Донъ-Жуанъ*, въ которой поэтъ превратилъ обольстительнаго своимъ дерзкимъ протестомъ Донъ-Жуана въ сентиментальнаго святошу, слезно оплакивающаго грѣхи молодости въ севильскомъ монастырѣ при набожныхъ хорахъ монаховъ.

О дѣятельности гр. Толстого въ области исторической драматургіи и беллетристики мы имѣли уже случай говорить въ соотвѣтствующихъ главахъ.

III.

Аполлонъ Николаевичъ Майковъ, правнукъ Василія Майкова, автора *Елисѣя*, былъ сынъ извѣстнаго художника Ник. Аполл. Майкова; родился 23-го мая 1821 г. въ Москвѣ. Дѣтство провелъ въ подмосковной усадьбѣ отца, близъ Троицко-Сергіевской лавры. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ отецъ Майкова переѣхалъ съ семействомъ въ Петербургъ. Здѣсь Майковъ началъ учиться

подъ руководствомъ дяди, занимавшагося приготовленіемъ молодыхъ людей въ военно-учебныя заведенія, причемъ особенные успѣхи оказывалъ въ математикѣ. Болѣе-же всего своимъ образованіемъ Майковъ былъ обязанъ вліянію друга отца его, Солоницына, соредактора Сенковскаго по изданію *Библіотеки для Чтенія*. У него была обширная библіотека, доставившая возможность какъ Аполлону, такъ и Валеріану Майковымъ познакомиться съ капитальнѣйшими произведеніями русскихъ и западныхъ классиковъ, новѣйшихъ и древнихъ. Домъ родителей Майкова представлялъ открытый литературный салонъ, куда стекались всѣ знаменитости того времени Словесность преподавалъ будущему поэту И. А. Гончаровъ, въ то время только-что вышедшій изъ университета молодой кандидатъ. Въ 1836 г. Майковъ поступилъ въ университетъ на юридическій факультетъ. Но хотя въ это время онъ писалъ уже стихи (первое стихотвореніе его *Разочарованіе* было написано 14 лѣтъ) и издавалъ домашніе рукописные журналы подъ руководствомъ Гончарова, онъ смотрѣлъ на свои литературныя занятія, какъ на нѣчто второстепенное. Наиболѣе-же увлекался живописью, ободренный успѣхомъ одной изъ своихъ картинъ, — Распятія, — купленной въ устраивавшуюся тогда католическую капеллу для бракосочетанія В. Кн. Маріи Николаевны. Онъ и по окончаніи курса въ университетѣ продолжалъ мечтать посвятить себя живописи, и лишь близорукость и слабость зрѣнія понудили его отказаться отъ этой мысли, а успѣхъ нѣкоторыхъ изъ первыхъ стихотвореній, обратившихъ на себя вниманіе профессоровъ Плетнева и Никитенко, увлекъ его окончательно на литературное поприще. Первыя стихотворенія его въ печати появились въ 1838 году, а въ 1841 году вышло первое изданіе его стихотвореній, встрѣченное обширною и обстоятельною статьею Бѣлинскаго, признавшаго въ Майковѣ «дарованіе неподдѣльное, замѣчательное и обѣщающее въ будущемъ». Но восторгъ Бѣлинскаго быстро охладѣлъ, и уже въ литературномъ обозрѣніи за 1842 годъ, упоминая о томъ-же изданіи и признавая, что антологическія стихотворенія А. Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, но едва-ли не превосходятъ ихъ. Бѣлинскій въ то-же



А. Н. Майковъ.

время оговаривается, что было-бы жаль, если-бы только на этомъ остановился Майковъ, что исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко не вполнѣ понятому), безъ всякаго живого, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣлать великимъ или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени; всѣ-же неантологическія стихотворенія поэта пока не обѣщаютъ въ будущемъ ничего особеннаго.

Когда появился этотъ пророческій приговоръ Бѣлинскаго, Майковъ, по окончаніи университетскаго курса со степенью кандидата, путешествовалъ за-границей, восторгался Римомъ и его памятниками искусства, слушалъ лекціи Сорбоны и Collége de France, увлекался славянскимъ вопросомъ въ Прагѣ, познакомившись съ Ганкою.

По выходѣ изъ университета онъ опредѣлился въ департаментъ государственнаго казначейства, въ которомъ прослужилъ не долго, послѣ чего получилъ мѣсто библіотекаря въ Румянцевскомъ музеѣ, которое занималъ до перенесенія музея въ Москву. Наконецъ перешелъ въ комитетъ иностранной цензуры, въ которомъ служитъ и по настоящее время.

Литературную дѣятельность А. Майкова можно раздѣлить на три періода. Къ первому періоду принадлежатъ стихотворенія его сороковыхъ годовъ и начала пятидесятыхъ. Въ этомъ періодѣ, согласно съ опредѣленіемъ Бѣлинскаго, преобладали стихотворенія антологическія, по большей части изъ древняго міра. Въ это время была задумана Майковымъ драматическая поэма *Два міра*, изображающая столкновеніе язычества и христіанства въ эпоху паденія Рима. Поэму эту онъ писалъ всю жизнь съ перерывами; прологъ ея, подъ заглавіемъ *Три смерти*, былъ написанъ имъ съ 1841 по 1852 годъ, а напечатанъ въ 1857 году въ *Библіотекѣ для Чтенія*; въ цѣломъ-же видѣ поэма была окончена лишь въ 1872 году. Къ этому-же періоду относятся: поэма *Двѣ судьбы* (1845 г.), *Очерки Рима* (1847 г.), *Анакреонъ*, *Алкивіадъ* и проч.

Второй періодъ можно считать съ 1855 года и простирается онъ до половины шестидесятыхъ годовъ. Это было время полнаго расцвѣта таланта Майкова, когда, подъ вліяніемъ движенія шестидесятыхъ годовъ и общаго одушевленія, и онъ въ свою очередь вышелъ изъ антологическаго анахоретства и началъ увлекаться живыми вопросами времени. Къ этому періоду относятся лучшія его произведенія: *Клермонтскій соборъ*, *Савонаролла*, *Дурочка Дуня*, *Послѣдніе язычники*, *Поля*, *Картинка*, *Нива*, масса прекрасныхъ переводовъ изъ Гейне и проч.

Съ паденіемъ прогрессивной волны и съ наступленіемъ реакціи обратилась вспять и податливая муза Майкова, и послѣднія двадцать пять лѣтъ дѣятельности его представляютъ печальное паденіе таланта. Онъ проникся мистицизмомъ, славянофильскими тенденціями школы почвенниковъ и сдѣлался жрецомъ того фанатическаго обскурантизма, который гнѣздился въ семидесятые и восьмидесятые годы вокругъ *Русскаго Вѣстника*, гдѣ преимущественно и появлялись произведенія Майкова этого періода. Вмѣстѣ съ тѣмъ поэтическій талантъ Майкова началъ замѣтно увядать съ каждымъ годомъ, и если прежде при всей изысканной галантерейности и риторичности, свойственной этой школѣ, встрѣчались въ лучшихъ произведеніяхъ его проблески истинной поэзіи, то послѣднія произведенія не представляютъ собою ничего болѣе, какъ оффиціальное риѳмоплетство на какіе угодно торжественные случаи.

IV.

Аѳанасій Аѳанасьевичъ Шеншинъ (Фетъ) родился 22-го ноября 1820 г. въ имѣніи отца Аѳанасья Неофитовича, сельцѣ Новоселкахъ, Мценскаго уѣзда, Орловской губерніи. Получивъ первоначальное образованіе дома, онъ на четырнадцатомъ году поступилъ въ учебное заведеніе Крюмера въ городѣ Верро (Лифляндской губ.), гдѣ и оставался около четырехъ лѣтъ. Семнадцати лѣтъ онъ перешелъ въ Москву, въ частный пансіонъ М. П. Погодина, а оттуда — въ Московскій университетъ, сначала на юридическій, а затѣмъ на словесный факультетъ. При поступленіи Фета въ университетъ встрѣтились неожиданныя затрудненія въ представленіи документовъ, вслѣдствіе чего при подачѣ прошенія онъ принялъ имя своей матери, по первому браку — Фетъ, съ которымъ выступилъ въ свѣтъ и которое утвердилось за нимъ навсегда въ литературѣ. Впослѣдствіи, именно въ 1875 г., по представленіи необходимыхъ документовъ, за Фетомъ Высочайшимъ указомъ была утверждена родовая фамилія его — Шеншинъ.



А. А. Фетъ (Шеншинъ).

Въ 1844 году, по окончаніи курса, Фетъ поступилъ юнкеромъ въ орденскій Кирасирскій полкъ, стоявшій тогда въ одномъ изъ округовъ херсонскаго военнаго поселенія. Прослуживъ въ полку около девяти лѣтъ, онъ перешелъ въ лейбъ-гвардіи Уланскій Его Величества полкъ, съ которымъ сдѣлалъ походъ къ западнымъ границамъ Россіи. Въ 1856 году, по заключеніи мира, вышелъ въ отставку и, будучи за-границей, въ Парижѣ женился на сестрѣ извѣстнаго врача С. П. Боткина, Марьѣ Петровнѣ.

Литературная дѣятельность Фета началась въ 1840 году, когда ему не было девятнадцати лѣтъ, выпускомъ въ свѣтъ небольшого сборника стихотвореній, подъ заглавіемъ *Лирическій Пантеонъ. А. Ф.* Эти первые опыты были встрѣчены сочувственно критикой, и у юнаго поэта было признано присутствіе несомнѣннаго дарованія.

Поступленіе въ 1840 году въ университетъ на время остановило поэтическіе опыты Фета. Только начиная съ 1842 года, въ *Москвитянинѣ* и затѣмъ въ *Отечественныхъ Запискахъ* стали появляться его стихотворенія, сначала по

нѣскольку разъ въ годъ, а потомъ—почти ежемѣсячно. Въ *Москвитянинѣ* стихотворенія Фета печатались до конца сороковыхъ годовъ. Въ началѣ 1850 года въ Москвѣ вышло новое изданіе стихотвореній Фета, вызвавшее одобрительные отзывы критики.

Переселившись въ Петербургъ съ переходомъ въ гвардію, Фетъ началъ помѣщать свои стихотворенія въ *Современникѣ* и *Отечественныхъ Запискахъ*. Въ 1860 году онъ поселился въ деревнѣ, въ Орловской губерніи, Мценскомъ уѣздѣ, на хуторѣ Степановка, и посвятилъ себя сельскому хозяйству. 1863 годъ ознаменовался для Фета появленіемъ собранія его стихотвореній въ двухъ частяхъ, изданнаго въ Москвѣ Н. Т. Солдатенковымъ. Съ 1866 по 1877 годъ онъ служилъ по выборамъ участковымъ мировымъ судьей мценскаго округа но затѣмъ состоялъ тамъ-же почетнымъ мировымъ судьей. За все это время онъ почти ничего не писалъ, за исключеніемъ замѣтокъ по сельскому хозяйству, время отъ времени появлявшихся въ *Русскомъ Вѣстникѣ* подъ заглавіемъ *Изъ деревни*. Въ 1877 году Фетъ переѣхалъ жить въ Курскую губернію. и съ этого времени начинается снова его непрерывная дѣятельность, результатомъ которой явился рядъ переводовъ древнихъ классическихъ авторовъ, нѣсколько выпусковъ собственныхъ оригинальныхъ стихотвореній, переводы философскихъ сочиненій и пр. Такъ, за это время изданы: 1) *Міръ—какъ воля и представленіе* Шопенгауэра, переводъ (1880 г.); 2) *Фаустъ*, трагедія Гёте, I—II части, переводъ (1882—1883 гг.); 3) *Вечерніе огни*, сборникъ стихотвореній, вып. 1 (1883 г.); 4) Полный переводъ Горація (1883 г.); 5) *Вечерніе огни*, вып. II (1885 г.): 6) Сатиры Ювенала, переводъ (1885 г.); 7) Стихотворенія Катулла, переводъ (1886 г.); 8) Элегіи Тибулла, переводъ (1886 г.); 9) *О четвероякомъ корнѣ закона достаточнаго основанія* А. Шопенгауэра, переводъ (1886 г.); 10) Овидія *Превращенія*, переводъ (1884 г.); 11) *Вечерніе огни*, вып. III (1888 г.); 12) *Энеида* Виргилія, переводъ (1888 г.); 13) Элегіи Проперція, переводъ (1888 г.) и пр.

Умеръ Фетъ въ Москвѣ 21-го ноября 1892 года.

Уступая по талантливости А. Толстому и А. Майкову, Фетъ является въ то-же время наиболѣе типическимъ представителемъ своей школы. Имя его сдѣлалось въ нашей критикѣ какъ бы нарицательнымъ для обозначенія поэта чистаго искусства. И еще бы: и А. Толстой, и А. Майковъ, и прочіе поэты этой школы изрѣдка все-таки отзывались на тѣ или другіе вопросы времени, пытались проводить тѣ или другія идеи.

Фетъ принципіально возставалъ не только противъ тенденціозности, но и какой бы то ни было идейности въ искусствѣ. Стихотворенія его, по большей части небольшихъ размѣровъ, представляютъ собою рядъ или картинокъ природы, или какихъ-либо неуловимо тонкихъ, мимолетныхъ психическихъ эмоцій. Но надо отдать справедливость имъ, они исполнены чарующей, художественной прелести. Какъ ни много, напримѣръ, смѣялись надъ его знаменитымъ стихотвореніемъ *Шопотъ, робкое дыханье*, а все-таки и до сихъ поръ, сколько бы вы ни перечитывали этотъ странный наборъ однихъ подлежащихъ безъ сказуемыхъ, у васъ кружится голова отъ обаянія свѣтлой лѣтней ночи и любовнаго свиданія при соловьиныхъ треляхъ. Краткость и сжатость картинокъ Фета еще болѣе увеличиваетъ прелесть ихъ, возбуждая воображеніе читателей и заставляя его дополнять то, чего не договорилъ художникъ. Типичность Фета заключается въ томъ, что поэзія его представляетъ собою квинтъ-эссенцію того

эстетическаго сладострастія, какое развилось на почвѣ помѣщичьяго сибаритства въ кружкахъ сороковыхъ годовъ. Сластолюбивая созерцательность, вѣчно млѣющая въ эстетическихъ восторгахъ, какую вы встрѣтите у всѣхъ прозаиковъ и поэтовъ сороковыхъ годовъ,—у Фета возведена въ альфу и омегу искусства, исчерпываетъ всю его поэтическую дѣятельность. Фетъ представляется въ этомъ отношеніи послѣднимъ могиканомъ до-реформеннаго помѣщичьяго режима. Движеніе пятидесятыхъ годовъ не задѣло его ни кончикомъ своего крыла и, пребывая внѣ его вліянія, онъ съ самаго начала и до конца оставался непримиримымъ врагомъ его. Какъ довершеніе типичности Фета, замѣчателенъ тотъ фактъ, что, вѣчный созерцатель красоты во всѣхъ ея мимолетныхъ и неуловимо тонкихъ оттѣнкахъ, Фетъ въ то-же время въ письмахъ изъ деревни поражалъ современниковъ грубымъ кулачествомъ, разсказывая о штрафахъ, налагаемыхъ имъ на крестьянъ за потравы, что въ свое время возбуждало противъ поэта не мало сатирическаго смѣха въ *Искрѣ* и прочихъ юмористическихъ листкахъ шестидесятыхъ годовъ.

V.

Ѳедоръ Ивановичъ Тютчевъ является самымъ старѣйшимъ жрецомъ чистаго искусства. Онъ почти ровесникъ Пушкина, такъ какъ родился 23-го ноября 1803 года, въ родовомъ брянскомъ помѣстьѣ, селѣ Овстугъ. Первоначальное воспитаніе получилъ онъ въ домѣ отца, подъ наблюденіемъ извѣстнаго переводчика Тасса и Аріоста, С. Н. Раича, прожившаго въ домѣ Тютчевыхъ семь лѣтъ. Учась серьезно и прилежно, Тютчевъ поражалъ своими блестящими дарованіями. Когда ему было четырнадцать лѣтъ, въ 1817 году, Раичъ представилъ въ общество любителей русской словесности переводы его изъ Горація, которые оказались такими хорошими, что общество напечатало ихъ въ своихъ *Трудахъ*, а мальчика избрало въ члены-сотрудники. Пятнадцати лѣтъ Тютчевъ сталъ посѣщать университетъ, куда ѣздилъ съ Раичемъ, былъ очень любимъ Мерзляковымъ и блистательно выдержалъ экзаменъ на кандидата. Пріѣхавъ въ Петербургъ, Тютчевъ поступилъ 21-го февраля 1822 года на службу въ государственную коллегію иностранныхъ дѣлъ, гдѣ оставался до начала 1823 года, когда былъ причисленъ къ миссіи въ Мюнхенѣ.

Возвышаясь въ чинахъ, пожалованный въ 1825 г. въ камеръ-юнкеры, а въ 1835 г.—въ камергеры, онъ оставался за-границей до 1844 г., былъ обласканъ Гёте, коротокъ съ Гейне и со всѣми свѣтилами мысли и науки въ Германіи. Въ концѣ тридцатыхъ годовъ онъ исправлялъ должность повѣреннаго въ дѣлахъ при дворѣ короля Сардинскаго. Уѣхавши безъ разрѣшенія изъ Турина въ Швейцарію, онъ былъ за это исключенъ со службы и лишенъ камергерскаго званія, и лишь въ 1844 году, по ходатайству Великой Княгини Маріи Николаевны, былъ прощенъ и снова принятъ на службу по министерству иностранныхъ дѣлъ. Съ 1857 года до самой смерти онъ исправлялъ должность предсѣдателя С.-Петербургскаго комитета иностранной цензуры. 31-го декабря 1872 года его поразилъ ударъ, парализовавъ ему одну руку и ногу, послѣ чего онъ скончался 15-го іюня 1873 года въ Царскомъ Селѣ и погребенъ въ Воскресенскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ въ Петербургѣ.

Первыя стихотворенія Тютчева были напечатаны въ 1826 году въ альманахѣ *Уранія*, и затѣмъ онъ печатался во всѣхъ періодическихъ изданіяхъ и альманахахъ: въ *Сѣверной Лирѣ*, *Сѣверныхъ Цвѣтахъ* Дельвига, *Современникѣ* Пушкина и пр. Но большою извѣстностью онъ не пользовался впродолженіе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, и лишь Некрасовъ въ *Современникѣ* 1850 года, въ № 1-мъ, впервые познакомилъ публику съ Тютчевымъ въ статьѣ своей: *Русскіе второстепенные поэты*. Вслѣдъ затѣмъ въ 1854 году были приложены при *Современникѣ* 96 пьесъ Тютчева, что довершило извѣстность его, особенно послѣ того, какъ въ 4-й книжкѣ того же года была помѣщена статья И. Тургенева подъ заглавіемъ: *Нѣсколько словъ о стихотвореніяхъ Ѳ. И. Тютчева*, въ которой, назвавъ Тютчева «однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ нашихъ поэтовъ, завѣщанныхъ намъ привѣтомъ и одобреніемъ Пушкина», Тургеневъ между прочимъ говоритъ:

«Мы сказали сейчасъ, что Тютчевъ—одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно ни обидно для современниковъ, Ѳ. И. Тютчевъ, принадлежащій къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по Аполлону. Легче указать на тѣ отдѣльныя качества, которыми превосходятъ его болѣе даровитые изъ теперешнихъ нашихъ поэтовъ: на плѣнительную, хотя нѣсколько однообразную грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ Тютчевѣ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ относится и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соотвѣтственность его съ жизнью автора — словомъ, хоть часть того, что въ полномъ развитіи своемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ Тютчева не обширенъ—это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоитъ изъ безсвязно разбросанныхъ частей; онъ замкнутъ и владѣетъ собою; въ немъ нѣтъ другихъ элементовъ, кромѣ элементовъ чисто лирическихъ; но эти элементы опредѣлительно-ясны и срослись съ самой личностью автора; отъ его стиховъ не вѣетъ сочиненіемъ, они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гёте; то-есть они не придуманы, а выросли сами, какъ плоды на деревѣ, и по этому драгоцѣнному качеству мы узнаемъ между прочимъ вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени. Самыя короткія стихотворенія Тютчева почти всегда самыя удачныя. Чувство природы въ немъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно; но онъ, говоря словомъ, не совсѣмъ принятымъ въ хорошемъ обществѣ, не выѣзжаетъ на немъ, не принимается компановать и раскрашивать свои фигуры. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бываютъ натянуты и холодны у Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служить поясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытіе. Кромѣ всего этого, въ Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ—плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему».

Какъ тонкому знатоку изящнаго и цѣнителю эстетическихъ красотъ, Тургеневу конечно и книги въ руки: намъ остается прибавить къ характеристикѣ его развѣ то соображеніе, что отрытый изъ среды посредственности и внезапно столь возвеличенный въ мрачные годы общественнаго безвременья пятидесятыхъ годовъ, Тютчевъ во всякомъ случаѣ въ достаточной мѣрѣ скучноватъ въ своихъ безукоризненныхъ красотахъ и, исключая нѣкоторыя изъ его произведеній, помѣщаемыя въ христоматіяхъ, большинство ихъ читается съ трудомъ и цѣнится лишь самыми строгими и рьяными эстетиками.

Яковъ Петровичъ Полонскій родился 6-го декабря 1820 года въ Рязани, гдѣ провелъ дѣтство и первую молодость. Въ 1830 году умерла у него мать, а отецъ уѣхалъ на службу въ Эривань, оставивъ шестерыхъ дѣтей на попеченіе свояченицы. Въ 1831 году Полонскій поступилъ въ Рязанскую гимназію, гдѣ онъ рано началъ обнаруживать проблески поэтическаго таланта и, будучи

ученикомъ 6-го класса, за стихи, поднесенные Государю Наслѣднику во время проѣзда его черезъ Рязань, удостоился получить отъ него въ подарокъ золотые часы. По окончаніи курса въ гимназіи Полонскій поступилъ на юридическій факультетъ Московскаго университета, причемъ вслѣдствіе разстройства дѣлъ и болѣзни отца принужденъ былъ пропитывать себя уроками. Въ 1844 году онъ кончилъ университетскій курсъ и въ концѣ того-же года издалъ небольшую книжку стихотвореній, подъ заглавіемъ *Гаммы*, встрѣченную критикою, въ томъ числѣ и Бѣлинскимъ, съ похвалою. Затѣмъ начинается въ жизни Полонскаго періодъ скитальчества, полнаго тревогъ, тяжкаго труженичества и заботъ о кускѣ хлѣба, причемъ обстоятельства бросаютъ его то въ Одессу, то въ Тифлисъ, то въ Петербургъ, то въ Варшаву; наконецъ въ 1857 году заграницу—въ Германію, Швейцарію, Римъ, Парижъ. Здѣсь онъ женился въ 1858 г. на дочери причетника при русской церкви въ Парижѣ, Е. В. Устюжской, которую встрѣтилъ въ одномъ русскомъ семействѣ, но черезъ полтора года послѣ свадьбы имѣлъ несчастіе лишиться ея.



Я. П. Полонскій.

Въ 1859 и 60 годахъ онъ занимался редактированіемъ *Русскаго Слова*. Въ мартѣ 1860 года поступилъ на мѣсто секретаря комитета иностранной цензуры; въ 1860 г. вступилъ во второй бракъ съ дѣвицей Жозефиной Антоновной Рюльманъ, отъ которой имѣетъ троихъ дѣтей. Въ настоящее время Полонскій занимаетъ мѣсто члена совѣта въ комитетѣ иностранной цензуры, не переставая участвовать во многихъ періодическихъ изданіяхъ и выпускать въ свѣтъ отдѣльными изданіями сборники своихъ стихотвореній и романы.

У Полонскаго мы не видимъ того вѣрнаго и непреклоннаго служенія чистому искусству, какъ у всѣхъ вышеозначенныхъ поэтовъ разсматриваемой нами школы. Правда, большая часть его произведеній написана въ духѣ этой школы. Здѣсь вы встрѣтите и отрывки недоконченныхъ поэмъ, вродѣ *Магометъ*, и картины кавказской природы, и разочарованныя элегіи, исполненныя темныхъ и туманныхъ философскихъ размышленій, обличающихъ мысль въ философскомъ отношеніи весьма незрѣлую, и альбомные стихи, и стихи на всякіе случаи, начиная со стихотворнаго письма А. Майкову изъ

Баденъ-Бадена и кончая литературно-юбилейными одами. Самыми видными произведеніями его этой категоріи считаются: шуточная поэма *Кузнечикъ-музыкантъ*, изданная въ 1863 году, поэмы: *Мими*, напечатанная въ *Отечественныхъ Запискахъ* за 1873 годъ, и *Келіотъ*—въ *Дѣлѣ* 1874 года. Во всѣхъ подобнаго рода произведеніяхъ Полонскаго вы не найдете ничего оригинальнаго, самобытнаго, своего. Отъ нихъ такъ и вѣетъ то Пушкинымъ и Лермонтовымъ, то какимъ-нибудь иностраннымъ поэтомъ, Шиллеромъ, Гейне и пр. Но порою Полонскій выходитъ изъ тѣсныхъ рамокъ школы и отдается инымъ поэтическимъ вѣяніямъ своего времени. Среди стихотвореній его вы встрѣтите нѣсколько и такихъ, въ которыхъ онъ заплатилъ дань гражданско-соціальной лирикѣ Некрасова и Плещеева. Стихотворенія его этого рода, отличаясь силою и страстностью, свидѣтельствуютъ, что изъ Полонскаго могъ-бы выработаться поэтъ, не уступающій означеннымъ. Таковы его: *Натурщица*, *Бѣлый*, *Литературный врачъ*, *Тяжелая минута*, *Казиміръ Великій*, *Что мнѣ она—не жена, но любовница*.

Не упустилъ изъ виду Я. Полонскій заплатить дань и самобытно-народной лирикѣ въ духѣ Кольцова, Никитина и Некрасова. Не говоря уже о томъ, что стихотворенія Полонскаго этого рода, исполненныя поэтическаго одушевленія, являются самыми цѣльными въ художественномъ отношеніи, они отличаются той безыскусственной простотой, какая свойственна русской народной лирикѣ. Таковы: *Солнце и мѣсяцъ*, *За окномъ въ тѣни мелькаетъ*, *Затворница*, *Качка въ бурю*, *Пѣсня цыганки*, *Смерть малютки*, *Колокольчикъ*, *Пѣсня*, *Подойди ко мнѣ, старушка*, *Въ глуши*, *Подсолнечное царство*, *Волшебный мѣсяцъ*, *Старая няня*.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній, какъ-то: *За окномъ въ тѣни мелькаетъ*, *Подойди ко мнѣ, старушка*, *Затворница*, положенныя на музыку, проникли въ народъ и ихъ распѣваетъ вся Россія; а другія, каковы: *Солнце и мѣсяцъ* или *Смерть малютки*, вы найдете въ каждой хрестоматіи, и нѣтъ ни одного ребенка, который не зналъ-бы ихъ наизусть. Это—перлы нашей лирики, которые никогда не забудутся и одни способны составить славу поэта и добрую память о немъ въ потомствѣ.

VI.

Левъ Александровичъ Мей, сынъ обрусѣвшаго чиновника нѣмецкаго происхожденія А. И. Мей и дворянки Ольги Ивановны Шлыковой, родился 13-го февраля 1822 года въ Москвѣ. Первоначальное воспитаніе онъ получилъ въ Московскомъ Дворянскомъ институтѣ, откуда былъ переведенъ въ 1835 г. за отличные успѣхи въ Царскосельскій лицей, въ которомъ и окончилъ курсъ въ 1841 г. съ чиномъ X класса. По выходѣ изъ лицея Мей поступилъ на службу въ канцелярію московскаго военнаго генералъ-губернатора, въ которой прослужилъ до января 1849 года. Выйдя въ отставку, Мей около полутора года оставался безъ мѣста, но въ мартѣ 1850 года снова поступилъ на службу по министерству народнаго просвѣщенія на должность инспектора 2-ой Московской гимназіи. Прослуживъ здѣсь около полутора года, онъ вторично и окончательно вышелъ въ отставку и переѣхалъ на жительство въ Петербургъ, въ которомъ прожилъ безвыѣздно до смерти.

Стихи началъ писать Мей еще въ лицеѣ, гдѣ принималъ дѣятельное участіе въ изданіи лицейскихъ рукописныхъ журналовъ. Первымъ напечатаннымъ произведеніемъ Мея было стихотвореніе *Гванагани* въ 4-й части *Маяка* за 1840 годъ. Начиная съ 1845 г., стихотворенія его стали появляться въ *Москвитянинѣ*, а по переѣздѣ въ Петербургъ — въ *Отечественныхъ Запискахъ*, *Библіотекѣ для Чтенія* и прочихъ періодическихъ изданіяхъ.

Будучи, подобно большинству поэтовъ школы чистаго искусства, лишенъ самобытности, Мей вмѣстѣ съ тѣмъ не выражалъ своей индивидуальности хотя-бы въ видѣ предпочтенія одного какого-либо поэтическаго рода.

Какъ пчела, онъ собиралъ свой медъ со всѣхъ цвѣтовъ безъ различія, и эклектизмъ его простирался до того, что онъ могъ совмѣщать въ себѣ автора классической драмы изъ древне-римской жизни, *Сервилія* (1854), драмъ изъ русской старины, *Царская невѣста* (1849 г.) и *Псковитянка* (1860), и поэму изъ библейской древности—*Юдиѳь*. Зная основательно языки греческій, латинскій, древне-еврейскій, французскій, нѣмецкій, англійскій, итальянскій и польскій, онъ свободно переводилъ со всѣхъ этихъ языковъ. Особенно замѣчательны его переводъ Анакреона, девяти идиллій Ѳеокрита, двухъ пѣсенъ *Потеряннаго рая* Мильтона, *Лагерь Валленштейна* и *Дмитрія Самозванца* Шиллера, и масса библейскихъ переложеній, изъ которыхъ болѣе всего выдаются переложенія *Пѣсни пѣсней*.

Проживъ около десяти лѣтъ въ Петербургѣ, посвящая все свое время литературѣ, Мей умеръ 16-го мая 1862 года скоропостижно, диктуя повѣсть для *Моднаго Магазина*, издававшагося женой его, Софьей Григорьевной. Тѣло его погребено на Митрофаньевскомъ кладбищѣ, около самой церкви

Николай Ѳедоровичъ Щербина родился 2-го декабря 1821 года въ Міусскомъ округѣ земли Войска Донского, въ поселкѣ Грузко-Елачинскомъ, лежащемъ въ 60 верстахъ отъ Таганрога. Отецъ его былъ малороссъ, мать—дочь природной гречанки. Греческій элементъ сильно отразился на ея воспитаніи, а она передала его сыну, что имѣло огромное вліяніе на эстетическое развитіе Щербины Когда донское имѣніе, гдѣ провелъ дѣтство поэтъ, было продано, а родители его переселились въ Таганрогъ, населенный греками, вліяніе это еще болѣе усилилось и сблизило ребенка съ греческимъ бытомъ и преданіями греческой старины. По вступленіи десяти лѣтъ въ Таганрогскую гимназію Щербина такъ ревностно принялся за изученіе греческаго языка, что вскорѣ, не довольствуясь преподаваніемъ его въ гимназіи, сталъ ходить въ частную греческую школу, гдѣ прочиталъ въ первый разъ *Иліаду* Гомера и познакомился съ нѣкоторыми другими поэтами древней Греціи. Къ этому времени относится первое поэтическое произведеніе Щербины—поэма *Сафо*, написанная имъ на тринадцатомъ году, но потомъ уничтоженная, а также и первое печатное произведеніе его *Къ морю*, появившееся въ № 10 *Сына Отечества* за 1838 годъ.

Не окончивши гимназическаго курса, Щербина шестнадцати лѣтъ отправился въ Москву, съ цѣлью приготовиться къ поступленію въ университетъ, но неблагопріятныя обстоятельства заставили его возвратиться въ Таганрогъ, и лишь въ 1841 году ему удалось поступить въ Харьковскій университетъ на юридическій факультетъ. Но и на этотъ разъ онъ принужденъ былъ выйти изъ университета до окончанія курса и снискивать скудное пропитаніе уроками у окрестныхъ помѣщиковъ. Но борьба съ нищетою не мѣшала Щербинѣ

посвящать часы досуга музамъ. Изъ стихотвореній, принадлежащихъ къ этому времени, заслуживаютъ наибольшаго вниманія: *Клефты*, *Ночь въ Венеціи*, *Эллада*, напечатанныя въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ того времени. Въ 1849 г. Щербина отправился было посѣтить дорогую сердцу его Германію, но и это не удалось ему: онъ засѣлъ въ Одессѣ, гдѣ прожилъ около года, издавъ здѣсь первый сборникъ своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ *Греческія стихотворенія Н. Щербины*. Перебиваясь то уроками, то службою, то выгодными педагогическими изданіями (таково было: *Пчела*, *Сборникъ для народнаго чтенія*, выдержавшее съ 1865 по 1875 г. четыре изданія), Щербина былъ прикомандированъ къ главному управленію по дѣламъ печати и умеръ 10-го апрѣля 1869 г. отъ полипа въ горлѣ; похороненъ былъ въ Александро-Невской лаврѣ.

Щербина прославился въ русской литературѣ исключительно антологическими стихотвореніями изъ древне-греческой жизни, въ которыхъ онъ является тѣмъ болѣе побѣдоноснымъ соперникомъ А. Майкова, что въ жилахъ его текла греческая кровь, и онъ имѣлъ не въ примѣръ болѣе основательныя свѣдѣнія въ древней жизни и литературѣ, чѣмъ А. Майковъ. Но за-то поэзія его еще холоднѣе, галантерейнѣе и отвлеченнѣе и никакого отношенія къ русской жизни не имѣетъ. Щербина могъ жить въ какой угодно странѣ и писать на какомъ угодно языкѣ.

Впрочемъ подъ конецъ своей жизни заплатилъ и онъ свою дань злобѣ дня. Не вынеся ничего изъ движенія шестидесятыхъ годовъ и не будучи въ состояніи уразумѣть его, онъ озлобился гоненіями на поэзію, послѣдовавшими со стороны Писарева, и разразился рядомъ желчныхъ пасквилей противъ литературныхъ противниковъ. Но объ этихъ гражданскихъ подвигахъ, омрачившихъ его литературную репутацію, лучше не упоминать.

VII.

Сороковые и пятидесятые годы ознаменовались массою образцовыхъ переводовъ лучшихъ произведеній классическихъ иностранныхъ поэтовъ,—переводовъ, не уступающихъ подлинникамъ, а порою превосходящихъ ихъ.

Страсть къ стихотворнымъ переводамъ была такъ сильна, что всѣ выдающіеся таланты, исключая одного Некрасова, подвизались на этомъ поприщѣ, и кромѣ того появились поэты, которые бо́льшую часть своей литературной дѣятельности посвятили этому почтенному дѣлу и составили репутацію преимущественно какъ талантливые переводчики. Таковы: Николай Васильевичъ Гербель, Петръ Исаевичъ Вейнбергъ и Михаилъ Илларіоновичъ Михайловъ.

Н. В. Гербель родился 26-го ноября 1827 года. Родомъ былъ изъ швейцарскаго семейства, переселившагося въ Россію при Петрѣ. Прапрадѣдъ его былъ извѣстный инженеръ и архитекторъ, пользовавшійся у Петра большимъ уваженіемъ и построившій много зданій. Первое воспитаніе Гербель получилъ въ домѣ родителей. На девятомъ году онъ былъ отвезенъ въ Кіевъ и отданъ въ благородный пансіонъ при первой Кіевской гимназіи. По окончаніи курса Гербель поступилъ въ Нѣжинскій лицей, въ 1844 г. Въ лицеѣ съ самаго поступленія онъ съ особеннымъ увлеченіемъ занялся изученіемъ русской словесности и получилъ даже серебряную медаль за сочиненіе *Подробный раз-*

боръ словесныхъ произведеній Сумарокова и Ломоносова и общее заключеніе о характерѣ и состояніи русской словесности отъ Петра Великаго до Екатерины II. Въ то-же время Гербель началъ свои первыя поэтическія пробы, прославился между товарищами эпиграммами, касавшимися мѣстныхъ интересовъ и лицъ; въ 1846-же году проникъ въ печать: въ этомъ году было напечатано въ *Библіотекѣ для Чтенія* первое его стихотвореніе *Бокалъ.*

По окончаніи лицейскаго курса въ 1847 г. Гербель поступилъ въ военную службу юнкеромъ въ изюмскій Гусарскій полкъ, а въ 1849 г. получилъ чинъ корнета и участвовалъ въ венгерской войнѣ, отличившись храбростью. Дослужившись до чина штабсъ-ротмистра въ лейбъ-гвардіи Уланскомъ полку, Гербель оставилъ службу и посвятилъ себя исключительно литературной и издательской дѣятельности. Съ начала пятидесятыхъ годовъ стихотворенія его печатались во всѣхъ петербургскихъ журналахъ, причемъ особенно удачны были его переводы изъ Байрона. Въ 1854 году онъ ознаменовалъ свою дѣятельность стихотворнымъ переводомъ *Слова о полку Игоревѣ*, встрѣченнымъ большимъ сочувствіемъ публики и ученыхъ филологовъ – Срезневскаго, Максимовича, Дубенскаго и др.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ Гербель приступилъ къ грандіозному, дѣлающему честь и самому ему, и его эпохѣ предпріятію,—изданію въ русскомъ переводѣ лучшихъ иностранныхъ поэтовъ. Сознавая невозможность выполнить такое колоссальное дѣло личными силами, Гербель раздѣлилъ трудъ между нѣсколькими современными ему поэтами и, кромѣ того, собралъ во-едино всѣ лучшіе переводы классическихъ иностранныхъ поэтовъ, разбросанные въ разныхъ журналахъ. И вотъ въ 1857 г. явилось *Собраніе сочиненій Шиллера въ переводѣ русскихъ писателей.* Поощренный успѣхомъ этого изданія, Гербель рѣшился продолжать дѣло, и такимъ образомъ явились въ русскомъ переводѣ полныя собранія сочиненій Шекспира, Байрона, Гёте и кромѣ того хрестоматіи изъ лучшихъ произведеній нѣмецкихъ, англійскихъ и славянскихъ поэтовъ. Не былъ забытъ Гербелемъ и русскій Парнассъ: онъ издалъ сборникъ *Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ*, выдержавшій два изданія. Собственныя его стихотворенія онъ издалъ въ 1858 году подъ заглавіемъ *Отголоски.* Умеръ онъ 8-го марта 1883 года отъ психической болѣзни, долгое время подтачивавшей его сильный организмъ.

Петръ Исаевичъ Вейнбергъ родился въ 1830 году въ Николаевѣ. Первоначальное образованіе получилъ въ одесскомъ пансіонѣ Золотова, продолжалъ его въ Одесской гимназіи, по окончаніи которой поступилъ въ Ришельевскій лицей, а затѣмъ въ Харьковскій университетъ на филологическій факультетъ и въ 1855 году окончилъ курсъ со степенью кандидата. Прослуживъ около двухъ лѣтъ въ Симбирскѣ, онъ переѣхалъ въ 1858 году на жительство въ Петербургъ, а въ 1868 году получилъ мѣсто профессора всеобщей литературы въ Варшавскомъ университетѣ, и должность эту занималъ до начала 1873 года. Въ настоящее время Вейнбергъ занимается чтеніемъ лекцій по исторіи всеобщей литературы въ качествѣ приватъ-доцента въ С.-Петербургскомъ университетѣ.

На литературное поприще Вейнбергъ выступилъ въ 1854 году съ книжкой стихотвореній, изданной въ Одессѣ. По переѣздѣ-же въ 1858 году въ Петербургъ, сталъ помѣщать свои произведенія оригинальныя и переводныя во многихъ періодическихъ изданіяхъ того времени. Въ 1860 году Вейнбергъ

вмѣстѣ съ А. В. Дружининымъ, К. Д. Кавелинымъ и В. П. Безобразовымъ предпринялъ еженедѣльный журналъ *Вѣкъ*, продолжавшійся одинъ годъ. Въ журналѣ этомъ Вейнбергъ помѣстилъ массу своихъ трудовъ,—стихотворныхъ, подъ псевдонимомъ Гейне изъ Тамбова, и прозаическихъ, подписывая ихъ русскимъ переводомъ своего имени—Камень Виногоровъ.

Въ 1864 году Вейнбергъ принялся за переводъ Шекспира и втеченіе трехъ лѣтъ перевелъ девять его пьесъ. Кромѣ того перевелъ Байрона—*Сарданапалъ*, Шелли—*Ченчи*, Гутцкова—*Уріэль Акоста*, Шеридана—*Школу злословія*, Коппе—*Двѣ судьбы* и пр. Наконецъ Вейнбергъ издалъ сочиненія



П. И. Вейнбергъ.

Гёте и Гейне въ русскихъ переводахъ, первыя въ шести, а вторыя въ двѣнадцати томахъ. Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ Вейнбергъ сдѣлалъ новую попытку издавать ежемѣсячный журналъ—*Изящную литературу*, спеціально предназначенный для переводовъ лучшихъ произведеній иностранной прессы, но столь-же безуспѣшно и по той-же причинѣ, по какой не удался ему *Вѣкъ*,—по недостатку матеріальныхъ средствъ, чтобы поставить изданіе на ноги и привлечь къ нему лучшія силы.

Михаилъ Илларіоновичъ Михайловъ родился въ 1826 году въ одномъ изъ казенныхъ заводовъ на Уралѣ. Дѣдъ Михайлова былъ дворовый человѣкъ

Аксаковыхъ и умеръ подъ розгами, защищая свою волю, которую завѣщала ему на словахъ старая барыня, но наслѣдники этого словеснаго завѣщанія не признавали. Исторія его дважды была описана въ нашей литературѣ: въ *Семейной хроникѣ* Аксакова *(Михайлушка)* и въ повѣсти самого внука подъ заглавіемъ *Село Чумбурово.*

Отецъ Михайлова былъ чиновникомъ Горнаго вѣдомства, а мать киргизская княжна Уракова. Отецъ получилъ недурное образованіе и тщательно воспитывалъ дѣтей. У будущаго поэта было три гувернера: нѣмецъ, французъ и полякъ изъ ссыльныхъ.

Въ 1836 году Михайлова помѣстили въ Уфимскую гимназію, но онъ не кончилъ въ ней курса. До 1844 года проживалъ въ Оренбургѣ, а затѣмъ поѣхалъ въ Петербургъ, гдѣ поступилъ вольнослушателемъ въ С.-Петербургскій университетъ. Въ началѣ онъ усердно посѣщалъ лекціи, но когда въ 1845 году начали появляться въ *Иллюстраціи* и другихъ изданіяхъ стихотворенія его (а писать ихъ онъ началъ съ дѣтства), успѣхъ вскружилъ голову девятнадцатилѣтняго юноши, и онъ бросилъ посѣщать лекціи. Отецъ Михайлова вооружился противъ увлеченій сына стихоманіей, лишилъ его средствъ, и молодому поэту пришлось терпѣть горькую нужду. Въ 1849 году, подъ бременемъ этой нужды, Михайловъ долженъ былъ переѣхать въ Нижній-Новгородъ на службу, но продолжалъ свободные часы посвящать литературѣ, посылая свои стихотворенія теперь уже въ *Москвитянинъ.* Къ этому-же времени относятся первые прозаическіе разсказы его: *Нянюшка*, *Онъ* и *Адамъ Адамовичъ.* Мало по малу имя его начало выдвигаться, и онъ пользовался уже почетною извѣстностью, когда съ 1852 года пріѣхалъ въ Петербургъ и принялъ дѣятельное участіе одновременно и въ *Современникѣ*, и въ *Отечественныхъ Запискахъ.*

Въ *Современникѣ* напечатаны имъ втеченіе десятилѣтняго сотрудничества пять повѣстей *Кружевница*, *Голубые глазки*, *Африканъ*, *Деревня и Городъ*, *Вольная пташка*, кромѣ того—рядъ статей публицистическаго и критическаго характера, каковы: *Джорджъ Элліотъ*, *Женщины*, *Американскіе поэты и романисты*, *Дж. Ст. Милль объ эмансипаціи женщинъ*, *Юморъ и поэзія въ Англіи*, *Женщины въ университетѣ*, наконецъ — рядъ переводовъ изъ Гейне, Томаса Гуда, Ленау, Тенисона, Лонгфелло и другихъ. Въ *Отечественныхъ Запискахъ* на первомъ планѣ стоитъ большой романъ его изъ быта провинціальныхъ актеровъ—*Перелетныя птицы.* Встрѣчаются повѣсти, разсказы и переводы и въ другихъ изданіяхъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ; таковы напримѣръ: переводъ Шиллера *Коварство и любовь*, *Духовидецъ* и пр.

Въ 1858 и 1861 годахъ Михайловъ побывалъ за-границей,—въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ и многихъ другихъ большихъ городахъ Европы, и помѣстилъ рядъ писемъ изъ-за-границы въ *Современникѣ* 1858, 59 и 60 годовъ. По возвращеніи въ Россію, осенью 1861 г., онъ былъ арестованъ по политическому дѣлу, сосланъ въ Сибирь, гдѣ и скончался лѣтомъ 1865 г. на 39 году своей жизни.

Изъ всѣхъ современныхъ переводчиковъ Михайловъ считался самымъ лучшимъ и образцовымъ; объ этомъ можно судить по тому, что очень многіе его переводы до сихъ поръ помѣщаются въ дѣтскихъ христоматіяхъ, начиная съ книгъ для чтенія для дѣтей самаго младшаго возраста и кончая сборниками образцовыхъ западныхъ произведеній для учениковъ высшихъ классовъ, изучающихъ исторію литературъ. Кому не извѣстны почти наизусть такія его вещи, какъ *Сонъ Невольника* Лангфелло, *Пѣсня о рубашкѣ* Гуда, *Скованный*

Прометей Эсхила. Наиболѣе-же прославился Михайловъ, какъ прекрасный переводчикъ Гейне. Изданныя въ 1858 г. его *Пѣсни Гейне* имѣли огромный успѣхъ, впервые познакомивши русскую публику съ великимъ нѣмецкимъ поэтомъ такъ обстоятельно и художественно точно, какъ никогда ни до того времени, ни послѣ не переводился Гейне. Вообще нѣмецкимъ поэтамъ Михайловъ отдавалъ предпочтеніе; по крайней мѣрѣ въ изданномъ въ 1890 году томѣ его переводныхъ стихотвореній три четверти книги заняты переводами нѣмецкихъ поэтовъ и лишь одна четверть приходится на долю поэтовъ всѣхъ прочихъ странъ и временъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

I. Характеристика новыхъ скорбныхъ поэтовъ. Семенъ Яковлевичъ Надсонъ. Факты его жизни.—II. Причина его популярности. Его нравственная физіономія, характеръ и духъ его произведеній. Семенъ Григорьевичъ Фругъ. — III. Николай Максимовичъ Минскій. — IV. Дмитрій Сергѣевичъ Мережковскій. Новѣйшіе поэты чистаго искусства: Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ, Константинъ Михайловичъ Фофановъ. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Андреевскій.

I.

Втеченіе семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ русскимъ обществомъ овладѣла стихоманія, выразившаяся въ появленіи несмѣтной массы молодыхъ поэтовъ. Никакія изданія не продавались такъ ходко и быстро, какъ стихотворные сборники. Но къ сожалѣнію изъ всей этой толпы жаждущихъ поэтической славы весьма немного выдѣлилось талантовъ, обратившихъ на себя вниманіе общества и критики. Да и эти немногіе далеко уступаютъ поэтамъ предшествовавшей эпохи. До сихъ поръ они рабски слѣдуютъ за своими предшественниками, не имѣя силъ создать нѣчто самобытное, свою особенную школу.

На первомъ планѣ рисуется передъ нами группа поэтовъ, которые заслуживаютъ наибольшаго вниманія, такъ какъ выражаютъ въ своихъ произведеніяхъ современное настроеніе общества. Настроеніе это скорбное, унылое; поэтому и стихотворенія поэтовъ этой группы носятъ минорный характеръ. Но ошибочно видѣть въ нихъ разочарованныхъ пессимистовъ вродѣ тѣхъ, какіе были въ нашей литературѣ въ тридцатые и сороковые годы—въ лицѣ Полежаева, Лермонтова, Огарева. Мрачные образы, какими наполнены ихъ произведенія, постоянно смѣняются у нихъ порываніями къ правдѣ и свѣту, мечтами и надеждами о близкомъ наступленіи иныхъ, болѣе отрадныхъ временъ, когда разсѣется мракъ окружающей ихъ ночи и наступитъ новый лучезарный день, полный тепла и блеска.

Существенный недостатокъ молодыхъ поэтовъ заключается въ томъ, что послѣ Некрасова, Шевченки и Никитина наша поэзія не только не сдѣлала ни одного шага впередъ по пути народной самобытности, на который пытались направить ее означенные писатели, а напротивъ того обратилась вспять, снова вступила на почву отвлеченности и стереотипности.

Самымъ талантливымъ изъ всѣхъ молодыхъ поэтовъ,—выразителемъ думъ и чувствъ, волнующихъ современное поколѣніе, является С. Я. Надсонъ.

Семенъ Яковлевичъ Надсонъ родился въ Петербургѣ 14-го декабря 1862 года. Дѣдъ его былъ еврей, принявшій православіе, жившій въ Кіевѣ и имѣв-

шій тамъ недвижимую собственность, а отецъ, даровитый человѣкъ и хорошій музыкантъ, умеръ еще въ молодыхъ годахъ отъ психической болѣзни. Поэту было два года, когда онъ остался на рукахъ матери, изъ русской дворянской семьи Мамонтовыхъ. Оставшись жить въ Кіевѣ послѣ смерти мужа, она содержала себя и двухъ дѣтей собственными трудами, занимая мѣсто экономки и учительницы въ семьѣ нѣкоего Ф. Когда мальчику было приблизительно лѣтъ семь, мать уѣхала въ Петербургъ и поселилась у брата Д. С. Мамонтова, а сынъ поступилъ въ приготовительный классъ 1-й классической гимназіи. Вскорѣ затѣмъ, уже больная, мать Надсона вышла вторично за-мужъ за Николая Гавриловича Ѳомина и уѣхала съ нимъ въ Кіевъ. Но Ѳоминъ, въ припадкѣ умопомѣшательства, повѣсился. Оставшись безъ всякихъ средствъ и испытавъ весь ужасъ нужды, несчастная женщина снова переѣхала съ дѣтьми въ Петербургъ и здѣсь еще молодая, 31 года, умерла отъ чахотки.

Занятія мальчика въ классической гимназіи въ Петербургѣ, а затѣмъ въ Кіевѣ шли отлично. Въ послѣдніе-же мѣсяцы жизни матери отдали его пансіонеромъ во 2-ю военную гимназію. Первое время мальчику жилось нелегко въ военной гимназіи, такъ какъ товарищи не любили его; болѣзненный, впечатлительный, не отличавшійся физическою силою и ловкостью, и вмѣстѣ съ тѣмъ самолюбивый, не въ примѣръ болѣе развитой и начитанный, чѣмъ весь классъ его, онъ выдѣлялся изъ общаго уровня, что обходится недешево. Но мало по малу товарищи оцѣнили искренность и дѣтски-рыцарское великодушіе мальчика, оказывавшаго имъ немалыя услуги, и научились любить его.

Первое время пребыванія въ гимназіи Надсонъ занимался очень хорошо и шелъ вторымъ ученикомъ, но въ послѣднихъ классахъ такъ увлекся литературою, что ему было не до уроковъ. Это не помѣшало ему кончить курсъ 16 лѣтъ, хотя математика давалась трудно. Всѣ свободные часы онъ посвящалъ чтенію, читая безъ разбора все, что попадалось подъ руки; страстно любилъ музыку: ему казалось даже, что онъ созданъ больше музыкантомъ, чѣмъ поэтомъ; всю жизнь не разставался онъ со скрипкою; она сопровождала его всюду. Стихи началъ онъ писать съ девятилѣтняго возраста, а пятнадцати лѣтъ сознательно уже рѣшился посвятить себя поэзіи. Но музыка, поэзія и чтеніе не наполняли всего досуга Надсона и не исчерпывали его энергіи. По его иниціативѣ устраивались у товарищей внѣ гимназіи домашніе спектакли, въ которыхъ онъ самъ принималъ участіе какъ режиссеръ и актеръ. Кромѣ того, по его-же иниціативѣ и подъ его редакторствомъ, въ гимназіи были предпринимаемы изданія рукописныхъ журналовъ, въ которыхъ онъ самъ былъ и главнымъ сотрудникомъ. Въ то-же время онъ писалъ сочиненія за всѣхъ товарищей.

1878 годъ былъ особенно знаменателенъ въ жизни Надсона. Онъ познакомился съ семействомъ одного своего товарища—Д—выми и страстно полюбилъ молодую дѣвушку, сестру своего товарища. Въ этомъ-же году онъ выступилъ въ печать: въ майской книжкѣ *Свѣта* было напечатано первое стихотвореніе его *На зарѣ*. Наконецъ тогда-же началась въ поэтѣ сильная внутренняя работа: его волновали и мучили разные «проклятые вопросы», главнымъ образомъ религіозные.

Но первая любовь юноши имѣла трагическій исходъ: 31-го марта 1879 года горячо любимая имъ дѣвушка умерла отъ скоротечной чахотки. Какъ сильно поразила поэта смерть Н. М., отразившись на всей послѣдующей его

жизни, видно изъ двухъ стихотвореній его, посвященныхъ ея памяти: *Любили-ль вы, какъ я*, и *Я вновь одинъ*, вышедшихъ еще при жизни поэта въ изданномъ имъ сборникѣ своихъ стихотвореній, и множества посмертныхъ, написанныхъ на эту тему. Несмотря на поразившее горе, Надсонъ нашелъ въ себѣ достаточно силъ успѣшно окончить курсъ. Затѣмъ, по желанію опекуна, поступилъ въ Павловское военное училище, гдѣ на первомъ-же ученіи схватилъ острый катарръ праваго легкаго и опасно заболѣлъ. Сначала онъ пролежалъ довольно долго въ лазаретѣ, а затѣмъ его отправили на казенный счетъ на Кавказъ, въ Тифлисъ, гдѣ онъ прожилъ у родственниковъ почти годъ.



С. Я. Надсонъ.

Вернувшись въ Петербургъ осенью 1880г., юноша снова поступилъ въ Павловское училище. Здѣсь онъ провелъ два года, втеченіе которыхъ писалъ и печаталъ довольно много, сначала въ *Мысли*, *Словѣ*, *Русской Рѣчи*, *Устояхъ*, а затѣмъ и въ *Отечественныхъ Запискахъ*, мало по малу становясь извѣстнымъ. Болѣзнь-же его медленно, но упорно двигалась впередъ, чему способствовали не подходящія для больного грудью условія училищной жизни, лагери, маневры и проч. Дѣятельный и живой юноша не умѣлъ беречь ни силъ, ни здоровья, пѣлъ въ хорѣ юнкеровъ, устраивалъ любительскіе спектакли: словомъ, велъ жизнь далеко не полезную для его расшатаннаго здоровья.

Въ сентябрѣ 1882 года онъ былъ произведенъ въ офицеры и назначенъ въ 148-й Каспійскій полкъ, стоящій въ Кронштадтѣ. Кронштадтскій періодъ жизни Надсона продолжался два года. Къ этому времени принадлежатъ многія изъ лучшихъ его стихотвореній: *Нѣтъ, легче мнѣ думать, что ты умерла*, *Геростратъ*, *Грезы*, *Затихъ блестящій залъ*, *Сбылося все* и др. Извѣстность Надсона быстро росла. Такъ, ему устроили овацію въ пушкинскомъ кружкѣ

30-го сентября 1883 г. Между тѣмъ болѣзнь продолжала дѣлать свои завоеванія. Лѣтомъ этого года онъ слегъ въ постель: у него открылась на ногѣ туберкулезная фистула,—явленіе, часто предшествующее и сопровождающее чахотку. Онъ пролежалъ все лѣто въ Петербургѣ, въ маленькой комнаткѣ, выходившей на пыльный и душный дворъ. Такія условія не могли не отразиться гибельно на общемъ состояніи здоровья его.

Всю зиму Надсонъ хлопоталъ объ освобожденіи отъ военной службы, подъискивая подходящее занятіе, которое дало-бы ему возможность существовать. Онъ собирался сдѣлаться народнымъ учителемъ, сдалъ удовлетворительно экзаменъ для этого; но когда ему предложено было мѣсто секретаря въ редакціи *Недѣли*, Надсонъ съ радостью согласился, такъ какъ завѣтною мечтою его было стать поближе къ литературѣ и литературному міру.

Но недолго удалось Надсону заниматься въ редакціи *Недѣли*. Осенью болѣзнь его приняла такой опасный оборотъ, что, по совѣту докторовъ, его рѣшили отправить за-границу, на югъ Франціи. Литературный фондъ далъ для этой цѣли 500 р. (возвращенныхъ потомъ фонду лѣтомъ 1885 г. всей чистой прибылью съ перваго изданія его стихотвореній). Затѣмъ, чрезъ посредничество г-жи А. А. Д—вой, С. П. Д—зъ далъ на поѣздку Надсона заграницу 1200 руб., а нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ январѣ 1885 года, г-жа Д—ва устроила концертъ, давшій 1800 руб. сбора. Эти средства доставили больному возможность прожить около года за-границей и пользоваться услугами лучшихъ хирурговъ для операціи фистулы на ногѣ. Операціи этой онъ подвергался два раза въ Ниццѣ и затѣмъ два раза въ Бернѣ, въ больницѣ извѣстнаго швейцарскаго хирурга Кохера.

Послѣдніе два года Надсонъ провелъ частью въ деревнѣ у одного знакомаго въ Подольской губерніи, частью въ Крыму, быстро угасая, снѣдаемый смертельною болѣзнью. Мысль о смерти не покидала его, и не радовала ни популярность стихотвореній, успѣвшихъ при жизни поэта выдержать три изданія, ни присужденная ему Академіей наукъ пушкинская премія въ 500 р. Наконецъ 19-го января 1887 г. его не стало. Тѣло его было перевезено въ Петербургъ и 4-го февраля при многочисленномъ стеченіи народа было погребено на Волковомъ кладбищѣ, не далеко отъ могилъ Добролюбова и Бѣлинскаго.

II.

Впродолженіе пяти лѣтъ сочиненія Надсона, завѣщанныя Литературному фонду, выдержали, какъ извѣстно, десять изданій и продолжаютъ расходиться такъ-же быстро, какъ и прежде. Подобную популярность нельзя объяснить никакими искусственными взвинчиваньями критики и случайными обстоятельствами. Успѣхъ представляется какъ нельзя болѣе естественнымъ и заслуженнымъ. Прежде всего къ Надсону привлекаетъ общество прекрасный образъ поэта,—гармоническое сочетаніе въ столь рано угасшемъ юношѣстрадальцѣ физической красоты и идеальнаго душевнаго совершенства, прозрачно яснаго, кроткаго духа, чуждаго фальши, суетности, тщеславія, рисовки и тому подобныхъ человѣческихъ слабостей. По неподкупной честности, кристальной искренности и цѣльности Надсонъ имѣетъ среди молодого поколѣнія лишь одного подобнаго себѣ—именно Вс. Мих. Гаршина; оба они совершенно тождественны, словно сливаются въ одинъ лучезарный поэтическій образъ, дѣлая великую честь поколѣнію, среди котораго они явились.

Но не одна идеально-поэтическая красота личности Надсона привлекаетъ къ нему многочисленныхъ почитателей его. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чаруетъ своимъ звучнымъ, легкимъ, въ истинномъ смыслѣ музыкальнымъ стихомъ, изящной прелестью и граціозностью поэтическихъ образовъ и неподдѣльно искреннею задушевностью лиризма. Вы не встрѣтите въ этомъ лиризмѣ мужественно-страстныхъ, энергическихъ звуковъ; преисполненный тихой, мечтательной грусти, онъ напоминаетъ намъ не столько исполненнаго гнѣва и мести борца, сколько неутѣшныя слезы преждевременно увядающей красоты, но это усугубляетъ его очарованіе.

И вотъ этимъ-то своимъ музыкальнымъ стихомъ, этими нѣжными слезами своего женственнаго лиризма Надсонъ глубоко проникаетъ въ сердца читателей, задѣвая сокровенныя и завѣтныя струны ихъ, вторя ихъ настроенію, то скорбя о настоящемъ безвременьѣ, то утѣшая свѣтлымъ будущимъ, ободряя не унывать и отважно стремиться впередъ

Однимъ словомъ, вся поэзія Надсона, словно солнце въ каплѣ воды, отражается въ извѣстномъ стихотвореніи *Другъ мой, братъ мой*, которое не даромъ считается его шедёвромъ. Въ немъ дѣйствительно заключается квинтъэссенція всей его поэзіи. Вотъ это знаменитое стихотвореніе:

Другъ мой, братъ мой, усталый, страдающій братъ,
Кто-бъ ты ни былъ, не падай душой:
Пусть неправда и зло полновластно царятъ
Надъ омытой слезами землей,
Пусть разбитъ и поруганъ святой идеалъ
И струится невинная кровь:—
Вѣрь, настанетъ пора, и погибнетъ Ваалъ,
И вернется на землю любовь!

* * *

Не въ терновомъ вѣнцѣ, не подъ гнетомъ цѣпей,
Не съ крестомъ на согбенныхъ плечахъ,—
Въ міръ прійдетъ она въ силѣ и славѣ своей,
Съ яркимъ свѣточемъ славы въ рукахъ.
И не будетъ на свѣтѣ ни слезъ, ни вражды,
Ни безкрестныхъ могилъ, ни рабовъ,
Ни нужды безпросвѣтной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорныхъ столбовъ.

* * *

О мой другъ! Не мечта этотъ свѣтлый приходъ,
Не пустая надежда одна:
Оглянись,—зло вокругъ черезчуръ ужъ гнететъ,
Ночь вокругъ черезчуръ ужъ темна!
Міръ устанетъ отъ мукъ, захлебнется въ крови,
Утомится безумной борьбой,—
И подниметъ къ любви, къ беззавѣтной любви
Очи, полныя скорбной мольбой...

Стоитъ прочитать это стихотвореніе, чтобы убѣдиться, въ какой мѣрѣ основательны обвиненія Надсона въ пессимизмѣ.

Семенъ Григорьевичъ Фругъ родился въ 1860 году въ еврейской земледѣльческой колоніи Бобровый Кутъ, въ Херсонскомъ уѣздѣ. Отецъ его, уроженецъ той-же колоніи, всю жизнь занимался хлѣбопашествомъ. Фругъ не былъ ни въ какомъ учебномъ заведеніи, кромѣ начальной колоніальной школы,

въ которой учился чтенію и письму. Развитію таланта онъ былъ обязанъ самому себѣ и является въ истинномъ смыслѣ этого слова самоучкой. До шестнадцати лѣтъ прожилъ онъ на родинѣ. Первое стихотвореніе его было напечатано въ 1880 году. Въ апрѣлѣ же 1885 года вышелъ въ свѣтъ первый сборникъ его стихотвореній; черезъ два года—второй, а въ 1890 году вышло второе изданіе его стихотвореній. Лира Фруга не громка. Онъ не займетъ виднаго мѣста въ русской поэзіи, не создастъ школы, не заставитъ современныхъ, а тѣмъ болѣе послѣдующихъ поэтовъ пѣть въ одинъ съ нимъ голосъ. Но это не мѣшаетъ ему быть однимъ изъ самыхъ симпатичныхъ, искреннихъ и главное дѣло истинныхъ поэтовъ. Отсутствіе претенціозности и вычурности, простота, ясность, опредѣленность и звучность смѣлаго и энергическаго стиха, богатая образность и задушевная теплота составляютъ неотъемлемыя достоинства поэзіи Фруга. Онъ не задается широкими и глубокими міровыми вопросами, философскими или политическими; въ большинствѣ стихотвореній является лишь скромнымъ пѣвцомъ своего гонимаго, угнетаемаго и обиженнаго судьбою и людьми народа. Онъ самъ говоритъ, что ничего болѣе не желаетъ, какъ лишь успѣть «хотя одну слезу тоски и горя стереть съ лица народа его и вплести хоть одинъ листокъ лавровый въ его страдальческій терновый вѣнокъ».

Въ то-же время Фругъ совершенно чуждъ узкаго національзма Дѣтство, проведенное въ земледѣльческой средѣ, наложило неизгладимую печать на міросозерцаніе поэта, печать мира, любви и братства; его волнуютъ идеалы широкіе и свѣтлые вполнѣ земледѣльческаго характера, и во имя ихъ онъ предрекаетъ своимъ землякамъ такую раціональную и отрадную будущность, какую конечно дай Богъ всякому народу. Такъ, въ стихотвореніи *Грядущее* онъ говоритъ устами пророка Исаіи:

Придетъ пора—исчезнетъ злоба;
Одной ликующей семьей
Подъ знамя свѣта и свободы
Стекутся мирные народы,
И надъ воскресшею землей
Утихнетъ гулъ борьбы кровавой,
Угаснетъ пылъ вражды на-вѣкъ,
Иною доблестью и славой
Гордиться будетъ человѣкъ:
То будетъ доблесть думъ высокихъ,
То будетъ слава добрыхъ дѣлъ,
И тамъ, гдѣ въ мракѣ смутъ жестокихъ
Сверкала сталь и щитъ звенѣлъ,—
На тучныхъ нивахъ въ чистомъ полѣ
Высокій колосъ зашумитъ,
И пѣсня пахаря на волѣ
Отрадой свѣтлой зазвучитъ!..

Принимая въ соображеніе эти свѣтлые идеалы Фруга, вы поймете, въ какомъ заблужденіи находятся критики, которые въ числѣ прочихъ молодыхъ поэтовъ заподозрѣваютъ въ пессимизмѣ и Фруга. Правда, пѣсни его полны грусти и печали, онъ называетъ свою душу больною, говоритъ, что самъ содрогается при видѣ мукъ, воспѣтыхъ имъ, называетъ себя могильщикомъ, который съ нѣжныхъ дѣтскихъ дней бродилъ среди гробовъ, слыхалъ одни стенанья, и если запоетъ порою пѣсню—въ ней звучатъ лишь вопли и ры-

данья. Но между тоской и даже отчаяніемъ и пессимизмомъ—громадная разница. Въ то время, какъ пессимисты не вѣрятъ въ самую возможность счастія и прогресса на землѣ, отчаяніе очень часто проистекаетъ изъ излишней вѣры, когда люди убѣждены, что счастье и прогрессъ должны составлять неотъемлемую суть жизни, но недостижимы лишь вслѣдствіе враждебныхъ обстоятельствъ, покорить которыя не хватаетъ силъ у современнаго поколѣнія.

Что Фругъ вовсе не пессимистъ, что онъ вѣритъ въ побѣду добра и правды на землѣ когда-бы то ни было, въ этомъ насъ можетъ убѣдить стихотвореніе его *Пѣсня жизни*. Здѣсь онъ сравниваетъ жизнь человѣческую съ тѣми сказками, которыя разсказывала ему въ дѣтствѣ на сонъ грядущій няня. Въ этихъ сказкахъ, послѣ всевозможныхъ ужасовъ и страховъ, въ концѣ концовъ правда, торжествуя надъ побѣжденнымъ врагомъ, гордо вставала святая, въ славѣ и блескѣ своемъ. Такою-же сказкою представляется ему и жизнь,—сказкою, длящеюся уже семнадцать вѣковъ. Поэтъ вѣритъ, что раньше или позже сказка эта, подобно нянинымъ, кончится такимъ-же торжествомъ добра и гибелью зла. Его сокрушаетъ лишь то, что какъ въ дѣтствѣ ему не удавалось дослушивать нянины сказки до конца, и онъ засыпалъ раньше ихъ желанной развязки, такъ-же случится и теперь: онъ не дождется вожделѣннаго конца сказки и заснетъ сномъ роковымъ, непробуднымъ, во мракѣ одной изъ могилъ сотенъ замученныхъ жизней, сотенъ загубленныхъ силъ...

Такимъ является Фругъ въ самыхъ лучшихъ лирическихъ своихъ произведеніяхъ. Кромѣ того вы найдете у него нѣсколько эпическихъ произведеній—легендъ, сказаній и поэмъ изъ древне-еврейской жизни, но всѣ они растянуты, стереотипно-отвлеченны, риторичны. Фругъ очевидно лирикъ по самому своему существу. Эпосъ—не его призваніе.

III.

Совсѣмъ другое слѣдуетъ сказать о Николаѣ Максимовичѣ Виленкинѣ, выступившемъ на литературное поприще почти одновременно съ Фругомъ, въ 1879 г., подъ псевдонимомъ Минскаго. Псевдонимъ этотъ, обозначающій мѣсто его происхожденія—Минскую губернію, до такой степени утвердился за нимъ, что рѣдко кто знаетъ его настоящую фамилію. Главное преобладающее качество музы Минскаго—спокойное, объективное раздумье и яркая образность. Этимъ онъ рѣзко отличается отъ Надсона и Фруга,—поэтовъ лирическихъ по преимуществу, субъективныхъ, главное достоинство которыхъ заключается въ силѣ и интенсивности выражаемыхъ чувствъ. Минскій-же если и имѣетъ дѣло съ тѣми или другими чувствами, то не выражаетъ ихъ, какъ музыкантъ, а изображаетъ образами, какъ художникъ. Поэтому всѣ такія стихотворенія кажутся намъ холодными, словно надуманными, между тѣмъ какъ это происходитъ просто потому, что Минскій здѣсь не въ своей тарелкѣ: онъ не лирикъ, а пластикъ. Для примѣра возьмите хотя-бы его стихотвореніе *Скорбь*:

Надо мной заря зарю смѣняетъ,
Небеса темнѣютъ и горятъ,
Міръ кругомъ цвѣтетъ и отцвѣтаетъ,
Жизнь и смерть чредою въ немъ царятъ...
А въ душѣ свинцовою волною
Скорбь растетъ, растетъ, не зная сна,
Шумомъ дня и ночи тишиною—

Жадно всѣмъ питается она.
Притаясь у родниковъ желаній,
Ихъ кристаллъ мутитъ она въ тиши,
И толпу несмѣлыхъ упованій
Сторожитъ на всѣхъ путяхъ души.
Къ небесамъ-ли звѣзднымъ я взираю,
Въ ясный день гляжу-ль въ нѣмую даль,—
На землѣ я грусть свою встрѣчаю,
Отъ небесъ я лью свою печаль,
И когда, волнуемый любовью,
Я къ груди прижмуся дорогой,—
Тутъ-же Скорбь, приникнувъ къ изголовью,
Мнѣ, какъ другъ, киваетъ головой.

Согласитесь, что это вовсе не выраженіе скорби, а лишь ея описаніе совершенно въ одномъ и томъ-же эпически спокойномъ тонѣ, въ какомъ представляются вамъ первые четыре стиха, занятые описаніемъ внѣшней природы. Очень понятно, что авторъ, словно чувствуя свое безсиліе выразить чувство въ надлежащей интенсивности, прибѣгаетъ къ черезчуръ уже смѣлымъ и рискованнымъ образамъ, сравненіямъ и т. п., которые чувства все-таки не выражаютъ, а между тѣмъ придаютъ стихотворенію видъ комической утрировки. Такъ, въ настоящемъ случаѣ, чтобы показать намъ, какъ велика его скорбь, поэтъ заявляетъ, что она по размѣрамъ своимъ равняется, шутка-ли сказать, самому Богу:

Ты-бъ одинъ, Кто скорби чуждъ, измѣрилъ,
Скорбь мою, великую, какъ Ты...

Но если-бы поэтъ увѣрилъ насъ, что скорбь его превышаетъ самого Бога, все-таки онъ не далъ-бы намъ въ такой степени понятія объ этой скорби, какъ если-бы выразилъ ее въ самой музыкѣ стиховъ.

Но, по нашему мнѣнію, Минскому не для чего столь усердно и заботиться о выраженіи чувствъ. Это совсѣмъ не его область. Для возбужденія поэтическаго творчества Минскій нуждается непремѣнно въ какомъ-нибудь внѣшнемъ явленіи жизни, которое поразило-бы его и вокругъ котораго онъ могъ-бы сгруппировать рядъ яркихъ образовъ или тихихъ меланхолическихъ раздумій.

Согласно этому, стихотворенія Минскаго можно раздѣлить на два отдѣла: къ первому принадлежатъ всѣ тѣ, въ которыхъ Минскій является вѣрнымъ призванію—художникомъ-пластикомъ, эпикомъ. Стихотворенія эти просты, естественны и въ то-же время неподдѣльно поэтичны. Таковы: *Бѣлыя ночи*, *Пѣсни о родинѣ*, *На чуждомъ пиру* и проч.

Но рядомъ съ ними вы найдете у того-же Минскаго массу стихотвореній холодныхъ, натянутыхъ, словно вымученныхъ, крайне вычурныхъ, ходульныхъ, съ претензіей на ложный титанизмъ и въ которыхъ напыщенная риторика замѣняетъ истинное чувство. Особенно въ этомъ отношеніи непривлекателенъ дѣлается Минскій, когда напускаетъ на себя міровую скорбь и начинаетъ вопить о какихъ-то очень величественныхъ, но въ то-же время туманныхъ и неопредѣленныхъ началахъ...

IV.

Почти то-же самое слѣдуетъ сказать о Дмитріѣ Сергѣевичѣ Мережковскомъ (родился въ 1865 г. и въ 1886 году кончилъ курсъ С.-Петербургскаго уни-

верситета со степенью кандидата). Въ большинствѣ своихъ стихотвореній онъ до сихъ поръ былъ преисполненъ ходульными претензіями быть во что-бы-то ни стало интернаціональнымъ глашатаемъ превыспреннихъ фантазій. Всѣ эти его *Аввакумы*, *Сильвіо* и т. п. представляются вымученными исчадіями превыспренней, но холодной фантазіи, исполненными банальныхъ риторическихъ фразъ, повидимому очень красивыхъ, но такихъ-же безжизненныхъ и мишурныхъ, какъ искусственные цвѣты съ проволочными стеблями, съ коленкоровыми листьями и батистовыми цвѣтами.—Но разъ ему случилось коснуться почвы живой русской дѣйствительности, и онъ, какъ Антей, обнаружилъ сразу такія недюжинныя силы, которыхъ трудно было и ожидать отъ него, судя по предыдущимъ его произведеніямъ. Мы говоримъ о стихотворной повѣсти его *Вѣра*, напечатанной въ 1890 году въ № 3 и 4 *Русской Мысли*. Нѣтъ возможности и сравнивать это произведеніе Мережковскаго со всѣми предыдущими,— произведеніе такое-же живое, какъ сама жизнь, въ которомъ каждый стихъ трепещетъ передъ вами, задѣвая васъ за живое, и вы видите, какъ переливается въ немъ, какъ въ живомъ тѣлѣ, горячая кровь, струятся слезы, то безотрадно горькія, то утѣшительно сладкія, и вамъ жутко становится по прочтеніи повѣсти,—точно какъ будто вы сами пережили драму, какая въ ней развернулась передъ вами. А драма повидимому такая простая и обыденная. Изображается юноша, замученный и озлобленный классическимъ воспитаніемъ и впавшій въ мрачный пессимизмъ и скептицизмъ, совершенно не соотвѣтствующіе его молодымъ годамъ и горячей крови, струящейся въ его жилахъ. Изъ этого нравственнаго и умственнаго маразма его избавляетъ любовь; но дорого стоило ему это возрожденіе: онъ успѣлъ погубить своимъ напускнымъ холодомъ дѣвушку, которую любилъ всей душой, и лишь дорогая память о ней возбудила силы его и направила на спасительный путь общественнаго блага и пользы. Картина увяданія и смерти дѣвушки производитъ потрясающее впечатлѣніе и представляетъ собою нѣчто давно уже небывалое въ нашей литературѣ.

Четырьмя поэтами, разсмотрѣнными нами въ этой главѣ, исчерпывается та живая струя современной поэзіи, которая имѣетъ тѣсныя точки соприкосновенія съ переживаемою нами эпохою и является ея выразительницею.— Въ сторонѣ отъ этой струи стоитъ рядъ поэтовъ, которыхъ можно назвать традиціонными, такъ какъ они вѣрно и неизмѣнно слѣдуютъ традиціямъ чистаго искусства, завѣщаннымъ поэтами 40-хъ годовъ, разсмотрѣнными нами въ предыдущей главѣ. Таковъ Алексѣй Николаевичъ Апухтинъ (1841—189 .); таковъ Константинъ Михайловичъ Фофановъ (родился въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ, на литературное поприще выступилъ въ 1882 году); таковы кн. А. А. Голенищевъ-Кутузовъ, С. А. Андреевскій, кн. Цертелевъ и пр. Всѣ они одарены безспорнымъ талантомъ; произведенія ихъ читаются съ удовольствіемъ; изданія раскупаются охотно. Но всѣ они страдаютъ еще въ большей степени тѣмъ-же недостаткомъ, какъ и ихъ предшественники: отсутствіемъ самостоятельности, безличностью.—Произведенія ихъ напоминаютъ вамъ то Майкова, то Полонскаго, то Тютчева, то Фета и тотчасъ-же улетучиваются изъ головы по прочтеніи, не оставляя по себѣ никакого воспоминанія. Вслѣдствіе всего этого говорить о каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности и дѣлать характеристики ихъ мы считаемъ дѣломъ совершенно излишнимъ.

КОНЕЦЪ.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

А.

Б.

Г.

Д.

Е.

Ж.

І.

К.

Л.

М.

Н.

О.

П.

Р.

С.

Т.

У.

Ф.

Х.

Ц.

Ч.

Ш.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

DUE OCT '66 H

1093450